

ТОМ
X(2)

В. А. ЖУКОВСКИЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В. А. ЖУКОВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ПРОЗА

1807—1811 годов

КНИГА 2



В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ПРОЗА

1807—1811 годов

КНИГА 2



В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ**



В. А. ЖУКОВСКИЙ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ПРОЗА

1807—1811 годов

КНИГА 2



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва 2014

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8
Ж 86

Томский государственный университет



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 14-04-16037

Ж 86 **Жуковский В. А.**

Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах / Ред. коллегия: И. А. Айзикова, Э. М. Жилиякова, О. Б. Лебедева, И. А. Поплавская, Н. Б. Реморова, А. С. Янушкевич (гл. редактор). — Т. 10. Проза 1807—1811 гг. Кн. 2. / Ред. И. А. Айзикова. — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 832 с.

ISBN 978-5-9905856-3-8

Полное собрание сочинений и писем В. А. Жуковского впервые в эдиционной практике представляет наследие великого русского поэта в максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на основе критического осмысления всех известных автографов поэта и прижизненных публикаций.

Том 10 содержит оригинальные и переводные прозаические тексты, опубликованные В. А. Жуковским в 1807—1811 гг. на страницах журнала «Вестник Европы». Произведения сопровождаются подробным текстологическим, историко-литературным и реально-историческим комментарием.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

ISBN 978-5-9905856-3-8



9 785990 585638 >

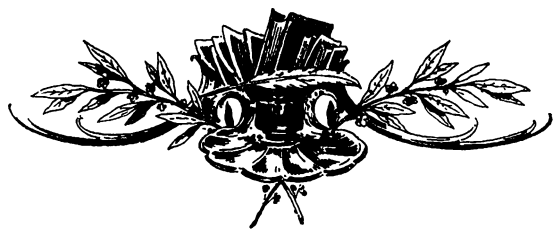
© И. А. Айзикова. Редакция тома 10, 2014
© Языки славянской культуры, оригинал-макет, 2014



ПРОЗА

1807—1811

ГОДОВ



О СЧАСТИИ

Счастливые люди, говорит Рошфуко, никогда не исправляются; они до тех пор не перестанут почитать себя правыми, пока фортуна будет благоприятствовать их дурным поступкам¹. Такое заблуждение, надобно признаться, весьма естественно. Спрашиваю, однако, должно ли признавать существенною сию случайность, которая вообще называется *счастьем* или *несчастьем*? Посмотрите на двух игроков, которые в продолжении целого года играют каждый день в пикет². Тот из них, который лучше знает игру или имеет более осторожности, остается конечно при конце года в выигрыше.

Выигрыш в лотерею есть счастье, но проигрыш должен ли почитаем быть несчастьем? Сколько людей, которые бранят судьбу за то, что им достался 7 №, и которые, конечно, благословляли бы ее, когда бы удалось им вынуть 6-й! И виновата ли судьба, что они понадеялись сделать свою фортуна тем, а не другим номером, тем, а не другим поступком, тем, а не другим расчетом? Послушайте этих господ: один будет вас уверять, что если бы не противилось ему счастье, то он, по тесной связи своей с министерством юстиции, был бы непременно наименован главнокомандующим армии; другой проповедует, что его дарование преподавать детям географические уроки всем известно, и что он без сомнения, при большом счастье, заступил бы место министра финансов.

Я жалкий человек:
Старался целый век
Гоняться за чинами;
Сравняться с богачами
Роскошными хотел;
Потом с мечтой протился,
И честным быть решился...
Ни в чем я не успел!³

Вот история весьма многих людей. Один желает быть человеком искусным, и ничто ему не удастся! От чего же: способы его самые верные; все приготовлено лучшим образом; минута выбрана самая благоприятная: чего же не достает ему? Безделицы: искусства пользоваться обстоятельствами. В делах, говорит Вовенарг, мы вычисляем препятствия, происходящие от вещей посторонних, и забываем о тех, которые от нас самих проистекают⁴. Один уверен, что в некоторых случаях самое действительное средство есть смелость и отважность; он презирает робких. Мы все теряем от нашей слабости, говорит он. Никакое препятствие не страшно ему, никакая опасность не может его остановить; все превозносят его неустрашимость и мужественную деятельность; и в самом деле, его предприятие соединено с опасностью чрезвычайною, но он решился его исполнить; он действует неутомимо; и в минуту исполнения вдруг теряет и силу и мужество; он разбежался, чтоб прыгнуть через ров, и остановился на самом краю его.

Другой решился войти в сношение с человеком случайным; он должен непременно к нему приблизиться, должен приобрести его благосклонность: сколько забот, какое искание, какими излучистыми путями идет он к своей великой цели! Как он искусен, говорят люди, которые смотрят на вещи издалека; он должен иметь во всем удачу! И в самом деле, ему наконец удалось: он приблизился к тому человеку, который ему нужен, приблизился и не понравился! Кто бы мог это вообразить?

Другой ограничивает свое честолюбие успехами в кругу женщин. Наука нравиться известна ему в тонкости. Он мог бы, по нужде, давать уроки самому опытному прелестнику, и, несмотря на то, подобно актерам, которые преподают теорию трагической декламации, а сами играют только в фарсах, он был бы освистан, когда бы вздумал с своими правилами явиться на сцену.

Я видел человека, который знаком был с жизнью по одной только теории: каждый его шаг определен был каким-нибудь правилом и ознаменован какою-нибудь глупостию. Он имел тяжбу. Размышляя о средствах, которые надлежало употребить, чтобы ее выиграть, он сказал самому себе: *самолюбие — слабейшая сторона каждого человека*, и начал поступать согласно с сим правилом, впрочем, весьма не новым. Один из его судей, чрезвычайно безобразный лицом, был очень ревнив; он восхищался любезностию жены его и красотою его детей. Другой имел кучу долгов; он вывел его из терпения, хваля без памяти ту землю, которую дня через два, по требованию заимодавцев, надлежало продать с молотка. Пришедши к третьему на свадьбу, он целые три часа рассуждал о знатности его происхождения, а невеста его была дочь богатого мещанина. В то же время старался он понравиться одной жен-

щине, имевшей более тридцати лет: что же? Он вздумал в ее присутствии утверждать, что можно любить одну только *пожилую* женщину; что молодость совсем не украшение; на другой день ему отказали от дому, и в то же самое время проиграл он свою тяжбу. Он никогда не хотел ездить верхом, не узнав наперед законов равновесия и движения; уроки экспериментальной физики предшествовали урокам в манеже; наконец он решился вложить в стремена свою ногу, но, по несчастию, в ту минуту, когда повторял в голове уроки о равновесии и движении, лошадь стала на дыбы и физик, слетевши с седла, треснулся о камень головою, вывихнул ногу и после, хромая, восклицал повсюду: о несчастье, несчастье! Напрасно; ему надлежало бы говорить: о неловкость, неловкость!

РАЗГОВОР СЕН-РЕАЛЯ, ЭПИКУРА, СЕНЕКИ, ЮЛИАНА И ЛУДОВИКА ВЕЛИКОГО

*Эпикур*¹. Мне сказывали некоторые тени, что вы имели намерение написать книгу о том, какую странную славою пользуются многие знаменитые люди, древние и новые. Я с своей стороны мог бы служить для вас примером...

*Сен-Реаль*². Примеры бесчисленны. Здесь в один день узнал я множество самых удивительных. То представляется вам королевский духовник, который уверяет, что успех сражения, прославившего такого-то генерала, принадлежит единственно ему. Здесь видите поэта, который требует, чтобы ему возвратили комедию его сочинения, уступленную им за четыре луидора актеру. Там неизвестный автор третьего века жалуется на писателей осьмнадцатого, приобретающих на счет его славу, присвоив и распространяя собственные его мысли. Я видел французского маршала, который, уклонившись от суеты мирской, признается, что маршальским своим жезлом обязан решительному поступку одного офицера, которому не достался даже и крестик с. Лудовика³.

Эпикур. Не смею ни с кем себя сравнивать, а еще менее кому-нибудь себя предпочитать; надеюсь, однако, что вы не смешаете меня с теми мертвыми, которые пользуются славою, совершенно им приличною. Эпикур имеет право...

Сен-Реаль. Как, милостивый государь, вы Эпикур, философ Эпикур, которого без всякого основания называют проповедником слагостолбия?

Эпикур. Так точно, любезный Сен-Реаль! Я родился в маленьком городке Аттики; жил несколько времени в Афинах; заметил, что богатство было несчастьем всех людей, не способных им пользоваться, как

бы надлежало; что некоторые должны бы были говорить: я богат, так как они говорят: я в лихорадке, у меня колика. Я понял, что самое верное средство быть счастливым есть согласоваться с натурой, и заключил себя навеки в маленьком городке, моей родине. Там жил я чрезвычайно умеренно: ел один хлеб и пил одну воду; наслаждался здоровьем, ясностью ума, спокойствием духа и часто ходил во храм Юпитера благодарить его за то, что он указал мне такую простую и верную дорогу к счастью. Одному гражданину вздумалось удивиться моему присутствию в храме, и с той минуты прослыл я безбожником, проповедником безбожия. Я возвратился в маленький уголок свой, решившись твердо скрываться во всю жизнь; таково было главное мое правило. Я следовал стоической морали Эпиктета⁴, но имел, однако, глупость утверждать, что быть здоровым гораздо лучше, нежели иметь подагру или зубную боль. Я имел одного только ученика, Метродора⁵, которого упрекал за его пышность: он тратил каждый день полтора обол⁶. Можно жить одним обол⁶, писал я к нему из своего уединения. Мы были счастливы и говорили, что знаем истинное насаждение. Я умер, и никто не знал, был ли когда-нибудь Эпикур на свете. Ученик мой, Метродор, сообщил некоторым из своих учеников полученные им от меня письма, в которых я говорил о наслаждении, то есть об умеренности и бескорыстии. Что же вышло? Богатейшие люди республики, украсив себя именем эпикурейцев, вздумали давать Лаисам и Фринам⁷ обеды, на которые издерживали по двадцать пяти мин⁸: они называли себя последователями моей философии, и глупые люди им верили.

Сен-Реаль. Я часто, думая о вас, господин Эпикур, называл судьбу несправедливою; часто приходило мне в голову представить в настоящем смысле ваше учение и вашу нравственность. Но какая была бы вам от этого польза? Десять, двадцать рассудительных людей стали бы думать о вас с большим уважением, но толпа осталась бы для вас толпою; тяжесть двадцати веков обременяет и вечно будет обременять вашу славу. Будь ваше учение столь же чисто, как небесная истина, никогда не перестанут говорить: *Эпикурова отравы* и с именем эпикурейца смешивать имя сластолюбивого развратника! Но позвольте спросить, не знакома ли вам эта тень, которая к вам приближается и хочет, конечно, прервать приятный наш разговор?

Эпикур. Это также философ, очень обиженный людьми в рассуждении своей славы; это один из самых ревностных стойков, соединивший учение Зенона⁹ с моим; короче: это Сенека¹⁰.

Сенека. Так, это я, Сенека, товарищ Бурра в воспитании сына Энобарбова¹¹; я, которого почитают корыстолюбивым, потому что пышная

благодарность моего воспитанника окружила меня сокровищами¹², которые никогда не приближались к моему сердцу. Я несколько времени был губернатором области, где прекратил разорения и хищничество подчиненных моих¹³, которые без сожаления расточали государственные доходы: что же? Никто не захотел отнести поступков моих к намерениям, согласным с отечественным благом. Некоторым остроумцам пришло в голову сказать, что я пишу против богатства на золотом столе; враги мои обрадовались сей клевете... но истинно то, что я проводил всю жизнь весьма умеренно; большую часть времени посвящал мыслям, чтению книг или сочинению; остаток разделял с друзьями. Пища моя состояла в хлебе и воде. Всем известно, что я отказался от трона, к которому народная любовь открывала мне дорогу, и что моя смерть вскоре последовала за отказом¹⁴; при всем том философская моя слава совсем не надежна, и весьма немногие уважают меня как писателя¹⁵.

Сен-Реаль. Ах, господин Сенека, очень сожалею, что не успел написать моей книги; вы бы играли в ней важную роль. Что ни говори, но ваша похвала заключена в сочинениях ваших; вы изобразили себя нельстивою кистию: ваши письма содержат в себе полный трактат морали¹⁶, написанный искусным пером оратора-философа. Вопреки вашим врагам, я уверен, что философия ваша не в одних словах, но также и на деле. Могли бы подумать, что вы не были чувствительны к своему изгнанию, когда бы не существовала ваша книга *об утешении*, писаная вами к матери¹⁷, где ясно мы видим, что вы должны были вооружиться всеми силами рассудка и мужества для перенесения разлуки с своими любезными. Вы доказали, что большая часть человеческих несчастий есть только необходимость действовать рассудком своим сильнее, нежели другие люди; сочинение ваше оживлено пламенем великого ума и сильного чувства. Корсика ожидала изгнанника; но в сей бесплодной стране явился мирный рассматриватель природы. Некоторые важные истины были вами почти открыты; например: вы изъяснили довольно хорошо теорию равновесия жидкостей¹⁸, и при всем том, несмотря на добродетели и дарования ваши, господин Сенека, несправедливый свет утверждает, что вы в поступках несогласны были с своими правилами, а в физике имеете самые поверхностные знания; некоторые писатели осмеливаются даже вас сравнивать с членами провинциальных академий, не имеющими ни вкуса, ни сведений; не смех ли это?

Сенека. Для меня все равно, иметь славу или не иметь ее! Но иметь дурную славу очень больно, и я всегда старался избавить себя от такого несчастья.

Сен-Реаль. Я, кажется, довольно хорошо заметил некоторые причины той несправедливости, которую оказали вам и современники, и потомки. Извините мою искренность, господин Сенека: я говорю с философом, следовательно, должен выражаться свободно. Излишняя надутость и, можно сказать, великолепие вашей морали, некоторая натяжка в вашем красноречии, презрение к людям, слишком явное, все это, конечно, вооружило против вас некоторых из современников. Вы слишком мало старались привлечь их на свою сторону и дать им почувствовать, что они для собственной пользы своей должны были называть вас человеком великим. Они в добродетелях ваших искали и не находили семени противоположных им пороков: это прибежище необходимо для большей части людей. Но должно признаться, что вы имели и почитателей усердных, несмотря на то, что жили в ужасное время злодея Нерона. Рим с восхищением принял последнее ваше завещание, сказанное в минуту смерти¹⁹, и истинные мудрецы всех веков будут единодушно признавать вас прямым философом, красноречивым писателем, который имел обширный ум, чувствительную душу, которого сочинения должны быть почитаемы сокровищем великих и полезных мыслей. Они, по моему мнению, могут сравниться с обширным лесом, в котором ни одно дерево не заметно, потому что все равны вышиною.

Сенека. Могу ли надеяться и желать лучшей славы? Я давно писал к Луцилию, сообразуясь с Эпикуром: мы друг для друга театр довольно обширный!²⁰

Сен-Реаль. Вот еще приближается к нам какая-то незнакомая тень. Я никогда не имел удовольствия видеть ее в лицо. Кто она, не знаете ли, государи мои?

*Лудовик Великий*²¹. Ах, Лудовик Великий совсем неизвестен в этих местах, и славное титуло не сохранило его от забвения.

Сен-Реаль. Лудовик Великий, забытый, в неизвестности!²² Король, создавший самого себя!²³ Король, который при жизни еще кардинала Мазарина писал к графу д'Эстраду: *пишите ко мне на имя Лионна*²⁴: *хочу все делать сам собою*; который первый ужаснул Европу бесчисленными войсками²⁵, и в два года сотворил флот, составленный из ста кораблей; который со славою выдержал войну против целой Европы²⁶; который заставил цвести науки, искусства и торговлю; который наградил пенсионерами всех ученых²⁷, кроме одного меня; который был велик в войне, мире, счастья и несчастья!

Лудовик Великий. Я не писал к графу д'Эстраду; я никогда не покрывал морей кораблями; я никогда не вел войны со всею Европою, а только против воли сражался с некоторыми беспокойными соседями; я знал, несмотря на совершенное невежество моих современников, что славно

покровительствовать искусствам; я наградил пенсионерами нескольких профессоров греческого и латинского языков; я сделал счастливыми подвластные мне народы: я Лудовик Великий, венгерский и польский король²⁸!

Сен-Реаль. К стыду моему признаюсь, что имя Вашего польского величества несколько изгладилось из моей памяти. Теперь я вспомнил: не правда ли, что вы царствовали в исходе четвертогонадесять столетия?

Лудовик Великий. Точно так, и современники именовали меня Великим. Многие почтенные люди достались в добычу забвению, это правда, но, по крайней мере, им никогда не давали такого прозвания, которому надлежало бы предохранить их от сего жребия. Мне одному суждено иметь титул Великого и быть неизвестным.

Сен-Реаль. Но вы достойны сего прозвания. Память ваша была благословляема несколько времени после вашей смерти; вы несчастливы тем, что веки последовавшие не признали вашего времени веком величия. Быть может, что люди исправят понятие свое о славе, и тогда сколь много так называемых героев должны потерять свое мечтательное сияние! Человеческая несправедливость будет судить их согласно с предрассудками, противными тем, с которыми они сами согласовались в своих действиях. Такова судьба героев славы! Театр ее обширен, но он легко может разрушиться; театр добродетели ограниченнее, но он незыблем. Говорю философам и монархам: ничтожность мыслей и славы человеческой вам известна. Я хотел судить о славе и управляющем ею случае: заблуждение смешное. Сочинения мои были уважаемы, а сам я остался в неизвестности! Я прожил нищим во время государя, покровителя наук и ученых. И настоящее мое имя, и время, и место рождения моего никому не известны. Я... но, милостивые государи, смотрите, какое множество теней! Они помешают нашему разговору; удалимся в эту лавровую рощу: там будем наслаждаться уединением и тишиною.

Шанфор

УГРЮМЫЙ ОТВЕТ НА ЛАСКОВЫЙ ВОПРОС

Отчего вы перестали писать, спросил у меня один приятель.

От того, отвечал я, что публика, имея самый испорченный вкус, старается только унижать и порочить людей с талантом.

От того, что всякий благоразумный человек должен действовать с целью, а я уверен, что успех не принесет мне никакого удовольствия, тогда как неудача может огорчить меня весьма много.

От того, что я не намерен лишать себя покоя в угодность обществу, которое кричит: *забавляйте меня!*

От того, что публика поступает с писателями не иначе, как прусаки с своими рекрутами, которых в первый день поят допьяна, а после бьют палками и принуждают довольствоваться десятью ефимками годового жалованья.

От того, что мне говорят: работайте! Точно с таким расположением, с каким подходят к окну, надеясь увидеть на улице итальянца с пляшущими собаками или цыгана с медведями.

От того, что я боюсь умереть, не живши ни одной минуты.

От того, что надобно трудиться и что успехи съедают много времени.

От того, что я не хочу походить на писателей, которые походят на ослов, грызущихся и лягающих друг в друга перед пустыми яслями.

От того, что я предпочитаю уважение некоторых честных людей нескольким похвалам, нескольким рублям, множеству оскорблений и миллиону клевет.

От того, что, по словам Бакона¹, спокойствие никогда не бывает спутником славы.

От того, что свет принимает участие в таких только успехах, которых не уважает.

От того, что я хочу нравиться только тем, которые со мною сходны.

От того, что я имел случай замечать за всеми славными людьми моего времени: все до одного мучились страстью славы; все до одного были ее мучениками, и все, наконец, от лишней привязанности к сей химере унизили моральный свой характер.

ОТКРЫТИЕ, СДЕЛАННОЕ ЖЕНЩИНОЮ

С тех пор, как создан свет, женщины стараются пленять мужчин, мужчины стараются пленять женщин — те и другие желают найти вернейший способ, как сделать друг друга счастливыми, но по сие время тайна сия не была еще никем открыта.

Покажите мне мужчину, который в своем воображении никогда не представлял бы женщины, одаренной всеми совершенствами, в образце той, которая некогда должна овладеть его сердцем! Покажите мне женщину, которая в каком-нибудь идеальном герое романа не обожала бы своего будущего любовника, которая бы тысячу раз не думала о качествах человека, достойного быть ею любимым.

Одна желает, чтобы он имел сильную страсть, был страшный ревнивец, страшный тиран; чтобы он, сделавши ее совершенно несчастною,

наконец принудил бы ее увериться, что она единственный предмет его безмерной страсти.

Другая ищет в своем любовнике чувствительности нежной и тонкой, желает вместе с ним теряться в мечтах платонизма; говорить с ним о чувствах, раздробляет каждое движение сердца, старается объяснить в пользу любви каждый взгляд, каждое изменение лица, каждый вздох, каждое слово.

Третья, более тщеславная, более желающая повелевать, нежели чувствующая необходимость любить, ищет в любовнике своем души спокойной, тихой и покорной; она хочет властвовать им неограниченно, требует от него жертвований ежеминутных, но забывает, что такое самовластие может и самые сладкие узы любви сделать тягостными, даже противными.

Чего же искать нам в любовниках наших — воскликнут женщины — когда ни сильная страсть, ни тонкая чувствительность, ни совершенная покорность со стороны их не могут быть почитаемы важными свойствами, не могут доставить нам полного счастья! — Чего нам искать? Лени! Так, милостивые государыни, лени! Желайте, чтоб лень, которую, Бог знает почему, называют недостатком ужасным, была главною страстию ваших любовников; пускай не даст она в них места ни чрезвычайному честолюбию, ни страстной любви к наукам, ни сильному стремлению к удовольствиям; пускай желания любезного ленивца, какого бы ни были они рода, ослабевают при малейшем препятствии; пускай находит он женщин с первого взгляда любезными, даже достойными его привязанности, но в ту же минуту пускай чувствуют в сердце своем, что удовольствие им нравиться не стоит того великого труда, с которым оно бывает приобретаемо; пусть любит он свет довольно много, чтоб забавляться умом других, и довольно мало, чтобы самому лениться говорить; пускай дозволяет вам иногда себя оживлять, собою заниматься, выставлять свои достоинства наружу, чтобы вам же быть благодарным за свой успех: вот человек, которого вы должны любить, которым должны быть любимы! Но, скажут мне, чтоб быть любезною такого ленивца, надлежит самой его найти, предупредить его желания, уничтожить те препятствия, которые воспаляют других, а его, без сомнения, при первом шаге бы отдалили. Согласна, что весьма трудно сохранить средину. Что же делать? Не смешивать равнодушие с ленью, не позволять себе обманываться их наружностью, впрочем, весьма сходною. Но мое намерение — не подавать советы, а только сообщить открытие, которым пускай воспользуется тот, кто может. Хочу показать женщинам, что есть для них средство быть счастливей в той игре, в

которой они обыкновенно теряют так много, может быть, единственно от того, что слишком отважны или слишком многого требуют.

Итак, милостивые государыни, человек, ленивый до страсти, есть, по моему мнению, любовник совершенный: смело отвечаю за каждого мужчину, имеющего сей недостаток или сие качество — нет нужды до названия. Но, скажут мне, по вашему утвердительному тону можно подумать, что вы говорите о самой себе? Вы отгадали! Я знаю по опыту все преимущества лени в любовнике; я люблю очень нежно и, что всего важнее, очень давно, любезнейшего ленивца на свете. Ленивость его служит единственно к моему удовольствию: всю жизнь проводит он в пожертвованиях, которых не требую, и за которые не менее того остаюсь ему благодарна. Например, не должна ли я быть ему много обязана, когда он решается оставить свой камин и свои большие кресла и берет на себя труд прийти ко мне на несколько часов, вместо того чтобы сидеть дома поджавши руки, погруженный в мечты, преданный сладостному *Far niente** италианцев? Видя его у себя, я уверена, что он забудется, просидит со мною долго — уверена не потому, что имею любезность, сокращающую время, но потому, что мой любезный никак не решится променять одно место на другое, хотя бы и лучшее; не потому, чтобы я почитала себя любимую им предпочтительно перед всеми другими женщинами, но потому, что леньность удержит его там, куда привело его удовольствие. Заметьте мимоходом, что всякой любовник-ленивец должен иметь столько же ума, сколько имеет и мой, чтоб быть привлекательным и любезным: без этого небольшого преимущества слабость его может произвести в вас одну скуку и не доставит вам никакого счастья. Но возвратимся к другим его совершенствам. Он может быть иногда неверным, но почти не имеет возможности быть непостоянным; для него прелесть заблуждения прекращается скорее, нежели для другого; и в ту же минуту, когда удовольствие исчезает, он пугается новых обязанностей и спешит возвратиться к старым, которых истинное преимущество состоит в том, что он может принять их на себя, не будучи снова принужден заботиться быть искательным, беспокоить себя неверною надеждою. Думаю, что я хорошо доказала выгоду лениности в любви; остается сказать, какие средства необходимы, чтоб сохранить надолго любовь ленивца. Средства сии самые лёгкие: не будьте страстны, а только нежны, ибо нежность есть мера его чувства; будьте веселы, а не ветрены, ибо он требует, чтобы его забавляли; искусны, а не хитры, чтобы иногда заставить его сделать то, о чем бы он и не подумал, если бы вы не взяли на себя труда вселить в него желания.

* *Far niente* (ит.) — ничегонеделание, праздность.

О ты, который любезен мне при всей твоей лени! Сохрани ее, сохрани навеки, ибо она делает мое счастье! Без нее всякую минуту опасалась бы я тебя лишиться; она мой щит, она более, нежели Амурова повязка, ибо с нею ты смотришь на меня без всякого ослепления страсти — и это не препятствует мне безмятежно наслаждаться твоею любовью и моим счастьем.

(С французского)

МАРЬИНА РОЩА

СТАРИННОЕ ПРЕДАНИЕ

Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда Услад, молодой певец, приблизился¹ к берегам Москвы-реки, на которых провел он дни своей цветущей юности². Гладкая поверхность вод, тихо лобзаемая³ легким ветерком, покрыта была розовым сиянием запада: в зеркало их отражались⁴ с одной стороны дремучий лес и терем грозного Рогдая, окруженный высоким дубовым тыном (он был построен на крутой горе — там, где ныне видим зубчатые стены Кремля, великолепные чертоги древних русских царей, соборы с золотыми главами и колокольню Иван Великий) — с другой, зеленые берега, покрытые кустарником и осыпанные низкими хижинами земледельцев. Повсюду царствовало спокойствие; воздух был растворен благоуханием цветущей липы: иногда во глубине леса раздавался голос соловья или печальное пение иволги; иногда непостоянный ветерок потрясал вершины деревьев; иногда робкий кролик, испуганный шорохом, бросался в кустарник и шумел иссохшими ветками. Услад шел по тропинке, извивавшейся между деревьями; душа его, наполненная воспоминаниями, погружена была в задумчивость. Время прошедшее, время, в которое находил он себя счастливым, представилось мыслям его со всем минувшим своим очарованием. «Где ты, моя радость? — воскликнул печальный Услад, — где ты, прежнее время? Прихожу на то же место, на котором некогда называл я жизнь свою веселием: тенистая роща, светлая река, зеленые берега, вы не изменились, но, счастье мое, тебя уже нет. По-прежнему благовонная липа разливает свой сладостный запах, по-прежнему звонкий соловей или пустынная иволга поют во глубине дремучего леса, а тот, кто некогда услаждался благовонием цветущей липы или, задумавшись, при гласе звонкого соловья и стоне пустынной иволги живет мечтал о своем счастье, тот уже не похож на самого себя. Ах! Не узнаете вы меня, места прелестные; очи мои потускли от скорби, ланиты мои

побледнели, лицо мое помрачилось унынием...» Услад приближается к берегам светлого ручья^(*), который, журча и сверкая, бежал по золотому песку в зеленом кустарнике и сливался с Москвою⁵; он увидел на крутизне горы уединенный терем грозного Рогдая. Последнее блистание вечера играло еще на тесовой кровле верхней светлицы и на острых концах высокого тына; вершины древних дубов, берез и лип, которыми покрыта была вся гора, восходящие одни над другими, мало-помалу омрачались, наконец потемнели совсем⁶; на одном только тереме, который, подобно великану, возвышался над лесом, оставалось умирающее мерцание⁷; наконец и оно померкло⁸, повсюду распространился сумрак. Услад, увидя Рогдаев терем, затрепетал, остановился, долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатались ручьями из глаз его... «Ах, Мария!» — воскликнул он; вздохнул из глубины сердца, и голова его склонилась ко груди⁹.

Молодой Услад родился на берегу Москвы-реки в бедной хижине, от честных родителей. Природа наградила его прекрасною душою, прекрасным лицом и дарованием слагать прекрасные песни. Часто, простертый на берегу светлой Москвы и смотря на ее серебряные волны, провожал он вечернюю зарю звонким своим рожком. Приятные звуки раздавались по берегам и повторяемы были отголосками сенистой рощи. Молодые сельские девушки любили слушать Услада, когда он простыми стихами прославлял весну, спокойствие земледельческих хижин, свободу поднебесных ласточек, нежность дубравных горлиц или изображал приятность маткиной-душки¹⁰, которой запах сравнивал он с милою душою чадолюбивой матери. Услад был всех приятнее¹¹ на посиделках; никто не умел так хорошо рассказывать страшных сказок¹², от которых робкие девушки трепетали и прижимались к своим матерям, а на голове молодых мужчин становились волосы дыбом; ни с кем так не любили играть в хороводы и в разные игры, как с милым, веселым, добросердечным Усладом. В селе называли его соловьем. Старушки переставали хмуриться и бранить своих дочерей, когда приходил к ним Услад, а старики в его присутствии оживлялись и чувствовали себя молодыми. Сельские девушки засматривались на Услада, который имел лицо прелестное, черные глаза, омраченные длинными ресницами, нежные, сияющие под черными густыми бровями; светло-русые волосы, которые легкими кудрями рассыпались по прекрасному лбу, вились вокруг открытой шеи, белой как снег, и оттеняли свежие, румяные, как молодая роза, щеки. Но чаще других и с чувством более

(*) Ныне мутная Неглинная.

нежным смотрела на него прекрасная Мария. Хижина ее построена была на самом том месте, где быстрый ручей сливался с прозрачною Москвою. Марии минуло пятнадцать лет; она имела доброе сердце, но была совершенный младенец: все ее веселило, все трогало и увлекало. Она любила свою старую мать более самой себя; часто смотрела ей в глаза и говорила со слезами: «Матушка, друг мой, я готова отдать тебе свою душу». Она плакала, когда старушка была или больна, или печальна, но в то же самое время безделица могла овладеть ее вниманием: она бросалась за пестрым мотыльком или смеялась от доброго сердца, когда слышала забавное слово, замечала уродливое лицо. Мария была чувствительна: никакое нежное чувство не могло изгладиться¹³ в сердце ее, но оно могло быть забыто (правда, на короткое время) для всякого нового, даже слабейшего впечатления¹⁴.

Добрая Мария цвела, как полевая фиалка, под сенью родительской хижины, хранящая любовь матери. С некоторого времени душа ее наполнена была тайным пламенем, которым оживотворены были в ней все другие чувства, — любовь к прекрасному Усладу, но это чувство не мешало ей быть веселою по-прежнему, по-прежнему поливать свои цветы, кормить свою малиновку, распевать веселые песенки, когда она сидела вместе с матерью за пряжею на пороге хижины, и смеяться от всей души, когда подружки рассказывали ей смешные сказки. Прекрасный певец ощущал нежную томность в груди своей, когда смотрел в глаза добросердечной Марии. Ах! Он любил ее страстно. Милый ее образ носился перед ним, когда он засыпал; он представлялся ему в сновидении; он видел его при первом блеске восходящего утра. Услад был задумчив, когда был с нею розно, задумчив, когда видел ее перед собою, живую, резвую, веселую. Мария вздыхала, на лице ее изображалось глубокое сердечное чувство, когда глаза ее встречались с глазами Услава. Она радовалась, когда Услад уверял ее в нежной своей любви; целовала его в розовые щеки и говорила ему: «Добрый Услад, ты — мое счастье».

Однажды, вечернею порою, певец играл на рожке своем, простертый на берегу источника, в виду Мариной хижины. Мария, услышав знакомые звуки¹⁵, взяла кувшин и пошла за водою к светлому источнику. Поравнявшись с Усладом, она поставила кувшин на зеленую траву, села подле своего друга, поцеловала его в пламенную щеку и, окружив его белою рукою, склонила к нему на плечо свою прелестную голову. Они задумались. Вечер был тих и ясен; роща, одушевленная возвратившеюся весною, была наполнена запахом черемухи, благовонным дыханием ландышей, маткиной-душки и трав ароматных; ветерок порхал по деревьям; соловьи свистали вдалеке; в воздухе слышалось

жужжание насекомых; легкие струйки источника, озлащаемые заходящим солнцем, которое проникало сквозь редкие деревья, сливали нежное свое плескание с шорохом тростника и трепетанием цветущего шиповника, осенявшего низкие берега источника: все сии звуки производили вместе единую очаровательную гармонию, которая трогала душу и погружала ее в задумчивое мечтание. Услад и Мария долго молчали, упоенные любовью.

— Ах, Мария! — сказал наконец Услад. — Люблю тебя более своей жизни! Помнишь ли ту минуту, в которую мы встретились на берегу светлого источника? Ты пришла зачерпнуть в кувшин свежей воды, заслушалась соловья и стояла в задумчивости под тою развесистою березою — я возвращался из Новгорода, был утомлен путем и зноем; ты утолила мою жажду и посмотрела на меня таким ласковым взглядом, что сердце мое наполнилось в ту минуту неизъяснимою сладостию. Ах! С той минуты я перестал владеть своею душою; с той минуты единственное мое счастье быть с тобою или о тебе думать. Тобою прекрасный божий мир сделался для меня еще прекраснее. Во всем, что радует мою душу, нахожу я твой милый образ. Твой голос усладительнее для меня воркования иволги, когда внимаю ему¹⁶ при блеске заходящего солнца; походка твоя легче игривого весеннего ветерка, когда он пролетает над поверхностью спокойной Москвы-реки или колышет нежную травку. Чувствуя в роще запах *ночной красавицы*¹⁷, я думаю: он так же приятен, как сладостное дыхание моей Марии. Светит ли полная луна сквозь частую рощу, я погружаюсь в задумчивость: мне кажется, что в светлом ее мерцании летает надо мною твой образ, что я окружен твоим невидимым присутствием. Часто в минуту воцаряющегося вечера забываюсь по целому часу вблизи твоей хижинки¹⁸; сокрытый кустами шиповника, смотрю на тебя, когда ты сидишь у дверей вместе с твоею матерью, озаренная розовым сиянием вечера; мать твоя перебирает долгие светло-русые твои волосы, заплетает их в косы, целует тебя, называет своею радостию, а ты распеваешь, как соловей, или поднимаешь на свою мать нежный, невинный, исполненный сердечной задумчивости взор, тогда... но, милый друг, прелестная, добросердечная моя Мария, могу ли сказать, что я тогда чувствую? Ах! В эту минуту не нахожу в себе души; она стремится к тебе, она исполнена чистойшею, непорочною к тебе любовью.

Так говорил Услад. Мария не отвечала; но она вздохнула, крепче обхватила его белою рукою, нежнее прижала ко груди его прелестную свою голову.

— Мы соединимся, — продолжал Услад, — когда исполнится тебе шестнадцать лет. Шесть раз полная луна должна осветить вершины

дерев, прежде нежели ты будешь моею; тогда нежная твоя мать переселится в нашу хижину; старость ее пройдет спокойно, как вечер ясного дня... Теперь, мой милый друг, — продолжал Услад, помолчав минуту, — я должен на время с тобою разлучиться. Старый Пересвет, мой благодетель, мой наставник, идет отсюда¹⁹ в свою отчизну, к своим ближним и сродникам — я должен его проводить, ибо мы, вероятно, расстанемся навеки. Путешествие мое продолжится до третьей полной луны. Мария, не забывай меня в отсутствии. Когда взойдет луна, — в эту минуту золотые рога месяца мелькнули из тучи над кровлею Рогдаева терема, — когда озлатятся струистые волны, приди на берег источника и думай об Усладе: душа его будет над тобою. В каждом приятном звуке²⁰, с которым прольется в душу твою сладостная унылость, внимай нежному голосу его сердца.

Мария плакала; Услад умолкнул; они встали. Певец поднял глаза на высокий Рогдаев терем — черная туча над ним носилась; невольно печаль овладела его душою: туча сия казалась ему подобием его жребия. «О! что ты принесешь мне, время будущее, время далекое, время неизвестное?» — подумал он. Быстрая молния раздвоила тучу пламенною браздою; облака вспыхнули и вдруг угасли; сердце Услада стеснилось; он бросил на Марию задумчивый взгляд: на миловидном ее лице изображена была робость; взоры ее, устремленные на тучу, как будто искали на ней следов пролетевшей молнии: она вздохнула, поцеловала Услада и медленно пошла в свою хижину. Услад сел в свою лодку²¹, переправился на другой берег Москвы, на котором находилась его хижина, простерся на траву²², печально опустил на руку свою голову и долго смотрел на хижину Марии, в которой светился огонек, иногда затмеваемый легкою тению. Наконец сияние исчезло. Услад закрыл руками глаза и заплакал: ему казалось, что в эту минуту угасло счастье жизни его, что для него уже не было на свете Марии.

Утренняя заря не застала Услада на берегах светлой Москвы. В первые два дни Мария не преставала крушиться и плакать. Потупив голову, закрыв передником прискорбные очи свои, орошенные слезами, сидела печальная на пороге хижины и не внимала утешениям своей добросердечной матери. На третий день пошла она к источнику. Вдруг представляется взору ее незнакомый витязь: на нем сияла блестящая броня, голова покрыта была шишаком, на плечах лежала медвежья кожа. Лицо неизвестного было величественно и сурово: глаза, глубоко впадшие, ярко блистали из-под густых бровей; черная всклокоченная борода закрывала до половины смуглые щеки его. Мария оторопела. Незнакомец поглядел на нее пристально.

— Кто ты, красная девица? — спросил он. Мария испугалась громозвучного голоса, не посмела поднять своих глаз и побежала опрометью в хижину. Витязь последовал за нею²³.

То был Рогдай, славный, могучий богатырь²⁴. Ему принадлежали обширные поля, между которыми извивалась прозрачная Москва; ему принадлежал высокий терем, окруженный дубовым тыном. Он долго служил могущественною мышцею великому Новгороду; сподвижники называли его: Рогдай *булатная рука*, а прочие люди — Рогдай *жестокое сердце*, ибо ни одно человеколюбивое чувство не было ему известно, никогда на челе его не разглаживались морщины; грозный, неукротимый во мщении, ни вопли, ни улыбка невинного младенца не пронизали в его неприступную душу. Умертвив на соборище народном одного из знаменитейших посадников новгородских и принужденный поспешно с верною дружиною сокрыться из великого града, пошел он в знаменитый Киев, к великому князю Владимиру²⁵, дабы служить ему вместе с богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею²⁶. Желая на перепутье посетить свое наследие и отческий терем, в котором провел младенческие лета, явился он на берегах Москвы-реки дни через два по отшествии певца Улада.

Новое чувство открылось в душе Рогдая²⁷ в ту минуту, когда он встретился у источника с Мариею; он начал каждый день посещать хижину ее матери. Разговаривая с старушкою, бросал он косвенные взгляды на прелестную дочь ее, которая, потупив голову, краснея и трепеща, сидела за пряжею и роняла из рук веретено всякий раз, когда робкие взоры ее встречались нечаянно с задумчивыми взорами Рогдая, в которых пылало мрачное пламя. Неутолимая страсть, сопутствуемая мукою желаний и тайным волнением ревности, свирепствовала в сердце грозного витязя. Впервые почувствовал он желание быть любимым, впервые научился смягчать громозвучный свой голос; иногда на устах его показывалась усмешка; везде и всякую минуту он думал о Марии; искал ее на берегу источника, во глубине рощи; следовал за нею в село и даже нередко, чтоб угодить ей, вмешивался в веселые игры поселян и поселянок. Всякий день приносили ей богатые дары от Рогдая: иногда жемчужное блестящее ожерелье, иногда шелковый сарафан²⁸, обшитый богатым галуном, иногда ленту с серебряною бахромою, серьги, золотой перстень.

— Мария, — говорил ей грозный витязь, — отдай мне свое сердце, я сделаю твое счастье. Тебе будут принадлежать мои сокровища, мой терем, мои поля и рощи. Будешь ходить в серебре и золоте. Повезу тебя в великолепный град Киев, покажу тебе великого князя Владимира;

увидишь богатырские игры, затмишь собою всех киевских красавиц, будешь украшением княжеских палат и радостью всего града Киева²⁹...

Что происходило в твоём сердце, что думала ты, добрая Мария? Сначала она тосковала и плакала. «Услад, милый Услад, для чего нет тебя со мною?» — говорила она, смотря на струистый источник, при котором они расстались. Увы! Она уже чувствовала, что присутствие Услава было необходимо, чтоб сохранить в сердце ее прежнюю к нему привязанность. Воображая Услава, она воображала счастье жизни своей, но, думая о Рогдае, видела в мыслях своих одни бесчисленные богатства его, пышный град Киев (о котором слыхала только в сказках), славных богатырей³⁰, блистание великолепного дворца княжеского и никогда не думала о самом Рогдае, ибо никогда сердце ее не могло бы поколебаться между прекрасным Усладом и грозным витязем, которого мрачный образ приводил ее в трепет. Но, увы! Ослепленный рассудок ослепил и нежное сердце Марии; в продолжение первого месяца она всякий божий день приходила к источнику вспоминать об Усладе — и всякий раз встречала на берегах его витязя Рогдая. Наступил другой месяц, и Мария с большим уже вниманием начала слушать Рогдаевы предложения: в душе ее, которая прежде была так непорочна, родились гордые мечты о блеске, богатстве и торжестве ее прелестей. Наступил третий месяц — и Мария отдала руку свою Рогдаю... Ах! Кто бы это подумал, добрая Мария? Но для чего же обвинять ее доброе сердце³¹? Оно никогда не изменяло Усладу. Ты обманывалась, Мария, когда уверяла себя, что более не любишь своего друга. Скоро исчезнет твоё ослепление; скоро опять воскреснет в душе твоей прежнее чувство любви, к которому ты привыкла, которым была так счастлива... что будешь тогда, невинная, обманутая, несчастная Мария?

Услад приближался уже к месту своей родины; уж видел он вдалеке высокий Рогдаев терем, видел дым, вьющийся над кровлями хижин и озлащенный сиянием восходящего утра. Душа его наполнена была смутными чувствами радости, любви, нетерпения. В эту минуту повстречался ему пастух, который гнал стадо на паству и пел утреннюю свою песню, — они узнали друг друга.

— Бедный Услад, зачем воротился ты на свою родину, — воскликнул пастух. Услад побледнел.

— Что сделалось? — спросил он изменившимся голосом.

— Много воды утекло с того времени, как ты оставил наше селение, — отвечал пастух. — Мария твоя — перелетная птичка; она покинула родимое гнездышко и хочет лететь на чужую сторону; она разлюбила тебя; она отдала свою душу богатому и могучему витязю Рогдаю! Ах! Бедный Услад, для чего возвращался ты на свою родину?

Пастух посмотрел на него с состраданием, вздохнул, опять погнал свое стадо, опять запел свою утреннюю песню. Услад не мог отвечать ему ни слова: стоял, как убитый громом, и долго неподвижными глазами смотрел на волны, в которых отражалось чистое небо. Жаворонок кружился и пел под облаками; утренний ветерок дышал ему в лицо; с полей подымались благовония³² цветов и трав. Услад ничего не чувствовал. Солнце взошло; первые лучи его заиграли на кровле высокого терема: нечаянно взоры Услада на нее устремились; вся душа его пришла в волнение; он бросился на траву, залился слезами и целый день пролежал на одном месте неподвижно, вздыхал и терзался. Наступил вечер. Земледельцы и пастухи пришли с полей. Веселые голоса их пробудили Услада. Он встал, опять устремил глаза на терем, смотрел на него долго, наконец, снял с груди пучок засохших ландышей, перевязанных волосами Марии, который подарила она ему накануне разлуки, бросил его в реку, несколько минут следовал за ним глазами по течению волн, потом, потупив голову, стараясь удерживать стеснившиеся в груди вздохи, пошел назад, чтобы³³ никогда, никогда не возвращаться в то место, где все, что радовало его в жизни, погибло навеки.

Прошла осень, прошла зима — Услад скитался по городам и селениям. Увы! Он думал забыть прежнее время, забыть утраченное свое счастье — напрасно! В тех самых песнях, которыми веселил он горожан и сельских жителей, чтобы избавить себя от голодной смерти, изображались милые чувства, некогда усаждавшие душу его, изображен был тот счастливый край, где прежде встречал он с веселием каждое утро, провожал он с надеждою каждый вечер. Наступила весна, и вся любовь, которую он почитал почти угасшею, опять воспламенилась в душе его.

— Нет, — воскликнул Услад, — я не могу дышать в разлуке с нею; где бы я ни был, везде мой жребий — угаснуть в любви, увянуть в страдании; здесь, на чужой стороне, все для меня чужое, а там, в отчизне моей, все мне друг, все было свидетелем моего счастья, все будет поверенным моей скорби. Не буду с нею встречаться, но буду с нею вместе, но буду скитаться вокруг ее жилища, невидимо следовать за нею во глубину рощи, иногда внимать ее голосу, дышать ветерком, освежающим ее грудь или волнуящим ее светлые кудри, орошать слезами следы, оставленные на мураве легкими ее стопами, в упоении, сокрытый мраком ночи, смотреть на свет ее лампы, горящей перед образом и проникающей сквозь окна ее светлицы, и вместе с нею молить Божию Матерь о счастии жизни ее³⁴. Так, моя родина, и вы, отческие рощи, и вы, цветущие берега Москвы, опять увидите возвратившегося к вам Услада; возвращусь к вам, чтоб увянуть на вашем лоне, увянуть там, где расцвело и увяло мое веселие. Ах, видя, как другой владеет

моим счастьем, скорее умру с печали. Утро взойдет, ранняя ласточка взовьется под облака, ветерок побежит по вершинам деревьев, и листья осенние посыплются с шумом; тогда, Мария, ты взглянешь в окно высокого терема и скажешь: «Утренняя ласточка, для чего ты поднялась так рано? Ветерок осенний, для чего рассыпаешь ты красоту дубравы? Для чего в душе моей тоска неизвестная?» Ты выйдешь рассеять печаль свою в поле; там, близ тропинки излучистой, на краю кладбища, под сению древних берез, увидишь свежую могилу; ты устремишь на нее задумчивые взоры. «Здесь положили певца Услава», — скажут тебе сельские девушки, печально собравшиеся вокруг могилы. Ты вспомнишь прежние наши радости³⁵, вспомнишь певца Услава; приунывши, возвратишься в свой терем, вздохнешь из глубины сердца и скажешь: «Он меня любил, но его уже нет».

Солнце почти закатилось, когда Усад остановился на берегу источника, в виду Рогдаева терема.

Долго в унылой задумчивости смотрел он на жилище Марии; взоры его искали сияния лампы в окне уединенной ее светлицы... напрасно; глубокая мрачность царствовала в тереме витязя Рогдая. Уже на западе исчезла последняя полоса вечерней зари, на востоке показывалась полная луна, подобная зареву отдаленного пожара: весь терем покрылся ее сиянием. Усад мог ясно видеть, что задвижные окна были все раскрыты; что крепкие тесовые ворота, не заложенные затвором, ходили на железных петлях, — невольно робость проникнула в его душу. «Что это значит? — подумал он. — Отчего такая мрачность в Рогдаевом тереме? Что сделалось с тобой, Мария?» Усад переходит источник вброд и по тропинке, вьющейся в кустах, идет на высоту горы — часто останавливается — слушает — ничего не слышит — одни только легкие струйки ручья переливаются с журчанием по песку, изредка стучит стрекоза, изредка увядший листок срывается с дерева и с трепетанием падает на землю.

— Что предвещаешь ты мне, тишина ужасная? — вопрошал Усад, осматриваясь с робостью и видя вокруг себя одно печальное запустение. Вдруг послышался ему близкий шорох... кто-то бежал... сухие листья хрустели под ногами... шорох приблизился... Усад прячется в кусты... видит женщину... луна осветила ее лицо... Певец узнает добродушную Ольгу, любимую подругу³⁶ Марии... бросается к ней навстречу... Ольга закричала, закрыла обеими руками лицо...

— Защитите меня, силы небесные, — воскликнула она, — привидение! Душа Усадова!

Ноги ее подкосились, она упала бы на траву, когда бы Усад не принял ее в объятия.

— Что с тобою сделалось, добрая Ольга? Отчего боишься Улада?

Ольга дрожала как лист, не смела отворить глаз, крестилась, читала про себя молитву.

— Опомнись, милая Ольга, погляди на меня. Я не мертвец, я Улад, живой Улад, возвратился в свою отчизну, хочу увидеть Марию.

Звуки знакомого голоса ободрили несколько робкую девушку — несколько минут не могла она прийти в себя от испуга, наконец, мало-помалу осмелилась отворить глаза...

— Точно ли вижу Улада? — спросила она. — В самом деле, его лицо, его приятные взоры, его знакомый голос. Ах! Добрый Улад, зачем ты здесь?.. Но удалимся от этого места — мне страшно. Скоро будет полночь; никто из наших поселян не ходит сюда в это время: я сама нечаянно запоздала в роще; удалимся, Улад; это место ужасно.

Ольга побежала вперед, потащив за собою Улада, и чрез две минуты находились они уже на берегу светлого источника.

— Ольга, — сказал Улад, — я не пойду и не пущу тебя далее: хочу знать, отчего так страшен тебе Рогдаев терем и что сделалось с Марию?

— Ах! Добрый Улад, о чем ты у меня спрашиваешь?

— Говори, милая Ольга, именем Бога прошу тебя; неизвестность мучительнее смерти.

— Хорошо, Улад, слушай. Садись ко мне ближе; здесь не так страшно: я вижу на том берегу источника нашу хижину.

Они сели. Улад трепетал; сердце предсказывало ему что-то ужасное.

— Много, Улад, очень много переменилось с тех пор, как ты оставил нашу деревню, — так начала говорить Ольга. — Дорого бедная моя подруга заплатила за свое легкомыслие. Ах! Милосердное небо, для чего, не спросясь с душою своею, поверила она коварным обещаниям обольстителя?.. Улад, Мария твоя ни на одну минуту не переставала о тебе помнить. Что же делать, если она как младенец прельстилась золотыми парчами, жемчугом, лентами, которыми дарил ее грозный Рогдай, и суетною надеждою сиять своими прелестями в великольном граде Киеве?³⁷ Увы! Она сама обманывала себя, когда почитала прежнюю любовь свою угасшею, а гордые свои замыслы³⁸ — привязанностию к грозному Рогдаю. Нет, Улад, не обижай ее такою мыслию: никогда Мариино сердце не было переменчиво; и можно ли, друг мой, забыть те сладкие чувства, которыми животворится душа наша в лучшие годы жизни, с которыми соединены все наши надежды на счастье, которыми земля³⁹ претворяется для нас в Царство Небесное? Ни одной минуты веселия не видала она с той поры, как принуждена была оставить родительскую хижину. Слушай: ввечеру накануне того дня, в который надлежало ей идти к венцу и в церкви Божией перед

святым алтарем навсегда отдать себя Рогдаю, поклявшись тайно, что позабудет Услада навеки, я навестила мою подругу, но где же нашла ее? Здесь, на берегу светлого источника, на том самом месте, где ты, Услад, в последний раз с нею простился. Она сидела в унынии, склонив ко груди прелестную свою голову, с потухнувшими глазами, увядшими щеками, как будто приговоренная к смерти. Ах! Услад, еще не вступила она в Рогдаев терем, а уже мечты удовольствий, которые найти в нем она воображала, для нее исчезли: одна только мысль о том, что была она готова утратить, одно минувшее время, одни погибшие радости наполняли ее прискорбную душу. Увидя меня, она встала, подала мне знак, чтобы я за нею последовала, и молча пошла в свою хижину. Матери ее не было дома; свечка горела⁴⁰ перед образом Богоматери. «Молись вместе со мною, — сказала Мария и упала на землю, обливаясь слезами. — Святая утешительница, — воскликнула она, — молю не о себе; для меня уже нет счастья: не желаю, не буду искать его, я сама от него отказалась; но будь твое милосердие над милым, оставленным, осиротевшим другом моим; храни его, покровительница несчастных». На другое утро принесли к ней богатые дары от Рогдая: она посмотрела на них с равнодушием. Сельские девушки пели веселые песни у дверей ее хижины: Мария, казалось, им не внимала. Мать убирала ее к венцу, ласкала словами и взорами. Мария устремляла на нее умильные глаза, целовала ее руки, вздыхала, утирала слезы и не говорила ни слова. Грозный Рогдай изумился, когда она вошла в церковь, печальная, бледная как полотно, и с трепетом подала ему руку. Лицо ужасного витязя во все продолжение венчального обряда было мрачно: с суровым подозрением рассматривал он свою невесту, которая стояла пред алтарем как жертва, приведенная на заклятие. Их обвенчали. Услад, я повторяю: ни единою радостью не насладились твоя Мария с той самой минуты, в которую оставила родительскую хижину. Мы виделись с нею каждый божий день: всегда находила я ее погруженную в задумчивость. Иногда, вечернею порою, она сидела на скате горы и пела прекрасные твои песни; иногда с прискорбием останавливалась на берегу источника, но чаще всего приходила к реке смотреть на отдаленную твою хижину. Суровость витязя Рогдая приводила ее в трепет: он любил ее страстно любовью, но самая нежность его имела в себе что-то жестокое. Простодушная Мария, которой слова и взоры всегда согласны были с тайным расположением сердца, отвечала на любовь его одною тихою покорностию: она подходила к нему только тогда, когда он сам приказывал ей приблизиться; не смела к нему ласкаться, а только с смирением принимала его надменные ласки. Увы, несчастная Мария, которая прежде была так весела и резва, которая прыгала от

удовольствия в кругу игривых своих подруг, Мария почти никогда уже не улыбалась, и в самой улыбке ее изображено было душевное при-скорбие. Рогдай заметил ее тоску; часто с видом угрюмого подозрения устремлял он свои взоры на бледное лицо Марии: она содрогалась и потупляла глаза свои в землю. Часто хотел он спросить ее о причине такой непрерывной унылости, начинал говорить и уходил, не кончив вопроса, — и что могла бы отвечать ему Мария? Прошло три недели. В одно утро (мы сидели вместе с Мариєю и низали жемчужное ожере-лье для ее матери) приходит он в ее светлицу. «Мария, — говорит он, — послезавтра мы едем в Киев: будь готова». Мария побледнела; руки ее опустились, хотела отвечать, и слезы побежали из глаз ее ручьями. «Что это значит?» — загремел ужасным голосом витязь. Мария схватила его руку (в первый раз позволила она себе такую смелость). «Ради бога, — воскликнула она, устремив на него умильный взор, — пробудь здесь еще один месяц, один только месяц; дай мне познакомиться с печаль-ною мыслию, что я должна расстаться с своею родиною, навсегда поки-нуть свою мать, моих подруг, мои отеческие поля и рощи». Прижавши прекрасное лицо свое к руке ужасного витязя, она орошала ее слезами. Какое сердце могло бы не тронуться умоляющим стенанием Марии? Несколько минут молчал суровый Рогдай: в сумрачных взорах его блес-нуло чувство. «Не могу отказать тебе, Мария, — отвечал он, смягчивши голос, — мне сладко тебя утешить. Согласен, еще на месяц остаюсь в этих местах, но, Мария, — тут устремил он на нее подозрительный взгляд, — ты худо отвечаешь⁴¹ на страстную мою любовь: горе тебе, если не одна привязанность к матери, подругам и отчизне удерживает⁴² тебя в этом месте». Он удалился. Мария посмотрела на меня и не ска-зала ни слова: мы обе вздохнули.

Прошли еще две недели — самые печальные для бедной Марии. Она старалась удалить от себя воспоминания об Усладе, но всякую минуту против воли своей думала: «Он скоро возвратится, он придет отдать мне свою душу, исполненный сладкой надежды, исполненный прежней любви, а я...» Она томилась в тоске и слезах и не могла утаить ни тоски, ни слез своих от Рогдая; он видел ее печаль — но он молчал, и грозные взоры его час от часу становились мрачнее; страшная ревность свирепствовала в его сердце. «Мария, — говорил он иногда, устремив на нее пристальное око, — душа твоя беспокойна, совесть тебя обли-чает: взоры мои тебе ужасны. Мария, — восклицал он иногда громоз-вучным голосом, от которого несчастная цепенела⁴³, — я люблю тебя страстно⁴⁴... но горе, если ты меня обманула!»

Наконец наступило время твоего возвращения, и бедная Мария совсем потеряла спокойствие. Увы! Она боялась ужасного Рогдая, боя-

лась твоего милого присутствия, боялась собственного своего сердца: малейший шорох заставлял ее содрогаться. Она не хотела, она страшилась тебя увидеть, но, Услад, несмотря на то, как будто ожидая тебя, не отходила она от окна своей светлицы, по целым часам просиживала на берегу Москвы, устремив неподвижные взоры на противную сторону реки, туда, где видима соломенная кровля твоей хижины. В одно утро — это случилось на другой день после твоей встречи с пастухом нашего села — навещаю ее, нахожу одну, печальную по-прежнему, на берегу Москвы, на том же самом месте, на которое приходила она и вчера, и всякий день; сказываю, что тебя видели накануне; что ты, узнавши о ее замужестве, не захотел войти в деревню; что ты удалился неизвестно куда. Мария заплакала: «Ангел-хранитель, сопутствуй ему, — сказала она, — пусть будет он счастлив; пускай, если может, забудет Марию». Она устремила глаза на небо. Мы стояли тогда на самом том месте, где волны образуют мелкий залив; разливаясь по светлым камешкам, с тихим плесканием — одна волна прикатилась почти к самым ногам Марии — рассыпалась — что-то оставила на песке — я наклоняюсь — вижу пучок увядших ландышей, перевязанный волосами, — подымаю его, показываю Марии: боже мой, какие слова изобразят ее ужас! Казалось, что грозное привидение представилось ее взору, волосы поднялись на голове ее дыбом, затрепетала, побледнела. «Это мои волосы, — воскликнула она. — Услада нет на свете: он бросился в реку». Она упала к ногам моим без памяти. В эту минуту показался Рогдай: подходит, видит бесчувственную Марию, поднимает ее; смотрит с недоумением ей в лицо: оно покрыто было бледностью смерти; снимает с головы шишак⁴⁵, велит мне зачерпнуть в него воды и орошает ею голову Марии, которая, как увядшая роза, наклонена была на правое плечо. Несколько минут старались мы привести ее в чувство; наконец Мария отворила глаза — но глаза ее были мутны; она посмотрела на Рогдая — и не узнала его. «Ах! Услад, — сказала она умирающим голосом, — я любила тебя более жизни; последние радости, последние надежды, простите!» Как описать то действие, которое произвели слова ее на душе грозного Рогдая? Лицо его побагровело, глаза его засверкали, как уголья; он страшно заскрежетал зубами. «Услад, — воскликнул он, задыхаясь от бешенства, — кто Услад? Что ты сказала, несчастная?» Но Мария была как помешанная; она не чувствовала, что Рогдай стоял перед нею; с судорожным движением прижимала она его руку к сердцу и говорила: «На что мне жить? Я любила его более моей жизни: все кончилось!» Рогдай затрепетал; в испуге обхватил он ее одною рукою поперек тела и помчал, как дикий волк свою добычу, на высоту горы, к ужасному своему терему. Я хотела за ними последовать.

«Прочь!» — заревел он охриплым голосом, блеснув на меня зверскими глазами — ноги мои подкосились. С той поры, Услад, ни разу не видала я нашей Марии... Вечеру прихожу опять к горе, смотрю на высокий терем — все было в нем тихо, как будто в могиле, — светлица Марии казалась пустою — я долго прислушивалась, но все молчало — ничто, кроме трепетания волн и шороха дубравных листьев, не доходило до моего слуха — кровь леденела в моих жилах. «Боже мой, — думала я, — что сделали они с тобою, несчастная Мария?» Три дня сряду приходила я к терему: то же молчание, та же пустота. «Куда девалась Мария? Где витязь Рогдай?» — спрашивали наши поселяне. Один из них осмелился войти в самый терем, но он не нашел ни витязя, ни Марии, ни служителей Рогдаевых: повсюду царствовала пустота, стены были голы, все утвари домашние исчезли — казалось, что никогда нога человеческая не заходила в эту обитель молчания. Увы! Услад, с того времени мы ничего не знаем об участи твоей Марии. Никто из поселян не смеет приблизиться к Рогдаеву терему. Горе заблудившемуся пешеходу, который отважится зайти в него полуночную порою! Божие проклятие постигло этот вертеп злодейств, говорит наш сельский священник. Мы смотрим на него из-за реки, содрогаемся и молим Небесного Царя, чтобы он успокоил душу Марии. Бедная мать ее умерла с печали: мне суждено было от Бога заступить при ней место дочери; я посадила на могиле ее шиповник и молодую липу. Услад, кто знает, может быть, она уже встретилась теперь на том свете с своею Мариєю.

Ольга перестала говорить; Услад не мог отвечать ей ни слова. Несчастный сидел, потупив голову, закрыв руками лицо, состояние души его было ужасно; несколько минут продолжалось печальное безмолвие. Услад посмотрел на Мариину подругу: она плакала, он поцеловал ее в щеку.

— Милая Ольга, — сказал он, — возвратись к своей матери; конечно, беспокоит ее теперь долговременное твое отсутствие⁴⁶; оставь меня, я никогда не сойду с этой горы: она должна быть моим гробом. Бог с тобою, добросердечная Ольга; будь счастлива; скажи в деревне, что бедный Услад жив, что он возвратился, что он умрет на том самом месте, где мучилась и погибла его несчастная Мария.

Они поцеловались опять. Ольга переправилась на другой берег источника; Услад пошел по излучистой тропинке на высоту горы, к ужасному терему.

Полночь была уже близко — полная луна, достигшая вершины неба, сияла почти над самою головою Услава. Он приближается к терему; входит в широкие ворота, растворенные настежь, — они скрипели и хлопали; входит на двор — все пусто и тихо. Дорога от ворот до

крыльца, окруженного высокими перилами, покрыта крапивою, полынью и репейником. Услад с трудом передвигает ноги, наконец, вступает на крыльцо, идет к двери... Дикая лисица, испуганная приходом человеческого, давно не возмущавшим сего пустынного места, бросилась в высокую траву, сверкнув на него глазами; филин, пробужденный шорохом, встрепнулся, захлопал крыльями, полетел на кровлю и завыл... Услад почувствовал робость и начал осматриваться. При свете луны увидел он себя в обширной горнице, в которой находился длинный стол, приставленный к стене; две или три скамейки, лежавшие на полу; пустой поставец, где прежде находились образа, и на полу разбросанные черепки разбитых глиняных кружек: здесь грозный Рогдай угощал иногда поселян и поселянок своей деревни. Услад прошел еще две или три горницы: везде представлялись глазам его голые стены, везде царствовала тишина, изредка нарушаемая шумом нетопырей, которые быстро над ним порхали. Наконец он видит маленькую дверь и узкую лестницу, обвившуюся винтом вокруг столба: сердце его сильно затрепетало — эта лестница вела в светлицу Марии. Услад идет по ступеням, входит в светлицу, ярко озаренную лучами луны, которая ударяла прямо в раскрытые окна. Душа его наполнилась неизъяснимым прискорбием, когда он увидел себя в том самом месте, где бедная Мария провела последние дни своей жизни, встречая утро со вздохами, провожая вечер с унынием. Он находил горестное удовольствие дышать тем воздухом, которым некогда она дышала; как будто чувствовал, что в тихой полуночной прохладе разливалось вокруг него ее присутствие. Все было ею наполнено — на все устремлял он с неописанным волнением взоры свои, ибо везде мечтались ему следы милого бытия утраченной Марии. В одном углу брошены были ее пяльцы с недоконченным шитьем, которое все почти истлело. В другом что-то блистало — Услад приближается: смотрит — что же? Находит тот самый образ Богоматери в серебряном окладе, который привез он ей из Киева и который Мария, до самой разлуки с Усладом, носила на шее; он упал перед ним на землю, заплакал, снял его со стены, поцеловал и положил на грудь свою. Он сел под окно — глаза его устремились на Москву, которая тихо вилась под горою, отражая в волнах своих и берега, покрытые лесом, и синее небо, усыпанное легкими сребристыми облаками; окрестности, одетые прозрачною пеленою светлого сумрака, были спокойны; все молчало — и воздух, и воды, и рощи. Услад задумался; минувшее предстало его воображению, как легкий призрак; он видел Марию, прежде цветущую, потом увядающую во цвете лет. «Здесь, — думал он, — сидела она в унынии под окном, смотрела в туманную даль и посылала ко мне свои вздохи; здесь, проливая слезы, молилась перед святою иконою,

здесь, о Боже милосердый, может быть на самом этом месте убийца...» Он содрогнулся; ужас проникнул все его члены; ему мечталось слышать стенания⁴⁷, выходящие как будто из могилы; мечталось, что скорбное, тоскующее привидение бродило по горницам оставленного терема; жилы его сильно бились; кровь, устремившаяся в голову, производила в ушах его звуки, подобные погребальному стону. Час полночи, всеобщее безмолвие, мрачность и пустота ужасного терема — все приготавливало душу его к чему-то необычайному: таинственное ожидание наполняло ее. Услад сидит неподвижно... прислушивается... все молчит... ни звука... ни шороха... Вдруг от дубравы подымается тихий ветерок: листочки окрестных деревьев зашевелились, ясная луна затуманилась, по всем окрестностям пробежал сумрак⁴⁸, какое-то легкое, почти нечувствительное дуновение прикоснулось к пламенным щекам Услада и заиграло в его разбросанных кудрях⁴⁹: казалось, что в воздухе распротранялось благовонное дыхание весны и разливалась приятная, едва слышимая гармония, подобная звукам далекой арфы⁵⁰. Услад поднимает глаза... что же? О ужас! О радость!.. Он видит... видит перед собою Марию — светлый, воздушный призрак, сияющий розовым блеском; одежда ее, прозрачная, как утреннее облако, летящее перед зарею, расстилалась по воздуху струями; лицо ее, бледное, как чистая лилия, казалось прискорбным, на милых устах видима была унылая улыбка; задумчивый взор ее стремился к Усладу. Священный ужас наполнил его сердце.

— Ты ли, душа моей Марии? — воскликнул он, простирая к привидению трепещущие руки. — О! Скажи⁵¹, для чего покинула ты селения неба? Велишь ли мне разлучиться с жизнью? Хочешь ли приобщить меня к своему блаженству?

Он умолк — ответа не было. Но призрак, казалось, хотел, чтобы Услад за ним последовал — одною рукою указывал на дремучий лес, другою, простертою к Усладу, манил его за собою. Услад осмелился ступить несколько шагов... привидение полетело... Услад остановился... и вместе с ним остановился призрак, опять устремив на него умоляющие взоры... Услад был в нерешимости... не знал, идти ли ему, или нет... наконец ободрился... пошел... руководствуемый таинственным вождем, вышел на пустынный двор, за ворота, наконец, в дремучий лес, который на несколько верст простирался позади Рогдаева терема. Входит во глубину леса — тишина и мрачность окрест него царствуют; ни одно живое творение не представляется взору его; дикие дубравные звери, как будто чувствуя присутствие бесплотного духа, ему сопутствующего, уклоняются от стези его с робостию... храня глубокое безмолвие, идет он за бледным улетающим сиянием... несколько часов продолжалось

его уединенное шествие... вдруг видит реку, вьющуюся под сению древних дубов, развесившихся берез и мрачных елей... устремляет глаза на светлую свою сопутницу... она остановилась... печаль, прежде напечатленная во взорах ее, уже исчезла: они сияли небесным веселием... привидение указывает ему на небо... улыбается... простирает к нему объятия... и вдруг, как легкая утренняя мечта, исчезает в воздушной пустыне. Все помрачилось; Услад остался один, в глуши дремучего леса, в стране ужасной и дикой... осматривается... видит вблизи сверкающий огонек... идет... глазам его представляется низенькая хижина, покрытая соломой... он отворяет дверь... дряхлый старик молится перед распятием, при свете ночника... скрип двери заставил его оглянуться... он посмотрел пристально Усладу в лицо... улыбнулся и подал ему руку.

— Благословляю приход твой, — сказал отшельник, — давно пророческое сновидение возвестило мне его в этой пустыне. В лице твоём узнаю того юношу, который несколько раз являлся мне в полуночное время, когда в спокойном сне отдыхал я после трудов и молитвы.

— Кто ты, старец? — спросил Услад, исполненный умиления и тайного страха.

— Смиренный отшельник Аркадий, — отвечал старик. — Два года, как поселился я на берегу светлой Яузы, в этой уединенной хижине. Здесь провожу дни свои в молитве, оплакиваю прошедшие заблуждения и спасаюсь. Приди в обитель мою, несчастный труженик: в ней обретешь утраченное спокойствие, а с ним и желанное забвение прошедшего. Скажи мне, кто указал тебе дорогу к моей неизвестной хижине?

Услад описал ему несчастья своей жизни.

— Так, — воскликнул Аркадий, выслушав повесть Услада, — здесь, на берегу Яузы, покоится несчастная твоя Мария; мне назначило Божие Провидение принять последние взоры ее и примирить с небом ее отлетающую душу. Слушай: в одно утро я собирал коренья на берегу Яузы; внезапно поразили слух мой жалобные стенания... Иду... шагах в пятидесяти нахожу женщину, молодую, прекрасную, плавающую в крови, — это была твоя Мария; вдали раздавался конский топот; воин, одетый в панцирь, мелькал между деревьями; он вскоре исчез в густоте леса — то был убийца Рогдай. Беру в объятия умирающую Марию — увы! Последняя минута ее уже наступила, уста и щеки ее побледнели, глаза смыкались. Медленно подняла на меня угасающий взор. «Прими мою душу, благослови меня», — сказала она, усиливаясь приложить руку мою к сердцу. Я перекрестил ее — умирающая посмотрела на меня с благодарностию. «Ангел-утешитель, — сказала она, простирая ко мне объятия, — молись о душе моей, молись об Усладе». Взоры ее потухли,

голова наклонилась на плечо — она скончалась. Могила ее близко. Ты скоро увидишь ее, Услад; заря начинает уже заниматься.

— Ах! несчастная! — воскликнул Услад. — Какая участь! И этот убийца жив!.. Нет, божий угодник, клянусь у ног твоих...

— Услад, не клянись напрасно, — отвечивал старец, — небесное правосудие наказало Рогдая: он утонул во глубине Язузы, куда занесен был конем своим, испугавшимся дикого волка. Усмири свое сердце, друг мой; скажи вместе со мною: вечное милосердие да помилует убийцу Марии!

Услад утихнул.

— Очи мои прояснились, — воскликнул он и простерся к ногам священного старца⁵². — Она сохранила ко мне любовь и за гробом⁵³. Отец мой, тебе, воспоминанию и служению Бога посвятится отныне остаток моей жизни.

Заря осветила небо, и лес оживился утренним пением птиц. Старец повел Услада на берег Язузы и, указав на деревянный крест, сказал:

— Здесь положена твоя Мария.

Услад упал на колена, прижал лицо свое, орошенное слезами, к свежему дерну.

— Милый друг, — воскликнул он, — Бог не судил нам делиться жизнью: ты прежде меня покинула землю, но ты оставила мне драгоценный залог твоего бытия — безвременную твою могилу. Не для того ли праведная душа твоя оставляла небо, чтоб указать мне мое пристанище и прекратить безотрадное странничество мое в мире? Повинуюсь тебе, священный утешительный голос потерянного моего друга; не будет прискорбна для меня жизнь, посвященная гробу моей Марии: она обратится в ожидание сладкое, в утешительную надежду на близкий конец разлуки.

Услад поселился в обители Аркадия: на гробе Марии построили они часовню во имя Богоматери. Прошел один год, и Услад закрыл глаза святому отшельнику. Еще несколько лет ожидал он кончины своей в пустынном лесе; наконец и его последняя минута наступила: он умер, приклонив голову к тому камню, которым рука его украсила могилу Марии.

И хижина отшельника Аркадия, и скромная часовня Богоматери, и камень, некогда покрывавший могилу Марии, — все исчезло; одно только наименование *Марьиной рощи* сохранено для нас верным преданием. Проезжая по Троицкой дороге⁵⁴, взойдите на Мытищинский водовод⁵⁵ — вправо представится глазам вашим синееющийся лес; там, где прозрачная река Язуза одним изгибом своим прикасается к роще и отражает в тихих волнах и древние сенистые дубы, и бедные хижины,

рассыпанные по берегам ее, — там некогда погибла несчастная Мария; там сооружена была над гробом ее часовня во имя Богоматери, там наконец и Услад кончил печальный остаток своей жизни.

КОНЕЦ ВЕЩЕЙ

(ИЗЪЯСНЕНИЕ КАРИКАТУРЫ, СООБЩЕННОЙ В XXIV №
«Вестника Европы» 1808)^(*)

Finis! Конец! — слова, изображенные на табачном дыме, который вместе с последним дыханием выпустит изо рта умирающее время, переломив свою трубку — вечная память покойнику! Оно докурило свой табак, теперь остается ему только высыпать золу и прилечь — оно то делает! Коса его переломлена; часы разбиты; из левой руки выпадает свиток — духовная, по которой наследником и исполнителем последней воли покойника назначается Хаос; три Парки подписались свидетелями. Лежащие на земле разные мебели расположены, кажется, самим Хаосом, по собственной, ему одному приличной методе: вот комедия, развернутая на последнем явлении, в конце которого читаете: *exeunt omnes, все уходят*; подле неё пустой разорванный кошелек и форменное объявление о банкротстве Натуры (Nature bankrupt) с огромною печатью; далее — старая башмачная колодка с обрывком ремня; вытертая щетина подле изломанной короны, переломленного лука, треснувшей палитры Гогартовой, ружейного приклада и горестных развалин старого помела. Разбитый колокол брошен подле разорванной политической картинке, писанной самим Гогартом и называемой «*The times*» (Времена)¹ — эта картина, скажем мимоходом, была причиной многих неудовольствий для живописца: она навела на него гонения Вильксовою и Куршиллевою критики². У самой картинке лежит огарок, который гаснет, зажигая картину в том самом месте, где видна надпись «*The times*» — со Временем должно погибнуть и самое имя его! Далее представляется глазам нашим обрушившийся карниз; над ним наклонился столб, несколько похожий на виселицу, с вывеской разрушающегося мира — это натурально: если разрушается мир, то и сама вывеска его должна исчезнуть; жаль только, что этот несчастный мир представлен здесь, как беглый сочинитель пасквиля, повешенный en effigie³ — доказательство, что Гогарт не имел намерения польстить ему в своем надгробном панегирике. Далее видите развалившуюся башню с часами без стрелки, которой покойное время подписало при смерти отпускную;

(*) Оно выходит несколько поздно: просим извинения у наших читателей. Ж.

обрушившуюся хижину, иссохшие деревья, надгробные камни, утопающий корабль, потухший месяц, умирающее на колеснице солнце и вместе с ним тройку коней, издыхающих, опустив головы на облачные подушки. Смешна виселица, которая одна, невзирая на всеобщий паралич Натуры, стоит прямо и невредимо, со своим причетом⁴, как будто надеясь присоединиться на что-нибудь в шестом акте, при новом преобразовании вещей.

Эта карикатура есть самое забавное *temento mori* (помни о смерти); или, лучше сказать, самое комическое изображение Натуры, лежащей на смертной постели. Посреди смешного встречаем, однако, и трогательное: я говорю об изломанной палитре живописца. С тех пор, как она брошена к ногам умирающего времени, ещё не явился ни один живописец-сатирик, способный заменить того человека, который натирал на неё свои краски. Картина сия была последним произведением творческой кисти Гогарта. Дописав её, он вдруг почувствовал в душе какое-то пророческое исступление, схватил опять оставленную кисть, изобразил на картине палитру свою и написал решительное слово *Finis*. «Всё кончено!» — воскликнул он и навсегда перестал трудиться, не назначив, однако, по себе преемника: он умер спустя один месяц по окончании этой картины — анекдот не вымышленный и всем известный!

Лихтенберг

О ЛИТЕРАТУРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ В XVIII СТОЛЕТИИ

Осьмой-на-десять век, до самого 1789-го года, был не весьма обилен происшествиями; он протекал спокойно, без всяких политических потрясений — во Франции был он замечен единственно произведениями ума и ходом человеческих мнений.

Но последние годы века сего были ознаменованы происшествиями столь ужасными и достопамятными, что, может быть, во всей истории человечества нет ни одной эпохи, достойной с ним сравниться — эпохи, которая произвела бы перемену столь всеобщую в судьбе народов — эпохи, в которую все мнения о политике, морали и других предметах, не менее важных, изменились бы столь быстро и совершенно.

Многие старались найти причину сего чрезвычайного переворота. Одни приписывали его расстройке доходов государственных; другие слабости двора; некоторые беспокойству умов; иные произведениям философов, которыми наиболее гордятся современники — но все вообще, более или менее, ошибались в своих заключениях.

Такой предмет, конечно, достоин внимания историков, изыскивающих причины тех происшествий, которые они описывают, но он в то

же время представляет трудности, могущие остановить перо писателя, который дорожит спокойствием собственным и уважает чужое.

В последних месяцах напечатана во Франции книга, под заглавием «*О литературе французской в XVIII веке*», писанная неизвестным, весьма глубокомысленным автором¹. Трудности, о которых сказано выше, не испугали его. Исполненный предмета, о котором размышлял он долгое время, который рассматривал со всех сторон, осмелился он пламенником критики осветить мнения, противоречащие одно другому, софизмы, взаимные обвинения, доказательства, основанные на происшествиях сомнительных, заблуждения, предрассудки и сказать решительно: Французская революция сделалась потому, что *необходимо должна была сделаться*.

Он начинает книгу оправданием писателей XVIII (здесь и далее: века. — И. А.), которым без всякого основания приписывали ужасное намерение разрушить всеобщий порядок, которые — по словам их противников — систематически расположили план ужасной драмы, ознаменовавшей последнее десятилетие. Писатели XVIII — говорит он — были *необходимыми причинами*, действовавшими совокупно с бесчисленным множеством других, столь же сильных; они были увлечены могуществом обстоятельств и тем движением, которое внезапно произошло в понятиях общих.

Мнения — говорит он — имеют *ход, зависящий от обстоятельств*; ум человеческий обращается в круг покоя и деятельности, просвещения и невежества, которых и действия, и успехи не могут быть ни предвидимы, ни отвращены прозорливостью политика.

Литературу XVIII века не должно почитать ни заговором целого общества против алтаря и трона, ни общим соглашением для блага человеческого рода: она не иное что, как *выражение общества*, по словам господина Бергасса². Вместо того, чтобы управлять и нравами, и образом мыслей своих современников, писатели представили нам одно их произведение (*resultat*); будучи подвержены сами влиянию своего века, они ускорили, а не произвели его.

Автор, предложив сии правила, подтверждаемые рассудком и выраженные искусным пером писателя приятного, обращается к литературе XVI столетия, с которою, для лучшего изъяснения своих мыслей, почитает за нужное сравнить литературу XVIII-го.

В то время (то есть в XVI веке), говорит он, литература и науки имели слабое влияние на бытие и благо империи; люди ученые жили уединенно, посвятив себя спокойствию и бездействию кабинета; ум их обитал в мысленном мире, а работы не касались ни до чего, употребительного в обыкновенном кругу общежития; современные происше-

ствия были им чужды; они сообщались с публикою посредством одних своих книг. И в XVII веке, и в царствование Людовика XIV писатели продолжали вести уединенную жизнь, но в это время пользовались уже более их пером, и произведения их ума сделались важнее по своему ощутительному влиянию на общество.

Из сих обстоятельств, соединенных с политическими обстоятельствами междоусобий и неустройств, которыми ознаменовано малолетство Людовика XIV³, произошла та смелость правил, та необузданность мнений и та свобода в суждении о вещах, которые заметны в сочинениях Корнеля, Мезерая, кардинала де Реца, Бальзака, Ламотта ле Вайе⁴. Сам Паскаль⁵ подвержен был влиянию своего времени. Мольер, который жил в обществе сих людей, занял от них и некоторую часть того мужества, которым отличается его великий гений, и глубокомыслие, которое находим в его замечаниях, и забавную шутовскую шутливость своего слога. В первых сочинениях Расина, имевшего связь с последними учениками этой школы, также заметны некоторые следы их духа: «Британик» его, принятый столь холодно и двором, и публикою, изменившимися уже весьма много, есть доказательство того влияния, которое имели на поэта его учителя. Впоследствии он выбрал другую дорогу; но эта перемена не сделала никакого вреда его гению, на все способному и чрезвычайно гибкому.

Потребность спокойствия, благодарность к тому, который его даровал, блистательное и новое зрелище двора, который, обольтив нацию, покорил ее, обратили умы на другую сторону. Всякий почитал за славу трудиться для славы монарха; всё стремилось ему угождать, но должно признаться, что все сии люди, украшавшие царствование Людовика XIV, писатели, полководцы, министры родились и образовались в такое время, когда еще владычество его не укоренилось, и гений их созревал, так сказать, во времена свободы и мужества. Сие поколение людей необыкновенных, истощившись, не возобновлялось. Людовик XIV нашел их соединившимися вокруг его трона, но он не мог собственною силою произвести на место их новых, и блеск его весьма помрачился в то время, когда потерял он благородных своих сопутников.

Сочинитель мимоходом обращает внимание читателя на людей, оставшихся после сего упадка; он смелыми чертами изображает характеры Массильона, Беля, Кребийона, Ж. Б. Руссо и канцлера Дагесо⁶. Ж. Б. Руссо — говорит он — исполнен огня и пышного красноречия в своих одах. Невзирая, однако, на то, что люди, почитающие себя приверженными к религии, наименовали его *великим*, мы должны признаться, что он удалился своим характером от строгой нравственности Людовикова времени⁷. Не говоря о многих, весьма свободных прави-

лах, которые попадают на нас в некоторых одах сего великого лирика, заметим, что религия писателя, унижающего себя непристойными эпиграммами в то самое время, когда он играет на арфе Давыдовой, должна быть самая легкая и поверхностная. Такая противоположность в одном и том же писателе не служит ли доказательством, что современники его, также как и он сам, перестали уважать мнение людей строгих, прежде священное и даже страшное?

Наконец автор обращается к XVIII-му столетию.

Верховная власть, говорит он, потеряла уже свою важность и большую часть своей силы. Религия не была уже благодетельною уздою. Свобода сомневаться почти уничтожила могущество уверения. Привычка рассуждать сделалась общею. Каждый уважал собственное мнение и менее верил общему. Но литература не получила еще решительного направления, ибо еще не являлись те люди, которые силою дарований своих могли его назначить: и дух, и нравы нации были приведены в состояние нерешимости и приготовлены к перевороту.

Мало-помалу в судьбе писателей произошла ощутительная перемена: число их увеличилось; они сами сделались важнее, независимее, заметнее в кругу общественном: натурально, что свойственная им гордость от того увеличилась и самые их мнения сделались свободнее. Препятствия, положенные им, были слишком слабы и мало действительны: они только усилили расположение их к противоборствию. Подкрепляемые мнением общества, ослепленные уважением, которое показывали им знатные люди, принцы и государи, они соединились и некоторым образом составили секту, которой последователи, не имея никаких *одинаких* правил, но будучи оживлены одним и тем же духом, без всякого предположенного плана, стремились к одинакой цели, стремились произвести одинакое действие — таково происхождение *энциклопедистов*.

В этом месте автор изображает характеры тех писателей, которыми прославлено царствие Людовика XV. Он рассматривает их с новой точки зрения, то есть, в отношении к тому влиянию, которое имели они на нравы своего времени. Он судит их с беспристрастием, строго вооружается противу их необузданности, но всех их оправдывает в *главных побуждениях*. В первом ряду представляются глазам читателя Вольтер, Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Бюффон.

Вольтер, говорит автор, человек пламенного гения, увлекаемый сильными страстями, сам подчинен был сначала сим *новым* мнениям; потом начал им льстить, опередил их и наконец сообщил им движение слишком скорое. Он блистал на сцене Мельпомены, которую украсил произведениями превосходными. Его поэзия отличается приятностию, остроумием и легкостию, но деятельность его не могла удовлетво-

ваться *одним*, он желал обнимать *все*, требовал успехов всякого рода и часто во многом имел успех совершенный. Все его сочинения имеют одинаковую цель: все до одного суть *выражение современного ему образа мыслей*. Несправедливо приписывали ему пагубное намерение низринуть и трон, и алтарь: он хотел только нравиться своему веку, подчинять его владычеству своего ума, мстить своим неприятелям, иметь сообщников, которые могли бы его хвалить и защищать. Вольтер не пощадил морали, потому что он жил в такое время, когда мораль была почти в упадке; не пощадил законов своего отечества, потому что правление не было ни уважаемо, ни сильно. Он имел дух независимый и слишком наклонный к противоречию — таковы источники его необузданных мнений и настоящие причины тех крайностей, в которые вдавался он, к несчастию своих современников.

Монтескье, знаменитейший из современников Вольтера и равный ему в числе необыкновенных людей, прославивших царствование Людовика XV, оставил в своих сочинениях признаки того времени, в которое он жил. Враги так называемой философии XVIII века должны, вместе со многими, предавать проклятию и автора *«Персидских писем»*, в которых заметна сия наклонность к парадоксам, сие развращение мыслей, сие решительное суждение о нравах и сей опасный скептицизм, касательно к религии, доказывающие живость, пронизательность и вместе необузданность его духа. В славной своей книге, *«О духе законов»*, Монтескье всегда представляется покорным рассудку, привязанным к истине, но в то же время и беспрестанно увлекаем силою воображения, прелестью мыслей блестящих. Время и революция открыли в сей книге, достойной славы своей, такие заблуждения, которые необходимо должны были ускользнуть от самого автора. Сколько правлений и конституций, казавшихся образцовыми, теперь потеряли всю цену в наших глазах! Сколько людей, прежде изумлявших нас и духом своим, и славою, представляются нам теперь лишенными всех своих добродетелей! Таково действие обстоятельств и мнений. Монтескье, который писал во время спокойствия и порядка, почитает успех необходимою наградою *добродетелей и чести*; Макиавелли, свидетель жестоких сражений италийской политики, видит успех в одном только *искусстве и силе правителей*.

Ж.-Ж. Руссо, воспитанный в несчастьи, в уединении, всегда погруженный в мысли и тайную унылость, сделал живейшее впечатление на умы своих современников; характер его от всех отличен. Философия нашла в нем сильного защитника, одаренного чувством и красноречием непобедимых. Но должно признаться, что правила сего философа и сами по себе весьма опасны и, может быть, наиболее повредили обще-

ству. Руссо, не имевший ни отечества, ни семейства, странник, лишенный пристанища, имел самолюбие чрезмерно раздражительное и питал в сердце своем скрытую ненависть ко всем установлениям гражданским. Во всю свою жизнь сражался он с обществом, в котором обстоятельства и характер препятствовали ему занимать пристойное место. В сем-то печальном расположении духа почерпнул он, так сказать, свое дарование. Почитая все должности оковами, хотел он вести человека к добродетели стремлением свободы и страсти; хотел, чтобы он гордо и независимо летел ее стезями! Но такие стези опасны, и редкий, избрав их, не заблуждался. Первый Руссо может служить примером заблуждения: прославляя добродетель с жаром и восхищением чувствительного сердца, он более, нежели кто другой, озаменовал жизнь свою проступками.

Бюффон более всех современников своих приблизился к характеру и таланту писателей предшествовавшего века, писателей, которые умели так смело пользоваться своим языком, которые запечатали его печатью души и мыслей своих. Гений *Бюффона* имел великое сходство с гением философов Греции, одаренных воображением живым и смелым. Он восстал против тех, которые почитали историю природы простою *номенклатурой*, собранием простых описаний, соединенных одно с другим искусственной нитью. Пламенный ум его дерзнул проникнуть в тайны природы, чтобы их обнаружить и представить в картине привлекательной. Слог его живописен; красноречие величественно и убедительно.

Между писателями, которых автор поставил на вторую степень, заметим аббатов *Мабли* и *Кондильяка*, *Гельвеция*, *Даламбера*, *Дидрота*, *Дюкло*, *Грессета*, *Мармонтеля*, аббата *Реналья*, *Бомарше*, *Бартеlemi*, *Лагарпа*. Он судит о каждом из них с великим беспристрастием; рассматривает их мнения; изображает их характер. *Реналья*⁸ осуждает он с наибольшей строгостью. Может быть — говорит он — не найдем ни одного писателя, которого идеи были бы столь безрассудны, который писал бы таким неправильным слогом. Трудно представить, как может человек дойти до такого исступления в мыслях и до такой надутости в выражениях. *Реналь*, кажется, находит удовольствие в мнениях, противных порядку общественному; можно подумать, что этот софист своими восклицаниями старался *выкликать* те преступления и злодеяния, которых мы ужасаемся, читая историю революции Французской. Несмотря на то, *Реналь*, находясь среди неустройств и возмущений революционных, был справедлив, неустрашим и кроток.

Писатель, заключенный в своем кабинете, не зная ни людей, ни дел общественных, воспаляется собственными своими мыслями. Рево-

люции, кровопролитие, падение империи кажутся ему одним только великим зрелищем, одним украшением *триумфа* его мнений. Но покидая перо, этот человек становится единственно тем, что он есть — другом тишины, человечества, законов.

Автор заключает книгу свою изображением беспорядков революции. Он говорит, XVIII-го века никогда не будут смешивать с теми эпохами, которые протекли, не оставив никакого следа в памяти людей. Стремление ума человеческого и степень, которой он достигнул, были столь необыкновенны в сию эпоху, что никогда не будут смотреть на нее без любопытства и удивления. Мы желали бы, чтоб этот начинающийся век, этот век, который видел наше рождение и увидит наш конец, принес бы детям и внукам нашим не более славы и блеска, но более добродетелей и менее несчастий.

Из Journal de Paris

О ТОМ, ЧТО НАС ОБМАНЫВАЕТ

Оргон, которого ужасно теснили в театре, посматривал с беспокойством на людей, окружавших его; следовал глазами за каждым их движением, за каждым их взором; оборачивался во все стороны; боялся, чтобы у него чего-нибудь не украли... и в ту самую минуту вытащили из кармана его табакерку.

«Если бы вы, господин Оргон, — сказал ему один знакомый, — держали руку в кармане, то ваша табакерка осталась бы цела. Надобно смотреть за самим собою, когда желаем, чтобы другие нас не уловили».

Беспреданно говорят людям: *берегитесь обманщиков*; а я, напротив, сказал бы им: берегитесь тех способов, которые вы сами даете им для обмана. Вор никогда не зайдет к нам, если вы заградите для него все входы; закройте *и окна, и двери* и не заботьтесь о том, что он будет бродить около вашего дома. Корабль, крепко законопаченный, плавает по морю без всякой опасности; если пройдет в него вода — что будет тому причиною? Конечно, не вода, государи мои, но отверстия.

Обманутый человек жалуется на обманщика и говорит: он меня обольстил! Но для чего же допускали вы к себе обольстителя? Он обещал великие выгоды! Но кому? Не вам, а корыстолюбию вашему. Для чего же позволяли вы корыстолюбию своему слушать его пленительные обещания? Оно-то своим обманчивым языком изъясняло те слова, которые, без помощи его, не имели бы для нас никакого смысла; оно-то вас уверяло, что с маленьким трудом и небольшими пожертвованиями приобретете вы чрезвычайно много! Подумайте сами: если бы не

пришло вам в голову искать прибýtка; если бы, имея достаток посредственный, но соразмерный с вашими желаниями и даже прихотями, не вздумали вы искать *богатства*, то, без сомнения, слово «выгода» показалось бы вам непонятным, ибо оно представило бы рассудку вашему такую вещь, которая не только для вас не полезна, но даже соединена с пожертвованиями и трудами. Но корыстолюбие, корыстолюбие! Оно-то всему причиною — оно служило посредником между вами и коварным обольстителем; его старался он преклонить на свою сторону! А вы? Что делали вы в то время? Для чего позволили обманщику найти желаемое?

Но вóт что кажется мне всего забавнее! Корыстолюбие довело вас до глупости: корыстолюбие и огорчается вашею неудачею, и делает вам упреки. Всегда видим, что та самая страсть, которая наиболее способствовала нас обмануть, наиболее восстает и против обмана, в этом случае она подобна тем людям, которые помогают красть и первые кричат: «Разбой!», чтобы избавить себя от подозрения. Таково сердце человека: если уловило его самолюбие, то самолюбие же и оскорбляется, и ропщет. Вы наказываете слугу за то, что он вас рассердил — другими словами: вы наказываете его за то, что вы сердиты. Но скажите, был ли бы он наказан, если бы вы были терпеливее? Конечно, нет.

«Один подагрик, — пишет Монтань¹, — отвечал лекарю, который требовал, чтобы он не ел соленого мяса, что ему непременно надобно на кого-нибудь жаловаться и что он всегда чувствует облегчение, когда укоряет в своей болезни то ветчину, то солонину, то языки говяжьи».

Стенание кажется необходимым для тех, которые страдают: мы все, сколько нас ни есть, любим жаловаться на других. Если бы надлежало обвинять одних себя, то мы принуждены бы были скрывать досаду в своем сердце. Кто подымает руку, чтобы ударить, уверяет Монтань, тому досадно, если он промахнется. И еще досаднее, прибавим, если ударит самого себя. Подагрик, о котором упомянуто выше, сказал бы охотно: *я испортил себе желудок*, но мучаясь подагрой, он говорил: *это от солонины*. Мы все согласны обвинять самих себя в несчастиях мелких; напротив, в *больших* желаем обвинять кого-нибудь другого. Но жалуясь на других, не даем ли мы чувствовать, что глупость, которую они заставили нас сделать, слишком велика, и что нам потому именно тяжело принять ее на свой счет? Человек, который досадует на другого, подавшего ему вредный совет, может сравниться с бедняком, который осердился бы на вас за то, что вы подали ему деньги, которые он принял. Вас обольстили похвалами, следовательно, похвалы вам нравятся. Федра, исполнив совет Эноны, обременяет ее проклятиями:

Льстецы! Ужасный дар разгневанных
Небес!²

Но кто же велит Царям принимать от Неба этот ужасный дар? Осмеливаясь (хотя едва ли это будет прилично) напомнить вам о народной пословице: *осла не заставишь пить, если он сам не захочет*. Если вы не имеете жажды похвал, то можете ли быть упоены лестию? Надобно, чтобы эта жажда была чрезмерная, и чтобы вы пили с жадностью, ибо вы не чувствуете на языке неприятной горечи. Одна женщина говорила мне, что всякое лестное слово открывало ей какую-нибудь неприятную истину. «Все восхищались высоким моим голосом, я заключила из того, что не могу петь приятно — и перестала петь. Хвалили быстроту и легкость мою в танцах, я уверилась, что не имею довольно благородства, и старалась исправить в себе этот недостаток. Однажды спросили у меня: *какой тебе год?* Я отвечала: *двадцать четыре*. — Этого не можно вообразить по вашему лицу! — Я тотчас поняла, что в двадцать четыре года начинает лицо показывать лета. В тридцать лет понравилась я некоторым мужчинам: один хотел породить мне, утверждая, что женщины *в летах* нравятся ему более молодых; а другой, что красота — последнее дело в женщине. Что же вышло? Я узнала в одно время, что я и стара, и не красавица. Но эти господа хотели мне льстить и нравиться».

Вспомните грубую лесь старого кардинала д'Этрея, в присутствии которого Людовик XIV жаловался, что у него выпали все зубы. *Но у кого есть зубы, Ваше Величество?* — сказал он, показывая тридцать два здоровых зуба свои. Он признавал, однако, что у короля не было зубов. Другой, прохаживаясь с тем же королем по саду в Марли³, сказал: *«Ваше Величество! Здешний дождик не мочит»*. Но он соглашался, что в ту минуту шел дождик. Льстец никогда не старается опровергнуть истины явной: этого было бы для него слишком много; он ищет только согласовать с нею частное, собственно для него полезное мнение; выгода его состоит не в том, чтобы увеличить понятие, которое вы имеете о своем достоинстве, но чтобы уверить вас, что он чувствует его живее других; не в том, чтобы сокрыть от вас недостатки ваши, но чтобы убедить вас, что он их не видит или ими не оскорбляется. Он обманул вас насчет собственных своих чувств: для чего же вы идете далее? «Кларисса! Дорваль уверяет, что смуглость вашего лица приятнее для него Софииной ослепительной белизны» — должны ли вы заключить из его слов, что вам надобно носить платье такого цвета, который приличен одной только Софии? Дорваль не сказал вам, что смуглые лица от всех предпочитаемы белым, и вы напрасно будете утверждать, что введены в заблуждение лестию Дорваля. Что же оставалось вам делать? Нра-

виться Дорвалю теми приятностями, которые нравились одному ему, и не смешить других своими странностями, которых он никогда от вас не требовал.

Л*... уверяет тебя, любезный Д*..., что новая трагедия твоя, которую не хотели принять актеры, лучше Расиновой «Андромахи». Тем лучше для него, и я советую тебе подарить и даже посвятить благосклонному Л* твой манускрипт, переплетенный в сафьян с золотым обрезом. Но кто принуждает тебя его печатать? Разве Л* сказал тебе, что публика согласна с его вкусом? Ты один мог, благодаря своему самолюбию, вообразить, что все образованные люди восхищались твоею трагедиею в лице друга твоего Л*.

Не говори же: *меня обманули!* Но: *я обманулся!* — это выражение правильнее. Обманщик имел в тебе самом искусного своего помощника; он обманул тебя с собственного твоего согласия.

(С французского)

БРАК ПО РАСЧЕТУ

Когда живописец Гогарт издал в свет карикатуру, названную им «Mariage à la Mode», то все пришли в недоумение, не зная, на кого целил художник. Список его имел разительное сходство со многими оригиналами. Лорд X и мистрис Q имели такие же причины почитать его своим портретом, как и барон Z, и сир Y, и милади Abrakadabra¹. Некоторые находили в нем историю своей жизни, другие — верное для себя предсказание. Утверждают, что Гогарт имел образцом своим лорда В. Итак, не он виноват, что с ним случилось то же, что с некоторым проповедником, который, читая поучение о супружестве, сказал, что бросит книгу свою в неверного мужа, замахнулся — и вдруг увидел сотни две мужских голов, наклонившихся для избежания удара.

Вот первая картина — (вся история «*Брака по расчету*» заключается в шести)^(*). Вы видите горницу великолепно убранную, с богатыми мебелями; за столом сидят два человека: один стар и в подагре; другой несколько моложе, по крайней мере, здоров и крепок. Первый, то есть подагрик, Его Сиятельство граф Шкуандерфильд^(**) есть человек знатного происхождения, от всех признанного древним, благородства неотрицаемого, хранящегося в прародительском сундуке под видом

(*) Пять из них будут помещены в «Вестнике» с объяснением.

(**) Squanderfield, слово, составленное из двух: to Squander, расточать, и field, поле, недвижимость, имение.

пергаментного свитка, обремененного пятью или шестью печатями. Другой не иное что, как простой купец с кредитом и полновесным благородством мешков, туго набитых гинейми, временный шериф² города Лондона, следственно именуемый: *Ваше благородие*. Чем они занимаются? Пишут или подписывают условие, которого содержание и пункты следующие. Граф Шкуандерфильд нажил подагру не даром: он заплатил за неё всем своим именем; ноги Его Сиятельства распухли, а кошелек отошал. Благородный шериф имеет маленькое пристрастие к знатности и чинам, но, по несчастю, в жилах и артериях его прауродителей столь же много мещанского и простонародного, сколько в сундуках его княжеского, и даже если хотите, царского. Между ними происходит мена: один уступает мещанскую полновесность своих гиней за благородную пустоту именитого графского кошелька; другой соглашается променять благородство графского происхождения на тщетный, кимвальный звон мещанского золота — и вот каким образом: Его Сиятельство отдает купеческому семейству некоторую часть драгоценной графской крови в лице единокровного сына своего виконта³ Шкуандерфильда, а господин шериф уступает Его Сиятельству свои сундуки, прилагая к ним молодую дочь, наследницу бесчисленного богатства, с тем, однако, условием, чтобы именованный виконт Шкуандерфильд судебным порядком совершил продажу своей знатности именованной дочери господина шерифа. Крепость написана и подписана; скоро приложена будет печать: зажженная свечка стоит на столе; но она оплывает: худое предзнаменование для совершающих купчую.

Просим рассмотреть их внимательнее. Шериф занят своим делом: скажете, что он приклеён к тем креслам, на которых покоится его туловище, ноги его упираются в пол, как корни; подошвы его башмаков не уступают в прочности его кредиту. А ноги Его Сиятельства — увьи! Их горестное положение не отвечает ли хилости его кредита? Правая почти во гробе, уже обернута саваном, а левая печально выглядывает в окошечко своего лазарета.

Шериф читает надпись свадебного контракта — и читает с таким вниманием, какого Его Сиятельство, без сомнения, не удостоил и самого содержания этой бумаги. Читать с таким напряжением никогда не научишься над книгами, а разве только от привычки заниматься великими идеями, которые заключаются обыкновенно в векселях и закладных. Впрочем, возможно и то, что не одна заботливость причиною такого внимательного чтения. Вспомните, что в надписи находятся магические слова: *The Right honorable Lord Viscount* (Его Сиятельство лорд виконт). — А кто этот виконт? Будущий зять! А чем будет со временем этот будущий зять? Графом, лордом, именитым членом

Верхнего парламента и прочее и прочее. Кто же не задумается, желая мысленно обнять такое величие. Итак, не удивляйтесь, что господин шериф погружен в глубокое размышление, имея пред глазами своими простую надпись свадебного контракта!

По левую руку шерифа стоит верный, добросовестный, поседевший над счетами бухгалтер его. Он исполнитель трактата, и вручает Его Сиятельству от имени господина своего то, что в этом доме называется истинною дочерью шерифа. Надобно быть совершенным философом, чтобы так равнодушно смотреть на стол, на котором происходит обручение. Банковские ассигнации, униженные многочисленными нулями, как жемчугом восточным, покоятся на грудях гиней, и к ним прикладываются другие, в таком же великолепном убранстве. Мешки, начиненные червонцами, лежат под рукою бухгалтера, готовые перейти на половину Его Сиятельства. Но самое важное находится в левой его руке, с надписью: mortgage. Это закладная, в силу которой все графское имущество находилось, так сказать, в подданстве шерифа. Бухгалтер, отдавая его графу, смотрит с любопытством ему в лицо, желая насладиться тем впечатлением, которое необходимо должно произвести на душу его возвращение таинственной бумаги.

«Извольте принять эту закладную, — говорит Бухгалтер, — в ней заключается все имение Вашего Сиятельства». — Подарок важный, но приветствие господина Бухгалтера несколько щекотливо. Его Сиятельство должен вооружить себя всею своею знатностию, чтобы не унижить при сем случае высокого своего сана. «Хорошо, — говорит он, — *соглашаюсь* принять! Но чувствуете ли, что эта бумага отворяет купеческой дочери вход в семейство графа и лорда; а с вашим мещанским домом, — продолжает он, положив правую руку на пятую пуговицу шитого своего камзола, — соединяет то, что движется под этим золотым шитьём», — и (указав на родословную) этот ливанский кедр, 700-летнее мое дворянство, короче, единокровного моего сына, будущего графа и лорда! И чтобы сильнее почувствовать, какой перевес могли иметь эти *слова* Его Сиятельства над *действием* господина шерифа, надобно представить себе восточную пышность тех обстоятельств, в которых произнесены были они тоном Могола⁴ или Далай-Ламы⁵.

Старый граф сидит на креслах под балдахином, украшенным графскою короною; по правую и по левую сторону кресел стоят его костыли, также с коронами: они на время в отставке, ибо Его Сиятельство покоится на богатом комнатном троне, может быть, на самом великолепном из тех, на которых когда-либо удавалось сидеть подагре во дни торжественного представления. Сиятельная нога, обвитая пеленами, лежит на скамейке, весьма покойной и также украшенной графскою короною.

У левой ноги развернута родословная и пресмыкается на полу *славный Вильгельм Завоеватель*⁶, вооруженный с ног до головы; он смотрит с удивлением на то ветвистое дерево, которому туловище его служит вместо корня и которого золотые яблоки украшены каждое графскою короною. Бедный шериф! Что значит кимвальный звон минутных твоих гиней перед звучащею трубою тысячелетнего дворянства? Заметим, однако, что такой предмет не очень утешителен для мещанских очей шерифа, и я не советую ему смотреть в очки на родословное дерево. Он увидит — увы! Он увидит, что грозный Вильгельм острым мечом своим отрубил от него один сучок, единственно за то, что висящее на ветке коронованное яблоко соединено с другим некоронованным.

Позади шерифа представляется нам нежная чета — жених и невеста — *in patria*. С первого взгляда заметите вы, что их сердца как будто отвращены одно от другого. Он, т. е. жених, погруженный в задумчивость, нюхает табак, и улыбка, едва мелькающая на устах его, показывает, что он совершенно доволен самим собою, при совершенном усыплении души и тела. Он сидит, но положение его весьма беспокойное, признайтесь сами; голова его обращена к зеркалу, может быть, потому, что это зеркало находится не на той стороне, на которой находится его невеста. Он слышит — не говорю, слушает — позади себя некоторый мистический шёпот, о котором сказано будет несколько слов после. Нельзя не улыбнуться, сравнив эту ломкую глиняную куклу с тем вековечным железным норманном, от которого происходит она по прямой линии. Что если бы храбрый, пламенный, честолюбивый и не совсем мягкосердечный Вильгельм на минуту воскреснул и вдруг явился среди потомков своих, с тем грозным мечом, с которым его изобразили на родословной карте: куда бы девался и именитый лорд со своими коронованными костылями, и сахарный его наследник со своею богатою табакеркою, богатым кафтаном, богатыми кружевными манжетами? Один порхнул бы в открытое окно, а другой легко бы мог очутиться под тем столом, который теперь обременен гинеями и векселями. Довольно! Прошу вас обратить внимание на невесту! Добрый Гименей, каким волшебством удалось тебе соединить такую согласную чету? Согласную? Но в чем же? Без сомнения, в той искренней ненависти, которую и *он*, и *она* питают друг к другу. А прочее? Сравните их. *Он*? С первого взгляда покажется и гибок, и ловок; Антиной и Адонис не могли бы с такою приятностию нюхать табак. Одна его рука играет табакеркою, другая табаком. — *Она*? Посмотрите, как сгорбилась: рука её, точно деревянная, играет обручальным кольцом, вздетым на тонкий батистовый платок — выдумка остроумная! Она играет и вечно будет играть обручальным кольцом своим, а вместе с ним и мужем. *Его*

лицо невыразительно, это правда; но вы заметите в нем образованность, *утонченную*, светскую, что-то приятное, не говорю для чувства, но просто для зрения. Её *лицо* — какая противоположность! Избави Бог всякого доброго христианина от нежной половины, одаренной такою вывескою злости, упрямства, грубости, тупоумия! В самом положении любовников заметите вы то же сходство, какое нашли в их лицах! И он, и она *сидят* — но какая разница! Он кажется на воздухе; можете принять его за бога Весны, летящего на легком утреннем облаке! Она — всмотритесь — не может ли напомнить вам о каком-нибудь усердном носильщике, который, уложив в короб свои вещи, садится на него, чтобы придавить и удобнее запереть крышку.

Итак, по правую сторону красавицы сидит жених. А по левую — кто бы? Конечно, претендент? Истинное гражданское достоинство этого человека есть Прокуратор⁷; он чинит перо, которым должен переписать трактат. Но думаете ли, что он забудет о тайных пунктах? Нет! И в эту самую минуту предлагает он их таинственным своим шёпотом кому следует. Не опасайтесь! Они не будут отвергнуты. Имя претендента есть *Silvertongue*⁸, господин *Златоуст*. И в самом деле, видя, с каким вниманием слушают его такие уши, которых, вероятно, не трогает никакая гармония в свете, подумаешь, что чистое золото бежит из уст его струёю. Но посмотрите же на лицо невесты: такое грубое, сердитое, неприязненное внимание на нем написано! Не заставит ли оно вас подумать, что отец её разбогател или от наковальни кузнечной, или от рыбной ловли.

В сцене, происходящей на канапе, заключается (позвольте мне это выражение) семя, долженствующее со временем произрасти в солидный плод, или, лучше сказать, искра, которая (как после увидим) произведет ужасный разрушительный пожар. Гогарт, не желая ничего открывать прежде времени, старается некоторыми разительными чертами, заимствованными им из собственного, ему одному известного языка живописи, объяснить для нас то, что может показаться нам темным. Вы видите почти у самых ног молодого виконта другую чету, не уступающую в нежности и согласии с первой — двух собак. Мужа и жену. *Он*, облагороженный штемпелем графской короны, которую можете заметить на левом его боку, кажется несколько обветшалым и дряхлым; *она*, вероятно, простая мещанка, потому, что не имеет на боку графской короны, живее, моложе, но чувствует склонность ко сну, особливо в такое время, когда товарищ её, с которым она обручена цепочкою, прикрепленною к их ошейникам, дремлет. Плутовка отвортилась, и, может быть, глаза её ищут какого-нибудь — *Прокуратора*. Далее — над самым канапе видите вы подсвечник; ветви, на которых

утверждены два шандала, переплелись — следовательно, и здесь происходит обручение; но свечи горят таким же холодным огнем, каким и настоящие жених и невеста — то есть совсем не горят. Может быть, однако, и то, что он представляет в аллегорическом образе самого Прокуратора, который, как вы уже видели, командует левым флангом: они еще не горят, но скоро зажгутся.

Теперь посмотрите на открытое окно — вы увидите перед ним дру-гого Прокуратора в черной мантии. Он держит в левой руке план нового дома, который Его Сиятельство начал строить; сравнивает причину и действие: и его удивление так неумеренно, что нос почти соткнулся с подбородком, а в пальцах на правой руке сделалась судорога. Если это удивление непритворное, то мы должны непременно думать, что господин Юрист имеет и вкус юридический, то есть необразованный и грубый — ибо фасад графского дома самый безобразный и не согласный с правилами архитектуры. Сами посмотрите на эту громаду: наверху четыре колонны; внизу три; пьедесталы не иное что, как камни, просто округленные; окна в нижнем этаже треугольные; у самого главного фасада находится темный каретный сарай с полукруглым окном и бельведером⁹, похожим на древний греческий храм. Но Гогарт растворил окно не для того, чтобы уверить нас, что Его Сиятельство совсем не имеет вкуса при всей неисчерпаемой своей расточительности; он хочет сказать вам другими словами, что кошелек его совершенно иссяк, что ему нечем достроить начатого им великолепного здания: вы видите, что на подмостках нет ни одного работника! Те люди, которые шатаются по двору, не иные кто, как дневные воры, то есть домашние, праздные, следовательно, бесполезные служащие Его Сиятельства, или зрители, которые в честь Вильгельма Завоевателя смеются глупому вкусу великолепного его потомка.

Теперь обратите внимание на картины, украшающие стены обручальной комнаты. На каждой из них изображено какое-нибудь плачевное происшествие. Война, убийство, мучение, потоп, моровая язва, пушка, комета — всё это служит как будто необходимою принадлежностью обручения. Что если бы Генриху IV¹⁰, накануне его стовора, какая-нибудь добротная ворожея показала подобную коллекцию пророческих картин, удалось ли бы французам сыграть через несколько времени ту свадьбу, которая нам известна именем Варфоломеевской ночи¹¹? Не думаю. Но важные политики, изображенные у нас на картине, углублены всем сердцем в свои расчеты, не замечают предсказаний печальных, и роковое обручение совершается своим порядком. Оставим их в покое и станем рассматривать картины.

Над самую головую жениха видите вы Святого Лаврентия, идущего поневоле на брачное ложе, то есть к костру, на котором сожгут его в пепел¹². Ему отвечает Каин, который, умертвив Авеля, над головую господина Златоуста, кажется, говорит ему на ухо: «Берегись! Не сделайся братоубийцею!» Далее, над головую Св. Лаврентия, побиение Вифлиемских младенцев¹³ проповедует нам об ужасе детоубийства. Этой картине отвечает Прометей, напоминающий страданием своим о том моральном ястребе, который закрадывается иногда во внутренность у человеческого сердца и называется у простолюдинов совестью. На другой стене видите вы Голиафа с отрубленной головою; под ним, с одной стороны, отвалилась голова от Олоферновых плеч¹⁴, а с другой — С. Савастиян, привязанный к дереву, служит целию для стрелков из лука¹⁵. Довольно крови. Ужасные, к несчастью, необманчивые предсказания!

Теперь просим наших читателей удостоить особенного внимания эту большую картину, в резных рамах, изображающую витязя, который один занимает столько места, сколько потребно было бы для четырех историй убийства. Это портрет героя, принадлежавшего к фамилии Шкуандерфельдов. Кто хочет не слышать, а видеть много шума, стуку и грому, тот подойди к этой картине. Герой, украшенный париком, имеющим великое сходство с громовою тучею, находится посреди сражения, перед войском — не знаем наверно, где этот *перед* — назади ли, наперед ли, с правого или с левого боку? Он держит перун¹⁶ и, конечно, ошибкою, в левой руке. Одежда его развеивается, как метеор, вместе с ужасным хвостом его парика — земной кометы, которая, кажется, имеет некоторое соперничество с небесною, изображенною над самую головую Героя. Внизу видите третью картину, пушечное ядро, вылетающее с громом и пламенем из пушечного жерла: подумаешь, что в кармане Героя открылся вулкан, и что в эту минуту происходит его первое погибельное извержение.

На потолке изображен Фараон, утопающий с войском своим в Черном море¹⁷. Царская колесница тонет над самую головую Прокуратора — последнее откроет, не должно ли и это причислено быть к тем ужасным предвещаниям, которые со всех сторон окружают будущего лорда и его будущую супругу.

* * *

Старый граф Шкуандерфильд переселился уже к именитому предку своему, Вильгельму Завоевателю: и сыну его, и невестке, по-видимому, не очень жаль, что смерть наконец выиграла тот скучный процесс, который вела она с этим подагриком в продолжении 80 лет. Они и сами теперь, кажется, заводят тяжбу — но только не со смертью, а с братом

её, сном. Милади, вероятно, останется побежденною; а милорд, благодаря тому беспокойству, которое на лице его написано четкими литерами, останется победителем.

В доме едва только начинается утро, (что бы, впрочем, ни показывали стенные часы); вы видите: еще зевают, потягиваются, завтракают. Милорд теперь только вышел из кареты, и мы догадываемся, что он, стараясь дотащить до своего кресла, наткнулся на стул, уронил его вместе со скрипкою, и сам упал, переломив конец своей шпаги. Лицо его превосходно — это разительный образ совершенного истощения телесных и душевных сил, утомившихся от страшного разврата последней ночи. Он не сидит, он брошен на стул расслаблением. Шляпа его и волосы отвечают своим беспорядком чулкам и камзолу; нет кошелька на плечах, нет и в кармане; и там, где прежде присутствовали деньги, теперь присутствуют одни опустевшие руки. На что, спросите вы, устремляются его взоры? Право не знаю! *Извне* остановились они, вероятно, без всякого внимания, на повалившемся стуле; а *внутренне*, может быть, встретились с упрекающими взорами совести — того морального ястреба, о котором говорили мы прежде. Ужасная головная боль не мешает быть ощутительною боли сердечной. Милорд рассчитывается с самим собою, или лучше сказать, сильно чувствует, как тяжело бы ему было, когда бы он вздумал с собою рассчитаться. Он побежден, это правда, но возвратился с поля сражения не без добычи: из левого кармана его выглядывает неприятельское знамя — дамская косынка; если вы знаете, что такие вещи никогда не попадают в карман мужчины без залога, то вам и не трудно будет догадаться, что сделалось с кошельком и часами. Теперь вы имеете понятие о ночных подвигах милорда — обратимся к любезной его половине. Милади провела всю ночь в избранном обществе молодых приятелей: играли в карты, пили чай, танцевали, слушали музыку. Все это продолжалось очень долго: в подсвечниках остались одни огарки. Две только заповедные свечки перед часами уцелели; но их позабыли, а может быть, и не захотели зажечь, для того чтобы не видать бегущего времени. Милади устала — это очень естественно. Глаза её почти сомкнулись. Думать надобно, что она почивала на стуле, была пробуждена возвращением милорда и скоро опять заснет, если разговор их будет всё так же приятен и забавен.

Милади собирается завтракать — а милорд уже dokonчил свой завтрак; и конечно, он был самый невкусный: до него не дотрагивались; старому кофишенку¹⁸, или, лучше сказать, старому управителю приказано его вынести, и он выносит его с самою печальною миною. Этот завтрак составлен был из кучи счетов, которые надлежало нынешним утром просмотреть и поверить; но из них поверили только один, и

тот 4-го июня (как можете видеть из надписи), следовательно, прошедшим еще летом — а теперь зима или, по крайней мере, глубокая осень, чему свидетель камин, в котором пылает дуб или берёза. Поверенный счёт, вздетый на проволоку, скучает в печальном одиночестве, ожидая других, которых, конечно, не скоро дождешься. Под мышкою управителя видите вы огромный фолиант — это расходная книга, в которую милорд не успел ещё заглянуть ни одного раза со времени переселения высокого родителя его в обитель Вильгельма Завоевателя. Всмотритесь в лицо управителя — нужно ли вам изъяснить, от чего оно сморщилось, отчего губы и нос этого доброго человека искосились, а глаза вместе с правую рукою поднялись к небу?

Вдали, в опустевшем храме веселия, видите вы на столе свечу, которая, отслужив свою службу, отказывается светить сама и уступает должность свою одному из стульев, который зажигает. Но освещение может обратиться в пожар. По счастью, другой стул, заметив опасность собрата своего, задумал наклониться под всадником и хочет разбудить его шумным своим падением. Стены храма украшены богатыми обоями, четырьмя картинами, представляющими Святых, и ещё пятою, которая задернута занавескою — вы видите одну только ногу — что далее, не известно! Можете угадывать сами — а мы заметим, что эта противоположность в картинах весьма хорошо означает несообразность поступков нежной четы с правилами обыкновенной человеческой морали. Прочие украшения дадут вам понятие о чистоте и правильности её вкуса: на камине видите кучу китайских уродов, несколько уродливых ваз и древний бюст, с новою головою и еще новейшим носом — всё это расставлено по правилам строжайшей симметрии: каждому фарфоровому уроду отвечал такой же точно фарфоровый урод, и каждая скляночка имеет своего близнеца, — можно с довольною вероятности заключить, что это единственный уголок в доме, в котором замечен некоторый порядок. Взгляните на стенные часы, и вы подивитесь изобретательному гению художника: он убрал их дубовыми ветвями, в которых поселил двух карасей и одну кошку.

* * *

Действие начинается в двенадцатом часу утра в спальне графини Шкаундерфильд. Она уже успела побывать на аукционе, где накупила множество новых антиков¹⁹; некоторые из них рассыпаны по полу, другие лежат в корзине, под покровительством арапа²⁰; глаза покровителя устремлены на Леду, украшающую поднос, а пальцем левой руки он прикасается к убору Актеона: это аллегория, которой толкование у нас перед глазами. Графиня сидит подле туалета и завивается, ибо она едет

вечеру в маскарад; позади неё видите артиста французской нации, тощего парикмахера, который не жалеет своего искусства, чтобы усовершенствовать вверенную ему голову. Перед нею, на богатой софе, сидит, или, лучше сказать, покоится известный вам Прокуратор, которого наименовали мы, если вы помните, *Златоустом*. Он держит в одной руке маскарадный билет, другою указывает на ширмы, на которых представлены некоторые сцены маскарада, и между тем предлагает графине, если не ошибаемся, тайное свидание: предложение принято, маска выбрана, место назначено. Далее, у самой стены, под картиною, изображающей Прометея с коршуном (заметьте над нею портрет господина Прокуратора, который, как известно, есть друг всего семейства), сидит другой артист, *castrato Карестини*²¹, одетый в богатый кафтан, тучный, как слон, и сладкогласный, как соловей, а за ним виртуоз *Вейдеман*, честный немец — один поет, другой играет на флейте. По левую руку от итальянца на креслах, с чашкою шоколаду, волосы в бумажках, представляется вам Его Сиятельство граф Шкуандерфильд. Он пьет и не пьет, слушает и не слушает — в голове его совсем другое: не знает ли он чего-нибудь о маскарадном свидании? Дело возможное! Подле него видите вы забавную восковую фигуру: она почти растаяла от восхищения, произведенного в ней голосом господина Карестини; а рядом с ней другая фигура с хлыстиком, спящая: также магическое действие гармонии. На границе между графиною и концертом можете вы заметить даму в огромной шляпке: душа её и взоры прилипли к устам итальянца; она забывает о шоколаде, который подносит ей один выходец из Африки, совсем другими глазами рассматривающий итальянского сладкопевца.

*

Следствия маскарада и тайного свидания: граф Шкуандерфильд узнал о трактате, подписанном его супругою и Прокуратором за уборным столиком. Они, как видно, рассудили на время оставить маскарадную залу, чтобы довершить переговоры свои в одном из тех домов, которые в Лондоне известны под именем *Wagnio*²² и знамениты гостеприимством их содержателей; но граф за ними последовал, и его неожиданное присутствие всё расстроило. Он выломил дверь, которая, для некоторых необходимых предосторожностей, была заперта на замок, бросился на Прокуратора с обнажённою шпагою; но Прокуратор, имеющий при себе на всякий случай собственную, очень острую шпагу, встретил его метким ударом в сердце, а сам без домины²³, в одном колпаке и спальном платье, отправился за окно. Вы видите посреди горницы графа Шкуандерфильда: силы его слабеют, кровь бежит ручьем

из его раны; он уронил шпагу, опирается на стол; глаза его угасают; вероломная жена, в ужасе и отчаянии, стоит перед ним на коленях, ломает руки, в дверях видите будочника с фонарем и полицейских солдат; они поспели к финалу. В угождение любопытным, мы скажем, что Прокуратор, в легкой одежде своей, имел неудовольствие встретиться с дозором, его принудили ночевать в тюрьме, а потом без маски и домины, перед глазами десяти тысяч человек, явиться на виселице. Такова развязка трагической фарсы, именуемой: *брак по расчету*. Спрашиваем: хорош ли расчет графа Шкаундерфильда?

ТРИ ФИЛОСОФА (ГРЕЧЕСКАЯ НОВОСТЬ)

Жил в Греции человек, который вечно плакал — его называли Гераклитом¹. Он был высок ростом, строен; имел величественное лицо; носил великолепную одежду; покрыт был царскою мантиею; всегда имел в руках скипетр, а на голове корону.

С высокой кафедры, украшенной великолепно, проповедовал он афинцам правила добродетели героической и устремлял их взоры на несчастья государей — и народ, слушая поучения мудреца, утешал себя тем, что и монархи бывают иногда подвержены печалям.

Гераклит, пользуясь расположением афинян, наполнял сердца их любовью к добродетели, отвращением к пороку; и для того нередко представлял им добродетель торжествующую, счастливою и в то же время научал их предпочитать несчастья утесненной невинности счастия торжествующего злодея.

Народ, слушая поучения Гераклита, проливал слезы — и, проливая их, наслаждался. Он мыслил, и мыслил справедливо, что сия минутная горечь была благодетельна для сердца.

Гераклит имел гений обширный, воображение живое, слог благородный, правильный и простой — он был красноречив в прекрасных стихах, наставлял, утешал, трогал — мудро ли, что народ толпами стекался к его высокой кафедре, хотя надлежало стоять на ходулях, чтобы его услышать!

В это самое время появился в Афинах другой философ, во всех отношениях противный первому. Он вечно смеялся. Его называли Демокритом².

Натура произвела его с огромным горбом на спине, и за то он очень часто, умирая со смеху, бранил натуру, но вы не подумайте, чтобы он сердил на нее за то, что она его наградила горбом — ничуть! Демо-

криту было досадно, что натура дала ему только один горб. И в самом деле, господин Демокрит, чтобы несколько поправить ошибку природы, вздумал приставить себе спереди другой горб — для того, говорил он, чтобы *перед* не мог позавидовать *заду*.

Но это маленькое пристрастие к симметрии было не всегда в одинаковой силе. Например, господин Демокрит носил на правой ноге черную сандалию, а на левой красную. Прическа его менялась каждый божий день: иногда являлся он распудренный впрах, как молодой ветрогон; иногда в истасканном парике из козьей бороды; нынче ходил в богатом хитоне, завтра надевал Гарпагонскую мантию в заплатках и пятнах³; словом сказать, одежда его менялась чаще погоды.

Иногда представлял он в себе Алцибиада⁴, ненавистника мужей и друга замужних женщин; иногда приставленный к затылку его рог показывал, что он расположился причислить себя к секте супругов.

Демокрит имел маленькие, живые, огненные глаза, большой рот и прекрасные белые зубы, которые всегда были наружи, потому что господин философ никогда не переставал смеяться.

Но для чего же он беспрестанно смеялся? — Для чего! Демокрит любил осмеивать нравы любезных своих сограждан и заставлять их повеселиться на собственный счет свой, не оскорбляя нимало их самолюбия. Выражения его не имели ни возвышенности, ни чистоты, ни приятности Гераклитовой, но они были забавны и остроумны. Народ, поплакав над участию царей, отправлялся к Демокриту смеяться над собственными своими глупостями.

Таковы были удовольствия афинян, когда явился третий философ, именем Диоген⁵, который выбрал место для лекции между кафедрами Гераклита и Демокрита и начал учить мудрости всех тех, кому угодно было ей учиться.

Диоген не имел в наружности своей ничего необыкновенного; не имел ни величественного лица Гераклитова, ни уродливого горба Демокритова — новость привлекла множество слушателей к его кафедре. Он не хотел, чтобы слушатели его всегда плакали или всегда смеялись; смотря по обстоятельствам, они или смеялись, или плакали, или не делали ни того, ни другого, а очень хладнокровно слушали наставления Диогена.

Господин Диоген не думал занимать их бедствиями царей, ни странностями граждан афинских; он представлял человеческую жизнь точно в том виде, какой она имеет, смешанную с печальным и веселым. Он избирал предметы понятные для всех и каждого. Они не были представляемы им в перспективе, как, например, те, которые показывал Гераклит; и чтоб слышать его, не нужно было становиться на ходули —

по этой причине Диоген надеялся понравиться более, нежели его соперник. Но по несчастю, в толпе слушателей нашелся один шутник, который сказал: «Друзья мои! Господин Диоген прав! Он описывает нам то, что всякий день происходит в наших семействах! Но мы лучше сделаем, если разойдемся по домам: здесь начинает становиться очень холодно».

В самом деле, господин Диоген не имел ни Гераклитова жару, ни острооты Демокритовой.

Увидя, что народ начинал расходиться, он воскликнул: «Государи мои! Куда вы идете? Разве я не имею дара вам нравиться? Разве я не философ? Разве не говорю языком чистым и приятным? Разве я не имею права назваться изобретателем нового рода? Разве не умею изображать сходно натуру?» — «Послушайте, господин Диоген, — отвечал ему тот же насмешник, который возмутил его лекцию и увел от него всех слушателей, — я расскажу вам то, что со мною случилось прошлого году. Вам известно, что я — ваятель: у меня в рабочей было и серебро, и золото. Что же мне вздумалось однажды сделать? Смешать оба металла и потом из этой смеси вылить Венеру. Как задумано, так и сделано — Венера готова! Я выполировал ее, как стекло, и выставил на продажу.

Она не золотая, сказал мне один; она не серебряная, сказал мне другой; она не гладко выполирована, сказал мне третий. — Ваша правда, милостивые государи, — отвечал я, — но в том-то и состоит ее совершенство. Я подражал грубой натуре, которая во внутренности земли перемешала и серебро, и золото». «Приятель! — возразил один из этих господ. — Напрасно ты не вспомнил, что нам всегда нравится не грубая, но усовершенствованная натура. Подумайте, господин Диоген, не может ли и вам послужить это уроком?». Он засмеялся, поклонился Диогену в пояс и ушел — а с ним и вся толпа народа: одни пошли поплакать с Гераклитом, другие — посмеяться с горбуном.

Маллет

ПЕЧАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, СЛУЧИВШЕЕСЯ В НАЧАЛЕ 1809-го ГОДА

«Описывая вам горестную судьбу моего знакомца — так говорит один неизвестный в письме своем к издателю “Вестника”, — желаю, чтобы и читатели вашего журнала об ней узнали. Для чего, спросите вы — признаться, я в этом не умею дать себе верного отчета; я слишком уверен, что жребий несчастного моего друга не может перемениться, но сердцу моему необходимо сообщить кому-нибудь и горечь свою, и

то мучительное негодование, которым оно наполнено! Сверх того утешаю себя мыслью, что низкий злодей, разрушивший навсегда счастье двух добрых творений, прочитав эти строки, ужаснется сам на себя, и страшный свет проникнет в мрачную душу его, может быть, спокойную от совершенного бесчувствия.

Лиза была дворовая девушка. Госпожа N** воспитала ее вместе с своей дочерью. Она имела прекрасное лицо, ум здравый, сердце, наполненное чувствами, необыкновенными в ее состоянии и еще более образованными воспитанием. Лиза, осужденная жить в рабстве, с малолетства привыкла пользоваться преимуществами людей свободных и превышающих ее своим родом и званием. Девица N** вышла замуж, Лиза досталась ей в приданое. В доме господина W** — нового ее господина — увидела она Лиодора (моего приятеля), пылкого, добросердечного, благородного — увидела, полюбила, сердце ее без всякой осторожности пленилось тем чувством, которого еще она не понимала и которое втайне влекло ее к одному, любезнейшему предмету — мудрено ли! Добрая Лиза имела не более пятнадцати лет и была еще так неопытна. И Лиодор почувствовал к ней склонность — а склонность сия в короткое время сделалась страстию, но страстию нежною, почти тельною, непорочною. Лиодор, осьмнадцатилетний юноша, имел пламенную душу; любовь значила для него счастье, и привязанность его к Лизе была источником всех лучших его чувств, всех благороднейших его поступков. Два года продолжалась их тайная связь, основанная на счастливом согласии двух нежных сердец, которые не желали более еще ничего, кроме спокойного наслаждения собственными чувствами. Лиодор и Лиза видались очень часто, и каждый день сильнее уверяли себя, что были необходимы друг для друга.

В конце последнего года явился в доме господина W** полковник Z**, вдовец, похоронивший двух жен, человек грубый, скупой и чрезвычайно неприятный наружностью. Он увидел Лизу и полюбил ее — что значит *полюбил*? Почувствовал некоторое раздражение в душе своей, привыкшей к одним удовольствиям грубым и совершенно почти усыпленной. Лиза не замечала выразительных взглядов господина полковника — и могла ли она замечать их? Она была так невинна, а нежная привязанность ее к Лиодору занимала всю ее душу. Полковник Z** сделался неотступнее, наконец, объяснился — Лиза отвечала ему презрением. Это раздражило человека, не привыкшего отказывать себе ни в одном желании. Мог ли он вообразить, чтоб бедная Лиза, рожденная *рабою*, способна была чувствовать благороднее, нежели он, старый дворянин и полковник! Он начал за нею присматривать; скоро заметил, что она любила и была любима — ревность, которая в сердце нежном

и страстном есть тяжкая скорбь, уничтожающая в нем самую привязанность к жизни, в сердце жестоком и способном чувствовать одни желания грубые, есть бешенство, ненависть и мщение. Полковник Z** решился погубить бедную Лизу. Он сообщил господину W** свои замечания и, разумеется, очернил в глазах его непорочную привязанность Лизы к Лиодору. Молодую девушку лишили прежней ее свободы. Она перестала видаться с Лиодором или видалась с ним, окруженная свидетелями подозрительными, предубежденными, несправедливыми — одно только бледное лицо, одни только померкшие и унылые взоры ее говорили бедному Лиодору, что он любим, любим по-прежнему, любовью нежнейшею. В самом страдании находили они некоторую сладость, ибо сие страдание было для них любовью. Но полковник Z** не мог довольствоваться одним несчастьем своего соперника — воспламененная чувственностью его требовала полной жертвы. И что священо для человека без правил, развратного и не знакомого ни с одним движением добродетельным! Полковник Z** обманул и родственника своего, господина W**, уверив этого добродушного человека, что Лиза дала обещание Лиодору уехать с ним в Петербург, что все уже изготовлено к побегу... одним словом, господин W**, желая, может быть, избавить себя от неприятного беспокойства и, вероятно, не подозревая злодейских умыслов родственника своего, согласился, чтобы несчастную Лизу отвезли в подмосковную полковника Z**, находящуюся в 17 верстах от столицы. Можете ли вообразить тот ужас, который наполнил душу этой бедной жертвы, когда объявили ей волю господина? Она занемогла жестокою горячкою — но что же? Над нею не сжалились — в бреду и беспамятстве отвезли ее в подмосковную полковника Z** — случилось это 28 февраля, и с тех самых пор участь ее покрыта для меня ужасною неизвестностию. Но участь Лиодора... ах, несчастный! Полковник Z** распустил везде слух, что Лиза продана ему господином W**; этот слух дошел и до Лиодора... есть люди, которых сильная горестъ погружает в какую-то мертвую бесчувственность, в какое-то страшное бездействие, уничтожающие в них и память, и мысли, и самую телесную силу. Таковы были первые чувства Лиодора — и счастлив ненавистный его убийца. Но Лиодор с того времени не приходил уже в прежнее положение — сначала он был мрачен, ни к чему не внимателен, глаза его были тусклы и мертвы, лицо покрыто ужасною бледностию, он не говорил не слова, казался бесчувственным и даже спокойным, но осьмого марта заметили в нем признаки сумасшествия. Увы! Этот несчастный совершенно потерял рассудок, но он сохранил всю прежнюю свою кротость — сумасшествие Лиодора тихое и унылое: беспрестанно начинает говорить о мучении своего сердца, о любви, о прежнем своем счастье,

твердит всякую минуту ее имя и задумывается. На сих днях я был у его отца — ах! Он имеет еще отца, и каким жребием наказало Провидение этого старца: при конце жизни быть надзирателем сумасшедшего сына! Какого ж сына? Прелестного юноши, которым он утешался, в котором были заключены последние надежды его жизни! Причина сумасшествия Лиодора была ему еще неизвестна — я рассказал ему обо всем. Мы оба заливались слезами, в присутствии бедного Лиодора, который ничего не чувствовал и беспрестанно, с выражением нежнейшей, глубокой страсти, твердил имя своей Лизы, называл ее своим ангелом, своим другом, своею жизнью. “Ах! — сказал мой старик. — *Бог терпит пороки и злобу, но такое безвинное, варварское гонение будет наказано Его правосудием! Я не желаю мстить господину полковнику Z***, но я боюсь узнать его!*” Он подошел к Лиодору: несчастный, как будто почувствовав, что горестный отец принимает участие в его жребии, протянул к нему руки, прижался к его сердцу и залился слезами.

Скажите, милостивый государь, какого имени достоин, по вашему мнению, полковник Z**>? Он более, нежели похититель чужой собственности: потерянную вещь, как бы ни была она драгоценна, можно забыть или заменить ее другою — но что заменит потерю того блага, с которым сопряжены были все наши надежды, все наше счастье? Он более, нежели убийца: похититель жизни причиняет нам минутное зло, но похититель счастья, оставляя нам жизнь, дарит нас одним мучительным чувством нашей утраты. Известна казнь, определенная законом похитителю и убийце, но что, скажите, определит закон злодею, по наружности правому перед его зеркалом, сластолюбцу, коварному наветнику, хитрому губителю непорочности, скрывающему себя под личиною правоты и чести? Порочный достойнее наказания, нежели преступник — и ему однако нет наказания! Не говорите мне о презрении света — свет равнодушен и беззаботен. Его легко обманешь наружностью; и кто возьмет на себя рассматривать настоящие причины поступков? В свете презирают злодея — но *показывают* презрение только к тем, которые не имеют ни достатка, ни блеску, сопряженного с чином или знатностью рода. А что нужды злодею в том презрении, которое он заслуживает, но которое от него скрывают! Полковник имеет достаток; он может угостить в доме своем двадцать или тридцать человек — чего же более? Он спокоен насчет общего мнения; а уважение некоторых честных *чудаков* так же для него мало значит, как и уважение собственное. Не говорите мне об упреках совести — душа, приученная к чувствам грубым, засыпает и делается неспособною к благородным страданиям совести! Я уверен, что всякий закоренелый злодей спокоен в сердце (не говорю счастлив), и даже почитает себя правым по тех пор,

пока окружающие его, по наружности, его оправдывают или, по крайней мере, его не обвиняют — а много ли в нынешнем свете рыцарей честности и добродетели? Всякий старается быть честным и добрым для себя, не заботясь о том, каков его ближний! Беззаботность гибельная и слишком выгодная для людей порочных. Итак, милостивый государь, нельзя надеяться, чтобы полковник наказан был или строгостию законов, или презрением всеобщим; весьма даже вероятно, что самая совесть его спокойна — я не знаю, долго ли продолжится это спокойствие — но я желал бы увидеть этого человека на одре смертном!»

Издатель позволяет себе сделать при этом случае одно замечание насчет некоторых мнимых благотворений, весьма обыкновенных в свете. Многие из русских дворян имеют при себе так называемых *фаворитов*. Что это значит? Они выбирают или мальчика, или девочку из состояния служителей, приближают их к своей *особе*, дают воспитание, им неприличное, позволяют им пользоваться преимуществами, им не принадлежащими, и — оставляют их в прежней *зависимости*. То ли называется благотворением? Человек *зависимый*, знакомый с чувствами и понятиями людей *независимых*, несчастлив навеки, если не будет дано ему благо, все превышающее — свобода! Для чего развиваете в бедном слуге познания и таланты? Для того ли, чтобы он мог яснее почувствовать со временем, что Провидение наградило его таким уделом, в котором и таланты его, и познания должны угаснуть бесплодно? Если вы образуете его единственно для себя, то ваше благотворение есть самый жестокий эгоизм, или, лучше сказать, злодейство, украшенное блестящею личиною благодетельности! Просвещение должно возвышать человека в собственных его глазах — а что унижительнее рабства! Вы замечаете в своем человеке дарования и ум необыкновенный — итак, прежде нежели решитесь открыть ему тайну его сокровища, возвратите ему свободу! Или убийственное чувство рабства уничтожит все ваши о нем попечения. Вы или укажете ему дорогу к испорченности и разврату; или душа его — если она неспособна привязаться к пороку — увянет от тайной скорби, всегда неразлучной с унижением. Примеры бесчисленны. Я знаю одного живописца — он был крепостной человек доброго господина, получил хорошее образование, жил на воле и пользовался талантом своим, но еще не имел свободы. Что же? Господин его умер — и этот бедняк достался другому, вероятно, не имеющему особенного уважения к человечеству. Новый господин взял его в дом — и теперь этот человек, который прежде принимаем был с отличием и в лучшем обществе, потому что вместе с своим талантом имел и наружность весьма благородную — ездит в ливрее за каретою, разлучен с женою, которая отдана в приданое за дочерью господина его — я

встретился с ним в одной лавке и едва мог узнать его в новом наряде, а еще более по неприятному запаху вина, которое, вероятно, служит ему некоторым утешением в горестной его участи. Где же плоды благотворений, оказанных ему *добрым* его господином? Повторяю: такие благотворения гибельны и по большей части бывают причиною одного разврата. Отчего, например, замечают в простых крестьянах менее испорченности, нежели в дворовых людях, близких к господам своим? Не от того ли, что последние, сохраняя свое рабство, имеют яснейшее понятие о состоянии людей свободных и научаются презирать собственное, досадуют на судьбу свою — а их развращение не есть ли необходимое следствие сей тайной досады, невольной отравляющей душу? Анекдот, сообщенный издателю от неизвестного, может быть страшным уроком для многих так называемых благотворителей. Для чего эта погибшая Лиза получила понятие о таком счастье, о котором, вероятно, никогда бы не могла подумать, если б безрассудная благотворительность ее госпожи не извлекла ее из состояния простой служанки? Для чего воспитали ее с таким тщанием? Для того ли, чтобы она с живейшим ужасом могла теперь осматривать ту бездну, в которую низвергнута коварною злобою развратника? Кто ж настоящие ее губители? Не те ли самые, которые, может быть, в свете присваивают себе великолепное титуло ее благотворителей?

ЗЕРКАЛО

Один неаполитанский король — именем Рожер — будучи на охоте, отстал от своей свиты и заблудился в густоте леса. С ним встретился пилигрим, человек приятного лица, который, не зная, что видит перед собою короля, подошел к нему очень свободно и спросил: не может ли он сказать ему, где дорога в Неаполь?

— Ты, видно, издалика, добрый человек! — отвечал Рожер. — Лицо, ноги и платье твое покрыты пылью.

— Это правда — я очень устал и хотел бы поскорее на ночлег.

— Ты, верно, в путешествиях своих много узнал любопытного!

— Может быть! Например, мне удалось видать таких чудаков, которых беспокоили безделки. Я научился не терять терпения при первом отказе, а потому и прошу тебя еще раз указать мне дорогу в Неаполь! На дворе ночь, боюсь запоздать и не найти ночлега.

— Имеешь ли ты в Неаполе знакомых? — спросил Рожер.

— Никого не имею, — отвечал пилигрим.

— Следовательно, не можешь надеяться хорошего приема?

— По крайней мере, могу быть уверен, что не обижусь приемом грубым от таких людей, которые меня не знают — но где дорога на Неаполь? Становится поздно и темно!

— Я сам заблудился! Будем искать дороги вместе; другого нечего делать!

— Я бы охотно согласился на твоё предложение, но я пеший, а ты на лошади: или я за тобой не успею, или ты можешь от меня промешкать.

— Правда твоя, но мне никто не помешает идти пешком!

Рожер спрыгнул с лошади и пошел рядом с пилигримом.

— Можешь ли угадать, с кем ты говоришь? — спросил он у своего товарища.

— Почти угадываю: ты человек!

— Но можешь ли быть во мне уверен? Ты меня не знаешь.

— От честных людей ожидаю всего хорошего, а бездельников и воров не имею причины бояться.

— Очень хорошо! Но поверишь ли, если тебе скажу, что я король неаполитанский?

— Для чего ж не поверить! Я этому очень рад. Королей нечего бояться; они менее других людей бывают вредны. Если ты в самом деле король Рожер, то можешь порадоваться встрече со мною. Весьма вероятно, что прежде меня никто не говорил с тобою открытым сердцем и не являлся на глаза твои без личины.

— Быть может! Но я не хочу один пользоваться выгодой нашей встречи; надобно, чтобы она была выгодна и для тебя. Следуй за мной. Я намерен составить твоё счастье.

— Мое счастье, государь! Не заботься об нем — оно сделано, и давно. Пока буду иметь при себе этих двух друзей — он указал на суму свою и посох — по тех пор не буду чувствовать ни в чем недостатка. Желаю сердечно, чтобы ты, в богатой порфире, был так же доволен судьбою, как я, в простом рубище, с костылем и котомкою.

— Ты счастлив? — спросил Рожер.

— Столько счастлив, сколько позволено быть счастливым человеку! Суди сам — я дал себе обещание броситься в воду, если найду человека довольнее меня своим жребием.

— Но как же можешь почитать себя счастливым, когда ты вечно от других зависишь?

— Но был ли бы я счастливее, когда бы все другие зависели от меня?

— Поди же и утопись — я думаю, что я тебя счастливее.

— Извините, Ваше Величество! Если когда-нибудь принужден буду утопиться, то, верно, от какого-нибудь подобного мне бродяги, имеющего еще менее забот, нежели я; но счастье королей для меня не

опасно. Впрочем — как нет правила без исключения — мы можем сделать расчет, и тогда увижу, кто из нас двух счастливейший.

— Такой расчет — безделица. Я имею все необходимости жизненные в изобилии, путешествую не пешком и с сумою, а очень покойно, на прекрасной лошади, и сверх того имею несколько сотен подобных в моих неаполитанских конюшнях. Подъезжая к Неаполю, я уверен, что буду хорошо принят.

— Позвольте ж мне сделать один вопрос: наслаждаетесь ли вы этими благами с некоторой живостию? Например, не беспокоят ли вас иногда честолюбие, государственные и домашние дела и тому подобное?

— Ты многого требуешь, пилигрим! — отвечал Рожер.

— Извините меня, Ваше Величество! Дело не шутка! Никто не захочет броситься в воду даром! Прошу покорно выслушать теперь меня: я нынче успел сделать порядочную прогулку — это приятно и здорово! Теперь чувствую голод и, верно, поужинаю со вкусом, что бы ни предложили мне ваши неаполитанские трактирщики; потом засну глубоким сном, хотя бы досталось мне положить голову на камень; поутру встану здоров и свеж, помолюсь Богу и пойду куда глаза глядят, куда мне вздумается, где мне покажется веселее. Завтра буду в Неаполе, а послезавтра, если Неаполь мне наскучит, опять беру суму и посох, опять господин целого мира.

— Пилигрим! — отвечал Рожер. — Я начинаю замечать, что жизнь еще тебе не наскучила, и признаю себя побежденным — в награду за мою откровенность обещаю тебе прожить у меня во дворце все то время, пока не наскучишь в Неаполе.

— Прошу извинить меня, Ваше Величество — хотя и не почитаю себя недостойным ваших милостей, но боюсь сделать вас смешным в глазах ваших придворных. В то самое время, когда они будут хвалить вас за вашу благотворительность, а меня ласкать словами и взорами, всякий из них будет думать или шептать один другому на ухо: где отыскал король Рожер этого побродягу? Что хочет он с ним делать? Какие добродетели и дарования в нем находит? Вас назовут странным, ветреным, легковерным! Короче, государь, вы лучше сделаете, если позволите мне искать ночлега на постоялом дворе, в каком-нибудь предместьи Неаполя.

— Но прошу мне сказать, почему ты знаешь так коротко и двор, и придворных?

— Я родился и вырос во дворце одного маленького владетельного князя; всякий день слышал, как близкие к нему люди, те самые, которые льстили ему с наибольшею низостию, ругали его без пощады за глаза — это, наконец, вывело меня из терпения: я сбросил с себя придворную ливрею, взял посох, котомку и пошел куда глаза глядят —

искать прямоты, простоты, откровенности, свободы — с тех пор, Ваше Величество, шатаюсь по белому свету.

— И ты думаешь, что все дворы один на другой похожи?

— Думаю, Ваше Величество! Потому что при всех одни и те же люди, имеющие одинакие чувства, одинакий образ поступков.

— Следственно, ты очень дурного мнения о тех, которых короли называют своими друзьями!

— Конечно! И вы бы сами согласились со мною, Ваше Величество, когда бы могли их видеть таковыми точно, каковы они на самом деле — но они осторожны, и были бы в страшном беспокойстве, когда бы могли подумать, что вы имеете средство читать в их мыслях. Не угодно ли вам сыграть над ними самую забавную шутку? Вы проведете несколько минут в удовольствии, которое не будет вам ничего стоить: нужны только молчание и скромность.

Пилигрим сообщил свои мысли Рожеру; они условились в том, что надобно было делать — в эту минуту слышались охотничьи рога и лошадиный топот. Пилигрим спрятался в кусты, а Рожер поскакал навстречу к охотникам.

На другой день пилигрим является во дворец Рожеров с бумагою — его представляют королю, который, прочитав бумагу, велит ему следовать за собою в кабинет и через два часа выходит вместе с ним, погруженный в глубокую задумчивость. Придворные это заметили — большая часть из них молчали и были в недоумении, но приближенные к Рожеру, именно его первый министр, любовница и любимец, осмелились сделать несколько вопросов.

— Этот человек, с которым я говорил в моем кабинете, — сказал Рожер министру, — весьма удивительный: ему открыты чудесные таинства. Видишь ли это зеркало? Оно кажется обыкновенным и представляет все вещи не хуже и не лучше простого зеркала, но с помощью двух халдейских слов всякий человек может увидеть себя в нем таким точно, каким он быть желает — короче, все наши тайные намерения и замыслы делаются для нас существенными в этом зеркале. Я это испытал: повторишь ли? Посмотревшись в него, увидел я себя на троне Константинопольском. Мои соперники были моими придворными, а неприятели мои целовали у меня ноги: не хочешь ли и ты сделать над собою опыта?

— Прошу меня от него уволить, — отвечал министр с холодным и важным видом, которым довольно искусно прикрывал свое смущение, — этот пилигрим, без сомнения, чародей; зеркало его изобретение дьявола, а слова халдейские, которым он научил Ваше Величество, конечно богохульные или безбожные. Удивляюсь, как могли вы допустить к себе такого опасного чернокнижника.

Рожер подал зеркало своей любовнице — она упала от страха в обморок. Он предложил посмотреться в него своему любимцу, но сей последний отвечал ему с благородной гордостью: «Ваше Величество! Пользуясь милостию моего монарха, я все имею и, следственно, таков точно, каким желаю быть». Рожер вызвал, из толпы придворных, охотников посоветоваться с зеркалом, но все отказались; все единодушно мыслили, что пилигрим — чародей и безбожник, что надлежит его сожечь живого, а зеркало его разбить вдребезги.

Умы придворных людей пришли в волнение — и наконец, верховный Совет представил Рожеру, что пилигрим точно человек опасный, что его непременно должно предать суду и наказать по достоинству. Король приказал представить к себе преступника. «Ты не волшебник, — сказал он ему, — но ты знаешь людей и свет. Правда твоя: ни один из придворных моих не захотел показаться мне таким, каков он есть. Возьми назад свое зеркало. За два каролуса¹, которые ты заплатил за него купцу, оно оказало нам важную услугу».

(С французского)

СЧАСТЛИВАЯ ЛОЖЬ

— Какой прекрасный замок, какое место, какой огромный сад, — сказал Мелькур своему другу Вернелю, который сидел с ним в почтовой коляске; они оба возвращались из Италии и ехали через Бурбонне в Париж.

— Я очень желал бы, — прибавил Мелькур, — провести в этом замке несколько времени, например, нынче в нем отужинать, а завтра, осмотревши его живописные окрестности и напившись кофе с хозяином, опять отправиться в дорогу.

— В самом деле тебе этого хочется? — спросил Вернель.

— В самом деле.

— Очень нетрудно исполнить твое желание. Мы нынче ужинаем и ночуем в этом замке.

— Разве ты знаком с помещиком?

— Нет, и имени его не знаю, но что нужды.

— Каким же образом... ужинать и ночевать в его замке?

— Увидишь. Постильон, повороти в перспективу и ступай прямо в этот замок, к господину... господину...

— Бермону? — спросил постильон.

— Так точно, к Бермону. Начало счастливое! Мы знаем теперь, что наш хозяин называется Бермоном, — шепнул Вернель на ухо Мелькуру.

— Давно ли вы знакомы с господином Бермоном, — спросил постильон, — удавалось ли вам видеть его дочерей? Вот красавицы! Старшей не более шестнадцати лет. Они еще никогда не выезжали из деревни и не знают, что такое Париж.

— Радуйся, Мелькур, мы проведем нынешний вечер в приятном обществе. Смотри же, будь осторожен; твое дело молчать и не противоречить мне ни в одном слове: ты увидишь, как счастливо кончится наше приключение.

Коляска въехала на двор, остановилась у крыльца, старик очень благородной наружности встретил путешественников с ласковым взглядом, с приветливою улыбкою.

— Позвольте спросить, вы ли господин Бермон?

— Я, милостивый государь; прошу вас покорно войти в горницу, там мы будем вам очень рады.

— Прием изрядный, — шепнул Вернель на ухо Мелькуру.

— Это мои дочери, — сказал Бермон, указывая путешественникам на трех прелестных девиц, которые встали и поклонились при входе их в горницу.

— Час от часу лучше, — сказал Вернель Меркуру.

Сели. Вернель начал говорить: «Позвольте мне, господин Бермон, сказать вам теперь о причине моего посещения. Путешествуя по Италии, познакомился я в Милане с одним из моих земляков, который, дней за пять до прибытия моего в этот город, возвратился из Америки, где нажил миллионы. Он остановился в Милане у одного старинного знакомого банкира Дельмаса: эта фамилия должна быть вам известна...»

— Знаю, — отвечал Бермон.

— Американец наш, так же как и вы, называется Бермоном. Это один из самых добродушных и любезных людей на свете; жаль только одного: он очень слаб здоровьем. Познакомившись с ним, нельзя не полюбить его от всего сердца... Мы прожили с ним в Милане две или три недели, как старые друзья, как братья, но вы, конечно, сами его знаете, господин Бермон?

— Признаюсь, милостивый государь, совсем не знаю; не могу даже и вспомнить, чтобы я имел родственника в Америке. Но сам ли он вам сказал, что имеет родных во Франции?

— Сам, господин Бермон, и чаще всего вспоминал он об одном внучатном брате, которого желал бы очень узнать и о котором не имел, однако, никакого известия. Прощаясь с ним, я сказал, что поеду через провинцию Бурбонне. Он вспомнил, что его родственники когда-то жили в окрестностях Невера или Монтаржиса, и просил меня узнать, не осталось ли кого-нибудь из них в этом месте; особенно ж поручил

он мне наведаться о том внучатном брате, о котором он слышал столь много доброго, который имеет трех дочерей, живет безвестно в своей деревне, посвятив себя совершенно сельской и семейственной жизни. Я дал ему слово исполнить его желание, расспрашивал в здешней провинции о Бермонах: мне сказали, милостивый государь, что здесь никого нет вашей фамилии, кроме одних вас. По всем обстоятельствам заключил я, что вы тот внучатный брат моего миланского знакомца, который столько времени желал получить известие, и я поспешил с вами увидеться, чтобы сообщить вам предложение вашего почтенного родственника.

В эту минуту доложили, что стол накрыт и кушанье поставлено. Бермон просил путешественников у него отужинать; разумеется, что они приняли это приглашение с удовольствием. Вернель шепнул Мелькуру: «Видишь теперь, что я сдержал слово; мы здесь ужинаем».

За столом разговаривали о мексиканце. Вернель описывал его характер, рассказывал забавные анекдоты. «Он очень скучает одинокою жизнью, — продолжал Вернель, — и миллионы ему не помогают; доброму сердцу его необходимы связи родства и тесной дружбы. Он ничего столько не желает, как возвратиться во Францию и кончить остальные дни свои в кругу родных, в любезной отчизне; надобно вам знать, что он родился в провинции Бурбонне. Прощаясь со мною, просил он меня посетить ваш замок, и если мне покажется, что в вашем семействе может он найти то, чего так долго ищет, то есть спокойствие, добрых людей и дружбу, если увижу, что ваше жилище прилично ему, что окрестности вашего замка приятны, а воздух здешней провинции для него может быть здоров, спросить у вас от его имени, согласитесь ли дать ему место в вашем доме, признать его своим родственником и позволить ему, вместе с вами, свободно, уединенно и счастливо провести остальные годы своей жизни. Признаюсь, увидя вас посреди вашего семейства, я позавидовал моему американскому другу, которому фортуна (и, сказать правду, его редкий характер) дает некоторым образом право требовать, чтоб вы приняли его в ваше милое общество. Мне остается желать, чтобы вы позволили мне взглянуть на окрестности вашего дома; тогда буду в состоянии дать обо всем верный отчет моему другу».

— Все то, что вы мне сказываете, чрезвычайно меня радует, — отвечал Бермон, — уверьте моего родственника, что я и дочери мои готовы принять его с отверстыми объятиями. Но вам бы необходимо надобно у меня ночевать, чтобы увидеть окрестности моего замка. Теперь и поздно и темно.

— Слышишь ли, — шепнул Вернель Мелькуру. На другой день поутру, напившись кофе, пошли гулять. Бермон водил путешественников по саду и показывал им окрестности своего замка: с этой горы прекрасный вид на большую дорогу; в этой роще, которую обтекает река, всегда, и в самые знойные дни, очень прохладно; шум этого водопада очень приятен ночью, когда сидишь на террасе, а в окрестности все покойно.

— Этот домик, на косогоре, открытый с юга, а с севера защищаемый липовою рощею, с особенным двором, со всеми нужными принадлежностями, и находящийся в пятидесяти шагах от главного корпуса, как нарочно построен для вашего родственника; из окон вид прекрасный: река, живописная даль, словом сказать, место волшебное.

Вернель был вне себя от восхищения. Старый Бермон пожимал его руку. Они возвратились в дом; Вернель требует бумаги, чернилицу и перо; садится и пишет в Милан к господину Бермону, которому объявляет, что родственник его, живущий в окрестности Монтаржиса, желает искренно его узнать и предлагает ему свой дом, в котором найдет он счастье, спокойствие и добрых людей, готовых быть ему друзьями. Письмо запечатано, адресовано на имя банкира Дельмаса, которого просили отдать его в собственные руки господину Бермону; послано на почту; путешественники прощаются, садятся в коляску, едут; можете вообразить, сколько они смеялись дорогою на счет добродушного и гостеприимного Бермона.

Прошло полтора года; важные торговые дела принудили Вернеля отправиться из Парижа в Лион. Была глубокая осень и дорога ужасная. Вернель принужден был ехать днем и ночью. В одну самую темную, дождливую ночь изломилось у коляски его колесо; в стороне сверкали огни; Вернель послал просить помощи, к нему выслали человека с просьбою, чтобы он вошел в дом и переждал, пока починят его коляску; Вернель обрадовался приглашению (дождик лил ливмья); нахлыв на глаза шляпу и обернувшись плащом, побежал в дом; всходит на крыльцо; ему говорят: *добро пожаловать*; голос знакомый; он подымает глаза, кого же видит? Бермона!

— Ах, это вы, любезный Вернель! Какой случай, какое счастье! Войдите, войдите! Вы, верно, будете любопытны узнать, что сделалось с нами после вашего последнего посещения.

Вернель был в страшном замешательстве; что делать, что говорить?

— Получили ли вы ответ? — спросил он с притворным спокойствием.

— Войдите, сами узнаете!

Вернель входит в гостиную; видит трех дочерей Бермоновых, сидящих у камина; за столом у старшей стоял молодой человек, прекрасный лицом.

— Ах, это вы, господин Вернель, — воскликнула младшая дочь Бермона. Молодой человек поднял глаза и поклонился Вернелю с учтивостию.

— Что это, Густав, — спросил Бермон, — разве ты не узнаешь миланского друга своего?

— Я не имею чести знать господина Вернеля.

— Как, разве не он жил с тобою в Милане душа в душу целые три недели?

— Признаюсь, я в первый еще раз имею удовольствие видеть господина Вернеля! Но загадка для меня объясняется: скажите мне, милостивый государь, не вы ли писали то письмо, которое получил я от банкира Дельмаса и в котором неизвестный мне человек уведомлял меня, что я имею в окрестностях Монтаржиса родных, которые готовы принять меня в свое семейство.

Все оборотили глаза на Вернеля; он успел уже оправиться от замешательства и отвечал.

— Скажите мне, довольны ли вы своим пребыванием в замке господина Бермона?

— Прекрасный вопрос! Я здесь нашел свое счастье: вот моя жена, — сказал он, поцеловав старшую дочь господина Бермона.

— А я нашел в нем милого, доброго, редкого сына.

— Обоймите ж меня оба и, если можете, сердитесь на мой обман. Все то, что я вам рассказывал, любезный господин Бермон, была одна выдумка: мне хотелось выиграть заклад у друга моего, Мелькура, который никак было не верил, чтобы можно было нам ужинать, ночевать и на другой день завтракать в вашем замке.

— Счастливая ложь, — воскликнул Бермон. — Ваше письмо было, любезный Вернель, доставлено по адресу; банкиру Дельмасу в самом деле знаком был некто Бермон, наш родственник, человек одинокий, недавно лишившийся отца, который сделал его наследником миллионов. Он был обрадован нашим приглашением, тотчас приехал к нам в замок. Мы ожидали увидеть старика, но, к удивлению своему, увидели приятного, молодого человека, который особенно понравился старшей моей дочери Софии. Доказательством этому служит то, что она теперь за ним замужем.

— Рекомендуйте ж меня господину Бермону. Ему нетрудно поверить, что я не имел и в мыслях сделать ему зла, выдумавши на него такую историю. Кажется, и не сделал.

Молодой Бермон обнял Вернеля; а старик, любясь на них, говорил: «Иногда и ложь бывает не хуже правды».

ПЕРВОЕ ДВИЖЕНИЕ

В одном из южных департаментов Франции, в маленьком городке, жил молодой человек, именем Кленвиль. Он не был красавец; но его приятная наружность показывала душу откровенную, чувствительную, высокую, и наружность Кленвиля не была обманчива. Когда знакомым его рассказывали о каком-нибудь благородном или бескорыстном поступке, то они спрашивали обыкновенно: конечно, это сделал Кленвиль? Когда, описавши им происшествие невероятное, прибавляли: *мы слышали от Кленвиля*, то никто уже не сомневался в истине. Одним словом, этот любезный молодой человек пользовался уважением всеобщим, хотя имел состояние посредственное. Он получал не более тысячи ефимков¹ годового дохода. Как, воскликнут, может быть, наши эгоисты, не более тысячи ефимков и почитался великодушным? Но мы оставим сих господ в покое; в нашей повести эгоисты не могут играть никакой роли.

В соседстве с Кленвилем жила госпожа Дюран, женщина девяноста лет, почтенная, весьма умная и коротко знакомая Кленвилю, который посещал ее очень часто. Госпожа Дюран в течение продолжительной жизни своей испытала много несчастий, которые все перенесла с терпением добродетели. Революция лишила ее знатного имени, богатства и, наконец, такого сокровища, которого потеря никогда и ничем не может быть заменяема, семейственного счастья. Дочь ее, при самом начале революции вышедшая замуж за графа Верлак, принуждена была вместе с супругом своим удалиться из Франции; они оставили на руках госпожи Дюран маленькую дочь, единственный залог нежнейшего союза, который вначале предвещал им одно только счастье. Увы, тогда не предвидели они, что некогда принуждены будут разлучиться с отечеством, разлучиться навеки! И граф, и графиня Верлак кончили дни свои в чужой земле, удрученные бедностью и печалию. Госпожа Дюран, оставшись попечительницею маленькой Софии², несколько лет занималась единственно ее воспитанием: в Софии, прелестном младенце, заключены были последние радости ее жизни; но госпожа Дюран, чувствуя себя слишком старую и, следственно, неспособною всякую минуту с надлежашею неусыпностью надзирать за воспитанием своей внучки, решилась с нею разлучиться. Я должна, так думала госпожа Дюран, воспитывать Софию не для себя, но для нее, и маленькая София, вверенная смотрению благоразумной родственницы, отвезена в один из больших городов Франции. Положение госпожи Дюран не могло быть названо счастливым: в душе ее все приятные воспоминания изглажены были воспоминаниями печальными. Какое же удовольствие, спросите вы, находил Кленвиль в ее доме? Чего искал он, и что мог найти в обществе

госпожи Дюран? А удовольствие быть утешителем существа несчастного, удовольствие доказать ему, что оно не целым миром оставлено, что есть еще сердце чувствительное и доброе, для которого старость, несчастья и добродетель священны... разве этого мало?

Некоторые рассеяния, почти необходимые для молодого человека, воспрепятствовали Кленвилю быть целые восемь дней у госпожи Дюран. Стыдясь своего небрежения, поспешил он его загладить и полетел к почтенной своей приятельнице. Кленвиль находит госпожу Дюран, погруженную в глубокие размышления. Увидя молодого своего друга, она улыбнулась и сделала ему нежный упрек насчет его продолжительного отсутствия.

— Но я не досаую на вас, любезный Кленвиль, — прибавила она с милым добродушием, — молодым людям естественно забывать иногда старых, а старые с своей стороны должны, без всякой взыскательности, благодарить их за те минуты, которыми для них жертвуют.

— Ах нет, — воскликнул с жаром Кленвиль, — не будьте несправедливы, я не забывал вас.

— Верю, мой друг, и доверенность сия для меня необходима, потому что я несчастна.

Слезы навернулись на глазах госпожи Дюран. Добрый Кленвиль посмотрел на нее в молчании: он был душевно растроган.

— Что значит эта унылость, скажите, не приключилось ли вам какого-нибудь нового несчастья?

— Нет.

— Но ваши слезы?..

— Я плачу не о себе.

— Боже мой, вы приводите меня в ужас! Ваша внучка...

— Ах, участь ее лежит на моем сердце! Будущее для нее ужасно, а это будущее, как узнать, быть может, очень близко.

— Что вы говорите?

— В мои лета, Кленвиль, не должно себя обманывать. Пройдет год, месяц, а может быть, и несколько дней, и меня не станет. Мое дитя, моя милая Эльмина будет покинута сиротою, одна в целом мире, без всякой помощи, без защитника, в совершенном убожестве: эта ужасная мысль приводит меня в отчаяние.

Кленвиль старался успокоить госпожу Дюран.

— Небо, — говорил он, — примет Эльмину под верную свою защиту. Оно укажет вам друга...

— Друга, Кленвиль! Ах, вы заключаете о людях по собственному вашему сердцу. Но дочь моя ничего не имеет; а где найдешь друзей бескорыстных?

— Они найдутся.

— Их нет, Кленвиль, их нет.

— Но вы забыли обо мне, — воскликнул молодой человек, увлеченный своею чувствительностью и повинувшись первому движению души своей, — вы не доверяете моему сердцу.

— Упокойся, друг мой, — сказала госпожа Дюран: — сердце твое мне известно; я верю ему, но с твоею молодостию, в двадцать пять лет, как можешь быть покровителем шестнадцатилетней девушки!

— Но разве не могу быть ее супругом? Так, милостивая государыня, отдайте мне руку Эльмины. Обещаюсь вам быть ее покровителем, обещаюсь любить ее и всем пожертвовать для ее счастья.

— Что ты говоришь, друг мой? Ты не знаешь Эльмины в лицо и хочешь быть ее супругом.

— Но знаю, что она несчастна и что я могу быть ей полезен.

— Вспомни, Кленвиль, что она бедна.

— Потому-то и нужна ей моя защита.

— Милый, добрый Кленвиль, — воскликнула госпожа Дюран, обливаясь радостными слезами, — я соглашаюсь и отдаю тебе мою Эльмину! Так, в твои руки, в руки самой добродетели вверяет умирающая мать свое сокровище, врученное любви ее небесами. Нынче же напишу к Эльмине, что я нашла ей супруга добродетельного, великодушного, прямо чувствительного сердцем. Через неделю ты увидишь ее, увидишь ту, которой заочно обещаешь счастье. О Кленвиль, без тебя последние минуты жизни моей были бы ужасны: теперь буду ожидать с веселою беззаботностию моей кончины. Ах, как много я тебе обязана! Для чего не дала мне фортуна того богатства, которым бы я могла наградить тебя за твое бескорыстие!

Кленвиль поспешил проститься с госпожою Дюран, которая осыпала его выражениями благодарности и похвалами, прямо излившись из сердца. На улице встретился он с господином Фервалем, которого весьма часто видал в доме госпожи Дюран и которого уважал душевно. Этот человек не имел в себе ничего блистательного, но он был прямо честен, во всей обширности слова «честность». Он любил Кленвиля и часто говорил ему, что более всего на свете желал бы оказать ему какую-нибудь важную услугу.

— Позволено ли спросить у тебя, Кленвиль, где ты был и что причиною того волнения, которое написано на лице твоём такими четкими буквами, — сказал Ферваль, приближаясь к Кленвилю и подавая ему руку.

— Я был у госпожи Дюран; ее положение... Если бы ты знал, в каком она положении!

— Что ты говоришь?

— Я был душевно растроган.

— Это и видно, лицо твое не обмануло меня. Не должно грустить! Пойдем со мною, я поведу тебя в знакомое общество, где всякая грусть сама собою должна исчезнуть.

— Мне будет скучно.

— А я уверяю, что будет весело. И разве унылость твоя может поправить состояние госпожи Дюран. Послушайся меня, Кленвиль, а если то общество, в которое тебя приведу, покажется тебе скучным, то можешь сесть в угол, молчать, и если угодно, заснуть: тебе не хуже меня известно, что в самом шуму света весьма не трудно найти уединение.

Кленвиль послушался Ферваля и пошел вместе с ним к госпоже Вернель, у которой в доме, раз в неделю, собирались все лучшие люди провинции.

— Прошу тебя быть осторожным, Кленвиль, — сказал Ферваль, приближаясь к дому госпожи Вернель, — ты нынче увидишь молодую Аделину Ремильи, которая прекрасна как ангел. Она приехала из Парижа вместе с своею матерью, желающею купить в окрестностях нашего города землю в сто тысяч ефимков. Госпожа Ремельи — женщина очень любезная и самого приятного обращения; дочь ее, вероятно, будет из первых в здешнем городе. Береги свое сердце; дочь ее прекрасна: это роза во всем цвете и свежести.

Кленвиль не обратил внимания на слова Ферваля; они приходят. У госпожи Вернель было множество; все идут к Кленвилю навстречу, и самые те, которые гораздо старше его летами, показывают ему отличное внимание. Кленвиль отвечает на ласки с обыкновенным своим просто-сердечием. Самолюбие, которое в провинциалах еще взыскательнее, лишается своей раздражительности, и принужденность исчезает в присутствии человека доброго, скромного, простого, который кажется вам всегда готовым сделать для других то, чего и не думает требовать себе.

Кленвиль приближается к женщинам, находившимся в горнице, и видит между ними молодую девицу, ему незнакомую, но затмевающую других своими прелестями. Взоры ее нечаянно встретились с глазами Кленвиля; она покраснела и с милою скромностью опустила густые, длинные свои ресницы. Кленвиль заметил это движение; он подошел к Фервалю и спросил:

— Кто эта молодая девица?

— А, мое пророчество начинает сбываться! Итак, ты находишь ее...

— Очень приятную.

— Только? Похвала довольно умеренная! Признайся лучше, что она прелестна. Это Аделина Рейльи, о которой я говорил тебе дорогою.

Разве ты не узнал ее по моему описанию? Видно, что я весьма не искусен в живописи. Характер Аделины ставят наравне с ее наружностью, а ты сам можешь видеть, какова ее наружность. Она воспитана прекрасно; имея весьма образованный рассудок, она сохранила приятность и простосердечие младенческого возраста, и какая скромность, какие милые дарования! И надобно заметить, что она своими дарованиями играет, как в детстве игрушками, без всякого суетного самолюбия. Прошу, однако, быть осторожным; немудрено и влюбиться.

Кленвиль улыбнулся и не сказал ни слова. Он приближается опять к женщинам; начинает вмешиваться в их разговоры и показывает то приятное остроумие, которое всякому нравится, которое всегда служит похвалою характера, то редкое остроумие, которое выливается из души и есть не иное что, как натуральная способность изображать приятно, живо и привлекательно чувства, коими душа наполнена. Его слушают с удовольствием и желают слушать. Госпожа Ремильи внимательнее прочих. Кленвиль, увлеченный желанием нравиться, желанием, свойственным молодости, никогда не бывал столь любезен, хотя нередко с невольною рассеянностью глаза его устремлялись на Аделину. Госпожа Ремильи в восхищении, она приближается к Фервалю и говорит ему:

— Этот молодой человек очень умен.

— Вы позабыли бы хвалить его ум, когда бы знали его сердце, — отвечает Ферваль. Кленвиль вслушался и покраснел, но последняя похвала примирила его с первою.

Молодые девицы начинают играть; Кленвиль вмешивается в игры их и чувствует в сердце своем такое удовольствие, какого никогда еще не испытал прежде. Он сидит подле Аделины, может замечать все ее движения, слышать приятные звуки ее голоса, чистого и нежного, как звонкая гармоника. Чтобы овладеть его сердцем, любовь приемлет на себя очаровательный образ непорочности и простосердечия. Девица Ремильи имела такое лицо, которое, один раз поразивши сердце, не могло не запечатлеться в нем навеки: в милых чертах ее находилось что-то столь чистое, непринужденное, непритворное, что всякий с первого взгляда угадывал ее душу; при первой встрече она становилась совершенно для вас знакома, и сердце Кленвиля, привыкнув свободно предаваться своим движениям, покорялось без всякого насилия приятнейшей, непобедимой страсти. Начали разъезжаться: Кленвиль взял шляпу, подошел к Аделине, хотел с нею говорить, смешался и взором своим, потупленным и смятенным, красноречиво изобразил происшедшее в его сердце.

Он возвратился домой в приятной задумчивости: Аделина беспрестанно представлялась его мыслям; двадцать раз повторял он в своем

воображении каждое слово, сказанное ею в тот вечер; представляя себе ее взоры, ее движения, и большая часть ночи проведена была в сих сладких мечтаниях; наконец Кленвиль заснул. В десятом часу утра является к нему Ферваль. Еще в постели, сказал он, отворяя двери:

— Немудрено; глаза мои не смыкались во всю ночь, и я заснул уже перед утром.

— Бессонница; прекрасно, вестник любви. Поздравляю тебя, Кленвиль, ты влюблен.

— Я, Ферваль?

— И влюблен в Аделину.

— В Аделину...

Сии слова озарили ярким светом Кленвилеву душу. Он покраснел, смешался, не мог говорить, наконец спросил:

— Почему ты это вздумал?

— Для чего ж и не думать: великое преступление влюбиться!

— Не преступление, но великое несчастье.

— В самом деле, несчастье любить прелестную девушку, на которой можешь жениться, когда захочешь.

— Жениться, Ферваль, мне жениться на Аделине, мне, бедняку, искать богатой невесты?

— Кленвиль, можешь ли подумать, чтобы друзья твои были способны над тобою смеяться? Я говорю о том, что знаю наверно. Выслушай меня: госпожа Ремильи давно и очень коротко мне знакома; несколько лет веду с нею переписку и управляю ее делами. Она откровенно говорила со мною насчет своей дочери. Дочь моя, писала она ко мне, довольно богата для двоих; в выборе для нее жениха буду смотреть на одни достоинства нравственные. Молодой человек, имеющий доброе сердце, основательный ум и наружность приятную, есть супруг, которого желаю найти Аделине. Она просила меня помочь ей в искании этого феникса; я нашел его, Кленвиль, и этот феникс — ты. Я знаю тебя лучше, нежели ты сам, и, кажется, я не обманул моей приятельницы, сказав ей, что ты — этот молодой человек, с добрым сердцем, с основательным рассудком и приятною наружностью, с которым Аделина ее должна быть счастлива. Вчера ввечеру госпожа Ремильи говорила о тебе с восхищением, и я условился с нею, при первом моем свидании с тобою, сообщить тебе ее план, для исполнения которого недостает только одного твоего согласия.

— Моего согласия, Ферваль? О небо, я не могу согласиться!

Оба замолчали. Ферваль смотрел со вниманием в лицо молодого человека, на котором изображалась тысяча разных страстей.

— Нет, Ферваль, — продолжал Кленвиль, прохаживаясь по горнице в сильном волнении, — не могу согласиться. Я люблю Аделину, но должен отвергнуть ее руку.

Он объявил Фервалю, какое обещание дал накануне госпоже Дюран.

— Друг мой, — прибавил он, — я не мог видеть, я не мог равнодушно видеть страдания и слез этой почтенной женщины. Сходя во гроб, она покидает свою несчастную дочь сиротою, в бедности, без пристанища. Она просит от Бога одной только защиты, одного покровителя своей несчастной, оставленной Эльмине. Мог ли я рассуждать? Сердце мое было слишком растрогано; я покорился первому его движению: потребовал Эльмининой руки...

— Итак, ты отказываешься?..

— Отказываюсь от собственного счастья.

— Решительно?

— Решительно, непременно! Можешь ли требовать, чтобы я, обольстив надеждою, наполнив радостию сердце госпожи Дюран, поразил его теперь кинжалом; можешь ли требовать, чтобы я сказал ей...

— Я ничего не требую, и чего требовать от человека, который следует и хочет следовать одним только первым движениям своего сердца?

— Ах, Ферваль, я уверен, что, будучи на моем месте, и ты сделал бы то же.

— Напрасно уверен, мой милый друг. Ты — безумец особенного рода, и не все безумные имеют честь с тобою сходствовать. Прости, очень сожалею, что не удалось оказать тебе услуги.

— Как, Ферваль, ты оставляешь меня, ты в неудовольствии?

— Нет, Кленвиль, глупости, подобные твоей, должны быть прощаемы очень скоро; но я спешу к госпоже Ремильи; скажу ей, что ты не имеешь слов для выражения твоей благодарности и сожаления.

— Так, Ферваль, благодарности; но, прошу тебя, ни слова о сожалении. Сердце мое растерзано, это правда, но могу ли сожалеть и жаловаться на судьбу свою?

Ферваль пожал ему руку и удалился.

«Ты не жалеешь о том, чего лишился? Нет, Кленвиль, великодушие тебя ослепило, оно не позволяет тебе измерять великости приносимой тобою жертвы». На глазах его навернулись слезы, он оттирает их и говорит с улыбкою: не безумец ли я, имею ли причину огорчаться так много? Правда, я принужден отказаться от такого супружества, которое непременно составило бы мое счастье; но я уже не имею никакого права о нем думать. Я навсегда подчинен своему слову. Обещание, данное несчастному, драгоценно и свято. Я женат и должен забыть такую страсть, которая не успела еще пустить глубокого корня в моем сердце. Нет, Эльмина,

несчастливая дочь нежнейшей матери, сердце мое должно принадлежать тебе, непорочное, тебя достойное, без всякого разделения.

Кленвиль решился одержать над собою победу; образ Аделины его преследовал, но тщетно; страсть может только терзать, а не обольстить добродетельного. Вечеру пошел он к госпоже Дюран, обещав самому себе не разлучаться с нею до самого прибытия Эльмины. Кленвиль надеялся найти ее одну и, к удивлению своему, нашел у нее госпожу Ремильи с дочерью. Он испугался, не мог сказать ни слова, покраснел, как преступник, поклонился с великим замешательством. Госпожа Дюран увеличила его смятение, сказав госпоже Ремильи:

— Представляю вам того великодушного молодого человека, который, будучи тронут моими слезами, забыл собственные выгоды и сам вызвался быть покровителем моей Эльмины; короче: моего зятя, утешителя, друга.

— Я знаю господина Кленвиля, — отвечала госпожа Ремильи, — мне известны его благородные качества, его бескорыстие, добросердечие. Эльмина должна быть счастлива. Как ты думаешь, Аделина?

Аделина потупила глаза, покраснела и отвечала с улыбкою:

— Я уверена в моем счастье.

Кленвиль изумился.

— Слышишь ли, друг мой, — спросила госпожа Дюран, — слышишь ли? Обойми же свою невесту.

— Мою невесту?

— Что же медлишь, не вздумал ли отказаться от данного тобою слова?

— Оно священнее для меня жизни.

— Обойми же свою невесту.

— Как, девицу Ремильи?

— Она моя внучка, моя Эльмина; а госпожа Ремильи — та родственница, которой я вверила ее воспитание.

— Правосудное небо, какое счастье было для меня приготовлено!

— Счастье, тебя достойное, добрый Кленвиль.

— Вы обманули меня.

— Я хотела узнать короче того человека, которому надлежало мне вверить единственную мою драгоценность, и счастье моей Эльмины должно быть моим извинением. Кленвиль, ты, верно, не будешь на меня досадовать, верно, не будешь раскаиваться, что повиновался первому движению своего сердца.

Кленвиль не отвечал ни слова; он бросился на колена перед госпожою Дюран и оросил руку ее слезами восторга. В эту минуту является господин Ферваль.

— Привели ли вы нотариуса? — спросила госпожа Дюран.

— Он здесь, — отвечал Ферваль, — свадебный контракт написан, осталось...

— Означить приданое и приложить руки, — сказал нотариус, вошедший в эту минуту в комнату. Ему указали место, он сел за стол, вынул свои бумаги, взял перо.

— Прошу объявить, госпожа Дюран, — сказал Ферваль, — какое приданое назначаете вы Эльмине? Я люблю Кленвиля, я обещал ему найти хорошую невесту; заботиться о выгодах его — моя должность; итак...

— Но, Ферваль, мое состояние вам известно. Вы лучше меня знаете, что я, по несчастию, не могу дать...

— Столько, сколько бы вы хотели, знаю; но приданое необходимо должно быть означено в контракте.

— Хорошо, пишите, господин нотариус. Даю моей дочери Эльмине Верлак сто тысяч ефимков, вверенные мною честнейшему человеку в свете, старинному другу моему, господину Фервалю.

— Доволен ли ты, Кленвиль? — спросил Ферваль.

Кленвиль прижал его к сердцу, потом с восхищением бросился целовать руки госпожи Дюран.

— Кленвиль, — сказала она, — ты почитал меня совершенно бедною, но бедность моя была притворная. Мне удалось сохранить небольшой достаток прежнего моего богатства; добрый Ферваль потом мне его увеличил. Я ограничила расходы свои одною необходимостью: благодаря искусству моего друга и некоторым неожиданным приобретениям, мало-помалу пришла я в прежнее цветущее положение; но я не хотела переменять образа жизни, к которому привыкла, в мои лета нетрудно довольствоваться малым, и чтобы не показаться людям странною или скупую, условилась с Фервалем не говорить никому о том, что я богата. Я имела единственно целью скопить для Эльмины такое приданое, с которым могла бы, при выборе ей жениха, смотреть на одни достоинства личные. Попечения мои, благодаря Богу, не остались безуспешными.

— Женщина удивительная, — воскликнул в восторге Кленвиль.

— Не хвали меня, друг мой. Скоро, может быть, и ты сделаешься отцом: тогда узнаешь, что нет ничего удивительного в тех пожертвованиях, которые отец и мать делают для пользы милых детей своих.

Супружество Кленвиля и Эльмины праздновали без всякой пышности; счастье не имеет в ней нужды. Должно ли сказывать, что оно поселилось в жилище наших молодых супругов, что оно и теперь с ними неразлучно? Это вы угадаете. Госпожа Дюран стала моложе двадцатью годами. Горестные заботы о судьбе Эльмины вели ее ко гробу; успоко-

ившись на ее счет, она оживилась и снова узнала счастье. А ты, добрый Кленвиль, сделавшись богатым, не потерял своего добродушия, не переменял характера: по-прежнему любезен, любим и прямо достоин быть счастливым. Встречая несчастного, ты предаешься по-прежнему первым движениям своего сердца; иногда ими пользуются, тебя обмывают, но ты не веришь обманам. Сохрани вечно сию благородную ветреность сердца: мы можем быть игролищем того человека, которому делаем добро; но сделанное добро никогда не бывает обманчиво.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАСТЕНЧИВОГО ЧЕЛОВЕКА

(ПИСАННЫЕ ИМ САМИМ)

Я болен неизлечимою моральною болезнью, которая мешает мне пользоваться удовольствиями общества и, наконец, принудит совсем его оставить. Эта болезнь — застенчивость. Хотите ли иметь обо мне какое-нибудь понятие? Извольте читать. Отец мой был человек небогатый и худо воспитанный. Мать моя умерла, оставив меня в совершенном еще младенчестве. Батюшка хотел непременно, чтобы я пользовался теми выгодами, которых судьба, по несчастию, его лишила — то есть хорошим воспитанием (так называл он ученость, приобретаемую в университетах и школах), и меня отправили в Оксфордский университет. Я учился и многому выучился, но был стыдлив и застенчив. Батюшка не мог присылать мне много денег, и все, как нарочно, способствовало усилить во мне ту робость и ту натуральную неловкость, которые ныне причиною всех моих несчастий и от которых никак не надеюсь избавиться. Я высок ростом, но очень тонок; довольно хорош лицом, но так часто и легко прихожу в смущение, что поминутно вся кровь бросается мне в лицо, и тогда бываю довольно сходен с красным маком. Внутреннее чувство неловкости приучило меня убежать от общества: я привязался к школьной жизни, будучи твердо уверен, что грубое обхождение и необразованность отца моего только что усилили бы во мне собственную натуральную мою неловкость; расположился принять к себе учеников и жить в университете — но вдруг два неожиданных происшествия расстроили все мои планы: я говорю о смерти отца моего и о возвращении богатого моего дяди из Бенгала¹.

Этот дядя, о котором я редко слышал от батюшки, был очень давно забыт родными, почитавшими его уже мертвым, и нажил множество денег в Ост-Индии². Он не застал брата своего в живых. Признаюсь, к стыду моему, невежество и грубость в обращении отца моего часто заставляли меня досадовать, что я был его сыном: следственно, поте-

ряв его, я не был в отчаянии. Дядя мой отчаивался еще менее. Проживши двадцать лет с ним розно, он успел от него отвыкнуть и во все это время думал единственно о том, как бы нажать сокровища, на которых основывал все свое счастье в будущем. Но все суета, сказал Саломон³, и дядюшка мой, возвратясь в Европу, от перемены ли климата, от трудностей ли, которые принужден был перенести во время переезда, вдруг занемог и вдруг скончался, оставив меня единственным по себе наследником. И так двадцати пяти лет сделался я из ученого бедняка владельцем имущества, приносящего десять тысяч фунтов стерлингов⁴ ежегодного дохода, но владельцем таким застенчивым, таким неловким в обращении с людьми, что в свете сначала указывали на меня пальцами, а потом прозвали меня *простофилюю*.

Недавно купил я прекрасное поместье; соседей у меня множество, и большая часть из них люди светские, самого лучшего тона. Зная, какого я происхождения и какой великий искусник обращаться с людьми, вы не поверите, если скажу вам, что все они, особливо те, которые имели дочерей взрослых, наперехват старались заманить меня к себе в дом. Каждый день приносили ко мне самые лестные записки от того, другого и третьего, в которых приглашали меня то ужинать, то завтракать, то обедать. Я извинялся тем, что еще не успел осмотреться в новом своем жилище, а по-настоящему не знал, с каким лицом показаться в дом людей, совершенно мне незнакомых. Нередко садился в карету, решившись заплатить которому-нибудь из учтивых соседей моих за визит, но приближившись к дому его, лишался бодрости и уезжал назад, отложив посещения до следующего дня. Наконец решившись победить несчастную мою робость, дал слово (дня четыре тому назад) обедать у баронета Биллингтона, ближайшего моего соседа, человека любезного и весьма обходительного. Наши поместья смежны: его владения приносят две тысячи годового дохода. Он имеет жену и пять человек детей (три дочери и два сына, все взрослые); сверх того живет у него в доме сестра его миледи Дорсет, умная и светская женщина, которая очень долго не выезжала из Лондона. Все это чрезвычайно меня пугало; как появиться в такое общество, где тотчас заметят срамное, где всякая неловкость должна бросаться в глаза и показаться смешною? Но я за две недели перед тем взял несколько уроков у одного искусного танцмейстера, который учил *взрослых*. Сначала искусство его казалось мне тарабарскою грамотою, но я, призвавши на помощь математику, узнал равновесие тела моего и настоящее отношение законов тяжести к главным пяти позициям; таким образом выучился я ходить не шатаясь, кланяться по правилам наклонения углов и оборачивать глаза по законам перспективы. Это несколько ободрило меня, и я отправился к баронету

Биллингтону. Ах, милостивые государи, худое дело *теория*, когда она не основана на *практике* — эту истину могу доказать вам собственным моим примером. Приезжаю к баронету, выхожу на крыльцо — зазвенел колокольчик; на лице моем выступил холодный пот: я вообразил, что приехал поздно, что баронет и семейство его садились обедать. По счастью, страх мой был напрасен — меня ввели в библиотеку, где я увидел баронета, жену его, сестру и всех детей вместе. Собравшись с духом, я сделал свой выученный поклон хозяйке, но, по несчастью, отступив левою ногою назад, чтобы поставить ее на третью позицию, наступил на большой палец баронету, который в то время, как нарочно, жестоко мучился подагрой. Он вскрикнул, я отскочил и ударил госпожу Биллингтон затылком в подбородок так сильно, что она села на кресла, с которых было встала, чтобы принять меня. Мучительное замешательство мое может вообразить один только тот, кто сам имеет застенчивый характер. Учтивость баронета мало-помалу меня успокоила. Веселость жены его, приветливая миледи Дорсет и милая разговорчивость дочерей меня оживили; я осмелился вмешать несколько слов в общий разговор и, наконец, сам начал заводить новые материи. Библиотека составлена была из множества книг, прекрасно переплетенных: это заставило меня подумать, что баронет Биллингтон имел понятие о некоторых хороших изданиях греческих классиков. Баронет соглашался со мною во всем. В шкапе, между прочими книгами, заметил я издание Ксенофона⁵, состоявшее из 16 томов — это меня удивило; я любопытен был развернуть книгу; встал, чтобы вынуть один том, баронет, угадав мое намерение, встал вместе со мною, вероятно, для того, чтобы подать мне Ксенофона, но я, не желая беспокоить его, бросился вперед, дернул книгу — увы! Вместо книги я вырвал доску, подделанную очень искусно под переплет, уронил ее на стол, на котором стояла фарфоровая чернилица — чернилица разбилась — я ахнул! «Ничего, ничего», — сказал баронет, но чернила бежали ручьем на прекрасный турецкий ковер — я вынимаю платок, останавливаю чернила — в эту минуту сказывают, что кушанье на столе — кладу поспешно платок в карман, подаю хозяйке руку, и мы идем в столовую — по счастью, надлежало проходить пять или шесть комнат весьма обширных, и я успел несколько успокоиться. За столом посадили меня между миледи Биллингтон и старшею ее дочерью. Надобно было говорить — а лицо мое, со времени падения Ксенофона, горело, как уголь. Прошло десять минут, кровь моя несколько остыла, я начинал уже чувствовать, видеть, слышать и даже говорить — вдруг новое несчастье. Мисс Арабелле, подле которой я сидел, захотелось увидеть мою печатку — я бросился за часами и опрокинул на себя тарелку с супом, который был горяч, как

кипяток. Салфетка и шелковая исподница были худою для меня защитою: несколько минут казалось мне, что ноги мои горели на огне; по счастью, я вспомнил, какое терпение оказал баронет, когда я наступил ему на больной палец, решился ему подражать, скрепил сердце и вынес с притворным спокойствием ужасную боль от ожога, которая была для меня сноснее коварного смеха людей, стоявших за стульями. Не буду описывать всех дурачеств, которые удалось мне сделать во время обеда: разбитый стакан, перхота во время питья за здоровье миледи Дорсет, от чего я забрызгал вином лицо мисс Арабеллы, разлитый соус, спаржа, которую, стараясь поймать языком, посадил я себе прямо в нос, все эти подвиги ничто перед последним, о котором не могу вспомнить без содрогания. Мисс Арабелла просила меня, чтобы я подвинул к ней блюдо с полердою⁶: в это время держал я на вилке кусок тыквы; забывшись, что она ужасно горяча, кладу поспешно ее в рот: язык мой вспыхнул; я не имел силы сокрыть своего мучения; глаза мои выкатились наружу и налились кровью — все старались помочь моему несчастью; одни советовали выпить ложку масла, другие — воды; наконец согласились, чтобы я выпил рюмку вина. Официант бросился в буфет, подал мне полную рюмку; я выпил ее с жадностью... но как описать вам конец этого жалостного происшествия? Конечно, официант ошибся, или, может быть, хотелось ему свести меня совершенно с ума; как бы то ни было, но этот мошенник вместо вина подал мне водки и самой крепкой — я никаким образом не мог ее проглотить; у меня захватило горло, язык мой был весь в волдырях, я поперхнулся, водка бросилась в нос, брызгала из ноздрей, лилась по бороде; я хотел остановить ее и второпях вместо салфетки вытащил из кармана тот бедственный платок, который так пострадал от падения Ксенофона, утер им лицо и вмиг сделался чернее арапа. Тут все, сидевшие за столом, и баронет, и миледи, и дочери их, не могли удержаться от смеха: все захохотало. Я вскочил со стула, побежал в двери, бросился в карету и поскакал домой с распухнувшим языком, обваренными ногами и знаком каинова отвержения на лице⁷. Как вы думаете, милостивые государи, скоро ли буду опять обедать у баронета Биллингтона, и удастся ли теперь которому-нибудь из моих деревенских соседей залучить меня к себе в дом?

МОЛОЧНИЦА И ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Трудолюбие и порядок — вернейшие источники богатства. Жюльетта начала наживать деньги продажею молока в простом глиняном кувшине, и хотя от ее деревни до Парижа добрые люди считали

более пяти верст, но Жюльетта не ленилась и каждое утро, вместе с солнечным восходом, являлась на одном из парижских рынков, продавала свое молоко, потом, распевая веселые песенки, возвращалась с вырученными деньгами в деревню. Наконец скопила она их довольно, могла даже купить осла с двумя корзинами и, следственно, увеличить свою торговлю: с молоком начала она привозить в Париж и сыр, и зелень; число покупателей прибавлялось каждый день, и деньги летели к ней невидимо откуда — пословица говорит правду: труднее нажить первые сто франков, нежели первую тысячу франков. Скоро Жюльетта принуждена была променять осла, который не мог уже подымать и переносить в Париж всех ее товаров, на добрую, сильную лошадь — наконец купила и повозку, что было последнею степенью ее честолубия — повозка, в которой могла она возить в Париж молоко, зелень и огородные овощи, была хорошим для нее приданым; и через месяц после ее покупки Жюльетта надеялась выйти замуж за Батиста, молодого, зажиточного земледельца, с которым обещала себе прожить век свой счастливо и покойно — уже в воображении представляла себя матерью многолюдного семейства и видела подле себя старшую дочь, которая усердно помогала ей продавать и молоко, и зелень, и огородные овощи.

Так располагала добродушная Жюльетта — но судьба расположила совсем иначе. В одно утро по обыкновению своему приехала она очень рано в Париж и остановилась с повозкою на том же самом месте, где прежде останавливалась с ослом и доброю своею лошадью, запряженною теперь уже в оглобли. Привязавши ее к столбу, вошла она в ближний дом, в котором хотела сделать расчет с некоторыми должниками. Один мошенник вздумал воспользоваться ее отсутствием не для того, чтобы украсть ее повозку, но чтобы с помощью этой повозки сделать воровство, довольно замысловатое. Этот мошенник был толстый, высокорослый мужчина, смелый, увертливый и бесстыдный. Проводив глазами Жюльетту, он поспешно отвязал ее лошадь, сел в повозку, проехал вдоль по улице, остановился перед крыльцом господина Модрю, золотых дел мастера, крикнул раза два на лошадь, чтобы дать знать хозяину, что он не пеш, вошел в лавку и сказал:

— Где господин Модрю, золотых дел мастер?

— Что тебе надобно, добрый человек? — спросил Модрю, сидевший за работою в лавке.

— Серебряных серег! Жена моя, большая нарядница, смертельно хочет иметь серебряные серьги, чтобы дивить ими соседок своих по воскресеньям в приходской нашей церкви. Что будешь делать с этою прихотницею! Вынимай деньги и покупай серьги!

— Вот самые лучшие и дешевые, — сказал Модрю, подавая ему три пары.

Хитрый мошенник притворился, будто не знает, которые выбрать; нахмурился, потер несколько раз в недоумении лоб и наконец сказал: «Знаете ли, что я вам скажу, господин Модрю? Я сбегаю к жене: она очень близко отсюда, на рынке; покажу ей серьги, она выберет те, которые ей более понравятся; я возвращусь и заплачу вам деньги; поверьте мне свой товар, право, я человек честный! А в залог моей честности могу оставить вам повозку и лошадь мою, которая привязана у крыльца». Модрю, человек очень ласковый и учтивый, не захотел опечалить доброго мужа отказом, отдал ему три пары серег и оставил в залог повозку его и лошадь. Покупщик уходит. Модрю ожидает его возвращения, но прошло более получаса — его нет. Модрю очень спокоен, нимало не подозревая, что он обманут.

Между тем Жюльетта, рассчитавшись с должниками своими, вышла на улицу — нет ни повозки, ни лошади. Начинает расспрашивать, куда они девались; одна торговка рассказывает, что ей недавно попался какой-то крестьянин, ехавший точно в такой повозке и на такой лошади, каких описывала молочница. Жюльетта побежала вдоль по улице; и повозка, и лошадь ее стояли очень спокойно у лавки господина Модрю. Она обрадовалась; подбежала к своей лошадке и начала развязывать повод, но господин Модрю, увидев ее, вышел на крыльцо и спросил, довольна ли она теми серьгами, которые выбрал для нее муж. Жюльетта, не совсем пришедши еще в себя от беспокойства и будучи очень занята, не отвечала ему ни слова, потому что не вслушалась и продолжала отвязывать лошадь. Модрю тотчас заметил, что он обманут, потому что Жюльетта, которой было не более осьмнадцати лет, сказала ему, что она еще не замужем. В досаде на оплошность свою, обошелся он с нею довольно грубо и велел отвести ее к полицейскому приставу и с лошадью, и с повозкою. Пристав не знал, кого оправдать и кого обвинить. Справедливость требовала, чтобы Модрю не лишился своего товара, но та же справедливость не позволяла отнять у Жюльетты повозки ее и лошади, ни почему не принадлежавших господину Модрю. Зрители все вообще были расположены в пользу Жюльетты, которая трогала своим милым лицом, своею молодостью, простодушием, слезами и горестным положением; народ шумел, бранился и кричал, чтобы возвратили молодой молочнице ее собственность, но благоразумный пристав, не обращая внимания на шумное требование черни, хотел непременно рассмотреть тяжбу судебным порядком. Он рассуждал следующим образом: «Краденую вещь надлежит отнимать у самого вора. Переходя в третьи руки, она становится уже собственностью законною: господин Модрю

не есть похититель повозки и лошади, принадлежащих Жюльетте — они были оставлены ему в залог вещи, которая стоит гораздо менее. От кого же требовать удовлетворения? Конечно, от самого вора! И пока он не будет пойман, по тех пор остается в убытке тот, который им обокраден!» Вследствие этого рассуждения пристав решил, чтобы повозка и лошадь были проданы, чтобы из вырученных денег вычтено было то, чего стоили серьги, и чтобы остальное отдано было Жюльетте.

Жюльетта огорчилась, услышав этот приговор, который находила жестоким и несправедливым; она заплакала; участь ее растрогала сердце предстоявших. Модрю, который, несмотря на вспыльчивый нрав, имел очень доброе сердце, чувствуя, что Жюльетту нельзя было обвинять в покраже его вещи, спросил, отчего была она так сильно огорчена своею потерей.

— Ах, милостивый государь! С моею повозкою и лошадейю теряю все свое счастье, — отвечала Жюльетта и начала с милым простосердечием рассказывать, каким образом нажила она деньги, купила сперва осла, потом лошадь, потом повозку, потом начала думать о замужестве и нашла себе жениха, молодого Батиста!

— Ты хочешь выйти замуж, добрая Жюльетта? — сказал Модрю. — Очень хорошо; теперь, имевши прекрасный случай испытать, каков твой будущий муж и искренно ли он к тебе привязан, вели объявить ему о твоём несчастье — хочу увидеть, как он поступит; не опасайся, мой друг, ничего! Если твой Батист окажется неблагодарным, то я берусь за тебя отомстить, и может быть, ты не будешь иметь причину почитать себя недовольною.

Жюльетта не могла угадать намерения господина Модрю, но она согласилась на его требования. Послали за Батистом, между тем золотых дел мастер разговаривал с Жюльеттою. Хотя не умел он осыпать женщин теми приветствиями, которые обыкновенно нравятся их самолюбию, но в обхождении своем, голосе, лице и выражении имел он чрезвычайно много приятного. Батист, наконец, явился; он принял очень холодно известие о несчастье Жюльеттином, обвинял ее в неосторожности и никак не согласился заложить своих серебряных часов, чтобы подать ей некоторую помощь.

— Жюльетта! — сказал господин Модрю, — жених твой не очень услужлив.

Жюльетта плакала горькими слезами.

— Ах, Царь Небесный! — говорила она, утирая глаза передником. — Я целым светом оставлена.

— Стыдись обижать людей, милая Жюльетта, — сказал Модрю, взяв ее за руку. — Я знаю одного человека, который еще молод, имеет хоро-

шее состояние, хороший кредит и, верно, будет согласен за тебя поручиться!

— Кто ж этот добрый человек?

— Я сам, Жюльетта! Охотно за тебя ручаюсь, но только с тем, чтобы ты согласилась выйти за меня замуж!

— Ах, милостивый государь! Но вы меня не знаете!

— Очень знаю, милая!

— Но Батист!

— Оставь Батиста; он тебя не стоит; он любит одного только себя. Пойдем ко мне в лавку; ты будешь продавать мои товары и вести мои счета в то время, когда я буду работать — помни, мой милый друг, что надобно быть осторожною; что много найдешь на свете злых людей, которые живут на счет простодушия добрых.

Батист не верил самому себе, когда увидел, что Жюльетта, обещавшая выйти за него замуж, решила его оставить и отдала руку свою другому, но делать было нечего; он сам корыстолюбием своим навлек на себя несчастье. Модрю не хотел, однако, оставить и его в печали: он подарил ему Жюльеттину повозку и лошадь. «Приноси к нам, — сказал он, — каждое утро молоко и зелень, за то всякий день будешь видеться с Жюльеттою».

РАЗГОВОР МОДЫ С РАССУДКОМ

Рассудок

Позвольте ли сказать Вам одно слово, госпожа Мода?

Мода

Одно слово, господин Рассудок? Не много ли этого?

Рассудок

Много? Одного слова много? Не стыдно ли Вам, милостивая государыня, лениться выслушать одно слово?

Мода

Какой же стыд, господин Рассудок? Думала ли я когда-нибудь с Вами разговаривать?

Рассудок

Это правда, милостивая государыня; нельзя попрекнуть Вам, чтобы Вы заговаривались с бедным Рассудком, но согласитесь, что нам не худо было бы жить подружнее.

Мода

С ума Вы сошли, государь мой! Нам подружиться? И Вы, и я непременно погибнем!

Рассудок

Объяснитесь! Я худо Вас понимаю.

Мода

Вы ни на час без объяснения! Советую Вам вспомнить пословицу: умному полслова! Коротко да ясно: кредит мой пропал, если заметят, что я имею с Вами сношение.

Рассудок

Осмеливаюсь сказать, что Вы даете мне весьма худое понятие о Ваших обожателях и любимцах.

Мода

Я мало слыхала об Ваших! И много ли их? Право, не знаю. Давно уже говорят, что Ваши владения несколько запустели.

Рассудок

И говорят правду — но в этом надобно обвинять Ваше кокетство, милостивая государыня! Каждый день похищаете Вы у меня по нескольку верноподданных.

Мода

Я никого не думала похищать. Мое дело явиться — и все за мною следуют.

Рассудок

Но скажите по совести, не чудно ли, что Вас предпочитают мне?

Мода

Какой неучтивец! Прямой Рассудок! Вольно Вам никогда не меняться и быть вечно одинаким.

Рассудок

Рассудок не должен меняться.

Мода

Потому-то он и скучен.

Рассудок

Но, милостивая государыня, не думаете ли, что я совершенно всеми оставлен?

Мода

Да — может быть — найдется в Вашей свите несколько угрюмых уродов, которые сами стыдятся той роли, которую играют против желаний. Мои обожатели все налицо — а Ваши скрываются.

Рассудок

Смейтесь, милостивая государыня — но каждый из обожателей моих бывает щедро награжден за временное свое incognito. Мудрец умирает — и целый мир спешит на поклонение гробу его; потомки обожают его память.

Мода

Нечего сказать, завидное наслаждение! Но знаете ли, милостивый государь, что это наслаждение так неразлучно с смертью, что непременно должно исчезнуть, если Вашему покойнику вздумается не к стати воскреснуть.

Рассудок

А кто дает славу заслуженную?

Мода

Положим, что Вы, а кто блестящую?

Рассудок

Перед Вами блестящая слава, я довольствуюсь истинною; мое дело возбуждать удивление к подвигам великим, а Ваше — оглушать одними хлопущками или слепить глаза близоруких глупцов шумихою. Мне ли не известны те клубы, в которых Вы изволите председательствовать, и те конторы, которыми премудро и славно управляете. Не Вы ли без всякой меры, без всякой основательности раздаете богатство, достоинство, славу или ругательство, стыд, посмеяние? Герои Вашего рукоделья не иное что, как призраки, созданные Армидою: по Вашей милости человек, одаренный истинным гением, принимается за глупца, и глупый, который не умеет двух перечесть, кажется гением первой степени.

Мода

Что ж это за преступление? Любимцы мои от того не страдают, и мир не остается в накладе: заблуждение для него необходимо! Чем, скажите, чем бы Вы заняли этих младенцев, когда бы надлежало привязываться только к тому, что называется у Вас основательным, благо-разумным?

Рассудок

Я бы и не подумал жаловаться, когда бы заблуждения, в которые Вы по милости своей заводите целый свет, не были часто важные и весьма важные...

Мода

А каких бы Вам хотелось, милостивый государь? Бездельных, ребяческих? Но этого и для меня, и для людей было бы слишком мало. Знаете ли, что некоторого рода упоение для людей необходимо? Приличнейшее, или лучше сказать, самое счастливое для них состояние, господин Рассудок, есть то забвение самих себя, в котором они лишаются способности умствовать (по-моему, безумствовать) и неприметно, без всякого скачка, переходят из одного заблуждения в другое. Человеческая жизнь показалась бы слишком долгою, когда бы человек осужден был всегда одинаким образом видеть, одинаким образом действовать, одинаким образом мыслить, и словом, быть нынче таким точно, каким был вчера, будет завтра и будет вечно. *Катись по свету, но бойся опираться*, говорит писатель, который мне одной обязан тем, что его вытащили из паутины и пыли и начали славить.

Рассудок

Вам?.. Перекреститесь! Вам обязан Монтань уважением нашего времени?

Мода

Мне, государь мой, не взыщите!

Рассудок

С Вашего позволения, это выдумка!

Мода

Выдумка или нет — но в моей власти и выдумку сделать истинною.

Рассудок

Чего доброго! Мы давно привыкли удивляться чудесам Вашего рукоделья.

Мода

То ли еще увидите! Например, Вы не поверите, если доложу Вам с совершенною преданностью, что Ваш первый трагик, *Корнель*, прозванный *великим*, был мой воспитанник!

Рассудок

В самом деле? Имею честь Вас поздравить с таким воспитанником!

Мода

Угодно ли выслушать мои доказательства? Корнель явился в такое время, когда пожар, зажженный междоусобными войнами, или лучше сказать, мною во Франции, потухнув, еще дымился. Французские головы почитали себя римскими, именно потому что были несколько времени сумасбродными. Ришелье принуждал их к повиновению — и всё повиновалось вслух, но всё роптало пошептом. Что ж сделал Корнель! Он воскресил римлян, заставил их говорить на сцене тем языком, каким современники его говорили у себя дома или в кругу коротких приятелей; он всё возвысил и многое сделал гигантским¹. Современники его вытягивали шею и подымались на цыпочки, чтобы сравниться ростом с его великанами; прибавьте к сим тайным причинам заблуждения неоспоримые причины великого духа Корнелева, и способы, которыми он приобрел славу свою, будут Вам совершенно известны.

Рассудок

Позвольте, позвольте — а Расин? Вы сами должны признаться, что способы, употребленные сим великим трагиком, совсем противны Корнелевым!

Мода

Однако указанные мною французы, наскучив республиканством, начали заниматься любовью. Любовь и женщины вошли в моду — и главную страсть в трагедиях Расиновых сделалась какая-то любовь².

Рассудок

Но он переменял язык, когда подружился со мною! И этот язык несравненно превосходнее первого; не правда ли?

Мода

Может быть, но какую пользу принесла эта перемена самому стихотворству? Он умер, не будучи уверен, что «Аталия», последняя и лучшая его трагедия, переживет его и даже будет прочитана которым-нибудь из потомков его от первой сцены до последней.

Рассудок

Извините — я шептал ему на ухо, чтобы он ни о чем не беспокоился. Но я напому Вам еще об одном человеке, который, надобно признаться, удивительнее всех Ваших Корнелей и Расинов. Он несколько времени блистал на сцене трагической — но способы его были совсем иные! В трагедиях его ни политика, ни любовь не составляют главного предмета, он приводил в действие все страсти, все склонности, все каче-

ства человеческого сердца и все великие пружины природы; он даже осмелился быть моралистом.

Мода

Вы говорите о Вольтере — я знаю, и очень коротко знаю этого человека.

Рассудок

Шутите, милостивая государыня!

Мода

Какие шутки — Вольтер частехонько приходил требовать моих советов, и может быть, чаще других философов, историков и стихотворцев.

Рассудок

Поздравляю! Следственно, госпожа Мода иногда изволила заниматься и нравоучением!

Мода

Чем же я хуже других? Было такое время, когда я занималась и астрономиею, когда целые сотни парижских дам бегали за мною в анатомический кабинет смотреть, как потрошили мертвых; или в химическую лабораторию наблюдать вонючие законы гниения. Сказать мимоходом, я непременно хочу, чтобы женщины узнали все тайны природы, продолжая, однако, сохранять про себя собственные.

Рассудок

А я скажу, что я рассердился бы на Вас, милостивая государыня, когда бы мог на минуту забыть, что я Рассудок.

Мода

Сердитесь, сколько хотите. Но время и кончить наш разговор! Поверьте мне, что Вы лишитесь всех своих прав, если не будете иметь уважения к моим.

Рассудок

Мои права останутся навсегда драгоценными для таких людей, которые никогда не видали Вас в глаза. *Мильтон, Тасс, Ла Фонтень* были забыты от современников, зато никогда не умрут в потомстве.

Мода

А если бы я вступилась за этих господ, то они могли бы пожить и прежде смерти.

Рассудок

Признайтесь, что Вас уважают только тогда, когда Вы кажетесь мною. К тому же, я старше Вас: Вы еще не родились, когда я управлял уже целым светом.

Мода

Не верю.

Рассудок

Но скажите сами, кто думал просить Ваших советов в то время, когда все люди жили по лесам, в состоянии простой природы, питались желудями, носили вместо одежды звериные кожи или и совсем не знали одежды, не брили бород, не стригли ногтей?..

Мода

Как, господин Рассудок, Вы хвастаетесь своими сношениями с этими неряхами! — Тем хуже для Вас.

Рассудок

Но эти неряхи сделались людьми, как скоро меня узнали.

Мода

А сделавшись людьми, они узнали меня.

Рассудок

Мною преобразовано множество народов.

Мода

А мною образованы все до одного.

Рассудок

Я управлял древнею Спартою, древним Римом.

Мода

И был по милости моей выгнан из обоих. Я управляю Парижем и, верно, во веки веков не уступлю места Рассудку.

Рассудок

А надобно признаться, что мое присутствие было бы не лишним в вашем Париже!

Мода

И! Господин Рассудок! Не советую Вам и показываться в Париже; Вас засмеют. Живите с англичанами, читайте газеты, пейте ром, говорите God dam, и Бог с Вами!

Рассудок

Я думаю, что нам не худо было бы сделать небольшое дружеское условие!

Мода

Понимаю — но это весьма щекотливое дело! Беда, если узнают, что мы помирились, что Вы существуете мною, а я Вами.

Рассудок

Будем скромны — и никто не узнает!

Мода

А подозрения? — Слухом земля полна, господин Рассудок!.. Но теперь на первый случай довольно — время дорого: вы знаете, что я существую только минутами — завтра надобно явиться мне в новом виде, а Вы оставайтесь при своем, будет время, тогда посмотрим, может быть, однако, не даю слова, терпение, скромность, пуще всего, не сказывайте никому, что Вы со мною виделись, и ради Бога, не старайтесь меня увидеть — а если уже это будет крайне нужно, то приходите, по крайней мере, в маске, например, можете занять армянское платье и колпак с гремушками у Мома³, но всего безопаснее ждать приглашения от меня — я пришлю за Вами, простите.

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Не можете ли вы сказать мне, кто этот оригинал, безрукий, в черном фраке, с седою головою, с сердитою миною? — спросил молодой Дюран у старого Вилара (бывшего прежде графом и знатным чиновником при дворе Людовика XVI¹), с которым он встретился в Тюльерийском дворце², на бале, данном по случаю коронации Наполеона³.

Вилар оборотил голову и увидел подле камина, в стороне от общества, старого Обинье, который с важным своим лицом и с черною перевязкою, обвитою вокруг левой руки, простреленной пулею на сражении, за несколько десятков лет, составлял рачительную противоположность с блестящею и веселою толпою новых придворных, которые мелькали перед ним, как тень.

— Я знаю этого чудака, — отвечал Вилар. — Это старинный мой сослуживец, Обинье. В самом деле, чудака. Вообразите в наше время человека с великою опытностию, с глубоким познанием света и при всем том с простосердечием, чистою добродетелью современников Сюллия и Генриха Великого!⁴ Таков Обинье. Не чудака ли он? Надобно

вам знать, что он весьма недавно явился в Париж. Обыкновенное место его пребывания — провинция Дофине, где он имеет несколько десятин земли, маленький домик и старую управительницу, которая в простые дни ставит на стол его только два блюда, а в праздничные прибавляет к ним третье; каждое первое января делает ему обнову и велит выворачивать старый его кафтан; кормит досыта заслуженную лошадь, а остаток годового дохода прячет в сундуке, на всякий случай. Вероятно, что из запасного капитала, скопившегося от этих остатков, отделила она некоторую часть на проезд в Париж и на возвращение в Дофине: в противном случае, вы не увидели бы его в Тюльери на бале, а еще вероятнее то, что он недолго уживется в нашей столице и, распрощавшись с нею навсегда, уедет в свою провинцию, в маленький домик, думать на покое о том, что было прежде, и о том, что видел он теперь, не заботясь о домашних делах своих, которые непосредственно состоят под ведением управительницы.

— Зачем же он приехал в Париж?

— Из любопытства. Ему удалось когда-то видеть двор Людовика XVI, Марию Антуанетту⁵ и прежних придворных; он видел ужасного Робеспьера⁶ с ужасным двором его и видел, может быть, слишком близко, ибо едва не потерял голову на гильотине, от которой спасло его 9-е число Термидора⁷; наконец, ему захотелось увидеть Наполеона и созданных им чиновников. Любя размышление, он начал чувствовать, что прежние идеи его несколько устарели, что нужно было привести их в движение и обновить свежими, и для того отправился в Париж, надеясь запастись в нем некоторыми материалами для сравнения прошедшего с настоящим — материалами, которых было бы ему довольно на все оставшееся время жизни.

— Удивительный человек! Не многие посещают двор с такими намерениями.

— Зато мой добрый Обинье и весьма редкое явление на бале придворном; скажу вам, однако, странность: именно при дворе, где истинное удовольствие так чуждо, где будем напрасно искать искренности и живости в чувствах, простосердечный, прямодушный, суровый в добродетели своей Обинье наслаждался счастливейшими минутами жизни. Кто бы это подумал! Хотите ли выслушать эту историю?

— Расскажите, прошу покорно.

— Обинье служил с отличием и всегда показывал истинную храбрость. На сражении при Фонтенуа⁸ (признайтесь, что он давно живет на свете) ранили его в руку, но это не заставило его покинуть службы. Наконец, при последнем уже короле, некоторые притеснения от начальников принудили его взять отставку: он написал челобитную; но вместо

того чтоб получить с отставкою и чин, и заслуженное им жалование, он выключен был без всякого аттестата из службы. Обинье рассердился, написав к министру письмо, в котором не соблюдена была форма, но выражалось с живостию оскорбленное сердце. Вместо удовлетворения справедливому требованию приказали ему немедленно удалиться из Парижа и жить безвыездно в своем поместье. Обинье был еще не старик, следственно, горяч, и, следственно, жестоко оскорбился несправедливостию, но он получил от природы душу высокую, а вместе с нею и редкую способность наслаждаться собственными чувствами и мыслями, и сие наслаждение почитать самую лучшею заменою всякого богатства. Уединение, рассматривание природы, свобода и ясное спокойствие совести помирили его с людьми; он называл себя даже счастливецом, потому что имел маленький уголок, собственное поле и мог размышлять вслух.

Граф Б**, любезнейший из придворных, служивший прежде в одном полку с нашим безруким Цинциннатом⁹, имел поместье в соседстве с его деревушкою. Когда случилось ему удалиться от двора, то он обыкновенно приезжал на несколько месяцев в эту деревню вместе с женою. Обинье любил общество графа Б**, который в самом деле был истинно добрый человек, а Б** с особенною приветливостию и уважением принимал заслуженного воина, который не церемонился, приходил к нему в простом фраке, пеший, и часто забывал стирать пыль с больших сапогов своих. Графиня, женщина гордая и живая, но добрая, привыкла к угрюмому его нраву, очень любила его разговор, в котором изливалось без всякого искусства доброе сердце. Каждый раз, при отъезде в Париж, говорила она ему:

— Для чего не просите вы короля об аттестате и пенсии, господин Обинье? Времена переменялись; вам непременно оказана будет справедливость. Позвольте мне быть за вас челобитчицею!¹⁰ Я имею друзей и могу быть вам полезна своим кредитом.

Но Обинье всегда отвечал ей одно; нахмутив брови, указывал он на перевязанную руку свою и говорил: *Эта челобитчица не выпросила мне ничего! Какая ж другая сделает мне более чести и с большим успехом будет хлопотать за меня у короля и его министров!* И он оставался при своем. Но ему определено было выехать из своей деревушки, явиться ко двору и быть просителем. Брат его, которого Обинье любил со всей нежностью простодушного воина, имел процесс с одним случайным человеком. Дело его, совершенно правое, было запутано; он мог проиграть свою тяжбу, ибо имел соперника корыстолюбивого и бессовестного, и, проигравши ее, необходимо должен был лишиться последнего куска хлеба. Обинье, прочитавши письмо, в котором брат его описывал свое несчастье, велел управительнице отсчитать из запасного капитала для

путешествия своего деньги и на другой же день отправился в Париж просить графиню Б** о деле своего брата. Приезжает, идет к графине; его принимают очень ласково.

— Наконец вы усмирились, господин Обинье, — сказала ему с улыбкою графиня Б**, — пора вам сделать честь своим посещением Версаля¹² и Парижу!

— Как же быть, графиня! — отвечал Обинье. — Готов назвать их и раем, если прикажете, только вступитесь за бедного моего брата.

— Дайте мне записку о его деле; завтра потрудитесь пожаловать ко мне часу в осьмом утра!

Обинье подал графине бумагу, поклонился и ушел. На другой день приходит он в назначенное время в дом графини Б**; она еще не просыпалась, но ему приказано ее дожидаться, и его вводят в кабинет. Прошло полчаса, графини нет; Обинье начинает скучать. «Заслуженному, безрукому солдату сидеть на карауле перед спальнею молодой женщины, — так думал он, стуча пальцами по столу, — ждать ее пробуждения, просить ее милости... Но это не для меня!» И мысль сия успокаивала доброе сердце его. Вдруг отворяется потаенная дверь, входит молодая женщина, прекрасная лицом, чрезвычайно стройная, величественного вида, веселая, ласковая. Обинье поклонился; она спросила у него приятным голосом:

— Где графиня Б**?

— Говорят, что она еще не просыпалась, — ответил наш воин с заметным неудовольствием.

Незнакомка посмотрела на него пристально, улыбнулась, позвонила в колокольчик; вошла горничная девушка. Она прошептала ей несколько слов на ухо; между тем проситель расхаживал взад и вперед по комнате, изредка вздыхал, иногда останавливался и устремлял глаза на раненую руку, хмурил брови, потирал себя по лбу. Незнакомка расположилась в больших креслах и рассматривала с истинным удовольствием странную фигуру витязя, одетого в старый, давно выслуживший срочное время мундир. И он, и она молчали. Наконец незнакомка, перебирая листы в книге, спросила:

— Конечно, государь мой, вы имеете какое-нибудь дело в Версале?

— Без дела сюда не заедешь, — отвечал Обинье, смотря в противный угол.

Незнакомка улыбнулась,

— Вы служите? — спросила она.

— Служил!

— Итак, в отставке? По вашему мундиру догадываюсь, что вы служили в полку королевы!

— Точно так!

— Полковником у вас должен быть, если не ошибаюсь, маркиз Л...?

— Да, он был полковником в то время, когда меня отставили; теперь надобно ему быть маршалом. По крайней мере, он прямо метил в маршала. А теперь людям, каков он, во всем удача!

— Ваша правда, маркиз Л** человек достойный, но королю не угодно было сделать его маршалом при нынешнем производстве.

— В самом деле! За это все заслуженные люди скажут спасибо Его Величеству!

— Я замечаю, что вы не очень хорошо расположены к маркизу Л**.

— Вы не обманулись; я презираю этого человека. Он полковник — это правда, но за что полковник? Бог знает! Желал бы я, чтобы вы посмотрели на подвиги его во время осады Гибралтара!¹¹ И если бы не покровительствовала ему королева...

— Продолжайте.

— Но ей непременно хотелось еще одному неблагодарному оказать милость... Что ж тут говорить: хотелось, только и всего. Старые сослуживцы мои нахмурились, а маркиз Л** вздумал еще хвастать такою милостию, за которую всякий другой не пожалел бы своей жизни. Это меня взорвало; я наговорил ему тысячу грубостей; он снес их очень милостиво в присутствии всех своих офицеров, а мне отомстил, как подлец, то есть замарал меня перед военным министром, который, поверив ему, не дал мне при отставке ни аттестата, ни пенсiona. Таков-то, прошу не погневаться, ваш достойный человек маркиз Л**. Как же не удивляться, что он еще не маршал.

— Надобно вам сказать, что при дворе совсем иначе об нем думают!

— При дворе ни о чем не думают!

— Позвольте ж спросить, за каким делом приехали вы в Версаль? Не хотите ли иметь полк? В таком случае графиня Б** может быть для вас весьма полезна!

— Сохрани меня Бог! Кланяться графиням и маркизам тогда, когда у меня есть простреленная рука, две раны на груди и имя честного офицера! Нет, я приехал в Париж за другим делом, одно несчастье погибающего моего брата могло принудить меня таскаться по передним: сильные люди отнимают у него, и отнимают самым бездельническим образом, последний кусок хлеба. Графиня Б** обещалась ему покровительствовать. Она имеет доброе сердце, но я боюсь ласкаться надеждою! В наше время правые люди почти никогда не бывают оправданы...

— Конечно, вы редко выезжаете из провинции?

— Очень редко!

— Признайтесь, что мы, жители столицы, у вас не в милости?

— Правду сказать, об вас не думают.

— Но вероятно, что вы иногда достаиваете своего внимания короля и королеву. Что, если смею спросить, говорят у вас о короле?

— О, король? Его называют добрым. Но всем вообще неприятно, что вместо его управляют государством министры; все опасаются общего расстройства в делах, ужасных долгов, беспорядку доходов, худой экономии; народ страдает от налогов, а честным людям горестно видеть, что явные бездельники занимают такие места, в которых они могли бы приносить истинную пользу отечеству...

— А что говорят о королеве?

— Королеву называют милою, умною, прекрасною женщиною; удивляются ее добродетелям, которые покорили бы ей каждое сердце, когда бы она не имела такого множества слабостей...

— Но видали ли вы ее когда-нибудь?

— Никогда!

— Продолжайте!

— Говорят, что она благодетельствует одним только любимцам, а прочих обогащает пустыми обещаниями; что редко помнит оказанные ей услуги: что все готова принести на жертву своим удовольствиям.

— Продолжайте, продолжайте!

— Говорят, что она удалила от себя всех рассудительных людей, способных руководствовать ей советами, и любит общество одних только льстецов, ветреных женщин или развратных людей, которых надобно подкупить, чтоб иметь свободный доступ к трону.

— Ах Боже, какое ужасное мнение! Бедная королева, ее ненавидят!

— Ненавидят? — воскликнул Обинье, вскочив со стула и приступив на три шага к незнакомке. — Можете ли вы это подумать? Каждый француз готов пожертвовать за нее жизнью! Ненавидят! Боже мой! Я обижен по службе, но каждое утро подымаю эту оставшуюся мне руку к Небу и молю Его, чтоб сохранило наших монархов! Ненавидят! По всему догадаться можно, что вы, милостивая государыня, из числа придворных.

У незнакомки навернулись на глазах слезы. Она с чувствительностию смотрела в лицо добродушного Обинье, который сам едва не плакал.

— Может быть, вы близки к королеве, — продолжал он в сильном движении, — может быть, вы искренно к ней привязаны! Осмейтесь объяснить с нею откровенно: поверьте, что в этом состоит прямая польза ее; осмейтесь пересказать ей те истины, которые вы слышали от старого простодушного солдата; скажите ей, чтобы она всему предпочитала спокойствие совести, доверенность, любовь и уважение народа; скажите ей, что Франция привыкла находить благодетелей своих в

Бурбонах¹³, что в нашем отечестве одни злодеи должны быть несчастливы и что, напротив, они-то и пользуются всеми выгодами, они-то и торжествуют; осмелюсь, повторяю вам, хотя бы то навлекло на вас ее немилость! Ах! Верьте моей совести, такая немилость стократно славнее, стократно достойнее уважения тех почестей, которыми вас так щедро...

Обинье, заметив великое замешательство на лице незнакомки, вдруг остановился, замолчал и вспомнил, что он ораторствовал в кабинете любимицы королевиной и говорил с такою женщиною, которой не видывал никогда прежде в лицо и которой характер был ему не известен. Мысль, что, может быть, своею безвременною откровенностию испортил он дело своего брата, смутила и огорчила его сердце; он робко потупил глаза в землю. Незнакомка встала с своего места.

— Государь мой! — сказала она. — Никогда не забуду ваших слов; они были слишком чувствительны для моего сердца; завтра непременно перескажу их королеве. Прошу вас оставить меня наедине с графинею Б**; уверяю вас, что вы очень скоро обо мне услышите.

Обинье не смел ни отвечать, ни остаться в кабинете, взял шляпу, сделал весьма неловкий поклон и отправился на свою квартиру. «Что ты начудесил, старый младенец! — сказал он самому себе. — Кто просил тебя проповедовать мораль таким людям, от которых надобно было просить одной помощи бедному твоему брату и которые не могут терпеть, чтобы их почитали учениками? С кем это разговаривал ты так свободно? Знаешь ли, что на сердце у этой госпожи? Может быть, это одна из тех добросовестных любимиц королевы, которые всему предпочитают собственную выгоду. Что, если она, в благодарность за твои наставления, вздумает наградить тебя спокойным уголком в Бастилии?»¹⁴ Кто заступится за твоего брата?..» Он пришел на квартиру и целый день ходил взад и вперед по горнице, сложив руки и нахмутив густые свои брови.

На другое утро является к нему полицейский офицер и требует, чтобы он за ним следовал. Обинье, уверенный, что его ведут в тюрьму, схватил перо и бумагу, написал несколько строк к своей управительнице, два слова к брату, два слова к графу Б**, запечатал эти записки и отдал их своему хозяину с просьбою, чтобы отослать их на другое утро по адресу, если он сам не возвратится домой в тот же вечер. Сделав такое распоряжение, он успокоился. И в Бастилии можно думать, спать и быть довольным собою, говорил он, следуя за полицейским. Приходит к военному министру. Его ведут в кабинет. Министр приближается с приветливым видом, пожимает его руку и, подавая ему бумагу, говорит:

— Король просит, чтобы вы извинили его в той несправедливости, которая оказана вам его именем; он жалуется на вас чином, старшинством и тысячею ефимков ежегодного пенсионера. Вот ваш аттестат; сама коро-

лева ходатайствовала за вас у Его Величества, и ей обязаны вы той милостию, или лучше сказать, той справедливостию, которая вам сделана; я почитаю себя счастливым, господин Обинье, что мне поручено объявить вам волю великодушного моего монарха.

Обинье остолбенел и едва мог верить ушам своим; он пожал у министра руку, сказал несколько несвязных слов и побегал к графине Б** известить ее о неожиданном происшествии, которое с ним случилось.

— Что же теперь вы думаете о дворе, Версале и Париже?

— Я думаю — я думаю — что везде есть добрые люди.

— Вам надобно благодарить королеву!

— И ту незнакомую даму, которой я столько же обязан, как и самой королеве! Кто она, если смею спросить?

— Она не хочет, чтобы вы ее знали!

— Этому не бывать! Благодарный человек всегда может узнать своего благодетеля.

— Поедьте вместе со мною во дворец. Королева непременно желает вас видеть; она приказала мне поместить вас в той зале, через которую пойдет нынче в церковь. Смотрите ж, не оробейте! Всем известно, что вы великий стоик; не остыдите себя замешательством, неприличным старому офицеру.

Обинье усмехнулся; графиня подала ему руку, посадила его с собою в карету и повезла во дворец. Входят в галерею. Графиня указывает ему место, на котором надлежало дожидаться выхода королевы, и идет во внутренние покои. Через полчаса отворились двери: целый рой пажей, одетых в блестящее платье, промчался перед глазами нашего рыцаря; за ними пролетела шумная толпа придворных; он устремил глаза на двери, из которых несколько минут никто не являлся; в галерее все утихло — все ожидали — наконец послышался шепот: «*Королева! Королева!*» Она явилась одна, одетая просто, но величественно и прелестно; шла тихо. Обинье устремил на нее глаза... Кто опишет его удивление! Это та самая незнакомка, которой давал он такие поучительные уроки в кабинете графини Б**. Мария, увидев своего цензора, улыбнулась, и, поравнявшись с ним, остановилась.

— Теперь уверены ли вы, господин Обинье, — сказала она, подавая ему руку, — что королева иногда может сносить и правду?

Но добрый Обинье не мог уже отвечать ни слова: он плакал и обнимал ее колена.

— Встаньте, почтенный Обинье! — сказала Мария, — берусь покровительствовать вашему брату. Уверьте его от меня, что он не должен опасаться никакой несправедливости по своему делу; простите. Надеюсь, что мы расстанемся не навсегда!

— Ваше Величество! — воскликнул растроганный Обинье. — С этой минуты единственная моя молитва к Богу будет та, чтобы Он послал мне счастье принести вам на жертву жизнь мою!

Королева удалилась; придворные окружили Обинье, но он не замечал их и даже не чувствовал слез, которые лились по щекам его ручьями: глаза его следовали за Мариною: она казалась ему удаляющимся ангелом милости. Он возвратился в провинцию; брат его выиграл свою тяжбу: с тех пор Обинье никогда не мог говорить равнодушно о Марии Антуанетте. Ему суждено было еще один раз в жизни ее увидеть, но в таких обстоятельствах! Мария Антуанетта, которая за несколько лет очаровала глаза его и сердце своим веселым, пленительным видом и пышностью окружавшей ее толпы, Мария, томимая печалью, вдова погибшего супруга, лишенная детей, окружаемая палачами, шла перед судилищем злодеев, которые уже приготавливали для нее ужасную гильотину. Обинье хотел непременно быть свидетелем ее допроса, но, увидев Марию, он затрепетал, выскочил из толпы, обнял ее колена и залился слезами.

— О Ваше Величество! Такой ли участи вы достойны! — воскликнул он с горестию.

— Что вы делаете, Обинье! — сказала Мария. — Вы не спасете меня, а себя погубите!

— Ах, Ваше Величество! Лучше погибнуть, нежели жить с этими палачами! — воскликнул он, посмотрев с негодованием на гнусных убийц Людовика и Марии. Его окружили.

— Ах, Обинье, могу благодарить вас только слезами! — сказала Мария, подавая ему руку; он поцеловал ее с жаром. Нужно ли сказывать, что верность и благодарность были причтены ему в уголовное преступление, что смелость его наименовали бунтом, что его бросили в тюрьму, что и для него приготовлена была гильотина. Какое чудо спасло его, не знаю; но он и сам едва ли надеялся остаться в живых, а еще более философствовать через несколько лет на бале императора Наполеона!

— Оригинал, каких немного, — сказал Дюран, подходя к камину, чтобы всмотреться в лицо почтенного инвалида.

РАЗГОВОР УМА С СЕРДЦЕМ

Ум

Скажи мне, Сердце, долго ли тебе поступать со мною так самовластно? Долго ли мне, бедному, быть у тебя в неволе? Ты единственная причина моих мучений; ты истинный источник удовольствий моих и радостей. Повинуясь твоим непобедимым склонностям, я беспрестанно

бываю завлечен тобою в заблуждение: отступись от меня! Перед тобою твои благодеяния, только оставь мне свободу мою и возврати мне мою собственность, предательски тобою присвоенную.

Сердце

Чем заслужило я такие упреки? Если позволено спросить.

Ум

Правду сказать, я несколько поздно начинаю на тебя жаловаться; давно бы пора мне вздумать, что ты владеешь моим именем, что мне не должно, в угодность тебе, лишаться естественного своего права.

Сердце

Естественного права? Но скажи мне, ради Бога, кто думал отнимать у тебя твое право?

Ум

Какое бесстыдство! Хитрый тиран! Ты никогда не осмеливаешься обнаруживать своего деспотизма! Но оттого-то и бывает так опасно. Сколько раз обманывало ты меня своими ненавистными обольщениями!

Сердце

Ах, добрый Ум! Какая несправедливость! Не должно ли скорее твои ошибки, твое несовершенное, или лучше сказать, ложное просвещение почитать настоящими причинами общих наших несчастий?

Ум

Боже мой! Я не могу этого равнодушно слышать! Не твои ли желания дают предметам наружность пленительную и украшают их ложным блеском? Не ты ли с удивительною быстротою предаешься страсти, всегда умеешь поселить во мне опасное предубеждение, осыпаешь край пропасти цветами, накидываешь на истину гибельный покров, который никакое опытное око мудреца проникнуть не может. Ты льстишь, пленяешь, обманываешь прелестью милых надежд, легкими, очаровательными опытами мечтательного наслаждения — и за тобою следуют без боязни. Сначала повиновение воле твоей кажется усадительным — ты налагаешь легкие цепи из цветов, но скоро на место их являются тягостные оковы, неволя ужасная и жестокая. Нет! Горестная опытность сделала меня осторожным! Полно мне слушать твоих рассказов! Я твердо решился возвратить потерянное мною первородство; хочу быть глухим и вечно буду советоваться прежде с собственным просвещением, нежели с твоею волею. Будь мне покорно и не смей сказать слова!

Сердце

Пользуйся своею властью, сколько тебе угодно: я никогда не подумаю у тебя отнимать ее, но признаюсь, что тебе необходимо надобно будет поделиться ею со мною. Что делается с тобою, неблагодарный, если наконец решусь от тебя отступиться? Скажи, оскорбитель несправедливый, кому, если не мне, обязан ты минутами истинного наслаждения? И кто же причину испытанных тобою мучений? Чувства мои всегда повинуются твоему просвещению; если применяю их так, как должно, то это единственно от того, что ты несправедливо судишь. Кто из нас двоих видит и сравнивает? Не ты ли? Исправь же свои заблуждения, и я постараюсь исправить свои склонности.

Ум

Странная дерзость... мне приписывать собственные проступки свои и слабости! Но полно тебя слушать! Молчи! Отныне всякое сообщение между нами пресекалось.

Сердце

Как, добрый Ум? Можно ли этому быть? Ты сам признался, что я единственная причина всех твоих удовольствий, и сам же хочешь отнять у меня эту превосходную способность? Итак, я уже не буду услаждать ими ту мрачную скуку, на которую осудила тебя Природа? Мы созданы жить в союзе: раздор наш и для тебя, и для меня должен быть равно вреден. Я без тебя потеряюсь и погибну, а ты без меня не будешь наслаждаться собою, утратишь пленительную простоту свою и живость. Царствуй — я на это согласно; однако, царствуй, как добрый Государь, для моего счастья; будь моим правителем, а не тираном. Не обманывай себя ложными умствованиями, научись управлять мною для моей пользы и советоваться со мною для собственной. Предлагаю тебе мои услуги и требую в замену одной только твоей опоры; признаю тебя своим повелителем, но ты признай меня истинным своим другом.

Ум

Увы! Ему вечно дается меня переуверить.

Г-жа Ролан

ОРИГИНАЛ И КОПИЯ

В истории живописцев находим гораздо более случаев, достойных нашего замечания, нежели в истории стихотворцев. Ни одно славное

произведение поэта не имело таких горячих заступников, как некоторая славная картина великих живописцев. Поэму сначала судят, потом уже начинают ей удивляться; напротив, картине сначала удивляются, потом уже начинают судить ее. Один древний генерал снял осаду одного города единственно для того, чтобы не испортить находившейся в нем превосходной картины. Франция не приняла миллиона за святого Иеронима¹. Некоторые картины ценимы были так дорого, что одни только владетельные принцы были в состоянии заплатить за них деньги.

Всем известен великий талант Адриана Вандер-Вельда², но редким известно происшествие, случившееся в Англии с ним и с одним страстным любителем живописи.

Лорд Кларендон³ купил прекрасный домик в окрестностях Анвера⁴: воды, рощи и холмы составляли в этом месте ландшафт восхитительный, могущий воспламенить воображение и живописца, и поэта. Вандер-Вельд, который проезжал через это поместье, пленившись красотой местоположения, остановился на несколько времени в деревне, снял некоторые виды и написал превосходную картину, которую привез продавать в Лондон. Будучи недоволен суммами, предложенными ему от некоторых охотников, решился он продать ее с аукциона, желая лучше оставить ее у себя, нежели отдать за бесценок.

Лорд Кларендон, находившийся в то время в Англии, зашел по случаю на аукцион. При первом взгляде на картину, узнал он свою Анверскую деревню со всеми прелестными ее видами. Цена беспрестанно возвышалась — уже предлагаемая сумма далеко превосходила надежду и требования Вандер-Вельда.

— Прибавляю двадцать пять гиней! — сказал Лорд Кларендон.

— Я тридцать! — закричал другой покупатель.

— Я сорок! — воскликнул третий.

— Даю оригинал за эту копию! — сказал Кларендон...

При слове «копия» все изумились. Адриан Вандер-Вельд подбежал в ужасной досаде к лорду и спросил, по какому праву называет он копию его картину? Знаток ли он в живописи?

— Такой великий знаток, — отвечал Кларендон, — что смело предлагаю в другой раз: оригинал за эту копию!

— Но, милорд, опомнитесь! Вы в заблуждении.

— Нимало! Я признаю Адриана Вандер-Вельда единственным автором этой картины, и несмотря на то, даю ему оригинал за копию.

Тут живописец понял слова Кларендона, взял картину, поднес ее лорду, и они пошли вместе к нотариусу писать купчую на Анверскую деревню, которая тут же и была уступлена Вандер-Вельду.

СВИДАНИЯ МАРШАЛА ПРИНЦА ДЕ ЛИНЯ С Ж.-Ж. РУССО И ВОЛЬТЕРОМ

(Отрывок из новой книги: Письма и мысли маршала принца де Линя)

Приятная книга, которую предлагаем публике, говорит издатель в предисловии своем к письмам принца де Линя, составлена из переписки и разных отдельных мыслей этого необыкновенного человека, который был в дружеской связи со многими славными людьми и которого общество почитаемо было приятнейшею забавою от многих знаменитых монархов. Маршал принц де Линь был истинно любезный человек, в том смысле, в котором принимают это слово люди хорошего общества. Издатель мыслей его и писем сожалеет только о том, что не может познакомить читателей с самим автором, который только *отчасти* изобразил себя в своих сочинениях. В каждом из них находите приятность и остроту; но слог принца де Линя по большей части, если позволено так выразиться, есть *слог разговора*. Читая его, надобно представлять себе прекрасную физиономию автора, его приятную живость, его простоту в обхождении, его непринужденную шутливость — тогда и самая небрежность его слога делается для вас привлекательною. Все то, что несколько темно по правилам синтаксиса, делается очень ясным в разговоре, где выражения дополняются взглядами, тоном голоса и теми бесчисленными способами, в которых заключена сила и прелесть искусства говорить, способами, составляющими истинное превосходство его перед искусством писать.

Письма принца де Линя писаны к польскому королю, которому рассказывает он самым приятным образом о свидании своем с Фридрихом Великим; к Екатерине II, к императору Иосифу, к господину Сегюру, с которыми автор рассуждает о Турецкой войне, к г-ну де Колиньи, которому описывает он славное путешествие в Крыме. Переведем из них несколько отрывков.

Свидания с Ж.-Ж. Руссо

Услышав, что Ж.-Ж. Руссо возвратился из своего изгнания¹, вздумал я заглянуть на его чердак. Входя на лестницу, я еще не знал, что ему сказать и каким образом завести с ним разговор; но, привыкнув слушаться моего инстинкта, который всегда служил мне вернее, нежели размышления, вошел я в горницу и притворился, будто ошибся дверью. «Что такое?» — спросил Жан-Жак. «Извините, государь мой, я искал господина Руссо тулузского!». «А я только женеvский». «Женеvский? Знаю! Ведь вы, если не ошибаюсь, занимаетесь собиранием трав? Так

точно! Вот и травники²; какие огромные книги! Они, признаться, гораздо лучше тех, которые написаны!». Руссо почти улыбнулся и начал показывать мне свои травы. Я совершенный невежда в ботанике, но таял от удивления, рассматривая это собрание, для меня совсем незанимательное и, сказать правду, очень, очень посредственное. Через минуту он снова надел на нос очки, принялся за работу и перестал мною заниматься; а я начал извинять себя перед ним в своей неосторожности; просил, чтобы он указал мне, где найти господина Руссо тулузского; но опасаясь, чтобы он в самом деле не исполнил моего требования и тем не кончил нашего разговора, прибавил я: «Правду ли говорят, что вы очень искусны в списывании нот?»³ — Он встал, вытащил из письменного столика нотную книгу, развернул ее: «Смотрите, какая чистота!». И начал говорить о трудности работы, о великом своем даровании — я вспомнил Сганареля, который хвастал своим талантом складывать дрова в беремя. Признаюсь, почтение, которым я был наполнен к этому человеку, сделало меня робким: я даже чувствовал трепет, отворяя дверь его комнаты. Оно-то и не позволяло мне продолжать моего разговора, который мог бы показаться ему подозрительным; мне хотелось только получить один пропускной билет для будущих моих посещений. Я продолжал: «Скажите, господин Руссо, для чего избрали вы такую механическую работу? Может быть, вы надеетесь ею несколько утушить пламень вашего воображения». «Ах, государь мой! Те упражнения, в которых имел я предмет свою и общую пользу, были мне слишком вредны». — Он снял очки, бросил травники и подошел ко мне с живостью, когда я ему сказал, что соглашаюсь почитать вместе с ним некоторые исторические и словесные науки вредными для людей⁴, не имеющих основательного рассудка. Он начал осыпать меня доказательствами, входить в такие подробности, которым нет ничего подобного во всех его сочинениях, и разбирал мысли свои до самых малейших оттенков, с такою точностью, с такою определенностью, которые иногда терял в уединении, может быть, от излишества в умственной работе. Он несколько раз воскликнул: «О люди! Люди!» Получив некоторое право ему противоречить, я осмелился сказать: «Людей обвиняют такие же люди, которым весьма нетрудно ошибаться во мнении!». Это заставило его на минуту задуматься. Я сказал, что совершенно был с ним согласен в мыслях, как делать и принимать благотворения, и в том, что благодарность — тяжкое бремя, если не можем ни уважать, ни любить своего благотворителя. Это было ему приятно. Но я прибавил: «Можно зайти в другую крайность, сделаться неблагодарным». Он вспыхнул, красноречивейшие уверения полились с языка его рекою; он замешал в них несколько софизмов, которые, без сомнения, навлек я на себя вопросом: «Что, если господин Юм был

совершенно невинен?»⁵ «Знаете ли вы этого человека?» — спросил Руссо. Я отвечал, что знаю; что я очень горячо спорил с ним на его счет, и заключил, что, опасаясь быть несправедливым, всегда останавливаюсь в своих заключениях об людях. Неопрятная жена его или служанка⁶ прерывала иногда наш разговор своими вопросами о белье, обеде и других такой же важности предметах. Он отвечал ей с милою кротостию; кусок сыру показался бы вам прелестным, если бы он удостоил сказать об нем два слова. Я не заметил и тени недоверчивости в его обхождении со мною: правду сказать, я и не давал ему времени обратить мысли на мое посещение. Наконец, против воли моей надлежало с ним проститься; взглянув в почтительном молчании на сочинителя «Новой Элоизы», я пошел в двери и оставил этот чердак, жилище мышей, святилище Гения. Он встал, проводил меня до самой лестницы, смотрел с любезным доброжелательством за мною вслед и не спросил моего имени. И нужно ли было спрашивать? — Имя мое не могло иметь для него той важности, какую имели имена Тацита, Саллюстия, Плиния. Он позабыл бы об нем очень скоро; но случай необыкновенный заставил меня опять с ним увидеться: я находился в обществе принца Конти, где был архиепископ тулузский, президент д'Алитр, несколько других прелатов и членов парламента⁷. Там я узнал, что эти два класса людей намерены были причинить беспокойство Жан-Жаку, и написал к нему письмо, которое он весьма некстати дал прочесть и даже списать своим знакомым и которое через несколько времени явилось напечатанным во всех публичных листах и газетах. Руссо по обыкновению своему удостоил меня включить в число мечтательных своих неприятелей, которые со всех сторон (как он думал) расставляли ему сети: таково было безумство, поселившееся в голову этого великого человека, восхитительного и несносного. Но первое движение сердца его было всегда доброе: на другой же день по получении письма моего пришел он меня благодарить. Камердинер входит и сказывает: «Жан-Жак Руссо!» Не смел верить ушам своим! Отворяются двери, вижу Жан-Жака и не смею верить глазам своим. Людовик XIV, конечно, не был столько обрадован посольством из Сиам⁸, как я посещением моего женеvского философа. Описания, которые он сделал своим несчастиям, изображение вымышленных его врагов, картина заговора целой Европы против спокойствия и чести одного человека — все это могло бы, вероятно, быть тягостным моему сердцу, когда бы не очаровано было оно удивительным его красноречием. Я старался переменить материю и начал говорить о любимых его предметах — уединении и сельской жизни. Я спросил, как мог он, любя так страстно природу, заключить себя в пыльном Париже? Любезный софист осыпал меня восхитительными парадоксами, которыми старался доказать, что о

свободе надлежит писать в тесной тюрьме, а восхищать других изображением природы гораздо легче в метель и трескучий мороз. Мы начали говорить о Швейцарии, и мне нетрудно было доказать ему (не давая, однако, чувствовать, что я того желал), что *Юлия и Сен-Пре* были выучены мною наизусть. Это удивило его и даже обрадовало. Он заметил, что «Новая Элоиза» была единственным из сочинений его, которое мог я любить и читать, и что я поленился бы заниматься глубокими умствованиями и тогда, когда бы имел расположение к глубокомыслию. Сказать правду, я сам не помню, чтобы когда-нибудь имел столько ума, как в продолжение сих двух разговоров с моим женевским мизантропом. Когда он сказал мне решительно, что будет ожидать в Париже приговоров и духовенства, и парламента, то я осмелился обнаружить мое мнение о способах его поддерживать его славу. «Чем более хотите скрываться, господин Руссо, — сказал я ему, — тем более себя выставляете; чем более стараетесь быть диким, тем связи ваши с гражданским обществом становятся теснее!» Глаза его сияли, как звезды. Великий гений выливался из взоров его струями света и распал я мою душу. Помню, что я сказал ему при конце нашего разговора, со слезами на глазах: «Будьте счастливы, почтенный Руссо! Будьте счастливы, хотя против воли. Если не согласитесь жить в том храме, который построю вам в моем владении, где нет ни парламента, ни архиепископов, но где найдете вы лучших коров, лучшие поля и рощи, то оставайтесь во Франции. Если оставят вас здесь в покое, как я и надеюсь, то вы хорошо сделаете, когда продадите за хорошую цену свои сочинения, купите вблизи Парижа небольшой и прекрасный домик, поселитесь в нем и будете впускать к себе одних только избраннейших из почитателей вашего гения: верьте мне, что в две недели перестанут думать, что вы живете на свете». — Я уверен, что это предложено было не по вкусу его; уверен, что он ужился бы и в Эрменонвиле, когда бы смерть не оставила его там навек⁹. Мы прощались с ним добрыми друзьями. По крайней мере, уходя от меня, оказал он более, нежели обыкновенно, благодарности и чувства: оставшись один, я почувствовал в душе своей ту пустоту, которую обыкновенно находишь в ней после приятного свидания.

МОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ФЕРНЕЕ¹⁰

Я жил целые восемь дней у Вольтера и во все это время старался позабыть последний ум свой, чтоб пользоваться как можно более умом моего хозяина, который, правду сказать, и не скупился. Я желал бы вспомнить все то, что видел и слышал — великое, смешное, милое, забавное, острое, восхитительное, странное; но признаюсь, это выше моей силы. Я сме-

ялся, как сумасшедший, приходил в восхищение, плакал, удивлялся и всякую минуту был вне себя. Все в этом человеке, и самые его про-
ступки, и ложные знания, и пристрастия, и грубость вкуса в суждении
об изящных искусствах, и его капризы, и то, чем он старался быть, и
то, что был он в самом деле, все казалось мне очаровательным, новым,
прелестным, непредвиденным. Ему хотелось казаться глубокомыслен-
ным политиком, глубоким ученым, и он соглашался даже быть скучным.
В это время предпочитал он всему конституцию Англии. Помню, что я
ему сказал: «Не забудьте, господин Вольтер, об океане, который, может
быть, есть главная подпора английской конституции». — Он посмо-
трел на меня пристально. «Океан? В самом деле? Я буду об этом много
думать!». Пришли сказать о приезде одного женева, который надоедал
ему смертельно. — «Скорее, скорее дайте ему прием Троншениа!» (лекарь
Вольтеров). Это значило: «Скажите, что я болен». Женевец уехал.

— Что вы думаете о Женеве? — спросил у меня Вольтер.

Я знал, что он в это время ненавидел Женеву.

— Несносный город, — отвечал я, хотя, признаться, думал против-
ное. В это время занимался он объяснением скучной Церковной Исто-
рии аббата Флери¹¹.

— Это не история, — сказал он мне, — а сказка. Я никому не позво-
лил бы называть себя добрым христианином, кроме Боссюэта, Фене-
лона и им подобных! Вот люди!

— Ах, господин Вольтер, вы забываете о некоторых почтенных
отцах, которым обязаны вы порядочным воспитанием.

— И то правда!

И он начал превозносить их до небес.

— Кстати, — спросил он, — вы были в Венеции? Удалось ли вам
видеть прокуратора Прококуранте?¹²

— Нет! Право, не знаю, кто этот прокуратор.

Он рассердился.

— Разве не читали вы «Кандида»?»

Надо признать, что он всегда по несколько времени предпочитал
одно какое-нибудь сочинение свое прочим. При мне была очередь
«Кандида».

— Виноват, виноват! Я был в рассеянии; я думал в эту минуту о том,
как меня удивили однажды венецианские гондольеры, которые пели
Тассов «Иерусалим», как древние рапсоды Гомерову «Илиаду»!

— Как это! Расскажите!

— В прекрасные летние ночи они собираются на большом канале и
поют по очереди по несколько стансов: где кончит один, там начинает
другой. Не думаю, чтобы парижские фиакры¹³ знали наизусть «Генри-

аду», и вероятно, что ваши прекрасные стихи пострадали бы немного от грубого их напева...

— О варвары Вельхи!¹⁴ — воскликнул мой хозяин, — противники всякой гармонии, людоеды! Таков народ наш! А наши умные люди так умны, что умничают даже в самых заглавиях книг своих; например, книга «*Об уме*»¹⁵ писана человеком, который сошел с ума. Прекрасная книга «*О духе законов*» превосходит ограниченное мое понятие. «Персидские письма»¹⁶ для меня вразумительнее: и вот что я называю хорошою книгою.

— Однако есть писатели, которых вы, кажется мне, уважаете.

— Надобно ж быть кому-нибудь! Например, д'Аламбер, который, не имея воображения, называет себя геометром; Дидрот, который, наградив себя, Бог знает почему, пламенным воображением, надут и ужасный крикун; Мармонтель, которого «Пиитика», между нами сказать, непонятна. Эти господа стали бы говорить, что я завистлив; при дворе почитают меня критиком и льстецом; в городе слишком дерзким философом, а в Академии неприятелем философов; в Риме величают меня антихристом за то, что я не хочу целовать туфлей Его Святейшества; проповедником деспотизма в парламенте; худым патриотом за то, что я сказал несколько слов в похвалу англичан¹⁷; разорителем и благодетелем книгопродавцев¹⁸; развратником за мою целомудренную «Орлеанку» и притеснителем за то, что я проповедую терпимость! Сами скажите, удавалось ли вам когда-нибудь читать злую эпиграмму или ругательную песню моего сочинения? Вот вывеска злого характера. Но эти господа: Руссо, и Жан-Батист, и Жан-Жак, представили меня в виде самого дьявола¹⁹. Мое знакомство с обоими сначала шло очень хорошо. Вместе с первым я пил шампанское за столом вашего батюшки и вашего родственника, господина д'Аремберга²⁰, у которых он дремал за ужином, с последним я несколько времени кокетствовал; но это сущий медведь! И за то, что я осмелился сказать, что Жан-Жак Руссо уговаривает человеческий род ходить на четвереньках²¹, выгнали меня из Женевы, где нет ни одной души, которая не проклинала этого сумасброда.

Он смеялся от всего сердца всякой неожиданной глупости, и сам очень часто говорил смешной вздор! Он едва не прыгал от удовольствия, когда я читал вслух письмо кавалера де Литта²², который досадовал на него за худое исполнение комиссии о каких-то часах и которого послание начиналось так: «*Я вижу, господин Вольтер, что вы превеликий скотина и пр.*»

Он сказал мне однажды: «Весь свет уверен, что критика меня бесит. Это вздор! Например, читали ли вы эту эпиграмму (сочиненную Фридрихом II)²³? Не понимаю, каким образом этому человеку, который не

знает правописания, могли войти в голову четыре стиха прекрасных и правильных:

Candid est un petit vaurien
Qui n'a ni pudeur, ni cervelle.
Ah! Qu'on le reconnait bien
Pour le cadet de la Pucelle.

— Мне кажется, что у вас теперь с ним худо, — сказал я, — что ваша ссора есть ссора любовников.

Он засмеялся. Он столько же любил слушать шутки, как и шутить сам. Кажется, что он по временам ссорился с мертвыми, также как и с живыми; иногда любил их больше, иногда меньше. При мне были в милости Фенелон, Лафонтен и Мольер.

— Угостим его немножко Мольером, милая, — сказал он госпоже Денис, своей племяннице²⁴. — Скорее несколько сцен из «Ученых женщин» («Les Femmes savants»). Пойдемте в залу, без церемоний.

Он сам играл Трисотина²⁵ как нельзя хуже, но очень забавлялся своею ролью.

Я не слышал ни одного слова против религии и главного его неприятеля Фрерона²⁶. «Я не люблю, — говорил он, — людей, которые сами себе противоречат. Отвергать все вообще религии почитаю безумством. Например, какова кажется вам “Исповедь Савойского священника” в “Эмиле” нашего приятеля Жан-Жака?» Досада его на женевского философа была в то время во всей своей силе. Но в это же самое время, когда он называл его извергом, достойным ссылки, галеры, казни, кто-то ему сказал: «Не обманываюсь ли, господин Вольтер? Это Жан-Жак Руссо идет к вам на двор!» Он вскочил и воскликнул: «Где он, несчастный! Ведите его сюда! Мои объятия для него открыты: может быть, его вытеснили из Ньюшателя. Сыщите его! Все, что имею, принадлежит ему».

Господин Констан²⁷ просил у него в моем присутствии экземпляр «Истории Петра Великого»²⁸! «Вы с ума сошли! Подите к Лакомбу²⁹, читайте его “Историю”! Ему не давали ни медали, ни шубы»³⁰.

В то время он был в ужасной досаде на парламент и всякий раз, когда встречался с своим ослом у ворот сада, снимал шляпу, кланялся ему в пояс и говорил: «Покорно прошу, извольте идти вперед, господин президент».

Один чулочный фабрикант вошел в гостиную без доклада. Вольтер (который ужасно боялся всех посещений и который сам открылся мне, что, опасаясь со мною наскучить, принял на всякий случай слабительного, дабы иметь право сказать больным) бросился в кабинет. Фабрикант последовал за ним, говоря: «Господин Вольтер, погодите, я сын

одной дамы, которой вы написали стихи». «Боже мой, мне нельзя перечить тех женщин, для которых я писал стихи! Простите, государь мой, ваш покорный слуга!» «Это госпожа Фонтель³¹». «Мартель! Очень ее знаю! Прекрасная и милая! Желая вам быть здоровым» (и он готов был затворить за собою дверь кабинета). — «Скажите мне, господин Вольтер, где научились вы так прекрасно убирать горницы? Неужели вы сами построили этот замок?» — (Вольтер выставил голову из дверей): «Сам, государь мой! Кому же другому! Какова кажется вам лестница!» «Я приехал в Швейцарию, чтобы увидеть господина Галлера³² (Вольтер спрятал голову и притворил дверь). — Ах, Боже мой! Какое огромное строение! Какой прекрасный сад!» (Вольтер опять выставил голову): «Конечно, прекрасный! А разбивал его, государь мой, я³³. Садовник мой великая скотина». «Поздравляю вас! Не правда ли, государь мой, что этот Галлер великий человек? (Вольтер спрятал голову). Но сколько времени, желаю знать, могла продолжаться постройка такого обширного дома?» (Вольтер выставил голову). Одним словом, они сыграли передо мною очень забавную комедию, и таких комедий видел я несколько. Вольтер смешил и восхищал меня своею вспльчивостию, своими капризами, своим любезным, младенческим раскаянием. Иногда я видел перед собою писателя, иногда придворного времени Людовика XIV, иногда любезного, веселого, остроумного светского человека. Он был чрезвычайно смешон, когда играл ролю помещика: разговаривал со своими поселянами, как будто с посланниками римскими или с царями, осаждавшими Трою. Надобно описать его одежду. В будни ходил он обыкновенно в башмаках, в серых чулках, в огромном камзоле, который доставал до колен, в обширном и длинном парике, на который надевался маленький, из черного бархата, колпак. По воскресеньям являлся он в прекрасном кафтане мордоре³⁴, в таком же исподнем платье и камзоле, который весь был выложен богатым галуном; руки его до самых пальцев были закрыты широкими кружевными манжетами. В таком наряде кажешься почтеннее, говорил он мне, указывая на свои манжеты.

Вольтер был очень мил и добр в обращении с теми людьми, которые окружали его: шутил со всеми и всех заставлял смеяться. Надобно было его видеть оживленного блестящим и пламенным своим воображением; он рассыпал вокруг себя остроумие и веселость; всякий при нем находил себя и умным, и острым. Живость его переливалась в других; он с жадностию верил добру; все относил к тому, что мыслил и чем занимался в ту минуту; умел заставлять и мыслить, и говорить тех, которые хотя немного были на то способны; спешил на помощь ко всякому несчастливцу; строил дома для бедных семейств и был истинно добрый чело-

век в собственном доме, добрый человек со своими людьми, добрый человек в своей деревне — добрый, и в то же время великий: соединение, без которого нет ни прямой великости, ни прямой доброты; ибо обширный гений распространяет и самое добродушие, а добродушие хранит чистоту и неспорченность великого гения.

ИЗВЕСТИЯ О ГОЛЛАНДИИ

(Выбранные из Путешествия англичанина Джона Карра в Голландию и Южную Германию, писанные в 1806 году)

Джон Карр, человек весьма беспристрастный, пишет приятным слогом и нравится своим простосердечием.

Страстно желая путешествовать, так говорит он в начале книги своей, и видя, что невозможно надеяться скорого мира, я вздумал выпросить паспорт у одного приятеля моего, американца, и ехать под чужим именем на твердую землю. Я выбрал местом рождения моего город Балтимор в Северной Америке. Приятель мой обещал доставить мне подробное описание всех окрестностей этого города, всех замечательных его зданий и всех принадлежащих к нему заведений — для того, чтобы я мог без замешательства отвечать на все вопросы, которые вздумалось бы какому-нибудь любопытному сделать мне касательно мнимого моего отечества. Я долго дождался этого описания, не получил его и, наконец, потеряв терпение, решился отправиться на волю Божью, в дорогу.

Но Джон Карр (вероятно, не от раскаяния, а только в предосторожность тем, которые вздумали бы подражать примеру его) признается, что инкогнито его иногда причиняло ему великие затруднения, и советует всякому путешественнику или путешествовать под собственным своим именем, или — совсем не путешествовать.

Глаза потупленные в землю, вид глубокомыслия и мерная походка — таковы признаки роттердамского гражданина, пишет Джон Карр. Я видел на одних только матросах те ужасно широкие исподницы, в которых воображение представляло мне каждого голландца; зато весьма любовался оригинальными костюмами большей части мужчин и женщин: первые всегда одеты в длинные камзолы, а последние ходят в коротких юбках со множеством складок и в голубых башмаках, на которых сияют огромные серебряные пряжки. Большею частию гардеробы голландца наследственные — венчалное платье переходит от прадеда к правнуку, последний должен явиться к алтарю в том самом платье, в котором венчался первый. Обыкновение, может быть, несколько странное, но для меня весьма почтенное.

Во всех почти голландских городах улицы так похожи одна на другую, что иностранец никак не может без проводника находить дорогу. Небольшие шлюпки, в которых катаются купцы по каналам, и которые обыкновенно бывают привязаны перед домами их, сделаны очень грубо и, кажется, построены только для того, чтобы в них спать и курить табак. Набережные роттердамские широки, просторны и все обсажены прекрасными деревьями. Каналы в этом городе чище и глубже, нежели в других городах Голландии.

Кто думает, пишет Джон Карр, что надобно молчать или говорить только дурное о тех людях, которых мы почитаем своими неприятелями, хотя, впрочем, уважаем, тот, конечно, не будет читать путешествия моего с удовольствием. Он описывает пребывания короля и королевы голландских¹ в Роттердаме. Приехав в Роттердам, они прямо пошли на биржу, где были встречены главными чиновниками и всеми депутатами купечества. Прием, сделанный им, показался для них лестным. Те, которые знали королеву и прежде, и после возвышения родственников ее, утверждают, что она женщина просвещенная, любезная и во многих отношениях редкая. Она, разговаривая очень ласково с некоторыми купцами, между прочим сказала им: «Мы очень благодарны за то непритворное доброжелательство, с которым принимают нас жители Голландии. Будучи иностранцами, не могли мы ожидать такого ласкового приема, но мы надеемся прожить у вас довольно долго, и следовательно, будем иметь время сделать вам столько добра, сколько от нас зависит». Эти любезные слова, сказанные с тою приятностию, которою отлично одарена королева голландская, тронули жителей Роттердама и произвели к ней всеобщее уважение. С биржи король и королева пошли в Адмиралтейство, где приготовлен был для них великолепный завтрак. Они ездили по городу в простой карете, без свиты и гвардии.

Надобно отдать справедливость голландцам, что школы народные² были для правительства их всегда важным предметом попечения. По уверению людей, знающих это дело, нынешний король весьма расположен покровительствовать сим заведениям... Каждый год два раза воспитанники городского училища бедных бывают экзаменованы в кафедральной церкви публично и в присутствии главных чиновников. Опытнейший английский купец удивился бы глубокому знанию в арифметике молодых людей, служащих в голландских конторах, их деятельности, проворству и точности, с какими в один день исправляют они великое множество дел, порядку, в каком содержатся их книги, быстроте и важности их счетов и легкости, с какою выражаются они на многих иностранных языках. Не менее удивительны показались

бы ему и продолжительная их служба, к которой они очень прилежны, и порядочное поведение их, которым вообще они отличаются.

Джон Карр с особенным удовольствием рассматривал на улицах лавки с плодами и зеленью. Плоды — по уверению его — лучше, а зелень содержится в большей чистоте, нежели в Англии. Но чистота служанок показалась ему весьма утомительною и скучною: они беспрестанно моют, чистят, скребут, метут и обтирают. Эти блюстительницы чистоты с такою заботливостью, пишет наш путешественник, обметают каждый угол в домах своих господ, выбеленных алебастром, так прилежно стараются предохранить от ржавчины медные замки дверей, а мебели от нечистоты и пыли, что сами забывают быть опрятными, и вы видите их вечно изорванных и нечистых платьях, с замаранным лицом и руками.

Голландцы страстно любят курить табак. Всякий раз, когда я входил в кофейный дом, пишет Джон Карр, подавали мне глиняную трубку, и я должен был курить в обществе двадцати человек, которые все до одного держали во рту такие же трубки и окружали меня ужасными тучами дыма. Надобно думать, что голландцы, будучи такими охотниками до курения табаку, издерживают очень много денег на трубки, которые здесь можно почесть предметом роскоши. Вы найдете здесь трубки всякой величины и формы. Самые дорогие делаются из пенки³; она прозрачная и выписывается из Турции.

Из Роттердама Джон Карр поехал в Дельфт⁴. Этот город, пишет он, довольно велик, но очень скучен и тих, как монастырь, выключая одну только улицу, ведущую к Гагской дороге⁵. На колокольне новой церкви считается от четырех до пяти сот колоколов, которые славны своим приятным звоном. Эта колокольная музыка принадлежит исключительно голландцам⁶. Колокола приводятся в движение посредством ключа, который сообщается с ними также точно, как в фортепианах со струнами, а в органах с дудками. Музыкант должен прилежно и долго учиться, чтобы получить надлежащий навык и проворство. Посредством педалей, соединяющихся самыми большими колоколами, играет он бас в то время, когда пальцы его бьют по клавишам; на мизинцы он надевает кожаные наперстки, чтобы избавить себя от боли, которую непременно приключило бы ему движение этих пальцев, ибо некоторые клавиши должны быть тяжелее фунта, для произведения надлежащего звука. Таким образом, целый город может в одно время наслаждаться приятным концертом. Изобретение прекрасное, и можно сказать, приличное характеру бережливых голландцев, которые, любя удовольствие, не хотят, однако, терять для них драгоценного времени.

Переезжая из Дельфта в Гагу⁷, чувствуешь благодетельное влияние верховной власти. По тому описанию, которое сделано мне было о сем

город в Лондоне, я ожидал найти здесь несколько бедных, рассеянных лачужек, канал, наполненный тинистой водою, важных задумчивых купцов, устремивших глаза на лягушек; вместо того увидел я множество больших торговых барок и прекрасно убранных шлюпок, плавающих взад и вперед по каналу, а на дороге множество экипажей разной величины и формы.

Когда Луиза Колиньи вышла замуж за Вильгельма I⁸, то жители Гаги выслали ей навстречу почтовую повозку — и она въехала в город, сидя на доске⁹. Тогда Гага была небольшою деревнею. Теперь она прекрасный и даже великолепный город. Прогуливаясь по улицам, пишет наш путешественник, с великим удовольствием рассматривал я большие, обширные и очень хорошо выстроенные дома. Улицы прямые, чрезвычайно широкие, прекрасно вымощенные, осененные густыми деревьями и пересекаемые каналами, разнообразие зданий и сцен, близость к морю и чистота воздуха дают Гаге право называться первым и лучшим городом во всей Голландии. *Фооргут* (Voorhut) есть главная улица, а *Вивер* (Vyver) лучшее место в городе¹⁰. Перед Дворцом штатов¹¹ сделан обширный бассейн, наполненный чистою и прозрачною водою; по левую сторону его видите дворец Штатгальтера¹², по правую целый ряд великолепных домов, отдаленных от Вивера гульбищем¹³; а прямо против Дворца штатов, по ту сторону бассейна, площадь, украшенную множеством обширных публичных зданий. Городовое гульбище прекрасно. Вечеру встречал я на нем множество милостивых голландских женщин, одетых по образцу француженок — обыкновение, принятое во всех лучших фамилиях Гаги.

В сем отечестве деятельности пользуются всем, что имеют перед глазами: например, запрягают коз в маленькие одноколки¹⁴, в которых вывозят детей на чистый воздух; собаки служат для перевозки фаянсовой посуды и многих товаров, в особенности рыбы. Ничто не может сравниться с их послушанием, и голландцы, которые вообще добродушны и справедливы, весьма пекутся об этих животных, которым дают хороший корм и отводят покойное место в домах своих.

Джон Карр говорит с похвалою о театре, построенном в Гаге. Он отделан со вкусом, говорит он, но вы замечаете бережливость в самих увеселениях голландцев. Например, каждый из музыкантов, составляющих театральный оркестр в Гаге, обязан *контфактом* гасить свечу в эту самую минуту, в которую опустится занавес¹⁵.

В Лейдене¹⁶ путешественник сделал любопытное замечание. Прогуливаясь однажды по городу, пишет он, увидел я на воротах одного дома небольшую дощечку, украшенную кружевами, и с надписью. Это значило, что в доме находились больные. Жители Лейдена имеют

обыкновение прибывать к воротам домов своих такие дощечки, для извещения друзей и знакомых о болезни и чтобы избавить их от труда наведываться ходить в дома, а между тем беспокоить домашних своими расспросами. Такие дощечки должны быть выставяемы только в случае важной болезни.

Известно, как страстны жители Гарлема к цветам. Джон Карри видел охотника до цветов, который не согласился уступить одного гиацинта за 475 гиней, предложенных ему другим охотником. Жонкили¹⁷ и нарциссы продаются также весьма дорого.

В 12 часов ночи, когда городские ворота были уже затворены, приехал Джон Карр в Амстердам; его впустили за несколько штиверов¹⁸. На другой день, пишет он, я очень рано проснулся от музыки колоколов, которая казалась мне отдаленными и приятными звуками арфы. Еще не было семи часов утра, но везде уже слышался шум деятельности, начинающейся в других землях не ранее полудня. Погода была прекрасная; я оделся, вышел и вмешался в толпу, которая казалась мне оживленную трудолюбием муравьев. Я заметил слишком мало повозок на колесах: мне сказали, что их число ограничено предусмотрительностью полиции, опасющейся, чтобы от стуку колес не потряслись основания домов, которые все почти построены на сваях. Здесь для перевозки употребляют по большей части одни только сани, что очень неприятно для зрения.

Весь город перерезан каналами, и все улицы обсажены густыми и высокими вязами; зато нет ни одной площади.

После театра жители Амстердама имеют обыкновение посещать *Рондель*¹⁹, место, в которое женщины первого класса²⁰ собираются для вальсов. Зала очень мала и худо убрана; оркестр самый бедный, иллюминация между деревьями составлена из десяти или двенадцати плашек²¹. Женщины голландские отличаются своей благопристойностью и скромным видом. Девушки ведут себя очень хорошо, но без всякой излишней и часто весьма подозрительной строгости, а замужние могут служить примером супруг верных, порядочных и трудолюбивых.

(Из *Esprit des Journ.*)

СЧАСТЛИВЕЙШЕЕ СОСТОЯНИЕ

(ЕЩЕ ОТРЫВОК ИЗ СОЧИНЕНИЙ МАРШАЛА ПРИНЦА ДЕ ЛИНЯ)

ПЕРЕВОДЧИК ПОСВЯЩАЕТ ЭТУ ПЬЕСУ ЛЮБЕЗНОМУ Ф. А. КАМ...ИНУ¹

Иногда случается мне думать о том, что вижу вокруг себя. Рассматриваю все состояния, гражданские степени, чины, обязанности, упражнения, художества, ремесла — одни за другими и спрашиваю

сам у себя: которое из них самое счастливое? Признаться, не понимаю, какую прелесть можно найти в долоте и скобели Руссова Эмиля; согласен, что написать об них две или три приятных страницы гораздо легче, нежели о том, что я предложить намерен — но я имею свои причины. Не люблю ни *маленьких* королей, ни *маленьких* помещиков, ни *маленьких* судей, ни *маленьких* откупщиков: все маленькое, в каком бы состоянии оно не было, даже в самом высоком, кажется мне унижительным: я вижу зависимость, начальников, подчиненность — сносно ли это? Для счастья необходимо нужно иметь несколько труда, несколько власти, очень немного зависимости и такое состояние, в котором могли бы мы доставлять себе все нужное с некоторыми при том излишествами. Все это нахожу в состоянии уездного *почтмейстера*.

Я представляю его, живущего в большой деревне, где нет ни господского дома, ни помещика; домик его, очень покойный и чистый, архитектуры простой, но приятной, расположен на пригорке, мимо которого идет большая дорога; с севера прикрывает его липовая роща, орошаемая светлым ручьем; с одной стороны луг, принадлежащий к дому; по роще извиаются две прекрасные и чистые дорожки: одна ведет на почтовый двор и в контору, куда наш *счастливец* ходит только по утрам заниматься делом или иногда разговаривать с проезжими, узнавать от них новости и забавляться над некоторыми оригиналами; другая примыкает к деревенской площади, обсаженной липами, посреди которой выстроена маленькая каменная церковь, и за церковью между липами мелькает домик пастора, выбеленный известкой и покрытый черепицею; сюда приходит он обыкновенно часу в шестом после обеда, рассказывает пастору слышанные им от проезжих новости, курит с ним табак, сидя под старой липою на дерновой скамье, и забавляется играми поселян, которые сходятся на эту же площадь, кончив свои дневные работы.

Кто чаще других рассказывает нам новости, тому невольно и мы отдаем преимущество пред другими, будучи некоторым образом уверенны, что ему открыты важные государственные тайны. Начальство над несколькими постыльонами² удовлетворяет нашей естественной склонности иметь кого-нибудь или что-нибудь в своей власти, и мы в то же время избавлены от всякой заботливости и всякого беспокойства. *Счастливец* мой не подчинен никому, кроме одного главного директора почт, живущего далеко в стороне, не имеющего причины быть слишком взыскательным; и, что всего лучше, он не обязан вести переписи и никогда не может опоздать на почту. Один или два раза в год случится ему съездить на ярмарку для покупки лошадей — обязанность приятная, немало не ограничивающая его свободы и, напротив, несколько

оживляющая однообразие деревенской жизни; не забудьте и о том, что всякий почти день имеет он случай видеть новые лица и делать новые знакомства, из которых многие весьма приятны, и ни одно не может быть в тягость, ибо все до одного минутные. Живучи дома, он знает все дальние, все окружные места вдоль и поперек. Он возит на ярмарку прочитанные им книги и выменивает на них другие, которые хочет прочитать. Добрая, услужливая кухарка стряпает ему обед; иногда приглашает он к столу своему сельского пастора, с женою, дочерью, племянницею; или того из путешественников и путешественниц, которые ему понравятся; или доброго приятеля из соседнего города, из соседней деревни. У него есть ружье и собака: он охотник ходить за дичью в болото. Есть теплый камин, который зажигается в пасмурные осенние дни и перед которым он любит читать газеты. Из годового дохода своего уделяет он по возможности маленькую частицу на вспоможение нищим своего села или тем изувеченным беднякам, которые шатаются по большим дорогам и так часто бывают оскорбляемы жестокостию проезжих. В деревне его случилось несчастье с семейством добрых поселян — сгорела изба, хлеб выбит градом! — Он может растрогать в их пользу какого-нибудь проезжающего *набоба*³, который путешествует *от скуки*, единственно для того, чтобы не сидеть дома.

Знатный и богатый господин боится разорения от собственного своего приказчика; матрос боится бури; плотник боится упасть с кровли или порубить себе ногу собственным своим топором; каменщик — ядовитой известковой пыли; рудокоп — серного запаха и душного воздуха, спирающегося в рудокопнях; охотник — волков и лесничих; повар и булочник — нестерпимого жара от очага и печи в летнее время; актер — свистцов; писатель — журналистов; кого боится почтмейстер? Нико! Он обеспечен со всех сторон! Одна забота — чтоб лошади его не померли от голода или от излишней сытости, чтобы они паслись на прекрасном его лугу и чтобы конюшни его были здоровы и чисты.

Таково завидное состояние почтмейстера — не хочу сравнивать с ним других, но скажу мимоходом, что еще два состояния — парикмахера и простого пастуха — имеют в глазах моих большие приятности. Первый бывает занят только по утрам; он вечно в большом свете, все слышит, все знает, ибо никто и не думает, чтобы тот, кто пудрит волосы, мог слышать ушами; второй всегда наслаждается чистым воздухом и полным бездействием: империя его необширна, министры его верные — стадо и две собаки.

Желал бы сказать, что состояние самое почтенное есть в то же время и самое счастливое: но я не могу говорить против собственной моей уверенности. Я сам так часто вас мучил, добрые мои товарищи, хра-

брые солдаты — в мирное время учением, в военное — изнурительными маршами, что мне остается только вам удивляться. Ни слова о тех рубцах и ружейных выстрелах, которые достаются вам на сражениях: опасность — плата за славу.

О НЕВЕРНОСТИ

Если бы собрать всё то, что было сказано, написано и повторено любовниками и даже холодными людьми о неверности в любви, то можно было бы составить библиотеку в четыреста или в пятьсот тысяч толстых томов, но я вам скажу, что не было, не может быть и не будет неверности в любви.

Любовь есть сильный владетель, который искусно защищает свои владения — не иначе как в его отсутствие осмеливаются делать на них набеги. Когда любовь во всей своей силе, во всей своей пышности, во всей своей деятельности, словом сказать, когда она — любовь, тогда она не дает места желанию и даже уничтожает самую физическую способность быть неверным. Она соединяет все мысли, все движения сердца, все быстрые порывы восторга, все впечатления чувств, все качества души в одной точке, в том существе, которое нам мило. Верность и любовь одно и то же — итак, имеем ли право хвалиться своею верностию?

Для чего же верность называют добродетелью и добродетелью весьма важную?

Для того, по несчастию, что она в самом деле бывает добродетелью, и весьма полезною в обществе, как для тех, которые обладают ею, так и для тех, которые должны быть ее предметом! Для того, по несчастию, что потеряв или ослабив в сердце своем любовь, мы слишком скоро станем склонны к измене. Тогда рассудок и нравственность должны уверять добродетель, что всякая истинная любовь была уже супружество или заключала в самой себе обет супружеский; что она неразлучна с доверенностию беспредельною; что самая скрытная измена есть вероломство, а явная измена — развод; что она редко или, лучше сказать, никогда не может быть сохранена втайне; что всякий разрыв супружества произвольного, если он не произведен преступлениями важными с обеих сторон, есть сам уже преступление, которое, уничтожая любовь, расторгает в то же время и дружбу, и самые милые, самые сладостные узы.

Как скоро назначим первую сию границу, то благодарность и нежное снисхождение, которые всегда остаются в сердце после живой и глубокой привязанности, должны устремляемы быть на рассматривания одних добрых, любезных, счастливых качеств, которыми она была

произведена и столько времени хранима; должны воспламенять воспоминания о тех восхитительных минутах, которые провели мы с нею, о тех удовольствиях, которыми она уплаивала нас — сия легкая работа прямодушия над совестью отдаляет от нас искушения, бережет в нашем сердце то доброе чувство, которое хотя отчасти оживляет в нас угасающую привязанность и прежнее, неразлучное с нею счастье.

Мы замечаем тесное сношение между физическим и нравственным миром. Чувства, как и сама натура, имеют свою весну, свое лето, свою осень и свою зиму, более или менее жестокую, более или менее холодную — прелести сада, лугов и рощей должны мало помалу изгладиться, и это неизбежно. Если мы убежим в город — всё пропало, но если останемся в деревне и будем обрабатывать свою пустыню, то скоро опять, мало помалу, увидим здесь и там снова расцветающую зелень, снова распускающиеся листья, почки цветов; потом весну, за которою следует лето, может быть, не столь жаркое, но тем самым приготовляющее изобильнейшую осень и зиму не столь суровую. Вся жизнь наша проходит в таких превратностях — любовники и супруги, без сомнения, испытали их, каждый в свою очередь.

Опера не может быть вся составлена из арий — в промежутках бывают хоры и речетативы. В самой лучшей музыке находятся места неприятные и шумные. Ветреные люди оставляют театр в минуту скуки, не дослушав первого акта, спешат в другой ко второму, таким образом обегают все и ни в одном не находят удовольствия.

К вам обращаюсь — творения добрые, имеющие честную душу, ум неиспорченный! Не спешите оставлять своей ложи, выслушайте пьесу до конца: вы найдете в ней еще много приятного, много такого, чего не будет для вас в других пьесах, в которых не застанете вы начала и не дослушаете конца. Дождитесь, когда Богу угодно будет прислать смерть для развязки и велеть ей опустить занавес. Сие последнее действие доставит вам удовольствие, превосходящее все другие, трогательное, пронцающее в глубину сердца.

Оставьте ли дом свой для того, что в иных местах есть сквозной ветер, что двери скрипят, что иногда из камина показывается дым — живите в нем с миром, замажьте известкою стены, поправьте камин, обейте клеенкою двери — и всё будет в порядке. Пословица *«Три переселения стоят пожара»* справедлива, и еще справедливее в отношении к сим обиталищам доброты душевной, чистого наслаждения, деятельной благотворительности, взаимных услуг, приятного и полезного труда, утешительных попечений. Все добродетели души, сияющие божественным огнем, легко быть могут обращены ими в презренный пепел.

ТЕАНА И ЭЛЬФРИДИ

(ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОВЕСТЬ)

Знаете ли вы, что такое любовь, мои милые? Известно ли вам это испугание души, в котором мы не принадлежим себе, в котором принедем на жертву все свои чувства, все свои выгоды, все бытие свое другому, в котором нет для нас ничего в мире — ничего, кроме того единственного существа, которое любим, для которого жертвовать жизнью кажется нам столь сладким? — Так я любила, и так была любима! Была — о Небо! И этому счастью надлежало разрушиться, столь ужасно разрушиться!

Эльфриди был живописец — он жил в Мантуе, на одной улице с нами: окна моей спальни находились прямо против окон той горницы, в которой Эльфриди писал свои картины. Каждый день видала я его за работою. Он поминутно оборачивал свои большие черные глаза на меня, прикладывал руку к сердцу, потом подымал ее к небу, как будто умоляя, чтобы оно исполнило страстные его желания и надежды. В один день и я положила руку на сердце: Эльфриди казался упоенным. Я упала на кресла, чувствовала в груди моей томное стеснение, голова моя склонилась на руку; я старалась облегчить себя вздохами; думаю, что и с Эльфриди происходило то же — но в этом я не уверена, ибо глаза мои совершенно тогда померкли.

Я получила от него письмо и назначила ему свидание в церкви Богоматери. Мы встретились у алтаря; он подал мне руку, и указывая другую на Святые Тайны, сказал с блестящим взором и голосом твердым, который еще и теперь отзывается в моем сердце: *«Бог слышит меня! Клянусь любить тебя до гроба!»* — *«Эльфриди, клянусь принадлежать тебе, и никому, кроме одного тебя!»* — отвечала я, прижавши пламенную руку его к своему сердцу.

Тогда мы стали думать, как бы Эльфриди ввести в наш дом. Я не имела уже матушки. Отец мой коротко знаком был с синьорою Полла, вдовою богатого купца; сын этой госпожи, именем Лоренцо, был друг Эльфриди: они вместе учились в Болонье.

— Лоренцо, — сказал ему Эльфриди, — ты часто выдаешь Теану: любишь ли ты ее?

— Теану! Она очень мила; глаза ее пылают; на лице ее написано чувство; волосы ее прекрасны...

— Любишь ли ты Теану, я спрашиваю.

— Это слишком решительно; я еще не подумал об этом.

— Следовательно, ты ее не любишь. Я спокоен, Лоренцо; Теана владеет моею душою, и любовь к ней теперь нераздельна с моею жизнью! Ты непременно должен познакомить меня с отцом ее!

— С охотою, Эльфриди; если бы я и имел некоторую склонность к Теане, то, узнавши о страсти твоей привязанности, поспешил бы истребить ее из моего сердца. Следуй за мною!

И Лоренцо привел к нам своего друга. Могу ли вам описать мое чувство, мой трепет, когда я увидела Эльфриди подле меня, в одной горнице со мною — когда я услышала его голос, могла явственно различать его взоры, его улыбки и страстные изменения лица его.

Лоренцо помогал нам с заботливостию искренней дружбы. «Но хотите ли иметь понятие о его таланте? — говорил он батюшке. — Взгляните на прекрасный образ Богоматери, находящийся в дворцовой церкви: это его работы! Эльфриди честен, любезен и очень трудолюбив; я воспитывался с ним вместе в Болонии. Его называли в училище *неутомимым*, потому что он все часы отдыха и забавы посвящал работе и чтению».

Отец мой слушал сии похвалы очень холодно. Когда Лоренцо и Эльфриди ушли, то он сказал мне: «Желаю знать, какое намерение имеет Лоренцо? Зачем привел он к нам этого живописца? Признаюсь тебе, что я никакого молодого человека не предпочту Лоренцо; надеюсь, что он будет твоим супругом: он молод, хорошо воспитан, наследник большого богатства, лицом даже гораздо лучше, нежели Эльфриди — одним словом, он очень мне нравится».

Я была в рассеянии, не слушала, не отвечала — мне говорили о жене, о супружестве — а я... душа моя следовала за Эльфриди. Выгодная связь, обязанности приличия — все эти слова не имели для меня в ту минуту никакого смысла; я не могла представить себе, чтобы они означали что-нибудь важное. Эльфриди — один он был моею мыслью, моим сердцем, все бытие мое заключалось в нем, и вне его ничто для меня не существовало.

Батюшка скоро заметил нашу взаимную склонность, но он почитал ее обыкновенным, непродолжительным чувством — как он ошибался! Душа моя час от часу более разгоралась любовию. Все касавшееся до Эльфриди равно касалось и до меня — его труды, удовольствия, печали, успехи были моими; мысль моя следовала с ним повсюду. Он не оставлял ни разу своего дома, не давши наперед мне знать, куда идет. Я видела из окон своих, когда он возвращался. Приходил ли к нему незнакомый: я была в волнении, тотчас воображала, что ему принесли известие об успехе его трудов, или страшилась какого-нибудь печального неуспеха, или мучилась ревностью, думая, что он получил письмо от женщины; словом, я колебалась между надеждою и страхом до самой той минуты, как он являлся к нам и сказывал о том, что происходило с ним в течение дня. Если случалось ему опоздать, то я сердилась, плакала и делала ему нежные укоризны!

— Милый друг, — говорил он мне всякий раз, стараясь меня успокоить, — ты мало имеешь ко мне доверенности! Можешь ли думать, чтобы я был способен тебе изменить? Ах! Нет, Теана, будь спокойна, и не лишай меня более свободы!

— Свободы, Эльфриди! Но разве не ты клялся перед алтарем Божиим?

— Я, милая! Для чего же не имеешь доверенности к моей клятве?

— Что называешь доверенностью, Эльфриди? Равнодушие и холодность! Боже мой, неужели все мужчины имеют такие же свойства!

Таковы были мои безрассудные упреки — а упреки никогда не усиливают любви. Несмотря на то, что Эльфриди любил меня сильно — увы! Он доказал мне это ужасным образом — но он был слишком доволен своим жребием и, следственно, слишком спокоен — это спокойствие показалось мне равнодушием. Я открыла ему свои мысли — он улыбнулся тою веселою улыбкою, с какою обыкновенно слушают лепетанье младенца. Но эта веселость приводила меня в отчаяние — Боже мой, думала я, он может смеяться над горестным беспокойством своей любовницы! Чем более обнаруживалось оное волнение, тем счастливее, тем спокойнее казался Эльфриди: я видела, что он только сожалел обо мне, а горечь мою почитал ребячеством.

Я выдумывала тысячи средств, дабы усилить в сердце его любовь и дать ему живее почувствовать всю цену обладания мною; я начала показывать особое внимание Лоренцу, прогуливаясь с ним одна, и часто по нескольку часов сряду, в обширных садах его матери; иногда казалось мне, что он приходил в замешательство, что взоры его говорили: для чего Теана принадлежит моему другу? — Эльфриди молчал, но не делал мне ни малейшего упрека и был спокоен по-прежнему.

— И ты не чувствуешь ревности? — спросила я у него однажды.

— Ревности, Теана? Я лишу себя жизни в ту минуту, в которую почувствую ревность! Могу ли постигнуть ужасную мысль, что Теана способна любить не меня и может когда-нибудь существовать для другого!

— Но что если бы любовь моя уменьшилась, если бы новая привязанность прельстила мое сердце... почему знать... прихоть...

— Невозможно, милый друг, невозможно!

— Какая спокойная, непостижимая доверенность! Нет, Эльфриди! Никакой мужчина не способен любить так нежно, как женщина!

— Быть может, Теана, — отвечал Эльфриди, — но я люблю тебя так нежно, как только мужчина любить способен...

Слова сии, которые, в начале нашей связи, привели бы в восторг мою душу, показались мне истинным выражением равнодушия. Жить в такой нерешимости было для меня адскою мукою. Батюшка, заметив

перемену мою в обхождении с Лоренцем, начал опять надеяться, что его первая надежда (выдать меня за этого молодого человека замуж) будет наконец исполнена. Он начал ободрять Лоренцо, который всегда отвечал ему, что сердце мое принадлежит уже другому, что он не надеется и даже не желает мною обладать, хотя почитает меня достойною обожания. Батюшка не терял, однако, терпения. Время все переделает, думал он, и при всяком случае давал чувствовать Эльфриди, что никогда не может быть моим супругом — но Эльфриди верил своему сердцу, верил моей любви и был спокоен.

Мнимая холодность его вывела, наконец, меня из терпения. Я начала показывать ему равнодушие и даже принудила себя прервать с ним всякое сношение — чего это стоило моему сердцу, вы сами легко можете вообразить, если хотя немного знакомы с любовию, но подерживала себя надеждою оживить мертвую душу Эльфриди. Безрасудная! Душа его всегда оживотворена любовию, чистейшею, не смешанною ни с каким подозрением — ах, эта истина сделалась для меня несомненною, но когда же? В ту минуту, когда погибло все мое счастье! Эльфриди огорчился моею переменою, но мне показалось, что он огорчился слишком мало; я ожидала ревности, мучения, отчаяния, — ожидала для того, чтобы иметь счастье успокоить и опять обрадовать сердце моего друга.

Я выдумала средство — и теперь не постигаю, как могла такая безрасудная мысль поселиться в голове моей. Я написала записку к Лоренцо, в которой уверяла, что наконец любовь его меня тронула; что я готова ее разделить; что один только Эльфриди присутствием своим возмущает мою душу; что надобно его удалить; что, будучи от него избавлена, я соглашусь без всякого замедления быть супругою Лоренца.

Эту записку отдала я одной старой служанке, приказав отнести ее к Эльфриди, которому должна была сказать, что послана мною к Лоренцу Полла. Так и сделалось. Эльфриди более двух недель не показывался мне на глаза. Я начала страшиться, что отдала его от себя совершенно, и уже готовилась к нему писать, чтобы открыть свою хитрость и звать его к нам в дом, но он предупредил меня своим посещением. Я почти не заметила никакой перемены в его обхождении: он казался внимательным ко мне по-прежнему. Лицо его было бледно, это правда; иногда ловила я его взгляды, с мрачным унынием на меня устремленные — но более ничего не могла я заметить. Боже мой, думала я, неужели этот человек не чувствительнее камня? Неужели он не способен почувствовать ревности? Или совершенная холодность поселилась уже в его сердце? И снова мучительное беспокойство овладело моею душою. Я не могла его снести, подошла к Эльфриди и спросила у него:

— Любишь ли ты меня, Эльфриди?

— Столь же много, как и ты меня!

— И так ты должен предпочитать меня всему на свете! Я спокойна.

Он посмотрел на меня быстро, в глазах его изобразилось негодование.

— Теана, — сказал он, — мы здесь не одни. Мы не можем объяснить друг другу того, что чувствует наше сердце. Прошу тебя, и прошу в последний раз, приходи на берег озера: там будем мы без свидетелей; там... — на глазах его навернулись слезы.

Я не могла не согласиться на его просьбу. Мы вышли за город и скоро пришли к тому месту, где Минчио светлыми волнами своими образует озеро¹. Лодка привязана была к дереву. Эльфриди, не говоря ни слова, вошел в лодку и подал мне руку — взоры его блистали; я содрогнулась, когда он отвязал веревку, ударил по воде веслом — и лодка двинулась от берега. Тайная грусть, неизъяснимое предчувствие наполнили мою душу — я смотрела на небо, сумрачное, но спокойное, и готова была плакать.

Несколько минут мы плыли в молчании. Эльфриди не спускал с меня глаз, и никогда не смотрел он на меня такими глазами: они пылали любовью; казалось, что вся душа его с сим пламенным взором перелилась в мою душу — я сама погружена была в безмолвное упоение; сердце мое стеснялось; я не находила слов.

Мы выплыли на середину озера.

— Теана, — сказал Эльфриди, — куда мы едем?

— Хотим прогуливаться по озеру, Эльфриди.

— На смерть, Теана.

Волосы на голове моей поднялись дыбом.

— На смерть! Что хочешь делать, Эльфриди? Умертвить меня?

— Нет, Теана; но мы должны умереть оба!

— Умереть, Эльфриди! Для чего же умереть?

— Тебе не можно жить после твоей измены; а без тебя я не имею нужды в жизни. Прочти это письмо, — и он отдал мне записку мою к Лоренцу.

— О мой друг! Ты в заблуждении! Лоренцо...

— Остановись, Теана! Судьба наша решена! Раскаяние здесь не у места! Вооружи себя мужеством и приготовься. Видишь ли эту доску? Вот все, что между нами и вечностью. Теана, ты изменила моей любви, но ты умрешь моею, и я погибну твоим. Вспомни эту клятву, произнесенную перед алтарем, в присутствии самого Бога; вспомни свои слова, которые остались запечатленными в моем сердце! Клянусь, говорила ты, смотря на Христовы Тайны, *клянусь принадлежать тебе, и никому, кроме одного тебя!* Теана, допущу ли тебя нарушить эту клятву!

— О Эльфриди, друг мой! Я и теперь клянусь быть твоею! Вид обмана, эта неверность одна только выдумка; я никого, кроме тебя, не любила, и теперь люблю тебя более всего на свете. Ах! Будешь ли ты нечувствителен к такой нежной, искренней, неизъяснимой страсти!

— Я ожидал этого извинения, — отвечал он с горькою улыбкою, — но жребий брошен!

— Ах, Эльфриди! Именем Бога...

— Или ты боишься смерти? — воскликнул он с той же ужасною улыбкою, от которой сердце мое леденело. — Клятвы уже бесполезны!

— Но я невинна!

— Вчера еще твой отец уверял меня, что ты согласна дать руку Лоренцу; что он надеется увидеть тебя его супругою.

— Ах! Он верил тому, чего желал!

— Безумное извинение!

— Спроси у Лоренца!

— Лоренцо предупредил нас, не ищи его более в этом свете!

— Лоренцо! Ах, жестокий!...

Я упала без памяти. Пришед в чувства, увидела я, что Эльфриди поднял уже доску — вода с ужасным стремлением лилась в отверстие.

— Эльфриди, что ты сделал, несчастный! — воскликнула я, бросаясь на другой край лодки, который еще не потонул, но Эльфриди, посреди клокочущей воды, лежал у моих ног, он обнял мои колена и с иступленным чувством сильнейшей страсти, весьма отличным от прежнего ужасного спокойствия, воскликнул: «О милый, обожаемый друг! Я уже не могу тебя спасти, но я умру, обнимая твои колена!». Это было последнее слово, которое могла я слышать. Вода поглотила его вместе со мною.

После узнала я, что рыбаки, находившиеся вблизи, заметив на поверхности озера мое платье, которое несколько времени препятствовало мне потонуть, приплыли ко мне на лодках и вытащили меня из воды. Но Эльфриди погиб. Я — я долго была без памяти и не могла послать к нему на помощь своих избавителей. Меня узнали и возвратили к батюшке.

С тех пор уединенная жизнь моя посвящена печали — все чувства мои слились в одно постоянное, неизменное, в прискорбное чувство надежды, что все должно прекратиться с жизнью! Ожидание смерти — вот драгоценное, последнее оставшееся сердцу моему благо! Прихожу иногда на берег озера Минчио: тихость и ясность его приводят меня в ужас! Он там, говорю я в стеснении горести, тщетно желая проникнуть во глубину сию, непроницаемую для взора. Потом подымаю глаза к небу и говорю с надеждою: «Он там!» Но глубина сия так же непрони-

цаема для взора — ищу его, ищу... судьба неизвестная! Когда же настанет минута моего с ним соединения?

(С французского)

ПИСЬМО ДОКТОРА М* К ОДНОМУ ФРАНЦУЗСКОМУ ЖУРНАЛИСТУ^(*)

Я осматривал гошпиталь, в котором находилось несколько больных солдат из нашей армии. Привлекательная наружность одного из них меня поразила: он смотрел очень пристально мне в лицо и наконец подал знак, чтобы я к нему подошел. Приближаюсь к его постели, слушаю:

— Государь мой, — сказал мне этот молодой человек, — я иностранец. Можете ли вы иметь доверенность к незнакомцу, к солдату, которого отечество далеко, в Америке?.. Срок моей службы почти миновал, но я желаю нетерпеливо, и притом имею крайнюю нужду, возвратиться к моему семейству, ибо я слышал, что старший мой брат умер. Я нашел человека, согласного заступить мое место в полку; отец мой имеет знатное поместье в Виргинии¹. Что вы подумаете обо мне, если попрошу у вас займы ста пиастров?² Этих денег было бы очень довольно для моего выкупа и переезда в Америку. Если вы согласитесь меня ими ссудить, то окажете мне услугу, которой важности я никакими словами изобразить не в состоянии.

Признаюсь, такое смелое, но благородное требование меня изумило. Я несколько минут с великим вниманием рассматривал лицо американца; сердце мое наполнялось доверенностью; в чертах его напечатлена была честность; я вынул записную книжку и подал ему вексель. Он содрогнулся, несколько минут не мог выговорить ни слова, но скоро из глаз его полились слезы, слезы живейшей благодарности; он орошал ими мои руки и благодарил меня из глубины сердца. На другое утро пришел он ко мне в дом, рассказал мне свои семейственные обстоятельства и повторил обещание заплатить мне деньги через полгода непременно. Я и не сомневался. Впрочем, и самая потеря денег моих не была бы нисколько для меня огорчительна: я наслаждался добрым делом; я наслаждаюсь им и теперь, и всякий раз, когда о нем вспомню. И теперь, кажется, вижу перед собою этого молодого человека, с приятным лицом, бледным еще от болезни, но оживленным возвратившеюся надеждою; и теперь, кажется, слышу приятные звуки его голоса, трогательно изображающие благодарность.

^(*) Истинное происшествие.

Недель через пять по отъезде американца получил я письмо, под-
писанное отцом его, матерью и дядею; посылаю вам список, а подлин-
ник сохранию, покуда буду жив. Скажите, прошу вас, что думаете вы о
тех предложениях, которые мне сделаны в этом письме, и что советуете
мне самому сделать? Исполнить их просьбу? Не будут ли по справед-
ливости называть меня корыстолюбивым человеком, который для соб-
ственной выгоды услуживает другим? Отказаться? Назовут меня гордым.
Что же делать? Неужели оставить отечество, поселиться в чужой земле,
войти в незнакомое семейство? Но друзья мои будут мною не довольны,
а их мнение для меня священно. Прочтите письмо американских моих
знакомцев и потрудитесь подать мне добрый совет.

«Виргиния. Кульпикер Кунтрес³.

Я имел двоих сыновей, милостивый государь: один из них погиб на
сражении в цветущих летах; другой находился уже на краю погибели,
но вы, благодетельный человек, спасли ему жизнь и возвратили его
печальному отцу и горестной матери. Будучи довольно уже несчастлив
потерею одного, я всякую минуту страшился, что мне возвестят потерю
другого; без вас, может быть, мы не имели бы теперь детей. Скажите,
что побудило вас к такому великодушному поступку; что заставило вас
предпочесть нашего сына сему бесчисленному множеству несчастных,
равно достойных вашего внимания? Будь благословенна та невидимая
рука, которая привела вас тайно к его постеле, которая указала вам сего
унывающего, всеми покинутого страдальца! Мы знаем, что это случи-
лось 14 октября. Отныне каждый год в этот священный день все мое
семейство будет праздновать счастье: мы будем отличать его от дру-
гих молитвами благодарности к вечному Существо, отдохновением от
работы, невинными забавами. Невольники мои будут разделять с нами
веселие, производимое сладким воспоминанием! Позвольте и им уча-
ствовать в общей нашей благодарности, не презирайте простого их чув-
ства: они такие же люди; я всегда обходился с ними как с братьями. Вы
возвратили нашему сыну здоровье, свободу, семейство: сколько благо-
творений! К счастью, этот молодой человек окружен родственниками
и друзьями; в противном случае он не перенес бы один своей благо-
дарности, обременяющей его душу. Он сказывал мне, что вы никогда
не бывали отцом; ах, вы не можете постигнуть того восхищения, тех
чувств, неизреченно сладких, которыми полно мое сердце! Бережливая
натура сокрыла их, как некоторую драгоценность, от тех, которым она
не даровала детей. Мы не знаем друг друга в лицо, но любовь к добро-
детели есть связь нераздельная, родство прямое. С этой минуты почи-
тайте меня своим другом; не упущу ничего, чтобы сохранить это имя
и быть его достойным: по закону природы я отец моего сына, но и вы

отец его, по законам той же природы, которая дала вас ему в решительную минуту нищеты и отчаяния, итак, мы братья; молю небо, чтобы этот союз навеки был неразрывен! Приезжайте к нам, поселитесь в нашем доме и вместе с нами наслаждайтесь благами жизни; все мои родственники признают вас своим. Поспешите занять почетное место, приготовленное вам за нашим столом. Жена моя... но кто изобразит печаль, тоску, изумление, радость, любовь и все различные движения матернего сердца! Вы не услышите от нее ни слова, вы увидите ее перед собою в слезах, сжимающую руки или смотрящую с немым восхищением на милого сына, вами для нее спасенного. Нет, не одно наше семейство, но все наши друзья и соседи произносят уже ваше имя с почтением. Приезжайте, вы найдете здесь такие сердца, для которых, в самом печальном веке несчастья и эгоизма, драгоценны сладкие чувства человечества и добродетели. В доказательство, что предложение, заключающееся в этом письме, не одни пустые слова, внушенные сильным, но быстро исчезающим чувством радости, что благодарность наша соразмерна благоворению, податель этого письма, сын моего родного брата, вручит вам крепость на половину нашей плантации⁴, находящейся в провинции ***, с принадлежащими к ней неграми, из которых одного даю я, другого мой сын, третьего мать моей жены, а остальных мои братья. Эта крепость явлена уже в суде, записана в книгу, и плантация принадлежит вам безвозвратно.

Сколь буду счастлив, почтенный, добродетельный человек, если вы не откажетесь признать отечество мое своим, переселиться в мой дом и быть другим отцом моего семейства! Мы все единогласно призываем вас в Виргинию; здесь ваши дарования, ваши достоинства, ваше человеколюбие всем известны; уверяю вас, что в нашем краю вы будете пользоваться выгодами чрезвычайными, найдете друзей просвещенных и вас достойных. Молю Бога, чтобы мой посланный застал вас здоровым и вместе с вами возвратился на свою родину!»

*Виллиам, Артур, Арабелла****

КУЗНЕЦ БАЗИМ

АРАБСКАЯ СКАЗКА

Всем известно, что славный калиф, Гарун Аль-Рашид¹, имел обыкновение ходить ночью по улицам Багдада, обыкновение весьма полезное для тех калифов, которые любят порядок и хотят, чтобы в столице их наблюдаема была строгая полиция. И так в одну ночь калиф Гарун Ал-Рашид, великий визирь его Гиафар² и первый смотритель над чер-

ными евнухами Мезрур прохаживались по улицам Багдада. Приблизясь к одной хижине, бедной и низкой, услышали они, что кто-то распевал в ней очень весело и громко.

— Постучи в двери, — сказал калиф Мезруру. Мезрур начал стучаться, певец замолчал.

— Кто стучит, кому до меня дело, — спросил у них сердитый голос.

— Мы чужестранцы, — сказал Гиафар, — заблудились, ночь темная; становится поздно; боимся дозора: нельзя ли дать нам пристанища на одну только ночь?

— Не пуцу, — отвечал им тот же голос, — вы плуты; хотите отужинать у меня даром и для того рассказываете мне басни.

Калифу показалось такое приветствие очень забавным. Гиафар продолжал стучаться и просить ночлега; наконец дверь отворилась, и хозяин, нахмутив лоб, сказал им:

— Войдите, неотступные, но с уговором не сказывать обо мне товарищам вашим, багдадским бродягам...

Они вошли и увидели человека лет сорока, плотного, здорового, с полными, румяными щеками; он сидел один за столом, уставленным блюдами и бутылками.

— Кто вы? — спросил он, не вставая с места.

— Муссильские купцы³, — отвечал Гиафар, — мы в первый раз от роду приехали в Багдад по торговым делам. А ты что за человек, если позволено спросить, какое твое ремесло, чем ты живешь?

Хозяин заставил их побожиться, что они не будут никому разглашать о том, что от него услышат, и отвечал:

— Я кузнец Базим; живу своею работою; каждый божий день моя усердная наковальня дает мне пять диргемов⁴, кую железо от утра до вечера, и всякий вечер на два из вырученных пяти диргемов покупаю мяса, на один плодов, еще на один свечу и, наконец, на последний вина; сам стряпаю себе ужин, ем и пью со вкусом и не угощаю никого, а за столом для приправы пою песни: такую жизнь веду более двадцати лет, не заботясь о завтрашнем дне и будучи наперед уверен, что и завтра к вечеру найдется у меня в кармане пять диргемов на ужин.

— Надобно признаться, — сказал Гиафар, — что ты человек счастливый. Но желаю знать, что ты станешь делать, если завтра калиф прикажет запереть все кузницы? Где возьмешь хлеб, мясо, вино, плоды и свечи?

— Видите ли, что я угадал, — воскликнул Базим, — вы плуты или шпионы! Завтра же, по милости вашей, начнут говорить в городе, что я проживаю все выработанные мною деньги; что я негодяй, обстоятельный человек! Зачем вы ко мне пришли? Что вам у меня делать?

И кто мне, бестолковому человеку, велел вас впускать к себе в дом? Но сказываю вам наперед: если предвещание ваше исполнится, то я обойду все улицы Багдада, отыщу вас, где бы вы ни запропастились, и тогда разочтуса с вами по-своему.

Калиф умирал со смеху, смотря на забавного и грозного Базима. Просидев у него часа два, они ушли. Была уже полночь, когда они возвратились во дворец.

На другой день рано поутру калиф велел обнародовать в Багдаде, что кузницы должны быть затворены целые три дни и что кузнецам под смертною казнию запрещается во все это время приниматься за молоток. Базим очень удивился, когда, пришедши к дверям своей кузницы, увидел на них кадиеву печать⁵, и когда ему объявили о повелении калифа. Что делать, подумал он; повесил голову, пошел вдоль по улице и остановился напиться у колодца, принадлежавшего к одной из публичных багдадских бань. Содержатель бани, старинный его знакомец, сидел тогда у колодца.

— От чего так задумчив, Базим? — спросил он.

— Будешь задумчив, — отвечал Базим, — когда принуждают тебя целые три дни поститься! Ты слышал о запрещении калифа. Чем буду себя кормить без молотка и наковальни?

— Твоему несчастью помочь не трудно, — сказал Базимов знакомец, — у меня готова для тебя работа; вот гребень, суконка, мыло и полотенце; приходи в мою баню чесать и обмывать правоверных музульман и будешь с обедом и ужином.

Базим, отблагодарив услужливого знаконца своего, начал с великим усердием чесать и обмывать правоверных музульман и еще прежде захождения солнца выработал пять диргемов.

Увидя у себя в руках деньги, он бросил и гребень, и мыло, и суконку и побежал на базар покупать припасы для ужина. В обыкновенное время сидел он уже опять за столом, пил свое вино, напевал такие же веселые песни, какие пел и вчера, и прежде всякий день. Калиф, любопытствуя узнать, что делает новый его знакомец, сказал Гиафару и Мезруру: «Пойдем навестить кузнеца Базима». Приходят к дверям его хижины и слышат, к великому своему удивлению, что Базим поет. Гиафар начал стучаться. Базим, который допивал уже последний стакан вина, выглянул в окно, узнал вчерашних своих гостей и отворил дверь.

— Опоздали, милостивые государи, — сказал он им, — я кончил свой ужин!

— Мы пришли к тебе не ужинать, — отвечали мнимые купцы, — а только узнать, что с тобою сделалось после калифова запрещения.

— Не правду ли я говорил, — воскликнул Базим с сердцем, — когда уверял вас, что вы проклятые вещуны! Вы напророчили было мне голодную смерть! Но Бог велик!.. На столе у меня опять столько же хлеба, вина и плодов, как и вчера! Вам, однако, не удастся отведать их; двадцать лет, как я живу один, и еще ни разу не было прихлебателей за моим ужином.

Калиф и Гиафар успокоили Базима, говоря, что посещают его единственно для удовольствия слушать его разговоры. Базим, который был от природы словоохотен, рассказал им за тайну, каким образом он выработал пять диргемов на ужин.

— Не полагайся на завтрашний день, Базим, — сказал опять Гиафар, — калиф может запретить завтра и бани, как нынче запретил он кузницы.

— Провались ты, вещий колдун, — загремел Базим, вскочив со стула, — зачем ты приходишь портить мой сон своими проклятыми предсказаниями, которые сбываются!

Калиф смеялся от всей души. В полночь они опять расстались.

На другой день также рано поутру публичные крикуны возвестили народу, что бани, по приказанию калифа, запираются на три дня. И в самом деле, три главные багдадские бани: калифова, Забеидина и Гиафарова затворены были прежде всех; по примеру их затворились и прочие. Народ роптал. Дай Бог здоровья калифу, говорили жители Багдада, вчера приказал он запереть кузницы, нынче затворил бани, а завтра, может быть, рассудит запереть пекарни и бойни. Не худо было бы ему припереть нам и язык; иначе мы не перестанем жаловаться и называть его сумасбродом. Никто не воображал, однако, чтобы все эти несчастья происходили от бедного кузнеца Базима.

Что ж делал в это время Базим? Он был в отчаянии; не знал, на что решиться; сидел, поджавши руки, в углу своей лачужки. Пробило двенадцать часов, а он еще не выдумал средства, как выработать пять диргемов на ужин. Вдруг вспомнил он, что между старым платьем, доставшимся ему от покойного отца, находился и полный убор полицейского солдата. Прекрасная мысль, воскликнул Базим, и вмиг явился в образе служителя полиции на одной из площадей багдадских. К нему подошла пожилая женщина, будучи уверена, что он настоящий солдат. Она сказала ему: «Представь мужа моего кадию!» Базим потребовал за труды два диргема и получил их. Он побежал к обвиняемому мужу, велел ему от имени кадия за собою следовать, но дорогою возвратил ему свободу, взявши с него три диргема. Довольный удачею, опять побежал он на базар, купил нужные для ужина своего припасы, скинул полицейский убор и лег спать в ожидании вечера.

Вечеру явился калиф с Гиафаром и Мезруром. Опять удивились они, услышав, что их знакомец ужинает и поет по-прежнему, но Базим, увидя их, очень нахмурился, долго не хотел отворять дверей; наконец, по усиленной их просьбе, отворил и сказал им с забавною досадою:

— Отвяжетесь ли от меня, государи мои? За что вы мучите меня своими посещениями? С той самой минуты, как я узнал вас на свое несчастье, все идет навыворот: кузницы и бани запираются! Когда бывало это в Багдаде? Конечно, вы колдуны или переодетые шпионы!

Так гневался Базим, но два или три ласковые слова успокоили его, ибо он имел доброе сердце и любил говорить кое о чем, если только не трогали его ужина.

Он не мог удержаться, чтобы не рассказать своим посетителям опять за тайну о том, что с ним случилось: как он нашел платье полицейского солдата; как, за неимением стального лезвия, всунул в ножны своей сабли березовую палку; как выработал свои пять диргемов и прочее. «Ремесло полицейского солдата мне очень нравится, — прибавил он, — и завтрашний день намерен я выйти на площадь в таком же уборе, как и нынче». Калиф и его товарищи похвалили благоразумное намерение Базима. Этот вечер провели они очень весело.

На другое утро Базим выходит из дому в одежде полицейского, опоясанный прародительскою саблею. Между тем калиф приказал уже, чтобы публичные крикуны объявили всем полицейским той части, в которой находилась и хижина Базимова, что калиф требует их во дворец для раздачи им денежного награждения. «Слава Богу, я начинаю новую должность свою очень счастливо», — сказал Базим, который не утерпел, чтобы не пойти во дворец вместе с другими. Их всех поставили в ряд. Базим был последний. Явился калиф. Каждого из полицейских начали вызывать по имени; они приближались к калифу, получали от него положенное награждение и отходили, облобызав ноги своего государя. Базим дрожал как в лихорадке: приблизиться к калифу, с ним разговаривать, смотреть ему в лицо, какой ужас! Но сам калиф не мог равнодушно смотреть на Базима и едва удерживался от смеха.

Наконец кликнули Базима; он упал на колени и долго не подымал головы.

— Давно ли ты при полиции? — спросил Калиф.

— Давно, повелитель! Отец мой, дед, мать, и бабка, и все мои праотцы были полицейскими солдатами!

— Ты получаешь жалования по двадцати диргемов на день, не правда ли?

— Правда, повелитель, но я довольствуюсь пятью.

— Искусен ли ты в исправлении своей должности?

— Искусен, повелитель!

— Посмотрим: приведите преступника; ты должен отрубить ему голову в моем присутствии!

Базим побледнел. Преступник приведен, становится на колена, ожидает смертного удара. «Скажи, что ты невинен», — шепнул ему на ухо Базим. «Я невинен», — воскликнул осужденный. «О повелитель правоверных, — сказал Базим, упав к ногам калифа, — мы сей час узнаем, правду ли говорит этот несчастный. Сабля моя досталась мне от праотца моего Абдула, великого чародея; она волшебная: как молния поражает она, когда надлежит казнить виновного; но если вознесена будет на главу невинного, то обращается в кусок дерева». — «Увидим: руби!» — «Итак, с позволения Вашего Величества», — сказал Базим, вынимая из ножен свою саблю. Все захохотали, увидев, что она была деревянная.

Калиф был доволен развязкою; он простил преступника; открыл Базиму, кто были купцы муссильские, и сделал его начальником дворцовой полиции с хорошим жалованием.

Итак, на доске пророка написано было, что кузнец Базим каждый день будет вырабатывать по пяти диргемов и более.

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ СУВОРОВА (*)

Суворов начал служить в 1742 году, и с самых нижних чинов. Он чувствовал необыкновенное превосходство свое над другими и, желая

(*) Вероятно, что все подробности, заключающиеся в этом отрывке, известны уже более или менее нашим читателям; но также вероятно и то, что они прочтут их с новым удовольствием: мы любим *не один* раз слышать о тех людях, которых память для нас драгоценна. К сожалению, на русском языке нет еще хорошей биографии Суворова; еще ни один из русских, знавших коротко италийского героя, не взял на себя труда написать его жизнь и познакомить соотечественников своих с характером сего великого человека. К стыду своему, мы принуждены заимствовать у иностранцев многие, весьма важные для нас сведения о том, что мы сами должны бы знать лучше их, а иностранцы редко отдают нам надлежащую справедливость. Книга, из которой выбрана эта статья, писана также иностранцем, но человеком беспристрастным. Служив под началом Суворова, он сохранил в сердце своем любовь к его памяти и говорит с чувством о том человеке, которому имел счастье удивляться вблизи. Эта книга недавно напечатана в Париже под заглавием «Краткое описание жизни славного Суворова, сочиненное господином Гильоманшем Дюбокажем, бывшим подполковником Кинбургского драгунского полку и находившемся при самом Суворове в 1794, 1795 и 1796 годах». Она разделена на три части: в первой описывается жизнь Суворова, во второй характер его, образ жизни, привычки и мнения; в третьей историк рассматривает своего героя как воина, судит о его дарованиях и говорит о тех способах, которыми всегда приобретал он победу, предводительствуя вверенными ему армиями. Ж.

выйти скорее из той подчиненности, которая несвойственна великому гению, решился казаться странным. Странность его, сначала притворная, обратилась в привычку; потом сделалась второю натурою сего человека, по всем отношениям необыкновенного. Он скоро был замечен — разумеется, не по одной странности, но, может быть, она-то заставила скорее обратить глаза на те дарования, которыми ознаменовал он себя и в самом ограниченном круге низших степеней военных. На 29 году Суворов был уже подполковником. Чем выше он восходил, тем более старался казаться необыкновенным в своих поступках; такой образ действия, наконец, произвел в нем характер независимости чрезвычайной; всякая подчиненность сделалась для него несносной. Суворов не принял бы от своей императрицы начальства над армиею, когда бы она сама начертала ему план действий или захотела, чтобы он дал преимущество тому или другому военному движению. Если государыня — так думал он — вверяет мне судьбу своей армии, то она доказывает мне свою доверенность и почитает меня способным привести воинов ее к победе. Может ли она, будучи в отдалении, судить лучше меня, старого солдата, находящегося на самом месте, которая дорога вернее и короче? И так всякий раз, когда получаю от нее повеления, противные истинным ее выгодам, думаю, что она послушалась советов которого-нибудь из придворных, не имеющих к ней прямой привязанности, и позволяю себе не повиноваться ей для пользы собственной ее славы.

Таким образом, во многих случаях гений Суворова перелетал за пределы, указанные ему вышней властью, и быстро достигал победы. Вот некоторые примеры. В кампанию 1771 года¹ (он был тогда еще генерал-майором), узнавши, что великий Маршал Литовский² собирал поляков в Сталовиче³, Суворов дал об этом знать фельдмаршалу Бутурлину⁴, бывшему главнокомандующим русской армии, человеку весьма осторожному и холодному, и требовал от него позволения напасть на поляков и их рассеять. Бутурлин, зная, что корпус Суворова состоял только из нескольких сотен солдат, решительно запретил ему беспокоить неприятеля, но Суворов, услышав, что поляки разбили уже Санкт-Петербургский полк⁵ и что их число, увеличивающееся со дня на день, простиралось уже до пяти тысяч, подумал, что времени терять было не можно и что надлежало истребить неприятеля прежде, нежели он усилится; собрал поспешно маленькое свое войско, состоявшее тогда из *тысячи* человек, не более, и полетел навстречу к неприятелю. В самом деле, *полетел*, и на четвертые сутки в полночь рассыпал он уже всю армию поляков, находившуюся от него в 50 милях, отнял у них двенадцать пушек и овладел Сталовичем. На другое же утро погнался он за остатками бегущего неприятеля, и все, спасшиеся

от поражения прошедшей ночи, погибли. Он тотчас послал донесение о победе своей к Бутурлину. Как солдат — писал он к фельдмаршалу — заслуживаю наказание и отдаю вам свою шпагу. Как русский, я исполнил свою должность, уничтожив силы конфедератов, которых мы не могли бы одолеть, когда бы дали им время соединиться. Удивление Бутурлина было неописано; не зная, как поступить с Суворовым, нарушителем военной дисциплины, решился он отнестись к Екатерине. Императрица написала к победителю записку следующего содержания: «Фельдмаршал Бутурлин обязан вас арестовать как начальник, за непокорность по службе военной, а я, как ваша императрица, предоставляю себе удовольствие наградить вас, мужественного воина, который подвигом славным принес великую пользу Отечеству». Она прислала Суворову орден Александра Невского. В 1790 году императрица дала повеление непременно взять крепость Измаил, которого осада была уже два раза предпринимается без успеха. Потемкин, бывший в то время главным предводителем армии, не желая в третий раз слушаться государыни, призывает Суворова и спрашивает, надеется ли он взять приступом Измаил? — Суворов отвечал в двух словах: «Воля государыни! Слушаться надобно!» Немедленно собирает он свой корпус, через четыре дня является перед стенами Измаила, приказывает изготовить поспешно все нужное для приступа, фашины⁶, лестницы и проч., и желая уверить неприятеля, что осада будет по всем правилам, велит в 30 или 40 сажнях от крепости открыть траншею. Все уже приготовлено к приступу, повеления розданы, колонны, благоприятствуемые темнотою ночи, двинулись к крепости; вдруг объявляют Суворову о прибытии офицера с письмом от князя Потемкина. Суворов угадал содержание письма. Князь Потемкин имел причину сомневаться в успехе приступа, ибо он знал, что крепость защищается 232 пушками и 43 000 гарнизоном, составленным из янычар и предводимым тремя пашами и что, напротив, Суворов имел не более 28 000 человек войска, из которого половина была казаки. Он трепетал, и желая, может быть, остаться правым в случае неудачи, послал приказание к Суворову не приступать к осаде, если он не уверен, что может совершить ее благополучно. — Что же сделал Суворов? Он приказал своему адъютанту изготовить верховую лошадь и поставить ее у самой палатки так, чтобы она заградила и вход, и выход, а между тем задержать на минуту курьера. Лошадь готова. Суворов выходит, будто не заметя присланного, бросается на лошадь, колет ее шпорами и скачет во весь опор к своим колоннам. Обстоятельство приступа известно; после ужасного и, может быть, беспримерного сражения, которое продолжалось десять часов, крепость взята. Суворов, окруженный чиновниками, кото-

рые осыпали его поздравлениями, увидел, наконец, курьера. «Кто ты, брат?» — спросил он. «Курьер от Его Светлости, приехал еще вчера». «Как! — воскликнул Суворов, с притворным гневом. — Ты привез ко мне повеление от моей государыни, живешь здесь почти сутки и не показываешься мне на глаза!» Он вырвал письмо из рук курьера, обещаясь наказать его строго, и приказал одному из своих генералов прочитать эту бумагу вслух. Она прочтена. Суворов перекрестился. «Слава Богу! — сказал он. — Измаил взят! Без того я бы пропал». В самом деле, это письмо была одна только хитрость Потемкина! Никто не осмелился бы поручиться за взятие такой ужасной крепости, каков был Измаил. Отступить от нее, не сражавшись, или начать приступ и не кончить было равно постыдно и опасно. Но Суворов, уклонившись от повеления князя Потемкина и будучи уверен в успехе, оставил мужеству своему полную свободу действовать — и Измаил взят. Ответ, написанный им князю Потемкину, достоин внимания по героической своей краткости: «На стенах Измаила развевают знамена Российские! Суворов».

Он отдал эту записку присланному офицеру и отправил его в ту же минуту.

Наружность фельдмаршала Суворова отвечала совершенно странности его характера. Он был невысок ростом; имел большой рот; лицо не совсем приятное — но взор огненный, быстрый и чрезвычайно пронзительный; весь лоб его покрыт был морщинами, и никакие морщины не могли быть столь выразительны; на голове его, поседевшей от старости и трудов военных, осталось весьма немного волос.

Будучи нежного и слабого сложения, он имел темперамент и нервы чрезвычайно крепкие и укрепил их еще более умеренною, строгою, деятельною жизнью. Почти никогда не будучи болен, сносил он труды и усталость лучше всякого человека, одаренного сложением твердым; но слабость его телесных сил была так велика, что он наклонялся от тяжести своей сабли. Чудесная противоположность! Тело сие, столь нежное и хилое от природы, было неутомимо и заключало в себе одну из тех великих душ, которые повелевают происшествиями и побеждают фортуна.

Суворов имел характер живой и неукротимый. Выражение лица его становилось строгим, величественным, даже ужасным, когда он тронут был до глубины сердца. Но это случалось редко; надлежало произойти чему-нибудь весьма важному, необычайному.

В одном только случае этот удивительный человек обнаруживал некоторую слабость — именно в отношении к своим летам. Он не мог терпеть, чтобы ему напоминали о старости, и сам избегал всякого неприятного об ней воспоминания. Вот почему снимали или завешивали

вали зеркала как в собственном доме его, так и в тех домах, которые он посещал. Очень забавно было смотреть на Рымникского героя, когда ему случалось увидеть себя случайно в зеркале: он закрывал глаза, морщился, кривлялся, начинал бегать и оставлял горницу^(*). Но тот ошибется, кто вздумает приписать эту странность каким-нибудь смешным и неприличным старику требованиям. Суворов нередко и сам забавлялся насчет своего лица. Что же касается до отвращения его к зеркалам, то он неоднократно говорил мне самому (это пишет господин Гильоманш Дюбокаж), что он не смотрит в них именно для того, что боится заметить на лице своем разрушения старости и хочет всегда почитать себя способным к такой же деятельности военной, какую ознаменована была его молодость. Если попадался ему на дороге стул, то он вместо того, чтобы пройти мимо, прыгал через, желая, так говорил он сам, доказать, что прежняя сила его и легкость еще не пропали. Он никогда не ходил просто, но бегал или припрыгивал, особливо при входе и выходе из горницы. Он не взирал на присутствие посторонних; напротив, кривлялся и прыгал более обыкновенного, находясь в кругу знатных иностранцев, ибо хотел доказать им, что он еще в состоянии, несмотря на старость, выносить труды и походы военные.

Суворов имел привычку вставать очень рано — обыкновенно в четыре часа утра, а иногда и в полночь. Вставши с постели, он выбегал совсем раздетый на двор, и на него выливали по несколько ведер холодной воды: обыкновение, которого не оставлял он и в самой глубокой старости. Обедал зимою в восемь часов, а летом в семь и в другое время дня уже не употреблял никакой пищи; время обеда было единственным его отдыхом. Он любил сидеть за столом и нередко, забывшись, просиживал долго. Никогда не садился он обедать и не вставал из-за стола без молитвы. Часто, прочитавши ее, благословлял он присутствовавших и тем, которые не отвечали ему *аминь*, говорил шутя: «*Кто не сказал аминь, тому не будет водки!*» Он любил хорошее вино и ликеры, но мы уверены, что ни одному человеку не удалось видеть его пьяным. За столом ел и пил много, потому что имел аппетит прекрасный, но ел один только раз в день. Стол его всего приличнее назвать *солдатским*.

Суворов, который во всем отличался от других, был не менее оригинален и в одежде. Сапоги с раструбами, худо лакированные, худо сши-

(*) Сомневаемся, чтобы это было справедливо, хотя, впрочем, странности нашего великого Суворова никому не могут казаться невероятными. Просим покорнейше тех из наших читателей, которые имели счастье быть близкими к особе сего полководца, незабвенного для русских, и которые заметят какие-нибудь ошибки в этой статье, писанной иностранцем, доставить нам свои замечания и опровержения; они будут напечатаны непременно с истинною благодарностью от издателя. Ж.

тые, широкие раструбы выше колен, исподница из белого канифасу⁷, камзол из такой же материи, с зелеными китайчатыми⁸ или полотняными обшлагами, лацканами и воротником, белый жилет, маленькая каска с зеленою бахромою⁹ — таков был наряд героя Рымникского во всякое время года, наряд тем более странный, что иногда, по причине двух старых полученных им в колено и в ногу ран, которые сильно его мучили, бывал он принужден надевать на одну ногу сапог, а на другую туфель, расстегнув шлифные пуговицы¹⁰ и опустив чулок. Прибавьте к этому убору большую саблю, которая тащилась по земле. Если холод был чрезмерный, то он надевал такого же покроя и цвета суконный камзол; но это, однако, случалось очень редко. В таком-то странном уборе являлся Суворов перед многочисленною армиею; говорил речи к своим солдатам; стоял с ними лагерем и в летний жар, и в зимний холод. В награду за многочисленные свои победы получил он, как известно, множество орденов, из которых большая часть украшены были бриллиантами; обыкновенно носил он на себе один Андреевский¹¹, но в случаях важных надевал все и являлся в прекрасном фельдмаршальском мундире.

Хотя чрезмерная простота его и имела некоторую наружность скупости, но тот ошибется, кто будет почитать Суворова скупым. Суворов во всякое время показывал стоическое презрение к деньгам: можно было подумать, когда он говорил об них, что он совершенно забыл настоящую их цену. Никогда не имел он при себе денег и ни за что не платил сам. Известный г. Тищенко¹², прежде солдат, потом адъютант Суворова, некогда спасший ему жизнь и потом всегда находившийся при особе нашего героя, был в доме его главным смотрителем, дворецким, казначеем, и ему-то особенно поручены были все денежные издержки. Суворов не носил на себе ни часов, ни перстней. Вещи сии не имели в глазах его никакой цены собственной; он почитал их единственно памятниками своей славы и дорожил ими только потому, что они были наградою за его подвиги. Когда случалось сидеть во всех орденах и алмазах подле какого-нибудь иностранца, то он любил говорить, указывая на каждый из них поочередно: *«Этот орден получил я за такое дело; этот мне дали за такую победу»*. Можно сказать, что душа его утешалась славою и что он с простосердечною искренностию желал переселить это чувство в другого.

Суворов был совершенно бескорыстен. Вот пример: один из подчиненных ему чиновников проиграл 60 000 рублей казенных денег. Суворов, узнавши об нем, арестовал виновного, а сам написал к императрице: «Один из офицеров моих утратил 60 000 рублей из казенной суммы; эти деньги внесены уже мною на счет собственного моего име-

ния. Справедливость требует, чтобы я отвечал В. И. В. за тех офицеров, которым делаю доверенность».

Суворов во всякое время хотел быть и *казаться* солдатом. Вместо того, чтобы кланяться, как другие, он останавливался, подымал голову, расправлял ноги, вытягиваясь, как солдат, подымал правую руку и прикасался ею к своей каске; перед другими он кланялся в пояс, не переменя однако вышеописанного положения.

И пища его, и одежда, и образ жизни, и все вообще привычки означены были простотою. Горницу, не убранныю ничем, предпочитал он всякой другой. Редко ночевал он в доме, когда солдаты его стояли лагерем. В том месте, где находилась главная квартира, отводили ему обыкновенно уголок в саду, где разбивали палатку: в ней проводил он ночи, большую часть дня и не прежде как к самому обеду являлся в том доме, который занимали генералы и штаб. Палатка Суворова не отличалась ничем от простой офицерской: во все продолжение военной жизни своей не провел он ни одной ночи в постели: две или три охапки сена были великолепнейшим ложем для полководца российских воинов. Будучи в императорском дворце, приказывал он растилать в спальне своей сено.

Он не имел ни экипажей, ни верховых, ни каретных лошадей — при особе его находился один только человек. Для некоторых временных прислуг домашних употреблял он казаков, солдат, кого случалось; дорогою ездил в простой кибитке на почтовых или извозщичьих лошадях. Когда надлежало командовать или в маневрах, или в сражении, то он садился на первую попавшуюся ему лошадь. Обыкновенно давал ему лошадей адъютант его Тищенко; словом, нельзя вообразить ничего умереннее и неприхотливее издержек Суворова.

Самое заметное из всех моральных качеств его была истинная, постоянная доброта; встречаясь с младенцем, не мог он удержаться, чтобы не приласкать его и не благословить. Во всякое время видели в нем доброго родственника, доброго друга, доброго отца, хотя, впрочем, он был уверен, что воин и самым нежнейшим привязанностям сердца не должен приносить на жертву того времени, которое он мог бы с большею пользою употребить для славы. Правила сии всегда были неизменным основанием поступков его и мнений. Вот пример: Суворов ехал в армию. Не зная, сколько времени судьба назначила в ней пробыть, он страстно желал обнять своих детей. Но должно было удовлетворить сердцу, не похищая ничего у славы. Он сворачивает с дороги, скачет день и ночь на почтовых в Москву, и прямо к себе в дом. Была глубокая полночь, все спали; он выходит из кибитки, будит сторожа; ему отворяют ворота; с свечою в руках идет он потихоньку в горницу к

детям, приближается к кровати их, бережно приподымает занавес, рассматривает с чувством их лица, благословляет их, целует, опускает занавес, идет, опять садится в кибитку и уезжает, не возмущив спокойствия милых ему творений. Для него было довольно: он видел, благословил, вручил покровительству Бога все то, что было драгоценно его сердцу; разбудив их, он только уделил бы им часть своей горести — тяжелой разлуки, но страдал один и хотел один страдать при сем расставании^(*). Такой странный характер Суворова имел влияние на самое нежное движение сердца его. Будучи страстен к славе, он, можно сказать, похищал у нее все то, что любил, однако, уступал природе.

Суворов был равнодушен к приманкам любви. Удовольствия чувственные казались ему вредными для воина, которого мужество, здоровье и нравственность они расслабляли. Если случалось ему в каком-нибудь обществе находиться подле женщины, то он старался самым забавным образом не смотреть ей в глаза и к ней не прикасаться. К супруге своей не показывал он никакого другого чувства, кроме дружбы. Целомудрие казалось Суворову первую добродетелью человека и в особенности воина.

В обращении своем с другими отличался он прямодушием и искренностью: двусмысленные слова, хитрые обороты в речах, неопределенные или неясные ответы, внушаемые лестью, малодушием, низостью, были для него несносны. Офицер, который отвечал на два или на три вопроса нерешительно, лишался его уважения. Он называл таких людей *немогузнайками*. Скрытность в изъяснении мыслей казалась ему не только низостью и малодушием, но он приписывал ее недостатку характера — порок в глазах его непростительный. Когда хотел он испытать, имел ли замеченный им человек присутствие духа и твердый характер, то задавал ему нечаянно и в присутствии многих трудные вопросы: он уважал тех, которые отвечали ему не запинаясь, коротко и остроумно. Он говорил: «Тот, кто приходит в замешательство от одного слова, еще более замешается от нечаянного появления неприятелей». — Часто поручал он своим офицерам писать релиции¹³, и уважение его было соразмерно той быстроте, с какою исправляема была ими сия должность. Надобно признаться, однако, что всякий при нем становился и понятнее, и быстрее; можно сказать, что он переливал свой пламень во всякого приближавшегося к нему человека. Слова: *не знаю, не могу, нельзя*, были выброшены из его лексикона, и место их занимали: *учись, делай, узнавай*.

(*) Вот задача для русского живописца. Пускай изобразит нам Суворова, благословляющего спящих детей своих. Ж.

Никому не покажется удивительным то отвращение, которое Суворов чувствовал в душе своей к придворным. Он называл их *немогузниками*; любил над ними смеяться, и насмешки его были тем язвительнее, что он не щадил никого и всех называл по имени, будучи от природы чрезвычайно остер и насмешлив. Нередко с удивительною искренностью говорил он резкие истины в присутствии государя и самых тех людей, на счет которых были они сказаны. Никакое уважение не могло удержать его в границах, и весьма естественно, что придворные были худо расположены к Суворову; интриги и клевета преследовали его на самом кровавом поле сражения.

Суворов весьма строго наблюдал военную дисциплину и столь же строго наказывал за малейшее против нее преступление. Желая самого себя сделать образцом подчиненности как для солдат, так и для офицеров, он приказал, чтобы верный его Тищенко всякий раз, когда заметит, что он, забывшись, ел лишнее за обедом, приказывал ему выйти из-за стола. «*Кто тебя прислал?*» — спрашивал он обыкновенно с великою важностью. — «*Фельдмаршал Суворов!*» — «*Надобно его слушаться, помилуй Бог, надобно!*» и в ту же минуту вставал из-за стола. Такая же церемония происходила, когда он слишком долго засиживался за работою. Тищенко являлся, приказывал ему кончить. Суворов повторял обыкновенный вопрос и, получив ответ, повиновался беспрекословно.

Также не пропускал он ни одного случая показать пример уважения к закону, чистоте нравов, бескорыстию, твердости, мужеству, постоянству в трудах и деятельности военной: в сем случае предусмотрительность его доходила нередко до *странности*. Он был весьма набожен, без всякой примеси суеверия, но по-своему, как и во всем. Первое дело его, когда он просыпался, ночью или на рассвете, была молитва; ложась спать, он также молился и очень долго. В церкви слушал он божественную службу весьма внимательно, с великою набожностью, пел вместе с певчими и по обыкновению своему кривлялся очень много. Будучи сослан в деревню, имея более 70 лет, упражнял неутомимую деятельность своего характера над колоколами сельской церкви: он сам звонил к заутрене, к обедне и к вечерне, пел на крылосе с дьячками и читал «Апостол».

Суворов очень хорошо знал историю древнюю и новую; он помнил все подробности из жизни великих генералов, его предшественников. Говорил на осьми языках и по-французски, как настоящий француз. Слог его также, как и разговор, был прост, силен, отрывист и оригинален. В каждой его фразе, состоявшей из двух или трех слов, заключался полный и глубокий смысл, но такая краткость не для всякого могла быть понятна, особливо для иностранцев была она загадкою. Суворов очень

редко писал и письма, и донесения свои сам; вообще не любил вести никакой переписки. *Пефо*, говорит он, *неприлично солдату*. И в самом деле, своеручных писем его весьма немного. Вот одно, которое написал он на барабане, среди развалин Туртукая¹⁴, к фельдмаршалу Румянцеву¹⁵:

«Слава Богу! Слава вам!
Туртукай взяли! Я там!
Суворов».

Он любил говорить речи солдатам и тогда переставал уже быть столь кратким, как на письме. Речи его продолжались иногда час, иногда два, хотя бы то случилось в самый жестокий зимний холод. Я слышал одну такую речь (пишет Гильоманш) на плац-параде Варшавы, в январе, в самый трескучий мороз. 10 000 человек составляли обширный батальон каре. Холод был ужасный. Суворов, одетый по обыкновению в канифасный белый камзол, явился посреди каре и начал свою речь, но заметив, что многим казалась она слишком длиною, по причине чрезмерного холода, продолжил ее нарочно более двух часов. Все генералы, офицеры и солдаты разошлись по квартирам почти замерзшие, с простудой, насморком и кашлем — один Суворов остался невредим, и редко видал я его столь веселым — во всех его горницах раздавался громкий кашель, но эта музыка веселила его до крайности; он смеялся от души и был весьма рад, что подал солдатам своим пример неутомимости и научил их презирать жестокие зимние морозы.

КАБУД-ПУТЕШЕСТВЕННИК. ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА

(КОТОРАЯ ПРИГОДИТСЯ КОМУ-НИБУДЬ И НА СЕВЕРЕ)

В одной маленькой деревеньке жил бедный мусульманин, именем Гассан, и этот Гассан имел осла: тут еще нет ничего удивительного, но то удивительно, что бедный Гассан обходился с ослом своим, как с другом: каждый день его чистил, каждый день подкладывал под него свежую подстилку; называл его своим сокровищем, братом, своею радостью. Разъезжая на нем, он обыкновенно бросал из рук повода, и тем доказывал неограниченную доверенность свою к его рассудку. И надобно отдать справедливость ослу: он был умница, красавец, выступал гордо, приятно шевелил ушами, а глаза имел огненные и живые. Впрочем, что нужды в красоте наружной! В ослах, как и в людях, красота дело постороннее. Надобен ум, а наш осел одарен был, как я уже сказывал, изрядным количеством рассудка, например: он никогда не споты-

кался под ношею, какая бы ни была дурная дорога; а вы знаете, что истинный рассудок в том и состоит, чтобы хорошо носить свою ношу. После этого неудивительно, что бедный Гассан любил своего осла более, нежели великий шах Абасс своего прекрасного коня, или великий султан любимую свою султаншу. Чем более предметов любви нашей, тем наша любовь должна быть слабее, так говорят восточные мудрецы, и это правда: бедняк, которого все богатство состоит в одном только осле, должен любить осла своего, как мы любим все то, что имеем; и он же мог бы очень скоро его разлюбить, когда бы вместо одного имел двух: это естественно. Однажды наш добрый Гассан отправился на осла своем в ближний город: он ехал маленькою рысцою и разговаривал, по обыкновению, очень дружелюбно с своею скотиною. Вот встретился с ним благочестивый дервиш, который путешествовал очень скромно пешком. Гассан отвесил низкий поклон святому мужу. Дервиш остановился.

— Ты смотришь на моего осла, — спросил Гассан, — не правда ли, что он прекрасный?

— Прекрасный, этого мало сказать, единственный! И признаюсь, что красота менее всего для меня удивительна в этой скотине.

— Что же ты в ней еще находишь?

— Я нахожу в ней то, что она должна иметь и ум необыкновенный.

— Ты и не ошибся; осел мой — великая умница. Я никогда не думаю показывать ему дорогу; сам знает.

— Правда твоя: не осел, а сокровище. Не согласишься ли ты уступить его мне за хорошую цену?

— Нет, святой отец, я не продам моего осла и за десять томанов!¹

— За десять томанов, о пророк! Хочешь ли взять за него сто? Сию же минуту их отсчитаю и буду еще тебе благодарен.

Гассан вытаращил глаза на дервиша. Он очень любил своего осла, но сто томанов, какая бездна денег, и он готов уже был ударить по рукам, но дервиш сказал ему с дружелюбною усмешкою:

— Послушай, Гассан, я не хочу тебя обманывать! Вижу, что ты уже согласен продать мне осла, но совесть запрещает мне воспользоваться твоим простосердечием. Я намерен сделать тебе гораздо выгоднейшее предложение. Говорит ли твой осел?

— Не думаю; я никогда не слышал от него ни слова.

— По крайней мере, читает, пишет, знает арифметику, учил Алкоран?²

— И того не думаю!

— Дело невероятное! Следственно, не знает ни географии, ни истории; не имеет понятия о нравах народов; не учился политике?

— Святой пророк, если бы осел мой знал все эти науки, то был бы гораздо учнее своего господина!

— Что ж мудрости, разве этого не случается? Послушай, Гассан, даю тебе на выбор — или взять от меня сию же минуту сто томанов за осла, или отпустить его со мною в Мекку. Путешествие усовершенствует его так много, что он возвратится к тебе совсем иной: будет говорить на многих языках, читать наизусть Алкоран и знать лучше своих ушей обычаи всех восточных народов, историю, географию, метафизику, химию, астрономию, словом, будет мудрец. Ему необходимо надобно путешествовать, и один год, не более. По прошествии же года возвращу тебе его совсем образованным: ты будешь показывать его любопытствующим и в короткое время разбогатеешь, как великий могол. Говори теперь, чего хочешь: получить ли от меня сто томанов или отпустить осла твоего со мною в Мекку?

— В Мекку, — воскликнул Гассан, — осел, который говорит многими языками, знает политику и Алкоран, стоит неистощимого кошелька. Боже мой, какая будет мне слава, как буду я величаво разъезжать на этом ученом докторе! Правда твоя, святой дервиш, надобно ему путешествовать. Он еще недоросль, ничего не видал, кроме нашего минарета, сущий младенец. Возьми его, и дай тебе святой пророк счастливого путешествия! Только прошу не замешкаться и ровно через год возвратиться с ним ко мне.

— Ровно через год или с небольшим, — сказал дервиш.

— По рукам, — сказал земледелец.

И дело кончено. Гассан слезает с осла, и поцеловав его с нежностью, говорит ему следующее: «Бог с тобою, друг мой, Кабуд! Тяжело мне тебя отпускать, но это я делаю для твоего же счастья; ты увидишь много хорошего: смотри же, будь замечателен, слушайся добрых советов почтенного твоего наставника и возвратись ко мне ученым, добрым ослом, чтобы и я, и все мои соседи могли говорить, указывая на тебя: то-то осел удивительный!»

Гассан помог дервишу вскарабкаться на Кабуда, потом удалился, скорчась под ношею, которая за минуту лежала на спине его сердечного друга. Возвратясь в деревню, он начал рассказывать встречному и поперечному, что Кабуд отправился путешествовать, что он возвратится к нам через год ученым доктором, и что они увидят, увидят...

Когда то правда, что путешествие есть самое верное средство сделать невежду ученым, то благомыслящий дервиш выполнял взятую им на себя обязанность как нельзя лучше. Он не давал Кабуду лениться и каждый день заставлял его пробежать около двадцати миль. Они объехали берега Мраморного моря³ и прелестные провинции Натолии⁴, посетили Кесарию⁵, богатую древностями, провели насколько дней в Алепе⁶, и Кабуд своими ушами слышал от дервиша, что этот город

взят был арабами в 637 году при императоре Гераклии⁷. Сидя величественно на осле, осмотрел святой отец Алепские базары, на которых собраны были все богатства востока и разложены на показ великолепные шелковые материи и золотые ткани; вероятно, для научения своего питомца расспрашивал он вслух о цене товаров, а с купцами разговаривал о нравах и законах их отчизны. Кабуд слышал вопросы и ответы, но молчал, может быть, для того, чтобы лучше слышать.

Скоро святой дервиш и Кабуд присоединились к каравану богомольцев, шедших в Мекку. В этом караване находилось множество ученых людей: географов, историков, физиков, математиков, теологов и стихотворцев; словом, нельзя было выбрать лучшего общества для Кабуда: ему оставалось только слушать, замечать и учиться. Караван входит в провинцию Диарбек⁸.

— Мы теперь находимся, — сказал один из ученых географов, — в древней Месопотамии⁹. Видите ли прекрасный город Моссул¹⁰, построенный на западном берегу Тигра? Это столица Алджезиры¹¹, она почитается одним из лучших городов Азии; против нее, на другом берегу, представляется вам Ниневия. «Ниневия, — воскликнул один из ученых историков, — о почтенная древность»; и в миг прочитал он ученую диссертацию о прежнем великолепии и славе Ниневии¹². Ни одно обстоятельство не было им забыто: Кабуд хлопал ушами при имени Семирамиды¹³, вероятно, что этим хотел он показать свое удивление.

Караван посетил города: Эдессу¹⁴, Казалаин Гарам. Историк, который прежде витийствовал о Ниневии, объявил и здесь спутникам своим, что город Гарам есть древняя Карре, место рождения Авраамова¹⁵; что Александр поблизости его выиграл славное Арбелльское сражение, и что он известен в истории по разбитию Красса¹⁶. Можно ли не сделаться ученым с такими людьми? Имя каждого пригорка было им известно; каждая маленькая деревушка возбуждала в них какое-нибудь великое воспоминание, и всякая развалина была для них славным памятником времен минувших. Они не довольствовались разговорами о тех землях, чрез которые переезжали, но говорили и о самых отдаленных, которые были известны им, как будто их собственная родина. Словом, все города востока могли быть знакомы Кабуду, как самому сведущему армянскому купцу.

Проживши целую неделю в Бассоре¹⁷, караван вступил в пустыню. Разговоры сделались не столь часты и живы; настали чрезвычайные жары, и господа ученые, опасаясь, что у них скоро совсем не будет воды, молчали, нахмурив брови. Но дня через четыре, по выходе из Бассоры, два теолога завели жаркий спор о смысле некоторых слов Алкорана; они приводили в доказательство лучшие и убедительные статьи из всех

богословов; прочли наизусть весь Алкоран и делали самые остроумные толкования на те выражения, которые были непонятны и темны. Прение их могло принести великую пользу Кабуду, который имел еще самое поверхностное понятие о Магометовой книге.

По окончании спора теологов выступили на сцену стихотворцы и завели новый гораздо приятнейший первого спор, именно о том, который из восточных поэтов заслуживает предпочтение. Они попеременно читали прекрасные тирады¹⁸ из лучших поэм арабских и персидских. Кабуд хлопал ушами и молчал.

Математики были очень молчаливы днем, зато ночью говорили без умолку. Видя на небесах звезды, они открывали спутникам своим тайнства астрономии и все неизвестные законы мира; объясняли им движения тел небесных и чудную гармонию мироздания. Все сии чудеса были новы для Кабуда; ему еще никогда не удавалось улететь мыслию на небо; а если бы и захотел он размышлять о луне, то, верно, подумал бы только то, что она не более Гассанова фонаря, и едва ли бы вообразил, что маленькие точки, называемые звездами, не поместятся в той скромной закуте, в которой он кушал овес и сено.

Одним словом, Кабуд во время путешествия выслушал полный курс географии, истории, словесности, астрономии, богословия: с каким запасом познаний возвратится он в свою отчизну! О, этот осел наделает шуму!

Но мы забыли о бедном Гассане. Что-то он делает? В самом деле, бедный; нет ему никакого утешения, никакой радости в разлуке с добрым ослом; сирота сиротою! Прошли два месяца. Вот случилось, что ручеек, который бежал по камушкам почти у самой Гассановой хижины, выступил из берегов от сильных проливных дождей и оставил многое множество и камня, и песку на огороде Гассана. «Свет-то мой осел, — говорил Гассан, подбирая камень, — он бы избавил меня от больших хлопот». Спустя еще месяца три настала пора жать пшено. Гассан кряхтел, таская на себе маленькую свою тележку, нагруженную пшеном. Время было жаркое; усталость превзошла его силу; он занемог горячкою и умер бы от нее непременно, когда бы в деревне его не случился лекарь. В жару своем беспрестанно он бредил о Кабуде, но добрый Кабуд не мог его слышать: он странствовал далеко, далеко, и может быть, также подчас горевал о своей родине и о Гассане.

Наконец проходит год, а Кабуда нет как нет. Где-то он, здоров ли, что с ним делается? Бедный Гассан не пьет, не ест, и нет для него ни одной веселой минуты. «Что, если Кабуда моего нет на свете», думал он всякую минуту, и эта горестная мысль не давала ему покоя и во сне; послышится ли ему топот, сердце забьется; а Кабуда нет; стукнут ли в

его дверь, побежит опрометью отворять; не тут-то было: к нему пришел сосед или из города знакомый.

Наконец в один вечер сидел он, пригорюнившись, у ворот своей хижины; вдруг вдалеке показался человек на осле. Гассаново сердце затрепетало сильнее, нежели когда-нибудь; а сердце — вещун; бежит; путешественник приближается. «Так, это он, дервиш!» Но осел, но добрый Кабуд? Гассан смотрит и никак не может узнать своего старинного друга. Возможно ли, чтобы эта худая, хромоногая вислоухая скотина была Кабуд, прекрасный, хорошо откормленный и величавый?

— Где же мой осел? — спросил Гассан у дервиша.

— Вот он!

— Это Кабуд? Статосное ли дело¹⁹: такой худой и чахлый!

— Когда же я обещался тебе возвратить его жирным?

— Но он хромает и спотыкается на каждом шагу!

— Зато не споткнется умом!

— Какая жесткая шерсть; это щетина!

— Зато рассудок его мягче и глаже шелку.

— О Магомет, он крив, Кабуд, сердечный друг мой, ты крив!

— Не жалуйся, Гассан, умственное око его прозорливо и светло!

— Итак, мой добрый осел очень учен?

— Учен, как нельзя более; поговори с ним, и ты узнаешь.

— О чем же мне поговорить?

— Обо всем; на всякий вопрос отвечает он без запинки, но мне теперь оставаться у тебя некогда: прости, мы квиты.

Дервиш удалился, а добрый Гассан, любуясь на Кабуда, и не подумал сказать его ученому наставнику спасибо; он осыпал осла тысячью ласковых приветствий, потом взял его за повод и потихоньку повел в свою хижину. Но Кабуд едва передвигал ноги; а бедный Гассан охотно взвалил бы его к себе на спину, лишь бы избавить от нескольких лишних шагов. Наконец дотащились. Кабуд, не говоря ни слова, вступил в старинное свое жилище. Гассан сделал ему вопроса два, нет ответа. Мой доктор устал, подумал Гассан; не надобно его мучить; подложим под него свежей соломы, дадим ему хорошую мерку овса: покушает, поспит, а после и сам разговорится. Сказано, сделано. Пожелав доброй ночи Кабуду, Гассан выбежал на улицу и давай кричать: «Радуйтесь, радуйтесь, Кабуд возвратился! То-то осел, умница, философ, стихотворец, говорит как книга. Милости прошу завтра ко мне посмотреть и послушать Кабуда!»

На другой день, ни свет ни заря, все поселяне собрались перед воротами Гассановой хижины. Является Кабуд, и вместе с ним Гассан. Все

умолкли; Гассан говорит: «Представляю вам, друзья, молодого путешественника, который все видел и всему учился. Спросите его, о чем рассудите, и он будет вам отвечать без запинки». Вот вышел из толпы человек, пятидесяти лет, важной осанки, с длинною бородою, величественным взором, человек, единым видом возбуждающий почтение и заставляющий удивляться, едва лишь только отворит уста, словом, деревенский учитель. Он начинает говорить следующее:

— Почтенный Кабуд, прошу вас не взыскать, что смиренное мое невежество осмеливается испытывать глубину вашей мудрости! Вопрошаю вас не для того, чтобы самому блеснуть лучами темного моего рассудка, но единственно с тем намерением, чтобы обнаружить сияющее солнце вашей учености во всем его великолепии: ответствуйте, ученый и мудрый Кабуд, что делается с старою луною, когда Создатель посылает к нам новую?

Зрители устремили на Кабуда любопытные взоры. Кабуд наклонил голову, как будто желая собраться с мыслями. Учитель, окинув присутствующих гордым оком, повторил заданный им вопрос, но Кабуд молчал, и это скромное молчание перетолковано в худую сторону. Уже насмешники начинали подшучивать над Гассаном и его молчаливым доктором.

— Потерпите немного, милостивые государи, — воскликнул Гассан, — Кабуд очень учен, за это я вам ручаюсь, но он застенчив, и еще никогда не удавалось ему говорить в таком многолюдном собрании. Кабуд, друг мой, отвечай; бояться нечего; это все люди добрые. Скажи нам, что видел ты хорошего в чужих землях? Как тебе понравились Дамаск, Моссиль, Мекка? Перестань упрямяться, друг мой, мы все рады тебя слушать.

Один толстый человек, находившийся в числе зрителей и почитавшийся в деревне великим политиком, спросил у Кабуда:

— Как ты думаешь, Кабуд, достанет ли у персидского шаха довольно денег и войска, чтобы завоевать Тибет?

— Погодите, — воскликнул другой, слывший ученым, — этот осел воспитан дервишем; может быть, ему знакомее всего Алкоран Магометов. Позвольте мне сделать ему несколько вопросов: скажи мне, Кабуд, который из толкователей Алкорана лучше других изъясняет Магометовы заповеди?

— Вот прекрасный вопрос, — воскликнул Гассан, — слышишь ли, Кабуд, надобно отвечать! Что скажешь?

При этом слове Кабуд, имевши время собраться с духом, окинул глазами собрание, величественно растопырил уши, расширил ноздри и... заревел. Все засмеялись; добрый Гассан вышел из терпения.

— Ах ты плут... — воскликнул он, — ты вздумал упрячиться! погоди, я научу тебя реветь по-ослиному! У меня поневоле заговоришь об Алкоране и персидском шахе!

И Гассан вооружился толстою дубиною, чтобы развязать язык Кабуду. Он отсчитал уже два полновесных удара по голым ребрам философа, а может быть, и еще прибавил бы к ним десятка два, когда б один рассудительный поселянин не удержал его за руку и не сказал:

— Успокойся, Гассан, этот жалкий осел не заслуживает наказания! Он, не упрямясь, высказал нам все то, что знает; более не дождешься ты ничего, хотя замучь его под палкою! И какая нужда была посылать его в Мекку? Разве не умел он до того времени быть добрым ослом; разве худо возил и тебя, и твою тележку? Чего же от него более требовать? Ты вздумал посвятить его в ученые, но разве он сотворен на то, чтоб быть ученым? Право не знаю, кто в эту минуту более осел, ты или он? Советую тебе отвести его без дальних околичностей домой, холить его, чистить и кормить по-прежнему, пользоваться его остальными тремя ногами и одним глазом и вперед не отпускать его с дервишами в Мекку.

Добрый Гассан послушался полезного совета и решился отвести инвалида своего опять в закуту. Кабуда кормили по-прежнему, но Кабуд ни к чему уже не годился. Привыкнув к усталости, он отвык от работы. Гассан смотрел на него и плакал.

А дервиш?.. Дервиш съездил в Мекку и сберег ноги: чего ж вам более?

Говорят, что эта сказка похожа на быль. Дело возможное; мне известно только, что она подала повод к следующей восточной пословице: *осел пошел в Мекку, осел и возвратился из Мекки*²⁰.

НАУКИ

В то время, когда еще мир управляем был Гениями, *Стыд* и *Справедливость*, посланники верховного божества, одни составляли блаженство человеческого рода, но когда *Сатурн*, последний из благотворных правителей мира, удалившись на небо, оставил судьбу людей во власти подобных им смертных, тогда появилось на земле ужасное хищничество, и бедные люди сделались добычею притеснителей жестоких.

Стыд и *Справедливость* не удались, но гордые пастыри земнородных, мечтая, что им в управлении человеческом не нужно пособие сих двух посланников неба, а правильнее сказать, наскучив спасительными их советами, стали выдумывать средства, как бы их притеснить или принудить удалиться. Чиновники их, заметив такое похвальное расположение своих повелителей, начали один перед другим и вслух

удивляться той необычайной кротости, с которою они так долго сносили скучное присутствие небесных брюзгливцев. Надобно знать, что этим услужливым господам весьма не нравились старинные обычаи: разорвавши всякое сношение с благодетельными божествами, *Стыдом* и *Справедливостью*, они с нетерпением ожидали случая привести их в немилость у своих государей, удалить от двора и наконец совсем сослать на небо. И правду сказать, таким людям, каковы были эти добросовестные министры, никогда не может быть недостатка в средствах; начали говорить, что *Стыд* и *Справедливость* имеют непозволённые связи с соседственными народами; что они хотят взбунтовать подданных; что они вечно своим присутствием нарушают увеселения двора; что все заседания верховного совета, которые без них оканчиваются в одну минуту, только что замедляются их странными предложениями и голосами. Почитатели обвиняемых были слишком робки; сверх того, и они казались при дворе подозрительными; короче, им невозможно было защитить невинных друзей своих у трона; они говорили: оставьте их в покое, имейте за ними неусыпный присмотр, позволяйте им иногда подавать голос в совете и дайте им волю в иных обстоятельствах иметь сообщение с народом, но все представления были оставлены без внимания. Противники *Стыда* и *Справедливости* кричали во весь голос, что государство погибнет, если не будут они без всякого замедления отправлены в ссылку. Что оставалось делать? *Стыд* и *Справедливость*, поплакав немного, расправили свои крылья и полетели на небо.

Сами вообразить можете, в какой беспорядок все дела приведены были их отсутствием! Сильные делались сильнее, веселье веселее, все от того, что не было уже на земле никакого строгого судилища нравов, которое хотя немного ограничивало бы всеобщую свободу, обратившуюся наконец в неистовое буйство; скоро все приняло новый образ. Слабые начали чувствовать притеснение сильных; коварство заступило место силы, и тайные ковы его сделались ужасны. С погибелью низших иссякнул и самый источник изобилия для ненасытной расточительности высших. Хитрость восстала на хитрость, сила на силу, меч устремился на меч; род человеческий был уже готов низринуться в бездну погибели, но древний Зевес воззрел на него сострадательным оком. «Поди, — сказал он дочери своей, *Минерве*, — отнеси этим несчастным дары, для них благотворные, *рассудок* и *мудрость*. Они погибли, если не поспеши отворить им моей сокровищницы. *Прометей*, от чрезвычайной поспешности, похитил из нее слишком мало и сделал их только дерзкими! *Стыд* и *Справедливость*, посланные мною к ним на помощь, возвратились уже на небо, и горе им, если ты, дочь моя, не водворишь между ними мудрости!»

Минерва, покорствуя воле Зевеса, приготовилась перелететь вместе с мудростью на землю и награждать человечество небесными дарами *наук*. Зная, однако, что их величественная и несколько суровая важность несоразмерна слабости смертного, сказала она юным своим сестрам, прелестным музам, чтобы они ей предшествовали и сладостною гармониею лир своих приготовили род человеческий к принятию мудрости и наук. Выдумка Минервы имела желаемый успех. Правда, что две или три музы, забывши небесное свое происхождение, сделались любовницами сильных; зато все остальные сохраняли первобытную свою невинность и привлекательною игрою воспламеняли таившуюся в сердцах искру мудрости: тогда оживилась опять в человеке та эфирная сила, которая означает благородное сродство с жителями неба; тогда узнал он, что наслаждения чувственные постыдны, а хищничество есть безумие; что люди составляют одно семейство, и что на благе общем основано и благо частное; с тех пор сопутствует ему надежда, что, по мере распространения света наук, примирится он с первобытными хранителями своими, *Справедливостью* и *Стыдом*, и что за сим примирением последует тот счастливый *золотой век*, которым он наслаждался прежде, и который теперь называется только приятною мечтою поэтов.

Эбергарт

ПИСЬМО ПРИНЦА ДЕ ЛИНЯ К ЕКАТЕРИНЕ II

Вашему Величеству теперь совсем нечего делать. Маленькое Ваше хозяйство приведено в порядок. Если бы другие вверили Вам свое, то и их хозяйство было бы также хорошо устроено, как Ваше, и они теперь также бы отдыхали. Не понимаю, как Вы могли, будучи столь праздною, благодаря Вашей деятельности, позабыть обо мне совершенно, и извинительно ли Вам так долго не писать ко мне ни строчки!

Я не имел чести знать других государей российских, Ваших предшественников, а потому не был известен и им. Очень понимаю, что они, заботясь о делах своих, могли бы и не подумать об ответе, когда бы я осмелился к ним написать два слова. Один сочинял бы планы своих кампаний, другой рассчитывал бы государственные доходы, третий занимался бы своими придворными, тот министрами, тот семейством — каждому свое дело; но Ваше Величество оканчиваете все дела в четырех строках, с четырьмя кораблями, с четырьмя полками! Для чего же Вы ко мне не пишете? Жребий человечества! Каждому определено раскаиваться, и вот прекрасный случай Вашему Величеству

узнать, что такое раскаяние... Можно ли? Прошло шесть месяцев, а от Вас ни строчки! Этого не испытал я еще ни разу во все двенадцать лет милостивой Вашей со мною переписки. Деспотизм, Ваше Величество! Обходиться со мною так немилосердно, не все ли то же, что отнять у которого-нибудь из Ваших заслуженных генералов принадлежащую ему награду? Я говорил с Вашей совестью; теперь буду нападать на Ваше добродушие.

Вот уже почти шесть месяцев, как я не знаю, помнит ли меня та, которая всех выше, которой характер несравненно великий, и простой, и твердый. Но говорить с Вашим Величеством для меня необходимо. Если бы в которой-нибудь из четырех частей мира существовал теперь хоть маленькой великой человек, то я и не подумал бы Вас беспокоить, и скрепив сердце, завел бы переписку с ним. Но где их взять, этих великих людей? Вашему Величеству осталось только молиться о себе и о вечном спокойствии тех, которые давно исчезли, и которые одни имели право сказать: «Она всех нас затмила».

Я жил несколько времени в России¹, но не имел случая узнать, смеялся ли когда-нибудь Петр Великий от доброго сердца — и потому не думаю, чтобы я отважился просить от него двух или трех строчек ответа. Фридрих II² сказал мне очень сухо раза три: «Божия милость над вами!», как будто бы он в самом деле мог быть раздавателем Божией милости. Лудвиг XIV³ задавил бы меня своею подписью. Думаю, однако, что бедный наваррский король⁴ прислал бы мне по почте несколько добрых *ventre — saint — gris*^(*)⁵, если бы только был в состоянии заплатить весовые деньги⁶.

Александр Македонский имел хороший слог; но Вам известно, что секретарем его был покойный Квинт-Курций⁷. Шведский подражатель его изъясняется готическим латинским языком⁸. Надеюсь, что мне удалось бы схватить несколько записок от Кесаря и Альцибиада⁹, и признаюсь, что я с любопытством и с удовольствием распечатал бы маленькое письмо, дружеское или о делах военных, от великого Конде¹⁰.

Кстати — вот одно размышление: Вашему Величеству надобно знать, что я позволяю себе все, и что иногда находит на меня охота размышлять. Во всяком царствовании, даже в самом жестоком, попадают великие люди, как полководцы, так и писатели — но мы не видим ни одного из них посреди безначалия его и ужасов. При Силле и Марии великий Рим был разделен на части и подвластен¹¹. Сципионы были великие аристократы¹². Перикла надобно именовать царем¹³. Не думаю, чтобы Гораций и Виргилий имели какой-нибудь успех

(*) Слово, которое часто употреблял Генрих IV.

во время кровопролитных междоусобий. Пускай бы Монтань и Лафонтьен¹⁴ родились в наше время, и я не удивился бы нимало, когда бы они первые — один со своими истинами, другой с своею рассеянностью и простосердечием — попали на эшафот.

Я имел честь быть представленным нашему молодому императору¹⁵, которого нахожу стариком, благодаря двум походам¹⁶ и его воспитанию, начатому Иосифом II¹⁷, несчастным государем, которому Ваше воспоминание должно служить апотеозом¹⁸. Я взял на себя смелость сказать Его Величеству, касательно Нидерландов¹⁹, что отважная решительность делает ненужною строгость, и что шесть месяцев твердости по вступлении на престол могут укоренить могущество его на все будущее время. Снисхождение, с каким он принял советы придворного моралиста, осмелившегося упомянуть в разговоре с ним о истинной великости и патриотизме, должно казаться для нас предвещанием счастливым.

Да будет Северная звезда²⁰ у всех перед глазами! — Вот истинная звезда царей: она ведет прямо ко храму бессмертия.

Вена. 1792, 17 марта.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОСТ-ИНДИИ^(*)

Я собирался выехать из Визагапатнама¹, когда мне сказали, что в соседней деревне Велуре, отстоявшей на полтора часа езды от этого города, приготовлено было погребение и что молодая вдова из касты Хеторисов будет сожжена с телом своего мужа в яме, нарочно для сего случая приготовленной (заметим, что в каждой части Короманделя² жены обыкновенно сжигают себя на кострах). Я не хотел пропустить сего случая, для меня совершенно нового, пошел пешком в деревню Велур и скоро увидел большую толпу людей, среди которой молодая вдова сидела под балдахином, окруженная родственниками своими обоего пола. Не думаю, чтобы она имела более 28 лет: лицо ее было очень приятно. Она раздавала знакомым своим и сродникам бетель³, шевелила губами, как будто читая молитву, и, казалось, совсем не чувствовала страха, но я не мог смотреть на нее равнодушно. Вместе с многочисленную толпою людей пошел я на то место, которое приготовлено было для погребения. Мы вышли в поле, увидели яму, в десять футов длину, в восемь шириною и в восемь же глубиною; она была наполнена угольями, в которые беспрестанно бросали сухие поленья. Скоро увидели мы погребальную процессию. Тотчас окружили яму высокими

^(*) Из Гафнерова путешествия по берегам Ориксы в Короманделе.

ширмами; зрители, отступивши на несколько шагов, составили обширный круг, и в это самое время несчастная жертва суеверия и любви супружеской приблизилась к месту сожжения.

Платье на ней было великолепное, унизанное жемчугом и алмазами. В одной руке держала она лимон с гвоздичным корешком, который беспрестанно нюхала. За нею шли родственники, брамины⁴ и великое множество женщин, а впереди музыканты, которые играли веселые, торжественные песни. Остановившись в некотором отдалении от ямы, вдова сложила с себя все уборы, разделила их между родными, разделась и, окруженная своими подругами, омылась в ближнем водоеме, потом надела на себя простое белое платье из хлопчатой бумаги; наконец спокойно приблизилась она, при торжественных песнях браминов и шумной игре музыкальных инструментов, к пламенной яме, все еще заставленной ширмами, и на краю которой стояли носилки с бездыханным трупом ее мужа.

Несколько минут смотрела она в молчании на покойного, ударила себя в грудь и заплакала; потом поклонилась, три раза обошла вокруг ямы и всякий раз, проходя мимо носилок, кланялась. В третий и последний раз остановилась она у самого тела, взглянула на своих родных, простилась с ними, взяла из рук одного брамина кувшин с маслом, которым оросила своего мужа, поставила кувшин на голову и, воскликнув громким голосом: *Нарайна* (Боже), прыгнула в пылающую яму, в минуту ширмы упали, тело брошено в уголья, и яма засыпана тысячами зажженных факелов. Барабаны, бубны и трубы загремели звучнее прежнего; женщины подняли страшный крик (печальный или радостный, не знаю), и высоким столбом понеслось из ямы трескучее пламя.

Хотя я и уверен был, что эта несчастная задохлась в одну минуту, но сердце мое страдало, и я возвратился в деревню в великом унынии. Было уже темно; я не хотел, однако, ночевать в Велуре и отправился в Визагапатнам. Более часа, кажется мне, шел я, задумавшись; оглянулся и вижу, что сбился с дороги; со мною встретился старик, спрашиваю; он рассказывает, что очень далеко от Визагапатнама; советует мне возвратиться в Велур и указывает ближнюю дорогу. Послушавшись доброго совета, пошел я по указанной дороге; иду: темнота увеличивается, наконец, все помрачилось; вдалеке блеснули огни; всхожу на пригорок; огни исчезли. Пошел проливной дождь; я совсем потерял дорогу; опять очутился на пригорке, ступил шаг; чувствую, что земля подо мною осыпается; хватаюсь за куст, он обломился; вообразите мой ужас; я полетел стремглав в глубокую пропасть.

Несколько минут лежал я без всякого чувства. Прихожу в память, все тихо и мрачно; чувствую противный запах; начинаю шупать руками:

подле меня лежал мертвый буйвол. Вскикиваю поспешно, бегу в сторону, остерегаясь, однако, чтобы еще куда-нибудь не обрушиться, и, мучимый горестным чувством, стараюсь проникнуть черную, непроницаемую мрачность: досада, скорбь и нетерпение мучили попеременно мою душу; наконец, успокоившись немного, решил я дожидаться утра, сел на камень и скоро заснул глубоким сном.

Просыпаюсь; сначала кажется мне, что все случившееся со мною было печальный сон, но скоро этот обман миновался: утро занялось; свет его проникнул во глубину ямы, и с ужасом увидел я, в каком отчаянном положении находился. Яма была не иное что, как глубокая пещера со сводами и с двумя большими впадинами, которых конца от чрезвычайной темноты не можно было видеть. На верху свода находился пролом, в который проникал свет. Высокие каменные стены были совершенно перпендикулярны и со всех сторон удалены от пролома, так что не было никакой возможности по ним до него добраться. Тогда увидел я, каким образом мог обрушиться в эту пещеру, как очутился в ней и бедный буйвол, и какого жребия мне ожидать надлежало.

Что делать? На что решиться? Кричать? Но это место казалось мне уединенным и безлюдным. Какая же польза изнурять себя криком? Я сделал один опыт: напрасно! Мой голос весьма глухо раздавался под сводом и совсем почти не доходил до высокого пролома. День прошел; утешительное сияние солнца потухло; вокруг меня сделалось мрачно, как будто во гробе. Могу ли описать те страшные чувства, которые мучили меня в продолжении этой ночи, нестерпимо долгой? Летучие мыши порхали с шумом над головою моею, и дикие шакалы, привлекаемые запахом, подбегали стаями к пролому и выли. Здесь я погибну, сказал я самому себе, здесь должен истлеть, как этот несчастный буйвол! Слабое сияние месяца блеснуло в отверстие; волнение мое несколько утихло. Будучи совсем обессилен, погрузился я в сон, но страшные сновидения не давали мне покоя.

Опять наступил день, и с первыми лучами солнца новая надежда оживила мою душу. Я начал кричать и кричал долго; наконец потерял и голос, и силу, и все было напрасно. Ужас и отчаяние мною овладели; голод и жажда меня томили; я победил отвращение, вынул кортик, отрезал кусок от мертвого буйвола, и силы мои, сверх всякого чаяния, подкрепились: я начал думать о средствах спастись. Дойти до пролома было невозможно: стена была крута и совершенно гладка. Но боковые впадины (подумал я) не приведут ли меня к какому-нибудь выходу? Нечего медлить, иду! Если гибель моя неизбежно определена от Неба, то все равно, где бы я ни истлел, на дне ли этой пещеры или несколькими футами глубже! Часы мои показывали полдень. Решив-

шись, запасаясь куском мяса, иду; сердце мое сильно трепетало. Что ожидает меня в этом непроницаемом мраке, думал я с содроганием. Я видел еще свет, и мужество мое не исчезало, но вдруг последнее бледное сияние угасло; я остановился, хотел воротиться, одумался: «Вперед, вперед», — воскликнул я и с новою бодростию, вверив себя Провидению, бросился в ужасную мрачность. Для осторожности шел я близ самой стены, держась за нее рукою и следуя всем ее бесчисленным изгибам: это казалось мне единственным способом найти какой-нибудь выход из страшного подземелья.

Земля надо мною была усыпана мелким камнем. Кучи песку, отломки от утесов, ямы и возвышения поминутно попадались мне под ноги. Я подвигался вперед очень медленно, ощупывая землю кортиком. Странствование мое продолжалось около двух часов; вдруг что-то хрустнуло под ногами моими и покатилося; трогаю ногою, кажется, кости; прикасаюсь руками: всемогущее Небо, это человеческий остов! Какая минута, и теперь, вспоминая о ней, содрогаюсь. Волосы на голове моей поднялись дыбом; я принужден был сесть. Вот жребий твой, сказал я самому себе, и залился горькими слезами.

Вдруг послышался мне легкий шорох, я вскочил, начал кричать; голос мой, отозвавшись несколько раз в глубоких впадинах перехода, умолк, и все опять утихло. Как испуганный кинулся я вперед, решившись умереть или спастись... Вдруг вижу перед собою две маленькие огненные точки; удивление оковало меня на одном месте. Что значило это блистание: дневные лучи или пламенные глаза змеи, прямо на меня ползущей? Я хотел остановиться, но это бы не спасло меня; подумал и быстрыми шагами побежал вперед: нечто неизвестное животворило мне душу.

Огненные точки были неподвижны, беспрестанно увеличивались и становились ярче. «Нет, это не змея, — восклицаю, исполненный радости, — это или две лампы, или проникающее сияние солнца». В эту минуту стена, около которой я шел ощупью, поворотилась вкруте; глазам моим представилась расщелина утеса и в ней заходящее вдали вечернее солнце. Боже, Боже, с какими неописанно сладкими чувствами бросился я в сии врата жизни, столь неожиданно для меня отворившиеся! Пробившись сквозь дикий кустарник, со всех сторон закрывавший расщелину, я начал с жадностию вбирать в себя чистый воздух и восхищался, видя себя опять посреди свободного, великолепного Божия мира.

Солнце закатилось; все живописные окрестности, и в малом расстоянии от меня Визагапатнам, сияли в розовом блеске. Наконец я возвратился к своим и был от них принят с восхищением, ибо все воображали, что меня уже нет на свете. По всем моим описаниям догадались, что

я упал в одну из подземных пещер, находившихся прежде в сообщении с храмами, и которых выходы известны одним только браминам. Таким образом, еще раз, по собственному опыту, уверился я, что нет такого положения в жизни, в котором бы можно было совершенно предаваться отчаянию. Сначала опасался я занемочь опасною или продолжительною болезнью, но, к счастью, этого не случилось; я чувствовал легкую лихорадку; она очень скоро совсем прекратилась, и через две недели я мог уже выехать из Визагапатнама.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ЛЮБВИ К УЕДИНЕНИЮ, О ДОСТОИНСТВЕ И ХАРАКТЕРЕ

Всякое звание в обществе есть то же в глазах философа, что город в глазах кочующего калмыка: темница! Это круг, в котором мысли, соединенные в одно средоточие, стесняются и отымают как у души, так и рассудка обширность их и свободное развитие. Человек, имеющий важное звание в свете, заключен в темницу просторную и пышную; имеющий низкое, брошен в тесную яму: один тот свободен, кто, пользуясь надлежащим достатком и полною независимостию от людей, не имеет притом никакого звания.

Бедный человек и самый скромный, живучи в свете, должен быть смелым и в обращении своем непринужденным, если не хочет, чтобы другие взяли над ним какой-нибудь верх. В таком случае необходимо, чтобы скромность его была защищаема гордостью.

Слабость характера, скудость в идеях, словом, все то, что нам препятствует жить с собою, предохраняет многих от ненависти к людям.

Мы счастливее в уединении, нежели в свете! Не от того ли, что в уединении занимаемся более вещами, а в свете принуждены думать о людях?

Мысли уединенного человека, имеющего здравый смысл, хотя, впрочем, посредственного, верно, лучше всего того, что говорится и делается в свете.

Человек, не сгибающий ни ума своего, ни честности под бременем безрассудных или порочных условий общежития, не унижающий себя и в таких случаях, когда унижение было бы для него выгодно, остается, наконец, беспомощным, с одним только другом, тем отвлеченным существом, которое называется добродетелью и которое допускает его умереть с голоду.

О человеке, живущем в уединении, говорят: он не любит общества. Скажите же о том, кто не охотник вместе с толпою бродить по бульвару: он не любит прогуливаться.

Уверены ли вы, что человек, имеющий совершенно прямой ум и самое нежное нравственное чувство, способен жить с кем-нибудь неразлучно? Под словом «жить» я разумею не то, чтобы находиться в одном месте и не драться; но то, чтобы с приятностию делить время, любить друг друга, сообщаться и чувством, и мыслию.

Умный человек погиб, если с умом своим не соединяет он силы и характера. С фонарем Диогеновым нужно иметь и его палку¹. Никто не имеет такого множества неприятелей в свете, как человек прямой, чувствительный, благородно-гордый, расположенный именовать и людей, и вещи настоящим их именем.

Свет ожесточает сердце большей части людей, а те из них, которых натура не расположила к ожесточению, принуждены вооружить себя искусственно нечувствительностию, чтобы избавиться от сетей и мужчин, и женщин. Чувство, остающееся в душе человека после нескольких дней, потерянных в свете, и тягостно и печально; одна только от него польза: оно делает уединение любезнее.

Понятия света почти всегда и унижительны, и низки. Видя по большей части или дела постыдные, или поступки, противные благопристойности, он привыкает замечать все то, что делается и говорится в его круге. Замечает ли связь благородную между министром и просто человеком, между человеком государственным и свободным от всяких дел: в двух первых находит он покровителя и клиента, а в двух последних интригантов или шпионов. Поступок великодушного бескорыстия, при самых благородных обстоятельствах, не иное что в глазах его, как обыкновенный заем денег и торжество хитрого человека над глупым. Он называет развратом происшествие, обнаруживающее привязанность нежной женщины к такому человеку, который достоин привязанности чувствительного сердца. От чего это? Не от того ли, что бесчисленное множество случаев, в которых он принужден был опорачивать или презирать, заранее определяя его суждения? Что ж остается для честного человека? Укрыть себя от суждений света.

Натура не говорит: не будь *беден*, еще менее: *будь благ*; но она громко восклицает: *будь независим!*

Светский человек, искатель фортуны, преследователь славы, проводят пред собою прямую линию, по которой идут к неизвестной цели. Мудрец, истинный друг самого себя, начертывает перед собою круг, который возвращает его самому себе.

Человек, не имеющий характера, не человек, а вещь.

Ты нимало не знаешь того человека, о котором не можешь сказать: я хорошо его знаю. А многие ли стоят того, чтобы их рассматривать? Из сего следует, что прямо достойный человек не должен много забо-

титься о том, чтобы его знали. Он уверен, что весьма немногие способны определить его настоящую цену, и что из сих немногих каждый имеет собственное самолюбие, связи и выгоды, препятствующие ему рассматривать достоинство с тем вниманием, без которого не можно назначить принадлежащего ему места. Что же касается до одобрения обыкновенного и слишком мало разборчивого, которым награждают достойного человека, когда начнут подозревать его существование, то может ли такое одобрение быть лестным?

Если человек до того усовершенствовал свой характер, что можно наверное предсказывать его поступки во всех обстоятельствах, касающихся до честности, то не одни бездельники, но вместе и получестные люди будут или его убеждать, или стараться унижить. Скажу более: самые честные люди, уверенные, что он не изменит своим правилам в тех случаях, в которых они будут иметь в нем нужду, позволят себе несколько его пренебрегать, чтобы увериться в тех, в которых они еще сомневаются.

Почти все люди невольники от той единственной причины, которой спартанцы приписывали невольничество персов², от неспособности произнести слово *нет*! Уметь произнести это слово и сверх того уметь быть уединенным, вот два способа хранить и независимость свою, и характер.

Когда ты решился иметь сообщение только с теми, которые способны говорить с тобою языком добродетели, рассудка, истины, забывши условия общества, суетность и грубые обряды (а каждый необходимо должен на это решиться; в противном случае он или глуп, или слаб, или низок), то будь уверен заранее, что ты проживешь почти в уединении.

Шанфор

ДВА ПИСЬМА ПРИНЦА ДЕ ЛИНЯ

Письмо к Екатерине,

(писанное в Сарском селе, после разговора с императрицею)

Ваше Величество были виноваты и много виноваты вчера вечером! Не делом — это невозможно, а словом — это имеет некоторую вероятность. Было уже поздно — и я не хотел спорить: это позволено только в карете. К тому же, перед вами стояли три или четыре чудака, в голубых, красных и полосатых лентах: что бы могли подумать эти господа, когда бы я при них осмелился противоречить самодержавной владычице всея России! — В чем же мой проступок, спросите

вы? — Вот в чем, Ваше Величество! Рассуждая о своем правлении, Вы сказали: «*Все это могло бы идти гораздо лучше, когда бы я была мужчиною*». Можно ли так говорить? Что если бы Ваши предшественницы, Анна и Елисавета¹, были мужчинами: какое жалкое царствование мы бы тогда увидели. А они царствовали не без славы. И век Елисаветы был блестящим: при ней *почти* изгладились последние черты варварства. Но тот, кому бы вздумалось напомнить Вашему Величеству об этом блестящем веке для того единственно, чтобы Вы могли почувствовать все чрезвычайное превосходство перед ним Вашего, — тот, надобно признаться, сочинил бы самый забавный мадригал: сравнение Вашего царствования с первыми двумя было бы не иное что, как странная эпиграмма или ложь. Великий человек, одетый, как Ваше Величество, гораздо лучше для меня великого человека с саблею при бедре, между прочим и потому, что эта сабля могла бы подчас очутиться в правой руке его, что почитаю полезно только тогда, когда престол его несколько пошатнется... но разве не лучше поддерживать престол свой, как Ваше Величество, сильною рукою? В царе-мужчине весьма нередко замечают охоту быть героем — охота похвальная в нас, верноподданных, но очень опасная в государе, ибо она подвергает его зависти собственных его полководцев, несогласиям в собственной его армии, беспорядкам и (чего Боже избави!) лишению престола. Тогда великий человек мало-помалу теряется из виду и уступает место счастливому завоевателю, который иногда и сам бывает счастливым завоеванием. Двор его несколько отзывается военным лагерем, ибо он приносит в него с собою суровость своих походов, недоверчивость, досаду, высокомерие. Кто знает, что бы случилось с великим человеком-женщиною, когда бы он был великим человеком-мужчиною? Я вижу, что Ваше Величество хотели бы сделаться императором всея славы, как Вы императрица всея России — намерение похвальное и тогда (если бы случилось, что бог победы, забыв о православной церкви, захотел покровительствовать Лютеровой или римской²) Вы бы, конечно, не подписали мира при Пруте, как Ваш Великий Петр, сделавшийся невзначай героем³, или не убежали в Турцию, как неприятель его Карл XII⁴. Об этом нечего и говорить.

Но спрашиваю: не будучи женщиною, могли ли бы Вы иметь сию тихую твердость, которая всегда величественна, и то спокойствие, которое, весьма отдалено будучи от бездействия, придает Вам какую-то благородную нежность и всегда неразлучно с размышлением? Я не согласился бы отвечать за Ваше Величество, когда бы увидел Вас на коне, но смело за Вас отвечаю, когда Вы сидите перед столом и когда Ваша голова, исполненная высоких мыслей, поддерживаемая прекрасною

рукою, трудится и управляет течением дел, иногда медленно, иногда быстро, всегда решительно и верно.

Товарищи мои, Таврические мурзы⁵, не так бы учтиво приняли мужчину, и запорожцы, соседи мои, по тем землям, которыми Ваше величество наградили меня⁶, вздумали бы, может быть, заманить в засаду Великого императора, который захотел бы всё видеть собственными своими глазами. Мужчина, показываясь, теряет, женщина выигрывает; смотря на нее, нечувствительно переходишь от удивления к почтению и, наконец, к восторгу, а если с великим гением соединяет она и любезность, то дружба и бескорыстная привязанность сами собою находят место между почтением и восторгом и их не портят.

Как мог бы я, например, написать все это к мужчине, который всегда представляет себе, что его или обманывают, или осыпают лестью, или хотят затмить каким-нибудь талантом? Придворные стараются встретить глаза государя, хотя и не всегда бывают они прекраснейшими глазами на свете: напротив, в глазах государыни заключено какое-то волшебство; желаешь обратить их на себя не для того, чтобы надеялся получить губернаторство или ленту, но может быть, для некоторого успеха в обществе.

Великий человек на гордом коне приводит в трепет и генерала, и солдата, и знатного человека, и крестьянина. Великий человек в открытой коляске, с пятью или шестью прекрасными женщинами, его адъютантами, окружен восклицаниями людей ветреных и благословениями людей мыслящих. Ваше Величество, будучи мужчиною, имели бы пятьюдесятью тысячами более подданных и увеличили бы пятью миллионами рублей свои доходы — скажите, стоит ли это труда, чтобы быть мужчиною? Разве мало имеете Вы и рублей, и подданных? Сидя в прекрасном киоске Сарского села⁷, Вы увеличили число и тех, и других; но весьма вероятно, что, сидя в палатке, Вы бы значительно его уменьшили.

Могу ли сравнить Ваши милостивые, благотворные взоры с тем грозным и ужасающим взором, который могли бы Вы заимствовать, когда бы сами и часто осматривали своих пятьсот тысяч солдат, стоящих фрунтом?

Если, в минуту сильного чувства, случается нам в Вашем присутствии говорить с полною и, может быть, излишнею свободою о восхитительной, величественной Екатерине, то Вы берете на свою часть единственно то, что почитаете Вам принадлежащим, а остальное просто приписываете учтивости, тогда как на Вашем месте государь приписал бы его унижительной лести придворных.

Государыня, привыкшая всех видеть у ног своих, как повелительница и женщина, менее расположена к досаде. И мог ли бы я, в присутствии Фридерика, Петра, Людовика или Карла⁸ обнаружить так смело свое неудовольствие, как то случилось недавно, когда Ваше Величество сказали, что есть старинный русский закон, по которому виновные, приговоренные к смерти, или злодеи, уличенные в преступлении, первые должны идти на приступ! Вы поглядели на меня, задумались и не сказали ни слова. Бьюсь об заклад, что Ваше Величество никогда уже не напомните мне об этой черте ужасной учености.

Каждый государь уверяет, что он любит истину — дело возможное! Но те истины, которые слышит государыня, должны более и более располагать ее к доверенности, ибо она, конечно, думает: эти люди боятся мне наскучить, быть для меня неприятными и потерять свое место в дружеском моем круге — следовательно, они желают мне добра, когда осмеливаются говорить таким языком со мною.

Твердость в женщине — упрямство в мужчине; что в первой есть снисхождение, леность или нежная уступчивость, то непременно в последнем слабость. Сколько сторонних принадлежностей и мелких вещей, которых мы не замечаем и которых следствия чрезвычайно важны! Прекрасное платье Вашего Величества, из алого бархата, шитое золотом, совсем иначе на нас действует, чем золотой шарф и сапоги со шпорами; пять крупных бриллиантов, сияющих между волосами, гораздо ослепительнее шляпы, или ужасно высокой, или ужасно низкой, и всегда смешной. Прекрасная рука Ваша вливает пламень и в часового, который ее целует, и в важного хана Герая⁹. Не думаю, чтобы рука великого человека-мужчины, может быть, сухая и некрасивая, произвела во мне такое чувство; самый жаркий обожатель величия мог бы в восторге своем только разбить об нее нос.

Желаю знать: сын Карла VI, представляя венгерцам новорожденного своего эрцгерцога¹⁰ произвел ли бы в них то восхитительное движение, которое обнажило их сабли за молодую, прелестную и несчастную принцессу, двадцати четырех лет, какова была в то время наша Великая Мария Терезия¹¹?

Скажу еще раз: Ваше Величество были бы слишком живым и пылким мужчиною. Нам ли учить Бога! Он знает, что делает, и дела Его совершенны, благодарите Его, что Вы женщина, и женщина более, нежели женщина и мужчина вместе; благодарите Его на шестидесяти языках Кавказа, на турецком Тавриды, на персидском окружностей Каспийского моря, на китайском окружностей Великой стены, на греческом Ваших греков, а не Вашей церкви, ибо то славянский¹², на немецком Штеттинских храмов¹³, на французском Валлонской церкви¹⁴

и на латинском церкви Римской. Прошу Ваше Величество иметь доверенность к тому, который, именуя Вас ЕКАТЕРИНОЮ ВЕЛИКОЮ, есть крестный отец Ваш, живописец и историк.

ПИСЬМО К СЕГЮРУ¹⁵ ИЗ ЛАГЕРЯ ПОД ОЧАКОВОМ
1788, АВГУСТА

Сижу в палатке, на берегу Черного моря, в жаркую ночь, и думаю от бессонницы о тех чрезвычайных происшествиях, которым я свидетель, в которых участвую сам¹⁶.

Я видел четыре морские победы, одержанные волонтером, славным с пятнадцати лет приключениями необыкновенными. Смелый, прекрасный молодой адъютант генерала, который давал ему множество поручений, пехотный поручик, ротмистр драгунского полку, рыцарь-отмститель за оскорбления женщин и строгий взыскатель за нарушение законов общежития, предпочитающий опасное путешествие вокруг света всем удовольствиям, за которые на минуту наградила его царица *Отаити*; истребитель чудовищ, подобно древнему Геркулесу; по возвращении в Европу полковник французского пехотного полку и немецкого конного, не зная ни слова по-немецки; начальник экспедиции; капитан корабля, едва не утопленный и сожженный в испанской службе; генерал-майор Испании; генерал трех государств, которых языка не знает; один из самых блестящих виц-адмиралов России; не имеющий принадлежащего ему бытия, но в ожидании справедливости от законов, дающий себе собственное с помощью славы... Нассау, *Зиген*¹⁷ происхождением, стал ныне *Зигер* делами. Вы знаете, что *Sieger* на немецком значит победитель. В Мадрите, не думая и не воображая, произведен он в старинные испанские гранды; он принц Империи в Германии, где земли его отданы другим. Если бы несправедливость не лишила его имени, то он расточал бы несколько времени свою необычайную пылкость на кабаках, а может быть, и на хищниках дичи¹⁸; но скоро любовь к опасности открыла бы ему глаза, и он узнал бы, что настоящее имя его есть *воин*.

Какое же очарование этого человека? Шпага — волшебный его жезл; собственный его пример служит ему вместо заклинаний и шпага же вместо переводчика, ибо ее одну употребляет он для проведения кратчайшей линии, когда надобно нападать. Глаза, иногда столь же ужасные для друзей, как и для неприятелей, объясняют остальное. Его распоряжение в быстроте взора; дарование в той опытности, которое доставило ему неутомимое рвение, его наука в повелениях кратких, сильных и ясных, которые раздает он перед началом сражения, всегда

понятных и легко переводимых; его достоинство в правильности мыслей; его способы в том великом характере, который ярко блистает на прекрасном его лице, и наконец, его успехи в том мужестве тела и духа, которому нет сравнения.

Вижу предводителя армии*¹⁹, ленивого по наружности, но трудящегося беспрестанно. Колена служат ему столом, а пальцы гребнем; он вечно лежит, но день и ночь не знает сна, ибо его усердие к обожаемой им государыне всякую минуту его мучит, ибо каждый пушечный выстрел, не в него попадающий, терзает его, заставляя думать, что им убит который-нибудь из его подчиненных. Он робок за других и смел за себя; останавливается под сильным огнем батареи, для раздачи приказов, но более *Улисс*, нежели *Ахилл*; он беспокоен, в ожидании опасностей, и весел, будучи окружен ими; несчастен от чрезвычайного счастья; всем наскучил, всем очень скоро может наскучить; сух и непостоянен, глубокий философ, искусный министр, великий политик, ребенок двенадцати лет; не мстителен, просит прощения в сделанной им обиде; скоро и охотно заглаживает несправедливость; думает верить в Бога и боится дьявола, который кажется ему даже сильнее и толще князя Потемкина; одною рукою подает знак прекрасной женщине, другою крестится; складывает руки перед образом Богоматери и обнимает ими прелестный стан своей любовницы; осыпан многочисленными дарами своей великой владычицы, но раздает их все и в одну минуту; получает в подарок от императрицы деревни, возвращает их ей или платит ее долги, не говоря ей о том ни слова; продает обширные поместья, которые выкупает для того, чтобы построить в них колоннаду или развести английский сад и снова продать их другому; играет беспрестанно или совсем не играет; любит лучше дарить, нежели уплачивать долги свои; страшный богач и никогда не имеет в кармане копейки; чрезвычайно подозрителен, доверчив, как младенец; ревнив, благодарен; угрюм и шутлив; легко предубеждаем во вред или в пользу и также легко забывает предубеждение; говорит о богословии с генералом, о тактике с архиепископом; никогда не читает, но старается проникнуть в тех, с которыми говорит, или противоречит им для того, чтобы узнать от них более; нахмурен, как дикарь, или пленяет веселым лицом своим; то мил, то отвратителен в обхождении; то гордый сатрап Востока, то самый любезный из придворных Людовика XIV; под личиною жестокости имеет самое нежное сердце; работает, спит и располагает время свое как вздумается; прельщается всем, как младенец; во всем отказывает себе, как великий человек;

* Принц Ангальт-Бернбург.

умерен, хотя покажется жадным; грызет ногти, яблоки и репу; ворчит или смеется; дразнит, кривляется и бранится; проказничает или молится; поет или думает; приказывает затем, чтобы отослать; велит собраться своим адъютантам и не говорит им ни слова; лучше других сносит ужасный жар, но, кажется, думает об одних только прохладных банях; смеется над холодом, показывая, что не может обойтись без шубы; вечно в одной рубашке или в богатом фельдмаршальском мундире; с босыми ногами или в прекрасных вышитых золотом туфлях; иногда без шляпы, в дурном халате, под сильным ружейным огнем, иногда в великолепной епанче, во всех орденах, с тремя звездами и с портретом императрицы, осыпанным крупными бриллиантами, которые, как нарочно, выставлены для пушечных ядер. Дома — сутулист, горбат и скорчен в дугу; велик, прелестен, горд, благороден, исполнен величия, очарователен, словом, Агамемнон среди греческих царей, когда является своей армии.

Какое же его волшебство? Гений, гений и гений! Врожденный ум, прекрасная память, высота духа, тонкость без всякого коварства, счастливая примесь какого-то единственного своенравия, которое в хорошие минуты привлекает к нему сердца; неограниченное великодушие, искусство награждать приятно и по мере заслуги, верное чувство, дар угадывать то, чего он не знает, и наконец, глубокое знание человеческого сердца.

Вижу родственника Екатерины^{(*)20}, который сначала может показаться последним из офицеров ее армии: такова его скромность и великая простота! Он всё, и не хочет казаться ничем; в нем соединены все дарования, все возможные качества; он влюблен в должность свою и в ружейные выстрелы; часто ввергается в излишнюю опасность; любит выставлять других и уступать им принадлежащее одному ему; нежен умом и сердцем; имеет тонкий и верный вкус; любезен, кроток; ничто не может ускользнуть от его замечания; скор на ответы; все быстро объемлет умом своим; тверд в своих правилах; снисходителен ко мне одному, но строг к себе и к другим; чрезвычайно учен и — словом, наполнен истинным гением военного человека.

Вижу феномен, из вашего края²¹ — и что еще лучше, феномен очень милый. Это француз трех веков; он имеет рыцарский дух одного, приятность другого, веселость нынешнего. Франциск I, великий Конде и Маршал Саксонский²² захотели бы иметь подобного ему сына. Он ветрен, как стрекоза, в минуту самой ужасной канонады; беспрестанно шумит; безжалостный певун; всякую минуту жужжит мне на ухо луч-

(*) Потемкин.

шие арии французских опер; читает сумасшедшие стихи под сильным огнем и судит о вещах как невозможно лучше. Война его не восхищает, но жар его есть тот милый жар, который мы чувствуем при конце ужина, в веселом разговоре, от нескольких бутылок шампанского и мадеры, и только тогда подмешивает он воды в свое вино, когда объявляет нам приказ или сказывает свое маленькое мнение, или готовится что-нибудь исполнить. Он отличился на трех морских сражениях, которыми Нассау Зигер угостил капитана-пашу²³: я видел его на всех вылазках янычар, на всех ежедневных сшибках со спагами; он получил две раны. Будучи французом на душе, он русский по своей подчиненности и порядочному образу действия, любезен, любим, словом, милый француз, милый и храбрый дитя, приятный придворный Людовика XIV: все это называют у нас *Рожефом де Дамасом*.

Вижу русских, которым скажут: *будьте вы то и то*, и они сделались *то и то*; которые учатся свободным искусствам, как *лекарь поневоле* писать рецепты; которые всё, что вы ни вздумаете: солдаты, матросы, егери, попы, драгуны, музыканты, инженеры, актеры, кирасиры, повара, живописцы, хирурги, и прочее, и прочее.

Вижу русских, которые поют и пляшут в траншее, где нет им никогда смены, под пулями, по колено в грязи или в сугробах снегу; они перемчивы, на все искусны, любят чистоту, внимательны, послушны, и зная читать в глазах начальников свою должность, предупреждают их повеления.

Вижу турков, которым отказывают в искусстве военном и которые, несмотря на то, ведут войну по некоторой методе: рассыпаны для того, чтобы артиллерия и выстрелы ружейные им не вредили; стреляют с чудесною меткостью в самые густые ряды и такую стрельбою умеют прикрывать все свои маневры; или спрятаны в лощинах, в горных раселинах и на деревьях, или бегут толпою с маленьким знаменем, которое спешат вынести вперед и воткнуть в землю, чтобы выиграть место: первый ряд стреляет на коленях и, выстрелив, исчезает; задние становятся перед ними, стреляют, в свою очередь, спешат уступить место первым и таким образом сменяются по тех пор, пока их рой не понесется далее и снова не водрузит впереди своего знамени. Вообразите громкие вопли, множество диких голосов, ревуших: *алла, алла, алла!*, ободрительных для мусульман, ужасающих православного; вообразите множество отрубленных голов, и вы согласитесь, что это картина ужасная! — И все то, что я вижу, не может назваться по справедливости чрезвычайным?

С фран. Ж.

ГАЗЕТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Истинная повесть)

Я ехал в О... Солнце склонялось уже к вечеру; лошади мои, утомленные сильным жаром, едва передвигали ноги. Мы приближались к лесу. Гладкая дорога, с глубокими по обеим сторонам каналами, которые прекрасно выкладены были дерном и густо обсажены березами, акациями, кленом, каштанами, привела нас в маленькую деревеньку, находившуюся в самом лесе. Ее положение, романическое и веселое, пленяло меня всякий раз, когда я проезжал по этой дороге в О... Прекрасный домик лесного смотрителя, выкрашенный белою краскою, с зеленою кровлею, с большою дерновою террасою и множеством домиков, к нему принадлежащих, веселых и очень приятно выстроенных; крестьянские избы, выбеленные, очень опрятные, там и здесь мелькающие между деревьями, каждая с прекрасною дерновою площадкою, окруженною акациями и шиповником; дорожки, выкладенные гладким камнем и вьющиеся по зеленому дерну; в разных местах скамьи, одна под старою липою с обширными ветвями, другая на берегу ручья; пруд, широкая плотина с прекрасными перилами, церковь и светлый домик пастора, все это вместе составляло картину пленительную. Здесь обитает веселое спокойствие, думал я всякой раз, любуясь на дом лесного смотрителя; но еще ни разу, от излишней поспешности не удавалось мне остановиться в этой деревне.

— Прикажете ли ехать далее? — спросил у меня мои извозчик.

— Зачем же останавливаться! Мы еще далеко от станции.

— Но лошади очень устали; жар и пески их замучили. Гораздо будет лучше, если мы выедем завтра отсюда прежде света. Мы сделаем большую упряжку, а лошадям будет гораздо легче.

— Как хочешь! Но есть ли в деревне трактир?

— Есть, очень дурной. Для лошадей найдутся стойла.

— Я пойду к смотрителю.

Извозчик хлопнул бичом. Лошади, как будто почувствовав, что мы расположены дать им роздых, побежали рысью, и в минуту коляска моя очутилась перед крыльцом бедного деревенского трактира. Трактирщица, стоявшая в дверях, спокойно смотрела на извозчика, который начинал уже распрягать лошадей; она не приглашала меня, как водится обыкновенно, занять в доме ее квартиру. Худое предвещание, подумал я, выходя из коляски.

— Вам не будет места, — сказала мне трактирщица.

— Не беспокойся! Как зовут вашего смотрителя?

— Фон Манштейном. Добрый господин, любезный, знатный, богатый... великий охотник принимать гостей... приветливый... а жена его, что за милая!

Но я уже не слышал последних слов говорливой трактирщицы; я бегом бежал к дому зрителя, то был один из самых искренних университетских моих приятелей.

Всхожу на двор; иду к крыльцу, провожаемый лаем множества охотничьих собак; вижу в дверях знакомое лицо моего старинного друга; он узнает меня, восклицает от удивления, бежит ко мне навстречу с веселым видом, с простертыми руками; мы обнимаемся и идем в горницу.

Шесть лет прошло с того времени, как мы расстались при выходе своем из университета; шесть лет в жизни пылкого молодого человека, вступающего на поприще большого света: сколько нового и необыкновенного надлежало в это время с нами случиться. Мы много уже имели опытов и весьма о многом могли пересказать друг другу. Едва позволил я себе взглянуть на прекрасную женщину, которой Манштейн представил меня в минуту первого изливания нашей радости. Она входила в горницу, уходила, занималась домашним делом, и когда приближалась к мужу, то он простирал к ней с нежностью руку, а взоры ее устремлялись на лицо его с чувством привязанности и уважения. Когда она смотрела на меня, то я не замечал в глазах ее ни любопытства, ни обыкновенной гостеприимной приветливости: я видел в них одну искреннюю благодарность за то, что мое присутствие обрадовало ее мужа.

Часа через полтора, в которые мы едва успели напомнить друг другу о прошедшем и слегка описали настоящее, пришли нам сказать, что ужин на столе. Я подал руку хозяйке, начал извиняться, что разлучил ее на целый вечер с мужем. «А я благодарю вас за то удовольствие, которое вы сделали ему нечаянным своим прибытием», — отвечала она с милою улыбкою. Мы ужинали не одни; с нами сидело за столом несколько молодых людей, которых хозяин мой называл своими лесными и охотничьими товарищами. Разговор был общий: рассуждали о политике, но я не очень внимательно слушал сии рассуждения: глаза мои невольно устремлялись на милую хозяйку. Ее любезная простота в обхождении, ее искусство говорить с каждым тем языком, который наиболее ему приятен; вкусный ужин, где все было и чисто, и просто, за которым царствовала благопристойность, веселая и непринужденная, все это заставляло меня рассматривать с любопытством ту милую женщину, которая имела восхитительную способность разливать вокруг себя тишину, веселие и устройство. Муж казался за столом любезнейшим гостем: вероятно, что для угощения новоприезжего сделана была

какая-нибудь перемена в обыкновенном порядке, но *ежедневное* было так ощутительно, что только оно одно могло дать некоторую приятность *необыкновенному*. Все оживотворялось духом любви, согласия, доверенности. Я чувствовал, что друг мой был истинно счастлив.

И я горел нетерпением сообщить ему это чувство. Мы вышли из-за стола, остались одни; я взял его за руку и сказал:

— Счастливцев, в то время, когда я скитаюсь по всему свету, не имея перед глазами верной цели, ты весело отдыхаешь в пристани счастья. Должность необременительная и даже приятная; домик с прелестными окружностями; состояние независимое, и при всех этих преимуществах жена, благословение Неба, неужели я ошибусь, назвав тебя совершенно счастливым?

— Нет, мой друг, ты не ошибешься. Провидение все для меня сделало: мне остается только желать, чтобы судьба моя ни в чем не переменялась. Но признаюсь тебе, мысль о возможных потерях никогда не приходит смущать меня посреди моего спокойного счастья.

— Сохрани же тебя Бог от всякой перемены! Но прости моему любопытству, я желал бы узнать, какие обстоятельства завели тебя сюда, и где нашел ты эту прелестную женщину.

— История совсем нелюбопытная. Расскажу тебе только то, каким образом достал я себе жену: это самая занимательная статья в моем романе.

— А для меня самая важная. Вижу, мой друг, что она есть тот благодетельный гений, которым хранятся тишина, и порядок, и спокойствие, пленяющие меня в твоём доме! Я никогда не воображал найти такое сокровище в этом уединении, и еще меньше, тебя его обладателем. Я еще ни от кого не слышал о твоей женитьбе; рассказывай!

Он встал, вынул из своего бюро записную книжку, положил ее передо мною на стол и начал говорить следующее:

— Мы в одно время оставили университет: ты поехал путешествовать, а я провел целый год у своего дяди в Мариентале, где, следуя собственной склонности и его желанию, прилежно занимался наукой лесоводства. Мой дальновидный дядюшка расчел, что молодой человек с такими сведениями, какие успел я приобрести в университете, мог бы весьма много выиграть при дворе нашего князя, великого охотника и лесоведа.

Прошел год искуса, и дядюшка отвез меня в резиденцию; министр был лучший, старинный его друг. Меня представили к князю; я имел *счастье* ему понравиться и несколько раз вместе с ним осматривал княжеские леса. Меня приняли в службу, я работал перед глазами самого министра, и все почитали меня любимцем счастья: одни пророчили

мне первое место при дворе; другим был я любезен как законный наследник богатого дяди...

— А женщинам как прекрасный мужчина, не правда ли? Об этом писали ко мне в Вену.

— Словом сказать, — продолжал Манштейн, — меня почитали в городе *хорошею партией*. Везде я был принят с отверстыми объятиями; на столе моем всегда лежала куча визитных билетов и приглашений на бал, на ужин, на пикник и прочее. Отцы взрослых дочерей пожимали у меня дружески руку, а матери ясно давали мне чувствовать, что Провидение назначало мне счастье *беспримерное*, к которому ключ находился в благословенных руках их. Ты видишь сам, что я не имел недостатка в причинах быть суетным и думать о себе очень много.

Окруженный сим хаосом рассеянности и занятий, отличился я нечувствительно в великом множестве домов, но принимали меня как лучшего друга два дома, которые посещал я с особенным удовольствием, один камерпрезидента Герсдорфа, другой советника Зейбольда. В первом бывал я каждый божий день, в последнем два раза в неделю непременно ужинал; в первом находил всякий раз блестящее общество, в последнем никого, кроме почтенного Зейбольда и его дочери; в первом Отилия, дочь камерпрезидента, шестнадцатилетняя, прекрасная, была душою всех разговоров: в городе и при дворе почитали ее *совершенством*; в последнем встречался я с тихою Элизою, но я почти ее не замечал, ибо внимание мое исключительно было занято разговорами Зейбольда, в которых почерпал я глубокие сведения о вещах и людях и мудрые наставления опытности. Отилия... ты ее знаешь!

— Как не знать очаровательницы наших обществ!

— В самом деле, очаровательница! Тебе известно, как она рисует, играет на арфе, как она прелестна в танцах, как остроумно пишет письма, как любезна в разговорах, как знает светское обхождение; словом, это волшебница! О красоте ее говорить не нужно. Иногда казалось мне, как будто сквозь сон, что ум ее, чрезвычайно блестящий, занимался одною только поверхностью вещей; что вкус ее следовал более общему мнению и моде, нежели собственному чувству; что остроумие было в ней не следствие веселого характера, но более желанья блистать перед глазами других и склонности к насмешке, но *все эти* минутные подозрения не оставляли никакого во мне следа; душа моя очарована была прелестями, дарованиями, блеском; жизнь казалась мне жизнью только тогда, когда я находился в присутствии Отилии; при ней только находил я себя остроумным, и только обожать ее значило для меня быть чувствительным. Я не скрывал своего чувства: при дворе и в городе называли меня женихом Отилии.

— Итак, женихом Отилли был ты?

— Я.

— И ко мне об этом писали в Вену, не означив, однако, твоего имени, и ты мог, Манштейн...

— Отказаться от такой женщины, какова Отиллия, хочешь ты, конечно, сказать? Было время, в которое одна мысль об этом заставила бы меня содрогнуться, но в это же самое время, в которое стоило бы мне сказать одно слово, чтоб приобрести *завидное, редкое* (по мнению легкомысленных людей) счастье, какая-то невидимая сила меня хранила; короче, я не в состоянии был произнести этого решительного слова. Сама Отиллия, по-видимому, ожидала его: она часто оставалась со мною наедине и после каждой бесполезной аудиенции против воли обнаруживала досаду. Самое обхождение отца ее со мною не противоречило моим догадкам.

Что ж удержало меня, при всем моем упоении, открыться и требовать на коленях ее руки, право, не знаю. Я замечал, и признаюсь, с удивлением, только то, что это упоение прекращалось, когда я или занимался своею работою, или посещал почтенного Зейбольда. Так, мой друг, всякий раз, когда я входил в уединение этого мудреца, казалось мне, что я спасался от бури в спокойную пристань: там исчезали передо мною все очарованные призраки; там, сидя перед камином, углубленный в рассуждения о предметах важных, я был истинно счастлив, и душа моя воспламенялась; там видел я Элизу, которая оставляла работу и не сводила с меня своих глаз, прелестных, проникающих в душу, когда я посреди разговора к ней обращался. Очень часто разрешала она одним простым, но глубокомысленным и с девственною скромностию произнесенным вопросом наше сомнение; часто выражениями, изливающимися прямо из чистой души, подавала она повод к новым, важным для нас откровениям, или неискusstvenным, но ясным рассудком своим и верностию нежного чувства объясняла для нас самые темные загадки ума; словом, Элиза (хотя ни я, ни Зейбольд, ни сама она того не чувствовали) была главною целию, толкователем и судиею всех наших разговоров и мнений. За лучшие мысли, которые были предложены мною министру в его кабинете, обязан я Элизе. Но я этого не замечал. Столь же непонятно было для меня и то, почему в присутствии Отилли не мог я найти в голове своей ни одной из тех мыслей, которые стремительно из нее выливались, когда я видел перед собою Элизу.

Может быть, это состояние нерешимости и неведения продолжалось бы еще довольно долго, когда бы одно неприятное происшествие, но которому обязан я всем моим настоящим счастьем, наконец не вывело меня из усыпления.

С некоторого времени замечал я, что Отилия с необыкновенною колкостью нападала на *чувствительность* и осмеивала тех романических любовников, которые имеют тайные связи или ищут невинности между *мещанками*. Камергер Сальбек, которого ты знаешь, чаще прежнего шутил на счет моего знакомства с Зейбольдом и проповедовал мне высокое правило, что самое легкое средство положить конец неприличной страсти есть наслаждение. Признаться, я пропускал все это мимо ушей, отчасти потому, что никогда не мог думать об Элизе и Отилии в одно время, а более потому, что никогда почти не удостоивал внимания сальбековых шуток. Но все решилось для меня прежде, нежели я успел заметить, в каком затруднительном положении я находился.

По моим обстоятельствам понадобилось мне на несколько времени оставить резиденцию; дней через пять возвращаюсь, иду в обыкновенное время к Зейбольду, желая сообщить ему некоторые важные идеи, которые не совсем были для меня ясны; вхожу в горницу; не вижу Элизы; это меня удивило, ибо никогда не случалось, чтоб ее не было в то время, когда меня ожидали. Смотрю на Зейбольда; лицо его очень печально.

Спрашиваю об Элизе; он отвечает мне с замешательством, неопределенно, отведя от меня глаза.

— Элиза больна, — воскликнул я с живостию.

— Нет, — отвечал Зейбольд весьма сухо.

— Что ж это все значит? Или с нею, или с вами сделалось какое-нибудь несчастье?

— Несчастье, может быть!

— Важная потеря?

— Нет.

— Неудовольствие по службе?

— О, нет!

— Обида? Ради Бога, скажите, не оскорбил ли кто-нибудь Элизу? (Он вздохнул). Друг мой, я имею право на вашу доверенность.

— Имеете!

— Я не хочу упоминать о правах моих на вашу дружбу, но могу надеяться, что вы ее докажете, вверив мне вашу тайну, ибо все ваши тайны должны быть моими. Говорите, Зейбольд; будем советоваться и вместе расположим, что надобно делать!

— Тайна, — воскликнул он, — можете ли называть тайною то, о чем говорит теперь целый город? О бедная моя Элиза!

— Итак, это касается до Элизы? Не мучьте ж меня своим молчанием. Разве мне одному должно быть неизвестно то, о чем, как вы уверяете, говорит теперь целый город?

— И вы ничего не знаете, — спросил он, устремив на меня пронизательный взгляд.

— Ничего, Зейбольд! Я только теперь возвратился в город, не видался ни с кем, и прямо из коляски к вам.

— Вы невинны, Манштейн! Но злоба нападает равно и на вас, как на меня и Элизу. Вот, читайте!

Он подал мне газеты, вышедшие того числа, и показал припечатанное к ним объявление. «Вот оно, прочти сам», — Манштейн вынул из записной книжки листок, и я прочел следующее:

«Извещаю моих родственников, друзей и знакомых, что я намерен в непродолжительном времени сочетаться законным браком с девицею Элизою Зейбольд, единородною дочерью советника Зейбольда. *Манштейн*».

Не могу описать тебе тех чувств, которые вдруг наполнили душу мою, когда я прочитал эти строки. И теперь не могу без сильного волнения вспомнить об этой минуте. Я не думал о самом себе; одни только слова Зейбольда: «*О бедная моя Элиза*» горестно отзывались в моем сердце. Вся будущая моя жизнь представилась в эту минуту глазам моим. Я погрузился в мечты; Зейбольд смотрел на меня со вниманием.

— Читала ли этот листок Элиза? — спросил я наконец.

— Я нашел ее почти в отчаянии, когда возвратился нынче домой. Она бросилась ко мне на шею и тогда только заплакала в первый раз, но с этой минуты плачет беспрестанно и боится выйти из горницы, чтобы не увидели ее посторонние люди.

— О Боже, еще одно слово: известны ли вам чувства Элизы?

— Ни слова об этом, Манштейн!

— Известны ли они вам, спрашиваю (он не отвечал). По крайней мере, скажите, менее ли бы оскорбилось нежное чувство Элизы, когда бы не мое, а другое имя было здесь напечатано?

— Так, Манштейн, ваше имя, оно одно... Ах, бедная моя дочь! (Глаза его наполнились слезами).

— Почтенный, истинный друг мой, — сказал я решительно, — прошу вас быть спокойным, прошу вас успокоить Элизу. Завтрашний день мы увидимся опять. Нынче мне надобно действовать.

Я обнял его, спрятал в карман печатный листок. «Требую от Элизы, чтобы она имела ко мне доверенность», — сказал я и удалился.

Прихожу поспешно домой, одеваюсь, делаю нужные распоряжения и иду к камерпрезиденту. Никто не ожидал меня в этот день (тогда была среда, а по средам и субботам обыкновенно ужинал я у Зейбольда; в эти же дни и Отиллия или ездила с визитами, или принимала одних коротких знакомцев); к счастью, в этот раз она была

дома. Я не велел о себе докладывать. Приближаюсь к гостиной, слышу громкий хохот, отворяю двери, все утихло. Надобно было видеть, какое действие произвело мое нечаянное появление; все покраснели; место громкого смеха заступила принужденная веселость; первый предмет, поразивший глаза мои, *было* газетное объявление, лежавшее на столе, но я не успел еще осмотреться, как оно уже исчезло, Я подошел к Отилли и сказал ей, что не мог отказать себе в удовольствии увидеть ее в первую минуту возвращения моего в город; я был весел без всякой принужденности; во всех других, кроме Отилли, заметно было смущение: она одна, очень скоро пришедши в себя, казалась живою и столь же любезною, как и прежде, как и всегда. Но в эту минуту безразсудное ослепление мое исчезло. Я просидел около двух часов в этом обществе. Дамы, для которых принужденность сделалась наконец несносною, разъехались ранее обыкновенного. Встаю, начинаю прощаться, приглашаю Сальбека провести у меня остаток вечера: он начал было отговариваться, но Отилия бросила на него значительный взгляд, он согласился, и мы поехали вместе, Отилли, как я подозреваю, хотелось меня приготовить, узнать образ моих мыслей и потом, по всему этому, расположить свои поступки. Мы взялись с Сальбеком за руки; дорогою шутили, смеялись; наконец пришли к моему дому.

Остановившись у дверей моей горницы, я переменил тон, отпираю двери, говорю очень сухо Сальбеку: «Войдите»; вхожу за ним вслед; запираю двери на замок; не говоря ни слова, приближаюсь к столу; ставлю на него свечу: два пистолета, на нем лежавшие, сверкнули в глаза Сальбеку; останавливаюсь, смотрю на него сурово: он бледен, как полотно, и не может сказать мне ни слова.

— Государь мой, — спросил я твердым голосом, вынув из кармана газетный листок, — кто напечатал это объявление?

— Господин Манштейн, — отвечал он запинаясь и не подымая на меня глаз, — что за вопрос? По какому праву?

— По праву человека, обиженного бездельническим образом, по праву отмстителя за оскорбленную невинность!.. Отвечайте... (я взялся за пистолет)... кто напечатал это объявление?

— Успокойтесь, господин Манштейн! Не лучше ли говорить со мною дружески, без всяких угроз?.. Я буду отвечать... но прошу вас переменить положение!

— Согласен (я положил пистолет), но клянусь Богом, если не получу удовлетворительного изъяснения, то или я, или вы останетесь мертвым в этой горнице. (Он начал осматриваться, как будто желая найти выход.) Не беспокойтесь, господин Сальбек, я все придумал: двери

заперты; никто не может нам помешать, и на всякий случай стоит у крыльца моего оседланная лошадь, для вас или для меня. Говорите!..

— На что ж говорить о *том*, что вы уже угадали, как я по всему вижу!.. Я в этом участвовал, не хочу запираяться, но, право, с отвращением, и желая только угодить неотступной просьбе. Все это почитали невинною шуткою; хотели заставить вас скорее решиться; были уверены, что вы не рассердитесь и поспешите своею женитьбою опровергнуть ложное известие; я сам был уверен, что все насмешники в скором времени перейдут на вашу сторону...

— И для того-то не постыдились употребить во зло имя невинного, доброго творения, для которого жизнь потеряет всю *цену*, если не будет сопряжена с честью... Господин Сальбек, выбирайте: или сию же минуту напишете, что Отиллиа Герсдорф единственная изобретательница этого пасквиля, или бросим жребий, кому из нас первому стрелять, через этот стол, в другого...

Не входя ни в какие подробности, скажу тебе, что мужественный господин Сальбек, убежденный красноречием пистолета, написал и подписал требуемую мною бумагу. Я дал ему честное слово не показывать ее ни одному человеку, разве только в таком случае, когда Отиллиа вздумает опять нападать на меня или на Элизу. Мы простились.

О, как я был весел в эту минуту! Сладостное спокойствие растворяло мою душу; мне казалось, что я избавлен от тягостного очарования. Я чувствовал глубоко и сильно, сколь много был счастлив, избавя себя от сетей холодного и нечувствительного творения; и сколь бы много был несчастлив, когда бы с моею привязанностью к спокойной семейственной жизни и с полным моим сердцем приковал себя к такой женщине, которая привыкла к шумному свету¹, которая всему предпочитает искусство, остроумие и блеск наружный. Скоро изгладился последний остаток неприятного впечатления. Милый, священный образ Элизы явился оживотворенной моей душе, и я воскликнул в упоении радости: «Так, я ее люблю, и никого, кроме ее, не любил! И такое сердце мог я от себя отринуть, и такую любовь, непритворную, таящуюся от самой себя в глубине души, столь нежной, столь непорочной, я мог не разделить и не заметить! Она моя; она мой ангел-хранитель; мы неразлучны навеки!»

В чувстве сладостного уверения, что Элиза принадлежит мне, я позабыл совершенно, что еще не говорил ни с нею, ни с ее отцем, но согласие их казалось мне несомненным. В восторге своем написал я другое объявление; по сильной моей просьбе и за добрую плату напечатали его в том номере газеты, которому надлежало выйти на следующее утро. Вот оно: читай.

Он подал мне другой печатный листок, и я прочел следующее:

«Известие, напечатанное от моего имени 16 числа, по содержанию своему справедливо: Элиза Зейбольд моя невеста. Я подтверждаю его и прошу моих друзей принять участие в моей радости. Само по себе разумеется, что ложное объявление, вчера помещенное в газетах, писано человеком, желавшим сделать мне обиду, но он весьма обманулся в своем расчете. 17 Июля. *Манштейн*».

В эту же ночь написал я письмо к своему дяде, которого надобно было как можно скорее предупредить о перемене моих обстоятельств. Поутру очень рано принесли ко мне из типографии печатный листок. Бегу с ним к отцу моей Элизы. Он встретил меня с веселым лицом.

— Мы провели ночь не так беспокожно, как я думал. Два слова, которые сказал я от вашего имени Элизе, удивительное имели на нее влияние: она перестала плакать, а нынче и весела по-прежнему. Видите, как сильна доверенность к другу, сколь много она действует тогда, когда не знаем еще, что может он сделать для нашего успокоения!

Я обнял Зейбольда со слезами на глазах.

— Истинный друг мой, — сказал я, взявши его за руку, — вчера вы дали мне прочитать оскорбительную для вас статью в газетах. Вот другая. Смею ли надеяться, что вы не найдете в ней ничего для вас обидного? Я *был* уверен в Элизином и вашем согласии и для того позволил себе действовать, не предупредив вас заранее...

Я подал ему листок; он прочитал объявление и заплакал.

— Благодарю Тебя, Боже, — воскликнул он, смотря на небо, и руки его затрепетали. — Ах, Манштейн, — прибавил он, обняв меня с видом благородным, — я этого не ожидал, я этого не думал; мы были уверены, что ты помолвлен.

— Был помолвлен, — воскликнул я, — но сама невеста спасла меня от гибели! Вчерашнее объявление писано ею. Ведите меня к Элизе!

Оставляю тебе самому вообразить ту трогательную сцену, которая последовала за этим разговором. Элиза покраснела, но через несколько минут был уже в моих объятиях. Участь моя решилась.

От Зейбольда пошел я к министру; он обошелся со мною холодно. С твердым спокойствием уведомил я его о перемене моей судьбы; мало-помалу он сделался ласковее.

— Но вы сами чувствуете, — сказал он наконец, — что вам нельзя будет остаться при дворе. Я могу защитить вас против камерпрезидента, но ваши прежние сношения с Отиллиею! ... Надобно удалиться. Самому князю поступок ваш будет неприятен: он несколько раз говорил, что ему хотелось бы вас женить на девице Герсдорф, словом, теперь не может *быть* для вас никакой *дороги*.

— Об этом я очень мало сожалею, ваше сиятельство! Прошу только одного: будьте моим предстателем у дядюшки!

— Дядюшка ваш (отвечал этот почтенный человек) не может, а по обстоятельствам своим и не должен, по крайней мере для виду, одобрять вашей женитьбы. Я думаю, что ему на несколько времени должно будет разорвать с вами сношение. Что ж вы намерены начать?

— Я могу работать!

— Очень хорошо, и я готов вам помогать. Согласитесь ли, например, взять на себя должность лесного смотрителя в Эйхгольце?

— С великою радостью, ваше сиятельство! Могу вас уверить, что Его Светлость найдет во мне самого заботливого смотрителя!

Министр обнадежил меня, что я непременно получу это место; и в самом деле очень скоро исполнил свое обещание. С восторгом вступил я в должность простого смотрителя, хотя имел прежде в виду выгодное место обер-форшмейстера. Скоро получил я увольнение от двора. Князь говорил на *куртаге* о демократических правилах. Камерпрезидент отвечал Его Светлости тонкою улыбкою. Отилия была *весела* более обыкновенного. Сальбек, помня о пистолетах, грыз ногти. Я наслаждался истинным счастьем в объятиях моей Элизы.

Наконец мы торжественно распрощались с двором и городом, то есть разослали около ста карточек и уехали, не дождавшись визитов.

Мы переселились в этот земной рай, и я с каждым днем открываю какое-нибудь новое восхитительное качество в милой душе моей Элизы. Газетное объявление берегу я, как драгоценность. Наконец и последнее благо, которое нужно было для усовершенствования моего счастья, даровало мне милосердное Небо: дядюшка (самый добрейший человек на свете), сердившись на меня несколько времени, в самом деле, а не для виду, ибо ему казалось, что я от недоверчивости не предупредил его о своей женитьбе, возвращает мне свою дружбу; мы ждем его на сих днях. Он увидит, сколь много мы счастливы; ибо душа его способна чувствовать всю цену такого счастья. — Доволен ли ты моим романом?

ОТСТАВЛЕННЫЙ МИНИСТР И НИЩИЙ С ДЕРЕВЯННОЙ НОГОЮ

(Повесть)

Я был первым министром — звание блестящее, но по справедливости более приличное государю, нежели подданному. Государь единою властью своею, перед которою ничтожны все интриги придворных, единым своим могуществом, которому нет препоны, ограничивает тре-

бования, укореняет права, предупреждает зло и делает добро — какой первый министр имел или может иметь подобные преимущества? Зато много ли начтем и таких государей, которые, царствуя сами, не имели бы нужды в первых министрах или, по крайней мере, были бы довольно тверды характером, чтоб поселить в других уважение к тем людям, которых они удостоили своего выбора?

Я был уверен — когда меня сделали министром — что общее мнение согласовалось с выбором моего государя. Все покорствовало моей силе, и эту покорность почитал я знаком всеобщего уважения. Я наслаждался всем, что может питать суетность, гордость, любочестие, корыстолюбие в таком человеке, который не имел бы, подобно мне, ни знатности, ни связей, ни богатства: но вдруг придворная интрига, *тайная, хитро сплетенная клевета*, сбросила меня с высоты моего счастья; король, без всякого чувства благодарности, не рассмотрев истины, не сделав со мною никаких объяснений, лишил меня всех должностей и чинов, приказал мне оставить двор и жить безвыездно в одной из моих деревень, поблизости от столицы. Я видел намерения моих неприятелей: они не хотели, чтобы я совершенно удалялся от театра минувшей моей славы; они надеялись сделать меня свидетелем своего торжества и, так сказать, озарять блистанием новой своей фортуны ту мрачность, в которую низринуло меня их коварство.

Переворот моей судьбы — надобно признаться — причинил мне сильную горечь: я начал строго рассматривать свои поступки, желая узнать, от чего постигло меня такое несчастье; но я находил себя — как и все государственные люди, подверженные намерениям фортуны — со всех сторон невинным и достойным лучшего жребия; я упрекал короля неблагодарностью; удивлялся, что мое падение не потрясло его трона, и несколько времени ожидал, что нация, мне обязанная своим благоденствием и блеском, придет в волнение и вступится за мою славу — напрасная надежда! Меня забыли, в одну минуту, и родня, и знакомые, и самые те люди, которые мне одному обязаны были своим счастьем.

Такое всеобщее забвение, такая всеобщая неблагодарность произвели в сердце моем сильное негодование: я впал в меланхолию и занемог. Посылаю за городским своим доктором — он отказывается меня лечить, ибо он пользовал в то время моего преемника, который и в этом случае одержал надо мною верх. Призываю своего деревенского лекаря: он явился — добрый, простой человек, который не показывал ни излишнего ко мне равнодушия, ни излишней готовности к моим услугам. Он скоро заметил, что я страдал более сердцем, нежели телом, и начал лечить меня согласно с своим замечанием; не много найдем таких медиков, которые, подобно ему, умели бы прописывать рецепты

для болезней душевных; признаться, я и сам не надеялся, в своем положении, найти нежного утешителя, трогательную и осторожную дружбу, мудрость глубокую и даже приятную и, наконец, дарования, которые могли бы очаровать самое блестящее общество, в деревенском лекаре, никому неизвестном, ибо я никогда ничего подобного не находил в лекарях столичных, столь гордых своею ученостью и *практикою*: причина тому та, что мой добрый Вильс (имя его) отправлял свое ремесло из одной любви к человечеству — а господа столичные медики почитают своих больных одними только способами нажить деньги, с которыми после весьма нетрудно приобрести и славу. Как не верить тому эскулапу, который скачет к вам на двор в прекрасной новомодной карете и которого вынимает из нее лакей, одетый в богатую ливрею? И напротив, какую можно иметь доверенность к такому чудаку, который ходит пешком и весьма часто заглядывает в темную хижину, где страждет покинутый сирота или бедняк, разбитый параличом, которому он вместе с своими лекарствами дает иногда и свои деньги! Мой Вильс в то время, когда я был министром, имел выгодное место, но оно, по новому, изданному мною уставу, было упразднено, и его отрешили от должности без всякого вознаграждения. «Сожалею очень, — говорил я ему, — что вам оказана была такая несправедливость». «Вы не имеете причины об этом сожалеть, — отвечал он мне с большим равнодушием; — сельские священники не оставляли меня без дела: они отдавали на мои руки всех бедных больных своего прихода».

Таков человек, с которым я встретился по случаю: дружба его несравненно более украсила мою жизнь, нежели то величие, которого утрата едва не привела меня ко гробу. Этот человек был бы так же не у места в столице, как и первый министр в деревне, но соединившись, мы скоро заметили — он, что блеск высокого сана причиняет какое-то ослепление, которое прекращается в сумраке уединенной жизни; а я, что очень часто, во мраке неизвестности, скрываются от очей государя такие люди, которые прославили бы его царствование гораздо более, нежели празднолюбцы и льстецы, своими хитростями уловляющие его награды.

Сердце мое наслаждалось доверенностью к благородному Вильсу: разговоры мудреца были действительнее, нежели рецепты медика. Он скоро заставил меня забыть о потере фортуны, прилепивши душу мою к святым обязанностям сына, отца, супруга, благотворителя. Благодаря ему, познакомился я с новыми удовольствиями, ибо он возвратил меня самому себе и человечеству, от которого столько времени я отдален был совершенно — странное действие того обманчивого очарования, которое окружает людей государственных.

Я начал выздоравливать. Однажды, после прогулки в парке, вышел я на большую дорогу — вижу нищего — всматриваюсь в его лицо — оно показалось мне знакомым; и в самом деле этот нищий был сирота, которого за несколько лет представляли мне в этой же самой деревне. Тогда он был еще ребенок: его называли добрым, но укоряли в нерадении как о самом себе, так и о своей должности. Когда заставляли его работать, то вся деятельность его ограничивалась точным исполнением предписанного, если только он чувствовал себя в силах его исполнить; в противном случае никакие угрозы, никакие обещания наград не могли возбудить в нем желания трудиться: следствием такой врожденной беспечности было то, что он всегда оставался доволен малым и самым необходимым.

Я увидел его, одетого в матросское платье, с деревянною ногою, без левой руки, просящего милостыню на большой дороге. Вероятно, что я бы его не заметил, когда бы еще был первым министром: голова первого министра во всякое время наполнена великими идеями или обширными планами, но после того переворота, которым я был обязан моему доктору Вильсу, я чувствовал в себе сильное желание сказать этому бедняку несколько слов. Какой великий наставник несчастье! Великий и добрый для тех, которые умеют пользоваться его уроками. Я любопытен был узнать, какую судьбою этот старинный мой знакомец доведен был до такого плачевного состояния — подхожу к нему — не сказываю, кто я таков — обещаю ему помочь и требую, чтобы он рассказал мне свою историю. Он согласился и начал говорить следующее.

«Я родился в здешней округе; отец мой, бывши несколько времени в услужении сельского откупщика, умер, и я остался пяти лет. Матери своей не знал я никогда. Бедного сироту отдали в деревенский сиротский дом; по несчастью, отец мой не любил долго уживаться на одном месте, почему и не был причислен ни к какому приходу; и благодетельные мои прихожане, рассудив, может быть, что я не имею никакого права на их призрение и что я так же, как и покойный отец мой, не могу принадлежать ни к какому приходу, выключили меня из своего сиротского дома и переместили в другой — из этого перевели меня в третий — отсюда я выброшен в четвертый, где был и остался, по милости добрых людей, которые, как видно, всякого сироту почитали своим прихожанином. Я имел некоторые способности, но, правду сказать, совсем не любил учиться: мне бы хотелось выучиться вдруг и читать, и писать, и арифметике, но так как это дело невозможное, то я, возненавидя букварь и аспидную доску, принялся за кузнечное ремесло, которое казалось мне менее трудным; мне дали в руки молоток, и я целые десять лет стучал им по наковальне в кузнице. Меня кормили очень

хорошо: хозяин мой был добрый человек — небогатый, а потому и жалостливый — словом сказать, я был счастлив, нимало этого не подозревая, но мое счастье кончилось с жизнью доброго моего хозяина; он умер, оставив меня с горькою заботою доставать, как умею, насущный хлеб.

В самом деле, благодаря этому доброму человеку, я сделался, нечувствительно, и можно сказать, поневоле, хорошим ремесленником, но этого еще недостаточно для того, чтобы иметь пропитание: талант, и большой, и малый, не может питаться одною похвалою или славою. Главная обязанность моя покойнику состояла в том, что он уверил меня в необходимости трудолюбия. Отправляюсь в путь, чтобы найти себе дело и место; работаю, когда есть работа; сижу без хлеба, когда ее нет. Однажды, мучимый голодом (ибо я постился уже более двух дней), шел я через поле, принадлежавшее сельскому судье: на мое несчастье, выбеги заяц, а лукавый бес шепни мне на ухо: *убей его себе на обед!* Напрасно осторожность кричала мне на другое: *не трогай! Будешь плакать.* Тощий желудок глух, писано в книгах; я бросил палкою в зайца. Убил его наповал и побежал с поля, держа добычу свою под полою — но вот несчастье! Мне попался навстречу сам сельский судья, владетель поля; заячьи уши выставились как нарочно из-под полы моей: меня схватили как вора и хищника чужой дичины и начали делать мне строгий допрос о моем состоянии, образе жизни, семействе и прочее, и прочее. Сколько найдем таких храбрых людей, которые смело воюют с зайцами и дрожат, как осиновый лист, при взгляде на полицейского солдата! Я стоял на коленях и отвечал на все вопросы очень искренно, как будто на исповеди, но судья не имел причины верить такому человеку, который не имел пристанища и вдобавок украл у него зайца: ни слезы, ни просьбы мои не подействовали; меня представили в суд; юстиция, догадавшись, что я преступник (и в самом деле преступление! Быть бедным и умирать с голоду!), приговорила сослать меня в американские колонии. Таким образом, отправился я в *Лондон*, где поселился в *Невгате*¹ до первого благоприятного случая отправиться в Новый Свет.

Есть люди, которые невыгодно отзываются о тюрьмах; я удивляюсь этим людям. Я нигде не жил так весело, как в Невгате: в тюрьме, сказать правду, и ешь, и пьешь очень умеренно; зато не заботься о доставлении себе насущного хлеба; ленись, сколько угодно. Такая жизнь была для меня слишком приятна, почему и не могла продолжиться. По прошествии шести месяцев меня посадили на корабль с двумя- или тремя товарищами, которые так же, как и я, должны были образовывать себя несколько путешествием в Новый Свет. Более полутораста из них умерли дорогою: может быть, от того, что всех нас очень плотно

закупорили в тюрьме, где было нам также просторно, как сельдам в бочонке. Остальные, в том числе и я, доехали, как было угодно Богу. Нас высадили на берег и тотчас роздали по плантажам. Образованию моему надлежало продолжаться ровно семь лет.

По прошествии этого срока мне возвратили свободу: в сердце моем воскресла любовь к отечеству; я начал работать, чтобы скопить несколько денег, нужных для переезда в Европу. Вот я опять на море — путешествие наше оканчивается благополучно — выхожу на берег *Англии* — вижу опять свою милую родину — будучи один раз пойман как бродяга и рассудив, что такое счастье легко могло постигнуть меня и в другой раз, я предпочел городскую жизнь деревенской. В городе (так думал я) меня не увидят: там менее любопытных. Опять принялся я за работу; дела мои шли так порядочно, что очень редко случалось мне пообедать менее пяти раз в неделю. Я был доволен своею участью — вдруг все переменилось, и вот каким образом; однажды, около вечера, шел я по улице: откуда ни взялись два мошенника, хватают меня за ворот и тащат к полицейскому офицеру — я не имел денег, не мог представить за себя порук, и мне предложили на выбор служить Его Британскому Величеству или в сухопутной армии, или во флоте. Не знаю, что бы вы предпочли на моем месте, но я выбрал флот, может быть, потому, что уже был несколько знаком с морем. Ремесло матроса показалось мне благороднее солдатского; сверх того, будучи наказан по строгости законов за то, что я убил зайца, я находил забавным убивать людей, не опасаясь никакого наказания от правосудия. Я сделал две кампании во Фландрии; на сражении при Фонтенуа² ранили меня пулею в грудь: это безделица, говорил полковой лекарь, который, вырезывая из груди моей пулю, божился, что я буду жив и здоров по-прежнему — так и случилось.

Заключили мир, а мне дали отставку, но я ее не требовал, потому что рана моя, не совсем еще исцеленная, лишала меня средства работать и тем доставать пропитание. Один капитан корабля, находившийся в службе Ост-Индской компании и знавший, что я отличился на нескольких сражениях против французов, предложил мне перейти к нему: я того и желал. Опять записываюсь без всяких условий в матросы. Капитан меня полюбил: если бы я умел читать, писать и арифметике, то он непременно произвел бы меня в капралы, но судьба, по-видимому, не хотела, чтобы я возвысился, ибо она отказала мне как в твердости и постоянстве характера, без которых нельзя ничему научиться, так и в способности находить покровителей, которых защита по большей части заменяет и личные достоинства, и сведения. Трудности путешествия и климат до того расстроили мое здоровье, что я совершенно сделался неспособен к службе; наконец, по прошествии нескольких меся-

цев, отправляюсь из Мадраса в Англию, имея около пятидесяти фунтов стерлингов в кармане.

Во время путешествия мое здоровье совершенно исправилось. Я нетерпеливо желал скорее сойти на берег, чтобы воспользоваться маленькою своею фортуною, которую не имел намерения беречь для своих наследников. Но в это время начиналась война: правительство имело нужду в матросах. Меня перевели на другой корабль; таким образом, я не имел времени и поглядеть на милые берега Англии.

Шкипер, человек грубый и вспыльчивый, никак не хотел верить, чтобы я имел расстроенное здоровье: он думал, что я от лености называю себя бессильным, и рассудил с помощью палок обратить меня в Геркулеса. Но его заклинания были не совсем действительны: я никогда не имел способности к морской службе, за то и били меня как невозможно лучше и чаще: таким образом, все дела шли порядком. Я не печалился, ибо мне давали хорошее жалованье, почему я и не имел нужды прикасаться к моему капиталу, к моим любезным пятидесяти фунтам стерлингов; помышление об них служило мне вместо целительного бальзама: я очень любил их рассматривать, считать, чистить и иногда целовать; но и этого счастья захотела меня лишить неприятная судьба: наше судно встретилось с французским кораблем: меня избавили от шкиперовых палок, но в то же время лишили и милых пятидесяти фунтов стерлингов.

Экипаж отведен был в Брест. Многие из товарищей моих померли, я думаю, оттого, что им показалось скучно в тюрьме; а я, с некоторыми, остался жив, потому, вероятно, что давно уже был привычен к тюремной жизни. Но я оставил тюрьму гораздо прежде, нежели думал; вот как это случилось. Однажды ночью — я спал глубоким сном, завернувшись в теплое одеяло (спать в тепле почитал я всегда одним из лучших удовольствий в жизни) — приходит ко мне мой добрый шкипер, с потаенным фонарем в руках, и за ним десятка три наших матросов — он будит меня — вскакиваю, протираю глаза — мне говорят: *“Джон! Помоги нам перестрелять часовых!”* — *“Готов!”* — отвечаю спросонья, — эти люди отняли у меня мои деньги: я рад с ними переведаться. *“Иди ж за нами, — шепнул шкипер, — надеюсь, что нам удастся!”* — Сказано, сделано — мы уже в походе!

Приближаемся к дверям, связываем часовых, угрожая им смертью, если они крикнут: вбегаем в караульню — и прямо к ружьям — караульные вскакивают: их было двадцать, а нас только шесть, несмотря на то, мы одержали верх. Бежим опрометью к берегу, бросаемся в первую попавшуюся нам шляпку — отчаливаем — и вот уже мы в открытом море. Наше плавание продолжалось более трех дней, запас начинал истощаться; но Бог послал нам навстречу английского капера³

“Поллукса” — мы приняты с восклицанием; нам предлагают остаться на корабле, и мы, как сумасшедшие, соглашаемся на это предложение. На другой день встречается с нами французский капер “Паллада” с двенадцатью пушками, хотя он был двадцатичетырехпушечный; у нас всего на все было только осмнадцать пушек; мы дрались, как отчаянные; “Паллада” непременно была бы нашею добычею, когда бы не вздумалось ей сделать нас своею. В этом сражении потерял я одну руку и еще одну ногу: кровь бежала из меня ручьями. Начальник капера был человек великодушный. Он дал нам своего лекаря (потому что наш был убит), и этот добрый человек очень искусно возвратил мне одну только жизнь.

Таким образом, я опять во власти французов — и вы согласитесь, что после тех церемоний, с какими, за месяц перед тем, я выехал из Бреста, мне очень позволено было не желать в него возвратиться: а наша победительная “Паллада” плыла прямою дорогою в Брест. Сказать правду, мне оставалось терять весьма немного, но если безрукий, подагрик, разбитый параличом весьма неохотно отстают от жизни, то для чего же было и мне, у которого, по милости Божьей, оставалась еще одна целая нога и одна целая рука, не желать пожить на свете? Добрый Гений избавил нас от опасности, нам угрожавшей: “Паллада”, в свою очередь, встретилась с “Альфредом”, другим английским капером — нас отбили — и я опять в Англии.

Теперь, благодаря моей деревяшке, не опасаюсь, чтобы опять записали меня в военную службу, но вот несчастье: на меня очень часто нападает голод; он хочет отнять у меня и последние остатки той жизни, с которою прошел я сквозь огонь и воду. Несмотря, однако, на горячую необходимость, которая принуждает меня ковылять без ноги по большим дорогам и выпрашивать пропитание от жалостливого сердца проходящих, которые, надобно признаться, бывают нередко так же бедны состраданием, как и гинеями, грех пожаловаться на судьбу! Я здоров, весел, люблю свое отечество — чего ж мне более? Да здравствует свобода и Англия!»

Он бросил шляпу вверх и хотел удалиться, но я его удержал; его веселость и спокойствие духа удивляли меня и трогали; я счел за должность облегчить его жребий. «Друг мой! — сказал я ему. — Ты встретился теперь с человеком, богатым и состраданием, и гинеями. Я господин твоей деревни и не хочу иметь нищих в своем владении. Приходи завтра поутру в мой замок: я постараюсь дать тебе способ поправить свое состояние.

Он поцеловал мою руку, опять бросил шляпу вверх, воскликнул: *«Да здравствует свобода, добрые люди и Англия!»* и удалился. Я долго следовал

за ним глазами. Этот человек показался мне живым уроком, которым Провидение хотело просветить мою душу. Чего лишила меня судьба, подумал я, смотря на свой замок. Мечтательного блага, которому в одном только ослеплении своем я мог полагать высокую цену — и горесть едва не отравила моего сердца. А этот человек почти ежедневно встречает несчастья истинные, но он не жалуется на Небо; напротив, подумаешь, что он благодарит Провидение за то, что Оно не сделало его еще гораздо несчастнее. Кто же из нас двоих ближе к мудрости? Не стыдно ли мне уступать этому бедняку в твердости духа? Отныне он будет моим примером!

Знатные люди видят и понимают одних только знатных: и мне самому надлежало унизиться, чтобы найти и распознать человека. Люди низкие, напротив, излишне забывают, что они люди, и именуют высоких людей какими-то неприступными божествами, от которых не смеют ожидать ни благотворительности, ни участия в их бедственном жребии. Когда бы и те, и другие могли привести это мнение в настоящую его меру; когда бы они теснее могли между собою сообщаться, то я уверен, что из сего соединения произошла бы ощутительная польза для тех и для других: низкие, короче знаемые и, следовательно, ценимые выше, всегда находили бы заступников высших, а их образ жизни и чувствования для знатных, конечно, наставительнее многих уроков Эпиктета или Сенеки. Но те и другие не имеют между собою никакой связи: это есть следствие обоюдного их ослепления.

Но благодаря доктору Вильсу и нищему с деревянною ногою, ослепление мое миновалось. Я расположил остаток жизни своей по тем благодетельным правилам, которыми они меня просветили. Я осмотрел все свои земли, начал входить в обстоятельства моих поселян, поддерживать промышленность, занимать праздных; дал бедным старикам верное убежище, а молодых велел воспитывать соответственно их назначению и состоянию их родителей.

Мой хромоногий знакомец женился, был счастлив в своем семействе, а дети его сделались хорошими ремесленниками и добрыми гражданами, ибо они обеспечены были от недостатка в главных потребностях жизни.

А я узнал на опыте, что можно быть весьма полезным своему отечеству, делая добро в неизвестности, и что в ограниченном состоянии, которое приближает нас к человечеству, едва ли не более способов делать добро, нежели на той высокой степени, которая отделяет нас от нам подобных.

(С французского)

ЭГОИСТ

(ПОВЕСТЬ ПРИНЦА ДЕ ЛИНЯ)

Граф Бонваль и думал, и действовал, и жил для одного только себя: как же иначе? Он имел порядочный доход; был знатен; фортуна избавила его от необходимости быть или обманутым, или обманщиком, или ласкателем, или игрою ласкателя; или кланяться другим, или видеть вокруг себя многое множество низкопоклонных просителей. В доме отца своего имел он случай, еще прежде вступления в свет, хорошо познакомиться с людьми. — «Я мог бы их ненавидеть, — говорил он, — ибо я находил везде одних неблагодарных; видел множество злых, еще более глупцов и порядочное количество самохвалов, тщеславных, лицемеров и прочее. А женщины!..» Но из того, что говорил он о женщинах, могла бы составлена быть толстая книга: он только смеялся, вычисляя женские добродетели, и смеялся потому, что был эгоист. Этот же самый эгоизм препятствовал ему долго останавливать свое внимание на тех лицах, которые принадлежали к какому-нибудь из вышеозначенных классов людей. «Какая нужда, — говорил он, — наполнять мне сердце свое чувствами неприятными? Я эгоист!»

Отец оставил ему порядочное имение; на двадцать пятом году переселился он в деревню.

Сначала возобновил он в своей памяти все то, что читал и видел. Получив хорошее воспитание, он умел и мыслить, и писать, и все его утро посвящено было собственному упражнению, потому что он был эгоист. Он начал учиться медицине и много заниматься юриспруденцией, не желая иметь нужды в лекарях и юристах: одни, утверждал он, морят своих ближних, другие их разоряют.

Он говорил: «Я эгоист, следовательно, философ. Другой сказал бы: «Я философ, потому что эгоист!» Но это великая разница!»

Иногда перед крыльцом отца своего случалось ему видеть нищих, одетых в жалкое рубище: это препятствовало ему находить полное удовольствие в тех пышных праздниках, которыми отец его забавлял своих соседей. «Я никогда не стану давать праздников, — так думал он, — но также и не хочу встречаться с людьми, которых лицо, болезненный вид и бедная одежда могли бы меня расстроить». Что же он сделал? Раздал по деревням своим несколько денег и несколько рецептов. «Я охотник строиться (рассуждал он еще): надобно выдумать небольшой, прекрасный домик, похожий на Сократов!; он будет прибран очень просто, но опрятно; построен на лугу, под тенью старых дубов, на берегу прозрачного и быстрого ручья; старушки будут сидеть за пряжею; старики и дети работать для виду, то есть иногда носить кирпич и землю; моло-

дые девушки петь, вязать чулки, сеять и садить цветы — а все, не слишком слабые и не слишком большие, рассаживать группами душистые деревья или выкапывать каналы для моего ручья, который непременно должен бежать излучинами по всему моему лугу. Молодые девушки будут в сухое время поливать дерн, а молодые мужчины его укатывать: это моя роскошь. Сверх того в деревне моей открылся теплый ключ: хочу построить купальню для отставных солдат, изувеченных на войне — я не люблю отвратительных зрелищ — и при ней маленькую казарму, дешевую, простой, деревенской, но самой приятной архитектуры; от этой казармы в нескольких шагах будет находиться больница из необтесанного камня, с деревянными колоннами, с соломенной крышкою — это необходимо для того, чтобы я не мог видеть больных, которые должны приходиться к теплому ключу только в то время, когда я буду еще спать. Я не люблю уродов, разве только таких, которые изувечены ружейным выстрелом. Я эгоист!»

Не знаю, что говорил граф Бонваль с своими садовницами; но они часто смеялись и вечно пели. В доме его была одна только повариха и один слуга, одна лошадь и один конюх, и этот последний превращался в скорохода, как скоро его сиятельство садился на коня; но все, и лошадь, и слуга, и повариха, и конюх казались весьма довольными своею участью. В часы отдохновения граф Бонваль заставлял слугу своего читать вслух разные повести о шутках, о глупостях, о хитрых обманах, о простодушии добрых людей, и такие забавные, что громкий хохот слушателей раздавался за четверть мили.

«Полно разговаривать с садовницами: я уже довольно образован; поселяне мои все здоровы; хочу жениться — мне тридцать лет». Так говорил граф Бонваль. Крестьяне его каждое воскресенье ходили к обедне и один раз в шесть месяцев на исповедь: они всегда получали отпущение грехов, ибо грехи их были самые невинные. Священник прекрасно служил обедню, очень порядочно играл в шахматы, но худо сочинял проповеди; зато граф Бонваль писал прекрасные наставления о должностях христианских и любви к ближнему, а священник, имевший звонкий голос и хорошую память, прекрасно декламировал их с высокой кафедры.

За графа сватали двух невест — одна, дочь знатного человека, могла бы открыть ему дорогу к важным чинам; другая, наследница разбогатевшего мещанина, принесла бы ему несколько миллионов в приданое. «Не возьму ни той, ни другой, — сказал граф Бонваль. — Я эгоист!» «Отдайте свои деньги в процент: вы можете удвоить свои доходы». «Не отдам, — отвечал граф Бонваль, — я эгоист: хочу лишить себя половины имения, чтобы иметь жену и детей».

Говорили: этот человек слишком много учился, но он не имеет здоровой логики и худо толкует слова. Философы считали его *своим*. Вы не живете для одного себя, говорили они ему, вы живете, по-видимому, для других. «Это правда, — отвечал им граф, — живу для других, потому что я эгоист».

Это имя, которым он славился, имя, ненавистное для всех так называемых мудрецов, сделало его неприятелем всех добродетельных людей, которые, придавши анафеме секту философов, были уверены, что нет ничего на свете ужаснее эгоизма. При дворе, где судят только по словам и по слуху, бранили без милости нашего эгоиста; не было ни одного придворного, который не называл бы его человеком ужасным, вредным, достойным виселицы или ссылки. Но как, по несчастию, не удалось еще ему сделать ничего такого, за что бы можно было наградить его петлею, то и позволяли ему очень спокойно вести обыкновенный образ жизни, а наконец и совсем его забыли, как будто бы он в самом деле оказал великие услуги отечеству — в войне победами или в мирное время искусными переговорами.

Но один из придворных, вспомнив об нем при случае, спросил, огорчен ли граф Бонваль тем, что сказано об нем государю, и тем, что думает об нем государь. «Он смеется», — отвечали любопытному. «Новый порок! Этот человек не имеет чувства!»

Граф Бонваль вспомнил, что он когда-то встретился с приятною, осьмнадцатилетнею девушкою, дочерью отставного полковника, его соседа, человека уединенного. Он приказал спросить у нее, согласится ли она быть его женою. Она согласилась. Священник благословил супругов и прочитал им проповедь, сочиненную им самим и только переправленную графом Бонвалем. Молодые садовницы плясали к свадьбе с молодыми солдатами, которые начинали понемногу собирать растерянные свои члены; а старые пели песни, может быть, слишком веселые для их лет.

Графиня смотрела за молодыми садовницами, а отец ее не давал лениться молодым работникам. Она получила хорошее воспитание, и слушать ее разговоры было отдохновением для графа. Когда удавалось ему сделать что-нибудь доброе, то узнавали об этом по его веселому виду.

— Какое счастье не быть эгоистом! — восклицал тесть.

— Прошу меня извинить, — отвечал граф, — я эгоист!

— Не верю! Разве не знаете, как растолковано слово эгоист в лексиконе?

— Какое мне дело до вашего лексикона! Я имею свой; не ищите во мне добродетелей, я эгоист! Я делаю добро для себя, и если пользу-

ются им другие, то это всё для меня же. Итак, не трудитесь быть благодарными, если вам в моем доме лучше, нежели в каком-нибудь другом месте. На что увеличивать вещи? Добродетели, соединенные с пожертвованием или борьбою, мучительны. Думай о себе и тогда не захочешь иметь перед глазами ни бедности, ни страдания, иначе ты будешь собственным своим неприятелем!

— Но государь мой, значение слова эгоист!

— Но государь мой, слово эгоист значит личность; а я имею собственную, как видите сами.

Графиня два или три раза была беременною, и граф, человек весьма бережливый, никогда не тратил денег на акушеров и лекарей; он сам был порядочный медик; он даже умел изрядно бросать кровь. Благодаря эгоизму, удвоил он в несколько лет свои доходы: ибо, делая добро своим крестьянам, он, можно сказать, отдавал деньги в процент; они работали на него лучше, нежели их соседи на своих господ, которые, желая быть эгоистами, не имели чести быть ими: их обманывали, и они обманывались, потому что сами хотели обманывать... Эти господа были сухи, мрачны, заботливы, заняты собою и без причины; а граф Бонваль был весел, здоров, имел полное и свежее лицо, глаза блестящие, сердце его было спокойно — и все от того, что он был эгоист.

— Боже мой! — сказала ему однажды графиня, — как испугали меня этим именем! Или вы не эгоист, или я не знаю, что говорю!

— Я эгоист, — отвечал граф, — а вы очень хорошо знаете, что говорите. Но мой лексикон не во всем сходствует с вашим. Иногда называют добродетелью то, что не есть добродетель... Например, верность жены.

— Всегда необходима для ее счастья.

— Благодетельность!

— Потребность души!

— Дружба!

— Кто ж захочет быть одиноким!

— Мужество!

— Кому весело потерять честь!

— Любовь к истине!

— Разве не хотите, чтобы вам верили?

— Справедливость!

— Нужна для спокойствия совести.

— Любовь к ближнему!

— Желайте ему добра и делайте ему добро, если имеете способы: вот вся любовь к ближнему! Но любить можно только того, в ком уверен; иначе добродетель была бы простотою, а добродетель, между нами сказать, весьма не худое дело. Например, вы говорите: надобно про-

щать обиды. Я согласен, что это добродетель; но я, с своей стороны, забываю обиды. Мщение мне противно: я не могу ни мстить, ни прощать. Сперва полюбил я вас по склонности сердца; после начал любить, потому что узнал вас коротко; а теперь люблю, ибо желаю вашего счастья для моего собственного — и все это от того, что я эгоист.

Этот же эгоизм был причиною и скупости графа Бонваля: он не имел управителя, зато имел обыкновение похищать некоторую часть из собственных доходов своих, как должно истинному управителю: например, возобновляя условие с откупщиками или отдавая в наймы свою купальню, он говорил: «Столько-то денег потребовал бы с меня стряпчий: я имею право отложить такую же сумму в запасную шкатулку. Столько бы надобно было мне ежегодно платить моему лекарю, если бы я сам не умел лечить, столько акушеру, столько учителю, когда бы я сам не был учителем своих детей — все эти деньги принадлежат шкатулке». Так поступал он во время малолетства детей своих, но когда они пришли в возраст, то есть, когда старшему сыну было уже тринадцать лет, а младшему двенадцать, то и сохранную шкатулку, которую прежде изредка отпирали, чтобы выдать замуж молодую садовницу или угостить на лугу поселян обедом, заперли на замок, и она уже более не отворялась.

«Какой пример всех пороков подает детям своим граф Бонваль!» — говорили все, и знакомые, и незнакомые нашего эгоиста. — Какой он ужасный скупец!» Одним словом, граф Бонваль был очень замаран в свете — старайтесь после этого заслужить доброе имя! Уважайте людское мнение! Но граф Бонваль и не думал о том, что думали об его характере: он смеялся! «Новый порок, — говорили светские люди, — он нечувствителен, он не дорожит честью». Но что бы сказали, желаю знать, если бы он поступал совсем иначе? «Он вверяет детей своих наемникам; он никогда их не видит; он не знает цены деньгам; он хочет казаться чувствительным; он всем надоедает своим знакомством; он *филантроп* — надобно его остерегаться!»

Дети графа Бонваля росли не по годам, а по часам — они были так счастливы! Дышали таким здоровым воздухом! Мать их была так довольна своею участью! Около их все было так спокойно, все прыгало и пело! Граф не принимал на себя труда быть веселым, но он хотел, чтобы другие веселились для его забавы.

Записав детей своих в военную службу, он им сказал: «Будьте храбры, мои друзья, и любите более всего справедливость! Поступая иначе, вы огорчите меня, а я не люблю огорчения. Бог с вами! Поезжайте в полк». И тот, и другой были красавцы: их принимали везде очень хорошо, но все кричали: «Это дети эгоиста! Следовательно, эгоизм — дурное дело!» — говорили они друг другу.

Прекрасная девушка, с нежным голосом, игравшая роли *Агнес* на театре того провинциального городка, в котором находился полк наших графов, вздумала уверить младшего, что она любит его страстно — и он поверил. «Добрая Жюльета, — говорил он в своем восторге, — как нежно ее сердце! Как она умеет любить!» Он скоро заметил, что директор театра давал очень малое жалованье, и рассудил его утратить. Жюльета имела небольшие прихоти, например, она любила прекрасные шали, золотые цепочки, кружева, алмазы; молодой граф входил в долги, чтобы удовлетворять прихотям Жюльеты. Можно ли жить для одного себя, думал он, назовут эгоистом!

Брат его, старший граф Бонваль, встретился на улице с офицером, который показался ему необыкновенно печальным. «Что с тобою сделалось?» — спросил он. «Проигрался!» «Вот сто червонцев!» Офицер взял деньги, и через четверть часа были они проиграны. Другой из его товарищей продал ему дурную лошадь за тройную цену: это я принужден сделать, говорил он, от того, что родные давно не присылали мне денег. «Он прав! — подумал молодой Бонваль, — и я также! Не надобно жить для одного себя; хорошо быть полезным и для других».

Отец, не употребляя шпионов, знал очень хорошо, что делали его дети. Он подослал к ним одного своего соседа, их знакомого. Этот человек должен был назвать себя разоренным и просить у них помощи. Он очень хорошо сыграл свою роль: и тот, и другой были добросердечны, расплакались, стали искать денег, нигде не могли найти, пришли в отчаяние. Притворный бедняк, увидя их горесть, бросился к ним на шею и сказал: «Друзья мои! Не огорчайтесь, я вас обманул! Ваш батюшка должен был заплатить мне порядочную сумму за то, чтобы я притворился на время нищим, ибо я его ученик в эгоизме. Вот две тысячи червонцев, которые он вам дарит, чтобы научить вас быть несколько эгоистами». Все трое плакали, все трое смеялись, и за ужином все трое напились допьяна за здоровье доброго отца; бранили, целовали, били милого обманщика и наконец дали ему слово исправиться.

И в самом деле, они жили несколько времени очень порядочно: и великодушные, и любовь стоили им очень дешево; в одном только случае отступили они от правила бережливости: старший дал сто червонцев молодой девушке, которая, для прокормления своей бедной семьи, хотела выйти замуж за старого уроды; а младший отдал половину всех денег своих одному из офицеров, который имел несчастье убить на дуэли своего соперника и принужден был спасаться бегством.

И граф, и графиня радовались своею жизнью: деревня их, сады, садовники и садовницы — все расцветало и веселилось. Все, окружавшие их, были счастливы; соседи не знали, что думать об эгоисте. Уже

не казался он им человеком ужасным; не будучи основателем секты (что очень опасно даже и в добре), он имел многих учеников: всякий возвращался от него и веселее, и довольнее; мнения его признавали софизмами, парадоксами; толковали их криво и косо; так называемые беспристрастные люди пожимали плечами, а те, которые более всего любили свои выгоды, говорили: «Мы знаем свою пользу и хотим подражать графу Бонвалю».

Дети его отличились на многих сражениях: они были человеколюбивы, мужественны, великодушны; их уважали и любили. Многие догадывались, что отец их, при всех ужасных своих правилах, дал им хорошее воспитание.

Правду сказать, они менее занимались метафизическим рассмотрением понятия о добре и зле, нежели он; но они делали добро по чувству и привычке. Натура дала им прекрасную душу. Узнавши на опыте, что можно жить для других только тогда, когда умеешь жить для себя, они разливали вокруг себя счастье: оказывали уважение и подавали помощь старым солдатам; были наставниками молодых, исцелителями раненых, и желая быть довольными собою, исполняли как нельзя лучше обязанности своего звания.

Если они не будут довольствоваться теперешним своим жалованьем и теми деньгами, которые дает им отец (говорил граф Бонваль), то со временем и жалованье фельдмаршала будет для них недостаточно.

Но вот беда: честолюбие расстроило голову и обстоятельства одного, а философия свела с ума другого; к ним присоединились любовь и супружество: четыре несчастья, вышедшие из Пандорина ящика. Одна великая принцесса, дочь какого-то маленького владетельного князя, пленилась старшим графом, и он, в свою очередь, пленился ею, а слава быть мужем великой принцессы и, следственно, зятем маленького владетельного принца, вскружила ему голову. Но тесть лишил свою дочь наследства, а зятю своему приказал в двадцать четыре часа выехать за границу маленького княжества — но это приказание исполнено было менее, нежели в пять часов. Любовь наших любовников усилилась от несчастий, зато хозяйство шло очень худо. Великая принцесса продала все, что удалось ей унести из родительского дома, оставив у себя одну только шубу, которую принуждена была носить целое лето, не имея другого убора; шуба изнасилась к началу зимы, и принцесса принуждена была в трескучие морозы надеть на себя кисейное платье, которое купила по случаю за два флорина. Не взирая на эти маленькие неприятности, супруги жили порядочно; они могли кормиться, покупая съестные припасы в долг, а это главное, когда мы хотим быть и здоровы, и веселы.

Младший, который, по-видимому, вообразил, что любовь есть пламя неугасимое и жребий неизбежный, и не подумал противиться своей привязанности к одному приятному личику, привязанности, которая показалась ему полною страстию. Едва позволил он себе спросить, кому принадлежали те пламенные глаза, которые зажгли такой пожар в его сердце; едва он дал себе время узнать, что победительница его была дочь мещанина, которая просто носила на рынок продавать вишни. «Очень хорошо! — сказал он, — чем более между нами неравенства, тем более доказательств моей бескорыстной любви». Он сочинил дурные стихи на глаза и вишни своей торговки: мать назвала их сумасшедшими; он написал другие на одни только вишни: отцу показалось, что они слишком вольны. Но маленькая торговка, которая очень часто посещала одну пирожницу, свою соседку и подругу, разбирая иногда от скуки обвертки сладких пирожков, находила между ими нежные песни, элегии, мадригалы, умела ценить поэзию и радовалась, что молодой граф сравнивал ее с гвоздикой, розою, незабудкою, персиком; одно только было ей несколько непонятно: для чего в нежных своих стихах упоминал о терниях. «Милая непорочность! — воскликнул граф. — Жребий брошен! Она будет моею». Один молодой священник, восхищенный милостью и вишнями прекрасной торговки, согласился их обвенчать, а мать и отец указали им двери.

Таким образом младший граф Бонваль был несколько суток в восхищении от великодушной жертвы, принесенной им философии; он наговорил много сумасбродного о прямом благородстве, о равенстве состояний и праве, о любви, которая одна дает истинное счастье — но тесть и теща, имея другого рода правила и рассудив, что возвышаться значило себя унижать, вздумали с ним поссориться и так расстроили их кредит, что ни один двоюродный брат и ни одна двоюродная сестра не давали новобрачным в долг тех безделиц, которые были нужны для их пропитания. Шутка ли, умирая от любви, умирать и с голоду!

Бонваль-отец, узнавши, что невестка его, принцесса, в жестоком насморке и что невестка его Лизета начинает худеть, поспешил к ним на помощь. Это расстроило несколько его намерения. Та тысяча червонцев, которую он принужден был дать каждому сыну своему на свадьбу, отложена была в запасную шкатулку и назначена для отделки канала, который украсил бы его сад и, между тем, доставил бы ему великий доход: извиваясь по лугу, покрытому стадами, и орошая тенистые рощи, он соединил бы его владения с морем.

Узнавши о женитьбе своих детей, он сперва пожал плечами, потом засмеялся; услышав, что они терпят голод и холод, он топнул три раза ногою, воскликнул: «Какая досада!» Потом опять засмеялся. «Тем

лучше! — сказал он наконец, — семейство мое умножилось двумя дочерьми; они сделают меня счастливым, потому что я сам намерен составить их счастье». Знакомые и незнакомые говорили в один голос: «Как жаль, что его дети эгоисты!», ибо это имя все еще неприятным образом отзывалось в ушах, но как же удивились знакомые и незнакомые, когда оба графа, один с своею принцессою, другой с своею торговкою явились опять в свет, как будто бы с ними ничто не случилось, и когда отец великодушно простил им — одному то, что он взобрался слишком высоко, а другому то, что он опустился слишком низко!

«Он сумасшедший, — возопили знакомые и незнакомые, — он поступает несходно с своими правилами; он не довольствуется собственными пороками, он оправдывает и укореняет чужие. Для чего не посадил он детей своих в желтый дом?» Один из его откупщиков, желая избавиться себя от платежа денег, завел с ним тяжбу, сочинил ложное условие, подписался под его руку — граф Бонваль велел его отыскать; доказал ему, что он бездельник, и убедивши его своим красноречием взять просьбу свою назад, возобновил с ним прежнее условие и не захотел его сделать несчастным. «Мог ли бы я найти какое-нибудь утешение в горести и разорении целого семейства? — думал он, — я был великодушен для собственного моего спокойствия».

Впрочем, не должно воображать, чтоб граф Бонваль не умел поддерживать права помещика. Один из ближайших соседей его действовал совсем иначе: войдя во владение деревень, им купленных и смежных с графскими, он уступил все свои права крестьянам; он называл себя философом и *филантропом*. «Какая разница между этим человеком и эгоистом!» — говорили знакомые и незнакомые. Правда и то, что этот человек, при всей любви своей к человечеству и справедливости, богател один и разорял своих свободных крестьян. Он не прощал ни малейшей вины и строго взыскивал все недоимки; крестьяне его могли лениться, сколько хотели, могли шататься из трактира в трактир, могли входить в большие долги и даже могли для уплаты их продавать помещику за бесценок и дома свои, и скотину — все это было очень согласно с правилами *филантропии*.

«Любя человечество, — говорил он, — я должен не упущать без наказания ни малейшего проступка». Свобода и равенство сделали мало-помалу то, что каждый начал метаться не в свое дело, а это разорило республику. Филантроп, имея более других денег, скупил у республиканцев последнее их имущество и оставил им пользоваться одними правами ходить с нищенскою сумою по большим дорогам.

Сад эгоиста час от часу становился лучше, а сад философа был не иное что, как маленькая роща, и посреди ее бюст Ж.-Ж. Руссо. Надобно

иметь самое жестокое сердце, чтобы заставлять своих братьев копать в ужасные жары землю. Братья эгоиста работали в поте лица — это правда; зато они хорошо были накормлены, пили прекрасное вино и приходили в больницу его лечиться, когда случалось им занемочь. Братья философа читали, писали, делали опыты экономические по журналам — и при всем том умирали с голоду.

Правительство, узнавши о притеснениях доброго помещика, о некотором чудовище, известном под именем эгоиста, о разорении нескольких деревень, захотели исправить сие злоупотребление. В доме друга людей является комиссар. «Очень радуюсь, что вижу своими глазами плоды эгоизма, — говорит он. — Государь мой, требую от вас именем правительства отчета в ваших поступках!» «Вы ошибаетесь! Не меня зовут эгоистом, это мой сосед Бонваль. Я друг человечества».

Комиссар начал расспрашивать. «Так точно, — отвечали ему, — этого человека называют другом людей». «Где же деревня эгоиста?» «Вот она». «Я, верно, найду в ней толпу несчастных». Он скачет к графу Бонвалю. Подъезжает к его деревне, видит прекрасные хижины, светлые, опрятные и веселые, и посреди их на зеленом лугу дом помещика. В один этаж, самой приятной архитектуры. Перед ним обширная площадь с четырьмя прекрасными фонтанами, каждый окружен густыми липами. «Здесь живут счастливые и веселые люди, — подумал комиссар. — Далеко ли до деревни эгоиста?» Ему никто не умел отвечать, ибо никто не знал, что такое эгоист: ни один из веселых поселян не умел ни читать, ни писать. «Мы не знаем господина эгоиста, — отвечали они комиссару, — конечно, это иностранец». «Как фамилия вашего помещика?» «Мы не имеем помещика, у нас есть добрый отец. Неподалеку от этой деревни есть господин, у которого множество братьев, умирающих с голоду; наш господин, напротив, имеет не братьев, а детей, которые все очень веселы и сыты. Имя его граф Бонваль».

Комиссар изумился. Бонвалем называли и того эгоиста, который представлен ему был как ужасное чудовище. Он не осмелился показать ему на глаза и поскакал назад, чтобы отдать правительству верный отчет во всем том, что он слышал и видел.

Друг человечества, которого все подданные рассудили променять свободу свою на ужасные налоги, обременявшие крестьян эгоиста, скоро совсем лишился способов удовлетворять благородной потребности своего сердца — корыстолюбию — и богатеть на счет бедных. Он поселился в городе и начал наживать деньги, описывая наслаждения сельской жизни и счастье поселян, принадлежащих филантропу, который умеет ценить свободу и права человечества.

Но счастье может ли продолжаться вечно? Сыновья графа Бонваля имели много успеха в службе; они всякие три месяца посещали один раз своего доброго отца вместе с принцессою, торговкою и двумя здоровыми внуками. Наконец поспел и канал — и граф был счастливейшим человеком в мире, ибо около десяти квадратных миль населяли такие люди, которые своим счастьем были ему обязаны. Он занимался всем, как я уже говорил. Наконец захотелось ему быть и капитаном собственного своего корабля. В один прекрасный день прогуливался он по морю с сыновьями, невестками и внуками — поднялась ужасная буря: это расстроило несколько праздник на палубе. Капитан бросил якорь, но его сорвало сильным ветром; он расчел, что ему одному известно было то место, где находилась свая, им самим вбитая, с большим кольцом для корабельного каната. «Я умею плавать, — сказал он самому себе. — И что же могу я делать один на свете, если все милое моему сердцу погибнет! С Богом!» Он бросается в море, борется с волнами, спешит привязать корабельный канат к кольцу, которое один только он мог найти под водою; привязывает. Но сам выбивается из сил, видит неизбежную погибель, посылает из глубины волн последнее благословение жене, детям и внукам, и утешая себя мыслью, что смерть избавляет его, может быть, от ужаса быть свидетелем какого-нибудь несчастья милых ему людей, погибает в недрах блаженства почти с наслаждением и с тем же самым эгоизмом, какой имел он во все минуты своей жизни.

В.

ЛЮТНА, ЦВЕТЫ И СОН

(СТАРИННАЯ СКАЗКА)

Вы знаете, как много верили в старину предсказаниям, волшебству и снам, и кто этого не знает? В то время очень нередко случалось, что сновидение, которое мы, просвещенные люди, сочли бы просто бредом, решало жребий человека. Теперь и колдуны, и предсказания, и сновидения лишились тех почестей, которые оказывали им наши дедушки и бабушки. Но кто прав и кто виноват, мы, или наши праотцы, не беру на себя решить этого вопроса; пускай читатели сами добиваются до истины: а я расскажу им сказку (не сказку, а быль), в которой сон играет важную роль.

Жил-был в городе Бремне, когда, не знаю, только очень давно, Мельхиор, богатый человек; он имел множество денег; всего более на свете любил деньги и был так ужасно скуп, что, если верить преданию, отказывал себе в самых необходимых вещах. Но вот странность: в доме его находилась одна такая горница, в которой весь пол вымощен был червонцами. Знавшие скупость Мельхиора дивились, что он позволял топтать ногами своего бога, золото, но Мельхиор имел свои причины и причины весьма умные: он был купец, следовательно, не мог обойтись без кредита. Нельзя не иметь доверенности, рассуждал он, к такому человеку, у которого вместо ковра лежат на полу золотые деньги. И в самом деле, он не обманулся: в несколько лет накопил он несметное богатство, которое без сомнения было бы утроено, когда бы смерть не вздумала ему помешать и не отправила его прежде времени на тот свет. После него остался один только сын, молодой Франк, которого прозвали миловидным, потому что природа наградила его прелестною наружностью, голубыми глазами, в которых сияла нежная душа, улыбкою добросердечия, прекрасными светло-русскими кудрями, которые клубились как мягкий шелк вокруг белой шеи, голосом звонким, вливающимся прямо в душу. Но Франк был очень молод; девятнадцать лет, какой это возраст; не имел добрых людей, наставников, потому что

отец его ни с кем не хотел вести знакомства и никем не был любим; долго был мучеником нестерпимой скупости Мельхиора: удивительно ли, что он сделался расточителем, как скоро достались ему все кованные сундуки покойника, а с ними и пол, вымощенный червонцами. И скоро кованные сундуки начали пустеть, и скоро совсем они опустели. Франк не жалел денег, мотал, наделал тьму долгов, и ему верили, потому что ковер из червонцев служил за него порукою. Но вдруг пронесся слух, что в доме сына Мельхиорова не стало драгоценного ковра из червонцев и что его место заступил простой дубовый, досчатый пол. Заимодавцы пришли в волнение; посещают Франка: в самом деле, молва их не обманула. Полно верить Мельхиорову сыну. Заимодавцы очень добрые люди, пока они надеются, что деньги будут заплачены им верно и в срок; но они очень грубы и неотступны, когда имеют причину бояться, что можно потерять им и капитал свой, и свои проценты. Франк узнал это на самом деле. Заплати деньги, говорил ему тот, говорил ему другой; но заплатить было нечем. Все это кончилось тем, что его лишили имущества, которого едва достало на уплату долгов, и выгнали из отеческого дома. Насилу мог он спасти несколько драгоценных камней, принадлежавших его матери; при них сохранил он еще другое сокровище, которого никакой заимодавец отнять не может, свою веселость, а с нею и верное средство никогда не быть совершенно несчастным. Он не имел денег, зато не имел и забот. С таким-то легким грузом переселился он в предместье Бремена; нанял в одной из самых тесных улиц тесную горницу, в которую редко заглядывало солнце; довольствовался умеренным обедом своей хозяйки и был весел.

Но чем же бедный Франк занимался в маленькой своей горнице, в которую заглядывало редко солнце? Он умел только проживать деньги, но теперь не было у него денег; он умел читать (очень важное знание в то время), но где же взять книг, и какие читать книги? Теологические рассуждения, рыцарские романы. Но бедный Франк не был ни рыцарем, ни теологом. Оставалось одно: думать о прошедшем, играть на лютне, которая каким-то случаем спасена была от заимодавцев, и делать ученые наблюдения над погодою, что было несколько трудно, потому что Франк из окошка своего едва-едва мог видеть небольшой клочок голубого неба. Но с этим занятием соединилось очень скоро другое, веселое, сладостное, увидите сами какое.

Прямо против Франковой хижины находились другая, такая же бедная, такая же тесная, и в этой хижине жила вдова Бригитта, имевшая дочь пятнадцати лет, по имени Мету, и эта дочь была прекрасна как ангел. И мать, и дочь от утра до вечера сидели за пряжею, ибо они кормили себя своею работою. За несколько лет Бригитта не имела нужды

в этом рукоделии: муж ее был один из богатейших бременских купцов, но он утонул на корабле вместе со всем своим богатством, оставя и жену, и малолетнюю дочь нищими. Бригитта перенесла это несчастье с твердостью доброй матери, которая более всего на свете любит свою дочь, а для нее любит и жизнь. Мета, воспитанная в нищете, заранее приучена была к рукоделию. Переселившись в ту бедную хижину, против которой находилась хижина Франкова, Бригитта каждый Божий день вставала вместе с солнцем и садилась за самопрялку. Мета, которая расцветала как майской цвет, просыпалась в одно время с матерью и вместе с нею работала от утра до вечера. Навык обратился в искусство; наконец и мать, и дочь могли уже вести небольшой торг своею пряжею.

Бригитта надеялась не вечно сидеть за самопрялкою, она была очень набожна, и следственно, крепко уверена, что Бог ее не оставит, что Он позволит ей насладиться счастьем Меты, которое ценила она выше собственного. И часто, любуясь своею Метою, которая была свежее розовой распуколки и привлекательнее светлого весеннего дня, она думала: эта милая весна усладит зиму жизни моей и превратит ее в веселое лето; нельзя стать, чтобы такая красота оставлена была в забвении: у моей Меты будут женихи, и женихи богатые. Бригитта имела причину так думать, ибо в те времена и красота, и доброе сердце были так же важны для молодых женихов, как нынче знатная порода и богатство. Каждый отец говорил своему сыну: добрая и прекрасная жена есть лучшее украшение семейства; каждая мать была тому примером; а каждая дочь старалась подражать своей матери, чтобы, по словам царя Саломона¹, быть драгоценною жемчужиною, которою украшается жилище супруга.

Таким образом, Бригитта берегла свою дочь больше глаза; она лишила себя последнего, чтобы дать ей хорошее воспитание и одевать ее опрятно, будучи уверена (по примеру всех добрых матерей), что лучшая добродетель молодой девушки есть любовь к работе и уединению; и Мета ни минуты не сидела без работы; она оставляла свою хижину только по утрам, когда ходила к обедне в приходскую церковь.

Франк сидел перед окном и делал свои наблюдения над погодою. В эту минуту прекрасная Мета возвращалась домой из церкви. Он увидел ее и почувствовал в душе своей то, чего никогда не чувствовал; он еще не имел привязанности ни к одной женщине: и любовь и желания были неизвестны его сердцу, неиспорченному и чистому; удивительно ли, что Мета, прелестная как ангел, произвела на душе его впечатление неизгладимое? С этой минуты Франк почти не отходил от окошка. Он видел и хотел видеть одну только Мету; иногда сидела она подле матери за самопрялкою; иногда выглядывала в окно, чтобы несколько

минут подышать чистым воздухом; а всякое утро, в один и тот же час, проходила по улице мимо Франковой хижины в приходскую церковь. Ах, бедный Франк! Как много жалел он тогда о потерянном своем богатстве! Какое счастье, думал он, когда бы я мог разделить его с Метою! Но теперь имею ли какую-нибудь надежду? Осмелюсь ли предложить ей мою нищету? Мне осталось одно: любить страстно и не сметь сказать ей ни слова.

Но Франк не один замечал происходившее по соседству, и Бригитта имела зоркие глаза, и Бригитта делала свои замечания. Она скоро угадала, для чего прекрасный сосед их по целому дню просиживает перед окном. Она знала Франка; она знала по слуху, что он в короткое время расточил все богатства, оставленные ему отцом: такой жених не мог быть находкою для Меты; но Бригитта, зная человеческое сердце, которое всегда привязывает нас к тому, что нам запрещают, расположилась препятствовать намерениям Франка, не обращая на них внимания своей дочери.

И в одно утро Франк по обыкновению подходит к своему окну, смотрит: о ужас, окно соседок его задернуто занавесом и таким частым, что Аргусовы глаза не могли бы никак сквозь него проникнуть². Возьмем терпение, сказал про себя Франк; этот занавес через минуту будет отдернут. Но Франк ни с места, и занавес ни с места. На другое утро в обыкновенный час Мета пошла к обедне; но вот несчастье: с нею Бригитта, и лицо ее закрыто покрывалом, таким же непроницаемым, как и занавес! Франк вздохнул, проводил глазами прекрасную Мету и грозную мать ее до самой церкви. Они вошли в церковь; через полчаса из нее вышли, потом затворилась за ними и дверь хижины, а занавес все ни с места.

Можно ли описать горесть Франка? Не видать Меты: какое мучение, думал, и наконец решился не показываться у окна, чтобы успокоить Бригитту. Но как же узнать, что занавес отдернут и что окно соседок открыто? Любовь изобретательна, Франк продает один из своих драгоценных камней, покупает большое зеркало, устанавливает его так, что вся хижина Бригитты в нем отражается; потом садится к нему лицом, а спиною к окну, и не сводит с него глаз. Проходит день, проходит другой, еще проходят пять дней, на шестой, о радость, занавес отдернут, окно отворилось, и в него выглянула прелестная Мета. Франк не обманулся: Бригитта, не видя его перед окном, вообразила, что он переменил жилище, сняла с окна темный занавес, который мешал им работать, и зеркало Франково начало представлять ему очень ясно все то, что делалось в Бригиттиной хижине. Но этого было для него недовольно. Мета не знала, Мета не могла вообразить, что есть подле нее такой

человек, который всякую минуту о ней мыслит, который никого кроме нее не видит. Как сделать, чтобы она об этом узнала? Опять начинает он думать и думал долго, и наконец выдумал средство, по его мнению, верное. Какое? А лютня? Разве забыли вы о Франковой лютне? Сказать правду, он не был музыкант искусный; но любовь есть самый лучший учитель, и Франк в короткое время сделался виртуозом: он научился выражать игрою своею и удовольствие, и горечь, и беспокойство. Подходила ли прекрасная Мета к окну: стройная лютня изображала радость и счастье; оставалась ли она у окна: звуки становились нежны, выразительны, они трогали душу, извлекали из глаз слезы; удалялась ли она от окна: лютня изображала горечь и муку; медлила ли она возвратиться к нему: гармония выражала нетерпеливость; являлась ли вместо нее Бригитта: лютня молчала; одним словом, никакой человеческий язык не мог объясняться выразительнее этой лютни, и Мета наконец почувствовала, чего желал от нее невидимый музыкант; она в свою очередь начала выдумывать средства, как отвечать ему, не говоря ни слова, наконец выдумала, и прекрасное.

«Матушка, — сказала она однажды Бригитте, — я люблю цветы, и никогда их не вижу; мы редко выходим в поле: нельзя ли мне поставить на окно два или три горшка с цветами?»

Бригитта не захотела отказать в этом невинном утешении своей Мете. И она также слышала всякий Божий день лютню, но она понимала ее совсем не так, как Мета: она просто думала, что в хижине Франковой поселился музыкант, страстно привязанный к своему искусству, и что этот музыкант ни о чем не думает, кроме своей лютни; она хвалила его искусство, и Мета хвалила его также, но с равнодушием, чтобы не подать никакого подозрения. «Этот музыкант, — говорила Бригитта, — нравится мне гораздо более, нежели праздный Франк, который по целым дням просиживал у окна без всякого дела и зевал на проходящих. Расточив свои деньги, он расточал безжалостно и время, не принося ни себе, ни другим пользы; напротив, этот музыкант своею прекрасною игрою веселит нас, когда мы сидим за пряжею, и наша работа идет гораздо лучше». Мета не отвечала ни слова; но она догадывалась, что Франк и музыкант-невидимка один человек. Она слушала с великим вниманием музыку, когда сидела за самопрялкою, и оставляла свою работу для одних только цветов, за которыми смотрела очень прилежно. Франк обрадовался чрезвычайно, когда увидел в зеркало, что на окне Меты появились цветы: роза и мирта. Цветы и лютна сделались скоро самым понятным языком для Меты и Франка. Мета, согласуясь со звуками невидимой лютни, сближала свои горшки, когда уходила от своего окошка на одну только минуту, и ставила их очень далеко один

от другого, когда ее отсутствие должно было продолжиться несколько часов; но роза прикасалась к мирту, когда Мета сидела под окном, а игра лютны соответствовала движению цветов; и наконец Мета, по многократному опыту, уверилась, что музыкант-невидимка ее видит и так же хорошо понимает язык цветов, как она язык лютны.

Франк, обедая с свою хозяйкою, иногда заводил разговор о соседках. Все обстоятельства их были ему известны; наконец узнал он, что Мете весьма хотелось иметь новое платье и что Бригитта отказывала ей в этом удовольствии потому единственно, что в этот год, за дорого-визною льна, не могли они выработать достаточного числа денег и на нужды.

Долго ли думать Франку? Бежит к золотых дел мастеру, продает один из оставшихся у него драгоценных камней; на все вырученные деньги покупает льну, уговаривает сговорчивую торговку отнести этот лен к Бригитте и продать этот лен за безделицу: так и сделалось. Бригитта была в восхищении от своей находки, а в следующее воскресенье, в час обедни, Франк имел удовольствие увидеть Мету, идущую по улице в новом платье, которое весьма ей было к лицу и увеличивало ее прелести.

По воскресеньям не прядут, и Бригитта провожала Мету к обедне. Вообразив, что они уже удалились, Франк подошел к окну, желая полюбоваться Метою и посмотреть, какова она сзади в новом прекрасном платье; в эту минуту и Мета оборотила голову, чтобы поправить прекрасное платье, и быстрый взгляд, брошенный стороною на окно соседа, который стоял перед ним с своею лютною, удостоверил ее, что она не ошиблась в своей догадке, что музыкант-невидимка и миловидный Франк одно и то же: она обрадовалась, а возвратясь домой, так сблизила свои горшки, что одна из роз, совершенно распутившаяся, переплелась с зеленою веткою мирта. В эту минуту заиграла и лютня, и заиграла так нежно, так нежно, что никакое перо этого не опишет. Но, увы, счастливейшая минута в жизни бывает нередко очень близка к несчастной! Франк испытал это на самом деле. Бригитта была так довольна дешевою покупкою льна, что захотела и всегда покупать его так же дешево: она пригласила к себе на обед услужливую торговку, поставила перед нею на стол блюдо пшена, вареного на молоке с сахаром, жареную индейку и бутылку малаги. Кончив обед и опорожнив бутылку, Бригитта спросила, нельзя ли еще достать ей такого же льна, за такую же дешевую цену? «Я не знаю, — отвечала торговка, улыбаясь, — будет ли продавец мой по-прежнему доброхотен и рассудит ли опять подарить вас своими деньгами!» Слово за словом, и наконец Бригитта узнала, что продавец льна, музыкант-невидимка и Франк один

человек; все это уверило ее, что любовь Франка к Мете не прекратилась и что он по-прежнему живет у них в соседстве. Она взглянула на Мету; Мета сидела, потупив глаза, раскрасневшись, как роза, переплетенная с зеленою миртою, в задумчивости, наслаждаясь мысленно любовию Франка и несколько сожалея, что Бригитта о ней узнала. Бригитта, с своей стороны, сердилась, осыпала укоризнами бедного Франка, величала его обольстителем, мотом, ленивцем. Несмотря на слезы и просьбы Меты, новое прекрасное платье было продано, а деньги, вырученные за него и за остаток льна, возвращены Франку с надписью: «Из Гамбурга». Получив эти деньги, он обрадовался неожиданной помощи и побежал к зеркалу, чтобы удвоить радость свою взглядом на Мету... Боже мой, что он увидел: окно задернуто опять тем же ужасным занавесом, который приводил его прежде в отчаяние. Но горшки стоят еще на окне; они избавились от пронизательного взора Бригитты; прекрасная роза все еще переплетена с зеленою миртою: это оживило несколько душу печального Франка. Ждать-пождать, напрасно, занавес неподвижен. Около вечера он заколыхался: его отдернули; Франково сердце затрепетало; он приближается к зеркалу и что же видит? Сухую руку Бригитты... она безжалостно отделяет розу от мирты и уносит горшки один за другим в горницу. Но любовь доставила ему последнее утешение: он видел позади Бригитты прелестную Мету, видел, что она утирала глаза белою своею рукою; он в ту же минуту заиграл на лютне и так жалостно, так заунывно, что все проходившие невольно останавливались перед окном его хижины. И Бригитта услышала звуки; в эту минуту все для нее объяснилось: любовь Меты к цветам началась в то самое время, в которое началась и музыка в доме соседки. С одной стороны, лютна, с другой, цветы: это язык любви, какое сомнение! И Бригитта решилась как можно скорее переменить жилище.

На другой день Франк имел удовольствие проникнуть во внутренность Миртиной горницы; но это удовольствие было минутное. Занавеса уже не было, но также не было ни Меты, ни Бригитты, ни самопрялки, ни розы, ни мирты, ни надежды: все исчезло! Бедный Франк бежит, спрашивает, узнает, что соседки его оставили ночью свою хижину, что они переселились неизвестно куда: бедный Франк! Первые два дни посвящены были горести; на третий начал он думать о том, каким бы способом отыскать и Бригитту, и Мету. «Я отыщу их, если они еще в Бремене». Он вспомнил, что Мета весьма набожна, что она всякое утро ходит к обедне, и вот начинает он бегать из церкви в церковь. Если любовь может дать таланты, то еще скорее может она сделать набожным. И Франк, при входе в каждую церковь, становился на колена и начинал со слезами молиться, чтоб милосердное небо воз-

вратило ему обожаемую Мету. В один день (конечно, молитва его была усерднее обыкновенной) оборачивает он голову и видит неподалеку от себя Мету; она стояла на коленях, молилась, и молилась, может быть, также о том, чтобы опять услышать лютню своего соседа. Вот она встала: оглянулась; взор ее встретился с его взором, опустился в землю, она покраснела; но вот она идет медленным шагом из церкви, у выхода останавливается, оборачивает глаза назад, опять их опускает, опять краснеет. Франк стоит, как очарованный, едва дышит, но Мета уже удалилась. Он опомнился, побежал из церкви и не переставал следовать за Метою, ибо желал узнать, где новое жилище ее; но следовал за нею издалека, опасаясь ужасной Бригитты; в этом случае, однако, ему удалось обмануть ее прозорливость: Бригитта, которая не хотела терять своего времени, ходила к обедне только по воскресеньям и праздникам; во все прочие дни отпускала она Мету одну в церковь, а сама оставалась за самопрялкою. И Франк начал ходить к обедне во все простые дни; в праздники и по воскресеньям молился он дома. Он видел Мету, видел, с какою набожностью она читала свои молитвы, и думал: она молится за меня, и он не ошибался. Мета, которая очень часто встречалась с глазами Франка, чувствовала, что они говорили как лютна; скоро безмолвный красавец, который смотрел на нее так нежно, так нежно, что сердце ее трепетало и наполнялось радостью, сделался ей милее всего на свете, а наконец и ее глаза начали выражаться как роза и мирты.

Но Франк не один смотрел на Мету и находил ее прекрасною; молодой пивовар, новый сосед Бригитты, вдовец, очень богатый человек, всякий день видел Мету, проходящую мимо него сперва в церковь, потом из церкви домой; всякий день казалась она ему лучше, нежели накануне, и всякий день уверялся он более и более, что она рождена смотреть за его пивоварнею. Какая она скромная, как любит опрятность, как богомольна! Какая небесная благодать сойдет на пивоварню мою с такою женою!.. И несколько дней он восхищался приятностию Меты; потом несколько дней думал; потом поставил большую свечу перед образом святого Венедикта, своего патрона³; потом, нарядившись в праздничный кафтан, навестил Бригитту; в это время прекрасная Мета стояла у обедни, почти рядом с Франком, поглядывала на Франка и молилась за Франка.

Венедикт нашел Бригитту за самопрялкою, сказал ей свое имя, потом, без дальних околичностей, объявил желание свое жениться на Мете; потом начал рассчитывать по пальцам, сколько у него денег, какую огромную имеет он пивоварню, какой у него прекрасный дом в городе, какой обширный огород с хмелем за городом, сколько богатых уроков накупит он для своей невесты и ее матери. Глаза Бригитты сверкали от

радости. Наконец, говорила она про себя, сбылось мое предсказание, нашелся жених, и жених богатый. Она посмотрела на самопрялку свою с презрением, потом на богатого Венедикта с благодарностью и в ту же минуту ударила бы с ним по рукам, когда бы, следуя обычаю, не надлежало ей потребовать у него осьми дней на размышление. Итак, она сказала Венедикту, что даст ему ответ через неделю. И надеюсь, ответ приятный, прибавила она, пожимая ласково его руку. Венедикт простился с Бригиттой, исполнен будучи веселой надежды, а его прелестная невеста возвращалась из церкви с живейшею любовью... к Франку. Они опять увиделись, и глаза их говорили яснее прежнего! Мета нашла великую перемену в своем доме: самопрялки были прибраны, лен, прежде висевший на стенах большими связками, отнесен был на чердак, и Бригитта сидела на деревянном стуле, поджавши руки, с великою важностью, в приятном бездействии, как прилично почтенной теще богатого пивовара Венедикта. Не дав времени Мете осмотреться, начинает она ей описывать, какую благодать посылает им Царь Небесный в богатом Венедикте, у которого есть прекрасный дом в городе и большой огород с хмелем за городом. Но как описать ее удивление, когда Мета, вместо того, чтоб обрадоваться такому благополучию, затрепетала, побледнела, воскликнула: ни за что в свете... лучше умереть... и пала без памяти к ногам Бригитты.

Никогда в жизни, даже при неожиданном известии о потоплении мужа, не чувствовала Бригитта такого ужаса, как в эту минуту. Увидя Мету без чувств, бледную, неподвижную, она вообразила, что ее милая дочь, ее последнее утешение, умерла, и едва не лишилась рассудка; но Мета через несколько минут пришла в себя и, видя отчаяние матери, начала утешать ее своими ласками, но она снова обливалась слезами, когда Бригитта напоминала ей о замужестве. На другой день Мета была задумчива и плакала, а Бригитта не переставала говорить о Венедикте; на третий день, проведя целые две ночи без сна, Мета насилу могла смотреть на белый свет: глаза ее были томны, лице бледно; Бригитта посматривала на нее с беспокойством и упоминала о Венедикте гораздо реже. На четвертый день Мета, совсем расслабленная бессонницею, не могла уже встать с постели, чувствовала жар; Бригитта испугалась, приложила руку к голове Меты, почувствовала, что она горела, поцеловала свою дочь в раскрасневшуюся щеку и сказала ей с нежностью: «Милый друг, ты мне всего дороже на свете; захочу ли я выдать тебя неволею за такого человека, который противен твоему сердцу! Пускай богатый Венедикт ищет себе другой невесты, а мы ему откажем». И тусклые глаза Меты опять оживились; она приложила к сердцу руку своей матери, улыбнулась и через несколько минут заснула спокойным сном.

На другой день была она весела по-прежнему, и, сидя за самопрялкою, распевала, как канарейка, обыкновенную свою песенку. В назначенный срок богатый Венедикт посетил Бригитту и получил от нее отказ такой ласковый, такой приветливый, что невозможно было не принять его с благодарностью.

Дней через пять проехал он мимо окон Бригитты с прекрасною женою; за ними следовала великолепная свадебная церемония. Мета сказала про себя: слава Богу! Бригитта вздохнула. Потом все пришло в прежний порядок: Мета совсем успокоилась; пивовар поставил другую свечу перед образом святого Венедикта; самопрялки опять начали вертеться, а Мета и Франк каждое утро поглядывать друг на друга у обедни: одна Бригитта не с таким веселым духом сидела за пряжею; она часто говорила со вздохом: «Как все веселились на свадьбе Венедикта! Ах, Мета, если бы ты была его женою!» Но Мета не говорила ни слова; она улыбалась, целовала у матери своей руки и думала о Франке.

Между тем и Франк начинал рассуждать сам с собою: разговаривая с Метою нежными взглядами, молясь с нею в одной церкви Богу, он все оставался беден по-прежнему, а можно ли с бедности показаться на глаза Бригитты! «Поедем в Антверпен, — сказал он однажды самому себе, — покойник отец мой имел когда-то в этом городе должников; все они, правда, по бедности своей, оказались неспособными платить, но Бог милостив; может быть, некоторые из них теперь разбогатели; может быть, найду в них и совесть; они заплатят мне старый долг, и Мета моя! Еду в Антверпен! Но что же подумает Мета, если вдруг перестану ходить в церковь? Она вообразит, что я умер, или что я перестал ее любить, огорчится, потом утешится, потом может и выйти замуж! Каким образом предохранить себя от такого несчастья? Любовь, как известно, очень богата вымыслами. Франк отдал половину своих денег священнику той церкви, в которую Мета всякой день приходила молиться, и отдал их с тем, чтобы он всякой день перед образом Богоматери, покровительницы путешественников, во время обедни читал молитву об успехе и скором окончании его путешествия. Это средство имело свое действие. Мета пришла к обедне; глаза ее искали везде Франка, но Франка не было нигде; вдруг слышит она молитву о путешествующем: глаза ее наполнились слезами, поднялись к небу, и она с глубоким чувством повторила ее за священником.

Оставим Мету молиться, надеяться и, сидя за самопрялкою, думать о том, кто мил ее сердцу, и последуем за Франком. Он шел пешком по большой дороге, был задумчив, иногда мечтал о будущем, которое представлялось его воображению со всеми очарованиями, надежды, повторял самому себе обещание не быть расточительным и в доказа-

тельство, что может его исполнить, останавливался в самых бедных трактирах и ел только для того, чтобы не умереть с голоду. В то время путешественники не были так безопасны, как нынче: в лесах жили разбойники, а владельцы замков были и сами не лучше лесных разбойников; сверх того, и дьявол нападал иногда на бедных путешественников. Но Божие милосердие хранило Франка; он невредимо дошел до Антверпена. Пышность этого города привела его в изумление: на улицах толпился народ, а в лавках блистали богатства. Сам Бог вложил в мое сердце намерение прийти в этот город, думал Франк: здесь возвращу опять то, чего лишила меня расточительность, и через несколько времени Мета будет моя. Он останавливается в лучшем трактире города, спрашивает у трактирщика о должниках своего отца и узнает, что они все разбогатели и все почитаются очень честными людьми; велит принести в горницу бутылку лучшего вина, пьет за здоровье добрых людей, сказавших ему такое приятное известие, потом идет в отведенную ему горницу, ложится спать и видит самые веселые сны.

На другое утро посещает он своих должников. Один, признавши вексель, не верит, что Франк — сын Мельхиоров, и угрожает ему тюрьмою; другой не признает ни векселя, ни Франка, и также упоминает о тюрьме; третий, признавши и вексель, и Франка, осыпает ласками своего гостя, приглашает его к себе на обед; после обеда развертывает свои счета, начинает вычислять все издержки свои на пересылку товаров его отцу, проценты, проценты на проценты, подводит итог: потом доказывает, как дважды два четыре, что не он Франку, а Франк ему обязан заплатить значущую сумму, требует уплаты; потом, услышав, что Франк не в состоянии с ним расплатиться, велит, без всяких околичностей, запереть его в городскую тюрьму.

Бедный Франк! Можно ли описать его горесть? Он думает, что ангел-хранитель от него отступился! Страдать в тюрьме, страдать в разлуке с Метою... лучше умереть! Так, умереть, и для чего ж откладывать? Но у него нет оружия. Ему подают кусок хлеба и кружку воды; он не хочет к ним прикоснуться. Два дня мучит он себя голодом; на третий природа и любовь к жизни победили отчаяние: он покорился своему жребию, остался жить, плакать, мечтать о Мете и иногда, посреди ужасов тюремного мрака, находить удовольствие в своих мечтаниях.

В одну ночь привиделся ему сон, и сон удивительный: вдруг видит, будто он в Бремене и в том саду, который отняли у него с домом; будто отец его, Мельхиор, копает заступом яму, ставит в нее кованный сундук с деньгами и, забросав ее землею, говорит: «Сын мой, Франк, эти деньги пригодятся тебе в несчастьи; молись о душе Мельхиора!» Такой чудесный сон поразил чрезвычайно Франка и виделся ему три ночи

сряду. Думавши о нем очень много, Франк наконец уверился, что он пророческий. Место в саду, где, по свидетельству сновидения, должно находиться сокровище, глубоко запечатлелось в его памяти... Он пишет записку к своему заимодавцу, в которой обещает расплатиться с ним непременно, если он возвратит ему свободу и отпустит его обратно в Бремен. Заимодавец расчел, что для него не было никакой выгоды мучить должника своего в тюрьме, согласился на его требование, дал ему пять ефимков на дорогу, и Франк опять отправляется в путь.

Как долго продолжалось его путешествие, не знаю; но вот он уже опять в Бремене, опять в своем предместии, опять в той низкой темной хижине, в которой провел столько счастливых минут, играя на лютне и смотря на прекрасную Мету. Нельзя описать тех чувств, которыми наполнено было его сердце, когда он вступил в свое прежнее жилище: прошло более года, как он оставил Бремен! Сколько перемен могло случиться в это время! Жива ли Мета, и если жива, помнит ли Франка? Он с трепетом начинает расспрашивать свою хозяйку и к неописанной радости узнает, что Мета по-прежнему сидит за самопрялкою подле своей матери, и что она всякой Божий день ходит к обедне в свою приходскую церковь.

И Франк, успокоясь сердцем, начинает думать о исполнении своего предприятия. Он поверил пророческому сновидению, и на нем основаны были все его надежды. Он с нетерпением дожидается ночи; наконец солнце село, показался месяц, небо усеялось звездами. Франк, помолвившись с усердием Богу, берет заступ и идет за город, прямо в тот сад, который некогда принадлежал отцу его, Мельхиору. Сокровище, по свидетельству сна, зарыто было под розовым кустом, в самом уединенном месте сада. Луна светила ярко; Франк очень скоро находит знакомый куст, усеянный множеством пышных роз, которых благовоение далеко разливалось. Франк начинает копать землю: чувствует, что заступ ударился во что-то твердое; продолжает рыть, и наконец глазам его представляется кованый железом сундук, довольно большой и чрезвычайно тяжелый. К верхней скобке привязан был ключ, почти съеденный ржавчиною. Франк с великим усилием отпирает замок; наконец кровля поднята: о радость, сундук наполнен золотыми деньгами! Наверху лежит бумажка; Франк берет ее, разворачивает; рука Мельхиора; он читает: «Я знаю, сын мой, Франк, что ты не будешь в состоянии сохранить оставленного мною богатства; я даже уверен, что ты со временем придешь в бедность; надеюсь, однако, что ты не продашь этого сада, который я любил и который украшать было мне так приятно. Сокрытое здесь сокровище пригодится тебе в то время, когда, исправлен будучи нищетою и несчастьем, ты узнаешь истинную цену

бережливости. Я предстану тебе во сне и скажу, где можешь отыскать этот клад. Употреби его в пользу; женись, и не забывай молиться о грешной душе отца твоего, Мельхиора».

Франк упал на колена, поднял руки к небу, несколько минут молился; потом, поклявшись повиноваться наставлениям отца своего, принялся выбирать из кованого сундука червонцы; но их было слишком много, и один человек не мог бы поднять такой тяжелой ноши; что ж сделал Франк? Он перетаскал их мало по малу в дупло старого дуба, находившегося в поле, неподалеку от садового забора, потом засыпал землю пустой сундук, откланялся розовому кусту и побежал обратно в город. Три ночи сряду ходил он к дуплистому дубу; наконец сокровище все перенесено в маленькую его хижину. Франк спешит навестить того священника, которому при отъезде своем дал он деньги, чтоб всякую обедню читать молитву об успехе и скором окончании его путешествия, он дает ему двойную сумму и велит читать другую, благодарственную молитву о счастливом возвращении путешественника в отчизну. Мета услышала новую молитву; сердце ее успокоилось; она искала глазами Франка, но Франка не было в церкви. Что это значит, спрашивала она сама у себя с замешательством? И молитва ее не была уже так усердна, как прежде, ибо она думала об одном только Франке.

Но Франк не терял времени; он купил огромный дом, потом украсил его великолепно; потом объявил на бирже, что, имея большую сумму денег, намерен открыть банк и завести значущий торг; потом возобновил знакомство с некоторыми знаменитыми купцами, имевшими обширный кредит, и затворил двери свои для тех празднолюбцев, которые, за несколько лет, помогали ему расточать Мельхиоровы богатства. Во все это время ни разу не показался он на глаза Меты; но он откладывал свое счастье для того единственно, чтобы насладиться им после с большею живостию.

А Мета, нежная Мета, что она делает, что она думает? Мета сидит за пряжею и плачет. И благодарственная молитва в приходской церкви, и слухи, носившиеся по всему городу Бремену, известили ее, что Франк, Мельхиоров сын, возвратился из Антверпена; что он разбогател по-прежнему; что он купил себе огромный дом; и Мета, которая уже не видит Франка в приходской церкви, которой глаза не встречаются уже с его глазами, исполненными нежного пламени, оплакивает свою нищету и проклинает богатство, изменяющее человеческое сердце.

Спустя несколько дней, навещает Бригитту одна соседка и рассказывает, что Франк, Мельхиоров сын, женится; что он отделяет великолепно дом свой и что на сих днях прибудет к нему из Антверпена богатая невеста. Мета побледнела; сердце ее замерло; она не могла снести

своего горя, бросилась на шею к Бригитте, залилась слезами и начала рассказывать ей, как она любит Франка, что с нею случилось с первой минуты ее с ним знакомства, и какое для нее несчастье, что сердце его так непостоянно. Бригитта плакала вместе с своею дочерью. «Ах, бедная моя Мета, — говорила она, — для чего не согласилась ты выйти за богатого Венедикта? Он сделал бы тебя счастливою; он тебя любил, несмотря на свое богатство, но ты сама не захотела воспользоваться милостию Божию». Мета не отвечала, ибо она чувствовала, что мать ее не имела никакого понятия о том счастье, которого требовало ее сердце. Увы, она оплакивала не жениха, оплакивала не богатство; она оплакивала Франка и ту нежную, почтительную, скромную любовь, которую, по-видимому, он был наполнен и которую питала она в своем сердце. Она думала о тех минутах наслаждения, минутах, пролетевших с удивительною быстротою, когда она сидела за самопрялкою подле своей матери и слышала его нежную лютню, которая выражала так много, так много; теперь и лютна, и спокойствие душевное, и веселые надежды, все исчезло! Она забывает вертеть колесо самопрялки; слезы ее падают крупными каплями на пряжу. Бригитта не знала, как развеселить Мету. Она сказывала ей сказки: Мета не слушала; пела песни: Мета еще более плакала.

В одно утро и мать, и дочь сидели по обыкновению за пряжею; Бригитта молчала, а Мета была задумчива: вдруг слышат они приятную музыку. Бригитта бежит к окну, а Мета, при первом звуке, узнает Франкову лютню, и сердце ее забилось так сильно, что она не могла подняться с места. Но лютна замолчала; музыкант входит в двери: это Франк. Он приближается к Мете. «Милый друг, — говорит он, — я пришел сюда за тем, чтобы в присутствии твоей матери приложить слова к той музыке, которую так часто слыхала ты в прежнее время. Я тебя люблю, ты слышишь это от меня в первый раз. Дай мне свою руку и проси вместе со мною твою мать, чтобы она благословила союз наш». Можно ли описать, что происходило в сердце Меты! Она краснела, бледнела, не могла сказать ни слова; наконец подала свою руку Франку и бросила на него робкий взгляд, в котором сияла вся нежность ее сердца.

На другой день хижина Бригитты наполнилась торговками, купцами, портными; множество дорогих вещей, множество богатых материй лежало на ее столе: Бригитта и Мета выбирали, что им нравилось, а Франк отсчитывал деньги. Дня через три повел он невесту свою в ту самую церковь, в которой они так долго разговаривали одними взглядами, в которой немая любовь изъяснялась так нежно: и любовь счастливая не менее была красноречива. Наконец Франк и Мета стали супругами, и они долго служили в Бремене примером супружеского

согласия. Франк выкупил Мельхиоров сад и сделал под розовым кустом дерновую сиделку. Он часто, в минуты отдохновения, приходил на это место с своею Метюю и часто на этом же месте заставлял детей своих благословлять Мельхиорово имя.

ЭДУАРД ЖАКСОН, МИЛЛИ И Ж.-Ж. РУССО

(ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ)^(*)

Было время, когда англичане играли самые благородные роли в романах своих соседей: один из первых героев «Новой Элоизы» есть англичанин, Эдуард Бомстон. И надобно признаться, что англичане были достойны того уважения, которое оказывала им вся Европа. До половины осьмогонадесять столетия великодушные, твердый и непо-мраченный предрассудками ум и сильное чувство собственного досто-инства были отличительными чертами их характера. Теперь, если верить знающим людям, остались только немногие и почти изгла-женные следы сего великого характера. Ужасный человек¹, который в пользу неограниченного своего самовластия уничтожил свободу Бри-тании и замыслами ненасытного честолюбия приготовил ту пропасть, в которую непременно, рано или поздно, его отечество низринется, развратил в то же время и нравы соотечественников своих, которых чистотою они всегда отличались от других народов Европы. Потомство отмстит за Британию; потомство (если только наше обвинение ока-жется справедливым) напишет имя его на той ужасной странице, на которой стоят имена Пизистратов и Катилин¹, а историк, изображая в нем великого человека, с прискорбием должен будет произнести: «Его величие подавило Британию; его могущество было унижением сограж-дан: удивляйтесь, но трепещите!» Падающая нация — какое ужасное зрелище! Отвращаю с прискорбием взоры мои.

*

Эдуард Жаксон по характеру своему был истинный британец (но британец прежнего времени); он имел высокую душу, ясный, деятель-ный и важный ум, необыкновенную твердость духа и пламенную любовь к свободе. Отец его был сельский священник и человек очень бедный; воспитывая Эдуарда, он почитал необходимым обогатить разум его

(*) Описанное самим Жан-Жаком Руссо в одном письме, которое нигде еще не было напечатано и которое сочинитель прилагаемого здесь отрывка читал в ману-скрипте.

нужными сведениями, но еще более старался поселить в его душе ту силу, которая одна составляет истинный характер мужа, следовательно, способность желать решительно того, что сердце и размышления наименовали справедливым — способность не подчинять себя чужой воле или смело ее отвергать, когда она требует неправды, и, наконец, способность не переменять благоразумного, в один раз твердо принятого намерения ни для каких видов честолюбия или низкой корысти. «Эдуард, — говорил он ему часто, — умей или находить сам, или пренебрегать дары Фортуны — тогда не будешь ни ослеплен ее блеском, ни поражен ее утратою, но будешь прямо свободен, чтобы ни сотворила с тобою судьба».

Эдуард употребил в пользу наставления мудрого отца. Правда, что сердце его расположено было к мечтательности, что необходимо должно случиться, когда молодая, начинающая только расцветать душа наполняется правилами опытной старости; зато на шестнадцатом году возраста имел он такой твердый и совершенно образованный характер, какой немногие имеют и в сорок лет. Богатый дядя, живший в Лондоне, принял его к себе в дом и поручил ему управление некоторых торговых дел. Добродушие, всегдашняя веселость, постоянно трудолюбие, откровенность и ясный рассудок Эдуарда сделали его в скором времени любимцем всего дома. Дядя гордился им и восхищал себя мыслию, что Эдуард составит некогда счастье его дочери. Он уже мысленно назначил его по себе наследником, но Эдуард, ничего не подозревая и будучи весьма равнодушен к прелестям определенной ему невесты, продолжал очень спокойно трудиться, и занимаясь обыкновенным делом, не составлял в голове своей никакого мечтательного плана.

*

Эдуарду было уже двадцать четыре года, когда он, по какому-то делу, посетил одну бедную вдову, жившую весьма уединенно в одном предместье Лондона. Она имела дочь, молодую, прекрасную, и вместе с нею доставала рукоделием скудное пропитание. Эдуард увидел Милли, и никогда еще в жизни такое прелестное, восхитительное творение не представлялось его взору. Пламенная душа его не могла противиться той милой девственной непорочности, которая напечатлена была на лице и во всех движениях Милли. Он начал с нею говорить; она отвечала с тихостью, робко и стыдливо, но он не мог не удивиться ее правильному рассудку и верности ее чувства. Погруженный в размышления о том глубоком впечатлении, которое Милли произвела в его сердце, возвратился он домой; на другой день увиделся опять с Милли и в продолжении четырех месяцев виделся с ней каждый день,

и сердце его мало-помалу наполнялось нежнейшею страстию: он не говорил ни слова, но то нетерпение, с каким ожидала его Милли, но та откровенная нежность, с какою она его встречала и с ним обходилась, доказывали ясно, что любовь Эдуарда была ей известна и что она ее разделяла. А Эдуард чувствовал, что он с нею, и только с нею, может быть истинно счастлив. И в один день является он к своему дяде, очень свободно признается ему в привязанности своей к Милли и требует, чтобы он согласился на их супружество.

*

Старик удивился. «Мой друг! — сказал он Эдуарду. — Вспомни о своей бедности. Женившись так рано, непременно ты лишишь себя вернейших способов составить свое счастье. Ах, Эдуард! — придавил он, прижавши его к сердцу. — А я так надеялся, что ты будешь моим сыном, что все мое имущество со временем будет принадлежать тебе вместе с моею дочерью: это было моею приятнейшею надеждою!» Слова старика тронули до глубины души сердце Эдуарда; он обнял его с горячностью, но остался непоколебимым. «Она меня любит, — говорил он, — я искал ее сердца и уже не имею права располагать собственным». После многих бесполезных увещаний старик рассердился и, наконец, сказал: «Оставь меня, неблагодарный! Повинуйся безрассудной страсти, но с этой минуты не знай моего дома!» Эдуард удалился. Он имел благодарное сердце; он чувствовал, сколь многим обязан был своему дяде, но также чувствовал и то, что нет благодеяния, за которое было бы можно пожертвовать счастьем целой жизни, справедливостию и честью. И он не долго был в нерешительности. «Я потерял любовь моего дяди, — так рассуждал он сам с собою, — что же? Я молод, имею силы, имею сведения, могу трудиться! И дядя мой прежде был беден; все его богатства нажиты трудами. Один только малодушный может, опасаясь бедности, отказаться от истинного счастья; одна только низкая душа может предпочесть деньги привязанности нежного, непорочного сердца».

*

Эдуард побежал к Милли. Она была в страшном отчаянье. Матери ее сделался удар. В таких обстоятельствах не говорят о любви. Три дня разделял он ее нежные попечения о больной и между тем не переставал заботиться об исполнении нового, составленного им плана, будучи твердо уверен, что Милли не откажется дать ему свою руку. На четвертый день приходит он к ней опять — матери ее уже не было на свете.

— Что бы сделалось теперь со мною, когда бы я не имела моего Эдуарда! — воскликнула Милли, бросаясь к нему со слезами на шею.

Эдуард прижал ее к сердцу. «Милли! — сказал он ей. — Ты почитала меня до сего времени богатым, но ты ошибалась: я жил в доме одного родственника. Теперь мы поссорились, и через несколько дней я оставляю Англию. согласишься ли ты за мною последовать?»

— На край света последую за Эдуардом, — отвечала Милли краснея. Эдуард прижал ее руку к сердцу. Через три дни после погребения матери они соединились перед алтарем Божиим, а через три дня после брака сели на корабль, ибо Эдуард записался в службу Ост-Индской кампании.

*

Рука с рукою стояли Эдуард и Милли на палубе и смотрели на удаляющиеся берега Англии, которые скоро исчезли, как дымное облако, слившееся вдаль с горизонтом. Беспредельное море их окружило — они взглянули с прискорбием друг на друга, обнялись нежнее обыкновенного и молчали, но клятва любить друг друга вечно была в их сердце. Попутный ветер надувал паруса, и быстро мчался корабль к берегам Ост-Индии. Долго ли продолжалось их странствие, сопряжено ли оно было с опасностями — не знаю; наконец они в Калекутте².

*

Эдуард получил место в военной канцелярии; он жил очень уединенно с своею Милли; никто их не замечал: и бедность, и склонности сердца удаляли их от того роскошного, сибаритского образа жизни, который ведут в восточной Индии европейцы.

Эдуард старался приумножить свои доходы, а бережливая Милли и малое обращала в большое; она даже находила способ откладывать по несколько денег в запас. Она не вела никакого знакомства с роскошными женами других калекутских чиновников; вечно была дома; наслаждалась одною прелестною природою Индии, которая нравилась ей своею новостью, и изредка посещала некоторых своих соседок, живших так же, как и она, за городом и так же, как и она, очень бедных. Эдуард выполнял с строжайшею точностию обязанности своего звания. Кончив дела в канцелярии, спешил он в свою убогую хижину, где ожидала его Милли, где заключено было все милое его и священное для его сердца. Он не хотел заводить связи ни с одним из своих товарищей, которые, заметив его дикость, наконец прозвали его чудачком и совершенно его оставили. Об Эдуарде вспоминали только тогда, когда надлежало для какого-нибудь дела употребить человека деятельного и верного. Счастливцев не замечал сего пренебрежения: имея в объятиях своих Милли, мог ли он ценить и почести, и богатства?

*

Известно, что мужество, которым одарены бывают так называемые герои, происходит нередко от некоторого жестокосердия, от некоторой нечувствительности, которые, поддерживаемы будучи страстию, скрывают от нас и препятствия, и опасности, когда мы стремимся к своей цели. Известно, что люди, рожденные покорствовать, более других ослепляются могуществом и с дикою необузданностью употребляют во зло ту силу, которую приобрели мечом и кровью. Наконец, известно, что британские генерал-губернаторы Ост-Индии превосходят своим самовластием и деспотизмом всех тех набобов³, у которых они отнимают престолы. Этого довольно, чтобы дать вам некоторое понятие о характере лорда Кляйва, который из писаря сделался генералом и пэром и наконец в третий раз послан был в Калекутту с полномочием генерал-губернатора Ост-Индии и с правом употребить строжайшие меры для приведения в порядок дел Кампании. Прибавим: этот человек, по многим отношениям необыкновенный, не имел никакого понятия о той чести, которая приобретается не оружием; был необузданный сластолюбец; почитал добродетель женщины мечтою и вообще презирал людей, сделавшись мрачным меланхоликом от чрезвычайного развращения.

*

В один день, выехав за город, Кляйв увидел Милли, сидящую у дверей своей хижины; ее миловидность, ее прелестный и величественный стан поразили сластолюбивого деспота. Он остановился и долго ею любовался, подобно тигру, который, смотря из-за куста на прыгающую лань, готовит уже свои убийственные когти. Милли покраснела и ушла в хижину. Кляйв, приказав камердинеру своему осведомиться о прелестной незнакомке, возвратился в Калекутту, и в тот же вечер сказали ему, что красавица была женою одного молодого европейца, который по бедности жил уединенно и занимал низшее место в военной конторе.

*

Эдуард был в городе у своей должности; Милли сидела в маленьком саду своем за работою: в эту минуту явился перед нею камердинер Кляйва. Что он ей говорил, о том ни слова. На глазах Милли навернулись слезы; она побледнела, хотела обнаружить все презрение, которое чувствовала к обольстителю; однако опомнилась, подумав, что Кляйв всесилен, и отвечала с таким взором, в котором заметны были негодование и робость: «Скажите Его Превосходительству, что я уведомлю о его предложениях своего мужа, который, конечно, будет стараться

заслужить его милость». Присланный, улыбнувшись с насмешливым видом, удалился.

*

Милли хотела его испугать — бедная голубка искала под крылом голубя спасение от когтей ястреба, но она только открыла ему новую жертву. Камердинер не понял значения слов ее. «Вас просят, — сказал он лорду, — чтобы вы сделали все нужные условия с мужем». «Эта женщина догадлива, — подумал Кляйв, улыбнувшись злобно. — Согласен! Мы сделаем условия и с мужем!» И Эдуарду приказано явиться немедленно к губернатору. Он приходит, изумленный неожиданным требованием и полный веселой надежды. Его ввели в кабинет. Кляйв принял его с притворным дружелюбием и сделал ему несколько вопросов о его происхождении, состоянии, службе. Узнав из ответов Эдуарда, что он очень беден и живет одним только жалованием, он сказал: «Не беспокойтесь! Вы можете предвидеть теперь, что состояние ваше должно перемениться; вы обладаете таким сокровищем, которым не можете и не должны пользоваться одни...»

Эдуард посмотрел на него с удивлением.

— Вы имеете жену — прелестную, восхитительную!

— Милорд! — воскликнул Жаксон, побледнев с досады. — Я имею честное имя и хочу его сохранить!

— Успокойся, мой друг. Жена твоя мне сказала, что я могу обо всем условиться с тобою. Все излишние околичности для меня несносны. Словом сказать, я приготовлю для тебя горницу в моем доме; ручаюсь смело, что я, и ты, и жена твоя останемся друг другом довольны. — Он встал и начал прохаживаться взад и вперед по комнате.

Жаксон долго не мог собраться с духом, долго не мог найти слов; наконец скачал с притворным спокойствием:

— Милорд! Ваш орден и ваше звание спасают вас от того ответа, которого вы достойны. Знайте, однако, что перед вами стоит человек, который любит свою честь и умеет ответить за оскорбление жены своей.

С этими словами Жаксон хотел выйти из кабинета; лорд схватил его за руку, осмотрел с головы до ног и спросил:

— Ты не шутишь?

— Прочь, бесстыдный! — воскликнул Жаксон, оттолкнув его руку. — Оставь меня, или я все забуду!

Он выбежал из кабинета. «Удержите его!» — закричал Кляйв. Жаксона окружили и силою ввели опять в кабинет. Камердинер остался при нем, а другие служащие в ближней комнате. Кляйв несколько минут ходил взад и вперед, Жаксон стоял у дверей и смотрел на него с

презрением. Наконец милорд остановился, устремил на него зверские, грозно сверкающие глаза, несколько минут не говорил ни слова, потом сказал с надменностью неумолимого деспота:

— Безумец! Разве ты забыл, что я могу располагать твоею жизнью, что я властен без всяких околичностей взять твою жену, а тебя бросить в тюрьму и уморить в ней с голоду. Выбирай! Или завтра ты первый секретарь губернатора, или...

— Чудовище! — воскликнул Жаксон, схвативши Кляйва за горло. — Жизнь моя в твоей власти, но...

Его окружили и вытащили из кабинета.

— Закуйте его в цепи! — кричал Кляйв. — Он убийца, он хотел умертвить губернатора; бросьте его в тюрьму, и ни один человек не смеет сказать ему ни слова!

*

Между тем Милли сидела в маленьком садике своем и ждала Эдуарда обедать; она еще не говорила ему о предложениях губернатора и сама не знала, говорить ли об них, или нет. Опасаясь его вспыльчивости и надеясь, что сделанный ею ответ камердинеру лорда все уже кончил, решила она молчать. Уже в десятый раз вышла она за ворота — но Эдуарда нет; выходит опять, и глазам ее представляется камердинер Кляйва. Она трепещет; посланный говорит:

— Его Превосходительство немедленно желает вас видеть. Вас поведут к нему силою, если вы не согласитесь идти добровольно.

— Мой муж!.. — восклицает Милли.

— Ваш муж брошен в тюрьму; он государственный преступник.

Милли упала в обморок; ее положили в паланкин, и она еще не совсем пришла в чувство, когда внесли ее в кабинет лорда Кляйва.

*

Опомнившись, увидела она себя на софе. Милорд сидел перед нею на креслах. «Где Эдуард?» — воскликнула Милли, бросаясь к дверям. Лорд взял ее за руку, остановил и сказал:

— Успокойся, моя милая.

Он хотел поцеловать ее, но Милли, оттолкнула его с ужасным негодованием, закричала:

— Эдуард! Эдуард! Спаси меня от когтей этого чудовища!

В грубой душе сластолюбие неразлучно с жестокостью, и распаленная чувствительность очень быстро превращается в бешенство.

— Безумная! — сказал Милорд, сверкая злобно глазами. — Твой Эдуард в цепях! Он осмелился наложить на меня руку! От одной тебя

зависит теперь его спасение! Скажу слово, и он будет расстрелян перед глазами твоими.

— Ах, Эдуард! О правосудие небесное! — кричала Милли, усиливаясь отворить дверь, но она заперта была на замок. Милорд с жестоким хладнокровием вынул из кармана часы, поднес их к глазам Милли, потом положил па стол и сказал:

— Я возвращусь к тебе через четверть часа — подумай! Слово твое решит судьбу Эдуарда.

Он пошел в двери; Милли хотела выбежать вслед за ним, но он сильною рукою захлопнул за собою двери. Милли бросилась на колени и призывала Небо на помощь. Вдруг мелькнула в голове ее быстрая мысль; она побежала к окну... О ужас! Какое зрелище! Эдуард, стоящий посреди двора в цепях, и перед ним четыре солдата с заряженными, нацеленными в голову его ружьями. Кляйв взялся победить сердце ее ужасом.

— Эдуард! Эдуард! — воскликнула Милли и бросилась в окно. Эдуард поднимает голову — у ног его лежит Милли в крови, с раздробленной головою; несколько минут она трепетала — наконец, сделалась неподвижною — жизнь ее пресеклась.

*

Руссо находился в ***; он сидел за письменным столиком, рассматривал свои травники и радовался новым ботаническим приобретениям, которое сделал в прошедшее утро. Он чувствовал себя истинно счастливым, занимаясь цветами и травками: некоторые из них возбуждали в душе его воспоминание об удовольствиях молодости; оставив настоящее, он мысленно переносился к прошедшим дням своего счастья, и сердце его трепетало при воспоминании о некоторых любезных существах, которых гробы давно уже покрыты были дерном: в эту минуту отворяется дверь, входит незнакомый человек с шляпою на голове, приближается к философу, спрашивает с некоторою дикостию: «Вы ли Жан-Жак Руссо?»

Руссо испугался. Подозрительность, которая так часто его мучила, привела в смятение сердце его; он устремил пронизательные, острые взоры свои на незнакомца; одежда его была в крайнем беспорядке, волосы, темно-каштанового цвета, всклоочены, а глаза, полные глубокой задумчивости, впалы и мертвы; в движениях его заметна была необыкновенная живость; словом, наружность его говорила всякому: вот существо, уничтоженное судьбою!

— Вы не ошиблись, государь мой, я Ж.-Ж. Руссо! — отвечал с некоторою робостию женеvский философ.

— Сочинитель «Эмиля!» Сочинитель «Элоизы!» — воскликнул незнакомец, сверкая глазами.

— Да, государь мой! — отвечал Руссо почти в отчаянии, приготовясь к чему-то ужасному...

— Ах! Сжальтесь же надо мною! — закричал неизвестный, бросаясь на колени и сжав руки, — напрасно искал я правосудия перед судилищами и престолом; от тебя, служитель добродетели, требую того, в чем отказали мне порочные люди! Правосудия, Жан-Жак Руссо! Мщения тому злодею, который умертвил мою жену и меня сделал жалким безумцем!

Он обнял колена Жан-Жака. Философ трепетал, и слезы стремились по лицу его ручьями.

*

— Моя супруга, моя обожаемая Милли, окровавленная, трепещущая и наконец бездыханная у ног моих, — продолжал Эдуард, — была последней моею мыслью. Что случилось со мною после, не знаю; пришедши в чувство, увидел себя лежащего на рогоже в бедной хижине; у ног моих сидят два добрых индейца. Они изумились, когда я спросил, что со мною сделалось, и где я? Хочу подняться — чувствую слабость и вижу, что руки мои крепко связаны. Опять начинаю расспрашивать; мне отвечают; не могу ничего понять и снова впадаю в бесчувствие. Через несколько минут чувствую, что кто-то берет меня за руку; открываю глаза: лекарь, человек благороднейший и бывший в Англии моим истинным другом, стоит передо мною и щупает мой пульс. Я не узнал его. Скажите, спрашиваю, за что связаны у меня руки? Он просил меня остаться в покое и велел мне дать свободу. Мало-помалу начал я приходить в память; друг мой не покидал меня ни на минуту. Он рассудил, что, будучи слабым, я лучше могу снести воспоминания о страшном конце моей Милли, нежели после, когда возвратятся несколько мои силы; и я узнал, что более полугода прошло с того ужасного дня, в который погибло все мое счастье; что я во все это время ни на минуту не был в чувствах, или лежал без памяти, или приходил в бешенство; что сердце лорда возмущено было смертью Милли; что он и меня, и ее велел отнести в загородный дом наш; что ее похоронили на другой же день; что в городе несколько дней носилась молва о страшной опасности, которой подвергался лорд Кляйв³, о убийце, который пришел к нему в дом, чтобы его застрелить, и которого жена бросилась из окна от отчаяния, что не могла выпросить ему прощения; что все это очень скоро было забыто; что место мое отдано другому и что, наконец, ни один человек не заботился обо мне, кроме человеколюбивого медика, который, узнавши от лордова человека всю истину, поспешил ко мне на

помощь и, к величайшему своему удивлению, нашел во мне старинного лондонского знакомца.

*

Все это слушал я с мертвым равнодушием; чувствительность казалась угасшею в моем сердце, а собственные мои несчастья представлялись мне баснею, занимательною для одного только любопытства. Образ погибшей Милли носился перед воображением моим как будто в тумане; я жил среди моих бедных индейцев и был спокоен, и даже не мог вообразить, чтобы мои обстоятельства когда-нибудь были лучше. Изредка, в минуты возрождающейся душевной силы, представлялась мне какая-нибудь минувшая радость, или образ моей умерщвленной Милли возобновлялся во мне живьем, или воспоминания о какой-нибудь ее ласке, о каком-нибудь милом ее качестве неожиданно меня поражали — иногда сердце мое обливалось кровью, я содрогался, кричал, плакал, но все это было одна минута, одно быстротечное сияние молнии, пролетающей в полночь над пропастию: благодетельная нечувствительность моя возвращалась ко мне снова.

*

Но мало-помалу померкшая душа моя озарилась ужасным светом; утешительный сон мой начал исчезать; молния за молнией светила над моею пропастию: я начинал видеть судьбу свою без покрова. В одно утро встаю с постели, выхожу из хижины, иду в поле без всякой цели, вдруг останавливаюсь перед домом, который показался мне знакомым; смотрю, стараюсь вспомнить, наконец узнаю: это был прежний мой загородный дом; все бремя потери моей обрушилось в эту минуту на мое сердце: я закричал диким голосом, бросился на землю, начал рыть дерн: увы! Я хотел дорыться до гроба моей Милли! В этом положении нашли меня мой благодетельный лекарь и мои приставники; они отнесли меня в хижину; я опять пришел в бешенство, но этот припадок продолжался не более одного дня: я погрузился в отчаянную задумчивость, был тих, молчал, но думал об одном убийстве.

*

В одно утро мой благодетельный друг навестил меня по-обыкновенному; просидев со мною несколько часов, он встал, чтобы выйти из избы; я бросился перед ним на колени и воскликнул: «Последней милости от тебя требую! Дай мне кинжал, чтобы я мог заколоть убийцу моей Милли. Более двух месяцев как он возвратился в Англию». Это известие вдруг успокоило мою душу. Мысль, что я могу преследовать, что я могу возвести на эшафот этого злодея, была для меня целительною отра-

дою. Я начал думать о том, как бы привести в порядок мои расстроенные дела; с помощью благодетельного медика собрал несколько денег и сел на первый корабль, который отправлялся в мое отечество.

*

Кончим в нескольких словах повествование Жаксона: по приезде своем в Лондон, начал он советоваться со знающими юристами, но все говорили ему, что его обвинение не могло быть принято, ибо он не имел ни доказательств, ни свидетелей. В чем состояло преступление лорда Кляйва? Каким законом запрещалось предлагать мужу условия? Жаксон приговорен был к смерти за то, что осмелился наложить руки на губернатора; Милли сама себя умертвила. Жаксон бросился к ногам короля... но король и министры не имели власти наказывать без приговора, а если бы и могли, то какое наказание определить завоевателю трех областей, который за несколько времени возвратился из Азии с победою и имел право на самые блестящие награды? Чем наказать человека, которого сам парламент недавно избавил от наказания за многие притеснения в Индии, объявив перед целым народом, что он оказал великие услуги отечеству? И Жаксон везде принимаем был как сумасшедший; ни один человек не слушал с участием его жалоб. Он мог бы опять потерять рассудок, когда бы дядя не тронулся его жребием и не послал его для рассеяния во Францию. Случай привел его в то место, где находился Руссо; имя философа пробудило надежду отмщения в его сердце. Кончив свою горестную повесть, он бросился на колена и, жавши руки, воскликнул: «Правосудия! Мщения!»

*

Руссо, растроганный до глубины сердца, долго смотрел в глаза несчастному Эдуарду. Наконец, он отвечал тихим и трепещущим голосом: «Я бедный, больной, несчастливый человек! Не имею ни связей, ни знакомства. Мои современники ненавидят меня и преследуют. Могу ли что-нибудь я для тебя сделать?» В эту минуту глаза его запылали. «Я могу, — сказал он грозным голосом, — напечатлеть знаки отвержения на челе твоего убийцы! Могу предать его проклятию современников и потомства!» Эдуард удалился, оставив Жан-Жаку свой адрес. Через две недели Руссо послал к нему письмо, в котором требовал объяснения на некоторые обстоятельства его повести, но он получил от своего корреспондента следующий ответ: «Мы ничего не знаем об Эдуарде Жаксоне. Очень недавно нашли в реке Ааре труп молодого человека, у которого на шее висел женский портрет, почти смытый водой; могли разобрать одну только надпись: Милли Жаксон. Страдания несчастного прекратились».

*

Руссо написал Эдуардову историю с тем красноречием, которое одному ему свойственно, и он хотел уже выдать ее в свет, как вдруг остановила его одна мысль. В истине происшествия он не сомневался; ужасным и неотвергаемым доказательством ее было сумасшествие Эдуарда, но для того, чтобы героя, всеми прославляемого, представить перед глазами света в виде убийцы и злодея, требовались доказательства неотвергаемые, а свидетельство сумасшедшего убийцы быть не могло в таком случае принято за доказательство неотвергаемое; и Руссо отложил повесть свою к тем бумагам, которым надлежало выйти в свет не прежде, как по его смерти.

*

Через два или три года лорд Кляйв приехал в Монпелье. Леди Говард, друг Жан-Жака, находилась в этом же городе. Руссо, узнавши о прибытии Кляйва, посылает к своей приятельнице экземпляр истории Жаксона. «Чудовище, унижающее имя человека, — пишет он к ней, — заражает дыханием своим тот воздух, которым дышит миледи Говард! Доставьте лорду Кляйву приложенную при этом письме рукопись; скажите ему, что я немедленно предам его посрамлению целого света, если он без всякого отлагательства не оставит Монпелье и не выедет из Франции».

Это письмо произвело свое действие, и свидетельство Эдуарда Жаксона было оправдано, ибо Кляйв немедленно возвратился в Англию. Несколько времени продолжал он заглушать фурию совести необузданнейшим развратом; наконец он сам исполнил то, что надлежало бы сделать одному палачу: без сомнения, тени Милли и Жаксона представились глазам его в ту минуту, когда он наводил на себя пистолет, раздробивший ему череп^(*).

Меркель

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕВИННОСТИ НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ

Есть остров — обитель счастья. Где, спросите вы? Не знаю; на карте место его не означено. Говорю по преданию. Там — на этом острове — царствует вечная тишина, воздух всегда приятен, небо спокойно и ясно, времена года не изменяются; одни Зефиры благовонными крыльями зыблют поверхность светлых вод, тихо льющихся по свежему дерну, и

(*) Известно, что Кляйв застрелился.

никогда обитатели сей неизвестной страны не ведают бурь, производимых страстями. *Невинность*, царица сей восхитительной империи, не имеет трона; она владычествует над сердцами своих подданных, которые обожают ее могущество и верность к прелестной владычице почитают первым своим благом. При ней молодая Эрминия проводила в спокойствии дни своей жизни, *свиваемые из злата*. Но откровение таинственной судьбы возмутило *Невинность*: любимице ее угрожала вдали опасность. Эрминия, так сказала Судьба, должна увидеть *Цитеру* и несколько времени провести на сем острове, отдана будучи на произвол собственной воле! Счастье жизни ее зависит от верности к твоим законам. *Невинность* вздохнула, но Судьба уже подписала приговор — нечего было делать. По счастью, не дано никакого предписания на счет путешествия Эрминии, и *Невинность* могла делать, что ей было угодно: она решилась проводить Эрминию и, если можно, предохранить ее от опасностей в такой земле, которая и самой царице была известна только по слуху; надобно здесь заметить, что слухи о *Цитере* были во всякое время очень дурные.

Таким образом, Эрминия, с полною доверенностью к *Невинности*, которой наставлениям всегда она повиновалась, готовится без всякой боязни оставить счастливый остров. Но чего и бояться! Покровительница ее с нею. Приходят на берег моря, славного кораблекрушениями и обманчивого тишиною поверхности, светлой и гладкой, как стекло. Знатнейшие из корабельщиков: *Удовольствие*, *Нега*, *Любопытство*, *Случай*, начали с великою услужливостью предлагать им корабли свои, убранные великолепно, для путешествия в *Цитеру*. Но царица *Невинность*, не удостоив их никакого внимания, подошла с Эрминиею к одной старушке, называемой *Должностью*, которая сидела призадумавшись в маленькой бедной лодке и ожидала пассажиров.

— Вы не будете раскаиваться, милостивая государыня, — сказала *Должность*, — что предпочли бедную лодку мою пышным кораблям: я знаю все подводные камни, которыми окружена *Цитера*, и еще ни разу не случилось, чтобы лодка моя приставала поврежденная к берегу.

— Но для чего ж, добрая старушка, — спросила Эрминия, — лодка твоя такая маленькая? Нас трое, и несмотря на то, нам очень тесно!

— Лодка моя очень еще велика, — отвечала старушка, — по тому малому числу пассажиров, которых мне перевозить удастся: я и не помню, чтобы мне случилось когда-нибудь принимать на нее двоих в одно время.

Сели, отчалили, поплыли; волны шумели под рулем, лодка летела стрелою, а за лодкою несколько из тех богатых кораблей, которые Эрминия, вероятно, предпочла бы маленькому челноку *Должности*,

когда бы не сопутствовала ей *Невинность*; и скоро уверилась она, что выбор их был самый благоразумный. Начали свирепствовать бури *Подозрения*, *Ревности*, *Взыскательности*, *Непостоянства*. Маленькая лодка, благодаря искусному веслу старушки, пристала невредимо к берегу, а пышные корабли все до одного разбились о камни, которыми усыпаны берега Цитеры; многие из путешественников погибли в волнах, а те, которые спалися от потопления, вышли на берег совершенно нищими.

По берегу раздавались жалобные вопли сих несчастных. Один кричал: «Мое спокойствие утонуло»; другой — «Честь моя разбилась вдребезги о камень»; третий — «Здоровье мое проглотила морская собака»; четвертый — «Рассудок мой остался на мели». И пересчитать нельзя всего того, что эти бедные путешественники растеряли. Но вот беда: *Невинность*, будучи от природы чрезвычайно жалостлива, хотела утешить некоторых, заговорила с ними и в эту минуту потеряла из глаз Эрминию, которая была отлучена от нее стеснившеюся толпою. Такова была воля Судьбы: чтобы представить добродетель Эрминии во всем ее свете, она хотела подвергнуть ее строгости опыта. Эрминия очутилась при входе в один тенистый лесок, находившийся неподалеку от моря. Тут увидела она прекрасного младенца, который плакал, протягивал к ней руки и звал, казалось, ее на помощь. Эрминия, тронутая до глубины сердца, приближается к прелестному младенцу; он указывает ей пальцем на одного юношу, который усиливался вырвать стрелу, вонзившуюся глубоко в его сердце. Эрминия бежит к нему на помощь, прикасается к стреле, и сама ранена, и стрела от всех усилий исторгнуть ее из раны только что углубляется в сердце. Эрминия, не понимая своего чувства, находит в нем тайную прелесть, но скоро душа ее наполняется смятением; она восклицает, осматриваясь с беспокойством: «Где ты, моя покровительница, *Невинность*? Для чего ты со мною разлучилась? Каким волшебством заведена я в это место?», — и слезы бежали из глаз ее ручьями.

Медор — так называли молодого человека, раненного стрелою, — бросается к ее ногам, отирает ее слезы, просит, чтобы она сказала, каким средством может он возвратить ей спокойствие.

— Ах! — воскликнула Эрминия. — Для меня уже нет спокойствия; я потеряла свою подругу, милую *Невинность*! Без нее не могу быть счастлива. Я должна, непременно должна с нею соединиться.

— Ах, Эрминия! — сказал Медор. — Для чего не можешь ты разделять со мною того удовольствия, которое нахожу в твоём присутствии? Вступив на берега Цитеры, я сам, подобно тебе, всего лишился, но один приятный взор твой всему замена, и теперь единственное для меня

благо — любить Эрминию, говорить ей «Люблю!» и читать в глазах ее подобное моему чувству. Ах, милый друг, позабудь свою подругу; воспоминание об ней будет отравой нашего счастья. Ты меня любишь, это возвещает мне трепет твоего сердца. Предайся без страха сладкому сему чувству; забудем и людей, и природу в спокойном убежище сего леса!

— О Медор! — отвечала Эрминия. — Что ты мне предлагаешь? Не могу притворяться; люблю тебя и чувствую, что эта любовь дороже для меня жизни. Но изменить, для любви к тебе, моей владычице — невозможно! Верь, друг мой, что наше счастье никогда не будет совершенным, если я хотя на минуту ее забуду. Нам надобно разлучиться — я пойду искать моего подругу — а богам оставим пецись о нашем соединении.

— Ты хочешь удалиться, Эрминия! — воскликнул Медор. — Ты хочешь моей смерти! По крайней мере, позволь мне тебе сопутствовать; будем искать *Невинность* вместе.

— Нет, Медор! Сердце мне говорит, что вместе мы никогда с нею не встретимся — прости!

И она удалась. Между тем и *Невинность*, мучимая беспокойством, искала Эрминию.

Амур утешался ее мучениями: они были давно в споре, но Цитерский бог усердно желал помириться с владычицею счастливого острова. Он приближается к своей неприятельнице и говорит ей с притворным удивлением:

— Верить ли мне глазам? Это ты, *Невинность*? Какая судьба завела тебя в Цитеру? Мы уже так давно не видались, что я с трудом тебя узнал в лицо!

— Обманщик, — сказала *Невинность*, — тебе ли жаловаться! С того бедственного дня, в который вздумалось тебе сделать моими соперниками *Сладострастие*, *Непостоянство*, *Кокетство*, я не имела духу посетить твою Цитеру. Вспомни то счастливое время, в которое мы дружелюбно царствовали над сердцами, и признайся, что слава твоя очень упала после нашего разрыва.

— Не стану себя оправдывать. Но разве нельзя исправить сделанного зла? Разве искренним своим примирением не можем загладить тех несчастий, которые причинило наше несогласие людям? Согласись меня простить, и я божусь всем, что есть свято, что старое будет по-старому.

— Ах, Амур! — сказала *Невинность*. — Можно ли положиться на твои клятвы? И могу ли довольствоваться простым извинением, когда обиды, сделанные мне тобою, бесчисленны? Сколько сердец ты у меня похитил! И ныне разве не ты разлучил меня с любезнейшею из моих воспитанниц?

— Ах, *Невинность* несправедливая! Ты судишь, как обыкновенно судят в свете. Сколько раз *Суетность*, *Корыстолюбие*, *Ревность* обольщали преданные тебе сердца? Неужели ты в самом деле уверена, что большая часть из тех союзов, которыми ты оскорбляешься, были составлены Амуром? Стыдись, *Невинность*! Я думал, что мне стоит сказать только: *виноват*, и все кончено; теперь вижу, что надобно оправдываться по форме, приводить доказательства и свидетелей. Ты полагалась на Галатею; она тебе изменила, и ты на меня хотела жаловаться Юпитеру, а виноват был Плутус. Я и не слышал о том договоре, который она заключила с одним директором таможни: ее поранило золото, а ты хотела, чтобы Юпитер изломал Амуровы стрелы. Камилла, после разлуки с тобою, переменяла более десяти любовников, но она никогда меня не знала; желание одержать верх над Клименою, с которою она спорит о красоте и всегда водит за собою целый полк воздыхателей, — вот страсть Камиллы. Виноват ли я, что Камилла сумасшедшая? Подобных примеров миллионы. Я уже сказал тебе, *Невинность*, что желание мое помириться с тобою самое искреннее. На каких условиях, еще раз спрашиваю, согласишься ты меня простить?

— Сердце предсказывает мне, что я буду обманута, но так и быть, Амур! В последний раз вверяю себя твоему непостоянству. Вот мое условие: хочу, чтобы с нынешнего дня все те, которые для любви нарушают мои законы, были презираемы своими любовниками... согласишься, и я забываю прошедшее!

— Согласен и отвечаю тебе за будущее. С нынешнего дня всякий союз любви, не освященный *Невинностью*, будет непродолжителен, а постоянство любовников будет свидетельствовать непорочность красавиц. Начнем с Эрминии. Не хочу заператься; она имела уже свидание с тем, которого любит; мы испытаем ее, и ты сама удостоверишься, достойна ли еще тебя Эрминия.

По гласу Амура собираются все красавицы, населявшие Цитеру. Он осыпает их всеми дарами Граций и велит послушным ему Зефирам ввести Эрминию и Медора в эту толпу прелестниц. Эрминия видит Медора, но в ту же минуту глазам ее представляется *Невинность*; и она стремится в ее объятия.

— Остановись! — сказала *Невинность*. — Постоянство Медора должно быть доказательством, что ты еще меня достойна.

Эрминия останавливается и ожидает в смятении своего приговора, но сердце говорит ей, что она смущается напрасно. И в самом деле, Медор, увидя Эрминию, забывает о красавицах, которые сначала ослепили его взоры; он бросается к ее ногам и произносит клятву любить ее вовеки.

С того дня Амур неизменный друг Невинности. Любовник довольный становится любовником непостоянным, а наслаждения постоянства вкушают только те, которых *любовь неразлучна с невинностью*.

С французского. В.

РАЗГОВОР ФИЛОСОФА ДЕЖЕРАНДО С СЕН-МАРТЕНОМ

(Истинный анекдот)

— Вы никогда не ходите в театр?

Сен-Мартень. Вот уже пятнадцать лет, как я в него не заглядывал.

— Может быть, вы не любите театра?

Сен-Мартень. Напротив. Я был страшный до него охотник, и теперь эта страсть не уменьшилась.

— Понимаю, нравственные правила ваши не позволяют вам предаваться этой страсти.

Сен-Мартень. Нет — те драмы, от представления которых я обыкновенно ожидаю величайшего для себя удовольствия, не кажутся мне противными строгой нравственности. Наслаждение, мне ими доставляемое, основано на чувстве, с каким я смотрю на добродетель, выведенную на сцену, и на той сладостной симпатии, которая заставляет меня разделять это чувство со всеми зрителями.

— Может быть, вам недостает времени.

Сен-Мартень. И того нельзя сказать. Не один раз случалось, что я подходил к самым дверям театра, и — от них удалялся.

— Что же вас останавливало?

Сен-Мартень. Это моя тайна.

— Я очень бы желал узнать эту тайну!

Сен-Мартень. Боюсь открыть ее: вы станете слишком хорошо обо мне думать, а это будет несправедливо.

— Нет, обещаюсь почитать вас только весьма добрым человеком; будьте спокойны. Теперь вы сможете открыться.

Сен-Мартень. И откроюсь, но только для того, чтобы вы из бездельцы не сделали чего-нибудь чрезвычайно важного. Слушайте. Я очень часто выходил из своего дома с намерением посетить театр. Дорогою представлял я в воображении то удовольствие, которое меня ожидало, и наслаждался им заранее — потом начинал рассматривать свойство тех впечатлений, которые так сильно на меня действовали, и уверяю вас, что находил в себе одно только ожидание того восторга, который должны были произвести во мне высокие мысли Корнеля и пламенные чувства Расина, встречаемые всеобщим рукоплесканием. И тотчас рож-

далась в голове моей мысль: ты хочешь заплатить деньги за удовольствие, производимое одним образом, или лучше сказать, одною тению добродетели, за те же деньги....

— Продолжайте, любезный Сен-Мартень; прошу вас, продолжайте!

Сен-Мартень. За те же деньги можешь иметь в сущности то самое, чем будешь восхищаться в идеале; ты можешь сделать доброе дело, вместо того чтобы его видеть в представлении мечтательном и минутном...

— Я понимаю вас.

Сен-Мартень. Я никогда не мог противиться этой мысли, я относил деньги, приготовленные за билет в партер, к какому-нибудь известному мне бедняку, наслаждался всем тем, что думал найти в театре (и еще с большею живостию), и, возвращаясь домой, не сожалел об истраченных мною деньгах.

В.

О ПРАВАХ АРАБОВ

(Отрывок из Шатобрианова путешествия по Востоку)

Арабы, которых я видел в Иудее¹, в Египте и в самой Варварии², показались мне более высокого, нежели малого роста. Поступь их гордая; они имеют стройный стан; очень легки; голова у них овальная, лоб большой и круглый, нос орлиный; глаза большие, имеющие форму миндаля и взгляд чрезвычайно нежный. Если они молчат, то вы не заметите в них ни малейшего следа дикости, но если, напротив, начнут говорить, то вы услышите грубые и сильные звуки и увидите зубы длинные, ослепительной белизны, имеющие много сходства с зубами шакалей³: различие между ими и дикарями американскими состоит в том, что последние имеют дикость во взгляде, а выражение человечества на устах.

Женщины аравийские выше ростом, нежели мужчины по пропорции, наружность их благородна; правильностью своего лица, красотою телесной формы и одеждою напоминают они о статуях жриц греческих или Муз. На горах иудейских встретились мы с тремя, которые имели на головах сосуды с водой: они напоили наших лошадей. Не дочери ли это Лавана или маданитян?⁴ Но сии прекрасные статуи бывают иногда облечены в рубища; бедность, нечистота и страдания безобразят несколько сии прекрасные формы; смуглость, так сказать, скрывает от вас правильные черты лица их; одним словом, чтобы смотреть на этих женщин с приятным чувством, надобно видеть их в некотором отдалении, довольствоваться целым и не входить в подробности.

Большая часть арабов носят тунику и перевязывают ее поясом; иногда спускают один рукав и таким образом являются в древнем наряде; иногда одевают тело покровом из белой шерсти, который служит им вместо тоги, епанчи или покрывала, ибо они то обвивают его вокруг тела, то просто накидывают на плеча, то покрывают им голову. Они обыкновенно ходят с босыми ногами, вооружены копьем, кинжалом и длинным ружьем. Орды путешествуют караванами; верблюды идут один за одним; и передовой верблюд всегда привязан длинною веревкою из пальмовой коры⁵ к шее осла, который есть проводник каравана: в качестве вождя не имеет он никакой ноши и пользуется некоторыми отличиями; верблюды поколений богатых украшены бахромою, перьями, бандеролями⁶.

Кобылам, смотря по благородству их происхождения, оказывают большую или меньшую почесть, но обыкновенно обходятся с ними чрезвычайно жестоко. Лошадей не ставят в тень, а всегда на солнце, привязав их за ноги к четырем колышкам, вбитым в землю, так что им невозможно сдвинуться с места; никогда не снимают с них седла; поят их один только раз и один раз в двадцать четыре часа; они съедают весьма малое количество ржи. Не подумайте, чтобы лошади от такого содержания изнурялись; напротив, они приобретают привычку к терпению, к умеренности и чрезвычайно становятся быстры. Часто я удивлялся арабскому коню, прикованному таким образом к раскаленному песку и стоящему неподвижно, с разбросанною гривой, опустив голову к ногам, чтобы занять от них несколько тени и поглядывая косвенно дикими глазами на господ своих. Но ты снимаешь с него оковы, бросаешь на его хребет — *он пенится, дрожит, разбрасывает копытами землю! Труба зазвучала; он восклицает: «Вперед!»* И ты узнаешь коня, которого изобразил тебе Иов⁷.

Все, что нам повествуют о страсти арабов к сказкам, есть точная правда. Однажды остановились мы неподалеку от берегов Мертвого моря. Была уже ночь; вифлиемцы наши сидели кругом своего огня, положив подле себя ружья. Лошади, привязанные к колышкам, утвержденным в земле, составляли другой, внешний круг. Напившись кофе и говорив несколько времени все вместе, они вдруг замолкли, выключая одного шейка⁸. При свете огня я видел его выразительные телодвижения, черную бороду, белые сверкающие зубы и разные формы, которые он давал одежде своей, рассказывая с размахкою. Его товарищи слушали чрезвычайно внимательно, все наклонившись вперед, лицом на огонь, иногда восклицали с видом удивления, иногда с важностию повторяли слова и жесты рассказчика; некоторые из лошадей и мулов вытягивали над головами их свои большие головы, которые, будучи освещены пламенем костра, отделялись от мрака. В отдалении шумело Мертвое море, и кругом чернелись Иудейские горы⁹.

Я видел дикарей на берегах озер американских; и здесь представлялись мне дикари, но совершенно от первых отличные. Я имел перед глазами потомков первобытного поколения людей; видел их с теми же нравами, которые имели они во дни Агари и Измаэля¹⁰; и в той же пустыне, которую сам Бог наименовал их наследием. Я встречал их в долине Иордана, у подошвы гор Самарийских; на путях Эвронских¹¹, в местах, где некогда раздавался голос Навина; в полях Гоморра, еще дымящихся гневом Иеговы и освященных потом спасительными чудесами Христа-Искупителя.

Арабы отличаются от народов Нового света более тем, что они при всей своей грубости имеют какую-то нежность нравов; чувствуешь, что они рождены на востоке, в тех странах, которые произвели все искусства, науки, религии. Сокрытый на краю запада, в отдаленном углу вселенной, канадец обитает в долинах, осененных вечными лесами и орошаемых реками великими; аравиец, брошенный, так сказать, на большую дорогу мира, между Азией и Африкою, скитается среди блестящих степей востока, где нет для него ни воды, ни сеней древесных. Между поколениями Измаиловых потомков¹² находите господ, служителей, домашних животных, словом, свободу, подчиненную законам; напротив, в Америке человек представляется вам один с своею гордою и жестокою независимостию. Вместо шерстяного покроя на плечах его медвежья кожа; вместо копья имеет он стрелы; вместо кинжала дубину; он не знает и не захотел бы вкушать ни фиников, ни верблюжьего молока; он требует мяса и крови. У него нет козьей шерсти для составления палатки: вяз, повалившийся от дряхлости, дает ему кору для составления шалаша; ему не нужно обуздывать коня для преследования дикой лани: он сам настигает на бегу оригинала; он не происходит от великих и образованных народов, имена предков его не встречаются в летописях мира: дряхлые, и поныне еще не падшие дубы, некогда были современниками его прародителей; гробы его отцов — памятники природы, а не истории — неведомые скрываются во глубине лесов непроходимых. Словом, в американце видим мы дикаря, еще не пришедшего в состояние образованности; в арабах, напротив, все представляет нам образованного человека, снова пришедшего в дикость.

В.

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ИОСИФА ГАЙДЕНА

Иосиф Гайден родился в 1750 году, в деревне Рорау. Отец его был каретник; он знал порядочно музыку, что неудивительно в Германии,

где видим многих поселян, занимающихся музыкаю. Гайденов отец играл на арфе; он научил сему искусству и молодого Иосифа, и он же первый раскрыл в нем сей талант, который впоследствии сделался предметом всеобщего удивления.

Отец Гайдена, желая дать сыну своему воспитание, приличное замеченному в нем дарованию, записал его в хор певчих св. Стефана, кафедральной Венской церкви¹, где узнал он первые правила музыки и получил некоторые полезные сведения. Скоро Иосиф, который имел голос чрезвычайно приятный и образованный одним только своим дарованием, пел восхитительно и сделался известен в городе. Очень часто приглашали его на домовые концерты: Гайден пел и приводил в восторг своих слушателей. Находясь в музыкальной школе св. Стефана, он выучился очень хорошо играть на скрипке, потом на фортепиано. Для сего инструмента сочинял он маленькие арии и сонатины, с которых копии продавал охотникам.

Будучи пристрастен к музыке, он пренебрегал все другие познания: учиться латинскому языку было для него мукою; все деньги, выручаемые им за маленькие музыкальные пьесы его сочинения, отдавал он своим товарищам, которые помогали ему решать задачи и исправляли за него прочие школьные обязанности.

Наступило то время, в которое младенец, переходя в юношеский возраст, теряет свой нежный и тонкий голос и приобретает мужественный — время, всегда опасное для тех, которые основали все надежды свои на одной приятности голоса. Рейтер, капельмейстер кафедральной церкви, желая сохранить в хоре своем такого приятного певца, каков был молодой Гайден, решился пожертвовать его мужеством выгоде своего крилоса. Он призывает Гайдена, представляет ему с одной хорошей стороны опасную операцию; умалчивает о ее следствиях, и невинный младенец, которого ничто в мире, кроме одной музыки, не прельщало, соглашается на все от доброго сердца. И день, и час уже назначены; условие с лекарем сделано. Все готово — завтра в девять часов утра операция будет кончена... Но, по счастью, в то же самое утро (в восемь часов) какие-то дела призывают Гайденова отца в Вену; он прямо идет к сыну — мальчик бросается к нему в объятия с веселым лицом и сказывает, что голос его, которому целый город удивляется, голос, который со временем должен обогатить его и прославить, через два часа сделается чище, приятнее, звонче посредством какой-то легкой операции, и что он уже никогда его не потеряет. Отец удивился; расспрашивает — узнает обстоятельства — в негодовании своем бежит к Рейтеру, осыпает его упреками и грозит донести правительству, что он, обманув невинного младенца, хотел без ведома отца подвергнуть опасности его

жизнь; что он нарушил законы общества, природы, религии. Рейтер, приведенный в смущение, извинялся, как умел, перед отцом Иосифа, просил его молчать и обещался не думать более об операции. Провидение привело этого человека в Вену: два часа позже, и Гайден, получив малозначащие дарования певца, навсегда бы утратил гений великого, сильного, благородного композитора, который своим воображением, неистощимым и пылким, затмил впоследствии всех соперников своих в музыке. Два часа позже, и Гайден навеки остался бы младенцем; но ему определено было сделаться мужем, и мужем необыкновенным.

Рейтер с самой той минуты, в которую злодейский план его так неожиданно был разрушен, сделался непримиримым врагом молодого Иосифа — он вредил ему всеми способами: например, лишил его тех концертов, которые были так выгодны для его таланта, и наконец, когда он потерял голос, жестоким образом выгнал его из школы — без денег, в самом беднейшем рубище.

Иосиф сначала не знал, что делать и у кого искать пристанища. Первую ночь провел он на улице и спал на камне. На другое утро встретился с ним один бедный, ему знакомый музыкант, именем Спанглер, который в молодом человеке, покрытом лохмотьями и сидящем печально на камне, узнал своего приятеля Иосифа Гайдена. Доброе сердце Спанглера было тронуто. «Послушай, Гайден, — сказал он ему, — ты знаешь, как я беден и как тесно живу. Я не могу поместить тебя в моей горнице, которую вместе со мной занимают и жена моя, и дети, но согласишься ли поселиться на моем чердаке? Там будет у тебя постель, скамья и стол, обедай вместе с нами, а я готов помогать тебе, как умею». Иосиф бросился обнимать добродушного Спанглера — свобода, добрый товарищ и независимость от жестокого Рейтера казались ему на ту минуту верховным благом. По молодости своей позабыл он даже и к отцу своему написать о том несчастье, которое с ним случилось, и о той крайности, которую он терпел; наконец, послушавшись увещаний друга своего Спанглера, он написал письмо, но в это самое время сделал он такое знакомство, которому надлежало иметь величайшее влияние на жребий его жизни.

Спокойствие, которым он наслаждался, пробудило его гений; мучимый желанием производить, он принялся опять за сочинение тех маленьких сонат, которые так удавались ему в прежнее время. Лучшая из них каким-то случаем попала в руки графини Тун², знатной придворной дамы, страстно любившей музыку. Она захотела познакомиться с автором прекрасной сонаты и начала расспрашивать у всех, кто с нею ни встречался, не известен ли им сочинитель музыки, по имени Иосиф Гайден? Никто не знал Иосифа Гайдена; наконец сказывают

графине, что есть в кафедральной церкви певчий, мальчик, называемый Гайденом! «Но мальчику сочинять такие прекрасные ноты! Может быть! Узнаем» — и графиня посылает в церковь св. Стефана спросить о Гайдене. — «Его уже нет в моем хоре, — отвечает ей Рейтер, — я поспорил с этим негодяем и не знаю, куда он девался».

Но графиня Тун этим не удовольствовалась; ей нужен был автор прекрасной сонаты. Она хотела более удостовериться в его дарованиях, нежели в его нравственности, и продолжала с прежнею неусыпностью делать свои поиски; наконец ей удалось найти скромное убежище Иосифа Гайдена. Лакей в ливрее приходит к нему на чердак, видит молодого человека, одетого в рубище, спрашивает о Гайдене. Иосиф, стыдясь одежды своей, говорит, что он Гайденов слуга. «Скажи же своему господину, что Ее сиятельство, графиня Тун, желает его видеть. Она будет дожидаться его у себя завтра поутру в десять часов. Вот ее адрес!» — «Уверь ее сиятельство, — отвечает Иосиф, — что господин мой непременно будет у нее в назначенное время». Лакей уходит — но как исполнить обещание, как показаться на глаза графини в изодранном кафтане, в развалившихся башмаках? Спанглер, бедный, как и он, не может ссудить его деньгами, а платье Спанглерово совсем ему не впору: один высок и худ, другой мал ростом и очень толст — как быть! Но он дал слово; и — кто знает — может быть, это знакомство доставит ему какую-нибудь выгоду! Что делать! Надобно идти — и Гайдена на другое утро, в назначенный час, вооружившись мужеством, идет к графине Тун. Его встречает тот самый лакей, который был у него накануне; он спрашивает, скоро ли будет его господин.

— У меня нет господина; я сам Иосиф Гайдена; доложи обо мне графине!

Лакей докладывает; Гайдена входит. Графиня удивилась, увидя перед собою человека, покрытого лоскутками.

— Я хотела Иосифа Гайдена!

— Я Иосиф Гайдена!

— Вы? Сочинитель этой сонаты?

— Точно так, милостивая государыня!

— Который вам год?

— Семнадцатый.

Графиня замолчала; несколько минут рассматривала она лицо Иосифа, бледное, изнуренное, возвещающее крайнюю бедность. «Правду мне сказали, — подумала она, — один разврат может так обезобразить лицо шестнадцатилетнего мальчика».

— Не написали ли вы чего-нибудь еще в этом роде?

— Написал, много — но это моя последняя соната.

— Вам, конечно, платили за ваши труды? Для чего ж вы не одели себя несколько опрятнее?

— Все прочие сонаты мои были написаны в школе, где я имел и стол и одежду. Я не берег денег и тратил их на свои удовольствия! Эта последняя, написанная по выходе моем из школы...

— Вы были из нее выгнаны?

— Выгнан, ваше сиятельство, в семь часов вечера, осенью...

— За шалости, за беспорядочное поведение.

— Так угодно говорить господину Рейтеру, но я совсем не заслуживал, чтобы со мной поступлено было столь жестоко.

— Очень хорошо! Но ваша последняя соната написана была, без сомнения, так же не даром?

— Я получил за нее несколько флоринов, ваше сиятельство, но эти деньги отданы были моему благодетелю, моему другу Спанглеру, который принял меня к себе в дом, который уступает мне половину своей бедной пищи. Я не имею нужды в платье, потому что никуда не хожу, но я не могу не изъявить благодетелю своему, сколь я чувствителен к его дружбе: все, что ни имею теперь, принадлежит ему.

Такие добрые чувства тронули благородное сердце графини.

— За что же поссорился с вами господин Рейтер? — спросила она.

Иосиф с большим простодушием, но сохранив всю благопристойность, рассказал ей поступок Рейтера. Графиня ужаснулась; будучи предубеждена против Гайдена, она боялась ему верить, но, почитая дело возможным, решила воздержаться от заключений и познакомиться короче с молодым композитором.

— Вот 25 червонцев, — сказала она ему, — вы можете на эту сумму купить порядочное платье и нанять лучшую квартиру; заплатите свой долг господину Спанглеру, а ко мне ходить каждое утро: я намерена брать у вас уроки в пении и на фортепиано. Знайте, однако, наперед, что мы расстанемся, если услышу, что вы будете вести себя беспорядочно.

Гайден доказал, что эта угроза была совершенно бесполезная. Он любил музыку страстно и никогда ни к чему, кроме музыки, не имел сильной страсти. Графиня Тун не ограничила своих благодеяний мало-важными подарками; она видела Гайденов талант и хотела способствовать его образованию. Заметив, что Гайден еще не имел хорошего понятия о гармонии, она подарила ему Фуксово рассуждение³ о сем предмете, в то время славное и лучшее в Германии: Гайден не имел другого учителя. Она же поместила его в доме графа ***, богатого придворного человека. В этом доме написал он первые ноты, прославившие его в Германии и познакомившие с ним принца Эстергази⁴, который сделал его своим капельмейстером.

Его вступление в дом сего принца ознаменовано было происшествием, которое стоит замечания. Гайден должен был обедать за одним столом со всеми чиновниками княжеского дворца. В первые дни, по вступлении его в звание капельмейстера, дворецкий не выходил за стол по причине болезни; секретарь принцев велел Гайдену занять его место. Через несколько дней является сам дворецкий и, к удивлению своему, находит на своем месте капельмейстера.

— Кто осмелился дать мой стул этому молодому человеку? — спрашивает он с досадою.

— Я, — отвечает секретарь.

— Вы? Как это возможно! Уступлю ли я свое место простому мара-телю нот, едва начинающему служить Его светлости? Я, который несколько уже лет служу в этом доме и самому принцу?

— Везде, — отвечает Гайден, — где есть капельмейстер, почетное место должно принадлежать ему; это место мне дано, и я не позволю занять его никому другому!

Дворецкий, чрезвычайно раздраженный, берет прибор капельмейстера, ставит его на последнее место, а сам садится на то, которое назначено было для Гайдена. Секретарь, не говоря ни слова, снимает свой прибор и ставит его подле Гайденова, его примеру следуют и все другие — и дворецкий остается последним. Он бежит с жалобами к принцу. Эта ссора, весьма важная в Германии, где очень уважается этикет, опечалила принца Эстергази. Он призывает Гайдена и делает ему выговор.

— Вы оскорбили старинного и много почитаемого мною служителя моего. Я желаю, чтобы в доме моем царствовало согласие, а вы нарушаете его, не успев еще оказать никакой мне услуги.

Иосиф повторил сказанное им накануне о привилегиях капельмейстера. «Ваша светлость, — прибавил он, — я имел честь обедать у многих знатных господ; ни за одним не удавалось мне сидеть вместе с дворецкими, некоторые из них даже мне служили, не требуя от меня, чтобы я служил им в свою очередь. Я не имел намерения оскорбить вашего служителя — но его требования были слишком унижительны для человека, имеющего честь быть капельмейстером принца Эстергази». Принц улыбнулся и дал слово как-нибудь исправить это дело. И в самой вещи, взыскательный дворецкий на другой день уже не спорил о месте, и согласие за столом возобновилось по-прежнему.

Все лучшие ноты Гайденовы, и в особенности его неподражаемые симфонии, были написаны для принца Николая Эстергази, который умел привязать к себе Иосифа своим любезным характером, внимательностью, ласковым и благородным обхождением. Можно сказать,

что они соединены были искреннею дружбою и неравенство между ими исчезло. Но принц, чрезвычайно добродушный, подвержен был припадкам мрачной задумчивости, которая по временам делала его несносным для всех домашних; и в это время никто не осмеливался к нему приближаться; одно только могло возратить ему прежнюю веселость его — музыка и Гайден со своими симфониями был для принца Эстергази то же, что Давид с своею арфою для Саула⁵.

Случилось, что один из таких припадков продолжился более обыкновенного — все приступают к Гайдену с просьбою сочинить новую музыку, ибо гармония почитаема была самым действительным лекарством. Гайден пишет; симфония готова⁶; в антракте первого спектакля Гайден посылает по обыкновению своему доложить принцу, что он услышит новую симфонию, для него сочиненную капельмейстером. Оркестр начинает играть. Первая часть, быстрая, живая, блестящая, кончена — Гайден ожидает рукоплесканий и — не слышит ничего; оборачивается, смотрит на принца — принц молчит и пасмурен по-прежнему. Сокрывши досаду свою, Гайден велит оркестру продолжать, надеясь, что анданте произведет лучшее действие. Известно, каковы Гайденовы анданте; это было одно из лучших — оно сыграно — принц молчит; он мрачен, как и прежде. Остается менуэт, легкий, разнообразный, приятный — его играют. Гайден посматривает на принца, но принц, без всякого внимания сидит, нахмурясь, в углу своей ложи и совсем не занимается музыкаю. Гайден взбешен; хочет разбить скрипку, изорвать партицию, его удерживают, но финал симфонии сыгран без малейшего внимания со стороны композитора.

Во всю следующую ночь глаза его ни на минуту не смыкались; он встает очень рано и идет к принцу с бумагою в руках.

— Не с ума ли вы сошли, господин Гайден! — говорит ему комнатный служитель. — Вы знаете, что он в черном нраве, и что в этом положении никого к себе не допускает — а вам особенно теперь не советовал бы показываться на глаза его; он страшно сердит на вас, и никто не знает, за что.

— А я хочу, чтобы вы обо мне доложили! Великая мне нужда до его сердца!

Принцу докладывают о приходе Гайдена.

— Чего ему хочется? — спрашивает принц, — я не могу теперь ни с кем говорить; скажите, чтобы он ко мне написал.

— А я хочу говорить, — отвечает Гайден. И его впускают в кабинет принца.

— Вам угодно говорить со мною, господин говорун, милости просим, говорите!

Глаза принца сверкали, и все лицо его горело. Гайден спокойно и с большим равнодушием выслушал его упреки; наконец он замолчал. Гайден подает бумагу — и что же в ней написано? Что он не *требует*, а *берет* отставку. Это поразило принца, но он не сказал ни слова и, скрывши досаду свою, в ту же минуту подписал Гайденову просьбу и — Гайден отставлен.

Возвратясь к себе, он приказывает Плейелю, своему воспитаннику⁷, собрать весь оркестр. Музыканты сошлись. Гайден рассказывает им с большими подробностями о том, что происходило между им и принцем. Все одобряют его поступок, все восстают против несправедливого принца, который не умеет обходиться со своими служителями, не знает цену их достоинств; головы воспаляются, все, за исключением двух, хотят последовать примеру своего начальника и учителя; и вмиг написана просьба об отставке от имени всех музыкантов, которые все, не расходясь, подписали под нею имена свои, выключая одного глухого басиста и еще одного весьма посредственного скрипача. Бумага послана к принцу, который, еще не излечившись от болезни своей, и раздраженный *заговором* своих музыкантов, немедленно дал им общую отпускную, включивши в число уволенных и тех двух бедняков, которые не согласились подписать просьбу вместе с другими. Оркестр, по договору, предварительно сделанному с принцем, не мог быть распущен прежде прошествия года по утверждению отставки, но принц в досаде своей сказал *бунтовщикам*, что они могут оставить дом его через неделю, получив свое жалование за целый год.

Но в эту неделю пламенные головы заговорщиков успели прийти в спокойствие, и меланхолия принцева рассеялась. Гайден упрекал себя в опрометчивости; он чувствовал, что ему надлежало бы пощадить принца, которому болезнь служила извинением; сверх того, рассудок говорил ему, что он уже не найдет во всей Германии ни одного дома, в котором могли бы обходиться с ним так почтительно, в котором бы его так любили, как в доме принца Эстергази; и товарищи его так же начинали думать, что кредит их учителя не доставит им такого выгодного места, какое они имели в замке Эстергази; они говорили с сердечным сожалением и с похвалою о принце, которого любили и которого должны были оставить; самая выдача вперед годового жалованья казалась им новым знаком его великодушия (хотя этот поступок был не иное что, как следствие первой досады) — словом, все они были в великом горе, начиная с Гайдена до последнего волторниста; как быть и на что решиться? Гайден выдумал следующий странный способ.

В назначенный для отъезда музыкантов день приходит он к принцу и говорит ему, что он с своими учениками, в знак благодарности за все

прошедшие милости его, желает сыграть перед его сиятельством новую симфонию, на случай отъезда им сочиненную. Принц соглашается с удовольствием на предложение — зала освещена, как в день концерта — каждый музыкант садится на свое место — симфония начинается.

Первый пассаж, блестящий, веселый, быстрый играют все инструменты вместе — за ним следует скрипка. Гайден, который управлял оркестром, играет один — кончив пассаж, он спокойно встает с своего места, прячет скрипку в футляр, кладет ее на плечо и уходит. Удивленный принц приходит в беспокойство, вообразив, что капельмейстеру сделалось дурно; посылает с великою заботливостью спросить, что заставило его покинуть оркестр, не доиграв симфонии. Гайден велит доложить принцу, что он весьма благодарен за его милостивое к нему внимание, но что он просит его дослушать концерт. Симфония продолжается.

Надобно играть второй скрипке — она играет одна; по окончании пассажа скрипач встает, прячет скрипку свою в футляр, кладет ее на плечо, идет вон, и за ним следуют все другие скрипачи со скрипками на плечах; то же делают и первый гобоист, и первая флейта, и кларнет, и все прочие инструменты — каждый, доиграв свой пассаж, удаляется — остаются два бедные музыканта, те, которые не подписали просьбы — они начинают жалобный дуэт.

Принц Эстергази, в котором добросердечие одержало верх над самолюбием, с растерзанным сердцем, с полными слез глазами, бежит в ту залу, в которой собрались все музыканты, и восклицает, простерши к ним руки: «Друзья мои, старинные, добрые друзья мои! За что же вы меня покидаете? Вы чувствуете сами, что, будучи вашим принцем, я не могу просить у вас прощения, но и я также чувствую, что вам, как благородным артистам, нельзя просить прощения у меня! Разве нет уже никакого средства все исправить и сделать так, как будто бы ничего между нами не случилось?» Вместо ответа и капельмейстер, и ученики его бросились на колени пред принцем: он начал их обнимать, и все было навеки забыто.

Капельмейстер (это звание опять возложено было на Гайдена) обязан был не только сочинять музыку, но вместе и разыгрывать с оркестром своим все музыкальные сочинения других композиторов, и управлять труппою Итальянской Оперы. На Эстергазиевом театре весьма часто давали *Giulo Sabino*, большую Оперу Сартия⁸, которого Гайден много уважал, более, может быть, потому, что Сартиев слог, благородный и сильный, некоторым образом согласовался с Гайденовым талантом.

Сарти, проезжая неподалеку от замка Эстергази, не мог воздержаться, чтобы не взглянуть на человека, которого сочинениями он

восхищался: он непременно хотел познакомиться с Гайденом и, если можно, сделаться его другом. Был уже вечер, когда он приехал в замок; спрашивает Гайдена.

— Теперь невозможно его видеть; он в театре, управляет оркестром; принц вошел уже в свою ложу.

— Не могу ли я найти места в театре?

— Очень можете: нам приказано впускать всех иностранцев.

— Какая дана будет опера?

— «Армида», лучшая из всех Гайденовых опер⁹.

Сарти не слышал ни одной Гайденовой оперы; он входит в театр с большим любопытством, садится подле оркестра. Играют первый акт: Сарти слушает; красота многих мест приводит его в восхищение, он хлопает без памяти, но, в конце второго акта он забывается, прыгает через лавку в оркестр, бросается на шею Гайдену. «Сарти обнимает тебя, Сарти, который хотел увидеть великого Гайдена, который удивлялся прекрасным его творениям, не надеялся найти ничего их прекраснее, и теперь еще сверх всякого чаяния нашел “Армиду”». Принц, увидя в оркестре такой беспорядок и по причине отдаления не слыша ничего, испугался.

— Что такое? Что случилось? — закричал он из ложи.

— Юлио Сабино! Юлио Сабино! — отвечал Гайден (также приведенный в восторг). — Юлио Сабино, сочинитель неподражаемой оперы, Сарти пришел поглядеть на своего друга Иосифа!

И эта минута была основанием теснейшего союза между сими великими музыкантами.

Восхищение, произведенное в Сарти Гайденовою «Армидою», было искренно — эта «Армида» есть самое лучшее драматическое сочинение Гайдена. Странно то, что он никак не хотел выдать ее в свет, а берег для одного себя, как некоторое сокровище: непонятная скупость, которая едва не была наказана самым жестоким образом.

Гайден имел один только манускрипт своей оперы. Всякий раз, когда надобно было играть «Армиду», он отдавал этот манускрипт своему кописту, который передавал его музыкантам, и на другое утро опять приносил к самому Гайдену. Плейель, любимый гайденов ученик, желая рассмотреть с большим вниманием это превосходное произведение, просил у него позволения списать «Армиду» для себя — но Гайден не только отказал, но даже не согласился, чтобы его воспитанник при нем пробежал глазами ноты. Плейель замолчал, но через несколько времени, когда уже Гайден совсем забыл о его просьбе, предложил он кописту двадцать пять червонцев за верный список «Армиды», что очень было легко ему сделать, имея часто в руках своих оперу. Копист,

зная Плейелеву честность и также зная, что он не употребит во зло его доверенность, сверх того будучи обольщен червонцами, списал «Армиду» — наконец она в руках у Плейеля.

Однажды — это случилось в то время, когда в замке Эстергази театр бывает закрыт и место спектаклей заступают другие увеселения — Гайдена, по поручению принца, должен был несколько недель прожить в соседственном городе. На другой день по отъезде его сделался в Эйзенштате, обыкновенной резиденции принца, пожар; загорелось в той самой части города, где жил Иосиф; пламя, усиленное ветром, охватило дом его, который весь обратился в пепел с мебелью, бельем, платьем, и, словом, все небольшое имение Гайденово исчезло.

Принц, находившийся в Эстергази, узнав о несчастье, случившемся в резиденции, спросил о Гайденовом доме. Ему сказали, что он сгорел. Тотчас призывает он построить с возможною поспешностью, на том же самом месте, такой же точно дом, запретив уведомлять Гайдена о пожаре. Потом призывает к себе Плейеля. «Никто лучше вас, — говорит он ему, — не знает, как был расположен внутри и снаружи дом моего доброго Иосифа; вам поручаю ехать в Эйзенштат и смотреть за построением нового дома его; старайтесь, чтобы он совершенно похож был на старый. Но этого не довольно; вы должны знать, что у него было — какие мебели, вещи, белье, и сколько: прошу вас, чтобы все это приготовлено было вместе с домом; чтобы новые стулья, комоды, столы, шкапы стояли на месте старых; и чтобы не было между ими никакой разницы; посуда, белье, платье, словом сказать, все должно быть по-старому — прошу вас не забыть ни малейшей безделицы — издержек не жалеете, у вас будут деньги. Надобно ж мне что-нибудь сделать для того человека, который себя не щадит для моего удовольствия».

Плейель исполнил в точности приказание любезного принца. Возвращение Гайдена в Эйзенштат было отсрочено, чтобы дать время все изготовить. Наконец все готово. Гайдена приезжает в замок Эстергази; дорогою рассказывают ему о пожаре; он в страшном огорчении. «В одну минуту потерять все, что я собирал в течение нескольких лет своею экономией! — так думал он. — На что я построю новый дом? Скоро ли заведу все нужное для хозяйства? А платье, белье, мебели? Все это будет новое, а я так было привык к старому. Теперь несколько лет не буду иметь ничего, что составляло до сих пор лучшее мое утешение!» Он просит у принца позволения немедленно отправиться в Эйзенштат, но принц велит ему остаться в замке, не сказавши для чего (дом был еще не совсем прибран). Гайдена сердится; называет принца капризным; хочет уехать без позволения — наконец через

неделю дают ему отпуск; он едет в Эйзенштат вместе с воспитанником своим Плейелем.

Они идут по той улице, где был пожар. Гайден видит множество работников, занимающихся построением новых домов — вдруг глазам его представляется отделенный от других дом; по правую и по левую стороны его развалины и пепел; он один невредим между обломками... «Друг мой, Плейель! Не обманываюсь ли я? Это мой дом! Кто же сказал мне, что он сгорел?.. Вот мой сад; мои окна; и перед ними цветник; ставни и дверь как будто снова перекрашены! (он приближается к дому с сильным трепетанием сердца) Я и ключ взял с собою на всякий случай: отвори!» Но ключ не отпирает.

— Позвольте мне, я отопру скорее, вы дрожите.

Плейель проворно переменяет ключ; дверь отперта; они входят.

— Все это мои мебели! И как чисты! Верно, присмотр без меня был хороший!

Он отпирает шкаф.

— Вот и белье; счет верен — все в целости! Но Плейель! Белье новое! Что это значит?

Тут ученик обнял учителя и рассказал ему, каким образом принц велел перестроить его дом, заменить старые мебели, старое белье, старую посуду новыми; как он все придумал и обо всем заботился. Гайден заплакал — бросился к Плейелю на шею — потом, окинув взглядом новое свое владение, велел как можно скорее везти себя в Эстергази. Увидя принца, не мог он воздержаться, чтобы не упасть пред ним на колени. Можно вообразить, как усилилась после такого нежного, великодушного поступка его привязанность к любезному благотворителю.

Но скоро Плейель начал замечать, что добрый Иосиф весьма печален, что печаль даже вредила его здоровью.

— Что с вами сделалось, любезный наставник? — спросил он. — Я не могу угадать причины вашего уныния: дом ваш сохранен, и вместе с ним возвращено вам все ваше имение; о чем же вы можете сожалеть?

— Ах, мой друг! Все это, что уничтожил пожар, могло быть возвращено мне милостью принца; но ни он, никакая земная власть не могут мне возратить потерянной моей драгоценности, моей «Армиды», которой полная партиция, единственная в целом мире, находилась у меня в кабинете и вместе с ним сгорела!

Удовольствие изобразилось на лице Плейеля. Гайден оскорбился.

— Что это значит, Плейель! Ты забавляешься над моею горестью; ты весел, когда я страдаю!

— И имею причину быть веселым, мой почтенный Гайден! Я имею теперь способ сделать на минуту счастливым того, кому обязан сча-

ствием всей моей жизни. Вы, верно, помните, что я просил у вас списка «Армиды» и что вы мне отказали, но я имею этот список: я подкупил вашего кописта, который за двадцать пять луидоров списал мне «Армиду»; она у меня — полная партиция, которую всякий день перечитываю с новым удовольствием, но я еще с большим удовольствием уступлю ее вам, если только вы дадите слово на меня не сердиться!

— Мне на тебя сердиться? Боже мой! Ты возвратил мне спокойствие и жизнь!

В самом деле, Гайден опять сделался и здоров, и весел, как скоро увидел свою «Армиду», и дружба его к Плейелю увеличилась.

И сия дружба никогда не изменялась, самая разлука не могла ее ослабить. Плейель должен был оставить своего учителя и ехать в Стразбург, где он на время и поселился. Вскоре после разлуки своей с Гайденом написал он две сонаты, которые очень полюбились охотникам до музыки и которые прислал он в манускрипте к своему учителю. Этот подарок, дань благодарности, едва не поспорил двух человек, созданных любить друг друга и уважать. В то самое время, в которое Гайден получил Плейелевы ноты, приходит к нему лондонский купец Форстер, имевший в Лондоне музыкальный магазин, и просит *трех новых сонат его сочинения*, предлагая ему хорошую плату, с тем только, чтобы эти сонаты были написаны как можно скорее. Гайден, будучи занят в то время важною работою, которой не хотел прерывать для безделицы, но также не желая и лишиться себя предлагаемой ему суммы, отдал Форстеру *одну* сочиненную им недавно сонату с *двумя* присланными ему от Плейеля, которые выдал за свои, будучи уверен, что Плейель не захочет с ним спорить. В то же почти время один из товарищей Лонгмана и Бродерипа, содержателей другого музыкального магазина в Лондоне, случился в Стразбурге: плейелевы сонаты были всеми прославляемы, и особенно всем нравились две посланные к Гайдену. Англичанин приходит к Плейелю, покупает у него некоторые манускрипты и, между прочим, желает, чтобы он уступил ему и две *сонаты*. «Я не могу этого сделать, — отвечает Плейель, — эти две сонаты написаны мною для моего учителя; я не желаю никакой за них платы, кроме его благодарности и одобрения!» — «По крайней мере, позвольте дать их в свет для славы вашего имени». — «На это соглашаюсь, хотя большой славы себе и не предсказываю». И сонаты отданы.

И Гайденовы *три* сонаты, и Плейелевы *две* явились в Лондоне почти в одно время. Первый покупатель, удивленный, что Лонгман и Бродерип осмелились продавать Гайденову музыку под именем Плейеля, позвал их в суд, но Лонгман и Бродерип, с своей стороны, удивлялись, как можно было называть Гайденовыми те сонаты, которые Плейель

написал в Стразбурге, и отвечали на обвинения Форстера таким же точно обвинением. Известно, как строги английские законы касательно перепечатания книг или нот: все любители музыки в Лондоне обратили внимание на этот процесс и были весьма любопытны узнать его развязку.

В самое это время наш капельмейстер, призываемый в Лондон¹⁰ теми же самыми любителями музыки, умевшими удивляться его таланту, приезжает в сей город, взяв отпуск у своего принца. Ему рассказывают о процессе, и он приходит в великое замешательство, вспомнив, что две сонаты написаны точно не им, а Плейелем, которого он и забыл предупредить о употреблении, сделанном из его подарка. Но в это время и Плейелю, который не знал, что учитель его в Лондоне, захотелось увидеть этот город. Узнав, что Гайден находился в нем, поспешил он его навестить. Они объяснились и, не желая вредить друг другу, не знали, что сказать судьям, перед которых призывали их Форстер и Лонгман; они решились сказать истину, которая всегда и во всех обстоятельствах служит нам лучше, нежели хитрость и ложь. Купцы и судьи отдали справедливость прямодушию обоих композиторов; процесс прекратился; Гайден заплатил убытки (которые, правду сказать, в Лондоне чрезвычайны); сверх того подарил Форстеру три сонаты и Лонгману с компанией также три — и все остались довольны.

Гайден был капельмейстером принца Николая Эстергази по самую смерть его; по смерти же его звание и содержание капельмейстера (состоящее в денежном жалованье и годовом запасе) остались при Гайдене, хотя он уже не имел никакой обязанности; так было определено принцем Эстергази в его духовной.

Удивительно, что Гайден, столь славный своими творениями и не имевший соперника в инструментальной музыке, не был сделан главным капельмейстером императора, но это покажется удивительнее, когда вспомним, что этот император был Иосиф II¹¹, просвещеннейший монарх своего времени, покровитель искусств, истинный философ. То правда, что Гайден, более привязанный к своему таланту, нежели к своей фортуне, довольный своим жребием и по скромности не способный думать, что он достоин взойти на блистательнейшую степень, ничего не искал и не умел бы искать, но разве император его не знал? Разве не мог он первый, без всякого постороннего внушения пожелать добра великому художнику? Иосиф II никогда не забывал награждать достоинства; он не забыл и Гайдена; точно хотел наименовать его своим капельмейстером — но сему воспрепятствовали. Вот как это случилось.

Капельмейстером императора и вместе кафедральной церкви был в то время некто Газман, человек без всякого таланта¹², но искусный

интриган, завистливый, низкий, коварный и тем более опасный, что все сии пороки были прикрыты личиною добродушия и честности; сему человеку сообщил император свое намерение сделать Гайдена товарищем его в управлении обоими оркестрами. Газман, которому такое товарищество было страшно, отвечал императору с притворным своим прямотушием: «Ваше Величество, я люблю Гайдена и рад такому хорошему сотруднику, но почитаю обязанностью дать вам настоящее понятие о таланте его. Правда, что он очень славен и что он в некоторых отношениях заслуживает славу свою, но он не имеет никакого воображения; он крадет чужие мысли и переделывает их так искусно, что они остаются заметны для одних только знатоков музыки, проникнувших во все ее тайны. Никакая музыкальная новость не ускользнет от его внимания: слушая музыку, он записывает все те пассажи, из которых может сделать какое-нибудь употребление для себя, пользуется чужим добром и выдает его за свое. Не угодно ли, чтобы я доказал это Вашему Величеству? Завтра будет дана новая опера; автор ее имеет великие достоинства; я посажу Гайдена против самой ложи Вашего Величества, и вам легко будет замечать за ним во все продолжение оперы». Иосиф согласился на предложение Газмана.

В самом деле Газман пригласил Гайдена в оперу, предварив его, что он будет сидеть против самой ложи императора, которого он давно желал видеть. Вечеру пошли они в театр вместе. За несколько минут до увертюры Газман начинает шарить в кармане и вдруг восклицает как будто в досаде:

— Какой я ветренный! Забыл свои очки и свою музыкальную записную книжку! Император приказал мне заметить для концертов его все лучшие пассажи этой оперы, которая дается в первый раз; не с вами ли ваша?

— Со мною, — отвечает Гайден, — я никогда не хожу без записной книжки (Газману было это очень известно); она необходимо нужна мне для записывания мыслей, которые в голове моей пролетают.

— Возьмите ж на себя труд, — продолжает предатель, — записывать темы тех пассажей, которые вам будут назначать.

Гайден согласился. Опера началась. Всякий раз, когда попадались блистательные места или мысли оригинальные, Газман толкал коленом Гайдена (условленный между ими знак), и Гайден принимался записывать — император все видел, и в эту минуту невинный Гайден потерял во мнении его все достоинство. Мог ли Иосиф вообразить, чтобы его так бессовестно обманывали? Впрочем, и то удивительно, как мог Иосиф поверить Газману, когда целая Европа была судьбою Гайденовых дарований. Сколько голосов возопили бы против вино-

вного, когда бы слава его была основана на одних только похищениях! И где найти столько прекрасных мыслей, чтобы составить из них такое множество произведений превосходных!

С французского. В.

РОЗЫ МАЛЬЗЕРБА

Ламораньон Мальзерб¹, которого одно имя напоминает вам о добродетели, человек самый добродушный, скромный философ, честный судья, великий натуралист, наконец (чтобы все изобразить одним словом), неустрашимый защитник Людовика XVI, Ламораньон Мальзерб проводил обыкновенно некоторую часть лета в прекрасном замке Вернеле, неподалеку от Версаля. Это время было для него отдохновением от важных занятий государственных. Мальзерб был великий охотник до цветов; особенно любил он одну беседку из белых роз, им самим воспитанных. Эта беседка находилась в тенистой роще и украшала уединение министра-философа.

— Посмотрите на мои розы, — говаривал он иногда своим друзьям, посещавшим его рощу, — они удивительно свежи и пышны!

Однажды Мальзерб встал ранее обыкновенного и пошел в свою беседку. Солнце еще не всходило. Дни были тогда самые долгие. Мудрец в глубине души наслаждался величием пробуждающейся природы. Вдруг слышит он легкий шорох: сначала думает, что это олень, робко пробирающийся между деревьями; смотрит: глазам его представляется молодая крестьянка с горшком молока на голове, с кружкою в руках; она приближается к источнику, снимает с головы горшок, ставит его на землю, наполняет кружку свою водою, идет к розовой беседке, поливает один куст белых роз; возвращается к источнику, поливает другой куст, потом третий и, наконец, все до одного напоены животворною влагою.

Мальзерб между тем сидел очень спокойно на дерновой скамейке, закрытый розовыми кустами, смотрел на молодую поселанку и сам не понимал, отчего происходила такая нежная попечительность о его розах. Девушка была прекрасна собою; в глазах ее изображались добродушие и веселость; живой румянец украшал ее щеки. Наконец она опорожнила последнюю кружку воды, начала подымать горшок с молоком и готова была совсем удалиться. Мальзерб выходит из своего убежища; поселанка испугалась и закричала.

— Кто заставил тебя, друг мой, — спросил Мальзерб, — заботиться о моих розах?

— Ах, сударь, — отвечала крестьянка с великою робостью, — уверяю вас, что я приходила с добрым намерением: я не одна это делаю; нас много; нынче моя очередь!

— Как твоя очередь?

— Так, сударь; вчера была здесь Лиза, а завтра будет Перетта.

— Объяснись, мой друг, я тебя не понимаю!

— Поневоле надобно будет все открыть, когда вы сами меня здесь увидели. И правду сказать, вам не за что будет на нас и сердиться... Надобно вам знать, сударь, что мы все, сколько нас ни есть в околотке, видя, как вы любите свои розы и как вам весело за ними смотреть, собрались однажды вместе и сказали друг дружке: наш господин Мальзерб такой добрый, ласковый, благодетельный; надобно чем-нибудь доказать ему, что мы его любим и что те люди, к которым он так милостив, имеют сердца благодарные! И было у нас положено, чтобы наши деревенские девушки, не моложе пятнадцати лет, каждая в свою очередь, приходили на это место с кружкой и поливали прекрасные белые розы водой из ближнего источника! Эти розы садил наш отец, наш друг, как же нам не хотеть, чтоб они цвели лучше других!.. Вот уже четыре года, как это заведено у нас в околотке, и теперь каждая наша девушка с нетерпением ждет пятнадцати лет, чтобы иметь честь поливать розы господина Мальзерба.

Эта повесть, рассказанная с милым простосердечием, тронула доброго Мальзерба. Никогда он не чувствовал так живо всей своей славы. «Теперь я не удивляюсь, — подумал он, — отчего розы мои всегда так живы и свежи».

— В благодарность за то, — сказал он молодой крестьянке, — что ты и подружки твои поливают мои розы, обещаюсь посещать эту беседку всякий день; она сделалась для меня вдвое любезнее, потому что всегда будет напоминать мне о вашей дружбе.

— Я этому очень рада и с нынешнего дня буду пасти свое стадо всегда около этих мест, чтоб на вас насмотреться, петь для вас наши деревенские песни, а иногда и поговорить с вами о том и о другом, если только это не будет вам противно.

— Ах, мои друзья, приходите ко мне смело; открывайте мне свои нужды; требуйте от меня помощи в несчастиях: я буду их облекать; если случится между вами ссора, я буду у вас миротворцем; ежели неравенство состояний препятствует какому-нибудь счастливому супружеству, берусь уничтожить все затруднения; словом, почитайте меня истинным вашим другом.

— Если так, то вы, сударь, никогда не останетесь без дела; и я сама через несколько времени приду попросить вас кое о чем... Но я и забыла

совсем, что матушка меня дожидается, что мне надобно поскорее продать свое молоко и возвратиться к ней с деньгами. Простите, сударь!

— Одно слово, мой друг, как тебя зовут?

— Сюзетта Бертран, к вашим услугам!

— Послушай, милая Сюзетта, отдай своим подружкам...

— Ах нет, нет, сударь, не прогневайтесь, ваши деньги нам не надобны; они испортят все наше удовольствие...

— Правда твоя, Сюзетта; я всем именем своим не могу заплатить за то, что вы для меня делаете. По крайней мере, ты позволишь мне себя поцеловать и дать мне слово перецеловать за меня всех подружек своих. Скажи им, что они украсили последние дни слабого старика; что их милая дружба осталась навсегда у меня в душе.

При сих словах старец Мальзерб поцеловал крестьянку в розовую щеку, а Сюзетта присела перед ним и побежала в город, не помня сама себя от восхищения.

Мальзерб любил рассказывать этот анекдот... Несколько дней спустя после его свидания с Сюзеттою (это случилось в воскресенье) услышал он, что вся деревня должна собраться перед его беседкою и что на том самом месте будет пляска. Прощай, мои розы, сказал любезный мудрец. Можно ли вообразить, чтобы которому-нибудь из молодых крестьян не вздумалось подарить свою красавицу прекрасным цветком или чтобы которой-нибудь из крестьянок не пришло в голову украсить розою свой корсет! Но им будет весело; они станут обо мне говорить; я увижу их всех вместе, довольных, счастливых; я буду забавляться их играми; потеряю десять или пятнадцать роз; какая нужда: разве удовольствие не стоит роз? А мое удовольствие будет самое чистое!

Но, опасаясь, чтобы его присутствие не отняло некоторой свободы у веселящихся и не воспрепятствовало им в полноте насладиться тем счастьем, которое обещал им ясный день, он не пошел в тот вечер, по обыкновению своему, в беседку, зато на другой день отправился в нее гораздо ранее, любопытствуя узнать, как велико было разорение, причиненное в ней праздником, и вооружившись на всякий случай лопаткою, чтобы *загладить следы разорителей*... Но как же он удивился, когда все нашел в прежнем порядке! Розы были все до одной целы; место, на котором происходила пляска, подметено было весьма чисто; дерновая скамья сохранила всю свою свежесть; и над входом беседки висела выплетенная из незабудок надпись: *нашему другу*. «Как, — сказал он самому себе с чувством, — розы мои посреди веселья шумной и многочисленной толпы сохранены были, как нечто святое. Какое счастье быть так любимым! Этой беседки не променяю на самый великолепный дворец в мире!»

В следующее воскресенье Мальзерб собрался идти на сельский праздник, хотя несколько опасался испортить его своим присутствием. В это самое время камердинер докладывает ему, что в замок пришла молодая крестьянка, которая, заливаясь слезами, просит, чтобы ее к нему допустили. Мальзерб приказывает ее ввести.

— Что с тобой сделалось, моя милая? — спрашивает он у печальной.

— Ах, сударь, надобно вам прежде сказать, что нынче был мой черед поливать ваши розы.

— Что же с тобой случилось?

— Великое несчастье — нынче именинница моя крестная мать, у которой я живу и которая меня воспитала, потому что я бедная сирота. Я подумала, что никто не увидит, и сорвала одну из ваших роз, несмотря на то, что обещалась их не трогать! Но мне хотелось подарить эту розу мою крестную мать.

— Одну розу, — сказал Мальзерб, улыбаясь, — какое важное похищение!

— Ах, Боже мой, очень важное; теперь прости мое доброе имя! Никто не захочет и посмотреть на меня в нашей деревне!

— Почему ж ты так думаешь?

— Томас Латрель, этот негодный пьяница, который подсматривает за молодыми крестьянками, как волк за овцами, увидел, что я сорвала розу, рассказал об этом нашим молодым поселянам, и теперь на празднике никто не хочет со мною плясать... Они все в один голос положили, чтобы мне целый год не ходить поливать ваших роз и не плясать перед вашей беседкою. Крестная мать моя за меня вступилась, однако напрасно; все говорят одно, и даже сам Бастиан с ними согласен... Бастиан... подумайте, сударь, что будет со мною, если мне целый год не плясать на праздниках наших! Бастиан меня разлюбит, и я на всю жизнь останусь в девках!

— Такое наказание уж слишком жестоко. Успокойся, мой друг; я надеюсь, что тебя простят из любви ко мне. Пойдем. Дай мне руку. Я никогда не откажусь быть защитником обвиненного.

Они идут вместе. Мальзерб с жаром вступает за преступницу. Роза (имя ее) плачет; наконец, после многих отговорок, соглашаются ее простить. Министр подводит ее к Бастиану, просит, чтобы он пошел с нею плясать и обещает ей хорошее приданое; и Сюзетте Бертран, той миловидной молочнице, которая первая открыла тайну поливания роз, дано было также приданое; обе счастливые четы соединены были в один день, и обе новобрачные, по желанию Мальзерба, украшены были в этот день его розами. Он положил, чтобы с того времени между вернельскими поселянами было обыкновение украшать каждую девушку,

выходящую замуж во время цветов, букетом белых роз из Мальзербовой беседки. «Эти розы, — говорил он, — останутся знаком вашей ко мне любви и моей к вам благодарности; они должны напоминать вам о вашем друге: смотря на них, будете думать, что я с вами, и, благодаря сему воспоминанию, я всегда буду свидетелем блаженнейших минут вашей жизни»

И это обыкновение, или лучше сказать, этот трогательный обряд воспоминания, существует в деревне Вернель еще и поныне: молодые супруги почитают священными букеты из белых роз. Мальзерба уже нет; но беседка, насажденная рукою его, в полном цвете, и поселанки вернельские по сию пору берегут, как некоторую святыню, *Мальзербовы розы*.

ОБРАЗЕЦ СВЯЗИ В РАЗГОВОРАХ ОБЩЕСТВА

Очень было забавно — сказал мне однажды Б* — читать разговор нескольких светских людей, записанный, верно, каким-нибудь искусным тахиграфом (скорописцем). Я не говорю о рассуждениях людей ученых, которые не разговаривают, а методически сообщают друг другу мнения свои о том или о другом предмете; я разумею здесь обыкновенный разговор в так называемом большом обществе между умными светскими людьми, где быстро и без всякого приготовления переходят от одного предмета к другому, где не кстати и кстати рассказывают вам анекдоты; где за рассуждением о славном сражении следует непосредственно критика оперы; где, после разговора о бессмертии души, начинают рассказывать о чудесных подвигах Франкониева оленя¹; где находят средство соединять религию с дурным тоном, делать забавным печальное и рассуждать с легкомысленностью о важном.

И скоро после сего разговора моего с Б* случилось мне быть в одном обществе, где я нашел N* и еще трех знакомцев моих, безжалостных рассказчиков, которые, без сомнения, не были бы приняты в доме покойной Ниноны Ланкло², как известно, большой неохотницы до таких людей, которые ко всему, кстати и не кстати, готовы рассказать анекдот. Один из этих говорунов был кавалер Дормон, другой аббат Тарвиль, а третий советник Фламинкур. Вот их разговор, который записал я так точно, как слышал:

N***

Очень рад, что нашел вас, государи мои, всех вместе! Я хочу узнать ваше мнение о происшествии, которое на сих днях со мною случилось. Некто, известный вам человек и страшный силач, сказал мне преве-

ликую грубость. Я потребовал от него удовольствия. Что же он отвечал? — «Мне случалось побить нескольких неучтивцев, но драться я не соглашался и никогда не соглашусь ни с кем. И не смешно ли человеку с моею силою отдавать жизнь свою на произвол случая?» — Желая знать, что бы вы сделали на моем месте?

Аббат Тарвиль

Я сделал бы то же, что герцогиня Форкалькье³.

Н***

А что сделала герцогиня Форкалькье?

Аббат Тарвиль

Она была очень хороша лицом и в ребячестве очень остроумна — зато в зрелом возрасте это остроумие несколько притупилось. На пятнадцатом году выдали ее замуж за герцога Форкалькье, который, будучи уже в летах, обходился с женою как с ребенком. Они находились в Ренне⁴, где герцог имел открытый дом и жил весьма пышно. Однажды случилось, что он, заспорив весьма горячо с молодою женою, дал ей пощечину. Герцогиня, ужасно рассердившись, велела заложить карету и тотчас поехала к адвокату города советоваться о разводе с мужем. Юри-сконсульт осуждал грубость старого Титона⁵, говорил учтивости любезной челобитчице, но в заключение объявил ей, что пощечина, будучи ей дана без свидетелей, не может служить достаточным документом и что она не получит удовлетворения от законов. Герцогиня, весьма недовольная приговором адвоката, едет домой, одевается для принятия гостей, званных ее мужем, и, дождавшись того времени, когда уже все съехались, идет в гостиную, в которой находилось весьма много и мужчин, и женщин, приближается к своему мужу, сидевшему в кругу гостей, и говорит: «Объявляю Вашей Светлости, что я все утро провела у адвоката, с которым советовалась, каким бы средством наказать вас за оскорбление, вами мне сделанное. Но он объявил мне решительно, что ваша пощечина не может послужить мне ни к чему, почему я рассудила возвратить ее Вашей Светлости». За этими словами последовала жестокая пощечина; потом герцогиня обратилась к своим гостям и начала разговаривать с ними, как будто совсем ничего не случилось.

Н***

Итак, вы думаете, что мне надобно сказать грубость моему оскорбителью?

Советник Фламинкур

Но согласитесь, что хладнокровие герцогини Форкалькье чрезвычайно удивительно!

Кавалер Дормон

Ваш анекдот, г. аббат, *напоминает* о господине д'Аржансоне⁶. Однажды к вечеру этот министр приезжает к своей жене в такую минуту, когда она совсем его не ожидала; он идет прямо в ее спальню и находит с нею принца Ларреньского⁷. Д'Аржансон нимало не смущался; с обыкновенным своим хладнокровием приближается он к принцу и спрашивает: не угодно ли Вашему Высочеству, чтобы я кликнул своего камердинера, который может помочь вам одеться? Принц, не зная что отвечать, накидывает на себя кафтан и идет в двери; д'Аржансон берет с важностию свечу и провожает Его Высочество до самой кареты. На лестнице принц останавливается, хочет сказать что-то в свое извинение. «Вашему Высочеству угодно шутить, — отвечает д'Аржансон — могу ли я сердиться за то, что вам рассудилось приласкать мою жену, когда я сам точно таким же образом ласкал некоторых высоких дам вашей крови?» Это и правда; г. д'Аржансон был очень хорош собою и очень счастлив в женщинах! На другое утро является он к королю.

— Ваше Величество, я имел счастье вступить в новый орден!

— В какой?

— В орден рогатых мужей!

— Каким образом это могло случиться?

Д'Аржансон описывает встречу свою с принцем Лорренским. Король очень много смеялся и на другой день приказал г-же д'Аржансон ехать в монастырь, в котором она, однако, прожила недолго.

Н***

Поступок д'Аржансона очень благоразумный, но мой противник не принц Лорренский.

Аббат

Министр поступил в этом деле, как философ и как придворный, весьма увертливый и тонкий.

Советник Фламинкур

Господа придворные никогда не теряют присутствия духа. Это *напоминает* о санском архиепископе⁸.

Кавалер Домон

Верно, хотите вы рассказать нам о женитьбе его брата.

Советник Фламикур

Вы отгадали.

Аббат

Очень любопытен слышать эту историю.

Советник

Надобно вам прежде знать, что некто г. Перине имел искусство продавать ежегодно в Париже великое множество вина, не платя за то никому ни марда. В короткое время сделался он страшный богач. Генеральные откупщики, которых он обманывал, приведенные в ужас его искусством и не имея никакого средства его поймать на деле, решились обратиться к нему самому. Они сказали господину Перине:

— Мы принуждены признать себя побежденными; вред, который приносите вы откупу, так велик, что мы готовы купить у вас вашу тайну — предлагаем вам миллион с единственным условием, чтобы вы оставили торговлю.

— Я недоволен, милостивые государи, миллионом, требую, чтобы вы дали мне сверх того и место генерального откупщика.

Господин Перине твердо настоял в своем требовании, которое, наконец, было исполнено, и он с миллионом получил и место генерального откупщика. Санский архиепископ услышал об этом происшествии; богатство господина Перине ослепило его; ему известно было также, что новый Крез имел прекрасную дочь, которая жила в Нормандии⁹. Родственники архиепископа были недостаточны; почему он и вздумал женить на девице Перине своего брата Ломени де Бриенна. Но Крез с ним не знаком; начинать знакомство значило бы весьма не кстати откладывать такое дело, которое никак не терпело отлагательства: могли бы представиться женихи и перебить у искателя дорогу. Что же он сделал? Садится в карету, едет в Нормандию, дает сто ефимков постильону, чтобы он изломал колесо почтовой кареты у самых ворот Перинетова замка — так и сделано — карета упала — бегут в замок просить помощи, сказывают: этот путешественник есть знатный человек, архиепископ санский; он едет лечиться морскими банями. Господин и госпожа Перине выходят на встречу к несчастному прелату. «Не убились ли вы, милостивый государь? Покорно просим пожаловать в замок!» Одним словом, наш рыцарь в замке; живет в нем неделю, две; пленяет всех

своим умом, своею любезностию; все от него в восхищении; и наконец Перине соглашается выдать свою дочь за господина де Бриенна.

Кавалер Домон

Аббат Ломени был всегда очень изобретательного ума человек.

Советник

Он с малолетства уверен был, что судьба определила ему сделаться и богатым, и знатным, хотя, впрочем, его фамилия не была ни весьма древнею, ни весьма уважаемою при дворе.

Аббат

То, что вы рассказали нам об нем, уверяет, что он имел бы весьма хороший талант комического актера, когда бы вступил на театр.

Советник

И в самом деле, один из наших стихотворцев воспользовался сценою изломанного колеса.

Кавалер Дормон

Это напоминает об его замке. Он учился в семинарии Св. Сульпиция¹⁰ и был еще простым бакалавром. В одну ночь приснилось ему, будто он строит замок архитектуры прекрасной и весьма обширный — это показалось ему предвещанием приятным. Он посылает за архитектором, рассказывает ему сон свой и просит, чтобы он сделал план виденного им замка, которого расположение описывает весьма подробно. Архитектор сначала вообразил, что бакалавр помешался. «Я имею честь быть с вами знакомым, — сказал он, — вы не имеете способа построить такой огромный замок». «Что нужды, — отвечает мечтатель, — я не знаю, когда он построится, но это непременно должно случиться. Теперь покамест построим план, за который прошу вас принять от меня деньги». Архитектор наконец согласился сделать план, и бакалавр при всякой новой честолюбивой мысли, при всяком новом успехе раскладывал его перед собою на стол и думал о своем будущем величии. Наконец интриги его были увенчаны успехом, он сделался архиепископом санским, и замок построен.

Советник

Ничто так не кажется удивительным, как сии следствия, заранее предвиденные и открывающиеся нам, так сказать, в каком-то проро-

ческом вдохновении, но все это очень естественно и кажется несколько чудесным только от того, с какой точки зрения мы на него смотрим.

Аббат

С большим умом и с худюю логикою не мудрено и самые важные происшествия выводить из причин самых мелких.

Советник

Это напоминает об осле, которого известный Бомарше называл своим благодетелем.

Кавалер Дормон

Конечно в шутку?

Советник

Нет! Без всякой шутки. За несколько дней перед ужасным возмущением, 3 Сентября, Бомарше нашел перед воротами своего дома осла, навьюченного огородною зеленью, которую продавала молодая деревенская девушка. Бедный скот был ужасно худ, кожа да кости, едва держался на ногах и часто наклонял голову, чтобы вырвать клоч соломы из кузова крестьянки, которая безжалостно его отталкивала. Сочинитель «*Севильского цирюльника*» сжалился над мучеником. Он выслал слугу купить несколько зелени у крестьянки, а сам вышел к воротам и начал из своих рук кормить осла сеном. Через несколько минут приходит к Бомарше один из его соседей с известием, что его почитают подозрительным, что в доме его скоро будет сделан обыск и что он должен спасаться, не медля ни минуты. Но Бомарше промедлил, дом его уже полон вооруженных людей; он едва успел спрятаться за шкаф; входят, ищут везде — один из алгвазилов отворил шкаф, и Бомарше почитал уже себя погибшим, но этот один был лучший его друг, который, надеясь быть ему полезным, пришел в его дом вместе с революционными инквизиторами... «*Они будут здесь опять нынешнею ночью, — шепнул он, — постарайтесь, чтобы вас не застали*». Бомарше пользуется добрым советом — бежит через сад, — но уже на дворе ночь; улицы наполнены патрулями. Как от них избавиться? Всего безопаснее уйти из Парижа — и ему удалось пробраться через одну заставу, где стража была не такая крепкая, как на других. Вот он на открытом поле; дождик льет ливня — где найти убежище? Везде отказывают ему с жесткостью! В одной лачужке блеснул огонь — Бомарше приближается к окну. «Впустите, ради Бога!» «Как не впустить! — отвечает суровый голос. — Теперь

глухая ночь, много бродяг шатается по дорогам; всех не пригреешь». Бомарше повторяет просьбу свою: «На дворе так ненастно! Холодный ветер! Проливной дождь!» «Говорят тебе, отойди», — отвечают ему, и бедный странник хотел уже удалиться, но вдруг слышит он приятный женский голос: «Батюшка, впустите его поскорее; это самый тот добрый господин, который накормил нашего осла». И дверь отворилась. Бомарше, однако, не забыл навестить своего осла-избавителя.

Н***

Милостивые государи! Ваши историйки очень забавны, но согласитесь, что сделанный мною вам вопрос имеет очень мало связи с пощечиною герцогини Форкалькье и рогами господина д'Аржансона, которые, в свою очередь, совсем не входят ни в карету, ни в замок санского архиепископа; и прошу вас покорно сказать, есть ли какое-нибудь сходство между ослом Бомарше и сделанным мне оскорблением? Я не получил от вас ответа на мой вопрос, но зато, благодаря вам, удостоверился, что, рассказывая анекдоты, немудрено сделать разговор совершенно несвязным и что в таком случае, для сохранения и некоторой ложной связи, можно довольствоваться одним или двумя словами, например: *это напоминает* и тому подобное.

С франц. А.

ПЛАТОН В СИЦИЛИИ

(ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА)

Платон находился при дворе Дионисия¹ в то время, когда жестокость сего монарха еще не обнаружилась во всей своей силе; праздные часы афинского мудреца посвящены были уединенным прогулкам. Часто, бродя по берегам сего острова, славного своим великолепным плодородием, смотрел он в размышлении на грозную Етну², которая бесстрашно дымилась посреди веселых полей, богатых нив, рощ прохладных и благовонных, и удивлялся чудесному смешению добра и зла в природе, которая дорогою ценою продавала свои благодеяния человечеству.

Однажды, пробираясь через прекрасные Леонтийские поля к горе Гибле³, мудрец увидел на берегу Симеты⁴ миловидного младенца, который стерег стадо, наигрывая на флейте жалобную песню. Платон приближается. Его присутствие не испугало молодого музыканта, который, устремив на мудреца взоры, столь же унылые и нежные, как и гармония его флейты, продолжал наигрывать начатую им песню. Платон слушал

в молчании, а мальчик, которому было приятно возбуждать внимание в человеке ему незнакомом, кончив первую песню свою, начал другую, столь же нежную, как и первая, но гораздо унылее.

Сия унылость, ощутительная в звуках и напечатленная на лице прекрасного младенца, тронула душу философа.

— Друг мой, — сказал он, — ты очень приятно играешь на флейте; песенки твои нежны; однако они уже слишком печальны: сыграй что-нибудь веселое.

— Веселое? — сказал Калаис (имя пастуха). — Я ничего веселого не знаю. Я умею играть только те песни, которые поет моя мать.

— А где живет твоя мать?

— Видишь ли за этими ивами деревню? Там наша маленькая хижина.

— В которой ты родился?

— Да, я родился в этой хижине.

— Где же твой отец, и что он — пастух или земледелец?

— Отец мой очень жестокий человек! Вот все, что я о нем знаю!

Пастушок вздохнул, и флейта выпала из его рук. В эту минуту показавшись на горе человек в платье дровосека, с топором на плече, с привязанным к поясу отвесом.

— Это он! — воскликнул Калаис, — я побегу к моей матери!

И он скрылся, оставив на лугу свое стадо.

Платон был изумлен. Он решил познакомиться с этим странным отцом, которого присутствие было так ужасно для его сына; скоро увидел он перед собою человека высокого ростом, несколько угрюмого, еще молодого и очень приятной наружности. Он шел по дороге в Катанию⁵; поравнявшись со стадом, посмотрел на него задумчиво; пошел тише и как будто искал глазами пастуха; но увидев его бегущего в деревню, вздохнул тяжело, и обратясь к незнакомцу, сказал:

— Мне кажется, что этот маленький пастух был подле стада в то время, когда я сходил с горы.

— Ты не ошибся, — отвечал Платон, — этот пастух сидел под тению вяза, играл очень спокойно на флейте, а я слушал. Мы уже начинали знакомиться и разговаривать, как вдруг он чего-то испугался, вскочил и побежал от меня так скоро, как будто бы за ним гнался дикий зверь.

— Дикий зверь! Это правда, меня описывают ему как дикого зверя.

— Твоя наружность, несколько суровая, могла его испугать; в такие лета не мудрено бояться безделицы. Слабый всегда находит страшным то, чего он не знает.

— Он знает меня, и слишком знает, — сказал дровосек, печально взглянув на деревню, которая мелькала между ивами, — не в первый раз я замечаю, что он боится моего присутствия.

Платон пошел по одной дороге с незнакомцем.

— Ты иностранец, — сказал ему дровосек, — в этом уверяет меня твое лицо, одежда и выговор; но ты мне кажешься добрым человеком: согласишься ли оказать мне услугу?

— От всего сердца!

— Где ты живешь?

— Теперь в Сиракузах; но я часто бываю в поле — чего ты требуешь?

— Требую, чтобы ты навестил меня в Катании; но прежде увидел бы этого молодого пастуха, узнал, что у него против меня на сердце, и наконец объявил мне, чем могу я его к себе привязать. Я называюсь Неандром; прежде был дровосеком в лесах Гиблы, а ныне строю корабли в здешней пристани.

Платон, разговаривая с ним о его мастерстве, заметил, что наблюдение, соединенное с опытностью, произвело в нем тот талант, который наконец извлек его из класса дровосеков. Он обещался прийти к нему в Катанию — и он расстались.

«Я любопытен знать, — подумал мудрец, — какое следствие иметь будут нынешние мои две встречи. Я не почитаю их обыкновенною игрою случая; здесь видно благое намерение богов, которые не забывают и о простой хижине поселнина. Один только человек, суетный безумец, думает, что на земле может существовать что-нибудь презренное для бессмертных!» Платон пошел к матери Калаиса.

— Вот он, — воскликнул Калаис, который в эту минуту рассказывал об нем своей матери, — вот он, тот незнакомый человек, с которым я встретился! Он поднял мою флейту и пришел сюда нарочно для того, чтобы ее мне возвратить.

— Не удивляйтесь, — сказал Платон обеим поселнякам, из которых одна пряла, а другая составляла тонкую ткань из волны, мягкой как шелк, — не удивляйтесь посещению; этот младенец пленил меня; но мы расстались слишком скоро, и он сказал мне несколько таких слов, которые меня опечалили.

— Что ты сказал, Калаис? — спросила у него мать с замешательством. Калаис повторил сказанное им Платону.

Молодая женщина покраснела, потупив свои прекрасные глаза в землю; а старушка, посмотрев на нее с нежностью, сказала:

— От чего ты краснеешь, друг мой! Разве ты была обольстительницею доброго и беспритворного сердца; разве ты употребляла во зло его откровенность; разве ты заплатила предательством за самую нежную и бескорыстную дружбу? Да накажут боги нарушителей клятвы; мы невинны. Ты не преступница; ты только несчастна — вся вина твоя в легковерии. Неужели одна минута забвения может лишить тебя спо-

койствия на целую жизнь? Чужестранец, — продолжала старушка, — этот мальчик открыл уже тебе слишком много, и притворство было бы для тебя бесполезно. Скажи мне, знаком ли тебе тот человек, с которым я видела тебя, идущего по дороге в Катанию?

— Нет, не знаком. Я знаю только то, что он некогда был дровосеком на горе Гибле, а теперь надзирает за построенным кораблем в пристани.

— Не говорил ли он с тобою об нас?

— Он говорил об этом младенце.

— И ни слова о матери?

— Ни слова; но я заметил, что робость, которую оказал этот мальчик, увидя его, сходящего с горы, опечалила его сердце.

— Жестокий человек! Ему ли удивляться тому чувству, которое он сам производит?

— Матушка! — сказала молодая женщина. — Вы опять позабыли, что говорите при этом младенце, и говорите об его отце. Калаис, поди к своему стаду.

— Несчастье наше, — продолжала Мелита (имя доброй матери), — всем известно в деревне; и я желала бы, чтобы оно сделалось известным всему свету в поношение обольстителю. Будучи еще простым дровосеком, он познакомился с моею дочерью, полюбил ее, и любовь его казалась нам самою нежною. Если Неозина будет любить Неандра так же сильно, как и сама им любима, говорил мой муж, то будет истинно счастлива, и они также, как и мы, не переживут любви своей. И не проходило дня, чтобы Неандр не старался каким-нибудь знаком нежности удостоверить в своей привязанности Неозину: то принесет ей из лесу двух горлиц, то соловья, иногда лучших плодов, иногда корзину с цветами. Скажи сам, чужестранец, могла ли дочь моя остаться нечувствительною к такой любви, которая, по-видимому, изливалась из чистого сердца! А мы, Дамет, мой муж, и я, себя не помнили от радости — Неандр был уважаем в нашем околотке и во всех окрестных селениях; прилежен к работе и весьма в ней искусен: никто в наших лесах не умел так хорошо действовать топором, как Неандр: корабельщики приходили из пристани советоваться с Неандром. Какой отец, какая мать не согласились бы отдать за него свою дочь? И мы уже назначили время для их брака; но вдруг постигло нас несчастье! Муж мой Дамет умер; я не хотела, чтобы дочь моя плакала перед алтарем Гименеевым, и отложила на несколько времени торжествовать ее супружество. В эти горестные дни один Неандр был нашим утешителем. Вероломный! С каким коварством умел он воспользоваться тою нежностью сердца, которая всегда неразлучна с глубокою печалью! Моя невинная Неозина, будучи очарована его чувствительностию и видя в нем почти супруга, позволяла

ему отирать свои слезы и ничего не страшилась. Какое мучение, говорил он, иметь свое счастье пред глазами и им не наслаждаться! Непорочную стыдливость Неозины моей называл он жестокостию. Наконец сожаление, слабость, доверенность, любовь, неосторожность юных лет предали эту несчастную ему на жертву: он обольстил ее и скрылся.

При этих словах Неозина закрыла обеими руками лицо, не могла удержать своего рыдания, и все взмокло от слез.

— Нас уведомили, — продолжала Мелита, — что Неандру поручено смотрение за работами в пристани, и я не могла удержаться от сильного негодования, помыслив, что с переменою фортуны может и сердце совершенно измениться. Но горесть Неозины была совсем иного свойства; она видела себя в унижении и упала духом; но скоро от стыда перешла она к отчаянию, ибо она почувствовала, что через несколько времени должна сделаться матерью. Она боялась открыть мне горестную тайну и плакала в молчании. Я видела, что бедная дочь моя увядала; я приписывала горесть одной любви и не хотела советами своими растравлять раны ее сердца, оставляя времени исцелить его. Невозможно, говорила я Неозине, чтобы в душе твоей, истинно нежной и благородной, привязанность к человеку, тебя недостойному, могла сохраниться; он преступник, ему одному надлежит страдать и плакать. Бедная! Она не отвечала мне ни слова; глаза ее, полные слез, устремлялись на небо; она вздыхала и томилась; но скоро жестокая горячка, следствие скрытой тоски, обнаружила передо мною тайну ее: «Бедной младенец, — повторила она в беспамятстве, — отец твой тебя покинул!... Нет, злодей, нет, вероломный, он не увидит света, не будет обязан тебе жизнью... О боги! За такую любовь платить таким презрением, такую изменою!.. Матушка! Милый друг, невозможно, я не могу победить своего сердца... пускай он возвратится... не затворяйте для него нашей хижины! Нет! Нет! Вы меня любите... Можно ли, чтобы он пожелал моей смерти!.. Для меня все равно, пучина морская, пучина Етны; на что мне жизнь... Но бедный мой младенец!» Сии ужасные слова, произнесенные без связи в разное время, подобные молниям, сверкающим во мраке ужасной ночи, озарили душу мою, и я увидела бездну, перед нами открытую. Но я вооружила себя мужеством, начала с большею неусыпностью смотреть за больною Неозиною; прохладительные лекарства успокоили ее кипящую кровь — наконец она воскресла; я воспользовалась минутою спокойствия, минутою, в которую сердце ее более расположено было к доверенности, и сказала: «Милый друг! Поверю ли я, чтобы одна любовь, с такою жестокостью обманутая любовью, могла столь сильно поколебать тихую твою душу? В горести твоей сокрыто какое-нибудь другое чувство! Ты имеешь самого искреннего друга в своей матери; поверь ей тайну своего сердца,

тайну, которая почти уже ей известна: ты была слишком легковерна, а я, с своей стороны, предавшись чрезмерной печали, не имела довольно осторожности и отвратила глаза от той погибели, в которую сама тебя повергла. Ты видишь, что я не боюсь себя извинять; последуй моему примеру. В своем беспамятстве ты что-то говорила о младенце, ты называла себя матерью — что это значит? Неозина! Будь откровенна с твоим истинным другом — я хочу все узнать, и моя любовь дает мне право на твою доверенность». — «Ах, матушка! Могу ли сказать вам, что я вас недостойна! Оставьте меня умереть с печали; я не хочу быть свидетельницей вашего бесславия». — «Нет, мой друг! Слабость твоя не может обесславить ни тебя, ни меня. Твое простодушие, твое непритворное сердце, твоя доверчивость должны быть твоим извинением; ты верила обольстительным словам: это не есть еще преступление, но одна только неосторожность. Сохранив душевную непорочность, ты не потеряла права на уважение; презрителен один обольститель». — Тогда облегченное сердце ее обнаружило передо мною все свои планы. Выслушав признание моей дочери, я сказала: «Не теряй мужества, Неозина; стыдиться должно одного порока; и самая чистая душа может подвержена быть некоторой слабости: на что тебе скрывать свое несчастье и свой поступок? Пускай всякий узнает, что ты обольщена вероломным человеком; посвяти себя священному званию матери, корми своего младенца; воспитывай его с попечительною любовью, и пускай узнает он (если это будет сын), какого имеет отца, чтобы никогда не подражать ему в вероломстве».

— И это единственный из всех советов ваших, матушка, — сказала Неозина, — которому не надлежало бы мне последовать: мой сын и без того познакомился бы слишком рано с горестию. Ненавидеть отца — великое несчастье; гораздо было бы лучше, если бы он не знал, что он имеет отца и им оставлен.

— Я не хочу, чтобы он ненавидел отца своего; но я желаю, чтобы он его убегал: этот жестокий и последнее может у нас похитить.

— Но если б он сам, — сказал Платон, — покоровшись наконец голосу природы и раскаянию любви (ибо любовь может еще существовать в его сердце), пришел в вашу хижину и на коленях...

— Никогда! Никогда! — воскликнула Неозина. — Он обманул меня, он меня покинул! Он сам желал моего бесславия; он никогда не получит моего сердца!

Платон видел, что этого негодования невозможно было победить открытыми силами рассудка; он видел, что оно было утверждено в душе Неозины и что в этом случае потребны были одни только медленные и тихие средства.

На другой день, увидевшись с Дионисием, рассказал он ему о своей встрече.

— Согласись, государь, что помирить этих расстроенных супругов будет трудно!

— Я не вижу никакой трудности, — сказал Дионисий. — Хочешь, я прикажу сию же минуту посадить твоего Неандра на галеру, и он будет работать веслом по тех пор, пока сам не захочет жениться на обманутой им Неозине!»

— Твое красноречие слишком сильно; я не думаю, однако, чтоб оно было весьма действительно. Вместо супруга мы дадим Неозине презренного, недостойного своей цепи невольника; а я желаю соединить ее вечными узами любви с милым человеком, способным возвратить униженное им счастье.

Платон отправился в Катанию, где Неандр уже дожидался его. Он познакомился и с другими карабельщиками, которые удивились обширным сведениям философа о мастерстве их. Платон разговаривал с ними как человек, образованный путешествиями, подавал им благо-разумные советы о том, как сделать легче весло и галеру; как выгоднее располагать паруса; какими способами употреблять в пользу свою и ветер, и волны. Строители видели в нем любимца небес и поздравляли Неандра с *великим счастьем* иметь в своем доме такого чудного гостя.

За обедом Платон, наполнив кубок вином, воскликнул:

— Да здравствует союз между Сицилиею и Афинами, союз, необходимый для блага обоих народов. И чаша, увенчанная цветами, начала переходить из рук в руки. Все были веселы; один Неандр казался унылым: вино, смягчая душу его, не веселило ее; он слушал Платона с благоговением и был поражен красноречием его и знаниями; но замешательство отражалось в его глазах, и тайная скорбь отравляла то удовольствие, которое в нем производимо было присутствием философа. Платон это приметил. «Хорошее предзнаменование», — подумал он, и вставши из-за стола, сказал своему хозяину:

— Прости, Неандр, иду на луг; там ожидает меня тот маленький пастух.

— Разве ты его видел?

— Видел; вчера я был у него в хижине и познакомился с его матерью.

— С Неозиною! Не говорила ли она чего-нибудь обо мне?

— Она говорила о своем сыне, а это заставляло сказать несколько слов и о тебе.

— Что же она говорила?

— Она ничего не сказала такого, чего тебе не можно было слышать.

— Верю! Она имеет доброе сердце; но мать ее... О! Это совсем другая женщина!

— Мать ее женщина благоразумная и твердая!

— Что делали они в своей хижине?

— Одна пряла волну; другая, Неозина, составляла из нее ткань.

— Не правда ли, что она чрезвычайно мила за работою?

— О! Неозина — прелестное творение. Такая тихая, скромная! Сердце привязывается к ней само собою.

— Скажи, не показалось ли тебе, что в хижине их царствует бедность?

— Я не заметил в ней ни богатства, ни бедности; все порядочно, чисто.

— Ах! И я, бывши беднее, был счастливее. Но ты ничего не говоришь мне о Калаисе! Какой он тебе показался?

— Очень ласковым с матерью.

— Таков же он был бы и с отцом; но меня описывают ему самыми ужасными красками! Они забыли, что отец, сколь бы он ни был виновен, всегда имеет право на любовь и почтение сына!

— Что ты говоришь? Разве ты отец этого младенца?

— Неужели тебе об этом не сказывали?

— Следовательно, ты супруг Неозины?

— Нет, Платон, и в этом мое преступление; Неозина мною обманута! Но она была бы моею супругою, когда бы не умер ее отец!

— Предавая себя Неандру, Неозина верила его обещаниям.

— И правду сказать, могла им верить — до самой той минуты я был честнейший человек на свете.

— И перестал уже быть им?

— Увы! Не могу запереться, и это меня терзает несказанно!

— Разве ты не любил Неозины?

— Обожал, и теперь люблю ее страстно!

— Для чего же ты обманул ее?

— Для чего? Ты знаешь человеческое сердце и можешь об этом спрашивать! Испытал ли ты когда-нибудь чувство ревности?

— Нет! Но я знаю, что это чувство есть самое тяжкое и прискорбное.

— Счастье сделало меня ревнивым!

— Разве ты имел совместника?

— Нет!

— Что заставило тебя ревновать?

— Что? Этого я не знаю и сам! Мой собственный пример испугал меня; она могла быть слабою со мною, подумал я. Кто же уверит меня, что другой на моем месте не будет иметь подобного моему успеху. В это

самое время честолюбие возмутило мою голову; я начал думать о фортуне; я вообразил, что для меня уже низко быть мужем простой поселянки — погибельное заблуждение ослепило меня — я пришел в память, но уже в то время я был преступник, и ложный стыд препятствовал мне броситься к ногам моей жены и моего сына и умолять их о прощении, которого теперь единственно не достает к моему счастью. Этот младенец меня страшится; Неозина должна меня ненавидеть, потому что она любила меня страстно, а мать ее меня проклинает — и я заслужил эту ненависть. Но, друг мой, если бы они знали, как я страдаю; если бы они знали, с каким терзанием смотрю издали на эту хижину, в которую не смею войти, в которой заключено все милое для моего сердца; как горестна мне разлука с моим сыном, с какою мучительною страстию я думаю о Неозине, и как ужасно мне воображать ее увядшею от горести в цветущие годы жизни, осыпающую упреками своего губителя — ее, которая всегда была так прелестна, тиха, добросердечна!.. о Платон! Я жестоко, жестоко наказан.

— Послушай, Неандр! Если бы ты мог быть уверен, что преступление твое забудут; что Неозина любит тебя, как и прежде...

— Ах! Я полетел бы... но это невозможно!

— Почему ж невозможно? В глазах твоей Неозины заметил я одну только унылость.

— Ах! Как прекрасны ее глаза!

— Прекрасны, восхитительны, исполнены чувства и стыдливости!

— О стыдливость! Она никогда не теряла стыдливости. Милое творение! Одна непорочность была причиною ее несчастья. Чего боишься ты, Неозина, говорил я, мы уже супруги, отец и мать твоя нас благословили? Я плакал, вздыхал, не жалел обещаний... о вероломный! Ты недостойн был обладать таким сокровищем!

— Надобно признаться, что ты употребил неизвинительные способы!

— Так, мудрый человек! Один я преступник! Я не могу не признаться в этом перед тобою, моим другом, моим единственным утешителем. Я был неблагодарный обольститель, человек, недостойный смотреть на солнце; но сердце имею доброе.

Платон — который знал, что вино ускоряет доверенность, способствует стеснению дружеских уз и обнаруживает все тайны характера, не искажая его, а только усиливая — наконец уверился, что новый знакомец его еще не лишен способности быть добрым отцом и добрым супругом.

— Позволь мне, — сказал он, — испросить тебе прощение у Неозины. Одно только условие, Неандр! Не быть ревнивым!

— Ревнивым! О небо! К кому я могу ревновать? Неозина со времени своего несчастья ведет жизнь невинную, скромную — она пример целомудрия! Разве я этого не знаю?

В следующее утро Платон приходит на тот луг, на котором Калаис стерег свое стадо. Мальчик по-прежнему играл на флейте; увидя философа, он побежал к нему навстречу.

— Калаис! — сказал Платон. — Что, если бы вместо меня пришел сюда тот человек, которого мы видели у гор, твой отец — встретил ли бы ты его так радостно, как меня?

— Я убежал бы от него в хижину!

— Не беспокойся! Ты больше не увидишь его! Теперь он знает, что приближением своим приводит тебя в робость. Я виделся с ним, и он мне сказал: «Не хочу делать неприятности Калаису; с нынешнего дня буду я обходить гору, чтобы не встретиться ни с ним, ни с его стадом. Но я очень хотел бы его приласкать; мне сказали, что он милый мальчик, что он послушен, тих, привязан к своей матери и делает ее счастливою — и я, которому он обязан жизнью, желая сердечно ему добра, был бы истинно счастлив, когда бы мог прижать его к сердцу, оставить ему какой-нибудь знак своей дружбы. Но ласки мои противны ему, он не хочет иметь отца — он и не будет иметь его».

— Не я, — отвечал младенец сквозь слезы, — не я хочу убежать от отца моего; он сам не хочет иметь сына! Этот жестокий человек добровольно меня оставил.

— Послушай, Калаис; он кажется тебе жестоким — а я нахожу, что он имеет доброе сердце.

— Доброе? Но с этим добрым сердцем он сделал несчастною мою мать!

— Калаис, иногда и самые добрые люди могут казаться злыми, совсем не имея злого сердца. Злой человек находит удовольствие в делании зла; а добрый, сделавши зло, мучится совестью, и до тех пор остается недоволен самим собою, пока не загладит своего поступка!

— Нет, невозможно иметь доброе сердце и поступать так, как поступает мой отец — бабушка моя говорила правду.

— Но бабушка твоя, без сомнения, говорила также, что надобно любить богов, их почитать и страшиться!

— Всякий день вместе с нею молюсь я перед домашними ларами.

— Но если боги к вам немилостивы, перестаете ли вы им молиться?

— Матушка учила меня любить и самых немилосердных богов; наши земледельцы венчают богиню Цереру⁶ колосьями и тогда, когда на нивах нет богатой жатвы. И я в тот самый день, в который волк унес

у меня овцу, не забыл поклониться богу Фавну⁷ и положить гирлянду цветов к ногам его статуи.

— Ты хорошо сделал, но знаешь, почему называю поступок твой хорошим?

— Матушка всегда говорит мне, что мы не должны роптать против богов и требовать от них ответа в том, что они делают.

— Узнай же, Калаис, что всякий отец есть божество для детей, которые должны принимать без ропота гнев его, с терпением ожидать или с покорностью просить его милостей и никогда не позволять себе его ненавидеть.

Калаис, который имел острый ум, понял язык философа.

— Теперь догадываюсь, отчего мне было так тяжело не любить моего отца. Теперь сердце мое облегчилось; теперь я сам побегу к нему навстречу, если он подойдет к моему стаду; или не согласишься ли проводить меня к нему в сию же минуту?

— Нет, Калаис, он придет к тебе сам, но только прошу тебя, не рассказывай об этом своим родным.

— Не скажу никому! Но когда же я тебя с ним увижу?

— Завтра поутру!

— Дождаться завтрашнего утра! Как долго!

— Я преклонил на твою сторону посредника, которого пособие, конечно, будет для тебя полезно, — сказал Платон Неандру. Они пошли вместе к стаду Калаиса. Услышав флейту своего сына, Неандр переменился в лице, и глаза его наполнились слезами. Он подошел к младенцу с потупленными в землю глазами; Калаис, привыкнув страшиться его присутствия, приблизился к нему с трепетом. Но отец простер объятия, и младенец, залившись слезами, прижался к его сердцу.

Платон, увидя это, сказал: «Теперь я пойду в хижину — вы последуете за мною; но прежде дайте мне время расположить сердца их в вашу пользу».

— Я принес вам известие, которое должно показаться для вас приятным, если не ошибаюсь, — сказал он Мелисе и Неозине. — Благодарите богов, друзья мои! Они познакомили меня с одним богатым, добродушным и одиноким человеком, который давно ищет счастья и, не находя его, перестал уже полагаться на Фортуну! Благодеяния слепого божества были для него смешаны с горестями; но он надеется их усладить и очистить, употребляя на благо свои многочисленные сокровища. Он видел Калаиса — этот младенец пленил его своею красотою и милым характером; он хочет его усыновить и просит вас через меня, чтобы вы дали ему позволение именоваться отцом Калаиса.

— Мне удалить от себя своего сына! — воскликнула Неозина. — Какое жестокое предложение!

— Ты с ним не разлучишься! Мой добрый знакомец желает быть твоим супругом!

— Но разве несчастье мое не известно ему?

— Ему известно, что несчастье непорочности сделалось теперь несчастьем добродетели — он извиняет тебя, Неозина!

— И всякий честный человек может меня извинить — я знаю; но может ли он позабыть мой проступок? Краснеть перед супругом — какое мучение! Нет, Платон! Я хочу довольствоваться своею бедностию и не могу употребить во зло предложений великодушных.

— Уважаю благородство мыслей твоих, Неозина, — сказала Мелита, — но подумай, что дело идет о счастье твоего сына; подумай, что этот почтенный чужестранец не стал бы нам предлагать человека, способного притворяться в чувствах или показать презрение к своей супруге. Рука твоя должна быть наградою за ту любовь, которую он имеет к Калаису. Верь, друг мой, что подобные происшествия никогда не могут случиться без особенного произвола богов...

— И твое упорство, Неозина, — прибавил Платон, — будет совершенное неповиновение верховной власти.

— К чему вы принуждаете меня, жестокие люди! Неужели я должна доказывать своей матери, что я не могу не желать добра Калаису, а этому чужестранцу, что верю и повинуюсь богам бессмертным! Узнайте же мою тайну, тайну несчастную, которую хотела я унести с собою в могилу — о матушка! Можете ли вы мне поверить — этот жестокосердый, бесчеловечный, достойный презрения изменник, увы, он еще в моем сердце, и я никого другого любить не в силах!

В эту минуту растворилась дверь хижины; вбегает Калаис; он повергается в объятия своей матери:

— Матушка, милый друг! Сжальтесь, простите отца моего!

И уже Неандр обнимал колена Неозины. Мелита, онемевшая, неподвижная от изумления, не могла произнести ни одного слова; упреки умерли на языке ее, но милый младенец своими ласками смягчил бы жестокость тигра, и с таким посредником примирение последовало в ту же минуту. Поцелуи Калаиса освятили брачное торжество: любовь, согласие, верность переселились вместе с Неандром в хижину Мелиты и Неозины. Таково было следствие Платоновой прогулки. Государь! — сказал он Дионисию. — Десять лет могущественного и блестящего царствования не дадут тебе того счастья, которым я наслаждался в последние три дня под кровлею бедной хижины.

С французского. А.

О ДРУЖБЕ И ДРУЗЬЯХ

Человек не создан быть одиноким; душа его требует сообщества, и только тогда может она иметь настоящую свою цену.

Привязанность существует и без взаимности, но дружба никогда; ибо она есть договор, подобный другим договорам, но только самый священный. Будь или притворяйся моим другом, тогда только можешь приобрести мою дружбу.

Делиться чувствами необходимо для сердец чувствительных. Вверяемая горесть становится сладкою и трогательною; дружба дана в особенности несчастным для облегчения их скорби, для услаждения их страданий.

Свидетель, кто бы он ни был, препятствует изливанию дружбы. Есть множество тайн, которые должны знать три друга, но которые не иначе могут быть открыты, как только одним одному и в неприсутствии третьего.

Сколь немногие испытали сладость молчания, задумчивости, спокойствия, беззаботного размышления с самим собою в присутствии милого друга! Светские люди не имеют понятия об этом наслаждении. Разговоры между двумя друзьями неистощимы, говорят они. Согласен, что язык сообщает какую-то легкую болтливость привязанности обыкновенной... но дружба! Дружба! Живое небесное чувство! Какой язык тебя достоин! Какие слова могут быть истолкователями твоих тайн! Что говоришь другу, заменяет ли то, что имеешь в сердце, чувствуя, что он с тобою! О Боже! Как много выражает одно пожатие руки, один оживленный взгляд, одно стеснение в объятиях, один следующий за оным вздох — и как ничтожно, как холодно первое произнесенное после того слово!

Состояние спокойной задумчивости имеет великую прелесть для человека чувствительного, но я всегда замечал, что присутствие постороннего мешает им наслаждаться и что два друга должны быть наедине, чтобы во всей полноте вкушать удовольствие молчания. Желаеть, так сказать, углубиться один в душу другого, тогда малейшее развлечение мучительно, малейшая принужденность несносна. Если случится, что сердце передаст какое-нибудь слово устам, то нет ничего восхитительнее, как произнести это слово без помешательства; нам кажется, что мы не смеем свободно мыслить, как скоро не имеем свободы обнаруживать свои мысли. Присутствие постороннего как будто налагает узду на чувство; оно стесняет души, которые без сего свидетеля совершенно понимали бы одна другую.

Чувство, прежде других созревающее в душе молодого человека, воспитанного со тщанием, есть не любовь, а дружба. Он узнает подобных себе гораздо прежде, нежели ощущает тайное влечение к другому полу. Вот время, в которое нетрудно воспользоваться рождающею чувствительностью молодого сердца, дабы посеять в нем первые семена человеколюбия и нежности — это единственное время в жизни, в которое душа, раскрывающаяся для чувства, начинает узнавать привязанность; тогда надобно окружить ее предметами добродетели и изящного.

Слабость привязывает человека к общежитию: страдания всем общие делают его человеколюбивым. Всякая привязанность означает чувство собственного недостатка: если бы мы не имели нужды в других, мы не искали бы с ними союза: от слабости нашей рождается и наше брренное счастье. Истинно счастливым может быть только существо, от всех других отделенное, но одному Богу известно счастье положительное, а человек не имеет понятия о таком счастье. И чем наслаждалось бы существо ограниченное, когда бы оно могло довольствоваться одним собою? Одиночество бедственно. Не имея ни в чем нужды, не можем ничего и любить, а в чем же счастье, когда оно не в любви? Голос испытанной дружбы есть самый сильный владетель человеческого сердца: мы знаем, что он всегда говорит нам для собственной нашей пользы. Я могу поверить, что друг меня обманывает, но я никогда не поверю, что он желает обмануть меня. Можно противиться его советам и никогда не можно их презирать.

Счастливец не знает, любим ли он, говорит один стихотворец латинский; а я скажу: счастливец не умеет любить.

С франц.

МУРАД НЕСЧАСТНЫЙ

(ТУРЕЦКАЯ СКАЗКА)

Известно, что один из покойных турецких султанов имел обыкновение прохаживаться ночью, одетый в простую одежду, по улицам константинопольским; он подражал в этом случае славному Гаруну Аль-Рашиду, багдадскому калифу, о котором должны знать читатели *«Тысячи одной ночи»*¹.

Однажды, прохаживаясь по городу при свете полной луны, в сопровождении великого визиря², султан, если не ошибаюсь, покойный Селим, остановился перед домом кожевника и сказал своему спутнику:

— Ты, верно, читал в «Тысяче одной ночи» сказку о кожевнике и двух его друзьях, которых мнения о судьбе человеческой были всегда противоположны³; я желал бы знать, что думаешь ты об этом важном предмете?

— Я, государь? Мнение мое состоит в том, что благоразумие человеческое имеет великое влияние и на судьбу его, и что одному благоразумию, а не счастью, как говорится, обязаны мы бываем по большей части своими успехами.

— Я думаю совсем напротив. Одного называют *счастливым человеком*, другого *несчастным*: от чего это? Не сам ли опыт научает нас делать такое различие, которое в противном случае было бы совершенно без смысла?

— Не смею противоречить тебе, повелитель правоверных!

— Говори, я приказываю.

— Повинуюсь, и вот мое мнение: тот не рассматривает с надлежащим примечанием ни причин, ни следствий, кто приписывает удачу счастью, а неудачу несчастью. В столице твоей находится два человека; одного из них ставят в пример постоянного счастья; другого, напротив, в пример постоянного несчастья: первый есть Саладин, по прозванию *счастливец*; последний Мурад, по прозванию *несчастный*. Что бы ни было, но я уверен, что все различие между ними состоит в одном только благоразумии.

— Где живут эти два человека? Хочу, чтобы они сами рассказали мне свою историю. Проводи меня к их жилищу.

— Дом Мурада *несчастливого* весьма отсюда близко; следуй за мною, повелитель правоверных!

Султан и визирь его приближаются к небольшому домику, отворяют дверь; слышат стенания, входят. Глазам их представляется плачущий человек; он рвал на себе бороду, топтал ногами свою чалму, словом, оказывал собственное исступление, и это был Мурад. Посетители спросили: какое несчастье приключилось ему и от чего он так горько плачет? Он не отвечал ни слова, но указал им на черепки прекрасной фарфоровой вазы, рассыпанные по паркету.

— И эта безделица огорчает тебя так сильно? — спросил султан.

— По вашей одежде, государи мои, заключаю, что вы иностранные купцы: вы не узнаете Мурада *несчастливого*; в противном случае вы могли бы удивляться моему горю; несчастье написано мне на роду, и вы согласились бы вместе с другими называть меня *несчастливым*, когда бы узнали мою историю. Ночуйте в моем доме, и я расскажу вам печальные свои приключения.

— Ночевать у тебя нам невозможно, — отвечал султан, — но выслушать твою повесть будет для нас весьма приятно.

— Садитесь.

Султан и визирь его сели, а Мурад начал рассказывать:

— Отец мой Гассан проживал в здешнем городе. Накануне рождения моего привиделся ему чудный сон, заключающий в себе, так сказать, предвещание тех несчастий, которые от самой колыбели не престают меня преследовать. Отцу моему снилось, будто у него родился сын с собачьей головою и змеиным хвостом; будто он надел на него султанскую чалму и за то осужден был на смерть.

Отец мой верил, как и все добрые мусульмане, предопределению, и этот чудесный сон испугал его чрезвычайно. Нашему сыну, сказал он моей матери, назначено сделать всех нас несчастными, и он возненавидел меня еще до рождения, а чтобы не видеть ни моей собачьей головы, ни моего змеиного хвоста, отправился в Алеп, за несколько часов до моего горестного появления на этот свет.

Его путешествие продолжалось восемь лет с половиною. Во время его отсутствия никто не заботился о моем воспитании, а мать моя твердила мне поминутно, что у меня собачья голова и змеиный хвост. Ты Мурад *несчастный*, сказала она мне однажды. В это время сидела подле нее какая-то старушка с глубокими морщинами на лбу и на щеках, с крючковатым носом, беззубая и косая, она прибавила страшным и хриповатым голосом, который еще и теперь отзывается у меня в ушах: «*Так, подлинно несчастный, был, есть и будешь...*». Потом она сказала: «Кто родился под неприятною звездю, тот будет и должен быть во всем несчастен; один только Магомет властен уничтожить очарования: безумец противится судьбе, а умный человек покорствуется ей без прекословия».

Слова старушки врезались в мою память, и я при всяком новом несчастии говорил: правду сказала ты, старушка, судьбе своей противиться невозможно.

Мне было уже восемь лет, когда приехал отец мой из Алепа⁴, в этот год родился брат мой Саладин, которого наименовали *счастливец*, потому что в самый день его рождения вошел в пристань корабль отца моего, богато нагруженный товарами. Не могу исчислить тех счастливых случаев, которыми ознаменовано было младенчество моего брата; успехи его были так разительны, как и мои досадные неудачи.

Со времени прибытия корабля мы жили в великом довольстве; все это приписано было счастью брата моего Саладина.

Мне свершилось двадцать восемь лет, а Саладину двадцать, когда отец наш занемог тяжелою и опасною болезнью. Призвав к постели

своей Саладина, он сказал: «Мой сын, наши дела в чрезвычайной расстройке: роскошь и разные разорительные предприятия уничтожили все мое богатство, остались у меня две фарфоровые вазы, драгоценные особенно по некоторым таинственным знакам, на них изображенным, и, верно, имеющим великое влияние на счастье того человека, которому будут принадлежать вазы. Дарю тебе и ту, и другую; для Мурада они бесполезны: будучи осужден на несчастье и неудачу, он, без сомнения, или разобьет их, или потеряет; одно из двух должно случиться необходимо».

Но Саладин не имел никакой доверенности к предопределению; а будучи добр и великодушен, он дал мне на волю выбирать любую из ваз и старался утешениями своими возратить мне потерянную мою бодрость. Я благодарил его, но был, однако, твердо уверен, что нет возможности человеку сражаться с судьбою.

Саладин, видя, в какой расстройке были наши торговые дела, не приходил, однако, от этого в уныние. Поищем способа их поправить, говорил он, но я отчаивался и качал головою.

В вазах, которые достались нам в наследство, находился какой-то красный порошок. Саладин вздумал составить из него красную краску, и в самом деле вышла краска удивительная. Еще при жизни отца нашего познакомился с нами один богатый купец, который ставил в сераль всякого рода мебели и уборы. Саладин приобрел благосклонность этого человека, а он, имевши большой кредит, старался помочь ему ввести в общее употребление составленную им красную краску. Она полюбилась, и все начали ее покупать. Но Саладинов запас красного порошка видимо уменьшался; он вздумал рассмотреть его состав и скоро, посредством многих химических опытов узнал эту тайну: с тех пор он мог уже во всякое время иметь такое количество краски своей, какое было ему потребно.

И надобно вам сказать, милостивые государи, что Саладин имеет качества необыкновенные: он всегда весел; наружность его, чрезвычайно приятная, вселяет к нему доверенность, и всякому хочется иметь дело с Саладином. Увы! Небо отказало мне во всех этих преимуществах; я часто замечал, что мое лицо печальное и угрюмое (следствие многочисленных несчастий) отдалило от меня людей: никто не хочет вверяться такому человеку, который всегда глядит исподлобья.

Я помню, что одна богатая женщина, сопровождаемая толпою невольников и невольниц, пришла в лавку моего брата Саладина; ей хотелось что-то купить, но брата не было в лавке; встретить эту госпожу и показывать ей товары надлежало мне. Она прельстилась моею фарфоровою вазою; хотела непременно ее купить, соглашалась

дать мне такую цену, какую потребую, но я отказал ей наотрез, будучи твердо уверен, что ваза моя есть талисман и что, расставшись с нею, навлеку на себя какое-нибудь несчастье. Незнакомая госпожа требовала весьма упорно, чтобы я продал ей вазу, но я с таким же упорством отказывался от продажи, и наконец она вышла из лавки в пре-великой досаде.

Саладин пришел домой; я рассказал ему о том, что случилось в его отсутствие. Он называл поступок мой неблагоприятным и говорил, что никогда не должно терять выгоды настоящей и верной для выгоды мечтательной и отдаленной. На другой день знакомая госпожа опять зашла в нашу лавку, и Саладин продал ей свою вазу за десять тысяч золотых монет. На эти деньги накупил он разных товаров, от чего торг его сделался и прибыточнее, и важнее.

Я раскаивался, но раскаяние мое было уже позднее, и этот случай был новым доказательством, что у меня на роду написано придумывать умное не вовремя и без успеха. В самом деле, не хуже других вижу я, как надобно в каком случае поступить, но это обыкновенно случается со мною уже тогда, когда случай прошел и когда мне остается только сожалеть, для чего поступил я в противность здравому смыслу. Нередко бывало и то, что я остаюсь в нерешимости, а между тем чувствую сам, что случай благоприятный улетает. Что же мне делать, могу ли противиться действию злобной планеты?

Открылось, что знакомая женщина, купившая у брата моего фарфоровую вазу, была любимая султанша, все повиновалось ее владычеству в серале. Она возненавидела меня за то, что я с таким упорством отказался исполнить ее желание, и объявила, что нога ее не будет в лавке Саладина по тех пор, пока он не расстанется с Мурадом. Саладин никак не хотел меня отпустить от себя, но, живучи со мною, он потерял бы многие, весьма для него важные выгоды. Я, не могши решиться помешать фортуне такого доброго брата, каков был Саладин, ушел потихоньку из его дома и, сказать правду, сам не знал, что со мною будет.

Несколько времени скитался я по улицам константинопольским и уже начинал чувствовать голод. Сажусь у дверей хлебника и требую, чтобы он дал мне какую-нибудь помощь. Хлебник обещался накормить меня досыта, если я соглашусь надеть на себя его платье и вместо него продавать по улицам хлебы. Я согласился; судьба моя того хотела. Но уже давно жители Константинополя жаловались на хлебников за то, что их хлебы и худо были испечены, и не имели надлежащего веса. Неудовольствия в здешнем городе, как и вам удавалось, может быть, слышать, производят нередко великие возмущения. Все это не хуже других

было известно и мне, но злая моя судьба запретила мне во время об этом подумать.

Около четверти часа бродил я из улицы в улицу, продавая хлеба, вдруг окружило меня множество черного народа; начинают меня бранить, толкать, бросают в меня грязью; бегу к воротам султанского дворца, и вся толпа бежит за мною с ужасным криком. Визирь, испуганный возмущением, приказывает отрубить мне голову, чтобы успокоить народ. Бросаясь перед его могуществом на колена, объявляю, что не я тот хлебник, на которого гневается народ; рассказываю историю о своем платье. Сжальтесь, честные мусульмане, воскликнул я, наконец, в слезах; не я виноват, а суровая моя участь. Все засмеялись. Одни плевали мне в лицо, другие кричали: отрубите ему голову, она очень глупа и ни на что ему не годится. Нашлись, однако, добрые люди, которые за меня вступились; наконец меня выпустили, и я побежал, не оглядываясь, бросив посреди улицы корзину с хлебами, которые все были расхищены в одну минуту.

Я решился уйти из Константинополя, оставив вазу свою на сохранение Саладину. Как вздумано, так и сделано. В пристани встретился я с отрядом войска, отправлявшимся на корабле в Египет. Буди воля пророка, сказал я самому себе. Если назначено мне утонуть в море, то уже, конечно, я не умру на суше, и чем скорее, тем лучше, и я сел на корабль. Долго ли плыли, не знаю; во все время нашего путешествия сидел я на палубе и курил табак, твердо решившись не изменять своего положения и в самую жестокую бурю. Если назначено кораблю погибнуть, так, думал я, то он погибнет непременно, сколько бы я ни трудился предохранять его от разбития! Зачем же беспокоить себя по пустому; никто не может избавиться от того, что ему назначено промыслом.

Но мы пристали благополучно к берегам Египта. Я вышел из корабля последний; было уже очень поздно, когда я пришел в лагерь Эль-Ариша. Трубка моя погасла; иду к одной палатке, в которой светился огонь, чтобы ее раскурить. Вдруг вижу на земле что-то блестящее; наклоняюсь, то был драгоценный алмазный перстень. Беру его с тем намерением, чтобы на другое утро объявить через крикуна о своей находке, и надеваю на левый мизинец. Все несчастья! Перстень был слишком велик, а мизинец мой слишком мал, и в то самое время, как я наклонился к огню, чтобы закурить свою трубку, он упал в сено, разостланное перед ослом; я начал разгребать сено: осел ударил меня задними копытами и так сильно, что я, отлетев от него шагов на пять, упал на солдата, спящего подле палатки. Он закричал и криком своим разбудил других; они вскочили, сбежались ко мне,

обступили меня кругом; в это самое время, как на беду, попался мне в сене потерянный мною перстень, и я держал его в руке. Трудно ли после этого счесть меня за вора? И тотчас начали меня уверять, что я украл какие-то дорогие товары, похищенные за неделю до прибытия нашего в лагерь. Я представил свидетелей, которые вместе со мною побожались, что я в это время плыл на корабле из Константинополя; нам поверили; однако, несмотря на то, приказали меня для некоторых причин выколотить палками по пятам, что было в ту же минуту весьма порядочно исполнено; и я три дня пролежал на постели с превеликою опухолью на пятках. Подобные случаи бывают только со мною, а вся беда произошла от того, что мне не вздумалось прежде утвердить хорошенько на пальце своем перстень и потом уже начать раскуривать свою трубку.

Наконец опухоль на пятках моих прошла, и я мог уже вставать с постели. Однажды вздумалось мне заглянуть в одну палатку, над которою развевал красный флаг и которую называли кофейным домом. В этом кофейном доме увидел я незнакомого мне человека, который очень сожалел о потере драгоценного перстня; он описал мне его приметы; я тотчас догадался, что это был тот самый несчастный перстень, за который пострадали мои пятки. Я бы охотно подарил двести цехинов тому, кто возвратит мне, или скажет, где я могу отыскать свой перстень, говорил мой незнакомец, и я рассказал ему случившееся со мною, прибавив, что знаю в лицо того мошенника, который вырвал из рук моих перстень. Одним словом, пропажа была мною отыскана, и я получил кошелек с двумястами цехинов, что несколько утешило меня в моем несчастье.

Однажды ночью товарищи мои спали, а я перебирал и пересчитывал свои цехины⁵. На другой день эти господа пригласили меня с собою выпить несколько чашек шербету; я согласился, и для чего было не согласиться? Они меня потчевали, а я пил. Вдруг начинаю чувствовать пресильную охоту спать; заснул, просыпаюсь, где же я? В открытом поле, под пальмовым деревом. Первая мысль о цехинах; ищу своего кошелька, он тут; а где цехины? Все исчезли; вместо них нашел я в кошельке около сотни маленьких камешков. Я догадался, что меня обманули, что вместо шербета дали мне пьяного напитка и что все это сделано было по общему согласию с тем намерением, чтобы отобрать у меня мои цехины, которые замечены были мошенниками в то время, когда я их пересчитывал, воображая, что все мои товарищи спали глубоким сном.

Я побежал в лагерь, жаловался, но жалобы мои остались бесполезными: я не имел доказательств, и все надо мною смеялись. В своем

отчаянии воскликнул я: *бедный Мурад!* И вмиг разнеслось известие, что *Мурад несчастный*, которого неудачи так славны были в Константинополе, находится в лагере; на меня приходили смотреть, как на чудо, а когда я прохаживался по улицам лагеря, то все указывали на меня пальцами и все говорили: *вот идет Мурад несчастный*. И сказать правду, такая слава была не очень мне по сердцу.

В это время наши солдаты имели страстную охоту стрелять в цель, и они стреляли без всякой осторожности. Мне самому случилось однажды видеть, что выстрел, направленный в верхушку палатки, попал в самую палатку, которую пуля пробила навывлет; около десяти солдат было убито наповал, и никто не мог сведать, кто убийца. Такие несчастия почти не делали никакого впечатления; свидетели убийства говорили очень спокойно, смотря на убитого: «Добрый путь в Магомедов рай; час его пришел; от суженого не избежешь!» Все эти примеры более и более усиливали во мне веру в предопределение. Я часто говорил самому себе: завтра, может быть, умру; повеселимся же ныне, пока есть время.

Хотя я не имел своих денег, но я не терпел никакого в них недостатка; жида, находившиеся в лагере, ссужали ими солдат за большие проценты: я познакомился с одним из этих плутов, который знал моего брата Саладина; этот ростовщик, будучи уверен, что в случае смерти моей заплатит за меня мой брат, согласился ссудить меня хорошею суммою. Я очень любил кофе и опиум: приятное волнение, которое производил во мне сей последний напиток, оживлял мою душу, и я забывал на несколько времени все свое горе.

Однажды я был очень весел; плясал, как сумасшедший, и поздравлял себя нараспев, что я уже не Мурад несчастный; в эту минуту схватил меня за руку один совсем незнакомый мне человек: «Спрячься скорее, Мурад; разве не видишь, что стрелки прицелились в твою чалму? Они уже дали один промах, в другой раз могут и попасть!» За кого ты меня принимаешь, сказал я, теперь уже нет Мурада несчастного. И я продолжал плясать; минуты через две пуля ударила меня в голову, и я упал замертво. Меня оживили, но лечение раны моей было для меня хуже смерти: так жестоко меня мучили. А самое досадное было то, что армия должна была идти в поход, и я боялся, чтобы меня не бросили назад вместе с неизлечимыми.

Лекарь советовал мне, чтобы я старался как можно быть спокойнее, но я уже вам сказал, что вредоносная планета моя вечно препятствовала мне понимать вещи и вовремя, и как должно. Мое беспокойство о том, чтобы не остаться назад, было так велико, что я по нескольку раз в день подымался с постели, чтобы посмотреть, согласно ли с постановлением выходят из лагеря наши войска? Но солдаты не очень спешили

повиноваться, и палатки были снимаемы очень медленно. Лекарь, навестив меня ввечеру, нашел, что я очень болен и что мне трудно будет перенести беспокойства похода. На другой день приходят за мною солдаты, хотят посадить меня на осла, но этот осел был самый тот, который лягнул в меня задними ногами в то время, когда я искал перстня: я рассудил, что эта скотина может навлечь на меня какое-нибудь несчастье, и отказался на нее сесть, упросив солдат, чтобы они несли меня попеременно на руках. Но жар был несносный, они не могли его вынести и положили меня на песок, сказав, что идут к ближнему источнику за водою.

Напрасно дожидался я их возвращения; злодеи без всякого сострадания оставили меня умирать на горячем песке от жажды, которая страшным образом меня мучила. Я потерял всю надежду. Магомед определил, так думал я, чтобы мне погибнуть в степи и чтобы хищные птицы расклевали мое тело. Да будет его воля! Но в это время нашел на меня отряд английских войск. Хотя они и христиане, но поступили со мною гораздо человеколюбивее, нежели правоверные Магомедовы чада: эти добрые люди залечили мою рану: судьба, однако, не переставала преследовать меня, как и прежде. Вот, что случилось со мною. Мы страшную терпели жажду. Англичане вздумали вырыть колодезь в одном месте, где, по уверению одного из инженеров, должна была находиться вода. Будучи большой неохотник рыться в земле, я рассудил отыскать источник и указал на одно место, где, по моим приметам, надлежало быть пруду. Меня остерегали, уверяя, что поиски мои будут напрасны и что я, конечно, не найду воды в том месте, в котором найти ее чаю. Я не послушался добрых советов, пошел и, в самом деле, не нашел ничего. Без сомнения, был я обманут каким-нибудь злонамеренным духом.

Утомившись чрезвычайно, палимый зноем, пошел я назад по тем следам, которые оставлены были на песке моими ногами. Начал дуть ветерок, он освежал меня, и я благодарил небо за эту помощь, но как же я ужаснулся, когда заметил, что этот самый прохладный ветерок заметал следы, означавшие на песке мою дорогу; все они исчезли, и я не знал, в какую сторону обратиться. Я чувствовал голод, мучительная жажда меня снедала; наконец отчаяние мною овладело, я бросил на песок свою чалму, разорвал на себе одежду и залился горькими слезами. Смерть моя казалась неизбежною; я думал только о том, как бы ее ускорить. Прежде еще выступления войск наших запасся я на всякий случай опиумом; он спрятан был в складках моей чалмы; хочу его принять; увы, последнее утешение умереть легкою смертью было похищено у меня жестокою судьбою; опиум выпал из чалмы в ту самую

минуту, когда я ее сбросил с головы, и я не мог уже отыскать его в песке. Я повалился на землю, поручив участь свою Магомеду⁶.

Никаким пером нельзя описать того, что я терпел от голода и жажды; наконец пришел я в какое-то бешенство, и мне виделись разные ужасы. Долго ли продолжалось это беспмятство, я не знаю, но меня извлекли из него человеческие голоса: я увидел в некотором от себя расстоянии караван богомольцев, возвращающихся из Мекки⁷. Они нашли источник, и это было причиною их радостных восклицаний, которые меня разбудили. Подивитесь же моему несчастью; этот источник, находился от меня очень близко, а я умирал от жажды. Несмотря на свою слабость, я начал кричать и пополз к тому месту, откуда слышались мне голоса. Я скоро увидел своими глазами путешественников; они наполняли водою мехи и поили верблюдов. Но силы мои совсем истощились, я не мог уже ни кричать, ни ползти, и уже видел, что они садились на верблюдов, готовы будучи удалиться. О жестокая звезда, подумал я, они уедут! Но мне пришло в голову снять с моей чалмы белое полотно и им махать, что я и сделал. Путешественники меня увидели, приблизились ко мне; один невольник меня напоил, и я рассказал им, какую судьбою зашел в эту ужасную пустыню.

Между тем один из путешественников рассматривал очень внимательно кошелек, висевший у меня на поясе; это был тот самый кошелек, который получил я с цехинами за открытие потерянного перстня; на нем изображено было имя того, кому он принадлежал прежде. Путешественник, смотревший на него со вниманием, был брат моего благодетеля; мы объяснились, и этот человек обещался меня не оставить. Караван шел в Каиро⁸; мой новый знакомец предложил мне следовать за ним; и вам не нужно сказывать, что я с большою охотою согласился на это выгодное для меня предложение.

— Послушай, Мурад, — сказал мне новый мой покровитель, когда я описал ему свои несчастья, — ты считаешь себя осужденным на неудачи; я в этом с тобою не согласен и берусь помогать твоему горю: советуйся со мною всякий раз, когда ты вздумаешь приняться за какое-нибудь дело.

Я обещался исполнять его приказания.

Этот человек был и богат, и великодушен; он содержал меня очень хорошо: должность моя состояла в присмотре за вьюком верблюдов и пересчитывании тюков при их перекладке. Я исполнял эту должность с великою точностию каждый вечер. Однажды, это случилось в самый день нашего прибытия в Александрию⁹, я поленился пересчитать тюки, будучи уверен, что они все налицо. Начали перегружать их на корабль; что же? Недоставало трех тюков хлопчатой бумаги. Мой

господин сделал мне выговор, но кроткий и слишком милостивый. Через крикуна возвестил он, что даст хорошее награждение тому, кто отыщет пропажу, и пропажа нашлась, но корабль уже отвалил от берега. Мы, я и мой господин, сели в шлюпку с своею хлопчатую бумагою, догнали корабль, но капитан сказал нам, что уже не было никакого способа поместить на нем наших товаров, что он уже был полон. Очень долго спорили, наконец, капитан согласился дать место на палубе нашим трем тюкам, а мне приказано было стеречь их днем и ночью.

В продолжение нашего плавания не случилось с нами никакого несчастья, но в последнюю ночь, накануне прибытия корабля в Каиро, заснул я, выкурив свою трубку, на одном из тюков с хлопчатую бумагою. Трубка была единственным моим утешением, и я не расставался с нею ни на минуту. Что же? Моя злая судьба и это невинное удовольствие обратила в мою погибель: вдруг пробуждают меня крики моих товарищей; вскакиваю. Что сделалось? Я не высыпал пепла из моей трубки: хлопчатая бумага загорелась, и чалма на голове уже пылала. Я весь изжегся, и на лбу у меня выскочило множество волдырей, а когда затушили огонь, то капитан корабля торжественно объявил, что он не согласится ни за какие деньги держать на своем судне такого человека, который причиною всех несчастий; и добрый мой господин, удостоверенный опытами, что неприязненная звезда моя не позволяет мне быть исправным слугою, решил со мною расстаться; он дал мне кошелек с пятьюдесятью цехинами и сказал: «Теперь ты свободен, Мурад; постарайся употребить на пользу свою эти цехины, и участь твоя, может быть, переменится». Увы, я не имел никакой надежды на счастье, однако решил последовать доброму совету и сделать выгодное употребление из своих цехинов.

Прошла неделя. В один день, прохаживаясь по улицам великого Каира, я встретился с человеком, которого лицо показалось мне знакомо. Всматриваюсь, узнаю того жида, который ссужал меня деньгами в лагере Эль-Ариша. Не могу понять, что привело этого проклятого еврея в Каиро: конечно, судьба моя шепнула ему на ухо: *ты найдешь в этом городе Мурада; счастливый путь!* Он привязался ко мне с требованием, чтобы я заплатил ему долг, грозясь объявить меня *беглым солдатом*, хотя известно было ему, что я бежал поневоле, будучи брошен больной на дороге. Я старался умиловить своего сердитого заимодавца; шумели, шумели, наконец, условились, чтобы я заплатил ему капитал и чтобы он отсрочил мне платеж процентов, за что я обязывался купить у него связку платья, доставшегося ему из вторых рук, и которое он соглашался уступить за весьма дешевую цену по той при-

чине, что ему необходимо нужно было, как можно скорее, уехать из Каиро. Он показал мне платье, и в самом деле, оно было очень богатое; словом сказать, я купил этот товар в твердой уверенности, что продам его скоро и за хорошие деньги.

В самом деле, так и случилось, я вынес платье свое на рынок, купцов нашлось очень много, и в несколько дней все мое сокровище было раскуплено, а я остался с порядочным барышом.

Дней через пять приходит ко мне один дамасский купец, который купил у меня два невольничьих платья, и объявляет, что те из его невольников, для которых были оные куплены, заразились чумою, и что он полагает мои платья причиною этой заразы. Я никак не мог вообразить, чтобы это была правда; пошел на базар, там встретились со мною многие из моих покупателей, которые объявили мне то же, что и купец дамасский¹⁰. Я показал им на свои ноги. Видите ли вы эти прекрасные туфли, государи мои, сказал я им, они находились в одном ящике с моими платьями; захотел ли бы я их надеть, когда бы воображал, что они заражены чумою? Слова мои несколько их успокоили. На другое утро, однако, один из этих господ приходит ко мне в дом и говорит: «Что ты наделал, Мурад, все мои невольники, которых одел я в купленное у тебя платье, заражены чумою». Я затрепетал. Мы начинаем рассматривать тот ящик, в котором прежде лежало платье. Что же? На крышке находим изглаженную надпись: *Смирна*¹¹, а в Смирне за несколько времени перед сим свирепствовала страшная зараза. Тут догадался я, для чего мой жид не хотел сам продавать своего товара, и вспомнил, что он, приподнимая крышку ящика (чтоб показать мне платье), держал под носом губку, обмоченную в уксусе, уверяя меня, что запах мускуса для него ужасно вреден.

Сказывают, что робость располагает наше тело к принятию чумы. Если это правда, то, верно, никто на свете не мог так скоро приготовлен быть к этой болезни, как я в ту минуту: мысль, что я буду причиною распространения моровой язвы и что, может быть, она уже вошла в мое тело, так устарила меня, что я в ту же минуту занемог жестокою горячкою.

Очень долго пролежал я без всякой памяти. Пришедши в чувство, увидел я себя в хижине, на соломе; в углу сидела старушка и курила табак. Она объявила мне, что кади велел меня выбросить за город, и что мой дом был скрыт до основания и сожжен. «Без меня, бедный человек, ты уже давно бы умер, но я дала обещание великому пророку не опускать ни одного случая сделать доброе дело. Вот твой кошелек, который мне удалось спасти от жадной черни, и что еще более, от когтей правосудия. Сначала укрепись, а после разотчемся».

Сверх всякого чаяния зараза меня не умертвила. Я посылал старушку узнать, что делается в Каире. «Чума уменьшается, — сказала она мне, — я видела, однако, множество погребений. Все жители проклинают какого-то *Мурада, несчастного человека*».

Я, простившись с моею избавительницею, вступил в лазарет, чтоб выдержать карантин и потом уехать из Каиро, где все ненавидели бедного Мурада. Мне вошло в голову, что все несчастья мои происходили от моего небрежения о драгоценном талисмани, мною наследованном от отца; три ночи сряду видел я во сне какого-то гения, который увещевал меня вспомнить о чудотворной фарфоровой вазе, и я решился возвратиться в Константинополь с твердым намерением поправить свою ошибку. В пристани спрашиваю у первого попавшегося мне носильщика, не знает ли он чего-нибудь о Саладине?

— Как не знать, — отвечал носильщик, — и кому в Константинополе неизвестен Саладин *счастливец*?

— Где ж его дом?

Мне указали великолепные палаты. Я никак не мог поверить, чтобы это было жилище моего брата, и долго не решался в него войти. Но в это время Саладин сам явился в дверях богатого дома; он узнал меня и с восклицанием радости бросился ко мне на шею. Я поздравлял его с такою блестящею фортуною. «Вот Саладин, — сказал я ему, — ты не верил мне, что люди рождаются или счастливыми, или несчастными, но ты перестанешь в этом сомневаться, когда я расскажу тебе свои приключения. Не подумай, однако, чтобы я поселился в твоём доме; нет, друг мой, несчастья мои заразительны: могу ли я пожелать тебе гибели! Я пришел сюда только за тем, чтобы взять у тебя свою фарфоровую вазу». Брат мой очень много смеялся моим рассуждениям и хотел непременно, чтобы я поселился в его доме. Саладин не переменил нисколько своего характера: он был по-прежнему скромен и доступен. Выслушав с терпением мою повесть, он рассказал мне весьма подробно о том, что случилось с ним после нашей разлуки. В приключениях его не было ничего необычайного; и можно было заключить из его слов, что он сделался счастлив по естественному ходу вещей. Но для меня его мнение было совсем не убедительно; я остался при той мысли, что ему помогала счастливая звезда, а меня преследовала несчастливая и злая.

И не прошло четырех дней после моего переселения в дом Саладинов, как уже он почувствовал, что у него живет любезный братец его Мурад. Та самая султанша, которой Саладин продал свою вазу, поручила ему выписать для нее из Венеции большое дорогой цены зеркало.

Саладин исполнил это поручение. Зеркало уже в пристани; он приказывает невольникам перенести его к себе в дом, а сам идет к сул-

танше с объявлением, что зеркало, ею требуемое, привезено. Было уже поздно, султанша приказала моему брату поберечь эту драгоценную вещь в своем доме до следующего утра. Зеркало поставили в одной горнице нижнего этажа, которая имела сообщение с моею; в этой же горнице стояло и несколько бронзовых люстр, купленных Саладином для своего дома. Надобно вам знать, что дня за два перед тем сделалась у нашего соседа покража; по улицам константинопольским шаталось много бродяг. Брат мой, имея большую сумму наличных денег, приказал невольникам стоять попеременно на карауле ночью. Вот случай доказать усердие мое Саладину, подумал я и расположился не спать всю ночь, растворил двери своей горницы для того, чтобы малейший шорох мог разбудить меня, сел против них совсем одетый, положив подле себя обнаженную саблю, и заснул. В полночь послышался мне какой-то шум; вскакиваю; саблю в руки, иду к дверям; при слабом свете лампы, которая горела в прихожей горницы, вижу человека, вооруженного саблею. Кричу во весь голос: «Кто здесь?» Нет ответа. Подымаю саблю и выступаю вперед; неизвестный также подымает саблю и выступает вперед. Мне оставалось только предупредить удар его своим ударом, и я грянул в него изо всей силы. Что же? Враг мой исчез; зазвенело, застучало, на меня посыпались стекла. О судьба, я разбил зеркало, привезенное для султанши. На стукотню сбежался весь дом; наконец является и мой брат Саладин, и что же он видит? Мурада, плачущего на развалинах драгоценного зеркала, им разрушенного. «В самом деле, Мурад несчастный, — сказал брат мой с некоторою досадою, но в ту же минуту, опомнившись, подал мне руку и прибавил с усмешкою, — прости мне, Мурад, я укоряю тебя напрасно. Ты не имел никакого дурного намерения, а это несчастье весьма скоро может быть исправлено».

Брат мой казался веселым, но в самом деле ему нельзя было не беспокоиться: он не знал, как примет султанша известие о несчастье, случившемся с ее зеркалом! Я, с своей стороны, будучи уверен, что разорю Саладина вконец, если еще несколько времени пробуду в его доме, решился в ту же минуту с ним разлучиться, и сообщаю ему это намерение. Брат мой, видя, что оно непоколебимо, сказал мне: «Послушай, Мурад! В одном из моих магазинов очистилось место фактора; не согласишься ли ты его занять? Должность твоя будет самая легкая; впрочем, и самые ошибки твои не могут мне сделать никакого вреда: я богат, и опущение какой-нибудь безделицы нисколько не будет для меня разорительно».

Добродушие Саладина тронуло меня до слез; я в то же самое утро переселился в этот магазин, в котором вы теперь меня видите; а ввечеру брат мой прислал ко мне драгоценную мою вазу и при ней записку, в которой написано было следующее: «Краска, найденная мною

в фарфоровой вазе, положила основание моему богатству; справедливость требует, чтобы я разделил его с моим братом».

Признаюсь сам, что я не мог наслаждаться счастливым своим состоянием, зная, что брат подвержен был гневу первой султанши. Нынешним утром прислал он мне сказать, что султанша соглашается его простить, но с тем условием, чтобы он доставил ей такую же точно вазу, какую она за год перед тем у него купила. Я обрадовался случаю пожертвовать своею драгоценностию Саладину и велел ему сказать, что принесу к нему эту вазу сам. Мне хотелось ее хорошенько вымыть, потому что на дне ее находились еще некоторые следы красной краски; я влил в нее кипятку; вдруг слышу: шипит; не успел мигнуть, как бедная моя ваза разлетелась на части. После этого судите, милостивые государи, не имею ли я права называть себя *несчастливым*, и не лучше ли бы гораздо было, когда б я совсем не родился на свет?

В эту минуту вошел в горницу Саладин. Взглянув на своего брата, он догадался, что с ним сделалось какое-нибудь новое несчастье. Он ахнул, увидевши на полу развалины вазы, но, рассмотрев их с своим обыкновенным присутствием духа, сказал: «Берусь склеить эти черепки, и ваза будет цела по-прежнему». «Видите ли, государи мои, — воскликнул Мурад, — счастье следует за ним, как тень. Ему стоит только показаться, чтобы все сделались довольны и веселы, и на ваших лицах изображается удовольствие. Хотите ли его увеличить? Пускай Саладин расскажет вам свои приключения».

— Охотно исполню ваше требование, — сказал Саладин, — но с тем условием, чтобы эти добрые чужестранцы у меня отужинали.

Султан любопытен был слышать историю Саладина и пошел к нему в дом. После ужина Саладин начал рассказывать.

— Не думаю, чтобы в моем младенчестве случилось со мною что-нибудь необыкновенно счастливое, но должен вам признаться, что наименование *счастливого* произвело во мне великую уверенность к самому себе и к фортуне; я сделался высокомерным и смелым: и это могло бы обратиться мне во вред, когда бы один бездельный случай, сделавший на душе моей глубокое впечатление, не излечил меня совершенно от сей болезни. В Константинополе находился один французский инженер, который пользовался отменною милостию султана. Он праздновал рождение повелителя верных и давал фейерверк. Зрителей собралось чрезвычайно много, и я был в том же числе. Нам многократно кричали: *отойдите; фейерверк опалит вас*. Те, которые стояли подле меня, отделились; а я, в крепкой надежде на доброхотную мою звезду, остался на прежнем месте и через минуту был осыпан огнем, который опалил мне лицо и руки.

Инженер, услышав о моем приключении, навестил меня в моем доме. Я имел счастье ему понравиться; мы познакомились, и я много извлек пользы из разговоров своих с этим человеком. Он принудил меня смотреть без предубеждения на многие вещи, о которых я имел понятие совсем ложное; например, он истребил во мне безрассудную мысль, будто обстоятельствами нашей жизни управляет счастье или несчастье. Что такое счастье, говорил он, — искусство и благоразумие. Что такое несчастье: глупость, опрометчивость, неосторожность. Ты видишь, друг мой, что безрассудная твоя неосмотрительность едва не привела тебя ко гробу. Оставь бессмысленной толпе слепую веру на счастье. Пусть кто хочет, называет тебя Саладином *счастливым*; поступай так, чтобы иметь право на почтенное имя Саладина *осторожного* и *мудрого*.

Слова этого благоразумного чужестранца оставили во мне глубокое впечатление и дали другой оборот мыслям моим и предприятиям. Вы, может быть, уже слышали от Мурада, что мы нередко спорили с ним о предопределении, и что я никогда не соглашался верить этой мечте, подобно Мураду. Мы остались каждый при своем мнении, и эти мнения, как я уверен, были единственною причиною как успехов моих, так и его несчастий.

Мурад, конечно, вам сказывал, что я разбогател от красной краски, найденной мною в фарфоровой вазе. Без сомнения, эту находку могу назвать случаем счастливым, но какую бы она принесла мне пользу, когда бы я не употребил больших стараний на составление сначала краски из найденного мною порошка, потом и самого красильного порошка? Я согласен, что мы не властны предвидеть происшествий и управлять ими, но я уверен, что судьба наша зависит от того употребления, которое мы делаем из своих способностей.

Вы слышали от Мурада, что я продал вазу свою первой султанше; вырученные за нее деньги дали мне способ привести в порядок и распространить торговлю. Я был осторожен в делах своих; наблюдал правила строгой умеренности и особенно старался честными способами понравиться тем людям, которые посещали мою лавку или имели со мною дело. Надобно признаться, что я во всем этом не имел неудачи: в несколько времени богатство мое превзошло мои надежды.

Одно происшествие произвело в обстоятельствах моих великую перемену. В предместьи *Пере* сделался пожар, неподалеку от серала султанского. Будучи иностранцами, государи мои, вы не слышали, может быть, об этом ужасном пожаре, но он привел в волнение всю нашу столицу. Великолепные палаты визиря обращены были в пепел; ближняя мечеть имела ту же участь. Я слышал разные мнения о причинах сего несчастья: одни называли его гневом неба, которое нака-

зало султана за то, что он в одну пятницу не ходил в мечеть; другие уверяли, что Магомет сердит был на султана за то, что он вмешался в невыгодную войну и что за ту же вину сжег палаты его визиря, а все политики наши утверждали единодушно, что вышнюю судьбу было определено в такой-то день и час сгореть нескольким домам в предместьи Пере. Из всех этих многообразных мнений выходило то, что жители Константинополя совсем не почитали за нужное брать предосторожности против пожара, и в это время пожары случались почти каждую ночь. Нередко ловили вооруженных фитилями зажигателей, которые, пользуясь общею беспечностию, происходившею от глупого предрассудка, основывали свои выгоды на несчастьи народа, но сии открытия не уменьшали гибельной веры в предопределение. Что же касается до меня, то я не позволял себе покориться общему суеверию, а употреблял все способы для предохранения моего дома от пожара. На дворе моем был водоем, довольно обширный и всегда наполненный водою; дома, смежные с моим, часто загорались, но ни один из них не был жертвою пожара, благодаря пособию, подаваемому в скорости мною. Соседи мои называли меня своим покровом; они беспрестанно твердили, что я рожден счастливым и что все, ко мне близкое, заимствует от меня счастье.

В один вечер, отужинав у своего приятеля, я возвращался довольно поздно домой; вдруг примечаю, что желоб одного из городских фонтанов сворочен был в сторону, так, что вода бежала через бассейн, в котором от этого не было ни капли воды. Совсем не воображая, чтобы это было сделано с умыслом, я поправил желоб и пошел далее. Вижу другой желоб, также свороченный в сторону; вижу еще несколько желобов, и с ними сделано то же, что с первыми. Это меня поразило, и, наконец, я догадался, что мошенники, умышляя сделать в той части города пожар, старались уничтожить заранее все способы к его потушению. Сначала не знал я, на что решиться. Хотел разбудить караульных, которые очень спокойно спали, но мне пришло в голову, что караульные могли быть сами в заговоре, в противном случае они давно бы приметили, что все желобы переменили положение, и я решился разбудить своего соседа Цамат-Сади, богатого купца, имевшего множество невольников, которые могли в одну минуту рассеять по всему городу тревогу. Цамат-Сади недолго думал; тотчас послал он объявить великому визирю, что город в опасности и что прежде всего надобно подумать о сохранении священной особы султана; потом разбудили и главных чиновников города. Янычарский ага велел бить в бубны, и весь город был уже в тревоге, когда показалось пламя в нижнем этаже Цамат-Садиева дома. Злодеи, собравшиеся толпою, чтобы воспользоваться общим замешательством,

взяты были под стражу. Словом сказать, благодаря предосторожностям нашим, пожар затушили в ту самую минуту, в которую он оказался.

На другой день, при появлении своем на базаре, был я окружен купцами; меня обнимали, благодарили, называли благотворителем. Цамат-Сади подарил мне драгоценный алмаз и кошелек с золотыми монетами; примеру его последовали другие купцы и городские чиновники, а визирь прислал мне богатый перстень с запискою: *спасителю Константинополя*.

Таким образом, в одни сутки судьба моя совершенно переменялась: я сделался и богат, и славен, начал вести жизнь, соответственную новой моей фортуне; переселился в богатый дом и накопил множество невольников. Несколько дней спустя после моего новоселья, на базаре я встретился с жидом, который, отведя меня в сторону, сказал таинственным голосом: ты купил многих невольников, тебе надобно их одеть; не хочешь ли, я продам тебе за дешевую цену прекрасные платья? Наружность этого человека не понравилась мне с первого взгляда, и я хотел уже ему отказать, но, подумав, что выгоды своей никогда терять не должно, спросил, за какую цену располагается он продать свои платья. Он удивил меня ответом, цена была необыкновенно дешевая. Начиная расспрашивать, каким образом достались ему эти платья; он отвечает весьма двусмысленно: это заставило меня подумать, что платья или украденные, или зараженные чумою. Жид показал мне ящик, но я заметил, что он прежде, нежели открыть его, потер себе нос ароматическими травами. Запах мускуса мне вреден, сказал он. «И мне также, — возразил я, — и мне должно взять предосторожность». Жид побледнел, вообразив, что я проникнул его тайну, он вышел в другую горницу, будто за ключом, и более не возвращался. Между тем я начал рассматривать ящик, и на крышке увидел совсем почти изглаженную надпись *Смирна*. Это подтвердило мою догадку. В тот же день опять я встретил моего жида, выходящего из ворот Цамат-Сади. Спрашиваю у своего соседа, какое имеет он дело с жидом. Цамат-Сади отвечает мне, что этот человек вызывается продать ему невольничьи платья. «Остерегись, Цамат-Сади. Я имею причину думать, что эти платья заражены чумою». Я сообщил Цамату сделанные мною примечания; он очень много меня благодарил. Мы пошли к кадию с доносом, но кади несколько замешкался взять жида под стражу; он скрылся со своим платьем.

Мне удалось видеть Фатиму, дочь Цамат-Садия, в то время, когда она шла в мечеть; стройность ее стана меня поразила. Я не осмелился, однако, требовать ее руки у Садия, который вдесятеро был меня богаче. Но услуга, оказанная ему мною, расположила его в мою пользу. Он праздновал день рождения своей дочери.

— Саладин, — сказал он мне, — праздник дан будет у меня в саду; хочешь ли смотреть на него с балкона? Ты можешь увидеть и дочь мою без покрывала.

— Избави меня от этого Бог! Я видел твою дочь издали; она оставила глубокое впечатление в моем сердце. Я не хочу усиливать этого чувства, ибо знаю, что дочь твоя не сотворена быть женою Саладина.

— Кто тебе это сказал? — воскликнул Цамат-Сади. — Дочь моя тебе нравится? В добрый час! Будь ее мужем!

Не стану вам открывать своей радости. Через несколько времени я сделался счастливым супругом. Фатима, прекрасная лицом, прекрасна и душою, мы живем согласно. Цамат-Сади отдал мне свой огромный дом, и теперь, имея большое богатство с милою женою, почитаю себя совершенно счастливым; мне ничего не останется желать на свете, когда увижу счастливым и доброго моего Мурада. Что же касается до разбитого зеркала и вазы, то мы постараемся помочь этому горю. Султанша...

— Не бойтесь гнева ее, — сказал султан, сбросив с себя верхнее платье, под которым сокрыта была императорская одежда....

Саладин, я доволен твоею повестью и признаюсь охотно, что называемое счастьем в поступках людей приличнее называть осторожностью и благоразумием.

Саладин должен быть прозван *счастливым* и *рассудительным*, а Мурад заслуживает более наименование *неосторожного*, нежели *несчастливого*. Так говорил султан. Он предложил Саладину достоинство паши и важную должность губернатора одной провинции, но осторожный Саладин, довольствуясь скромным и безопасным счастьем, с почтительностью отклонил от себя это предложение. «Я счастлив, — говорил он, — и желание быть счастливее было бы для меня весьма безрассудно».

А Мурад? Мурад продолжал верить предопределению, жаловаться на свои неудачи, пить опиум и дурачиться, приписывая все дурачества свои неизбежному жребию.

(Из Эджеворт)

ПРИВИДЕНИЕ

(Истинное происшествие, недавно случившееся в Богемии¹)

Фольмар, молодой офицер австрийской милиции, будучи ранен на сражении при Ваграме², остановился для излечения своего в богемском городке Камейке³. Ему отвели хорошую квартиру. С билетом⁴ в руках идет Фольмар в назначенный ему дом; входит, на всех лицах напи-

сана печаль; хозяин встречает его в черном платье, а на столе видит он гроб, в котором лежит молодая женщина, жена хозяина, как будто спящая, с бледным, но милым и совершенно спокойным лицом. Фольмар содрогнулся. Г. Ленц (хозяин) извиняется, что по причине горестных обстоятельств своих не может его у себя поместить, и приказывает своему человеку проводить Фольмара в трактир, находившийся на той же улице почти рядом с его домом. Зрелище гроба оставило глубокое впечатление на душе Фольмара: молодость и красота, которыми была украшена эта несчастная и в самых объятиях смерти, заставили его невольно устремить глаза свои на лицо ее, привлекательное и тихое. Чудесное сходство покойницы с Луизою, сестрою Фольмара, которую он уже целый год оплакивал, привело в волнение его сердце. Он вспомнил, что в этот самый день совершился ровно год после жестокой потери, и в душе его снова отозвались последние слова умирающей Луизы.

— Иосиф, друг мой! — говорила она с унылою улыбкою. — Не убивай себя чрезмерною горестию: разлука наша не будет вечною; ты еще увидишь меня в этом свете!

И ровно через год, изо дня в день — какая чудесная встреча! Какое таинственное сходство!

В эту минуту послышалось ему тихое пение — унылая и приятая гармония, приносимая издали вечерним ветерком, как будто разливалась в пространстве воздушном. Фольмар подошел к растворенному окну, перед которым струилась прозрачная Молдава⁵, — луна светила очень ярко. За рекою, в отдалении, виден был монастырь; монахини пели священные свои гимны. Воспоминание о Луизе наполнило душу Фольмара; он начал молиться, и слезы покатались из глаз его.

Пробило полночь, когда он лег в постель. Он начинал уже засыпать, вдруг слышится ему тихий шорох; что-то прикоснулось к его щекам — прикосновение легкое, как будто воздушное, — и через минуту нежный, едва слышимый голос сказал ему: «Ты ли это, Иосиф?» Он пробуждается, видя сияющие во мраке глаза, большие и прямо на него устремленные, вскрикивает. Женщина, одетая в белое платье, бросается от его постели к дверям, перед которыми останавливается, подымает руки к небу. Фольмар хочет за нею последовать — сияние луны осветило ее лицо: это Луиза! Ужас сделал его неподвижным.

Несколько раз Фольмар приближался без трепета к батареям французским, но теперь пустая мечта, произведение сна, заставила его содрогнуться. Он старался призвать на помощь рассудок; но против воли повторял ежеминутно:

— Это ее большие, черные глаза, ее миловидное лицо, ее стан, ее поступь; это Луиза!

Поутру увидел он, что дверь его горницы была не отворена — и он уверился, что видел свою Луизу во сне!

Он послал за лекарем, чтобы перевязать свою рану. Лекарь приходит. Между прочим Фольмар сказал: «Я имею билет для постоя в доме господина Ленца, но его несчастье...»

— Подлинно несчастье! — воскликнул лекарь. — Если б вы видели эту женщину! Если б вы знали, как она была прелестна, какой имела характер — это был ангел! Я видел ее в последние мучительные минуты кончины!

— Вы, в самом деле? Скажите ж мне, прошу вас, точно ли вы уверены, что госпожа Ленц умерла?

— Уверен ли? Что это за вопрос!.. К несчастью, слишком уверен!

Лекарь удивился, удивленный странностию любопытства Фольмарова, который сожалел, что не мог сделать ему других вопросов.

Фольмар не говорил никому о своем приключении; нетерпеливо ожидал следующей ночи, надеясь, что она объяснит его понятие о том предмете, который занимал душу его так сильно. Наступает ночь — Фольмар ложится в постель и гасит свечу, оставив ключ в дверях своей горницы: он намерен совсем не спать. Долго он не смыкает глаз; наконец, утомленная натура преодолела его силы — он заснул. Вдруг опять сквозь тонкий сон слышится ему тот же голос, который слышался накануне. «Ты ли это, Иосиф?» — говорил ему кто-то. Он пробудился; горница его пуста — через минуту послышался ему вздох, печальный, тяжелый.

— Луиза! — воскликнул Фольмар. — Где ты, Луиза?

Нет ответа.

— Луиза, милый друг, если это ты — приближься!

Глубокое молчание. Фольмар встает и скоро уверяется, что он один совершенно.

Он садится под окно. Луна светит ярко; по реке тихо плывет лодка; она приближается — в ней видится ему гроб и один только человек, управляющий веслом. Ничего, кроме унылой песни гребца и однозвучного плескания волн, не слышно было в тишине полночной.

— Долго ли будут преследовать меня эти печальные предметы? — сказал Фольмар, отошел от окна, лег в постелю, но глаза его не смыкались до самого утра.

На другой день лекарь навестил его вторично.

— Скажите мне еще раз, — спросил Фольмар, — точно ли вы уверены, что соседка моя умерла?

Лекарь вместо ответа положил на стол погребальный билет, на котором Фольмар прочитал имя госпожи Ленц.

— Боже мой, муж ее называется Иосифом!

— Точно так!

— Она не умерла, точно не умерла; я этом уверен!

Лекарь смотрел на него исподлобья; он думал, что военные труды и тяжкая рана повредили его мозг.

— Но имя ее Амалия. — продолжал Фольмар. — Вот почему не отвечала она, когда я воскликнул: Луиза! Теперь не удивляюсь, — прибавил он вполголоса, — что необыкновенное сходство, поразившее меня днем, совершенно обмануло меня ночью!

Будучи уверен, что он проникнул в тайну, Фольмар рассказал лекарю о том, что видел и слышал в последние две ночи. Лекарь засмеялся.

— Позвольте мне, — сказано он, — в десятый раз подтвердить вам, что госпожа Ленц так же точно умерла, как и ваша покойная сестрица, но по лицу вашему заключаю, что вы все еще сомневаетесь: мы сделаем, если угодно, опыт; что могли видеть и слышать вы, то равным образом и я могу видеть и слышать — позвольте мне провести нынешнюю ночь вместе с вами. Такого рода приключения всегда бывают забавны! Или вы меня окрестите в вашу веру, или я, с своей стороны, излечу вас от странного предрассудка. И если все это (как я подозреваю) есть одна только шутка, то мы будем иметь удовольствие вдвоем посмеяться над оплошностью вашего колдуна или вашей колдуньи.

Фольмар согласился на предложение медика, но с тем чтобы он никому без его позволения не говорил о сем происшествии.

В полночь лекарь явился в спальню Фольмара, который не мог не улыбнуться, увидя его, вооруженного пистолетами и длинною саблею. Такое приготовление к свиданию с мертвыми показывало некоторую недоверчивость к живым; но эскулап не удовольствовался огнестрельным оружием; он объявил Фольмару, что надобно выпить бутылки две вина и как можно ярче осветить горницу. Фольмар вышел, чтобы сказать об этом трактирщику. Медик скорыми шагами прохаживался по горнице; его дыхание было несколько несвободно.

Между тем Фольмар поспешно всходил на лестницу; он уже был на последней ступеньке — вдруг в конце коридора, ведущего к дверям его горницы, представилась ему женщина, одетая в белое платье. Он останавливается, смотрит, слушает — привидение обратилось к окну, освещенному полною луною; ветерок свеял с головы его покрывало; профиль прекрасного лица отделился от мрака — Фольмар сделал еще три шага; о чудо! Это Луиза! Кровь оледенела и жилах его. Призрак поднял руки к небу, потом с унылым стенанием положил их на сердце.

Сам Фольмар после признавался, что он не постигает, по какому невольному чувству страх принудил его идти вперед, а не удалиться. Он подошел так близко к таинственной женщине, что мог своими гла-

зами рассмотреть черты ее лица — лица своей Луизы, милой и незабвенной. Волосы становились на голове его дыбом; он хотел говорить, но язык ему не повиновался, голос замирал на его устах.

— Луиза! — воскликнул он, наконец.

Она оборотила голову и устремила на него глаза.

— Неужели не узнаешь меня, милая Луиза?

Она сделала отрицательный знак головою.

— Не узнаешь Иосифа, которого прежде так любила!

— Иосиф, — сказала она, наконец. — О, друг мой, Иосиф! Если правда...

Она протянула к нему руки; он бросился в них без памяти.

В эту минуту лекарь явился в дверях, со свечою в одной руке, с пистолетами в другой. Первый предмет, глаза его поразивший, был Фольмар в объятиях привидения.

— О небо, — воскликнул он, содрогаясь. — Госпожа Ленц!

Но в эту же минуту отворилась другая дверь, смежная с Фольмаровою, из нее вышел незнакомый человек, уже в годах; он приблизился к Фольмару, вырвал с видом неудовольствия из рук его мнимую Луизу и удалился. Молодой офицер и медик долго смотрели в изумлении друг на друга — всю ночь провели они в догадках. Поутру Фольмар послал к своему соседу сказать, что он нетерпеливо желает иметь с ним свидание, и через полчаса незнакомец явился. Фольмар начал перед ним извиняться, рассказал ему свою историю со всеми подробностями; она тронула незнакомца.

— Теперь остается мне изъяснить вам эту загадку, — скачал он. — Слушайте. Несчастливая, которую вы видели в прошедшую ночь и которая два раза приводила вас в ужас, не есть ни сестра ваша Луиза, ни госпожа Ленц; она моя дочь, единственное мое дитя. Она сумасшедшая. Было время, когда я называл себя счастливейшим из отцов: дочь моя, прекрасная лицом, добродетельная, умная, была сговорена за одного молодого человека редких достоинств; я наперед восхищался ею и собственным своим счастьем. Мой бедный Иосиф уговаривал меня положить день для их свадьбы, когда на границе нашей явились неприятельские войска. Безрассудный, увлечен будучи воинственным духом своим, сделался предводителем нескольких отважных молодых людей, одинакого с ним возраста и подобно ему пылких; неприятель послал против них отряд своего войска; наш городок обратился в поле сражения: по улицам и в самих домах рубились. Бедная моя Луиза увидела из окна, что жених ее, окруженный французами, готов был погибнуть — она обеспамятела — побежала к нему на помощь, в эту минуту пуля ударила Иосифа в голову; кровь его брызнула на лицо Луизы; он пока-

тился к ее ногам и умер. Я прибегаю; Луиза лежала без всякого чувства. Ее отнесли домой; она опамятавалась, но рассудок ее помутился, и с тех пор ее положение не переменалось. Я переехал в этот городок, в котором намерен прожить до заключения мира.

Фольмар, выслушав со вниманием эту печальную повесть, просил, чтобы ему позволено было увидеть Луизу. Отец согласился исполнить эту просьбу, и Фольмарово изумление увеличилось, когда он рассмотрел вблизи Луизу: сходство ее с сестрою его и с госпожою Ленц, усовершенствованное несколько тронутым воображением, в самом деле, было удивительно. И лекарь смотрел с замечанием на Луизу, но он имел более в виду свое искусство: он был человек необыкновенный, острого ума и весьма опытный в своем деле. Он советовал отцу Луизы не удалять своей дочери от общества, а, напротив, посещать вместе с нею такие места, в которых бывает много людей, и в особенности молодых мужчин. Фольмар принимал живое участие в судьбе Луизы, но он старался на нее не смотреть. Луиза, напротив, не сводила с него своих глаз, но она молчала и была задумчива. Осторожная внимательность молодого Фольмара весьма понравилась отцу Луизы; он просил его навещать как можно чаще своих соседей.

Фольмару такое предложение было весьма приятно, он воспользовался им на другой же день. Лицо Луизы имело в глазах его особенную прелесть. Лекарь, который заслуживает, чтобы мы называли его доктором, сидел и углу и делал свои наблюдения. Он заметил, что всякий раз, когда Фольмар устремлял глаза свои на Луизу, она выходила из своего задумчивого уныния; на щеках ее показывался румянец, лицо ее оживлялось, а глаза блистали необыкновенным блеском.

«Хороший знак, — подумал он. — Желаю теперь испытать, какое действие иметь будет имя Иосифа!».

И опыт сделан был в тот же вечер. Фольмар принес прекрасный букет цветов и положил его на окно, подле которого сидела Луиза. Она совсем не обратила на него внимания.

— Где взял ты эти цветы, Иосиф? — спросил отец у Фольмара.

При этом имени Луиза быстро взглянула на молодого человека и долго смотрела на него с беспокойством; глаза ее мало-помалу наполнились слезами, которые, наконец, покатались по щекам ее крупными каплями. Она сняла с окна цветы; приложила их к сердцу; потом начала целовать и несколько раз сказала:

— О, друг мой, Иосиф!

Добрый отец пожал руку у доктора и едва не бросился на шею к Фольмару: то было первым знаком чувствительности в Луизе после ужасной ее потери.

Отец рассказывал, что Луиза прежде своего сумасшествия прекрасно играла на фортепиано; и на другое утро явилось в комнате ее фортепиано, купленное Фольмаром. Увидев его, она взяла стул, села, и пальцы ее побежали по клавишам, но они производили одни расстроенные звуки. Луиза встала; на лице ее изобразилось унылое неудовольствие. Фольмар, севши на ее место, начал с большею выразительностью играть богемские песни, которые могли возбудить некоторые милые воспоминания в душе Луизы. Она слушала с великим вниманием, облокотясь на стул, и вздыхала. Фольмар заиграл народную песню, которую она тысячу раз слышала в горах Богемских; слезы побежали из глаз ее ручьями.

Прошло несколько времени — многие счастливые признаки выздоровления возобновляли уже надежду в родительском сердце. Однажды Фольмар приходит в обыкновенное время к своим соседям; он весьма удивился, нашедши Луизу одну. Она погружена была в глубокую задумчивость, но, увидя Фольмара, вдруг воскликнула:

— Иосиф, Иосиф, это ты. — И протянула к нему руки. Вне себя от восхищения, молодой человек прижимает ее к сердцу, называет нежнейшими именами; уста их встретились... Пламень электрический не может действовать быстрее, облако, затмевавшее рассудок Луизы, исчезло. Она взглянула на Иосифа и покраснела.

— Нет, ты не Иосиф, — сказала она. — Не тот Иосиф, которого убили перед моими глазами, но ты всегда будешь утешителем Луизы!

В эту минуту входит отец; он видит Луизу в объятиях Фольмара.

— Да благословит Всевышний союз ваш, дети мои, — сказал он. — Провидение послало Фольмара в этот дом, чтобы положить конец нашим страданиям. Доктор, — прибавил он, — вы очень искусны в своем деле. Но этот молодой человек, не обещав ничего, сделал гораздо более, нежели вы.

Луиза не позабыла своего первого Иосифа, но второго не отдаст она ни за какие сокровища мира.

**НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ ИОАННА МИЛЛЕРА,
ИСТОРИКА ШВЕЙЦАРИИ,
К КАРАУ БОНСТЕТТЕНУ, ДРУГУ ЕГО**

Шафгаузен¹, 14 Мая 1773

Я давно желал иметь сообщение с другом мудрости, имеющим одинакую со мною цель, одинакий возраст, и которому было бы мне приятно поверить все свои планы, все свои мысли о науках, отечестве, чело-

веке. Араб, странствующий по раскаленным пустыням Ирака, не столь нетерпеливо желает найти прохладительный источник, как я, о милый друг мой, желал стремиться за человеком, тебе подобным. Ничто не противится нашему союзу. Мы оба умеем писать. Берн и Валлекр² не разделены морями, и мы *союзники*: так, союзники, Бонстеттен; будем же ими в обширнейшем смысле этого слова.

Пусть будут наши письма, нам одним известные, верным изображением нашего сердца; сохраним в них свои добродетели, свои недостатки, свои мысли, еще неясные, планы свои, еще не совершенные, взаимную нашу критику и нежные советы нашей дружбы. Какие бы ни были мои слабости и проступки: я покажусь тебе таким, каков я есмь, с открытым лицом и душою. Храни меня своим благоразумием, и возвращай на добрый путь всякий раз, когда моя пылкость завлечет меня в заблуждение. Мы знаем более своих сограждан, но мы еще весьма далеки от того, чтобы иметь знания всеобщие, твои и мои замечания вместе принесут нам гораздо более пользы, нежели труд уединенный, не оживляемый пособием и примером. Я желал бы, чтобы мы, так сказать, составили союз чтения, мыслей, суждений. Спрашивай меня свободно о всяком предмете, о котором и с великим трудом не приобрел ты основательного сведения; спрашивай обо всем, что может, хотя немного, возбудить твое любопытство. Короче сказать, прошу тебя задавать мне все те вопросы, как тебе вздумается, лишь бы рука твоя писала от твоего сердца.

Бессинген³

Я продолжаю читать эту мнимую *Философию истории*, но по сие время еще не угадываю, какое имеет намерение автор. Всякий раз, когда я вижу немца, напрягающего все силы, чтобы сказать шутку, или острое слово, то воображаю великого Галлера⁴, в маскарадном платье, танцующего на бале. Благодаря священной важности древних, Тацит величественно пройдет сквозь тесные ряды веков до наших позднейших потомков. Историки новых времен не имеют этой высокой важности: они хотят забавлять, и забавляют одну минуту. Без всякой зависти смотрю на пышные приготовления некоторых писателей наших; ибо я не имею тех смелых надежд, какие имеют они: я ограничиваю себя историею моих швейцаров⁵. Хочу жить, наблюдать и действовать исключительно для этой главной цели моей жизни, и при конце ее представлю свету также просто, как и Юлий Кесарь в своих *Комментариях*⁶, одни плоды замечаний пятидесятилетних.

Вот, что говорит о тебе Боннет⁷: *Бонстеттен любит качества сердца как жареное, качества ума как десерт!* Но я знаю, что ты большой лакомка.

А госпожа Боннет так уверена в неразрывности дружбы нашей, что я, по ее мнению, и бессмертие приму с тем только условием, чтобы наслаждаться им подле тебя, мой милый Бонстеттен!

Бессинген, 2 Марта 1774

Твой слог весьма отзывается готическим языком Оттфрида⁸. Он не течет свободно и ясно, а низвергается с крутизны с. Готарда⁹. Нельзя сказать, чтобы он не был прост, но он с великим усилием пробирается сквозь тучу ненужных членов. Хорошо бы ты сделал, Бонстеттен, когда бы принялся перечитывать древних и старался приноровить немецкий язык свой к гению их языка: истинное искусство писать есть откровение, которым может пользоваться один только ум, полный картин и мыслей, и сверх того знакомый с оборотами и связью слов живописных или смелых, представляющихся ему в диалектах нашего и чужих языков.

Теперь наступила эпоха великой деятельности литературной в нашей земле; все умы в движении, творят или готовят творить: но я еще не знаю, имеют ли немецкие головы ту нежность органов, которая составляет великих или блистательных гениев. Теперь чрезвычайное множество молодых людей бросилось в историю. Некоторые из них подают надежду; но мне вообще не нравится то неуважение, которое показывают они к великим писателям иностранным. Спесь никогда не бывала характером истинного достоинства. Один из этих молодых людей пишет ко мне: *что скажу я о Монтескьё? Дух законов¹⁰ есть декламация шарлатана в сравнении с тем, что можно было бы написать об этом предмете.* И С... не отдает справедливости этой прекрасной книге. Но я, с своей стороны, чем больше читаю Монтескьё, тем более удивляюсь его глубокомыслию. Прибавлю: он имеет такое познание о свете и всех обстоятельствах общезжития, какого ни один из писателей немецких иметь не может.

Этот Вольтер в своей истории¹¹ никогда не рассматривает, что побудило духовного человека сделать преступление: усердие ли к религии, или другая какая-нибудь страсть, совсем оному противная; он, кажется, думает, если судить по тому тону, с каким он говорит о великих людях, что никакой другой истории, кроме его, и читать не будут.

Бессинген

Скажи мне, Бонстеттен, чтоб выучиться смотреть, надобно ли читать Шмитову оптику?¹² Какая ж тебе нужда читать и перечитывать скучные немецкие речи, чтобы выучиться говорить пред собранием двухсот Бернской республики?¹³ Кто одарен сильною душою, кто имеет наполненный живыми картинами, ясными понятиями ум, тот говорит

и пишет свободно. Учись немецкому языку своему в *Discorsi sopra la prima decade* (в Рассуждениях о первой декаде)¹⁴, в Цицероновых речах против Катилины, в его книге *de Legibus*¹⁵, в Полибие, в Фукидиде¹⁶; а тон, приличный тебе, ты можешь узнать тогда, когда будешь смотреть на двухсотый совет с надлежащей точки зрения. Я повторю здесь обыкновенный мой символ веры: красноречие республиканское приобретает единственно посредством *una lingua sperienza delle cose moderne, ed una continua lezione degli antichi* (опытным знанием дел новых и беспрестанным чтением писателей древних). Ты способен иметь такое красноречие; а я стараться буду приобрести его.

Один из лучших новейших писателей в Германии есть Винкельман¹⁷; и он таков более потому, что, не трудясь проникнуть во все сокровенности грамматики, напитал ум свой, от природы хорошо образованный, спасительным млеком литературы древней, а тем и сообщил ему ту превосходную силу, которой потомство будет гораздо более удивляться, нежели современники.

Старайся образовать слог свой более по Плутарху, нежели по Тациту¹⁸. Первый, с своим словоохотливым простодушием, может уподобиться нежному отцу, который рассказывает детям своим о старине и уговаривает их быть добрыми: народ и судьбы охотно покоряются его воле. Последний, напротив, говорит как оракул богов. Важный язык его пугает слабых, и они разбегаются перед ним, как робкие овцы при страшном рыкании царя лесов.

Пришли мне, как скоро возвратишься в Берн, каталог своей библиотеки, летопись Альберта Бонстеттена¹⁹ и «Жизнь Кромвеля»²⁰, которую мне случилось у тебя однажды видеть. В православной библиотеке соотечественников Кальвина²¹ я не нахожу ни этой книги, ни сочинений Болинброка²². Напрасно будешь искать в ней и политической арифметики В. Пети и Альгаротти²³, которого я еще совсем не знаю, потому что нигде не находил его в оригинале. Нельзя ли помочь мне в такой ужасной крайности?

Я поступаю теперь, как император Адриан²⁴: самовластно раздаю провинции. Чем более знакомлюсь с обширною наукою правления и дела общего, тем с большим презрением изгоняю из круга занятий моих все *идеальное*. Мечтания для меня нестерпимы²⁵.

*

Женева, 20 Декабря 1774

Проведя несколько часов за историею моих швейцаров, я нахожу себя лучшим, нежели после Махиавеля²⁶. Это занятие делает мне отечество мое столь драгоценным, что я нередко прихожу в восхищение,

замечая, что и ты, мой Бонстеттен, начинаешь любить его более прежнего. Твоя любовь к нему была бы моим подкреплением и заменила бы для меня многое, когда бы я решился, подобно тебе, предпочесть первую степень в маленькой моей республике десятой или миллионной в империи обширной; или когда бы для меня было довольно, ограничив себя в этом тесном уголке мира делами благородными и тихими достоинством, привлекать уважение и внимание людей великих, а не предавать себя в добычу их зависти на сцене открытой.

Оставшись здесь, я избрал бы целию жизни моей *placidam cum libertate quietem*^(*), науки, семейственное счастье. Соответственно другой цели, словесность была бы одним только посторонним способом к моему возвышению; согласно же с сею последнею, я занимался бы словесностию по любви к ней самой: я видел бы в ней прелесть бытия, одушевление жизни общественной²⁷, один из сильнейших узлов дружбы.

Я положил себе за правило никогда не говорить: *это правление хорошо, это правление дурно*. Я говорю: это правление или таково, или не таково, каким ему быть надобно в отношении ко времени его, или к месту. Всякое дурное правление сделалось дурным *постепенно*, не потому, чтобы оно было недостаточно в своем образовании первоначальном, а потому, что самые законы пришли уже в изменение и упадок. Мысли твои о выгодах такого правления, в котором бы все равны были между собою совершенно, почитаю несбыточною мечтою: ты обольщен Жан-Жаком²⁸. Такого правления никогда не бывало. Нигде не находим мы столь поразительного и непристойного неравенства, как в демократиях: а демократия *совершенная* никогда не могла более пяти минут продолжаться.

Твоя метафизика меня мучит. Со времен Плиния²⁹ никто уже не подходит близко к Везувию, а со времен Эмпедокла³⁰ никто не бросался в отверстие Этны; и ты, мой друг, невзирая на то, что Лейбниц³¹ исчез в пучинах метафизики, и что самый Боннет иногда теряется в ее лабиринтах, весьма бы хорошо сделал, когда бы остался вместе с нами на земле, чтобы говорить, писать и действовать, как учат нас Махиабель и приятель наш Марк Туллий³².

*

Я получил письмо от нашего друга Нихольса³³. Вот умный человек, с которым сердечно желал бы познакомиться короче и который по многим отношениям был бы для меня весьма полезен. Он не понимает, как

(*) Покой и свободу.

может такой благоразумный человек, как ты, недоволен быть вашею аристократиею. Я согласился бы на это, говорит он, когда бы с ним поступали тирански; но он сам рожден был тираном. Он огорчил меня неприятным известием: обстоятельства его таковы, что он не может еще назначить сроку своего путешествия в Италию и Швейцарию. Кто же покажет мне путь к Фирмиану, единственному на свете человеку, который может поместить меня в приличный мне круг действия и дать мне способ делать такие дела, которые достойны будут описания, или писать такие книги, которые достойны будут прочтения!

Сен-Леже презирает душевно твоих любимцев римлян³⁴. Они потомки, говорит он, невольников древнего Рима и еще Рима испорченного. Сидней³⁵ его герой и философ философов. На твердой земле он не находит свободы, и в самой Британии, как думает он, ее слишком мало. Он враг чинов и отличий, и любит одну свободу; он увещевает и меня подражать его примеру. Миллер, говорит он мне, забудь о чинах, и свобода признает тебя своим защитником, а потомство станет тебя боготворить. Но если ты хочешь быть просто невольником блестящим: в час добрый! наживай деньги! Но ты купишь фортуна целию свободы, спокойствия, бессмертия и уважения людей честных! Выбирай.

*

Теперь понимаю, что было причиною восхищения твоего от Жанту^(*) ³⁶. Боннет читает мне свои *Рассматривания*³⁷. О Бонстеттен, как это чтение возвышает мою душу. Как все пожертвования для добродетели и свободы кажутся низкими и маловажными, когда посмотришь на них с этой высоты! Как бедствия жизни для меня теперь ничтожны, и как я радуюсь, что еще существую! Катон, Цицерон, Тацит, Ньютон, Поп... для чего не могу я в эту минуту видеть их всех перед собою! Для чего мой добрый Нихольс не может слушать вместе со мною этого чтения и разделять со мною тех чувств, которые оно во мне производит! Избави меня Бог от ненавистой мысли, что мир есть произведение случая! Нет, я верю, я должен верить, что Существо, непостижимое для моего рассудка, но обожаемое мною в сердце, управляет громадою этих миров. Я вижу Сципионов сон³⁹, но когда и Рим и Карфаген представляются мне одними пылинками, что будет *Ромен-Мотье*, Бонстеттен^(**)?

(*) Там жил Боннет.

(**) Маленький городок в Pays de Vaud (т. е. в кантоне Во; франкоязычный кантон на западе Швейцарии. — *Ред.*).

*

*Колоньи*³⁹, 21 Марта 1776

Письмо твое делает честь Провидению: столь кажется приличным Его правосудию наградить тебя счастьем, которого давно уже ты достоин. Я не мог *разделять* твоей радости, ибо она есть личная моя радость. Мне кажется, мое счастье сделалось верным с той минуты, в которую сделался счастлив друг мой; ибо я давно уже привык соединять судьбу мою неразрывным союзом с твоею. Я знаю, в обыкновенной душе любовь заглушает спокойнейшее и более кроткое чувство дружбы; но в душе высокой и твердой, в душе Бонстеттена, каждое чувство и каждая добродетель имеют свое определенное место; и самая чрезмерность одного не может быть вредною для прочих.

Я привел в порядок свои исторические материалы, которые простираются до 1050-го года. Сокровища мои чрезвычайны. Я переменил свой план: первое потому, что моим читателям нужна история одного *Швейцарского Союза*⁴⁰, и нет никакого дела до прежних, не существующих владений; второе потому, что одна прекрасная картина лучше несравненно двадцати маленьких эстампов, и наконец третье потому, что наша история прежде союза ни для кого не может быть занимательна. Все это произвело новый план, который сообщаю тебе на рассмотрение.

Глава 1-я. Начало союза. Здесь даю я понятие о первых трех кантонах, о древнем физическом их состоянии, об их свободе, о духе Габсбургского дома⁴¹, и наконец о причинах, положивших основание союзу. Прежде не знал я, каким образом включить в главный рассказ сокращенное описание дел наших праотцев, предшествовавших союзу; я был в нерешимости, заставить ли говорить моих трех швейцарцев⁴² по образцу Тита Ливия, или просто представить одни собственные свои мысли, как сделал Монтескье в своих *Рассуждениях о величии и упадке Римлян*⁴³. Теперь кажется мне весьма возможным вмешивать нечувствительно в мой главный рассказ, подобно Тациту, повествование о происшествиях древних и правила, которые положить я намерен.

2-я глава. О состоянии городов, соседственных с тремя кантонами, и их участие в общем деле. Здесь говорю о Люцерне.

3-я глава. Продолжение. Цюрих.

4-я глава. Продолжение. Берн. Здесь, например, открываю я в духе свободы, которая оживляла дворянство Бургонии, начало Бургиньонской аристократии, установившейся в Берне, Фрибурге и Золотурне. Словом сказать, я образую мои области, возвышаю их и пишу биографию каждой.

5-я глава. Причины успехов союзного оружия. Войны с Австриею⁴⁴ отчасти известны, отчасти чрезвычайно скучны. По этой причине я не позволяю себе входить в подробности, приличные более летописцам; но открываю одни причины побед и следствия их, по образу и подобию моего президента Монтескье, в его *Рассуждениях о величии и упадке Римлян* (глава 2). Одно только это может быть теперь для нас важным; а польза есть главная моя цель. Пускай записные ученые скопляют мелочные предметы, занимающие одно любопытство; я хочу замечать единственно то, что хорошо или дурно, что полезно или вредно: в этом отношении история моя будет иметь некоторое сходство с *Рассуждениями о величии* и пр. Таково содержание первых пяти глав. Ты их получишь, как скоро они будут написаны; надеюсь, что кончу их в четыре недели. Я постараюсь, чтоб слог мой был вместе и важен, и прост. Важность приятна республиканцам и старым людям.

Не имея права по летам моим на общее уважение, хочу заслужить его по моему характеру; а определить мой характер перед глазами современников и потомства предоставляю моей истории. Но, друг мой, ужас объемлет меня, когда посмотрю на себя, двадцатипятилетнего юношу, идущего по тому блистательному поприщу, на котором толикое множество великих людей древнего Рима, новой Италии, Греции, Франции, Британии, венчались бессмертными своими лаврами. Я вижу их тени, спрашивающие одна у другой в изумлении: достоин ли этот отважный занять между нами место? Я вижу себя в присутствии потомства, того беспристрастного судилища, которое некогда сравнит меня с сими великими образцами, и потом осудит или на бессмертие, или на вечное посрамление. И тени прародителей наших мечтаются моим взорам; они угрожают возмутить спокойствие моего сна, если обезобразю священные лики их моею кистью. С робостию также вхожу и в многочисленные сборища великих людей нашего века; я желал бы обратить на себя их внимание, желал бы их занимать и им нравиться! Но как же трудно молодому человеку, еще не имеющему имени, проложить дорогу и к уму и сердцу своих обладателей нравственного мира! Страшуся и тебя, моего друга; ибо я полагаю любезнейшую славу мою в том, чтоб друг мой мною гордился. Но посреди сих ужасов поддерживает меня твердая уверенность, что я открыл в предмете моем многие новые стороны; что могу себя смело назвать не собирателем, а историком оригинальным и что наконец не замечаю в себе и тени зависти, напротив, я исполнен живейшей любви к предшествовавшим мне великим людям.

Но, друг мой, требую от тебя, чтобы ты не скрывал от меня ни одной мысли об этой истории, и также о том, как должно писать ее. Требую

этого от тебя как дара; ибо мысли твои почти всегда справедливы, новы и замечательны.

Осведомься, нет ли в каталоге вашем Боденовых сочинений: *De methodo Historiae* и *de Republicâ*⁴⁵. Пришли мне эти книги, если найдутся. Боден умеет мыслить, а его никто не читает.

Жанту, 14 Мая 1777

Боннет печатает свои *новые замечания о насекомых*⁴⁶, 200 стр. in 4-to. Это прекрасно, как роман; особливо статья о науке удивит тебя.

Великий Галлер пишет к Боннету и жалуется на уединение. Оно делает душу его задумчивою и мрачною. Книги единственная его отрада. Он пересматривает свои немецкие сочинения: но едва достает ему довольно деятельности, чтобы поправить некоторые свои фразы. Посети его, друг мой: сberi последние лучи этого угасающего света; не покинь Галлерова гения в те минуты, когда он еще сияет перед захождением своим за пределы мира. Друг мой, Галлеры умирают: эта мысль наводит на меня уныние. Когда подумаю о такой потере, то рад оплакивать и себя, и тебя, и всю Европу. Сын его поручил мне доставить ему несколько растений. Приезжай ко мне; мы навестим его вместе.

Жанту, 22 Июля 1776

Мне грустно, милый друг, неизъяснимо грустно! Ничто так не приводит в волнение сердца, как смерть человека с великим духом. Сульцер⁴⁷, этот добродетельный муж, этот любезный мудрец, этот всеобъемлющий ум, Сульцер, которого мы видели, с которым я провел здесь четыре восхитительных дня, с которым я говорил, смеялся, печалился, чувствовал, друг Боннета, слава Германии: его уже нет; он умер в том маленьком городке, который есть место его рождения; он заезжал в него на возвратном пути в Берлин. Я писал к Бодмеру⁴⁸, которого просил сообщить мне все подробности этого горестного случая. Материалисты должны умолкнуть перед смертью Сульцера. Как может быть, чтобы Творец угасил эту душу, возвышавшуюся на такую высокую степень света!.. Когда я воспоминаю об уме Сульцера, об его сердце, об его любезном характере, о привлекательной ясности его лица, то кажется мне, будто начинаю вдвое любить и науки и добродетель. О, пойдём, Бонстеттен, по той дороге, которую выбрал для себя Сульцер; отделим души свои от этих чувствительных душ, которые толпятся на низкой степени человечества; пойдём спокойно, рука в руку, при свете наук, ободряемые утешительною дружбою, во сретение сего последнего дня, который прекратит существование наше в мире! Главным

благодеем судьбы моей почитаю то, что она провела тебя прямо ко мне посреди осьмисот миллионов людей. Здесь, мой друг, в уединении, отделенный от всего мира, один между землею и небом, даю тебе и совести моей твердый обет, что наши души, навеки неразлучные, будут всегда совокупно, соединенными силами стремиться к одному и общему нам совершенству. Тот самый Бог повелел нам быть друзьями, быть счастливыми друг от друга; следовательно, любя добродетель и мудрость, нам неприлично оплакивать Сульцера по примеру людей обыкновенных. Оставив слабым душам бесполезную горечь и тщетные жалобы, возвысим мысли свои к рассматриванию его добродетелей, воспрещающих нам унывать и плакать! Почтим его память не суетными и скоропогибающими похвалами, но удивлением искренним и, если возможно, последованием его великому примеру!^(*)

Вчера начал я читать, вместе с Боннетом, рассуждение Сульцерово, напечатанное в Записках Академии⁴⁹. При этом случае сравнивал я те характеры, которыми некоторые славные писатели отличаются один от другого в слоге своем. Монтескьё — всегда превосходный, первой степени гений; Сульцер — мудрец Сократовой школы; Галлер — умный человек, имеющий необъятные сведения; Лейбниц — великий философ, совсем не умеющий писать, и от того чрезвычайно небрежный в слоге. В сочинении, о котором я говорил выше, Сульцер рассуждает о *гении*: прекрасный отрывок, автор рассыпал в нем щедрою рукою семена замечаний новых; на всякой странице виден автор *Теории изящных искусств*⁵⁰, просвещенный любитель древности, глубокий и тонкий судия произведений искусства, наконец профессор. В слоге его встречаются редко, я сказал бы почти никогда, обороты и формы гения. И я, и ты сотворены, кажется, более любить Монтескьё, нежели Сульцера.

Монтескьё, Тацит, Тит-Ливий, Блакстон⁵¹, Махиавель, все великое Греции, вечного Рима, все то, что произвела мужественная сила севера, свобода Британии, образованность французская и трудолюбивая ученость германской нации, все то, что нам осталось от революции мира и чего не истребили варвары в течение двух тысяч пятисот лет, памятники гения и мудрости толикого множества великих людей, все это, друг мой, для нас открыто, есть наша собственность, может служить нам пищею. Все веки собирали для нашего, а Тот, Которого невидимая рука сохранила для нас сии богатства, Тот говорит нам: читайте и научайтесь!

(*) Verúm animum tuum ab infirmo desiderio et muliebribus lamentis ad contemplationem virtum ejus voces, quas neque lugeri, neque plangi fas est. Admiratione eum, potius quam temporalibus laudibus, et si natura suppeditet, imitando decoremus.

Жанту, 29 Июля 1776

Каждый день около шести или семи часов сряду работаю над *историею моих швейцаров*... Теперь дело идет о Берне. Сколько опытов, которым надлежало бы просвещать государства насчет их истинных выгод, исцелить людей от пороков, предохранить народы от тиранства, а государей от деспотизма, и сии опыты все для нас потеряны! Люди грешат по невежеству, по незнанию настоящей своей пользы: для того-то и надлежало бы им просвещать себя опытами веков. Они ошибаются также и от того, что слишком слабо чувствуют те истины, в которых уверены рассудком. По этой причине и не довольно того, чтоб извлекать из истории важные мысли; но надлежит переделать ее снова и совершенно в другом свете представить. Когда я подумаю о том, сколь много было бы можно сделать, и как мало еще сделано, тогда уверяюсь, что XVIII веку еще много осталось прибавить к будущему усовершенствованию человека. И это в особенности должность истории: язык ее имеет силу непобедимую.

ТИМЕЙ-ВАЯТЕЛЬ

Вторая Платонова прогулка

Неподалеку от города, получившего имя свое от реки Гелор¹, орошающей его стены, был храм, который ослепительною белизною своею привлекал взоры путешественника. Платон, прогуливаясь по долине, на которой струился светлый Гелор и которую по причине ее приятности именовали *Сицилийским Темпеем*, захотел видеть вблизи тот маленький храм. Можно подумать, что некоторое тайное побуждение влечет благотворительные души в то место, где ожидает их случай сделать добро. Приблизясь к перистиллю храма, философ был удивлен его приятною простотою, но, вступивши во святилище, не мог он без восхищения смотреть на статую младого бога, которому в нем поклонялись. Никогда резец художника не выражал так естественно той нежной скромности и того привлекательного простодушия, которые составляют характер целомудренного Гименя, и взоры и душа философа прилеплены были к прелестному изваянию. Он долго стоял, задумавшись, и наслаждался тем чувством, тою жизнью, которую сердце художника вложило в этот мрамор, наконец воскликнул: «Я уверен, что этот ваятель имеет супругу и счастлив!»

«Ты не ошибся, божественный Платон! — отвечал ему молодой человек, который смотрел на него, опершись на колонну. — Я этот художник. Более четверти часа смотрю на тебя и радуюсь тому внима-

нию, с каким рассматриваешь ты мою статую, ты, которому все превосходнейшие произведения художников греческих должны быть хорошо известны.

— И ни одно из них не тронуло меня так сильно, как твой Гименей!

— Благодарность была моим гением, — отвечал скромный ваятель. — Этому богу обязан я лучшими благами моей жизни! Я имею редкую жену и детей прелестных.

— Я вижу, — сказал Платон, которому хотелось узнать и семейство художника, — что ты не принадлежишь к числу артистов, не заслуживающих по характеру своему того внимания и почтения, какое мы имеем к их произведениям. Я твердо уверен, что дарование твое оживотворено истинным добросердечием. Ты назвал меня по имени, и я со своей стороны постыдился бы спросить тебя о твоём, когда бы не был чужестранцем в такой земле, где, без сомнения, ты должен быть славен.

— Я называюсь Тимеем. Что же касается до твоего имени, Платон, то можно ли его не знать! Ты столь известен и столь достоин быть славным! Я несколько раз слушал наставления твои в саду академии, где лучшее афинское юношество внимать тебе собиралось. После того я путешествовал по Греции. Мне сказали, что великий Платон находился в моем отечестве, и я возвратился в Сицилию, лаская себя надеждою, что буду иметь счастье тебя здесь увидеть. И подлинно я счастлив: боги позволили мне встретить тебя в этом храме, который сам посещаю в первый раз, ибо отечественный город мой соорудил его в мое отсутствие, дабы поставить в нем моего Гименя. Но скажу искренно, такая честь польстила мне гораздо меньше, нежели одобрение Платона, высшеннейшего из философов. Надеюсь, что, удостоив вниманием мою статую, ты не откажешь навестить и самого художника в его хижине: там увидишь ту милую женщину, которая послужила ему образцом для сего изваяния.

— Я сам хотел тебя об этом просить, — сказал Платон. Они пошли вместе вдоль реки к Тимееву дому, который находился в предместьи города, на берегу светлого Гелора, окруженный лавровыми и масличными деревьями.

Женщина красоты божественной вышла навстречу к Платону. На лице ее, чрезвычайно миловидном, чувствительность соединена была с важным спокойствием. Она занималась домашними делами, а дочь ее, сидя подле своей матери, вышивала цветы и колосья на покрывале, которое готовила в дар богине Церере. Рядом с молодою девушкою сидели два младших ее брата, прекрасные мальчики; они имели перед глазами барельеф, изваянный их отцом, с которого снимали

рисунок. Платон, поклонившись жене и детям художника, прошел вместе с ним в его мастерскую, где они и остались.

— Ты видишь, — сказал Тимей, показавши философу свои рисунки, — что я не щадил трудов, дабы составить себе некоторое состояние и дать верное пристанище моему семейству после смерти моей, которая может случиться всякую минуту. И я уже имел несколько денег, которые вместе с приданным моей жены могли бы составить порядочный капитал, но один случай, почти невероятный, лишил меня теперь всего моего имущества, большими трудами скопленного.

— Какой случай? — спросил Платон.

— Увы! Это тайна, которой и жена моя еще не знает — но тебе, Платон, мужу совета, я все открою! Надеюсь, что ты мне поверишь, хотя я буду рассказывать дела невероятные. Ты мог получить некоторое понятие о моем почтении к богам бессмертным по тому образу, который даю им в моих изваяниях. Любимые мои божества были Гименей, Дружба и Верность! Им в особенности было посвящено мое искусство, и я нередко бросал с досадою резец, чувствуя, сколь было мне трудно изобразить ясными чертами характер, им свойственный. Наконец я имел удовольствие слышать, что работа моя мне удалась. Город Гелор воздвигнул храм моему Гименею, а цена, которую мои соотечественники назначили мне за это изваяние, превзошла мою надежду. В это самое время славился в городе нашем необыкновенною набожностью один богатый человек, по имени Ликаст. Он принял в число домашних своих богов Дружбу и Верность; я продал ему сии две статуи за весьма умеренную цену. Вхожу в эти подробности для того, чтобы ты мог почувствовать, сколь свято Ликаст должен был сохранять тот залог, который я ему вверил и который этот вероломный хочет теперь присвоить.

Обманут будучи тою мнимою набожностью, с какою Ликаст поклонялся Верности и Дружбе, я был уверен, что во всей Сицилии никто не мог уподобиться ему в честности, а то участие, которое он, как мне казалось, принимал в моих успехах, заставляло меня думать, что я имею в Ликасте верного друга. Видя, что обстоятельства мои были благоприятны, решился я посетить отечество Фидиасов, Лизиппов, Праксителей² и многих других великих людей, которых бессмертными произведениями удивляется Греция.

Не смея вверить маленького моего сокровища женщине слабой, робкой и не имеющей никакой защиты, решился я отдать его на сохранение Ликасту, и Ликаст принял от меня втайне, без свидетелей, ящик, наполненный золотом, поклявшись отдать его моей жене, если я умру во время моего путешествия. Он пересчитал деньги, запер ящик и отдал

мне ключ. Я оставляю Сицилию; путешествие мое продолжается два года; наконец, напивавши душу мою красотами искусства и чудесами творческого духа, возвращаюсь — какое же мое удивление! Ликаст, уважаемый всеми человек, обожатель Верности и Дружбы, встречает меня с холодным видом, осмеливается утверждать, что никогда не видал моих денег и что не его дело хранить чужое богатство.

Я скрыл свою досаду, не желая заводить шума, и еще надеясь, что этот бесстыдник может опомниться, но он, если не ошибаюсь, имеет жену, способную давать ему уроки в корыстолюбии и лукавстве. Она руководствует поступками Ликаста. Скажи мне, мудрый Платон, как должен я поступить в этом случае, и что бы ты сделал, будучи на моем месте? Я не имею ни доказательств, ни свидетелей; нет никакого способа уличить Ликаста в похищении вверенного ему залога!

— Обстоятельства затруднительные! — сказал Платон. — Лицемер есть гибкая, увертливая, легко из руки ускользающая змея. Я почти уверен, что деньги твои потеряны. Скажи мне, — продолжал мудрец, подумав несколько минут, — какого свойства тот человек, которому поручено блюсти правосудие в городе Гелор?

— Филоклес, всеми любимый, почтенный и прямодушный человек! Он строг и вместе снисходителен! Его страшатся и любят! Но, Платон, что может он сделать для меня со всем своим правдолюбием? Клятва ужасает одного неопытного преступника, но лицемер, который всенародно поклоняется божествам Верности и Дружбы и в то же время бесстыдно их оскорбляет, над ними ругается, попирая ногами святыне их законы, не устрашится богов, наказующих клятвопреступление!

— Правда, Тимей! Такого человека ничто остановить не может. Но почему знать, может быть, найдется какой-нибудь способ победить его корыстолюбие!

Тимей и Платон пошли вместе к Филоклесу, который, зная честность художника, не усомнился в истине его слов, но также, как и он, признавался, что не было средств употребить против Ликаста могущество строгого закона. Но способы убеждения были ему позволены.

— Я выдумал один способ, — сказал Платон, — и нахожу его не противным закону, ибо он не сделает никакого зла обвиненному, если он подлинно невинен!

Платон сообщил мнение свое Филоклесу, и оно было им одобрено. Послали за Ликастом; он приходит. С тем же спокойствием, с каким он отрекся от залога перед Тимеем, повторил он свое отречение и перед Филоклесом.

— О Тимей! — сказал он. — О ты, который умел так превосходно изобразить на мраморе красоты Верности и Дружбы, моих домаш-

них богов; который видел, с каким усердием я поклоняюсь им в своем семействе и как благоговейно поместил я их посреди отеческих моих Ларов. О Тимей! Как можешь с таким бесстыдством обвинять меня в корыстолюбии и предательстве? Я не сомневаюсь, что, оставляя Сицилию, ты вверил которому-нибудь из граждан Гелора свое сокровище; может быть, даже и то, что ты имел намерение сделать эту доверенность мне; но умоляю тебя, опомнись — ты переменял свое намерение! Точно переменял! Разве никто меня не знает! Если бы я не имел куска хлеба или был признан от всех за лихоимца и скупого, тогда обвинение твое могло бы показаться правдоподобным, но всему Гелору известно, что я честными средствами нажил большое богатство и что проживаю его также честно. Тимей! Подумай сам: человеку, наградившему тебя так щедро за твое искусство, придет ли в голову странное желание похитить у тебя твою собственность? Итак, умоляю тебя для собственной твоей чести более, нежели для моей, сообрази хорошенько все обстоятельства и дай себе время вспомнить, в какие руки отдал ты свое золото; я уверен, что ты очень скоро можешь об это вспомнить.

— Ликаст! — отвечал Тимей. — Я не имею твоего красноречия и даже согласен, что обвинение в хищничестве такого человека набожного, всеми уважаемого, как ты, может показаться клеветою, но при всем том я утверждаю и всегда буду утверждать, что отдал тебе, Ликаст, а не кому другому, из рук в руки ящик кедрового дерева, выложенный слоновою костью, в котором ты сам насчитал пять тысяч золотых монет; вот и ключ, отданный мне самим тобою. Ты хочешь, чтобы я опомнился, но вспомни сам, не ты ли клялся мне пред изваяниями Верности и Дружбы, что мой залог сохранится свято и что в случае моей смерти будет он отдан моей жене и детям?

Так простодушный Тимей старался уличить бесстыдного лицемера Ликаста, который отважно отрицался от залога и называл обвинение Тимеево клеветою. Наконец Филоклес, остановив их, сказал:

— Ликаст, я выдумал способ тебя оправдать, самый простой и верный. Ты в самом деле не получал этого ящика с пятью тысячами золотых монет от Тимея?

— Не получал, Филоклес!

— И никогда его не видал?

— Никогда, и готов в этом клясться!

— Следовательно, ты уверен, что его нет в твоём доме?

— Совершенно уверен!

— Садись же и пиши, что буду тебе сказывать: «Клеониса...»

— Письмо к моей жене?

— Пиши, Ликаст: «Клеониса, преступление мое открылось, и я во всем признался...»

— Как? Я!

— Это одна выдумка! Пиши, Ликаст: «Я теперь нахожусь во власти Филоклеса, и погибель моя неизбежна, если он надо мною не сжалится!»

— Как, Филоклес! Без всякого доказательства признаешь меня виновным?

— Я ничего еще не утверждаю, Ликаст, и от тебя самого зависит удостоверить меня в своей невинности. Продолжай писать: «Клеониса, от тебя теперь зависит мое спасение; не теряя ни минуты, принеси сама и отдай в руки Филоклеса Тимеев ящик с пятью тысячами золотых монет, вверенный мне самим Тимеем! Поспеши это исполнить; в противном случае я погиб!»

— Какое насилие, Филоклес! Ты принуждаешь меня требовать от жены моей такой вещи, которой у нее никогда не бывало!

— Что ж это за несчастье! Она просто придет сказать тебе, что не понимает твоей записки — и ты будешь оправдан!

— Она почтет меня сумасшедшим!

— На одну минуту! Придет и узнает истину! Теперь подпиши свое имя!

— Подписать имя! Подписаться преступником, когда я невинен! Могу ли на это согласиться, Филоклес?

— Я требую этого, Ликаст! — возразил строгим голосом судия. — В этой хитрости заключена твоя невинность. Если ответ Клеонисы опровергнет написанное тобою в письме, то мы уничтожим его; оно будет сожжено в ту же минуту самим тобою. — Вот тебе мое слово. Напротив, непокорность твоя, Ликаст, может иметь одну только причину, и эта причина — есть твое преступление. Оставь же пустые отговорки, подписывай имя свое, или в сию же минуту объявлю тебя виновным и прикажу заключить в оковы.

Ликаст побледнел, смутился и не мог отвечать ни слова; надеясь, однако, что его жена заметит хитрость и осмелится отпереться в принятии залога, он подписал письмо, и оно отослано.

Удивление Клеонисы было чрезвычайно; она долго не верила своим глазам. «Я не обманулась, — так думала она, — Ликаст изменил себе; его испугали, привели в замешательство; он разбился в словах, и теперь я погибла, если не поспешу отдать Филоклесу этого ящика; они придут взять его силою, бросят меня в тюрьму, и я принуждена буду наконец сказать, где он спрятан. Лучше отдать его добровольно — Филоклес имеет жалостливую душу; он нас простит и никому не расскажет об этом случае».

— Вот он, возьмите, — сказала Клеониса, подавая Филоклесу Тимеев ящик, — я хотела еще несколько времени продолжить эту шутку, чтоб проучить несколько Тимея, который целые два года пропадал в чужих землях и имел неосторожность вверять чужим людям имение жены и детей своих; но вижу теперь, что вы из шутки выводите важное дело, и выхожу из игры! Тимей, сочти свои деньги; они все целы. Но вперед сиди более дома и не отдавай никому под сохранение своего залога!

Тимей и Платон были очень довольны развязкою. Они просили Филоклеса отпустить Ликаста, наказавши его одним стыдом; но Филоклес сказал:

— Вы довольны, остается удовлетворить правосудие. Вот его приговор:

Ликаст! ты употребил во зло то уважение, которое люди оказывали тебе за мнимую твою набожность, и теперь должен признаться, что божествам Верности и Дружбы совсем не прилично пребывать в твоём доме и что их настоящее место в Гименеевом храме. Ныне же вели перенести в этот храм священные их лики: свет примет жертву сию за новое доказательство Ликастовой набожности, а между нами она будет его наказанием. Повинуйся, Ликаст; в противном случае преступление твоё ныне же сделается известным целому городу. А ты, Клеониса, вперед воздерживайся от таких шуток, которые имеют великое сходство с преступлениями, и помни, что не всякий судья может быть так снисходителен, как я, и не всякий обвинитель имеет Тимеево добродушие.

Виновные совсем не ожидали такого милостивого приговора, и Ликаст в тот же день его исполнил; а Платон имел удовольствие видеть в Гименеевом храме те божества, которые почитал он неразлучными его спутниками.

«Горе Гимену, — говорил мудрец, — если он не имеет товарищами Дружбы и Верности!»

С франц. В.

ПУТЕШЕСТВИЕ ШАТОБРИАНА В ГРЕЦИЮ И ПАЛЕСТИНУ

Осматривая Грецию, Палестину, Египет и Варварию, я не имел намерения писать путешествия, но только хотел, говоря словами древних, излечить себя от невежества. Несколько лет уже занимаясь сочинением^(*), которое должно, так сказать, дополнить книгу мою «Дух

^(*) Мученики, или Торжество христианства¹.

христианский», я почитал обязанностью видеть собственными глазами своими те страны, в которых я поместил своих героев. Я думал, что прежде не могу иметь доверенности к своим описаниям, пока не буду в состоянии сказать с Улиссом: *«Я видел разные земли и разные нравы, и все изображения мои верны»*.

Задолго еще до моего путешествия выбрал я из древних и новых авторов множество сведений об Иудее и Греции: как сии замечания, так и те, которые сделаны были мною на месте, послужили материалом для моей поэмы. Но между замеченными мною вещами находились и такие, которые были для меня совершенно бесполезны; например, все то, что относится к обычаям народов новых, не входит в мое сочинение, ибо в нем изображаются одни времена древние и отдаленные; напротив, я должен был сберечь для поэмы своей все описания мест, городов и тому подобное. Я отделил все предметы, не входящие в план сей, и могу ими особенно занять прежде читателя, прося его только помнить, что ему предлагают не путешествия, а некоторые несовершенные понятия, некоторые воспоминания и мысли.

Я сел на корабль в Триесте² 1 августа 1806 года, и скоро Адриатическое море осталось позади нас. 8 августа увидели мы Скарию (Корфу) и Бутротум³, напоминающие о двух приятнейших сценах «Энеиды» и «Одиссеи». Вдали мелькнул пред нами утес Итаки: я желал бы на время к нему пристать, чтоб видеть Лаерциев сад, хижину Евмея⁴ и узнать то место, на котором собака Улиссова умерла от радости, увидев своего господина.

Мы проехали мимо островов Занта и Кефалонии⁵. 10-го поутру на северном горизонте изобразились горы Елиды⁶, а 11 мы бросили якорь перед Модоном, древнею Мофоною, неподалеку от Пилоса⁷. Я поклонился берегам Греции и сел на шлюпку, которая пристала к самым стенам Модона. Вступивши в этот разоренный город, увидел я посреди улиц палатки и под ними сидящих вооруженных турков: это напоминало мне об одном глубокомысленном и во всех отношениях справедливом выражении господина Боналия: *«Турки стоят лагерем в Европе»*⁸. Я продолжал сухим путем свое путешествие.

В Пелопониссе нашел я одну бедственную страну, доставшуюся на жертву необузданным варварам, которых первое удовольствие — разрушать памятники просвещения и искусства, уничтожать нивы, деревья и целые поколения. Можно ли поверить, что есть на свете такие бессмысленные и дикие тираны, которые противятся малейшему усовершенствованию вещей, принадлежащих к главным потребностям человеческой жизни! Мост обломился — его не подымают; тебе вздумалось поправить свой обветшалый дом — к тебе придираются, тебя

утесняют. Я видел одного греческого мореходца, который почитал безопаснее пуститься в море с разорванными парусами, нежели зачинить эти парусы: могли бы подумать, что он богат или искусен в своем деле, и тогда он бы погиб.

Из Модона отправился я в Корону, находящуюся при заливе Мессинском⁹. Обошедши залив, я продолжал путь свой вверх по реке Памизе¹⁰. Вступив в Аркадию через гору Лицей, я посетил Мегалополис, создание Эпаминонда и отчизну Филопомена¹¹, потом Триполицу, новый город в Тигейской долине, у подошвы Менала¹². На возвратном пути я видел Спарту, Тайгет и долину Лаконии¹³. Отсюда пошел я через горы в Аргос, где осматривал некоторые остатки Агамемнонова града. Я останавливался на несколько времени в Микине и Коринфе. Проходя через перешеек по горам Геранийским¹⁴, я видел, как один турецкий ага¹⁵, поранив грека выстрелом из карабина, велел дать ему пятьдесят палочных ударов для его излечения.

Я посетил Мегару и Элевзис¹⁶; прожил несколько времени в Афинах; наконец, простившись навсегда с отечеством муз и великих людей, сел на корабль у мыса Суниума, чтобы плыть к острову Цея¹⁷.

Цея, древний Цеос, был известен у греков своими старцами, которые сами лишали себя жизни; Аристеом, которого пчелы были воспиты Virгилием, рождением Симонида и Бахилида¹⁸. Цеосский Флер¹⁹ прославлен был стихотворцами римскими, которые называли его *тканым ветром*. Отсюда переехал я в Тинос, из Тиноса в Хиос, из Хиоса в Смирну²⁰. Я решился идти пешком к Троянской равнине; доходил до Пергама, где видел развалины Эвменовых и Атгаловых чертогов; но тщетно искал Галлиенова гроба²¹. Мой проводник отказался идти со мною далее, уверяя, что все проходы горы Иды²² наполнены разбойниками. Я принужден был сесть на корабль и плыть в Константинополь. Имея главною целью видеть святые места, я осведомился тотчас по приезде моем в Перу, не было ли примечено корабля, едущего в Сирию, и к счастью моему, находился в ней один, совсем готовый к отплытию, на котором нашел я христианских богомольцев, греков, едущих в Яффу²³. Я сделал условие с капитаном, и, наконец, мы поплыли к Иерусалиму под знаменем креста, который изображен был на флагах, по мачтам развешенных.

На корабле было нас около двухсот пассажиров, мужчин, женщин, детей и стариков, и такое же число рогож разостлано было в порядке по обеим сторонам нижней палубы; над каждой из сих рогож на бумажке, приклеенной к борту корабля, написано было имя того, кому она принадлежала, а в головах каждого богомольца висел его посох, четки и маленький крест. Каюта капитанская занята была попами, предводи-

телями богомольцев; у входа каюты отгорожены были две маленькие прихожие комнатки: я имел удовольствие жить с двумя человеками в одном из этих черных ларей, имевших каждый не более шести футов в квадрате; против меня в другом ларе жило целое семейство. В нашей республике всякий занимался свободно своим особенным хозяйством; женщины заботились о детях, мужчины курили табак или готовили обед; попы разговаривали; везде слышались звуки мандолин, скрипок и лир — там плясали, здесь пели; в одном месте смеялись, а в другом молились. Все были веселы. Мне говорили, показывая на юг: «*Иерусалим!*», и я отвечал: «*Иерусалим!*» Короче сказать, мы были бы счастливейшими людьми на свете, когда бы не принуждены были часто бояться. При малейшем ветре матросы сбирали паруса, а богомольцы восклицали: «*Иисус Христос! Кирие элей сон!*»²⁴, но через минуту после грозы все опять становилось и беззаботно, и весело.

Я совсем не заметил того беспорядка, о котором говорят некоторые путешественники; напротив, все было весьма порядочно и благопристойно. В первый вечер по отплытии нашем два попа читали молитву, которую все слушали с великим благоговением, потом благословили корабль — и этот обряд возобновлялся после каждой бури. Напев *кирие-элей-сона* их чрезвычайно разителен: вы слушаете одну ноту, которую тянут разные голоса, один важный, другой звучный, третий тонкий и нежный — действие этого *кирие* удивительно по своей унылости и своему величию. Это, вероятно, есть древний напев первоначальной церкви.

На другой день нашего отъезда почувствовал я сильную лихорадку и принужден был лечь на свою рогожу. Мы очень скоро оставили за собою Мраморное море и Дарданеллы (Пропонтиду и Геллеспонт)²⁵. Мы ехали мимо полуострова Цирикка и устья Эгос-Потамоса; прошли между мысами Сестосом и Абидосом²⁶: ни Александр и его армия, ни Ксеркс и его флот, ни афиняне и спартанцы, ни Геро и Леандр не могли победить страшной головной боли, которая меня мучила, но 2 сентября, в шесть часов поутру сказали мне, что мы готовы объехать Дарданельский замок, и лихорадка принуждена была уступить воспоминаниям о Трое²⁷. Я выполз на палубу; глазам моим представился высокий мыс, увенчанный девятью мельницами: то был *Сигейский мыс*²⁸. У подошвы его заметил я две насыпи; то были *гробы Ахилла и Патрокла*. Устье *Симоиса*²⁹ находилось по левую сторону нового Азиатского замка; далее, позади нас, виден был *Ретейский мыс* и *гроб Аяксов*³⁰. В отдалении синелась *Ида*, которой скаты, видимые с корабля, казались некрутыми и приятными. *Тенедос*³¹ находился перед корабельным рулем: *Est in conspectus Tenedos*. Я смотрел, и сердце у меня билось; я видел славу древних героев и слышал песни древнего песнопевца.

22-го вошли мы в архипелаг³²; видели Хиос, Лесбос, Самос, славный своим плодородием, своими тиранами и особливо рождением Пифагора³³. Но все то, что ни писали об этом острове стихотворцы, должно уступить несравненному эпизоду в «Телемаке». Мы плыли около берегов Азии, где простиралась перед глазами нашими Дорида, и сия роскошная Иония, которая обогащала Грецию удовольствиями и великими людьми, там извивался Меандр, блистал Эфес, Милет, Галикарнас и Книд; и поклонился отечеству Гомера, Апелла, Геродота, Фалеса, Анаксагора, Аспазии — но я не видал ни храма Эфесского, ни гроба Мавзолава, ни Книдской Венеры³⁴ — все было пустынно; без Шуазеля, Покока, Вуда и Спона я не узнал бы Микальского мыса³⁵ под новым и бесславным его именем. Наконец проехав мимо Родоса и Кипра, увидели мы берега Палестины, но я не почувствовал того смятения, которое овладело мною при первом появлении Греции; я ощутил в себе трепет и почтение при виде колыбели израильтян и отчизны христианства. Я готовился ступить на землю чудес, идти к источникам возвышенной поэзии, видеть то место, где, если говорить и обыкновенным языком историка, случилось величайшее из всех происшествий мира, происшествие, изменившее лицо земного круга — я разумею пришествие Мессии. Я готов был пристать к берегам, которые некогда посещали Годофреды, Рихарды, Жуанвили, Куси³⁶. Я, странник неизвестный, осмеливался попирать ногами своими ту землю, которая освящена была некогда славным присутствием славных вождей и героев, но честь и вера мне остались, и по сим двум признакам должны узнать меня сии древние крестоносцы.

Мы бросили якорь перед Яффою, около полумили расстоянием от берега. Со всех сторон явились кайки³⁷ для перевоза богомольцев на берег. Люди, управляющие этими лодками, имели уже не то лицо, не ту одежду, какие привык я до сего видеть, не тот язык, какой я доселе слышал, и я узнал аравитян, жителей пустыни.

Со мною был слуга, грек. Я послал его к отцам Палестины с объявлением о прибытии латинского богомольца. Скоро потом увидел я судно, прямо плывущее к нашему кораблю, и в нем трех монахов, которые, узнавши меня по европейскому моему платью, делали мне дружеские знаки руками. Отцы взошли на корабль. Хотя они были испанцы и говорили самым испорченным, едва понятным итальянским языком, но мы пожали друг другу руки, как настоящие одноземцы. Я сел в их шлюпку; мы вошли в пристань через отверстие, сделанное между утесами и весьма опасное даже для кайки. Арабы, находившиеся на берегу, вошли в воду по пояс, чтобы вынести нас на плечах на сухую землю. Здесь случилось забавное происшествие: слуга мой одет был в белый

сертук — а белый цвет почитается у арабов знаком отличия; вообразив, что мой слуга был шейк³⁸, взяли они его с подобострастием на руки и понесли, несмотря на его сопротивление, на берег; а я между тем очень скромно спасался на спине бедного араба, одетого в лохмотье.

Нас привели в обитель монахов — простой деревянный домик, построенный в пристани на прекрасном месте, с которого было видно открытое море и многие живописные окрестности. Гостеприимные отцы прежде всего пошли со мною в церковь, которая была уже освящена и в которой они отпели молебен за сохранение их путешествующего брата — трогательные установления христианские! Благодаря им, странник находит друзей и помощь в странах далеких, посреди людей самых диких и свирепых!

Потом монахи отвели меня в келью, в которой я нашел хорошую постель, стол, чернила, бумагу, свежую воду и чистое белье — надобно провести несколько дней на греческом корабле с двумястами пассажиров, чтобы почувствовать всему этому настоящую цену. В восемь часов вечера сели мы за трапезу. «Benedicite» было прочитано после *«de profundis»*³⁹ — священное воспоминание о смерти, которое христианство соединяет со всеми действиями жизни, дабы они были важнее, и которыми древние оживляли все свои пиршества. Передо мною на маленьком столике, чистом и отделенном от прочих, поставлена была дичь, рыба и прекрасные плоды: гранаты, виноград и финики — я мог пить, сколько хотел, кипрского вина и левантского кофе⁴⁰. И в то самое время, когда я роскошничал подобно Сарданапалу, мои гостеприимные отцы ели обыкновенную рыбу без соли и без масла; они были веселы и скромны, дружелюбны и учтивы. Не было бесполезных вопросов, не было пустого любопытства. Разговаривали о моем путешествии, о том, какие надобно было взять меры, чтобы кончить его благополучно. «За безопасность вашу, — говорили они мне, — отвечаем мы теперь вашему отечеству», и они уже послали одного нарочного к шейку арабов горы Иудейской, а другого к римскому отцу-эконому⁴¹. Мы приняли вас, сказал мне отец Франциск Муноц, с сердцем *limpide e bianco*⁴²; но этому благочестивому испанцу не нужно было уверять меня в искренности своих чувств; я прочитал бы их на откровенном его лице и в тихой ясности дружественных его взоров.

Сей христианский, исполненный братской любви прием в стране, где родилось христианство и любовь истинная, сие апостольское гостеприимство на тех самых берегах, где первый из Апостолов проповедовал Евангелие⁴³, трогали меня до глубины сердца; я вспомнил, что некогда с такою же христианскою любовью был я принят миссионерами американских пустынь, но отцы палестинские тем более заслу-

живают удивление, что, проливая Христову любовь на богомольных путешественников в Иерусалим, они оставили для себя один только крест, в сих самых местах Спасителем их воздвигнутый. Этот отец с сердцем *limpide e bianco* уверял меня, что он почитает истинным раем ту жизнь, которую проводит более пятидесяти лет в этом месте, *vero paradiso*⁴⁴. Хотите ли иметь понятие об этом *vero paradiso*? Всякий день оскорбления и всякий день угрозы замучить палками, посадить в цепи, умертвить жестокою смертью. За несколько дней до моего приезда монахи вымыли покровы и прочие ткани, принадлежащие к алтарю. Вода, напитанная крахмалом, обелила камень, находившийся у ворот обители. Один турок это увидел и тотчас донес кадию⁴⁵, что монахи переделывают дом свой. Кади идет в обитель, осматривает камень, находит, что он из черного вдруг сделался белым — важное доказательство — и принуждает бедных отцов заплатить ему десять кошельков. Накануне моего прибытия в Яффу отец-эконом обители был обижен невольником одного аги, который в присутствии господина своего грозился его удавить. Что ж сделал ага? Спокойно пошевелил усами и не сказал ни слова в удовлетворение *христианина-собаки*. Таков *vero paradiso* этих отшельников, которых некоторые путешественники описывают набобами палестинскими, счастливыми, роскошными, от всех уважаемыми.

На другой день по прибытии моем в Яффу хотел я идти осматривать город и навестить агу, который присылал ко мне одного из своих подчиненных с приветствием, но помощник отца-эконома советовал мне остаться дома. «Вы не знаете этих людей, — сказал он, — то, что вы принимаете за учтивство, есть не иное что, как шпионство: вас приветствуют для того единственно, чтобы узнать, кто вы, есть ли с вами деньги и можно ли вас обобрать. Вы хотите видеть агу; вам надобно будет непременно сделать ему подарок, а он против вашего желания даст вам проводников до Иерусалима. Рамлейский ага удвоит этот конвой, арабы, уверенные, что богатый франк едет ко Святому Гробу, или увеличат пошлину, которую берут за свободный пропуск, или, что еще опаснее, сделают на вас нападение. У самых ворот Иерусалима найдете вы лагерь дамасского паши, который, по обыкновению, перед своим отбытием с караваном в Мекку пришел собирать подать; в Иерусалиме потребуют с вас три или четыре тысячи пиастров за конвой. Черный народ, узнавши о вашем прибытии, будет преследовать вас своими требованиями, которым не удовлетворили бы вы и тогда, когда бы привезли с собою миллионы; за вами станут бегать по улицам многочисленными толпами, и посещая святые места, вы принуждены будете опасаться, чтобы вас не растерзали. Мой совет переодеться в платье

пилигрима и вместе со мною идти пешком в Рамлу⁴⁶; там дождемся ответа от моих посланных; если он благоприятный, то вы, отправившись ночью в путь, дойдете и безопасно и с малыми издержками до Иерусалима!»

Отец прибавил к описанию своему тысячу примеров. Между прочим, сказывал он мне об одном польском епископе, который, два года тому назад, едва не заплатил жизнью за гордую свою пышность. «Я говорю об этом обстоятельстве единственно для того, чтоб показать вам, как велико в этой несчастной земле развращение, безначалие и жестокость. Смело могу сказать, судя по тому, что я видел своими глазами, что без отеческих попечений и бдительности христианских отшельников половина из путешествующих ко Святому Гробу была бы жертвою или хищных арабов, или жестоких турков».

3 октября, в четыре часа после обеда, нарядившись в шерстяной покров египетской работы — обыкновенная одежда бедуинов — и севши на мулов почти безногих, отправились мы в дорогу. Отец-помощник эконома шел перед нами под именем странствующего брата; араб в изорванном рубище показывал нам дорогу, а позади нас шел другой араб, который подгонял осла, навьюченного нашими пожитками. Мы вышли в задние ворота обители и добрались до городских ворот через развалины домов, разрушенных в последнюю осаду.

В Рамле ожидали меня известия благоприятные: из монастыря иерусалимского прислан был ко мне драгоман⁴⁷. Начальник арабов, которому надлежало меня провожать в Иерусалим, бродил неподалеку от города по полю, ибо рамлейский ага не позволяет бедуинам входить в самый город.

Одно многочисленное колено арабов горы Иудейской живет обыкновенно в деревне Еремии⁴⁸. Арабы сии могут произвольно и заграждать, и открывать для путешественников христианских вход во врата Иерусалима. Шейк этого колена умер за несколько дней до моего прибытия; маленький сын его остался под опекою Абу-Гоша, брата шейкова, который имел еще двух братьев Джаббера и Эбраим-Габд-эль Румана, бывших моими проводниками на возвратном пути из Иерусалима.

Мы вышли из Рамлы 4 числа в полночь; оставив за собою Саронскую равнину⁴⁹, вступили мы в горы Иудеи. При появлении дня увидел я себя среди лабиринта гор, имеющих форму коническую, совершенно между собою сходных и основаниями соединенных. Прошед долину Еремии, спустились мы в долину Терebinта, оставив вправо Маккавейский замок. Утесы, на которых видима была доселе редкая зелень, мало-помалу начали обнажаться; вдруг моим глазам представилась совершенное бесплодие: горы, составлявшие передо мною смутный

амфитеатр, казались красноватого, пламенного цвета. Вдруг, поднявшись на высоту одной остроконечной горы, увидел я ряд готических стен и у подошвы их протянутый лагерь турецкой конницы во всем восточном его великолепии. Начальник арабов, воскликнув «El-Qods! Святый! (Иерусалим)», поскакал во весь опор и скрылся.

Крик драгомана, который приказывал нам стесниться, потому что надобно было переходить через турецкий лагерь, извлек меня из той смутной задумчивости, в которую погрузился я при виде святого града. Мы въехали в так называемые *ворота богомольцев*, которых истинное имя *Дамасские ворота*⁵⁰ и остановились в монастыре Спасителя⁵¹. Надобно быть в положении отцов палестинских, чтобы понять то удовольствие, которое сделал им мой приезд; одно присутствие француза почитали они уже своим спасением. Настоятель (отец Бонавантури де Нола) сказал мне: «Вы посланы самим Провидением, чтобы избавить нас или от совершенного разорения, или от мучительной смерти. Вам, без сомнения, даны подорожные фирманы⁵²? Позвольте нам показать их паше; он узнает о прибытии француза в наш монастырь и будет думать, что мы состоим под покровительством Франции. Прошлого года принудил он нас заплатить шестьдесят тысяч пиастров, хотя по установлению мы обязаны платить ему только четыре тысячи. И теперь требует он, чтобы мы отсчитали ему такую же сумму, грозясь в противном случае прибегнуть к крайнейшим средствам. Мы будем принуждены продать святые сосуды: вот уже четыре года, как мы не получаем никакого подаяния из Европы; и если это продолжится, то необходимость заставит нас, простившись навеки с Палестиною, покинуть гроб Иисуса Христа во власти варваров магометанских».

Я радовался случаю оказать некоторую услугу почтенным отцам; однако, сказал им, что прежде, нежели фирманы будут показаны паше, хочу посетить Иордан, дабы не затруднять понапрасну моего путешествия, и без того опасного.

Турок, по имени Али-Ага, вызвался проводить меня в Вифлеем. Отец его был рамлейский ага; ему отрубили голову по приказанию славного Дезара⁵³. Али-Ага родился в Ерихоне, теперь именуемом Рихха⁵⁴; он был начальником этой деревеньки, находящейся в долине Иорданской. Он человек с головою и смелый, и я остался им очень доволен. При выезде из Иерусалима велел он нам скинуть арабское платье и переодеться в наше обыкновенное французское, ныне весьма уважаемое на Востоке. Французы вступили здесь в древние свои права. Рыцари французские восстановили некогда Иерусалимское царство и рвали иудейские пальмы⁵⁵; и теперь еще турки показывают вам источник Рыцарей, башню Рыцарей, гору Рыцарей; а на святой горе хранится меч Годоф-

редов, который и теперь в древних своих ножнах кажется грозным защитителем Иисусова гроба.

В пять часов вечера привели нам добрых лошадей, и мы отправились в Вифлеем, где надлежало провести ночь в монастыре и взять шесть человек, вифлеемских арабов, конвоя. Мы выходили из Иерусалима через те же врата богомольцев, через которые и въехали; потом, поворотив вправо через рвы, находящиеся у подошвы горы Сиона, поднялись на вершину другой горы, по плоскости которой продолжали путь свой около часа. Иерусалим остался позади нас на севере; на юге были иудейские горы, а на востоке в великом отдалении Аравийские. Миновав монастырь св. Илии⁵⁶, вступили мы на поле Рамы, где и теперь еще показывают гробницу Рахили; а к ночи пришли, наконец, в Вифлеем. С каким удовольствием посетил я место рождения Спасителя, место, где поклонялись Ему маги⁵⁷, дом молитвы святого Иеронима!⁵⁸ Осмотревши места, замечания достойные, и списавши некоторые надписи, отправился я к Мертвому морю. При самом выезде из Вифлеема имели мы легкую шибку с бедуинами. Вступивши во внутренность пустыни, увидели мы высокие башни — то был монастырь св. Саввы⁵⁹.

Перед стенами этого монастыря напала на нас другая шайка бедуинов. Али-Ага спас мою жизнь, поставив руку под кинжал араба, хотевшего поразить меня сзади. Я сказал уже, что не буду ничего описывать, следовательно, не ожидайте, чтобы я говорил вам о славной обители св. Саввы, построенной в глубоком рве Кедронского потока⁶⁰; не стану по той же причине описывать ни реки Иордана, ни Мертвого моря, но впечатление, производимое сими местами на душе, так сильно, что я еще и теперь чувствую тот ужас и то изумление, которые объяли меня при виде сей земли, постигнутой гневом Господним! Я видел великие реки Америки с тем чувством, которое производит в нас уединение и природа; сидел в задумчивости на берегах величественного Тибра; смотрел на Цефизу, Эротас и Нил, и воображение мое пылало — но я не могу изъяснить того чувства, которым была наполнена моя душа, когда я видел перед собою Иордан! Река сия оживляла в глазах моих славную древность; на брегах ее совершились столь многие чудеса религии. Иудея — единственная страна в свете, в которой для путешественника-христианина воспоминания о происшествиях мира соединяются с великими воспоминаниями о делах Неба.

Мы провели ночь на берегу Мертвого моря. Поутру я долго смотрел на него с любопытством. Оттуда пошли мы к Иордану. Французское платье спасло нас от нового нападения арабов; они не осмелились на нас устремиться. Я сказал уже, что Али-Ага родился в деревеньке Риххе (древнем Ерихоне), в которой он был начальником. Ему хоте-

лось, чтобы я видел его *область*, и мы были в ней приняты весьма дружелюбно. Подданные вышли навстречу к своему обладателю. Он хотел угощать меня в старой лачужке, которую называл своим дворцом, но я отказался от этой чести, желая лучше отобедать на берегу Елисеева источника, ныне именуемого источником Царским⁶¹. Проезжая через деревню, видели мы молодого араба, сидящего в стороне, увенчанного перьями, в праздничной одежде. Мимоходящие, останавливаясь перед ним, целовали его в лоб и щеки. Мне сказали, что этот араб был новобрачный. Мы сели на берегу источника Елисеева; на берегу же разложили большой огонь, потом зарезали ягненка, и он был целый изжарен на костре. Мы сели кругом большого деревянного стола, и каждый своими руками отделил для себя часть жертвы. Приятно замечать в сих обыкновениях некоторое сходство с обыкновениями дней прошедших и находить между потомками Измаила воспоминания о Аврааме, Иакове и патриархов израильских.

По возвращении моем в Иерусалим нашел я всю монастырскую братию в великом смятении: паша начал производить в действие угрозы свои. Он призывал уже монахов в свою палатку и объявил им, что ответит их скованных в Дамаск, где прикажет им всем отрубить головы, если они отрекутся удовлетворить его требования. Напрасно настоятель, родом неаполитанец, повторял, что он состоит под защитою Франции. Паша не слушал никаких представлений и требовал денег. В таком были положении дела, когда я возвратился в монастырь. Мои фирманы, в которых заключались повеления самые строгие, были свидетельством тесного союза между Оттоманскою Портою и Франциею: их послали к паше — это имело хорошее действие. Паша побоялся, чтобы я не уведомил о грабительствах его французского посла, который мог принести жалобу Порте; он начал говорить об уступке и, наконец, удовольствовался подарком 15 000 пиастров, грозясь, однако, наказать *бунтовщиков*, как скоро у них не будет защиты.

Признаюсь вам, что я не знаю мучеников несчастнее этих бедных палестинских монахов; с их состоянием равняется, может быть, одно только состояние французов в царствование ужаса. Всякую минуту быть в опасности, всякую минуту страшиться грабежа или смерти! Но это поймете вы гораздо лучше, когда я скажу несколько слов об управлении в Иерусалиме.

Иерусалим причислен к Пашалику Дамасскому⁶² неизвестно, по какой причине; может быть, это соответствует той разрушительной системе, которую приняли турки по естественному, так сказать, побуждению, будучи отделены от Дамаска горами и еще более арабами, бродящими по пустыне. Жители Иерусалима не могут ни жаловаться, ни

просить защиты в случае жестокого утеснения губернаторов. Было бы естественнее подчинить этот город Пашилику Акрскому, находящемуся в соседстве. Франки и монахи латинские были бы тогда под покровительством консулов, живущих в пристанях сирийских; голоса греков и турков были бы тогда слышны. Но этого-то и хотят избежать; здесь требуют неволи безмолвной, а не дерзостных жертв, которые бы в иные минуты осмеливались говорить, что их раздирают.

Иерусалим некоторым образом подчинен правительству независимому, которое может без страха делать все возможные притеснения, будучи обязано ответом одному только паше. Известно, что в Турции вышний чиновник имеет право передавать свою власть низшему, а сия власть простирается и на имение, и на жизнь. За несколько кошельков янычар становится агою; а этот ага имеет право снять с тебя голову или позволить тебе ее выкупить. Таким образом, палачи размножаются во всех деревнях Иудеи. Все правосудие заключается единственно в сих словах: *«Он должен заплатить десять, двадцать, тридцать кошельков; дайте ему пятьсот палочных ударов; отрубите ему голову»*. Более ничего никогда не услышишь. Один несправедливый поступок бывает поводом к другому, несправедливейшему: разорив поселянина, должно необходимо разорить и его соседа, ибо для предохранения себя от лицемерного правосудия паши надлежит уступить ему выигрыш от нового преступления, чтоб пользоваться свободно выигрышем от прежнего.

Вы подумаете, может быть, что паша, осматривая вверенную ему область, исправляет сии злоупотребления и мстит грабителям за ограбленных. Вы ошибаетесь! Паша есть самый ужасный бич для обитателей Иерусалима. Его страшатся как главного вождя неприятелей; затворяют лавки, прячутся в подземелья, притворяются умирающими на рогоже, уходят в горы.

Я смело могу подтвердить истину этих слов; ибо я сам находился тогда в Иерусалиме в самое то время, когда приехал в него паша А..., скупой до безмерности, как и все почти мусульмане. Будучи предводителем Мекского каравана, он почитает себя вправе увеличивать налоги, ибо ему, говорит он, нужны деньги для покровительства богомольцев. Он пользуется множеством способов. Один из обыкновеннейших состоит в назначении самой дешевой цены за съестные припасы. Народ радуется, а купцы затворяют лавки. Вдруг начинается голод. Паша делает тайно договор с купцами, и они за несколько кошельков получают позволение продавать припасы по такой цене, какая покажется им выгоднее. Купцам надобно выторговать данные паше деньги, и они накладывают на всё цены ужасные; народ, вторично умирая с голоду, принужден отдавать за скудную пищу последнюю свою одежду.

Во время пребывания моего в Иерусалиме этот А... выдумал удивительный способ вдруг получить множество денег: он послал свою конницу ограбить арабов-землепашцев, поселившихся на другом берегу Иордана. Эти добрые люди, заплатив свою подать и полагаясь на мирное время, не могли ожидать нападения; у них отняли 2 200 коз и баранов, 94 теленка, 1000 ослов и 6 кобыл лучшей породы; одни только верблюды спаслись. Шейк кликнул их издалека, и они кучею за ним побежали. Верные чада пустыни понесли свое молоко в горы на пропитание несчастных господ своих, как будто угадывая, что сии изгнанники не могут там иметь другой пищи.

Никакой европеец не в состоянии придумать, что этот паша сделал с своею добычею. Он наложил на каждую скотину тройную цену, а мясники, жители Иерусалима, и старшины ближних деревень раскупили их по этой таксе: они принуждены были это сделать — или плати деньги, или будешь удушен. Признаться, я не поверил бы тому, но сам, к несчастию, видел своими глазами.

Истошив Иерусалим, паша удаляется. Но чтобы избежать нужды платить за содержание городской стражи, и под предлогом, что ему нужны солдаты для прикрытия каравана, идущего в Мекку, он уводит с собою и свое маленькое войско. Губернатор остается один с десятком сбиров⁶³, которые весьма недостаточны для сохранения устройства как в городе, так и в местах окрестных. И прошлого году он сам принужден был запереться в доме своем, чтобы спастись от шайки разбойников, которые перескочили через стены Иерусалима и едва его не разграбили.

По отбытии паши начинается другое зло, которое можно назвать необходимым последствием его грабительства: разоренные деревни бунтуют; между ими открывается междоусобная война, производимая наследственными враждами. Всякое сообщение прекращено; землепашество гибнет; земледелец приходит ночью в виноградник своего неприятеля, подрезывает его виноград и портит его оливы. На другой день паша возвращается и налагает ту же самую подать на истощенный и уже против прежнего малочисленнейший народ. Для исторжения там подати надлежит удвоить и насилие, и целые селения уничтожаются вконец; мало-помалу пустыня растет; не видишь более ничего, кроме нескольких хижин, кое-где рассеянных, падающих и ветхих; у дверей сих хижин беспрестанно расширяются кладбища; каждый год погибает хижина и семейство, и скоро останется одно только кладбище для означения того места, на котором некогда было селение.

С французского. Ж.

ТРИ ФИНИКА

«Не знаешь ли какой-нибудь сказки, — спросил однажды калиф Мамун¹ у главного начальника эвнухов, Мезрура, — мне скучно, и сон меня клонит». Мезрур представил его величеству невольника, который, опустив в землю глаза, не достойные взирать на светлые очи повелителя верных, начал рассказывать, как следует ниже:

— Владыка верных, отец твой, великий калиф Гарун Аль-Рашид всякий день почти изволил ездить на охоту, и я всегда находился при его свите. По целому дню скакали мы во всю прыть, и я обыкновенно возвращался домой голодный и усталый до смерти. В один день Юсуф, придворный твоего родителя, дал мне на дороге три финика, варенные в меду: ты проголодаешься на охоте, и эти три финика утолят и голод твой, и жажду. Я очень благодарен был Юсуфу и положил финики в стакан. Мы ездили очень долго; ввечеру я проголодался, но долго ждал благоприятной минуты; наконец калиф несколько удалился; я вынул стакан, достал из него один финик; только что успел поднести его ко рту, как твой родитель, которому угодно было надо мною позабавиться, кликнул меня к себе; я бросил финик, ударил каблуками своего осла и поскакал к нему без памяти. Зачем же он меня звал? Ему рассудилось у меня спросить, все ли зубы у моего осла, или нет? «Все, повелитель правоверных», — отвечал я, и тем кончился наш разговор. Спустя несколько минут я принялся было за другой финик, но калиф опять меня кликнул, и я опять, бросивши финик, принужден был скакать к нему во всю ослиную прыть. «Какой породы твой осел, египетской или арабской?» — спросил меня Калиф. «Он из Иемени, повелитель верных». В стакане моем оставался уже один финик. Я опять несколько отстал назад, но опять должен был кинуть финик, чтобы скакать к калифу, который меня кликал. «Что заплатил ты за этого осла?» — спросил твой родитель. Провались сквозь землю и мой осел и тот, кто мне его продал, думал я про себя, но отвечал с веселым лицом: «Восемь червонцев, повелитель верных». Калиф не мог удержаться от смеха, и я возвратился во дворец полумертвый от голода.

В тот же вечер случилось мне идти по одной галерее; слышу поющий женский голос; останавливаюсь; вижу в окне прекрасную невольницу и подле нее калифа, который очень нежно обнимал ее одною рукою. Она умоляла твоего родителя удалиться, напоминая ему о ревности любимой супруги его Зобеиды. «Заплатить за одну минуту удовольствия многими годами печали и мучиться было бы весьма безрассудно, повелитель верных, — говорила прекрасная невольница, — и кто мне будет порукою в том, что ты, государь, не забудешь меня в одну

минуту?» Калиф старался ее успокоить в рассуждении Зобеидиной ревности и собственного своего непостоянства. «Зобеида теперь в загородном доме», — говорил твой родитель... В эту минуту я застучал в дверь.

— О Пророк, — воскликнула невольница, — это султанша.

— Кто стучит? — спросил калиф.

— Твой невольник *Ибад*², повелитель верных. Бывши на охоте, изволил ты спрашивать у меня, государь, все ли зубы у моего осла? Я отвечал: все; но я ошибся, теперь, пересчитавши их снова, могу уверить тебя, верховный владыка, что ему не достает двух коренных зубов и одного глазного.

— Провались ты сквозь землю и с твоим ослом, — воскликнул твой родитель, — оставь меня в покое!

И я удалился. Слышу, что их разговор опять начинает оживляться: калиф опять сделался очень приветлив, словом сказать, они уже были весьма согласны, когда я принялся стучать в двери сильнее прежнего. Невольница вскочила и бросилась в другой угол, воскликнув: «Я пропала, это Зобеида». Но калиф, удержав ее за руку, успокоил, потом спросил:

— Что за стук, кому меня надобно?

— Это я, твой невольник *Ибад*, повелитель верных. Ты спрашивал у меня сего дня поутру, какой породы мой осел, египетской или арабской? Я отвечал: арабской, но я ошибся; теперь только сказали мне наверное, что мой осел настоящий египтянин.

— Чтобы тебе треснуть и с твоим ослом, проклятый надоедала, — воскликнул с досадою калиф.

И я удалился. Прошло несколько минут; молодая невольница все еще не могла опаматоваться от испуга. Наконец мало-помалу калиф развеселил ее, я услышал, что они уже целовались, и давай стучать в двери так громко, что бедная невольница вскрикнула, задрожала и закрыла обеими руками глаза, будучи уверена, что увидит перед собою раздраженную Зобеиду

— Кто там стучал? — воскликнул калиф.

— Я, повелитель верных, твой невольник *Ибад*. Ваше величество изволили спрашивать у меня на охоте, чего стоил мой осел? Я отвечал восемь червонцев, но это неправда Я справился с моею расходною книгою, в ней записано только семь с половиною, и я пришел донести об этом тебе, владыка верховный.

— Убирайся в ад и с проклятым твоим ослом, — воскликнул в гневе калиф.

Я вышел. Родитель твой хотел возвратить улетевшие удовольствия любви, но в эту минуту с высоких минаретов начали призывать к утрен-

ней молитве, и калиф принужден был немедленно уйти из гарема. Таким образом заплатил я твоему родителю, блаженной памяти калифу Ла-Бун-Аль-Рашиду, за три финика, которые он у меня из самого рта вырвал.

Мамун, довольный повестью, подарил рассказчику сто червонцев.

СТАРЫЙ БАШМАЧНИК БЕДНОЙ ХИЖИНЫ И ВОСЕМЬ ЛУИДОРОВ

Было воскресенье. В рассеянных деревенских церквах благовестили к обедне; везде слышался колокольный звон; на всех дорогах попадались толпы богомольных поселян, стариков, старушек, юношей, девушек и детей, идущих поспешно в сельский храм слушать Божие слово. Все были очень нарядны; матери, тетушки и бабушки ослепляли глаза своими подвенечными платьями, освобождаемыми только по праздникам и воскресеньям из заточения сундуков, в которых, благодаря крепкому присмотру, они совсем ничего не потеряли из прежней свадебной красоты своей, хотя несколько и устарели покроем (владычество моды не столь обременительно в деревне, как в городе; но и в деревне его чувствуют, и молодая поселанка в черном корсете своем с красною выкладкою¹, с пышными коротенькими полотняными рукавами и в легкой соломенной шляпке, наклоненной на левое ухо, подшучивая исподтишка над длинным лифом своей сорокалетней тетки, над рукавами ее, вокруг которых веют широкие манжеты, и над ее чепцом с обширными лопастями и крыльями, не думает о своих детях, которые некогда в свою очередь будут коварно улыбаться, смотря на странность ее убора). В руках у богомольцев были молитвенники, одни, украшенные серебряными скобками², которые очень ярко блистали на солнце, другие, не столько великолепные, розмариновыми ветками и темно-красными гвоздиками. Казалось, что добрые поселяне спешили на праздник, и в самом деле, нет лучшего праздника для людей простодушных и добрых, как начинать приятный день отдыха молитвою Существому Всевышнему.

В нескольких шагах от дороги, между ореховыми кустами, мелькала бедная хижина, до половины развалившаяся, и в бедной хижине, перед узким окном с разбитыми стеклами, заклеенными бумагою, стоял старичок; подгорюнившись, посматривал он на веселых поселян, идущих в Божию церковь.

И долго следовал он за ними глазами, наконец, последний из них вошел в церковные двери; они затворились, колокол замолчал, и через минуту послышались в церкви соединенные голоса, поющие хвалеб-

ную песнь Спасителю. Старик посмотрел на свое разодранное рубище; слезы покатались по щекам его, покрытым морщинами; он обтер их украдкой, потом посмотрел на свою жену, которая плакала навзрыд, сидя на худой скамье, положив голову на доску, служившую им вместо стола, и закрывши глаза передником, таким разодранным и ветхим, что не было на нем почти места, на которое могли бы падать ее слезы.

— Не плачь же, Берта, — сказал Марсель (имя старика). — Хорошо ли так себя морить? Ты оскорбляешь тем Господа Бога; Ему угодно, что бы мы терпеливо сносили посылаемые Им искушения. Он знает, что мы не от лени сидим дома в такое время, когда все добрые христиане призывают Его великое имя во святом храме. Он знает, что мы стыдимся показаться на глаза людей в этом разодранном рубище, которое не совсем покрывает и наготу нашего тела. Было время, Берта, когда и мы не пропускали ни одной проповеди, а церковь тогда находилась в двух милях от нашей деревни, мы любили слушать Божие слово, потому что наша совесть чиста и спокойна; но теперь, горькая бедность! Что же делать, мой друг? Господь читает в глубине сердец; Он знает, что наши сердца ему покорны и здесь, в убогой хижине, как и прежде в Его священном храме; не плачь же, Берта, в слезах нет пользы, а лучше отыщи молитвенник мой. Я умею читать молитвы не хуже священника, и мы споем несколько псалмов также хорошо, как и певчие.

Берта встала, сняла с полки молитвенник в ветхом, разодранном переплете и подала его Марселю. «Я готова с тобою молиться, — сказала она, — но петь псалмы, нет, Марсель, я этого сделать теперь не в силах. Когда посмотрю на этих веселых старушек, идущих в церковь с своими детьми и внуками...»

Марсель. На них праздничные платья, Берта, не правда ли, что это разрывает твою душу? Как не вспомнить твоего прекрасного подвенечного платья из пунцовой обьяри³, которое всегда было тебе так к лицу, и оно сгорело со всем прочим. Что же делать, так было угодно Богу. Мы сами также могли сгореть; но Он нас помиловал.

Берта. Помиловал, но для того, чтобы мы погибли от бедности! Ах, во сто крат было бы лучше, когда бы я умерла вместе с моею Жеоржеттою.

Марсель. Вот, Берта, этого я не ожидал от тебя услышать. А чтобы мне, бедному старику, осталось на свете, когда бы я потерял и тебя, последнее мое утешение?

Берта (подавая ему руку). Правда твоя, Марсель, я виновата, я, не подумав, это сказала. С тобою и горе не так для меня тяжело; но ты видишь нашу нужду; платья у меня уже нет, а хлеба осталось на один только день.

Марсель. Будем надеяться на Бога и на добрых людей. Завтра не воскресенье, и мы опять примемся за работу. Вот четыре пары башмаков; зачинив их, возьми за каждую пару по пяти су, и будет их двадцать. А твоя самопрялка, разве она устала вертеться? Господь избавил нас от голодной смерти, хотя мы были и очень к ней близки; по сию пору мы еще ни у кого не просили подаяния, а это, правду сказать, было бы для меня тяжелее смерти. Принимать подаяние бедному человеку не трудно. Кто сам приходит в темную, всеми забытую хижину, чтобы утешить в ней или убогого, или больного, тот, верно, имеет доброе сердце, и быть ему благодарным не тяжело, а сладко; но требовать милостыни и требовать ее, может быть, у такого человека, который откажет тебе с обидою, вот мучение, от которого прошу Господа избавить меня при старости.

— Ах, можно ли угадать будущее, — сказала Берта, опять заплакав, — и за что можно отвечать на свете? Кто бы подумал, что сын наш умрет в госпитале?

Марсель. И прежде нас, Берта! Вот прямое несчастье. Что же касается до госпиталя, который так ужасает тебя, то мало ли добрых людей, мало ли храбрых солдат, служивших верою и правдою, безногих и безруких, в нем умирает? Разве из госпиталя нет дороги в Царство Небесное. Нет, друг мой, Берта, я верю, и ты верь вместе со мною, что твои дети причтены к лику праведных милосердным Создателем. Они призваны к Нему в лета невинности, не заслужив его гнева никаким проступком, они чисты перед Ним, как этот прекрасный день. И кто бы мог отвечать, чтобы твоя дочь не оставила тебя для первого милостивого обольстителя, а твой сын для первой шляпы с кокардою. А такое несчастье, надобно признаться, было бы горестнее для меня самой их смерти. Перестанем же плакать и оскорблять милосердного Бога. Слушай, я начинаю читать молитвы.

Берта вздохнула и не отвечала ни слова. Бедная мать не могла приучить себя к мысли, что она имела двух прекрасных детей и что их уже не имеет, что старость свою должна она провести в нищете, а может быть, и в страшном одиночестве. Марсель не менее жены сожалел о своих детях, о прежней спокойной жизни своей; но горесть мужчины различествует в характере от горести женщины, она сокровенная, внутренняя и редко обнаруживается словами. Мужчина страдает и молчит; напротив, женщина любит слезами и жалобами облегчать свое сердце. Вот почему тяжкая горесть бывает нередко пагубна для мужчины, и отчего, напротив, о женщине говорят: она живет своею горестию. Как бы то ни было, но Марсель не умер от печали своей, которая одна была тяжелее для его сердца, нежели для сердца Берты; он боялся ей преда-

ваться, испытав уже много раз, сколь она для души его мучительна, и его главное попечение состояло в том, чтобы с притворным спокойствием духа обращать разговор на другой предмет, как скоро Берта начинала вспоминать о своих детях и о прежней приятной жизни. Сын их, Людовик, прекрасный молодой человек, показал большую охоту и способность к столярному ремеслу. Марсель отдал его на двенадцатом году в ближний город, к хорошему мастеру; он учился прекрасно, был понятен, но вдруг занемог опасною и прилипчивою болезнию. Мастер принужден был отдать его в госпиталь, где он через короткое время и умер. Берта не могла думать без ужаса об этом госпитале. Ах, материнское сердце твердило ей беспрестанно, что сын ее умер от худого присмотра чужих людей; он, может быть, воскреснул бы на руках нежной матери. По крайней мере, она благословила бы его в последнюю минуту. У них осталась одна дочь, умная, добронравная, приятная лицом. Вышед замуж за хорошего человека, она возвратила бы им Людовика, но их постигло другое несчастье. Огонь небесный сошел на их хижину; все их имущество, весь хлеб, ими собранный (ибо это случилось тотчас после жатвы), достались в добычу пламени; а Жеоржетта, милая дочь их, умерла через несколько времени от болезни, приключившейся от жестокого испуга. Отец и мать остались на старости лет сиротами. Увы, они имели несчастье пережить свою потерю. И скоро после этого несчастья настала ужасная семилетняя война; вместе со многими другими они сделались ее жертвою: надобно было давать постой солдатам, платить контрибуции, поля и луга их были опустошены; скот расхищен, они вошли в неоплатимый долг, за который наконец отняли у них и землю, и хижину, которые проданы были с молотка: таким образом лишились они последнего пристанища и способа к пропитанию. Они оставили свою родину и пошли искать убежища в другом месте. Некоторые из добрых соседей сложились и дали им несколько денег, на которые купили они другую хижину, но бедную и почти разрушенную, неподалеку от одной деревеньки, в десяти милях от прежнего жилища. Берта с утра до вечера пряла на поселян шерсть, а Марсель, устарев уже для тягостной земляной работы, зачинивал старые башмаки, сидя подле жениной самопрялки. Поселяне называли его *старым башмачником из бедной хижины*, и он никогда не сидел без работы. Но выручаемых ими денег едва доставало на хлеб насущный, и уже ничего невозможно было им откладывать на одежду; рубище их совсем обветшало, они уже не смели ходить в Божию церковь и страшились приближения зимы. Но зима еще была далеко; месяц июнь только что начинался, а Марсель прочитал Берте в своих молитвах, что Бог даст пищу птицам неоперенным и лилиям в поле одежду⁴.

Марсель закрыл молитвенник свой в то самое время, как поселяне выходили из церкви. Эта минута была тяжела для его сердца. Перед церковью расстилалась прекрасная зеленая полянка, окруженная густыми липами; на ней обыкновенно собирались после обедни все богомольцы. Молодые мужчины весело играли с молодыми девушками, а старики, отцы и матери смотрели с удовольствием на их игры. Ах, эта картина семейственных радостей мучила душу Марселя; он думал о своем потерянном счастье. Мало-помалу поселяне разошлись, но Марсель остался в задумчивости перед окном, погруженный в свои воспоминания. По ту сторону дороги, перед самою хижинкою, находился зеленый холм, осененный прекрасными вязами; под одним из этих вязов отдыхал путешественник: на плечах у него висела котомка, в руке держал он палку, а пыль на башмаках показывала, что он был скромный пешеходец; однако по платью его, чистому и довольно нарядному, можно было заключить, что он имел достаток. Отдохнувши несколько минут в тени, он положил на траву свою палку, снял с плеча котомку, вынул из нее кусок белого хлеба, несколько сухих плодов и начал завтракать. Марсель, который совсем не завтракал, охотно согласился бы разделить с ним эту умеренную трапезу. Потом путешественник вынул из котомки кусок шелковой материи, развернул ее, несколько минут ею любовался, опять ее свернул и спрятал в котомку; вынул из кармана серебряные часы, посмотрел, который час, взглянул на дорогу, встал и снова отправился в путь.

Счастливая тебе дорога, добрый человек, подумал Марсель, ты показался мне столь счастливым на этом месте, что и меня берет охота отдохнуть несколько минут под тению прекрасной липы: может быть, в спокойном сне и позабуду на несколько времени свое горе.

И Марсель, не сказавши ни слова Берте, которая готовила между тем пряжу для следующего утра, оставил хижину и вошел на пригорок. На том месте, где сидел путешественник, лежало что-то белое. Марсель наклонился; это был сверток бумаги; Марсель его поднял; почувствовал тяжесть; развернул бумагу, в ней лежало восемь луидоров⁵ и при них в другой бумажке золотой крест на золотой цепочке. Такое сокровище было редким явлением для Марселя. Он долго рассматривал луидоры, потряхивал их, веселясь звуком золота; потом опять очень бережно завернул и крест, и деньги в бумагу. Он уже не чувствовал никакой охоты спать, но смотрел на дорогу, по которой пошел путешественник, и изредка поглядывал на свою хижину. Берта между тем стояла у окна и искала его глазами; он дал ей знать рукою, чтобы она к нему вышла.

— Что ты здесь делаешь? — спросила старушка, взбираясь с трудом на пригорок.

Марсель. Смотри, какая находка, Берта.

Он развернул перед нею бумагу.

Берта. Царь Небесный, золотые деньги! Это луидоры; один, два, семь, восемь! Восемь луидоров, и в такой маленькой бумажке! А этот крест, золотой или медный, как ты думаешь?

Марсель. Я думаю, золотой, и цепочка также золотая.

Берта. Ах, Боже, какое сокровище! Небесный ангел положил его на этом месте для нас, несчастных. Ты, Марсель, угодил Господу Богу своею молитвою, и Он послал *бедным ттенцам их пишу*; теперь мы опять богаты. Послушай, Марсель, одного луидора достанет нам на покупку платья; а платью надобно купить теплое, чтобы не замерзнуть зимою; на луидор купим хлеба; еще на луидор кое-каких нужных домовых вещей, посуды и прочего; хорошо бы завести и корову, но этих денег будет уже и мало, так коровы не надобно, ибо затевать лишнее некстати... к тому же не худо сберечь кое-что и на всякий случай; кто знает, что может случиться: занеможешь, вздумаешь; но ты смеешься, Марсель, конечно, так, теперь и смеяться не грех, если бы только было можно...

Марсель. Берта, я смеюсь над тобою! Ты располагаешь чужим добром, как собственным.

Берта. Что ты говоришь? Чужим добром? Разве не ты нашел эти деньги, разве ты знаешь, кому они принадлежали? На деньгах нет подписи; тот и владеет ими, у кого они в руках.

Марсель. А если я знаю, кому принадлежат эти деньги?

Берта. Как можешь ты это знать?

Марсель. Они принадлежат одному путешественнику, который очень недавно отдыхал на этом месте под липами, и которого я сам своими глазами видел из окна: он вынимал из котомки шелковую материю, развертывал ее, а в это время выронил и свои луидоры.

Берта. Надобно же думать, что у него таких луидоров очень много; в противном случае он обходился бы с ними осторожнее и не рассыпал бы их по большим дорогам: потерять их для него безделица, а для нас такая находка — всё.

Марсель. Правду говоришь, Берта, всё; ибо она может и погубить, и спасти нашу душу. Нам остается не много прожить на свете; на что же возлагать на совесть свою тяжелое бремя этих восьми луидоров? Ты думаешь, что они могут принести нам какую-нибудь пользу? Ты ошибаешься. Оставив их у себя, мы будем сто раз несчастнее прежнего. У нас будет хорошая постель, но мы потеряем спокойный сон; сошьем опрятное платье, но в этом платье не будет ли стыднее, нежели в этих опретьях, показаться нам в люди? А когда наступит день Страшного

суда, Берта, что скажем перед престолом Божиим в оправдание нашего поступка? Бедность не оправдание. Напротив, бедный человек обязан прилежнее других заботиться о своей честности, потому что он чаще других впадает в искушение, потому что он имеет одно только единственное сокровище, спокойную совесть и чистоту душевную. Ободришь, мой друг, мы не умрем с голода; взгляни на эти изобильные поля. Наступит жатва; мы пойдем подбирать падающие колосья. Наш деревенский судья — человек добрый; он имеет обширное поле, он даст нам собрать несколько снопов, и наш священник жалостлив сердцем; все это гораздо лучше того богатства, которое у нас в руках и на которое мы не имеем никакого права.

Берта (печально). Правда твоя; пища у нас будет, но чем же одеваться?

Марсель. Бог милостив. Разве не слыхала ты от меня, что Он дает одежду и полевым лилиям, и что не надобно заботиться о завтрашнем дне. Этот прохожий, может быть, вздумает сделать мне какую-нибудь награду, хотя, сказать правду, я не стою награды, ибо делаю долг свой; но если бы он подарил что-нибудь тебе на платье, Берта, то я остался бы очень доволен.

Берта. Все это очень хорошо, но где же ты его найдешь?

Марсель. Я догоню его: он пошел по дороге, а я пойду прямо через поле, здесь вдвое ближе, и мы, без сомнения, с ним встретимся.

Берта. А если не встретитесь?

Марсель. Тогда, тогда, я знаю, что сделать...

Берта. Оставить деньги у себя?

Марсель. Нет, идти в город, так и быть: дорогою буду питаться подавнием, и заплатить несколько денег за напечатание в ведомостях объявления. Подай мне поскорее мою палку, Берта, я побреду; ты не беспокойся, если я несколько и промешкаю: ноги мои слабы, а идти надобно далеко. Берта побежала в хижину; ей было стыдно перед собою, что она так неудачно поняла мысли честного Марсея. Последние слова его пробудили в ее душе все добрые чувства, усыпленные неожиданным появлением золота. Она подала мужу своему палку. «Иди скорее, Марсель, — сказала она, — это золото мне опостылело; оно едва не довело меня до греха; надобно поскорее сбыть его с рук». Марсель пошел; но дряхлые ноги, оледеневшие от старости и сидячей жизни, худо ему повиновались: он шел с трудом и очень тихо; ветер развеивал на голове его остатки седых волос и бедную его одежду. Берта следовала за ним глазами с пригорка и как будто хотела придать ему взглядами своими скорости и силы. Он не догонит прохожего, думала она: а после надобно будет идти в город. Шесть миль, легкое ли дело! Бедный старинушка

измучится. Но я — сумасшедшая, для чего бы вместо его не пойти мне самой, он старше меня и гораздо слабее. Чего же думать, побегу за ним вслед, он идет так тихо, что я догоню его в одну минуту. И вот Берта, шестидесятилетняя старушка, воображает, что она еще перед мужем своим ребенок, и бежит за ним, как молодая, с пригорка. Она догнала его на конце поля, взяла под руку и сказала: «Садись старик и отдохни, я пойду вместо тебя».

Марсель. Нет, Берта, этого нельзя сделать. Ты не видала путешественника, ты его не узнаешь или можешь встретиться с каким-нибудь побродягою, который выманит у тебя деньги, сказавши, что они принадлежат ему.

Берта. Это правда, я не подумала, но скажи, каков собою этот прохожий, в чем он одет, стар или молод, черноволосый или белокурый, какого цвета платье?

— Я не видал его вблизи, но я, конечно, его узнаю: человек средних лет, высокий ростом, плотный и очень смуглый, но, Берта, пойдем лучше вместе, мы будем друг другу помогать и менее устанем.

Старики взялись за руки и пошли скорым шагом по тропинке через поле. Вышед на большую дорогу, они остановились, начали осматриваться, и наконец, к великому своему удовольствию, увидели вдалеке идущего к ним путешественника. «Вот он, — воскликнул Марсель, — пойдем к нему навстречу». Незнакомец, увидя их, прямо к нему идущих, вообразил, что они хотят просить милостыни (так показались они ему бедными и дряхлыми), и уже положил руку в карман, чтобы подать им несколько денег, не дожидаясь их просьбы.

Берта. Нам ничего не надобно, благодарим вас за милость, мы сами, напротив, кое-что намерены дать вам.

Прохожий. Мне, добрые люди, как это могло случиться?

Марсель. Жена моя ошиблась, сударь, она хотела сказать *возвратить*. Не вы ли полчаса перед этим отдыхали подле большой дороги, на холмике, в тени густой липы?

Прохожий. Я, мой друг. Теперь помню; я видел тебя под окном, в бедной хижине, находящейся по ту сторону дороги, между ореховыми кустами.

Марсель. Вы разбирали в своей котомке, не правда ли?

Прохожий. Точно так, я был голоден и вздумал позавтракать; мне казалось, что завтрак на чистом воздухе, под тенью прекрасной липы, должен быть вдвое вкуснее.

Марсель. Я и сам заметил, что на лице вашем написано было удовольствие; после завтрака вы рассматривали какую-то шелковую материю,

которую спрятали в свою котомку, и в это время, как должно думать, выронили вы бумаги...

Прохожий. С восьмью луидорами и еще золотым крестом на цепочке, завернутым в другую бумажку, на которой написано несколько слов?

Марсель видел эти слова, но он не мог их разобрать, потому что оставил в молитвеннике свои очки. Прохожий снял котомку с плеча, начал ее обыскивать и не нашел в ней денег.

— Я знал наперед, что вы не найдете их в этой котомке, — сказал Марсель, — ибо они у меня в руке. Вот, сударь, ваши восемь луидоров, золотой крест и цепочка; спрячьте их опять в свою котомку и берегите прилежнее.

Прохожий поглядел с видом почтения и благодарности на Марсея и сильно жал руку.

— Ты не знаешь, добрый человек, сколь велика сделанная тобою мне услуга. Если твоя наружность не обманчива, то я обязан благодарить тебя более, нежели другого. Ты кажешься мне очень бедным.

Берта. Ох, государь мой, нельзя и быть нас беднее, мы...

Марсель. Что говорить о бедности! Слава Богу, что нам удалось возвратить вам эти дорогие вещи, которые не могли бы нам самим ни на что пригодиться! Не по нашему состоянию иметь в кармане своем так много золота.

Прохожий. Но в ваши лета пройти более мили единственно для того, чтобы отдать мне это маленькое сокровище! Разве не имеете вы детей?

Берта. Детей! Ах, мы уже не имеем детей! Были у нас прекрасные сын и дочь, но Бог рассудил взять их к себе, и это есть величайшее наше несчастье.

Марсель. За то мы терпим одни, а это легче! Но, Берта, пора идти; мы задерживаем этого доброго человека. Счастливого пути вам желаем, государь мой; будьте осторожнее, опять не потеряйте своих денег.

Путешественник казался в смущении.

— Нет, добрый старик, — сказал он, остановив за руку Марсея, — я не могу таким образом с тобою расстаться. Сядем и выслушай: это золото для меня священно; я не имею никакого права располагать им; когда узнаешь, кому назначено его отдать, тогда согласишься, что я ничего не могу из этой суммы истратить. Остающихся у меня денег едва достаточно будет мне самому на дорогу; ибо мне надобно пройти еще около двенадцати миль до места; но я уверяю тебя, что мы через несколько дней увидимся, и тогда расплачусь с тобою, как должно. Скажи мне свое имя. Я желаю знать его, хотя, впрочем, не могу забыть ни пригорка, ни хижины, в которой живут такие честные люди. Имя твое, ста-

рик, — прибавил незнакомец, вынув записную книжку и карандаш из кармана.

Марсель. Спросите просто о *старом башмачнике бедной хижины*, в нашей деревне все называют меня этим именем. Я очень рад буду, если вы о нас вспомните. Впрочем, ежели и не вспомните, то мы с женою не перестанем о вас молиться, ибо вы доставили нам несколько минут радостных, а наша жизнь весьма не богата радостями. Простите!

Прохожий. Ах, добрый старик, я был бы недостоин того счастья, которого ищю и которого не найти страшуся, когда бы мог о тебе забыть. Прошло более пятнадцати лет, как я покинул свое семейство; с тех пор не имею о нем никакого известия, отец и мать почитают меня мертвым, а может быть, их и самих уже нет на свете, но какое для меня счастье, если они еще живы!

Берта (в слезах). О, великое счастье, и счастливы те, которые могут еще находить на земле милых своих детей!.. А мы увидимся с своими на небесах, не прежде.

Марсель. Не правду ли я говорил, Берта? И живые дети бывают причиною великого огорчения. Вот честный человек, а он пятнадцать лет не видался с своими родителями, и во все это время они о нем не слышали: не хуже ли это смерти?

Прохожий. Я был виноват, это правда; по молодости лет поверил я рекрутскому наборщику, который обольстил меня пышными обещаниями. Не сказавшись моим родителям, я записался в военную службу. Но в остальном надобно винить одну мою судьбу. Полк наш был тотчас посажен на суда и отправлен в Батавию⁶; меня послали во внутренность острова, где я промышлял своим столярным ремеслом, и несколько лет не мог найти случая переслать письма в Европу. Возвратившись в Батавию, я начал писать, посылал письмо за письмом, и ни на одно не получил ответа. Между тем я наживал и деньги; но это не утешало меня, на что богатство, когда не весело на сердце, а сердце мое жило в Европе. Я беспрестанно думал о своей родине, ибо в ней оставил все то, что было драгоценнейшего для меня на свете: отца, мать и сестру. Наконец я решился возвратиться, сел на корабль и веселил себя мыслию, что у меня есть достаток, нажитый честно, собственными моими трудами, что я успокою родителей моих на старости лет и что минута радостного соединения наградит их за несколько лет, проведенных в печали. Я счастливо прибыл в Гамбург. В сем городе случилось мне встретиться с тем мастером, у которого я учился столярному искусству: он жил уже в Гамбурге, имел многих работников и был человек достаточный. Я узнал его; но он никак не мог меня вспомнить, ибо я очень загорел от батавского солнца. И он

очень удивился, когда я сказал ему свое имя, обнял меня, как родного, и повел к себе в дом, тут увидел я его дочь, которую оставил еще ребенком: она выросла и была прекрасна лицом; словом сказать, с первой минуты полюбилась она мне чрезвычайно. Я хотел ехать на свою родину; но Жульетта уговаривала меня остаться на день, на два, и я оставался, ибо не имел силы противиться желаниям Жульетты. Между тем я написал к отцу моему письмо и в ожидании ответа жил в доме старинного своего мастера, но ответ не приходил. Я потерял терпение, пришел к отцу Жульетты и сказал ему: ты меня знаешь; Жульетта меня любит, я имею достаток; отдай мне свою дочь; я иду к своим родителям, буду просить у них благословения; но прежде хочу быть уверен, что ты согласишься сделать мое счастье. Мы ударили по рукам; я оставил в Гамбурге свою невесту и теперь иду на родину к добрым своим родителям. Жульетта моя имеет редкое сердце. Из двадцати четырех луидоров, данных ей на приданое, отложила она восемь на переезд отца моего из деревни в Гамбург. Золотой крест, который носила обыкновенно на шее, посылает в подарок моей сестре с дружескою запискою. Мне было очень весело воображать, как я обрадую родных своих этими подарками; судите ж сами, как бы я огорчился, когда бы их потерял, и как велика должна быть в глазах моих ваша услуга! Но, Боже мой, если уже у меня нет ни сестры, ни отца, ни матери... сердце мое обливается кровию. Сестру надеюсь еще найти живую; она была моложе меня пятью годами. Но мой отец, этот добрый и честный человек, который для всякого бедняка имел в запасе порядочный стакан вина и несколько денег, но моя мать, которую все сироты, все бедные и печальные называли своим утешением... Добрые люди, скажите мне, не удавалось ли вам слышать о Марселе Пильнице и жене его Берте?

— О Царь Небесный, — воскликнул старик, поднявши к небу руки, — не во сне ли я? Берта, слышишь ли, Берта, не воскрес ли наш Людовик, не его ли мы видим?.. О Боже!

Как описать читателю эту минуту? Они обнимали своего Людовика, своего милого сына, которого столько лет почитали мертвым. Берта не могла говорить, смотрела ему в глаза с неизъяснимою нежностью, прижимала к сердцу его руку и называла его своим ангелом.

— На колена, Берта, — воскликнул наконец старик и упал ниц на землю. — Создатель! Создатель! Ты хочешь показать нам еще на земле Твой рай небесный. Ты возвратил нам нашего сына.

Но нет, никому на земле не дано наслаждаться раем: земное счастье несовершенно. Они вспомнили о Жеоржетте и живо почувствовали, что они люди.

— А сестра моя, — спросил Людовик, — а добрая моя Жеоржетта? Вы говорили, что не имеете более детей, что сделали вы с Жеореттою?

— Ах, ее нет уже на свете, — сказала Берта, залившись горькими слезами, — она умерла на руках моих. Ей не носить твоего прекрасного золотого креста.

Людовик, не отвечая ни слова, надел его на шею матери.

— О, я уверен, — воскликнул Марсель, — что она в эту минуту смотрит на нас с высоты небесной.

Он поднял к небу глаза, как будто видя в отдалении знакомый, любезный образ. Она там, в этой светлой дали, в венце непорочных ангелов... Несколько минут царствовало между ними молчание; сердца их были наполнены сладостным благоговением; казалось, что Промысл небесный явился перед ними во всей восхитительной своей благодати.

— Берта, — сказал, наконец, Марсель, — теперь ты видишь, что и в гошпитале выздоравливают люди; напрасно ж так мучила ты свое сердце, думая об этом гошпитале.

Людовик рассказал им, как он лежал больной подле одного раненого сержанта и как был обманут его обольстительными обещаниями. Мастер, у которого он тогда учился, узнавши о его побеге и опасаясь, чтобы его родители не стали делать ему упреков, рассудил сказать им, что сын их от своей болезни умер; впрочем, он и сам мог искренно быть в этом заблуждении.

Старики рассказали в свою очередь о несчастиях, с ними случившихся. Лицо их переменилось от нищеты и горя, а лицо Людовика от пламенного солнца Батавии. Итак, не удивительно, что они не узнали друг друга. Взявшись за руки, пошли они в бедную хижину; Людовик со слезами благословил тот холм, на котором в первый раз увидел его отец.

— Провидение вело меня на это место, — сказал он, — здесь определило Оно показать меня страждущему моему родителю.

Он хотел освятить его благотворением: купил у поселян то место, на котором находился пригорок, и вместе с бедною хижиною подарил его одному несчастному семейству, назначив, однако, условие, чтобы хранить, как некоторую святыню, те липы, под которыми добрый гений заставил его искать отдохновения, и сделать под тенью их сиделку для странника⁷, утомленного путешествием и летним зноем.

Марсель и Берта провели последние лета жизни своей спокойно и весело. Жульетта была пред ними почтительна, также как и Жеоржетта, а Людовик казался ангелом-хранителем их старости, и Марсель, радуясь на прекрасных внуков своих, часто говорил: это рай, лучше не может быть и в раю небесном.

РОМАНИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ ВЕСЕЛОСТЬ И СТАРОСТЬ

(Соч. Сарразеня)

Видя веселого старика, я думаю с удовольствием о его молодости; эта приятная веселость доказывает мне, что он без угрызения совести может вспоминать о прошедшем и будущего ожидает без ужаса. Веселость в молодом человеке нередко проистекает от легкомыслия: все кажется ему смешным, потому что он еще ничего справедливо ценить не умеет. Время приводит с собою страсти, а страсти, научая размышлять, весьма нередко оставляют после себя уныние, а иногда и тайные упреки совести. Но видя старика, который на лице своем, покрытом морщинами, умел сохранить и живость, и ясность веселого юноши, я говорю: вот честный человек, и он во всякое время жизни своей был честным. Ровным шагом прошел он по дороге жизни, и воспоминание о собственных заблуждениях сделало его снисходительным к заблуждениям ближнего. Страсти его были тихи, ибо следы, оставленные ими на его душе, не возмущают ее спокойствия. Никогда не смотрел он глазами зависти на счастье своих ближних, ибо и теперь, когда уже утратил молодость, главную прелесть жизни, позволяет еще молодым людям быть молодыми в его присутствии.

Такой любезный характер, и в женщине более привлекательный, нежели в мужчине, имела госпожа Бермон. Шестнадцати лет вышла она замуж за человека, избранного ее сердцем; была богата, прекрасна лицом, нравилась не кокетством, имела друзей, которых никогда не теряла, и, пользуясь своими счастливыми преимуществами, ни в ком не возбуждала зависти, ибо умела пользоваться ими весьма скромно. Будучи легкомысленна в некоторых желаниях своих, она была постоянна во всякой привязанности сердца и, наслаждаясь удовольствиями разнообразными, не вредила нисколько своему счастью. Таким образом дожила она до глубокой старости неприметно ни для себя, ни для других, ибо нечувствительно от легких привычек молодого человека переходила к постояннейшим и более важным привычкам старого.

Ей было восемьдесят лет. Она заключила себя в круг семейства и нескольких добрых, старинных друзей, но этот тесный круг был оживляем тою искусственною, привлекательною веселостию, которою она в своих молодых годах восхищала многолюдное и блестящее общество света. Муж ее давно уже умер, и главнейшими предметами ее привязанности были молодой Форланж, ее внук, которого она при своих глазах воспитала, и молодая Амелия Вилар, попечениям ее вверенная умирающею матерью, которой она была искренним другом.

Амелия не имела никакого состояния. Госпожа Бермон любила ее, как родную дочь, и она уже расположила в мыслях своих соединить с нею своего внука. Форланж и Амелия, затвердивши с малолетства, что им назначено быть супругами, питали друг к другу нежнейшую привязанность, которая подавала надежду, что они будут в союзе своим истинно счастливы. Форланж имел не более двадцати лет; Амелия не более осьмнадцати, и до сего времени еще ничто не возмущало взаимной их нежности. Но любовь, слишком спокойная, обращается наконец в привычку и делается просто дружбою: любишь, не думая, не уверяя милого человека в своей любви; душа полна, но воображение спокойно; а воображение Форланжа, по несчастию, имело нужду в занятии: оно было живо, деятельно, распалено чтением романов. Надлежало каким-нибудь препятствием, почти непобедимым, отдалить Форланжа от Амелии, чтобы открыть его сердцу ту сильную любовь, которая в нем таилась.

Таково было положение госпожи Бермон и ее семейства, когда заметили, что Форланж сделался мрачен, задумчив, молчалив более обыкновенного. Он начал весьма часто отлучаться; возвращался домой поздно ввечеру, и на лице его яркими чертами написано было уныние. Он мало говорил с молодою Амелиею и уже не показывал ей той дружеской доверенности, которая становится необходимою для нашего сердца, как скоро оно один раз ею насладится. Амелия плакала и заключила печаль свою в глубине души: «Он перестал любить меня; он начинает от меня скрываться», так думала Амелия. Что же касается до госпожи Бермон, то она была в беспрестанном движении, в беспрестанном беспокойстве. «Что он делает; где он бывает? Мы его не видим! Для чего удаляется от Амелии? Не перестал ли ее любить? Скорее, скорее женить его; все пропало, если я хоть немного помедлю. Какая-нибудь кокетка сведет с ума этого ветреника, эту мечтательную голову; он совершенно удалится от моей милой Амелии: тогда простите все мои веселые планы; тогда полно думать о его счастье!»

В одно утро, когда Форланж по обыкновению своему собирался идти со двора, госпожа Бермон остановила его:

— Форланж, войди ко мне в кабинет; я имею нужду поговорить с тобой несколько минут наедине.

— Извините меня, бабушка, — отвечал Форланж с видом нетерпения, — совсем не имею времени. Важное дело...

— Важное дело, — сказала госпожа Бермон, усмехаясь, — не верю, чтобы оно могло быть важнее того дела, о котором я с вами говорить намерена и которое, как видно, улетело из вашей памяти. Скажите мне, любезнейший мой внук, разве уже вы не расположены более жениться?

— Ах, бабушка, можно ли говорить о женитьбе! Мне только двадцать лет!

— Тем лучше. Хотите ли вы иметь пятьдесят? Но такое слово на языке вашем для меня удивительная новость! Вы прежде показывали чрезвычайное нетерпение. Если бы я захотела послушаться вашей премудрости, то вам жениться и на шестнадцатом году было бы не рано. Но теперь вы имеете важные дела... Между тем Амелия так добродушна, мила, чувствительна...

— Все это совершенная истина, бабушка! Я отдаю справедливость ее любезным качествам, но...

— Амелия не любит рассеянности, не любит того разорительного блеска, который сводит с ума молодых ветрениц. Она имеет редкую скромность; будет заниматься хозяйством, что также большая редкость; будет хорошою воспитательницею детей своих, что и того реже; будет всему предпочитать своего мужа, что в наше время уже и не бывает! И вы по своему высокому благоразумию рассудили, что вам еще очень рано быть мужем такой прелестной женщины!

— Вы говорите правду, любезная бабушка! Амелия имеет все добродетели, могущие составить счастье мужа; но...

— Но, но, но! Я не хочу слышать этого несносного «но»; ты должен жениться, слышишь ли, мой друг, жениться, и чем скорее, тем лучше! Я уже стара, девяносто лет — порядочный возраст, а мне еще хочется видеть подле себя двух или трех забавных проказников, которые смешили бы меня своим лепетанием, со мною резвились бы, портили бы у меня работу, били бы мои очки, заставляли бы меня и ворчать, и смеяться. Дело решено: через неделю ты женишься на Амелии!

— Какая поспешность, бабушка!

— О мой друг, поспешность весьма простительна старым людям; им поздно надеяться и откладывать.

Эти последние слова тронули Форланжа.

— Ах, — воскликнул он с живостию, — для чего не в моей власти исполнить ваши желания, милый друг бабушка! Но пожалейте обо мне: я страстно влюблен в другую!

— В другую?

— Прелестную, как ангел!

— Но кто она, если позволите спросить?

— Не знаю.

— Где живет?

— Не знаю и того.

— Кто ее родные; каково ее состояние?

— И этого ничего не знаю!

— Но где же ты ее видел?

— Нигде!

— По крайней мере, слышал о ней очень много от других?

— Ни от кого ни слова!

— При тебе хвалили ее красоту, любезность, ум...

— Никогда, бабушка!

— Поздравляю тебя от всего сердца, любезный внучек, но с этой минуты полно думать о твоей женитьбе! Я вижу, что тебе надобна не жена, а доброе и спокойное местечко в доме сумасшедших. Прости; я не могу с тобою говорить, потому что так раздосадована, так сердита...

Госпожа Бермон при этом слове оставила Форланжа, который не мог не признаться внутренне, что она имела причину быть им недовольною.

— Это правда, я сумасшедший, — сказал он, — из любви к неизвестной, которая, может быть, принадлежит уже другому, или есть существо мечтательное, отказываюсь от Амелии, милой, одаренной тысячью прелестных качеств, любезной мне, с самого раннего детства. Но если оно существует, это восхитительное творение; какой прелестный должно оно иметь характер! Может ли быть обманчиво такое очаровательное лицо, — продолжал он, вынув из кармана портрет и рассматривая его пламенными глазами, — какое остроумие во взгляде, какая прелестная форма лица; какая улыбка! Боже мой, с восторгом пожертвовал бы я половиною имения и жизни, чтобы найти оригинал этого портрета!

Этот страстный монолог был прерван приходом Оливьера, Форланжева камердинера. Оливьер был очень умный человек; госпожа Бермон имела к нему большую доверенность, и он заслуживал ее той благоразумной попечительностью, с какою надзирал за молодым своим господином. Все в доме оказывали ему уважение, и он имел полное право говорить свободно с своими господами. Давно заметив, что нрав молодого Форланжа и его обхождение с Амелиею переменялись, и будучи уверен, что госпожа Бермон чрезмерно огорчится, если ее намерение соединить Амелию и Форланжа не будет исполнено, он желал проникнуть в ту важную тайну, от которой зависело спокойствие целого семейства; но как это сделать? Слишком явное любопытство могло бы совершенно уничтожить доверенность, но в двадцать лет сердечная тайна всегда вертится на языке, а Форланж очень чувствовал, что ему нужно кому-нибудь открыться, и уже несколько дней бродила в голове его мысль сделать поверенным своим Оливьера. Но вот Оливьер вошел к нему в горницу в ту самую минуту, как вся душа его наполнена была нежнейшим мечтанием о восхитительной незнакомке,

и тайна, как легкая сальфиды, спорхнула с его языка. Он рассказал Оливьеру, что в один день, прогуливаясь по Булонскому лесу с госпожою Бермон, Амелиею и несколькими знакомыми, увидел он на траве что-то блестящее.

— Приближаюсь, — продолжал Форланж, — и что же? Вижу медальон с женским портретом. Ах, Оливьер, не могу изъяснить, что почувствовал я в своем сердце, взглянувши на это ангельское лицо! Я спрятал поспешно свою находку, опасаясь, чтобы ее в руках моих не увидели, и с того времени мое воображение не может ни на минуту отделиться от милого, мне незнакомого существа, которому сердце мое покорено теперь навеки; смотрю на ее лицо, и всякий раз нахожу в нем новые совершенства, не замеченные мною прежде. Всякий день хожу на то место, где я нашел портрет; бегаю по всем театрам, по всем публичным гульбищам, ищу глазами моей восхитительной незнакомки: напрасный труд; теряю надежду и чувствую, что счастье мое навсегда погибло!

Оливьер, зная характер Форланжа, не стал огорчать его представлениями, но притворялся, будто сердечно участвует в его печали: полюбившись портретом, он дал верное слово употребить все силы свои для отыскания прелестного оригинала.

Он поспешил сообщить открытие свое госпоже Бермон; честный Оливьер не почитал этого предательством: он был, напротив, уверен, что поступает согласно с истинною пользою своего молодого господина, ибо никто, кроме госпожи Бермон, не мог облегчить его сердца и принести в порядок его расстроенного воображения. Хотя открытие Оливьерово не весьма было радостное, но госпожа Бермон по первому движению своей веселости, соединенной однако с нежнейшею чувствительностию сердца, начала громко смеяться.

— Вот чудо, — восклицала она, — мой внук влюбился в портрет! Теперь не имею ли причины говорить, что молодость — сумасшествие? По крайней мере, скажи мне, Оливьер, каково это личико; восхитительное, очаровательное, небесное?

— К несчастью, вы отгадали, милостивая государыня! Я никогда не видал лица прелестнее! Не скажу, чтобы девица Амелия имела менее прелестей; однако думаю...

Амелия была уже в комнате, и она слышала последние слова Оливьера. Бедная не могла утаить печали своей, и слезы потекли из глаз ее ручьями. В эту минуту и в госпоже Бермон прошла охота смеяться; она взяла за руку свою милую воспитанницу и старалась утешить ее убеждениями рассудка. Между тем она размышляла о средствах излечить внука своего от сумасбродной страсти.

— Я непременно хочу увидеть этот ужасный портрет, — сказала она Оливьеру.

Предприятие было трудное, но Оливьер не отказался его исполнить.

На другое утро, вбежавши в комнату господина своего, воскликнул он в сильном волнении:

— Важное, важное известие! Радуйтесь, благодарите Небо!

— Что случилось, Оливьер? Великое открытие; оригинал отыскан; вставайте!

Форланж без памяти спрыгнул с постели.

— Ах, Оливьер, друг мой, говори скорее, умираю от нетерпения.

— Дайте мне отдохнуть; я так спешил... так устал! Если б вы знали...

— Ты уморишь меня; сказывай, ради Бога!

— Она ехала в прекрасной английской карете, запряженной четырьмя лошадьми; я мчался за нею как сумасшедший. По счастью, карета очень скоро остановилась перед крыльцом одного великолепного дома, и из кареты вышла, она, точно она! Если бы вы видели, какой это прелестный стан, какая приятность в движениях! Я был ослеплен! Волосы темные, а глаза, Боже мой, какие это глаза; короче сказать, подобных, может быть, не найдете вы в целом свете!

— Ах, друг мой Оливьер, как много я тебе обязан! Узнал ли ты ее имя?

— Имя ее? Конечно, узнал; она, ее зовут Клемантина де Романвиль, так, Романвиль.

— Но Оливьер, точно ли ты уверен, что это она?

— Я не могу сказать, чтобы я был совершенно в этом уверен; но пеняйте, милостивый государь, на самого себя; кто не велел вам отдать мне портрета? Я мог бы сличить его с оригиналом!

— Отдать тебе портрет?.. О, какая выдумка!

— Но разве боитесь вы, что я испорчу его глазами своими?

— Нет, я этого не боюсь, но ты можешь хорошенько всмотреться в черты лица; они останутся у тебя в памяти, и тебе уже нетрудно будет...

— У меня в памяти! Благодарю вас за доверенность к моей памяти. Но я ни в чем на нее не полагаюсь, ибо весьма нередко удается мне забывать и собственное мое имя...

— Слушай, опишу тебе каждую черту; старайся не пропустить ни одного моего слова!

— Говорите.

И Форланж начал описывать со всеми подробностями красоты своей незнакомки. Оливьер повторял за ним каждое слово, как ученик латинскую тему¹: *высокий лоб, белый, как слоновою кость, и гладкий,*

как полированное стекло; черные брови, дугою; прелестный маленький носик, несколько вздернутый вверх; волосы темно-русые; пунцовые губки и верхняя выставлялась немного вперед; черные сверкающие, исполненные остроты и чувственности глаза; на каждой щеке маленькая ямка; подбородок, прелестно округленный, с легкою, едва заметною впадинкой посредине.

— Прекрасно, Оливьер, прекрасно! — восклицал Форланж, — ты знаешь урок свой очень твердо и повторяешь его без ошибки.

— В самом деле? Я не ожидал этого от своей памяти! Но позвольте мне пересказать ваше поучение одному.

И вот Оливьер начинает описывать красавицу, но в его описании все черты ее переменились: глаза сделались голубыми; лоб гладким, как слоновою костью и белым, как полированное стекло; подбородок вздернулся несколько вверх; на носу очутились две ямочки; а брови наполнились чувствительностию и остроумием. Форланж вышел из терпения, но Оливьер напомнил ему, что памяти даровать себе невозможно.

— Прошу вас иметь ко мне доверенность, — прибавил он, — дайте мне на короткое время этот портрет. Я возвращу вам его невредимым, а без портрета не обещаю принести никакого верного известия, и вы никогда не узнаете своей незнакомки.

Форланж принужден был согласиться, и Оливьер, принимая портрет, клянется беречь его более жизни.

Спустя несколько дней, приходит он к господину своему с приятным известием, что ему удалось сличить копию с оригиналом, и что теперь не осталось уже никакого сомнения; потом начинает рассказывать, каким образом, с помощью горничной девки, старинной знакомой своей, нашел он случай увидеть девицу де Романвиль.

— Она прекрасна, как ангел, — прибавил Оливьер, — но участь ее самая горестная; она живет у своего опекуна, которого имя Дюроше, человека жестокого, грубого, ревнивого. Он страстно влюблен в свою воспитанницу, хочет на ней жениться, держит ее взаперти и обходится с нею так жестоко, что бедная умирает с печали.

Форланж, слушая эту повесть, плакал, восхищался, приходил в бешенство. Оливьер рассказал потом, каким образом удалось ему познакомиться с ужасным Дюроше и как он понравился этому жестокому человеку, одобряя главную страсть его, ревность.

— Я дал ему почувствовать, — продолжал Оливьер, — что улица, на которой он живет, слишком многолюдна и что ему весьма выгодно переселиться в наше предместье, которое можно назвать пустынею. Вообразите же легковерие этого ревнивца! Он тотчас попал в мою западню, и что же: бросился нанимать, по совету моему, этот каменный

дом, который смежен заднею стеною с нашим и который, к великому счастью, никем не занят.

— Что я слышу, — воскликнул Форланж, — она будет жить подле меня! Я ее увижу, буду с нею говорить, буду клясться ей в вечной любви! О Боже, Оливьер, ты истинный друг мой!

— В самом деле, ваш друг. Но вы еще не знаете всего своего счастья. Эта прекрасная Клемантина привязана к вам почти также сильно, как и вы к ней!

— Что ты говоришь, Оливьер! Но где же могла она меня увидеть?

— В Булоньском лесу. С первой минуты почувствовала она к вам сильную склонность, которая, по крайней мере, так уверяла меня ее горничная девка, сделалась в скором времени страстию и прекратится не прежде, как с жизнью.

— Ах, Оливьер, может ли это случиться?

— Она удалилась с отчаянием в сердце, ибо вы не удостоили ее ни одного взгляда!

— Безумец, где были мои глаза!

— Но удаляясь, она уронила свой портрет...

— С намерением, Оливьер?

— С намерением, в той надежде, что вы, увидя его, захотите сделаться ее покровителем, если только черты лица ее произведут некоторое впечатление на вашем сердце.

— Некоторое впечатление! Что за слово! Сердце мое живет ею каждую минуту...

— Часа через два, милостивый государь, легковерный ревнивец домой возвратился. Он нанял описанную мною квартиру и в моем присутствии объявил Клемантине, что она завтра же поутру переметит жилище. Итак, советую вам до завтрашнего утра успокоить свое нетерпение, а я между тем буду за вас трудиться и обещаю вам успех совершенный.

— Что ты говоришь, Оливьер? Молодому человеку, с пылким воображением, с сильною страстию, быть спокойным в ту минуту, когда любезнейшее из всех желаний его готово исполниться! Возможно ли это?

И Форланж более ста раз обошел вокруг того дома, в который через несколько часов должна была переселиться его Клемантина; сто раз пересчитал он все окна, все двери и выход и уже сочинил несколько планов, как обмануть гнусного ревнивца. Во всю ночь мечталось ему Клемантина; иногда на глазах его наворачивались слезы: он думал о ее страданиях и проклинал бесчеловечие притеснителя; иногда сверкало в них удовольствие: он воображал себя ее избавителем, и все уже было придумано к ее похищению; он собрал всю свою казну, около ста луи-

доров, подаренных ему накануне госпожою Бермон, и эта сумма казалась ему сокровищем необъятным.

На другой день рано поутру Форланж велел Оливьеру приготовить веревочную лестницу и около вечера поставить в ближнем переулке почтовую коляску. Во весь день ходил он вокруг дома дозором и не сводил глаз с окна той горницы, в которой, по уверению его помощника, должна была поселиться Клемантина. Наконец заметил он в доме некоторое движение, и Оливьер пришел ему объявить, что Дюроше и его питомица прибыли на новую свою квартиру. Форланж становится на карауле, прямо против окна Клемантины; ждет, вслушивается, кровь кипит в его жилах; голова его пылает; сердце ужасно бьется. Проходит час, проходит другой, наконец... о счастье неописанное! Окно растворилось; из него вылетает письмо и падает к ногам восхищенного Форланжа. Он подымает его, целует, разворачивает, читает:

«Надеюсь, что горестные обстоятельства извинят в ваших глазах поспешность моего поступка, могущего показаться неосторожным и ветреным! Я и сама не почитаю себя совершенно правою, но к чему не приводит человека отчаяние, соединенное с нежною любовью! Так, Форланж, не хочу скрывать перед вами своего чувства: сердце мое привязано к вам с той самой несчастной или счастливой встречи в Булоньском лесу, которая определила судьбу моей жизни. Мне казалось, и я верю своему чувству, что на лице вашем изображена была прекрасная душа, способная согласоваться с моею. Вот избавитель твой, сказал мне тайный, пророческий голос, и предвещание это сбывается! Судьба несчастнейшей сироты вас тронула! Ах, поспешите разрушить ее оковы! Нынче в одиннадцатом часу вечера притеснитель мой должен уйти со двора; я имею свободу прогуливаться, но этот сад окружен вокруг стеною; дверь запирается крепко, а ключ в кармане у моего жестокого опекуна. Постарайтесь найти какое-нибудь средство к избавлению моему от неволи; тогда перестану я думать, что мне суждено быть вечно несчастною, ибо увижу себя под защитою того человека, который один кажется мне достойным всей моей нежности!»

— Какое письмо, — воскликнул Форланж, без ума от восхищения, — какой слог, какое трогательное красноречие! Ах, Оливьер, из одной жалости решился бы я на все; но я люблю ее страстно, и любим ею взаимно: какие же препятствия могут быть для меня ужасны?

— Ваша правда, — сказал Оливьер, — ...но сад окружен высокими стенами.

— Мы через них перескочим!

— Мы! Согласен. Но Клемантина... для нее надобно отворить дверь, а дверь заперта на замок!

— Мы ее разломаем!

— И наделаем шуму, Дюроше прибежит...

— Мы его уьем!

— Уьем! Очень хорошо, но разве нельзя выдумать другого способа, тихого, некровопролитного? Если бы, например, войти нам в сад с позволения хозяина, без шума и спора. Нельзя ли каким-нибудь средством достать этот драгоценный ключ?

— Невозможно!

— Я этого не думаю. Стоит познакомиться с опекуном, а для этого надобно вам несколько состариться, ибо наш грозный Аргус² очень подозрителен и ревнив. Наденьте свадебное платье вашего покойного дедушки, господина Бермона, и его огромный парик, вооружитесь его длинною тростию, согните спину в дугу, скрючьте ноги, дрожите, кашляйте за каждым словом, и ключ непременно будет у вас в руках.

— Но как показаться в таком уборе на глаза Клемантины! Она будет смеяться, найдет меня странным.

— Стыдитесь; какое ребячество! Клемантина — девушка рассудительная! Она уважает старых людей, следовательно, и старые моды. К тому же она увидит, что ваше смешное платье открыло вам дорогу к ее жестокому притеснителю и, может быть, из благодарности вздумает еще просить вас, чтобы вы всегда его носили.

Наконец Форланж решился. Вот он идет в кладовую, выбирает из кучи старинных платьев своего покойного дедушки самое старинное и величественное; Оливьер одевает его; любит его, называет его прелестнейшим из всех стариков девятнадцатого века.

— Если б вы знали, как вы хороши в этом бархатном кафтане с длинными кружевными манжетами и в этом парике с огромным кошельком и буклями! Теперь вы точная тень господина Бермона, и бабушка ваша могла бы порядочно испугаться, когда бы в эту минуту вас увидела. Очень хорошо. Вы кашляете с удивительною приятностию. Можно подумать, что у вас в груди, по крайней мере, три чахотки!

Кончив свой туалет, Форланж отправился к господину Дюроше, которого Оливьер заранее приготовил к принятию почтенного соседа. Форланж, опасаясь проницательности ревнивца, старался переменить свой голос, морщился, дрожал, кашлял, но Дюроше, не воображая никакого обмана, принял нашего ветреника с тем уважением, которое обыкновенно производит в нас присутствие девяностолетнего старца. Надобно заметить, что он, к счастью Форланжа, был удивительно близорук.

— Вы кашляете, — сказал он с видом дружеского участия.

— Очень кашляю, государь мой! Старость, слабое здоровье!... Но я уверен, что ваше приятное знакомство заставит меня позабыть о болезни!

— Благодарю вас! Я сам обещаю себе много удовольствия в вашем обществе. Сосед в ваши лета и с вашей степенною наружностью есть человек для меня самый приятный.

— Такой благосклонный прием, государь мой, вселяет в меня смелость ожидать от вас одолжения.

— Одолжения? Прошу вас покорнейше объясниться.

— Я сделал привычку прохаживаться всякое утро и всякий вечер в саду, принадлежащем к вашему дому. Эта прогулка по моим летам обратилась в совершенную для меня необходимость. Ходить далеко мне трудно; я слаб ногами, а по соседству нет никакого другого сада: надеюсь, любезнейший господин Дюроше, что вы не откажете слабому старику в таком удовольствии, без которого ему пробыть почти невозможно!

Дюроше не отвечал ни слова и несколько нахмурился. Форланж, испуганный суровым его видом, продолжал (не забывая, однако, весьма часто и громко кашлять):

— Даю вам слово не прикасаться ни к одному кочану капусты.

— Государь мой, я беспокоюсь не о капусте.

— Не сорву ни одного цветка...

— Боже мой, рвите цветы, сколько вам угодно, я...

— Даю вам слово при входе и выходе запираать двери на замок.

— Признаться, я несколько боюсь, что вы иногда позабудете об этой предосторожности.

— Можно ли, господин Дюроше, от старика в девяносто лет ожидать такой ветрености? В эти лета перестают ребячиться!

— Девяносто лет, ваша правда, это возраст благоразумия; соглашаюсь исполнить вашу просьбу: вот ключ от дверей сада! Не могу не иметь доверенности к благоразумию девяностолетнего старца.

Он подал ключ Форланжу, который едва не оторвал его с рукою; поспешно вскочил со стула, и если бы Дюроше не подал ему из учтивости руки, сказав: «Остерегайтесь... идите тише... лестница крута... вы упадете», то наш ветреный старичок совершенно забыл бы о своей дряхлости и в два прыжка очутился бы за воротами.

Оливьер ожидал его с нетерпением на улице.

— Победа, победа, — кричал Форланж, — ключ завоеван! Ах, Оливьер, какое удовольствие обманывать старого ревнивца! Какой это левоверный глупец! Но, правду сказать, и я бесподобно сыграл свою ролю. Я обманул бы и самого доктора Бартоло³.

В эту минуту Форланж и Оливьер слышали шум; спрятались и увидели господина Дюроше, сходящего с крыльца; он запер за собою дверь, несколько минут с подозрительностью осматривался, потом удалился.

— Очень хорошо, — сказал Оливьер, — неприятель уступает нам место сражения; вот кстати пробило и одиннадцать часов; нас ожидают; все приготовлено к вашему отъезду; карета запряжена; в четверть часа мы будем уже на большой дороге!

— Мой друг Оливьер, стань в ближнем переулке и смотри, чтоб меня не застали, а я пойду в сад.

Оливьер удалился. Форланж подходит к садовым дверям; за стеною слышится ему шорох.

— Вы ли это, Клемантина? — спросил он вполголоса.

— Я, Форланж; отворите дверь, и убежим!

Форланж затрепетал, услышав голос незнакомки своей, который показался ему приятнее флейты. Он взялся за ключ, но в ту минуту (можно ли описать его досаду?) к нему подошли два человека; один схватил под левую руку, другой под правую: то были два стихотворца, комический и трагический; при выходе из театра заспорили они о своем искусстве: один возвышал комедию; другой отдавал преимущество трагедии.

— Что может быть трогательнее, величественнее, и следовательно, совершеннее трагедии, — восклицал трагик.

— Неслыханное дело, — гремел защитник комедии, — унижать то искусство, которое возвысил Мольер!

— Так точно, государь мой, я утверждаю решительно, что трагедия превосходнейшее из всех произведений стихотворства!

— Написать хорошую комедию несравненно труднее!

— Напротив, трагедию.

— Все люди со вкусом будут на моей стороне.

— Все люди с умом перейдут на мою.

— Спросим у первого встретившегося нам человека? Я бьюсь об заклад, что он будет согласен со мною!

— Вы ошибаетесь; со мною! Но вот очень кстати порядочной старичок; если он не моложе своего платья, то, верно, видал на веку своем не одну комедию и трагедию. Может быть, ему удавалось рассуждать об них и с самим Мольером или с божественным Расином.

При этом слове жаркие спорщики овладели бедным Форланжем.

— Государи мои, — отвечал он им с неописанною досадою, — я не имею времени заниматься вашим вздором!

— Вздором, — воскликнули в один голос стихотворцы, — можно ли так не почтительно говорить о двух важнейших предметах стихотворческого искусства!

— Прошу меня извинить, я совершенный невежда в стихотворстве!

Но бедный Форланж напрасно надеялся защитить себя своим незнанием; стихотворцы усердно принялись осыпать его своими доказательствами: один кричал в правое ухо, другой ужасно шумел над левым; Форланж бесился, наконец начал браниться; трагик отвечал ему двумя жестокими стихами:

Когда б не седины главы твоей почтенной,
Я б наказал тебя, ругатель дерзновенный!

И эта стихотворная угроза совершенно взбесила Форланжа; он вырвался из когтей своих мучителей и начал толкать их от себя изо всей силы.

— Какой же сердитый старичонка, — сказал комический автор, — он зол как сатир.

— О Мельпомена! — воскликнул трагик, —

Когда бы ярости моей я волю дал,
Во преисподнюю безумца бы сослал!
Уйдем; я чувствую, что кровь во мне клокочет;
Что грозная рука сразить злодея хочет!

И они исчезли. Форланж побежал к дверям, и он уже хотел отпирать замок, как вдруг над самыми его ушами кто-то взвизгнул диким пронзительным голосом. Форланж испугался, оборотил голову: длинный человек, худой и ужасный, как привидение, пел итальянскую арию, кривлялся и после каждой рулады восклицал: «Прелестно, прелевосходно, истинно италиянский вкус!»

— Государь мой, — сказал он Форланжу, — имею честь свидетельствовать вам мое почтение. Если парик ваш меня не обманывает, то вы должны быть хороший знаток музыки: хочу пропеть вам несколько арий из одной моей оперы, которую нынче поутру я кончил, слушайте: содержание: Полифем, лишенный глаза Улисом. Полифем, в минуту мучительной боли, причиненной ему головнею Уллиса⁴, поет...

И наш музыкант заревел ужасную арию.

— Я глух, — воскликнул Форланж громозвучным голосом.

— Глух или нем, какая нужда, прошу покорно выслушать! Вот трио между Полифемом, его любимым бараном⁵ и мудрым Улиссом!..

И крикун начал уже прелюдировать, но грозное движение Форланжевой руки привело его в ужас; он скрылся.

Форланж вздохнул свободно, и было уже время. Дюроше мог каждую минуту возвратиться; надлежало не пропустить благоприятного случая. Форланж, как безумный, бросается к дверям, отворяет их, и он уже готов перескочить через порог, но в эту самую минуту падает к нему в ноги пьяный человек, роняет его, и они катятся вместе в глубокий канал.

— Что ты здесь делаешь, — спросил пьяница, едва шевеля языком, — как смеешь ты нападать на пророка Магомета?

Форланж, не отвечая ни слова, полез из канала, но пьяный ухватился обеими руками за полу кафтана.

— Я от тебя не отстану; ты не оказываешь уважения к священному Алкорану!

Форланж оттолкнул его и хотел идти в сад, но пьяный, схватившись за дверь, старался вломиться в нее насильно и кричал во все горло: «Это мой рай, здесь живут мои гурии! Прочь, нечестивец, или сей час велю удавить тебя шелковою петлею».

По счастью, Оливьер, услышав крик, прибежал на помощь к своему господину.

— Друг мой, Омар, — сказал ему пьяный, — прикажи этому беззаконнику выколотить спину; он обижает пророка Магомета.

— Ах, Оливьер, — воскликнул Форланж, — я в отчаянии; на меня навязались два сумасшедшие стихотворца, один музыкант и этот проклятый пьяница, который величает себя пророком. От трех я отделался; ради Бога избавь меня от четвертого!

И Оливьер пал ниц у ног Магомета.

— О великий пророк, все повеления твои будут исполнены: сию минуту прикажу удавить сего нечестивца! Но объявляю тебе, наперсник Божий, что я в ближнем трактире приготовил для тебя ужин; есть и вино, которого можешь пить, сколько тебе угодно!

— Вино, вино! О, мудрый Омар, я сделаю тебя калифом! Ты создан повелевать вселенною! Вино, я умираю от жажды!

И Магомет удалился, взглянув свирепым оком на Форланжа, который, как сумасшедший, бросился в сад. Через минуту явилась и Клемантина. Он падает перед нею на колена, целует ее руку... Но кто опишет его блаженство! Они выходят из сада! Клемантина свободна!

— Следуйте за мною, — сказал Форланж вполголоса, — карета в двух шагах! Мы едем в Лион!..

— В Лион, — отвечала незнакомка, сбросив с себя покрывало, — прошу меня извинить; так далеко в мои лета не ездят.

Форланж взглянул на лицо незнакомки; оно освещено было фонарем: кого же он увидел? Госпожу Бермон, почтенную свою бабушку. Он отскочил назад, как будто увидевши страшное привидение; в эту минуту со всех сторон послышался громкий хохот; явилась Амелия с пятью знакомцами госпожи Бермон!

— Я не ошибся, бабушка, это вы?

— Точно я, мой любезный внук! Благодарю тебя; ты избавил меня от тяжкой неволи. Правду сказать, это похищение стоило тебе дорого; зато какая награда; скажи мне, доволен ли ты оригиналом?..

— Что вы говорите, бабушка, портрет!

— ...Был списан с меня, любезнейший внук!

— С вас? Может ли это стать, какое чудо!

— Я изъясню его. Этот портрет был отдан золотых дел мастеру, которому поручила я сделать медальон в новом вкусе, ибо мне хотелось благословить им Амелию в день свадьбы. Золотых дел мастер отдал мне его в самый день нашей прогулки по Булоньскому лесу; я положила его неосторожно в карман; он выпал. Возвратившись домой, я стала его искать; не нашла и вообразила, что он украден, но мне и в голову не приходило, чтоб он мог достаться в такие хорошие руки!

— Но ваш ли костюм на этом портрете! Вы одеты по самой последней моде?

— Скажи лучше, по самой старинной, ибо так одевались во времена мифологических богов одни грации. Покойному супругу моему угодно было посмотреть, какова я буду в греческом платье⁶, и он велел написать меня в скромной одежде грации Аглаи⁷. Но если ты мне не веришь, то можешь прочесть имя оригинала, написанное на кости позади портрета⁸. Поддай мне медальон; я покажу тебе одну пружинку: стоит ее подавить, и медальон откроется! Но все эти подробности, мой друг, мой милый избавитель, не доказывают ли тебе весьма ясно, что я, точно я, а не другая, имею честь быть оригиналом этого восхитительного портрета?

Госпожа Бермон взяла из рук Форланжа медальон, открыла его, и позади портрета увидели надпись: «Госпожа Бермон двадцати лет 1740».

— Непонятный случай; я не могу опомниться от удивления!

— Скажи лучше, от радости, посмотри на меня, мы созданы друг для друга, и я рада божиться, что ты в этом уборе, как две капли воды, похож на своего покойного дедушку, господина Бермона!

— Ах, бабушка, вы имеете полное право надо мною смеяться: я сумасшедший!

— Правда твоя, мой друг, ты в полном сумасшествии! Однако ж утешься; в прежнее время от этого приятного личика и не такие головы,

как твоя, приходили в беспорядок. Двадцати лет я была хороша, и очень хороша собою.

— Но это удивительно, — сказал Оливьер, — как много шестьдесят лет могут переменить лицо молодого человека!

— Позвольте полюбопытствовать, любезный внук, осталось ли в сердце вашем сколько-нибудь этой ужасной страсти?

— Ах, бабушка, можете ли вы меня простить?

— Простите его, — сказал Оливьер, — в другой раз этого с ним не случится!

— Охотно прощаю тебя, мой милый безумец. Я столько смеялась благодаря этим снисходительным господам, которые все играли в нашей комедии, что нет возможности...

— Как, бабушка? В самом деле! Вот господин Дюроше, стихотворцы, оперист и пророк Магомет! Я знаю их всех в лицо, и мог бы быть обманут... О сумасшествие; Амелия, милый друг, простишь ли ты мне мою безрассудность?..

— Послушай, Амелия, уступаю тебе все мои права на сердце этого милого очарователя, — сказала госпожа Бермон, — но ты отдай справедливость моему великодушию. Из любви к тебе я отказываюсь от последнего в жизни моей завоевания.

Амелия подала руку Форланжу; в глазах ее сверкнули слезы.

— Амелия, ты возвращаешь мне свое сердце, — воскликнул Форланж.

— Оно всегда тебе принадлежало!

— О мой друг, если когда-нибудь сделаю неверность...

— То это останется между нами, — прибавила госпожа Бермон, улыбаясь.

И на другой же день Амелия отдала руку свою Форланжу. Они были счастливы. Воображение Форланжа успокоилось, но не угасло: представляя ему Амелию образцом прелести, ума, добродетели, оно украшало в глазах его одну истину; эта веселая способность души, будучи направляема к надлежащей цели, сильнее привязывает нас к исполнению должностей наших, ибо делает их привлекательными; она дает нам прямое счастье, озаряя добродетели наши очаровательным игрой своей блеском.

ОБРАЗ ЖИЗНИ И НРАВЫ РЫЦАРЕЙ

Весьма трудно описывать такие предметы, которые одним уже именем своим воспаляют воображение. Они представляются нам в каком-то неясном, но привлекательном образе, который превосходит

всякое описание, и читатель поневоле остается в неудовольствии на автора за его неискusstво. Сказавши *рыцарство, славный рыцарь*, вы уже видите в своем воображении нечто чудесное, нечто такое, чего ваше описание никогда достаточно изобразить не может; в этих простых словах заключено для вас все: и вымыслы Ариоста¹, и подвиги истинных паладинов², и очарованные замки Альцины, и грозные стены Кевра, и зубчатые башни Анета³.

Историк, говоря о рыцарстве, принужден советоваться с трубадурами, прославившими его в своих песнях, и которых свидетельство, по мнению самых строгих критиков, также в этом случае важно, как и Омеровы поэмы⁴ для тех, которые хотят описывать веки древнего героизма. Но, несмотря на то, читая историю рыцарства, чувствуете вы, что историк переселился в страну волшебства и вымыслов, ибо вы слишком привыкли к сухой истине, и все то, что не имеет сей отвратительной сухости, почитаете бредом и выдумкою, уподобляясь тем обитателям снежного полюса, которые свои печальные пустыни предпочитают оным счастливым странам, где

La terra molle, e lieta, e diletta
Simili a se gli abitor' produce (Tasso. Cant 1, oct. 62)

Воспитание рыцаря начиналось обыкновенно с семи лет^(*). Дюгеклен⁵, будучи еще ребенком, играл в военные игры на обширных дворах родительского замка; со множеством маленьких поселян представлял он осады, турниры, сражения; часто убегал в дремучий лес; боролся с буйным ветром; перепрыгивал через глубокие рвы; влезал на высокие вязы и дубы: таким образом, на полях Бретани, среди забав веселого младенчества, уже открывал он в себе героя, спасителя Франции^(**)⁶.

Кандидат рыцарства, после первых уроков, отдаваем был в должности пажа (*damoiseau*) ко двору какого-нибудь барона; здесь получал он важные наставления о верности к Богу и прекрасному полу^(***)⁷. Иногда молодой паж воспламенялся любовью к дочери владельца; в сердце его загоралась сильная, продолжительная страсть, которую впоследствии прославлял он чудесами неустранимости. Обширная и величественная архитектура готического замка, древние леса, пруды широкие, уединенные, всегда окружаемые молчанием, питали своею романическою

(*) Sainte-Palaye. Том I. Часть перв.

(**) Жизнь Дюгеклена.

(***) Sainte-Palaye. Том I, стр. 7.

прелестию сии страсти, которых никакая сила не могла уничтожить и которые казались очарованием неразрушимым.

Любовь усиливает мужество. Молодой паж ревностно исполнял те обязанности и подчинял себя тем трудам, которые вели его на дорогу чести и славы. На диком коне скакал он по чистому полю или преследовал в густом лесу страшного зверя. В другое время спускал он быстрого сокола, который, покорствуя клику своего господина, смиренно садился на левую его руку. Иногда, подобно младенцу Ахиллу, перескакивал он на бегу с одной лошади на другую или, вооруженный тяжкими латами, взбирался на высоту гибкой лестницы, под ним дрожащей, и, воображая себя уже у пролома стены, восклицал: Монжуа и Сен-Дени^(*)! При дворе своего знаменитого барона видел он тысячи примеров, могущих образовать его для славной жизни. Там собирались рыцари, известные и неизвестные, одни, странствующие по всему свету и стократно видевшие ужасы дремучих лесов и пустынь непроходимых; другие, возвратившиеся или из какого-нибудь отдаленного Китайского царства или от пределов Азии, оных невероятных стран, где они разили злодеев, или преследовали противников веры.

По широкому двору, по залам обширным, по комнатам, великолепно убранным, говорит Фруассар, описывая дом герцога де Фуа⁹, прохаживались рыцари и благородные оруженосцы; они разговаривали о войне и любви, отдавая им честь и славу; тут можно было слышать обо всем, что делалось удивительного в землях чужестранных, ибо великое имя владетеля изо всех далеких краев привлекало к нему людей знаменитых.

За пажеским званием следовало достоинство оруженосца; обряды религии освящали его. Знаменитые дамы и знатные рыцари были так называемыми *восприемниками*; перед алтарем Божиим произносили они за будущего рыцаря обет веры, верности и любви. В мирное время обязанность оруженосца состояла в разрезывании за столом мяса; он подносил его гостям и, подобно Омеровым воинам, подавал им воду для умовения рук.

Et après la manger laverent
Et curier de l'eve (eau) donnerent.

Знатнейшие люди не стыдились исполнять эту должность. За столом против короля, говорит Жуанвиль¹⁰, сидел король Наварский¹¹; платье на нем было богатая епанча, шитая золотом, а я стоял перед ним и разрезывал.

(*) Sainte-Palaye. Том II. Часть 2.

В военное время оруженосец следовал за рыцарем своим на сражение, имея в левой руке его копье и знамя, которые держал перед собою на седле, а правую ведя в поводах его лошадь. На поединках и во время сражения он должен был подавать ему оружие, подымать его, когда он падал от рук противника, подводить ему свежего коня, отражать устремляемые на него удары, но никогда самому не сражаться.

Наконец *искателей оружия* удостаивали знаменитого рыцарского ордена. Место турнира, поле сражения, ров замка, пролом башни, все могло быть тем знаменитым театром, на котором воздавались сии священные почести. Нередко в смятении битвы неустрашимый оруженосец падал на колена перед королем или военачальником, и они, ударив его три раза мечом своим плашмя по плечу, возлагали на него таким образом достоинство рыцарское. Баярд, от которого король Франциск I принял удар рыцарства¹², сказал мечу: «Ты счастлив, мой верный меч, ибо тобою великий и сильный государь произведен ныне в рыцари; буду хранить тебя как святые мощи, и отныне ты будешь любимым мечом моим». И потом, прибавляет историк, прыгнувши два раза вверх, рыцарь Баярд вложил в ножны меч свой.

И новый рыцарь, получивши право владеть оружием, спешил прославить себя каким-нибудь подвигом. Он скакал по горам и равнинам; искал приключений опасных; проходил темные леса, ужасные дебри, пустыни безмолвные. И когда, по закате солнца, приближался он к стенам крепкого замка, которого уединенные башни чернелись над дремучим лесом, в нем рождалась надежда, что в этом месте ожидало его что-нибудь необычайное; и уже опускал он забрало шлема; и уже вверял себя владычице своих мыслей; но в эту минуту раздавался звук рога; на кровле замка появлялось знамя: это означало обитель гостеприимного рыцаря. Подъемные мосты опускались с громом, и странствующий витязь принимал с дружелюбием в уединенном замке. Если он хотел остаться неизвестным, то покрывал щит свой или *зеленым покровом*, или *тканью, лилиям в белизне подобною*. Прекрасные девицы и дамы снимали с него оружие, одевали его в богатое платье, подносили ему драгоценные вина в сосудах кристалльных. Иногда находил он в замке большие веселія. «Знаменитый господин Амание Дезескас¹³, по выходе из-за обеда, сидел перед огнем в обширной зале, устланной коврами; вокруг него было множество оруженосцев; он разговаривал с ними о любви, ибо все в этом доме, до последнего *варлета*¹⁴, знают, что такое любовь»^(*).

(*) Sainte-Palaye.

Во все сии праздники вмешивалась некоторая таинственность: один посвящен был *единорогу*, другой *обету павлина*, третий *фазану*. И многие из присутствующих не менее казались таинственными; иногда являлись рыцари *лебедя*, *белого щита*, *золотого копья*, *молчания*, витязи, известные одними девизами щитов своих или славными испытаниями, которым они себя подвергали^(*).

Трубадуры, украшенные павлиновыми перьями, являлись в зале пред концом обеда и запевали песнь любви (*lay d'amour*)¹⁵.

Главное правило рыцарского ремесла было следующее:

Bruits ès chans, et joie à l'ostel.
Шум, и песни, и веселье дома.

Но рыцарь, приезжая в замок, не всегда находил в нем удовольствия и праздники; иногда узнавал он, что в нем заточена несчастная жертва ревности или мщенья; красавица, обремененная цепями, сидела у решетчатого окна и плакала, глядя на чистое небо и на шумные вершины дремучего леса, и рыцарь, верный служитель прекрасного пола, не будучи принят в ужасный замок, проводил ночь у высокой башни, в которой слышались ему жалобные стоны какой-нибудь Габриеллы, напрасно зовущей к себе храброго своего Куси¹⁶. Витязь нежный и мужественный клялся своим острым мечом *Дурандалем* и борзым конем *Аквиланом*¹⁷ вызвать на поединок того недостойного, который, в противность законам чести и рыцарства, утеснял слабую женщину.

Иногда железные ворота грозных крепостей для него отворялись: тогда-то надлежало ему вооружить себя всею неустрашимостью воина. Молчаливые варлеты с видом угрюмым, с суровыми взглядами, вели его через длинные, едва освещенные лампадами переходы, в тот уединенный покой, где надлежало ему провести ночь; и этот таинственный покой был иногда не что иное, как мрачная темница, ужасная по преданию о каком-нибудь древнем злодействе; ее именовали *темницею короля Рихарда*, *девы семи башен*, и проч. Потолки украшены были гербами знаменитой фамилии; стены покрыты обоями; огромные лица, на полу изображенные, казалось, следовали глазами за рыцарем; и под обоями были сокрыты потаенные двери, ведущие в подземелья. В глухую полночь подымался тихий шорох, по горнице начинал ходить ветер, обои колыхались, лампада, горевшая перед постелью паладина, вдруг потухала, и гроб, обвитый черным покровом, являлся устрашенным глазам его.

(*) Historie du maréchal de Boucicault.

И щит, и копьё, и меч были бесполезны в сражении против усопших. Рыцарь начинал творить обеты и, будучи сохранен могуществом Неба, спешил к святому пустыннику, спасающемуся в пещере утеса, который говорил ему строгим голосом: «Хотя бы ты имел могущество Македонского Александра и премудрость царя Соломона, и мужество Гектора Троянского, и тогда бы сии важные преимущества были ничтожны: тобою владычествует гордость»^(*). И рыцарь, постигнув, что видения, ужасавшие его во мраке полуночном, были не иное что, как произведения пагубных его пороков, давал верное слово себя исправить, чтобы заслужить наименование *бесстрашного и беспорочного*.

Так, странствуя по *белу свету*, прославлял он себя теми великими подвигами, теми знаменитыми *ударами меча*, которые воспели стихотворцы и сохранили для нас правдолюбивые летописатели. Он возвращал свободу принцессам, заключенным в пещерах, наказывал нечестивых богоотступников, подавал помощь сиротам и вдовицам; защищал себя или от хитрости *малорослых карлов*, или от грозного могущества надменных *великанов*. Храня непорочность нравов, с отвращением приближался он к замку *бесславной дамы*, не входил в него, но оставлял на воротах *слово поношения*^(**). Если ж, напротив, владетельница замка была у всех в чести и славе, то он кричал ей приветственным голосом: «Слава тебе, благородная госпожа! Молю Бога, чтобы он сохранил доброе твое имя, ибо достойна ты почестей и почтения!»

Нередко великодушные сих рыцарей соединялось с тою жестокостию, которой мы с ужасом удивляемся в древних римлянах. Королева Маргарита, супруга святого Людовика, будучи беременна, осталась в Дамьетте, где узнала она о совершенном разбитии королевского воинства¹⁸. Она упала на колена перед одним девяностолетним рыцарем, который стоял подле нее в угрюмом молчании. «Заклинаю тебя тою верностию, в которой ты мне клялся, — воскликнула Маргарита, — не допусти меня до поношения: отруби мне голову, если сарацины ворвутся в этот город».

Рыцарь отвечал: «Будь уверена, государыня, что просьбу твою исполню охотно. Я уже давно сказал самому себе, что надобно будет тебя убить, если неверные войдут в Дамьетту».

Подвиги уединенные были, так сказать, лестницею, по которой мужественный рыцарь взбирался на высочайшую степень славы. Менестрели возвещали ему, что в государстве французском знатные рыцари съезжались со всех сторон на турнир великолепный, и он спешил с

(*) Sainte-Palaye.

(**) Du Cange, Closs.

копьем и мечом на сборище сильных. Место уже очищено; дамы сидят на высоких местах, сооруженных в виде башен, и ищут глазами тех витязей, которые украшены их цветами. Трубадуры поют:

Витязи славные, витязи грозные!
С башен, с высоких мест, девы прекрасные,
Ангелы райские вами любятесь:
Смело во славу их здесь подвизайтесь!
Будет и вам за то слава великая!¹⁹

И вдруг громозвучное восклицание раздается: *Честь и слава могучим рыцарям!* Трубы звучат, барьеры опускаются, сто рыцарей скачут во весь опор с двух противных сторон и страшно сшибаются на середине поприща. Какой ужасный удар! Копья рассыпались вдребезги; они опрокинуты. Счастлив могучий витязь, который шадит своего противника, поражая только от пояса до плеча, без вреда низлагает его своею силою. Он всем любезен; дамы оспаривают одна у другой славу украсить дарами своими его оружия. Между тем герольды²⁰, везде рассеянные, кричат громогласно: *именитый рыцарь, помни, кто был твой отец: мужайся!* Сила, неустрашимость, искусство блистают в борьбе, на поединке, в сражениях толпами, шумные восклицания мешаются со стуком мечей, звоном щитов, топотом конским. Каждая дама хочет ободрить своего рыцаря, или устремляя на него нежный взгляд, или бросая на шлем его богатое зарукавье²¹, локон прекрасных своих волос, перевязь, ленту. Какой-нибудь Саргини, прежде неизвестный, но вдруг любовью обращенный в героя, какой-нибудь мужественный незнакомец, сражавшийся без оружия, без лат, в одной окровавленной рубашке^{(*)22}, провозглашены победителями, и шумные голоса восклицают: *«Любовь прекрасных, смерть героев²³, слава и награда рыцарям!»*.

На сих великих празднествах блистали мужественные Латремули, Бузикоты²⁴, Баярды, которых славные подвиги сделали для нас вероятными чудеса Ланцелотов и Гандиферов²⁵. В несчастное время Карла VI²⁶ Зампи²⁷ и Бузикот²⁸ одни приняли те вызовы, которые победители ежеминутно им делали и, соединяя великодушные с неустрашимостью, возвращали коней и оружие тем дерзновенным, которые выходили с ними единоборствовать.

Король хотел, чтобы его рыцари не *подымали перчатки*, говоря, что оскорбление частное должно быть пренебрегаемо. Но они отвечали

(*) Sainte-Palaye.

ему: «Государь, честь Франции столь драгоценна для сынов ее, что, верно, найдутся люди, которые не устрашились бы сразиться и с самим дьяволом, когда бы он вздумал выйти из ада и бросить перчатку!»²⁹

Но рыцари английские были достойные соперники рыцарей французских. Надобно заметить, что первые весьма превосходили последних богатством, ибо междоусобные войны раздирали внутренность Франции. Сражение Поатьерское³⁰, столь гибельное для государства, было славно для рыцарей. Черный принц, который из почтения никак не согласился видеть за столом короля Иоанна, взятого им в плен³¹, сказал ему: «Известно мне, что ваше величество имеет большую причину гордиться этим днем, который славен для нас, хотя и несчастлив: ныне приобрели вы имя великое; мы все должны были уступить вам в подвигах славы и в мужестве; и всякий из нас согласен отдать вашему величеству честь и награду сражения!»³².

Рыцарь Рибомон на сражении, проходившем у ворот города Кале, два раза повергал к ногам своим короля Эдуарда III³³; но английский монарх всякий раз воздвигался в новой силе, и наконец принудил Рибомона отдать ему меч. Англичане, выиграв сражение, вошли с пленниками в город; Эдуард, при котором находился и принц Валлийский³⁴, пригласил французских рыцарей на обед и, подошедши к Рибомону, сказал: «Нет ни одного рыцаря на свете, который нападал бы так храбро на своего неприятеля, как вы, Рибомон». И король Эдуард, пишет Фруассар, надел богатую свою шапку на знаменитого господина Эвстафия³⁵: «Знаменитый господин Эвстафий, — сказал он, — тебе, как самому храброму из всех храбрых витязей, дарю мою королевскую шапку. Я знаю, что ты веселого нрава, что женская красота сердце твое трогает, что тебе весело сидеть и разговаривать с молодыми красавицами; сказывай же отныне всем и каждому, что эта шапка дана тебе королем Эдуардом. Возвращаю тебе свободу, и волен ты с той минуты ехать, когда пожелаешь!»³⁶.

Анна д'Арк, оживившая во Франции дух рыцарства; думают, что она вооружена была славным мечом Карла Великого (La joyeuse)³⁷, найденным ею в Турени в церкви свят. Екатерины³⁸. Генрих IV на Иврийском сражении³⁹ кричал солдатам своим, которые колебались: «*Оборотитесь не для того, чтобы сражаться, но чтобы увидеть погибель вашего государя!*» Франциск I, последний из рыцарей, сказал после сражения при Павии⁴⁰: «*Все потеряно, кроме чести!*».

Такие необыкновенные добродетели рыцарские заслуживали и уважение необыкновенное. Если герой умирал на полях отечественных, то рыцари в печальных одеждах воздавали ему почести погребения. Если ж, напротив, он гибнул в стране далекой, посреди чужезем-

цев или неверных, не имея при себе ни верного оруженосца, ни своего названного брата, которые бы с честью предали его земле, то Небо посылало к нему одного из сих богоугодных отшельников, которые в темном лесу или в глубокой пещере посвящали уединенную жизнь свою молитвам⁴¹.

Прочтите превосходный эпизод Свенона в Тассовом Иерусалиме⁴². Отшельники Фиваиды, пустынники горы Ливана⁴³, скитались во тьме ночной по полям, обгаренным кровию, и собирали остатки рыцарей, убитых неверными. Певец Иерусалима⁴⁴ только украсил цветами поэзии простую истину историческую: «Внезапно от сего прекрасного шара, от сего светила ночи, отделился ясный луч; он пробежал с небес золотою струею и прикоснулся к телу героя. Витязь не был простерт на прах лицом своим. Как некогда и всеми желаниями, он был обращен к небу, к той горней стране, в которой обитали его надежды. Правая рука его была сжата, крепко напряжена: она держала меч, и витязь являлся в грозном положении человека, готового поразить; другая рука в образе смиренного покаяния покоилась на груди; казалось, что она молила Создателя о прощении».

Но вот другое чудо поразило мои взоры: на том самом месте, где зрели мы тело Свенона, вдруг воздвигнулась высокая гробница; она разверзла землю, облекла остатки юного витязя и сама над ним затворилась... и краткая надпись, изобразившаяся на камне, возвещает прохожему, что Свенон, витязь добродетельный, положен на этом месте. Я не мог отвести своего взора от этой священной гробницы; я рассматривал начертания, рассматривал камень надгробный.

«Здесь, — сказал мне старец, — тело Свенона будет покоиться среди неизменных его сподвижников; а души их, соединенные в небесах любовью, будут блаженствовать, будут наслаждаться вечною славой»^(*).

Но рыцарь, заключив в юношеских летах своих один из оных героических союзов, которые прекращаются только с жизнью, не мог страшиться, что он умрет безвестно в пустыне; ему сопутствовали чудеса дружбы за недостатком чудес небесных. Он имел названного брата, всюду с ним неразлучного, и этот спутник воинственными руками своими заключил его в тихую могилу. Сии святыя союзы утверждаемы были ужаснейшими клятвами: нередко друзья выпускали из жил своих несколько крови и смешивали в одном сосуде; в залог взаимной верности носили они или золотое сердце, или кольцо, или цепь, и такая дружба предпочитаема была любви, ибо другу подавали помощь скорее, нежели милой любовнице. Одно только могло уничтожить этот союз:

(*) Jer. lib. Cant. 8 (т. е. «Освобожденный Иерусалим». Песня 8. — *Ред.*).

долг чести и патриотизма. Два названные брата, различные нациями, переставали быть друзьями, как скоро между отечествами их начиналась вражда: они обнажали мечи и нередко нападали один на другого в смятении кровопролитной битвы⁴⁵.

Шатобриан

ГОРНЫЙ ДУХ УР В ГЕЛЬВЕЦИИ¹

(Сказка, взятая из европейской «Тысяча и одной ночи»)

Давно уже, давно в благословенной Гельвеции жил богатый пастух по имени Риф; он имел прекрасный дом, обширный сад, и несколько плодоносных долин альпийских наполнены были его стадами, но первым своим богатством почитал он Софронию, единородную дочь свою, или, справедливее говоря, всеми своими сокровищами дорожил он только для одной только Софронии. С таким необыкновенным чадолобием соединял он, однако, непомерную гордость и, вопреки древней простоте нравов альпийских, беспрестанно мечтал о знатности, чинах и отличиях. Софрония была уже невеста — она имела семнадцать лет — но гордый отец и не думал искать ей женихов между своими ровными. Нам надобен был жених богатый, породы знаменитой, чину высокого.

Услышал об этом господин Вальтер, человек происхождения благородного, ландамман², но уже старый, сверх того больной и злонравный. «Прекрасный случай, — подумал он, — привести в порядок мое расстроенное состояние!» И вот он начал прилежно расспрашивать у соседей, какое приданое назначено от отца Софронии и как велико могло быть ее наследство по смерти Рифа. Ему обещали золотые горы, и он решился свататься за Софронию.

Но Софрония давно уже любила прекрасного Траули, альпийского пастуха, смотревшего за стадами Рифа. Траули, взаимно любя Софронию, никогда не отваживался открыться ей в своей тайне, но с самого раннего младенчества были они неразлучны, вместе играли, вместе радовались и грустили; невинность укоренила в сердцах их доверенность, а сердца их наполнены были одним и тем же чувством. И когда Софрония сказала молодому пастуху: «Траули! За меня сватается жених, ландамман Вальтер!», то он побледнел, заплакал, отчаяние обнаружило его сердце, и Софрония, наконец, удостоверилась в том, что было ей известно по одной только догадке, но радость ее была несовершенная, ибо ненавистный образ Вальтера смущал ее душу. И Траули не мог в полноте насладиться своим счастьем, ибо Софрония, сказав ему: «Милый друг, без тебя и жизнь мне будет противна, —

прибавила, — нас разлучают! Батюшка уже объявил мне, что я должна почитать женихом своим отвратительного Вальтера. Без всякого приготовления призвал он меня сего дня поутру к себе, и я задрожала, когда он, указав на одного угрюмого, сидевшего с ним старика, сказал мне: “Вот твой жених, Софрония; сделай приветствие господину Вальтеру”. Но я не могла выговорить ни слова. Они улыбнулись, приписывая мое молчание робкой стыдливости. Мне велели удалиться, ибо они начали разговаривать о приданом. Что делать, Траули? Говори, советуй!»

Но бедный Траули не мог ничего придумать. Он видел одно только средство избавить себя от несчастья: взойти на высокий утес и броситься с него в пропасть.

«Сохрани тебя Бог от такой ужасной мысли!» — сказала Софрония. Долго они плакали, долго рассуждали, нигде не представлялось им надежды; наконец, они взялись за руки, пошли в часовню, близ самого места того находившуюся; пали на колена перед образом Богоматери и с горькими слезами начали молить Ее о спасении.

Молитва успокоила их душу. «Заступница нас услышала, — сказали они, — это спокойствие предвещает нам Ее милость». И они разлучились.

Вальтер возвратился через несколько дней с богатыми подарками: с золотым перстнем и шелковым платьем. Он взял Софронию за руку и хотел поцеловать ее, но Софрония, которая слышала накануне от одной соседки, что Вальтер слывет дурным человеком, что он похоронил уже трех жен, много стыда и горя от него претерпевших, что он пропил и проиграл их приданое, что никому неизвестно, какую смертью они умерли, не могла снести его ласки — она оттолкнула его от себя с отвращением и скрылась. Изумленный Вальтер начал жаловаться отцу; отец рассердился и побежал отыскивать Софронию. Не найдя ее ни в доме, ни на дворе, он вышел в долину и увидел, что она бежала по горе в ту сторону, где Траули пас свое стадо. Он потащился за нею вслед и через полчаса, ибо от старости он шел очень тихо, пришел на тот горный луг, где находилась часовня Богоматери. Софрония и Траули стояли перед Образом на коленях; отец, увидя их, подкрался к дверям и услышал, что они молились. «Святая Покровительница, — говорили они, — благослови нашу взаимную любовь; дай насладиться нам счастьем супружества, и да погибнет злодей наш, ненавистный Вальтер». «Беззаконники! — воскликнул Риф; глаза сверкали от бешенства; он вырвал Софронию из объятия Траули и, бросив ему в глаза выслуженные им деньги, сказал: — ты будешь изувечен, если когда-нибудь отважишься подойти к моему дому!»

Софрония в неописанной горести возвратилась домой с жестоким Рифом; он запер ее в темную горницу; не велел давать ей никакой пищи, кроме черствого хлеба и воды; а старая служанка, приставленная к ее темнице, объявила ей за тайну, что она тогда только выйдет из заточения, когда поведут ее с женихом в церковь.

Между тем бедный Траули, отчаянный, почти сумасшедший, бродил по горам и проклинал ужасную свою участь. Полно жить, восклицал он: все миновалось. И он очутился на вершине одной ужасной, бесплодной горы, там, где с начала мира среди громадных льдов царствует грозная зима, где нет ни малейшего следа жизни, где все безмолвно и дико. Под ногами его рассыпался снег, и страшные лавины, падающие с крутизны, осыпали его льдистою пылью; он ничего не чувствовал. Вдруг почернело небо, настала гроза; удары грома ужасным образом раздавались между стенами утесов, огромные камни, отторгаясь от них, с оглушительным стуком падали в пучины; Траули был спокоен; он не боялся смерти.

Небо час от часу становилось мрачнее, и, наконец, среди бела дня глубокая ночь воцарилась повсюду. Вдруг показалось Траули, что из расселины утеса выходит кто-то, имеющий образ ужасный. Чем ближе подходило к нему привидение, тем выше и огромнее оно становилось. Но Траули не ужасался.

Не один раз слышал он, что в этих неприступных утесах водился могучий дух, которого пастухи называли Уром. Он имел, по рассказам их, косматую голову, подобную медвежьей, и росту был необъятного. И если случалось несчастному путешественнику замерзнуть между снегами или альпийскому охотнику заблудиться между крутыми утесами, так что уже ни вверх, ни вниз не мог он найти дороги; если лавиною засыпало стадо, или обрушившийся утес истреблял целое селение, то пастухи обыкновенно говорили: это сделал свирепый Ур.

Но Траули не испугался, увидя перед собою страшилище: и мог ли он чего-нибудь ужасаться, когда уже самое ужасное с ним случилось. Софрония для него погибла; какой же вред могло причинить ему привидение?

— Куда идешь? — спросил у него голос, подобный звучному грохотанию грома.

Траули поднял глаза; обитатель утеса, грозный, угрюмый, огромный, как черная башня, перед ним возвышался.

— Туда, где можно найти смерть, — отвечал Траули смело.

— Но знаешь ли ты меня?

Траули посмотрел на чудовище пристально.

— Ты горный дух Ур, — ответил он ему весьма равнодушно.

— И вид всемогущего тебя не приводит в ужас?

— Ничто не может теперь ужасать меня: я потерял надежду.

— Кто видит могущего и перед ним не трепещет, тот может еще надеяться и должен ободриться.

— О, если так, то я без страха обнимаю колена твои, всемогущий! Возврати мне надежду. Не имею нужды открывать перед тобою сердечной моей тайны; взор духа проникает во глубину сердца. Я слышал, что ты наказываешь один только порок; что много раз сохранял непорочного, потерявшего между утесами твоими дорогу.

— Правда.

Любовь единственное мое преступление, но как поселилась она в моем сердце, я не знаю.

Ур задумался. «Траули, — сказал он наконец, — я помогаю ужасом, но помогу тебе непременно. Дай руку; я выведу тебя на долину; без меня ты никогда не нашел бы дороги из этого дикого места».

Он подал пастуху косматую руку. Траули не испугался; он пожимал ее с благодарностию. Сердце его кипело от ожидания радостной надежды.

Более часу шли они между ужасными утесами; окрест их все было тихо; небо опять просияло; солнце спокойно заходило за льдистые высоты Альпийских гор, когда пастух увидел себя на цветущей долине. Он оглянулся; привидение уже исчезло. Он долго размышлял о случившемся, которое представлялось ему, как сон, и спрашивал себя в недоумении: точно ли я видел горного духа?

Он продолжал путь свой. Сердце его наполнено было робостию и надеждою; мало-помалу ночь воцарилась. Вдали увидел он огонек, подошел к нему; кругом огня сидели горные пастухи, и между ими нашел он многих знакомых.

— Откуда пришел, Траули, — спросили они, — отчего ты так беспокоен и грустен?

Траули рассказал им чистосердечно о любви своей к Софронии, о ненавистном Вальтере и о гордости Рифа, которая погубила все его счастье.

Пастухи сожалели о бедном Траули, но всякий судил о нем по-своему: один называл Рифа дурным человеком; другой утверждал, что бедному пастуху неприлично искать невесты богатой; тот со слезами на глазах пожимал у Траули руку, а этот старался развеселить его шуткою и говорил: «Полно кручиниться, Траули, мало ли на горах наших девушек прекрасных! Выбирай любую».

Они пригласили его с собою ужинать, и один из них сказал: «Паси со мною стадо мое, пока не найдешь себе другого хозяина». Такое предло-

жение обрадовало Траули несказанно, ибо он не в силах был удалиться от того места, в котором обитала его Софрония. С этих вершин видна была усадьба Рифа, а кто любит, тот знает, как утешительна для сердца мысль, что можешь хотя издалека видеть жилище своей любезной.

Таким образом, Траули остался жить с пастухами. Всякую минуту думал он о Софронии, о близком ее замужестве, и сердце его терзалось. Но иногда в веселом сновидении представлялся ему горный дух; он дружелюбно кивал косматою головою и говорил: «Траули, надейся».

И Софрония раз несколько видела во сне чудовищного Ура; пробуждаясь, помнила она одни только таинственные слова его: «Ужас будет твоим спасением».

Дни ее протекали в унынии. Жестокая приставница обходилась с нею сурово. Напрасно Софрония умоляла ее навестить и утешить бедного Траули; ни просьбы, ни слезы ее не трогали нечувствительного сердца. И не было ей никакого средства спасти себя бегством: на двери висел крепкий замок, а в окно вставлена была железная решетка.

Однажды только увидела она в своей темнице постороннее лицо; портной приносил ей примеривать свадебное платье; никакие цепи не могли быть столь тягостны для невольника, как этот убор для Софронии. Ее наряжали, а она обливалась слезами.

Между тем нечувствительная приставница поминутно мучила ее рассказами о приготовлениях к свадьбе. Уже и гости приглашены господином Вальтером, говорила она. Но кто же были эти гости? Все люди подозрительные, о которых Софрония слышала много дурного. Увы, думала она, худая беседа в брачный день предвещает несчастную жизнь супругам. Но дня нее и без всякого предвещения несчастье казалось неизбежным. Иногда вопрошала она свою совесть: неужели запрещено произвольною смертию избавить себя от такого страдания? Но совесть ответствовала ей: добродетель в терпении.

Наконец наступил и день, которого она так страшилась. Сняли с темничной двери замок; ввели ее в горницу, усыпанную душистыми цветами. Множество женщин, приглашенных господином Вальтером на свадьбу, сидело в ней и ожидало невесты, чтобы одеть ее и потом проводить в Божию церковь.

Ее окружили. Одни поздравляли ее, другие показывали прекрасный свадебный убор, смеялись, шутили. Бедная Софрония стояла как будто приговоренная к смерти. Ее убирали в богатое платье, но она того не чувствовала. И в сердце, и в мыслях ее был один Траули. Наконец, все готово; Софронию вводят в ту горницу, в которой сидели отец ее и господин Вальтер. Потеряв надежду растрогать ожесточившееся родительское сердце, она вооружилась гордостью терпения, презирающею

всякое несчастье; с холодностию смотрела на отвратительного жениха своего, с холодностию слушала увещания Рифа, ибо она уже решилась не пережить следующей ночи, не видать следующего утра.

Вальтер приблизился к ней с лицемерною нежностью, ибо иссохшее сердце его не могло уже чувствовать любви истинной. «Дайте мне руку, Софрония, — сказал он, — время идти в церковь». Софрония протянула руку и не отвечала ни слова.

Риф за болезнь и дряхлость остался дома; жених, невеста и званые гости, все одетые в богатое платье, отправились в ближнюю деревню, неподалеку от которой находилась и приходская церковь. Утро было прекрасное, солнце светило ярко. По обеим сторонам дороги стояли поселяне и поселянки, любопытствующие видеть свадебную церемонию. И все они последовали за женихом и невестою в церковь.

Бедной Софронии казалось, что ее ведут на место казни, но тайное намерение не дожить до следующего утра произвело в душе ее необыкновенное мужество. Она была почти спокойна и даже весела, ибо внутренний голос уверял ее, что Траули за нею последует, что он не останется в том мире, который она из любви к нему покинула.

Уже они близко, вдали показалась и церковь, но светлое небо начинает покрываться тучами; на горах заревел вихорь, и вот ударил сильный град; жених, невеста и гости поспешно вбежали в церковь, а поселяне, их провожавшие, спрятались в хижины.

Час от часу чернее становилась ночь, и час от часу ужаснее гремело на высотах горных. Священника еще не было в церкви, и вместо брачного пения раздавались в ней жалобные стоны. Все были наполнены мучительным беспокойством. Каждый подходил к окну и с трепетом устремлял глаза на высокий утес, который стеною возвышался близ самой церкви, ибо ревущая буря дробила его, и страшные отломки сыпались на кровлю церковную; одна ужасная, грозно склонившаяся над церковью скала поминутно шаталась; церковь дрожала, и никто не отважился из нее выйти, ибо смертоносный каменный дождь увеличивался беспрестанно.

Софрония между тем не слыхала ни завывания бури, ни стука падающих камней. Она стояла перед дверями подземного, из камня иссеченного погреба, который издревле служил кладбищем знатной швейцарской фамилии. Дверь была отворена; узкая лестница вела в подземелье, и глазам Софронии во мрачной глубине представлялись древние гробы, зрелище, более согласное с состоянием духа ее, нежели брачный алтарь, цветами украшенный, и при алтаре ненавистный Вальтер. Никто из гостей не заботился о невесте, и сам жених думал единственно о той опасности, которая самому ему угрожала.

Вдруг потемнело ужасно в церкви, и люди, в ней бывшие, жалобно застонали; на высоте послышался громозвучный и оглушительный треск — как будто лопнула Юра³, как будто бы гора Монблан⁴ рухнула и развалилась. Софрония, чрезвычайно испуганная, бросилась в подземелье; и нога ее не успела еще прикоснуться к земле, как в двери вслед за нею вкатилось несколько отломков стены церковной, и в эту минуту все утихло. Софрония упала в обморок; спустя немного опаматовалась, но не могла представить себе ясно того, что с нею случилось; мысли ее были в беспорядке, а когда и удавалось вообразить ей, где она была и что видела, то новый ужас наполнял ее душу и снова теряла она чувства; с трепетом прикасалась она к древним гробницам и всякую минуту страшилась увидеть восстающий из них грозный призрак; никакое перо не опишет ее мучительного состояния.

Старый отец Софронии стоял на крыльце, когда начиналась гроза, с беспокойством посматривал он на дорогу, по которой пошли жених и невеста, ибо на той стороне скоплялись ужасные тучи.

Они уже в церкви, думал Риф, а туча, может быть, разойдется, и небо опять сделается светло.

Но туча совсем обвилась вокруг высоких утесов; ветер туда и сюда нагибал дубы и березы, окружавшие Рифов дом; с кровли сыпались черепицы; садовый забор повалился, и вмиг разбросало его вихрем. Старик трепетал, мучительное предчувствие наполняло душу его; он вышел со всеми домашними своими на двор и с содроганием посматривал в ту сторону, где находилась приходская церковь; над нею чернела туча, над нею свирепствовал вихорь.

Вдруг задрожала земля; оглушительный треск, от которого все стекла в Рифовом доме лопнули, раздался над деревнею, и в эту самую минуту увидели облако пыли, медленно черным столбом подымающееся от церкви и отемнившее окрестное небо.

Все побледнели, у всех на голове поднялись волосы дыбом. Наконец страшное слово: *упала гора*, отозвалось в ушах Рифа. Ноги его подкосились. «Я погубил ее! Бедная Софрония», — восклицал он, ломая в отчаянии руки.

Но еще ничего наверное не было известно; еще оставалась некоторая тень надежды. Но вот гроза утихла; на дороге увидели скачущего во весь опор крестьянина; остановили его, начали расспрашивать; *гора упала на приходскую церковь*, отвечал он. Были ли в ней люди? *Были: жених, невеста и многие другие, все они засыпаны*. И он ускакал, спеша объявить в городе о случившемся несчастье.

Риф упал без памяти. Страшились, что он лишит себя жизни, и никто из домашних не смел от него отдалиться.

Между тем тучи рассеялись; опять просияло небо; жители деревни, разбежавшиеся от страха, опять собрались, окружили обрушившуюся гору, благодарили небо, что оно пощадило их хижины, и, сожалея о погибших, радовались внутренно, что погибшие были для них чужие.

Наконец, и приходский священник с некоторыми чиновниками, присланными из города, пришел осматривать развалины; груда отвалившихся камней имела несколько сот футов в поперечнике. На лицах зрителей написаны были сожаление и ужас. Один говорил: эти несчастные умерли самую легкою смертью; утесом раздробило их вдребезги. А церковь была деревянная, прибавил другой; она повалилась в одну минуту. Случались, однако, примеры, заметил третий, что люди, засыпанные землею, не погибали и были отрыты живые. Сии слова привели всех в содрогание. Все замолчали. Через минуту священник сказал: «Здесь этого случиться не может, но христианская любовь требует, чтобы мы сделали опыт. Скорее надобно разбросать камни».

«Труд бесполезный, — возразил один из присутствовавших. — И пятьдесят человек в неделю не раскопают этой ужасной груды. Надобны веревки, рычаги, множество разных других орудий, которых мы не имеем. Сам Бог захотел погрести их вживе; да упокоит Он души погибших, а церковь построить можно и на другом месте». Человеколюбивый пастор вызывает наградить щедро того, кто выдумает лучшее средство подать скорую помощь. Но трудности были так велики, что ни один не согласился приняться по-пустому за дело. И, наконец, все зрители, пожалев о несчастных, разошлись в унынии по домам своим.

Но Траули, где он был в эту минуту? О, Траули уже видел страшное место гибели. В то время, когда Софрония шла с женихом своим в церковь, он находился на ближнем утесе и провожал ее глазами, не чувствуя ни бури, ни вихря, которые окрест его ревели. Увидя, как повалилась гора, он побежал опретью на долину. Увы, на том месте, где прежде существовала церковь, нашел он одну дымящуюся груду камней. Отчаяние овладело его душою; как сумасшедший бросился он опять на вершину горы. В памяти его возобновились слова грозного Ура: *я помогаю ужасом*. «Ты не обманул меня, — воскликнул он в иступлении, — сопернику моему она не досталась. Но и самой ее уже нет на свете! Мог ли я этого требовать, жестокосердный!» Но грозный Ур стоял уже перед его глазами.

«Я начал, доканчивай», — грянул ужасный его голос, и он исчез.

Траули остолбенел. «Что это значит, — подумал он, — что мне доканчивать? Предать земле ее кости! Но где же найду их?»

«Доканчивай», — повторил звучный голос, и страшное эхо загремело между горами.

Траули, воскрыленный надеждою, самому ему непонятною, побежал к горным своим знакомцам, альпийским пастухам. Они узнали его несчастье, ударили в колокол, и вдруг отовсюду сбежались толпами другие горные пастухи. «Что надобно? Какая беда приключилась?» Траули рассказал им о падшей горе. Пастухи побежали к провалу; но, увидя огромный обрушившийся камень, остановились. «Безумный человек, — сказали они. — Какая сила поднимет или пробьет насквозь такую страшную гору? И где же начинать нам рыть? Знаешь ли ты, в котором месте находилась церковь?»

С развалин поднялся черный медведь; он побежал в гору; один пастух прицелился в него из ружья, но ружье не могло выстрелить. Траули указал на тот камень, на котором явился медведь. «Ройте, друзья мои, здесь, — сказал он. — Я имею предчувствие, что в этом месте найдем мы, о Боже, найдем остатки Софронии».

И все принялись за работу. «Напрасно трудитесь», — говорили пастухам жители деревни.

«Хотим исполнить данное слово нашему товарищу», — отвечали добрые пастухи и продолжали трудиться.

Ночь наступила; полная луна осыпала блеском своим долину; пастухи трудились по-прежнему.

И три дни продолжалась работа их, неизмеримо тяжкая; к вечеру второго дня пробили отверстие, глубиною во сто футов; корзина, привязанная к длинной веревке, беспрестанно опускалась и поднималась, нагруженная обломками камней; наконец, ввечеру третьего дня между камнями нашли в ней и кусок дерева; верный знак, что пастухи дорылись до церкви.

Но уже работники потеряли терпение; силы их истощились. «Друзья мои, — восклицал умоляющим голосом Траули, — ради Бога, не оставляйте меня! Еще несколько часов, и все кончено».

«Что можем мы сделать, — говорили ему пастухи, — вытащить несколько щепок? Но стоит ли это труда! Советуем и тебе, Траули, оставить пустую заботу».

Они удалились, но двое из них, более жалостливые, остались помогать бедному Траули. Они опускали и вытаскивали корзину, а Траули, вооруженный ломом и фонарем, сидя в глубине пролома, нагружал ее камнями и щепами.

И вот, наполняя одну корзину отломками от стены церковной, почувствовал он, что острие железного лома опять ударилось в камень; во глубине звучало глухо, как будто в пустом месте или под сводом. Траули принялся работать с удвоенными силами, и он уже чувствовал, что работа его становилась гораздо легче, что камни свободнее один

от другого отделялись; корзина поминутно подымалась и опускалась и, наконец, при свете фонаря увидел Траули под ногами своими пустое отверстие, увидел свод, которого падшая гора не обрушила.

Какой это свод, подумал Траули. Церковный? Но церковь была деревянная. Могильный? Вероятное дело, под церковью хоронили мертвых. Но что же мне делать между гробами?

И Траули, безнадежный, отчаянный, готов уже оставить бесплодный труд, готов возвратиться к своим товарищам; вдруг слышит он тихий шорох, вслушивается, во глубине царствует мертвое спокойствие, среди которого легчайшее дыхание могло бы быть ощутительно.

Но вот опять слышится ему шорох; кто-то вздохнул; сердце его трепещет. Еще наполняет он одну корзину отломками, отверстие сделалось шире; он опускает в него фонарь. «О горный дух! Кого я увижу!» Он наклонился; он светит, смотрит; глазам его представляется один только гроб, но вот в тишине послышалось ему дыхание спящего, спокойное, легкое, иногда прерываемое тихими вздохами.

Он расширяет отверстие свода и хочет уже спускаться, вдруг называет его кто-то по имени: «Траули, — произносит приятный голос; он содрогнулся, — *это небеса, милый мой Траули, — повторил тот же голос: здесь будем мы неразлучны навеки*».

Юноша опустил в глубину, поднял фонарь; Софрония, в изорванном платье, осыпанная пылью, волосы в беспорядке, с смертной бледностью на щеках, простерта была на земле перед одним развалившимся гробом.

Траули взял ее за руки. Не время здесь удивляться и радоваться, подумал он; скорее, скорее оставим эту ужасную глубину. И он садится в корзину, кладет Софронию на колена и подает знак, чтобы их подымали.

Вдруг слышит он, что камни начинают трещать. «О всемогущий дух, — восклицает Траули, — еще минуту, еще одну минуту!»

Наконец они приближаются к свету. «Не испугайтесь, — кричит товарищам своим Траули, — крепче держите веревку; на руках у меня Софрония».

И лишь успел он с драгоценною ношею своею ступить на безопасную землю, как снова зашатался утес, и свод, находившийся под ним, со страшным треском обрушился.

Софронию отнесли к доброму пастору в дом; через несколько часов пришла она в чувство, хотела рассказывать об ужасных снах, которые виделись ей между гробами, но, увидя перед собою Траули, забыла обо всем и бросилась в восхищении к нему на шею.

Жестокого Рифа не было уже на свете, он умер от ужаса в тот самый день, в который обвалился утес; Софрония осталась единственной наследницею его богатства. Не надобно сказывать, кому она отдала свою руку и была ли счастливою супругою.

УЛЕЙ

(РАЗГОВОР О БЫТИИ БОГА)

— Но, государь мой, — спросил молодой Бертгейм у аббата Леграна, французского остроумца, ревностного защитника атеистов, — чем замените вы то понятие о Боге, которое уничтожить во мне стараетесь? Я вижу и собственную, и всех окружающих меня вещей зависимость; рассудок повелевает мне искать первоначальной всему причины.

— Ваш рассудок трудится напрасно: вы никогда не найдете этой мечтательной причины!

— Позвольте несколько усомниться. Разве я не нашел ее в понятии моем о Боге?

— Какой роман: причина вещественного в понятии отвлеченном! Источник существенности в имени, в звуке! Я начинаю думать, что вы хотите понимать вещи посредством непонятого и просвещать себя одним только мраком.

— Если в самом деле ваши слова заключают в себе какую-нибудь основательную мысль...

— Теперь только восставал я против слов, не заключающих в себе никакой мысли!

— Возьмите же на себя труд указать мне прямую дорогу; откройте мне тот источник премудрости, в котором почерпнули вы такое знание! Повторяю: рассудок велит мне искать первоначальной причины, ибо он почитает ее необходимою. Но причину, обретенную мною в понятии о Боге, именуете вы романом, мечтою, безрассудностию, ничтожеством! Смею надеяться, что вы имеете в запасе нечто более существенное и, следственно, более удовлетворительное для рассудка.

— Конечно, имею! Единственное, первоначальное существо, признаваемое рассудком просвещенным, источник всего, что мы воображаем и видим, всего, что небо и земля, прошедшее, настоящее и будущее в себе заключают...

— Конечно, есть Бог?

— Роман, роман, предрассудок младенческий! Этот источник есть натура!

— Так многие рассуждают и пишут в осьмом на десять веке. Но я желал бы...

Иметь какое-нибудь ясное понятие об этой натуре, хотел сказать Бертгейм, но мудрый Легран позволил уже действовать языку своему, а язык француза имеет поворотливость и словообилие чудесное. И он продолжал витийствовать: «Я признаю, что всякая вещь должна иметь свое основание; главная, коренная, неотрицаемая истина, из которой я извлекаю другую, что непременно должно существовать нечто необходимое, вечное, нечто такое, из чего и бытие, и образование каждого существа бы истекало. Материя и движение: в них обретаю я это вечное, необходимое». И господин аббат весьма остроумно начал доказывать, что все, обретаемое нами в мире, как видимое, так и невидимое, произошло от материи и движения; что весьма безрассудно предполагать возможным такое существо, которое действовало бы собственной силою, ибо ничто не может существовать и действовать само собою, но все заимствует силу свою и движение извне, и что наконец источник движения, а потому и всех происшедших от него вещей одна натура, а натуру объяснял он слиянием той же самой материи с движениями разнообразными; понятие о существе, *производящем* движение, о Боге, невидимом, имеющем качества непостижимые, невообразимом, казалось ему смешным и глупым; живыми красками описывал он ужасы фанатизма и суеверия, но он так часто возвращался на одну и ту же мысль, что господин Бертгейм потерял, наконец, всю охоту с ним рассуждать и думал единственно о том, как бы скорее избавиться себя от утомительного философа. Он дал господину аббату почувствовать, что не имеет силы бороться с высоким его умом; что изумлен необыкновенным даром господина аббата выражать красноречиво самые отвлеченные и глубокие мысли, и что, наконец, ему надобно время, чтобы понять и хорошенько обдумать все слышанное им от господина аббата. И господин аббат, который не мог подумать, чтобы ирония была и немцам известная риторическая фигура, объявил молодому Бертгейму, что он сочтет за особое удовольствие рассуждать с ним о философии; это значило давать ему наставления. Таким образом прекратилась высокопарная декламация об атеизме.

Сценою этого диспута был Английский сад, принадлежащий маркизе дю Вальяк, приятельнице аббата Леграна, который на всех ее ужинах блистал своим остроумием. Маркиза была уже слишком стара для любви, но еще слишком молода для богомольства. Желая перейти со славою этот промежуток, она ударились в метафизику; шутя над религиею, она, так сказать, запасалась материалами для будущего своего покаяния. Наружность молодого Бертгейма ей нравилась, и, сожа-

лея, что внутренность его так мало соответствовала приятности внешней, она усердно желала, чтобы остроумный аббат Легран образовал его своею мудростью.

Ученик и учитель, прогуливаясь по саду, пришли к одному месту, которое своею дикостью составляло приятную противоположность с утомительными аллеями. В тени прекрасной липовой рощи стояло несколько ульев, убежище мирной республики пчел, благоденствовавшей среди изобилия цветов и растений.

— Как привлекательно зрелище деятельности и жизни, — сказал Бертгейм, — для меня несравненно приятнее смотреть на работу прилежной пчелы, нежели на эти пестрые, неодоушевленные цветники, где замечаю одно только принуждение и искусство! Здесь вижу напротив свободу, порядок, спокойствие!

— А зрелище прилежания и заботливости! Посмотрите, какое в этом улье движение: бегают, входят, выходят, теснятся, все заняты, нет ни минуты бездействия.

— А цель этой неутомимой деятельности, согласитесь, что она превосходна! Производство многочисленного потомства, образование маленьких будущих граждан!

— Но эта цель не есть ни единственная, ни главная.

— По крайней мере, принадлежащая к главной. Я знаю, что прилежные работники сии трудятся для собственной и общей нужды, но попечение чадолюбия, где бы ни представляла их мне натура, всегда меня трогает, и самая презрительная тварь, являясь в качестве нежной, заботливой матери, кажется мне существом любезным, неприкосновенным, святым!

— Государь мой, вы говорите о материнской заботливости! Но разве известно вам...

Он остановился, внимательно посмотрев на Бертгейма.

— Что известно?

Аббат отступил на несколько шагов в неопisanном удивлении. Не вдруг обнимать глубокие отвлеченные истины, это еще казалось ему возможным, ибо неоднократно уже испытывал он, что мысли его, которые он с общим понятием согласовать старался, были непонимаемы. Но такого незнания натуральной истории не мог он предполагать даже и в Бертгейме. Как бы то ни было, Бертгейм, который в немецких поместьях своих имел богатые пчельники, узнал от аббата Леграна, что маленькие насекомые, которых работою он любовался, не имели способности деторождения. Сначала такое несогласие с общими законами природы показалось ему невероятным, но он принужден был поверить,

когда господин аббат сказал ему с важным видом учителя: «Клянусь вам честью, что это истинная правда!».

— Признайтесь, однако, любезный аббат, что сказанное вами весьма удивительно. Нельзя же вообразить, чтобы мелкие твари сии родились вместе с миром, и с того самого времени существуют! Но если они лишены способности деторождения...

— Продолжайте!

— То будет ли происхождение их вам понятно? Каким же образом, скажите мне, рождаются молодые рои, заступающие место старых?

Аббат улыбнулся.

— Но разве думаете вы, господин Бертгейм, — сказал он, — что в природе могут существовать только видимые нами пчелы, и разве необходимо должны все пчелы вылетать из улья, высасывать из цветов мед и составлять соты? Слушайте, — и он величественно поднял правую руку, — в каждом из этих ульев найдете вы тайную пчелу, маленькую царицу, окруженную сералем мужей; эта царица есть, в полном значении слова, мать народа, есть божество, которое бытием своим сохраняет и бытие этого мелкого мира, которое в гордом своем бездействии...

— Божество, господин аббат?

— О, господин Бертгейм, надеюсь, что вы меня понимаете. Божество, говорю для одного сравнения; божество, царица, одно и то же; я хотел сказать, что эта пчела есть первое лицо в республике, ибо ею все держится; что без нее все бы могло прийти в неустройство и погибнуть.

— Теперь понимаю, но ваше описание пчелы-царицы невидимой, тайной (как вы ее называете), заставляет меня думать, что она отлична от всех других пчел образованием своим и натурою.

— По крайней мере, замечено, что она их более, отлична от них составом, образом жизни, инстинктом.

— Но это еще не дает мне никакого о ней понятия, и ваша пчела, скажу откровенно, для меня еще не существует.

— Не существует? А разве все то, о чем не имеете ясного, полного чувственного понятия, почитаете вы не существующим? И разве то одно может иметь для вас бытие, что видели вы своими глазами, или могли ощупать своею рукою? Но пчелы существуют в натуре; вы можете их и видеть, и слышать, и даже почувствовать их жало, если рассудите раздражить их: следовательно, если только не вздумаете утверждать, что эти насекомые рождаются из ничего, вам надобно будет согласиться со мною, что матка их существует.

— А если захочу отрицать ваше мнение?

— Отрицать, и тогда отрицать, когда вы уверены будете, что эти пчелы-работницы лишены способности плодотворения?

— И тогда, государь мой! Эти способности совсем постороннее дело!

— Постороннее дело? Признаюсь вам, я никогда бы не вообразил... — и господин аббат громко засмеялся. — Вы удивительно простодушны! Скажите же ради Бога, каким образом понимаете вы происхождение пчел? Откуда, по мнению вашему, родятся молодые рои? Или опять прилепились вы к своей готической системе создания, и непонятная причина вещей опять поселилась в голове вашей?

— О господин аббат, — воскликнул Бертгейм, как будто в самом деле чувствительно тронутый, — вы шутите, а я ожидал от вас наставления! Не вы ли обещались руководствовать меня к открытию истины. Но, без сомнения, хотели вы только пробудить мое остроумие; хотели узнать на опыте, могу ли я с помощью тех положительных правил, которые вам угодно было мне сообщить, проникнуть в сокровенный смысл вашей загадки; и в самом деле, чем более думаю, тем более открываю здесь истинного, прекрасного, высокого!

— А что это такое, смею спросить?

— Мнение, согласованное с вашим.

— Право? Сердечно радуюсь; говорите!

— Но прежде, как человек неопытный в искусстве мыслить, хочу я, для избежания возможной ошибки, еще раз взглянуть на свой образец и повторить ваше нынешнее рассуждение с начала до конца. Не утверждаете ли вы, как атеист просвещенный, умевший уничтожить все предрассудки воспитания, что мысль о Божестве, неведомом, имеющем качества непостижимые, невообразимом, есть вовсе неосновательная, и что полагать такое Божество источником, причиною творения смешно и безумно?

— Это мое мнение, но я желаю знать, как согласуете вы его с вашим?

— В качестве основательного материалиста, которого никакая мечта воображения ослепить не может, не полагаете ли вы, что нет и не может быть такого существа, которое действительно было бы само собою, и само себя определяло, и что, следовательно, всякое действие, всякое определение извне сообщаются?

— Согласен, продолжайте.

— Не говорите ли вы, что каждое существо в этом мире, что самый этот мир произошел от движения материи, а потому и не должны ли вы согласиться, что никакая вещь в мире не заключает в самой себе причины бытия своего и образования?

— Я в этом не сомневаюсь, но вы?

— Я продолжаю: если причина бытия и образования вещи не в ней самой заключается, то, следовательно, всякая причина образования

и бытия, заключающаяся в самой вещи, есть *ничто*. Одно и то же, и только другими словами выраженное.

— Согласен, какое дело до выражения?

— Иногда и выражение бывает весьма важно. Вы утверждаете, что натура есть вечная, необходимая, единственная причина всякого движения, что она единая действует, производит, творит, образует?

— Я утверждаю.

— Но эта натура, говорите вы, есть соединение, сумма, слияние всех существ и движений, из коих ни одно само в себе отдельно не заключает причины бытия своего, а только в общем составе целого, следовательно, в тесном союзе с целым.

— Согласен; но я не вижу вашей цели.

— Вот она, господин аббат. Я желал только объяснить для самого себя ту истину, на которой основываете вы свою систему: что *не имеющее основания отдельно* производит *основание в целом*; что из бесчисленного множества *недвижений* составляется в целом *движение* и что, наконец, *ничто*, если присоединить к нему другое *ничто* и еще *ничто*, и еще, и еще, наконец производит *нечто*. Вооружив себя этою аксиомою, смело приступаю к решению моей задачи и знаю наперед, что этот Гордиев узел будет развязан. Вот следствие мыслей моих. Я вижу этих пчел; они для меня существуют, но им не дана от природы способность плодотворения; и я, не сомневаясь в бытии каждой пчелы отдельно, постигаю, однако, что каждая из них имеет вне себя причину бытия своего и образования. Но где же искать мне этой причины? В такой же пчеле, как и они? Но пчелы, известно уже нам, лишены плодотворящей силы! Вы не укажете на пчелу-царицу? Ну где же она, и какое могу иметь понятие о ее виде, составе, натуре? Нет, господин аббат, вы сказали, что безрассудно искать причины вещественного в имени, в звуке, и я, согласно с вашею мыслию, из всех этих пчел, которые и здесь, и там, и везде работают над медом, составляю понятие общее: *вселенная пчел*, сливаю их частные отдельные силы плодотворения в другую общую идею: природа пчел. Конечно, каждая из сих отдельных плодотворящих способностей, рассматриваемая особливо, есть ничто. Но мы уже знаем, что наше *ничто* производит в сумме своей *нечто*; следовательно, бесчисленное множество невозможностей плодотворить, соединенных в одно, дает нам в соединении своем возможность, и не одну возможность, но самую силу плодотворения. Так произведены, господин аббат, все эти пчелы плодотворящею силою, из ничего проистекшею; другими словами, так образовалось существо, не имеющее ни в самом себе, ни в существах ему подобных, ни в существах от него отличных, причины своего происхождения. Видите ли наконец, что я постигнул вашу

мысль, что не имею нужды в вашей пчеле-царице, и что наконец, это существо сокровенное, невидимое, мною непостижимое, для нас совсем бесполезно! Но, может быть, изъяснение мое кажется вам несколько темным! Желаю знать...

— О, господин Бертгейм, оно ясно, удивительно ясно, — воскликнул аббат, пожавши плечами с принужденную улыбку, — вы очень хорошо сделаете, если поспешите сообщить его публике! Такие мнения благодетельны, утешительны!

— Что вы говорите, господин аббат?

— Истину, господин Бертгейм! Берите перо, пишите. Вы сделаете себе много чести.

— Но эта честь принадлежит единственно вам.

Здесь кончился спор. Они в глубоком молчании возвратились в замок. Скоро после обеда Бертгейм уехал, а господин аббат принялся описывать маркизе и ее обществу тот разговор, который имел он в саду с молодым германским мечтателем, но он описал его с выгодной для себя стороны. Какое грубое невежество, какая сумасбродная мысль, объяснять плодотворение какою-то суммою существ, не имеющих особенности плодотворить. И общество долго забавлялось насчет несчастного Бертгейма.

— Надобно, однако, признаться, — сказала наконец маркиза, — такое непонятное тупоумие может родиться только за Рейном, в Лапландии, между Гипербореями или Скифами. Но мы, французы, благодаря Богу, имеем другие головы; организация наша гораздо нежнее и тонее; мы лучше других народов умеем смотреть на вещи и постигаем их несравненно скорее.

Это правда, воскликнуло несколько голосов, и начался ужасный спор о том, от чего происходит национальная глупость: от климата или от правления? Шумели, кричали, никто не решил вопроса; наконец все разъехались, уверенные, что бедный Бертгейм, родившись за Рейном, не может иметь никакого ума, а разве иногда немного здравого смысла.

Энгель

ОТРЫВОК ИЗ ШАТОБРИАНОВА ПУТЕШЕСТВИЯ В ГРЕЦИЮ

Я не хотел возвратиться в Мизитру¹ и прямо с развалин Спарты поехал в Аргос². Я оставлял без сожаления Лакедемон; однако не мог удержаться от того чувства, которое наполняет душу при виде великой развалины, и когда удаляешься от такого места, которого уже никогда в

своей жизни не увидишь. Дорога, ведущая из Лаконии в Арголиду³, и в древности была, как и ныне, чрезвычайно затруднительная и окруженная дикими местами. Наступала ночь, когда мы переправились через Евротас⁴ в том самом месте, где переплывали через него на пути из Трополиццы⁵ — но мы повертели на восток и скоро потом въехали в горы... В два часа ночи прибыли мы в деревеньку, находящуюся почти на самом берегу моря. Здесь рассказали нам следующее печальное происшествие.

Одна молодая поселянка этой деревни, оставшись по смерти родителей своих с хорошим наследством, отправлена была родственниками в Константинополь. Осьмнадцати лет возвратилась она в свою отчизну. Она была прекрасна лицом; говорила по-турецки, по-итальянски, по-французски; угощала в доме своем путешественников, проезжавших через ее деревню, и это, наконец, заставило сомневаться в ее добродетели. Деревенские старшины собрались, несколько времени рассуждали между собою о поведении молодой крестьянки, наконец, положили, что непременно надобно было избавить деревню их от посрамления, которое наносила она ей своими поступками. Они сложились, составили сумму, назначенную в Турции за убийство христианки; потом вошли ночью в жилище молодой сироты, умертвили ее, и нарочный, по данному знаку, что убийство совершено, поскакал с деньгами к паше. Мы приезжаем в эту деревеньку и находим всех жителей в волнении, но это волнение произведено было не ужасом злодейского убийства, а гнусным корыстолюбием паши, который, не находя в убийстве ничего противного закону и признаваясь, что получил определенную за *простое убийство* сумму, требовал, однако, прибавки, на которую он — паша Мореи⁶ — имел полное право по той причине, что молодая сирота была хороша собою, учена и много путешествовала. В самый день нашего приезда прислал он в эту деревню двух янычар, которые грозно требовали, чтобы им выдана была назначенная пашою сумма.

Переменив в этой деревне лошадей, отправились мы в древнюю Кинурию⁷. Было уже три часа пополудни; вдруг проводник закричал нас: «Остерегитесь! Разбойники!» И в самом деле, через минуту увидели мы нескольких вооруженных скачущих по горе. Мы вынули пистолеты, но они остановились, несколько времени на нас смотрели, наконец, дали нам дорогу, и мы спокойно поехали далее. Оставив за собою Парфенианские горы⁸, мы наконец приблизились к берегу моря. С одной стороны представлялась нам цитадель Аргоса, прямо перед нами лежала Навплия, и горы Коринфские возвышались со стороны Микины⁹.

Заря занималась, когда я приближался к Аргосу. В деревне, заступающей место этого славного града, нашел я более чистоты и живости, нежели в других деревнях Мореи. Она лежит в двух милях от моря при самом Аргосском или Навплийском заливе. С одной стороны видите вы горы Аркадии¹⁰ и Кинурии, с другой возвышения Трезены и Эпидавра¹¹.

Может быть, воображение мое омрачено было воспоминанием о ужасах и несчастиях Пелопидов¹²; все окрестные поля показались мне дикими, а горы ужасными и пустыми — я видел перед собою природу, изобильную великими добродетелями и злодействами. Я посетил остатки дворца Агамемнонова¹³, развалины театра и римского водопровода; и наконец, осмотрел цитадель, желая видеть всякий камень, к которому некогда могла прикоснуться рука царя царей¹⁴.

Кто может величаться своею славою при сих чудесных полубогах, воспетых Гомером, Эсхилом, Софоклом, Эврипидом, Расином! Но когда вы придете на то место, на котором они некогда жили; когда увидите, сколь мало осталось от славного бытия их, то сердце ваше наполнится унынием неизъяснимым... С таким унынием смотрел я на сии развалины Агамемнонова жилища.

Приехав в Мегару, я не искал следов Эвклидовой школы¹⁵; я желал бы отыскать Фокионовы кости¹⁶ или какую-нибудь статую Праксителя¹⁷; и в ту минуту, когда я думал о Вергилии, занемогшем в этом месте тою болезнью, от которой он напоследок и умер¹⁸, пришли мне сказать, что просят меня посетить одну больную.

И греки, и турки уверены, что всякий франк должен быть знающим в медицине и иметь тайные способы к излечению всякой болезни. Простосердечие, с каким просят они всякого иностранца подать им помощь, весьма для меня трогательно и напоминает о временах древних, о временах братской доверенности и любви взаимной. Американские дикари имеют тот же обычай. Я думаю, что в таких случаях и человечество, и религия повелевают путешественнику не разрушать утешительного на счет его заблуждения: вид смелой уверенности и несколько слов отрады могут иногда спасти умирающего и возвратить целому семейству его счастье.

Ко мне пришел грек с усердною просьбою навестить его дочь. Я нашел бедную страдалицу, лежащую на рогоже, окутанную в лохмотья. Она с стыдливостью и с видом робкой застенчивости освободила руку свою от нищенского рубища, хотела ее ко мне протянуть, но рука упала мертвая, ослабевшая, на бедный покров. Мне показалось, что эта несчастная была в гнилой горячке. Я приказал снять с головы ее серебряные монеты — обыкновенный головной убор албанских женщин:

тяжесть металла и нескольких кос, в которые заплетены были ее волосы, соединяли в голове ее теплоту. У меня в кармане было несколько камфары, которою запасся для предохранения себя от заразы — я поделился этим лекарством с больною. Ее кормили виноградом — я сказал, что эта пища будет ей полезна. Вместе с отцом прочитали мы несколько молитв Христу и Богоматери, и, наконец, я обещал, что больная будет здорова. Надежда воцарилась в этой обители страдания.

По выходе моем из хижины был я окружен всеми жителями деревни. «Краси! Краси! Вина! Вина!» — кричали женщины. Они хотели изъяснить мне свою благодарность, заставив меня пить вино. После этого важное достоинство медика показалось мне несколько забавным. Но мысль, что в Мегаре имел я случай прибавить еще одного человека к числу тех, которые в разных странах мира, где я скитался, могут желать мне добра, веселила мое сердце: оставлять по себе много воспоминаний и жить в душе иностранца, увы, нередко долее, нежели в душе друга, есть сладостная привилегия путешественника.

Из Элевзиса¹⁹ выехали мы на рассвете дня. Окружив пролив Саламинский²⁰, вступили мы в узкий дефиле²¹, находящийся между горами Коридалусом²² и Икаром и примыкающий к равнине Афинской, у самого пригорка, именовавшегося некогда Пецилем²³. Вдруг представился глазам моим Акрополис — смесь капителей Пропилея и Ерехтеева храма²⁴, амбразур стены, в которых стояли пушки, готических развалин века герцогов и бедных мусульманских хижин. На север от цитадели возвышались пригорки Авхезм и Ликабет, а между ими являлись Афины. Плоские кровли домов, между которыми мелькали минареты, пальмы, развалины, высокие колонны и куполы мечетей с большими гнездами цапель, которые их как будто бы венчали — все это при восходящем солнце составляло приятнейшую картину для взора. Но если путешественник по некоторым развалинам и узнавал древнее место Афин, то общий характер памятников и странная смесь зданий разнообразных уверяли его, что город Минервы уже не был обитаем ее народом.

А.

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ ОБ ИЗВЕРЖЕНИИ ВЕЗУВИЯ

Сентября 12¹. Как жаль, что вы любезный друг, не наслаждались вместе со мною великолепнейшим зрелищем в природе! Я был на Везувии и теперь только возвратился. После продолжительного спокойствия он воспламенился внезапно. При нас началось извержение, какого не

видали с 1794 года². Мы взлезали к самому отверстию горы и оставались в шестидесяти шагах от бездны, извергающей пламя, золу, дым и камень, до тех пор, пока подувший в нашу сторону ветер и падавшие перед нами камни не напомнили нам о надобности удалиться, если не хотим погибнуть, подобно Плинию и Эмпидоклу³. Какое удивительное, какое великолепное зрелище! Представьте себе Творца, окруженного молниями и громами на вершине Синая; представьте себе гигантов, воюющих против неба и поражаемых Юпитером-громовержцем; вообразите все величественное и ужасное, чего не могут выразить ни живопись, ни поэзия; вообразите описанное Мильтоном сражение между небесным воинством и отверженными ангелами; вспомните, что говорят об Этне Пиндары и Вергилии: все прекрасно, однако ж, ничто не может сравниться с видом сих пылающих жерл, с потоками раскаленной лавы, с огненным дымом, с ужасными явлениями, от которых земля колеблется на своем основании. Представьте себе при сем необъятном пожаре, при громах и тресках, луну, спокойно возносящуюся и являющую серебряный круг свой над пылающею горою; это Геката, выходящая из адских пропастей со всем ужасным своим великолепием! Но я не в силах дать вам достаточное понятие о сем чудесном явлении природы; будьте довольны краткою запискою о том, что происходит на Везувии. Сего дня раздавались весьма сильные удары, от которых чувствовано было трясение в Неаполе; вулкан извергал большое количество дыма; ввечеру полилась лава гораздо меньшая, однако ж, вчерашней. Иногда вылетало красное пламя; задняя часть горы со стороны Отаяно⁴ являлась в огне и была покрыта красным дымом, поднимавшимся очень высоко.

13 числа. Во всю ночь, а особливо около четырех часов утра, были слышны непрерывные и весьма сильные удары. Над отверстием возносился высокий столп густого, серого дыма, в три раза больший самого волкана и отделявшийся в виде облак. Конус Везувия, с той стороны, где текла лава, покрыт был легким дымом, который, медленно поднимаясь, останавливался при боках горы; черноватые и темно-синие части ее видны были из-под серого дыма. Ввечеру в пятом часу удары удвоились. То раздаются продолжительные громы, то слышатся мгновенные трески. Окна и двери трясутся; по всему видно, что опять будет очень сильное извержение; мы боимся, чтобы оно не причинило вреда на стороне к Отаяно; сказывают, что сего дня поутру шесть или семь мыз истреблено пламенем. В пять часов без пяти минут сильным ударом отбросило голову мою вверх от столика, на котором теперь пишу, наклонившись. В пять часов с половиною стукнуло ужасным образом; окна дрожат в моей комнате.

14 числа. Вчера, переставши писать, я всходил на земляную насыпь и делал свои наблюдения. Лава текла стремительно, приближаясь к стороне Портичи⁵, и это начинало беспокоить жителей. Мы смотрели в телескопы вслед за течением лавы, которая приближением своим отгоняла толпу любопытных. Поутру было уже покрыто ею 300 десятин земли обработанной. Явились два новые отверстия. Я обедал в городе; некто предложил нам после театра гулять по морю в лодке. Берем лодку с парусом и отдаемся на произвол непостоянной стихии, которая на ту пору была не совсем спокойна. Мы условились кататься не более одного часа и велели дожидаться коляске у пристани, но гребцы наши были надежные, ветер попутный, и мы пустились к Портичи. Оттуда недалеко и до лавы, которая лилась в полумиле от Резины⁶. Садимся на ослов и едем. Дорога была покрыта народом; одни туда же шли, другие оттуда, некоторые из несчастных бежали с остатками своего имущества. Бедствие одних служит для других предметом любопытства. Наши вожатые говорили, что лава была прекрасная и *работала* удивительно. Несчастные рыдали; мы ехали вперед и досадовали на свое любопытство. Мы направили путь свой прямо к лаве, которая текла уже медленно. Вся сторона горы и часть долины были в пламени; лава на сей стороне залила уже 500 десятин земли возделанной. Место, на котором мы находились, принадлежало одному семейству, имеющему только пять десятин; четыре уже покрыты были пылающим потоком, а пятая ожидала подобной участи. Бедные люди кричали, зывали к святому Януарию⁷ и пели молитвы. Лава начала останавливаться; ввечеру она протекала по сороку ладоней⁸ в минуту. Подошва Везувия с той стороны, откуда обыкновенно восходили на гору, почти на три мили залита лавою, которая истребила все виноградники и другие деревья со зрелыми плодами. Часто деревья загораются в некотором еще расстоянии от лавы, сперва засохши от чрезмерного жара; иногда стоят они среди сего жидкого вещества, которое, охладевши, служит новою почвою для разоренных земледельцев. Мы возвращались в Неаполь не прежде пяти часов поутру.

15 числа. Сего дня поутру не слышно было ударов. Я еще не смотрел на Везувий и не знаю, что с ним происходит. *В четыре часа с половиною.* Волкан спокоен; из него выходит дым густой и черный; полоса беловатого дыма показывает протяжение лавы; она не прибавляется и, кажется, со вчерашнего дня остановилась. Теперь очень жарко; падает дождь золы самой мелкой; ее можно заметить, прикоснувшись пальцем к поверхности предметов. *В шесть часов.* Теперь только мы сошли с насыпи; зола заставила нас оттуда удалиться. Везувий походит на свинцовую гору. Дым и облака серой золы простираются даже до Неаполя

со стороны предместия Магдалины⁹. Вчера пылавший, Везувий ныне мрачен.

16 числа, в семь часов с половиною поутру. Раздаются сильные удары; не знаю, были ль они в минувшую ночь слышны; дождь льется как из ведра; Везувий выпустил такое множество облаков, что сряду несколько дней мы не будем иметь в дожде недостатка. Я делал опыт над золою, которая нам ела глаза вчера и которой немного при сем к вам посылаю; она притягивается магнитом, следственно, есть железного свойства. *В пять часов.* Ничего нового; все по-прежнему дым и зола. Едва заметен легкий пар над полоскою лавы; вероятно, к вечеру он исчезнет. Теперешнее извержение тем достопамятно, что очень скоро прекратилось, скорее, нежели чаять можно было, судя по его стремительности. Сказывают, когда вулканы выбрасывают пламя многими отверстиями, то это есть признак их ветхости, и что бока горы, сделавшись тоне и слабее после извержения большого количества материи, удобно проламываются от внутренних ударов. Ежели Везувий теперь достиг своей дряхлости, то надобно признаться, что это старик очень бодрый и свежий.

(Из Публициста)

ДОРСАН И ЛЮЦИЯ

(Повесть госпожи Жанлис)^(*)

Вольнис, проживши около десяти лет в печальном изгнании, наконец возвратился с семейством своим во Францию. Проведя несколько времени в Париже, отправился он в деревню свою, находившуюся в Бургони¹: он нашел ее совершенно разоренною; одни развалины хижин показывали то место, на котором некогда существовало селение многолюдное, поля были запущены, господский дом, церковь, сады — все исчезло, повсюду являлись следы неистовой руки истребителей. Одна только бедная хижина уцелела: то было смиренное жилище Герара, прежнего управителя Вольнисова, старика доброго и необыкновенно честного. Вольнис затрепетал, увидя эту знакомую хижину, со всех сторон окруженную развалинами; она поразила его как древний величественный памятник, которого многие веки не могли ниспровергнуть... Нет сомнения, что мы все имеем право оставить отечество, когда тиран-

(*) Справедливая во всех подробностях, говорит г-жа Жанлис. Люция — невыдуманное лицо; она существует, счастливая супруга и мать. Кто ее знает, тому трудно будет заметить, что список мой весьма уступает оригиналу.

ство отымет у нас свободу отправлять богослужение по закону отцов наших, когда лишимся безопасности личной, но сколь же, напротив, достойна будет удивления нашего твердая неустрашимость того, кто, смело решившись и самую жизнь пожертвовать вере, останется посреди опасностей и презрит гонения, в надежде принести отечеству пользу хотя малую по какому-нибудь чувству привязанности, благодарности, дружбы. Герар из любви к доброму господину своему остался во Франции; ибо он надеялся сберечь некоторые нужные вещи, ему принадлежавшие. Провидение спасло его от гибели, он опять увидел доброго своего господина, он отдал ему сохраненные им важные бумаги, без которых Вольнис, конечно, не избегнул бы тяжбы, в его положении чрезвычайно разорительной, несколько драгоценных вещей, серебра и портрет Вольнисова отца тут же сохранены были Гераром. Вольнис, жена его Эльмира и дети их Юлия и Карл должны были на время поселиться в Гераровой хижине — и добрый старик был вне себя от восхищения.

На другое утро по приезде своем в деревню Вольнис и Эльмира, проснувшись очень рано, пошли осматривать то место, на котором некогда находились и замок, и церковь: и самое основание их исчезло; но благодаря попечениям Герара, следы разрушенного Божия храма были еще заметны. «В этой церкви, — говорил он Вольнису, — благословили некогда брак их. В то самое время, когда она была разрушена, посеял я между развалинами множество ландышей, фиалок и резеды — все цветы взошли на следующую весну; а на том месте, где находился алтарь, посадил я молодое гебенное дерево² — оно принялось, и вы найдете его теперь во всем цвете. Всякое утро на заре приходил я с женою и дочерью к этому дереву — оно служило для нас Божиим храмом; а место, на котором оно цвело, называли мы *церковью замка*. Там уже не было ни мраморного алтаря, ни прекрасных образов, ни позолоты богатой; но там присутствовал сам Господь; Он слышал наши молитвы, и Он их исполнил, ибо добрые господа наши сохранены милосердием Его, счастливы и опять вместе с нами. Под тенью гебенного дерева на маленьком дерновом холмике стоит деревянный крест — я сам его сделал и там утвердил, как скоро отечеству нашему возвратили спокойствие и религию».

Вольнис и Эльмира, взявшись за руки, пошли на место прежнего своего жилища: они молчали, сердца их были растроганы. Около четверти часа продолжалось их шествие; вдруг Эльмира затрепетала: взорам ее представился молодой гебен, которого ветви, обремененные прекрасными, как яркое золото блиставшими цветами, приятно склонялись на деревянный крест; она пожала Вольнису руку. Супруги подходят и

падают на колена у подножия креста, на том самом месте, на котором за семнадцать лет соединились они союзом священным... О, как с того времени любовь их усилилась посреди несчастий!.. С какою живостию, с каким глубоким чувством благодарности возобновили они священную клятву, некогда запечатлевшую их узы! Вольнис сел за дерновый холмик и, крепко пожав Эльмирину руку, сказал:

— Друг мой! Когда твоя мать на самом этом месте вверяла тебя моей любви и уступила мне все права свои над тобою, то она, конечно, надеялась, что жребий дочери ее будет блестящий!.. И что же я должен был разделить с тобою?.. Убожество и изгнание. Лучшие годы жизни твоей протекли под чужим небом, в нужде и печалях! Но, друг мой, без этих ужасных несчастий я не узнал бы ни твоего великодушия, ни силы твоего характера, ни всей чувствительности твоего сердца!

— Ах, Вольнис, — сказала Эльмира, — Бог слышит меня! Я не жалела об утрате богатства, оплакивала одну потерю наших друзей и не могла быть спокойна; ибо я думала, что ты несчастлив. Определение мужчины есть быть полезным; но тысячи случаев могут или на время отдалить его от этой великой цели, или навсегда лишить его способов к ней достигнуть. Женщина, определенная довольствоваться жребием скромным, не столько подвержена изменению фортуны: если она была нежною дочерью, верною женою, доброю матерью, то все уже требования судьбы ее совершенно исполнены; а их исполнить всегда в ее воле: не значит ли это повелевать своею судьбою? Лишившись чинов и богатства, ты потерял все средства служить отечеству и приобрести благородную славу; но я, я сохранила и детей, и супруга; а разделяя с ними изгнание, имела более способов и любить их, и посвящать им все попечение моей нежности... Мой друг, наше убежище было непопышно; но в этом непопышном гостеприимном убежище я не была отдаляема от тебя обязанностями общежития и благопристойности: а ты, не будучи развлечен ни честолюбием, ни суетностию придворной жизни, всегда был вместе со мною. Ты один заботился о воспитании нашего сына; каждый день видела я тебя добрым отцом, наставником нежным и неусыпным; наконец, одна я была поверенным твоих печалей, одна я была необходимою для тебя во всякую минуту жизни... В какие же дни, благоприятные для честолюбия и суетности, могла бы я насладиться такими чистыми благами?

— Эльмира, — сказал Вольнис, — здесь ожидает тебя то счастье, которое так трогательно тобою описано — мы насладимся им, без всякой примеси беспокойства, в отечестве, в кругу милых нам людей. И самые прежние горести наши могут теперь послужить нам в пользу: они научат нас отличать истинные блага от ложных. Мы уже не будем

расточать нашу жизнь на суетное удовольствие ослеплять глаза людей, нам чуждых; наш дом не прослышет самым богатым и великолепным в провинции: зато не станем входить и в долги, чтобы угощать в нем таких людей, которым сопутствуют скучное принуждение и обряды; зато наш круг будет составлен из друзей искренних и нам во всякое время приятных; никому не придет в голову превозносить наши чудесные сады, в которых не найдут ни сырых гротов, ни подделанных рек, ни тенистых озер, ни пустых гробниц, ни утомительных кривых дорог, от которых прогулка превращается в трудное путешествие. Зато с каким удовольствием будем собирать плоды, собственною рукою возвращенные! И как приятно будет нам, доживши до старости, сидеть под тению молодых деревьев, нами воспитанных или нами насажденных! О! Благословляю Провидение, которое жестокими, но благодетельными и полезными уроками просветило меня! Я знаю теперь, где обитает прямое счастье. Оно в полях, оно посреди сельских приятных работ, удалено от суетности и честолюбия, в союзе с невинностью, природою, дружбою. И здесь я найду это счастье; но я обязан им буду одной Эльмире!..

В эту минуту явились их дети, которые вели с собою архитектора, призванного из ближнего города для сделания плана будущему Вольнисову дому. Назначили место, начертили план прекрасного, скромного и спокойного сельского замка, в котором ничто нужное и служащее для истинного наслаждения жизнью не было забыто. Потом началась и постройка; Вольнис и Карл сами смотрели за всеми работами. Эльмира и Юлия, между тем, с помощью) дочери Гераровой, горничных девок и двух или трех молодых крестьянок вышивали мебели; время летело, они его не примечали; наконец дом отстроен, мебели готовы, надобно расставаться с хижиною Герара.

И день переселения в новое жилище был днем великого торжества для всего семейства. Какое счастье наконец наслаждаться плодами собственного труда, с каким удовольствием осматривали они все горницы замка, убранные просто, но чисто и со вкусом...

— Ах, мой друг, — сказала Эльмира, — мы уже никогда не оставим этого восхитительного места: здесь проведем последние годы жизни! Полно скитаться; мы уже не удалимся от нашей родины, от счастливого жилища наших отцов!

— Так, Эльмира, — отвечал Вольнис. — Мы, наконец, пристали к отеческому берегу после несчастного плаванья по чужим морям. Вести спокойную жизнь в отчизне, в кругу семейства и милых друзей — вот счастье совершенное, вот то, что я называю благословением Неба! *Ты будешь скитаться по земле без пристанища!*¹³: таково первое проклятие против первого преступника, изреченное Создателем!.. Он не сказал

братоубийце: ты потеряешь силу, здоровье и бедственным образом погибнешь; но Он возвестил ему все печали. Он соединил для него все горести и страдания в одном ужасном приговоре: *Ты будешь скитаться по земле без пристанища!*

— О мой друг, — воскликнула Эльмира, — отдали от себя сии печальные воспоминания!..

— Нет, Эльмира, они со мною неразлучны; но я сохраняю их в сердце своем без всякой причины негодования или злобы. Я менее страдал, нежели другие, ибо ничто не принуждало меня ненавидеть, да и прежние горести мои приготовили меня к живейшему наслаждению настоящим.

И в этот день счастье семейства Вольнисова увеличено было радостными известиями из Америки: он получил письмо от брата своего Дорсана, который уведомлял, что наконец оставляет Америку и что Вольнис не в продолжительном времени увидит его у себя в доме.

Проходит месяц, ожидание увеличивается; наконец оно обратилось в нетерпение. В один вечер Вольнис и его семейство сидели на прекрасной террасе замка; вдруг слышат они хлопанье бича, возвещающее прибытие почталиона; бегут. Они не обманулись: посланный от Дорсана. Вольнис спрашивает его о брате, узнает, что Дорсан здоров, что он уже близко, что он через несколько минут будет в замке. Какая радость! Вечер был прекрасный. Вольнис, Эльмира и дети их бегут навстречу к милым путешественникам. Вольнис более четырнадцати лет не видел Дорсана, с которым до самой эпохи изгнания не разлучался ни на минуту: можно вообразить его восхищение. Эльмира, всегда имевшая нежного друга в Люции, Дорсановой жене, разделяла Вольнисову радость; Карл и Юлия не менее их восхищались: они уверяли, что очень помнят и любезного своего дядюшку и братца Феликса, и были в великом нетерпении увидеть людей, родителям их столь близких и им самим заранее уже любезных. О лета счастья, в которые душа наша, еще неопытная, так быстро и так свободно предается привязанности нежной, в которые для удостоверения в любви так мало размышления, так мало доказательств нам нужно, что кажется, будто неведомый таинственный голос говорит нам: для наслаждения милою мечтою не теряйте первых весенних лет вашей жизни!

Между тем Вольнис, Эльмира и дети их вышли на большую дорогу; вдруг вдалеке показалась карета. Это они; бегут, летят; карета остановилась; слышатся голоса знакомые, милые; обнимаются, проливают сладкие слезы восторга... Но в эту минуту желанного соединения некоторое чувство прискорбья смешано было с восхитительным ощущением счастья, и нежность, которою сердце наполнено, и самая

радость свидания напоминают о горестях продолжительной разлуки, о драгоценных днях, проведенных в изгнании и невозвратно погибших для дружбы!.. Место встречи окружали тенистые деревья; было темно; желали и несколько страшились увидеть друг друга в лицо: ибо расстались во всем блистании молодости и красоты, а разлука продолжалась четырнадцать страшных лет. Но Юлия, Карл и Феликс не могли иметь этого беспокойного чувства; они вошли в освещенную залу с ожиданием приятным. Первый взгляд Юлии встретился с первым взглядом Феликса. И он и она были прекрасны, и мысль, что они должны друг друга любить, наполнила в эту минуту неизъяснимою радостью их сердце.

Люция, тридцати шести лет, имела еще всю живость блестящей красоты; сама Эльмира не заметила в ней никакой перемены, — а женщина в этом случае, как и во многих других, судит верно, и взгляд ее бывает столь пронизателен, что ни малейшее изменение на лице другой женщины не может от него утаиться.

Дорсан, проходя через комнаты замка, несколько раз воскликнул с прискорбием:

— Все новое! Все переменялось! Ни одного воспоминания!.. Ни одного признака первых привязанностей и первого счастья жизни!..

Но, вошедши в гостиную и еще раз обнявши Вольнису, он неизъяснимо обрадовался, когда, окинув глазами предметы, увидел самые те мебели, которые вышивала некогда мать их — и бархат, и цвет, и узор, и самое дерево были те же; но мебели казались совсем обновленными. Загадку объяснили: он видел работу Эльмиры и Юлии, но самый образец сохранен был Гераром. Эльмира сняла богатый атласный чехол с большого кресла, стоявшего у камина, и Дорсан, увидя его, почувствовал в сердце своем трепет невольный: на этом кресле обыкновенно сидела его мать! Над ним повешен был потрет их отца: Дорсан весьма долго с чувством благоговения рассматривал этот образ; все было в нем для него трогательно: самая древняя готическая рама имела особенную прелесть; она приводила на память прошедшее. Дорсан с полными слез глазами протянул к супруге своей руку.

— О Люция, — сказал он, — для чего она в эту минуту не с нами! С каким восхищением благословила бы тебя моя мать за то, что сделала ты для ее сына! Я, кажется, вижу ее слезы, кажется, слышу, как она своим приятным, трогательным голосом благодарит мою Люцию за то, что она вопреки самой фортуны заставляла меня всякую минуту восхищаться жизнью!

Люция заплакала; и эта минута могла бы наградить ее за все, когда бы нежность супруга уже давно не была для нее самую сладкою награ-

дою... Весь этот вечер прошел как одна восхитительная минута; но радость соединенных друзей была задумчивая, казалась унылою: такова радость людей, претерпевших большие несчастья; сердце растрогано, чувствительность его сходствует с печалию.

Дорсан проснулся на другой день очень рано. Он отворил окно, из которого были видны с одной стороны новый сад, а с другой — луга, орошаемые прекрасною рекою, и на берегу ее деревни, рощи, зеленые пригорки. Новое положение замка было несравненно выгоднее и лучше старого, но Дорсан по первому движению сердца воскликнул с некоторою унылостью:

— Боже мой, как это печально! Мне кажется, что я на чужой стороне: все видимое мною для меня ново и мне совсем не знакомо.

С таким же унылым чувством прогуливался он и по саду; но ввечеру, когда все семейство соединилось в гостиной, это уныние совсем исчезло; Дорсан опять увидел себя в кругу ближайших сердцу его людей, — он чувствовал одну восхитительную радость соединения. Вольнис, желая усовершенствовать удовольствия сего очаровательного вечера, просил Дорсана рассказать в связи случившееся с ним во все продолжение изгнаннической жизни его и ему почти не известное; ибо Дорсан очень мало имел способов часто писать из Америки, и многие из писем его были потеряны.

Дорсан весьма охотно согласился исполнить это желание, ибо, говоря о себе, должен был говорить о Люции. Он сел между Эльмирою и ее дочерью.

«Ты помнишь, — сказал он Вольнису, — наставления батюшки, данные нам в то время, когда он начал думать о нашем браке. Я повторю его слова, могущие для детей наших быть полезными. “Друзья мои, — сказал он, — молодым людям всегда позволено избирать круг действия, приличный их склонностям и дарованиям; но эта свобода необходимо должна согласоваться с рассудком и приличиями общежития. То же самое надлежит наблюдать и при свободном выборе супруги: отец даст своему сыну это право свободы с тем необходимым условием, чтобы он избирал не слепо, а согласуясь с советом рассудка. Чем выше занимаемая им в обществе степень, тем менее позволено ему следовать одному побуждению чувства: степени высокие можно назвать пожертвованиями, которые любовь к спокойствию делает благородной любви к славе. Супружество государей имеет единственную целию благо общественное. Государь, соединяясь с принцессою, нимало ему не известною, действует как отец своих подданных, как истинный благотворитель отечества. И торжество брака его, освященное сими возвышенными чувствами, должно производить всеобщую благодарность в народе, ему

подвластном. Частный человек имеет в этом случае более свободы, и он до некоторой степени может предаваться влечению сердца; но со всем тем обязанности фамильные должны иметь большое влияние на его поступки; за избрание супруги отвечает он и своему роду и своим потомкам. Я соглашаюсь, что отвращение исключает союз; но также не менее уверен и в том, что не одна любовь должна его производить и что любовь не есть необходимое условие счастья. Вот правила, мои друзья! Руководствуясь ими, ищите себе супруг, которые могли бы сделать судьбу нашу счастливою; откройтесь мне искренно, когда вы делаете выбор, и знайте наперед, что я и тогда соглашусь исполнить ваши желания, когда бы сам имел какие-нибудь тайные и, по моему мнению, более выгодные планы для вашего супружества”.

Так говорил наш добрый отец. Последствия доказали, что он не имел причины раскаиваться в снисходительности к своим детям; а мы, с своей стороны, должны все простить фортуне: ибо, несмотря на ужасные перевороты ее, в выборе нашего сердца нашли мы и все утешения, и награды.

Люция была семнадцати лет, а я имел не более двадцати пяти, когда она отдала мне руку. Союз наш, заключенный в обстоятельствах благоприятных, предсказывал нам в будущем счастье; любовь, дружба, рассудок, фортуна, все было соединено для утверждения этого счастья.

Люция, известно вам, родом ирландка; она получила во Франции то воспитание, которое в свете называется основательным: она прекрасно говорила по-английски, любила читать, имела таланты; но, вечно живучи в столице, она не могла находить деревенскую жизнь приятною; чтоб жить с удовольствием в деревне, необходимо надобно познакомиться и с сельскими трудами.

Люция, в этом отношении совершенно несведущая, не пренебрегала, однако, и добрых так называемых деревенских хозяек; но думала, что, живучи при дворе и будучи богата, совсем не имела нужды обращать внимание свое на то, как смотрят за пашнею, за скотным двором, за садом, за огородом. Я не был согласен в этом мнении с Люциею; но чувствовал, что, имея обширные семейные обязанности, живучи в большом свете и занимая блестящее место в Версале, я поневоле обязан был, особливо в первые годы молодости, отказаться от деревенской жизни и всякого хозяйственного занятия; я же имел тогда полк. Словом, мои обстоятельства не позволяли мне проводить более одного месяца в деревне. Мы приезжали туда обыкновенно на сентябрь, а в начале октября возвращались в Париж. Все это время проходило в праздниках и веселостях; соседи были чрезвычайно скучны для Люции, и разговоры их ее усыпляли: чтобы понять их, всякую минуту надлежало

просить или истолкования слов или объяснения предметов. А деревенские дамы, с своей стороны, также не знали, о чем разговаривать с Люцией; они посещали ее с принуждением, и время визитов проходило в скучном молчании, Люция воображала, что она приводит их в замешательство своею светскою ловкостью, своею приятностию в обращении; а выходило на поверку, что они просто дивились ее невежеству. Прелестная дама казалась смешною для провинциалок, а добрые провинциалки были забавны и скучны для милой придворной дамы; надлежало привлекать к себе общество из Парижа — играли комедии, танцевали, давали концерты, и таким образом в провинции отдаленной возобновлялись блестящие вечера Сен-Жерменского предместья.

Я был влюблен, и мне легко было прощать моей Люции эту наружную неосновательность; успехи ее в свете восхищали меня, а Люция была так непорочна в поступках, так удалена от всякого кокетства, что сердце мое не могло быть смущаемо и тению беспокойства, и будущее всегда представлялось мне восхитительным. Люция, одаренная от природы здоровым умом и глубокою чувствительностию сердца, не могла не предпочитать внутренне сему рассеянному образу жизни спокойных и чистых удовольствий дружеского круга; но она с малолетства приучена была думать, что женщина для пользы супруга своего и детей необходимо обязана исполнять условия общежития, искать благосклонности министров и людей сильных и, если можно, иметь в своем доме общество блестящее. Правила сии, которые, будучи приняты в слишком строгом смысле, вовлекли многих женщин в интригу, весьма нравятся женщинам вообще: и скажите сами, не приятно ли воображать, что, предаваясь неограниченному рассеянию, исполняешь все должности совершенной супруги и матери? Но в этом случае, как и во многих других, Люция от всего сердца была уверена, что ей нельзя поступать иначе. Думая, что исполняет обязанность общественную, полезную для настоящего или для будущего, она охотно принимала всякое приглашение на бал и делала визиты, весьма для нее скучные.

Так кружились мы в этом вихре света, который, не разрывая нашего союза, беспреестанно похищал нас друг у друга; нередко разлучались мы на целый день, а счастье между тем улетало! Посреди этого непрерывного шума взаимное почтение осталось невредимым; но любовь, истинная любовь, основанная на сладком слиянии двух сердец, питаемая энтузиазмом, сия невинная, чистая любовь, одобряемая должностию, усиливаемая добродетелию, могла ли она не охладиться посреди сего суетного рассеяния?

Всякая сильная страсть необходимо требует, чтобы мы, так сказать, заключили ее в самих себе: занимаясь ею, мы образуем ее и распа-

ляем. Великие чувства не могут согласоваться с ветренностью мыслей, а сильная, всегда владычествующая мысль оживляет чувствительность, воспламеняет гений; любовь услаждается тайным мечтанием, которое заступает для нее место размышления, и пламя ее, сколь бы оно ни было сильно, должно наконец потухнуть, если она сама не будет его хранить и беспрестанно давать ему новую пищу.

Наслаждения суетности очень скоро становятся скучны. Прошло два года, и я уже перестал восхищаться успехами Люции в свете. Я с удовольствием смотрел на Люцию, но уже не она *одна* привлекала мои взоры: словом, я не был уже влюблен. Теперь признаюсь в этом охотно; ибо тогда я видел в Люции одну любезную, достойную почтения женщину, и не имел никакого понятия о совершенстве ее характера, о несравненной чувствительности ее сердца; не имел никакого понятия о той высокой твердости, которая все презирает, когда покорствуется долгу, о том благородном и трогательном повиновении жребию, которое не есть унылое чувство невольника, уступающего необходимости жестокой, но тихая, безропотная надежда чистой души, передающая себя в волю верховного, благотворящего, непостижимого Промысла; мне не были известны тогда ни тот высокий ум, ни та восхитительная простота добродетели, которые находят одно необходимое и весьма обыкновенное в самых героических поступках, если только почитают их и возможными и полезными. Вот то неисчерпаемое богатство счастья, которое открыли нам наши горести! О, благодарю вас, страдания и бедствия, данные мне Провидением милосердым!

Пятый год нашего замужества был уже в исходе, когда началась революция. Мы находились тогда в деревне. Беспрестанно представлялись глазам нашим явления ужаса: Люция была вне себя, и я уже начал опасаться, что она потеряет рассудок: ее душа, непорочная и чистая, не могла быть твердою в присутствии преступления. “Они умертвят тебя перед моими глазами, они разорвут моего сына в моих объятиях! Нам надо спасаться; скорее, скорее” — так говорила мне всякую минуту Люция; а в то время еще не были мы угрожаемы никакой опасностью. Но скоро потом ужасные происшествия принудили и меня, и тебя оставить Францию; ты переехал в Англию, а я решился отправиться на первом корабле в Америку. Я не имел никакого средства взять с собою много денег и должен был оставить отечество без нужды, с ужасною мыслию, что уже никогда не суждено мне его увидеть!.. Но я страдал еще более, воображая, что Люция никогда не привыкнет к этому страшному перевороту нашего жребия! И чего же возможно мне было ожидать от молодой женщины, едва ли имевшей двадцать два года, воспитанной в неге, всегда жившей роскошно, посреди удовольствий бле-

стящего двора и показавшей такую великую слабость при первых волнениях революции... “Боже мой, — думал я, как будет она переносить опасности и беспокойство продолжительного мореплавания! Как будет переносить томительную скуку уединения и все недостатки убожества!.. Я знаю, как велика ее набожность, какое ангельское она имеет терпение! Она не позволит себе ни одной жалобы, но будет страдать; а я буду видеть ее унылою, горестною, несчастною; я буду видеть ее увядающею в цветущие годы жизни, и, наконец, она увянет. Какое мучительное зрелище; какие надежды, и что же будет моим утешением!..” Мысли сии терзали мою душу!.. О Люция, целою жизнью моею не заплачу тебе за такую несправедливость!

Ужасы окружали нас до самой минуты отплытия. Наконец мы взошли на корабль — это случилось ночью. Люция имела на руках Феликса. Увидя себя вне опасности, она бросилась мне на шею. “Милый друг! Благодарю Бога, — воскликнула она, — мы уже не во власти злодеев!” Я разделил с нею эту мгновенную радость; но скоро потом мучительное чувство наполнило мою душу: ибо я подумал, что мы принуждены *радоваться* в ту минуту, в которую навсегда расстанемся с отчизною, с друзьями, со всеми выгодами фортуны блестящей... Непрерывные страдания и беспокойство так изнурили Люцию, что она совсем почти не походила на самую себя. Она сидела на маленьком ларчике, в котором заключено было все наше богатство, держала на коленях сына и старалась его усыпить. При свете лампы, которая от качания корабля сияла таким дрожащим слабым светом, что всякую минуту казалась мне угасающею, рассматривал я эту несчастную, бледную, полуувядшую, но за несколько месяцев блиставшую всеми приятностями свежести и здоровья... Подымался ветер, все предвещало бурю... Я бросил на жертву грабителей наследие моих отцов; я потерял имение, чины, преимущества знатного рода; как бедный изгнанник стремился я в новый мир к судьбе неизвестной и в тесном пространстве корабельной каюты видел все оставленное мне фортуною, — моего сына, мою жену и тот легкий ларчик, на котором она сидела... и это все мое последнее, мое драгоценнейшее вверяю я бурному морю, стихии ужасной, обманчивой, как та судьба, которая нам изменила, и грозной, как будущая наша участь!

Ветер усиливался беспрестанно. Он страшным образом свистал между корабельными снастями; мачты скрипели; паруса хлопали, и бурные волны с шумным плеском перебрасывались через палубу. Спокойствие и некоторая веселая ясность Люциина лица изумили меня; она все еще держала на коленях спящего Феликса, но колебание моря сделалось так сильно, что бедный младенец проснулся и начал кричать; Люция села на пол; я стал подле нее на колена, чтобы помочь ей раз-

веселить ребенка, который от страха метался и плакал. “Успокойся, мой сын! — говорила Люция. — Создатель хранит нас; Его покровительством спасены мы от кинжала убийц, Он и теперь над нами: под верною защитою любви Его бежим мы от преступления и нечестивых. О! Будьте благословенны вы, страшные волны, вы, грозные ветры, удаляющие нас от земли, оскверненной убийством и кровию!.. Буря не ужасает меня; она увеличивает быстроту нашего плаванья”.

Ветер свирепствовал более суток, и во все это время Люция не показывала ни малейшего страха. Остаток путешествия нашего был счастлив; мы наконец в Америке. Но горсть неизъяснимо тяжкая наполнила сердце мое, когда мы пристали к берегу. Ах! Можно ли равнодушно ступить на чужую землю, если уверен, что должен остаться в ней навеки. Я чувствовал, что наконец мой сын и моя жена в безопасности, и это меня утешало; но сердце мое сильно стеснялось, когда я смотрел на обширное море, на эту ужасную бездну, которая навсегда отделила меня от Европы. Ах, мне казалось в эту минуту, что я расстаюсь с жизнью, и беспредельное пространство имело для меня подобие смерти, расторгающей драгоценнейшие наши узы! Ни слава, ни самое обыкновенно самолюбие не могли уже более оживотворить бытия моего; и что может значить одобрение чужеземцев, когда наши соотечественники в нем не участвуют, когда похищена у нас та награда, которая одна была нашею целию!

Первые месяцы по приезде моем в Америку провел я в Бостоне⁴. Проживши несколько дней в трактире, я вздумал переселиться к одной старой вдове, госпоже Виллис. Честный английский купец, мой знакомый, давший мне этот совет, вызвался меня проводить к ней и быть моим переводчиком; ибо госпожа Виллис не знала французского языка, а я в то время еще ни слова не разумел по-английски. Мне не хотелось возложить этого труда на Люцию; ибо я внутренне был уверен, что она найдет его неприятным. Я виделся с госпожою Виллис: она показалась мне доброю женщиною, но имела самую обыкновенную наружность и была до чрезвычайности болтлива. Какое общество для Люции! А по условию надлежало и обедать и ужинать за одним столом с хозяйкою, следовательно, проводить с нею большую часть нашего времени. Я с крайним огорчением воспоминал, что Люция некогда скучала в обществе наших провинциалок, из которых многие были и умные, и любезные: я был уверен, что женщина, ни о чем, кроме хозяйства не разумеющая, будет несносна для Люции. Надобно было, однако, решиться объявить ей, что мы переселяемся к госпоже Виллис и будем до тех пор жить в ее доме, пока я не найду купить какую-нибудь маленькую хижину в окрестности Бостона; ибо небольшие привезенные мною из

Франции деньги хотел я употребить на разведение сада. Люция с необыкновенною кротостию своею согласилась на мое предложение, и мы в тот же день перебрались на новую квартиру. Госпожа Виллис без всякой пощады овладела моею женою; несносное лепетанье этой старушки меня терзало; но Люция слушала ее со вниманием, часто ей отвечала и даже сама заводила с нею разговор. «Какое принуждение», — думал я. И это принуждение, для меня неописанно тягостное, ибо оно было ощутительно для одной только Люции, продолжалось более четырех месяцев. Несмотря, однако, на тайную горесть мою, я имел утешение видеть, что Люция становилась час от часу здоровее, что на лицо ее возвращалась прежняя свежесть, что красота ее расцветала. Я приписывал эту счастливую перемену молодости порядочному образу жизни, спокойствию, произведенному безопасностью; но я не мог и вообразить, чтобы госпожа Виллис не утомляла ее продолжительностию своих разговоров; я даже не верил и словам Люции, которая старалась мне доказать, что госпожа Виллис очень приятна, что разговоры ее могут быть весьма занимательны.

Дела мои всякий день заставляли меня уходить на несколько часов со двора, и всегда по возвращении своем находил я или госпожу Виллис в комнате Люции, или самую Люцию в комнате госпожи Виллис: они были неразлучны. Несколько раз хотел я сказать неотступной хозяйке нашей, что она навещает жену мою слишком часто; но Люция просила меня оставить ее в покое. Я почитал это одною любезною снисходительностию; но иногда приходило мне на мысль, что Люция не может сносить уединения совершенного, а я намерен был заключить ее в тесную хижину! А я принужден был навеки разлучить со светом милое существо, одаренное такими совершенствами, красотою, талантами!.. Бедность не позволила мне иметь и служанку; ибо нам нужен был работник для сада, разумеющий несколько и поваренное искусство! Что ж будет с Люциею в этом бедном жилище; что может она делать в то время, когда я по целым часам принужден буду рыться в земле; что станем мы говорить друг с другом! Что будет между нами общего и в упражнениях и в чувствах! Она сокроет от меня свою скуку, а я принужу себя скрывать от нее свои печали; все прелести нашего союза должны исчезнуть, и прелести любви, и прелести дружбы; несносное принуждение между нами поселится, и все наши радости должны наконец погибнуть; и самый наш Феликс может произвести между нами раздор. Люция будет хотеть, чтобы он имел приятные таланты и то образование, которое уже неприлично скромному нашему жребию; а я, напротив, желал бы дать ему сведения простые, но для него нужные, желал бы вселить в него любовь к земледелию. Таковы мои мысли: они приводили меня в

отчаяние, и тысячу раз сожалел я, что не женился на простой провинциалке, не имеющей ни блестящего ума, ни дарований приятных, но приученной довольствоваться уединением и находить счастье в занятиях хозяйства. Я не мог сносить перевероты фортуны; но мысль, что я уже не властен осчастливить моей Люции, была для меня несносна. Прошло более четырех месяцев с того времени, как мы переселились в дом госпожи Виллис, а тесная дружба между ею и Люцией продолжалась по-прежнему. Хорошая старушка была в восхищении от Люциина характера, глядела ей в глаза, предупреждала ее малейшее желание и часто, пожимая руку ее, весело на меня посматривала и восклицала: "*Happy husband! Happy husband!*"* Но в это время я слишком далек был от счастья!.. Наконец мне удалось найти поблизости от Бостона опрятную хижину с довольно большим садом и также нанять негра сорока лет, хорошо знающего садоводство; я сделал его и *кухмистером замка*: ибо он объявил мне, что умеет варить мясо и зелень. Я купил несколько простых мебели, небольшую телегу и старую лошадь, на которой Иосиф (имя негра) мог бы два или три раза в неделю возить наши плоды и огородную зелень на продажу в Бостон, а из города привозить нужный столовый запас, хлеб и мясо.

В исходе августа месяца переселились мы в нашу убогую хижинку. Не могу описать того, что я чувствовал и думал, когда мы к ней приближались. Накануне казалось мне это жилище и приятным, и спокойным; но в ту минуту я находил его печальным, ужасным... темницею для моей Люции. Я переносился мыслию в прежний парижский дом наш, и даже был в замешательстве, как будто казалось мне, что я один причиною упадка нашей фортуны; я не смел поднять своих глаз на Люцию, опасаясь прочесть на лице ее горечь. Наконец приближаемся к хижине, входим. "Слава Богу, — сказала Люция, обнимая меня, — теперь имеем пристанище собственное и спокойное!.." По звуку ее голоса догадался я, что она плакала: это от горести, подумал я с некоторою досадою; сердце мое оледенело; я не отвечал ни слова. Мы вошли в маленький кабинет, назначенный мною для Люции; потом в другую горницу, более просторную и лучше других прибранную. Люция нашла в ней горшки с цветами и несколько фарфору. Досада моя показалась ей унылостью; она захотела меня развеселить и сказала с улыбкою: "Какая роскошь, мой друг! Этого я не одобряю". Но слово *роскошь* принято было мною за насмешку, досада моя увеличилась, и я опять не отвечал ни слова. В этой же комнате стояло и маленькое фортепиано. "Эта вещь кажется

* Счастливым муж!

мне полезную, — сказала Люция, — она может иногда служить к твоему развеселению!..”

“К моему развеселению, — воскликнул я с горестным чувством, — с этой минуты ничто, кроме полезного труда, не должно и не будет меня веселить!” Понимая, что в этих словах заключен был упрек, она села за фортепиано и начала играть.

Я устремил на нее глаза, и звуки инструмента противу воли заставили меня содрогнуться. Никогда приятная игра милой женщины не могла произвести такого тягостного впечатления... Люция играла мое любимое рондо⁵; оно оживило в воображении моем прошлые годы нашего счастья; но в эту минуту одна погибель счастливых дней моей Люции приводила меня в отчаяние!.. Я не слышал ее с самого начала революции... а теперь видел перед собою во всем блистании молодости и красоты... Этот образ возобновил в моем воображении веселые сцены Парижа, а мысль о прошедшем живее заставила меня почувствовать, сколь горестно было настоящее. Слушая музыку, смотря на Люцию, напрасно искал я вокруг себя моего брата, его жены, его семейства, моих друзей!.. Я был один, на отдаленном краю мира, в двух тысячах милях от моей отчизны!.. Сердце мое стеснилось, и я принужден был поспешно уйти из горницы.

Запасшись в Бостоне холодным ужином, я был избавлен в тот вечер от неприятности предложить Люции невкусное стряпанье нашего негра. На другое утро по нужному делу отправился я очень рано в город, сказавши Люции, что возвращусь к самому обеду. Но дело мое кончилось очень скоро, и я возвратился гораздо прежде того времени, в которое могла ожидать меня Люция. Мысль о худом обеде меня пугала: Иосиф был очень неискусен в своем ремесле; он умел варить в воде мясо и зелень: какая пища для женщины, которой вкус приучен был к разборчивости изобилием! И мне казалось крайне жестоким осуждать ее на такую перемену в образе жизни!.. Я вошел в хижину с горестию в сердце. “Увы, — говорил я самому себе, — я найду здесь не счастливую и довольную жребием своим супругу, но тихую, непорочную жертву, подругу несчастья, терпеливую, покорную, без ропота увядающую в тоске и скуке”.

Спрашиваю, где Люция. Иосиф рассказывает мне, что в маленькой горнице, находящейся подле кухни; дверь этой горницы была растворена. Приближаюсь тихо — вхожу — вообразите мое удивление: вижу перед собою крестьянку прелестную, одетую в корсет из самой простой материи, в коротенькой юбке, в фартуке, в простых кожаных башмаках. Стройность гибкого стана, прекрасные светлые волосы, руки белизны ослепительной, нежные, совсем почти обнаженные... это Люция!

Но что она делает, к чему такой наряд?.. Я подхожу... Люция слышит шум, оборачивает голову... Что же? Она составляет тесто для хлеба!.. Я остолбенел, и сердце мое затрепетало так сильно, что я принужден был прислониться к стене. Люция сложила руки и с умоляющим видом воскликнула, улыбнувшись, как ангел: “Друг мой, ради Бога, не смейся надо мною... Это не в первый раз! Уверяю тебя, что я пеку хлеба не хуже Бетси!..” Я упал на колена, и слезы ручьями побежали из глаз моих. Это движение изумило Люцию: то, что она делала, казалось ей весьма обыкновенным. “Но, друг мой! — сказала она, — когда же благодарила я тебя за то, что всякий день работаешь по несколько часов в нашем саду? Ты можешь копать свои гряды; а я могу печь хлеб. Что же находишь в этом удивительного?”

“О, Промысел непостижимый, — воскликнул я. — Какою дорогою возвел ты меня на эту степень счастья!.. И я роптал!.. Теперь не желаю забыть о наших потерянных благах! Эта минута все заменила!.. Фортуна и почести, блага ничтожные, сколь же вы для меня презренны!.. О Люция, в эту минуту я вижу тебя в одной восхитительной красоте добродетели! Одно совершенство небесной души придает в эту минуту милому лицу твоему ту прелесть, ему одному свойственную, которая всякое движение твое делает трогательным, любезным, пленительным. О, благословляю судьбу, которая все у меня похитила, чтобы все даровать одной тебе, чтобы возвысить тебя над всеми другими женщинами и сделать для них навсегда примером!..”

Слова сии произнесены были с движением страстным и с таким жаром, какого Люция никогда не замечала во мне прежде. Ее изумление соответствовало моей чувствительности; по щекам ее тихо катились слезы. Она велела мне сесть; сама подле меня села, прижала руку мою к сердцу и сказала:

“Благодарность твоя, мой милый друг, неизъяснимо трогает мою душу; но я и теперь не могу ее постигнуть. Скажи мне, почему кажется тебе чудесным то, что мы делаем друг для друга?.. Не думаешь ли, что эти новые заботы мне в тягость? Ты ошибаешься; они нимало не утомительны, и я несравненно более радуюсь тому, что госпожа Виллис и ее Бетси выучили меня в четыре месяца печь хлеба, нежели музыкальному своему таланту, с трудом приобретенному в десять лет. Всякое истинно полезное дело всегда имеет в глазах наших неописанную прелесть; но эта прелесть увеличивается, когда полезное считаешь необходимым, и она обращается в восхищение, когда трудишься для милого человека. Не то же ли чувствуешь и ты, работая в нашем саду? Милый друг, таинственный голос уверяет меня, что в этом прекрасном, смиренном жилище буду я несравненно счастливее, нежели пре-

жде. Для нас не останется ни одной минуты принуждения, праздности и скуки, и с этого времени будет существовать между нами восхитительное согласие, — согласие в трудах и желаниях; согласие в беспрестанной мене услуг взаимных; согласие в образовании новой, общей судьбы, сладостной и благородной!”

Я слушал ее с неописанным восхищением — и самые глаза мои были очарованы. Никогда Люция не была для меня так прелестна, как в этой простой одежде. Весьма естественно. Прежде, в блестящем светском кругу я мог невольно сравнивать ее с другими, и даже во многих замечать с нею некоторое сходство; но в этом уборе какая крестьянка могла с нею сравниться? Какая крестьянка могла иметь такой прелестный стан, такую приятность в движениях, в голосе, в разговорах? И наконец, могли ли я видеть такие нежные руки, составляющие тесто для хлеба!

Какая перемена в моей судьбе! Какую чудесную силу имеет добродетель, соединенная с чувствительностью сердца, и как в эту минуту была украшена в глазах моих та хижина, которая за несколько времени представлялась мне и печальною, и слишком бедною! Вместе с любовью находил я в ней и спокойствие, и радость, и счастливую беззаботность о будущем... “О, моя Люция, — говорил я, — минуту, в которую я открыл такую нежность, такие высокие чувства в душе твоей, почтиваю истинным началом моего с тобою союза. Счастливый день нашего брака ознаменован был великолепием и блеском; холодное уважение, обыкновенная любовь казались нам верным основанием счастья. Нет, Люция, нет, священные узы брака соединили нас только судьбою. Но та возвышенная любовь, любовь, воспламеняемая каждою мыслию и не могущая угаснуть от времени — она родилась в этой хижине! Здесь заключили мы тот союз, который сливает души, одна для другой сотворенные... Свет разлучил нас, препятствуя нам друг друга узнать: можем ли мы сожалеть о его утрате?”

Несколько времени забывались мы в этом разговоре, которого восхитительное воспоминание никогда в душе моей не исчезнет. Наконец Люция встала, сказав мне: “Приступ к хозяйству был для меня очень счастлив; но мне еще надобно приготовить обед...” “Приготовить обед! Что это значит?” “Я превеликая искусница стряпать!” “Можно ли?” “Если бы ты знал, как все удается тому человеку, который имеет и прилежание, и некоторую легкость в понятии. Обыкновенная служанка, неловкая и ленивая, должна учиться тому несколько лет, чему я выучилась без всякого почти труда в четыре месяца. Уверяю тебя, что все те мелочи, которыми занимают нас в молодых годах как делом важным, несравненно труднее полезных упражнений хозяйства. Но полно говорить, время приняться за дело! Поди в сад и нарви салату, а я иду к

своему очагу”. Она обняла меня, а я прижал ее к сердцу, не будучи в состоянии сказать ей ни слова. Непобедимая сила привязывала меня к тому месту, на котором я ее видел; мне нужно было прийти в себя, нужно было успокоиться, чтобы думать о своем счастье. Смутное упоение души моей препятствовало мне рассматривать его в подробностях: я мог только чувствовать его вообще; я видел одни только сделанные ею хлебы; я мог только повторять: “Душа ее согласна с моею!.. Она будет счастлива!.. Я не увижу ее ни томною, ни унылою, ни задумчивою: она будет счастлива!”

Иосиф пришел сказать мне, что меня ожидают обедать. Я вошел в маленькую нашу столовую в то время, когда Люция брала из рук своего сына хлеб, чтоб положить его на стол, ею самую накрытый. Щеки ее оживлены были ярким румянцем; она казалась мне торжествующею, была весела как младенец, и эта веселость составляла прелестную противоположность с тем милым и кротким простосердечием, которое во всякое время на лице ее изображается. Какой восхитительный обед! Какое очарование!.. “Отведай моего хлеба, Дорсан, — сказала Люция, — он должен быть очень вкусен, если верить наружности... А мой обед, каков он тебе кажется?” В это время она сажала за стол Феликса, которому отрезала кусок своего хлеба. Феликс отведал его и сказал с милою чувствительностию, принявши на себя важный вид: “*Прекрасный хлеб, маменька!*” Потом, поглядев на меня, он прибавил: “*Маменька пекла этот хлеб сама*”. Люция улыбнулась, и на глазах ее сверкнули слезы... А я в восхищении поцеловал Феликса и воскликнул:

“Как много люблю тебя, мой милый младенец! Ты уже начинаешь чувствовать цену твоей матери! О, как ты будешь дорог мне, когда придешь в те лета, в которых и добродетели ее сделаются тебе понятны; когда мы будем с одинаким чувством о ней говорить, вместе ее обожать, вместе ею восхищаться!”

Обед был очень вкусен, но я совсем не имел аппетита и ел только для вида, в угождение Люции. Сердце мое так сильно было растрогано и так стеснено разнообразными чувствами, что я почти не имел возможности говорить. После обеда пошли мы в сад, и Люция, сев на скамейку, сказала мне:

“Теперь ты должен узнать все мои тайны. Опасаясь твоей недоверчивости, я принуждала себя скрываться: ты, без сомнения, не поверил бы, чтоб в несколько месяцев было возможно приобрести знания госпожи Виллис; но ты не один раз с большим аппетитом ел и похлебку, и зелень, изготовленные мною, совсем не воображая, чтобы они были мое творение. Я не хотела однако открыть моего таланта; ты мог бы подумать, что мне помогают”.

— Но, по крайней мере, ты позволишь мне отпустить Иосифа, а на место его нанять служанку, которая могла бы облегчать твою работу?

— Нет, нет, ни за что на свете! Я буду тогда менее для тебя полезна, и все труды потеряют в глазах моих главную свою прелесть. Пускай Иосиф помогает мне исправлять тяжелые работы, более ничего и не требую; но для меня останется еще много и других занятий. Попечения о хозяйстве займут не более четырех часов в сутки, то есть не более того времени, которое ты должен будешь посвящать своим работам. Остаток нашего дня займем приятными прогулками и прежними обыкновенными упражнениями: разговором, музыкою, чтением, рисованием, и время, которое так бременит праздного человека, будет пролетать для нас со всеми прелестями счастливых и спокойных мечтаний невинности! Вспоминать о нем будет для нас сладко; но в этом воспоминании однообразности, не представляющем никаких происшествий заметных, целые годы сольются для нас в один прекрасный и тихий день... Другое признание, милый друг: я продала все свои дорогие платья и накупила простых, приличных деревенской хозяйке...

— Как, Люция, ты хочешь всегда ходить в этом уборе?

— Для каких же визитов и церемоний могу я теперь наряжаться? Но я имею и праздничное платье, белое, самое простое, очень приятной формы! Я уверена, что оно тебе понравится... Этого не довольно: деньги свои истратила я не на одни наряды; я продала и свои золотые вещи — на эту сумму купила мне госпожа Виллис прекрасную корову и кур... Прошу тебя воздержаться от восклицаний! Благодаря наставлениям Бетси, умею очень искусно доить корову, делать сыр и смотреть за птичьим двором; а на лугу, принадлежащем к хижине, и корова и старая наша лошадь найдут для себя очень вкусную пищу; два раза в неделю сама буду ездить в Бостон продавать наши плоды и зелень, дабы не лишить тебя Иосифа, который во всякую минуту бывает нужен или в саду, или в доме. Мы будем жить в довольстве, имея даже и прихоти. А ясность души, а счастливое одобрение совести, а нежный союз и мыслей и чувства..., а милый наш Феликс, рожденный с прекрасною душою, привязанный к одним только нам и зреющий на наших глазах, удален будучи ото всех опасностей и примеров разврата?... О Дорсан! Если такое счастье не заменит для нас всего, что мы потеряли, то как велика будет неблагодарность наша к Провидению, которое в страшное время бедствий всеобщих даровало нам наслаждения золотого века!

Последние слова произнесла она прерывающимся голосом; а я облил руку ее слезами... О сладость чистой любви, кто может тебя изо-

бразить! Среди ничтожных светских сует любовь моя могла охладиться; но в эту минуту восторг удивления возобновил ее с такою силою, которая до сего времени была для меня еще неизвестна: любовь сия была оный священный огонь, который угаснул от руки нечестивых и снова оживился от чистых лучей небесного пламени.

На другой день имели мы удовольствие видеть у себя госпожу Виллис — единственное постороннее лицо, которое не могло быть мне в тягость: она умела отдавать справедливость Люции, и госпожа Виллис, пожавши руку мою сильнее прежнего, несколько раз воскликнула: "*Happy husband! Happy husband!*" Но какое слово могло достаточно изобразить мое счастье!

Я уже вам сказал, что Люция непременно хотела сама ездить на рынок. В старое время, когда мы живали в деревне, она прекрасно управляла кабриолетом, следовательно, и теперь нетрудно ей было привести в послушание смирную нашу лошадь. Одетая в крестьянское платье, в белой соломенной шляпке, с корзинкою, полною огородной зелени на руке, прелестная, как ангел, с видом царицы и непорочной девы взошла она в первый раз на свою телегу и расположилась между капустою и репою так непринужденно, так просто, как будто уже приучена была к тому положительным навыком. Я удивлялся, но менее удивлялся ее несравненным поступкам, нежели той простоте, которою поступки ее украшены были во всякое время.

Люция все успевала делать, и никакого труда не находила она тяжким. Минуты ее распределены были так порядочно, с таким благоразумным расчетом, что никогда не казалась она озабоченною своим делом, и я тем более наслаждался ее трудолюбием, что ни в каком случае не замечал в ней усталости: совсем не помню, чтобы она или задумывалась, или скучала. Тихая веселость ее всегда была одинакова; трудом укрепила она свое здоровье; а на лице ее, удивительно сохранившем свою белизну, расцветали и живость, и свежесть.

Я никогда не мог привыкнуть к тому удовольствию, с каким смотрел на нее, работающую на кухне, или на птичьем дворе, или в кабинете, где она иногда рисовала цветок, мною для нее возвращенный, иногда играла на фортепиано какую-нибудь Штейбельтову сонату⁶, иногда сидела за книгою. Таланты придавали неизъяснимую прелесть ее хозяйственным заботам, а ее превосходные сведения в хозяйстве удивительно украшали сии приятные таланты.

Мы собрали несколько лучших книг, и вечера были у нас определены для чтения. В это время особенно нравились нам из стихотворных произведений именно те, которые прежде казались искусственными и слишком далекими от истины, это эклоги. Я не скажу, чтобы

изображения природы и сельской жизни, находящиеся в сих поэмах, совершенно меня удовлетворяли; но я уже не почитал их ни мечтательными, ни слишком украшенными. Какое изображение *Виргилиевой* или *Геснеровой пастушки*⁷ могло мне казаться неестественным, когда я смотрел на Люцию или ее слушал? И вся наша жизнь не была ли идиллия, достойная кисти добродетельного *цирихского поэта*? Напротив, перечитывая *буколических стихотворцев*, я замечал, что истинные чувства были ими выражаемы или слишком слабо, или только слегка, и что любовь особенно редко являлась у них с чертами чувствительности глубокой. Я сообщил свое замечание Люции.

— Это происходит оттого, — отвечала она, — что стихотворцы никогда не описывают счастливой любви, супругов!

— И я то же думаю; любовь, основанная на удивлении сердца, любовь, очищенная от ревности, беспокойства, сомнения, имеет в себе нечто небесное: кто же осмелится изображать ее?..

— И надобно заметить, что истинная чувствительность согласуется с одною только позволенною, непорочною любовию; ибо одна невинная, позволенная привязанность может быть и продолжительна, и постоянна. Она одна великодушна и благородна; всякая другая более или менее смешана с эгоизмом: страсть необузданная всякую минуту готова пожертвовать и честью, и славою, и спокойствием милого предмета. О, как ничтожны и слабы те склонности, которых не одобряет рассудок! Довольно одной разительной, справедливой мысли, чтобы заставить нас от них отказаться. А принуждение их скрывать, а стыд, сопутствующий их открытию... сколь тягостны они для души чувствительной и высокой!..

— Описывая силу виновной страсти, всегда описывают одно несчастье, ибо называют ее исступлением. О Люция, мы не имеем сего исступления! Чем более повинuemся рассудку, тем счастье наше становится и чище и совершеннее! Любовь моя к тебе может увеличиться только тогда, когда и сердце мое приобретет более добродетелей, благородства и чувств высоких; сделавшись лучшим, я сделаюсь более чувствительным; чтоб охладеть в любви, мне надобно развратиться: а для такой любви, какова наша, ни призраки, ни заблуждения уже не существуют; она равно украшает и ранние и поздние годы жизни; воспоминания об ней имеют всю прелесть воспоминания о добродетели. О Люция! Скажи мне, любовь не есть ли единственное основание твоих поступков?

— Нет, милый друг! Должность при всяких обстоятельствах жизни имеет для женщины силу любви!

— Но ты была бы менее счастлива.

— Я наслаждалась бы другого рода счастьем: я более значила бы в собственных глазах своих; теперь, напротив, могу ли уважать сколько-нибудь мои поступки? Я не упрекаю себя ни в чем; я имею спокойствие невинности: но если ни для какого поступка не нужно мне делать, над собою усилия, ни подкреплять себя убеждениями рассудка, то как могу воображать, что я добродетельна? Ах нет! Я могу только радоваться своим счастьем!.. — Так скромно судила о себе Люция.

К усовершенствованию наслаждений моих не доставало одного только свидетеля, способного меня понимать: я чувствовал, что для меня необходимо было говорить об ней и разделять восхищение мое с другими. “Ах, — восклицала иногда Люция, — когда бы Вольнис, когда бы Эльмира были с нами!..” Как живо участвовал я в этом желании ее сердца!

Все было соединено для очарования нашей жизни: любовь, молодость, здоровье, непорочные склонности, спокойствие совершенное; мы были заключены в той счастливой посредственности, в которой желания не могут расширяться, не сделавшись честолюбивыми, и мы, умея ценить приятную свою ограниченность, искренно сожалели о тех несчастных, которых гибельное величие окружено злодействами, завистию, злобою, гонением. И самое удовольствие благотворительности не было у нас похищено. Люция в начале каждой недели относил прекраснейший хлеб своего печенья к одной бедной вдове, имевшей трех малолетних детей и жившей неподалеку от нас; а я присоединял к этому скромному подарку несколько связок лучшего салата: таким образом по силам своим помогали мы существовать горестному семейству. Добрая вдова жила рукоделием, и эта работа, соединенная с нашим пособием, составляла и для несчастной ее сироты пропитание верное. Хижина бедной женщины сей была в двухстах шагах от нашей, ветхая, почти развалившаяся. Иосиф с моею помощью поправил ее, и она, по крайней мере, могла уже давать защиту от холода и дождя. Люция между тем заботилась и о приведении в лучшее состояние хозяйства Мони (имя вдовы): она дарила ее посудой — иногда какою-нибудь оловянною чашею, глиняным горшком, стеклянною кружкою; сама приносила их в хижину, сама расставляла по полкам, и эта забота была чрезвычайно для нее приятна; она отступала на несколько шагов, чтобы *издали* полюбоваться своим порядком, опять приближалась, еще что-нибудь переменяла, снова отходила — словом, и минуту благотворения была младенец, но милый и восхитительный младенец. И всякий раз это рассматривание оканчивалось печальным вздохом, которого причина была весьма для меня понятна: Люция сожалела, что это собрание редкостей было неполно, и что на полках оставались

пустые места, которые, несмотря на ее старание расположить с возможным великолепием стаканы, горшки и кружки, все еще оставались заметны. Она воображала, какой прекрасный вид составили бы две или три новые вазы, и сожалела, что не имела на эту минуту ничего лишнего между своею посудю. И, возвращаясь домой, я был уверен, что найду ее в великом размышлении перед шкапом, старающуюся доказать себе, что та или другая вещь для нас бесполезны, дабы иметь основательную причину переселить ее на полку бедной соседки. Милая, трогательная благотворительность! Сердце не хотело уклониться от того правила, которое предписывает нам сохранять должную меру в благотворении, дабы она могла быть и основательною, и постоянною. Люция чувствовала, что настоящая возможность есть истинная мера благотворительности для доброго сердца. О благодать Божественного Промысла, какие наслаждения и в самых несчастьях даруешь ты чувствительному сердцу!

Прошло более двух лет со времени переселения нашего в Америку. Господин Т**, которого мы часто видали в Париже, любезный своим умом, кротким характером и остроумием в разговоре, также принужден был искать убежища в этой части свеча. Ему неизвестно было, что мы находимся в Бостоне; ибо революция и отдаление совсем разорвали наши с ним связи. В одно утро, прохаживаясь по городской площади, увидел он на одной телеге, остановившейся позади великого множества других, молодую крестьянку, которой необыкновенная красота его поразила: она показалась ему столь похожею на госпожу Дорсан, что он решился подойти к ней поближе. Подходит — Люция узнает его и кланяется. “Что вы здесь делаете?” — спрашивает Т*, удивленный до чрезвычайности. “Дожидаюсь, чтоб меня пропустили; хочу продавать свою зелень!” В эту минуту телеги тронулись, и Люция ударила хлыстом свою лошадь и скрылась. Она успела, однако, пригласить господина Т** в нашу хижину и рассказать ему, где мы жили. Он на другой же день отыскал наше жилище. Это посещение обрадовало меня несказанно: я увидел наконец перед собою человека, с которым мог говорить о Люции языком ему понятным, и мы имели удовольствие, описанное во многих романах, рассказать друг другу случившееся с нами в последние два года. Разговор наш был прерван явлением моего негра, который с важным своим лицом подошел прямо к Люции, оборотился к ней спиною и, показав большую на камзоле своем прореху, сказал: «Надобно зачинить». Люция, которая в эту минуту говорила, не оставляя материи, взяла иголку и зачинила Иосифу камзол: милая простота, с которою она это исполнила, была трогательна и вместе забавна.

Прощаясь с нами, господин Т** сказал: “Весьма естественно сожалеть о вас при виде этой убогой хижины; но, заглянувши во внутренность ее, нельзя удержаться от зависти! Пользуйтесь своим счастьем: никакая сила фортуны и никакое волнение империй не могут его у вас похитить!”

Так, конечно! И я умел чувствовать цену такого счастья!.. Самое однообразие жизни нашей имело особенную свою прелесть. В каждой неделе и в каждом дне были для нас эпохи удовольствия, отличные от прочих своею приятностию, и эта приятность нимало не уменьшалась от времени и привычки. Например, минута завтрака всегда бывала для нас счастливою, особенно летом в хороший день на воздухе, под тению прекрасной виноградной беседки; я никогда не садился за стол без некоторого радостного нетерпения: работа усиливает аппетит, а мой обед готовила Люция. Каждое новое блюдо, выдуманное или лучшим образом изготовленное, было в нашем углу происшествием важным. Таким образом, нежная чувствительность и чистота сердца самые обыкновенные удовольствия делала для нас благородными и высокими. А дни, в которые Люция должна была ездить в город? Какое впечатление всегда производил во мне стук ее телеги! Взвзвись с Феликсом за руки, мы выбежали ей навстречу. Мы видели ее вдалеке, мы слышали голос ее, понуждавший лошадь к скорейшему бегу... Чтобы помочь ей сойти с повозки, я брал ее на руки и насколько минут удерживал в своих объятиях; Феликс между тем, в большом нетерпении получить свои поцелуи, приподымался на цыпочки, дергал ее за платье и кричал: *“Ко мне, милая маме́нька!”*

И каждый день становилась для нас ощутительнее приятность искренних наших разговоров, приятность взаимного сообщения сокровеннейших мыслей и скромных планов для будущего!.. А по окончании дня с каким услаждением, всегда для меня новым, следовал я глазами за Люциею, когда она приближалась к колыбели спящего своего сына, становилась подле него на колени и начинала молитву свою трогательным благословением матери, которое призывало и, без сомнения, влекло на главу его благословение Вездесущего!.. Через несколько времени новое упражнение увеличило для нас приятность уединенной жизни — забота о воспитании нашего сына. Я учил его латинскому языку, истории, географии, а Люция давала ему уроки рисованья; он находился при всех наших чтениях, которых прелесть увеличивалась от его присутствия; а милый характер его и прилежность были сладчайшею наградою за все наши о нем попечения. Он обожал свою мать, и я наконец уже мог говорить с ним о ее совершенстве, мог уже открывать ему свои чувства, которые он понимал,

и, словом, он был для меня и самый прелестный младенец и самый любезный поверенный моего сердца.

Наконец, по прошествии четырнадцати лет, благодаря твоему старанию, я мог возвратиться во Францию; но мы не без сожаления прощались с тою смиренною хижиною, в которой не было для нас ни единого дня печали, в которой из самых горестей извлекали мы наслаждения прямые.

Путешествие наше было благополучно. Увидя отечественный берег, я не почувствовал себя счастливее; но мне показалось, что прежняя молодость ко мне возвратилась; а теперь, видя себя в кругу драгоценнейших для меня людей, чувствую в глубине души, что счастьем совершенным можем мы наслаждаться только в отчизне, а не в разлуке с милым семейством».

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

Молодая Амелия д'Освиль, избалованная счастьем, природою, любовию нежных родителей и светом, была несколько ветрена — и это весьма естественно: приучаясь с молодых лет иметь доверенность к своим великим достоинствам, мы нечувствительны делаемся и неосмысленны и тщеславны, и редко бываем способны к основательным размышлениям.

Но милые шестнадцать лет, приятное лицо, любезность и привлекательный ум могут иногда украшать в глазах наших малые недостатки. Тщеславие любимой женщины кажется нам справедливостию, и мы забываем, что скромность ее была бы для нас гораздо приятнее. Клерваль, влюбленный в Амелию, желая понравиться ей, употребил самый обыкновенный и самый действительный способ — ласкательство. Клерваль имел острый ум, воображение живое и дарование весьма неважное, но приятное — сочинять с большою легкостию стихи к случаю, которых главное достоинство состоит в приличии: они рождаются подобно искрам, блистают одну минуту, но весьма часто глубокое впечатление остается на сердце той женщины, которая была их предметом.

Клерваль получил наконец руку Амелии. Прошло два года, Амелия сделалась матерью, и ничто, по-видимому, не возмущало их счастья. Но обхождение Клерваля мало-помалу совсем переменялось: он был примерный муж — это правда, но Муза его замолчала, и он перестал уже превозносить в страстных мадригалах прелестные глаза Амелии. Заботясь об одном ее счастье, он забывал ласкательство, и все его слова были простым выражением доверенности, уважения, дружества

непритворного. Он думал, что язык счастья не имеет никакого сходства с языком желаний; что лесть, иногда очень приятная в свете, совсем не должна быть терпима в обхождении с женою, всегдашним спутником нашей жизни; словом, Клерваль, любезнейший из любовников до брака, сделавшись мужем Амелии, желал быть просто любезнейшим из супругов.

Но иметь не более осмнадцати лет и любить своего мужа за одни добрые качества — какая редкость! В сии лета обыкновенное размышление не успело еще перейти в сердце, и Амелия чувствительно оскорбилась ужасною переменою Клерваля. Она вообразила, что молодость и красота давали ей полное право искать в большом свете того *обожания*, в котором отказывали ей дома; скоро заметили, что главную страстию Амелии было тщеславие, и всякий спешил угождать этой взыскательной страсти, ибо Амелия была в самом деле прелестна. Но Клерваль, с своей стороны, также заметил, что жена его пользовалась блестящими подвигами своими весьма неумеренно; и он подумал, что такое чрезмерное желание нравиться, наконец, может быть вредным собственному ею счастью и очернить Амелию во мнении света.

— Ты очень была весела на вчерашнем бале! — сказал он однажды Амелии. — Я замечаю с огорчением, милый друг, что ты в большом свете кажешься счастливее, нежели дома.

— Ты не ошибся, — отвечала Амелия, — в свете умеют мне отдавать справедливость, а дома я совершенно забыта.

— Как можно иметь такие мысли, Амелия! В свете говорят тебе много приятного, и это очень хорошо; но дома обращаются с тобою как с женщиною, достойною уважения, как с доброю матерью, как с нежною супругою, и это гораздо лучше. В свете самолюбие приводит в движение все пружины легкого и ветреного ума, чтобы вскружить тебе голову; дома говорит с тобою сердце со всею откровенностию. В свете хотят тебя обольстить; но дома...

Этот разговор был прерван прибытием гостей. Госпожа Клерваль, окруженная роем модных молодых людей, казалась царицею между восхищенными подданными. Разговор был живой, хотя несвязный; каждый находил способ оказать любезность свою и остроумие. Всякое слово Амелии замечено; его повторяют, им восхищаются. Как она мила! Какая приятность! Какой тонкий ум! И похвалы сии были тем обольстительнее, что Амелия и в самом деле их стоила.

В числе молодых обожателей г-жи Клерваль особенно отличился Флоревиль. Он был очень строен, имел приятное лицо, одевался по самой последней моде. Правда, что все наружные приятности сии были испорчены излишнею внимательностию к самому себе и что при всей

необыкновенной беглости ума своего Флоревиль не имел ни капли здравого рассудка; но правда и то, что, не имея этих двух недостатков, он не приобрел бы, конечно, такого успеха в свете, где принужденность, проистекающая от чрезвычайного старания нравиться, принимается за хороший вкус, странности кажутся хорошим *тоном*, и недостаток модный нередко предпочитают самому доброму качеству.

Флоревиль неотступно преследовал Амелию и начинал уже думать, что она была к нему несколько благосклонна. Он, в самом деле, не ошибся. Амелия имела правила и всею душою любила свою должность, но было уже время подать рассудку ее помощь.

В один день Клерваль нашел на письменном столике жены своей недоконченное письмо — и вот что писала Амелия к короткой приятельнице своей, госпоже д'Орменон:

«Напрасно, мой милый друг, завидуешь моему состоянию. Я счастлива, если хочешь — но это счастье совсем не сходствует с приятным твоим описанием. Клерваль есть лучший из людей, и я совершенно уверена, что он меня любит. Но говорить ли искренно? Клерваль уже не то, что был до нашего соединения. Исчезло время, в которое он угождал моим малейшим прихотям, спешил предупреждать малейшие мои желания. Тогда каждое слово его была приятная ласка — теперь... он совершенно забыл любезный язык приветствия. Мы сделались равными; он даже осмеливается подавать мне советы — мне, которой каждое слово было для него некогда законом. Он совершенно пренебрегает теми способами, которыми прежде старался мне нравиться, и которые одни могли привязать к нему мое сердце. Сказать яснее, я умерла бы со скуки, если бы не окружало меня множество милых молодых людей; все они восхищаются мною, и все восхищают меня своим вниманием, тем более ощутительным, что мой Клерваль час от часу становится невнимательнее. Между ими есть один... Ах, Люция! Когда бы ты его увидела! Имя его Флоревиль! Невозможно быть остроумнее, любезнее, привлекательнее. Каждое слово его мило — он теперь в моде, и надобно признаться, что мода на этот случай в выборе своем не ошиблась. Я замечаю, что он отличил меня от других...» На этом месте Амелия остановилась.

Такое письмо не могло не тронуть Клервиля. Но он, подумав несколько минут, нашел, что это же огорчительное письмо представляло ему самый вернейший способ исправить легкомысленную Амелию. «Она меня любит, — подумал Клерваль, — она отдает справедливость моему сердцу; не поступки мои, но тон моего обхождения с нею находит она неприятными — согласен! Готов переменить обхождение! Она желает ласкательства и приветствий — исполню эти желания;

соперники мои побеждены будут собственным их оружием, или, лучше сказать, Амелия, которая имеет здравый рассудок и прямо чувствительное сердце, узнает на опыте, как скучны ласкательства светских людей, когда заменяют они в дружеском союзе простоту, откровенность и скромное уважение».

Он приезжает в то общество, в котором находилась тогда Амелия; подходит к ней, вмешивается в толпу окружавших обожателей. Флоревиль оживлял общий разговор и никогда еще не был так привлекателен и так остроумен. Он осыпал Амелию милыми ласкательствами, и прелесть его выражений приводила в уныние всех других совместников, которые отчаивались дойти до такого совершенства любезности. Между тем Клерваль приготовил для общества совсем нового рода сцену: он садится между Амелиею и Флоревилем, и вдруг началась между ими страшная борьба приветствий, беглый огонь мадригалов, которых предметом, или лучше сказать, жертвою была Амелия! Клерваль наконец одержал победу.

Начались игры — их называют *невинными*: но эта невинность в одном только имени. Клерваль ни на шаг не отдаляется от Амелии: он пользуется каждым случаем, чтобы сказать ей лестное слово. Амелия приведена в великое замешательство страстную ролью своего мужа: она краснеет, замечая, что все другие женщины смотрят на нее с извительною улыбкою; вслушивается в их слова; несколько голосов позади ее шепчут: «Как этот Клерваль забавен! Смешно говорить жене своей такие похвалы в большом обществе! Разве не имеет он времени пересказать ей все это наедине! Любовь супружеская очень приятна дома; но в свете... Какая странность!»

Начинают вынимать фанты: Флоревилю достается описывать любимую им женщину — и портрет его найден восхитительным. Как не узнать Амелии? Все на нее смотрят — бесполезная насмешка зависти, увеличивающая торжество красоты! Наконец и на Клерваля возлагают ту же обязанность, которую так удачно исполнил Флоревиль, и портрет его был гораздо милее первого — и все опять узнали Амелию.

— Наконец это несносно! Какая глупость! — говорят вполголоса женщины. — Клерваль совсем потерял рассудок!

— Этот Клерваль человек примерный! — шепчут молодые мужчины. — Не всякий муж описал бы жену свою такими прелестными красками!

Наконец посетители начали разъезжаться. Клерваль опрометью побежал за шалью Амелии, подал ей руку и сам посадил ее в карету; но, оставшись с нею наедине, он не переменил обращения. Амелия во

всю дорогу молчала; возвратясь домой, не могла уже сохранить своего терпения.

— Поступки ваши, сударь, для меня загадка! Скажите мне, ради Бога, что с вами сделалось? Я начинаю думать, что вы сошли с ума!

— Нельзя не потерять его в вашем присутствии.

— Все ваши удивительные приветствия...

— Очень мало достойны вашей любезности.

— И это забавное обожание...

— Как слабо оно в сравнении с божеством!

— А ваш портрет...

— Совсем неукрашенный.

— Но чрезвычайно странный!

— Какое искусство изобразит такие прелести?

— Вы сделали меня смешною в глазах женщин.

— Они завидовали вашим приятностям.

— Мужчины безжалостно смеялись над вами.

— Они завидовали моему счастью.

— Я несколько раз принуждена была краснеть.

— Милый румянец стыдливости усиливает очарование прелестей.

Клерваль удалился. Амелия в страшной досаде — она стыдится той роли, которую принужденно играла во весь этот вечер; колкие шутки, сказанные на счет ее в обществе, беспрестанно отзывались в ушах ее.

На другой день Клерваль приходит ранее обыкновенного в ее кабинет, весьма осторожно отворяет двери, приближается с торопливостью робкого обожателя.

— Позволено ли мне войти в святилище Граций?

Амелия пожимает плечами.

— Какая свежесть в лице! — продолжает Клерваль, как будто не заметив, что она недовольна. — Все розы весны соединились на ваших щеках!

Амелия не отвечает. Приносят ее сына; она берет его на руки, целует.

— Ах! — восклицает Клерваль. — Какая картина! Амур в объятиях Венеры!

— Боже мой! — сказала, наконец, Амелия. — Какой удивительный язык! Так ли надобно говорить мужу с женою или отцу о сыне. Покорно прошу вас переменить это обхождение; я начинаю сердиться.

— Сердиться! Можно ли? Такие прелестные глаза!

— Это несносно! Вы уморите меня от скуки! Прошу вас оставить меня одну; быть в уединении гораздо приятнее, нежели в обществе с человеком, утомляющим свою лестию.

В это время Клерваль имел важную тяжбу, которая занимала его весьма много, и она уже приведена была к совершенному окончанию — ожидали только решительного приговора судей. Но Клерваль, по-видимому, совсем перестал заботиться о своем деле; он занимался одною Амелиею. К нему является стряпчий для нужного переговора, но в это время он сочинял для Амелии песню. Амелия приступает к нему, чтобы он поехал к судьям.

— Что вы говорите, Амелия! Мне разлучаться с вами для низкого интереса?

— Но вы потеряете свой процесс!

— Зато не потеряю ни одного вашего взора!

— Вы разоритесь!

— Но вы останетесь моею; не буду ли я первый богач на свете?

Амелия хочет уйти; Клерваль удерживает ее и просит почти на коленях, чтобы она выслушала его стихи. Амелия в отчаянии; Клерваль поет десять огромных куплетов, в которых все божества мифологии принесены были в жертву Амелиным прелестям.

Наконец, он удалился — и в эту самую минуту приходят сказать о приезде Флоревилья; Флоревиль является — он ловок и мил по-обыкновенному; он приготовил тысячу любезных приветствий; рассказывает о последнем бале, на котором Амелии не было.

— Конечно, он был блестящий? — спросила Амелия весьма равнодушно.

— Блестящий! Без вас?

И Флоревиль начинает описывать виденных им на этом бале людей и в особенности тех женщин, которых красота могла несколько беспокоить Амелию. Амелия слушает без внимания; невольно мысли ее обращаются на тот разговор, который имела она с Клервалем. Флоревиль заметил ее рассеянность.

— Что сделалось с вами? Вы кажетесь несколько печальны! Несчастье? Огорчение? Но вам ли огорчаться! Все женщины смотрят на вас глазами зависти!

— Меня занимает тяжба!

— Тяжба? О небо! Но верно не с Грациями!

«Какая скука! — подумала Амелия. — Точно язык моего мужа». Но должно было отвечать на мадригал Флоревилев.

— Этот процесс для меня очень важен! И если он будет проигран...

— Проигран! Стыдитесь говорить. Ваши судьи — мужчины, а вашим ходатаем будет Амур!

Амелия начинает показывать нетерпение; она готова уже просить, чтоб ей позволено было удалиться: но в эту минуту является ее муж... Лицо его блистает.

— Амелия! Куплеты мои готовы... Ах, Флоревиль! Вы здесь; какая счастливая встреча! Вы сами пишете очень приятно стихи: прошу вас покорно выслушать мою песню и быть моим судьей. — И, не дождав-шись ответа, Клерваль запел. Он останавливался после каждого куплета и взглядывал на Флоревилья, а Флоревиль поневоле принужден был восклицать от восторга. Амелия страдает, и в довершение муки ее снова начинается бой комплиментов между Клервалем и Флоревилем. Мадригалы сыплются на нее градом; она едва не падает в обморок.

Наконец Флоревиль почувствовал, что весь запас его почти истощился, и рассудил оставить место сражения.

— Надобно признаться, — сказал Клерваль, — что этот человек очень любезен.

— Скажите: «Несносен!»

— Можно ли? Все, что он ни говорит...

— Так для меня неприятно!

— Признайтесь, однако, что он очень мило умеет сказать лестное слово!

— Но все его лестные слова для меня ужасно скучны!

— Простите меня, Амелия! Вы очень любите, чтоб вам говорили приветствия.

— Можно ли их любить? Они усыпительны.

— Однако Флоревилево остроумие...

— Жалкое остроумие!

— Правда и то, что вы имеете полное право быть строгими в рас-суждении остроумия!

— Боже мой! Опять! Скажите мне, Клерваль, перемените ли вы когда-нибудь свое обращение? Язык ваш...

— Научите меня другому!

— Эта холодная приветливость, — продолжала Амелия, проливая слезы, — приводит меня в отчаяние. Где прежний язык доверенности, уважения, дружбы? Ах, Клерваль! Отчего могли вы так много перемениться! Было время, когда вы говорили со мною как нежный, искрен-ный друг... Теперь неужели вы перестали быть моим другом?

— Я все твой друг, моя обожаемая Амелия! — воскликнул Клер-валь, прижавши ее к сердцу. — Прости мне эту маленькую хитрость, которую почитал я для исцеления твоего необходимою. Излишнее тщеславие заставляло тебя любить и предпочитать всему на свете то обольстительное ласкательство, которого истинную цену теперь ты

узнала. Я хотел доказать тебе, что удовольствия самолюбия, ослепляющего на минуту в большом свете, несносны между короткими, откровенными друзьями.

— Что я слышу! — воскликнула Амелия с веселым видом. — Все это было один обман? Ты говорил не от сердца? Как я счастлива! Урок твой очень любезен, и я даю тебе слово употребить его в свою пользу! Оставим приветливость большому свету, но между нами, в счастливом уединении семейства, пускай живет простота и нежная, невзыскательная дружба.

В.

МЫСЛИ О ЗАВЕДЕНИИ В РОССИИ АКАДЕМИИ АЗИАТСКОЙ

Juvat integros accedere fontes. Lucret¹.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ^(*)

§ 1

Понятия об истории человеческого образования весьма переменились в конце XVIII века: Восток единогласно наименован колыбелью общего просвещения. Причиною такого чрезвычайного переворота были успехи англичан в Индии², открытие священного языка браминов³ и сочинений Зороастра⁴, критическое рассмотрение книг библейских учеными людьми Германии⁵, наконец, учреждение Азиатского общества в Калекуте⁶, и теперь уверены мы совершенно, что Азия есть то средоточие, из которого истекло просвещение, разлившееся по всему земному кругу: сия прекрасная гипотеза, удивительно соответствующая преданиям священным, должна почитаема быть неотвержимою.

Пройдите в этом отношении внимательным взором всю историю, и вы увидите, что самые разнородные, с первого взгляда, части соединятся в одну порядочную систему, составляющую обширное распространение одного и того же начала. Соедините открытия новых с понятиями древних, и вы останетесь убежденными, что Азия есть главный источник образования человеческого. Первые известные нам просвещенные народы от Востока заимствовали начальные свои понятия, преобразованные ими в религии, более или менее сходные. Греческие мудрецы искали просвещения в Индии⁷. Поражены будучи

(*) В С.-Петербурге недавно напечатана французская книга: *Projet d'une Académie Asiatique*. Читатели ВЕ, конечно, останутся нам благодарными за перевод этого сочинения, в котором они заметят многие важные мысли и которое представляет вниманию их новый, со многих сторон привлекательный предмет, изображенный пером искусным. Пер.

величественною красотою ее природы, древностью ее мнений и зрелостью обычаев, от нее заимствовали они свои философические системы, свои понятия о нравственности, об установлениях моральных. С одной стороны, Индия обогащает их мыслями философическими; с другой — Финикия и Египет, колонии Востока, дают им своих символических богов⁸, которых они преобразуют, приравливаясь к обычаям и привычкам местным. Так греческая философия и религия получили свое существование от мнений восточных; а когда римляне, наследники и подражатели греков, перенесли в Италию сначала систему их богопочтения, потом и философические их понятия; тогда и мнения восточные с могуществом Рима устремлялись на Запад и часто на пути своем встречали они понятия, уже утвержденные, но имеющие общее с ними происхождение, и неизвестными для нас происшествиями отделенные от страны отеческой.

Таково было вообще нравственное влияние Востока на Европу.

И влияние политическое не менее обширно. Наименуем одного Магомета, пророка, завоевателя, стихотворца⁹, грозившего низвержением и древней Империи, уже готовой к упадку, и новой религии, возникшей на развалинах всех прочих¹⁰. Ужас побед Магометовых распространил во многих странах известного тогда света религию, созданную сим необычайным человеком. Главными следствиями магометанства для Европы было падение Константинова трона¹¹, крестовые походы¹² и пребывание мавров в Испании¹³.

И если, с одной стороны, Магомет угрожал гибелью законам и свободе Европы¹⁴, то с другой — он был могущественною, хотя постороннею, причиною тех чрезвычайных перемен, которые впоследствии ее преобразили. XV век есть плод великих сих происшествий, и он же есть эпоха нового деятельного влияния Востока на Запад — влияния мирного и вместе победоносного, влияния, которое привело в движение множество неизвестных дотоле пружин и сообщило идеям ту чрезвычайную стремительность, которая произвела и великих людей, и дела великие. Открытие мыса Доброй Надежды¹⁵ совершенно переменило строение политического мира: обретши дорогу в Индию, мы познакомились с тысячею новых способов обогащения и промышленности, и сие важное открытие весьма способствовало к произведению того блеска, в котором представляется нам XV столетие.

§ 2

Жители Востока, обезображенные установлениями варварскими, хотя новыми, сохранили, несмотря на то, некоторые черты древнего

своего образа¹⁶. Тот же климат производит и те же склонности. И ныне, полагая благо верховное в совершенной недеятельности, имеют они воображение чрезвычайно беглое и цветущее. Араб пустынный, сидя под шатром своим, с наслаждением слушает повествования, сказочки; унылою песнею выражает он горесть свою о потере любимого коня¹⁷. Воспоминание о праотцах и древней их славе повсюду ему сопутствует; он в мужестве подобен им и только перестал быть завоевателем.

Персы уже не поклоняются солнцу; но они ему обязаны пламенным и сладострастным характером своей поэзии. Последователи Зердуста (Зороастра) уже не существуют; но памятник его мудрости в наших руках, и сие стихотворное богопочтение не совершенно еще погибло.

Китай, слишком прославленный и слишком униженный, представляющий нашим глазам разительное зрелище народа, покорившего своих победителей¹⁸, остался неизменным среди разрушительного потока веков.

Но в Индии, особенно в сем древнем и таинственном отечестве образования, находим мы первые младенческие следы его при неоспоримых доказательствах его величайшей зрелости. Религия, философия, законы, поэзия — все представляется здесь в образе первоначальном, все представляет глазам наблюдателя остатки обширного развития образованности, и наконец, все может способствовать ему к усовершенствованию великой науки человека. Гордость Европы слишком долго пренебрегала Азию; теперь настало время дать лучшее направление этой гордости, вопросить развалины, дабы открыть в них новые причины славы, а может быть, и способы к распространению нового блеска. Дух изыскания был хорошо вознагражден за первые усилия свои, и нет причины отчаиваться в новых победах; сие только изыскание может способствовать нам положить на основаниях твердых общее начертание успехов человеческого разума.

§ 3

И Россия, в сию минуту возрождения наук восточных, ужели одна останется позади всех других народов Европы?

Россия, смежная с Азией и владычествующая всем ее севером, разделяет со всеми другими нациями то нравственное побуждение, которым они одушевляемы в благородных своих предприятиях; но сверх того она имеет еще и *побуждение политическое*, столь явственное, столь неоспоримое, что одного взгляда на карту довольно, дабы совершенно увериться в истине этого мнения. Россия, можно сказать, утверждена основанием своим на Азии. Сухая, необъятно обширная граница сливает ее со всеми

народами Востока. Но можно ли поверить? Россия из всех европейских наций одна не обращала никакого внимания на Азию! (*)

Довольно самых обыкновенных понятий о политике, чтобы заметить те важные выгоды, которые могла бы получить Россия от основательнейшего знакомства с Азией. Россия, имеющая столь тесные сношения с Турциею, Китаем, Персиею и Грузиею, приобрела бы множество способов не только содействовать распространению общего просвещения, но и удовлетворить потребностям более драгоценным. И никогда выгода государственная не была в таком согласии с важными видами образования нравственного.

Время устремить и на Азию то благотворное покровительство, которое АЛЕКСАНДР дает просвещению и наукам; и с этой стороны Россия, став наряду с другими народами, легко бы могла превзойти их теми способами, которыми она обладает, и теми важными следствиями, которых мы можем при таких многочисленных способах надеяться. Для сего весьма было бы полезно заведение такой академии, которая могла бы служить посредницею между образованностью Европы и просвещением, скрывающимся в недрах Азии, и которая соединяла бы в себе все то, что может иметь некоторое отношение к познанию Востока. Академия, имеющая предметом изучение азиатских языков (**), в которой критический европеец стоял бы наряду с азиатским ламою²², могла бы сделать бессмертным благотворение монарха и соответствовала бы намерениям его своею пользою.

Но дабы яснее доказать необходимость подобного заведения, представим в немногих чертах те главные сведения, которые приобрели мы от возрождения словесности, и те желания, которые остается еще по этой части исполнить.

§ 4

Возобновление восточных наук имело уже многие важные следствия.

Изучение Библии начато было по новому плану; оно составляло особенное занятие ученых людей Германии со времен Реформации. Писатели, которые в XVIII столетии унизили почтенное имя философии,

(*) Труды Палласа¹⁹, Георгия²⁰ и Гильденштета²¹, принадлежащие к царствованию Екатерины II, не были продолжаемы. Надобно заметить, однако, что главною целью сих ученых мужей была Естественная история, и что они, ограничив себя одною Сибирью и землями, ей сопредельными, не проникали во внутренность и в южные страны Азии.

(**) Одна из самых существенных выгод Академии Азиатской была бы образование переводчиков, необходимых для нас по сношениям нашим с Турциею, Персиею, Грузиею и Китаем²⁵.

вооружались против Святого Писания всеми софизмами диалектики ничтожной; но с того времени, как ближе познакомились с Востоком, люди основательного ума признали в Библии священный характер мудрости вдохновенной²³.

Книги Священные рассматриваемы были с трех различных сторон: 1-е) со стороны теологического смысла; 2-е) критически; 3-е) в смысле религии; и все сии рассматривания не только не уменьшили, но совершенно оправдали и возвысили наше почтение к Книгам Священным, которые со многих сторон сделались для нас привлекательны.

§ 5

Распространение сведений в языках азиатских должно ниспровергнуть древнюю систему *общей грамматики*^{24(*)}. Философы утверждают, что первое состояние человека было так называемое состояние чистой природы, грубое, не многим отличное от состояния животных бессловесных. Они утверждают, что человек, увлекаемый силою необходимости и переходя от нужды простой к понятиям более сложным, изобрел наконец слово и образовал для себя язык, соответствующий обширности его мыслей. Новые материалисты ужасно мучили ум свой, дабы угадать, какими способами нашел человек искусство соединять понятие со звуком. Одни заставляют его подражать крику животных; другие пению птиц; некоторые объясняют задачу простым механизмом, и все вообще истощают свой ум на построение систем нелепых, стыдясь признаться, что разрешение такого вопроса превосходит их силы; и все вообще хотят доказать нам, что первая эпоха истории человечества есть время грубости животной и мрака. Сие доказательство почитают они гибельным для преданий священных!²⁷

Таково главное правило, на котором основана *общая грамматика*. Но метафизика, только *предполагающая* происшествия (faits), как бы ни анатомировала она действие человеческой умственной силы, никогда не удовлетворит нашему рассудку. Рассудок здравый не может не вооружиться против такой системы (в одно время и романической, и сухой), которая отвратительна для ума и ничего не представляет воображению. В истории человека на каждом шагу открываются ему и признаки состояния совершеннейшего, и признаки упадка человеческой природы. На этой истине основаны все древние мнения, все древние предания; ей не противоречат и сии воспоминания, чудесным образом сохранившиеся в памятниках бесчисленных; воспоминания, присвоенные зако-

(*) Под словом *общая грамматика* разумеется здесь происхождение и образование языков²⁶.

нодателями священными, преобразованные моралистами, воспетые стихотворцами; они представляют нам в то же время и доказательство историческое, удивительным образом связанное с божественным изобретением слова.

Согласно с сею прекрасною гипотезою, первые понятия, данные Божеством человеку вместе с языком, должны быть *истины простые*, соответствующие первоначальной *простоте* человеческого общества. И весьма вероятно, что первые действия человеческого ума имели предметом не гордые открытия, но приобретения относительные и предвиденные заранее. Золотой век стихотворцев есть темное воспоминание об этой эпохе совершенства, которая с помощью непрерывных преданий достигла до позднего времени свидетельств положительных: и сие первобытное время надлежит именовать эпохою *понятий первородных* — дар столь же божественный, как и самое слово, и в нем заключенный.

Сии начальные истины, везде единообразные, изглаживались по мере той, как человечество удалялось от состояния первобытного; они исчезли; и когда вдохновенные люди захотели возвратить уму человеческому нравственность, более его достойную, тогда почерпнули они в преданиях, и письменных, и словесных, воспоминание о сих великих и вечных истинах. Древние учения без изъятия все основаны на которм-нибудь из сих понятий первоначальных.

Следовательно, Восток, отчизна человеческого рода, хранитель первобытных его познаний, первый свидетель и его совершеннейшего состояния, и его печального упадка, один может представить нам древнейшие памятники его истории. И на Востоке нашли мы те доказательства, которыми уничтожаются системы философов новых. Когда англичане, овладев Индиею, завоевали и древний священный язык браминов; тогда в опровержение философических романов представлена была одна самая простая истина, подтверждаемая наблюдением и ныне от всех принятая — истина, что по мере нашего приближения к источнику языков древнейших мы обретаем и правила более ясные, и лучшую методу, и грамматическую систему, имеющую все то совершенство, к которому дано человеку достигнуть. Трудно оспорить у санскритского языка право первородства; но общее мнение утверждает, что этот прекрасный язык, при совершенной правильности и простоте в формах, имеет такое богатство выражений, что может по справедливости наименован быть первым между классическими диалектами.

Сия простая истина *высшего грамматического совершенства языков по мере их близости к источнику общего происхождения языков*²⁸, истина, столь тесно связанная с преданиями священными, не разрушает ли в самом

основании воздушные замки новейших материалистов? не уверяет ли она, что здание общей грамматики должно быть перестроено снова? И в наше время для совершения этого важного подвига представляются новые действительнейшие способы в изучении языков восточных — одно оно может быть твердым основанием общей грамматики; одно оно может ее защитить от вредного духа системы.

Философическое рассматривание языков особенно важно и потому, что в них единственно находим исторические памятники тех времен, которые предшествовали самой истории. Рассматривать язык народа — значит рассматривать ход его мыслей. Чем более совершенства имеет язык, тем ближе к образованности и тот народ, который им владеет. Анализ языка знакомит нас с гением нации²⁹, а сличение нескольких языков открывает нам не одну существующую между ими связь, но вместе и то, к которой эпохе принадлежат некоторые понятия; родились ли они в самом языке или заимствованы от другого, может быть, не существующего уже диалекта?

§ 6

История философических идей, которую можно назвать *древностями метафизики*, должна быть преобразована с возрождением наук восточных. И древние думали, что Азия есть отечество философии. Взгляните на историю философии греческой: вы увидите Пифагора³⁰, заимствующего в Индии и на Востоке главные свои мнения и на них основывающего италийскую школу³¹. Бог, говорит Пифагор, есть тонкая материя, эфир, чистейший огонь, повсюду разлитый и все приводящий в движение, следовательно, душа вселенной. Индийский пантеизм, соединенный с системой *перехождения*³², проповедует такие же точно догматы. От Востока заимствовал Пифагор и таинственное свое вдохновение, и правила умеренности, и мысли о переселении душ, и установление общестственности имений³³. Философия числ известна была Китаю и Индии гораздо прежде, нежели Пифагору³⁴. Гераклит Ефесский³⁵ еще более приблизился к идеям восточным: он проповедовал, что огонь есть начало вещей. Фалес³⁶, учредитель ионийской школы³⁷, посещал Египет и Азию и в них почерпнул многие важные сведения. В его системе вода есть главная, всему основанием служащая стихия. Способна будучи принимать бесчисленные формы, она составляет материя самых противоположных между собою сущностей. Бог употребил ее для сотворения мира. Сие разительное несходство между двумя древнейшими школами Греции тем более замечательно, что в Индии обожатели *Хивы* признают началом вещей огонь, а почитатели *Вистну* воду³⁸.

От Пифагора до Платона³⁹, ближайшего из философов греческих ко мнениям Востока, все почерпали в одном и том же источнике, и одни и те же понятия переливаемы были в разные формы.

После Платона философия оставалась в бездействии до основания Александрийской школы⁴⁰, которая вдруг пробудила понятия восточные. Великая перемена произошла в умах, и она произведена была именем Платона. От сей пифагоро-платонической школы родились и гностики⁴¹, и Талмуд⁴², и первая философия христианская⁴³.

По совершении двух мрачных веков невежества философия возобновилась у арабов, которые, в свою очередь, по следам Аристотеля и Платона, хотели соединить ее с исламизмом⁴⁴. Арабы перенесли Аристотелевы сочинения в Испанию; отселе распространились они по всему Западу; и Европа Востоку обязана была веком схоластики, веком, слишком униженным, но знаемым слишком мало и послужившим естественным переходом от мрачности к свету.

Такое действие на образованность нашу имела философия азиатская. Но сколь бы важно было для нас точнейшее сведение о собственной истории и собственном ходе этой философии? Надобно думать, что система *перехождения*, соединенная с учением о переселении душ, есть самая древняя из философических систем Востока; она переродилась в астрологию, наконец, в материализм, и это перерождение было второю эпохою философии индийской; с другой стороны, учение о двух началах — вероятно, древнейший ответ на задачу о происхождении зла — переменялось впоследствии в пантеизм⁴⁵.

И одним из самых важных последствий предлагаемого учреждения Академии восточной был обстоятельнейший разбор философических сочинений Азии. Их переводом, сравнением и приведением в порядок была бы оказана чрезвычайная услуга словесности и философии.

Если бы можно было распределить системы на классы, сочинения на школы, а все предания соединить в один состав⁴⁶; если бы можно было последовать за изменениями идей философических и обрести невидимую нить, соединяющую их, тогда необходимо приобрели бы мы те нужные материалы, из которых со временем составила бы *археология метафизики*.

§ 7

Многие в наше время ограничивают поэзию пределами тесными, почитая предмет ее маловажным. Но поэзия первых народов должна быть рассматриваема как самое верное изображение их нравственной силы и отпечаток их мыслей.

В поэзии восточных народов с первого взгляда замечаем мы необыкновенную стремительность мыслей и пышное великолепие выражений, изумляющие рассудок; но дабы объяснить для себя причину такого отличия в характере ее, и дабы совершенно почувствовать всю важность сего рассматривания, надлежит наполнену быть следующими мыслями:

Восточная поэзия и потому уже есть самая древняя, что она все описывает — таков характер поэзии первородной. Природа лежит пред нею во всей еще своей свежести: она изображает *все* потому именно, что нет еще *ничего* определенного; она распространяет подробности каждого описания, ибо каждая подробность есть приобретение новое. И вот почему привязывается она особенно к гармонии слов и вымышляет новые способы располагать их разнообразно для произведения разнообразного действия. И первоначальная сила человека явно обнаруживается в этом обилии выражений, в этом разнообразии оборотов, показывающих некоторым образом нетерпеливое стремление воспользоваться чудесным и откровенным даром письменного языка. Все сказать и все изобразить есть принадлежность сына природы, свойство рассудка, не вышедшего еще из младенчества. Так объясняется отличительный характер поэзии первородной и то чудесное действие, которое она в начале своем производила, действие, побуждаемое всеми преданиями, изображенное во всех аллегориях. Никогда ни утомленные наши органы, ни правила, заранее нами положенные, ни наши анализы и методы не могут сделать для нас ощутительным того впечатления, которое могущество красноречивого слова производило на душах еще новых и удобно воспламеняемых. И так надлежит дойти до источника сих понятий, дабы проникнуть их истину и обнять их в связи надлежащей. Младенчество человеческого рода, может быть, продолжалось гораздо более, нежели как полагают. Надлежало пройти векам, дабы человек пришел в состояние постигнуть, сколь утомительно злоупотребление слов и частое обращение на одни и те же мысли. И поэзия перестала существовать, или, справедливее, она совершенно переменила характер с той самой минуты, в которую сделаны опыты *заключить в немногих словах идею*. От краткости слога недалеко до анализа; но анализ, при всех чрезвычайных выгодах, с ним сопряженных, сжимает воображение в пределах теснейших, и аналитическая метода, которой наконец подчинили произведения человеческого ума, была последним действием постепенного хода человеческих мыслей. Изобретенная во времена бессилия и пресыщения, она похитила у поэзии ее владычество; и поэзия, утратив первенство между искусствами человеческими, необходимо должна была утратить и некоторую часть своей силы и некоторую часть своей свободы.

Сии предварительные мысли доказывают нам, что близкое знакомство с поэзиею азиатскою со многих сторон представляется для нас привлекательным. Понятие наше о поэзии индийской весьма еще несовершенно. Драма «*Саконтала*»⁴⁷, несколько отрывков, рассеянных в Записках общества Калекутского и в некоторых других сочинениях отдельных — вот все наши богатства; следовательно, мы еще не имеем достаточных способов для определения истинного характера индийской поэзии, иногда простой и приятной, иногда мистической и высокой. Фирдузы⁴⁸, персидский Гомер, не переведен. Хафиц⁴⁹, Анакреон Персии, известен по некоторым только отрывкам; арабские сказки не все еще напечатаны⁵⁰; с поэзиею китайцев мы совершенно еще незнакомы. Можно сказать, что поле восточной поэзии ожидает еще трудолюбивой руки, которая, обработав его, показала бы нам гений Востока во всем великолепии, ему принадлежащем, и тем расширила бы сферу наук словесных.

§ 8

Наконец, между важнейшими предметами наук восточных полагаем *историю и статистику Азии*. Дабы усовершенствовать и дополнить исторические наши сведения, надлежит, руководствуясь новыми точнейшими наблюдениями, исправить и хронологию, и географию Востока; собрать и летописи, и предания тех народов, которые попеременно или населяли его, или опустошали; определить различные формы их правлений, их установления гражданские и священные; их успехи в математических науках и земледелии; наконец, при всех исторических изысканиях никогда не терять из виду, что одна только Азия может для нас объяснить историю переселения народов⁵¹, без которой и самая история Европы не может иметь основания твердого, и которая по сие время представляет нам один только мрачный систематический хаос.

И со стороны астрономии много имеют для нас привлекательного науки восточные: на Востоке была колыбель астрономии. Первые астрономические наблюдения перешли из Индии к халдеям, потом в Египет и Персию, наконец, к александрийским грекам, от которых заимствованы были арабами, перенесшими их напоследок в Европу⁵². Бальи⁵³ в сочинении своем об *астрономии индийской* полагает, что первые наблюдения индийцев сделаны были еще за 3102 года до Р. X. И ученый Фререт⁵⁴ также думает (*Hist de l'Acad. des Inscr. T. XVIII, p. 48*), что с этой эпохи надлежит начинать хронологию индийцев. Миссионеры утверждают, что в Индии находились философы, которые солнце почитали средоточием мира. По крайней мере, мы знаем наверное, что

*Массуди*⁵⁵, автор арабский XII века, приписывает *Браме*⁵⁶ изобретение астрономии, и что Птолемей⁵⁷ заимствовал свой «*Алмагест*» у индийцев. Гномон известен был браминам⁵⁸, и они имели методу для исчисления затмений, по словам Бальи, весьма простую и искусную (*Astron. Ind.*, р. 112—113). В собрании записок Калькутского общества заключается множество драгоценных сведений об азиатской астрономии, подающих надежду к новым, гораздо важнейшим открытиям.

§ 9

И если справедливо, что мы наконец достигли до той эпохи (уже известной в истории просвещения), эпохи, в которую человеческий ум, ступивший на крайнюю степень изобилия творческого и не могущий удовлетворить собственному своему стремлению, обращается на самого себя, дабы, исчислив свои сокровища, приобрести новые силы, то неоспоримо, что возрождению наук восточных встретились самые счастливые обстоятельства. Стремление живое и творческая сила, деятельная, быстрая, объемлющая иногда человеческий ум, не могут быть признаны отличительным качеством нашего времени. Эпоха беспокойной деятельности умов и общего злоупотребления мыслей заняла место славных времен и живости, и блеска, когда гений, являющийся изредка подобно пламенному метеору на сцене мира, оставлял за собою обширные струи света, и когда несколько избранных умов заключали в себе те мысли и знания *в целом*, которые ныне между большею частью людей *рассеяны*. Сии отдельные участки света могут еще блистать в малом круге; но они уже не соединяются в одно светозарное пламя. Творения великого духа, запечатленные силою и бессмертием, должны были необходимо уступить разборчивости остроумия, тонкой, но так же, как и оно, малозначащей. В истории встречается нам не одна подобная эпоха. Я укажу на Грецию. Она уже истощена была произведением великих людей, когда последний из них, Платон, внезапно сделал в умах чрезвычайную перемену. Дав новое движение мыслям, раскрывши способности анализировать, представивши раздробленными те предметы, в которых гений до того времени видел одно только целое, открывши многие дотоле неизвестные источники света и наконец облекши собственные мысли очаровательною одеждою воображения стихотворного, он сделался, так сказать, посредником между временами гения и веком ума. Последователи Платона овладели всеми пределами человеческих знаний, и школа его впоследствии принимала на себя множество образов разных⁵⁹. В идеях произошло всеобщее волнение, и это волнение сходствовало весьма во многом с тем, которое замечается в

наше время; разница, однако, та, что платонизм, распространившись в такое время, когда уже все приготовлено было к перемене всеобщей, когда устаревшие религии и правила требовали преобразования совершенного, необходимо должен был двинуться вперед, дать направление ожидаемому перевороту и устремиться не на рассматривание памятников древних, но на раскрытие новых идей и на последствия, ими производимые. Мы, напротив, утомленные кровопролитиями, во имя человеческого ума учиненными⁶⁰, не можем и не должны ожидать никакого возобновляющего их потрясения. И те же причины, которые направляли вперед стремления платонизма (надобно заметить, что и нынешние идеи более или менее ими напитаны)⁶¹, побуждают нас обратить на древность те знания, которыми изобилует теперь Европа. Науки восточные были бы самым полезным занятием для беспокойной деятельности умов, и сверх того они оказали бы важную услугу Европе точнейшим определением ее генеологии. Так, без сомнения! Короче познакомившись с Азией, найдем мы ту Ариаднину нить, которая будет для нас служить руководством в лабиринте ума человеческого; и без сомнения, откроется нам множество источников древних, забытых, засыпанных развалинами, но источников, могущих возратить нам ту силу и свежесть, которые предзнаменуют эпохи, озаряемые присутствием творческого гения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

§ 1

Не место здесь говорить о расположении Академии Азиатской; сие расположение может быть сделано тогда, когда определятся и обширность сего заведения, и те способы, которые даны будут ему от правительства.

Но мы представим здесь общий план курса литературы и языков азиатских.

Первая мысль, которая нам встречается и которая должна служить обоснованием всякому заведению такого рода, есть та, что филология подразделяема на несколько отраслей: этимологию, грамматику, критику⁶².

Есть люди, которые соединяют в себе противоположные свойства грамматика и критика. Но Академия, имеющая одним из главных предметов своих филологию, не может дойти до некоторого совершенства, ежели сии два класса не будут отделены один от другого. Итак, Академия Азиатская должна заключать в себе, во-первых, курс языков;

во-вторых, курс литературы, и для каждого из сих курсов должны быть определены особенные учителя.

Опыт Калекутского общества служит подпорою этой системе: оно признается, что слишком рано позволило себе заняться философическими рассуждениями и пространным разбором некоторых истин отдельных. Надобно рыться и потом уже строиться; и истинно важных открытий можем мы ожидать только тогда, когда приобретем технические сведения о востоке, более основательные и глубокие.

§ 2

Литература азиатская разделяется на несколько больших отраслей, из которых каждая составляет одно особенное целое.

К ней принадлежит и литература еврейская, которая отличается от прочих тем, что она уже не обещает никакого нового открытия. Единственный памятник её: *священные книги*⁶³.

Литература индийская есть самая древняя, самая привлекательная и менее других известная. Она не имеет никакого отношения к другим литературам востока; она ближе всех прочих к понятиям начальным⁶⁴ и сохранила ещё некоторые черты первобытного образования вселенной. Издревле поэзия и философия соединились в Индии для составления той религии, которой следы замечаемы нами во всех религиях древнего мира. Один из коренных *догматов* этой религии есть *догмат перехождения* (или изливание всех вещей из Бога и их обратное слияние с существом его); а один из коренных *символов*: *обожание света*, в котором восточные народы видели три свойства: творческое, хранительное и разрушительное. И когда азиатские религии почерпнули свои учения в источнике индийском, то коренное понятие о символическом *боготворении света* сохранилось неискаженным среди бесчисленного множества изменений. Индия представила в трех лицах первых три могущества природы, и сии три лица суть *Брама*, *Вистну* и *Хива*; в Египте именовали их *Озиридом*, *Гором*, *Тифоном*⁶⁵, и боги Орфеевы суть также не иное что, как силы природы, получившие образ вещественный⁶⁶. Когда он воспеваеет Пана⁶⁷, великое целое, вечное Существо, мрачность, покрывающую круг земной, и сотворение света, первый знак к образованию мира, то космогония его совершенно сходствует с индийскою и египетскою. Система его понятий о богопочтении имеет такое сродство с понятиями сих двух народов и такое разнообразие в формах, что общее происхождение их кажется несомненным⁶⁸.

Еще до времен персидского Зердуста (Зороастра) индиец Мону возобновил веру в единого Бога, Владыку вселенных. Его сочинения

имеют особенное сходство с сочинениями священного законодателя, и сие сходство, не ускользнувшее от внимания английских ученых⁶⁹, нимало не уменьшая почтение нашего к святому закону, напротив, доказывает только то, что оба законодателя почерпали в одном и том же общем источнике, открытом непосредственно волею Провидения разуму человеческому и впоследствии времени, также по воле Провидения, для него истощившемся и им забытом.

Понятие о Боге едином, которое проповедовал Мону, и теперь ещё соединено с мифологиею индийцев, несмотря на её противуречия и нелепости. Ещё невозможно привести эту мифологию в систему — предмет сей предоставляется новой Академии Азиатской.

Мы слишком ещё небогаты материалами, дабы обнять во всей обширности различные части образованности индийской, и самые учебные книги об этом предмете ещё не существуют. В таком случае правительству, споспешествующему наукам восточным, необходимо нужно отнестись прямо к обществу Калекутскому и истребовать от него не только те книги, которые трудами его изданы и которых полное собрание едва ли найдется и в самой Англии, но вместе с ними и верные копии с манускриптов. А чтобы составить порядочный лексикон самскритской⁷⁰, надлежало бы послать ученого человека в Париж для сделания верных списков с грамматик и лексиконов, означенных в каталоге господина Лангля⁷¹ и в предисловии господина Шлегеля^(*).

Но таким образом при начале Академии Азиатской было бы весьма трудно вдруг распространить учение самскритского языка. Мы думаем, что прежде всего надлежало бы познакомить воспитанников с буквами девангарийскими и бенгальскими и с первыми правилами бенгальской грамматики⁷². Опыты сии произвели бы в них охоту к наукам индийским и поощрили бы их посвятить оным свое прилежание, несмотря на малочисленность материалов, но питаясь ободрительною надеждою на будущие пособия. И в этом намерении господин Клапрот⁷³ сочинил план (табл. № 1), могущий служить руководством при настоящем положении наук индийских.

§ 3

Китайская литература, столь древняя и не столь привлекательная, как индийская, менее прочих подвержена была влиянию иностранцев.

(*) *Catalogue des manuscrits Samskrits de la biblioteque imperiare par M. M. A. Hamilton et Langles. Paris, 1807. — Über die Sprache und Weisheit der Indies von Fr. Schlegel. Heidelberg, 1808.*

Верные летописи китайские простираются за 2000 до Р. Х.⁷⁴ (преимущество, которым не могут хвалиться другие народы), и в сих-то летописях предпочтительно надлежит искать достоверных свидетельств переселения народов, которого история без новых объяснительных трудов навсегда останется для нас непонятною. И относительно к философии словесность китайская может быть весьма полезна; ибо китайцы имеют не только философию числ, им в особенности принадлежащую, но и систему Дуалкома, родившуюся в VIII веке, систему, о которой ничего не сказали нам иезуиты⁷⁵. И в отношении к истории естественной, и в отношении к математическим наукам ближайшее знакомство с Китаем не менее было бы для нас выгодно.

Трудность китайского языка довольно известна; мы не имеем ни учителей, ни книг учебных, и начинающий необходимо должен пройти через лабиринт заблуждения, прежде нежели будет ему возможно составить для себя грамматику и лексикон: сухая, утомительная работа, долженствующая продолжаться по крайней мере 4 года. Итак, дабы учение китайского языка сделать менее трудным, надлежало бы прежде всего издать лексикон⁷⁶: предприятие могущее совершенно быть только в России, ибо она имеет и чрезвычайное множество материалов, и сведущих переводчиков, каковы гг. Липовцов, Каменской, Новоселов, Владыкин⁷⁷ и пр.

Большим пособием послужит и перевод важнейших сочинений китайских с оригинального языка на манджурский язык⁷⁸. Манджурский не труден, и переводчики наши знают его совершенно. Он же имеет буквы. Манджурская грамматика довольно правильная и весьма во многом сходствует с грамматиками европейскими. Итак, чтобы объять словесность китайскую во всех ее отраслях, надлежит необходимо соединить учение обоих языков. Следовательно, Академия Азиатская, относительно к этому предмету, прежде всего должна заняться не сочинением диссертаций ученых, но просто переводом оригинальных книг, которые открыли бы свободнейший доступ к литературе китайской.

Г. Клапрот, доставивший нам начертание словесности китайской и манджурской (№ II) и сверх того многие материалы для последней части сего опыта, есть человек, имеющий основательные сведения в языках восточных, особливо в китайском, сведения, соединенные с большою проницательностью. Он скоро издает каталог сочинений китайских и манджурских, находящихся в С.-Петербургской Академии наук⁷⁹, каталог, могущий служить хорошим руководством к познанию китайской литературы.

§ 4

До времен Магомета словесность арабская и словесность персидская имели характер особый и ныне еще заметный в их древних стихотворениях. Исламизм, покоривши нации, совершенно одна от другой отличные, произвел между ими некоторое общее однообразие, которое запечатлело и самую их словесность. Система фатализма, погибельная для воображения, уничтожает и живость рассудка⁸⁰. Религия, показывающая в верховном божестве неумолимого тирана, а любовь преобразующая в потребность чувственную, не может благоприятна быть для поэзии. И в самой вещи, магометанство не произвело ни одной превосходной книги. Фирдузиева поэма «*Шах Намех*» принадлежит еще к первой эпохе; автор, по-видимому, обожатель огня, представляет исламизм как нечто новое, и сам остается при старой религии. Мистическая секта *суфисов*⁸¹ первая сделала опыт соединить с учением Магомета религию более свободную, высшего существа более достойную. Основателем этой секты, вначале именовавшемся *Ухангисами*⁸², по-видимому, известна была индийская философия. Думают также, что и Платон почерпнул некоторые понятия свои в этом источнике теологии возвышенной и стихотворной. Особенно достойно замечания то, что *Хафиз*, *Джелаледдин*⁸³ и *Джами*⁸⁴, славнейшие персидские стихотворцы, принадлежали к этой же секте; и толкователи магометанские всячески мучили свой ум, дабы найти в сочинениях сих поэтов некоторые признаки истинного исламизма.

Весьма желательно, чтобы учение персидского и турецкого языков между нами распространилось. Сии два языка объемлют всю магометанскую литературу; ибо все почти сочинения арабские переведены или на персидский, или на турецкий, а по свидетельству людей, сведущих в науках восточных, весьма трудно выучиться основательно арабскому языку, не проведя несколько времени во внутренности Азии.

Таблица № III, также г. Клапротом сочиненная, представляет нам общее начертание курсов литературы арабской, персидской, турецкой и татарской.

§ 5

Если поэзия восточная почти не имела никакого влияния на поэзию древних, то действие ее на поэзию народов новейших тем ощутительнее и сильнее: словесность еврейская соединена для них весьма тесно с священными понятиями религии, и Моисея надлежит почитать основателем новой школы стихотворства, не сходствующего ни с каким другим стихотворством Востока. Присвоив его понятия, мы необхо-

димо должны были присвоить и тот наружный образ, который дает он своим понятиям, и возвышенность гимнов его, вероятно, произвела тот характер отвлеченности и глубокомыслия, которым отличается священная поэзия новых.

Сочинения Моисея, Книга Иова и Песни Пророков⁸⁵ суть памятники стихотворства, едва ли не превышающие своим величием совершеннейшие произведения древности.

Святой восторг живет на бреге Иордана!
В тени Едемских рощ, на высотах Ливана.

Из всех, писавших о еврейской поэзии, никто не проникнул так глубоко в дух и не представил с таким искусством действий ее, как славный Гердер. Слог одушевленный, пронизательность удивительная и воображение творческое, соединенное с ученостию обширною — таков характер Гердера, особенно обнаруживающийся в книге его «*Дух еврейской поэзии*» («*Geist Hebraischen Poesie*»).

Легко представить себе, сколь важно изучение языка еврейского даже в простых отношениях словесности, и литература еврейская должна служить основанием всякой Азиатской академии, представляющей нам ключ к наукам Божественным и человеческим. Табл. № IV сочинена г. доктором Фесслером⁸⁶, который со множеством других сведений соединяет и совершенное знание литературы еврейской. Он сообщил нам тот план, которому сам некогда следовал в преподавании уроков этой же самой словесности. Чтение Святого Писания с разбором и объяснением есть главный предмет в курсе еврейского языка и должно непосредственно следовать за грамматикою. Г. Фесслер распределяет его следующим образом:

Историческом: из Книги Бытия⁸⁷, Глава XXXVII, XXXIX до Главы L.
Моральном: все Книги Притчей⁸⁸.
Философическом: Книги Еклезиаста⁸⁹.
Стихотворном: все Книги Иова и
Лирическом: Песни Моисеевы *Второзакония*⁹⁰ XXXII, Девоны⁹¹ Суд.⁹² V.
Псалмы⁹³ XLI — LXVIII — LXXXIV — XC — CIV — CXXXVII — CXXXIX.

К этому чтению необходимо нужно присоединить и еврейскую археологию, заключающую в себе изображение обычаев и обрядов еврейских, согласно с законом Моисеевым, разбор еврейской поэзии и взгляд на историю Книг Священных. Для тех, которые расположены

будут заняться этою частию словесности древней, могут быть весьма полезны следующие сочинения г. доктора Фесслера: «Еврейская Антология»⁹⁴ и «*Institutiones linguarum orientalium*». Wratislawiae, 1787.

§ 6

Словесность армянская и грузинская достойны внимания в отношении историческом, ибо грузинцы и армяне имеют собственные летописи⁹⁵, заключающие в себе такие исторические известия, которых напрасно будем искать в историках Азии, Греции и Рима. Особенно летопись грузинская чрезвычайно любопытна. В начале последнего века она взята была из Мчетского и Гелатийского монастыря Вахтангом V, сыном Левана⁹⁶. Господин Клапрот во время пребывания своего в Тифлисе велел перевести один отрывок из этой летописи, отрывок, дающий нам очень выгодное понятие об историках Грузии. Армянская литература так мало известна, что мы не знаем еще и имени тех сочинений, которые к ней относятся. Но для России было бы особенно выгодно познакомиться ближе с сими двумя народами: она имеет к тому великое множество способов; сверх того, многие сведущие армяне и грузинцы могли бы употреблены быть для преподавания нужных уроков в обоих языках.

§ 7

Хотя Тибет и соединен посредством ламаизма с Индиею и внутреннею Азиею, но он совершенно отделен от них и языком, и словесностью⁹⁷, в Европе почти неизвестными. Для русских весьма бы нетрудно было заняться литературою Тибета, ибо они имеют множество способов добывать и книги, и рукописи тибетские, для объяснения и перевода которых могут иметь непосредственное сношение с ламами. Сверх того, можно было бы выписать и литеры тибетские, вылитые в Лейпциге Брейткопфом⁹⁸, а приступ к сей литературе надлежало бы сделать с перевода и издания маленького Тибето-монгольского словаря, продающегося в Кяхте⁹⁹.

Тибетская азбука (*alphabetum Tibetanum*), изданная в Риме отцом Георги (1762)¹⁰⁰, сочинена отцом Кассианом Белижиатти. Издатель присоединил к этой азбуке диссертацию собственного рукоделья: «*Qua de vario litteratum ac religionis nomine, gentis origine, moribus, superstitione, ac manichaeismo disseritur; tum Beausobrii calumniae in St. Augustinum, aliosque ecclesiae patres, refutantur*». Эта диссертация, в которой что слово, то нелепость, навлекла на отца Георга жестокую критику отца

Павлина де С. Бартелеми, изданную под титулом: «De veteribus Indis dissertatio». Romae 1795¹⁰¹.

§ 8

Северные азиатские народы, которые не имеют литературы и почти не знакомы с письменным языком, не менее заслуживают наше внимание; и в особенности потому, что в великой истории переселения они, конечно, занимают важное место. За неимением свидетельств исторических мы должны пользоваться свидетельствами языков, которые в этом отношении необходимо нужно подвергнуть критическому разбору; и Академия Азиатская, распределив азиатские языки на классы, но распределив их, не согласуясь с обманчивыми гипотезами, а в истинном философическом смысле, с помощью пронизательной критики и основательного сравнения наречий, окажет значительную услугу наукам, но в этом случае особенно надлежит беречься ослепительных заблуждений этимологических, к которым, несмотря на поучительный пример Курта де Жебеленя¹⁰², еще многие в наше время склонны. Этимология, рассматриваемая как изучение человеческого ума, должна присутствовать при изысканиях исторических, но, отделившись от критики строгой, она или делается бесполезною и пустою, или может завести в заблуждения вредные, которым привычка дает силу закона и которые на долгое время отклоняют искателя от верной дороги к открытиям.

§ 9

Остается нам пожелать, чтобы в России заведена была Азиатская Академия, которой расположение соответствовало бы важности ее цели, а средства величию Русской Империи. И если наш легкий опыт обратит внимание правительства на тот великий предмет, который мы с некоторых сторон изобразить старались, то мы почтем намерение наше исполненным. Пускай искуснейшая рука дополнит и довершит представленное здесь в одних только общих чертах. И титул, и форма этого сочинения доказывают ясно, что оно должно быть просто начертанием *тех приобретений, которые уже сделаны, и тех приобретений, которые остается еще сделать.*

Примеч. к 1 §. Всякая академия восточная предполагает уже пригтовительное знание греческого и латинского языков, ибо на сих двух языках основаны все возможные сведения. Мы уверены, что греческий язык, который забыт в наших новоучрежденных гимназиях¹⁰³, должен почитаем быть в России классическим. «Россия, — писал в 1768 году

славный Гейне (смотри. Геттингенский журнал)¹⁰⁴, — имеет особенное преимущество перед всеми другими народами Европы. Греческая словесность может служить основанием ее собственной и может ей способствовать к заведению новой, ни с какою другою не сходствующей школы. Россия не должна подражать ни литературе немецкой, ни французскому остроумию, ни учености латинской. Основательное знание греческого языка откроет для русских неисчерпаемый источник новых идей и образов высоких. История, философия и поэзия могут заимствовать от него чистейшие и более к истинным образцам приближенные формы. Надобно заметить и то, что греческий язык имеет тесную связь с религиею русских и языком славянским, который, по-видимому, от него получил свое образование. Древнейшие писатели России были знакомы с историками и географами Восточной Империи¹⁰⁵, а византийская история по многим отношениям должна быть важною для русских». С своей стороны прибавим только то, что это желание славного археолога, к несчастью, совсем не исполнено. Хотя любителям словесности изящной впрочем и известно, что некоторые частные люди, живущие в Москве, загладили несколько несправедливость общего мнения насчет словесности греческой. Братья *Зосимы*¹⁰⁶, гораздо менее известные в России, нежели в других странах Европы, напечатали своим иждивением множество греческих книг, которые состоят по большей части из авторов классических и писателей новых, необходимых для изучения математики, физики и метафизики. Типографии в Париже, Вене, Лейпциге, Венеции и Москве давно уже употребляются ими для сего предмета. Большая часть из напечатанных Зосимами книг розданы безденежно молодым грекам, учащимся в разных училищах греческих. Между сочинениями, изданными посредством сих благородных покровителей просвещения, Европа особенно отличает те, которые напечатаны в Париже с нотами и объяснениями ученого Корая; таковы: Исократ, Полиен, Еллиан и Плутарх, ныне издаваемый¹⁰⁷. Особенное внимание заслуживают и книги, изданные господином Маттеем, московским профессором греческого языка¹⁰⁸. Они извлечены из драгоценных греческих манускриптов, находящихся в библиотеке Синодальной; таковы Орибазий, отрывки из Руфа¹⁰⁹ и Новый Завет, напечатанные насчет братьев Зосимов. В Синодальной же библиотеке нашел господин Матей и Гомеров «Гимн Церере»¹¹⁰, которым он обогатил словесность. Зой Павл. Зосима сверх того имеет прекрасное и редкое собрание древних медалей. Благородная польза, которую извлекают они из своего богатства, и деятельное покровительство их, объемлющее не одну греческую словесность, но и занимающихся оною, дают им право на уважение просвещенной Европы; а страну, которую они

признали своею отчизною, заставляет ими гордиться, и в этом отношении они совершенно заслуживают наименование *Медицисов новой Греции*, данное им от генерала Парда де Фигероя¹¹¹, который по чрезвычайным знаниям своим способен лучше других определить истинное достоинство братьев *Зосим*.

ТАБЛИЦЫ

№ 1

Индийская литература

Курс языка	Курс литературы Философия и религия
Опыты в писании буквами девангарийскими и бенгалийскими.	Система почитателей Браммы.
Самскритская грамматика.	Система ламаизма и почитателей Будги ¹¹² .
Произведение глаголов самскритских.	Система почитателей Вистну.
Гитопадеза, или басни Вистну-Сармы ¹¹³ .	Система почитателей Хивы.
Магабгарата, поэма на войну Курусов и Пандусов ¹¹⁴ .	Картина литературы индийской. История и география Индостана ¹¹⁵ .

Desiderata

Лексикон самскритский.
Грамматика самскритская.
Перевод Веды¹¹⁶.
Перевод Магабгараты.
Перевод драм Калидаза и Джая-Девы¹¹⁷.
Полный перевод и издание текста Гукта-Говинды.

№ 2

Литература китайская и манжурская

Курс языков:

Китайского	Манжурского
Опыты в писании.	Грамматика манжурская
Сан-дзу-гвинн ¹¹⁸ (1)	Разговоры из Синн-вун-ки-мунна ¹²² (4)
Сиен-дзу-вун ¹¹⁹ (2)	Конфуций на манжурском языке
Замечания грамматические	Сан гуо-дши (3)
Разговоры	Летописи манжурские
Чтение Кун-дзу (Конфуция) ¹²⁰	Синн-ли-дшенн-и ¹²³ (5)
Сан гуо-дши ¹²¹ (3)	
Выбор из летописей	

Курс словесности

1. Картина Империи китайской и ее географии.
2. История Китая, в отношении к переселениям народов.
3. Разбор религии Конфуция, Лао-гиунна и Фое¹²⁴.
4. История Китайской словесности по свидетельствам оригинальным.

Desiderata

Филология

Китайские лексиконы.

Перевод и издание *Зеркала языков Маньчжурского и Китайского*, изданного по повелению Императора Киенн-Лунна¹²⁵.

Смесь

Извлечение из летописей Китайских и Маньчжурских.

Собрание известий, относящихся к Азии, заимствованных из летописей и географии Китайской.

Перевод И-гвинна¹²⁶ (6).

Перевод сочинений Лао-дзу¹²⁷ (7).

Перевод сочинений Джу-гги¹²⁸ (7).

Лексикон литературы и истории, подобный Гербелотову¹²⁹.

Примечания

(1) *Санн-дзу-гвинн*, сочинение, расположенное на параграфы трех букв, содержащее в себе краткое начертание всех трех наук, которыми занимаются в Китае.

(2) *Сиенн-дзу-вун*, энциклопедия, из тысячи букв состоящая.

(3) *Сан гуо-дши*, История трех царств *Шу*, *-Уей* и *-У*, которые образованы были в Китае в III веке. *Дшен-шеу*, автор, жил почти в то же время¹³⁰. Эта История славится прекрасным слогом. Маньчжурский перевод сделан в XVII веке.

(4) *Синн-вун-ки-мунн*, Маньчжурская и Китайская грамматика, сделанная в 1727. В ней кроме грамматических правил находятся и очень хорошие разговоры на обоих языках.

(5) *Син-ли-дженн-и*, Маньчжурское сочинение о философической системе династии Сунн¹³¹, написанное в 1718 по приказанию Императора *Канн-гги*¹³².

(6) *И-гвинн*, первое из так называемых классических сочинений, в котором объяснены *Гуа* (символы) *Фу-гги*¹³³.

(7) *Лао-дзу* и *Джу-гги*, два Китайские философа; первый жил за 500 лет до Р. Х., а последний в XII веке по Р. Х.

№ 3

Литература арабская, персидская, турецкая и татарская

Курс языков

Арабский

Начальные правила Грамматики Арабской для всех начинающих.

Грамматика Арабская с примечаниями.

Выписки из Корана¹³⁴.

Гарири¹³⁵.

Арабская Хрестоматия, соч. С. Саси¹³⁶.

Абулфеда¹³⁷.

Персидский

Персидская грамматика.

Гулистан Са'ди¹³⁸.

Эмир Кгонд¹³⁹.

Гафиц¹⁴⁰.

Шах Намег, сочин. Фиргузия¹⁴¹.

Турецкий

Турецкая грамматика.

Гумайун Намег¹⁴² (1).

Турецкие летописи.

Фадзули¹⁴³ (2).

Бостани (2).

Татарский

Грамматика татарская.

Абул Гази Багадур Хан¹⁴⁴.

Курс литературы

1. География Азии вообще, и в особенности Азии Магометанской по плану Г. Валя¹⁴⁵ (vorder und mittel-Asien).

2. История династий Магометанских в Азии, с приложением к ней картины Исламизма.

3. История литературы Арабской и Персидской до Магомета.

4. История литературы Магометанской.

5. Статистика Персии и Турции.

Desiderata

Филология

Перевод Арабского Лексикона, называемого Камус¹⁴⁶.

Перевод Персидского Лексикона Ферганг Джигангуири¹⁴⁷.

Перевод Турецкого Лексикона Ван-Кули¹⁴⁸.

История

Арабская

Перевод и издание исторической книги: Тарик Табари, соч. Абу Джаифаром¹⁴⁹.

Полный перевод Арабской географии Едризия и Ибн-Гаукаля¹⁵⁰.

Персидская

Перевод и издание Равдгат-есс-зафы Емир-Кгонда¹⁵¹.
Тарик Гоцидег Гамед-Улла Альказуиния¹⁵².

Турецкая

Перевод летописей Отманов¹⁵³.

Татарская

Перевод Дербенд-Намега¹⁵⁴.
Полный перевод Абулгази Багадур-Хана.
История народов Татарских.

Литература

Арабская

Полный перевод Тысяча и одной ночи.

Персидская

Перевод поэм Фирдузия, Гафица, Джалиевой поэмы Юсуф-ва-зеликга и Нидзамиевой Хозрува-Ширин¹⁵⁵.

Примечания

(1) Турецкий перевод *Пильпаевых* басен¹⁵⁶.

(2) Имена двух поэтов турецких, из которых первый есть сочинитель *Китаб-бенк-ва-бадега*¹⁵⁷.

№ 4

Литература еврейская

Курс языка

Фатерова ручная книга Еврейского языка¹⁵⁸.
Грамматика Еврейская Фатерова.
Моисеевы книги с комментарием Фатера.
Книга Иова с комментарием Шультенса¹⁵⁹.
Соломоновы притчи с комментарием Шультенса.

Учебные материалы

Simonis Lexicon manuale.
Cocceji Lexicon et commentaries sermonis Hebraici et Chaldeici, ed. Schulzii¹⁶⁰.
Schultensii Origines, linguae Hebraicae¹⁶¹.
Michaelis supplementa in omnia lexica Hebraica¹⁶².
Hetzel histoire de langue Hébraïque¹⁶³.

Курс литературы

Библейская география (Hammelfelds biblische Geographie)¹⁶⁴.

Древности Еврейские (Warnekros Hebräische Alterthümer)¹⁶⁵.

История Еврейская (Bauers Geschichte der hebraischen Nation)¹⁶⁶.

Права Еврейские (Spencer de legibus Hebræorum. D. Michaelis, Mosaisches Recht)¹⁶⁷.

Поэзия Еврейская (Herders Geist der Hebräischen Poesie, Lowth Prelectiones de Poesie Hebræorum, cum epimetrio Michaelis)¹⁶⁸.

Словесность Еврейская (Wolfii Bibliotheca Hebraica. Bartolocci Bibliotheca Rabbinica)¹⁶⁹.

Кабалистическая Философия Евреев¹⁷⁰.

Ж.

АМЕСТАН И МЕЛЕДИН, ИЛИ ИСПЫТАНИЕ ОПЫТНОСТИ

Восточная повесть

— В молодости своей имел я характер пылкий и страстно любил женщин. Я верил от всего сердца словам их и ласкам. Они говорили мне, что я первый красавец во всей Персии, и я почтил себя красавцем; они превозносили мой ум, и я почитал себя необыкновенным умником. Но их обольстительные похвалы были причиною моей погибели; я разорился и теперь почти не имею насущного хлеба. О Меледин! Как безрассудны молодые люди. Что если бы при начале жизни имел я нынешнюю свою опытность; я и теперь еще мог бы стоять наряду с первейшими богачами Испагани!¹ Но что ж я напротив? Бедняк, и все меня презирают!

— Правда твоя, Аместан, — сказал Меледин, — когда бы и ты, и я в двадцать лет имели ту опытность, какую имеем в восемьдесят, то, без сомнения, избежали бы многих несчастных дурачеств. Не заставляет ли это думать, что опытность совсем почти бесполезна для человека? Он приобретает ее в такое время, когда уже не может последовать ее советам. На что и знания, когда нет способа употребить их в свою пользу? Меня погубило суетное тщеславие. Я не был глуп, и я это знал; но, по несчастию, имел я такое непомерное желание удивлять своим остроумием, что не было никакой возможности обуздать болтливость моего языка, а эта гибельная болтливость лишила меня всего моего счастья. О, если бы можно было возвратить мою молодость! Будучи опытен, я уже не боялся бы своего языка: я мог бы удерживать в должных гра-

ницах свое тщеславие, умел бы молчать, говорил бы вовремя и кстати, и самые взгляды мои были бы послушны осторожному благоразумию.

Так разговаривали два старичка, сидевшие под пальмою у входа пещеры Мааранской. И тот, и другой очень дорого заплатили за свою мудрость. «О Магомет! — восклицали они. — Уже невозможно возвратить нам прежнего времени! Уже не можем воспользоваться своими несчастиями, своими проступками и тою мудростию, которую даровали нам годы!».

В эту минуту послышался тихий шорох у входа пещеры; они поднимают глаза и видят приближающегося к ним Духа. Он говорит им с приятною улыбкою:

— Аместан! Меледин! Не ужасайтесь моего присутствия! Хочу вас сделать счастливыми. Уже давно обитаю в этой пещере. Я слышал ваши жалобы, почитаю их справедливыми и чувствую искреннее о вас сожаление. Судьба несправедливо с вами поступила; она даровала вам мудрость в такое время, когда уже невозможно вам употребить ее в свою пользу: вы научились жить тогда, когда вам надобно уже думать об одной только смерти. Хочу загладить несправедливость судьбы и возвратить вам утраченные вами блага: цветущую молодость, силу и красоту. Говорите, сколько лет вы желали бы иметь в эту минуту?

— Двадцать! — воскликнули старики в один голос.

— Да будет по-вашему! — сказал Дух.

Какое чудесное превращение! Уже горячая, быстрая кровь стремится по их жилам; глаза их снова блистают; голова не трясется; стан распрямился; место седых волос заступили густые, как шелк, мягкие кудри; длинные бороды исчезли; мягкий пух едва пробивается на их подбородках. Гений подает им зеркало; они с восхищением любуются своею красотою; они вне себя от восторга, прыгают, обнимаются, падают на колени перед небесным своим благодетелем.

Но Гений, подняв их с улыбкою, говорит:

— Друзья мои, не спешите благодарить меня; еще мне надобно видеть, будете ли в состоянии воспользоваться моими дарами. Меледин! Даю тебе это очарованное кольцо. Носящий его на пальце может узнавать тайнейшие мысли человека при первом взгляде на его лицо. Иди в Испагань с этим драгоценным подарком; там ожидают тебя опыты. А ты, Аместан, оставайся здесь! Вверяю смотрению твоему мой очарованный замок, которого входом служит эта пещера, и неисчисленные мои сокровища, хранящиеся в моем замке. В сем месте всякое желание твое будет исполнено — одно только условие, и условие весьма неважное, — хранить мой сад, который люблю я более всего на свете. Ни для кого из смертных не должны отворяться его двери; и ты сам погибнешь,

если осмелишься в него проникнуть. Но служба твоя продолжится не более года; и если по истечении этого срока останешься доволен твоим усердием, то все желания твои будут исполнены: ты возвратишься в Испагань и сделаешься первым богачом этого славного города.

Помолодевшие старцы падают к ногам своего благодетеля. Они не находят слов для изъявления своего восторга. В будущем представляется им зрелище восхитительное. Они различаются; Меледин идет в Испагань, Аместан следует за Гением в пещеру. Несколько времени окружала их мрачность; она исчезла; глазам Аместана представился Гениев замок архитектуры величественной; колонны из драгоценных камней поддерживают золотую кровлю; ступени вылиты из чистого золота. Аместан, пораженный таким великолепием, молчит.

— Вот жилище твое, — говорит ему Гений, — ты повелитель этой волшебной области. Миллионы невольников готовы исполнять волю твою, как собственную мою. Прости! Нам надобно различиться на несколько дней; береги мой сад и помни наше условие.

Гений удаляется; Аместан остается единственным обладателем очарованного замка. Бесчисленное множество невольников приходят узнать его повеления, и все его желания — едва родились, уже исполнены. Готов великолепный и вкусный обед; Аместан садится за стол; между тем играет пленительная музыка; невольники пляшут вокруг стола; ноги их кажутся окриленными; они летают; в каждом движении тела их легкость, приятность, чувство. Потом согласный хор тысячи голосов начинает прославлять красоту Аместанову пением восхитительным; ему подносят разные вина. Гениев погреб был очень богат винами; известно, что жители эфира не подчинены тем строгим законам Алькорана, которым должны покорствоваться мы, обыкновенные Адамовы чада², готовые из всякого блага извлекать свою гибель.

По окончании обеда являются молодые, как день, прелестные невольники, несущие изумрудные сосуды, полные сладкого благовоения: душистый пар окружает Аместана. Его несут на постель; ложе, мягкое, как пух, покоит утомленные члены его; он засыпает, и милые мечты, легкие чада протекшего дня, слетаются веселить его, погруженного в сон глубокий.

Он просыпается вместе с солнцем — его ведут в купальню, украшенную тысячью картин сладострастных; два невольника искусною рукою натирают ему тело; все поры его наполнены ароматами; нега льется по всем его жилам; он дышит наслаждением; он мыслит, что некая сила пренесла его на шестое небо³.

Что день, то новые удовольствия, и добрый Аместан не понимает, как могут его невольники так быстро угадывать и исполнять малей-

шие его желания; но глазам его не представляется ни одна женщина, и он давно уже это заметил. «Странное дело, — думает он, — неужели Гений не верит опытности моей и благоразумию! Он очень ошибается; хотя бы замок его наполнен был прелестнейшими женщинами Запада и Востока, я и тогда не обольстился бы красотой их; я знаю, что такое женщины; я знаю их хитрость, и она уже не может ввести меня в заблуждение. Я человек опытный; и если когда-нибудь случится мне быть влюбленным... Но нет! Понимаю намерение Духа; он удалил из этого места женщин единственно для того, чтобы присутствие их не возбуждало во мне воспоминаний досадных. Он судит обо мне весьма несправедливо; я не имею к женщинам ни ненависти, ни отвращения; теперь ни одна красавица не победит счастливого моего равнодушия».

Однако, несмотря на это счастливое равнодушие, Аместан в некоторые минуты говорил себе: «Я чувствую, что мне, при всех наслаждениях, которыми окружил меня Гений, недостает чего-то, необходимого для моего счастья. Признаюсь, что будучи молод и хорош лицом, я желал бы узнать, что скажут обо мне женщины. Я уверен, что всякая из них старалась бы мне понравиться; это могло бы меня забавлять — забава невинная и, благодаря опытности моей, самая неопасная. Словом сказать, я очень бы желал, чтобы и женщины находились в этом замке».

В таком расположении души пошел он взглянуть на сад, вверенный попечению его Гением. Прекрасная долина привела его к скату высокого холма; он видит место, окруженное серебряною решеткою, и в этом месте находился Гениев сад. Аместан подходит к решетке, смотрит и восхищается — он видит истинный рай Магометов⁴.

— Какое очаровательное место! Как жаль, что Гений запретил мне входить в него и им наслаждаться.

Но в эту минуту новое зрелище глазам его представляется. Он видит — видит толпу молодых девиц, прелестных, как гурии⁵. Их лица открыты; легкая, полупрозрачная одежда с приятностию обвивается вокруг их стройного стана. Веселость, желание нравиться блистают в глазах их. Увидя Аместана, они останавливаются с удивлением, смотрят она на другую, начинают шептать и взглядывают на него с улыбкою; подают ему знак, чтобы он вошел к ним в сад. Аместан стоит неподвижно. Одна из девиц приближается к решетке и приглашает Аместана от имени прелестных подруг своих — осыпает его лестными похвалами — а все другие между тем играют на цитрах⁶, поют и легкою очаровательною пляскою выражают желание свое привлечь в жилище их молодого красавца.

Аместан любитесь ими; усилие обольстить его сердце приятно его самолюбию, но он не обольщен — и можно ли быть обольщенным с

такую опытностью, с таким благоразумием? Он только смеется и забавляется усилиями бесполезными.

Но вдруг примечает он молодую девушку, уединенно сидящую под тению мирт, близ светлого, тихо лиющегося источника. Она в унынии смотрит на чистые волны — вздыхает — глаза ее поднимаются к небу — в тихой задумчивости своей она как будто забывает вселенную.

Аместан заметил, что она не удостоила его и взгляда — и, против воли, смотрит на одну только ее; сила непостижимая влечет к ней всю его душу — но милая незнакомка встает и через минуту исчезает в глубине миртовой рощи. Аместан возвращается в замок, погруженный в глубокую задумчивость. «Теперь я понимаю, для чего Гений удалил из замка своего женщин: это удовольствие сберег он для одного себя, а мне теперь надобно быть зрителем его серала⁷. Завидная и особенно приличная пылкому молодому человеку должность! Стыжусь, что мог показаться ему способным играть такую забавную роль! И каково же будет мне слушать, когда по возвращении моем в Испань и женщины, и мужчины будут говорить, указывая на меня пальцами: этот Аместан достоин блестящего своего счастья! Он был зрителем первого в мире серала и должность свою исполнял очень верно! Я сделаюсь предметом колких насмешек, и мне уже нельзя будет показаться на глаза моих сверстников».

Он заснул, но сон его не был спокоен; задумчивая красавица преследовала его и в сновидении — он видит ее в слезах и плачет вместе с нею; хочет приблизиться к ней, дабы усладить горечь ее словами нежнейшей любви, но роковая серебряная решетка его удерживает, и он уже готовится изломать ее — уже простирает руку — но в эту минуту слышится грозный голос: *стой! Дерзновенный, вспомни условие Духа!* Он пробуждается, горячий пот бежит по его щекам, в жилах его лиется пламень; он вскакивает и ходит в волнении по чертогу, ожидая появления денницы.

Заря занялась. Аместан бежит к очарованному саду и видит опять за решеткою тех же молодых красавиц, которые представлялись ему накануне: все они одеты в прелестные платья. Веселость блистает в их взорах, но в их улыбке заметно что-то насмешливое и колкое. Увидя Аместана, они начинают смеяться:

— Здравствуй, прекрасный сторож серала! Хорошо ли ты спал нынешнюю ночь! Какое свежее, цветущее лицо! Где взял наш Гений такого прекрасного внуха?

Другие посматривали на Аместана с сожалением и, пожимая плечами, говорили: «Какая жалость!». Наконец они разошлись, и Аместан остался один, исполненный стыда и досады.

Но он еще не видал той милой красавицы, которая одна занимала его душу. В саду все тихо: он ищет ее глазами — напрасный труд! Она не является — наконец, прождав ее более шести часов, Аместан решил вернуться в замок. «Я буду опять здесь ввечеру, увижу мою прелестницу и, может быть, услышу ее голос. Гений не запретил мне на нее смотреть, слушать ее, любить и даже стараться овладеть ее сердцем. Одно условие: не входить в сад, и оно будет исполнено! Ах! Если бы она любила меня! Но что я говорю, безумец!.. Мне любить! Кто может уверить меня, что прелестные черты ее не служат покровом предательству и коварству? О нет! Невозможно! Лицо ее — зеркало милой души. Она не старалась прельстить меня подобно своим подругам; она не старалась блистать передо мною своими приятностями и талантами; она невинна и простосердечна; душа ее — святилище непорочности и добродетелей! Бедственная решетка нас разлучает! Что нужды! Будем стараться овладеть ее сердцем — такое сердце не есть ли благо верховное! Пройдет год, Гений захочет исполнить свои обеты, и я скажу ему: “Оставь, оставь у себя свои сокровища, отдай мне ту, которая одна владычествует моим сердцем”».

Солнце приближается к западу — Аместан идет к Гениеву саду; смотрит сквозь решетку — сад кажется пустым; слышны одни только птицы, поющие по миртовым и лавровым ветвям; слышно одно журчание источника. Аместан стоит неподвижно — ждет с нетерпением — ночь уже близка. Вдруг послышался ему жалобный голос — кто-то рыдал; смотрит — прелестная незнакомка стоит под ветвями лимонных и алоевых деревьев; она склонилась на плечо молодой подруги, которая говорит ей:

— На что предаваться печали, милая Амелина! Чего недостает тебе в этом очаровательном месте? Счастье твое совершенно! Гений любит тебя страстно! От тебя одной зависит царствовать над этою областью, быть всемогущею и разделять с ним его сокровища. Прилично ли плакать в то время, когда все наши подруги завидуют твоему жребию! Открой же искреннему дружеству тайну твоего сердца! И да поможет мне Магомед пролить на него то утешение, которое успокаивает горесть и исцеляет глубокие раны души.

— О милая подруга! Напрасно стараешься исцелить мое сердце! Судьба моя ужасна! И одна только смерть может возвратить мне потерянное спокойствие. Я отнята у милой матери, которая во мне одной при тягостной нищете находила отраду, которая меня обожала, которая вместе со мною последних радостей своих лишилась. Этот всемогущий Гений увидел меня; я имела несчастье ему понравиться, и он похитил меня из нежных объятий матери. Всякую минуту воображаю

ее в слезах. Горестною, умирающею от тяжелой тоски по своей дочери. Но может быть, ее уже нет! На что ж мне теперь и то могущество, которое ты так превозносишь, и те сокровища, которыми надеешься ослепить мою душу. В бедности была я счастлива; я молила от неба одной только матери. Оставшись с нею, я, может быть, нашла бы супруга бедного, как и я, но милого моему сердцу; вместе с ним пеклись бы мы о сохранении ее счастья, и дни наши проходили бы в ясном спокойствии непорочности. А теперь? О жестокий! Он все у меня похитил!

При этом слове Амелина выходит из роши и идет мимо решетки, близ которой Аместан стоял неподвижно, исполненный восхищения страсти. Увидя ее так близко подле себя, он не мог победить своего чувства и воскликнул:

— Амелина! Амелина! Милое, восхитительное творение! Люблю тебя! Сердце мое пылает сильнейшею к тебе страстию!

Амелина оборотилась, увидела Аместана и покраснела.

— Не удаляйся, Амелина! Умоляю тебя! Твое отсутствие лишит меня жизни!

Амелина опять взглянула на прекрасного молодого человека: она хотела остановиться, но спутница сказала ей вполголоса:

— Уйдем, уйдем, Амелина! Это смотритель сераля; он, верно, подслушал наши разговоры.

И они скрылись.

Но Аместан доволен был своим вечером. Он видел Амелину, он говорил с нею, и она уже знает о его страсти.

— О! Как она прелестна, — восклицал он. — Как трогает меня ее участь! Окруженная величием и блеском, она сожалеет о бедной хижине, в которой жила для одной только матери! Какое сердце! Какая невинность! О! Нет сомнения, Амелина превосходит всех женщин на свете! Это не женщина — ангел. Душа ее чиста, как день! Она не способна обманывать!

Но горестное размышление смутило Аместана: он вспомнил слова Амелининой подруги. Она презирает меня, подумал он: я не иное что в глазах Амелины, как низкий приставник сераля. Он вспомнил также и то, что Гений страстно влюблен в Амелину: получить такое сокровище из рук совместника казалось ему невозможностию.

Прошло три дня — Аместан не имел случая увидеться с Амелиною. И как изобразить его беспокойство? Что с нею сделалось! Не похитил ли ее ревнивый Гений из очарованного сада? Или печаль ее умертвила?.. ужаснейшие мысли преследовали Аместанову душу. Наконец в четвертый день около вечера Амелина представилась опять его взорам. Он видит ее сквозь решетку, может ее слышать; но Амелина его не при-

мечает. Лицо ее не так уже печально, и никогда еще не была она столь прелестною. Аместан рассматривает ее с восхищением; но кто изобразит его чувства, когда она сказала своей подруге:

— Напрасно, милая Нирца, хочешь ты вооружить мое сердце против этого молодого человека, которого видели мы здесь подле решетки; никогда не поверю, чтобы он приходил сюда с намерением низким. Заметила ли ты его красоту? Какое величие и благородство во всех чертах! С какою нежностью он на меня смотрел! Он меня любит — могли в этом сомневаться? Он мне сказал «люблю» тем голосом, который прямо льется из сердца. И с той минуты могу только думать об нем. Я чувствую, что люблю страстно его и буду любить до гроба!

О! Как растрогано сердце Аместана! Он любим, Амелина не может его обманывать; она уверена, что он ее не слышит; она проливает тайну свою в сердце дружбы.

— Так, Нирца! С этой минуты существование мое обновилось — надежда вошла в мою душу; он любит меня, Нирца! А ты знаешь, что в его власти извлечь нас из этого ненавистного сада и сделать навеки счастливыми.

Внимание Аместаново удвоилось.

— Ах! Если бы он имел довольно смелости, — продолжала Амелина. — Ты знаешь, Нирца, что всемогущество Гения связано с одним только происшествием, могущим его уничтожить; ты знаешь, что все мы сделаемся свободны в ту минуту, в которую смелый юноша дерзнет вступить в серебряные ворота: и очарованный сад, и пышный Гениев замок должны быть наградою нашего избавителя. О! тот, кому принадлежит мое сердце, один достоин обладать этими сокровищами!

— Боже! Что я услышал! — воскликнул Аместан. — Я могу обладать Амелиною, могу ее сделать владычицею этого восхитительного места!

И с сим словом он сильною рукою потрясает серебряные ворота; они были только притворены; в минуту растворились; Аместан в саду, лежит у ног Амелины... О небо!.. Какое чудо! — ...Амелина исчезла, а с нею и сад, и долина, и Гениев замок... Всё улетело, как легкий пар, унесенный ветром... и Аместан увидел себя при входе Мааранской пещеры, на том самом месте, на котором в первый раз представился глазам его Гений. Как описать его изумление, горесть, досаду, стыд! Силы его исчезли; спина согнулась; колена дрожат; ноги едва могут передвигаться; длинная борода закрывает его грудь; глубокие морщины протянуты по его щекам бледным и впалым; голова его обнажена, и едва-едва несколько седин защищают ее от солнечного зноя. Все исчезло, и молодость, и красота, и сила — вдруг от двадцати лет перешел он к осмидесяти. Долго стоял он безмолвен, погруженный в глубокое уныние, с потупленными

в землю глазами; не смеет поднять их, дабы не встретить какого-нибудь неприятного свидетеля своей горести — вдруг слышит: идут; смотрит и узнает — кого же?.. Меледина! Да, Меледин такой же старый, седой и слабый идет к нему, подпираясь клюкою.

Старики долго смотрели в молчании друг на друга. Соединение в минуту печали было для них некоторою отрадою.

— Это ты, прекрасный Аместан?

— Это ты, очаровательный Меледин?

— Увы! Это я! Молодость наша продолжалась недолго!

— Сами виноваты!

— Что мы наделали?

— Множество глупостей.

— Правда твоя! Мы были очень безрассудны.

Аместан рассказал приключения свои Меледину, который, в свою очередь, исповедал ему свои дурачества, как следует:

— Ты знаешь, Аместан, какой подарок мне сделал Гений: чудесное кольцо, посредством которого тайнейшие мысли человека делались мне открыты. Короче сказать: иду в Испагань молод, здоров, прекрасен по-прежнему. В уме моем тысячи планов о приобретении несметного богатства, почестей, славы. И какое же удовольствие! Я буду зрителем человеческих страстей — их мысли, желания, выдумки, хитрости, обманы, словом, все планы сердец их будут мне открыты! В моей воле прослыть ученым человеком, умом превосходным и проницательным! Мне можно предсказывать будущее и почти никогда не ошибаться!

Уже подхожу я к Испагани; уже прошел прекрасные сады Зурфы; иду по улице Сцеарбах — попадается мне навстречу старушка, одетая в длинную епанчу⁸; в руках ее корзина. Приподымаю покрывало ее, смотрю ей в лицо и говорю улыбаясь:

— Старушка, старушка! К кому спешишь с этою корзиною? Господин твой Акелибе не останется тебе благодарным, когда узнает, какие прекрасные поручения ты исполняешь.

Старушка испугалась.

— Ради самого Пророка не погуби меня! — воскликнула она. — Правда твоя, одна из жен повелителя моего Акелибе страшно влюблена в прекрасного Тахмаса; они назначили местом свидания своего сад, находящийся неподалеку отсюда, и я несла туда корзину с плодами и винами. Еще раз прошу тебя, не обнаруживай нашей тайны.

Я умирал с голоду и сказал старушке:

— Не беспокойся, буду молчать, но с условием: отдай мне эти плоды и вина.

Старушка не долго думала, бросила корзину и скрылась. Я вошел с добычею своею в один из лучших караван-сералей⁹ испаганских: поужинал очень вкусно, смеялся своему приключению и внутренне благодарил Геня за драгоценный подарок, которому был я обязан приятным ужином. Я думал о тебе, пил за твое здоровье и в сердце своем молил Пророка, дабы простер над тобою покров своего милосердия.

Я еще не успел доужинать, как вошли в караван-сераль четыре молодых человека. Они садятся подле меня, велят себе подать мороженого и начинают разговаривать о любовных своих приключениях, которыми возбуждают и мое любопытство. Мне пришло в голову повеселить их своим рассказом, и я описал им самым забавным слогом встречу мою со старушкою. Вино разгорячило мое воображение; острые слова сыпались с языка моего — и я был очень доволен своею ролею. Но заключение этой комедии было не так для меня забавно, как ее начало. Один из четырех молодых людей вскочил с места и закричал:

— Друзья мои! Вот тот человек, которого нам надобно; он знает тайну моей любви; должно уверить себя в его молчании; а самое верное к тому средство — отправить его на тот свет. Они бросаются на меня, как бешеные. В руках их были толстые палки. Начинают меня бить нещадно. Подымаю ужасный крик. По счастью, в караван-серале было много людей; они сбегаются на мои вопли — мучители мои принуждены сокрыться, и я оставлен без чувства, израненный, окровавленный, но благодаря Пророку, раны мои были неопасны, и через несколько дней я мог уже выйти из караван-серала.

Хочу идти к себе в дом; но сам не знаю, под каким предлогом явиться на глаза моих детей и жены. Если назовусь Меледином, думал я, то все сочтут меня сумасшедшим! Дети мои теперь меня старше; они станут надо мною смеяться и выгонят меня из дому. Я выдумал наконец способ. Пишу к смотрителю моих невольников письмо, в котором говорю, что важные нужды заставили меня на долгое время удалиться из Испагани, и повелеваю ему слушаться подателя письма, как меня самого, а сроку моего возвращения не назначаю. С этим письмом иду в мое жилище, и все мне повинуются; всем располагаю, как повелитель самовластный, и никому не приходит в голову узнать во мне Меледина. Между тем начинаю замечать, что детям моим не совсем неприятно отсутствие их отца; вижу, что они живут без расчета и тратят имение мое на пустые издержки; наконец замечаю, что старший мой сын собирается похитить из моего гарема любимую мою невольницу; застаю их однажды вместе; делаю упреки — мне отвечают насмешливою улыбкою; бранюсь — со мною обходятся грубо; прихожу в бешенство — все мое семейство про-

тив меня бунтует; говорю наконец, что я Меледин — меня называют сумасшедшим и выгоняют из дому.

Не имея никакого способа доказать в суде, что я подлинно Меледин, решаюсь оставить собственный дом мой и занимаю маленькую квартиру на площади Атмейдане¹⁰. Всякое утро прохаживался я по тому обширному месту, на которое со всех краев света сходились купцы, и где встречались мне люди всякого состояния и промысла. Здесь очень свободно мог я рассматривать подвижную картину страстей человеческих: я видел перед собою покупателей и продавцов, любопытных, честных людей и бездельников. Кольцо мое открывало мне тайны человеческих мыслей: на лицах купцов читал я настоящую цену их товаров и собирал сведения, которые со временем могли бы послужить мне в пользу, когда бы я более старался, не хвастаясь ими, извлекать из них надлежащую выгоду. Я подавал прекрасные советы покупателям, назначая им настоящую цену тех вещей, которые они приобрести желали; но эта роля не имела большого успеха: обманщики всегда находили простяков, которые не хотели иметь доверенности к моему знанию, ибо оно противоречило их желаниям, и я наконец уверился, что прихоти и страсти честных людей в половине с коварством обманщиков, и что желание сильное способствует много обману.

Собравши порядочный запас наблюдений новых и тонких, решился я войти в большое общество; не пропускал ни одного праздника и пиршества. Меня узнали, ибо, не открывая тайны кольца, я рассказывал такие удивительные вещи насчет известных в городе людей, и все мои замечания были так сходны с истиною, что скоро начали говорить обо мне как о человеке необычайном, чудном, единственном, и это льстило суетному моему честолюбию. Но скоро заметил я, что самые те люди, которых наиболее забавлял я своими рассказами, начали меня убеждать, ибо, нашедши, что все мои замечания насчет других были удивительно верны, они опасались, чтобы и их не обличила чудесная моя проницательность. Нередко удавалось мне слышать, что я человек ядовитый; и даже на некоторых лицах прочитал я тайное желание бросить меня в реку Сандерон¹¹ с камнем на шее.

И я еще не успел извлечь никакой истинной для себя пользы из Гениева подарка: я думал об одних удовольствиях суетного самолюбия. Однажды, по обыкновению своему, прохаживался я по обширной площади Атмейдану. Слышится шум; вокруг меня говорят, что шах Сефи¹² скоро проедет через улицу Сцеарбах со всеми своими женами в сады Зурфы. И в самом деле отворяются двери дворца; ступени мраморной лестницы устилаются богатыми коврами, и шах Сефи сходит по ним, окруженный всеми великими чиновниками Империи¹³.

Он садится на прекрасного арабского коня¹⁴, которого сбруя украшена перлами¹⁵, алмазами, бирюзой и золотом. Знатнейшие придворные также садятся на коней, убранных весьма богато. Они едут тихим шагом по улице Сцеарбаху; жен великого шаха несут на носилках, покрытых богатыми коврами, парчею и шелковыми тканями. Визирь¹⁶ едет по левую руку шаха, который разговаривает с ним весьма благоклонно.

— Великий визирь пользуется полною доверенностию нашего государя! — говорят мне люди, выдающие себя за политиков.

Я посмотрел на лицо шаха и, радуясь случаю доказать свою проницательность, сказал довольно громко:

— Завтра пришлют к нему роковую петлю.

Все начали осматриваться с удивлением — пророчество мое показалось признаком сумасшествия.

Между тем толпа рассеялась, все разошлись по домам, а на другое утро весь город узнал, что великий визирь удушен. Сие известие разнеслось вместе с моим пророчеством по Испагани. Каждый спрашивает у самого себя: «Кто ж этот чудесный человек, который имеет дар так верно угадывать? Конечно, он вдохновен Пророком или имеет ум, превосходящий обыкновенное понятие смертного!». Во всех домах говорят обо мне; народ собирается толпами на меня смотреть; короче сказать, я сделался предметом всеобщего любопытства; наконец и сам великий шах Сефи повелевает меня к себе представить. Он хочет со мною говорить; хочет узнать меня в лицо; какое счастье! Какая слава! И я располагался непременно воспользоваться этим случаем. Иду во дворец; меня представляют шаху. Я вижу великого повелителя Персии во всем блистании его могущества. Падаю ниц; он повелевает мне встать и говорит:

— Кто ты, чудесный человек, угадывающий будущее? Кто сказал тебе, что мой великий визирь будет сего дня удушен?

— О мудрейший и могущественнейший из государей! Открою тебе истину. Ты видишь во мне человека, могущего оказывать тебе самые важные услуги, ибо одним взором я проникаю во внутренность человеческого сердца. Могу отличать любящих тебя от тех, которые тебя ненавидят, и разрушать ковы¹⁷ твоих неприятелей. Нет тайны, сокрытой от моего проницания!

— Увидим! Хочу тебя испытать. Скажи мне, за что приказал я удушить своего любимца?

— За то, что он имел неосторожность напомнить о Магометовом законе, запрещающем пить вино.

— Что делал я вчера ввечеру, прежде, нежели лег в постелю?

— Курил ароматы и пил ширасское вино¹⁸, которого осушил полных восемь кубков.

— Что видел я во сне?

— Ты видел, государь, что будто ты солнце; что море обратилось в вино и что ты лучами своими его осушаешь.

— Кому давал я аудиенцию нынешним утром?

— Китайскому посланнику!

— Что делал я на этой аудиенции?

— Ты почивал.

— Довольно! — воскликнул шах, нахмутив ужасным образом брови. — Удались, беги от моего присутствия. Я не хочу, чтобы на земле существовал человек, проникающий в тайну моих мыслей и могущий читать во глубине моего сердца. Поди!

— О Аместан! Могу ли изобразить свое удивление, свой ужас? Я ожидал блестящих наград, а царь произнес мой смертный приговор. Иду из дворца, схожу с мраморной лестницы, но еще не успел я ступить на последнюю ступень, как чувствую, что ноги мои трепещут, колена подгибаются; глаза тускнут, длинная седая борода выступает из моего подбородка — словом, я опять старик в восемьдесят лет.

И я не успел еще пройти сто шагов, как увидел шаховых стражей. Один из них остановил меня за руку и сказал:

— Старик, не попадался ли тебе молодой человек, лет двадцати, прекрасный лицом, румяный, белокурый, с блестящими глазами? Он только теперь вышел из дворца и, верно, пошел по одной дороге с тобою.

— Что вы хотите сделать с этим молодым человеком? — спросил я, содрогаясь от ужаса.

— Хотим отрубить ему голову.

Слова сии привели меня в трепет; мои последние седые волосы поднялись дыбом; страх помутил мой рассудок; я бросился на колени и воскликнул:

— Сжальтесь! Помилуйте! Этот несчастный молодой человек, которого вы ищете, я! Не погубите меня!

Стражи не ожидали такого ответа. Наружность моя нимало не отвечала их описанию. Они засмеялись и побежали вперед. Ужас мой миновался; мое внезапное превращение спасло меня от неминуемой гибели. Оставляю поспешно Испагань, иду к этой пещере в надежде встретиться здесь с тобой — надежда меня не обманула; ты здесь, Аместан! И молодость твоя так же была непродолжительна, как и моя!

— Так, Меледин! Мы оба худо воспользовались дарами Гения! Но что, если бы он вздумал возобновить их?

— Мы были бы, верно, благоразумнее?

— Обманываетесь, мои друзья, — сказал им голос, чрезвычайно приятный, и они тотчас узнали Гения, — обманываетесь, и ваше желание доказывает, что опытность вас никогда не исправит. Молодые люди не имеют недостатка ни в уме, ни в опытности: их заблуждения и глупости происходят не от невежества, но страсти их заставляют молчать рассудок и забывать уроки опытности. После двадцати кораблекрушений плаватель опять распускает паруса, опять стремится на бурное море, которое двадцать раз готово было поглотить его судно. Опыты отцов существуют и для детей, но они совсем для них бесполезны. Напрасно прошедшие поколения дают уроки грядущим: страшные войны, гибельные революции всегда будут свирепствовать на этой глыбе земли, на которой человеческие страсти до скончания веков будут волноваться. Возвратить старости прежнюю силу и склонности не то же ли, что возвратить ей все заблуждения молодых лет? Ты, Меледин, был суетен, неосторожен, болтлив, тщеславен — и тысячу раз был ты обманут своею нескромностию и суетностию. Сделать тебя молодым — значит дать тебе прежние твои недостатки, следовательно, сделать тебя их жертвою. Ты, Аместан, любил страстно женщин, и тысячу раз эта страсть вводила тебя в заблуждение; будь молод, и опять тысячу раз будешь обманут. Последняя женщина, которою пленишься, покажется тебе совершеннейшею из всех, и ты будешь говорить об ней то же, что говорил об Амелине; *сердце ее чисто, как небо; она не может обманывать*. Перестаньте же укорять небо в несправедливости. Опытность есть пробуждение, которое уничтожает обманы призраков; она не столь приятна, не столь весела, как заблуждение, но должно ею наслаждаться, как истиною.

С франц. Ж.

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ ИОАННА МИЛЛЕРА К КАРЛУ БОНСТЕТТЕНУ

Женева, 26 дек. 1774.

Я здоров теперь совершенно. Все мои болезни, и телесные, и душевные, единственно происходят от скуки, а скучно мне бывает только тогда, когда я не на своем месте; настоящее же письмо мое — объятия дружбы или спокойный учебный кабинет. Ты прав, мой Карл; занятие и дружба — в них заключено все мое счастье, они одни могут сделать меня полезными свету. Живость характера моего не может согласо-

ваться с медлительным ходом фортуны; самые добродетели мои были бы для меня источником несчастий: я мучился бы душой, видя величие недостойных, моральную слабость сильных и торжество людей пресмыкающихся и ничтожных. Я чувствую, что несравненно легче достигнуть и к счастью, и к спокойствию, и к истинному величию путем наук, и что один этот путь может быть мне приличен. Макиавель и честолюбие владели несколько месяцев моею душою — они ее портили; история, тайная хроника некоторых нынешних дворов, Боннет, сердце Бонстеттена, мои Шотландцы и Англичане меня исправили, и я опять возвратился к добродетели. Не могу описать моего спокойствия, той веселости, той восхитительной гордости духа, которую почерпаю я в философии.

Обхождение с людьми не потому единственно мне приятно, что доставляет мне новые сведения: нет, Бонстеттен! Я нахожу в нем истинное счастье: общество Грамблея, Боннета, Клансона¹ — тайная сила чувства привязывает меня к этим людям. Англичане любят меня от всего сердца и жертвуют мне своим временем весьма охотно. Грамблей между прочим вызывается познакомить меня в Англии с теми людьми, которые особенно могут быть мне полезны.

Как ты думаешь, Бонстеттен! *Avec un bon esprit on a beaucoup de peine a etre bon home* (с умом нельзя иметь добродушия), ты, который знаешь Боннета! Не говори же: *que les etudes donnent des defauts au caractere* (ученье терпит характер), это несправедливо; но вот что неоспоримо: красноречивые проповедники романической философии, или мечтаний политических, делают несносным для молодых людей свет, ибо они дают об нем самое ложное понятие; а молодых людей для света, ибо они не могут быть употреблены им в пользу. От этого должно предотвратить нас знание частных, подробных историй и постоянное стремление получить похвалу от тех людей, которых бы мы хотели иметь друзьями.

В субботу обедал я у нашего генерала. И вид, и характер этого человека меня пленяют; мне весело на него смотреть, и сердце мое полно доверенности, когда я его слушаю. У него нашел я господина Ц..., который написал толстую книгу об основаниях законов; она печатается в Голландии. Нельзя быть холоднее этого человека; два дни, проведенные в его обществе, заморозили бы мою душу. Мы говорили о политике; он нападает на Монтескье за то, что он слишком основывает мнения свои на истории! Желая знать, на чем ином они могут быть основаны? Он утверждает, что просвещенный монарх не может сделать несчастным своего народа. Но Фридриха, я думаю, нельзя назвать невеждой².

Переселение народов, случившееся в пятом веке, приготовлено Домицианом и едва ли не Августом³. На восток китайцы выгнали гуннов из северных пределов своей Империи⁴; гунны сдвинули с места своих соседей, которые то же сделали со своими, и наконец Ерманёриковы Готфы⁵, во время императора Валентина⁶, явились на берегах Дуная⁷. Сражение произошло в отдаленном Китае, сделало визиготов⁸ владыками Испании, Дитриха⁹ посадило на Кесарев трон и наконец наслало на нас грозного Атиллу¹⁰.

С другой стороны Марбод¹¹ хотел повелевать независимой областью, и когда он перешел в Моравию, то в Швабию бросился мелкий народ, *levissimus quisque Gallorum* — и это были истинные наши пра-родители; они завладели Швейцариею, расселились до Кельна; против них и римлян образовался в Вестфалии оборонительный союз, наименованный союзом франков. Он покорила Галлию и ниспроверг аллеманов¹². Но германцы в то время жили не трудами, а хищничеством. Морские разбои покорили Генготу, Роллону и Рогеру Англию, Нормандию и обе Сицилии¹³. Наконец явился великий человек¹⁴; он вторгся во львиную пещеру — Карл великий победил Витикинда¹⁵. Потом образовалась империя в Германии¹⁶... Каких движений народных не видим мы в это время? И эту чудесную историю буду на сих днях проходить с Кинлохом¹⁷.

Почта еще не отошла. Имею время добавить еще несколько строк и скажу тебе, что размышление показало мне, сколь не верны науки, которые все подводят под правила общие и подвергают нас тем неудобствам, которые ты в последнем письме своем вообще на счет всякой науки ставишь. Общая умозрительная политика и происшествия без подробностей имели на меня весьма вредное влияние и были начальною причиною моей удивительной неосновательности. Вникания в дела, которые особенно до нас касаются, и наблюдение за человеком как в общежитии, так и в записках исторических, самых подробных и обстоятельных — вот средства, могущие служить к исцелению нашему от этой болезни. Сначала история была запасным магазином опытности, необходимой для управления делами народов; но с той минуты, когда она обратилась в историю всеобщую, и с той минуты, в которую идеи общие овладели нашими мыслями, истинная польза ее исчезла. Итак, Бонстеттен, тот способ учения о котором я говорил выше, почти-таю несравненно полезнее всех *общих* наук: метафизики, всеобщей истории, общей политики и тому подобных¹⁸. Прости.

Женева 1775

Этот Руссо доказал мне одну великую и мало обдуманную мной истину — важность и всемогущество красноречия. Вся мыслящая Европа им восхищается. Посмотри на них: не все ли они (включая одних соотечественников его) стоят перед ним на коленях? И чему же от него научаются? — Ничему, совершенно! Они обожают его только за то, что он владеет своим словом, как бог Юпитер своими громами. Так, Бонстетген, и я ополчу себя этим оружием. Со времени переселения народов до Еразма¹⁹ лепетали одни младенцы; от Еразма до Лейбница писали; от Лейбница до Вольтера умствовали; я буду — говорить. На наших Альпийских высотах катится гром и раздается по всем кантонам; в их недрах зарождаются Рейн и Рона; с величественным ревом мчатся они по утесам союзников и протекают потом по низким долинам германцев и белгов²⁰. А наш язык, мой друг! Для чего подобится он более шумному Штауббаху²¹, который осыпает нас влажной пылью, не потрясая нашего сердца? Германцы хотят поражать; но их поток стремится по камням, и тот, кто предает себя его волнам, или остается неподвижен посреди утесов, или бывает разорван на части. Неподалеку от моей родины свергается Рейн с высоты в 80 футов; когда восходит солнце, то пена kloкочущих волн сияет как радуга — нет силы, которая могла бы с ним бороться — рыбы, суда и все, дерзающее приблизиться, увлекает он быстро ужасным порывом; путешественник теряет присутствие духа и приближается к нему с содроганием. Цицерон, Квинтилиан и этот водопад открывают мне, каково должно быть истинное красноречие. Я разделяю работы свои на два класса. Каждый день по четыре или пять часов пишу историю; менее нельзя: или надобно будет совсем отказаться от сна, чтоб кончить ее в надлежащее время; остальные часы посвящаю великим ораторам, литературе изящной и вообще произведениям вкуса или великого гения. Между классическими историками предпочитаю таких, которые описывали революции народов; которые в одно время изображали и человека, и общество, которых оригинальный характер мог бы способствовать мне к образованию моего собственного. А ты, мой друг, должен быть для меня Гением-хранителем: остерегай меня. Когда я пропущу что-нибудь необходимое или что-нибудь сделаю лишнее, от всех других желаю похвалы, от тебя, моего друга, и самое неодобрение было бы для меня драгоценно!

Завтра наши англичане дают бал — я буду на этом бале. Хотя и не имею понятия о музыке, хотя и с большим неудовольствием смотрю на танцы, но видеть лица мне очень приятно, а это заставляет меня посещать иногда и концерты, и балы.

Избави Бог республики наши от патриотизма! Гамильтон²² боится размышления, которое вредно его слабым нервам. И наши республики

страждут нервическими болезнями: продолжительное спокойствие расслабило их мускулы, и пламенная кровь, кипевшая на сражениях при Моргартен и перед Муртемом²³, совершенно спала. Тиверий, желая уверить, что смертный час его еще далек, ел более обыкновенного, и это причинило ему смерть: так точно и неумеренность в патриотизме может быть гибельною для нашего отечества, для которого теперь всякое излишнее напряжение сил опасно.

Ты говоришь: *Les societees se conduisent au hasart et sans plan* (гражданские общества управляются случаем и действуют без плана). Монтескье, которому, конечно, не одно гражданское общество было знакомо, говорит напротив: *Que dans cette infinie diversite de loix les homes n'etaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies* (Несмотря на бесконечное разнообразие законов, нельзя сказать, чтобы люди в поступках своих следовали единственно своим прихотям).

Нынешний год должен иметь великое влияние на всю мою жизнь. И помоги мне Бог! Мне надобно вооружиться всеми моими силами. 13 января вступил я в тот возраст, в котором Исаак Невтон открыл великие тайны природы²⁴. Но кто в этом году откроет мне тайну гражданских обществ и человека? Да будет же надо мной благодетельная звезда твой дружбы!

Воскресенье

Вчера безжалостно поступил я с нашим Жан-Жаком; но я продолжаю читать его с прилежанием.

И планы мои, и занятия сделали для меня в нынешнем году необходимыми сочинения итальянских гениев и мыслящих англичан, которые вообще предпочитаю безделкам этой блестящей нации бабочек, к которой Монтескье принадлежит одним только телом. И характер, и склонности, и самые занятия привязывают меня к тем *who when they speak or write seek the substance et leave the sing, or medium of conveyance to sush as Pope called: word catchers that live on syllabes* (которые и в разговоре, и на письме ищут одной только сущности, а знаки, способы выражения, оставляют таким людям, которых Поп называет *ловцами слов, живущими на слогах*).

Винкельман, Лебрет, жизнь Кромвеля, *Historia della casa dei Medici*²⁵ — эти книги ты должен прислать мне как можно скорее. В Сульцере не имею нужды. Какое мне дело до его непонятных отвлечений и мертвой теории? Лучше познакомь меня с твоим Греем; гений этого человека приводит меня в восхищение с тех пор, как знаю, что он, подобно мне, первыми в свете историками называет Макиавеля и Тацита и ближайшее к ним место дает канцлеру Кларендону²⁶.

Боннет находит в тебе совсем другого человека; он никогда не воображал, чтобы ты мог иметь такую силу и такие крепкие нервы. Слог твой сделался выразительнее и определеннее. Но он приказывает тебе писать ко мне по-немецки, дабы несколько более приобрести навыка в этом языке, а мне приказывает судить тебя без пощады и не прощать тебе ни одной погрешности. Бюффонова слога не почитает он совершенным: он вызывается доказать на письме, что периоды его весьма, весьма необработанны. И я с своей стороны не желаю иметь такого слога; хочу иметь свой собственный, от всех других отличный. Что же значит длинная твоя диссертация об этом предмете? Не хочешь ли ты, чтобы я покорил себя игу Сульцеровых правил²⁷? Или следовать правилам, или предписывать правила! Или быть копиистом, или быть образцом! Гений, Бонстеттен, Гений одушевляет слог; но мертвое слово правил совсем бесполезно! Совет твой разделить мое время между занятием и обществом гораздо благоразумнее прежнего твоего совета: быть Филиппом Стангопом²⁸, а не Юмом.

Кинлох, 19-летний, пронизательного, пламенного гения молодой человек — чистое, не знающее никакого притворства сердце — говорит мне: «Я еще недавно знаком с вами, Миллер, но уже начинаю иметь к вам уважение, несмотря на то, хочу целый год вас рассматривать, дабы позволить себе назвать вас своим другом», через неделю потом сказал он: «Миллер, правила мои не позволяют мне дать вам имени друг, но я нетерпеливо желаю это сделать, и я уверен, что мы со временем станем друзьями!» — О Бонстеттен, любезнейший сердцу моему человек, вот люди, которых привязанность должна быть моею наградою, моею славою, моим счастьем!

Женева, суббота, ночью. 1775

Я отложил Руссо и наслаждаюсь божественным наслаждением в обществе Цицерона, счастливейшего из лучших людей, когда бы он остался верен музам и не жертвовал несколькими годами жизни своей интриге.

Полно собирать и записывать! Надобно обогащать себя правилами: как действовать во всех обстоятельствах жизни; всего важнее на свете смотреть на вещи с истинной точки зрения — тогда понятия делаются ясны, а слог благороден и прост. Я почти перестал писать примечания: все эти записи делают умную одну бумагу и образуют не человека, а писателя. Несчастлив тот друг, несчастлива та страна, которых друг и правитель во время нужды — собственной или чуждой — должны прибегать к своим извлечениям и выпискам, на что собирать такие сокровища, которые могут погибнуть в волнах, сгореть в огне, которые одна

опрокинутая чернильница может уничтожить? И отчего философы обыкновенно так худо управляют общим делом? Отчего в наше время гении так редки? Не оттого ли, что Гомер и Шекспир для приобретения бессмертия не имели нужды в компиляциях, не умерщвляли фолиантами своего духа? Будем замечать, глубоко врезывать в душу свои замечания и редко записывать их на бумагу. Мудрость и истинное достоинство свободного человека, одаренного Гением, должны быть в нем самом, и тираны, которые гнетут или хотят угнести Европу, не столь ужасны своими притеснениями, как некоторые наши предрассудки и затруднительные привычки.

Письма твои всегда меня восхищают, особенно когда ты говоришь в них со мною. И в самом деле, человек, который, с таким Гением, какой имеешь ты, учился и наблюдал несколько лет, должен иметь большой запас замечаний, а я твои замечания могу называть моими, и это избавляет меня от трудной работы, от тяжкой потери нескольких лет драгоценной жизни. Итак, прошу тебя, Бонстеттен, остерегай меня всегда, как скоро заметишь, что мои планы и перемены мои в планах нерассудительны или неправильны! Дружба состоит в слиянии, в свободной мене всех правил, мнений и чувств. Какая мне польза, что друг мой и лучше меня, и благоразумнее, когда он вместе с собою и меня не делает благоразумнейшим и лучшим?

Бессинген

Ты создан быть другом моего сердца — так сходны наши мнения о многих важнейших предметах человеческой жизни.

Скажи мне в двух словах, что именно не нравится тебе в Честерфилде?

Бернские статуы²⁹ доказывают мне, что нация наша, в течение нескольких веков спокойствия, почти ничего не сделала для своего усовершенствования; что никакой public spirit не оживляет ее; что ни одна из ее республиканских конституций не делает ей чести, и что я непременно должен поместить в моей истории главу об учреждениях гельветов, имеющих предметами счастье целой нации, прибавив к тому замечание, что все сии учреждения могут быть усовершенствованы только большею деятельностью в народных собраниях, большим патриотизмом в членах совета и в гражданах. Бургундская война³⁰ представляет мне, с одной стороны, варварство наших почтенных предков, в большой противоположности с образованностью италианцев: бешеная жестокость нашего народа, с миролюбивыми городками, державшими сторону своих владельцев, приводит меня в содрогание. 18 ломбардцев, взятых в плен и брошенных в пламя за их безверие³¹, развалины

прекрасного города Стефлиса³², бездна кровопролития и хищничества, Италия, преданная огню и мечу, Елисейские сады миланцев, римлян и неаполитанцев, опустошенные альпийскими медведями — все это вопиет о мщении против сих варваров. Не думай, однако, чтобы я не находил ничего извинительного для таких жестокостей, приводящих в трепет; но признаюсь тебе, что безрассудные крикуны, которые беспрестанно превозносят высокие добродетели наших праотцев, выводят меня из терпения!

«Энциклопедия»³³ (писано в 1775) кажется мне источником ниспровержения французской монархии. Все внутренние беспокойства, производящие вредные общему благу союзы, обыкновенно проистекают от таких людей, которые почитают себя сведущими в политике и науке правления; но в самом деле смотрели на одно только целое без зрительного стекла³⁴ собственной опытности, и не имея понятия о подробностях, оную производящих. Министр, занимаясь важными предметами государства и не имея времени для приобретения полного понятия о ремеслах, может с великою для себя выгодой читать «Энциклопедию»; напротив, такое чтение поселяет в голову ремесленника вредную идею, что и он имеет право быть преобразителем государства; и я почитаю весьма важным ограничить распространение знаний поверхностных или общих, ибо они необходимо вредят естественному ходу частной, приватной жизни. Сие-то незнание подробностей прежнего времени заставляет наших демагогов кричать о простоте прародительской и ею восхищаться. Сведения поверхностные произвели у французов (которые, надобно заметить, перед всеми народами Европы отличаются поверхностными знаниями), сих дипломаторов, имеющих дар говорить много и не сказать ничего, и то презрительное для меня нечто, которое называют они жаром (*chaleur*) — язва, которая, кажется мне, заразила несколько и наших молодых людей. Я, с своей стороны, желаю — первое, чтобы они, остерегаясь своей чувствительности, своего воображения, не предавались стремлению этой лавы красноречивого звука слов, бесплодного, хотя и согревающего сердце; второе, чтобы ты и меня в случае нужды остерегал от этой заразы; и третье, чтобы мы оба страшились противоположной болезни, которой многие бывают подвержены: я называю ее жаркою привязанностью к хладнокровию, сухостию, важным бездушием.

Рассматривание частного уверяет меня, что слово «политика» почти не имеет смысла; что каждая земля имеет собственную и что две земли не могут иметь одной и той же политики; что англичанин имеет полное право не принимать конституции бернца³⁵, который такое же право имеет превозносить ее, уверен будучи в то же время, что она для дру-

гого кантона была бы погибелью. Прости, Бонстеттен, — скорее ответ и, ради Бога, помни, что ты единственный друг моего сердца.

Ж.

НЕОБХОДИМОЕ И ИЗЛИШНЕЕ

(ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА)

Молодой Адемдаи, бедный багдадский ремесленник, возвращался по окончании дневной работы в бедную свою хижину. На дворе была уже ночь; полная луна светила ярко. Вдруг слышит он шум: два человека, одетые в платье армянских купцов, защищались против шести мошенников. Адемдаи был сострадателен и отважен; он не имел в руках ничего, кроме палки, но это не помешало ему броситься на мошенников, которые в минуту обращены были в бегство. Адемдаи, после такого смелого подвига, удалился и не подумал спросить, кто были армянские купцы, спасенные им так неожиданно.

На другой день, также ночью, сидел он перед огнем и жаловался, по обыкновению своему вслух, на горестный жребий, данный ему Провидением. «Как трудно жить на свете; работай, работай, чтобы только не умереть с голоду, и что же удастся выработать в целый день? Не более полудрагмы! О Магомет, когда бы я мог иметь одно только необходимое! Более ничего от тебя не требую: я был бы счастливее самого калифа!»

В эту минуту отворилась дверь. Входит неизвестный человек, одетый белым покровом; лицо его величественно и приятно. В правой руке имел он жезл из гебенового дерева², а на голове тюрбан чрезвычайно высокий. Робость наполнила душу Адемдаи.

— Не бойся, молодой человек, — сказал незнакомец, — я — Гений, желаю тебе добра; хочу исполнить скромные твои желания; ты требуешь одного только необходимого, не так ли?

— Ах, добрый Гений, — воскликнул Адемдаи, — я ничего, кроме необходимого, не желаю!

— Но в чем же состоит это необходимое? Скажи мне, что бы ты хотел иметь? Все получишь, даю тебе слово.

— Требую очень мало: сарачинского пшена³ для моего обеда; дров для моей печи; опрятного платья для меня самого, и более ничего не могу придумать.

— Ты очень неприхотлив, Адемдаи. Сколько же надобно тебе денег, чтобы иметь все эти необходимые вещи?

— Не более драхмы в день.

— Вот восемь драхм: довольно для тебя на неделю; через восемь дней в этот же самый час явлюсь опять в твоей хижине, и если узнаю, что для тебя недостаточно одной драхмы ежедневного дохода, то ты получишь от меня столько, сколько потребуешь. Я стану увеличивать это жалованье до тех пор, пока, наконец, ты скажешь, что имеешь необходимое. Но знай, Адемдаи, что я никак не намерен давать тебе излишнего.

И Гений скрылся.

Адемдаи, полный восторга, рассматривал в неопisanном удовольствии деньги, данные ему благодетельным духом. Восемь драхм: какое сокровище! Никогда еще в жизни своей Адемдаи не бывал так богатым.

— Слава пророку, — восклицал он, — теперь не нужно мне целый день изнурять себя работою, чтобы иметь под вечер блюдо сарачинского пшена... Должно признаться, однако, что я великий глупец, — прибавил он, по некотором размышлении, — я позабыл попросить у доброго моего духа таких вещей, которые точно для меня необходимы. В доме моем нет никакой мебели, а что такое дом без мебели? Будто можно назвать постелью эту доску, на которой я сплю так беспокойно? Хорошая постель, конечно, есть вещь необходимая, потому что спать столько же нужно для сохранения жизни, как пить и есть. А есть ли у меня стул? Ни одного нет, а надобно бы иметь их несколько; один для меня, другие для моих приятелей, ибо и они необходимы в то время, когда я буду сидеть перед ними очень спокойно, не должны оставаться на ногах; это неприлично, а для хозяина и весьма неприятно. Также не худо было бы иметь и стол, собирать на коленях обед свой очень неловко.

Так бедный Адемаи пересчитывал в мыслях своих те вещи, которые могли для него быть необходимы. Вечеру, принявшись за ужин, он начал опять размышлять о тех предметах, которых позволено бы ему было потребовать у доброго духа. Правду оказать, одна драхма в день, доход не самый богатый. Сухое пшено очень сухо, а всякий день одно пшено, это наконец прискучит. Я желал бы иногда попотчевать себя и другим каким-нибудь блюдом, хотя в праздничные дни. Гений может сказать мне, что я уже прошу излишнего, но он ошибется, и я это ему докажу. Человеку необходимо надобно разнообразить свою пищу. Для чего же и создал Бог такое множество приятных для вкуса вещей, когда бы мы не должны были ими питаться? Есть надобно с аппетитом, а можно ли иметь аппетит, когда всякий Божий день ешь одно и то же? Замечу еще и то, что праздничные дни должны быть днями удовольствия и радости, но я желаю знать, какое удовольствие может иметь

бедняк, который ест одно сарачинское пшено? Итак, переменять иногда пищу свою почитаю необходимым. Но сарачинское пшено — самая дешевая пища, а драхмы достанет мне на одно только пшено, никакой другой пищи не могу иметь на эту сумму. Следовательно, надобно просить у гения драхмы на день и двух на праздничные дни. Много ли это?

Прошло восемь дней, и Гений в назначенное время явился в хижине. Адемдаи бросился перед ним на колена и начал высчитывать те необходимые вещи, которых позабыл у него потребовать при первом свидании.

— Берегись, Адемдаи, — сказал ему с кротостию Гений, — могу тебе дать одно только необходимое; если потребуешь излишнего, то будешь навеки мною оставлен.

Но Адемдаи доказал своему благодетелю, что требования его нимало не простирались за пределы необходимого, и Гений, убежденный силою доказательств, дал ему четыре золотых динара⁴ на покупку мебели и согласился на прибавку праздничной драхмы; потом оставил его, сказавши, что опять увидится с ним по истечении восьми дней.

На другой день рано поутру Адемдаи отправился на рынок, закупил мебели и, возвращаясь в хижину, воображал, что она покажется ему богатым чертогом. Но в этом случае воображение жестоко его обмануло: мебели были новые, а хижина старая. Он начал ее рассматривать, и наконец нашел, что она требовала больших поправок, и была готова совсем разрушиться. Он кликнул каменщика, чтобы посоветоваться с ним о перестройке, но этот человек, взглянувши на хижину, сказал ему: напрасный труд переправлять эту лачугу; гораздо будет дешевле поставить на месте ее новую!

Адемдаи в отчаянии; видеть прекрасную новую мебель в бедной, почти разрушившейся избушке, сносно ли это? Она упадет, переломает всю мебель, задавит и самого хозяина! Итак, совсем нелишнее переправить или и снова перестроить ветхий дом, грозящий падением, ибо одна из главных нужд человека состоит в том, чтобы иметь пристанище и не бояться всякую минуту, что упадет кровля и его раздавит.

Гений является; Адемдаи сообщает ему свои замечания, и Гений находит их столь основательными, что в ту же минуту отсчитывает пятьдесят золотых динаров на перестройку ветхой избушки.

«Какое счастье, — восклицал Адемдаи, — какое счастье иметь такого доброжелательного помощника! Теперь, благодаря ему, не могу ни в чем иметь нужды; буду просить от него одних необходимых для меня вещей и, верно, никогда не получу отказа, ибо совсем не думаю об излишнем. Одно необходимое драгоценно, а все излишнее достойно презрения.

Домик построен; Адемдаи не может наглядеться на новую свою мебель, простую, но очень чистую; садится на каждый стул; постель его так покойна, что он желал бы лежать на ней по целым дням. Прибавьте к этому праздничную драхму, которая в каждый праздник доставляет ему вкусный обед. Теперь-то можно сказать, что он имеет все необходимое. Необходимое? Но он один; а кто же один бывает счастлив? Он видит людей, имеющих в сералях своих по десяти, двадцати и тридцати прекрасных жен, а у него нет и одной: кто ж назовет излишним одну жену, необходимую подругу жизни?

Это единственная вещь, которой недостает к моему счастью. Домик мой очень хорош, но он показался бы мне в тысячу раз лучше, когда бы жила в нем милая женщина. Должно спросить мне у моего гения, причисляет ли он жену к излишнему?

В таких мыслях Адемдаи пошел прогуливаться по площади города Багдада; видит толпу, подходит: старый купец продает невольниц; одна из них отличалась от прочих необыкновенною стройностию стана. Адемдаи не может свести с нее глаз и впервые отроду почувствовал он в душе своей что-то похожее на любовь. Но как же он ужаснулся, когда увидел молодого человека, одетого в богатое платье, приближавшегося к молодой невольнице и, конечно, с намерением ее купить. Приказывают ей снять покрывало. Какие прелести представились взорам Адемдаи: блестящие глаза, миловидное лицо, губы, как молодая роза! Адемдаи остолбенел; какое очарование! «Это грузинка, — сказал купец, — ей отроду не более осьмнадцати лет; играет на лютне; поет очень приятно; танцует с удивительною легкостию; словом, редкость. Требую за нее двух тысяч золотых динаров».

Молодой человек предлагает полторы тысячи; Адемдаи трепещет. Купец упрямится; Адемдаи отдыхает. Молодой человек дает тысячу восемьсот динаров; купец колеблется; Адемдаи почти в лихорадке, но купец остается при первом своем требовании, и молодой человек, не столько воспламененный, как добрый Адемдаи, отказывается от покупки.

Несколько раз в продолжение этого дня бедный Адемдаи мучим был ужасом, который усилил и самую любовь его. По счастью, купец оставил площадь, не продав молодой грузинки.

В этот же вечер надлежало явиться и духу. Адемдаи ждет его с нетерпением страстного человека, мучимого ревностию и желанием. Увидя своего благотворителя, он распростерся на земле и залился слезами.

— Что сделалось с тобою, Адемдаи, — спросил с кротостию дух, — что значат твои слезы? Ты имеешь теперь необходимое; чего же еще можешь от меня требовать?

— Ах, добрый Гений, — воскликнул Адемдаи, — ты думаешь, что наделил меня всем необходимым? Но разве жена излишнее? Можно ли человеку находить счастье в одиночестве? И если жену должно назвать излишним, то я очень чувствую, что излишнее весьма бывает необходимо.

Гений улыбнулся.

— Правда твоя, Адемдаи, — сказал он, — ты должен иметь жену, ибо жена необходима для счастья честного человека. Советую тебе жениться на дочери какого-нибудь ремесленника из твоих знакомых. Не буду противиться этому супружеству. Ты имеешь новый дом, прибранный очень чисто; ты можешь найти и хорошую невесту: надобно только искать ее в том классе людей, к которому принадлежишь ты сам.

— Увы, я не того желаю! Я влюблен, и влюблен до безумия; а ты согласишься, конечно, что влюбленному человеку необходимо владеть милою женщиною?

— Необходимо, согласен.

— Следовательно, ты не откажешься исполнить любезнейшего желания моей души. Я люблю страстно прелестную невольницу, столь прелестную, что я и описать ее не умею. Но она слишком дорога...

— Что за нее просят?

— Две тысячи динаров!

— В самом деле, дорого, но эта издержка необходима, ибо ты влюблен. Когда бы ты занемог, то всякое лекарство, нужное для твоего излечения, и самое дорогое, было бы для тебя необходимо. Вот деньги; купи себе эту прелестную невольницу.

Две тысячи динаров отсчитаны. Гений удалился; Адемдаи в неописанном восторге.

Наконец владеет он любезною ему женщиною; чего же осталось ему желать? Он все необходимое имеет. Посмотрим. Он вводит молодую Азели в дом свой.

— О пророк, — восклицает она, закрывши глаза руками, — куда ты привел меня, несчастный! Неужели должна я буду жить в этом доме? Я, назначенная для серали богатого и сильного человека, я должна быть невольницею нищего и жить в тюрьме! Где же ты взял две тысячи динаров? Ты, верно, украл их; ты разбойник.

— Ах, Азели, — сказал Адемдаи со вздохом, — все мое богатство состояло в двух тысячах динаров; я всем пожертвовал, чтобы обладать тобою. Но успокойся: не имея богатства, мы не будем иметь излишнего; зато никогда не потерпим недостатка и в необходимом.

Но он ошибался; бывши один, он мог порядочно жить одною драхмою ежедневного дохода; теперь издержки его удвоились; одной

драхмы было уже недостаточно для двух. Эта мысль пришла ему в голову слишком поздно. Он принужден дожидаться возвращения доброго духа, а восемь дней, проведенных в бедности и несчастьи, кажутся весьма продолжительными. Он идет на рынок и покупает обед, для двух уже слишком бедный.

Между темь Азели горько плачет, и как же не плакать? Женщина молодая, прекрасная, имеющая тысячу восхитительных дарований, достойная украшать сераль султана или, по крайней мере, великого визиря... и что же? Она принуждена проводить свой век в уединении, быть невольницею презренного ремесленника! Она не может видеть тех мебели, которыми Адемдаи за несколько часов так восхищался. Постель, которую находил он столь роскошною, кажется ей беспокойнее камня. Она же слишком узка для двоих, ибо Адемдаи покупал ее для одного только себя. Все уверения его в любви принимает Азели с досадою.

— Тебе ли говорить о любви, покрытому этим отвратительным рубищем? Ты хвастаешь покровительством какого-то сильного духа, который дает тебе все необходимое! Но разве излишнее одеваться опрятно? А я несчастная, я скоро принуждена буду также надеть на себя нищенское платье, чтобы сообразоваться с бедственным своим положением; я, которая без тебя была бы одета в богатые персидские ткани! Ты хочешь, чтобы я тебя любила, но разве не ты причиною моих несчастий? Будь же доволен и тем, что я не чувствую к тебе ненависти.

Слова сии приводили в отчаяние Адемдаи: он называет себя несчастным, клянет горестную свою участь. Наконец протекли бесконечные восемь дней; Гений явился.

— О благодетель мой, ты обещал мне даровать необходимое, но ты меня сделал несчастнейшим человеком в свете!

— Как, — спросил удивленный Гений, — но разве не я исполнил твои желания? Не все ли имеешь, что прежде казалось тебе необходимым и драгоценным?

— Увы, ты говоришь правду, и я один безумец. Я думал, что это необходимое состоит в малом; но я ошибся.

— Объяснись со мною; посмотрим.

— Ты дал мне позволение жениться; ты дал мне способ соединить себя с тою женщиною, которую обожаю! Но я в одиночестве довольствовался одною драхмою; теперь нас двое, и наши издержки должны быть удвоены. Если необходимо было для меня жениться, то также необходимо и то, чтобы жена моя могла жить, не правда ли?

— Правда, необходимо!

— Слушай же, добрый Гений: жена моя не хочет ни пить, ни есть, ни спать; горе ее сдает и меня вместе с нею. Пища, которая казалась мне

приятною, противна ее изнеженному вкусу. Мое необходимое не есть уже необходимое для нее. Но я ее купил, но я люблю ее более жизни: итак, не есть ли необходимо, чтобы и она имела необходимое?

— Ничто не может быть справедливее. Сколько же нужно на ваши общие необходимые издержки?

— Я думаю, весьма будет довольно двух томанов на день.

— Согласен. Вот шестнадцать томанов на следующие восемь дней. По истечении этого срока опять увижусь с тобою, чтобы узнать, что будет еще нужно, и чтобы ты мог наконец иметь то необходимое, которое даровать тебе желаю.

Гений хотел удалиться, но Адемдаи удержал его.

— Увы, — сказал он, — я еще о многом просить тебя намерен. Я люблю Азели до безумия, и для меня необходимо быть ею любимым взаимно.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Но она не может меня терпеть, одетого в такое бедное рубище. Она говорит, что без меня жила бы в серали богатого и сильного человека. Если необходимо для меня приобрести ее любовь, то, следовательно, также необходимо и переменить наряд; следовательно, богатого платья в таком случае нельзя будет назвать излишнею вещию.

— Я думаю.

— Без меня, — говорит еще Азели, — имела бы она самую великолепную одежду: она большая охотница наряжаться. Могу ли приобрести ее любовь, не угождая некоторым ее желаниям! Итак, согласишься, что для меня необходимо и Азелию нарядить в богатое платье!

— Кажется.

— Но она имеет много талантов: прекрасно поет, танцует, играет на лютне. Можно ли уничтожить плоды такого блестящего воспитания! Имея таланты, необходимо должно и образовать их! Я желал бы купить для нее прекрасную лютну. Такой подарок сделал бы величайшее удовольствие моей Азели.

— Все требования твои кажутся мне справедливыми. Но сколько же, думаешь ты, нужно тебе денег на покупку всех этих необходимых вещей?

— Тысячи две червонцев: этого, думаю, будет довольно.

— Вот они. Прости: старайся, наконец, доставить себе необходимое. И Гений скрылся.

Адемдаи возвращается домой, глаза его сияют от радости, но он скрывает ее причину, желая изумить неожиданностию милую свою Азели. На другой день рано поутру идет он в город, покупает для себя богатое платье; наряжается как калиф; потом приходит домой,

сопутствуемый множеством купцов, которые удивились, что человек, по наружности чрезвычайно богатый, мог жить в таком бедном доме. Азели изумилась; она с трудом узнала своего мужа в молодом человеке, столь пышно одетом.

— Не правду ли я говорил тебе, Азели, — сказал Адемдаи, — что есть у меня добрый Гений, доставляющий мне все необходимое для жизни? Будь же спокойна, ты никогда ни в чем не почувствуешь недостатка, если только не захочешь требовать излишнего. Выбирай из этих богатых материй ту, которая наиболее тебе понравится.

Такое предложение весьма было приятно для Азели, и в эту минуту Адемдаи показался ей прелестным. Купцы расстилают перед нею богатые свои материи; Азели выбирает лучшие и, будучи предусмотрительна, запасает себя и необходимым для настоящего и необходимым для будущего. Потом подают ей лютну: она в восхищении; настроивает ее и поет стихи: нежное приветствие внимательному супругу. Адемдаи вне себя от радости: отсчитывает деньги, отпускает купцов; тысячу раз целует свою Азели; он любим; он счастлив; он все необходимое имеет!

Первые три дня протекли в наслаждениях райских. В четвертый около шести часов вечера Адемдаи вышел из своего дома, чтобы прохладиться на свежем воздухе; несколько времени прохлаживался; наконец идет домой. Приблизясь к своему жилищу, заметил он человека, расхаживающего взад и вперед по улице.

Он молод, очень хорошо одет, но он показывает какую-то робкую осторожность, как будто опасается, чтобы его не заметили посторонние.

Что это значит, подумал Адемдаи; не хочет ли этот человек прокрасться ко мне в дом и обольстить мою невольницу? Она так прекрасна! Конечно, он видел ее и влюбился. Но... точно так, это он, тот самый молодой человек, который предлагал за нее тысячу восемьсот динаров. Он, верно, имеет дурные намерения, но я найду средство ему помешать, и Адемдаи входит в дом свой, задумчивый, мрачный; сердце его было сжато, в глазах изображалось уныние.

Азели беспокоится, видя его в таком положении.

— Что ты, Адемдаи, какое несчастье тебе приключилось?

Но Адемдаи молчит и смотрит с суровою подозрительностью ей в глаза, как будто надеясь прочесть в них тайну того преступления, которое воображал уже почти совершившимся. Наконец, будучи не в силах скрывать мучительной ревности, которая раздирала его душу, он спрашивает: не видала ли кого-нибудь Азели? Азели клянется, что никого не видала. Адемдаи смотрит на нее с оскорбительною улыбкою сомнения. Увы, он потерял и спокойствие, и счастье! О ревность, болезнь мучительная и ужасная! И самые те средства, которые мы упо-

требляем, чтобы успокоить тебя, служат единственно к твоему раздражению. Как беден зараженный тобою человек! Твой пламень, мрачный и глубоко в душе его сокрытый, сдает все его счастье; ты окружаешь его страшными привидениями: он верит тому, в чем подозревает; часто верит он невозможному, и собственная тень приводит его в содрогание.

Таково положение бедного Адемдаи; он не смеет отдалиться от того дома, в котором сокрыто сокровище, тем более для него драгоценное, что он каждую минуту страшится его потерять.

Гений, посетивши его по прошествии восьми дней, нашел, что он в превеликом горе.

— Что с тобою сделалось, Адемдаи, — спросил он. — Неужели и теперь еще не имеешь ты необходимого?

— Увы, не имею!

— Чего же тебе не достает?

— Скажи мне сам, не есть ли крайняя необходимость для каждого человека иногда отлучаться из своего дома за каким-нибудь делом, или и просто для прогулки?

— Без сомнения!

— Также необходимо и то, чтобы, имея прекрасную невольницу, уверену быть, что ее никто в отсутствие его не похитит?

— Правда, я почитаю это необходимым для счастья!

— Суди же теперь сам, могу ли назвать себя счастливым? Если буду сидеть беспрестанно дома, то, верно, занемогу, а если сойду со двора, то как могу быть уверен, что моей Азели никто у меня не похитит? Для меня необходимо иметь эвнухов, но я по бедности не могу ни купить их, ни содержать.

— Эвнухов, — сказал с удивлением благодетельный дух.

— Да, эвнухов. Эти люди необходимы для счастья супружеского. Одно из двух: или иметь их, или умереть от ревности.

— Лучше купить эвнухов, нежели умереть. А сколько их тебе надобно?

— Число их должно соответствовать моей ревности. Когда бы я не был ревнив до безумия, то мог бы удовольствоваться и одним эвнухом, но так как ревность моя превосходит всякое понятие, то мне необходимо нужно иметь их шесть. Так, добрый Гений, если ты считаешь необходимостью спокойствие духа, то без сомнения скажешь, что и шесть эвнухов для меня необходимы... Ты молчишь! Угадываю твои мысли: ты со мною согласен. Но, подумай сам, домик мой очень тесен: едва-едва могу помещаться в нем с женою. Мало того, чтобы купить шесть эвнухов, надобно еще дать им и угол, и пищу, и платье, а я имею только два томана в день. Если же мой дом слишком тесен, то надобно

необходимо купить другой просторнейший. Дней пять тому назад видел я прекрасный домик с мебелью и со всем нужным, он продается, построен на прекрасном месте и был бы весьма мне приличен, но за него требуют слишком дорого.

— Какая нужда до денег! Разве я не обещался доставлять тебе все необходимые вещи?

— А я разве требовал от тебя когда-нибудь излишнего?

— Я этого и не говорю. Сколько же надобно денег на покупку этого дома?

— Пятнадцать тысяч томанов.

Гений подал билет, по которому Адемдаи на другое же утро мог получить назначенную сумму от казначея калифова; он приложил к этому билету еще пятьсот томанов, нужных на покупку шести эвнухов.

— О добрый Гений, — воскликнул Адемдаи, — могу ли чем заплатить тебе за такие благодеяния! Но я еще должен упомянуть об одном предмете, истинно для меня необходимом. Дом мой, будучи теперь обширнее, требует и большего присмотра, ибо чистота и опрятность необходимы; следовательно, я и не могу подумать, чтобы два невольника, нужные для присмотра за домом, сочтены были за излишнее.

— Правда твоя, иметь двух невольников совсем не излишнее.

— Тем более что эвнухам моим всегда будет много дела. Следовательно, нас всего будет в доме моем десять человек. Ты сам согласишься, что двух томанов для общего прокормления нашего будет уже слишком мало, и я в таком случае лишусь необходимого; почему и думаю, что иметь двадцать томанов ежедневного дохода не есть для меня излишнее.

— Не спорю! Вот сто шестьдесят томанов на восемь дней и еще двести на покупку двух невольников.

И Гений скрылся.

На другое утро Адемдаи идет к тому человеку, который продавал замеченный им домик; торгуется; дает деньги; пишет купчую, и дом принадлежит ему. Потом покупает шестерых эвнухов, двух невольников, а ввечеру переселяется вместе с прекрасною Азели в новое свое жилище.

Дом очень хорош; расположение спокойное; наружность прелестная; кухня, конюшни, все есть. Прекрасный павильон, совсем отделенный от главного корпуса, но соединяющийся с ним галереею, как нарочно построен для гарема. Мебель чрезвычайно опрятная. Адемдаи окружен соседями, столь же молодыми, как и он сам, и весьма расположенными наслаждаться благами жизни.

На другой день новоселья Адемдаи посещен был своими соседями; все они осыпали его ласками, и каждый из них пригласил его к себе на праздник, желая через то показать ему, сколь было приятно сделанное с ним знакомство.

Жены сих добрых соседей хотели с своей стороны познакомиться с Азели; они посетили ее с позволения своих мужей и также давали ей праздники.

В таких удовольствиях неприметно протекли восемь дней. Гений явился. Он нашел Адемдаи погруженного в глубокую меланхолию.

— Что причиную твоей задумчивости, Адемдаи? Неужели еще не доволен ты своею покупкою?

— Очень доволен; имею соседей добрых людей; они праздновали день моего переселения с удивительною пышностью.

— Итак, ты должен быть счастлив?

— Счастлив! Ах, добрый Гений, кто принимает, тот должен и отдавать.

— Конечно, того требует пристойность.

— И отдавать в соразмерности с полученным.

— Правда! В подобном случае ничего щадить не должно.

— Скажи же мне: те люди, которые так хорошо меня угощали, не должны ли быть так же хорошо угощены и мною?

— Это необходимо; в противном случае тебя назовут скупым и будут над тобою смеяться.

— Добрые соседи мои кормили меня прекрасно. За обедом играла музыка, и между тем благовония курились в богатых сосудах. Иллюминация была чрезвычайно великолепная, а перед концом обеда молодые невольницы восхищали нас пением и пляскою. Имею ли я какой-нибудь способ таким же образом угостить своих соседей? Есть ли у меня богатые курильницы? На какие деньги куплю дорогих благовоний? Есть ли у меня музыканты, певицы, танцовщицы? Где взять невольников для услуги? И где найти искусного повара? Увы, ты видишь сам, что я еще многих необходимых вещей не имею.

— Правда твоя; нам не пришло в голову об этом подумать: но я обещаю исправить общую нашу ошибку. Завтра поутру пришлю тебе великолепный столовый прибор, невольников, благовоний, танцовщиц, музыкантов, и что важнее всего, превосходного повара.

— Конечно, тебе не трудно будет все это прислать, но чем же буду я содержать и музыкантов, и повара, и танцовщиц? Двадцать томанов на день, много ли это? Теперь мне надобно будет иметь, по крайней мере, пятьдесят.

— Разумеется. Вот четыреста на восемь дней.

И на другой день являются к Адемдаи невольники, танцовщицы, музыканты и все обещанное духом. Он приглашает соседей на праздник; и восемь дней опять протекали в увеселениях разнообразных.

Гений опять приходит, и опять видит, что Адемдаи задумчив.

— Ах, благодетель мой, — восклицает Адемдаи, — я смело надеюсь на твое великодушие и позволяю себе признаться, что я еще не все необходимое имею.

— Возможно ли! А я думал, что ты совершенно теперь счастлив.

— Выслушай меня благосклонно: мои соседы и знакомцы каждый имеет по множеству жен, прекрасных и молодых, а я всего на все имею одну!

— Чего же более?

— Но разве Пророк ошибся, когда почитал для человека необходимым иметь многих жен? И ограничивать себя одною не значит ли противоречить святой его воле? Одни только бедные, почти лишенные насущного хлеба люди имеют по одной жене, но это от того, что они не могут прокормить многих, следовательно, лишены необходимого. Напротив, те люди, у которых есть все необходимое, имеют и многих жен.

— Скольких же ты хотел бы иметь жен?

— Мои друзья и соседы имеют по тридцати и по сороку, но я удовольствовался бы и двадцатью. Тогда бы, кажется, имел я все необходимое.

— Но двадцать жен, Адемдаи, сам подумай, не лишнее ли это? Для счастья нашего довольно и одной, а двадцать необходимы для одного только тщеславия, и я с огорчением замечаю в тебе эту слабость.

— Но в ком же и нет ее? Если тщеславие не кажется тебе необходимым, то всякий человек, следовательно, имеет излишнее. Признаюсь тебе, я тщеславен; итак, для счастья моего необходимо нужно удовлетворить моему тщеславию.

— То есть ты думаешь, что иметь двадцать жен для тебя необходимо?

— Так точно! Заметь еще и то, что эти жены требуют содержания, и что мне надобно наряжать их с некоторою пышностию для избежания людских насмешек и пересудов.

— Быть по твоему. Завтра приведут к тебе двадцать молодых грузинок, за которых ты ничего не заплатишь, и я утроиваю сумму, назначенную на ежедневные твои издержки.

— О, какие слова изобразят мою благодарность, Гений великодушный! Ты всякое желание мое исполняешь, и надобно признаться, что я еще ни разу не употребил во зло твоих милостей: еще ни разу не требовал я от тебя излишнего, но позволь мне сообщить тебе одно размыш-

ление. Ты согласился, что двадцать жен для меня необходимы; теперь согласишься, что на каждую жену необходимо иметь по два эвнуха: всего на все сорок. Ибо для сбережения двадцати жен нужны люди: против этого нет возражения.

— Конечно, нет! Даю тебе эвнухов и сверх того еще по пятидесяти томанов на день, нужных для содержания этих людей. Прости, Адемдаи!

И на другой же день Гений исполнил свое обещание.

Между тем Адемдаи принужден был расстаться с своими соседями: все они переехали на летнее время в загородные дома, находившиеся в окружности Багдада. Он потерял на время все удовольствия, которыми в обществе их наслаждался.

И жены его также лишены были всякого общества. Они очень редко выходили из гарема, вели однообразную жизнь, скучали, а скука произвела и телесные болезни, меланхолию, расслабление. И сам Адемдаи умирает от скуки; нет для него ни приятного занятия, ни рассеяния; он почти в отчаянии от того, что не имеет довольно денег для покупки загородного дома неподалеку от Багдада. Гений является; он сообщает ему новую свою нужду.

— Стыжусь, — говорит он, — беспрестанно обременять тебя новыми требованиями, но великодушие твое тому причиною, ибо ты обещал даровать мне все необходимое; спрашиваю: здоровье моих жен не есть ли для меня необходимость? Но все они страждут, все умирают.

Медики, с которыми я советовался, предписывают и мне, и им одно только средство к совершенному излечению: деревенский воздух. Ты наградил меня толикими благами, но первое и самое драгоценное из всех благ, конечно, есть здоровье, а мое здоровье видимо исчезает. Сверх того, не нужно ли человеку иметь занятие, которое развлекало бы его и веселило? Воздух деревенский меня бы совершенно вылечил, а маленькое поместье в окружности Багдада могло бы доставить приятное занятие уму, и я не имел бы недостатка в движении, благотельном для моего тела.

— На это не может быть возражения. Ты неоспоримо доказал мне, что иметь загородный дом тебе необходимо.

— Друзья мои известили меня, что они нашли прекрасную и для меня весьма приличную дачу в двух милях от Багдада на самой Бассорской дороге⁵. Она очень просторна: это необходимо для помещения моих жен, эвнухов и прочих данных мне тобою невольников; его окружают обширные поля. Доход, который они могут приносить, необходимо нужен для содержания дома. По цене очень дорога: просят сто тысяч томанов!

— Безделица! Завтра это поместье будет твоим.

— О всемогущий пророк, какое счастье! Но я должен напомнить еще об одной безделице: если я сделаюсь владельцем этого дома, то надобно будет иметь при нем и многих невольников, садовников, пахарей и прочее; нужен будет также домашний скот, и по крайней мере, тридцать лошадей, на которых бы я мог перевозить из города в деревню и из деревни в город моих жен, эвнухов, мои мебели и прочие нужные вещи: все это, если не ошибаюсь, можно назвать необходимым.

— Правда твоя! Завтра же будешь иметь и тридцать лошадей, и нужное количество скота и невольников. Прости, Адемдаи, до свиданья!

И в самом деле, на другой же день Адемдаи вступил во владение этой богатой дачи. Он переселился в загородный дом со всеми своими женами, эвнухами и невольниками. Он принят был с восхищением своими добрыми багдадскими соседями, которые дали ему очень много полезных наставлений, каким образом украсить и привести в надлежащее совершенство новое свое поместье.

По прошествии осьми дней Адемдаи посетил доброго своего гения в Багдаде.

— Скажи мне, Адемдаи, — спросил благодетельный дух, — имеешь ли наконец необходимое?

— Почти имею.

— Чего же не достает?

— Земля, купленная мною, прекрасна, но она могла бы приносить вдвое доходу, когда бы умели с нею обращаться. Безумные люди, которым она до меня принадлежала, сеяли сарачинское пшено на месте, на котором пшеница могла бы родиться вдесятеро лучше. Есть обширные пруды, которые очень нетрудно обратить в прекрасные луга; есть несколько бесплодной земли, которую весьма бы легко было обработать и сделать плодovитою. Ты согласишься, мой благодетель, что, имея счастье владеть такою землею, какова моя, необходимо должно стараться и привести ее в наилучшее состояние; один глупец только не думает увеличивать свое богатство, когда имеет на то способ. Сад мой очень просторен, но требует больших перемен. Земля, на которой он разведен, сама по себе бесплодна, но я бы сделал ее удивительно плодородною, когда бы мог провести в мой сад маленькую речку, текущую в полумиле от его границы.

— Что же мешает тебе все это исполнить?

— Я имею недостаток в деньгах. Двадцати тысяч томанов было бы для меня весьма довольно.

Гений дает билет, по которому Адемдаи опять может получить от калифова казначея нужную сумму; Адемдаи, поблагодарив его, возвращается домой, но тут встретило его неудовольствие. Сказывают ему,

что один из его соседей, бедный владетель небольшого клочка земли, принес на него жалобу к кади⁶ за то, что скот, ему принадлежащий, рыл и вытоптал всю пашню, последнее имущество этого бедняка. Кади выслушал челобитчика и обвиненного, и первый должен был проиграть тяжбу, ибо он в самом деле был виноват своею бедностию.

Через несколько дней этого несчастного убила лошадь; он умер, не оставив после себя ни одного наследника, и маленькому поместью его надлежало, по законам, принадлежать калифу. Адемдаи, узнавши об этом обстоятельстве, очень обрадовался; он полетел в Багдад с новою просьбою к своему гению.

— Не правда ли, — спросил он, — что не иметь тяжбы необходимо для счастья.

— Необходимо!

— Я испытал уже ее неприятность. Сосед мой, с которым я имел ее, умер и никого не оставил после него наследников: калифу Гарун-Аль-Рашиду⁷ должны достаться и ветхая его избушка, и несколько десятин худо обработанной земли. Но калиф, вероятно, будет продавать эту землю, и если я ее не куплю, то очень могу иметь какого-нибудь неугомонного соседа, который сведет меня с ума процессами. Ты говоришь, что не иметь процессов необходимо: следовательно, согласишься, что и приобретение этой земли также для меня необходимо, ибо оно избавит меня от всякого процесса на будущее время.

— Я удивляюсь твоей логике и ничего не могу сказать в опровержение твоих доказательств. Завтра поутру явись во дворец калифов; мое могущество преклонит к тебе душу Гаруна. Он тебя увидит, и без сомнения просьба твоя будет исполнена.

Адемдаи возвращается домой в самом приятном расположении духа; он засыпает с веселою надеждою, что завтра хижина бедного соседа присоединена будет к обширным его владениям. И на другой день рано поутру является он во дворце калифа. Великий Гарун-Аль-Рашид сидел на троне; придворные и ученые люди Багдада окружали его. Адемдаи приближается с трепетом к священной особе повелителя верных; но... кто же опишет его изумление, когда, взглянув на калифа, он узнает в нем своего духа! Он падает ниц и не дерзает произнести ни слова.

— Адемдаи, — сказал с усмешкою Гарун-Аль-Рашид, — я вижу твое удивление. Надобно тебе растолковать загадку. Узнай во мне одного из двух армянских купцов, которых избавил ты от смерти. Я обещал самому себе наградить важную услугу твою достойным меня образом, но в то же время хотел я скрыть свою благодарность и втайне наслаждаться тем счастьем, которое намерен был тебе доставить. Я нарядился

в одежду необыкновенную, чтобы поразить твое воображение и заставить тебя подумать, что Гений, одаренный могуществом неба, тебе благодетельствует. Приближаясь к убогому твоему жилищу, я заранее веселился тем удивлением, с каким бы ты должен был меня встретить; я увидел тебя уединенно сидящего перед огнем; слышал твои жалобы; узнал, что все желания твои не простирались далее необходимого, и мне пришло в голову узнать на опыте, что значит это слово, и какими границами необходимое отделено от излишнего. Намерение безрассудное! Я превышаю всех прочих владык земных своим могуществом, но я не могу даровать тебе необходимого, хотя бы уступил тебе и трон свой и все свои сокровища. А вы, ученые мудрецы, определите мне теперь, что называется необходимым и что излишним. Вот человек, который извлечен мною из крайней нищеты! Теперь имеет он более двухсот тысяч томанов, богатство, для честного человека чрезвычайное, но, осыпая его сокровищами, я еще не мог дать ему необходимого. Вижу теперь, что излишнее есть слово без смысла, ибо никто не имеет излишнего. Я вижу, что необходимое есть бездна, которая может поглотить вселенную и все еще остаться пустою. Адемдаи, владеи сокровищами, которыми наделил я тебя из благодарности за оказанную мне услугу, но я отказываюсь от надежды даровать тебе необходимое: ты не получишь той хижины, которая теперь составляет предмет твоего желания.

Так говорил калиф. Адемдаи возвратился домой. Часто, покоясь на пуховых подушках, окруженный пышностью и блеском, восклицал он с прискорбием: о Магомет, для чего не имею необходимого!

ОСАДА АМАЗИИ

(Восточная повесть)

Люди вообще с великою жадностью слушают повести о сражениях: им приятно, что их неистовства представляются в образе добродетели. Но я, иногда забавляясь их глупостями, иногда сожалея о гордости их и бессилии, стараюсь замечать в их истории такие черты, которые превышали бы в глазах моих человечество. Нахожу в ней много кровопролитий, но мало великих дел; много завоевателей знаменитых, но мало истинно великих людей; много дыму, но мало славы. Счастлив тот, кому, среди сих ужасов и заблуждений, удастся встретить неожиданно добродетель: он сладостно успокоивает близ нее свою душу; рассматривает ее с удивлением; слезы восторга льются из его глаз. Таков путешественник, потерявший дорогу в Аравийской пустыне: долго скитался он по сим бесплодным и обнаженным равнинам; долго внимал

одному рыканию тигров и львов: вдруг представляется ему караван; сердце его трепещет от радости и надежды; он видит людей; он восклицает в восхищении: благодарю небо; я опять в обществе человеческого.

Славный завоеватель Моэс-Эддулат овладел всею Карманиею¹, несмотря на мужественное сопротивление Али-Магомета, человека великодушного, храброго, добродетельного. Оставался один город Амазия², который Моэс более шести месяцев держал в осаде; но этот город был почти неприступен; он мог выдержать долговременную осаду, снабжен будучи в изобилии всеми военными и жизненными припасами. Али-Магомет поклялся прежде погибнуть под развалинами города, нежели покориться могуществу неприятеля, и Али-Магомет никогда не нарушал своей клятвы.

Осада была продолжаема с великим упорством; калиф Моктафи³ всеми силами своими вспомоществовал тому человеку, который должен был некогда лишиться его престола: он прислал Моэсу более ста тысяч своих воинов. Но Али-Магомет мужественно отражал все нападения сего великого ополчения: каждый день новый опыт доказывал Моэсу, что государь, любимый народом своим, может почитать себя непобедимым.

Уже съестные запасы Моэсовы истощились; солдаты его, мучимые голодом, начинали роптать; султан видел себя в крайности. Он собирает своих полководцев. «Друзья, — говорит им, — неужели оставить начатое недовершенным? Один только город противится моей силе; неужели перед стенами его постыдно откажемся от победы? Отступить от Амазии значило бы возвратить Магомету все земли, у него взятые силою оружия, бежать от неприятеля, много раз побежденного. Но голод угрожает гибелью моим войскам; я слышу вопли мятежа; солдаты мои утратили силу, и самое мужество их исчезает вместе с крепостию тела. Друзья мои, к чему советуете вы мне прибегнуть?»

Все безмолвствуют. Ни один из полководцев Моэсовых не смеет первый подать своего совета: тот опасается, чтобы его не признали робким; другой боится заслужить наименование безрассудного. Один Нерван, молодой воин, исполненный неустрашимости, Нерван, поверенный, друг Моэсов, встает с своего места и говорит: «Моэс, не знаю другого средства: гибель и слава!»

Моэс бросается на шею к Нервану. «Мой друг, принимаю совет твой. Так, скорее погибнуть, нежели себя обесславить!»

На другое утро Моэс выходит осматривать свое войско. Но сколь же он удивился! Солдаты встречают его восклицаниями радости: слава нашему султану, слава любимцу пророка! Веди нас на приступ, скорее на приступ!

Моэс желает знать, что произвело такую радость, такое рвение в людях, которые накануне были томимы голодом и унынием. Ему скажут, что во время ночи небесные ангелы приходили в стан, что они принесли с собою великое множество съестных припасов, которыми снабдили армию на целый день. Моэс скрывает свое удивление; он не старается уничтожить в воинах своих суеверного мнения, которое столь благоприятствовало его предприятиям; он почти сам готов поверить чуду.

Он пользуется минутою рвения и ведет всю армию свою к стенам Амазии. Нападение было ужасное, но Али-Магомет защищался с мужеством беспримерным, и Моэс принужден отступить, лишившись великого множества ратников. Солдаты, утомленные приступом и снова мучимые голодом, опять начинают роптать, но еще не успело совсем омрачиться небо, как милые ангелы снова явились в лагере с тысячею верблюдов, навьюченных плодами и хлебом. Моэс, услышав об этом чуде, велит представить к себе предводителя незнакомых пришельцев.

— Кто ты, великодушный человек, и откуда?

— Из Амазии!

— Но кто послал тебя в мой лагерь?

— Али-Магомет!

— Что слышу? Мой неприятель? Что побудило его к такому поступку?

— Человеколюбие и справедливость. Поди, сказал он мне, отнеси эти съестные припасы в лагерь Моэсов. Если нельзя будет тебе сокрыть от султана помогающую ему руку, то скажи Моэсу именем жителей Амазии: во время дня сражаемся мы как неприятели; во время ночи мы остаемся в мире; тогда, Моэс, мы видим в тебе и твоих воинах путешественников, братьев, требующих от нас гостеприимства; мы сожалеем о ваших страданиях; мы спешим усладить их и подать вам помощь.

— Невольник, — отвечает Моэс, помолчав минуту, — душа твоего государя благородна и человеколюбива, но знай, что никогда Моэс не уступит ему ни в благородстве, ни в человеколюбии. Я победил его оружием, хочу превзойти его и в добродетели. Три тысячи пленников содержатся в моем стане; возвращаю их Магомету, не требуя выкупа; даю им свободу опять против меня вооружиться: я не страшусь их. Завтра при восхождении солнца ты возвратишься с ними в Амазию, а верблюды твои будут обременены драгоценными подарками от Моэса Магомету.

Это повеление было на другой же день исполнено. Пленникам возвращены и оружие и свобода; богатые персидские ковры, золотые и серебряные чаши и множество других драгоценностей, приношение произвольное, не плата за благодеяние, отвезены в осажденный город.

Между тем Моэс готовится снова напасть на Амазию, а воинство Магометово готовится к отражению приступа. Лестницы приставлены, и солдаты Моэсовы, ободряемые присутствием молодого султана, делают чудеса своим мужеством. Неустрашимый Нерван сражается в глазах своего повелителя и друга. Увлеченный неосторожно своим мужеством, он взбегаёт на высоту стены, последуемый малым числом воинов; его окружают. Долго сражается он один посреди великого множества неприятелей и рассыпает вокруг себя смерть; силы его наконец истощились, он падает, и солдаты Моэсовы, свидетели гибели молодого Нервана, наполняют воздух жалобными воплями. Известие о смерти Нервана в минуту распространяется по всей армии; все приходит в уныние, но кто опишет печаль и отчаяние Моэса? Он мчится из строя в строй; старается воспламенить мужество в своих воинах; дышит мщением... и, увы, усилия его бесполезны: лестницы переломаны; солдаты Моэсовы бегут в беспорядке назад; Али, желая воспользоваться их неустойчивостью, выступает из города с частью гарнизона, который как молния устремляется на бегущих. Моэс принужден отступить; он удаляется, бросая на Амазию горящие злобою взоры, но удаляется, принудив Магометовых воинов скрыться в стенах Амазии.

Наступает ночь; благотворный сумрак ее прекращает сражение. Воздух спокоен и чист; звезды сверкают в высоте неба, и луна тихим сиянием лучей своих озаряет сию прелестную страну, сии поля, благословенные природою, богатые жатвою и плодами, поля, на которых вечно царствовала бы тишина и мир, когда бы неизвестны они были человеку. Моэс выходит из своей ставки; задумчиво идет он по берегу светлого Казальмаха⁴, которого чистые воды орошают его лагерь; он думает о Нерване. «О мой друг, — восклицает он, — я лишился тебя навеки, я видел тебя, пораженного мечом неприятеля, и не мог быть твоим мстителем! О, для чего не погиб я вместе с тобою! Мы жили одними чувствами; для чего же не имеем мы одинаковой участи! Я любил тебя, как славу: одна Зоранда могла иметь место подле тебя в моем сердце. Слава, любовь, могущество, вы никогда не замените душе моей потерянного Нервана».

В эту минуту представляется глазам Моэсовым юноша; его поступь, лицо и стан подобны Нервановым, он приближается.

— О Нерван, — восклицает Моэс, — тень твоя предо мною!

— Нет, Моэс, — отвечает знакомый голос, — ты видишь самого Нервана!

— Нерван! Правосудное Небо, каким чудом?.. Так, это Нерван, я обнимаю моего друга.

Между тем многочисленная толпа окружает Моэса. То были посланные от Магомета. Один из них приближается к султану и говорит:

— Моэс, Али-Магомет вещает тебе моими устами: «Благодарю тебя, великодушный Моэс, за неоцененный дар, тобою мне сделанный: ты возвратил мне три тысячи пленников, страдавших в разлуке с друзьями и сродниками; ты возвратил мне моих детей, ибо все подданные мои составляют мое семейство. О, если бы ты мог видеть их восхищение, когда они вступили в жилище своих отцов, братьев, супруг и чад! Я был свидетелем сего зрелища, и сердце мое исполнилось сладкого чувства. Горе, сказал я, горе жестоким людям, враждующим с возвышенными удовольствиями сердца! Моэс мой враг, ибо он того желает. Но я сражаюсь с одним его честолюбием; я не хочу нападать на его дружбу, и Нерван, друг Моэсов, должен к нему возвратиться: мир людям, соединенным любовью! Один злодей способен лишать их небесного дара любви. Но вместе с Нерваном, Моэс, возвращаю тебе и твои подарки. Сокровища мне не нужны. Защитив Амазию, буду иметь довольно богатства. Если же падет Амазия, то вместе с нею погибну и я; ибо такова клятва, произнесенная мною перед лицом всевышнего Бога».

— Скажи ж, невольник, чем могу наградить твоего государя?

— Награда его не в твоей власти.

— Но разве почитает он себя выше Моэса?

— Он велик, не думая быть великим.

— Чту его добродетель, не удивляясь ей; буду ей подражать и, может быть, превзойду ее.

— Превзойти добродетель Али-Магомета! Нет, Моэс, ты человек.

— Но Магомет страшится меня?

— Магомет страшится одного Бога!

— Он надеется меня обезоружить?

— Великий Моэс не способен так думать!

— Но для чего же не соглашается он покориться моей власти?

— Он покоряется одному Богу, в руках которого жребий владык и победителей.

— Невольник, твои ответы мне нравятся: они благородны, они достойны Али-Магомета. Иди торжествовать вместе со мною возвращение Нервана! А ты, мой друг, прими участие в моем восторге! Я возвратил величайшее из благ моих: да все, окружающее меня, разделит мою радость!

Султан повелевает изготовить великолепное празднество; ставки блистают разноцветными огнями; музыка гремит; певцы соглашают приятный голос свой со звуками инструментов. Зораида присутствует на этом пиршестве и украшает его своими престелями. Султан, сидя-

щий между Нерваном и Зораидою, наслаждается чистыми радостями любви и дружбы. Он обнимает Нервана; потом, устремив на Зораиду нежный взгляд, говорит ей: «Милый друг, верь моему сердцу. Дружба никогда не ослабит в нем той сильной страсти, которую он к тебе питает. Сильнейшая из страстей может в нем соединена быть с самым сладким и непорочным чувством».

Пиршество кончилось; все расходятся. Моэс повелевает посланнику Магометову остаться в лагере до солнечного восхода. Ему готовят мягкое ложе в особом шатре. Все засыпает в Моэсовом стане; один только он не может сомкнуть глаз. Магометова добродетель его мучит; вотще он думает о средстве победить врага своего великодушием.

«Как, — думает он, — есть в мире человек, превышающий меня величию духа, и этот человек Али-Магомет, мой неприятель, стократно мною побежденный, почти не имеющий никакого пристанища! И некогда на гробе его будет написано: “прах Али-Магомета, который был выше своего победителя...” Для чего же веду я войну? Неужели для того только, чтобы умерщвлять людей? Нет, нет, я сражаюсь для одной славы, достойной награды великих и благородных дел. Удостоймся же этой высокой славы! О Небо, даруй мне торжество над моим неприятелем!»

Лучи восходящего солнца озарили стены Амазии. Уже Моэсовы войска в движении; полководцы приходят требовать его повелений; а посланный Магометов просит, чтобы позволено ему было возвратиться в город. «Возвратись, — говорит ему Моэс, краснея, — скажи Магомету, что я дивлюсь его добродетели; что невозможность ему подражать терзает мою душу».

Посланный удалился. Вдруг приближается к султану незнакомый человек, мрачного вида, и требует, чтобы Моэс выслушал его наедине. Моэс повелевает всем отступить; незнакомец падает ниц и говорит:

— Великий султан, да будет слава и победа неразлучною спутницею твоих знамен! Я обитатель Амазии. Враг твой давно уже причислил меня к своим ближним; давно уже пользуюсь его доверенностию, но мне уже наскучила сия тягостная неволя. Слух о великодушии Моэса влечет меня к его стопам; хочу быть вернейшим невольником великого завоевателя.

— Как, — восклицает изумленный Моэс, — ты мог оставить Али-Магомета?

— Не токмо оставляю его, но я готов предать самого Али-Магомета в твои руки!

— Скорее говори, каким средством?

— Мне известен подземный проход, ведущий прямо в Амазию, прямо к дворцу Магометову. Сам Али вверил мне сию важную тайну, весьма немногим из подданных его открытую.

— О правосудный Творец, ты читал в моем сердце и поспешил ко мне на помощь. Погоди, услужливый человек, я награжу тебя по достоинству; услуга твоя чрезвычайна: ты, верно, не можешь постигнуть ее великости.

Моэс выходит из своего шатра и повелевает возвратить Магометова посланника.

— Возьми этого предателя, — говорит он ему, — и скажи от имени Моэса Али-Магомету: «Ты возвратил Моэсу лучшего его друга, благодарный Моэс возвращает тебе величайшего из твоих неприятелей, человека, хотевшего употребить во зло твою доверенность и погубить тебя оружием твоей дружбы. Завтра, когда бы захотел Моэс, ты был бы в его власти, но Моэс говорит: вечное поношение тому, кто прибегает к испорченности людей, чтобы победить своего неприятеля. Коварство не может служить орудием мужеству; один преступник призывает на помощь преступника. Давать убежище низкому изменнику и быть самому низким — одно и то же; употреблять на сражении предательства прилично не воину, но убийце».

Не успел еще посланный Магометов вступить в Амазию, как зазвучали трубы. На высоких горах, у подошвы которых лежал осажденный город, увидели воинов: Моэс узнает, что десять вооруженных пришло на помощь к Али-Магомету и что они овладели высотами. Султан чувствует, что для него необходимо отнять у них сие выгодное место; предприятие трудное, но Моэс не колеблется, идет почти со всеми силами своими на горы и оставляет в стане своем весьма малое число воинов.

Неприятель защищает с великим мужеством и упорством горные проходы, но быстрота Моэсова все ниспровергла, и большая часть возвышений уже во власти султана. Ночь принуждает его оставить полу-совершенное предприятие. Он возвращается в лагерь. Но кто опишет его изумление и горесть: лагерь разграблен; стражи султанских шатров умерщвлены. Ужас проникает в душу Моэса; страшное предчувствие терзает его.

— Где Зораида?...

Напрасно он ее призывает; Зораида ему не отвечает. Он видит старого невольника, покрытого ранами, который, с трудом приползши к ногам его, говорит:

— Повелитель, Зораида в руках неприятеля. Он воспользовался твоим отсутствием и сделал нападение на лагерь; все погибли или достались в плен. Зораида похищена вместе с прекрасными невольни-

цами, определенными служить ей. О повелитель, для чего не погиб я вместе с ними! Видеть твою печаль ужаснее для меня самой смерти!

— Как, — воскликнул Моэс в неопisanном бешенстве, — Зораида в их власти, и я не могу лететь к ней на помощь! Все драгоценнейшее для меня, Зораида, моя любовница, моя супруга в руках Али-Магомета, а я еще существую! О, для чего не лишился я лучше трона! Трон можно еще возвратить, но Зораида... О жестокие, вы дорого заплатите за это минутное торжество! За каплю моих слез пролью реками вашу кровь! Так Магомет, Амазия твоя погибла; обращаю ее в пепел; все разрушу, все будет жертвою меча или пламени.

Так предавался отчаянию своему Моэс; его полководцы и придворные смотрят на него в отдалении и трепещут; один Нерван осмеливается к нему приблизиться и его утешать. Моэс смотрит на него суровыми глазами. «Удались, — восклицает он, — я потерял Зораиду, все милое для моего сердца! Теперь ни в ком не имею нужды».

Между тем мало-помалу гнев его утихает, и надежда возвращается в его душу. «Но, Моэс, разве не знаешь ты Магомета, — говорит он самому себе, — сколько разительных доказательств его великодушия, Нерван, надежда твоего войска, был в его власти; он знал, какими узами соединен ты был с Нерваном: он возвратил тебе твоего друга. Может быть, когда узнает он, что Зораида... Но что я говорю, безрасудный, ужели Магомет не имеет ни глаз, ни сердца? Увидя Зораиду, захочет ли он лишиться себя такого сокровища? Увы, может быть, в эту минуту он лежит у ее ног и коварными ласками старается найти дорогу в ее душу; употребляет все хитрости обольщения, обещания, угрозы... О правосудное небо, для чего не могу в эту минуту перед ним явиться, поразить его сим кинжалом, растерзать его моими руками!»

Солнце взошло. Моэс во всю ночь не смыкал своих глаз. В безмолвном отчаянии бродит он между шатрами. Никто не дерзает к нему приближаться; все знают, сколь ужасен Моэс в кипении сильных страстей своих! Воинство ждет повелений, но Моэс позабыл и войско свое, и честолюбие, и славу. Несколько удовлетворенных страстей могут вместе владычествовать над спокойною душою; но если одна из них раздражена, то все другие, с нею совместные, исчезают: она исторгается из своих телесных пределов и грозно свирепствует. Такова река, надувшаяся от сильных дождей: она вырывается из берегов и с ревом выбрасывает из недра своего все, что обитало в нем прежде, когда спокойные волны ее были равны с берегами.

Солнце закатилось, а жребий Моэсов все тот же: нет послов от Магомета; городские ворота не отворяются; не возвращают Моэсу Зораиды. Напрасно Моэс надеялся на великодушие Магомета; надежда сия обма-

нула его. Он предается бешенству; он жаждет мщения. Он сам решился идти в Амазию. Вечер уже близко; Моэс снимает с себя великолепную свою одежду; надевает платье армянского купца; берет с собою двух невольников и четырех верблюдов, навьюченных драгоценными товарами, выходит на Багдадскую дорогу, ведущую к воротам Амазии; приближается к ним; стража впускает его в город. Один из невольников, знающий все улицы Амазии, указывает ему прекрасный караван-сарай, находившийся близ самого двора Магометова.

Но ревность не позволяет ему успокоиться; он хочет идти во дворец, решившись погибнуть или исторгнуть Зораиду из рук своего соперника... В эту самую минуту является в караван-сарай Магометов чиновник; он идет прямо к султану и говорит: «Повелитель мой, Али-Магомет, услышал о прибытии иностранца в город Амазию; Али-Магомет свято хранит уставы гостеприимства. Я послан им пригласить тебя во дворец: он хочет узнать тебя и угостить».

Моэс удивился. «Согласен, — отвечает он, — иди, я за тобою следую».

Султан идет во дворец. Он входит в ту обширную залу, в которой Магомет обыкновенно принимает чужестранцев; он приближается к трону своего неприятеля, стараясь сокрыть в сердце своем наполняющее его бешенство. В первый раз видит он Али-Магомета; при первом взгляде на его лицо он чувствует, что ненависть в душе его утихает; он неподвижен; благоговение наполнило его душу: он готов пасть на колена перед тем человеком, которого за минуту хотел умертвить. Он смотрит с некоторым восторгом на благородное лицо Магомета, на котором начертаны и мужество, и кротость, и простота, и величие, и твердое спокойствие силы, и нежная чувствительность души прекрасной.

Магомет подошел к нему с улыбкою благоволения: «Чужестранец, да будет над тобою милосердие неба! Не спрашиваю ни о твоём отечестве, ни о твоём имени; ты человек, и я твой брат. Я верю наперед, что намерение, приведшее тебя в Амазию, невинно: я никому не делал зла, и всем желаю добра».

Моэс в смущении. Магомет повелевает невольникам одеть чужестранца в богатое платье и приглашает его разделить вечернюю трапезу. Моэс, в одежде, более приличной его сану, вступает в великолепную залу, в которой Магомет, окруженный чиновниками двора, готовился уже садиться за стол, уставленный вкусными яствами. Почетное место дано чужестранцу, которого величественный вид приводит всех собеседников в изумление.

Веселость приятная и непринужденная оживляет пиршество. Все разговаривают свободно; придворные Магометовы, совсем не похожи на придворных: их можно, скорее, назвать друзьями, испытанными в

добродетели и получившими право свободно выражать свои мысли и чувства.

— Ты удивляешься, незнакомец, — сказал Магомет Моэсу, — ты удивляешься, видя откровенность и дружбу за столом государя; видя, что я на троне так же счастлив, как будто бы и не был на троне!

— Ты счастлив, Али, — воскликнул Моэс, — счастлив в ту минуту, когда ужасный неприятель окружает своими войсками твою столицу; когда престол твой готов каждую минуту разрушиться; когда судьба твоя зависит от Моэса?

— Чужестранец, судьба моя в руках всемогущего Бога! Велит, и мой престол исчезнет; я это знаю, и, несмотря на то, я счастлив! О чужестранец, и Моэс, подобно Магомету, подвластен тому Владыке, которому все возможно! Перестанем же говорить о таком предмете, который, хотя и не возмущает души моей, но мало приличен живым удовольствиям пиршества.

Между тем пиршество продолжается; прелестные невольницы поют и пляшут; веселость оживляет присутствующих: Магомет, не теряя величественной важности, приличной его сану, предается без принуждения удовольствию: он весел, любезен, и все одушевляется его присутствием: Моэс смотрит на него в мрачном молчании. Он думает о Зораиде, и ревность опять воспаляет его душу; он невольно хватается за кинжал, скрытый на его груди, но Магомет начинает с ним говорить:

— Чужестранец, для тебя уготовано это празднество, а ты печален, а ты чуждаешься наших удовольствий! Что причиною той унылости, которую вижу на лице твоём?

— Али, — отвечает Моэс, — ужасная страсть свирепствует в моем сердце. Мой неприятель похитил у меня милую, обожаемую мною женщину, женщину, которая любила меня страстно, которую хотел я сделать моею супругою. Она заключена в его серале; она страдает в разлуке со мною. Мщение привело меня в Амазию. Я пришел умертвить моего соперника, отнять у него мою любовницу или сам погибнуть от его кинжала.

— Как, чужестранец, ты хочешь мстить похитителю! Но разве нет в Амазии законов, разве она управляема варваром; разве не знают здесь, что правосудие должно наказывать преступление и мстить за невинного? Нет, чужестранец, не отнимай у меня священнейшего из моих прав! Если требование твое справедливо, я возвращу твою супругу, и хищник достойно будет наказан.

— Ты, Магомет, ты хочешь быть моим защитником, ты, похититель Зораиды, обожаемой Моэсом, заключенной с невольницами в твоём серале, определенной на жертву твоему сладострастию!

— Что ты говоришь, чужестранец?

— Так, Магомет, ты любишь Зораиду; ты хочешь присвоить себе то сердце, в котором владычествует один Моэс!

— О чужестранец, — сказал Магомет, краснея, — кто открыл тебе тайну моей души? Так, я должен признаться, Зораида меня пленила; в первый раз возмутилось мое сердце при виде женщины: скажу более, во мне родилось желание соединить себя с Зораидою.

— Никогда не исполнится это безрассудное желание. Моэс придет исторгнуть из рук твоих несчастную жертву; он близко, и мщение за ним следует!

— Я не боюсь Моэса, он это знает. Пускай придет он. Сражусь с ним, когда увижу в нем врага; приму его в объятия и разделю с ним сокровища, если увижу в нем друга... Но я уже не могу возвратить ему Зораиды.

— Теперь узнаю тебя, добродетельный, великодушный человек! О сколь низки и мелки те добродетели, которыми думаешь ослепить нас!..

— Я вижу, чужестранец, — сказал Магомет, улыбаясь, — что ты весьма полагаешься на эти добродетели, иначе не позволил бы себе говорить таким языком со мною, но скажи откровенно, что если бы Моэс похитил у меня невольницу, подобную в красоте Зораиде и влюбился в нее страстно, возвратил ли бы он ее Магомету? Ты молчишь. Скажи ж еще: думал ли сам Моэс, что Магомет возвратит ему Зораиду?

— Думал, но эта надежда скоро исчезла!

— Моэс несправедлив. Узнай Магомета и перестань почитать его низким невольником страстей, готовым всегда принести им в жертву и справедливость, и добродетель. Я любил Зораиду, люблю ее и теперь, но она уже в лагере моего неприятеля...

— Что слышу? Правосудное Небо! Зораида!.. О благороднейший, величайший из смертных, каким именем назову тебя! Человек ли ты или божество? Узнай же того чужестранца, которого с таким дружелюбием ты принял в свое жилище: я Моэс!

— Знаю!

— Можно ли?

— Такой человек, как Моэс, не может укрыться. Ему не нужно окружать себя знаками величия, чтобы казаться великим и созданным властвовать. Один из моих придворных тебя узнал, но я и без того узнал бы, что ты Моэс... Теперь уже поздно; тебе нельзя возвратиться в лагерь. Завтра по восхождению солнца ты выйдешь из Амазии; верные телохранители проводят тебя в лагерь. Да будет на эту ночь жилище Магометово твоим убежищем! Спи без страха под кровом Магомета!

Правота будет на страже у дверей твоих; я сам никогда не имел другой стражи.

Султана отводят в богатейший чертог. Он ложится на постель и засыпает тем безмятежным сном, которым обыкновенно наслаждаются в обители друга. На другой день поутру, окруженный телохранителями, оставляет он Амазию и возвращается в лагерь.

Все войско было в великом волнении. Полководцы, беспокоясь о судьбе своего султана, готовились сделать решительный приступ: все думали, что Моэс или попался в плен, или погиб в Амазии. Все пылали мщением. Между тем пятьдесят тысяч свежих воинов, присланных от калифа Моктафи, соединились с Моэсовым воинством. Амазия, при всей неустрашимости своих защитников, не могла бы устоять против такой чрезвычайной силы. Но вдруг является Моэс: все успокоилось. Услышав о присланной к нему помощи, он почувствовал в душе своей благородную радость. Он собирает вождей и в присутствии их говорит молодому Нервану:

— Завтра, мой друг, хочу вступить в Амазию. Но тебе повелеваю ныне идти к Магомету. Скажи ему от имени твоего государя: «Султан мой осадил твой город с воинством непобедимым, но ты победил его единою добродетелью. Он покоряется и признает тебя победителем. Он почитал себя великим, потому что был силен; он признается, что ты его выше, ибо ты добродетелен. Его величие в том многочисленном воинстве, которым он повелевает; твое величие в тебе, в твоём сердце: оно не зависит ни от людей, ни от случая, и Магомет, под низким соломенным кровом, превышал бы величайшего из всех монархов! Моэс предлагает Магомету мир и требует его дружбы, ибо враг Магомета есть враг того божества, которого он — образ. Амазия и вся прелестная страна, принадлежащая к ней, остаются во власти Магомета! Блаженны, стократ блаженны народы, повинующиеся державе такого великого государя!»

Кто изобразит изумление военачальников! Они не знали, кому более удивляться, Магомету или Моэсу; тому ли, кто одержал такую чудесную победу, или тому, кто признал с таким величием славу своего победителя!

Нерван идет в Амазию, и в тот же вечер врата ее отворились для воинов Моэса. Их приняли как родственников, возвратившихся из дальнего края по долговременному отсутствию. Моэс и Магомет подали друг другу руку и поклялись в вечной дружбе. И сия клятва ненарушима для сердец великих! Ненависть может существовать между людьми, имеющими прекрасную душу, но только до тех пор, пока они друг друга не узнали.

СТАТЬИ ОТ ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ К СТАТЬЯМ И ИЛЛЮСТРАЦИЯМ, УВЕДОМЛЕНИЯ

СТАТЬИ ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ДВА СЛОВА ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Издатель имел удовольствие получить из Петербурга стихи: *Надпись к портрету моего друга П. С.* Он почитает за долг напечатать их в «Вестнике», позволяя себе, однако, сделать поправку, которая, без сомнения, будет приятна и для самого автора. Вот стихи:

Багряная заря, румяный неба цвет,
Тень рощи, в ночь поток, сверкающий в долине,
Над печкой соловей, три грации в картине —
Вот все его добро... и счастлив он поэт!

Семен Ист...мин^(*).

В чем же состоит поправка? В безделице. Просим наших читателей переменить два слова и вместо имени, подписанного под стихами, Семен Ист...мин, прочесть просто: Иван Дмитриев¹; а в доказательство, что наше требование не безрассудно, развернуть второй том книги под заглавием: Сочинения И. Дмитриева, на 87 странице — там найдут они ту же самую надпись, напечатанную четкими бекетовскими литерами². Но каждому свое! Старый сочинитель написал *янтарная заря*, а новый отдает преимущество слову *багряная* — слава ему! Одним искусным маневром пера он взял в полон четыре прекрасные стиха, которыми рассудил наградить своего друга. Победа неоспоримая! Но — смеем прибавить — пример опасный! Что если какому-нибудь другому автору или самому же господину Ист...мину придет в голову переписать «Душеньку» Богдановича, поставить в заглавии, вместо слова *Душенька*, другое, собственного рукоделья, например: *Душечка*, и выдать эту поэму в свет под своим именем... кто осмелится тогда заспорить? И титул *оригинального* автора не должен ли уступить титулу *победоносного*, так как иногда, к несчастью людей, право *наследника* короны уступает праву ее *похитителя*? Дело ясное! Но горе нашим писателям — и прозаистам, и стихотворцам — которых сочинения уже напечатаны и известны публике. Можно сказать, что они еще

^(*) В оригинале выставлено все имя.

ожидают своих сочинителей или могут иметь множество новых, которые, в отношении к старым, будут то же, что многие из нынешних графов, князей и баронов в отношении к своим родоначальникам, с тою только разницею, что последние пользуются именем своих предков, не имея иногда их добродетелей, а первые будут пользоваться *добродетелями* своих праотцев, не имея их имени. Как бы то ни было, но теперь пускай кто хочет надеется на славу, а мы осмеливаемся утверждать, что слава — дым, и что стремиться за нею есть то же, что бежать во мраке ночи за летучим огнем, который заводит — в болото. И как узнать будущее? Кто, например, поручится, что нашему старику Ломоносову не назначено судьбою дойти до потомства под именем какого-нибудь Кубышкина, Мартышкина или Сусликова?

Едва лишь что сказать удастся мне счастливо,
Как древность заворчит с досадой:

Что за диво!

Я то же до тебя сказала и давно!

«Смешна беззубая! Вольно

Ей после не прийти, невежде!

Тогда б сказал я то же прежде!»³

Эта эпиграмма написана недаром! Давно молодые стихотворцы обвиняют, и едва ли не справедливо, старых в том, что они родились ранее их, и завладевши лучшими поместьями на Парнасе, не оставили им почти ни одного свободного уголка, в котором могли бы они поместиться с семейством собственных своих стихов: баллад, шарад, дистихов, акростихов, сонетов, куплетов и так далее, от надписи к портрету до самой огромной эпической поэмы. Иные не довольствуются одними тщетными жалобами; но утешают себя за потерянное право старшинства некоторыми *искусными похищениями*. И кто, повторяю, может предугадать будущее? Откройте историю! Происшествия политического мира не дают ли некоторого понятия о том, что может случиться в мире стихотворном? Судьба великого Рима нам известна: он возростал, усиливался, наконец овладел вселенною — для чего же? Не для того ли, чтобы достаться в добычу варварам, которые несколько веков таились во глубине германских лесов и вдруг устремились на него, как волки на добычу свою, будучи сдвинуты с места выгнанными другими варварами, Бог знает кем и за что, из степей азиатских. Кто бы, например, мог подумать, что нападение орды гуннов на орду готов и переход последних через Дунай причинит погибель Западной Римской империи? — Но оно так! И следствием сего происшествия, весьма неважного, с первого взгляда, было совершенное уничтожение римской власти на

Западе, всеобщая перемена в нравах, правлении, в самых наименованиях земель и народов, горестный упадок наук и художеств⁴. Перенеситесь же из политического мира в мир стихотворный — почему не вообразить вам, что где-нибудь, в неизвестной глуши Парнаса, скрывается орда стихотворцев-гуннов, готовая при первом побудительном движении устремиться на владения стихотворцев-римлян, их разорить, присвоить и, уничтожив прежних владельцев, погрузить самые имена их в бездну забвения? *Le present est gros de l'avenir*, сказал, кажется, Декарт⁵. Поэты и прозаисты, будьте осторожны, готы уже за Дунаем!

Ж.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮБЕЗНОМУ ИЗДАТЕЛЮ «АГЛАИ»

Я отвечаю несколько поздно на два приятные слова критика, помещенные в «Аглае» любезным ее издателем — прошу у него извинения: отсутствие мое из Москвы причиною такой медлительности¹. Вы угадали, любезный критик: самолюбие мое не оскорбилось, и, правду сказать, я не умею вообразить, как может полезное замечание, сделанное просто, без всякого вида насмешки, с любезною, может быть, слишком осторожною скромностью, и (что всего важнее) по требованию женщин, которые одни имеют право быть нашими судьями, когда желаем написать что-нибудь приятное, как может такое замечание быть оскорбительным для самолюбия! Напротив, прочитав вашу критику, я пожелал искренно, чтобы издатели журналов, подражая вам в скромности и учтивости, чаще переписывались друг с другом; чтобы они, так сказать, составили согласное, исполненное взаимного доброжелательства семейство авторов, семейство, в котором каждый член, имея в виду и пользу, и усовершенствование других сочленов своих, без всякого пристрастия замечал бы их ошибки, предлагал им свои замечания не повелительным языком учителя, не с колкою насмешливостью соперника, но с кроткою, благородною непринужденностью любителя истины: такой оборонительный и наступательный союз журналистов, без всякого сомнения, принес бы великую пользу их авторским дарованиям. Самолюбие наше весьма обманчиво — говорю по собственному многократному опыту — очарованное зеркало его представляет нашим глазам одни только приятные стороны предметов, а неприятные или украшает, или делает совсем незаметными для нашего взора. Молчание публики, благодаря убеждению коварного самолюбия, может легко показаться автору одобрением; он перестает быть осторожным, спускает себе с благосклонностью те ошибки, на которые читатели его смотрят с равнодушием — а благосклонность сия не должна ли наконец погубить или унижить и его дарования? Скажу откровенно: слышать справедливый упрек в при-

сутствии многих свидетелей — (ибо автор, и в особенности журналист, всегда на сцене более или менее обширной) — едва ли может быть для нас приятно, по крайней мере, в первую минуту. Но если мы имеем в виду одно только усовершенствование своего таланта, если мы уважаем одну только похвалу заслуженную, и если (что также очень важно) наш критик говорит с нами не для того, чтобы нас оскорбить или осмеять, чтобы показать нам истинный путь, с которого мы сбились, то мы после минутной досады на собственную ошибку и, если угодно, на того, кто обнаружил ее перед целым светом — сами поспешим в ней признаться, потому что *признание* — *половина исправления*, останемся благодарными своему просветителю и выиграем много, сделавшись осторожнее. Осторожность и робость — великая разница. Будучи соединена с деятельным прилежанием, первая несомненно приведет нас к успеху.

Теперь позвольте мне обратиться к вашей критике, за которую благодарю искренно и вас, и тех любезных женщин, которые поручили вам сообщить мне ее посредством «Аглаи». Мария, по мнению их, не могла *ронять веретена*, сидя за *самопярлкою*, ибо веретена не было в руках ее; а если оно было, то Мария сидела просто за пряжею. Замечание истинное, и я не смею сказать против него ни слова. Но пожалейте ж вместе со мною об участи историка, желающего быть верным и именно от того впадающего в грубые ошибки. Повесть «Марьяна роща» основана вся на древних рукописях и преданиях; в ней не найдете вы ни одного выражения, ни одной мысли, которая собственно принадлежала бы новому издателю; все заимствовано им из древних записок — и они-то сделали его преступником против здравого смысла. В одном из старинных манускриптов, кажется, современном Великому князю Владимиру, сказано именно, что Мария *сидела за самопярлкою*; в другом, принадлежащем, если не ошибаюсь, ко временам Владимира Мономаха², говорится о *веретене* в том самом месте, где первый историк упоминает о самопярлке — явное несогласие в происшествиях! Что ж сделал новый историк? Он вздумал одною чертою пера согласить несогласное, в угодность одному из своих Геродотов поставив самопярлку, а в удовольствие другому, прибавил к ней веретено, и надобно признаться, естественною вероятностью пожертвовал верности исторической: несчастье, нередко бывающее и с важными историками, которые, в наше время, описывают происшествия, случившиеся за десять веков до Рождества Христова! Нередко мы ошибаемся и от того, что ищем вдали той истины, которая у нас перед глазами. — Для чего бы, например, и мне, вместо того, чтобы умирать со скуки над пыльными, едва понятными записками древних бытописателей, не спросить у первой попавшейся мне крестьянки: имеет ли она в руках веретено в то время, когда сидит за самопярлкою? Она отвечала бы мне решительнее вся-

кого манускрипта, современного Великому князю Владимиру. — Виноват! Нечего и говорить; но повторяю, признание — половина исправления! Что же касается до маленького негодования ваших любезных дам, которым показалось смешным, что витязь Рогдай вместе с золотыми парчами дарил Марию лентами и бисером, а не жемчугом и богатыми ожерельями, то оно, конечно, делает им честь! Но историк не может принять его на свой счет; он сам досадовал на Рогдая за скупость его и неразборчивый вкус, однако принужден был повиноваться строгой истории и вместо жемчугов и ожерельев — написать, скрепив сердце, бисер и ленты.

Теперь остается мне (отвечая вам, как справедливому и любезному критику) поблагодарить вас, как доброго приятеля, за то желание, которым вы заключаете свое письмо. Сказанное вами о успехах моих в трудах кабинета и жизни принимаю за одно доброжелательство благородного сердца и желал бы найти в нем верное предвещание, по крайней мере, в отношении к последнему; ибо что принадлежит до трудов кабинета, свободных, уединенных и невинных, то (вы знаете это по собственному опыту) никакой блистательный успех не может быть предпочтен тому скромному и тихому наслаждению, которое с ним неразлучно: следовательно, они могут быть нашим счастьем или, если хотите, некоторою заменою нашего счастья и тогда, когда не будут увенчаны успехом.

В. Ж.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Издание «Вестника» продолжаться будет и на 1810 год. Расположение книжек по новому плану должно быть следующее:

I. СЛОВЕСНОСТЬ.

Проза: повести, речи, разговоры и пр.

Стихотворения: оды, басни, песни, послания, эпиграммы и пр.

II. НАУКИ И ИСКУССТВА.

Отрывки из путешествий. Рассуждения о предметах философических, о предметах, принадлежащих к изящным искусствам и вообще к наукам.

III. КРИТИКА.

Разбор книг российских и иностранных. Критические рассуждения.

IV. СМЕСЬ.

Анекдоты.

Мысли.

Московские записки.

Известия внутренние.

Известия из иностранных журналов.

V. ОБОЗРЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ.

Известия о происшествиях политических.

Хронологические таблицы происшествий (в конце каждого тома).

К некоторым книжкам приложены будут гравированные картинки: изображения замечательных видов, портреты, планы городов и зданий и тому подобное. Ежемесячно, как и прежде, будет выходить по две книжки; одна в первых числах, другая в последней половине каждого месяца.

Прося наших читателей сообщать нам свои произведения в стихах и в прозе, мы предоставляем себе полное право печатать их только тогда, когда они по своему содержанию будут соответствовать плану нашего журнала; но мы не берем на себя затруднительной обязанности давать отчет в их употреблении и — если что-нибудь не позволит их поместить в журнале — пересылать обратно к тем, от которых они нам доставлены.

Мы положили себе за правило: оставлять без исполнения письма, получаемые от особ, скрывающих имена свои, кроме только тех, при коих присылаются деньги от неизвестных благотворителей.

Некоторые из наших подписчиков изъявили нам свое неудовольствие, и даже в самых грозных выражениях, за то, что им иные книжки не были доставлены, а другие были доставлены поздно: для избежания такой неприятности вперед просим их во всех подобных случаях адресовать свои требования не к издателям, от которых *пересылка* «Вестника» совсем не зависит.

Подписка принимается в Москве, в Конторе Университетской типографии на Тверской улице и в Почтамтах. Цена за 24 книжки, составляющие годовое издание, 12 рублей, а с пересылкою в другие города 15 рублей.

К. и Ж.

РЕДАКТОРСКИЕ ЗАМЕТКИ К СТАТЬЯМ И ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

ИЗЪЯСНЕНИЕ КАРТИНКИ

Судьба управляет течением жизни, очарованной привлекательными, но тщетными мечтами — вот содержание аллегорической картинки французского живописца Караффа¹, которая заслужила общее

одобрение знатоков в Париже. Достоинства ее: простота расположения, живость красок, искусная смесь тени и света (*clair-obscur*²), выразительный характер лиц и — главное — совершенное согласие аллегорического образа с той мыслью, для которой он, так сказать, служит наружную, *видимую* формой. Эта картина приятна и потому, что в ней *находишь*, и потому, что *прибавляешь* к ней воображением. Юная, беззаботная, погруженная в дремоту Жизнь плывет на легком судне по неизвестным водам; Судьба, в виде старика, сидит на корме, правит веслом и держит парус, надутый попутным ветром; Время, другой старик, задумчивый, мрачный, с неподвижными крылами, с поникшим, неотвратно устремленным на роковые часы взором, обвитый змеею (эмблема вечности), сидит у мачты и считает падающие песчинки... Привлекательная и возбуждающая меланхолические мысли картина!.. Смотря на прелестную Жизнь, которая так беспечно лежит на краю бездны, спрашиваешь, *откуда* и *куда* влекут ее сии два таинственные старца? Легкая ладья со всех сторон окружена мраком; бледный луч, льющийся из промежутка облаков, *не светит на пути*, а только озаряет прозрачный парус, на котором мелькают магические призраки; единый только неясственный блеск их и *изредка* меланхолический образ Времени заметны для взора путницы, обремененного сумраком дремоты; но бездна, в которую половина ее уже погрузилась; но старец, у ног которого она простерта, который, смотря на нее из-под таинственной повязки, один, *позади*, всем управляет; но ломкость ладьи, но ужас окрестного мрака: она их не видит; ее спокойствие в незнании; *одни привидения*, развеваемые в глазах ее дыханием ветерка, для нее существуют! Обманутая волшебным сном, она мечтает, что *сама произвольно* за ними стремится; ее веселит надежда, сладкая надежда их настигнуть — надежда, иногда возмущаемая грозным присутствием Времени. На парусе, который не весь еще распустился, легкие призраки *меняются* один другим: призрак любви уступает уже призраку фортуны — какой последует за ними? Но, может быть, непостоянные облака сольются, сопутствующий луч и с ним милые, обманчивые мечты угаснут! Быть может, подымется вихрь, ладья не погибнет, но тонкий парус сорвется его порывом! Что озарит тогда печальную мрачность? И где сия неизвестная пристань, к которой рано или поздно ладья примчится? Быть может, близко стерегущий под волнами утес: в него ударится ладья и разлетится в прах! Быть может, в дали... Таинственный Кормщик их *видит*, но он молчит и правит неутомимо кормою. Наступит время, когда он сам, переломив весло и сбросив с головы повязку, торжественно скажет: «Путница, *пробудись!*». Когда унылый, неподвижный товарищ его внезапно восстанет с места, разобьет часы, накинёт на нее свой очарованный пояс и улетит — тогда

рассеется непроницаемая мгла! Изумленная, увидит, каким путем, на каком легком челноке, к какому берегу пристала; увидит *лицом к лицу* Неведомого Правителя ладьи; будет искать глазами оных призраков, которыми так беззаботно пленялась, и глазам ее, при новом, ярком свете, представится один белый парус, на котором уже все невидимую рукою изглажено.

РЕДАКТОРСКИЕ ЗАМЕТКИ

I

Издатель искренно благодарит почтенного незнакомца за присланный ему анекдот. Он вместе с ним осмеливается надеяться, что новая, или правильнее сказать, старинная прародительская и очень недавно возобновленная мода, предпочитать русское иностранному, найдет [как он сказал в своем письме] последователей в России; что, может быть, со временем решимся называть Россию отечеством, русские добродетели — добродетелями, русские дарования дарованиями; не будем удивляться, когда некоторые чудаки начнут публично говорить, что наши сограждане имеют собственный ум, которым порядочно действуют при случае; что они сами способны воспитывать детей, учить их правилам чести, закону Божию и даже в состоянии готовить французские соусы или шить французские чепцы а *l'incroyable*. Придет время, что в «Прибавления» «Московских ведомостей» не будут печатать: потребны коровник, садовница и мадам или мамзель для обучения детей!

II

Этот путешественник есть Николай Федорович Алферов [о котором упомянуто в № 23 «Моск. Вед.» нынешнего года], молодой архитектор из дворян, с особенным талантом, страстно привязанный к своему искусству, но, по несчастью, лишенный средства усовершенствовать свое дарование. Он — воспитанник дворянина Слободско-Украинской губернии, почтенного Александра Александровича Палицына, известного по своим упражнениям в литературе и свободных искусствах. Любопытство, пламенная любовь к изящному, благородное честолюбие заслужить в отечестве своем имя заставили его предпринять продолжительное, сопряженное со всеми трудностями путешествие. Памятники древности, особенно великолепные развалины зданий, которыми украшена Италия и Греция, составляют главный предмет его внимания. Это необыкновенный молодой человек — в котором [почем знать!] мог бы со временем образоваться русский Винкельман, когда бы обстоятельства

способствовали развитию дара его и не умерщвляли его гения — оставил Россию с обширным предприятием, осмотреть [имея в предмете одно искусство свое, архитектуру] величественные остатки Рима, Афин, Геркуланума, Агригента и другие памятники древних веков; потом объездить Египет, Африку, Индию; короче, составить для себя ясную идею о том, какова была и есть архитектура во всех веках и народах; сравнить восточное зодчество с западным, древнее с новым; видеть его во всех изменениях, производимых образом жизни, правами, понятиями, совершенством и несовершенством гражданской жизни, и потом возвратиться в отечество с богатством открытий, с обширным запасом новых идей, с большею образованностью, с сильнейшим желанием трудиться для пользы общей. Усовершенствование или, если позволено так выразиться, создание настоящей [может быть, еще не существующей] отечественной архитектуры, т. е. согласной с нашим климатом, обычаями, образом жизни — есть цель, которую предположил себе молодой путешественник; и сильное желание, с которым он к ней стремится, и мужественное постоянство, с каким старается победить все трудности, представляющиеся ему в путешествии, и горесть, в которую повергает его иногда несчастная мысль [к сожалению, слишком часто оправдываемая обстоятельствами], что он не в силах достигнуть своего предмета, служат, по моему мнению, самыми неоспоримыми признаками таланта необыкновенного. Одно дарование бывает источником такой решительной, страстной привязанности к искусству; одно дарование может бороться с фортуною и побеждать ее. Человек, не имеющий в душе своей той всемогущей силы, которая влечет его неодолимо к одному избранному для него натурою предмету, спокойно покорствуется обстоятельствам; но тот, кто чувствует в душе своей сию врожденную силу, или навек остается несчастным, если по воле неприятного жребия принужден с нею бороться и истощать ее бесплодно; или, преодолевая все обстоятельства, сам прокладывает себе дорогу среди препятствий и затруднений. Что ж, если обстоятельства будут ему благоприятны! Что ж, если гений его может развиваться и действовать свободно! Сама натура велела путешественнику нашему быть артистом! — но обстоятельства ему противны и поприще деятельности его для него закрыто! Нужда — проводник его в трудном путешествии! Он ищет усовершенствовать себя в благородном искусстве и — должен бояться голодной смерти! Он предается многим опасностям для того, чтобы со временем принести отечеству своему пользу, а, может быть, и нечто прибавить ко славе его своими трудами — и отечество, которое никогда не лишало воздаяния достойных сынов своих, об нем не знает, оставило его без покровов... Но может ли быть, чтобы оно пренебрегло человека, исполненного благородной привязанности к его пользе и, по несчастию, забытого

фортуною? Может ли быть, чтобы оно допустило угаснуть такому дарованию, которым со временем могло бы гордиться? Россия в великодушном ободрении рождающихся талантов и справедливом воздаянии трудов полезных, равняется со всеми просвещенными народами Европы: монарх ее требует только случая благотворительствовать; самые чужеземцы гордятся его наградами! — Благодаря патриотизму некоторых дворян Слободской украинской губернии, молодой Алферов имел способности, хотя весьма ограниченные, продолжать свое путешествие. Мы уверены, что многие из соотечественников наших, русские в сердце и прямо привязанные ко всему, что может хотя отчасти, с какой бы то ни было стороны, способствовать возвышению их отечества, обрадуются сему случаю удовлетворить любезнейшей и самой благородной склонности сердца своего — благотворительности. Издатель ВЕ сочел бы за особенное счастье быть их посредником; но он не имеет никакого сношения с молодым Алферовым. Почтенный издатель «Русск. Вестника», С. Н. Глинка, готов принять на себя эту приятную обязанность, которую, вероятно, не замедлят возложить на него некоторые из благородных наших соотечественников — бывший российский министр в Константинополе, тайный советник Андрей Яковлевич Италинский, выражается насчет г-на Алферова следующим образом в письме, писанном из Триеста, от 4 февраля 1808 к В. Н. К.: «Спешу удовлетворить желанию вашему знать о поведении г-на Алферова, талантах его и о употреблении им времени. По первым двум соответствует он совершенно приемлемому в нем благодетелями его участию и заслуживает дальнейшее к себе их благоволение. Относительно же употребления им времени, известно мне, что будучи в Афинах, занимался он беспрестанно усовершенствовать таланты свои, а по засвидетельствованию мне известного артиста г-на Лузиери, приобрел довольно искусства; но чем потом занимался по прибытии своем в Корфу и как проводил время свое, не был я уведомлен ни от кого».

III

Фенелон имел несчастье пережить своего питомца (герцога Бурбонского). Услышав о смерти его, воскликнул он в сокрушении сердца: «Все радости мои на земле миновались!» и сам очень скоро последовал за ним в могилу. Не знаю, воздвигла ли Франция памятник образователю этого принца, которого царствование, вероятно, избавило бы ее от многих несчастий, постигнувших вместе с нею и всю Европу. В нашем отечестве многие умеют удивляться добродетелям сего человека, истинно великого как деятельностью для блага людей, так и искусством изображать свои мысли и чувства языком, для всех равно привлека-

тельным. Я видел в саду И. В. Л., находящемся верстах в 30 от Москвы, в подмосковном его селе Савинском, скромную урну, посвященную памяти Фенелона. На ровном месте, где прежде было топкое болото, явились тенистые рощи, пересекаемые прекрасными дорожками и орошенные чистою, прозрачною как кристалл водою. Расположение сада прекрасно; лучшее в нем место есть *Юнгов остров*. Вы видите большое пространство воды. Берег осенен рощею, в которой мелькает *Руссова хижина!* На самой середине озера *Юнгов остров*, с пустынною хижиною и несколькими памятниками, между которыми заметите мраморную урну, посвященную *Фенелону*. На одной стороне урны изображена госпожа Гюйон, друг Фенелона, а на другой Ж.-Ж. Руссо, стоящий в размышлении перед бюстом Камбрейского архиепископа. Артист выбрал ту самую минуту, в которую женевский философ воскликнул: «Для чего не могу быть слугою Фенелона, чтобы удостоиться быть его камердинером!» Остров осенен разными деревьями: елями, липами, березами и другими; его положение чрезвычайно живописно: всего приятнее быть на нем во время ночи, когда сияет полная луна, воды спокойны и рощи, окружающие берег, отражаются в них, как в чистом в зеркале! Это место невольно склоняет вас к какому-то унылому, приятному размышлению.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Издатель ВЕ получил от господина коллежского ассессора алатырского городничего Алексея Александровича Солодова письмо, в котором извещает, что после взятия Анапы в прежнюю войну с турками он купил пятилетнего Сегид-Халиля, сына майорши Александры Васильевны Прокофьевой (см. Вестн. Евр. 1808 года № 13 стр. 64), от первого мужа ею рожденного; окрестил его и воспитал при себе по возможности. Сей сын назван при крещении Александром Трофимовым и теперь служит как вольноопределившийся в Симбирском батальоне. Г. Солодов прибавляет, что малолетняя дочь г-жи Прокофьевой Шифирь-Дуд тогда же скончалась. Издатель почитает для себя приятнейшим долгом довести сие утешительное открытие до сведения сетующей матери и в то же время засвидетельствовать господину Солодову искреннюю благодарность за поспешное извещение.

1808. Ч. 41. № 17. Сентябрь. С. 54—55.

Издатель имел удовольствие получить от неизвестных ему для доставления: М... В... Б...ой в Почеп 60 рублей, и в деревню Большую Кандалу, старосте Антону 65 рублей. Первые посланы прямо в Почеп на имя М... В... Б...ой, а последние адресованы в Симбирск на имя Петра

Петровича Тургенева, который, по знакомству своему с издателем, сверх того будучи всегда готов сам помогать тем, которые имеют нужду в помощи, охотно возьмется отыскать деревню Большую Каңдалу и старосту Антона, которому и доставит принадлежащие ему деньги. Издатель почитает обязанностию благодарить неизвестных благотворителей. Ж.

1809. Ч. 45. № 10. Май. С. 160.

Присланные из Павлограда от господина Петровского деньги 25 рублей немедленно по получении здесь отправлены в Почеп к М. В. Беринговой, которая сим свидетельствует достодожную благодарность почтенному благотворителю.

Изд.

1809. Ч. 46. № 14. Июль. С. 160.

Особы, приславшие требования свои о некоторых не полученных ими нумерах ВЕ, также о скорейшем доставлении к ним вообще всех книжек журнала, сим почтеннейше извещаются, что книжки, по объявлении о выдаче их в «Московских ведомостях», без малейшего замедления в назначенные дни отдаются в здешний почтамт для отсылки куда следует; что ни один номер не задерживается в Конторе Университетской типографии, и что, следовательно, ни Контора, ни издатель в сем случае не виноваты; о медленном или неисправном доставлении посылок надобно относиться с жалобами к почтовому начальству.

1809. Ч. 46. № 15. Август. С. 240.

Из полученных в Москве от неизвестной особы ассигнациями 100 рублей и из Курска от Ив... З... на 5 р. отправлено по требованию благотворителей 55 р. в Почеп к самой М. В. Беринговой, и в Симбирск 50 р. к П. П. Тургеневу для доставления старосте деревни большой Каңдалы Антону. — Госпожа Берингова уведомляет неизвестных своих благотворителей, что посланные к ней деньги через г-на Занд Марка, из Кременчуга 25 р. и из Кексгольма 30 р., она получила.

1809. Ч. 46. № 16. Август. С. 317.

Присланные деньги от неизвестных благотворительных особ, при письмах из Тулы 150 рублей и из Перекопа 25 р., текущего ноября 12-го числа по назначению их отправлены куда следовало, а именно: в Бирюч к священнику Г. И. Попову для бедных сирот диакона 75 р.; в Ростов, что на Дону, к П. Н. Тетюпину для вдовы генерал-майора Ф — Д — В. 50 р.; в Тамбов к М. А. Чулкову для бедной слепой майорши 50 р.

*

Г-на сочинителя «Несчастных любовников», приславшего возражения на критику, помещенную в «Цветнике», С.-Петербургском жур-

нале, издатели уведомляют, что они предположили печатать в «Вестнике Европы» такие сочинения, которые пишутся для всей публики, а не по одним только личным отношениям.

1809. Ч. 48. № 22. Ноябрь. С. 176.

Из Ростова, что на Дону, госпожа генерал-майорша Ф. Д. В. пишет к издателям следующее от 11-го ноября: «По письму, напечатанному в 17-м номере “Вестника Европы”, я получила от г. Тетюпина присланные от вас 25 р., из Балашева от В. 25 р., из Тотьмы от И. Х. 25 р., из Краснослободска от г. титулярного советника Шишкина 20 р. и от неизвестной благотворительницы Р. 100 р., при великодушном обещании и впредь доставлять мне по 50 р. ежегодно. Живейшие чувства благодарности моей к великодушным благодетелям превышают всякое выражение — и что бы значила моя благодарность для тех, кои в вечности обрящут мзду свою! Они *милостивы* — и *помилованы будут*... Но да наслаются они и здесь удовольствием своей благотворительности, узнав через сие, что я и дочь моя великодушными их пособиями начинаем примиряться с ужасами рока».

*

Для оставшихся сирот после умершего диакона издатели получили на сих днях при записке от неизвестного благотворителя 50 р., от г-на М. 10 р., от г-на С. 10 р., да при письме из Балахны от неизвестного же 10 р. Все сии деньги 80 рублей отправлены 26 числа ноября в город Бирюч к священнику Г. И. Попову.

*

Ноября 26-го доставлено к издателям неизвестною благотворительною особою 150 рублей, для отсылки 100 р. к М. В. Беринговой, 25 р. к старой слепой майорше и 25 же р. к сиротам диакона. Деньги сии отправлены в Почеп на имя самой госпожи Беринговой ноября 29-го, в Тамбов к М. А. Чулкову и в Бирюч к священнику Г. И. Попову декабря 3го. (без подписи)

1809. Ч. 48. № 23. Декабрь. С. 267—268.

Издатели получили при письме из города Романова от неизвестной благотворительной особы 30 рублей для отсылки по равной части к госпоже генерал-майорше Ф. В. Д., к бедной слепой майорше и к сиротам диакона. Оные деньги отправлены 10-го декабря в Ростов, что на Дону, к П. Н. Тетюпину, в Тамбов к М. А. Чулкову и в Бирюч к священнику Г. И. Попову, для доставления по принадлежности.

*

М. А. Чулков из Тамбова уведомляет издателями, что он получил от неизвестного благотворителя из города Пирятина 10 рублей при записке: «Отдать жене почталиона за усердное призрение слепой майорши», и что деньги сим в то же время ей доставлены.

*

Брат осиротевших детей диакона в Бирюче, находившийся в С.-Петербурге, препоручает издателям изъявить чувствительнейшую, всегдашнюю благодарность свою тем великодушным особам, которые призрели бедное семейство его, и уверить их, что он никогда не забудет обязанности своей быть достойным их благодеяний. Добродушный священник, попечитель осиротевшего семейства, уведомил его, что кроме денег, известных по нашему журналу, получено от разных благотворителей еще 60 рублей. (без подписи)

1809. Ч. 48. № 24. Декабрь. С. 350.

М. В. Берингова из Почепа уведомляет издателей, что она получила из города Белого от Марьи Б. 10 рублей, и просит изъявить благотворительнице чувствительнейшую благодарность. С удовольствием исполняем поручение г-жи Беринговой.

*

Издатели получили из Макарьева от неизвестной особы 50 рублей. Деньги сии отправлены будут 7-го числа сего января, 25 р. в Ростов, что на Дону к П. Н. Тетюпину для госпожи генерал-майорши Ф. Д. В. и столько ж в Бирюч к священнику Г. И. Попову для сирот покойного диакона.

*

Внизу на стр. 336-й XLIV книжки «Вестника» истекшего года надобно читать: «Ход мыслей, по быстроте своей и необычайности, может уподобиться только блеску молний, мгновенно озаряющему глубокую ночь ярким светом». — *Есть еще не важные ошибки; например в XLI-й книжке на стран. 57-й в строке 2 снизу: ненавистного Ф, вместо ненавистой Ф.; или на стр. 63-й в строке 6: отечественной, вместо в отечественной.* Погрешности сего рода так очевидны, что издателям совестно даже принять их на свой счет и просить за них извинения у публики.

1810. Ч. 49. № 1. Январь. С. 76.

По желанию неизвестной особы, при письме из Бугульминского уезда приславшей 10 р., одна половина сих денег отправлена в Тотму,

к игумену Спаса Суморина монастыря Варфоломею, на раку новоявленного чудотворца Феодосия, а другая в Почеп к М. В. Беринговой.

*

Священник Г. И. Попов из Бирю уведомляет, что кроме доставленных к нему через издателей ВЕ денег для сирот умершего диакона, он еще получил от благотворителей при письмах:

Из Москвы от неизвестных особ:	
При письме 23 сентября	25 руб.
-----	50 ----
-----24-----	25 ----
Из Покровской слободы Саратовской губернии	
от Малороссиянина	10 ----
-- Дорогобута от неизвестной благотворительницы	25 ----
-- Ярославля от Ивана Назимова	10 ----
-- Суздаля от Василия Беллина	5 ----
Из Константиноградского повета	
от Ивана Филипповича Попова	5 ----
-- неизвестных особ без означения месяца и числа	50 ----
.....	10 ----
от неизвестных особ 12 октября	10 ----
16 -----	15 ----
Из Пензы, от неизвестной особы 21 октября	30 ----
-- села Тихвинского от А. О. Кожина	25 ----
-- Астрахани от купца И. Н.	25 ----
-- села Мицоловки от Г. И. Краснокуцкого	100 ----
-- Санкт-Петербурга от неизвестной особы, 28 октября	25 ----
-- Севастополя, от И. К...ча	5 ----
-- Орской крепости от А. Г.	5 ----
-- Полтавы от неизвестной особы	25 ----
-- Львова	5 ----
-- Санкт-Петербурга от Василия 2 декабря	10 ----
От землемера Бирючинского Николая Васильевича	5 ----
	Итого 525 ---- .
Сверх того послано в различные времена через издателей	
ВЕ денег, о которых благотворители	
уведомлены	460 ----
	А всего 985 руб.

Старшая дочь покойного диакона выдана замуж, и при сем случае издержано 85 рублей; 30 рублей употреблено на содержание прочих

пятерых сирот, из которых один мальчик обучается в семинарии и, по милости Преосвященного, помещен теперь в число казенных питомцев. Достальной суммой почтенный священник надеется удовольствоваться сирот, не уменьшая оной. (без подписи)

1810. Ч. 49. № 2. Январь. С. 157—158.

Издатели получили при письме от неизвестной благотворительницы из Гадяцкого повета 100 рублей. Деньги сии отправлены 21 января: в Ростов, что на Дону, к П. Н. Тетюпину для госпожи генерал-майорши Ф. Д. В. 50 р.; в Тамбов к М. А. Чулкову для бедной слепой майорши 25 р., и столько ж в Бирюч к священнику Г. И. Попову для сирот покойного диакона.

*

При письме к издателям от А. С. из Арнсбурга присланные в пользу сирот 25 рублей, по желанию благотворителя, отправлены будут 11 числа сего февраля в Бирюч к тому же священнику.

1810. Ч. 49. № 3. Февраль. С. 242.

Священник Г. И. Попов пишет из Бирючи к издателям, что он получил при письмах от неизвестных благотворительных особ из Богучара 10 рублей и из Ясс 50 р. для сирот покойного диакона. (без подписи)

1810. Ч. 49. № 4. Февраль. С. 322.

На имя г-жи Горбуновой получено издателями ВЕ:

от господина Д.	30 руб.
от А. П. Ю.	50 ---
от господина В...аго	<u>100</u> ---
Итого 180 ---.	

Все сии деньги доставлены к одному из издателей «Вестника», г. Каченовскому, находящемуся теперь в Петербурге, для того чтобы он лично вручил их госпоже Горбуновой. Ж.

1810. Ч. 50. № 8. Апрель. С. 327.

Издатели получили на имя госпожи Горбуновой от разных особ — 45 руб.

и на имя г-на Левенгофта, из Рязани — 5 —

Деньги сии доставлены, куда следует.

*

Издатели почитают за нужное подтвердить сказанное ими в их объявлении об издании «Вестника» на 1810 (и в особенности г-ну Вындом-

скому, укоряющему их очень часто в недоставлении не только «Вестника», но даже «Московских ведомостей», в которых они не участвуют), что доставлять гм подписавшимся следующие им книжки совсем не их обязанность; что они занимаются одним только *изданием*, а не пересылкою журнала, о доставлении которого надлежит относиться им в почтамт, или в Контору типографии Московского университета. Изд.

1810. Ч. 51. № 11. Июнь. С. 250.

Деньги 25 рублей из Чечерска получены и по первой почте будут отправлены в С.-Петербург к поручице Горбуновой по желанию благотворителя.

1810. Ч. 51. № 12. Июнь. С. 327.

Присланные от неизвестного благотворителя 25 рублей, отправлены по желанию его в С.-Петербург к его преосвященству Петру Федоровичу Герингу, для доставления госпоже Бобровой.

При письме из Тулы от г-на К. Аллера получено 30 рублей. Оные деньги немедленно будут отправлены, по желанию благотворителя, в С.-Петербург к г-же Горбуновой 20 рублей, и в Слободской к г-ну Левенгофту 10 рублей.

1810. Ч. 52. № 13. Июль. С. 80.

Присланные из С.-Петербурга через г-на Винкельмана 25 рублей, по желанию благотворителя, отправлены в Нижний Ламов к отцу архимандриту Израилю, для вручения титулярному советнику А. А. С.

1810. Ч. 52. № 14. Июль. С. 159.

Деньги из Рославля, 25 рублей, при письме от Але... Ми... получены и отосланы в Скопинский магистрат для вспоможения претерпевшим несчастья от пожара тамошним жителям.

1810. Ч. 52. № 15. Август. С. 247.

Через посредство неизвестной особы прислано к издателям ВЕ от господина статского советника и кавалера Василия Ивановича Рябина ассигнациями 210 рублей для доставления бедным скопинским жителям, претерпевшим несчастье от пожара. Оные деньги отправлены в Скопинский магистрат для употребления по воле благотворителя.

*

Г. Тихонов, известивший издателей письмом из Касимова, в 12-й книжке ВЕ сего года напечатанным, о бывшем в Скопине пожаре, и достохвальным примером своим подвигнувший сострадательных к пособию несчастным, ныне уведомляет, что многие из касимовских жителей собрали между собою по подписке 402 рубля, и отправили сии

деньги в Скопинский магистрат через почту. Мы охотно напечатали бы здесь имена всех благотворителей, если б дозволяли пространство и план нашего журнала.

*

Деньги 50 рублей из Омска от Ан. Т. и 25 р. из Холма от А. П. получены, и немедленно будут отправлены в Скопинский магистрат для употребления, по желанию благотворителей, в пользу разорившихся от пожара. Изд.

1810. Ч. 52. № 16. Август. С. 333.

Мы имели удовольствие получить из Макарьева сто рублей от неизвестной особы, с препоручением раздать оные деньги кому заблагорассудится. Чувствительнейше благодаря почтенного благотворителя, извещаем его, что 50 рублей мы отдали г-ну штаб-лекарю, коллежскому асессору Алексею Якимовичу Потоцкому, для доставления одной половины вдове майорше Анисье Кузьминишне Рейховой^(*), а достальных 25 р. известной ему весьма бедной вдове же, капитанше Анне Алексеевне Чубаровой. Еще 25 р. отправлены в С. Петербург к его преосвященству Петру Федоровичу Герингу для вручения супруге покойного Боброва, творца «Тавриды»^(**). — Последние 25 р. отправлены Пензенской губернии в город Нижний Ламов к отцу архимандриту и кавалеру Израилю, для вручения титулярному советнику А. А. С. ^(***)

*

А. Я. Потоцкий уведомил нас, что он получил в Москве от Н. А. С. 25 рублей, от И. В. С. 10 р., от С. Е. И. 5 р. и от Е. И. К. 5 же р., да из Устюжны от неизвестной особы 15 р. и что все сии деньги отданы им А. К. Рейховой.

*

Отец архимандрит и кавалер Израиль из Нижнего Ламова уведомил нас, что присланные к нему через Севскую почтовую контору 10 рублей, по желанию благотворителя, доставлены титулярному советнику А. А. С. Изд.

1810. Ч. 53. № 18. Сентябрь. С. 165—166.

К издателям доставлены: от г-на Винкельмана 25 рублей для титулярного советника А. А. С. (Вестник Европы. 1810. № 12. С. 326); из

(*) Смотри Вестник Европы. 1810. № 16. С. 329.

(**) См. Вестник Европы. 1810. № 11. С. 244.

(***) См. Вестник Европы. 1810. № 12. С. 326.

Трубчевска от купца Василия Никулина 25 р. для разоренных пожаром Скопинских жителей (там же, стр. 324); из С. Петербурга от неизвестной особы 10 р. для вдовы майорши Рейховой (№ 16 стр. 329). Оные деньги отправлены: по первому поручению в Нижний Ламов к отцу архимандриту Израилю; по второму в Скопинский городской магистрат; а по третьему отданы г-ну штаб-лекарю, коллежскому асессору А. Я. Потоцкому.

1810. Ч. 53. № 19. Октябрь. С. 246.

Полученные из Нежина при письме от г. Кириченкова 10 рублей отосланы, по желанию благотворителя, в Скопинский магистрат для употребления в пользу жителей, разорившихся от пожара (см. Вестник Европы. 1810. № 12. Стр. 324).

1810. Ч. 53. № 20. Октябрь. С. 334.

А. Я. Потоцкий уведомил издателей ВЕ, что при письме из Калуги 7 октября от Л...а И...ва получил он сто рублей, которые и отдал бедной вдове майорше А. К. Рейховой (см. Вестник Европы. 1810. № 16. Стр. 329), по желанию благотворителя.

1810. Ч. 54. № 21. Ноябрь. С. 83.

Доставленные к издателям от неизвестной особы 50 рублей отправлены в Киев ко вдове пасторше Бауршмит (Вестник Европы. 1810. № 21. Стр. 71).

1810. Ч. 54. № 22. Ноябрь. С. 171.

Полученные из Рязани от неизвестного при записке 5 рублей препровождены в Новомосковск ко вдове диакона Илии Замкового. Сия несчастная женщина имеет все право ожидать помощи от сострадательных друзей человечества. В прошлом июне месяце гром убил диакона, мужа ее, и зажег кладовую, с которою сгорело все их имущество. Бедная диаконица с малолетними детьми осталась в ужасном положении.

Платон, архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический, по человеколюбию своему оказал прежде всех пособие несчастной сей вдовице. Другие благотворительные особы также не замедлили подать ей руку помощи. Подполковница Родзянкина прислала к ней 25 рублей. Новомосковский купец Выставкин препроводил к ней 10 р. Подпоручик Чернявский и губернский регистратор Вискарь дали ей по 5 рублей. Диаконица Замковая свидетельствует перед всею публикою о благодарных чувствах своего сердца.

*

Вдовствующая пасторша Вильгельмина Бауршмит (Вестник Европы. 1810. № 21. Стр. 71) изъявляет чувствительнейшую свою и детей своих благодарность человеколюбивым особам, оказавшим ей пособие при затруднительных ее обстоятельствах. Она желает довести до сведения неизвестной особы, приславшей к ней при письме от 6 ноября 100 рублей и объявившей намерение свое с будущего января производить г-же Бауршмит ежегодной пенсии по 150 рублей, что благодарительное письмо сие получено ею исправно.

*

Издатели получили из Якутска от I — Я — 100 рублей, а Полтавской губернии и повета из села Диканьки от протоиерея Платона Житинского 50 рублей, уведомляющего, что сии деньги вручены ему от некоторого сострадательного иностранца. По желанию благотворителей оные 150 рублей отправлены в Скопинский городской магистрат для употребления в пользу жителей разорившихся от пожара (Вестник Европы. 1810. № 12. Стр. 324). К. и Ж.

1810. Ч. 54. № 24. Декабрь. С. 331—333.

ИЗ ЧЕРНОВЫХ И НЕЗАВЕРШЕННЫХ РУКОПИСЕЙ

ЛИОНЕЛЬ И ЭЛЬМИНА^(*)

Один из соотечественников наших, Лионель, прекрасный и добрый, был не более двадцати четырех лет, когда лишился почти в одно время своих достойных родителей. Горесть принудила его оставить то место, где всё мучительным образом напоминало ему о прошедшем, где всякий знакомый предмет усиливал в душе его чувство потери. Он простился на время с отечеством, путешествовал года три по Европе: посетил Германию, Италию, Швейцарию, Францию, наконец приехал в Англию, где случай познакомил его с любезною мисс Эльминою Женнингс: он имел рекомендательное письмо к одному близкому родственнику ее матери, богатому лондонскому банкиру; в доме его встретился с милади Женнингс и ее дочерью; заметил в их ласках не одну приветливую учтивость, но вместе — искренность, добродушие и милое участие в судьбе его, которыми тронулся в глубине сердца. Эльмине минуло шестнадцать лет: она была приятной наружности, воспитана просто, любовь попечительных родителей (отца Эльмина лишилась еще в ребячестве) и счастливые обстоятельства усовершенствовали ее природу. Эльмина приготовилась, можно сказать, самою натурою; для украшения мирного семейственного круга имела здравый рассудок, милое добродушие, ненавидела рассеянность, любила труд и порядок, охотно и с пользою читала книги, была чувствительна к красотам поэзии, приятно играла на некоторых инструментах, рисовала, короче, имела все те знания и навыки, которые необходимы для счастья женщины в течение целой ее жизни. Но то, что более всего подействовало на Лионеля, в первую минуту его свидания с Эльминою, была сия меланхолия, которой все ее движения казались запечатленными. Эльмина имела несчастье лишиться брата, пропавшего без вести с французским мореходцем Липерузом; она оплакивала в нем товарища, друга и наставника, которому обязана была живейшими удовольствиями своего младенчества и лучшею частию своего морального образования. Сия трогательная меланхолия была слишком привлека-

^(*) Издатель посвящает это письмо М..... Эльмина и Лионель — не вымышленные лица. Главные обстоятельства все справедливы: издатель имел случай видеть письмо одной англичанки к русскому, ее жениху, в котором она с умом и приятностью изображает характер супруга, достойного ее выбора; ответ ему неизвестен, но он старался его вообразить.

тельна для Лионеля, который сам, и не очень давно, потерял столь много любезного. При первом взгляде на лицо Эльмины, украшенное всеми прелестями непорочности и уныния, новое, никогда не испытанное чувство растворило его сердце. Лионель в глазах и голосе имел чувствительное сходство с молодым Артуром Женнингсом; Эльмина затрепетала, когда услышала звуки столь знакомые, когда Лионель устремил на нее взор, некогда столь выразительный и красноречивый: тайное очарование украсило его в воображении Эльмины, очарование навеки, неразрушимое. Сердца их заключили союз, который мать освятила своим согласием. Будущее расцвело в глазах Лионеля.

Важные дела, не терпевшие отсрочки, понудили его на время раслучиться с милою невестою и ехать в Россию. Он должен был несколько месяцев прожить в Риге и несмотря на скучную работу, несмотря на мучительное, нетерпеливое желание возвратиться в Англию, трудился неусыпно, часто писал к Эльмине и часто получал ее письма. Одно из них, самое первое, написанное Лионелем из Риги, в день его приезда, желаем сообщить читателям «Вестника». В заключении скажем еще несколько слов о судьбе Эльмины и Лионеля.

Рига, мая.... 17.... года

Путешествие мое кончилось, сию минуту схожу с корабля, отечественные поля, отечественный воздух меня окружают, и первая встреча — радость, письмо от Эльмины. Благодарю тебя, милая, какая счастливая минута, удовольствия, минуты, навеки неизгладимые, возобновляющиеся в моем воображении, благодарю тебя, Эльмина, этот день будет посвящен тебе и воспоминаниям: в сем месте, ознаменованном многими случаями ребяческой моей жизни, сопутствуемый тобою, окруженный милыми призраками, стану скитаться на свободе, читать и перечитывать твое письмо, думать, сравнивать прошедшее с настоящим, и то мрачное состояние моей души, с которым за три года, на самом этом месте, я сел на корабль, пустился в море и холодно смотрел на удаляющиеся берега моего отечества, с сим восхитительным и вместе меланхолическим чувством, которое так быстро проникло мое сердце, когда я опять увидел знакомые берега, поля и рощи, когда прошедшие потери и настоящие радости, надежды, ожидания вдруг совокупно оживились в душе моей.

Осужденный скучать в изгнании, отдаленный от тебя пространством моря, я весел и счастлив, Эльмина; я живо чувствую сладость жизни, и, кажется, сама природа, в весенней своей красоте, отвечает веселию моего сердца. Вокруг меня всё цветет, всё радостно и спокойно. Я один, в поле, в прекрасном уединенном убежище, на берегу моря. Сажу на зеленом

скате горы, в глазах моих необозримая равнина вод. Цветущие ветви осин, берез, дубов сплетают приятную сень над головою моею. С правой стороны в отдалении город, покрытый легким туманом, в котором, как в дыме, сверкают верхи башен, церквы и белые каменные дома. Паруса кораблей, летящих на край горизонта, приплывающих и отплывающих, веют, озаренные блистанием заходящего солнца. С другой стороны густая роща: дряхлые деревья наклонились на самые волны, покрытые зеленою тенью и с тихим шумом орошающие их корни. Ясный закат солнца, благовонное дыхание ветерка, молодая зелень полей и рощей, пение птиц, отдаленный шум города, шорох листьев, плескание волн, бьющихся в берег и медленно отливающих, стада, в разных сторонах шумящие, песни поселян, изредка слышимые за холмом и мешающиеся с восклицаниями пловцов, которые в легких шляпках быстро мелькают среди розового сияния, разлитого по гладкой неподвижной поверхности моря — всё вместе составляет такое приятное зрелище, все сии звуки сливаются в такую нежную очаровательную гармонию, что сердце мало-помалу смягчается, сладостная тишина растворяет все чувства, и душа погружается в задумчивость. На свободе, отделяясь ото всего мира, думаю о счастье, которое ожидает меня в будущем, и никакое сомнение меня не колеблет. В сердце моем такая живая уверенность к Провидению. Сие тихое и безмятежное предчувствие будущих радостей не есть ли его чистый, уверяющий голос, который говорит мне: «Верь в глубине сердца, наслаждайся без трепета ожиданием, тот, кто одарил тебя такою сладкою надеждою, тот ужели тебя обманет! Поселить в душе твоей сию неутомимую жажду счастья, даровать тебе способность к нему возвыситься, показать тебе его в отдалении прелестном, очаровательном, и потом уничтожить собственное свое создание, не есть ли злобно ругаться над беззащитным твоим бессилием! Доверенность! Доверенность беспредельная: стремись и будь достоин... Никакое могущество не похитит у тебя награды!». Внимая сему утешительному гласу, я успокоиваюсь в глубине сердца, я верю своему счастью, верю с восхищением! Оно будет, непременно, рано или поздно, и вера моя никогда не угаснет.

АПОЛЛОНИЙ И ФЕССАЛИЙСКИЕ ПОСЕЛЯНЕ

В путешествии моем по Фессалии¹ случилось мне видеть такую землю, которой обработанность не делала чести трудолюбию жителей. На полях редкий и тощий хлеб, совсем почти заглушённый дикими растениями, луга, не защищаемые ни осенью, ни весною от стока воды, бегущей с ближних гор, и во многих местах затопленные совершенно, производили кислую траву и сделались почти непроходимым болотом; кое-где

бродили сухие, изнуренные коровы, которые, несмотря на голод, пренебрегали худую пищу, попираемую их ногами; на голых пастбищах паслось немного больных овец; дома, одежда и образ жизни поселян отвечали наружному виду их полей; короче, все представляло картину скудости и недостатка, тем более разительных, что земли сии граничили с другими, на которые, можно сказать, богиня изобилия высыпала все сокровища из своего рога, где все улещало взор — и пышные и веселые нивы, и многочисленные стада на тучных пажитях, множество работников — юношей и девушек, здоровых, цветущих и веселых, занимавшихся в то время собиранием богатств, которыми Церера и Помона² благословили прелестную страну сию.

Мне хотелось знать причину сего несходства в плодородии смежных и почти одинаковых земель, и я завел разговор с одним молодым земледельцем, который нехотя собирал скудные плоды каменистого поля и взором своим, казалось, укорял скупую природу. Я услышал, к удивлению, что сильный и злой волшебник именем Пифоклес привел жителей в то горестное состояние, в котором они уже сорок лет томятся. «Видишь ли, — сказал молодой земледelec, — этот огромный дом, который не уступает царскому в великолепии; он принадлежит Пифоклесу. Ему принадлежат и те прекрасные пажити, которые простираются по холмам, стадами усеянным, и эти богатые нивы, которые у нас перед глазами. Но все они — меньшая часть владений опасного Пифоклеса. Он недоволен тем, что с помощью очарований собирает с полей своих такую неестественно изобильную жатву, еще окрадывает и портит наши. Духи, которыми он повелевает как господин, ежегодно переносят к нему на поля наши хлебные зерна; этого мало: от него коровы наши без молока, и овцы без шерсти; станет на межу, посмотрит на наши луга — и жнивье и всё пропало: хлеб не взойдет, луга засохнут, а мы терпим голод».

Я досадовал и проклинал в сердце несчастное суеверие, которое уничтожало деятельность в этих бедных людях и было одно причиною их горестного убожества. Стараться разрушить его доказательствами рассудка значило терять и труд, и время: их добрый гений показал мне другое удобнееe средство. «Состояние ваше жалко, — сказал я, — но еще можно его поправить; отведи меня к старейшине Гирены» (так называлась деревня). Земледelec удивился, посмотрел мне пристально в глаза, подумал, наконец сказал: «Иди за мною», — и пошел вперед, таща за повод лошаде́нку, сухую, голодную, которая едва передвигала ноги и медленно волочила телегу с хлебом.

Слова стариков, с которыми я говорил в деревне, уверили меня совершенно в их глупости почти невероятной. «Вы жалки мне, добрые

люди, — сказал я наконец. — Я жрец священных кабиров на острове Самотраке³. Боги открыли мне свои высокие таинства; нет чародейства, которого бы я с помощью их не разрушил. Имейте ко мне доверенность: иду попросить великого Аксиохерзоса⁴ и через десять дней скажу вам ответ сего благодетельного бога».

По несчастью, на то время я не имел готового чуда, следовательно, мое могущество должно было казаться сомнительным, и слова незнакомца не могли произвести отменно сильного впечатления. Но моя наружность и твердый, убедительный голос, по-видимому, вселили в них доверенность: «Верьте, верьте!» — воскликнул я торжественно и, не дав им времени одуматься, так стремительно поскакал и скрылся из глаз их, что мое мгновенное присутствие, конечно, показалось чудом, и сего чуда было довольно, чтобы занять их воображение до самой минуты моего прибытия, которого ожидали они с верою и сомнением.

Между тем въехал я в ореховую рощу, которая с севера защищала смежное иоле, и, скача, приближался к прекрасному дому богатого Пифоклеса. Он принял меня ласково, со всею приветливостью древнего (1 слово нрзб.) гостеприимства. Он имел уже семьдесят лет, хотя по наружности казался пятидесяти; семейство его состояло из шести или семи сынов, умных, веселых и здоровых, и нескольких дочерей, которых загорелое лицо ясно доказывало, что они не пренебрегали сельскими работами для сохранения своей нежной кожи.

На дворе, полном людей, как улей пчелами, все было в движении: служители, каждый за работою, имели веселую наружность и казались совершенно довольными своим уделом. Я любовался их живостью и прилежанием. Добрый Пифоклес имел снисхождение показать мне все части своего двора, и, признаться, я почти нигде на находил такой опрятности, такого порядка, устройства и во всем приличия. В этом доме всё на месте, всё кажется необходимым, все части сливаются в одно удивительно приятное, неразделимое целое. Я сказал несколько слов о хорошем удобрении полей, которые видел мимолетно, и Пифоклес признался, что доход, с них получаемый, делает его одним из богатейших владельцев Фессалии и что теперь он имеет способ так содержать своих работников, которые почти все родились и выросли в его доме, что они ни за какие сокровища в свете не захотят покинуть своего состояния и с ним расстаться. Тут нечувствительно обратил я разговор на бедных соседей Пифоклеса. «Они сами причиною своим несчастиям, — сказал он, — не любят работы; не думают о средствах поправить свою бедность. За пятьдесят лет и моя земля была совершенно бесплодна; трудолюбие исправило натуру; всё, видимое здесь тобою, есть следствие неусыпного прилежания, острого

и постоянного примечания за действиями и ходом природы, опытности, недешево купленной ошибками и трудами порядочного распределения работ, точного согласия предприятия с средствами, верного сочетания прибылей и накладов, короче, строгой экономии, которая во всех частях благоразумна и расчетлива. Благодаря богов сердце мое не имеет зависти; желал бы искренне, чтобы мое благосостояние могло быть полезно моим соседям; но эти безрассудные люди почитают меня чародеем. По мнению их, житницы мои оттого так полны, что невидимую, мне покорною силою похищаю с полей их хлеб, и таким образом я не могу принести им пользы ни примером, ни наставлением». «Имея столь благородное сердце, Пифоклес, — сказал я, — ты, без сомнения, был бы рад, когда бы нашлось средство образумить этих жалких суеверов. Я имею в голове намерение: причина зла может сделаться и причиною добра, суеверие может быть уничтожено суеверием». Пифоклес согласился со мною, но он не почел за нужное спрашивать о средствах, мною выдуманых, и мы перешли к другой материи.

Я прожил еще несколько времени в этом доме, в котором все трогало сердце и наставляло рассудок, в котором все нравилось, и обхождение добродушного хозяина, и мирное согласие семейства, и счастье домашних, видимое на их спокойных лицах, и совершенная во всем опрятность, соединенная с порядком. Очаровательные для взора восемь дней пролетели для меня быстро; я не заметил их среди наслаждений натурой, довольный собою и тем, что меня окружало. Наконец принужден был оставить сие убежище прямого счастья; простился с Пифоклесом, украсил голову повязкой жреца кабиров, которую имел право носить, будучи посвящен в таинства Самотраки, явился к моим новым знакомцам, обитавшим в долине, которые приняли меня, как бога, и, став на возвышенное место, сказал им голосом, вселяющим доверенность и робость: «Внимайте ответу божественного оракула кабиров. Мнение ваше справедливо: чародейство есть точная причина ваших несчастий. Главный их источник существовал уже тогда, когда еще ни одного из вас не было на свете. Заметьте каждое мое слово, и если с точностью исполните повеление богов, повторяемое моими устами, то гибельное волшебство, которым ваши нивы опустошаются, навеки будет разрушено, и вы насладитесь изобилием. Покорствуя воле оракула, я зарыл на вашем поле в неизвестном для вас месте белый камень величиною с лебединое яйцо; вам надобно его отрыть — в противном случае нивы совсем запустеют, и вы помрете с голоду. Средство есть следующее: как скоро наступит время пашни, берите лопаты, идите на поле и ройте землю до тех пор, как вся поверхность полей ваших не сделается подобной садовому грунту. Потом

соберите весь камень в одну кучу для некоторого особого употребления, о котором скажу после. Это необходимо потому, что белый камень, мною зарытый, не терпит подле себя никаких других камней. Всякий раз, начиная работать, становитесь на колена, призывайте громогласно богов, просите их помощи и потом принимайтесь весело за труд. Так поступайте в продолжение семи лет. Каждый год белый камень должен опустаться на целый фут в землю, а тем самым плодородие ваших полей увеличится. По истечении седьмого года он остановится, сделается неподвижен, но тайная сила его навсегда пребудет хранителем вашего изобилия. Далее заметьте и в точности исполняйте волю нимф, обитающих на ваших лугах, оскорбленных тем непочтением, которое вы им оказывали до сего времени. В наказание они превратили ваши луга в болота, и скот ваш питается мелкой, редкою, невкусною травою; надлежит умиловать разгневанных богинь, и оракул повелевает всем, немедля нимало, осушить болотистые места, долину перекопать глубокими каналами и защитить плотиною от будущих наводнений. Источникам, посредством малых каналов, открыть свободный ход, а камнями, собранными с полей, загрузить самые топкие места, отобрав крупнейшие для постройки храма нимфам, который обсадить плодовитыми деревьями, и первенцы плодов приносить каждый год в жертву благодетельным богиням. Скажу, наконец, сам от имени Аксиохерзоса: Пифоклес невинен, и ваше подозрение несправедливо. Боги смягчили его сердце, и он готов помогать вам и словом и делом, а собственные богатства его сложились не с помощью чародейства, но с помощью богов, промышленностью, прилежанием, терпением. Последуйте примеру Пифоклеса, и отвечаю, что скоро не будете завидовать его благосостоянию».

Меня слушали внимательно. Хотя я видел ясно, что эти добрые люди ожидали не столь трудного средства и что заключение речи моей их удивило, начали шептать и советоваться; я не почел за нужное ожидать их решения, отдал старшему список оракула, еще раз напомнил, что они должны непременно повиноваться воле богов, если не хотят совсем погибнуть, бросил горсть денег в кучу ребят, покрытых изорванным рубищем, и скрылся из глаз так же быстро, как и в первый раз, не заботясь о последствиях моей хитрости.

Прошло около пятидесяти лет, я давно забыл о Фессалии, но случай, который опять нечаянно завел меня в эту сторону, возобновил в моей памяти и старое мое приключение. Я любопытствовал увидеть своих старинных знакомцев, я своротил с дороги, приезжаю на место, но долго не могу узнать его: такая значительная перемена сделалась во всем — и в каменистом поле, и в лугах, прежде покрытых болотами, и в бедной

деревеньке, в которой обитало убожество. «Точно ли называется Гиреною это селение?» — спросил я у старика, сидевшего на солнце у ворот чистого и просторного дома. «Ты не ошибся», — отвечал старик, смотря мне пристально в лицо. «Пятьдесят лет произвели большую перемену», — продолжал я. «Как, — спросил старик, стараясь обо мне вспомнить, — разве ты видел это место за пятьдесят лет?». «Видел и, если не ошибаюсь, добрый человек, то мы знакомые люди: не правда ли, что тебе в то время было не более двадцати пяти лет от роду, что я нашел тебя на поле, за работою с телегою и лошадыю, или лучше сказать, с чахлым лошадиным остовом? Имя твое Микон?» Старик при этом слове как будто опять почувствовал себя молодым, вскочил с места, бросился обнимать меня и воскликнул: «Это ты, божественный человек: слабы глаза мои, не рассмотреть мне твоего лица, которое совсем почти не переменялось в течение столь долгого времени; это ты, священный жрец кабиров, ты, которому жители здешнего края обязаны своим счастливым жребием, которому и я обязан собственным верным пристанищем на старости лет, войди в мой дом и пользуйся правом гостеприимства». Слова Микона привели меня в приятное удивление: я не ожидал никак, чтобы поступок, на который подвигло меня одноминутное живое чувство, мог иметь последствия столь счастливы и неожиданны.

Старый Микон непременно требовал, чтобы я провел следующий день в его доме; я согласился, и он рассказал мне, каким образом произошла видимая мне перемена. Жители Гирены в ту минуту, как я опять скрылся, начали спорить и горячиться. Старики, поседевшие во мнении, что Пифоклес — чародей и что волшебство причиною бесплодности, утверждали с жаром, что жрец кабиров — обманщик и соумышленник Пифоклесов, что оракул его — пустая выдумка и что он издевается над их простотою. Молодые, напротив, непременно хотели следовать советам старика, которого наружность вселила в них доверенность, и признавали оракул справедливым. По счастью, число согласных со мною превышало число несогласных. Они принялись за работу, взрыли поле, выкопали канавы, собрали камни, загрузили ими болотные места, построили храм, короче, несмотря на трудности, исполнили все условия оракула; на следующий год изобильная жатва принудила замолчать противную партию, оправдала незнакомца и оракула и уничтожила все подозрения, оскорбительные для Пифоклеса. Благоразумнейшие начали думать, входить в таинственный смысл оракула, наконец, уверились, что жрец кабиров желал только исцелить их от губельного предрассудка и следствия его: лени и робости, и что, следовательно, собственная их недеятельность и худое хозяйство, а не волшебства Пифоклесовы были причиною неуспе-

шества их землепашества. Но белый камень, до которого не менее как в течение целых семи лет можно докопаться, оставался для них загадкой неизъяснимою. «Может быть, этот камень одна только выдумка, — так рассудил один, которому всегда приходили в голову лучшие мысли, — может быть незнакомец, не находя никакого средства, вздумал нас обмануть, чтобы заставить работать!». Мнение казалось правдоподобным, но должно было в точности повиноваться словам оракула: еще два года продолжали рыть землю и опять были награждены богатою жатвою; между тем великодушный Пифоклес, которого почитали уже не волшебником, а умным и добрым человеком, помогал им охотно, учил их хозяйству и еще более наставлял своим примером. От него узнали они, что надобно было не привязываться к словам оракула, а так и понять сокровенный и прямой его смысл, который есть следующий: «Боги награждают нас благами по мере трудов наших, и тот, кто не трудится, ничего не получает; чем лучше обработана земля, тем больше она приносит, и человек единственно для чего получил рассудок, чтобы быть помощником природы, чтобы охранять ее от стихии и, пользуясь ее дарами, наслаждаться жизнью, а добрым животным, своим сотрудникам, доставлять обильнейшую и лучшую пищу». Пифоклес и дети его выбрали несколько юношей, которые в глазах их учились хозяйничать и готовились быть со временем истинными землепашцами. Мало-помалу сие переменяло образ, хороший пример произвел благодетельное действие: окрестные поля, прежде бесплодные и голые, покрылись изобилием, и убогая деревенька Гирена, которую за недеятельностью нашёл я в совершенном разорении, по прошествии сего сделалась жилищем достатка и веселия. «А наследники Пифоклесовы?» — спросил я. «Служат неизменным доказательством, — отвечал Микон, — что всякое добро сохраняется теми только средствами, которые сначала послужили для его приобретения. При жизни Пифоклеса в его семействе царствовало совершенное согласие, оно составляло маленькую республику людей добродетельных и счастливых. Сыновья старались сохранить порядок, установленный родителем, хотя уже дух его начал от них отклоняться; богатства их все еще умножались, но это послужило к гибели третьего колена, завелись несогласия и ссоры, открылась роскошь, и богатство, собранное трудами отцов, утрачено расточительностью внуков. Напрасно будешь искать здесь потомков Пифоклеса; их нет, и никто не знает, в каком месте они поселились».

Заклучим: сие следствие моей хитрости, не служит ли оно очевидным доказательством, что все чудесное имеет величайшее влияние на человеческий рассудок, что суеверие, с одной стороны, гибельное и вред-

ное, может быть, с другой — полезным и спасительным и что, наконец, бывают позволенные обманы, разумею такие, которые, сами собой произведя ожидаемое действие, обнаруживаются, признаются обманами, открываются, подобно коре спелого плода, и истина, которой они служили вместо корки, остается видимою, ничем не помраченною.

СВЯТОЙ ТРИЛИСТВЕННИК

Во время крестовых походов, спустя несколько лет по завоевании Святого гроба Готфридом Бульоном¹ жил в Германии рыцарь Венфрид, старый, скупой, угрюмый. Никогда веселость не заходила в его пустынный замок, никогда не оглашали его восклицания пиршества; уединение и вечное молчание в нем обитали. Дряхлый Венфрид год от году становился дряхлее, шатался от старости, лицо его беспрестанно покрывалось новыми морщинами, голова седела и наклонялась. Наконец время рассчитывать со смертью наступило. Рыцарь затрепетал, увидев перед собою ужасного косаря. Хотелось еще пожить на свете, еще любоваться на милые червонцы, но грозное страшилище было глухо к молитвам грешника, а набожные монахи редко посещали замок, ибо рыцарь Венфрид, щедрый на молитвы, был скуп на деньги! Нечего было делать, надлежало расстаться со светом; рыцарь уныло посмотрел на крепкие сундуки, окованные железом, охнул раза два и отдал Богу душу.

Его имение осталось трем дочерям в наследство. Две, рожденные от первого брака, были уже в летах; третья, которую прижил он с другою женою в старости, была еще очень молода и цвела, как роза. Скупость отца лишила их удовольствия супружества. Старшая, Гертруда, могла назваться живым изображением покойного: та же сухощавость, тот же крючком нос, впалые глаза и щеки, острая борода и на спине сутулость. Словом, редкая красавица! Но красота ее могла тронуть чувствительное сердце только с помощью порядочного приданого. Условие, которого родитель не подумал исполнить, и добрая Гертруда принуждена была довольствоваться состоянием целомудренного одиночества. По счастью, мужеский пол представлялся ей не с самой блестящей стороны своей: рыцарь Венфрид совсем не имел знакомых, никогда не позволял дочерям посещать турниров, а рыцарские слуги своим исчахлым и голодным видом скорее располагали к мыслям о ничтожестве, нежели к размножению бытия своего; иногда, но редко, нечто похожее на чувство пробуждалось в девственном сердце Гертруды, она старалась победить искушение лукавого и, наконец, очистившись благочестием, решила всю жизнь свою посвятить посту и молитве. Такое богоугодное намерение привязало к ней родителя. Приятно было видеть отца и дочь, окружен-

ных кучами червонцев, в сладком, восхитительном созерцании, забывших телесный мир, унижавший удовольствия пылкой юности: один — потому, что они стоили денег, другая — потому, что никогда их не испытала. Гертруда по праву старшинства была наставницею своих сестёр и каждый час твердила им о преимуществах девственной, безупречной жизни, сладостях уединения и прелестях духовного сообщения с Богом.

Бригитта, средняя, слушала с великим рассеянием проповеди Гертруды и забывала их в объятиях патера Феликса, толстого, рыжего, красноносого служителя Белиалова² с лисьим взглядом, смирною наружностью, робкою поступью и черным предательским сердцем. Он один посещал Венфридов замок, успокаивал рыцаря, когда ему случалось увидеть страшный сон, и очень часто нарушал приятные сны Бригитты.

Аделина, младшая сестра, осталась пятнадцати лет по смерти Венфрида и имела такое же сходство с Гертрудой и Бригиттой, как майское светлое утро имеет с дождливою сентябрьскою ночью. Один миннезингер, которому случилось видеть Аделину, когда она, раскрасневшись, бежала с кружкою к колодцу, чтобы напоить больную старушку, лежавшую при дороге, сравнивает в своих стихах цвет ее лица с белою лилией, озаренной розовым блистанием вечера, голубые чистые глаза со светлым ручьем, в который смотрится полный месяц, губы — с свежим соком вишни, которая сама собою от спелости разрывается; короче, добрый стихотворец, описав ее в минуту вдохновения, не сказал ничего лишнего и многое, может быть, выразил слабо. Гертруда, хотя от природы имела завистливое сердце, нередко засматривалась на миловидную Аделину, любила расчесывать гребнем и завивать в кудри ее светлорусые волосы, мягкие, как шелк, и называла ангелом Божиим; Бригитта очень часто целовала её горячие розовые щеки и берегла цветы, которые Аделина приносила ей с поля. Патер Феликс божился, что не видал ни одного образа Богоматери, подобного по красоте Аделине. Добродушие и невинность украшали ее, сияли на лице ее и в темных голубых глазах, осененных густыми ресницами. Нежный, благовонный цветок, который необходимо увянул бы в стенах пустынного замка Венфрида, и взоры нежного супруга никогда не насладились бы его красотою, когда бы старый отец очень кстати не вздумал кончить своей ничтожной и тягостной жизни.

Опустив в могилу родительские кости, сестры начали советоваться о том, что делать, какой род жизни выбрать. И Гертруда в присутствии патера Феликса сказала следующее Бригитте и Аделине:

— Милые сестры, все тленно, розы и лилии вянут, дни исчезают, осень и зима следуют за весной и летом. Бренность суть жребий человека; жизнь наша — обман и привидение, женская красота блистает минуту, и ложные удовольствия любви суть призрак един, мгновением уничто-

жаемый. Бойтесь опасной приманки сердца; бойтесь сего летучего огня, который заводит в болота и пропасти.

Бригитта и патер Феликс взглянули друг на друга; ясные взоры Аделины выражали спокойствие непорочности.

Гертруда. Мы, женщины, служим игрушкой властолюбия и суетной гордости мужчин: они почитают нас созданными для их забавы; ласкают в надежде поработить и мучают, имея во власти. Милые сестры, не должно ли нам стремиться избегнуть такой жестокой неволи. Дающий другим, беднеет сам. (Тут сморщилось важное лицо патера Феликса.) Грешный свет охотно занимает и редко платит. Но царь небесный всегда отдает сторицей. (Тут патер Феликс опять начал смотреть весело.) Блаженной памяти наш родитель оставил нам такое великое богатство для расточения! О нет! Беречь и умножить его — наша должность. Каким же средством, милые сестрицы? Посвятив себя Господу Богу. (Патер Феликс, кивнул головою, с улыбкой согласился.)

Гертруда продолжала:

— Я знаю, что ни одна из вас не захочет погубить души исканием удовольствий, которых сама церковь Божья не одобряет; грех иногда имеет приятную наружность, супружеские радости привлекательны на первый взгляд — но после! О, друзья мои, плач и скрежет зубов. Напротив, жизнь целомудренная и чистая приятна Богу, она венчается райским венцом, блистающим, как звезды небесные! Вожденная награда! Милые сестры, хотите ли заслужить ее вместе со мною, хотите ли?

— Хочу, хочу, — воскликнула Бригитта, — супружество мне противно, и не надеюсь найти в нем никаких новых удовольствий, разве только одни новые печали. Не правда ли, патер Феликс?

Патер. Совершенная правда! Супружество — несчастье!

Гертруда. А ты, Аделина?

Аделина. Сестрица, я не знаю, что такое супружество.

Гертруда. Супружество — как бы тебе сказать — супружество есть неволя! Вообрази человека, брошенного в подземную тюрьму, темную, сырую, наполненную змеями, скорпионами, всякими гадами, которые сосут его кровь: вот состояние супруги.

Аделина. Боже мой, какой ужас! А целомудренная жизнь, которую вы так хвалите...

Гертруда. Странный вопрос!.. она — она —

Патер. Да она...

Аделина. Видали ли вы моих голубков, которые живут так дружно, беспрестанно друг друга целуют, трогают крылышками; вместе сидят, вместе свивают гнезда... не это ли называется целомудренность?

Патер. Бог с тобою, Аделина! Это супружество!

Аделина. Бедные голуби!

Гертруда. Я вижу, что ты совершенно еще ребенок рассудком. Лучше не думай ни о чем, слушай нас и патера Феликса, последуй нашему примеру и вместе с нами будь —

Патер. Монахиней.

Гертруда. Нет, просто отшельницею.

Бригитта. Прекрасная мысль, сестрица. Иногда и мне то же самое приходило в голову: беспрестанно беседовать с господом Богом! Какая жизнь, какое счастье! Вот истинная и верная дорога к Царству Небесному.

Гертруда. И ко святости на земле. Слушайте: в поместьях покойного батюшки у самого почти монастыря святой Урзулы, находятся три холма, очень близкие один от другого. На каждом построим по келье и часовне...

Патер. Святая Гертруда, Божия благодать говорит твоими устами.

Гертруда. Нет, преподобный отец. Я повторяю Ваши уроки, но выслушайте до конца смиренную свою ученицу. Мы поселяемся каждая в своем уединении; кельи затворим, или лучше сказать, шалаши, убежище от зноя и холода, бедный древесный мат — наша постеля, дубовый отрубок — подушка, малую часть нашего времени посвятим работе в саду, чтобы не умереть с голода, остальную — молитвам, божественному пению, сладким беседам с Господом Богом и его святыми угодниками. Белое полотно, веющее над часовней, будет знаком, что все благополучно в келье, что грешная сестра здорова, любит своих сестер и поминает в молитвах. Напротив, черное должно возвещать болезнь или несчастье. Сокровища, нам оставленные покойным родителем, положим на престол вашего храма, патер Феликс. И если по воле Божией переселимся в вечную жизнь, то братия вашего монастыря наследует наше имущество.

Патер Феликс благословил намерения смиренной Гертруды. В короткое время построены кельи и часовни. Монахи прославили затворниц. Со всех сторон бежали к ним богомольцы и паломники. Гертруда и Бригитта отпускали их с молитвою; добрая Аделина помогала страждущим, лечила больных, плакала с несчастными, давала деньги неимущим и всех утешала своим невинным, веселым взглядом. Скоро везде заговорили о чудесах Святого трилиственника — так называла Гертруда себя и сестер. И в самой схиме Гертруда была примером покаяния, мучила свое тело постом и дисциплиною, а небо беспрестанно жарко молила о святости и спасении. Бригитта следовала набожным увещаниям патера Феликса и была довольна. Аделина в непорочности сердца жила весело и беззаботно, смотрела за цветами, любовалась игрою своих голубков; иногда только в часы безмолвного, нечувствительно воцаряющегося вечера,

когда в дыхании весеннего ветерка разливалось вокруг неё сладкое очарование, она вздыхала, вздыхала, и юная грудь стеснялась, и в ясных глазах показывалась меланхолическая томность. Приближалось время, в которое сердцу Аделины надлежало почувствовать любовь, любовь со всеми сладостями, со всеми волнениями и муками.

Не в дальнем расстоянии от келий был крепкий и славный замок Фельзек. Там жил прекрасный юноша, рыцарь Виллибальд, один из лучших и благороднейших людей того времени: мужество и ревность к вере увлекли его в Палестину вместе с рыцарем Германом Герсбруком, старым опытным воином и названным братом. Неверные испытали могущество его мышцы, но рыцарь Виллибальд, возвратясь в отечество, был уже не тот, что прежде: угрюмый и погруженный в меланхолическое сумасшествие любви, он бегал от людей и прятался в древних стенах неприступного замка Фельзека.

Вот, что случилось с ним в Иерусалиме. Город был уже взят, крестоносцы бегали по улицам. Кололи и грабили. Рыцарь Виллибальд без шлема, с изрубленным щитом, усталый до крайности, перескочил через низкий забор одного сада, желая отдохнуть под его тенью; вдруг слышит тихий, приятно-унылый голос женщины, идет и видит сарацинку, прекрасного ангела не более пятнадцати лет, совершенную невинность, в слезах, на коленях, молящую христианского Бога о жизни семерых ее братьев, которые скрывались в ближнем киоске³. Какое зрелище для человека, видевшего за минуту все ужасы сражения. Рыцарь стоял неподвижно, пораженный, растроганный. Невинность и миловидное лицо сарацинки, ее печаль, молитва, приятная гармония голоса, глаза, украшенные скорбью, прелестные руки, простертые к небу, волосы, разбросанные по плечам, гибкий стан, беспорядок одежды, юная, обнаженная грудь, которая быстро поднималась и опускалась, — всё вместе составляло совершенство девственной красоты, которая произвела глубокое впечатление на душу Виллибальда. «Я спасу твоих братьев», — воскликнул он, показавшись из-за деревьев. Незнакомка вздрогнула, побледнела, сложила руки, наклонила свою прелестную голову и сказала:

— Христианин, убей меня, но пощади моих братьев.

— Скорее сам погибну.

— Ах, не обмани меня, — продолжала Зулика (имя сарацинки), упавши в восхищении на грудь Виллибальда, который покрыл поцелуями нежные щеки ее, орошенные слезами. — Ты добр, христианин, для чего не все иноземцы твои с тобою сходны?

Между тем братья Зулики увидели в саду крестоносца и бежали к нему с обнаженными саблями. Зулика остановила их. «Он ваш спаси-

тель», — сказала она, и рыцарь в знак уважения наклонил меч. В сию минуту множество бежавших христиан ворвалось в сад. Не внемля ни просьбам, ни угрозам Виллибальда, они, как иступленные, напали на сарацин, рыцарь защищал их мечом, рубил своих единоверцев, но превосходство числа победило, сарацины все побиты, и сам Виллибальд с глубокою ранюю на голове упал замертво на землю. Очувствовавшись, увидел он близ себя Зулику, окровавленную и мертвую. Милые глаза ее были тусклы, юная грудь неподвижна; единый легкий оттенок улыбки остался на устах, которые за несколько минут так трогательно молились. Бешенство овладело рыцарем. По счастью, Герсбрук находился в ту минуту при нем: он спас его жизнь и вылечил рану, но страшное воспоминание осталось в душе Виллибальда: образ Зулики его преследовал, он впал в глубокую меланхолию, беспрестанно задумывался, иногда приходил в бешеное иступление, часто заливался слезами и совершенно помутился в рассудке. Рыцарь Герман привез его в отечество, где в рощах замка Фельзек развел точно такой сад, в каком увидел и потерял Зулику. Там во всякое время под сумраком сеней скитался он, уединенный и мрачный; горемычная душа его находила сладкую пищу в тоске и воспоминании.

Герсбрук, услышав о чудесах Святого трилиственника, прославленного монахами, вздумал прибегнуть для излечения своего несчастного друга к молитвам затворниц. Но теплое усердие Гертруды и Бригитты осталось безуспешно. Аделина, всегда чувствительная к страданию ближних, хотя смиренно признавалась, что не имеет той сильной веры, которая движет морем и горами, по просьбе рыцаря Герсбрука побывала в замке Фельзек. Герман встретил ее как вестницу спасения. Аделина, прекрасная, как ангел, в приближении своем казалась благодатью, сходящей с небес. Виллибальда на то время не было в замке, он бегал по лесу, стрелял из лука птиц и белок — единственное занятие, приносившее ему удовольствие. Аделина желала видеть сад, о котором столько слышала. Герман проводил ее и оставил одну, воображая, что она хочет молиться и для того ищет уединения.

Глазам Аделины представилась пустыня: густая, сумрачная роща, в которой извивалась тропинка, окружала маленький луг, орошаемый источником. В роще царствовала совершенная тишина; изредка нарушало ее веяние ветерка сквозь листья и порхание горлицы. Сросшийся кустарник и падшие и падавшие деревья, густая трава, мрачные тополи и сосны, дрожащие осины, развесившиеся березы — все представляло картину мрачности и пустоты, которая невольно располагала душу к унынию. Ручей, пересекая луг, сливался в маленькое озеро, на берегах

его росли акации, дикие вишни и кустарник; далее, над самым озерком, в том месте, где оно вдавалось в рощу, возвышался пригорок, обсаженный шиповником, а на пригорке белый крест, надгробный камень и человеческий череп. Солнце, склонявшееся к закату, видимое в промежутке деревьев, над голубою отдаленностью, посылало на них свое последнее сияние, и они ярко отсвечивались в прозрачных, недвижных водах озера. Аделина была задумчива; сумрак вечера, уединение, очаровательность места, слабое журчание ручья, который с приятным блеском переливался в тростнике и кустарнике, таинственный холм, надгробный камень — все трогало ее сердце; легкий покров ее груди, как будто лобзаемый ветерком, волновался быстрее. Новые чувства, неизвестные, но приятные в ней пробудились. Аделина с тайною радостью приближается к холму; вдруг видит в беседке из акаций, переплетенных с лилиями и розами, спящего юношу: легкое веяние вечернего воздуха взвевало его кудри, небрежно разметанные по щекам, которые от сна и дневного зноя разгорелись; на милом лице, совершенно открытом, замечен был полуизглаженный след прискорбия. Одна рука незнакомца покоилась на траве, другая держала дротик.

Аделина, изумленная и неподвижная, боялась дышать; прекрасный незнакомец казался ей жителем рая, слетевшим с неба для украшения земли, она приблизилась, наклонилась, рассматривая прекрасные черты, спрашивала у самой себя: человек он или ангел? И сердце её тайно говорило: «Ах! Если бы он был простой смертный». Уже! Любовь, любовь сияла в её взорах: она без страха смотрела и не могла насмотреться на милого красавца; невидимая сила удерживала её на месте, она казалась обвороженной, и душа её переселилась во взоры.

Уже солнце касалось одним краем горизонта, весь пламень его падал на Аделину; вдруг спящий сделал движение, вздохнул, открыл глаза большие и полные огня. Какое видение! Перед ним стояло прелестное неведомое существо, дух, облаченный в чистую одежду, из розовых лучей сотканную; из взоров его лилось приятное блистание, цветущие уста улыбались:

— Боже, — воскликнул он, — Зулика преображенная! О! Помедли! Не оставляй Виллибальда!

— Виллибальд! — сказала Аделина с удивлением и покрасневшись.

— О голос, восхитительно приятный! Звуки небесной арфы! Давно не отзывались вы в моем сердце! О! Тебя ли вижу, моя Зулика? Отколе? В какой далекой, неведомой сфере твоё жилище! Или душа твоя, ты ли мой хранитель, мой спутник беседуешь невидимо со мною в минуты печали, ты ли даешь утешение моему сердцу, преследуешь и окружаешь

меня в моих уединенных прогулках, спускаешься в свежем ветерке на мою грудь, когда покоюсь в объятиях глубокого сна! О, помедли, преображенная!

Аделина смотрела ему в глаза с сострадательным чувством, слезы блистали на ее прекрасных ресницах; она вздохнула, взяла его за руку и сказала: «Несчастный милый Виллибальд, ты ошибаешься, я не Зулика, я Аделина Венфрид». Виллибальд содрогнулся, почувствовав прикосновение нежной руки; с живостью прижал ее к сердцу, долго молчал, устремив изумленные глаза на Аделину, наконец воскликнул: «Ты не Зулика? Но кто же ты? Ужели содрогание моего сердца, ужели радость, внезапно его растворившая, обманули? Нет, нет, Зулика существует! Одна она может иметь такую прелесть, одна она может иметь такую пленительную гармонию в голосе! Небо, смягченное моею скорбью, в образе Аделины возвратило мне Зулику».

Рыцарь был в исступлении: плакал, вздыхал, руки его трепетали, сердце сильно билось, в изнеможении лежал он у ног Аделины, покрывал их поцелуями, повторял: «Аделина, Зулика!» — и более не мог сказать ни слова, грудь его спиралась рыданием. Аделина робкая, растроганная, стояла неподвижно, пламень виллибальдовой страсти невольно переливался в её душу; она не могла без сильного внутреннего волнения видеть прелестного юношу у ног своих, чувствовать его лобзания, слышать, что он называет ее своею Аделиною, своею Зуликою. Она краснела и вздыхала. Тайная радость, недоумение, сострадание, робость, сладкая надежда попеременно владели её сердцем. В улыбке её было что-то нежное и меланхолическое, взоры томные и затмеваемые легким сумраком уныния выражали чувство первое, чистое, девственное чувство любви и симпатии.

Впечатления, произведенные видом Аделины, имели счастливые следствия: мысль, что Зулика воскресла, что он видит ее перед собою в другом привлекательном образе, что она живёт и будет жить для любви, вдруг успокоила волнующуюся душу Виллибальда. Сильный внезапный удар привел её в расстройство, другому, столь же сильному и внезапному, надлежало привести её в прежний порядок. Виллибальд не мог отвести взора от милого лица Аделины: воображение сливало с ним образ Зулики; радостная, благодетельная мечта, которой мрачность судьбы его рассеялась, с которою исчезло прежнее ужасное воспоминание, и вся природа снова ожила и украсилась в глазах его. «Аделина, Зулика, — повторял он. — Ангел-утешитель, посланный самим богом для исцеления моей печали! Моя невеста, моя супруга. Рыцарь-затворник... Нет, нет! Моя невеста, моя супруга!» — восклицал Виллибальд, прижимая к

сердцу и целуя с жадностью ее руку. — Благодарю тебя, небесный Отец. Она посланница твоего милосердия».

В сию минуту, схватив ее в объятия, он побежал стремительно в замок; и прежде, нежели испуганная Аделина могла придти в себя, окружили их все жители Фельзека, оруженосцы и слуги Виллибальда, созданные звуком его рога.

— Друзья, — сказал Виллибальд, — радуйтесь вместе со мною! Страдание мое миновалось, вот моя избранница, мое спасение, подруга, данная мне самим Богом! Она моя! Хотя бы должно было заплатить за нее кровью, сразиться с целым округом, со всем собранием рыцарей и монахов. Будьте готовы, точите мечи, исправьте щиты, панцири и шлемы.

Герсбрук поморщился:

— Виллибальд, — сказал он, — прилична ли благородному рыцарю такая поспешность. Тебя назовут похитителем! Аделина обручница Божия.

Виллибальд. Обручница Божия! Правда ли, Аделина?

Аделина. Спроси патера Феликса и сестрицу Гертруду!

Виллибальд. Но ты сама дала ли какую-нибудь клятву?

Аделина. Никакой, я молчала; мне указали мою келью, подали четки, надели на меня рясу, более ничего. С тех пор молюсь Господу Богу с усердием, живу уединенно, хожу за цветами, стараюсь помогать всякому несчастному человеку, и меня называют затворницею!

Виллибальд. Герман, она свободна. Я не хищник!

Герман. Но она имеет сестер.

Виллибальд. Завтра увижусь с сестрами и буду говорить, как должно рыцарю!

Герман. Но уверен ли ты в собственном согласии Аделины?

Виллибальд. О! Уверен, уверен, как в том, что я живу, что жизнь без неё — мученье! Скажи, милая, — продолжал он, опустив на землю Аделину и с выражением нежности смотря ей в лицо, — что чувствует ко мне твое сердце?

Аделина. Сама себя не понимаю! Еще никогда не испытала я такого сладкого внутреннего смятения; глаза мои наполняются слезами. Унылость и радость в моей душе! Я без трепета не могу почувствовать прикосновения твоей руки. Ах, если это любовь, то я люблю тебя несказанно, пылаю, когда на меня взглянешь.

Виллибальд. О милое признание непорочности! Аделина, чистая, ангельская душа. Моя супруга.

Аделина. Супруга, Виллибальд? Но патер Феликс называет супружество горькою неволею.

Виллибальд. Патер Феликс хочет обмануть твою непорочность. Верь мне, моя Аделина, супружество так же сладостно, как пещерная тень и свежая вода источника для бедного пешехода, которого зной и жара постигли среди песчаной степи.

Аделина. Ах, могу ли верить.

Пришли сказать, что два монаха из монастыря святой Урзулы стоят у ворот и спрашивают Аделину от имени Гертруды и Бригитты, которых беспокоила продолжительность её отсутствия. Рыцарь Виллибальд велел их впустить.

— Последнее решительное слово, Аделина, — сказал он. — Ты моя?

— От всего сердца и навеки, — отвечала Аделина.

Он поцеловал ее в алые уста, накрыл покрывалом.

— Завтра, — прибавил, — увижусь с твоими сестрами.

Тут вошли урзулинские монахи.

— Преподобные отцы, — продолжал рыцарь, — вот и затворница, и угодница Бога: взгляд её целителен! Единым словом прекращает она страдания! В знак благодарности моей к Богу обещаю соорудить в храме святой Урзулы алтарь, на котором день и ночь будут гореть свечи. А ты, святая, не забудь обо мне в своих молитвах.

Аделина покорно подала руку монахам, простилась с обоими рыцарями и оставила замок. Виллибальд с высокого терема долго следовал взором за нареченной своей невестою, которая шла тихо, дружески разговаривала с монахами и часто оборачивала прекрасные глаза на высокие зубчатые стены замка Фельзек. Всю ночь провела она беспокойно, видела сны, беспрестанно просыпалась, смотрела, не занимается ли заря; наконец первые лучи солнца ударили в разноцветные стекла маленького окна кельи; она встала, вышла по обыкновению в сад взглянуть на цветы, но возвратилась, забыв поднять розу, нагнувшуюся от ветра. Солнце златило высокие башни замка Фельзек, куда обращены были взоры Аделины, в монастыре начали звонить к заутрене, она не слышала; вдруг на стене замка затрубили в рог, она вздрогнула, взбежала на кровлю своей часовни и видит на равнине толпу вооруженных, в блестящих панцирях, скачущих во весь опор и перед ними рыцаря Виллибальда. Поравнявшись с кельею и не замечая Аделины, снимает он с себя перевязь, свертывает, бросает в сад и скачет далее; скоро Виллибальд и Герсбрук остановились у двери Гертрудиной кельи, входят; Аделина бежит в часовню, падает на землю перед распятием и молится с теплым усердием.

Гертруда, гордая мечтой о святости, не удивилась посещению Виллибальда, но удивилась его требованию; замужество Аделины, думала она, помрачит навеки славу Святого трилиственника. «Всякий, увидя

меня и Бригитту, скажет: не добродетель и приверженность к вере, но старость — хранитель их целомудрия». Такая мысль возмутила её надменное сердце. Она обошлась очень сухо с Виллибальдом, отвечала двусмысленно — ни да, ни нет, говорила о препятствиях, о данном обете вечного целомудрия, о том, что скажут свет и преподобные отцы монахи; рыцарь разгорячился, начал грубо спорить и, наконец, сказал, что Аделина с ним согласна, что она будет его женою вопреки всем лицемерным богомолкам и монахам, что он соглашается ждать не более трех дней, ибо он хочет непременно услышать ее последний ответ, благоприятный или неблагоприятный, для него все равно, потому что он решился, чего бы то ни стоило, вступить в супружество с её сестрою. Он оставил Гертруде пятнадцать своих служителей, велел беречь келью Аделины, а сам вместе с остальными и рыцарем Германом поспешил в замок Фельзек.

В сердце Гертруды, оскорбленной и мстительной, кипела ярость; она дала знать Бригитте, что ее обидели. Патер Феликс, который всякий день, отслужив заутреню, её исповедовал, сам явился минут через десять после Виллибальдова отъезда. Начался кровавый суд над Фельзеком. Гертруда самыми черными красками описала его любовь, его дерзкие и обидные слова насчет монахов, его неуважение к Святому трилистнику; старалась внушить Бригитте, что слава их набожности погибла, если которая-нибудь из сестер предпочтет удовольствия брака великому имени святой угодницы, а патеру, что монастырь их лишится богатого наследства, если Виллибальд, сделавшись супругом Аделины, захочет требовать её имения.

— Видите ли, преподобный отец, — заключила она, — польза небес и собственная ваша польза непременно требуют, чтобы вы предали проклятию и отлучили от церкви этого дерзкого нечестивца, богоотступника, врага священников служителей веры.

Патер Феликс. Трудно, святая Гертруда, написать приговор отрешения или предать проклятию Виллибальда, но я не предвижу никакой от этого пользы. Времена переменились, и благочестие рыцарей уж не видать; теперь ни один не вздумает поддержать стремени преподобному отцу игумену, когда он хочет поехать на соколиную охоту, сойти перед ним с коня, просить на коленях его благословения, целовать полу его рясы. Смирные овечки сделались страшными волками в Палестине; счастье и слава их возгордели; они смеются над нашим проклятием, хотя очень часто слышат у обедни: «Божий гнев на того, кто защитит или укроет отверженного церковью».

Гертруда. На что же решиться, патер?

Патер (вполголоса). Разве забыла святая Гертруда, что есть кинжалы и тайные убийцы. Виллибальд и Герман — давние враги монастыря святой Урзулы: еще тогда клялись они его разорить, когда преподобные монахи на пользу Церкви Божией удержали залог, оставленный им рыцарями перед отшествием в Палестину. Господь Бог покарал Виллибальда безумством, а Герман без помощи его не смеет вооружиться. Крови, святая Гертруда!

Гертруда. Крови, патер! Во имя Божие!

Бригитта. Убийство? Нет, преподобный отец, ради Бога, пощадите его! Разве темницы монастырские все развалились.

Гертруда. Крови, говорю, Бригитта, *(вполголоса)* или — берегись, одно слово, и Святой трилиственник разом двух листов лишится. Чью перьяшь нашла я вчера на твоей постели.

Бригитта. Крови, крови, Гертруда.

Патер. В какое время?

Гертруда (поспешно). Завтра ввечеру.

Бригитта. Холодно. *(С принуждением.)* Так, патер, завтра ввечеру.

Патер. Конечно дело. Он погиб! Завтра ввечеру увидите у ног своих его череп. Теперь исповедайтесь, святая Гертруда.

Бригитта вышла, Гертруда упала на колени, и патер Феликс дал ей свое отеческое разрешение.

Между тем Аделина грустила и плакала, рыцарь Виллибальд проскакал назад и прямо в замок Фельзек. Что помешало ему заехать, для чего вооруженные оставлены у кельи? Сердце предсказывало ей горести, Гертруда противится, Виллибальду отказано. Время казалось ей несносно долгим; она ждала с нетерпением, чего и сама не знала; во всю ночь не сомкнула глаз, вздыхала, молилась, вставала с постели, смотрела, не светит ли солнце на отдаленных зубцах башен, ложилась опять и не могла заснуть. Заря занялась, окрестности открылись, но все было пусто, никто не ехал по дороге, звонкий Виллибальдов рог молчал, служители, оставленные им у кельи, были погружены в глубокий отдых; один, равнодушно опершись на копьё, насвистывал песнь, всё казалось спокойным, и сия всеобщая тишина ещё более пугала Аделину. Вышед в цветник, она увидела своих голубков, печальных и опустивших крылья: бедные целый день не имели пищи, Аделина забыла их покормить! Она возвратилась в келью, вынесла им пшеницы и залилась слезами. «Ах! что со мной будет, — подумала она, — всё предвещает несчастье!» Около вечера пришла к ней Гертруда; бледное лицо и горестное молчание Аделины обнаруживали внутренность её сердца; Гертруда, не входя ни в какое объяснение, твердила, что нет ничего дороже свободы и тягостнее супружеского ига. Между тем патер Феликс готовил исполнить гибельный план убийства.

Не в дальнем расстоянии от замка Фельзек в узкой долине у быстрого водопада находилась мельница, опаснейшая для путника, принужденного в ночное время искать в ней убежища. Непрístupной крутизны, покрытые сосновым бором, пустынные, темные и дикие утесы грозно возвышались с обеих сторон, и солнечный свет только в полдень, на одну минуту рассеивал мрачный сумрак в окрестностях их разлитый. Воды, приводившие в движение мельницу, бежали с высокой скалы, гремя и ломая деревья, и, слившись в мутную реку, текли из долины через расщелину утесов, страшно высоких, с обеих сторон наклоненных и образующих над рекою свод. Одна узкая опасная тропинка оставалась между водою и скалами. Обитатель такого места не мог быть другом людей. Слухи носились, что ни один путешественник, случайно зашедший в долину, из нее не возвратился, что все достались в жертву хищному содержателю мельницы, который грабил и резал, не опасаясь нападения: с одной стороны быстрая река заграждала вход в долину; спустивши воду, он мог на несколько часов совершенно затопить тропинку; с другой — на высоте у леса над самым входом, столь же узким, как и первый, была высокая башня с железными опускающимися решетками, непрístupными для того, кто хотел войти в долину или из неё выйти. Напротив башни, в диком кустарнике виден был развалившийся терем древнего разбойничьего замка, страшный, пустой, уединенный. Там, говорило суеверие, живет мертвец; в глухую полночь скитается он среди развалин, воет, зовет проезжих и душит всех, осмелившихся приблизиться к терему. Долина была известна под именем Чёрной долины, а терем называли Теремом смерти.

Мельнику Чёрной долины, тайному палачу монахов урзулинских, которому вперед на пятьдесят пять лет дано было разрешение грехов, поручил патер Феликс убийство рыцаря Виллибальда. В замок Фельзек является незнакомец, кланяется Виллибальду от рыцаря Бернарда Вальдека, его сродника и товарища в походе против неверных, сказывает, что рыцарь Бернард хотел посетить его сам, но вдруг занемог и принужден был остановиться на мельнице Чёрной долины, где ожидает Виллибальда, надеясь, что он не откажется навестить старинного своего приятеля в болезни. Виллибальд, не подозревая обмана, сказал, что будет очень скоро, отправил посланника вперёд, велел оседлать себе коня и, не дождавшись возвращения Германа, которого в то время не случилось в замке, поехал один на мельницу.

Время приближалось к сумеркам; воздух был душен; на краю горизонта бродили тучи, гремел отдаленный гром и молнии временами сверкали. Виллибальд надеялся до грозы поспеть в долину; колот шпорами коня, скакал во весь опор и скоро увидел себя у башни с тяжелыми

опускными решетками; но буря свирепствовала уже во всей своей силе, дождик лил ливнем, ветер ревел, громовые удары один за другим падали на утесы, все небо было затянуто черными тучами, повсюду царствовала тьма, которую молнии, сверкающие поминутно, страшным образом рассекали. Виллибальд укрылся под сводом башни; вдруг слышатся ему голоса, мешающиеся со стуком мельничных колес, скрипом нагибаемых сосен, с шумом дождя и ветра. Буря их заглушает, но следующие слова доходят до ушей рыцаря:

— Виден ли Фельзек? — спрашивает один голос.

— Темно! — восклицает другой.

— Он будет наш, — говорит третий, — молнии светят ярко.

Виллибальд содрогнулся, остановил коня, но что делать? Ехать вперед или скакать назад, остаться, но мысль об Аделине понудила его искать спасения в бегстве; поспешно поворотив, приближался он к выходу, вдруг страшная молния растворила небо, и прежде, нежели гром успел ударить, на башне послышалось восклицание: «Он здесь! Он здесь! Опускаю решетку». Она загремела, и рыцарь остался заключенным. Ударил он коня и поскакал под проливным дождем, зная, что был ещё узкий выход на другом конце долины в Расселине ужасов, но вздутая вода затопила уже тропинку, река струилась в расселине, и волны с ревом и пеною в неё стремились. Тут Виллибальд почувствовал весь ужас своего положения: он был во власти убийц, без панциря, вооруженный одним мечом; спасение казалось невозможным. Но сколь прискорбно было расстаться с жизнью, к которой любовь Аделины привязала его такими сладкими узами. Под громы и молнии в ужасном мраке скитался он по долине; искал и не находил выхода; буря свирепствовала, дождем промочило его до костей, ветром сорвало с него шлем; наконец мало-помалу все утихло, но мрачная ночь уже покрывала долину. Рыцарь ехал, не зная сам куда. Вдруг блеснула отдаленная молния. Он увидел, что находился в двух шагах от древнего развалившегося терема. Рыцарь соскочил с коня, которого прогнал в долину, и, обнажив меч, побежал в развалины. Он затрепетал, почувствовав под ногою что-то круглое и ощутив человеческий череп. Раздались голоса: «Смотри, смотри, — воскликнул кто-то, — не он ли плывет через реку! Стреляй в него, Беппо!». Голос умолк, и через минуту послышалось рыцарю, что натянули лук и засвистела стрела. Взошел месяц, долина покрылась бледным светом. Виллибальд выглянул в окно, у самой реки стояло несколько мельничных служителей с длинными шестами, они старались вытащить на берег его коня, который в темноте оборвался в воду. «Рыцарь ушел», — сказал один. «Не может быть, — отвечал другой, — все выходы заперты.

Он, верно, в долине; ищите». Служители разделились, некоторые побежали к мельнице, два приближались к терему. Виллибальд нагнулся, и кости под ним затрещали. «Слышишь, — воскликнул один, — в тереме опять не смирно; стучат костями; опять начинает мертвец играть черепами. У меня волосы становятся дыбом, когда взгляну на этот терем». «Страшно, — отвечал другой. — Этот стук не предвещает ничего доброго. Ищи, кто хочет, Фельзека, а я боюсь». Рыцарь, услышав последние слова, сильнее застучал костями и выставил из-за стены один череп. Служители, оглянувшись, оцепенели, крестились, начали кричать и, наконец, опрометью побежали назад к мельнице. Рыцарь, дождавшись глухой полночи и видя, что на мельнице огонь потух, решил выйти из терема; привязал к голове череп, лицо укутал перевязью, оставя небольшие отверстия для глаз, в одну руку взял несколько костей, а в другую меч и, так преобразившись в ужасного обитателя развалин, пошел прямо к решетке; но она была опущена, и сильная рука исполина не могла бы её подвинуть; он побежал к расселине утесов, но бурный поток все еще с прежней силою в нее низвергался, и узкая тропинка была сокрыта под пенистыми волнами. Нигде не представлялось спасения. Опять Виллибальд принужден был возвратиться в терем; лег на груди человеческих костей и поручил себя Богу и Аделине, но сон не смыкал ему глаз на сем ужасном ложе, воздвигнутом смертью.

Занялась заря; несколько служителей прошли от мельницы к башне. Рыцарь Виллибальд, мучимый голодом и жаждой, смотрел сквозь трещины древних стен; в долине показался пилигрим; подходит к страшной решетке, вдруг падает, стрела пронзила ему грудь; как волки, бросились на него убийцы, отрубили ему голову, обезобразили черты лица. «Теперь, — сказал один, — кто хочет, доказывай, что это голова не Фельзекова». Другой бросил туловище в терем. Рыцарь терзался, видя перед собою несчастную жертву, плакал без стеснения, и слезы его мешались с кровью, которая дымилась и орошала труп, ещё трепещущий и не охладевший. Он клялся отомстить убийцам, если только Провидение определило спасти его от их железа. Солнце взошло высоко; долина кое-где покрыта была полосами света; рыцарь чувствовал голод, язык его прилип к горлу; он решил обыскать карманы убитого пилигрима; нашел в них хлеб, который съел с жадностью, и никогда пища не казалась ему такой вкусною. Наконец ужасный день приближался к вечеру; Фельзек решил испытать последнее средство спасения и, в случае неудачи, возвратиться в мельницу, заколоть мельника и самому погибнуть. На башне у входа видел он только одного служителя, которого не боялся, потому что решетка была поднята; надел на себя власяницу убитого пилигрима,

закутал опять голову в перевязь, подмышку взял череп, вооружился мечом и вышел из развалин. Месяц был еще на восходе и бледно озарял дорогу рыцаря, проглядывая сквозь рощу. «Смотри, — закричал на мельнице голос, — вчерашний пилигрим ожил чудесным образом и несет подмышкой голову». «Скорее, лук и стрелу!» — воскликнул другой. Виллибальд прижался к утесу; стрела просвистела над его головой, и он продолжал приближаться тихим шагом к башне. Сторож, увидев страшного мертвеца, начал творить молитву и зажал глаза; рыцарь невредимо прошел под свод и миновал решетку. Увидя себя на свободе, он пустился бежать во всю прыть, благодаря Бога за свое избавление, но в темноте ночной потерял дорогу; на рассвете дня увидел себя в незнакомом месте; он видит рощу, из-за которой выглядывали шпицы замка. Он шёл, задумавшись, вдруг окружила его толпа вооруженных: «Это он!» — воскликнули все в один голос, схватили его, перекинули через седло и поскакали с ним во весь опор к роще.

Вечеру того самого дня, который назначен был для убийства, патер Феликс и добрая сестра Бригитта сошлись в Гертрудиной келье и с нетерпением ожидали известия о том, что дерзкий хулигатель Святого трилиственника уже не существует на свете. Они сидели в глубоком молчании; мрачность изображалась в их смутных взорах. Отворяется дверь кельи, входит Аделина, унылая и бледная. Цельый день, как и накануне, ожидала она своего рыцаря; но рыцарь не приходил, и сердце ее мучилось; она вздыхала, плакала, переходила с места на место, из кельи в сад, из сада опять в келью, нигде не находила спокойствия, боялась уединения, страшные предчувствия наполняли ее душу, и в горестной тоске сердца она решила искать убежища в объятиях Гертруды: милая безмятежная невинность с любовью прижималась к своему губителю. Гертруда встретила ее с суровою важностию; говорила о святости обетов, Аделина слушала в молчании и вздыхала: увы! Перед глазами её в ту минуту носился прелестный, навеки незабвенный образ Виллибальда, и слезы тихо выкатывались из длинных, опущенных ресниц её, орошали грудь, полную любви и скорби. Вдруг застучали сильно в дверь. Аделина побледнела, боялась встать и с робким ожиданием смотрела вслед за патером и Гертрудою, которые поспешно вышли. Душа ее предчувствовала нечто ужасное. Патер и Гертруда возвратились; за ними следовал человек сурового вида, в руках имел окровавленный платок; коварное удовольствие оживляло глаза Гертруды и патера.

— Милый друг Аделина, — сказала Гертруда, — имеешь ли мужество мученицы? Готова ли принести жизнь свою на жертву Господу Богу?

Аделина (робко). Сестрица, разве это нужно? Угодна ли ему кровь моя?

Патер. Не кровь, святая Аделина, он требует покорности!

Аделина. Ах! Когда противилось ли мое сердце? Но, патер, в чем состоит его святая воля? Чего он требует?

Патер. Он требует, чтобы ты спокойно выслушала этого человека.

Аделина. Готова слушать. Но что может сказать мне этот человек, обрызганный кровью, противный моей душе своим ужасным видом?

Незнакомый. Рыцарь Виллибальд...

Аделина. Ах, говори! Я с удовольствием буду слушать! Где видел тебя рыцарь? Где он?

Незнакомый. Ах, святая Аделина, его умертвили.

Аделина побледнела.

— Обманщик, — воскликнула она, — ты лжешь! Ты хочешь моей смерти!

— Вот мое доказательство, — отвечал незнакомец, развив платок и бросив к ногам Аделины мертвую голову и Виллибальдов шлем. Ужас лишил её чувств. Гертруда с любопытством рассматривала окровавленные черты, патер смотрел на Гертруду, а Бригитта невольно трепетала. Несколько минут продолжалось ужасное молчание. Гертруда велела накрыть платком окровавленную голову. Аделина пришла в себя. Долго старалась вспомнить, что с ней произошло, взглянула на патера, затрепетала, закрыла обеими руками лицо, слезы покатились ручьем из глаз её.

— О Боже! — повторяла она. — Его нет! Любовь, надежда, счастье исчезли, исчезли! Все погибло!

Незнакомец. Рыцарь и друг — убийца Виллибальдов. Я нашел его окровавленный, обезображенный труп и голову близ самого входа в Чёрную долину: по одному только шлему я мог догадаться, что вижу перед собою рыцаря Фельзека; за час перед тем повстречалось со мною в густоте леса множество вооруженных и рыцарь, если не ошибаюсь, Герман Герсбрук. Кто знает, может быть, он!

Патер Феликс подал знак незнакомцу, он замолчал и вышел. Аделина была безмолвна, глаза её, устремленные на Виллибальдов шлем, выражали отчаянное уныние; через минуту она встала, вздохнула из глубины груди и, не простясь ни с кем, вышла из кельи. За нею последовала Бригитта.

Между тем похитители Виллибальда скакали с ним прямо в замок, находившийся позади роши. Рыцарь не мог ни говорить, ни двигаться; ему завязали рот, скрутили руки и ноги; он ожидал с беспокойством конца этого несчастного приключения. Приблизившись к замку, один из вооруженных крикнул: «Нашли! поймали!» На тереме замка явилось знамя багрового цвету, а в одном из боковых окон белое полотно; ворота отво-

рились, выходят несколько служителей; рыцаря окутывают в гробовый покров, несут при звуке труб и бубнов, кладут, развязывают, он хочет говорить, спрашивать, но уже ни одного человека не осталось перед его глазами, он один под мрачным сводом, во гробе, окруженный древними гробницами, и перед ним кусок хлеба с кружкой воды. Сияние дня сквозь узкое окно слабо освещало его темницу; рыцарь встает, хочет приблизиться к одной из гробниц, чтобы рассмотреть герб и узнать, кому принадлежит замок, но крепкая решетка его окружает. Он заперт. Не в силах будучи ее изломать, решил он покориться необходимости, ожидать терпеливо развязки. Сидел, задумавшись, уныло наклонив голову на руки, молчание царствовало в темнице; вдруг отдаленная тихая гармония проникла в его душу: искусная рука играла на арфе и приятный женский голос пел⁴.

Сильный шум заглушил приятное пение: раздался гром бубнов и труб и радостные, торжественные восклицания. Виллибальд не знал, что думать. Пение, восклицания, гробницы — всё казалось ему волшебством. Он бросился на помост и скоро заснул глубоким сном. Настала ночь; незапный стук и яркое блистание разбудили его; подымает голову и видит: решетка отперта, перед ним скатерть, прекрасное кушанье и вино в серебряной чарке; далее, у самой решетки безобразный, горбатый карло с факелом в руке, подающий знак, чтобы рыцарь утолил свой голод. «Где я?» — спросил Виллибальд. Карло тряс головой и не отвечал ни слова. «Где я?» — воскликнул Виллибальд с сердцем. Карло потряс головой, открыл рот, показал, что не имеет языка, и поклонился, прося Виллибальда отведать кушаний, нарочно для него приготовленных. Рыцарь, будучи голодным, начал есть и пить вино, карло, как вкопанный, стоял у решетки и вместо ответа на все вопросы Виллибальда делал знаки или вздыхал. Вдруг содрогнулся, начал вслушиваться, закричал петух, он выскочил в дверь, захлопнул за собой решетку, затушил факел и исчез. Рыцарь остался в темноте, кричал, кликал карлу, но один глухой отголосок раздавался под сводами. Ночь прошла, заря ударила в узкое окно темницы. Поутру подали сквозь решетку хлеб и воду, в полночь она опять отворилась, карло предстал с прекрасным кушаньем и факелом, рыцарь насытился, и карло при первом крике петуха исчез, по-прежнему захлопнув за собой дверь и потушив факел. То же самое продолжалось и в следующие три ночи. На четвертую ночь карло явился в обычный час, но не отворил решетки, боясь, чтобы рыцарь не вырвался, и подал ему пергаментный свиток, на котором были написаны слова.

— Я не умею читать! — воскликнул Виллибальд, не принимая свитка. Слезы показались на глазах карлы, он потупил голову, через несколько

минут скрылся и на другую ночь подал рыцарю такой же свиток, на котором были нарисованы два сражающихся рыцаря, перед ними гроб и вокруг них за оградой бесчисленное множество зрителей.

— Кажется, хотят, чтобы я приготовился к сражению? — спросил Виллибальд. Карло кивнул головой в знак согласия.

Виллибальд. С владельцем замка?

Такой же ответ со стороны карлы.

Виллибальд. За что?

Карло пожал плечами, ударил себя кулаком в сердце и упал на землю, представляя мертвого. Виллибальд его не понял.

Виллибальд. Сам ли владелец замка присылает ко мне с тобою кушанье?

Карло отвечал знаком, что нет.

Виллибальд. А хлеб и воду?

Карло кивнул головой.

Виллибальд. Кто же мой благодетель?

Карло посмотрел ему с удивлением в лицо, но закричал петух... он исчез. Недоумение рыцаря час от часу усиливалось; происходившее с ним казалось ему мечтою; он полагал его обманом воображения и боялся верить чувствам.

На следующую ночь карло пришел ранее обыкновенного; кушанье, принесенное им, было питательнее и в большем количестве, вино крепче и лучше. В минуту выхода упал он на колена, взял правую руку рыцаря, поднял ее к небу, поцеловал, заплакал и скрылся. Но не успел умолкнуть отзвук загремевшей решетки, как снова тихие, сладостные звуки послышались в отдалении, подобно легкому журчанию источника.

Играла прежняя арфа. Сначала трогательные меланхолические тоны; казалось, они изображали жалобы страстного сердца, его желания, потери, уныние. Душа Виллибальдова погрузилась в задумчивость. Вдруг магические струны величественно зазвучали; послышались быстрые, сильные аккорды; казалось, гремели бранные трубы, мечи об мечи ударялись, панцири звенели, и песни торжественные потрясли воздух. Сердце Виллибальдово кипело; руки его невольно искали меча, но через минуту приятная гармония опять заступила место величественной и торжественной, как будто нежная мать усыпляла с песнею своего младенца; струны играли час от часу тише, казалось, сладкие звуки их умирали; наконец едва настороженное ухо могло отделить их от безмолвия, все умолкло; рыцарь, смятенный, растроганный и унылый мало-помалу утихал, погружаясь в забвение, и, наконец, заснул глубоким сном.

Между тем Аделина уединенно тосковала в своей келье. Сердце её казалось увядшим, душа ко всему охладевшей, время жизни её утомило.

«Счастье мое навеки погибло», — повторяла она и приходила в отчаяние, воображая, сколько времени еще осталось ей мучиться, скитаясь на земле, в которой уже ничто драгоценное сердцу её не существовало. Она хотела молиться; но взоры её с некоторым ужасом отворачивались от распятия, перед которым она так недавно простиралась с надеждою, любовью и сладкою благодарностию. Увы! Сама вера в душе её умолкла. Прошел день, наступил вечер, луна сияла ярко; Аделина без всякого намерения оставила келью, приблизилась к саду Гертруды и видит сестру свою с заступом в руке под тенью развесившейся липы. Она пела погребальную песню и рыла могилу; у ног её лежала мнимая Виллибальдова голова и шлем. Лунный свет прямо на них падал. Аделина затрепетала, бросилась к сестре: «О, Гертруда, — воскликнула она горестно, — не отнимайте у меня последнего сокровища!» И прежде, нежели изумленная Гертруда успела опомниться, схватила окровавленный платок, в котором завязана была голова, и побежала назад в келью; там, в уединенном месте, сидя под розовым кустом, вырыла она своими руками могилу и скрыла в ней милые останки того человека, которого почитала погибшим и которого воспоминание казалось единственным благом, оставшимся для неё в жизни. Целую ночь провела она в слезах над могилою; безмолвие полуночи возмутилось её жалобами! Вся природа вокруг неё спала; одно журчание источника, один шорох деревьев сливались с её вздохами, в пустоте рощи слышались отрывистые песни Филомель⁵; месяц спокойно катился над головой её. Светлый, полупрозрачный сумрак скрывал окрестные горы и рощи; длинные тени простирались по долине. Увы! Горестная душа была нечувствительна к очарованию природы. «Все умерло», — говорила несчастная, окруженная жизнью и красотой.

Взошло солнце и озарило замок Фельзек. Аделина залилась слезами. Ах! Она вспомнила, с каким восхищением за несколько дней она стояла на самом том месте, ждала зари, смотрела на замок; с какой радостью заметила первые лучи, ударившие в угол и в кровлю высокого терема. Вдруг слышится ей лошадиный топот, и она бежит к окну. Рыцарь Герман скакал с толпой вооруженных по долине. Он несколько дней напрасно искал Виллибальда, и, услышав, что рыцарь Отто фон Вульфенген, готовясь иметь поединок, приглашает соседних рыцарей в свой замок, решил ехать к нему в надежде получить какое-нибудь известие о Фельзекке. Он быстро промчался мимо Аделининой кельи.

Тут вспомнила она слова незнакомого, и волосы на голове её стали дыбом. «Я видела Виллибальдова убийцу, — сказала она, — и этот убийца — Герсбрук». Она побежала к Гертруде; Гертруда подтвердила

сказанное незнакомцем, которого сама вместе с патером научила обвинить Германа, вечного неприятеля урзулинских монахов.

Новое чувство пробудилось в невинной душе Аделины, чувство ненависти и мщения; в мрачной задумчивости пошла она в келью; навстречу ей попались рыцари и на вопрос, куда они едут, отвечали:

— В замок Вульфинген, рыцарь Отто будет там иметь поединок; с кем, еще не известно; все здешние рыцари должны быть свидетелями суда Божия.

— И рыцарь Герсбрук?

— Вероятно!

Приезжие удалились. «И я там буду, — сказала Аделина, — и я потребую суда Божия». Она заперлась в своей келье и целый день провела в слезах и молитве.

Рыцарь Виллибальд на самой заре пробужден был стуком решетки; вошли в темницу вооруженные люди, подали ему, не говоря ни слова, шлем, панцирь, меч и щит. Рыцарь вооружился; спрашивал, чего от него требуют; никто не отвечал на его вопросы; молча отвели его в отдаленную комнату, заперли на замок, сказав, что освободят, когда наступит время.

Между тем соседние рыцари с оруженосцами и служителями находились уже на площади замка Вульфингена и окружали место поединка, обведенное загородкою. Заиграли трубы и бубны. Является Отто фон Вульфинген, молодой статный рыцарь, на прекрасном коне, с ног до головы вооруженный, кланяется собратьям и говорит: «Привет вам, храбрые рыцари, товарищи и братья; вам, которые видели Святой гроб Искупителя и пролитую кровь за веру! Вы думаете, что я вас призвал в свой замок для игрищ веселых и сражений потешных. Увидите сражение! Но меч не будет притуплен, с копья не сымут железа вострого; поединок не на живот, а на смерть! Кровь обагрит этот песок, моя кровь или убийцы несчастного моего брата!» «Брат твой убит! — воскликнули рыцари. «Храбрый Адельберт фон Вульфинген убит?»

Отто. Изменою! Предательством! Молчите трубы! Молчите бубны! Словами возвещаю ужасы убийства!

Все умолкло. Вульфинген продолжал: «Рыцари, вы знали брата моего, редкий из вас не видел его в сражении! А кто из вас не любил его за доброе, нежное сердце. Случай познакомил его в Палестине с одним иноземным рыцарем, добрым по наружности, прекрасным собою и в обхождении отменно любезным: этот иноземец казался искренно к нему прилепленным, последовал за ним в Германию, в замок Вульфинген, пользовался его гостеприимством и в благодарность — стыжусь, но должен ска-

зять — обольстил сестру его Гильдегарду. Обманщик имел жену и детей, которых оставил. Коварные слова и приятная наружность его прельстили Гильдегарду. Между тем верная жена об нем тосковала; дети его терпели нужду и притеснения; множество гонцов, за ним разосланных, его искали. От них узнал Адельберт, что мнимый друг его имеет детей и супругу; и сердце его, благородное и чувствительное, закипело гневом. «Оставь мой дом, — сказал он чужестранному рыцарю. — Никогда не соглашусь, чтобы изменник и клятвопреступник имел убежище под моею кровлею». Что сказать вам ещё, рыцари. Мстительный чужестранец умертвил, умертвил предательски гостеприимного Адельберта, — и горе мне — сестра наша Гильдегарда — его сообщница».

«Ужасно!» — воскликнули рыцари и взоры их воспламенились гневом.

Отто. Меня, по несчастию, на то время не было в замке. Я возвратился, но уже поздно. Брат мой, окровавленный и бездыханный, принесен был из ближайшей рощи в замок. Чужестранец и Гильдегарда скрылись. Я в ту же минуту послал за ними погоню; их скоро настигли. Гильдегарду поймали, а рыцарь ушёл, но Провидение правосудно: оно помрачило взоры убийце; он потерял дорогу, сам приблизился к моему замку, и люди мои нашли его в той самой роще, где бедный Адельберт изменой его лишился жизни. Рыцари, какое наказание определили бы вы этому недостойному убийце...

Все рыцари. Мщение, мщение! Поединок ни на жизнь, а на смерть.

Отто. Приговор ваш будет исполнен! Преступник здесь! Шесть дней как заключен он в темницу моего замка! Гильдегарда, которой сердце не чувствует раскаяния, всякую ночь присылала ему вино и пищу; я знал это и не препятствовал; справедливость на моей стороне: могу ли опасаться сильного соперника? Будьте свидетели, рыцари... — Отто хотел продолжать, но в ту минуту послышался в народе шум, толпа расступилась, увидели Аделину, бледную, с распущенными волосами, стремительно приблизившуюся к загородке; она сама её отворила и, выступив на середину площади, воскликнула: «Рыцари! Правосудия и мщения! Пускай снимут с Герсбрукова щита рыцарский герб! И выгонят его из общества благородных рыцарей! Герсбрук — убийца, и тот, кто терпит его с собою, его сообщник! Он умертвил Виллибальда Фельзека, моего жениха, благороднейшего из рыцарей!» Герман содрогнулся; поспешно закинул забрало шлема, выехал вперед, воскликнул: «Вы слышали обвинение? Оно ложно! Клянусь Богом и всеми святыми! Кто твои свидетели?»

Аделина. Бог и этот окровавленный шлем! Смотри и содрогнись!

Аделина бросила к ногам Германа Виллибальдов шлем; он узнал его, поднял, долго рассматривал и, наконец, сказал: «О, Виллибальд, тебя нет, и меня называют твоим убийцею! Ты призываешь Бога в свидетели,

Аделина! Но он имеет громы! Пускай сражает ими виновного». Страшное молчание, все трепетали. Аделина подняла руки к небу с горестным видом; Герман устремил на него ясные, изображающие спокойствие взоры.

Герман. Божий гром молчит, Аделина! Кто из людей мои обвинители?

Аделина. Сестра моя Гертруда.

Герман. Расступитесь, рыцари!

Он кольнул шпорами коня и скрылся из виду. За ним последовали и его вооруженные слуги.

Ужас был на всех лицах; рыцари стояли, потупив голову, Аделина лежала без чувств, склонившись на колена одного старого рыцаря, глубокое молчание царствовало. Наконец Отто фон Вульфинген прервал его. «Братя, — сказал он, — начинать ли поединок?»

Рыцари. Начни, Вульфинген! Победа твоему оружию.

Отто. Зовите чужестранца; играйте трубы!

В блистательном вооружении выходит прекрасный рыцарь на средину площади; оруженосец ведет за ним коня, который прыгает и ржет; взоры присутствующих с изумлением обратились на величественного незнакомца, который идет стремительно, машет копьём, грозный и с первого взгляда непобедимый. Но вдруг, увидя Аделину, он останавливается, громко восклицает, кидает копьё и щит, бросается к бесчувственной, падает перед ней на колена, прижимает её руку к сердцу, говорит: «Аделина! тебя вижу! Проснись, проснись, Аделина!» Шишак от сильного движения сваливается с его головы; мужественно прелестное лицо обнаружено, все узнают Виллибальда! «Боже, какое чудо! — восклицает Вульфинген. — Фельзек, мой друг, мой названный брат моим пленником!»

Собрание всколебалось. Оруженосцы и рыцари соскочили с коней; народ стремительно двинулся к ограде, сломил её, площадь покрылась людьми, все бегали, шумели; смешанные восклицания, крики радости, молитвы наполняли воздух; Отто первый опомнился, подошёл к Виллибальду, стал на колена, снял с головы шлем и сказал: «Рыцарь Фельзек, какое удовольствие требует оскорбленная честь твоя?» Виллибальд не отвечал, он смотрел на Аделину, которая лежала неподвижно со смертною бледностью на лице, закрытыми глазами, едва трепещущим сердцем. Старый рыцарь, который поддерживал на коленах её голову, отвечал Вульфингену: «Честный человек не мстит за ошибку. Дружба твоя пускай заплатит Виллибальду за обиду!» Всеобщее восклицание одобрило слова старца. В эту минуту Аделина открыла глаза: кто изобразит её чувства, когда она увидела перед собою на коленах своего жениха, милого, оплаканного, незабвенного Виллибальда! «Она жива! Мы друзья навеки!» — воскликнул Виллибальд, прижимая к сердцу Вульфингена.

Аделину положили на подушки; она не могла говорить, на лице её блистала чистая радость, и взоры не отвращались от милого лица Виллибальдова. Отто и Виллибальд объяснили друг другу всё непонятное в их приключении. Пилигрим, убитый в Чёрной долине, был рыцарь, любовник Гильдегарды: Провидение наказало его рукой разбойников; одежда обманула служителей Вульфингена, которые, считая Виллибальда беглецом, связали его, привезли в замок и бросили в темницу. Рыцари ещё раз обнялись в знак примирения; подали вино и бокалы, и поединок кончился питьем за здоровье обоих соперников. Народ кричал: «Да здравствует святая Аделина Венфрид и рыцари Вульфинген и Фельзек».

Виллибальд, взявши Аделину на руки, хотел нести в замок, но в эту минуту опять произошла тревога в народе, многие воскликнули: «Рыцарь Герман и Гертруда Венфрид!» Толпа расступилась, Герман стремительно приближался, неся на руках Гертруду. «Теперь, — говорил он, — докажи, что я убийца Виллибальда». Но он не успел кончить, уста его сковались удивлением; Виллибальд представился глазам его и простирал к нему объятия.

Вне себя от радости он кинулся к нему; слезящий взор Аделины просил у него прощения! «Кто умышлял убить Виллибальда?» — воскликнули рыцари, грозно приблизясь к Гертруде и окружив её. «Патер Феликс и я, нечестивая», — отвечала Гертруда с трепетом и упала без памяти. «Разорвите её, побейте камнями!» — кричал народ, но рыцари закрыли её щитами и велели отнести в замок.

Аделина, расстроенная такими сильными, разнообразными движениями сердца, печалью и радостью, которые во всей силе и без всякой постепенности одна за другой последовали, занемогла горячкою, но попечительная рука любви отвела её от раннего гроба. Страстный Виллибальд не отходил от её постели и часто с горестным удовольствием слушал, как она в беспмятстве называла его милым, незабвенным Виллибальдом. Оплакивала его смерть. Молилась за него Богу. Звала его. Простирала к нему руки. Просила, чтобы он пришел закрыть её глаза и украсить цветами её могилу. Наконец миновала жестокая болезнь. Опять расцвели румяные щеки Аделины, глаза её заблестели, и живость её возвратилась. С торжеством отвез Виллибальд её в свой замок; священник благословил их брачный союз перед алтарем Божиим; минутные горести наградились долговременным счастьем; небо даровало им многочисленное семейство; правнуки закрыли им глаза в глубокой старости.

А Гильдегарда и Гертруда? Они постриглись. Раскаялись или нет — об этом не сказано в летописях. Известно, что с самого того времени Святой трилиственник утратил славу, и чудеса его прекратились. Патер

Феликс, будучи в ненависти народа и проклинаемый рыцарями, не смел показаться за монастырские ворота. Что сделалось с ним, о том молчат предания. Мельник Чёрной долины получил воздаяние за свои злодеяния. Рыцари соединенными усилиями разорили мельницу, вертеп разбойников. Чёрная долина с той поры сделалась еще ужаснее. Совершенная пустота и дикость царствуют на утесах; олени бегают по берегу реки, сосны и ели страшно шумят, сгибаемые ветром. Терем, убежище убийц, превратился в жилище пустынных филинов и сычей, ворон вьет гнезда на ближних деревьях, стены без причины осыпались; камни падают на камни, и часто меланхолический стук нарушает в глубокую полночь безмолвие долины. Никто не решается приближаться к сему ужасному месту: «Гнев Божий посетил его, — говорят поселяне, — там носятся мучимые души грешников. Там стонет убийца над кровью, давно, давно им пролитою».

МИСС ЛОНИ

Артур Редаль, младший сын богатого лорда, герцога и пера Англии, пылкий и прекрасный молодой человек, путешествовал по Европе, когда получил известие о смерти отца и отчаянной болезни брата его. Он поспешил возвратиться в отечество, в объятия печальной матери. С любовью (1 сл. нрзб.) расспрашивал о прежних товарищах своей молодости и с живостью искренней дружбы о старом Смите, своем наставнике и друге. Он с удовольствием услышал, что этот почтенный человек имел пасторское место в ближней деревеньке Вайт-Гилл; поехал к нему верхом, встречая на дороге знакомые деревья и кустарники, поля, распаханные вновь, сады, во время его отсутствия разведенные. Желая удивить своего учителя, он оставил свою лошадь в трактире, пошел пешком, перескочил через забор сада, как делал и прежде, будучи еще учеником, и вошел в милейшую садовую галерею, из которой мог неприметно прокрасться в дом. Редаль надеялся удивить, и сам приведен был в удивление: играли на лютне, и женский мелодический голос пел утреннюю песнь Богу, пел трогательно и выразительно; приятные переливы тонов и свежий голос показывали молодость певицы. Редаль остановился. Он помнил, что Смит не имел дочери! Неужли он опять женился, думал он. Какое счастье найти жену с такими талантами и нежным чувством. Певица замолкла.

— Мисс Лони, — сказал младенческий милый голос. — Нельзя слушаться, когда вы играете и поете! Научите и меня играть и петь также прелестно.

— С охотою, мой друг! Но ты еще очень мала; твоя ручонка не может держать лютну!

— Ах! Если бы можно было поскорее сделаться большою!

— Это зависит от тебя, милая Бетти!

— Что ж я должна делать, мисс Лони?

— Любить Бога, создателя этой прекрасной земли, этого чистого неба, этого светлого солнца, одним словом, всего, что делает тебя, и меня, и всех людей счастливыми! Он даст тебе способность и силу!

— Ах! Буду любить Бога от всего сердца! Но спойте еще раз эту прекрасную песню.

Мисс Лони повторила последние стихи гимна и заключила молитвою к Провидению, которому (1 сл. нрзб.) хранить добродетель в сердце Бетти и спасти невинность от жребия ее матери. Трогательное выражение, с которым произнесла она последние слова, заставили думать Редаля, что он слышит молитву несчастной матери, которая в доме Смита имела убежище. Любопытство его усилилось, но он не хотел открываться, воротился назад, вошел в дом, удивил и обрадовал своего старого учителя, который представил ему жену с дочерью от первого брака, совершенно прекрасную лицом.

Стройность, высокий рост, ослепительно блестящей белизны правильные черты, светлые кудрявые волосы мисс Салли поразили Редаля. Мать и дочь, заметил он, с удовольствием внимали. Редадь знатен и богат, уважаем в обществе, это льстило их самолюбию. Салли одета была со вкусом, говорила приятно и остроумно. Она сидела, наклонившись на пяльцы, рука ее шила по канве. Редадь стоял у пялец и смотрел на светлые прекрасные кудри волос, которые скатились на канву и едва могли быть отличены от шелка. Он думал о певиче. Кто она? Друг ли для г-на Смита? Так же ли прекрасна, как Салли? Вопросы Смита относились к путешествию Редаля (2 сл. нрзб.), его размышлениям. Он отвечал рассеянно. Глаза его (1 сл. нрзб.), когда он думал о певиче, которой прихода ожидал с некоторым беспокойным любопытством, невольно устремляясь на Салли: сия рассеянность, беспорядок его ответов, взгляды на Салли, задумчивость не скрылись от пронизательного господина и госпожи Смит. Один боялся страсти, другая обещала дочери блестящую партию. Салли торжествовала и втайне души наслаждалась победою своих прелестей.

В эту минуту вошла мисс Лони, с легкостью ведя за руку шестилетнюю девочку. Редадь изумился. Лони поклонилась учтиво, прошла в молчании в ближнюю горницу и затворила за собою дверь. Никто не сказал ей ни слова, никто не назвал ее; все смотрели на Редаля, который с притворною небрежностью спросил: «Кто эта молодая дама? Конечно,

надзирательница маленькой любезной мисс?» Смит отвечал: «Нет, сир Редадь! Вы видите мисс Лони, дочь одного моего друга, который при смерти поручил мне ее воспитание и опекунство ее имения».

Мать и дочь посмотрели друг на друга с выражением насмешки, которое сир Редадь заметил. Маленькая Бетти подошла к нему, говоря: «Не думайте, чтобы мисс Лони была моею надзирательницей, она мой друг, моя вторая маменька! О если б вы ее знали! Какая добрая! Как ласково говорит! Как весело слушать ее уроки». Милая Бетти с младенческой нежностью жала Редалеву руку, трогательный звук ее голоса, выразительность взгляда, миловидная наружность пленили его сердце. Смит улыбнулся, и в глазах его показались слезы. Мать и дочь опять посмотрели друг на друга с значащим видом. Редадь не знал, что думать: нельзя, чтобы мисс Лони, рассуждал он сам с собою, была матерью маленькой Бетти: ей ведь не более шестнадцати лет. Свежесть ее лица, взгляд, улыбка, поступь, движения, вся наружность, неизъяснимо привлекательная, показывают невинность и добродетель. И с нею обходятся так холодно.

Редадь еще несколько минут дожидался возвращения мисс Лони. Она не выходила, он прощался со Смитом, обещался опять его скоро посетить, ему непременно хотелось иметь объяснение таинственных взглядов мисс Салли и ее матери, узнать историю мисс Лони, видеть ее, а может быть, с нею вместе и блестящую мисс Салли. Действительно, дня через два приходит он к пастору. Госпожи и мисс Салли не было дома, старый Смит ушел крестить. Мисс Лони сидела в своем кабинете, в котором дверь была отворена, и рисовала портрет Бетти, прижимающей к груди белого голубя. Мисс Лони была одета просто, в белое кисейное платье, ничто, кроме волос, натурально завивающихся, прекрасного каштанового цвета, и густых, мягких, как шелк, подобранных под гребень, не украшало ее головы. Стройная талия перевязана была шелковым снурком темного цвета. Длинные рукава закрывали прекрасные руки. Она покраснела, когда опущенные длинные ресницы поднялись, и взорам ее представился Редадь, который несколько минут стоял неподвижно и любовался группой. Спрятав рисунки, она подошла к нему с приятным и благородным видом; Редадь поклонился и спросил о господине Смите.

— Он вышел, но скоро будет назад, — отвечала мисс Лони, — угодно ли дождаться его в гостиной.

В эту минуту является сам господин Смит. Уводит Редаля в свой учебный кабинет. Артур последовал за ним с принуждением.

— Любезный Смит, — сказал он, — ты видишь во мне того же самого Редаля, который любил твои уроки и привык открывать перед тобою

душу! Мисс Салли меня поразила, но Лони влечет мою душу неизъяснимою силою! Кто она? Скажи всю истину.

Смит, уныло посмотрев на Артура, взял его за обе руки и отвечал с чувством:

— Откровенность ваша меня трогает, сир Редаль, но ваша привязанность огорчает!

— О, будь спокоен, мой друг, — воскликнул с живостью Редаль. — Я еще далек от страсти! Я восхищаюсь от вида прекрасного, распускающегося цветка; всякий на моем месте не мог бы иметь другого чувства. Может быть, не всякий открыл бы его прежде отцу, а начал бы с дочери.

Пламень, горевший в глазах Редаля, обнаруживал состояние его сердца; Смит вздохнул, еще раз пожав ему руку и желая доверенностью заплатить за доверенность.

— Не удивляюсь, сир Редаль, что прелестная мисс Салли вас поразила, но я предвидел, что благородная душа мисс Лони вас тронет! Выслушайте мою исповедь: мисс Салли есть младшая сестра покойной Эрни, которую любил милорд Редаль, ваш брат, а Бетти — дочь их...

— О мой друг, — воскликнул Артур, — теперь понимаю, отчего в глазах твоих показались слезы и что значат таинственные знаки мистрис Смит и ее дочери. Но брат мой неужли оставил без призрения этого милого ребенка!

— Мать оставила ей порядочное наследство! Милорд Редаль великодушный обольститель! Он обещал своей любовнице.

СТАРЫЕ СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ В ПРОЗЕ

ЗАМЕЧАНИЯ О ИСКУССТВЕ МЫСЛИТЬ

Происхождение вещей и всякое действие природы, посредством которой она что-нибудь производит, покрыты от взоров наших непроницаемым мраком. В таком же таинственном мраке скрывается и происхождение мыслей, оное важное действие человеческой души, на котором всё великое и прекрасное, когда-либо человеком произведенное, основано — размышление.

С одной стороны, очевидно, что наша свободная воля и наше произвольное намерение с размышлением неразлучны. Мы сами избираем тот предмет, о котором намерены мыслить; мы сами предполагаем себе ту цель, к которой должны быть направляемы наши рассматривания; мы сами совершенно убеждены, и даже употребляемая нами метода есть доказательство, что мы сами сначала определили тот порядок идей, из

которых состоит наше размышление, и что отдельные мысли (1 сл. нрзб.) помещены нами произвольно.

С другой стороны, тот же самый порядок в рассматривании философическом нередко имеет великое сходство с внезапным вдохновением стихотворца: подумаешь, что натура или случай, что Гений или какая-нибудь высшая власть, нимало не зависимые от человеческой воли, ему в этом действии способствуют. Не токмо философу бывает часто неизвестно, откуда пришла ему первая мысль тем или другим предметом и именно в ту, а не в другую минуту заняться; но он даже не знает, почему в то самое время, когда он обратил на него внимание, представились ему сии, а не другие мысли; в том, а не в другом порядке и с теми, а не с другими выражениями. Ни самого себя, ни свое произвольное намерение не может он полагать причиною, ибо тех мыслей, которые нам еще неизвестны, не можем мы ни искать, ни сделать предметом нашего размышления.

Что же причиной этого действия? В две разные минуты занимаемся мы рассматриванием одного и того же предмета: и наше внимание, и наши намерения в обоих случаях одинаковы; и несмотря на то, в одно время все наши усилия остаются бесплодны, мы не находим никакой цепи мыслей о том предмете, который подлежит нашему вниманию, или нам представляются весьма немногие раздробленные, без всякой связи, без всякого порядка одна за другою следующие мысли, и сии немногие столь темными, что весьма бывает трудно их выразить словами. В другое время, напротив, и мысли, и выражения льются рекою, и сии мысли, рождаясь сами собою, сами собою образуют порядок, сами собою сплетаются в одну цепь, и нет никакого труда выразить их словами. Но часто в две разные минуты одинакого вдохновения действие сего вдохновения бывает различно: иногда существо предмета, представленного нам в последнюю минуту совсем отличным от того, каковым оно показалось нам в первую: в первом случае заблуждение и истина явились нам на одной стороне, в последнем перешли они на противную; иногда коренные, служащие основанием понятия остаются те же, но часто и отношение предмета, и прежде и после представившиеся очам рассудка, совсем изменяются. Можно сказать, что воля дает размышлению одно только первое, весьма неопределенное направление; но что какая-то чуждая, непобедимая власть управляет отдельными действиями нашей мыслящей силы, определяет все их последствия. Нередко та самая часть рассматривания, которая в одно время казалась нам пустою и совершенно бесплодною для рассудка, в другое время дает нам изобильнейшую жатву наставительных и приятных идей и вводит наш ум в сокровеннейшие тайны предмета. Нередко окинув беглым взором предмет наш, мы обе-

щаем себе множество новых открытий, и уже обрадованному рассудку представляется вдалеке и связь, и порядок: но вникнув внимательнее в предмет и приступив к словесному выражению того, что найдено было размышлением, мы вдруг теряем из глаз сии прелестные виды, и мнимые сокровища нашего рассудка являются малочисленными и скудными.

КАК УЗНАВАТЬ СВОИ УСПЕХИ В ДОБРОДЕТЕЛИ

Можем ли мы сказать, Сенесион, что успели в добродетели, если покорствуем всегда с одинаким ослеплением пороку или беспрестанно увлекаемся его приманками. Упражняясь в науке или в искусстве, можем положить тогда, что мы в них успели, когда заметим, что прежнее наше невежество уменьшилось, что мы больше прежнего знаем о тех предметах, которыми занимаемся! Большой может ли в продолжение болезни чувствовать перемену в своем теле, если ни одно лекарство не приносит ему облегчения, если страдание продолжалось одинаким образом мучительное до самой минуты выздоровления внезапного и совершенного. В таких случаях один только переход из одного расположения в другое, противное, может дать нам почувствовать перемену в нашем состоянии, следовательно, и наши успехи или неудачи. Посмотри на весы: одна чаша подымается, другая опускается. Так и в самой науке добродетели: невозможно заметить в себе усовершенствования, если душа остается с прежними дурными привычками... душа наша, постепенно приближаясь к добру, должна очищаться от своих пороков, ибо сей быстрый, неприготовленный переход от совершенного разврата к совершенной добродетели противен натуре и есть не иное что, как химеры стойков^(*), противоречащие собственным их опытам.

Конечно, ни один из них не может вспомнить той минуты, в которую он вдруг из порочного, покоренного слабостям человека явился образцом непорочным и чистым. Время все делает постепенно и нечувствительно, время привело его тайными, почти невидимыми путями к сей точке желанного совершенства. Иначе кто бы не заметил сей эпохи своей жизни, важной и чудесной, внезапного изменения бытия, сей минуты, в которую он сказал порокам и страстям: «Сокройтесь от меня, химеры, вы гнусны, гибельны, вы чада заблуждения», в которую добродетель во всей красоте явилась, светом своим озарила обновленный его рассудок, в которую душа, расслабленная нею и скотскими страстями, вдруг сделалась великою и почти божественною.

(*) Стойки думали, что все проступки равны, что надобно равно наказывать за самую несправедливость и за величайшее преступление; что не имеющий совершенной добродетели так же порочен, как человек совершенно развратный.

Мнение должно согласоваться с натурою, а не натура с мнением. Некоторые философы подчиняют ее своим странным системам, самую философию делают непонятной и затруднительной. Они уверяют, что нет постепенности в приобретении добродетели, что всякий человек не совершенно добродетелен, порочен и развратен, что постепенное излечение душевных болезней есть такое же несчастье, как самая бедственная подверженность страстям и порокам.

Их собственные поступки должны опровергнуть сии нелепые мнения. В школах своих они утверждают, что Аристид¹ и Фаларис² равно несправедливы, что Бразидас такой же предатель, как Долон (кто сему поверит), и что Платон подобен в неблагодарности Мелию^(*). Но в обращении своем с людьми они удаляются от сообщества порочных, которое почитают опасным; и удостоивают совершенной доверенности некоторых других людей, на которых возлагают исправление важнейших дел своих: неужели сии последние не имеют никакого недостатка и, следовательно, не так же порочны и развратны, как первые.

Мы, напротив, будучи уверены, что всякий порочен, всякий недостаток душевный должен изглаживаться нашими успехами в добре и исчезать, подобно теням, перед светильником мудрости, животворным, лучезарным, мы утверждаем, что переход сей от испорченности к добродетели всегда ощутителен; что душа, освобождающаяся мало-помалу от неволи, подымается из среды пороков, как будто из пропасти, и судит о своих успехах по своему возвышению. Мореходцы, плывущие по обширному океану, исчислив продолжение путешествия и силу попутного ветра, заключают о пространстве, которое преодолело их судно.

Мы также будем в состоянии судить с довольною верностью о успехах своих в добродетели, когда будем подвигаться вперед, не останавливаясь, постоянно, всегда с одинакою скоростью, под руководством рассудка.

Правило Гесиода³: мы составим скопление малости, большое производит исключительно к одному скоплению богатства, но вообще ко всему,

(*) † Всем известен Аристид, наименованный справедливым, и Фаларис Агригентский, тиран, славный своим бесчеловечием. Бразидас Лакедемонский – полководец, победитель афинян на суше и на воде, окруженный близ Амфиполиса, прибегнул к хитрости, позволил себя окружить неприятелю, которого армия, распространившись, ослабела, поразил (нрзб.) слабейшее крыло ее и спасся вместе с воинством. Долон, шпион Троянский, посланный Гектором в греческий лагерь, встретившись с Улиссом и Диомедом и надеясь спасти жизнь свою предательством, открыл им происходившее в Трое, но был умерщвлен Диомедом. Платон, столь славный своим красноречием, не меньше известен своею привязанностью к Сократу; Мелет, один из трех обвинителей сего мудреца, также был учеником его. Кто не назовет странным и нелепым сих сравнений, сделанных стоиками.

особливо к усовершенствованию души нашей относится частое повторение действий добродетели, образует в ней сию счастливую привычку, которой могущество так велико и непобедимо. Но слабость, нерешимость и непостоянство не только не приближают нас к желаемой цели, но еще производят в силах наших изменение, благоприятное пороку и дающее ему новую силу.

Деятельность в добродетели противна всякому, даже временному отдохновению. Душа наша, так сказать, на весах стоящая, находится в непрерывном движении, то возвышается силою добродетели, то унижается напряжением порока. Цирряне⁴ вопрошали Аполлона, чем могут сохранить внутреннюю тишину и устройство? «Непрестанною внешнею войною», — отвечал оракул! И ты спроси самого себя, ведешь ли беспрестанную войну с своими страстями, противишься ли постоянно приманкам порока, сокрытым иногда под наружностью минутного удовольствия, пользы, необходимости? Если можешь отвечать утвердительно, радуйся! Тебе позволено надеяться успехов! Однако не теряй мужества, если иногда будешь чувствовать усталость, иногда останавливайся! Требую только того, чтобы сии остановки были непродолжительны, редки, чтобы заменялись сильнейшею деятельностью. Со временем препятствия исчезнут. Напротив, частые и продолжительные остановки будут доказательством уменьшения твоей ревности, которая, наконец, совсем уничтожится. Посмотри на тростник, близ корня прямой, красивый и только изредка пресекаемый коленцами, выше слабый, как будто изнуренный первыми усилиями, наклоняемый и легчайшим дуновением ветра; таковы люди, которые сначала с живою ревностью бегут по стезе добродетели, потом теряют терпение, начинают медлить, останавливаются, выпускают из виду предмет свой и, наконец, совершенно его забывают. Другие, напротив, постоянные, оживленные желанием достигнуть своей благородной цели, быстрым полетом совершают великое поприще, не ужасаясь препятствий, и, наконец, все преодолевают.

Мы близки к своему предмету, если путь добродетели кажется нам не трудным и крутым, но ровным и приятным, если деятельность в добре сделалась нашею привычкою, если яркое и светлое заступило место мрака и недоумения, в которое впадают обыкновенно искатели мудрости при начале своих исканий. Подобно путешественникам, оставляющим знакомую землю и вступающим в незнакомую, сии новые философы теряют из виду свои собственные обыкновенные понятия и не получают справедливейших и постояннейших понятий философии. В недоумении, в нерешимости они нередко возвращаются назад и оставляют свое пред-

приятие. Римлянин Сестий⁵ снял с себя государственные достоинства, всем пожертвовал философии, но пораженный ее трудностями, потерял мужество и терпение, от отчаяния чуть не бросился в море. Сказывают, что Диоген, захотевши быть философом, также вначале чувствовал к ней отвращение. В один из праздников афинских, когда народ, упоенный веселием, посвящал дни и ночи пиршествам и забавам, сей философ при наступлении мрака удаляется на городскую площадь, хочет на ней провести ночь^(*)

Тысячи мыслей, противных его намерению, колеблют его душу; он говорит самому себе, что напрасно отказался от удовольствий, преимуществ общества, напрасно предпочитает им жизнь одинокого человека, лишенного всех наслаждений, что философия ни за что ему не запретит, и в сию минуту недоумения видит мышь, очень спокойно подбирающую крошки его хлеба. «Перестань жаловаться, Диоген, – восклицает он, – это творение может совершенно насыщаться остатками твоего ужина, а ты плачешь о том, что не имеешь участия в сих наслаждениях разврата, что не имеешь пышной, спокойной постели. Отдаляй от себя рассудком подобные минутные неприятности, сии отвращения, сохраняй душевную ясность, и со временем совершенный успех увенчает твои желания».

Однако мы не одной своей слабости должны опасаться; советы друзей, впрочем, самых искренних, насмешки неприятелей могут нас остановить и нас колебать. Мы слабее нередко и забываем всю свою философию: неизменное спокойствие души должно защищать нас от тех и от других. Не будем завидовать их успехам при дворе, их фортуне, их славе, их общественным преимуществам. Сия нечувствительность доказывает, что мы прямо привязаны к добродетели и мудрости. Стоит узнать истинную цену добродетели, чтобы не уважать того, что всем обыкновенным людям кажется таким привлекательным. Иногда мы противимся воле других от досады, от упрямства, но презрение ко всему, что изумляет толпу, есть признание истинной великости душевной. Она показывает добродетельному все его преимущества перед любимцем фортуны; она заставила сказать Солон⁶:

Как часто счастье злодеев награждает,
Как часто добродетельный в убожестве страдает.
Но злых счастье противно мудрецу.
Порочных здание, как лист иссохший, тленно,
А добродетельных, как злато, неизменно.

(*) О цинической философии (однако, развернутого примечания Жуковский не сделал — И. А.)

О БЛАГОДАРНОСТИ И НЕБЛАГОДАРНОСТИ

Жалуются на великое множество неблагодарных, и находят мало благодетелей. По-настоящему, число и тех, и других должно быть одинаково. Иначе или сии немногие благодетели до чрезвычайности благотворительны, или большая часть обвинений в неблагодарности не имеет основания.

Мы можем решить сию задачу, определив точно, какие идеи заключаются в словах «благодетель» и «неблагодарный».

Человек, делающий добро, есть благодетель. Мы можем дать три разные наименования делам его: благодеяние, милости, услуги.

Благодеянием почитают произвольное действие одного человека в пользу другого, достойного.

Милостью называют обыкновенно добро, делаемое людям, которые не имеют на него права, избавление их от заслуженного наказания.

Услуга есть помощь, старание доставить какую-нибудь выгоду.

Побуждением благодетеля бывают или доброе сердце, или гордость, или собственная польза его.

Истинный благодетель исполняет натуральное желание обязывать и в сделанном добре находить удовольствие, в котором одном заключаются и первое достоинство, и первая награда его дела, но все благодетели не из одного источника проистекают. Нередко благодетель бывает так же далек от благодетельности, как расточитель от великодушия. Мы часто видим скупых расточителей. Гордость легко может быть причиною благодеяния. Благодетель по наружности старается выказать перед другими и перед самим собой свое преимущество над тем, кого он одолжает. Сей человек нечувствительный, при виде несчастных не способный быть добродетельным, только при свидетелях надевает на себя маску чувствительности и добродетели. Есть третий род благодеяний, имеющий источником не гордость и не любовь к добру, а отдаленную надежду получить какую-нибудь выгоду, заранее стараются привязать к себе таких людей, в которых со временем думают иметь нужду. Нет ничего обыкновеннее сих расчетов, ничего реже услуг бескорыстных.

Не делая симметрических и параллельных разделений, мы скажем, что неблагодарные, также как благодетели, имеют три отличительных образа.

Быть неблагодарным значит или не помнить, или не признавать благодеяний, или худо платить благодетелю. Нечувствительность, гордость, корыстолюбие суть источник неблагодарности.

Первый находим обыкновенно в душе слабой, непостоянной и ничтожной. Угнетаемая настоящим, не способная проникнуть в будущее,

она теряет идею о прошедшем; требует без отвращения, принимает без стыда и забывает без раскаяния.

Существо презренное или жалкое, которому делают добро из сожаления, кого (1 слово нрзб.) значит так мало, что не достоин и ненависти.

Но можно ли без негодования видеть человека, знающего цену благодарений, им полученных, и не хотящего признать своего благодетеля. Он (1 слово нрзб.) требует помощи, гордость его противится действиям благодарности, которые могут напомнить ему о прежнем унижении. Он стыдится своего несчастья, не порока. Сообразно с своим характером, в благоприятнейших обстоятельствах он способен сделать из тщеславия то, в чем откажет справедливости; он хочет похитить одну славу добродетели, пренебрегая исполнением должностей самых священных.

Есть люди, не столь ненавистные, как сии неблагодарные от гордости, больше достойные презрения тех слабых и ничтожных людей, о которых мы говорили выше. Корыстолюбие служит основанием их благодарности. Они подвергают арифметическим вычетам услуги, ими сделанные. Они не знают и не могут знать, потому что не могут чувствовать, что нет степеней уравнивания для чувства, что преимущество благодетеля перед тем, который предупрежден его услугами, неоценимо; что можно уничтожить неравенство, существующее между ними, не уничтожив, однако ж, обязанности одолженного одними чрезвычайными знаками благодарности; иначе права его всегда останутся неоспоримы. Только употребив их во зло, он может их лишиться.

Рассматривая различные характеры неблагодарности, узнаем характер добродетели, противной сему пороку. Она есть чувство, привязывающее нас к благотворителю с твердым желанием обнаружить перед нами сие чувство делом или, по крайней мер, признанием благодетения, лоя и рождая случаи говорить об нем с удовольствием. Я не смешиваю с сим благородным чувством холодного, принужденного чванства, низких ласкательств, которые, скорее, можно почтить (1 слово нрзб.) требованием благодетения, нежели признательностью. Я видел сих презренных льстецов, жадных и бесстыдных, возвышающих услуги, им сделанные, осыпающих похвалами своих милостивцев, чтобы не наградить их своими чувствами, но чтобы возбудить к новым милостям. Они притворно воспаляются, ничего не чувствуют и только хвалят. Нет сильного и знатного человека, не окруженного множеством подобных энтузиастов, которые льстят и надоедают ему без сожаления.

Знаю, что надобно скрывать услуги, а не благодарность, она допускает, иногда и требует некоторой живости в изъяснении, благородном, свободном и лестном. Но исступление неограниченное, восторги неумеренные почти всегда заставляют подозревать в притворстве или глупо-

сти, если только не будут первым движением пламенного сердца, воображения живого или не относятся к такому благодетелю, на которого не можно уже больше ничего надеяться.

Скажу больше и скажу свободно: благодарность должна стоять сердцу, т. е. сердцу должно с трудом покориться обязанности быть благодарным, но покорившись, любить непринужденно сию обязанность. Нет признательнее тех людей, которые не от всех принимают одолжение. Они знают, как важны должности, на них налагаемые, и хотят использовать их только в отношении к тем людям, которых почитают. Вошедши в долг с отвращением, стараешься скорее заплатить его; занимая по нужде, будешь страдать, если не найдешь способов удовлетворить займодавцу.

Прибавлю, не нужно иметь сильного чувства благодарности, чтобы доказывать ее в совершенстве, с некоторым характером благородства, совершенно противным гордости. Можно стараться множеством услуг, оказываемых нашим благодетелям, уничтожить или, по крайней мере, уменьшить их преимущества перед нами.

Напрасно будете говорить в мое опровержение, что дел без чувства мало для добродетели. Я скажу в ответ: соображаться в делах своих с честностью — есть первая должность человека. Чувства его будут согласны с его делами. Они чаще располагают мысли по делам своим, нежели дела по своим правилам. К тому же, сие самолюбие, в хорошем смысле принимаемое, служит основанием моральных добродетелей и первой связью общества.

Но если источники благодетельных так разнообразны, то должна ли благодарность быть всегда одинакова? Каким чувством обязан я тому человеку, который из жалости минутной, почти неприметной, пожертвовал частицею своего избытка жестокой нужде; который из чванства или по слабости бросает свои милости на кого ни попало, на достойных и недостойных, страждущим от недостатка и не имеющим никакой нужды; который, будучи понуждаем каким-то беспокойством, какой-то машинальною потребностью действия, входит в интриги, запутывается в дела, предлагает всем и каждому свои услуги, свои старания, свое покровительство.

Согласен различать между собою силы благотворительности, но могу ли питать к ним такое же чувство, каким наполнена душа моя к сему благодетельному человеку, просвещенному, сострадательному, которого сострадание основано на почтении, необходимости, на действиях, которых он ожидает от услуг своих; который жертвует своей собственностью, ограничивает свои нужды, чтобы удовлетворить чужим, крайним. Добродетель более почтенна по своим причинам, нежели по своим действиям. Услуги измеряются не выгодами одолженного, а одолжившего.

Тот ошибется, кто подумает, что, позволяя рассматривать настоящие причины благодеяния, мы открываем дорогу неблагодарным. Сие рассмотрение, совершенно для них невыгодное, только увеличивает цену признательности. В самом деле, какое бы могли иметь мнение об оказанной услуге, как бы ни была она маловажна, по своим причинам, практические обязанности одолженного всегда остаются одинаковы; несравненно приятнее исполнять их по чувству, нежели по долгу.

Трудно ли знать сии обязанности? Они видимы при случаях, обмануться почти невозможно: мы сами лучше, нежели кто-нибудь, можем судить себя. Но есть такие критические обстоятельства, в которых тем более надобно быть осторожным, что легко можно сделать противное чести, думая удовлетворить одной справедливости. Нередко благодетель, употребляя во зло свое преимущество, делается тираном и гордыми, несправедливыми поступками уничтожает все свои права. Какие обязанности остаются тогда одолженному? Те же самые. Приговор жесток, признаюсь, и несмотря на это, что благодетель может лишиться всякого права, не избавив обязанного, хотя совершенно свободного в своих чувствах, от долга благодарности. Он может не иметь привязанности сердечной, может даже ненавидеть, но со всем тем быть подчинен обязанностям, один раз на него возложенным. Человек, виновный перед своим покровителем, достойнее сожаления благодетеля, который находит одних неблагодарных.

Неблагодарность более печалит, нежели оскорбляет сердца благородные, они способны сожалеть, нежели ненавидеть, чувство превосходства их утешает. Совсем противно действие унижительного состояния, в которое повергает нас гордый благодетель. Душа возвышенная, будучи принуждена терпеть, не жалуясь, презирает своего тирана, и отдавая ему почтение, терзается внутренне и готова ненавидеть, не имея даже утешения в своем самолюбии. Тогда скорее всякого неблагородного сердца, созданного для унижения, она приблизится к ненависти. Я говорю, соображаясь с общим характером человека, не следуя правилам морали, очищенным религиею.

Итак, мы всегда остаемся в некоторой зависимости от благодетеля. Одно только общество может возвратить нам свободу.

Но скажут, очень немного таких людей, которые занимают собою общество или бывают им замечены. Согласен, но всякий человек имеет свое особенное общество, т.е. некоторую часть, в которой он известен и занимает свое место, которого приговоров он ожидает, не предупреждая их и не требуя.

Малодушность прибегает к жалобам и оправданиям, душа благородная отвергает их, они противны благоразумной осторожности. Про-

извольное, не вынужденное защищение своих поступков есть не иное что, в глазах света, как осмотрительность виновного; иногда она служит настоящим убеждением; большею частью, только извиняет, а редко оправдывает.

Иной осторожный и благоразумный человек, скрывающий причины своих неудовольствий, был бы очень рад, когда бы его принудили себя оправдывать; он мог бы сделаться обвинителем из обвиненного и обличить своего тирана. В таком случае молчание было бы нечувствительностью, достойною презрения. Защитить себя с твердостью и благородством против упреков в неблагодарности есть должность столь же священная, как самое признание благоденствия. Впрочем, такие обстоятельства всегда неизбежны. Самое горестное чувство есть неудовольствие на тех людей, которым мы обязаны.

Но может, не должно быть воздержанным в рассуждении благодетелей-самозванцев. Я разумею таких, которые пользуются преимуществами своего сана, похищают сие почтенное имя, не имея тени благотворительности, не имея, может быть, кредита, не оказав никакие услуги, они стараются одним наружным блеском приманить к себе людей, имеющих нужду в покровительстве, нередко им полезных и никогда не тягостных.

Они в простоте сердца верят своей гордости, которая говорит им, что самая связь с ними есть уже с их стороны благоденствие. Когда рассудок и честь повелевают отказать от общества, они жалуются на неблагодарность. Правда, услуги разнообразны. Иногда простое слово, сказанное кстати, смело и с намерением, бывает настоящею услугою, более достойной благодарности, нежели многие благоденствия. (3 слова нрзб.). Так иногда и публичное изъявление признательности бывает благороднейшим действием.

Нетрудно отличить истинного благодетеля от ложного. Из благопристойности мы не должны открыто противиться последнему в его чванстве. Бывают случаи, в которых учтивость повелевает нам показать наружную благодарность за признаки ложного усердия. Но если мы не иначе можем удовлетворить сему обычаю, как не исполнением истинного долга, т.е. не отдавая справедливости, не признавая истинного благодетеля, то сия мнимая признательность будет совершенною неблагодарностью, по несчастью, весьма обыкновенною и происходящею от малодушия, корыстолюбия или глупости.

Знак малодушия не будет защитником прав своего истинного благодетеля. Одно только низкое корыстолюбие может подчинить нас мнимой обязанности: мы лишаемся найти со временем милостивца в суетном человеке. Наконец, странная глупость делаться зависимым без всякой нужды.

В самой вещи сии мнимые покровители, обманув сначала публику, наконец томною наружностью обманывают самих себя и самовластно повелевают робкими людьми, которые покорствуют, не смея возвратить своей свободы. Превосходство сана способствует заблуждению, а самовластие сих тиранов его утверждает. Нельзя надеяться, чтобы они заплатили дружбою за преданность (1 слово нрзб.) и долговременною. Мы часто видим знатных людей, униженных и поработченных своими подчиненными, но редко их допускающих до равенства с собою, даже частного — я не говорю о публичном, которого безумно требовать в нынешнем состоянии общества и которое почитаю законом, необходимым, угнетающим одну гордость и сносным для души, любящей порядок. Желая, однако, чтобы различие санов не давало права на почтение, а только на одно уважение наружное: чтобы наша благодарность была не цепью постыдного рабства, которое бременит ее узами драгоценными, которые соединяют. Все люди имеют свои относительные должности, но все не имеют одинакового расположения исполнить их. Чувство благодарности в ином сильнее, в другом слабее. Многие утверждают, и кажется мне, без всякого основания, что характер мстительный и характер благодарный приходятся от одного начала. Помнить добро и худо, говорят они, равно натурально человеку.

Я согласился бы с ними, когда бы простое воспоминание добра и зла, нам сделанных, было не переменным правилом того впечатления, которое после них остается. Но между ими нет никакого сходства, ниже сношения. Мстительный дух проистекает от гордости, нередко соединяемой с чувством собственного бессилия, думаешь о себе слишком много и боишься. Благодарность есть признак правоты, а нередко души, расположенной любить и не способной к ненависти, от которой она освобождается более чувством, нежели размышлением. Есть характеры, образованные для любви, преимущественно перед другими в них причина благодарности есть также и причина немстительности. Люди сих характеров прощают своим низшим из сожаления, равно из великодушия.

Одни только высшие, т. е. люди, которым они уступают в силе, могут возбудить в них продолжительное чувство негодования; они будут стараться его удовлетворить; опасность мщениия ослепила их, они увидят в нем одну славу. Но малейшее удовлетворение их растрогает, обезоружит — доказательство, что ненависть непричастна их сердцам и им противна.

Заклучим в двух словах все сказанное нами выше. Благодетель обязан уважением тому, кто удостоен его милостей; принимающий благодетеля покоряется должностям священным. Кто хочет делать добро людям, тот должен быть осторожен в их выборе, или недостойные воспользуются

его милосердием. Но сам он, однако же, теряет при этом мало. Напротив, одалживаемый подчиняется таким священным обязанностям, что непременно должен поставить за правило не принимать благодарения ни от кого, кроме тех, которых может почитать без принуждения. Когда бы это наблюдали, то благодетелей было бы гораздо меньше, а неблагодарность истребилась бы совершенно.

ОБЩЕСТВО И УЕДИНЕНИЕ

Многие писали и рассуждали о светской жизни, всякий читал Циммерманову книгу о уединении¹; сия материя должна казаться истощенною, но главное преимущество моральных предметов состоит в том, что они, не будучи никогда совершенно новыми, никогда и совершенно не истощаются; никто в морали не может быть ни первым изобретателем, ни рабским последователем своих предшественников; с каждым новым человеком натура является в некотором изменении; цветы и травы не переменяют своего вида — они таковы нынче, каковы были за тысячу лет, но люди с каждым веком принимают новый образ. Сие несходство уменьшается по мере их сближения; но каждый имеет свой особенный мир, в котором он действует и который рассматривает своими собственными глазами, следовательно, и тот, кто выбирает человеческую натуру предметом своих наблюдений, кто больше советуется с своими опытами, нежели с книгами, тот, без сомнения, найдет в ней много новых сторон, и тем новее будут его открытия, чем больше будет иметь в себе особенного и ему принадлежащего.

Порядок моих рассуждений следует из самой природы моего предмета. Общество и уединение важны для человека, следовательно, заслуживают все внимание наблюдателя, их можно рассматривать в двух отношениях: в отношении к духовному образованию человека и в отношении к его счастью. Счастье само по себе есть нечто простое, несложное. Но человеческое образование имеет своею целью три предмета: ум, характер и наружность.

Но уединения и общества бывают многих родов и потому разнообразны в самых своих действиях. Общество, которое производится делами обыкновенной гражданской жизни, в котором человек трудится, отлично от того общества, которое имеет предметом одно удовольствие, в котором человек отдыхает. Роды уединения так же неодинаковы в своих действиях, подчиненных тем причинам, которые побуждают человека искать уединения, или тем обстоятельствам, которыми оно сопровождается. Например, уединение ученого различно в характере и следствиях с уединением монаха или ремесленника. Уединение добровольно

избранное, в многолюдном городе, и уединение принужденное, в дикой пустыне, так же несходны в своих влияниях на человека, как и в своих первоначальных побудительных причинах. Не входя в дальнейшее подробнейшее разделение, означая вкратце общий план своей книги: в первых трех частях хочу говорить о влиянии общества и уединения на ум, характер и наружность человека, в четвертой буду рассматривать разные роды общества и уединения, каждый особенно; пятая будет посвящена их влиянию на человеческое счастье.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. О ПОХВАЛЕ И ЛЮБВИ К СЛАВЕ

Похвала, которую так ищут, которую так расточают на земном шаре, заслуживает всё внимание мыслящего человека. Она полезна или пагубна, благородна или презрительна. В обществе будучи одним условным обманом, происходящим от желания нравиться, вредит человеку; увольняя его от добродетелей, которые мог бы он иметь или иметь был должен. Служа орудием корыстолюбцу, рабу фортуны, она ничтожна. Будучи языком невольнику, оболыщающему сильных, опасна. Но будучи гласом изумления, хвалящего добродетель, гласом благодарности, умиленной перед Гением, есть нечто важное и великое своею силою. Она вселяет натуральное почтение к тому, кто приобрел ее достоинством, справедливостью: она есть восклицание народов, не оболыщаемых веков непреклонных! Независимостью: власть не может ее присвоить, и власть не может отнять ее! Пространством: она повсюду! Продолжением: она объемлет века. Его, можно сказать, расширяющийся Гений, душа животворящая, весь человек образуется, и отसेле все труды, все высокие мысли законодатели, все бдения мудрого; вся кровь, за Отечество пролитая; всё пламенное красноречие оратора, защитника свободы!

Как же удивляться, если душа воспламененная и живая любит страдать. Кто не знает Филиппова ответа^(*) жестокому царедворцу, который советовал разрушить Афины: кто же будет хвалить нас?¹ Сей силы афиняне были повелителями, тиранами Александра, повелителя Вселенной; для них он сражался, назначал троны, творил царей. Он летел на поле брани; для чего? Для того чтобы афинские поэты, музыканты, ремесленники, прохаживаясь по городской площади, сказали: Александр — великий человек.

Сие чувство иных подстрекает, иных обуздывает. «Помни, — сказал один философ одному государю, — что каждый день твоей жизни есть страница в твоей истории». Хорошо, если бы всем государям каждое утро

(*) О афиняне, — говорил он, — как трудно заслужить ваше почтение.

по их пробуждении повторяли слова сии. Тогда любовь к славе своим могуществом оттолкнула бы от них порок и слабости. Таков характер сего чувства нежного, возвышенного и к самому себе неумолимо строгого. Друг славы, готовясь мысленно действовать, окружает себя толпою свидетелей. Зритель дел его — вселенная; судия — потомство.

Где же источник сего чувства? В самой натуре человека. То почтение, которое мы, существа гордые и слабые, смесь несовершенства с совершенством, сами к себе иметь стараемся, может оправдаться одним только чуждым. Сие-то чуждое почтение дает цену трудам нашим, заставляет нас верить нашей добродетели, успокаивает пищею наших слабостей. Оно занимает сию беспокойную деятельность человеческого сердца, которая требует движения и хочет вырваться из своих пределов. Любовь к славе стремится, исторгает человека из существа его. Мы уходим от скуки, от самих себя, летим навстречу времени; живем там, где нас нет. Клевета шипит в углу едва приметном, слава обтекает землю. Она уплачивает долги человечества Гению и Добродетели.

Много было говорено против славы. Не удивляйтесь: легче говорить об ней худо, нежели заслужить ее. Тацит откровеннее; он признается, что слава есть последняя страсть мудрого человека; вероятно, что она была и его страстью. Есть люди, которые хвастают пренебрежением славы. Они обманывают или себя, или других. Всякий в глубине души ее желает, один тайно, другой открыто, один суетен в малых вещах, другой возвышен в великих. Корнель полагал свою славу в «Цинне»², придворный его века — в искусстве показаться с приятностью в балете.

Хотите ли знать, как сильно чувство славы? Велите ей исчезнуть! Всё переменяется. Взор человека уже не оживляет человека. Он один в толпе многочисленной. Нет прошедшего, настоящее ничтожно, будущее сократилось. Текущая минута погибает навеки, без всякой пользы для следующей за ней.

Читая историю Империи и художников, нахожу везде немногих людей возвышенных, за ними толпу человеческого рода, идущую вдалеке медленно. Слава указывает дорогу первым, они — вселенной.

В механике предпочитают такие машины, которые своими средствами производят трудные действия. То же самое надлежало бы наблюдать и в политике. Такова любовь к славе: Спарте нужны 300 человек для смерти, они готовы³. Спарта велит начертать несколько слов на утесах, кровью их обрызганных, — вот их награда. Может быть, не более 200 венков дубовых сделал Рим властителям мира⁴. Но сии великие заблуждения не для всякой души и не для всякого века!

Чувство славы уничтожает обыкновенные страсти. Либо нет его, либо вся душа им наполнена. Не ищите его в народе, покоренном корыстолю-

бием. Слава есть государственная монета, но слава там ничто, где золото есть всё. Не ищите его в народе роскошном. Он, кроме чувств, ничего не имеет, не способен к жертвам, не способен лишиться дня для века. Не ищите его в народе невольников: слава горда и свободна. Раб, согбенный под цепями, не имеет столько добродетели, чтобы к ней возвысить взор. Не ищите ее в народе бедном. Я говорю не о том, который близок к натуре, ограничен в желаниях, живет малым, вместо сокровищ имеет добродетели, но о том, который окружен богатством и блеском и задавлен нищетою, который стоит на сцене излишества и недостатка, который в чрезмерном изобилии находит причину чрезмерной бедности. Народ сей униженный, озабоченный своими нуждами, не может иметь понятия о нужде благороднейшей. Вы не найдете его в той нации, которая привязана к общественным удовольствиям. Многочисленность мелких склонностей портит страсти. Получая без труда минутные успехи, не ищем и не желаем успехов трудных. Притом же, видя людей вблизи, менее ценим их мнение. Вообще чувство славы имеет в себе нечто умственное и глубокое, как более питаемое уединением. Так-то предавшись делам великим, поражаешься быстроте жизни. Хотим продолжить на будущее бытие одной минуты. В таком лишь расстоянии от людей предстает потомство, слава является, окружая величием, терзает душу, волнует воображение. Будучи видима только издали, она поражает. Она подобна богам наших праотцев, которых они укрывали в густых лесах и во мраке: боги незримые были священнее для молящихся.

Спрашивают: ужели должность не может заменить славы? Ответ очень прост: пускай справедливость управляет судьбою народов, пусть всякий человек будет великим человеком, и слава должна исчезнуть. Я не думаю клеветать на людей. Верю, что были смертные, творившие добро по долгу, единственно по долгу; великие дела их совершались в молчании. Афины воздвигнули алтарь богу неизвестному. Человечество могло бы воздвигнуть статую с сей надписью: Добродетельным, которых не знают. Неизвестные при жизни, забвенные по смерти тем более возвышались, чем менее искали блеска. Но мы не должны обольщать самих себя: сии великодушные, ограниченные собою, идущие смело под руководством рассудка, перед лицом бога, немногочисленны. Большая часть людей, слабых натурою, слабых несообразностью рассудка и характера, еще более влиянием примеров, обольщаемых преимуществами, которые слишком часто случайные обстоятельства соединяют с пороком и унижением, не имеющих довольно мужества, чтобы быть постоянными в добре и постоянными во зле, переменчивых, нерешительных в том и в другом от угрызений совести, познают добродетель, силу своего истинного признания своею слабостью. Таким людям нужна подпора. Должность,

соединенная с желанием прославиться, влечет их к добродетели. Они бы осмелились краснеть перед собою и не устрашились взоров народа и своего века. Для людей сильных и возвышенных душою слава не есть подпора, а только одно вознаграждение. Мы обвиняем афинян, осуждавших на изгнание великих людей своих: остракизм повсюду. Страшное чудовище обтекает землю, бесславит добродетель, унижает величие. Жезлом, подобным Тарквиневу⁵, низлагает оно в своем беге всё, что стремится возвыситься. Лишь только явилось достоинство, родилась зависть и гонение предстало, но в ту же минуту природа произвела славу для перевеса несчастья.

Гений и добродетель, гонимые на земле, стремятся умчаться в оный мечтательный мир, в котором живет для них справедливость. Там Сократ торжествует, Галилей оправдан, Бекон — великий человек. Там Цицерон не страшится железа убийцы и Демосфен — отравы. Там Вергилий выше Августа, Корнель наряду с Конде. Там (1 слово нрзб.) и достоинства не покупаются золотом. Всякий с одним Гением и добродетелью берет по праву свое место. Душа угнетенная подымается, возвращает прекрасное величие. Оскорбляемый в течение жизни видит, по крайней мере, славу при входе мавзолея, которым покрывают его пепел. Тут исчезает зависть и бессмертие начинается.

Везде справедливость и корыстолюбие воздавали честь великим людям, и отселе сии статуи, надписи, обелиски; отселе установление панегириков, общее всем странам и народам. Рассмотрим, что было сии (1 слово нрзб.) в разное время у разных наций. Какие люди их удостоены, каким людям в них отказали? Как и когда могущество похищало их вместо добродетели; как установленное для блага народов иногда обращалось в их гибель, развращая государей? Изобразим (1 слово нрзб.) достоинство или низость писателей-панегиристов⁶. Последуем из века в век за изменениями красноречия и художеств, за их упадком и за их успехами. Будем, озираясь на свидетельства истории, судьями людей, увлеченных похвалами, чтобы иметь яснейшее понятие о духе ораторов и духе времени. Наконец заключим свой опыт некоторыми идеями о роде и свойстве красноречия панегириков-ораторов. Мы не намерены сочинять поэтики, не думаем предписывать правил, хотим только научиться. Известно, что гений есть первое правило. Кто это имеет, тот без труда найдет остальное. Несправедливо, хотя очень обыкновенно — заключить искусство в границах своего таланта.

Но тем, которым могут не понравиться некоторые суждения наши о знаменитых людях, мы скажем одно слово: мы беспристрастны. Справедливость была нашим первым и последним чувством. Окидывая взором собрание людей, осыпанных похвалами, нельзя иногда удержаться

от сильного негодования. Многие панегирики похожи на те статуи, которые в Риме воздвигали в честь кесарей и были разбиваемы, как скоро исчезал предмет поклонения. Оставим корыстолюбию и страху рассыпать хвалы свои: это вечный договор между сильным и слабым. Но строгое потомство не имеет страха, должностью свободною может любить и ненавидеть, посрамить и оправдывать согласно с сердцем своим и справедливостью. Как, ужели и после веков должны мы щадить гробы, уважать пеплы?

ГЛАВА ВТОРАЯ. О ПОХВАЛАХ СВЯЩЕННЫХ И ГИМНАХ

Происхождение похвал теряется в великой древности. Мы найдем его в первых гимнах, петых божеству, природе; внушенных удивлением и благодарностью. Обитатель природы должен был поразиться великим зрелищем чудес ее. Пространство неба, глубина лесов, необозримость морей, сии поля, богатые, разнообразные, сие неисчислимое множество существ, живых и чувствительных, созданных украшать его жилище, всё сие необъятное целое должно было изумить его душу, оставить на ней впечатление величия.

Сим чувством раскрылось в нем другое, он заметил в природе, столь величественной и прекрасной, тесную связь с самим собою. Звезды озарили его своим блеском. Плоды рождались под его ногами, падали с ветвей, чтобы утолить его голод. Древесная тень предлагала ему прохладу и мирное убежище. Во время сна его небеса его одевались покровом и осыпали землю светом кротким и спокойным. Пораженный сими чудесами, он чувствует, что причина их вне его, что вся громада творения есть дело существа, не объемлемого чувствами, но явного по своей благодати. Он ищет его в сем уединенном мире, на который брошен неизвестно откуда, на земле говорит об нем с небесами, с землею, со всею вселенною, повсюду его слышит, повсюду видит и в иступлении соединяет свой голос с голосом восхищенной и торжественной природы. С вершины утеса, из глубины покойной долины, при громе рек и потоков, стремящихся под его ногами, он славит гимном великое божество, которого присутствием поражен повсюду, которым живет и чувствует.

Первый гимн, воспетый в сем уединении мира, был великою эпохою для человеческого рода. Узрели на полях отцов, окруженных детьми, прославляющих вечного бога. Скоро узрели старца при виде богатой жатвы, поднимающего руки к небу и обучающего молиться.

В то время славили бога при восхождении солнца. Оно казалось первым творением, которое возвращало вселенную человеку. Славили при наступлении ночь, мрак ее и молчание вселяли ужас; славили при начале

года, при всякой перемене годичной, при всяком изменении лунном. Человек, еще уверенный в дарах природы, как будто удивлялся всякую минуту, что не был ею оставлен, и беспорядок, им замечаемый на земле еще дикой, возвышал в глазах его порядок небесный.

После, у самых просвещенных, прославляли богов при всяком неожиданном счастье, при всяком ужасном бедствии. Во время язвы и войны, когда решительность сражения терялась, когда погибали тысячи от заразы, когда народ во время ночи видел ужасную тень, бледную и грозную — перед стенами города, священники, окруженные многочисленной толпой, стремились во храмы, курили жертвы на алтарях, и вместе подымая руки к небу, пели новые гимны в честь бессмертных.

В сие время ужасов гимны оживлялись воображением и дышали пламенным (1 слово нрзб.); человек в борьбе с природою, при виде своей слабости, более поражен идеями величия. Всё расширяется в глазах его. Слова получают возвышенность мыслей. Изображения его сильны. Он берет из всей природы подобия, чтобы достойно славить ее властителя. Иногда слог его так таинственен, как существо, с которым он беседует. Он ищет новой, неизвестной гармонии в звуках, чтобы дать божеству жилище, ему пристойное. Он высек из мрамора колонны, возвысил на них своды, чтобы сходно изобразить его, увеличил пропорции, дал черты разительные своим изображениям, чтобы к ним приблизиться, во дни торжеств переменил ход свой, изобрел движения мирные и стройные. Наконец, чтобы хвалить его, желает языка необыкновенного, совершеннейшего, творит музыку и поэзию.

О СРЕДСТВАХ ДАТЬ СОВЕРШЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ. СОЧИНЕНИЕ САМУИЛА КРУЗИУСА

Перевод с немецкого

В о з д у х

Здоровье всего дороже на свете. Больной не способен ни к работе, ни к удовольствию. Природа, произведя человека, не дала ему ничего, кроме здорового тела, следовательно, быть здоровым есть его определение, в противном случае он бы не мог достигнуть той цели, для которой Провидение наградило его жизнью.

Мы, конечно, всегда могли бы пользоваться совершенным здоровьем, но расслабление и изнеженность, происшедшие от неограниченной роскоши, удалили нас от многих действительных средств сохранения жизни и здоровья, что мы — если судить по большей части людей —

совершенно не знаем, в чем состоит сие средство (нрзб.), и каким образом даже употребить их в свою пользу.

Между прочими важными потребностями человеческой жизни самая важная и более других забытая есть воздух. Это не новость; древние знали цену воздуха и умели им пользоваться для излечения многих людей. Человек в утробе матерней не имеет нужды в воздухе: он питается соками своей матери, но воздух делается необходимейшею потребностью его жизни, как скоро он выходит на свет; всем известно, что не каждое животное существо, лишенное воздуха, не может ни действовать, ни сохранять бытия своего, но весьма немногие, по несчастью, знают, что настоящая жизнь младенца начинается с действия наружного воздуха на его легкие. Многие младенцы почитались мертворожденными тогда, когда они при вступлении своем в поприще жизни были задушены испорченным воздухом и, следовательно, не допущены к деятельности, соединенной с прямою жизнью животных^(*).

Женщина мучается родами; ее кладут на постелю, запирают в маленькую темную комнату; несколько старых женщин, родных или знакомых, теснятся вокруг нее, желая подать ей помощь, беспокоят ее расспросами, докучают ей своей заботливостью; иногда мучения продолжаются 8 или 10 часов: все окна и двери закупорены, зажигают свечи или лампаду, задергивают окна гардинами, одним словом, портят совершенно воздух и не дают ему никакого прохода.

Если родильница должна разрешиться от бремени, то греют ее парными банями, от которых иногда бывает очень вредный чад. Кто случался при таковых сценах, то знают, как женщины сильно в родах потеют, тот легко может увериться, что воздух при всех вышесказанных обстоятельствах должен быть совершенно испорчен и совершенно лишен всех своих животворящих качеств. Случалось, что мне самому делалось дурно при входе в такие горницы, в которых нельзя долго пробыть без совершенного удушья. Кажется, каково может быть действие такого воздуха на легкое новорожденного младенца?

Воздух действует на человека или полным давлением на все его тело, или сообщением с его легким, в которое входит посредством носа и рта и в котором своею освежительною силою прохлаждает и освежает кровь, разливающуюся по всему телу, оставляя в нем самые лучшие благородные части своего состава. Итак, младенческая жизнь или совершенно не может иметь начала, если воздух не дойдет до легкого, или (нрзб.) пре-

(*) Я не увеличиваю и утверждаю точно то, что имею причину думать по многократному опыту.

кратится, если воздуха не достанет, либо если дошедший воздух будет чрезмерно гнил и испорчен.

Далее воздух обременяет человеческое тело тяжестью в 32 и 40 фунтов. Так что оно служит средоточием сей воздушной массы, со всех сторон одинаковым образом сдавливается. Сие давление воздуха сообщает нашим сокам равное, однообразное движение, а сие движение сохраняет жизнь и здоровье человеческое. В то самое время, когда воздух обременяет наружность тела, некоторые его части входят во внутренность (нрзб.), смешиваются с кровью (нрзб.). Если воздух, в котором мы находимся, чист, то и с кровью смешиваются чистые воздушные части; если же, напротив, он гнил и испорчен, то и в соки могут войти одни только гнилые и испорченные части его. Чем свободнее и чище воздух, то лучше и способнее для поддержания жизни. Чем более будет заперта комната и чем более в ней будет находиться разнородных вещей, тем и самый воздух, ее наполняющий, будет противнее жизни и тяжелее для дыхания. Ничто так не портит комнатного воздуха, как животные и особенно человек теми частями, которые они сообщают ему дыханием и испариной. Одним словом, кто хочет сохранить свое здоровье, тот должен стараться дышать самым чистым воздухом.

Наиболее чистый воздух необходим для новорожденного, покуда младенец находится в утробе матерней, по тех пор кровь его не имеет нужды в собственном (1 слово нрзб.) и прохладении воздушном. Он получает их через легкое матери. Но в минуту рождения воздух мгновенно начинает действовать на его собственное легкое и начинает давить его тело со всех сторон для приведения соков его в натуральное обращение.

Так как до самого рождения младенца легкое его было в совершенном и беспрепятственном спокойствии, так как оно не имело никакой привычки принятия воздуха, то и натурально должно оно быть самую нежную и раздражительную часть младенческого тела. Следовательно, самый чистый воздух есть первая важнейшая потребность рождающегося младенца. Напротив, воздух испорченный, устремляясь на его легкое, может задушить его в одно мгновение и прежде, нежели настоящая жизнь его (начнет?) свое натуральное течение.

Всякий отец и всякая повивальная бабка должны знать сию неоспоримую важность свежего воздуха и положить за правило доставлять его новорождающемуся младенцу во всей чистоте и неиспорченности.

Должно очищать воздух в горнице родильницы открытием окон или вентиляторов, стараясь, однако же, сохранить их от сквозного ветра, ибо он легко может быть им вреден по причине сильного пота, который выступает на теле их во время мучения.

Возобновление комнатного воздуха имеет еще и ту существенную выгоду, что оно ускоряет деторождение; свежий воздух упруг — свойство, которое теряет от примеса всякого рода. От недостатка упругости воздух бывает тяжел и может умножить тоску родильницы, также и замедлить само разрешение от бремени. Напротив, свежий упругий воздух помогает, заставляя матку сильнее и скорее сжиматься, что совершенно невозможно при недостатке упругости.

По несчастью, весьма редко при избыточных кровотечениях родильницы обращают внимание на воздух. Это происходит от того, что мало знают силы простой природы и более спрашивают с аптек и ожидают помощи от лекарств и рецептов. Тотчас по рождении младенца начинают думать о пище его и питье, которое, может быть, не менее как через два дня делается настоящею его потребностью, и не воображают, что первая его нужда от самой колыбели до гроба должен быть здоровый воздух. Смотря на обыкновенное воспитание детей, рассудительный человек удостоверяется, что люди весьма мало знают и уважают существенную потребность своей жизни, потребности, которым почти всегда легко удовлетворить можно, ибо они натуральны. Например: воздух. Сколь многие не пользуются сею стихиею животворною и благодетельною, даже боятся ее и чаще всего похищают ее у детей своих.

Сие лишение чистого воздуха бывает по большей части причиною многих детских болезней и даже преждевременной их смерти. Если гнилой воздух может быть причиною самой болезни, то он должен быть вреден для больных, и свежесть его необходимо нужна для их подкрепления.

Дети обыкновенно в первые недели бывают почти неотлучно при матерях своих и должны с ними нередко терпеть одинакую участь, будучи закутанными в постели, в натопленной или закупоренной со всех сторон горнице, совершенно лишенной свежего воздуха. Всякому человеку, знакомому с натурою родильницы, известно, что воздух вокруг нее по натуральным причинам также бывает нечист и наполнен дурными испарениями, как и вокруг младенца, следовательно, тем необходимее для нее частые в нем перемены и частое его освежение, без чего и мать, и младенец могут быть подвержены болезням.

Я намерен прежде назначить те ошибки, которые обыкновенно делают в употреблении воздуха, потом перейду к предложению средств, как самым лучшим и полезным образом употребить его.

Первая ошибка состоит в чрезмерности тепла. Младенца кладут в постель и сколько можно приближают к печи; думают, что это должно быть для него полезно и напротив, обыкновенно через это причиняют первые младенческие болезни.

Das Kindespech, гнилой, желчный кал, находящийся в кишках младенца, разводящийся чрезмерной теплотою, входит в кровь и показывает так называемую детскую молочницу. Сия теплота тем опаснее при испорченном воздухе, что свежий воздух обыкновенно служит лучшим предохранением от гнилости^(*).

Сколь немного известно, что мы дыханием вбираем в себя такие воздушные части, которые необходимы для сохранения жизни, которые смешиваются с кровью, ее прохлаждают и поддерживают ее жизненные силы и соки, предохраняют от порчи и что, напротив, в то же самое время посредством испарины впускаем в воздух такие части своего тела, которые не только негодны для поддержания жизни, но даже могли быть причиною болезни и самой смерти. Когда бы (1 слово нрзб.) перешли из воздуха в наше тело, то были бы вокруг нас в большом количестве.

О ТАИНСТВЕННОСТИ

Il n'est rien de beau, de doux, de grand dans la vie que les choses mystérieuses. Первое, чего бы я желал от Шатобриана, есть дефиниция того, что он называет таинственностью, тайною. Мне кажется *myster* больше значит таинственность, нежели тайна *secret*. Таинственность есть то, что всякий знать может, но что соединено с некоторою неясностью или, лучше сказать, что представляется мне в своем виде, под покровом, который всякий имеет право приподнять; тайна, напротив, есть то, что от всех скрывается с намерением, что известно только немногим и что никому не должно быть известно, кроме сих немногих. — Таинственностью в физическом и моральном мире называю то, о чем я не имею совершенно ясной идеи, что понимаю одним только чувством. Бытие Бога есть таинство, основанное меньше на удостоверении ума, нежели на удостоверении чувства; я в Бытии Бога не так уверен, как в бытии той вещи, которая у меня перед глазами. Одного я только чувствую, не объемя его физическими чувствами, но убеждаясь внутренним, темным и сильным чувством и основывая уверение свое в невидимой причине на видимых действиях. — Я не знаю, почему одно только таинственное

(*) Детская молочница почитается (нрзб.) необходимой для детей болезнью, потому что бывает почти у всех детей. Я уверен, что этому причиною худое с ними обращение, жаркий и нечистый воздух. В народе есть вредный предрассудок насчет молочницы, что каждый человек непременно ей подвержен, что каждый человек необходимо один раз в жизни должен страдать сей болезнью, которая в зрелых летах всегда смертельна. Я, напротив, (нрзб.) утверждаю, что сия болезнь, столь общая, конечно бы исчезла совсем, когда со всеми младенцами иным образом обходились.

прекрасно, сладко, возвышенно? Не слишком ли это вообще сказано? Конечно, все таинственное приводит душу в большее напряжение: натурально видеть вещь и желать проникнуть все то, что в ней заключено неясного и скрытного! Может быть, таинственность приятна и потому, что человек больше любит воображать, нежели знать и видеть. От чего отдаленные виды так приятны? От того, что они представляются неясно! От того, что глаз, видя предметы, оставляет, однако, и свободу воображению (которое не любит никогда покоиться) украшать их. С идеею мрака всегда соединена таинственность. Темнота лесов всегда приводит в некоторый ужас, который очень приятен для сердца; этот ужас есть не иное что, как неизвестность предметов, нас окружающих, Можешь все вообразить вокруг себя, потому что ничего не видишь. Мертвое молчание производит иногда то же действие: всякий звук заключает в себе понятие больше или меньше явное о той вещи, которая производит его, как же скоро все молчит, то воображение, ни на что особенно не устремленное, все почитает возможным, гораздо ужаснее умом вообразить вой волчий в таком месте, которое наполнено волками и в котором находишься один, посреди ночи, нежели слышать и видеть пред собою волка: ожидание опасности, усиленное воображением, соединяется с ужасом, который тогда вдвое действует! Но возвратимся к своему предмету! Можно ли поверить, чтобы в жизни только то было возвышенно, сладко и прекрасно, что таинственно. Согласен, что оно может быть и приятным, и высоким! Но кроме таинственного, много вещей в мире и моральном, и физическом производят сии впечатления: что найдете таинственного в восхождении и захождении солнца, в звездном небе, в картине моря, в альпийских лугах и прочее! Что найдете таинственного и в патриотизме Брута, и благодетельности и страстном человеколюбии Жан-Поля¹, в характере Генриха Великого, в смерти Сократа, в самой кончине Иисуса Христа, которая сама по себе, не в отношении к религии величественна и восхитительна! — Темные, неясные чувства сладостны или чудесны *merveilleux*; как вы говорите — (хотя этот термин здесь неприличен, ибо что такое *sentiments merveilleux*, какие это чувства? Чувство необыкновенное приятное и необыкновенно противно равноценно могут быть чудесны, потому что все чрезвычайное, близкое к сверхъестественному есть чудесно). — Но чувства ясные, такие, с которыми соединена какая-нибудь ясная полная идея, конечно, должны быть приятнее; с неясностью или неизвестностью всегда соединено какое-то беспокойство в большем или меньшем градусе; напротив, все ясное оставляет нас спокойными; мы наслаждаемся совершенно сами собою; неясные идеи доставляют душе удовольствия сладкие, меланхолические (ибо меланхо-

лия есть некоторым образом недостаток). Ясные напротив доставляют удовольствия живейшие, ибо они полнее, ощутительнее. Первые могут быть продолжительны, ибо неизвестное всегда ново и возбудительно; последние должны быть короче, ибо то, что знакомо, делается скучным.

Пр. <имечание> к Шатобриану

<ТО НЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ НАЧАЛА...>

То не может не иметь начала, что изменяется; всякая перемена есть новый образ существа. Все, что есть ново, предполагает начало. Переход из старого бытия в новое не иначе может быть, как с прекращением старого и с началом нового: одно производит другое. Начало чего-нибудь предполагает его прежнее несуществование и, что все равно, другой образ существования.

Творец не знает возможности. Возможность есть то, что не существует еще, а может существовать. Что возможно в отношении к творческому могуществу и что не противоречит его свойствам, то не может не существовать; но между намерением и исполнением Творца не может быть никакого промежутка. Если изобразить бытие Творца одним словом, то можно назвать его беспрестанным, всегда одинаким наслаждением, непостижимым и верховным. Он не творит, а сохраняет бытие существ, им произведенных, соответственно их натуре, их месту, их способностям.

Несовершенство есть свойство создания. Совершенство есть свойство Создателя. Всякая тварь совершенна сама по себе, так как — творение, и несовершенна в сравнении с Творцом. Если бы всякая тварь имела в себе все возможное совершенство, то она была бы равна Творцу. Постепенность и следственно большее или меньшее совершенство, с которым натурально соединено добро и зло, есть принадлежность созданных вещей, которые необходимо должны быть несовершеннее своего Создателя. Божество не могло бы создать верховное совершенство, ибо оно не могло создать самого себя, но оно (может быть) соединило все творения с собою непрерывною цепью. Зло существует в природе; оно не есть создание Творца и следствие несовершенства создания. Неизвестно, входило ли оно в план Творца, но то известно, что в природе во всем видимо намерение, заметна гармония и постепенность. Идея постепенности заключает в себе и идею несовершенства, следовательно, и зла.

Несколько миллионов зерен составляют кучу, которая только до тех пор кажется кучею, покуда составлена из зерен: зерна могут существо-

вать каждое особенно, но без их состава куча существовать не может. Берут зерно, с каждым зерном куча уменьшается, наконец, исчезает. Существо ее или явление кончилось, но части ее существуют; сии части, каждая сама по себе, суть составные целые, которых целость также может исчезнуть. Бытие чего-нибудь есть явление, происходящее от состава многих частей; части сии разрушаются, и явление исчезает, от различия организации или состава и от различия самых вещей, в состав входящих, происходит и различие явления, начиная от грубого камня до коралла, от коралла до животорастений, от животорастений до человека. Следовательно, в природе одни только явления имеют начало и конец; в природе все составляется и разрушается, но ничто не гибнет. Итак, если чему-нибудь есть конец, то чему-нибудь есть и начало. Следовательно, явления, имеющие начало и конец, не могли иметь вечного последствия, надобно, чтобы они получили свое начало в такой причине, которая сама по себе безначальна. Причина сия разумна, ибо в природе во всем видно намерение. Единственна, ибо вечна, а чтоечно, то неограниченно, следовательно, не допускает другой неограниченности вне себя. Нельзя назвать первую причину матерью и в движении, тогда мир был бы безначальным последствием явлений, имеющих начало и конец, что есть безумство; или если бы материя была не в беспрестанном движении, то она бы должна была получить его, что предполагает внешнюю причину, производящую сие движение и, следовательно, две первоначальные причины — другая невозможность. Божество — это неоспоримо; но человек, творение, не может судить о Творце; это натурально и необходимо! Он может судить об одних только отношениях к самому себе, следственно, о самом Творце только в сих отношениях.

Что чувствует свое бытие, то может ли иметь конец! Твари, не имеющие самочувствования, имеют начало и конец. Твари, одаренные самочувствованием, имеют одно только начало, но они бесконечны! Божество безначально и бесконечно!

Обмануться в людях можно двояким образом: по легковёрности и по великости души. Легковёрный человек верит злу также легко, как и добру. Его доверенность есть глупость, леность ума или недостаток размышления. Он принимает все не так, как видит и так, как ему показывают, следовательно, он в совершенной от других зависимости, и его суждения весьма нетверды. Благородный человек, чувствуя самого себя,

все видит с хорошей стороны, ибо всему приписывает свое собственное чувство, все основывает на своем собственном чувстве, следовательно, все должно казаться ему прекрасным. Он будет легко обманут пороком, сокрытым под личиною, потому что не может иметь подозрения, которое есть почти всегда тайное признание своих собственных пороков: ищет в других того же, что в самом себе всегда находит. Легковерие в умном человеке с твердым характером есть истинный признак красоты душевной. Идея зла так ему противна, что ум его сам собою не может отличить ее, надобно, чтобы порок сам перед ним обнаружился.

О ФИЛОСОФИИ

(Сионский вестник, с. 13)

Философия во все входит, или лучше сказать, все должно быть основано на здравом рассудке, но сама философия не есть ни поэзия, ни история, ни физика и пр.: она есть наука отвлеченностей; ум, приученный рассматривать и судить, привыкший делать отвлечения, есть ум философический. — Нет, я ошибаюсь. Философия (по знаменованию сего слова) есть любовь к мудрости и истине; следовательно, все, что приближает нас к познанию истины, принадлежит к философии; скопление множества истин всякого рода есть мудрость: любовь к сей мудрости, искание сей мудрости есть философия; следовательно, нет особенной науки, называемой философию: она есть, напротив, основание всех наук и искусств, которых цель есть истинное и изящное: наука отвлеченностей, т. е. наука о тайных вещах, которые не подлежат физическим чувствам, есть метафизика.

Предмет философии есть истина, истина во всем, в видимом и невидимом, а мудрость есть результат философических познаний; человек, все или почти все знающий, знакомый со всем, что окружает его в природе, есть мудрец. Всеведение есть характер Божества, следовательно, многоведение есть характер человека; он создан для сей цели: это неоспоримо, это доказывается тем, что он может приобретать познания, а в природе возможность или способность есть намерение Творца. Человек способен и может мыслить, следовательно, намерение Творца было заставить его мыслить; он может делать добро или зло, следовательно, намерение Творца было дать ему волю выбирать между добром и злом, из которых, однако, с первым соединил он сладкое чувство, а с последним неприятное и горькое.

Мне кажется, тот человек имеет самую лучшую и твердую веру, кто верит в бытие Бога в простоте души, в ком сия идея тем укорененнее, что он не предполагает возможности ее разбирать и анализировать: всякий разбор есть некоторым образом сомнение.

Стараешься удостовериться, следовательно, хочешь укрепить в себе веру, которая еще колеблется. Мы ничего никогда не узнаем о существовании Бога, о тайне всесоздания, о вечности; следовательно, рассуждая об этом, будем только переходить от одной гипотезы к другой, будем догадываться и не приобретем ничего верного. Доказать себе бытие Бога так, как геометрическую проблему, — не послужит ни к чему: идея Божества должна быть соединена с каждой минутой жизни, она не может быть посторонней, временной, следовательно, должна быть всегдашним неразлучным с нами чувством, источником других чувств.

Доказательство ума не производит счастья, оно только может утверждать его; я могу быть уверен, что Клеант прекрасный, благородный человек, но мне должно любить его, чтобы быть его другом и в дружбе его найти свое счастье. Кто чувством уверен в бытии Бога и бессмертии, тому не нужна подпора размышления, он должен только питаться и наслаждаться своим чувством, которое никогда не может исчезнуть; слишком для него важно и слишком неразлучно с его счастьем. Конечно, оно не всегда может быть равно живо, но оно распространяет на всю жизнь его некоторую ясность и спокойствие, в которых единственно заключено земное счастье, а может быть, и небесное. Вопрос: всякий ли человек способен иметь сие чувство, не зависит ли оно более от особенного образования его души, от большего или меньшего совершенства его чувствительности и рассудка: если такого рода чувство суть удел только немногих, то где найдет свое счастье такой человек, которому природа отказала в сих возвышенных наслаждениях и как истолковать сие пристрастие природы. Если же сие чувство вселяется благодатью, то не нужнее ли благодать такому человеку, который будучи ослеплен и унижен духом, не в состоянии даже и желать себе перемены, и неудовольствие на себя есть некоторым образом еще чувство, а такой человек потерял способность чувствовать.

Бесчувственность есть ад того,
Кто зло творит без сожаленья¹.

Совершенная правда! Но сия бесчувственность лишает возможности (1 слово нрзб.): она есть слепота душевная. Поневоле не будешь идти прямой дорогою, если не будешь ее видеть! Что же, если сбился с нее нечувствительно, если не имел руководителя, если получил от природы больше склонности к злу, нежели к добру!

Система материалистов есть самая бедная система; она разочаровывает мир, у добрых отнимает их лучшие наслаждения, а злобного совер-

шенно ожесточает и делает необузданным. Человек, добрый по натуре своей, зная по опыту, как сладостно добро, не согласится никогда променять его на зло, но он будет лишен деятельнейшего побуждения быть добрым; жить для того, чтобы исчезнуть, узнать наслаждения душевные для того, чтобы навек их утратить! Как ничтожна жизнь в сравнении с теми обширными понятиями о вечности и пространстве, которые мы имеем! И неужели мы приобретаем сии понятия, столь высокие, только для того, чтобы в них обмануться! Неужели то, что есть самого возвышенного в природе, что есть источник вечной истинной возвышенности, есть обман! Чего же можно искать и желать в природе, когда самое вожделеннейшее невозможно! И на что жить! Холодность и нечувствительность душевная суть источники истинного материализма (я не говорю о ложном, которое не иное что, как усилие заглушить упреки совести). Материалист не способен ничем прямо наслаждаться; для него настоящая минута исчезает навеки и в будущем готовит одно (1 слово нрзб.); следовательно, его наслаждения слишком быстры, неверны и всегда соединены с идеею о тленности, печальною и тяжкою. Материалист — честный человек, только не находит в душе своей довольно живости для вознесения к высоким идеям Божества и бессмертия; столь тяжело и ужасно сие состояние мертвого бесчувствия, должно таить свою систему в глубине своей уши, ибо может геометрически убежден, что она убийственна и несчастна, следовательно, не должна быть сообщаема. Такая система не могла бы быть полезна и тогда, когда бы была истинна; польза истины заключается в ее действиях! Какие же действия материализма! На что человеку, страждущему смертною болезнью, открывать, что он умрет непременно, на что к страданию прибавлять безнадежную горесть; я могу невольно принимать ложь за истину, но могу видеть ясно, полезно ли будет другим сообщение того, что я почитаю истиною; моя должность о сем подумать, и если моя философия губительна, не губить ею других счастливых своим образом мыслей, обманчивым или истинным, что можно назвать прямо истинным в здешнем мире, где всякий или почти всякий человек имеет свой собственный образ мыслей, который кажется ему истинным, тогда как все другие он почитает ложными? Материализм есть болезнь; писатель, проповедующий сию систему — есть человек без правил, который хочет передать себе больше, чем другим, скучает своим страданием и хочет приобщить к нему других, не страдающих, но которых спокойствие его оскорбляет. Писатель-материалист есть, конечно, или весьма дурной человек, или весьма ветреный и самолюбивый, действующий не для того, чтобы приносить людям пользу, но для того, чтобы сделаться известным.

Философия всему служит основанием: цель ее есть мудрость; принадлежность истинной мудрости есть счастье, следовательно, философия состоит не в одних умозрениях и умствованиях, но в действиях, основанных на умозрении. Один практический философ может назваться истинным философом.

Способность познавать истину есть, конечно, дар Божий, но как различно люди наделены сим даром. Одни имеют ум, который на все устремляется, все замечает, и чувство, которое всем трогается и все объедает, в другом и ум, и сердце тупы. Как растолковать сию загадку. Грехопадение нимало ее не объясняет. Потомки не должны страдать за праотцов, может ли это быть согласно с благостью Бога и его справедливостью.

Неопытный человек видит людей такими, какими он их хочет видеть, а опытный такими, каковы они в самом деле, по крайней мере, он осторожнее и медлительнее в своих об них замечаниях. Впрочем, большая или меньшая подозрительность зависит от характера, один склоннее верить злу и ожидает только опытов, чтобы утвердиться в своей вере, сия склонность, кажется, должна быть неразлучною с самой склонностью ко злу или с нечувствительностью, холодностью сердца, которое поселяется в нас природою, укореняется воспитанием и обстоятельствами. Другой склоннее верить добру, потому что он сам добр, такой человек не сделается никогда недоверчивым от опытности; несчастья могут отдалить его от людей, но сие отдаление будет более действием досады, нежели неверия в добро; сердце его останется при нем, для такого человека опытность не может быть губельна: *Tout est sain pour les sains*, говорил М. Sevine²: я прибавил бы: *pourquoi donc les malsains existent!* Для чего рождаются они с сим горестным и несчастным расположением к душевным болезням, которое более или менее усиливается с годами и никогда совершенно не изглаживается, тогда как ясная и светлая душа, в которую натура вложила семена добра, сама собою наслаждается более и более, сама в себе находит свое блаженство и все свои награды. Одно добро делает счастье, согласен. Человек, в котором дурные склонности укоренились, может с ними бороться и не делать зла; но этого мало для счастья. Оно состоит не в неделании зла, а в делании добра и в наслаждении сими действиями. Но возвратимся к опытности: она в холодной и нечувствительной душе произведет недоверчивость, она не разрушит ее заблуждений, потому что такая душа не может иметь сладких заблуждений чувствительности; и если она не расположена прямо ко злу, то, конечно, и к добру, и к злу равнодушна. Опытность для доброго сердца есть собрание некоторых, может быть, несчастных и плохих опытов, которые, конечно, оставят в нем глубокие раны, разрушат некоторую

часть ее заблуждения, но не произведут общей недоверчивости, ибо всякая недоверчивость есть сомнение, которое не согласно с доброю сердца. Осторожность есть опасение, произведенное несчастьями, но она не уничтожает чувствительности и, напротив, должна быть с ней неразлучна, ибо сердце боится возобновления тех мучений, которые оно уже испытало. Нужно стечение чрезвычайных несчастий для произведения недоверчивости и ожесточения в добром сердце, такое стечение редко. Но и тогда, мне кажется, доброе сердце только расположено становится на людей, его оскорбивших; оно их боится, но всегда готово верить им и искать в них того, что в самом себе находит; заблуждения чувствительности исчезают только с самою чувствительностью, а опытность, напротив, делает их только основательнее. Сверх того, всегда ли опытность несчастная; не должно забывать и того, что с тяжелыми опытами приобретаются и приятные: одно другое вознаграждает. Опытность необходима для человека, иначе он будет беспрестанно жертвою; но сия опытность не должна разрушать сладкого чувства доверенности; в противном случае оно отдалит человека от человека и разрушит все его связи: одна любовь делает человека деятельным; горе тому, кто утратил сию любовь, в целом мире не будет видеть ничего, кроме себя; такой человек не может и самим собою наслаждаться, ибо всякое наслаждение основано на добре, а добро не может существовать для человека, ограничившего весь мир одним собою.

И что такое заблуждение! Мои чувства для меня истина, потому что они согласны с моим образом чувствовать; те же самые чувства будут ложны для другого только потому, что не согласны с его образом чувства! Не должно в людях искать себя и требовать от них одинаких чувств в одних и тех же положениях. Что ж заблуждение и что истина? И должно ли мне почитать свои чувства ложными потому, что я узнал по опыту их несогласие с образом чувства большей части других людей. Опытность есть не иное что, как знание сего несогласия, она научает только меньше искать в других того, что в самом себе находишь. Неопытный почитает себя центром всего, а опытный думает, что он только одна из бесчисленных разнообразностей, составляющих необъятную целость, имеющих связь и, однако, разделенных между собою. Требуя от других только того, что они могут дать, а не то, что бы ты мог дать, будучи на их месте: это есть правило благоразумия, не проистекающее от недоверчивости, а больше от знания человеческого сердца.

О ПРОДОЛЖЕНИИ ЖИЗНИ. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГУФЛАНДА

§ 1. Что должно сделать для положения точных правил продолжения жизни?

1. Как можно яснее и точнее определить понятие о жизни и жизненном начале. 2. Вопросить натуру о продолжении жизни вообще и частно в разных организованных телах. 3. Собрать примеры, сравнить и, наконец 4. Из разных обстоятельств, способствующих к продолжению и сокращению жизни, заключить о самых вероятнейших причинах ее продолжительности или краткости.

§ 2. Жизненное начало или сущность [*principe de vie*].

Жизненное начало или жизненная сущность есть одно из самых общих сильных и неизъяснимых начал в природе. Оно всё движет, наполняет и, может быть, есть причина всех других физических начал организованного мира. Оно всё сохраняет, поддерживает и обновляет. Оно, наконец, будучи оживлено превосходнейшею организацией человека, воспламеняет ее мысленную, духовную силу и дает ему не только чувство жизни, но и саму способность наслаждаться жизнью. NB (1).

Рассматривая сие начало, находим в нем следующие свойства и извлекаем следующие правила:

Жизненное начало есть сила природы (*agent*), самая гибкая, самая быстрая, самая скрытная.

Хотя оно входит во все тела вообще, но имеет больше сродства с некоторыми и именно с организованными телами:

Оно может существовать явно и скрытно, в состоянии развития [*development*] и не-развития [*non-development*]. В последнем случае оно незаметно; а существо его доказывается только тем, что оно сохраняет тело и не дает ему разрушиться.

Жизненное начало имеет с организованными телами неодинакое сношение, смотря по различию их природы. Заметно то, что оно кажется не столь тесно соединенным с такими телами, в которых оно существует во всей своей силе и совершенстве. Полипы.

Жизненное начало дает каждому телу собственный ему характер и частное отношение ко всему материальному миру, то есть ко всем другим физическим телам, какие бы они ни были: производит в нем способность принимать впечатления, как и действовать на них обратно (*Stimulents*)

и извлекать его из механического, химического мира, перенося в другой, оживленный, организованный. Впечатления принимаются и отдаются живым телом иначе, нежели телом, не имеющим жизни.

Жизненная сущность сохраняет то тело, которое наполнено ею. Оно не только поддерживает всю систему организации во всей ее целости, но даже противится разрушительным действиям других сущностей в природе, которые или изменяет, или совсем уничтожает. Никакое живое существо не портится, ибо одно только уменьшение жизненной сущности или ее уничтожение может произвести порчу. Жизненная сущность противится разрушению тела, имея силу соединять, поддерживать все части его состава. Она уничтожает действие холода, которое не может вредить телу по тех пор, пока она существует в нем во всей своей силе.

Итак, с уничтожением жизненного начала уничтожается и самая жизнь организованного тела, которая распадается и которою материя опять тогда входит в соединение с химическою, неодушевленною натурою и подчиняется ее закону. Но сие самое разрушение есть не иное что, как действие, посредством которого все части тела, лишенные жизни, в первом своем соединении освобождаются, входят в новый состав и делаются способными для новых действий и нового одушевления. Их видимое разрушение есть не иное что, как переход к новой жизни: одним словом, жизненная сущность оставляет тело не иначе как для нового, теснейшего с ним соединения. NB (2).

Есть в природе такие действия, которые ослабляют и уничтожают жизненное начало; есть, напротив, и такие, которые возбуждают его, усиливают, питают! Между разрушительными действиями может почтяться одним из сильнейших холод, который и, однако ж, будучи умеренным, не разрушает, а подкрепляет сущность жизни, скопляя ее (concentrent), сосредоточивая и предупреждая ее расточение. — Некоторые потрясения, сильные, внезапные, могут быть вредны для жизненного начала, могут или совсем его уничтожить, или производят вредную перемену во внутренней организации частей: сильные душевные движения, громовой удар и тому подобное. — Некоторые физические силы также бывают вредны для жизненного начала, например, запах сгнившего тела, яды и пр. Действия, благодетельные для жизненного начала, имеющие с ним особенное сродство, суть теплота, свет, чистый воздух [или кислород] и вода.

Всякое творение имеет жизнь больше или меньше совершенную, смотря по влиянию, которое имеет на нее свет: с гашением света оно ослабляется, вянет, теряет всю свою живость. Теплота развивает первый зародыш жизни, она дает жизнь, но самая жизнь развивает теплоту и

трудно решить, которая из них есть причина и которая действие. Везде, где есть жизнь, есть и теплота в большем или в меньшем количестве; между ими существует вечная, неразрывная связь.

Воздух необходим для сохранения жизни. Химики называют оксигеном этот тонкий, пламенный, животворный воздух, или лучше сказать, ту часть воздуха, которая содержит в себе всё жизненное и переходит в кровь посредством респирации. — Вода, заключающая в себе кислород, принадлежит к хранителям жизни или к ее принадлежностям: ибо жидкость есть непреходящий признак жизни. — Итак, воздух, свет, теплота и вода необходимы для питания и сохранения жизненной сущности. Всякая другая, грубейшая пища служит только для одного подкрепления органов и противится истощению (*consumption*), возобновляет потерянное.

Другая причина уменьшения или ослабления жизненного начала заключается в потере, происходящей от употребления сил; всякая сила, будучи в действии, уменьшается и, наконец, истощается совершенно, если будет приведена в чрезмерное или долговременное движение. Итак, спокойствие или совершенное прекращение деятельности может быть для нее подкрепительным средством: она скопляется опять и увеличивается.

Непосредственное действие жизненной сущности состоит не в том единственно, чтобы принимать впечатления возбуждающими и обратно на них действовать; но также и в том, чтобы перемещать их в организованную натуру: то есть по законам органическим соединять сущность, входящую в тело, и давать им такую форму, которая согласна с целью организма, то есть пластической, образующей, претворяющей силы.

Жизненная сущность наполняет все части организованного тела, жидкого или твердого, и обнаруживаются различия, смотря по различию органов; в фибрах и нервах — чувствительностью, в мускулах раздражительностью. Действие, которое называется рождением, приращением, видимо и постепенно до той минуты, как тело получает свое определенное совершенство. Достигнув сей степени, оно, однако ж, не прекращается, а только из приращения превращается в беспрестанное возобновление, и сие—то беспрестанное возобновление есть один из первых хранителей живого существа.

§ 3. Жизнь.

Жизнь существа организованного есть не иное что, как состояние свободы и деятельности жизненного начала, с которым неразлучна живость и деятельность органов. Итак, жизненная сущность есть только сила, а

самая жизнь есть действие и всякая жизнь есть не иное что, как непрерывная цепь действий сего (1 слово нрзб.), соединенного с организованным телом; действия, которые должны причинять беспрестанное истощение самой сущности и органов, но которое не иначе может продолжаться, как с беспрестанным возобновлением и органов, и сущности. Следовательно, действие жизни можно назвать беспрестанным истощением, а сущность беспрестанным разрушением и возобновлением бытия нашего. По тех пор, пока жизненное начало имеет всю свою живую силу, все животворные, все жизненные силы имеют верх: тело растет и совершенствуется; мало-помалу силы творческие и силы разрушительные, которых борьба есть принадлежность вечной жизни, приходят в равновесие: в эту эпоху тело ни растет, ни вянет. Наконец, уменьшение жизненной сущности, расслабление органов производит истощение и берет верх над силою возрождения: тело приходит в упадок и, наконец, разрушается. Следовательно: всякое существо имеет три главные периода: приращение, спокойствие, разрушение.

§ 4. Продолжение жизни.

Оно зависит первое: от количества жизненной сущности, находящейся в теле. Чем больше сей сущности, тем долее она не истощается.

2-е. От крепости и приличного качества органов, которые также со временем должны расслабляться и разрушаться и, следовательно, долее сохраняют свою крепость и живость, если будут сами из себя крепче и сильнее.

3-е. От большей или меньшей скорости истощения (consumption).

4-е. От большей или меньшей скорости, большего или меньшего совершенства возобновления, регенерации.

§ 5. Предел жизни.

Предел жизни может быть положен довольно точно. Для всякого творения назначено известное продолжение жизни, так точно, как всякому дана известная величина, известное количество жизненной сущности, силы в органах; и способность истощаться и вознаграждать истощенное всегдашним возобновлением; продолжение жизни соразмерно сим ее принадлежностям. Каждый класс тварей имеет положенное продолжение бытия и каждая тварь особенно, больше или меньше к сему назначенному медленно приближается. Истощение, которого следствие есть большая или меньшая продолжительность жизни, может быть ускорено и замедляемо, подвержено благодетельным или вредным влия-

ниям, следовательно, и самая продолжительность жизни должна быть непременно подвержена расстройкам и изменениям. — Вопрос: можно ли продолжить жизнь? Конечно, можно, только не сверхъестественными, а согласными с натурой средствами, не расстраивая плана природы, не преобразуя ее, а на ней основываясь, а увеличивая жизненную сущность и органы, замедляя истощение (*consumption*) и способствуя возобновлению или регенерации. Чем точнее будут выполнены сии четыре условия во всем, в пище, в одежде, в образе жизни, в климате, в самых искусственных режимах, тем продолжительнее будет жизнь и наоборот.

Скорое истощение почитаю одною из главных причин краткости жизни. Жизнь есть не иное что, как действие, как употребление сил; чем больше напрягаются силы, тем скорее они слабеют и разрушаются. Энергия жизни противна ее продолжительности. Чем меньше она имеет деятельности, тем продолжительнее бывает. Жизнь напряженная (*intensive*) противна жизни протяженной (*extensive*). Чем больше живешь с напряжением, тем меньше протяжения может иметь самая жизнь. Сон есть благодетельный дар природы, которая соединила с бытием каждого существа средства возобновлять спокойствием силы свои, действием истощенные.

§ 6. Продолжение жизни человеческой.

Уверили, что в первых веках по сотворении мира жизнь была продолжительнее, что люди долее наслаждались молодостью, имели огромное тело и вообще были совершенство. Это заблуждение произошло от того, что хронология древняя была несходна с нынешнею. Доказано довольно вероятно, что год первых людей состоял из трех месяцев; что после Авраама составили его из осьми и что только современники Гомера начали считать в нем двенадцать.

Люди, в древности, по натуре своей были таковы же, каковы нынче, и древность земли не имеет никакого влияния на ее обитателей; вся разность заключается в различии обрабатывания земной поверхности, климатов и образа жизни. И нынче люди могут жить так же долго, как живали прежде, с тою только разностью, что число долгожителей гораздо меньше.

Государи вообще лишены возможности жить долго. Между затворниками и монахами находятся разительные примеры долгоденствия: образ жизни, спокойствие страстей, удаление от света, удовольствия мирного размышления, соединенного с умеренною физическою деятельностью, вот главные сего причины.

Философы вообще отличаются долгою жизнью, особливо философы-натуралисты: удовольствие мыслить и делать новые открытия есть сие живое, самое благотворное для нашего бытия удовольствие, есть один из вернейших способов продолжить его.

Поэты и артисты больше, нежели кто-нибудь могут надеяться продолжительной жизни: их жизнь есть беспрестанный, приятный сон, они живут в своем собственном мире, созданном их воображением, в котором ничто не может возмутить их ясного спокойствия, в котором всё совершенно подчинено их творческой фантазии.

Поразительнейших примеров долгой жизни должно искать между сими людьми, которые приучены к телесной работе и по большей части живут на открытом воздухе, просто, согласно с натурою, между поселянами, садовниками, охотниками, солдатами и матросами.

Климаты, холодные, благоприятные для долголетия, и именно Швеция, Норвегия, Дания, Англия: но излишний холод ему противен.

Заключения: 1-е. Древность мира не имеет никакого влияния на продолжительность жизни.

2-е. Человек может во всяком климате жить долго, только в одном это обыкновенно, в другом не столько, но отдаленнейшая термина жизни не во всяком климате может достигнута.

3-е. В таких землях, где вообще вдруг умирает больше людей, некоторые частные люди могут жить долее, нежели в таких землях, где вообще умирают люди в меньшем количестве.

4-е. На высотах находят больше стариков, нежели в низких местах, только в этом случае должна быть сохранена середина.

5-е. Человек в холодных климатах живет долее, нежели в жарких, но так и в этом случае необходимо должна наблюдаться середина.

6-е. Больше всего способствует продолжению жизни порядочная температура воздуха, особливо в том, что принадлежит до тепла и холода, до редкости и тяжести воздушной.

7-е. Излишняя сухость, излишняя сырость равно вредны для жизни. Воздух, несколько смешанный с сыростью, способствует ее продолжению, ибо температура несколько сырая не столь подвержена изменению, как совершенно сухая, и сохраняет органы телесные долее в состоянии гибкости и молодости, тогда как воздух сухой и слишком разреженный ускоряет иссушение фибров и самую старость.

8-е. Долгота жизни много зависит от свойства земли, на которой живешь: известковый кряж есть самый противный ее продолжению.

9-е. Живя сообразно с натурою, непременно достигнешь отдаленнейшего термина жизни. NB (9).

10-е. Умеренность во всем есть то первое правило искусства жить долго. Умеренность климата, здоровья, темперамента, сложения тел, дел, напряжения ума, образа жизни — умеренность во всем: вот тайна.

11-е. Почти все старики были по несколько раз женаты. Нет ни одного холостого, достигшего глубочайшей старости. Из этого можно заключить, что некоторое избытие детородных соков необходимо нужно для продолжительности жизни. Они могут назваться дополнением жизненной сущности, и способность зарождалась кажется тесно соединенною с способностью возрождаться, нужно только наблюдать порядок и умеренность в ее употреблении: супружество есть важнейшее и единственное к сему средство.

12-е. Больше женщин, нежели мужчин старых; но одни только мужчины достигают крайней степени долголетия.

13-е. Кто желает быть старым, тот должен провести первую половину жизни в деятельности, а последнюю в спокойствии.

14-е. Слишком избыточная и питательная пища не продолжает жизни.

15-е. Самое тело человеческое требует некоторого образования, которое столь приятно долголетию.

16-е. Деревенская жизнь способствует продолжению жизни, а городская ей противна. Чтобы узнать настоящий термин человеческой жизни, надобно сделать следующее различие:

Сколько может прожить человек вообще? Здесь рассматривается человек, как составляющий отдельный класс животных, из которых каждый имеет свой определенный термин жизни.

Сколько может прожить частный человек? Или какое может быть относительное продолжение человеческой жизни?

В первом случае должно назначить самый отдаленнейший термин, представляемый нам примерами. В наше время кажется гением человек, который прожил сто шестьдесят лет. И мог бы прожить долее без случившей перемены в его образе жизни. Следовательно, по всем возможностям, организация и сила жизненная в человеке может продолжаться и действовать до двухсот лет.

Это мнение тем справедливее, что оно согласно с тем сношением, которое заметили между продолжительностью приращения в животных и продолжительностью их жизни. Можно положить за правило, что всякая жизнь бывает в восемь раз долее приращения. Человек в состоянии натуры растет до двадцати пяти лет, следовательно, может прожить двести. Старость, говорят, есть состояние, противное натуре, и короткая

жизнь одна с нею согласна. Но можно доказать, что всякая смерть, случающаяся прежде ста лет, всегда ненатуральная и искусственная, то есть следствие болезней и особенных обстоятельств. Относительная жизнь человека не одинакова, она проявляется вместе с каждым частным человеком. Она зависит от большего или меньшего совершенства его тела, от образа жизни, от большей или меньшей быстроты истощения и от множества обстоятельств, имеющих сильное на самую жизнь влияние.

В наше время человек, выходя на свет, не приносит с собою жизненных сил, необходимых для того, чтобы прожить сто пятьдесят или двести лет. Но сей термин положен самою натурою: искусство состоит в том, чтобы отдалить препятствия, мешающие к нему достигнуть, и это искусство есть искусство жить долго.

Из ста человек шесть достигают шестидесяти лет. Галлер собрал больше тысячи примеров продолжения жизни до ста лет и ста десяти и только один до ста шестидесяти девяти.

NB Следовательно, человеческая жизнь, если тело будет одарено совершенными органами и надлежащим количеством жизненной сущности, если истощение будет умеренно и регенерация достаточна, если наконец все внешние причины и действия будут благоприятны, должна продолжиться до двухсот лет. Для этого нужно, чтобы человек не только имел физическое совершенство, но даже и моральным образом был счастлив; чтобы он имел не только одни совершенные телесные органы, но также и все душевные качества особенно совершенные: вот условия, которые необходимо должны быть исполнены, если хотим дойти до предела жизни, положенного природою. Но от нас ли зависит их исполнение? Человек не властен дать себе здорового или хорошо сложенного тела: он может только его не расстраивать и даже укреплять, но совершенно переделать не в состоянии; моральное совершенство также не от него зависит; сколько времени он не может сам об нем думать, а должен зависеть от других; когда ж будет в состоянии оглянуться на себя, то будет уже поздно; лучшее время потеряно. И судьба, больше или меньше счастливая, от нас не зависит! Но сколько ж она имеет влияния на жизнь человеческую! Итак, искусство жить долго состоит в достижении того термина жизни, которого человеку по его физическому и моральному расположению достигнуть можно, не говоря о непредвидимых обстоятельствах.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Вы несколько раз просили меня, милостивая государыня, сочинить для вас краткое письменное наставление о том, как сохранять здоро-

вые во всех важнейших случаях жизни: наконец исполняю ваше желание. «Всякий человек, — говорите вы, — должен быть сам собственным своим лекарем; но для безопасности нужно ему, необходимо иметь наставником искусного врача, всегда готового, по дружбе, подавать ему полезные советы!» Вы меня знаете, вы должны быть уверены в искренности моей к вам дружбы, и если не можете ожидать от меня ничего такого, чего бы имели право требовать от человека с обширнейшими требованиями, то, по крайней мере, не будете введены мною ни в какое заблуждение.

Тот знает много и очень много в медицине, кто не вредит, когда помочь не может. «Эта тайна, — говорил мне один из славнейших наших медиков, — и чадам Эскулаповым не всем известна». Я готов, милостивая государыня, открыть вам ее со всем возможным чистосердечием, и, по крайней мере, вы узнаете от меня то, чего вы не должны делать.

Теперь такого рода наставление может иметь для вас особливую выгоду; говорю теперь, потому что вы готовитесь в третий раз сделаться матерью. Не ожидайте, чтобы я позволил вам добровольно расстроить намерение Творца, столь премудрое и столь благодетельное для животной природы, намерение довести новорожденную тварь, посредством приличной ей пищи, до надлежащей степени зрелости; не думайте, чтобы я избавил вас от исполнения великих планов природы, которая с такою материнскою нежностью печется о благе своих чад и всегда строго наказывает нарушителей ее законов; нет! Не думайте, чтобы я научил вас, как самым легчайшим образом отделаться от святых обязанностей матери, как лишить младенца определенной ему пищи, молока, скопленного натурою в сосцах матерних! Нет! И теперь не могу без огорчения вспомнить о тех победах, которые предрассудок и безвременная заботливость некоторых приятельниц о вашем и детей ваших здоровье одержали, в течение двух лет сряду, над всеми моими представлениями и даже над самим вашим желанием со мною согласиться. Несчастные следствия тогдашней методы воспитания неоспоримо доказывают справедливость моей системы. Но какое горестное доказательство! Как бы я желал ошибиться в то время или, по крайней мере, если уже прошедшего возвратить ничем не можно, быть теперь первым в глазах ваших.

Вы должны сами своей грудью кормить своего младенца. Это неоспоримо. Непременно сами. Неужели (1 слово нрзб.; залито чернилами. — И. А.) плод любви вашей, который прежде невидимо питал в собственную свою кровь вашу; тогда много будет вашего молока, тогда, когда перенесши все муки с радостным чувством рождения, вы найдете в нем сходство с любимым супругом или узнаете собственное свое подобие.

Должность священная, которую никогда нельзя без наказания нарушить и которой исполнение сопряжено с некоторым особенным сладострастием: ибо и здесь видим намерения мудрого Творца, который счел, чтобы мы делали с удовольствием то, что мы обязаны делать по необходимости. Всякая мать, которая осмелится быть совершенно матерью и защищать права природы против тиранства, обыкновения, конечно, узнает всю сладость сего удовольствия.

Я знаю, милостивая государыня, чего от вас требую; слышу издали все упреки, слышу: величаете мое мнение невозможностью, нелепостью, слышу громкий смех всего женского света и даже некоторых из моих собратий, но любовь к истине, от которой зависит сохранение жизни такого множества творений, гораздо для меня убедительнее.

И если открытие этой истины может принести вам некоторую пользу, то я, конечно, буду награжден с излишеством!

Имея два раза неудачу в кормлении водою, вы, без сомнения, отдадите ребенка своего кормилице, так как вы мне уже говорили об этом. Хорошо. Но уверены ли вы в том, что ваша кормилица совершенно здорова, и вообще можно ли быть уверенным в здоровье этих женщин? Легко может случиться, что она заражена венерической болезнью. Почти всегда это вероятно, ибо все кормилицы берутся из простого народа и нередко бывают замужние; в этом классе людей венерическая болезнь может назваться общею. Как скорое ее действие не слишком разительно, оставляют ее без внимания, либо с помощью площадных лекарей и употреблением домашних лекарств укрощают ее только в своей жестокости, будучи неискорененной совершенно. Зараженные девушки редко лечатся, чаще потому, что легче мужчин переносят болезнь, частью же потому, что стыдятся открыть лекарям свое положение, и если и открывают, излечение их тем затруднительнее и тяжелее, чем то место, которое в женщинах создает в себе яд, способнее для его сокрытия и сохранения.

ЭТНА, ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТИЕ

Граф С.***, Мальтийский кавалер¹, родом из Баварии, обязанный по своему званию ехать в Валетту², обратил сие принужденное путешествие в путешествие приятное и наставительное и в проезде своем через Италию и Сицилию осмотрел все достопамятности, которыми изобилуют сии земли. Его письма к одному приятелю, барону Р..., в Мюнхен, весьма любопытны: он прекрасно описывает многие произведения природы и искусства, до сих пор оставленные без всякого замечания, и вообще философические мысли его привлекательны по своей оригинальности и возвышенности. Мне позволено сообщить читателю следующий отры-

вок из письма, писанного им из Катании³: «От самого Николози⁴ дорога чрезвычайно трудна и беспокойна: степь, покрытая лавою. Изредка являются виды цветущих долин и пригорков, увенчанных деревьями; но страшный жар отнимал у нас способность ими наслаждаться: раскаленное небо; не было тени, в которой могли бы мы найти убежище; не было растения, которое своим бальзамическим запахом могло бы освежить пламенный и душный воздух. Наконец мы приблизились к второй лесистой полосе Этны.

ПРИМЕЧАНИЯ

1809 г.

О счастья

(«Счастливые люди, говорит Рошфуко, никогда не исправляются...»)
(С. 9)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 43. № 1. Январь. С. 3—8 — в рубрике «Литература и смесь» с заглавием: «О счастья».

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (раздел «Смесь»). С. 270—276; Пвп 2. Ч. 3. С. 33—37 — с тем же заглавием и без помет. Текст идентичен первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее второй декады декабря 1808 г.

Источник перевода: *Suard J. B. A. Du Bonheur* [О счастье] // *Mélanges de Litterature. Publiés par J. B. A. Suard*. Т. 2. Paris, 1804. P. 173—178. Атрибуция: Симанков. С. 108.

Образ фортуны, благоволящей или отворачивающейся от человека, — один из постоянных в литературе русского сентиментализма. В творчестве В. В. Капниста («На счастье»), Н. М. Карамзина («Разговор о счастье», «Послание к Дмитриеву»), И. И. Дмитриева («Искатели Фортуны», «Пустынный и Фортуна») он связывался с гораццианским принципом золотой середины, умеренности в желаниях и умения довольствоваться простыми, доступными вещами. Представление о счастье как внутреннем состоянии, зависящем не от внешних случайных обстоятельств, удачи, но от самого человека, разделял и Жуковский, придавая ему более активный, действенный характер (см.: Резанов. Вып. 2. С. 187—189). Уже в речи «О счастья» на собрании Дружеского литературного общества (1801) он утверждал: «Наша жизнь есть чаша, из которой мы пьем радости вместе с горестями, — неразлучно с ними в этом мире мы должны испытывать бесконечные превратности, должны беспрестанно переходить от счастья к несчастью, от наслаждений к печалю — это постоянный закон природы, с ним получили мы бытие» (ПССиП. Т. VIII. С. 218). Превратности судьбы требуют от человека ясного осознания себя и своих возможностей, чтобы свободно поступать и строить свою жизнь: «Мы имеем неограниченную волю действовать и так счастливы, сколько можем» (Там же).

На размышления Жуковского о роли случайности повлияло чтение в 1806—1808 гг. «Характеров» Люка де Вовенарга (1715—1747), известного французского моралиста, сочинения которого присутствуют в библиотеке поэта (*Oeuvres complètes de Vauvenargues. Précédées d'une notice sur la vie et les écrits de Vauvenargues, par Suard. T. 1—2. P., Dentu, 1806*). В 1806 г., работая над хрестоматией «Образцы слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей», Жуковский включил в нее фрагмент «Клазомен, или Страждущая добродетель» (*Oeuvres complètes de Vauvenargues. V. 1. P. 227—228*), представляющий сюжет мужественной борьбы добродетельного человека с несчастной фортуной. Концовка его провозглашает своеобразную формулу «самостоянья человека»: «Кто изъяснит мне, почему искусные игроки нередко разоряются от игры, а неискусные богатеют? От чего в иные годы нет ни весны, ни осени, и плоды увядают в своем цвете? Со всем тем Клазомен не согласился бы отдать своих бедствий за счастье слабого. Фортуна может играть мудростью добродетельного человека, но вся направленная сила ея не поколеблет его мужества» (ПССиП. Т. VIII. С. 371).

Перевод рассказа «О счастье» из сборника «Литературная смесь» Ж. Б. А. Сюара, из которого Жуковский перевел для ВЕ ряд произведений (см. комментарий к рассказу «О дружбе», «О выгодах славы», «О скупости» в настоящем томе), выступил развитием этой концепции в рамках программы журнала. Образы незадачливых героев сюаровского рассказа, плохо знающие и себя, и реальные нравы света и оттого впадающие в заблуждения и ошибки, выступали антитезой добродетельных стойков Вовенарга. Светские предрассудки, упование на ложную житейскую мудрость закрывали от них истинные опоры личности — добродетель и достоинство. В контексте журнала эта тема получила дополнение и развитие в рассуждении К. Ф. Морица «Сила несчастья» (1808. № 4) и «О том, что нас обманывает» (1809. № 7), в персонажах повестей «Не жалкий ли он человек» А. Коцебу (1808, № 4), «Отставленный министр и нищий с деревянною ногою» (1809. № 23) и др.

¹ *Счастливые люди, говорит Рошфуко, никогда не исправляются; они до тех пор не перестанут почитать себя правыми, пока фортуна будет благоприятствовать их дурным поступкам.* — Цитата из «Максим и моральных размышлений» (№ 227) Франсуа де Ларошфуко (1613—1680), знаменитого французского моралиста.

² *...пикет...* — Карточная игра, изобретение которой приписывается французам (1390 г.). Колода для этой игры содержит 32 карты (т. н. «пикетные карты»). Играть могут два, три, четыре лица.

³ *Я жалкий человек! (...). Ни в чем я не успел!* — перевод стихотворения маркизы де Буфлер (1711—1787), цитируемого Сюаром. Ср. подлинник: *Voyez quell malheur est le mien, / Disait une certain dame, / J'ai tâché d'amasser du bien, / D'être toujours bonnête femme; / Je n'ai pu réussir à rien.*

⁴ *В делах — говорит Вовенарг — мы вычисляем препятствия, происходящие от вещей посторонних, и забываем о тех, которые от нас самих происходят.* — Цитата из «Размышлений и максим» Люка де Вовенарга (см. комментарий).

И. Айзикова, В. Киселев

**Разговор Сен-Реаля, Эпикура, Сенеки, Юлиана
и Лудовика Великого**

(«Эпикур. Мне сказывали некоторые тени...»)

(С. 11)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 43. № 1. Январь. С. 8—21 — в рубрике: «Литература и смесь» с заглавием: «Разговор Сен-Реаля, Эпикура, Сенеки, Юлиана и Лудовика Великого», с указанием источника в конце: Шамфор.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 («Смесь»). С. 85—98; Пвп 2. Ч. 3. С. 111—120 с тем же заглавием и подписью.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее 30 декабря 1808 г.

Источник перевода: *Chamfort S.-R.-N. Dialogue Saint-Réal, Epicure, Sénèque, Julien et Louis-de-Grand* [Диалог Сен-Реаля, Эпикура, Сенеки, Юлиана и Лудовика Великого] // *Chamfort S.-R.-N. Oeuvres complètes de Chamfort. V. 1—2. Paris, 1808. V. 1. P. 219—230. Атрибуция: Eichstädt. S. 21.*

Перевод отражает интерес Жуковского к французскому писателю, мыслителю, моралисту С.-Р.-Н. Шамфору (1741—1794), 2-е издание сочинений которого (Париж, 1808) имеется в библиотеке поэта, с его пометками в обоих томах, а также к одному из самых распространенных «промежуточных» жанров прозы — разговору, позволяющему развивать особый нарратив, названный им «языком мыслей». Переведенная из Шамфора статья представляет собой «диалог диалогов» нескольких исторических лиц, принадлежащих разным эпохам и национальным историям, — о памяти и забвении, о том следе, который оставляет человек в истории, в культуре. При этом в популярной форме излагается суть двух влиятельнейших философских течений эллинистически-римской эпохи, якобы подвергшихся в ходе истории искажению, — эпикуреизма и стоицизма. Оба учения представлены как близкие друг другу ветви моральной практической философии.

Перевод наполнен богатым философским, социально-историческим материалом. Любопытен способ его изложения в статье-«разговоре» о вечной, общечеловеческой теме. Жуковский вслед за автором оставляет читателей практически наедине с известными личностями, которые здесь уместнее было бы назвать головами, представляющими в конечном итоге разные стороны сознания автора. Предметом изображения в «Разговоре...», по сути, и оказывается процесс мышления, который представлен как нечто крайне противоречивое и именно в силу этого сложное, глубокое, подвижное. Повествование в статье выстроено так, что мысль и слово одного участника диалога имеет возможность оттолкнуться от мысли и слова другого. Позиция автора не совпадает до конца с позицией ни того, ни другого героя. Они намеренно противопоставлены и приемлемы только во взаимодействии. Такой тип нарратива позволяет отойти от дидактизма всеведущего автора, свойственного классицистической прозе, и в то же время, от всеохватывающей субъективности, монологизма, характерных для поэзии. Сосредоточившись в данном переводе на самом для себя как для романтика главном — на «топосе сознания» (Е. К. Созина), Жуковский самым способом повествования утверждает мысль о том,

что целостность мышления человека следует понимать не как монолитность, но как подвижный универсум.

В публикации Пвп изменены некоторые знаки препинания, перестроены некоторые фразы, по сравнению с публикацией ВЕ (напр.: Примеры бесчисленны. — В ВЕ: Примеры бесчисленны! Или: Людовик Великий, забытый, в неизвестности! — В ВЕ: ...Людовик Великий! Забытый! В неизвестности! Или: Не смею ни с кем себя сравнивать, а еще менее кому-нибудь себя предпочитать; надеюсь, однако... — В ВЕ: Не смею ни с кем себя сравнивать, а еще менее кому-нибудь себя предпочитать. Надеюсь, однако...), а также встречаются незначительные разночтения, которые вполне могли возникнуть из-за ошибки при повторном наборе (напр.: ...была бы вам от этого польза? — В ВЕ: ...была бы вам от того польза? Или: ...думать о вас — В ВЕ: ...думать об вас; или: ...иметь славу, или не иметь ее! — В ВЕ: ...иметь или не иметь славы!). Кроме того, несмотря на упоминание имени Юлиана в заглавии перевода, опубликованного в Пвп 1 и 2, в нем опущен фрагмент о Юлиане Философе или Юлиане Отступнике: Флавии Клавдии Юлиане, римском императоре в 361—363 гг., последнем языческом римском императоре, риторе и философе, известном в истории христианства как Юлиан Отступник (331 или 332 г. — 363 г.). Известно, что в 355 г. Юлиан был провозглашен цезарем и отправлен начальником войск в Галлию, где шла упорная и тяжёлая борьба с наступавшими германцами. Юлиан справился с задачей спасти Галлию и нанёс германцам сильное поражение. Поход в Персию (весна — лето 363 г.) поначалу складывался весьма успешно: римские легионы дошли до столицы Персии, но закончился катастрофой и гибелью Юлиана.

Известно также, что после смерти отца Юлиан воспитывался епископом Евсевием. С 339 г. он изучал греческую философию и литературу под руководством евнуха Мардония, который пробудил в нем любовь к эллинскому миру. В 344—345 гг. Юлиан жил в Никомедии, где познакомился с языческим оратором Либаием, а в 351—352 гг. — в Пергаме и Эфесе, где столкнулся с несколькими философами неоплатониками, среди них с Максимом Эфесским, который был сторонником теургического неоплатонизма античного философа Ямвлиха и оказал на Юлиана наибольшее влияние, возможно, став впоследствии причиной его разрыва с христианством. Позднее Юлиан продолжил изучение сочинений неоплатоников. Центром религиозного мировоззрения Юлиана является культ Солнца, создавшийся под непосредственным влиянием идей платонизма. Самое значительное сочинение Юлиана — «Против христиан» — было уничтожено и известно только по полемике христианских писателей против него. Образ Юлиана Отступника нашел отражение в литературе XIX—XX вв.: драма Г. Ибсена «Кесарь и Галилеянин», ч. 1 трилогии Д. Мережковского «Христос и Антихрист», роман «Император Юлиан» Ю. А. Г. Видала.

¹ *Эпикур* — древнегреческий философ, основатель эпикуреизма (342/341 г. до н. э. — 271—270 до н. э.).

² *Сен-Реаль* — Сен-Реал Ц. Р., аббат (1639—1692) — французский историк и писатель.

³ *крестик с. Лудовика* — вероятно, имеется в виду орден св. Людовика, который был основан королем как военная и гражданская награда. Представлял собой золотой мальтийский крест, вручался в трех классах.

⁴ *...стоической морали Эпиктета...* — Эпиктет (ок. 50—138) — древнегреческий философ; раб в Риме, потом вольноотпущенник; основал в Никополе философскую школу. Проповедовал идеи стоицизма.

⁵ *...одного только ученика, Метродора...* — Метродор из Лампсака Младший (330—270 до н. э.) — главный из учеников Эпикура, теоретик и пропагандист эпикуреизма, друг и единомышленник своего учителя; входил в руководящее ядро школы Эпикура, известной под названием «Сад», написал большое количество произведений: «Против софистов», «Против диалектиков», «Против Демокрита», «Об ощущениях», «Об изменении» и др., из которых до нас дошли только отрывки. В этих работах с позиций эпикурейского материализма разрабатывались вопросы теории познания, этики, риторики.

⁶ *...полтора обола...* — Обол — серебряная монета; употреблялась у греков как единица веса и как единица стоимости.

⁷ *...Лаисам и Фринам...* — Лаиса Сицилийская (?—340 г. до н. э.) — известная гетера Древней Греции, предполагаемая натурщица художника Апеллеса, Фрина (ок. 390 г. до н. э. — ок. 330 г. до н. э.) — знаменитая афинская гетера, бывшая натурщицей Праксителя и Апеллеса. Их имена употребляются иносказательно, обозначая гетеру вообще.

⁸ *...по двадцать пяти мина...* — Мина — мера веса и денежная единица, заимствованная греками на Востоке.

⁹ *...учение Зенона...* — Зенон Элейский (ок. 490 г. до н. э. — ок. 430 г. до н. э.), древнегреческий философ.

¹⁰ *Сенека* — Луций Анней Сенека, или Сенека младший, или Сенека (ок. 4 г. до н. э. — 65) — римский философ-стоик, поэт и государственный деятель.

¹¹ *...товарищ Бура в воспитании сына Энобарбова...* — Секст Афраний Бурр (?—62 н. э.) — римский военачальник и государственный деятель во время правления императора Нерона. Первые месяцы после воцарения Нерона властолюбивая Агриппина стала подлинным правителем государства. Однако император быстро стал тяготиться таким положением дел и постепенно отстранил её от управления империей, перепоручив эти обязанности своему воспитателю Сенеке и Бурру. В последующие семь лет два этих человека были теньными правителями Рима. Их союз представляет собой уникальный в римской истории случай — два ближайших советника императора не только не соперничали, но и весьма плодотворно сотрудничали. Энобарб — здесь имеется в виду Гней Домиций Агенобарб (17 г. до н. э. — 40) — отец Нерона.

¹² *...пышная благодарность моего воспитанника окружила меня сокровищами...* — Первые годы царствования Нерона Сенека достигает высших отличий. Юный император еще находится под влиянием философа, тем более что не может обойтись без его помощи: для составления своих речей он принужден был обращаться к помощи Сенеки. Услуги последнего оплачивались императором так щедро, что состояние Сенеки в короткое время достигло колоссальных размеров. Подав прошение об отставке в 62 г. до н. э., Сенека оставил все свое состояние Нерону.

¹³ *...был губернатором области, где прекратил разорения и хищничество подчиненных моих...* — В 57 г. Сенека получил высшую в Империи должность консула, обладавшего высшей гражданской и военной властью.

¹⁴ *...я отказался от трона, к которому народная любовь открывала мне дорогу, и что моя смерть вскоре последовала за отказом...* — В 65 г. против Нерона был составлен

заговор, известный в истории под именем заговора Пизона, который был раскрыт, и участники его подверглись казням. Пизон был друг Сенеки, и одного этого было достаточно для Нерона, чтобы приговорить его к казни. В виде особой милости, ему было предоставлено право кончить жизнь самоубийством.

¹⁵ ...*весьма немногие уважают меня как писателя.* — Перу Сенеки принадлежит ряд философских диалогов, трагедий, менипповых сатир, эпиграмм. Прежде чем получить первую государственную должность и войти в сенат, он уже был известным писателем и оратором.

¹⁶ ...*ваши письма содержат в себе полный трактат морали...* — Имеются в виду «Моральные письма к Луцилию».

¹⁷ ...*книга об утешении, писаная вами к матери...* — Речь идет о трактате «Утешение к Гельвии», адресованном матери, который был написан во время ссылки на Корсике и содержал выводы философских воззрений Сенеки на устройство Земли и Вселенной.

¹⁸ ...*изъяснили довольно хорошо теорию равновесия жидкостей...* — В трактате «Исследования о природе» (63—64) Сенека объясняет происхождение подземных вод, ключей, рек, считая их результатом деятельности сил внутренних, вулканических.

¹⁹ ...*завещание, сказанное в минуту смерти...* — Тацит, описывая последние дни и часы жизни Сенеки, указывал, что, когда посланный Нероном центурион возвестил ему смерть, философ попросил табличку для записи завещания, но получил отказ. Тогда он обратился к своим друзьям со следующей речью: «Раз мне запрещено отблагодарить вас подарками, завещаю вам единственное, что мне осталось, но вместе и самое драгоценное — мой образ жизни. Если вы будете помнить то, что было хорошего в моей жизни, то ваше постоянство в дружбе будет для вас источником вечной славы». В последние мгновения Сенека, по словам Тацита, призвал писцов и с неизменным красноречием рассказал им многое. Его тело было предано сожжению безо всяких торжественных обрядов. Так завещал он незадолго перед смертью. Завещание это было найдено между его рукописями.

²⁰ ...*писал к Луцилию, сообразуясь с Эпикуром: мы друг для друга театр довольно обширный!* — Знаменитое изречение Сенеки «Каждый из нас для другого являет великий театр» (из «Писем к Луцилию»), сам Сенека говорит, что эта цитата принадлежит Эпикуру. Далее, после этой фразы в ВЕ идет следующий фрагмент о Юлиане Философе, опущенный в публикации Пвп 1 и 2:

Но кто эта тень, прошу вас мне сказать? Она подходит к нам. Ах! Это Юлиан Философ.

Сен-Реаль. Как! Юлиан Философ! Тот, который учил грамматике в Александрии?

Сенека. Нет, другой. В ваше время называли его обыкновенно Юлианом-отступником.

Сен-Реаль. Правда, что он был философ, но я не знал еще, что он имел прозвание Философа!

Юлиан. Ах, господин Сен-Реаль! Прозвание *отступника*, под которым разумеют люди человека без добродетели, огорчало меня весьма много. Всем известно, что я любил славу: это последняя страсть мудрого, это *рубашка души*, как говорил мне весьма недавно один из приятнейших философов, рожденный в моей любезной Галлии.

Сен-Реаль. Конечно, Монтань?

Юлиан. Вы отгадали. Надеюсь, господин Сен-Реаль, что вы в своей книге очистили бы мое имя от того пятна, которое оставила на нем клевета людей. Меня принудили принять религию моих гонителей, но я отрекся от нее, когда пришел в силу, отрекся потому, что имел несчастье постигать ее превосходства, не от испорченности, не от совершенного недостатка в добродетели. Позвольте в немногих словах описать вам мою жизнь: я был губернатором Галлии — мне подчиненные народы обожали меня. С помощью галлов напал я на германцев, овладевших землей Империи; одержал над ними знаменитую победу; взял множество пленников, с которыми поступил не так, как ваш Константин, прозванный Великим, который повелел умертвить их в Цирке. Сделавшись императором, я старался царствовать по правилам философа Платона. Загорелась война с персами: я должен был с войском моим пройти через Антиохию; низкие обитатели ее осыпали меня оскорблениями и насмешками. Император не должен мстить за Юлиана, помыслил я и пренебрег ругателей, которых не пощадил потом ваш Феодосий Великий. Но справедливо ли было ко мне потомство, именуемое, бог знает почему, беспристрастным? Нет! Оно наградило меня оскорбительным титулом *отступника*.

Сен-Реаль. Утештесь, Ваше Величество! Искусное перо изобразило характер ваш, и весьма сходно. Вам отдают справедливость; правда, философический героизм ваш называют несколько странным — но согласитесь сами, что это обвинение основательно. Если бы от меня зависело управлять общим мнением, то вы, конечно, потеряли бы прозвание отступника и были бы наименованы Юлианом Философом — титул, которое по справедливости надлежало бы отнять у одного из последователей ваших, Лиона Философа, почтенного государя, но более диалектика, нежели мудреца. Докажите нам, господин Юлиан, что вы прямо достойны быть наименованы мудрым, презревшим ругательное имя отступника, которое, без сомнения, останется навсегда вашим, потому что люди с трудом отстают от старых своих привычек... Вот еще приближается к нам какая-то незнакомая тень. Я никогда не имел удовольствия видеть ее в лицо. Кто она, не знаете ли, государи мои?

²¹ *Лудовик Великий* — Сен-Реаль здесь имеет в виду Людовика XIV де Бурбона, получившего при рождении имя Луи-Дьёдонне («данный Богом»), также известного как «король-дитя», а затем — «король-солнце», также Людовик XIV Великий (1638—1715) — короля Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года, дольше, чем какой-либо другой европейский монарх в истории. Людовик был убежденным сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей (ему часто приписывают выражение «Государство — это я»). Царствование Людовика — время значительной консолидации единства Франции, её военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, расцвета культуры, вошло в историю как «великий век».

²² ...*Лудовик Великий, забытый, в неизвестности!* — Литература о Людовике Великом открывается сочинением Вольтера: «Siècle de Louis XIV» (1752).

²³ *Король, создавший самого себя!* — Известно, что король вырос без правильного воспитания и образования.

²⁴ *Король, который при жизни еще кардинала Мазарини писал к графу д'Эстарду: пишите ко мне на имя Лионна: хочу все делать сам собою...* — Преосвященный кардинал Джулио Мазарини, урождённый Джулио Раймондо Мадзарино или Маццарино (1602—1661) — церковный и политический деятель и первый министр Франции

(1642—1650, 1651—1661). Заступил на пост по протекции королевы Анны, после смерти кардинала Ришелье. Людовик XIV вступил на престол малолетним и управление государством перешло в руки его матери и кардинала Мазарини. Д'Эстрад Годефруа, граф (1607—1686) — генерал-лейтенант армий короля, маршал. Лионн Гюг, маркиз, (1611—1671), французский государственный деятель; после Мазарини руководил внешней политикой Франции. Крупные успехи первых лет самостоятельного управления Людовика XIV были отчасти делом Лионна.

²⁵ ...первый ужаснул Европу бесчисленными войсками... — На время правления Людовика Великого приходится ряд войн: так называемая деволуционная (за часть Испанских Нидерландов), война с Нидерландами, война за Пфальц, за «испанское наследство». Из 54 лет личного правления Людовика Великого 33 года не смолкали пушки.

²⁶ ...со славою выдержал войну против целой Европы... — В войне с европейской коалицией за «испанское наследство» Людовик XIV хотел отвоевать всю испанскую монархию для своего внука Филиппа Анжуйского. По миру, заключенному в Утрехте и Раштатте в 1713 и 1714 гг., он удержал за внуком собственно Испанию, потеряв, правда, ее итальянские и нидерландские владения.

²⁷ ...наградил пенсионными всех ученых... — Например, в 1663 г. Мольеру как «блестящему комическому поэту» был назначен пенсioen в тысячу ливров, в 1672 г. пенсioen был назначен Н. Буало как одному из историографов короля.

²⁸ ...я Лудовик Великий, венгерский и польский король... — Выясняется, что Сен-Реаль все это время беседовал с Людовиком I Великим, королем Венгрии с 1342 г., королем Польши с 1370 г. (1326—1382).

И. Айзикова

Угрюмый ответ на ласковый вопрос

(«Отчего вы перестали писать...»)

(С. 15)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 43. № 1. Январь. С. 21—23 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях: отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее декабря 1808 г.

Источник перевода: *Chamfort S.-R.-N. de. Question [Вопрос] // Oeuvres complètes de Chamfort. Т. 1. Paris, 1808. P. 458—460. Атрибуция: Симанков. С. 108.*

Еще один перевод из С.-Р.-Н. Шамфора (см. комментарий к переводу «Разговор Сен-Реаля...»). Публикация представляет собой тоже своего рода «разговор» — ряд ответов писателя на вопрос, отчего он перестал писать. В переводе оригинальный текст значительно сокращен. Не вошли, напр., следующие ответы на вопрос: «C'est que je travaille pour les Variétés amusantes qui sont le théâtre de la nation et que je mène de front, avec cela, d'une ouvrage philosophique, qui doit être imprimé à l'Imprimerie Royale» или: «Exemple de M. Thomas, insulté pendant tout sa vie et loué après sa mort»,

или «Gentils hommes de la chambre, Comédiens, Censeurs, la Police, Beaumarchais» и некоторые др. Ответы, сформулированные в форме ярких афоризмов, мастером которых был Шамфор, складываются в стройную эстетическую программу, вполне совпадающую со взглядами Жуковского. В ней отражены мнения о ключевых проблемах творчества: об отношениях писателя и общества, о творческом успехе, о тайном или явном желании славы, разрушающем творческую личность. Ср. с др. публикациями Жуковского на эту тему: «Письмо из уезда к издателю», «Писатель в обществе» — периода ВЕ, и с более поздними: «О поэте и современном его значении», «Об изящном искусстве».

¹ Имеется в виду английский философ Ф. Бэкон (1561—1626).

И. Айзикова

Открытие, сделанное женщиною

(«С тех пор, как создан свет...»)

(С. 16)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 43. № 2. Январь. С. 81—86 — в разделе «Литература и смесь», с пометой в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады января 1809 г.

Источник перевода: Nouvelle découverte faite par une femme [Новое открытие, сделанное женщиной] // *Anecdotes secrètes du dix-huitième siècle*. Par P[ierre]. J[ean]. B[artiste]. N[ougaret]. Paris, 1808. Т. 2. Р. 361—365. Атрибуция: Симанков. С. 109.

Рассказ «Открытие, сделанное женщиною», ориентированный на утверждение идей «моральной практической философии» через изображение нравов, очевидно, этим и привлек Жуковского. Своей обращенностью к морально-психологическим проблемам личности и ее воспитания как процесса самопознания и самоанализа он переключается с переводами из «Светского философа» И. Я. Энгеля, Ж. Ф. Мармонта, С. Ф. Д. Жанлис, Ж. Б. А. Сюара и др.

Произведение предположительно принадлежит перу мадам Девен (1751 — после 1814; см.: *Francaianza É. Jean-Baptiste-Antoine Suard: journaliste des lumières*. Paris, 2002. Р. 463), супруге Жана Девена, французского публициста и близкого друга Ж. Б. А. Сюара, из «Литературной смеси» которого Жуковский перевел для журнала ряд произведений (см. комментарий к рассказу «О дружбе» в наст. томе).

Обращение к рассказу способствовало обогащению взгляда на любовь как духовно возвышенное чувство, сложившегося в русском сентиментализме. Эти идеи Жуковский уже в пору Дружеского литературного общества трансформирует в романтическом духе, провозглашая непременным условием любви умение разбираться в себе и в людях. Сентиментальная апология эмоциональной отзыв-

чивости, «сердечного влечения» дополняется у него видением противоречивости человеческой природы, грозящей расколом мечты и реальности. Спасением от него является сходство характеров и умение видеть в друге самоценную индивидуальность, разделяя при этом общие увлечения, мысли, идеалы.

В ВЕ эта концепция приобрела особую широту и многомерность, соединившись с осторожной критикой сентиментальных иллюзий («Первое движение» А. Сарразена; 1809. № 12), будучи спроецирована на разнообразные исторические условия («Дорсан и Люция» С. Ф. Д. Жанлис; 1810. № 23, 24), углубившись психологически («О дружбе и друзьях»; 1810. № 13).

В. Киселев

Марьяна роща

Старинное предание

(«Тихий и прохладный вечер...»)

(С. 19)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 43. № 2. Январь. С. 109—128; Ч. 43. № 3. Февраль. С. 211—232 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Марьяна роща (Старинное предание)», с подписью в конце (в № 3): Ж.

В прижизненных изданиях: СОС Ч. 5. («Повести. Смесь»). С. 1—44 — с подзаголовком: «(Сочинение Жуковского)», без подписи; СОРС 1. Ч. 5. С. 145—182 — с подзаголовком: «Старинная повесть» и подписью в конце: Жуковский; С 2. Ч. 4. С. 3—54, с подзаголовком: «Старинное предание», без подписи; СОРС 2. Ч. 5. С. 130—162 — с подзаголовком «Старинная повесть» и подписью: Жуковский; С 3. Ч 4. С. 3—44, с подзаголовком: «Старинное предание», без подписи; С 4. Т. 7. С. 5—46 — с подзаголовком «Старинное предание»; С 5. Т. 7. С. 1—42 — с подзаголовком «Старинное предание».

Печатается по С 5.

Датируется: вторая половина 1808 г.

Оригинальная прозаическая повесть Жуковского. В бумагах поэта сохранились два стиха на «Марьяну рощу», встречающиеся в его письме к И. П. Тургеневу от 11 августа 1803 г.: «Недавно перечитывая стихи свои на “Марьяну рощу”, которые начал было я сочинять в Свирлове, я прочел в них с некоторым трепетом следующие два стиха:

Что ждет меня вдали на жизненном пути?

Что мне назначено таинственной судьбою?» (ПЖТ. С. 11).

Стихи на «Марьяну рощу» до нас не дошли ни в окончательной редакции, ни в набросках. Однако их элегическая тональность вошла в прозаическую повесть Жуковского, определила во многом ее структуру. Более того, две строки приведенного выше стихотворения, вопросы, заключенные в них, переадресованы герою повести «Марьяна роща» Усладу: «О, что ты принесешь мне, время будущее, время далекое, время неизвестное».

Творческая история «Марьиной рощи» остается неизвестной, хотя замысел ее волновал Жуковского на протяжении ряда лет (1804—1809) и, по всей вероятности, претерпел серьезные изменения. В списке под названием «Что сочинить и перевести», составленном Жуковским до декабря 1804 г., значится специальный пункт «Марьиная роща» (Бумаги Жуковского. С. 23—24; полностью: Резанов. Вып. 2. С. 254). Следующее по времени упоминание о «Марьиной роще» находим в письме к Жуковскому И. И. Дмитриева 1806 г., где в числе ожидаемых от поэта сочинений он упоминает о «Марьиной роще», косвенно связывая ее с балладами Жуковского (*Дмитриев И. И. Сочинения*. СПб., 1893. Т. 2. С. 207). О связи повести с балладным творчеством поэта говорит составленный им на нижней обложке стихотворений Бюргера (из личной библиотеки поэта) обширный список возможных балладных сюжетов, состоящий из 28 названий, в который, наряду с заглавием баллад «Людмила», «Двенадцать спящих дев», «Кассандра», «Пустынник» и др., входят и такие повести, как «Три пояса», «Марьиная роща» (см. об этом: Янушкевич. С. 93—94). Связь «Марьиной рощи» с «Людмилой» проявилась в сюжете повести. Например, явление призрака погибшей Марии Усладу напоминает соответствующую сцену из «Людмилы» (см.: *Städthe K. Die Entwicklung der russischen Erzählung* (1800—1825). Berlin, 1971. S. 46) и баллады «Вадим».

Все исследователи прозы Жуковского справедливо указывают на бесспорные следы в «Марьиной роще» сентиментализма Карамзина. Так же, как и «Бедная Лиза» Карамзина, «Марьиная роща» — повесть о несчастных влюбленных. Так же, как и в «Бедной Лизе», в «Марьиной роще» опоэтизированы окрестности Москвы. В данном случае не Симонов монастырь, а другое известное место столицы — Марьиная роща. Вслед за Карамзиным Жуковский в определенной мере сохраняет следы исторического колорита. В повести поэта-романтика речь идет об эпохе царствования великого князя Владимира. Известный исторический колорит несет на себе грозный Рогдай, служащий Владимиру вместе с богатырями Ильёю, Чурилою и Добрынею. Так же, как Карамзин, Жуковский эстетизирует историю. Однако акцент у Жуковского не на историческом событии, «истинном происшествии», как у Карамзина, а на личном переживании, на лирической медитации, развернутой с помощью особого ритма прозы, мелодики слога, поэтического синтаксиса и превращающей «Марьину рощу» в повесть-элегию.

Важнейшая особенность создаваемой в повести элегической картины мира видится в психологически переживаемом несовпадении внутреннего «я» героя с самим собой. Эта осознаваемая нетождественность героя самому себе, его «текучесть» ярче всего представлены через переживание им времени. Временная динамика повести, переданная симметричными мотивами ухода-возвращения главного героя и ретроспективной композицией, контрастирует с неизменностью и устойчивостью идеального топоса повести. Элегическая рефлексия главного героя повести дополняется внутренне близкой ему рефлексией нарратора.

Важная роль в конструировании элегического мироздания произведения отводится онтологии имен главных героев. Имя Услад становится в «Марьиной роще» своеобразным ядром образно-звуковой парадигмы, обнажающей его «внутреннюю форму» и вызывающей ассоциации с такими понятиями, как «сладость», «сложение» (сочинение) песен, «прелесть», которые выступают в качестве мотивообразующих и одновременно являются знаками психологического и эстетического переживания мира героем и автором. Важно отметить и внутреннюю связь мотива пения,

звучащей речи с семантикой воды, которые объединяются в образ «животворного чувства / слова / источника» (*Топоров В. Н. Река // Мифы народов мира: В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 375*). Имя Рогдай, напротив, связано с семантикой силы, крепости, могущества и вызывает ассоциации с присутствующими в повести образами «грозы», «грома», «мрака», «греха». В этом смысле имя Рогдая с его коннотативными значениями не случайно соотносится с именем Громобоя, героем волшебной оперы «Богатырь Алеша Попович, или Страшные развалины» (1806), представляющей собой русифицированную переделку Жуковским немецкого зингшпиля К. Генслера и В. Мюллера «Чертова мельница» (см. об этом: *Лебедева О. Б. Драматургические опыты В. А. Жуковского. Томск, 1992. С. 40*), а также с одноименным героем из «старинной повести в двух балладах» «Двенадцать спящих дев».

О сюжетно-фабульной и характерологической связи «Марьиной рощи» с этой волшебной оперой пишет и В. Э. Вацуро. Фигура Рогдая соответствует в ней образу Кикиана-Пересвета, и сама сцена смерти Марии, описанная отшельником Аркадием, имеет аналог в «Богатыре Алеше Поповиче». Здесь же прослеживается тесная связь с готическим романом. Так, например, мотив «страшных развалин» получает в «Марьиной роще» совершенно особую роль. Терем Рогдая «уединенный, ужасный», а затем опустевший, представший герою при вечернем освещении, — точный эквивалент замка готического романа (*Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 294*). Синтез традиций сентиментально-оссианической и готической литературы обуславливает ту контрастность стиля, которая определяла наметившийся переход Жуковского в его самой лирической повести-элегии к романтизму.

Онтология имен главных героев оказывается тесно связанной и с тремя устойчивыми сюжетными линиями в повести Жуковского. Это сюжет «разлученных любовников», представленный отношениями Марии и Услава и раскрывающийся в сентименталистском ключе; сюжет «обольщенной невинности», связанный с отношениями Марии и Рогдая и восходящий к литературной готике (подробнее об этом см.: *Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 283; Канунова Ф. З. Карамзинизм ранней прозы В. А. Жуковского («Бедная Лиза» Н. М. Карамзина и «Марьиная роща» В. А. Жуковского) // Карамзин и время: Сб. статей. Томск, 2006. С. 178—191*); сюжет покаяния и спасения, реализующийся в отношениях Услава и Аркадия. Действие этих сюжетных линий сосредоточено вокруг трех топосов: светлый источник («ныне мутная Неглинная»), терем Рогдая и хижина отшельника.

В повести встречаются почти дословные текстуальные совпадения с лирикой поэта 1800—1810-х гг. Так, размышления Услава о своей близкой кончине не только усиливают общую элегическую тональность повести, но и свидетельствуют об ассимиляции в ней элегии и эпитафии как двух жанрово-стилевых поэтических форм. Ср. отрывки из повести и элегии «Сельское кладбище» (1802): «Денницы тихий глас, дня юного дыханье <...> // Ни ранней ласточки на кровле щебетанье — // Ничто не вызовет почивших из гробов; <...> // Здесь пепел юноши безвременно сокрыли» (ПССиП. Т. I. С. 53, 57). Все это позволяет говорить об элегическом лиризме как важнейшей особенности поэзии и прозы Жуковского 1800-х гг. Сюда же можно отнести черты психологизма и автопсихологизма, которые свидетельствуют о взаимодействии элегического лиризма с лиризмом песенного типа в прозе и стихах. Ср. начало «Марьиной рощи» и строки из «Песни» («Мой друг, хранитель-ангел мой») (1808): «Твой образ, забываясь сном, // С последней мыслию сливаю; //

Приятный звук твоих речей // Со мной во сне не расстается; // Проснусь — и ты в душе моей // Скорей, чем день очам коснется» (ПССиП. Т. I. С. 54). В этой связи не случайно А. Н. Веселовский говорит об отражении автобиографических реалий в повести «Марьиная роща», связанных с отношениями Жуковского и М. А. Протасовой (*Веселовский А. Н. Поэзия чувства и «сердечного воображения»*. Пг., 1918. С. 110), а известная исследовательница творчества поэта И. М. Семенко видит в первом монологе Улада реминисценцию из Петрарки — прозаическое переложение СССИ сонета из его книги «На смерть мадонны Лауры» (Семенко. С. 22).

В жанровом отношении «Марьиная роща» определяется поэтом как «старинное предание». Об этом он говорит в специальной публикации «Благодарность любезному издателю “Аглаи”», помещенной в журнале ВЕ (1809. № 16), которая является ответом на «Письмо к любезному издателю “Вестника Европы”» князя П. И. Шаликова по поводу замечаний читательниц на повесть «Марьиная роща», опубликованном в журнале «Аглая» (1809, № 7). Обращаясь к издателю «Аглаи», Жуковский пишет: «Повесть *Марьиная роща* основана вся на древних рукописях и преданиях; в ней не найдете вы ни одного выражения, ни одной мысли, которая собственно принадлежала бы новому издателю; все заимствовано им из древних записок» (ВЕ. 1809. № 16. С. 285). Статус «предания» актуализирует в повести Жуковского ее мифологическую основу, связанную с превращением имени нарицательного («роща») в имя собственное («Марьиная роща»). В повести наблюдается и обратный процесс — превращение имени собственного (Улад) в нарицательное. Это явление связано с мифологизацией художественного текста и утверждением определенной поведенческой модели жертвенной любви, соотносимой как с личностью самого автора, так и с появлением в его творчестве конца 1800-х гг. нового типа лирико-биографического героя, представленного в таких стихотворениях, как «Гимн», посланиях «К Нине», «К Филалету», «Счастье (Из Шиллера)». Кроме того, своеобразным дублетом «старинного предания» «Марьиная роща» становится в творчестве Жуковского «Печальное происшествие, случившееся в начале 1809 года» (ВЕ. 1809. № 9), в основе которого тоже оказывается сюжет «разлученных любовников» Лизы и Лиодора.

В 1818 г. появилось поэтическое переложение этой повести, осуществленное А. И. Мещевским (1791—1820), воспитанником Московского университетского пансиона, поэтом, тоже печатавшимся в ВЕ. Взаимодействие «Марьиной рощи» Жуковского и Мещевского рассматривается как характернейшее явление межтекстовой интерференции (подробнее об этом см.: *Поплавская И. А. «Марьиная роща» В. А. Жуковского и А. И. Мещевского (к вопросу о типологии поэзии и прозы)* // Жуковский и время: Сб. статей. Томск, 2007. С. 86—95).

Перевод этой повести вошел в третий том «Русской библиотеки для немцев» (1831) барона Карла фон Кнорринга (см.: *Салутере М. Г. Забытые друзья Пушкина // Ж. и русская культура*. С. 448). В 1988 г. в Лейпциге выходит собрание сочинений Жуковского на немецком языке *Shukowski W. Traumsegel. Ausgewählte Werke*. Опубликованная в этом издании повесть «Марьиная роща» дана в переводе Хартмута Хербота. О сравнении переводов Кнорринга и Хербота см.: *Липтнева А. А. «Марьиная роща» Жуковского в переводах К. фон Кнорринга (1831) и Х. Хербота (1988) // Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики: Материалы конф. молодых ученых*. Вып. 12. Томск, 2011. Т. 2: Литературоведение и издательское дело. С. 133—135. Исследователи отмечают, что «Марьиная роща» стоит у

истоков «московского» текста русской литературы (см.: *Муравьев Вл. Б.* Московская романтическая повесть // *Марьиная роща: Московская романтическая повесть.* М., 1984. С. 3—20).

По мнению А. А. Бестужева-Марлинского, эстетическое достоинство «Марьиной рощи» Жуковского «стоит наряду» с «Марфой Посадницей» Карамзина (*Бестужев-Марлинский А. А.* Сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 384). В. Т. Плаксин видит в «Марьиной роще» первую у нас «народную повесть» (*Плаксин В. Т.* Краткий курс словесности, приспособленный к прозаическим сочинениям. СПб., 1832. С. 145). О поэтичности «Марьиной рощи», которая «носит на себе черты древнего германского рыцарства», пишет А. Г. Глаголев (*Глаголев А. Г.* Умозрительные и опытные основания словесности: В 4 ч. СПб., 1834. Ч. 4. С. 87). По воспоминаниям М. И. Глинки, «Марьиная роща» послужила своеобразным словесным претекстом его оперы «Жизнь за царя» (В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 259). Н. А. Полевой отмечает в «Марьиной роще» влияние «страшных легенд немецких рыцарского времени» и наличие «щеголеватой народности» на «флориановский манер» (*Полевой Н. А., Полевой Кс. А.* Литературная критика: Статьи, рецензии 1825—1842. Л., 1990. С. 223, 235). П. А. Вяземский относит «Марьину рощу» к образцам «в романтически-повествовательном роде» (Вяземский. Т. 1. С. 262). П. Е. Георгиевский отмечает, что повесть Жуковского «Марьиная роща» «замечательна по многим картинам, прелестному слогу и в особенности по своей народности» (*Георгиевский П. Е.* Руководство к изучению русской словесности: В 4 ч. СПб., 1836. Ч. 2. С. 70). С точки зрения В. Г. Белинского, «Марьиная роща» написана в подражание западноевропейским повестям в духе Жанлис и Флориана (Белинский. Т. 1. С. 272). Н. А. Энгельгардт отмечает сходство эпизода, связанного с посещением Усадом комнаты Марии в замке Рогдая, с соответствующим эпизодом из поэмы Лермонтова «Боярин Орша» (*Энгельгардт Н. А.* История русской литературы XIX столетия: В 2 т. СПб., 1902. Т. 1. С. 64—65).

Разночтения в прижизненных изданиях повести часто связаны с заменой одного пунктуационного знака другим (напр.: ...вы не изменились, но, счастье мое, тебя уже нет. — ВЕ, СОРС, СОРС 1, 2, С 2, С 3: ...вы не изменились! но, счастье мое, тебя уже нет!; или: ...тот уже не похож на самого себя. — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ... тот уже не похож на самого себя!; или: Ах! Не узнаете вы меня, места прелестные; очи мои потускли... — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2, С 3: Ах! Не узнаете вы меня, места прелестные! очи мои потускли...), другие разночтения см. в реальном комментарии.

¹ ...приблизился — во всех предшествующих изданиях: приблизился.

² ...дни своей цветущей юности. — ВЕ, СОРС 1, 2, СОС: цветущие дни своей юности.

³ ...тихо лобзаемая — ВЕ, СОРС 1, 2, СОС: едва лобзаемая.

⁴ ...в зеркало их отражались... — ВЕ, СОРС 1, 2, СОС, С 2, С 3: ...в зеркале их отражались...; С 4: ...в зеркале их отражались...

⁵ ...бежал по золотому песку в зеленом кустарнике и сливался с Москвою... — ВЕ, СОРС 1, 2, СОС: бежал по золотому песку в зеленом кустарнике и наконец сливался с Москвою...

⁶ ...потемнели совсем... — ВЕ, СОРС 1, 2, СОС: почернели совсем...

⁷ ...на одном только тереме ~ оставалось умирающее мерцание — ср. в элегии «Вечер»: «Последний луч зари на башнях умирает» (ПССиП. Т. I. С. 76); в балладах «Адельстан»: «День багрянил, померкая, // Скат лесистых берегов» (ПССиП. Т. III.

С. 25), «Варвик»: «Там пламенел берегов на тихом склоне // Закат сквозь редкий лес» (ПССиП. Т. III. С. 45), «Покаяние»: «Святой монастырь на пригорке стоял // За темною кленов оградой: // Меж ними — в то время, как вечер сиял — // Багряной горел он громадой» (ПССиП. Т. III. С. 191).

⁸ ...оно померкло... — ВЕ, СОРС 1, 2: оно потухло...

⁹ ...долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатались ручьями из глаз его... «Ах, Мария!» — воскликнул он; вздохнул из глубины сердца, и голова его склонилась ко груди. — ВЕ: ...долго смотрел на него в молчании, неподвижный и мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатались ручьями из глаз его... «Ах, Мария!» — воскликнул он; вздохнув из глубины сердца, и голова его преклонилась ко груди. СОС: ...долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатались ручьями из глаз его... «Ах, Мария!» — воскликнул он; вздохнув из глубины сердца, и голова его преклонилась ко груди. СОРС 1, 2: ...долго смотрел на него в молчании, неподвижный и мрачный; наконец слезы покатались ручьями из глаз его... «Ах, Мария!» — воскликнул он; вздохнув из глубины сердца, и голова его преклонилась ко груди. С 2, 3, 4: ...долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатались ручьями из глаз его... «Ах, Мария!» — воскликнул он; вздохнул из глубины сердца, и голова его преклонилась ко груди.

¹⁰ ...приятность маткиной-душки — маткина душка — народное название душистой фиалки.

¹¹ Услад был всех приятнее... — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2, 3, 4: Услад был всех забавнее...

¹² ...страшных сказок... — ВЕ, СОРС 1, 2: страшные сказки.

¹³ ...не могло изгладиться... — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ...не могло загладиться...

¹⁴ ...но оно могло быть забыто для всякого нового, даже слабейшего впечатления. — ВЕ: ...но оно могло быть забыто, правда, на короткое время, для всякого нового, даже слабейшего впечатления. СОРС 1, 2: ...но оно могло быть забыто при всяком новом, даже слабейшем впечатлении.

¹⁵ Однажды, вечернюю порою, певец играл на рожке своем, простертый на берегу источника, в виду Марииной хижины. Мария, услышав знакомые звуки... — ВЕ: Однажды, в вечернюю пору, певец играл на рожке своем, простертый на берегу источника, в виду Марииной хижины. Мария, услышав знакомые звуки...; СОС: Однажды, в вечернюю пору певец играл на рожке своем, простертый на берегу источника, в виду Марииной хижины. Мария, услышав знакомые звуки...; СОРС 1, 2: Однажды, в вечернюю пору, певец остановился в задумчивости на берегу источника, в виду Марииной хижины. Мария, увидев его...

¹⁶ ...усладительнее для меня воркования иволги, когда внимаю ему... — СОРС 1, 2: ...усладительнее для меня песни соловья, когда внимаю ей...

¹⁷ ...чувствуя в роще запах ночной красавицы — ночная красавица — народное название растения вечерницы.

¹⁸ ...мне кажется, что в светлом ее мерцании летает надо мною твой образ, что я окружен твоим невидимым присутствием. Часто в минуту воцаряющегося вечера забываюсь по целому часу вблизи твоей хижины... — СОРС 1, 2: ...мне кажется, что в светлом ее мерцании ты невидимкою надо мною летаешь. Часто при закате солнца останавливаюсь вблизи твоей хижины...

¹⁹ *отсюда* — ВЕ, СОРС 1, 2, С 2, С 3, С 4: отселе.

²⁰ *В каждом приятном звуке...* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2, С 3: В каждом веянии ветерка, в каждом приятном звуке...

²¹ *Услад сел в свою лодку...* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: Услад сел на свою лодку...

²² *...его хижина, простерся на траву...* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ...его убогая хижина, сел на траву...

²³ *...побежала опрометью в хижину. Витязь последовал за нею.* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ...побежала как робкая серна в хижину. Витязь за нею последовал.

²⁴ *То был Рогдай, славный, могучий богатырь.* — ВЕ и СОС к слову «богатырь» сделано примечание: Один из предков злодея Кучки, если верить преданию (в СОС: преданиям). СОРС 1, 2: То был Рогдай, славный витязь.

²⁵ *...пошел он... к великому князю Владимиру* — Владимир Святославович здесь упоминается как герой русского былинного эпоса, с его эпохой соотносится время подвигов трех богатырей.

²⁶ *...дабы служить ему вместе с богатырями Ильєю, Чурилою и Добрынею.* — СОРС 1, 2: ...дабы служить ему сильною своею мышцею.

²⁷ *Новое чувство открылось в душе Рогдая...* — СОРС 1, 2: Новое никогда не испытанное чувство наполнило душу Рогдая...

²⁸ *...жемчужное блестящее ожерелье, иногда шелковый сарафан...* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2, С 3, С 4: ...бисерное блестящее ожерелье, иногда камчатный сарафан. И далее в С 5 «бисерное ожерелье» исправлено на «жемчужное ожерелье». Правка была сделана в связи с замечанием, сделанным автору П. И. Шаликовым еще в 1809 г. в «Письме любезному издателю Вестника Европы», напечатанном в журнале «Аглая» (Ч. 7. Июль. С. 26—29). В ответной статье «Благодарность любезному издателю «Аглаи» Жуковский писал: «Что же касается до маленького негодования ваших любезных дам, которым показалось смешным, что витязь Рогдай вместе с золотыми парчами дарил Марию лентами и бисером, а не жемчугом и богатыми ожерельями, то оно, конечно, делает им честь! Но историк не может принять его на свой счет; он сам досадовал на Рогдая за скупость его и неразборчивый вкус, однако принужден был повиноваться строгой истории и вместо жемчугов и ожерельев — написать, скрепив сердце, бисер и ленты» (ВЕ. 1809. Ч. 46. № 16).

²⁹ *...всего града Киева.* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2, С 3, С 4: ...киевских юношей.

³⁰ *...славных богатырей* — СОРС 1, 2: витязей и бояр.

³¹ *...ее доброе сердце?* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ...ее сердце?

³² *...дышал ему в лицо; с полей подымались благовония...* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ...дышал прямо ему в лицо; с полей подымались ароматы...

³³ *...стеснившиеся в груди его вздохи, пошел назад, чтобы...* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ...стеснившиеся в груди его вздохи, пошел назад, дабы...

³⁴ *...о счастья жизни ее.* — ВЕ, СОС: ...о счастья непорочной ее жизни; в СОРС 1, 2: ...о счастья непорочной жизни ее.

³⁵ *Ты вспомнишь прежние наши радости ... и скажешь: «Он меня любил»* — ср. с прощальной элегией В. Ленского: «Но ты придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной».

³⁶ *подругу* — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2: подружку. И далее в С 5 существительное «подружка», употребленное в СОС, С 2, заменено существительным «подруга», местоимением «она» или опущено.

³⁷ ...сиять своими прелестями в великоленном граде Киеве? — СОРС 1, 2: ...надеждою видеть великолепие града Киева?

³⁸ ...гордые свои замыслы... — ВЕ: ...гордые мечты свои...; СОС: гордые свои мечты; СОРС 1, 2: ребяческие мечты свои...

³⁹ земля — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2, С 3, С 4: Божий мир.

⁴⁰ ...свечка горела — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: зажжена была.

⁴¹ отвечаешь — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: отвечаешь.

⁴² удерживает — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: останавливает.

⁴³ ...несчастливая цепенела... — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2: ...несчастливая подружка моя цепенела...

⁴⁴ ...люблю тебя страстно — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: ...люблю тебя страстно, люблю наравне с жизнью.

⁴⁵ шишак — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2: шелом.

⁴⁶ ...беспокоит ее теперь долгое твое отсутствие... — ВЕ, СОС: беспокоится она теперь долгим твоим отсутствием; СОРС 1, 2: беспокоится она теперь от долгого твоего отсутствия...

⁴⁷ ...ему мечталось слышать стенания — здесь «казалось», «привиделось».

⁴⁸ Вдруг от дубравы подымается тихий ветерок: листочки окрестных деревьев зашевелились, ясная луна затуманилась, по всем окрестностям пробежал сумрак — ср. в «Людмиле»: «Чу!.. полночный час звучит. // Потряслись дубов вершины; // Вот повеял из долины // Перелетный ветерок...» (ПССиП. Т. III. С. 11).

⁴⁹ Казалось, что в воздухе какое-то легкое, почти нечувствительное дуновение прикоснулось к пламенным щекам Услады и заиграло в его разбросанных кудрях — ср. в «Эоловой арфе»: «Вдруг... к пламенной что-то коснулось щеке; // И что-то шатнуло // Без ветра листы; // И что-то прильнуло // К струнам, невидимо слетев с высоты...» (ПССиП. Т. III. С. 79).

⁵⁰ ...гармония, подобная звукам далекой арфы. — СОРС 1, 2: гармония.

⁵¹ Скажи — ВЕ, СОС, СОРС 1, 2, С 2, С 3, С 4: Поведай.

⁵² ...простерся к ногам священного старца — ср. в послании «Старцу Эверсу»: «Благодарю, Хранитель-Провиденье! // Могу ль забыть священное мгновенье, // Когда, мой брат, к руке твоей святой // Я прикоснуть дерзнул уста с лобзаньем, // Когда стоял ты, старец, предо мной // С отеческим мне счастья желаньем!» (ПССиП. Т. II. С. 13—14).

⁵³ Она сохранила ко мне любовь и за гробом — ср. стихи из «Певца во стане русских воинов»: Отведай, враг, исторгнуть щит // Рукою данный милой, // Святой обет на нем горит: // Твоя и за могилой! (ПССиП. Т. I. С. 238).

⁵⁴ Проезжая по Троицкой дороге... — Троицкая дорога — дорога к Троице-Сергиевой лавре.

⁵⁵ ...взойдите на Мытищинский водовод... — Мытищинский водовод — арочный каменный мост, построенный в конце XVIII в. через долину реки Яузы.

Ф. Канунова, И. Айзикова, И. Поплавская

Конец вещей

(Изъяснение карикатуры, сообщенной в XXIV № «Вестника Европы» 1808)

(«Finis! Конец! — слова, изображенные на табачном дыме...»)
(С. 37)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 43. № 4. Февраль. С. 299—302 — в рубрике «Литература и смесь», с подписью в конце: Лихтенберг.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее января — начала февраля 1809 г.

Источник перевода: Lichtenberg's Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupfersteiche mit verkleinerten aber follständigen Copien derselben von E. Riepenhausen [Подробные описания Гогартовых гравюр]. Т. 8. S. 106—124 (Finis oder Das Ende aller Dinge [Finis или конец всех вещей]). Göttingen, 1801.

Последняя хогартовская гравюра, известная под названием «Finis» («Конец»), в действительности называлась «The Bathos, or Manner of Sinking in sublime» («Низменное, или падение возвышенного»). Последний абзац текста целиком принадлежит Жуковскому, представляя собой своего рода подведение итогов, некий рекевием автору гравюры и её комментатору, который не довел свой замысел до конца, и его «Изъяснения...» собирали для издания родственники покойного. См. комментарии к переводам «Путь развратного» и «Брак по расчету» в настоящем томе.

¹ «The times» (*Времена*) — Гравюры «Времена» были созданы У. Хогартом в 1762 г. за два года до смерти и проникнуты глубоким пессимизмом. Напр., на одной из гравюр изображён пожар Семилетней войны. Горящие здания символизируют европейские государства. Король Англии Георг III, стоя на пожарной машине в центре, тушит глобус, огонь на котором раздувает стоящий на ходулях Уильям Питт. На его шее висит жёрнов, олицетворяющий коррупцию, с надписью «3000 фунтов в год» — пенсия Питта. Справа внизу изображена группа беженцев, убитых, сумасшедший со скрипкой. В левом нижнем углу — наживающийся на войне голландский коммерсант.

² ...гонения Вильксовой и Куришллевой критики. — По всей видимости, речь идёт о выпадах английских критиков произведений Хогарта: публициста Джона Уилкса (1727—1797) и поэта-сатирика Чарльза Черчилля (1731—1764) на страницах издаваемой ими газеты «North Briton» («Северный британец») в 1762—1763 гг.

³ ...en effigie — (франц.) как попало, неестественным образом

⁴ ...виселица... со своим причетом... — Причет — штат служителей православного культа при отдельной церкви. Иносказательно — с необходимыми аксессуарами, предметами, необходимыми при казни.

Н. Реморова

О литературе французской в XVIII столетии

(«Осьмой-на-десять век, до самого 1789 года...»)

(С. 38)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 44. № 5. Март. С. 41—55 — в рубрике «Литература и смесь», с пометой в конце: Из Journal de Paris.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее середины февраля 1809 г.

Источник перевода: Journal de Paris. 1809. Janvier.

Перевод обзорной статьи из Journal de Paris, посвященной представлению книги «De la littérature française, pendant le dix-huitième siècle» А. Г. П. Б. де Баранта (1782—1866), литератора и историка, политика, известного своими умеренно-либеральными взглядами. Книга посвящена вопросам истории французской литературы и ее взаимосвязям с общественно-политической жизнью Франции.

Перевод выдержан в общем духе ВЕ и в русле интересов его издателя. Автор анализируемой в статье книги утверждает исторический подход к литературе и называет факторы, влияющие на ее развитие, среди которых — социальные процессы (в том числе и Великая французская революция) как серьезно влияющие на духовную, культурную жизнь общества. Читателю предлагается также мнение автора статьи, который не скрывает своих оценок, своего отношения к идеям де Баранта.

Выбор Жуковским статьи «О литературе французской в XVIII столетии» для перевода и размещения в своем журнале демонстрирует еще одну позицию в отношении названных проблем. Как показано сегодня во многих исследованиях, посвященных библиотеке поэта, его творчеству, переписке, Жуковский очень хорошо знал французскую словесность XVII—XVIII вв. Сочинения многих авторов, указывающихся в переводе, он читал с карандашом в руках (см.: БЖ, I—III). Однако не менее важным является принятие одной из основных идей статьи — идеи развития искусства, обусловленности творчества социумом, историей, что, как и воображение, делает творчество индивидуальным, неповторимым. В этом плане данная публикация носит, кроме историко-литературного, еще и эстетический характер. Многие положения перевода перекликаются с эстетическими манифестами самого переводчика, с его пониманием роли литературы в обществе, значения историзма в подходе к ней (подробнее см. примечания к т. XII ПССиП).

¹ ...*писанная неизвестным, весьма глубокомысленным автором.* — Т. е. А. Г. П. Б. де Барантом.

² *Бергасс* Никола (1750—1832) — французский государственный деятель и писатель, был адвокатом, приобрел известность, выступив в знаменитом процессе Бомарше с банкиром Корнманном. Во время революции Бергасс был избран в собрание Генеральных штатов, но отказался впоследствии от присяги новой конституции и сложил свои полномочия. С этого времени он посвятил себя исключительно публицистической деятельности. Из его сочинений наиболее известны: «Sur l'influence de la volonté et sur l'intelligence» (Париж, 1807); «Essai sur la loi, sur la

souveraineté et sur la liberté de manifester ses pensées» (Париж, 1817; 3 изд. 1822) и «Essai sur la propriété» (Париж, 1821).

³...*которыми ознаменовано малолетство Людовика XIV* — Людовик XIV де Бурбон (1638—1715) — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Вступил на престол малолетним и управление государством перешло в руки его матери и кардинала Мазарини. Ещё до окончания войны с Испанией и Австрийским домом высшая аристократия, поддерживаемая Испанией и в союзе с парламентом, начала волнения, которые получили общее название Фронда.

⁴...*Мезерая, кардинала де Реца, Бальзака, Ламотта де Вайе*. — Мезере Франсуа — французский историк (1610—1683); Жан-Франсуа Поль де Гонди, известен как кардинал Рец, (1613—1679), архиепископ Парижский, выдающийся деятель Фронды; Жан-Луи Гез де Бальзак (1597—1654) — французский писатель; Франсуа де Ла Мот Ле Вайе (1588—1672) — французский писатель и философ.

⁵*Паскаль* — Паскаль Блез (1623—1662), французский религиозный мыслитель, математик и физик, один из величайших умов XVII столетия.

⁶*Массильона, Беля, Кребийлона, Ж. Б. Руссо и канцлера Дагессо*. — Массильон Жан-Баптист (1663—1743), знаменитый французский проповедник, епископ клермонский, член академии наук; Пьер Бейль (1647—1706) — один из влиятельнейших французских мыслителей и философско-богословский критик; Кребийон-Младший (или *Кребийлон*) (1707—1777) — французский новеллист и романист, один из ярких представителей стиля рококо; Ж. Б. Руссо (1670—1741) — французский поэт; А.-Ф. д'Агессо (Дагессо), хранитель печатей (1717—1718 и 1720—1722), канцлер (1727—1750) и канцлер без печатей (1750—1751).

⁷...*удалился своим характером от строгой нравственности людовикова времени* — Войдя в круг молодых людей из высшего общества, Ж. Б. Руссо получил известность непристойными стихами.

⁸*Реналь* — Имеется в виду Г. Т. Ф. Рейналь (1713—1796) — французский историк и социолог. Он принадлежал к так называемой «плеяде аббатов», куда входили Мариво, Прево, Мабли. Люди третьего сословия, они не могли поступать в высшие учебные заведения и получали образование в церковных и иезуитских школах. Рейналь получил образование в иезуитском коллеже. Редакторство в «Mercure de France» открыло ему путь к знакомству и сближению с литературным миром и философами. Он становится активным сотрудником «Энциклопедии» Дидро. Рейналь проявляя глубокий интерес к истории Английской и Нидерландской революций, пропагандировал опыт революции в Северной Америке. В период Великой французской революции он выступал против обострения революционной борьбы, осуждая якобинцев.

И. Айзикова

О том, что нас обманывает

(«Оргон, которого ужасно теснили в театре...»)

(С. 44)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 44. № 7. Апрель. С. 161—168 — в рубрике «Литература и смесь», с подписью в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях отсутствует.
Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1808 — начало 1809 гг. (не позднее второй декады марта).

Источник перевода: *De ce qui nous trompe* [О том, что нас обманывает] // *Conseils de Morale. Par madame Guizot. V. 1—2. Paris, 1828. V. I. P. 133—140.* Атрибуция: Симанков. С. 109. Издание, по которому Жуковский выполнил перевод, не установлено.

Перевод очерка из «Нравоучительных наставлений» Элизабет Шарлотты Полины Гизо, урожденной де Мелан (1773—1827) — первой жены историка и политического деятеля Ф. П. Г. Гизо, французской писательницы и автора педагогических сочинений. Поэт познакомился с ней, уже тяжело больной, в 1827 г. В Парижском дневнике от 12 (24) мая он отмечает: «Нас пригласили на вечер к Гизо. (...) ...все (...) стояли (...) далеко от моей резиденции, которая была мне назначена близ стула М-е Guizot. Разговор с нею был о М-е Moreau» (ПССиП. Т. XIII. С. 260). Шарлотта Моро де ла Мельтиер, французская эмигрантка, переводчица, которая находилась вместе со своим мужем в Муратове весной 1814 г. и с которой Жуковский состоял в переписке, способствовала знакомству поэта с семейством Гизо. См. об этом в его письме от июня 1827 г. к Моро: «Благодаря вам я очутился в кругу давнишнего знакомства: говорю о любезном семействе Гизо, которое я уважал издали и люблю вблизи. (...) Я застал г-жу Гизо больную. Она очень слаба. (...) Трудолюбие сокрушило ее» (РА. 1875. № 11. С. 319—320). В дошедшей до нас записке Ф. П. Г. Гизо к Жуковскому историк также упоминает о здоровье своей жены (РА. 1875. № 11. С. 317). Спустя три месяца в письме к А. И. Тургеневу от августа 1827 г. Жуковский сообщает: «М-me Guizot кончила здешнюю жизнь» (ПЖТ. С. 220). В письме графини Генриетты Разумовской о последних часах жизни Э. Ш. П. Гизо приводятся слова умирающей, обращенные к А. И. Тургеневу и Жуковскому: «Скажите Александру и Жуковскому, что мне хотелось бы видеть их здесь, что они для меня не иностранцы; я совершенно сроднилась с ними, это благородные души...» (*Загарин П. В. Жуковский и его произведения 1783—1883. М., 1883. С. 379*). В библиотеке поэта имеются ее педагогические сочинения под названием «*Lettres de famille sur l'education*». Paris, 1841. Т. 1—2. (Описание. 1206). Издания по педагогике Полины Гизо упоминаются и в переписке Жуковского с А. П. Елагиной (См.: *Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной. 1813—1852. М., 2009. С. 324, 325, 454*).

Перевод текста без второго двуступища и одного прозаического предложения в конце в целом соответствует оригиналу, представленному в «*Conseils de morale*».

Ш. О. Сен-Бёв, оценивая творчество Полины Гизо, писал: «...сколько значительных мыслей рассеяно в ее многочисленных и сумбурных писаниях» (*Сен-Бёв Ш. О. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970. С. 209*). О романах Э. Ш. П. Гизо, входивших в круг чтения членов семьи Николая I, см.: *Ребеккини Д. В. А. Жуковский и французские мемуары при дворе Николая I (1828—1837). Контекст чтения и интерпретация // Пушкинские чтения в Тарту 3. Тарту, 2004. С. 229—253*.

¹ *Монтань* — Монтень Мишель (1533—1592), знаменитый французский писатель и философ, автор книги «Опыты» (1580).

² *Льстецы! ужасный дар разгневанных Небес!* — Из монолога Федры, обращенного к Эноне, в трагедии Ж. Б. Расина «Федра» (д. IV, явл. 6).

³ *...прохаживаясь ~ по саду в Марли* — основанные Людовиком XIV (1638—1715) дворец и парк в окрестностях Парижа, в Марли-ле-Руа.

И. Поплавская

Брак по расчету

(«Когда живописец Гогарт издал в свет карикатуру...»)

(С. 47)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 44. № 7. Апрель. С. 183—193 — в рубрике «Литература и смесь», с подзаголовком (Гогартова карикатура) и подписью в конце: Лихтенберг; продолжение: ВЕ. 1809. 45. № 10. Май. С. 129—133 — в той же рубрике и с теми же подзаголовком и подписью; продолжение: ВЕ. 1809. 48. № 24. Декабрь. С. 339—342 — в рубрике «Смесь», с подзаголовком (Изыяснение двух карикатур, помещенных в 15 и 21 № «Вестника Европы»).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой половины марта 1809 г. (первый фрагмент), конца апреля 1809 г. (второй фрагмент), ноября 1809 г. (третий фрагмент).

Источник перевода: Lichtenberg's Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupfersteiche mit verkleinerten aber follständigen Copien derselben von E. Riepenhausen [Подробные описания Гогартовых гравюр]. Т. 4 (Die Heirat nach der Mode [Брак по моде]). Göttingen, 1798.

Представляет собой перевод лихтенберговских описаний четырёх картин (из шести) Уильяма Хогарта под общим названием «Mariage à la mode» (1743—1745) — у Лихтенберга «Die Heirat nach der Mode». Это была первая в Англии сатирическая серия, высмеивающая нравы высшего общества. Жуковский при переводе название меняет. Французское «Mariage à la mode», как и немецкое «Die Heirat nach der Mode» скорее следовало перевести как «Брак по моде» или «Модный брак», что, судя по всему, и имел в виду художник, писавший свои картины, действие которых происходит в Англии в период распада феодальных отношений, когда в обществе, по-прежнему существуют графы, виконты, бароны, но они не только уже не правят в стране, но и не вписываются в ритм интенсивно меняющейся жизни, в новые экономические отношения. Они разорены и ищут возможности любым способом сохранить хотя бы видимость прошлого величия. Потеснившие титулованную знать нувориши, напротив, стремятся украсить свою родословную купленными титулами. Модным становится мезальянс. На родине переводчика, в России, этой «моды» ещё не было, до расцвета третьего сословия было далеко. Русскому читателю был более привычен «брак по расчёту», учитывающий материальное положение заключающих брачный союз, но, как правило, сохраняющий социальное равенство. Переведены описания первой картины — «Брачный контракт», второй — «Вскоре после свадьбы», четвертой — «Будуар графини» и пятой — «Дуэль и смерть графа».

Сейчас все шесть картин из цикла находятся в Национальной галерее Лондона. См. также комментарии к переводу «Путь развратного» в наст. томе.

¹ *AbraKadabra* (поздн. лат.) — 1) в средневековье — магическая формула, которой приписывалась чудодейственная сила; 2) бессмыслица, непонятный набор слов.

² Шериф — должностное лицо в Великобритании, Ирландии и США, выполняющий в своём округе определенные административные функции.

³ Виконт — дворянский титул, занимавший среднее положение между бароном и графом.

⁴ Великий Могол — европейское прозвание тюркского завоевателя Индии Бабура (1483—1530), перешедшее к его потомству.

⁵ По представлениям тибетского буддизма, Далай-лама является перевоплощением бодхисаттвы сострадания. Начиная с XVII в. до 1959 г. Далай-ламы были теократическими правителями Тибета. И теперь Далай-лама рассматривается как духовный лидер тибетского народа. «Далай» означает в монгольском языке «океан» — в значении «Великий», «лама» в тибетском эквивалентно санскритскому слову «гуру» и имеет значение «учитель».

⁶ Вильгельм I Завоеватель (Вильгельм Нормандский, или Вильгельм Незаконнорождённый, ок. 1027—1028 — 1087) — герцог Нормандии с 1035 г. и король Англии с 1066 г., организатор и руководитель нормандского завоевания Англии, один из крупнейших политических деятелей Европы XI в.

⁷ Прокуратор — В подлиннике: адвокат.

⁸ *Silvertongue* — От англ. *silver tongue* — серебряный язык.

⁹ Бельведер (*ит.*) — буквально — прекрасный вид. Архитектурное сооружение на возвышении, позволяющее обозревать окрестности.

¹⁰ Генрих IV — французский король (1589—1610). В 1598 г. по его приказу был составлен и утвержден Нантский эдикт, дававший полную равноправность католикам и протестантам (гугенотам). Убит фанатиком католиком.

¹¹ Варфоломеевская ночь — массовая резня гугенотов во Франции, устроенная католиками в ночь на 24 августа 1572 г., в канун дня святого Варфоломея.

¹² ...*Святого Лаврентия, идущего поневоле на брачное ложе, то есть к костру, на котором сожгут его в пепел.* — Св. Лаврентий Римский (ок. 225 — 258) — архидиакон римской христианской общины, заживо сожженный во время гонений императора Валериана.

¹³ ...*побиение Вифлиемских младенцев...* — речь идет об эпизоде Новозаветной истории, описанной в Евангелии от Матфея.

¹⁴ Олоферн — персонаж из Книги Юдифь, ассирийский полководец, сражавшийся против иудеев, осажденных в Ветилуе. Спасительницей города стала молодая и красивая вдова Юдифь, которая, притворной лаской добившись доверия Олоферна, отрубила ему голову его же собственным мечом.

¹⁵ Имеется в виду святой мученик Севастиан, пострадал за христианскую веру. Его допрашивал лично император Диоклетиан (284—305) и, убедившись в непоколебимости святого мученика, приказал отвести его за город, привязать к дереву и пронзить стрелами. В описании здесь перечисляются картины («Давид и Голиаф», «Мученичество св. Лаврентия», «Убиение Авеля», «Св. Себастьян», «Юдифь и Олоферн»), пророчасие печальный конец «браку по расчету».

¹⁶ ...*держит перун...* — Здесь перун — сверкающее копьё-молния.

¹⁷ ...*Фараон, утопающий с войском своим в Чермном море.* — Речь идет о библейской истории перехода евреев через Чермное море: войско Фараоново утонуло при преследовании евреев, выводимых Моисеем из Египта.

¹⁸ Кофешенк (устар.) — придворный, отвечавший за приготовление кофе, чая, шоколада и т. п.

¹⁹ Антик (устар.) — старинный или редкий предмет художественной работы.

²⁰ ...*под покровительством арапа...* — Арап — чернокожий житель Африки, негр. При Дворе должность придворника, припорожника (см.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 21).

²¹ *Castrato Карестини* — имеется в виду Джованни Карестини (1704—1760), знаменитый итальянский оперный певец. Кастрация с целью создания искусственных мужских голосов (сопрано или альты) в Италии была запрещена при Папе Клименте XIV (1769—1774), однако фактически подобные певцы исполняли свои партии до 60-х годов XIX столетия.

²² *Bagnio (ит.)* — в Англии — публичный дом.

²³ Домино — маскарадный костюм в виде широкого плаща с рукавами и капюшоном.

И. Айзикова, Н. Реморова

Три философа

(Греческая новость)

(«Жил в Греции человек...»)

(С. 57)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 44. № 8. Апрель. С. 298—303 — в рубрике «Литература и смесь», с указанием источника в конце: Маллет.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1808 — начало 1809 гг. (не позднее первой декады апреля).

Источник перевода: *Malet. Les trios philosophes, nouvelle grecque* [Три философа. Греческая новелла] // *L'Année littéraire*. 1786. V. III. P. 63—69; То же // *L'Esprit des journaux*. 1786. V. VII. P. 246—250. Атрибуция: Симанков. С. 109.

Жан Луи Малле (1757—1832) — женеvский адвокат. В свое время были известны его сочинения «*Marcomeris ou Le beau troubadour*» (1796), «*Mélanges historiques et littéraires*» (1797), «*Tableau historique des dissensions de la République de Genève et de la perte de son indépendence*» (1803), «*Idylles helvétiques*» (1823). Он также писал детские произведения («*Idylles à l'usage des enfants et des amateurs de la vie Champêtre*», 1804).

В основе переведенной Жуковским дидактической новеллы (которая, как указывает В. И. Симанков, имеет еще и стихотворную переработку сюжета, выполненную самим Ж. Л. Малле: *Mallet J. L. Les Trois Gentes. Nouvelle grecque* // *Marco-*

meris ou Le beau troubadour: nouvelle de chevalerie; suivi de contes en vers. Genève, 1796. P. 221—226) оказываются вопросы нравственной философии и их близость к проблематике художественного творчества, читательской рецепции произведения и самой личности автора в эпоху предромантизма и романтизма. Противопоставление плачущего Гераклита, который наполнял сердца афинян «любовию к добродетели, отвращением к пороку», и смеющегося Демокрита, любившего «осмеивать нравы своих любезных сограждан», «не оскорбляя нимало их самолюбия», философу обыденной жизни — Диогену — раскрывает внутреннее единство законов нравственного поведения личности и эстетического восприятия, которые основаны на стремлении к «усовершенствованной натуре». В этой новелле затрагивается и проблема связи между философией и личностью философа, которая преломляется в творчестве Жуковского в оригинальной эстетике жизнестроительства.

¹ *Гераклит Эфесский* (544—483 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

² *Демокрит Абдерский* (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

³ ...надевал гарпагонскую мантию в заплатах и пятнах — от имени Гарпагон (*греч.* гарпия, хищница), связанное с комедиями Плавта нарицательное имя скупого. Также Гарпагон является главным действующим лицом в комедии Мольера «Скупой, или Школа жи» (1668).

⁴ ...представлял в себе Алцибиада (*Алкивиада*) (ок. 450 — 404 гг. до н. э.) — полководец и политический деятель в древних Афинах, поклонник знаменитой афинской гетры Аспазии (V в. до н. э.).

⁵ *Диоген Синопский* (ок. 412 — 323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

И. Поплавская

**Печальное происшествие,
случившееся в начале 1809-го года**
(«Описывая вам горестную судьбу моего знакомца...»)
(С. 59)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 45. № 9. Май. С. 3—14 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее второй декады апреля 1809 г.

«Печальное происшествие» отражает важнейшее направление ВЕ в период редакторства Жуковского — антикрепостническую идею внесловной ценности человека. Острое обличение деспотизма и насилия в повести можно рассматривать в ряду таких публикаций журнала, как «Бедная Нина», «Мария», «Ожесточенный», «Прусская ваза» и др. Связана повесть и с публицистической деятельностью Жуковского. Так, напр., в рецензии «Училище бедных» четко прослеживается антикрепостнический пафос издателя, который становится еще более острым и негодующим в «Печальном происшествии». Ориентация на документальную точность определяется уже заглавием, что придает произведению достоверность, наполняет

его конкретным содержанием русской крепостной действительности. Связанная в определенной мере с традициями сентиментализма («Бедная Лиза», «Лиодор» Н. М. Карамзина — Жуковский сохраняет имена героев этих произведений, обозначая преемственность по отношению к художественным и издательским традициям, заложенным его предшественником), повесть Жуковского значительно углубляет антикрепостническую направленность, заостряя трагизм судьбы героев и в определенной степени предвещающая такие остро оппозиционные произведения, как, напр., «Сорока-воровка» А. И. Герцена.

Оригинальным является обрамление «Печального происшествия». Морально-назидательный пафос утверждается в рассуждениях не только сочувствующего, но и рефлексирующего повествователя на тему просвещения и воспитания простолюдинов, занимавшую поэта.

Ф. Канунова, Н. Никонова

Зеркало

(«Один неаполитанский король...»)

(С. 64)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 45. № 9. Май. С. 24—33 — в рубрике «Литература и смесь», с подписью: (С французского).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: конец 1808 — начало 1809 гг. (не позднее середины апреля).

Источник перевода: Cazotte J. L'Avanture de pelerin [Приключения паломника]. В некоторых изданиях повесть перепечатывалась под названием «Le Miroir» [Зеркало]. Атрибуция: Симанков. С. 109.

В основе сатирической повести французского писателя Ж. Казотта (1719—1792), в которой обличается лицемерие придворных и которая является вставной новеллой в поэме «Olivier» (впервые: 1763. Т. 2. Р. 10—21), пародирующей Ариосто, лежит легенда о сицилийском короле Рожере II (1095—1154), основателе и первом короле Сицилийского королевства (с 1130 г.). Рожер II отличался широкой образованностью, свободно говорил на греческом и арабском языках. В истории известна «Книга Рожера» («Развлечение для человека, жаждущего полного знания о различных странах мира»), которая представляет собой наиболее значительный географический труд XII в. В церкви Марторана в Палермо сохранилась мозаика, изображающая коронацию Рожера II Христом. Новелла «Зеркало», указывает В. И. Симанков, имела довольно большую известность. До Жуковского она публиковалась в переводе П. П. Бекетова (1761—1836) в «Друге просвещения» (1804. Ч. 3. № 8. С. 112—118). Подробнее см.: Симанков. С. 109—110.

Литературная легенда о Рожере II могла заинтересовать Жуковского личностью просвещенного монарха, что получило отражение и в таких публикациях ВЕ, как «Характер Марк-Аврелия» из Гиббона (1808. № 1), «Георг II, английский король, и министры его» А. Кантемира (1808. № 4), «Фридрих Великий в Страсбурге» (1808.

№ 8), «О дружбе государей» из Энгеля (1809. № 7), «Свидания маршала принца де Линя с Ж.-Ж. Руссо и Вольтером» (1809. № 15) и «Письмо принца де Линя к Екатерине II» Ш. Ж. де Линя (1809. № 19), «Разные мнения об Александре Македонском» (1809. № 24) и др. Встречающиеся в этом произведении мотивы неузнанного императора, царя и «прорицателя истины» широко представлены в русской литературе (см. Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Вып. 1. Новосибирск, 2006. С. 138—140, 147—148). Фольклорный мотив «зеркала истины» также известен в русской и мировой литературе.

¹ *Каролус* — французская, а также фландрская и лотарингская монета, впервые упоминаемая в 1488 г. и бывшая в обращении до начала XVII в.

И. Поплавская

Счастливая ложь

(«Какой прекрасный замок, какое место, какой огромный сад...»)

(С. 68)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 45. № 11. Июнь. С. 161—172 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Счастливая ложь», с пометой в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 2 («Повести»). С. 37—50; Пвп 2. Ч. 1. С. 241—250 — с тем же заглавием и без помет. Текст идентичен первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее второй декады мая 1809 г.

Источник перевода неизвестен.

«Счастливая ложь» — чистый образец новеллистического жанра, разработку которого в разных его вариантах Жуковский предпринимает в ВЕ. Не обремененная психологическими, социальными или философскими мотивациями, эта новелла сосредотачивается на бытовом случае, разрешающемся неожиданно для его инициатора, и благодаря своей анекдотической составляющей плотно включается в пространство журнальной беллетристики, требующей в первую очередь занимательности, «в которой идеальное нравилось бы сходством своим с существенностью, которая доставляла бы любопытному удовольствие сравнивать истину с вымыслом, самого себя с романическим лицом» («Письмо из уезда к издателю»; 1808. № 1).

Центральным моментом новеллистической картины мира является случайность, столь ярко проявившаяся в сплетении обстоятельств «Счастливой лжи». Очевидно, именно это обстоятельство подвигло Жуковского на перевод. В ВЕ проблеме счастья особо посвящена статья «Кто истинно добрый и счастливый человек» (1808. № 12), вывод которой очень точно соотносится с разрешением событий «Счастливой лжи»: «Ты хочешь верного счастья? Почитай обязанностию быть деятельным для пользы отечества; но лучшие твои наслаждения, но самые драгоценные награды твои да будут заключены для тебя в недрах семейства» (с. 224). Случайность, организующая действие новеллы, тем самым лишь воплощает в жизнь глубинные стремления

героев к домашнему покою и семейному счастью, идиллический образ которых представлен в лице господина Бермона и его дочерей. Своеобразной параллелью этой новеллы, акцентирующей тему фортуны, награждающей добрых, выступили в ВЕ повести «Портрет» (1808. № 22), «Лиммерикские перчатки» М. Эджворт (1808. № 20, 21), «Молочница и золотых дел мастер» (1809. № 13), «Отставленный министр и нищий с деревянною ногою» (1809. № 23).

В. Киселев

Первое движение

(«В одном из южных департаментов Франции...»)

(С. 73)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 45. № 12. Июнь. С. 241—262 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Первое движение (Повесть)», с пометой в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 1 («Повести»). С. 185—211; Пвп 2. Ч. 1. С. 133—151 без подзаголовка и пометы: (С французского). Тексты идентичны первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее первой декады июня 1809 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. Le premier mouvement [Первое движение] // Sarrazin A. Contes nouveaux, et nouvelles nouvelles. V. 1—3. Paris, 1813. V. 2. P. 163—200.*

Издание, по которому сделан перевод, не установлено.

Переводную повесть «Первое движение» можно отнести к «шутливым», в основу ее романтического конфликта вплетены иронические интонации, которые, конечно, не затрагивают самой сути важнейших для Жуковского внутренних и субстанциальных оппозиций, но как бы достраируют их до целого, внося в повествование идею относительности всего сущего, абстрактности сущего и должного, взятых по отдельности. В переводе из сборника Сарразена смеховой обработке подвергается способность героя действовать по первому движению сердца, которая отнюдь не является залогом его добродетели, как это было в сентиментализме, а свидетельствует о типично романтическом разладе в душе героя, где столкнулись мечта и действительность.

¹ ...тысячи ефимков... — Ефимок — русское название западноевропейского серебряного талера. Название «ефимок» происходит от названия первых талеров, чеканившихся в городе Йоахимсталь в Богемии — *йоахимсталеф* (Joachimsthaler). Эти монеты в большом количестве начали ввозиться в Россию начиная с XVI в. и использовались как сырьё для чеканки собственных серебряных монет.

² В начале повести героиня Эльмина ошибочно называется Софией, что было замечено только в Пвп, о чем в этих изданиях читателю сообщается в примечании. В частности, в Пвп 2 читаем: (НВ. На стран. 134 под именем *Софьи* должно разуместь *Эльмину*).

И. Айзикова

Приключения застенчивого человека

(Писанные им самим)

(Я болен неизлечимую моральною болезнью...)

(С. 82)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 13. Июль. С. 3—12 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по первой публикации.

Датируется: не позднее второй декады июня 1809 г.

Источник перевода: Histoire d'un Homme timide, racontée par lui-meme, traduite de Anglais, de Varlety (sic!) recueil d'Essais [История робкого (застенчивого) человека, рассказанная им самим, переведенная на английский язык] // Mercure de France. 1805. Т. XXI. Р. 29—33; То же // L'esprit des Journaux. 1805. Т. XII. Р. 226—235. Атрибуция: Симанков. С. 110.

По разысканиям В. И. Симанкова, «Приключения застенчивого человека», опубликованные в 1805 г. в «Mercure de France», являются переводом с английского языка. Французский перевод был выполнен по «Всякой всячине» (см.: The Distresses of a Modest Man // Variety: A Collection of Essays. Written in the year 1787. L., 1788. Р. 186—196). «Variety: A Collection of Essays» — это английское собрание очерков, авторами которого являются Хамфри Рептон и Анна Сьюард. «Приключения застенчивого человека» единодушно приписываются Х. Рептону (1752—1818), английскому теоретику и практику ландшафтного искусства XVIII в. Впоследствии этот очерк вошел во многие антологии, пользовался большой известностью и многократно переводился на иностранные языки» (Симанков. С. 110).

В переведенном Жуковским рассказе, по всей видимости, английского автора (события происходят в Лондоне в семье баронета Биллингтона, у героя богатый дядя из Бенгала — места обогащения Англии с середины XVIII в.) обнаруживается интерес к исследованию психологии, подробностям душевных движений на материале повседневной жизни обыкновенного частного человека. Жуковский развивает эстетические и художественные принципы сентиментализма, сформулированные Н. М. Карамзиным: «(...) истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением, показывать оттенки (...) и, подобно Юпитеру, (...) иногда малое делать великим, иногда великое делать малым» (Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х т. Л., 1984. Т. 1. С. 89). Для повествования характерна исповедальность (приключения, «писанные им самим») и сочетание комического с трагическим, юмора с печалью.

¹ ...дядя из Бенгала... — Бенгалия — исторический регион северо-восточной части Южной Азии, находившейся под властью английской Ост-Индской компании с 1764 г.

² ...множество денег в Ост-Индии... — Ост-Индия (буквально — Восточная Индия) — географическое название Южной и Юго-Восточной Азии.

³ Но все суета, сказал Соломон... — «Всё суета» — сказал Соломон. (Книга Экклезиаста).

⁴ ...десять тысяч стерлингов... — Стерлинг — основная денежная единица в Англии, равная 20 шиллингам.

⁵ ...издание Ксенофона... — Ксенофонт — (не позже 444 до н. э. — не ранее 356 до н. э.), древнегреческий писатель, историк, афинский полководец и политический деятель.

⁶ ...блюдо с полердой ... — Полерда (от франц. *Poulard* — курица, пулярка).

⁷ ...знак Каинова отвержения на лице... — «печать ужасного греха», особый знак, которым был отмечен, согласно Библии, старший сын Адама и Евы Каин — за то, что убил из зависти своего брата Авеля.

Э. Жилкова

Молочница и золотых дел мастер

(«Трудолюбие и порядок — вернейшие источники богатства...»)

(С. 85)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 13. Июль. С. 12—20 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее июня 1809 г.

Источник перевода неизвестен.

Своеобразие текста определяется вниманием к внутреннему миру героев и поэтизацией будничной жизни обыкновенного человека, что связано с тягой Жуковского к жанру идиллии, к использованию его возможностей в прозе. В данном переводе находим все приметы «идиллической повести»: идеализацию главной героини — деревенской девушки-труженицы, отличающейся добродетельностью, доверием к людям, чистотой и непорочностью; эпическую детализацию (прежде всего, подробное изображение вещного мира), установку на раскрытие народных нравов. Вместе с тем перевод сближается с поэтикой поучительного анекдота (острый сюжет, герой-мошенник, красноречивый финал: добродетель вознаграждена — порок наказан). В целом повесть отличается просветительским пафосом и вписывается в ряд таких переводных и оригинальных повестей из ВЕ, как «Портрет. Истинное происшествие», «Марьяна роща», «Розы Мальзерба», «Старый башмачник бедной хижины и восемь луидоров» и др.

И. Айзикова

Разговор Моды с Рассудком

(«Позвольте ли сказать Вам одно слово, госпожа Мода?..»)

(С. 89)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 13. Июль. С. 22—34 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее июня 1809 г.

Источник перевода: Dialogue entre la Mode et la Raison [Диалог между Модой и Разумом] // Almanach des Prosateurs. Paris, 1807. P. 270—281. Атрибуция: Симанков. С. 110—111.

В. И. Симанковым установлено, что автор «Dialogue entre la Mode et la Raison» — французский писатель, член масонской ложи «Девять сестер», Брикер де ла Димери Никола (1730 или 1731—1791), что данный рассказ, будучи напечатанным впервые в 1783 г. в «Almanach littéraire ou Étrennes l'Apollon. Pour l'année 1783» (Paris, 1783. P. 13—24), затем неоднократно переиздавался, полностью или в отрывках, что диалог был перепечатан в «Almanach des Prosateurs», послужившем для Жуковского источником оригинала, без указания авторства и каких-либо сведений об источнике публикации. Исследователь указывает также, что перевод Жуковского «выполнен в содержательно точной, хотя и в свободной манере, напоминающей переложения XVIII в. (Симанков. С. 110—111).

Диалог Моды с Рассудком имеет очевидный философский подтекст, выводя читателя к важнейшим проблемам просветительской идеологии: соотношения рационального и эмоционального в жизни человека и общества; статичности (вечности) рациональных истин и постоянной изменчивости чувств, восприятий, в том числе и представлений о красоте и моде; влияния культуры, включая культуру одежды, на человека. Разговор напрямую пересекается с переводом «О выгодах славы» (1808. № 7), а также с рядом повестей и текстов «промежуточных жанров», поднимая те же вопросы об успехе человека в обществе, о славе и вечности, о славе и известности, полученной в результате произведенного внешним видом общественного ажиотажа. Здесь продолжается размышление о внутреннем и внешнем «блеске» человека, в том числе и в применении к творческой личности (в переводе речь идет об отношении к моде таких деятелей французской культуры XVII—XVIII вв., как Монтень, Корнель, Расин, Вольтер). Построенный на противопоставлении двух голосов (разума и эмоций, страсти; внешнего и внутреннего в человеке), «Разговор Моды с Рассудком» убеждает читателя в их органическом единстве, постоянном взаимодействии. В этом плане данный перевод вписывается в давнюю в творчестве Жуковского жанровую традицию текстов-разговоров, берущую свое начало еще в его литературных опытах периода обучения в Университетском Благородном пансионе.

¹ Корнель явился в такое время ... он всё возвысил и многое сделал гигантским. — Начало творчества французского трагика П. Корнеля приходится на конец

1620-х гг., период, связанный с серьезным обострением противоречий во Франции, резким подъемом оппозиционных по отношению к абсолютизму сил, что было вызвано, в значительной мере, убийством в 1610 г. короля Генриха IV, вступлением на престол малолетнего Людовика XIII, власть за которого взяли в свои руки регенты. В 1624 г. король, по сути, добровольно передает всю полноту власти кардиналу Ришелье. Конец 1620-х гг. отмечен взятием Ла-Рошели, центра гугенотского сопротивления, что означало окончательное торжество политической линии Ришелье. 1628—1629 гг. отмечены дебютом П. Корнеля-драматурга и определяют начало нового этапа в литературной жизни страны — расцвета классицизма, возродившего многие идеи античной эстетики, в частности, античного театра, монументальной, возвышенной античной трагедии.

²...наскучив республиканством ... и главную страстью в трагедиях Расиновых сделалась какая-то любовь. — История французской классицистической трагедии представлена яркими талантами П. Корнеля (автора «героических» трагедий с конфликтом между общественным долгом и личными чувствами) и Ж. Расина (создателя так называемых «лирических» трагедий, в центре которых проблема человеческих страстей, неподвластных разуму).

³Мом — В древнегреческой мифологии бог насмешки, злословия и глупости.

И. Айзикова

Истинное происшествие

(«Не можете ли вы сказать мне...»)

(С. 96)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 14. Июль. С. 81—101 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Истинное происшествие», с пометой в конце: С франц.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 1 («Повести»). С. 115—139; Пвп 2. Ч. 1. С. 83—99, с тем же заглавием, без пометы: С франц.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее первой декады июля 1809 г.

Источник перевода неизвестен.

Обращение Жуковского к переводу остросюжетной истории из эпохи Французской революции находится в рамках традиции русской прозы первой трети XIX в., характеризующейся огромным интересом к Французской революции. В повести интерес сосредоточен на изображении характера и судьбы обыкновенного участника драматических событий 1793 г. — почтенного воина и инвалида д'Обинье. Исторический интерьер повести, названной «истинным происшествием», в рамках которого развивается сюжет, создается введением образов реальных лиц — французской королевы Марии Антуанетты, описанием нравов и порядков при дворе Людовика XIV, наступившей эпохи якобинцев и сменившего ее нового времени, ознаменованного коронацией Наполеона.

Вариант текста в ВЕ отличается от редакции из Пвп 1, 2 только пунктуацией: ряд восклицательных знаков заменены на точки (напр.: «Это старинный мой сослу-

живец, Обинье! В самом деле, чудак!» — Пвп 1, 2: «Это старинный мой сослуживец, Обинье. В самом деле, чудак.» Или: «Из любопытства!» — Пвп 1, 2: «Из любопытства.», тире — на точки с запятой (напр.: «...видеть двор Людовика XVI, Марию Антуанетту и прежних придворных — он видел ужасного Робеспьера» — Пвп 1, 2: «...видеть двор Людовика XVI, Марию Антуанетту и прежних придворных; он видел ужасного Робеспьера»; или: «...спасло его 9-е число Термидора — наконец, ему захотелось увидеть Наполеона» — Пвп 1, 2: «...спасло его 9-е число Термидора; наконец, ему захотелось увидеть Наполеона»). Иногда в редакции Пвп 1, 2 встречается иное, чем в ВЕ, членение текста на предложения (напр.: «...Обинье наслаждался счастливейшими минутами жизни — кто бы это подумал!» — Пвп 1, 2: «...Обинье наслаждался счастливейшими минутами жизни. Кто бы это подумал!» Или: «Но ей непременно хотелось еще одному неблагодарному оказать милость — что же тут говорить! Хотелось, только и всего!» — Пвп 1, 2: «Но ей непременно хотелось еще одному неблагодарному оказать милость... Что ж тут говорить: хотелось, только и всего.»).

¹ ... *при дворе Людовика XVI...* — Людовик XVI (1754—1793), король Франции из династии Бурбонов (с 1774 г.). Казнен по решению Конвента 21 января 1793 г.

² ... *встретился в Тюльерийском дворце...* — Тюльерийский дворец — резиденция французских королей.

³ ... *по случаю коронации Наполеона* — Наполеон объявил себя императором в 1804 г. Коронация состоялась 2 декабря в соборе Нотр-Дам де Пари.

⁴ ... *современников Сюлли и Генриха Великого!* — Сюлли Максимилиан де Бютон (1560—1651) — французский государственный деятель, занимавший ряд высших служебных постов во время правления короля Франции Генриха IV Великого (1594—1651).

⁵ ... *ему удалось когда-то видеть (...)* Марию Антуанетту... — Королева Франции (1755—1793). Казнена 16 октября 1793 г. по приговору революционного Конвента.

⁶ ... *он видел ужасного Робеспьера...* — Робеспьер Максимилиан-Мари Исидор (1758—1794), единоличник диктатор Республики, вдохновитель и организатор якобинского террора.

⁷ ... *9-е число Термидора...* — Переворот 27—28 июля 1794 г., свергнувший диктатуру Робеспьера.

⁸ ... *на сражении при Фонтенуа...* — В битве при Фонтенуа 11 мая 1745 г. французская армия нанесла поражение англо-голландско-ганноверским войскам.

⁹ ... *безруким Цинциннатом...* — Цинциннат Люций Квинкий, древнеримский полководец, консул в 460 до н. э., политический деятель, слыл образцом добродетели и храбрости, занимался мирным сельским трудом (любил выращивать капусту).

¹⁰ *Позвольте мне быть за вас челобитчицею!* — Челобитчица — проситель, истец.

¹¹ ... *подвиги его во время осады Гибралтара!* — В течение четырех лет (1779—1783) соединенные войска Франции и Испании пытались безрезультатно отвоевать у Англии захваченную ею в 1704 г. крепость Гибралтар.

¹² ... *сделать честь своим посещением Версаля...* — Версаль — дворцово-парковый ансамбль архитектуры XVII в., королевская резиденция французский королей, начиная с короля-солнца Людовика XIV.

¹³ ... *Франция привыкла находить благодетелей своих в Бурбонах...* — Бурбоны — древний французский королевский род.

¹⁴ ...уголком в Бастилии... — крепость и место заключения государственных преступников в Париже.

Э. Жилькова

Разговор Ума с Сердцем

(«Скажи мне, Сердце...»)

(С. 104)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 14. Июль. С. 101—105 — в разделе «Литература и смесь», с указанием источника: Г-жа Ролан.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая половина 1809 г.

Источник перевода: *M-me Rolland. L'Esprit et le Coeur, dialogue* [Ум и Сердце, диалог] // *Almanach des Prosateurs*. Paris, 1807. P. 72—76. Атрибуция: Симанков. С. 111.

Ролан де ла Платьер Жанна Манон (урожд. Флипон) (1754—1793) — одна из известнейших женщин Великой французской революции, жирондистка, хозяйка политического салона, казнена по приговору революционного трибунала. Автор знаменитых «Мемуаров», написанных в тюрьме и изданных в 1795 г. под названием «Призыв к беспристрастному потомству гражданки Ролан» («Appel à l'impartial posterité par la citoyenne Roland», pt. 1—4, ed. L. A. G. Bosc). На русском языке известны под названием «Личные мемуары госпожи Ролан». СПб., 1893.

В библиотеке Жуковского имеются «Мемуары» Ролан (Описание. № 1963). Об интересе к «Мемуарам» Ролан при дворе Николая I см.: *Ребеккини Д. В. А. Жуковский и французские мемуары при дворе Николая I* (1828—1837). Контекст чтения и интерпретация // Пушкинские чтения в Тарту 3. Тарту, 2004. С. 229—253. П. В. Анненков в письмах из Парижа упоминает о предприятии в 1846 г. Пьером Дидо издания «Библиотеки мемуаров, относящихся к XVIII веку» в 12-ти томах, куда должны были войти и записки m-me Ролан (*Анненков П. В. Парижские письма*. М., 1984. С. 98).

Философский диалог Ума с Сердцем — одна из ключевых тем литературы эпохи Просвещения. Ср., например, роман воспитания «Заблуждения сердца и ума, или Мемуары г-на де Мелькура» (1736—1738) К. Кребийона-сына. Избегая апологии как разума, так и чувства, автор «Разговора» стремится не противопоставить их, а соединить, просветляя чувство разумом и оживотворяя разум чувством.

Традиционная риторика относит диалог (разговор) к фигурам мысли, обеспечивающим психологические основы аргументации во многом благодаря использованию просопопеи (олицетворения) (см.: *Хазазеров Г. Г. Риторический словарь*. М., 2009. С. 106). В творчестве Жуковского этот жанр связан с традицией «разговоров» в Университетском Благородном пансионе, в котором будущий поэт обучался в 1797—1799 гг. (Резанов. Вып. 2. С. 229—230). В форме вымышленного диалога А. и Б. оформлена и дневниковая запись Жуковского от 1804 г. (ПССиП. Т. XIII.

С. 9—12). Исследователями отмечается также влияние на жанр диалога «Тускуланских бесед» Цицерона, которые поэт читает в начале 1800-х гг. Французское издание этого произведения с многочисленными пометами Жуковского имеется в его библиотеке (Описание. № 818). Жанр разговора был достаточно полно представлен и на страницах ВЕ. Ср.: «Разговор Клеандра с Сократом» (1808. № 14), «Разговор между Улиссом и Цирцеею, на острове сей богини» (1808. № 17), «Разговор отца с сыном» Вл. Измайлова (1808. № 18), «Разговор Сен-Реаля, Эпикура, Сенеки, Юлиана и Лудовика Великого» Шамфора (1809. № 1), «Разговор Моды с Рассудком» (1809. № 13), «Червонец и красноречие (Разговор)» (1809. № 17), «Два разговора о критике» из Энгеля (1809. № 23), «Разговор философа Дежерандо с Сен-Мартеном» (1810. № 10), «Образец связи в разговорах общества» (1810. № 12) и др.

И. Поплавская

Оригинал и копия

(«В истории живописцев находим гораздо более случаев...»)

(С. 106)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 14. Июль. С. 105—108 — в рубрике: «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады июля 1809 г.

Источник перевода: L'original et la copie [Оригинал и копия] // L'Esprit de journaux français et étrangers. 1808. Fevrier. P. 230—232.

Перевод демонстрирует интерес Жуковского к жанру анекдота, занимающему особое место в журнале. Здесь очевидна ориентация на конкретный факт из жизни реального исторического лица, на его описание, «рассказывание» о нем. Кроме того, как и другие «анекдоты», данный привлекает русского переводчика как психологический этюд, изображающий человека в необычных обстоятельствах.

¹...за святого Иеронима — Имеется несколько полотен, изображающих св. Иеронима, принадлежащих, напр., Л. да Винчи, Кранаху Старшему, Дж. Беллини и др. О каком именно полотне идет речь здесь, из контекста определить трудно.

²Адриан Вандер-Вельд — Адриан ван де Вельде (1636—1672) — нидерландский художник и гравёр, относится к известной нидерландской семье художников ван де Вельде, работал в основном в жанре пейзажа.

³Лорд Кларендон — Эдвард Хайд, 1-й граф Кларендон (1609—1674) — влиятельный советник английских королей Карла I и Карла II, лорд-канцлер в первые годы Стюартовской реставрации (1658—1667 гг.), тесть короля Якова II, дед двух английских монархов. Также известен как крупнейший английский историк XVII века, автор первой истории Английской революции.

⁴Анвер — французское название г. Антверпена в Бельгии (Anvers).

И. Айзикова

Свидания маршала принца де Линя с Ж.-Ж. Руссо и Вольтером

(Отрывок из новой книги: *Письма и мысли маршала принца де Линя*)

(«Приятная книга, которую предлагаем публике...»)

(С. 108)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 15. Август. С. 173—191 — в рубрике: «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях: Образцовые сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей. Ч. 1—5. М., 1811. Ч. 5. С. 243—250 — «Свидания с Ж.-Ж. Руссо (Из сочинений принца де Линя)» и с. 251—261 — «Мое пребывание в Фернее (Из сочин. <ений> принца де Линя)».

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 5 июля 1809 г.

Источник перевода: *Prince de Ligne. Mes deux conversations avec Jean-Jacques [Мои две беседы с Жан-Жаком] и Mon sejour chez M. de Voltaire [Мое пребывание у Вольтера]* // *Prince de Ligne. Lettres et pensées du marechal Prince de Ligne, publiees par Mad. la baronne de Stael Holstein. Paris, 1809. P. 320—333.* Атрибуция: Eichstädt. S. 22.

Перевод двух фрагментов из книги «Письма и мысли маршала принца де Линя», представляющей собой выборку из его многочисленных сочинений и писем, сделанную Жерменой де Сталь и изданную ею в 1809 г. Перевод датируется и атрибутируется Жуковскому на основании письма, написанного к нему М. Т. Каченовским 5 июля 1809 г.: «Две Ваши большие пьесы (1 о голландцах [имеются в виду «Известия о Голландии...», опубликованные в ВЕ. 1809. № 15. — *И. А.*] и 2 — отрывок из писем принца де Линя) остаются в запасе для 15 номера» (ПД. 28075/СС 16. 115. Письма М. Т. Каченовского В. А. Жуковскому. Л. 12).

Публикация открывается характеристикой де Линя, почерпнутой переводчиком из предисловия к книге, написанного ее издателем и переведенного во фрагментах, а частично пересказанного Жуковским. Де Линь явлен переводчиком русскому читателю как личность и как писатель. Особое внимание Жуковский уделяет слогу де Линя, опуская ряд рассуждений издателя о нем, он выбирает для точного перевода отрывок о стиле, подчеркивая его яркую индивидуальность и неповторимость. Точкой отсчета в письмах де Линя для Жуковского служит именно фигура самого автора, которого интересуют незаурядные личности, проявляющие оригинальность и в своих достоинствах, и в своих недостатках. Повествовательный пласт выступает здесь на первое место. Де Линь подробно описывает в первой части, названной в переводе «Свидания с Ж.-Ж. Руссо», две свои встречи с Руссо и во второй, озаглавленной Жуковским «Мое пребывание в Фернее», — проживание в течение восьми дней у Вольтера, акцентируя при этом парадоксальность их поведения и мышления, в чем он и видит основу их гениальности. Здесь де Линь очень близок Жуковскому, с самого начала творчества проявляющему интерес к «странным» характерам.

Де Линь присутствует в тексте и как персонаж, принимающий непосредственное участие в действии, благодаря чему в этом переводе очень хорошо

прослеживается, как текст, написанный частным человеком для другого частного человека, превращается в литературное произведение. Описываемые де Линем образы Руссо и Вольтера, да и сам де Линь, вступающий с ними в определенные отношения и рассказывающий об этом, превращают частное письмо в «историю», в серию рассказов. Жуковский же присоединяет сюда как органическую часть целого (не называя ее предисловием, как это сделано в оригинале) еще и дискурс издателя, выбирает из целой книги писем де Линя отрывок, дополняя таким образом перевод и своей точкой зрения.

В целом точно переводя подлинник, Жуковский опустил несколько фрагментов в истории о Вольтере: напр., после разговора о Женеве в подлиннике следует эпизод: «Je racontai à M. de Voltaire, devant madame Denys, un trait qui lui était arrivé, croyant que c'était à madame de Graffigny. M. de Ximènes l'avait défiée de lui dire un vers dont il ne lui nomma pas tout de suite l'auteur. Il n'en manqua pas un. Madame Denys, pour le prendre en défaut, lui en dit quatre, qu'elle fil sur-le-champ. Ehbiejif Monsieur le Marguis, de qui cela est-il? — De la chercheuse d'esprit, Madame. Ah! bravo! bravo! dit M. de Voltaire»; фрагмент с эпиграммой предваряется так: «C'est, je crois, à moi qu'il dédia sa plaisanterie tant repytee depuis sur la Corneille; et j'y donnai sujet lorsqu'il me demanda comment je la trouvois: nigra, repondis-je, sans ulve formosa. Il ne me fit pas grâce de son Père Adam, et me remercia d'avoir donne asile au père Griffet, qu'il aimait beaucoup, ainsi que le père la Ncuville, qu'il me recommanda»; ниже при описании представления сцен из комедии Мольера в переводе опущен фрагмент об исполнении м-м Дени роли Мартины и т. п.

Текст первой публикации имеет следующие разночтения с другими прижизненными: в СОС опущены первые два абзаца, а также некоторые слова и словосочетания (напр.: «Скорее, скорее дайте ему прием Троншеня!» (лекарь Вольтеров). — «Скорее, скорее дайте ему прием Троншеня!»; или: ...как древние рапсоды Гомеру «Илиаду!» — ...как древние Гомеру «Илиаду!»; или: ...превеликая скотина и пр. — ...превеликий и пр.) В ряде случаев в СОС допущено иное, по сравнению с ВЕ, деление текста на абзацы.

¹ ...Ж.-Ж. Руссо возвратился из своего изгнания... — В 1761 г. Парижский парламент, готовясь произнести приговор над иезуитами, счёл нужным осудить и философов, и приговорил «Эмиля», за религиозное вольнодумство и неприличия, к сожжению рукой палача, а автора его — к заключению. Руссо нашёл убежище в княжестве Невшательском, принадлежавшем прусскому королю, и поселился в местечке Мотье. В Париж Руссо вернулся и остался там жить в 1770 г.

² ...занимаетесь собиранием трав? Так точно! Вот и травники... — Хотя Руссо никогда не претендовал на звание ботаника, ему удалось сделать для описания видов и популяризации растений достаточно много, и, без сомнения, он достойно пополнил список французских писателей-натуралистов XVIII века.

³ Правду ли говорят, что вы очень искусны в списывании нот? — Чтобы жить в согласии со своими принципами, Руссо выработал программу «независимости и бедности», отказался от предложенной ему должности кассира в финансовом ведомстве и переписывал ноты по десять сантимов за страницу. Руссо изобрёл оригинальную систему обозначать ноты цифрами; она не была принята, несмотря на «Рассуждение о современной музыке», написанное Руссо в её защиту.

⁴ ...некоторые исторические и словесные науки вредными для людей... — Эти идеи изложены в знаменитом трактате Руссо «Рассуждение о влиянии наук и художеств».

⁵ *Что, если господин Юм был совершенно невинен?* — Руссо принял приглашение Юма и поехал к нему в Англию. Его нервная система была сильно потрясена, и на этом фоне его недоверчивость, щепетильное самолюбие, мнительность и пугливое воображение разрослись до пределов мании. Гостеприимный, но уравновешенный хозяин не сумел успокоить рыдавшего и бросающегося к нему в объятия Руссо; несколько дней спустя Юм уже был в глазах Руссо обманщиком и изменником, коварно привлечшим его в Англию, чтобы сделать посмешищем для журналистов. Юм счёл нужным обратиться к суду общественного мнения; оправдывая себя, он выставил напоказ перед Европой слабости Руссо. Руссо отказался от пенсии, которую ему выхлопотал Юм у английского правительства.

⁶ *...жена его или служанка...* — Не имея средств к существованию, Руссо вступил в связь со служанкой гостиницы, в которой жил, Терезой Левассер, молодой крестьянкой, некрасивой, неграмотной, ограниченной — она не могла даже научиться узнавать, который час — и весьма вульгарной. Он признавался, что никогда не питал к ней ни малейшей любви, но обвенчался с ней спустя двадцать лет.

⁷ *...находился в обществе принца Конти, где был архиепископ тулузский, президент д'Алигр, несколько других прелатов и членов парламента...* — Конти, Людовик Франсуа, принц (1717—1777) — французский военачальник; Ломени Этъени-Шарль (1727—1794) — французский кардинал и министр, архиепископ тулузский; д'Алигр — президент парламента; прелаты — в католических и некоторых протестантских церквях звание, присваиваемое высокопоставленным духовным лицам: кардиналам, архиепископам, епископам, приорам и аббатам.

⁸ *Людовик XIV, конечно, не был столько обрадован посольством из Сиама* — Французы имели интерес в Сиаме, крупнейшем тайском государстве в Индокитае, где с 1662 г. французские миссионеры вели активную деятельность. В 1673 г. французский король отправил экспедицию в Сиам с богатыми подарками местному царю. С этого момента между монархами воцарилась дружба, а французские миссионеры получили большие льготы в Сиаме. В 1679 г. была организована экспедиция в составе трех кораблей компании, целью которой было создание торгового представительства в Сиаме. В 1684 г. послы Сиама посетили Францию, где было решено создать посольство Франции в Сиаме.

⁹ *...он ужился бы и в Эрменонвиле, когда бы смерть не оставила его там навек.* — Весною 1778 г. маркиз де Жирарден, один из друзей Руссо, увёз его к себе на дачу в Эрменонвиль, усадьбу близ Парижа.

¹⁰ *Ферней* — Ферней, местечко близ Женевы; Вольтер жил здесь в 1758—1778 гг.

¹¹ *В это время занимался он объяснением скучной Церковной Истории аббата Флери.* — Имеется в виду «Краткий курс церковной истории Флери». Как следует из заглавия, это сочинение имеет своей основой «Церковную историю», написанную кардиналом Андре-Эрколеом де Флери (1653—1743) — министром короля Людовика XV, который с 1726 г. руководил государственными делами Франции. «Церковная история» Флери является одним из самых монументальных исторических сочинений первой половины XVIII столетия. Она охватывает период от начала Церкви — 33 г. — до 1595 г. и насчитывает тридцать семь томов, из которых аббатом Флери были написаны первые двадцать (хронологически они охватывают время от начала до 1414 г.). «Краткий курс церковной истории Флери» состоял из хронологии церковных событий (собственно, почерпнутых из труда аббата Флери) и острого предисловия, авторство книги приписывалось Вольтером Фридриху Великому; издана она была в 1766 г. Король выслал экземпляр книги Вольтеру в 1767 г. Экземпляр Вольтера

до сих пор сохраняется среди книг его библиотеки в РНБ. Как указывает исследователь, Вольтер был крайне воодушевлен такой книгой, да еще и изданной королем, поскольку борьба философа в 1760-х гг. со зверствами французской католической церкви стала известна всей просвещенной Европе. Инспирированные Вольтером апелляционные процессы по делам жертв религиозных и политических преследований Каласа, Сирвена и Лабарра еще раз напомнили, что средневековые пытки и казни отнюдь не ушли в прошлое. Скорее всего, именно сражения Вольтера сподвигли Фридриха заняться изданием (или написанием) этой книги. Большая часть похвал отнесена королевскими корреспондентами к предисловию, необыкновенно сильному (Вольтер называет его «violent»). (См.: *Дружинин П.* Книги Фридриха Великого, или Описание коллекции сочинений и изданий прусского короля, напечатанных при его жизни, сделанное по экземплярам, прежде принадлежащим самому королю и его наследникам, а ныне находящимся в Российской государственной библиотеке. М: Трутень, 2005. С. 200—206.)

¹² *ПрококурANTE* — герой повести Вольтера «Кандид».

¹³ *фиакры* — Т. е. извозчики.

¹⁴ *вафвары вельхи* — Вельхи — племя.

¹⁵ ...книга «Об уме»... — Имеется в виду одно из главных сочинений К. А. Гельвеция (1715—1771) — французского литератора и философа-материалиста утилитарного направления, идеолога французской буржуазии эпохи Просвещения, «Об уме» (1758).

¹⁶ «О духе законов» ... «Персидские письма» — сочинения Ш.-Л. Монтескьё (1689—1755) — французского писателя, правоведа и философа.

¹⁷ ...сказал несколько слов в похвалу англичан — в Англии Вольтер прожил три года (1726—1729), изучая её политический строй, науку, философию, литературу. Вернувшись во Францию, Вольтер издал свои английские впечатления под заглавием «Философские письма».

¹⁸ ...разорителем и благодетелем книгопродавцев... — Известен, например, такой факт: тираж «Философских писем» Вольтера был конфискован (1734), издатель поплатился Бастилией.

¹⁹ *Руссо, и Жан-Батист, и Жан-Жак, представили меня в виде самого дьявола.* — Антагонизм между Вольтером и Ж.-Ж. Руссо проявился в 1755 г., когда Вольтер, по случаю страшного лиссабонского землетрясения, отрёкся от оптимизма, а Руссо вступился за Провидение (см. об этом подробнее: *Златопольская А. А., Овчинникова Е. А.* Руссо и Вольтер в контексте религиозно-нравственных исканий русских мыслителей XVIII — начала XIX вв. // Религия и нравственность в секулярном мире: Материалы науч. конф. 28—30 ноября 2001 г., Санкт-Петербург. Сер. «Symposium», вып. 20. СПб., 2001. С. 175—183). Начавшаяся было дружба Вольтера и Ж. Б. Руссо скоро перешла в яростную ненависть.

²⁰ *господина д'Аренберга* — отец Ш. Ж. принца де Линя — Клод Ламораль II, 6-й князь де Линь, был австрийским фельдмаршалом и членом Государственного совета Священной Римской империи. Аренберги или Аремберги — младшая ветвь дома Линей, здесь имеется в виду, по-видимому, 4-й герцог Аренберг, состоявший в переписке с Вольтером, покровительствовал Ж.-Ж. Руссо и выплачивал ему пенсию.

²¹ ...за то, что я осмелился сказать, что Жан-Жак Руссо уговаривает человеческий род ходить на четвереньках... — Здесь имеется в виду отрицательное отношение Вольтера к теории «естественного человека» Ж.-Ж. Руссо.

²² ...кавалера де Литта — Возможно, речь идет об итальянском кардинале Лоренцо Литте (1756—1820).

²³ ...эпиграмму (сочиненную Фридрихом II) — Начало «Vers sur Candid»: Candid est un petit vaurien / Qui n'a ni pudeur, ni cervelle; / A ses traits on reconnait bien // Frère cadet de la Pucelle (в кн. Friedrich Melchior Grimm (Freiherr von), Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée au duc de Sax Gota depuis 1753 ... par le baron de Grimm et par Diderot. Londres, 1814. V. 1. P. 449). Барон Фридрих Мельхиор Гримм (1723—1807) — немецкий публицист эпохи Просвещения. Монархи того времени имели своих специальных корреспондентов в Париже, которые сообщали им все новости в области литературы, науки, искусства и общественной жизни, и Гримм занял эту нишу. Так, с 1747 г. существовали «Nouvelles littéraires», которые аббат Рейналь составлял для герцогини Саксен-Готской. Гримм, начав в 1753 г. свою «Correspondance littéraire, philosophique et critique», стал посылать ее той же герцогине и скоро вытеснил окончательно Рейналя. «Correspondance» Гримма (нечто вроде рукописной газеты), просуществовавшая до 1792 г., расходилась в 15—16 экземплярах; подписчиками ее были король шведский Густав III, императрица Екатерина, король польский Станислав Август Понятовский и прочие. Первые двадцать лет (с 1753 до 1773) «Correspondance» составлялась преимущественно самим Гриммом; когда же он уезжал из Парижа, листки составлялись Дидро, подругой Гримма — г-жой Эпинэ и другими. На страницах «Correspondance» обсуждались все литературные и театральные новинки Парижа, почему она и является драгоценнейшим источником для изучения того времени. Отзывы о Гримме как о писателе, за исключением немногих, были очень неблагоприятны. Этому способствовали неприглядные черты его характера, никто из его друзей-энциклопедистов в мемуарах своих даже не упоминает о нем. Исключение составляет Руссо, который в своей «Исповеди» рисует его в крайне несимпатичном виде. Указания на то, что данный текст принадлежит Фридриху II, ошибочно, в подлиннике его нет.

²⁴ ...госпоже Денис, своей племяннице... — Дени Мария Луиза (1712—1790) — племянница Вольтера (дочь его сестры Екатерины Аруэ), его подруга и спутница до последних дней его жизни.

²⁵ ...играл Трисотина — Триссотен (Трисотин) — персонаж комедии Ж.-Б. Мольера «Ученые женщины», литератор.

²⁶ ...главного его неприятеля Фрерона. — Фрерон Э.-К. (1719—1776) — французский писатель. Известен своими нападка на энциклопедистов, в особенности на Вольтера, в издававшихся им «Lettres de madame la comtesse de ***» (Женева, 1746), «Lettres sur quelques écrits de ce temps» (13 т., Л. и П., 1752—1754), «Annee litteraire» (1754—1776). Вольтер написал против Фрерона брошюру «Anecdotes sur Freron» (1761) и изобразил его в весьма неприглядном виде в своей пьесе «L'Ecossaïse» (1760), под именем Фрелона.

²⁷ Господин Констан — Констан, Бенжамен (1767—1830) — швейцарский философ и писатель

²⁸ ...«Истории Петра Великого» — Имеется в виду ««История России в царствование Петра Великого» Вольтера (1759).

²⁹ ...к Лакомбу — Лакомб Жак — французский литератор (1724—1811), книгопродавец и автор компилятивных трудов: «Dictionnaire portatif des beaux arts» (1752—1759); «Abregé et chronologique de l'histoire ancienne» (1754) и др.

³⁰ Ему не давали ни медали, ни шубы. — Л. М. Леонов в «Судьбе поэта» пишет об этом: «...всего лет за тридцать до рождения Грибоедова русская академия посы-

лала Вольтеру вместе с уникальными архивными документами шубы из отборных голубых лисиц и, для наглядности, золотые медали русских царей, чтоб написал он для нас историю нашего Петра» (Леонов Л. М. Судьба поэта // А. С. Грибоедов в русской критике: Сб. статей / Сост., вступит. ст. и примеч. А. М. Гордина. М., 1958. С. 346).

³¹ *госпожа Фонтель* — Имеется в виду «madame de Fontaine Martel» Вольтера (1732). Графиня де Фонтен Мартель — приятельница Вольтера.

³² *Галлера* — А. фон Галлер (1708—1777) — швейцарский анатом, физиолог, естествоиспытатель и поэт.

³³ ...*разбивал его, государь мой, я...* — В 1759 г. земля, на которой расположен Ферней, была приобретена Вольтером. На протяжении около 20 лет он заботился о процветании своих владений: было возведено более сотни зданий, включая усадьбу и церковь. Вольтер полусхутя называл себя «фернейским патриархом»; этот иронический титул стал его прозвищем. Он практически безвыездно прожил в Фернее до 1778 г.

³⁴ ...*кафтани мордоре...* — Т. е. в кафтани бронзового цвета (от франц. *mordoré*).

И. Айзикова

Известия о Голландии

(Выбранные из Путешествия англичанина Джона Карра в Голландию и Южную Германию, писанные в 1806 году)

(«Джон Карр, человек весьма беспристрастный...»)

(С. 116)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 15. Август. С. 192—203 — в рубрике: «Литература и смесь», с пометой в конце: (Из *Esprit des Journ.* <aux>).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 5 июля 1809 г.

Источник перевода: *L'Esprit de journaux français et etrangeres*. 1809.

Перевод статьи из «*L'Esprit de journaux français et etrangeres*», в которой дается краткий пересказ некоторых глав сочинения английского писателя-путешественника, опубликовавшего популярные книги об Ирландии, Голландии, Шотландии и Испании, Джона Карра (1772—1832) «*A tour through Holland, along the right and left banks of the Rhine to the south of Germany in the summer and autumn of 1806*» by Sir John Carr Philadelphia: Printed for C. and A. Conrad and Co., London, 1807 (Экскурсия по Голландии вдоль правого и левого берегов Рейна на юге Германии летом и осенью 1806 г.)

В частности, кратко излагается содержание гл. 1 (описание Роттердама), гл. 2 (рассказ о пребывании голландских короля и королевы в Роттердаме), гл. 3 (описание народных школ), гл. 4 (описание овощных лавок), гл. 6, 7, 11, 14 (пребывание в Делфте, Гаге, Лейдене, Амстердаме).

Перевод датируется и атрибутируется Жуковскому на основании письма, написанного к нему М. Т. Каченовским 5 июля 1809 г. (см. примеч. к переводу «Свидания маршала де Линя с Ж.-Ж. Руссо и Вольтером (Отрывок из новой книги: Письма и мысли маршала принца де Линя)»).

¹ ...*короля и королевы голландских...* — Королевство Голландия — государство, созданное Первой французской империей на территории бывшей республики Соединённых провинций с 1806 по 1810 г. В июне 1806 г. Королевство Голландия пришло на смену Батавской республике. На престол Голландии Наполеон посадил своего младшего брата — Людовика Бонапарта.

² ...*школы народные...* — В 1784 г. было основано существующее и в настоящее время Общество общественного блага для содействия распространению народного образования, которым было открыто около 15 образцовых народных школ, совершенно нейтральных в религиозном отношении. С 1805 по 1833 г. во главе народного образования в Голландии стоял ван ден Энден, крупные заслуги которого снискали ему эпитет «отца народного образования в Голландии». Закон 1806 г. предоставил народное образование в ведение государства и подчинил все школы правительственной инспекции. Учителя освобождались от преподавания религии. Школы быстро достигли большого процветания.

³ ...*делаются из пенки* — Т. е. из морского минерала, добываемого у побережья Турции. Пенка легка, красива, прекрасно поддается обработке. Трубки из пенки можно курить несколько раз в день, за что они очень высоко ценятся.

⁴ *Дельфт* — старинный гарнизонный город в провинции Южная Голландия, расположенный между городами Роттердам и Гаага.

⁵ *Гагской дороге...* — Т. е. дороге на Гаагу.

⁶ *Эта колокольная музыка принадлежит исключительно голландцам.* — Имеется в виду карильон — музыкальный инструмент, посредством часового механизма заставляющий ряд колоколов исполнять какую-либо мелодию, подобно тому, как вращающийся вал приводит в движение орган. В Голландии карильон известен с IX в., в XV—XVI вв. карильоны распространились по всей Европе. О колокольной музыке в Голландии оставили свои воспоминания многие русские путешественники, посетившие эту страну в XIX в. (кн. А. Мещерский, М. Вернер, своеобразный итог впечатлений находим в стихотворении К. Бальмонта «Воспоминание о вечере в Амстердаме»).

⁷ ...*в Гагу* — Т. е. в Гаагу, третий по величине город (после Амстердама и Роттердама) в провинции Южная Голландия, являющийся ее столицей. Несмотря на то что Амстердам является национальной столицей, Гаага была всегда местом нахождения парламента, правительства страны и официальной резиденцией голландских монархов.

⁸ *Когда Луиза Колиньи вышла замуж за Вильгельма I...* — Колиньи Луиза де, принцесса Оранская (1555—1620), дочь адмирала де Колиньи, вождя французских гугенотов, жена Шарля де Телиньи, погибшего в Варфоломеевскую ночь. Вторично вышла замуж за Вильгельма Нассау, принца Оранского.

⁹ ...*въехала в город, сидя на доске.* — Почтовые повозки строили из досок, скрепленных несколькими поперечинами и ремнями из оленьей кожи.

¹⁰ *Фооргут (Voorhut) есть главная улица, а Вивер (Vyver) лучшее место в городе.* — Имеются в виду *Lange Voorhout* — широкая улица, где расположено множество вели-

колепных зданий, в некоторых из них сегодня размещаются посольства, и озеро Вайвер, который является гордостью и славой города, его самой главной достопримечательностью, в нем отражаются прекрасные памятники Гааги.

¹¹ *Перед Дворцом штатов* — Вероятно, имеется в виду Бинненхоф — комплекс зданий в центре Гааги, в котором издавна располагаются Генеральные штаты.

¹² *дворец Штатгальтера* — Штатгальтер (нем. *Statthalter* или Статхаудер, нидерл. *Stadhouder*) — в ряде государств Европы должностное лицо, осуществлявшее государственную власть и управление на какой-либо территории данного государства. Здесь имеется в виду грандиозный архитектурный ансамбль старинного дворца — резиденции статхаудера, сегодня преобразован в ряд живописных площадей в центре города.

¹³ *гульбищем* — Гульбище, по словарю В. И. Даля, означает место для гуляния, для прогулок, общественный сад или роща.

¹⁴ *одноколки* — Имеется в виду одноколка — двухколесный, легкий, с одной осью экипаж.

¹⁵ *...обязан контрактом гасить свечу в эту самую минуту, в которую опустится занавес.* — Это хорошо известно и в наше время, благодаря «Прощальной симфонии» И. Гайдна, по распоряжению которого каждый музыкант должен был по окончании своей партии погасить стоявшую перед ним свечу и уйти.

¹⁶ *Лейден* — город в провинции Южная Голландия.

¹⁷ *Жонкили* — Жонкиль — вид нарцисса, луковичное растение с цветами ярко желтого цвета и сильного приятного запаха.

¹⁸ *Штивер* — Имеется в виду стейвер (от голл. *stuiven* — искриться), монета, чеканившаяся с XV в. в Антверпене.

¹⁹ *Рондель* — круглая башня.

²⁰ *...женщины первого класса* — Т. е. аристократки.

²¹ *...иллюминация между деревьями составлена из десяти или двенадцати плашек.* — Иллюминация в XVIII — начале XIX вв. представляла собой следующее: в определенном порядке расставлялись зажженные плашки с жиром.

И. Айзикова

Счастливейшее состояние

(Еще отрывок из сочинений маршала принца де Линя)

(«Иногда случается мне думать о том, что вижу вокруг себя...»)

(С. 120)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 15. Август. С. 203—208 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 5 июля 1809 г.

Источник перевода: *M. le prince de Ligne. L'état le plus heureux* [Самое счастливое состояние] // *M. le prince de Ligne. Oeuvres choisies*. Paris, 1809. P. 108—111.

О датировке и атрибуции перевода Жуковскому см. комментарий к переводу «Свидания маршала де Линя с Ж.-Ж. Руссо и Вольтером (Отрывок из новой книги: Письма и мысли маршала принца де Линя)».

Перевод небольшого эссе из сборника принца де Линя «*Mélanges de morale et de littérature, fragmens, letters et portraits*», с посвящением белёвскому почтмейстеру Ф. А. Камкину, довольно точен и в очередной раз обращает читателя журнала в круг любимых идей Жуковского о «необходимом и излишнем» в жизни человека, о свободе его нравственного выбора, о счастье как состоянии полной гармонии с самим собой и с миром. Все эти проблемы ставятся в связи с образом почтальона, живущего простой будничной жизнью. В переводе усиливается, пожалуй, лишь авторская ирония в отношении монотонности бытия, позволяющая сделать финальную мысль статьи: «опасность — плата за славу» более значимой, что, в свою очередь, демонстрирует диалектику авторского понимания человека, смысла его жизни, счастья. Кроме того, в описании местности, где живет почтмейстер, можно уловить приметы белёвского пейзажа.

¹ Ф. А. Кам...ину... — Камкин Федор Александрович (ум. в 1815 г.) — белёвский почтмейстер.

² ...*постильёнами*... — Здесь калька с франц. *Postillon* (ямщик, форейтор). С конца XVII в. конные форейторы доставляли почту или сопровождали ее.

³ ...*проезжающего Набоба*... — Во Франции XVIII в. так называли человека, разбогатевшего в колониях (главным образом, в Индии).

И. Айзикова

О неверности

(«Если бы собрать всё то, что было сказано...»)

(С. 123)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 16. Август. С. 274—278 — в рубрике «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее начала августа 1809 г.

Источник перевода: *D. P. de N. (Du Pont de Nemours). De l'infidélité // Archives Littéraire de l'Europe ou Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie. Paris, 1804. T. 4. P. 42—45. Атрибуция: Симанков. С. 111.*

Перевод эссе «*De l'infidélité*» французского экономиста и основателя известной династии американских предпринимателей Пьера Самуэля Дюпона де Немура (1739—1817) вошел в принципиальный для ВЕ текст «светского» нравственного воспитания (см. комментарий к переводам «О дружбе», «О выгодах славы», «О назначении человека» и др.). Нравственная природа человека раскрывается в переводе через размышления о верности в любви как добродетели, «весьма полезной в

обществе»; о расстройстве семейных отношений из-за измены как о преступлении, разрушающем самые хрупкие и «самые милые, самые сладостные» человеческие связи: любовь и дружбу; о тесном соотношении нравственного и физического мира, о естественности изменения чувств в семейной паре, узы которой закреплены на небесах. В ВЕ эти идеи раскрывались в большинстве повестей и в ряде текстов «промежуточных» жанров.

И. Айзикова

Теана и Эльфриди
(Итальянская повесть)

(«Знаете ли вы, что такое любовь...»)
(С. 125)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 17. Сентябрь. С. 3—17 — в разделе «Литература и смесь», с подписью в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая половина, не позднее конца августа 1809 г.

Источник перевода: *J. B. S<au>. Fin des trois exigeantes. — Histoire de Teana [История Теаны] // La Decade philosophique, littéraire et politique. Paris, 1806. Т. 4 (Octobre, November, Décembre). P. 39—47; Anecdote italienne // Almanach de Prosateurs. Paris, 1807. P. 99—111. Атрибуция: Симанков. С. 111—112.*

По предположению В. И. Симанкова, автором повести, подписанной инициалами *J. B. S.*, возможно, является французский писатель и экономист Жак Батист Сэй (1767—1832). «Теана и Эльфриди» представляет собой психологическую повесть с детально выписанной внутренней мотивацией поступков главной героини. Психологический конфликт в ней моделируется по законам драматургических жанров с отчетливо выделяемой завязкой, развитием действия, кульминацией и мелодраматической развязкой. Метафизический же конфликт передает несовершенство и временность всякого земного чувства перед лицом божественной вечности. Экспрессивно-исповедальная интонация произведения раскрывается через повествование от первого лица, напряженные диалоги, описания чувств героев, систему лексических и синтаксических повторов, эмоциональный синтаксис. Подзаголовок «Итальянская повесть» указывает на место действия (Мантуя, озеро Минцио), выбор имен главных героев и занятия живописью Эльфриди. Возможны сюжетные и географические ассоциации с трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта». Как известно, в Мантую, расположенную недалеко от Вероны, был сослан Ромео после убийства Тибальта.

Проблематика и поэтика этой повести раскрывает ее связь с такими прозаическими произведениями Жуковского, напечатанными в ВЕ, как «Густав» (1808, № 1) из С. Ф. де Жанлис, «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет» (1808, № 2) из Г. Меркеля, «Мария. Отрывок из Артурова журнала» (1808, № 9—10) из А. М. Е. Флао, «Марьяна

роща» (1809, № 2—3) и др. Ситуация испытания героев любовью, мотив мнимой измены героини, надежда на воссоединение любящих после смерти, присутствующие в этой повести, звучат и в балладах Жуковского 1800—1810-х гг. «Людмила», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Эолова арфа». Мотивы жертвенной любви, ранней смерти, надежды на будущую жизнь, присутствующие в этой повести, получают дальнейшее развитие в лирических стихотворениях поэта «К Нине. Послание» (ВЕ. 1808. № 23), «К Филалету» (ВЕ. 1809. № 4), «Плач Людмилы» (ВЕ. 1809. № 20), «К самому себе» (ВЕ. 1814. № 4), а также в его дневниковых записях от 21 и 28 июня, 5 июля, от сентября 1814 г. и др.

¹ ...где Минчио светлыми волнами своими образует озеро — Река близ Мантуи, образующая три маленьких озера.

И. Поплавская

Письмо доктора М* к одному французскому журналисту

(«Я осматривал гошпиталь...»)

(С. 131)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 17. Сентябрь. С. 25—31 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Письмо доктора М* к одному французскому журналисту» и пометой в конце: Виллиам, Артур, Арабелла***, подзаголовок: «Истинное происшествие» вынесен в сноску на с. 25 под знаком^(*).

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 («Смесь»). С. 180—188; Пвп 2. Ч. 3. С. 181—186. Тексты идентичны первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее августа 1809 г.

Источник перевода: *Extrait d'une Lettre du Docteur M.-r; Lettre de Culpepper County* [Отрывок из письма доктора М.-р; Письмо из Калпепер Каунти (из графства Калпепер)] // *Lettres d'un cultivateur américain. Traduites de l'anglais par****. Т. 1. Paris, 1784. P. 255—261. Атрибуция: Симанков. С. 112.

Перевод «Extrait d'une Lettre du Docteur M.-r; Lettre de Culpepper Country», опубликованного в книге «Les Lettres d'un cultivateur américain en ligne» («Письма американского фермера»: в 2-х томах. Paris, 1784). Сведения об авторе этой книги содержались в письме Пьера-Луиса Лакретелля (1751—1824), общественного деятеля и члена Французской академии, на имя редактора журнала «Меркурий» от 4 января 1783 г. Письмо было включено в 2-томное издание «Les Lettres d'un cultivateur américain en ligne» 1784 г. в качестве Предисловия (вместе с двумя последующими за ним письмами). Об авторе произведения, которое Лакретель настойчиво рекомендует опубликовать в «Меркурии», сказано, что его автор — Мишель Гийом Жан де Кревкёр (1735—1813), «дворянин из Нормандии, покинувший Францию 16 лет назад и постоянно проживавший во многих странах Европы до того времени, как поселился в Пенсильвании. У него была ферма на границе Пенсильвании, которая процветала благодаря доходам от труда, пока не пришла война. Кревкёр стал первой жертвой разрушительного опустошения от

действий англичан, совершенных руками дикарей. Автор нарисовал в своей книге картины, в которых Новый Свет предстал в двух ипостасях: процветающий мир и разрушительная война, и он нарисовал картины жизни Америки как человек, чье сердце взволновано, а не как человек, имеющий целью отразить только общественный статус. (...) Труд Кревкёра, помимо большого интереса, связанного с объектами, с которыми мы знакомимся, отличается блестящими красотами, которые мы находим только в тех людях, из которых природа создала Поэтов, Ораторов, Философов» (С. VII—VIII).

Книга эссеиста Кревкёра, в 1754 г. эмигрировавшего в Канаду, много путешествовавшего по Америке, в 1769 г. приобретшего ферму близ Нью-Йорка, а в 1780 г. уехавшего во Францию, первоначально вышла в Лондоне в 1782 г. на английском языке и имела огромный успех. В 1784 г. книга была издана в Париже в авторском переводе. Она знакомила Европу с природой, нравами, обычаями, образованием, различными этническими и культурными традициями, принципами равноправия и самоопределения государственного устройства Нового Света, куда переселялось огромное число европейцев. Первый том «Les Lettres d'un cultivateur américain en ligne» открывался письмом самого автора и одновременно переводчика (от имени «группы американцев»), датированным 24 сентября 1781 г. и адресованным маркизу де Лафайету (1757—1834) с выражением чувства восхищения энтузиазмом и преданностью французского генерала молодому американскому государству.

Обращение Жуковского к «Письмам американского фермера» было во многом обусловлено начавшейся в 1808 г. активизацией в установлении дипломатических отношений России и Америки (См.: Болховитинов Н. Н. К истории установления дипломатических отношений между Россией и США (1808—1809) // Новая и новейшая история, 1959, № 2. С 151—162). Молодое государство, образованное в Северной Америке, привлекало внимание Жуковского, как и всей просвещенной России, новым характером общественных отношений на основе равноправия, закрепленного в Конституции США. В карамзинском ВЕ 1802 г. неоднократно публиковались статьи об Америке, свидетельствующие о большом интересе русских журналов к успехам торговли в Северной Америке (Ч. 4. № 14. С. 155—156), к личности Вашингтона (Ч. 4. № 16. С. 309—310), к устройству общества. В ВЕ (1802. Ч. 6. № 24, в котором помещено «Сельское кладбище» Жуковского), был опубликован перевод Н. М. Карамзина статьи из «Zeitung für die elegant Welt» под названием «Общества в Америке» (С. 315—318), проникнутый тревогой о распространении «торгового духа» в Америке: «Все стараются приобретать. Богатство с бедностью и рабством являются в разительной *противности* (contraste)» (С. 315).

«Письмо доктора М*», в переводе Жуковского, вероятно, одним из наиболее ранних русских переводов из Кревкёра, акцентировало внимание русского читателя на доброжелательности и уважительном отношении граждан молодого государства к достоинству человека, в том числе и раба. «Письмо доктора М*» композиционно составлено из двух посланий, сходных по нравственно-философской и эстетической ориентации с руссоистскими традициями: в письме самого доктора М* к французскому журналисту рассказывается о великодушном спасении им пленного американца, а в письме к доктору М* благодарных родственников американца из штата Виргиния раскрываются принципы семейных и общественных отношений. Жуковский сохраняет в переводе сентиментальную стилистику, воссоздающую высокий строй чувств всех участников событий. В отдельных случаях в переводе

усиливается выражение эмоциональной чувствительности героев. Так, в оригинале отец спасенного американца пишет доктору М*, что доктор найдет в Виргинии «друзей, которые в ситуации жестокой войны не теряют чувств, отличающих друзей добродетели». Жуковский развертывает это высказывание в целый пассаж: «(...) вы найдете здесь такие сердца, для которых, в самом печальном веке несчастья и эгоизма, драгоценны сладкие чувства человечества и добродетели». Фразу доктора о рабах («(...) они тоже люди. Я всегда обхожусь с ними как с людьми») Жуковский преобразует, добавляя мотив братства: «Они такие же люди; я всегда обходился с ними, как с братьями». Изменения в переводе коснулись некоторых фактических деталей. В письме доктора Жуковский не переводит ни места, ни даты написания (в оригинале: «A Abany, 18 Novembre 1778»), в письме американца отсутствует дата (в оригинале: «27 Décembre 1778»), но сохраняется указание места отправления: «Виргиния. Кульпикер Кунтрес». Не переводит Жуковский слов американского отца о гибели старшего сына «за родину» («(...) il est mort en defendant sa Patrie»). Возможно, эти купюры были следствием стремления Жуковского ослабить внимание читателя на вопросах, связанных собственно с войной Северных Штатов за независимость, и тем самым акцентировать нравственно-этическую проблематику произведения. В финальной строке «Письма французского доктора М*» в перечислении имен лиц, подписавших американское письмо («William, Arthur, Susannah»), Жуковский заменяет имя «Susannah» (Сусанна) на «Арабелла», в котором, по всей видимости, ему виделся ярче выраженным англо-американский колорит.

¹ ...отец мой имеет знатное поместье в Виргинии... — Виргиния — старейшая британская колония, основанная в 1607 г., ставшая одним из 13 основных штатов Северо-Американского союза и игравшая первенствующую и блестящую роль в войне за американскую независимость. Виргинию называли «Mother of States», «Mother of presidents»: из среды виргинцев были знаменитые президенты — Георг Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон.

² ...попрошу у вас займы ста пиастров?... — название испанской серебряной монеты весом около 25 гр.

³ Кульпикер Кунтрес... — Culpeper County (франц.) — название графства в Виргинии, по имени губернатора Томаса Калпепера (1635—1689).

⁴ ...вручит вам крепость на половину нашей плантации... — в России акт, документ, подтверждающий право на владение какой-либо собственностью.

Э. Жилькова

Кузнец Базим

Арабская сказка

(«Всем известно, что славный калиф...»)

(С. 133)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 18. Сентябрь. С. 81—92 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Кузнец Базим. Арабская сказка (которую Шехеразада забыла рассказать Шах-Риару)».

В прижизненных изданиях: ПВП 1. Ч. 3 («Повести»). С. 46—59; ПВП 2. Ч. 2. С. 111—120, с заглавием: «Кузнец Базим. Арабская сказка».

Печатается по тексту ПВП 2.

Датируется: первая половина, не позднее середины августа 1809 г.

Источник перевода: *Le Forgeron Bazim. Conte arabe* [Кузнец Базим. Арабская сказка] // *Mercure de France*. 1807. Т. 27. Р. 321—325. То же // *L'Esprit de journaux*. 1807. Т. 5. Р. 215—220. Атрибуция: Симанков. С. 112.

«Кузнец Базим» является переведенной с французского художественной стилизацией авантурных и плутовских сказок из сборника «Тысяча и одна ночь». Подзаголовок указывает на главных действующих лиц этого средневекового памятника арабской и персидской литературы — Шахрияра и его жену Шахрезаду, на его обрамляющую рамочную конструкцию — ночные рассказы и основной жанр — сказка. Восточный колорит в произведении Жуковского передается через описания места действия — столицы восточного халифата Багдада, изображение реально существовавших исторических личностей — арабского халифа Гаруна аль-Рашида и его визиря Джафара, сцен бытовой жизни. Жанровые элементы этой новеллы-сказки обусловлены поведенческой активностью ее главного героя, бытовыми диалогами персонажей, мотивирующими сюжетное развитие действия, трехчастной композицией, неожиданной концовкой, использованием комических элементов.

Сказка «Кузнец Базим» соотносится с такими произведениями «восточной» тематики, представленными на страницах ВЕ, как «Персидский шах Фатали, друг императора Наполеона» (1808. № 11), восточная сказка «Кабуд-путешественник» (1809. № 19), «Песнь араба над могилою коня» (1810. № 7), «О нравах арабов (отрывок из Шатобрианова путешествия по Востоку)» (1810. № 10), «Путешествие Шатобриана в Грецию и Палестину» (1810. № 17) и др.

Журнальный вариант сказки и текст в ПВП 2 практически не имеют различий, единичные расхождения, скорее всего, связаны с ошибками при повторном наборе текста (напр.: «...какие пел и вчера, и прежде всякий день» — ВЕ: «...какие пел и вчера, и всякий божий день»).

¹ ...славный калиф, Гарун Аль-Рашид — Харун ар-Рашид, Харун Справедливый (763/66—809), арабский халиф, правитель Аббасидского халифата в то время со столицей в Багдаде.

² ...великий визирь его Джафар — Джафар ибн Яхья (767—803), визирь при дворе халифа Харуна ар-Рашида, впоследствии казненный им.

³ ...мусульские купцы — купцы из города Мосула, в настоящее время находящегося на севере Ирака.

⁴ ...наковальня дает мне пять диргемов — дирхема — серебряная монета у мусульман, название которой восходит к греческой драхме.

⁵ ...увидел на них кадиеву печать — кадий — верховный гражданский судья у мусульман, назначаемый халифом.

И. Поплавская

Черты из жизни Суворова
(«Суворов начал служить в 1742 году...»)
(С. 138)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 18. Сентябрь. С. 94—116 — в рубрике: «Литература и смесь», примечания подписаны: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 15 сентября 1809 г.

Источник перевода: *Précis historiques sur le sélébre feldmaréchal Souworow // L'Abeille du Nord*. 1809. V. 26. P. 275—340.

Жуковский указывает в примечании к переводу название подлинника и имя его автора: «Краткое описание жизни славного Суворова, сочиненное господином Гильоманшем Дюбокажем, бывшим подполковником Кинбургского драгунского полку, и находившимся при самом Суворове в 1794, 1795 и 1796 годах». Однако непосредственным источником перевода является публикация фрагментов из «Краткого описания жизни Суворова» Гильоманша Дюбокажа в журнале «L'Abeille du Nord». Этот перевод упоминается М. Т. Каченовским в его письме к Жуковскому от 7 авг. 1809 г.: «Доверенностью Вашею в рассуждении статьи о Суворове не мог воспользоваться» (ПД. 28075 / СС 16. 115. Л. 14). Гильоманш-Дюбокаж Габриель Пьер три года провел рядом с фельдмаршалом Суворовым. Итогом общения стало его «Краткое жизнеописание...», вышедшее на французском языке в Гамбурге в 1808 г. На русском языке книга не публиковалась до сих пор.

Перевод о Суворове снабжен довольно объемным примечанием Жуковского, в котором, кроме указания на источник перевода, заявлены некоторые принципиальные для него положения. Во-первых, переводчик указывает на свои приоритеты: его интересуют не столько конкретные факты, в силу того, что они «известны уже более или менее» и ему, и читателям, сколько «характер сего великого человека». Во-вторых, давая характеристику книги, «из которой выбрана эта статья», Жуковский специально подчеркивает «беспристрастность» ее автора.

Повествование сразу подчиняется изображению Суворова как необыкновенного, «странного» человека. Образ знаменитого полководца представлен как романтический идеал личности, которая не знает преград в достижении своих целей, непременно связанных с общечеловеческими идеалами, с интересами отечества, народа. Именно под этим углом зрения в переводе освещается целый ряд исторических событий, участником которых был Суворов.

Одним из приемов создания образа Суворова является описание его внешнего облика. Оно также построено на соотношении объективной информации и субъективной точки зрения повествователя при ее изложении. Через весь портрет проходит мысль о внешней непохожести Суворова на героическую личность, вся сила которой внутри его души, характера. Здесь продолжены размышления Жуковского о герое, начатые еще в ранних его прозаических и стихотворных опытах. Автор, а вслед за ним и переводчик не боятся использовать юмористические нотки, которые «очеловечивают» облик Суворова. Очень активно в связи с этим используется при создании образа Суворова художественная деталь. Любо-

пытно, что к некоторым местам текста Жуковский делает примечания, в которых выражает сомнение в достоверности описанного факта и просит читателей, «которые имели счастье быть близкими к особе сего полководца», подтвердить или опровергнуть эту и другие детали. Подобные примечания характеризуют уже самого переводчика.

Главную особенность повествования — изображение нравственно-психологической сути героя, создание сложного, противоречивого, непредсказуемого характера — Жуковский оценил во французском подлиннике по достоинству. Неслучайно он сохраняет в своем переводе все художественные, беллетристические приемы изображения Суворова. Сохранена и структура «Черт из жизни Суворова», представляющих собой цикл анекдотов, перемежающихся прямыми авторскими характеристиками героя.

¹ *В кампанию 1771 года* — 13 (24) сентября 1771 г. под Столовичами российские войска под командованием А. В. Суворова разгромили отряды Речи Посполитой, которые возглавлял гетман М. К. Огинский.

² *Маршал Литовский* — Имеется в виду Игнатий Огинский (умер в 1775 г.).

³ *в Сталовиче* — Имеется в виду Столовичи — один из древнейших населённых пунктов. Упоминался чаще всего как Стволовичи. С XIV в. городок. Изначально являлся имуществом Великолитовского княжества.

⁴ *Бутурлин* — Начальником Суворова в войне с польскими конфедератами (1768—1772) был генерал-поручик И. И. Веймарн, а не фельдмаршал А. Б. Бутурлин, который умер еще в 1767 г. Именно Веймарн подал на Суворова формальную жалобу в Военную Коллегию за то, что тот действовал в сражении по собственной инициативе.

⁵ *Санкт-Петербургский полк* — В сражении под Столовичами участвовал Суздальский полк.

⁶ *фашины* — Фашина (нем. *Faschine*, от лат. *fascis* — связка прутьев, пучок), пучок хвороста, перевязанный скрученными прутьями или проволокой. Применялись в прошлом для преодоления рвов при штурме крепостей.

⁷ *исподница из белого канифасу* — Т. е. нижняя рубашка из белой плотной хлопчатобумажной ткани.

⁸ *китайчатými* — Т. е. из китайки — хлопчатобумажной ткани (первоначально привозилась в Россию из Китая).

⁹ *каска с зеленою бахромою* — Каска, в строгом понимании слова — это куполообразный, обычно кожаный, реже фетровый головной убор, в начале XVIII в. стальную каску в русской пехоте и кавалерии заменили кожаной.

¹⁰ *шлифные пуговицы* — Т. е. отшлифованные, гладкие.

¹¹ *один Андреевский* — Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного — первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской империи до 1917 г. Суворов был награжден орденом в 1787 г. за сражение под Кинбурном; бриллиантовые знаки к ордену получил в 1789 г. — за сражение при Фокшанах.

¹² *Тищенко* — Тищенко Петр Герасимович (род. в 1768 г.) — в 1788 г. вахмистр, в 1790 г. корнет Стародубовского карабинерного полка, с 1 марта 1795 г. генерал-адъютант Суворова, подполковник.

¹³ *релиции* — Т. е. реляции — донесения о военных действиях.

¹⁴ *развалин Туртукая* — Туртукай (современное Тутракан), город в Болгарии, бывшая турецкая крепость, прикрывавшая удобное место переправы через реку. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. в районе Туртукая русскими войсками под командованием А. В. Суворова были дважды (10 мая и 17 июня 1773 г.) проведены разведывательные поиски: 1-й — с целью отвлечения противника от намеченного пункта переправы главных сил русской армии; с минимальными потерями Суворов овладел Туртукаем; 2-й — как составная часть наступления русских войск, закончившегося разгромом турецкого укрепленного лагеря.

¹⁵ *к фельдмаршалу Румянцеву* — П. А. Румянцев-Задунайский (1725—1796) — русский военный и государственный деятель, граф (с 1744 г.), генерал-фельдмаршал (с 1770 г.). В апреле 1773 г. Суворов был переведен в 1-ю армию генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева.

И. Айзикова

Кабуд-путешественник. Восточная сказка

(которая пригодится кому-нибудь и на Севере)

(«В одной маленькой деревеньке жил бедный мусульманин...»)

(С. 147)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 19. Октябрь. С. 165—181 — в рубрике: «Литература и смесь», с заглавием: «Кабуд-петешественник. Восточная сказка (которая пригодится кому-нибудь и на Севере)», с пометой в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 3 («Повести»). С. 92—113; Пвп 2. Ч. 2. С. 145—159 — с заглавием: «Кабуд-путешественник, восточная сказка (которая пригодится кому-нибудь и на Севере)», без подписи.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее второй декады сентября 1809 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. Kabud le Voyageur. Conte oriental* [Кабуд-путешественник. Восточная сказка] // *Mercure de France*. 1809. 15 avril. P. 105—113. Атрибуция: Eichstädt. S. 21.

«Восточная сказка», в которой нашла свое наиболее полное выражение философско-нравоучительная линия просветительской прозы, по справедливому утверждению исследователей (см. работы В. В. Сиповского, А. Н. Веселовского, Н. Н. Петруниной, С. Л. Каганович, В. Н. Кубачевой), явление симптоматичное для русской прозы 1800-х гг., близкое по своей стилистике, морально-нравственной проблематике, типу героя к *conte morale*. Но *conte orientale* представляла собой нечто своеобразное. Ее достоинством, по сравнению с моральной сказкой, признавалось отсутствие в ней жесткой, рационалистической назидательности. Так, Сарразен удостаивался в рецензиях своих современников всяческих похвал именно за то, что в его произведениях предпочтение отдается «действию, а не тривиальной аксиоме. Хвала добродетели — конечная цель Сарразена, он достигает ее естественно, используя чудеса и восточную пышность».

Обращение Жуковского к данному жанру в большой мере определялось примером Карамзина, переведившего, как известно, восточные сказки Сен-Ламбера, Лафонтена, Жанлис. Вслед за «лучшим русским прозаистом» осозная необходимость органического слияния этического и эстетического начал в художественном творчестве, Жуковский стремится овладеть опытом прозаического повествования, обладающего большими воспитательными возможностями, но свободного от рационалистической сухости и морализирования. Увлекательная восточная сказка, являвшаяся в восприятии читателей «уроком нравственной философии», преподнесенным в «приятной» форме, вполне отвечала установке Жуковского-прозаика.

Сравнение перевода с подлинником говорит об отсутствии каких бы то ни было отклонений в нем от сюжета, конфликта, образной системы оригинала. И все же *conte* Сарразена значительно изменяется под пером Жуковского. Ориентированная на «рассказывание истории», незамысловатой и веселой, сказка Жуковского отличается самой манерой повествования, стилем, характерной чертой которого становится мягкая ирония. В этом отношении данный перевод — предвестие более поздних оригинальных сказок поэта, «главное достоинство которых, — по словам Е. А. Маймина, — заключалось в прелести ума и остроумия», литературный тип которых определялся очевидным присутствием «индивидуального творца», «прямо выраженной авторской иронией» (*Маймин Е. А. О русском романтизме*. М., 1975. С. 44—45). В «Kabud le Voyageur» Жуковского явно не удовлетворяла ни упрощенность сатирических образов, ни обличительный смех, ни господствующая у Сарразена и являющаяся оборотной стороной этого назидательность. В переводе в определенной степени конкретизируется образ рассказчика. Он обособляется от личности автора. С этой целью Жуковский активно использует разговорную лексику и синтаксис. Он вводит их в текст дополнительно или переводит ими стилистически нейтральные слова и фразы.

Для примера приведем небольшой фрагмент подлинника и сравним его с переводом: «Il prit tristement la bride de sob âne et la conduisait à son écurie. Il le soigné de son mieux; mais Kaboud n'était plus bon rien: il avait prit l'habitude de la fatigue, mais il avait perdu celle de travail; et son maïse repenit amèrement de lui avoir faire un voyage qui lui avait tant coûté et lui rapportait si peu» (р. 113) — «Он взял печально своего осла за уздечку и проводил его в конюшню. Он ухаживал за ним, но Кабуд не становился красивее: у него всегда был усталый вид, и его хозяин горько раскаивался в том, что заставил его путешествовать. Это столько ему стоило и так мало ему принесло». Ср. у Жуковского: «Добрый Гассан решил отвести инвалида своего опять в закуту. Кабуда кормили по-прежнему, но Кабуд ни к чему уже не годился. Привыкнув к усталости, он отвык от работы. Гассан смотрел на него и плакал. А дервиш?.. Дервиш съездил в Мекку и сберег свои ноги: чего ж вам более?»

Перевод обильно использует фразеологизмами. Все это рождает иллюзию устного рассказа от лица остроумного, простодушного человека, близкого по своим нравственным установкам автору, но заметно обособленного от него. Переосмысление позиции повествователя позволило разнообразить в переводе оттенки смеха и сами принципы и средства изображения персонажей и ситуаций. История о Кабуде рассказана Жуковским не в назидание, а для веселья, создания радостного настроения. Говоря словами самого Жуковского, подобные произведения «оживляют душу», выполняя важнейшую, по мнению писателя, функцию искусства, они

приводят читателя в «счастливейшее состояние — веселость», сообщая тем самым произведению большой воспитательный эффект.

Своеобразие работы Жуковского над «восточной сказкой» во многом определялось и зарождающимся у него интересом к Востоку, в чем, безусловно, сказалась общая в истории романтизма тенденция к эстетическому осознанию проблем национального. Восточное как национально особенное воспринимается Жуковским в духе времени — на уровне этнографии. В переводе тщательно переданы восточные имена, названия природы, религии, быта, описание нравов и обычаев. Так впервые для себя Жуковский начинает освоение некоторых внешних приемов ориентального стиля, который являлся для него средством создания у читателя определенного эмоционального настроения. Глубокий интерес к культуре и истории Востока, как известно, придет к поэту позднее: 1840-е гг. будут отмечены его вершинными творениями — переложениями восточного эпоса.

Этот перевод Жуковского получил, по-видимому, довольно большую известность и сделал имя Кабуда нарицательным. См., напр., лицейские стихи в кн.: *Грот К. Я.* Пушкинский лицей. СПб., 1998. С. 265, 317. Неоднократно упоминал Кабуда и В. Г. Белинский в своих полемических сочинениях. Следует вспомнить и В. Л. Пушкина и его стихотворную сказку «Кабуд-путешественник», написанную по мотивам одноименной сказки, переведенной В. А. Жуковским. Относительно времени создания «Кабуда-путешественника» В. Л. Пушкина существует множество досадных недоразумений. Прав был Б. В. Томашевский, полагавший, что сказка В. Л. Пушкина написана, вероятно, в 1817 г. (*Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. М.; Л., 1956. С. 112). Впрочем, она могла быть написана и несколько ранее: «Кабуда-путешественника» в переводе Жуковского В. Л. Пушкин мог прочесть сказку не только в ВЕ (1809), но и в антологии Н. Греча (1812), а также в третьей части Пвп 1. Последнее издание принесло новую и более широкую славу сочинениям Жуковского; см., например, слова К. Н. Батюшкова из письма П. А. Вяземскому: «Сию дома и читаю Жуковского сказки, которыми подарил себя и публику Каченовский. Прелестный слог» (*Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 394). В. А. Жуковский упоминает Кабуда, обращаясь к В. Л. Пушкину в стихотворной «Речи в заседании “Арзамаса”» (1817). Несмотря на то что источниковедческая взаимосвязь Сарразен — Жуковский — В. Л. Пушкин, возникшая благодаря разысканиям Х. Эйхштедт, была отмечена несколько десятилетий назад, тем не менее она не скоро вошла в литературоведческий обиход. Впервые эта взаимосвязь полностью указана в комментариях к последнему изданию стихотворений В. Л. Пушкина под редакцией С. И. Панова (*Пушкин В. Л.* Стихотворения. СПб., 2005. С. 315—316).

Тексты ВЕ и Пвп 1, 2 практически идентичны, немногие незначительные расхождения связаны с заменой одного пунктуационного знака другим (напр., восклицательного знака на запятую), в ряде случаев они, скорее всего, объясняются ошибками при повторном наборе (напр.: «В Мекку, — воскликнул Гассан...» — ВЕ: «В Мекку! В Мекку! — воскликнул Гассан...»; или: «...буду я величаво разъезжать на этом ученом докторе!» — ВЕ: «...буду я величаво разъезжать на том ученом докторе!»).

¹ ...десять томанов... — Иранская золотая монета.

² алкоран — То же, что Коран.

³ ...*Мраморного моря*... — Устарелое название Мраморного моря, название которого происходит от тур. *Marmara Denizi*, которое, в свою очередь, происходит от названия острова Мармара, где осуществлялись крупные разработки белого мрамора.

⁴ ...*прекрасные провинции Натолии*... — Анатолия, или Натолия (тур. Анадоль, греч. Анатолия, то есть страна Востока) — служит названием Малой Азии или самого западного полуострова Азии, ограниченного на севере Черным морем, Константинопольским проливом, Мраморным морем и Дарданельским проливом, на западе — Эгейским морем, на юге — Средиземным морем и на востоке — Арменией и северо-западными частями Месопотамии и Сирии.

⁵ ...*посетили Кесарию*... — Название нескольких древних городов. Здесь имеется в виду Кесария в Каппадокии — так называется со времён античности вплоть до наших дней местность на востоке Малой Азии на территории современной Турции.

⁶ ...*в Алепе*... — Имеется в виду Алеппо — крупный город в Сирии и центр одноимённой провинции (название в европейской литературе — Халеб).

⁷ ...*город взят был арабами в 637 году при императоре Гераклии*... — Город оставался под управлением Рима в форме Византийской империи и был важным центром христианства на Ближнем Востоке до 637 г. н. э., когда его захватили арабы. Византийский император Гераклий Ираклий лично возглавлял оборону города от мусульманских войск.

⁸ *Диарбек* — Имеется в виду Диарбекир, город в Западной Армении, на берегу р. Тигр. Исторически находился в провинции Четвертая Армения Великой Армении. Один из древнейших населенных пунктов Армянского нагорья. Диарбекир, расположенный на пути, связывающем Северную Месопотамию с Ираном, являлся одним из заметных центров торговли и ремесел, находившихся в руках армян.

⁹ *Месопотамия* — область между реками Тигр и Ефрат, на территории современного Ирака, одна из колыбелей евроазиатской цивилизации.

¹⁰ *Мосул* — главный город в азиатской провинции Турции.

¹¹ *Алджезира* — Имеется в виду Аль-Джазира (в переводе с арабского означает «остров») — традиционное неформальное название Катара, государства в юго-западной Азии, расположенного на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова.

¹² *Ниневия* — древняя столица Ассирии, была расположена на восточном берегу реки Тигра. Основатели Ниневии вышли из Вавилона, где говорится, что Нимрод или Ассур вышел из земли Сennaар и построил Ниневию (см.: Быт. 10:11), которая вместе с тремя другими ассирийскими городами Реховоф-Ир, Калах и Ресен составляла «Великой город». В течение столетий Ниневия была столицей ассирийского царства. Древние писатели и Библия описывают этот город как неприступную крепость, благодаря ее стенам и местоположению, и как процветающий торговый город. В Ниневию был послан пророк Иона около 800 г. до Р. Х. для того, чтобы объявить суд Божий, но жители города покалялись (Мат. 12:41), так что наказание было отменено. После этого о гибели Ниневии пророчествовал Наум, что и совершилось от руки мидян и их союзников вавилонян, около 625 г. до Р. Х. Напротив Моссула находятся развалины городов, которые в совокупности составляли Великую Ниневию, и остатки собственно Ниневии в виде двух холмов с расположенными на них селениями.

¹³ ...*при имени Семирамиды*... — В аккадской и древнеармянской мифологиях легендарная царица Ассирии, супруга легендарного царя Нина, убившая его

хитростью и завладевшая властью. С именем Семирамиды традиционно связывают висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света.

¹⁴ *Эдесса* — древний город на юго-востоке Турции, при Селевке I (356 до н. э.? — 281 до н. э.), много сделавшем для возвеличения города, Эдесса получила своё имя в честь города Эдессы, исторической столицы античного Македонского царства.

¹⁵ *...Гарам есть древняя Карре, место рождения Авраамова...* — Имеется в виду Харран или Карры (аккад. *Harârû* — букв. «развилка», лат. *Carrahae*), древний город в северной Месопотамии (ныне в Турции), исламские источники склоняются к тому, что он был местом рождения Авраама.

¹⁶ *...Александр поблизости его выиграл славное Арбелльское сражение* — Речь идет о битве при Арабеле в 331 г. до н. э., в которой Александр Македонский разгромил намного превосходящую его по силам персидскую армию. *...он известен в истории по разбитию Красса.* — Имеется в виду одно из величайших поражений в истории Древнего Рима, понесённое 40-тысячным корпусом во главе с Марком Лицинием Крассом (115—53 гг. до н. э.) — древнеримским полководцем и политическим деятелем, от парфян под начальством Сурены в окрестностях древнего города Карры. Битва произошла в июне 53 г. до н. э. и закончилась гибелью Красса.

¹⁷ *...в Бассоре...* — Имеется в виду Басра (араб. Бассора), город на юго-востоке Месопотамии.

¹⁸ *...тирады* — от франц. *tirade* (буквально — вытягивание), длинная фраза, отдельная пространная реплика, монологический отрывок речи, произнесённый в более или менее приподнятом тоне.

¹⁹ *Статочное ли дело...* — Статочный (статочный) — могущий стать, случиться (старин., обл.), статочное ли дело? — возможно ли, может ли случиться?

²⁰ *...осел пошел в Мекку, осел и возвратился из Мекки.* — Известен афоризм персидского поэта Саади (1181—1291): «Если бы осел, на котором ездил Иисус, был взят в Мекку, он вернулся бы оттуда по-прежнему ослом» (который реминисценцией вошел в стихотворение Г. Р. Державина «Вельможа»: Осел останется ослом, / Хотя осыпь его звездами: / Где должно действовать умом, / Он только хлопает ушами).

И. Айзикова, В. Симанков

Науки

(«В то время, когда еще мир управляем был гениями...»)

(С. 154)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 19. Октябрь. С. 181—186 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Науки», с указанием источника в конце: Эбергард.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (в рубрике «Смесь»). С. 277—282; Пвп 2. Ч. 3. С. 39—43 — с тем же заглавием и подписью в конце.

Печатается по Пвп 2 — с исправлением опечатки в фамилии автора: Элергард.

Датируется: первая половина 1809 г.

Источник перевода: *Eberhard J. A. Die Wissenschaften. Eine Allegorie nach dem Platon [Науки. Одна из аллегорий Платона] // Engel J. J. Schriften. Bds. 1—12. Berlin,*

1801—1806. Bd. 2. S. 77—84. («Philosoph für die Welt»; Sechs und zwanzigstes Stück).
Атрибуция: Eichstädt. S. 15.

Как уже было сказано, профессор Эбергард был одним из авторов «Светского философа» И. Я. Энгеля (см. примеч. к статье «Смерть» в наст. томе).

Имя немецкого философа и эстетика Иоганна Августа Эбергарда (1739—1809) привлекло внимание Жуковского еще в 1805 г. В «Росписи во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты» он отмечает труды Эбергарда по морали и эстетике (Резанов. Вып. 2. С. 244). Из «Светского философа» в 1791 г. Н. М. Карамзин перевел его сочинения «Bayle an Shaftesbury» и «Shaftesbury an Bayle» (Московский журнал. 1791. Ч. 3. Кн. 2. Август. С. 150—164).

Обратившись к аллегории «Науки», восходящей, как указано в источнике, к Платону, Жуковский снимает этот подзаголовок-уточнение. Ему важнее акцентировать современный подтекст рассуждения немецкого автора. Если в переводе статьи Энгеля «О нравственной пользе поэзии. Письмо к Филалету» («Von dem moralischen Nutzen der Dichtkunst» из того же «Светского философа» (ВЕ. 1809. Ч. 43. № 3. Февраль. С. 161—172) он рассуждал о «стихотворно-прекрасном» и «стихотворно-истинном», подчеркивая курсивом взаимосвязь этих понятий, то через несколько месяцев он будет говорить о нравственном смысле науки, о важности для нее понятий *Стьда* и *Справедливости*.

Сохранив общий смысл и пафос статьи Эбергарда, Жуковский заостряет ее конец, подчеркивая столь важную для него идею золотого века. Ср.:

Эбергард

Жуковский

...und dann wird die Seligkeit des Saturnischen Zeitalters auf die Erde zurückkehren.

(...и снова затем возвратится на землю только Сатурнов век).

...последует тот счастливый *золотой* век, которым он наслаждался прежде и который теперь называется только приятною мечтою поэтов (Курсив автора).

А. Янушкевич

Письмо принца де Линя к Екатерине II («Вашему Величеству теперь совсем нечего делать...») (С. 156)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 19. Октябрь. С. 186—190 — в рубрике: «Литература и смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее второй декады сентября 1809 г.

Источник перевода: *Prince de Ligne. Ce 17 Mars 1792. Vienne* [От 17 марта 1792 г. Вена] // *Prince de Ligne. Lettres et pensées du maréchal Prince de Ligne, publiées par Mad. la baronne de Stael Holstein. Paris, 1809. P. 235—238.*

Подробнее о личности принца де Линя и его письмах см. примечания к публикации «Двух писем принца де Линя» в наст. изд.

Перевод интересен, прежде всего, точной передачей проявленных в подлиннике образов адресата и автора, а также сохранением четких временных и пространственных ориентиров оригинала, являющегося документом эпохи и для де Линя, и для Жуковского. Частный характер письма обусловил его весьма неожиданную тематику, свободную композицию, что, очевидно, и привлекло переводчика в первую очередь. Де Линь пишет к русской императрице как к близкому человеку, сам поражаясь той простоте отношений, которые сложились между ними. И де Линь, и его великий адресат, Екатерина II, реальные исторические личности, представлены в переводе (как и в подлиннике), по выражению А. С. Пушкина, «домашним образом», образ Екатерины II создан исключительно точкой зрения автора письма, а образ де Линя вытекает из самого повествования.

В перевод внесено незначительное количество изменений оригинального текста. Дважды сделаны небольшие вставки, в первом случае Жуковский поясняет русскому читателю в самом начале письма, что значат слова: «как Вы могли, (...)», позабыть обо мне совершенно»: речь идет, как указывает вставка переводчика, об отсутствии ответа Екатерины II на письмо де Линя. Во втором случае добавлены слова, прославляющие русскую императрицу («Вашему Величеству осталось только молиться о себе и о вечном спокойствии тех, которые давно исчезли, и которые одни имели право сказать: “Она всех нас затмила”»). Изъятия переводчика из подлинника тоже единичны. Например, в перечислении возможных дел русских императоров, которые могли бы их отвлечь от переписки, называется «семейство» (у де Линя это еще и «собаки», «жена», «дети»). Собственно замен тоже не много. В подлиннике говорится, что от Петра Великого де Линь не отважился бы попросить даже «одного сухого слова» («le mot sec» — у Жуковского речь идет о «двух или трех строчках ответа»). О Фридрихе II в переводе говорится, что он не может быть «раздавелем Божией милости», в подлиннике — что он не может «делать людей счастливыми» («faire les bonheurs»). Существительное l'anarchie переведено как «безначалие», а следствие анархии, les atrocities (жестокость, зверство) — как «ужасы» и т. п.

См. др. переводы на русский язык «Писем и мыслей принца де Линя»: Письма и избранные творения принца де Линя, изданные Стаэль-Гольштейн и Проппиаком, перевод с франц. 10 ч. М., 1809—1810; Письма и мысли маршала, принца де Линь, изданные Стаэль-Гольштейн, перевод с франц. Матвей Ильинский и Александр Иванов. 2 ч. М., 1810.

¹ *Я жил несколько времени в России...* — Принц Ш. Ж. де Линь в 1782 г. был послан императором Иосифом II с важными поручениями к Екатерине II и надолго остался в России. Во время Русско-турецкой войны 1787—1791 гг. де Линь находился при армии Потемкина, участвовал в осаде и взятии Очакова.

² *Фридрих II* — Имеется в виду Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король.

³ *Людвиг XIV* — Имеется в виду Людовик XIV (1638—1715), французский король с 1643 г.

⁴ *...наваррский король...* — Речь идет о Генрихе IV Бурбоне (Генрих Наваррский, Генрих Великий (1553—1610) — лидер гугенотов в конце Религиозных войн во Франции, король Наварры с 1572 г., король Франции с 1589 г., основатель французской королевской династии Бурбонов.

⁵ *...ventre — saint — gris — Ventre saint-gris* (франц., шуточн.) — дословно: Клянусь животом святых серых (монахов). Генрих IV, используя это выражение, намекал

на орден серых монахов, учрежденный Св. Франциском д'Ассиз. Выражение используется в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов» (сцена «Равнина близ Новгорода-Северского») в реплике Маржерета — в значении «Тысячу дьяволов!».

⁶ *...весовые деньги.* — Имеются в виду монеты, служащие весовыми единицами, как это было принято в денежно-весовой системе, которая включала не только денежный счет, но и весовой размер денежных единиц.

⁷ *Квинт-Курций* — Квинт Курций Руф — римский историк, написавший «Историю Александра Великого Македонского».

⁸ *Шведский подражатель его изъясняется готическим латинским языком.* — Имеется в виду И. Фрейншемиус — автор «Дополнений» к Квинту Курцию и Титу Ливию, где очень точно имитирован стиль этих римских историков и восполнены лакуны в содержании их историй. О нем пишет Ш. Нодье в «Вопросах литературной законности» (М., 1989. С. 138).

⁹ *...от Кесафя и Альцибиада...* — Имеются в виду Гай Юлий Цезарь и Алквиад.

¹⁰ *...от великого Конде.* — Принц де Конде (1621—1686), известный под именем Великого Конде (*франц.* le Grand Condé) — один из знаменитейших полководцев Франции.

¹¹ *При Сулле и Марии великий Рим был разделен на части и подвластен.* — Речь идет о восстании италийских племен против Рима (Союзническая война 91—88 до н. э.). Командование войсками, направленными против восставших, было поручено римским военачальникам Гаю Марию (ок. 157—86 до н. э.) и Луцию Корнелию Сулле (137—78 до н. э.).

¹² *Сципионы были великие аристократы.* — Сципионы — в Древнем Риме одна из ветвей патрицианского рода Корнелиев, к которой принадлежал ряд крупных полководцев и государственных деятелей.

¹³ *Перикла надобно именовать царем.* — Перикл (490—429 г. до н. э.) — афинский политический деятель, сын Ксантиппа, вождь демократической партии, знаменитый оратор и полководец. После изгнания Фукидида в 44 г. до н. э. управлял государством. Начиная с 443 г. до н. э. народное собрание 15 раз подряд выбирало его первым стратегом. Работа Перикла была очень важна в Афинах. Он руководил флотом, войском, ведал отношениями Афин с другими государствами.

¹⁴ *Монтань и Лафонтьен* — Т. е. Монтень и Лафонтен.

¹⁵ *...нашему молодому императору...* — Имеется в виду Франц II (1768—1835), король Германии (римский король) с 1792 г., император Священной Римской империи германской нации (последний император) с 7 июля 1792 г. по 6 августа 1806 г., первый император Австрии с 11 августа 1804 г., в качестве императора Австрии (а также короля Богемии и Венгрии с 1 марта 1792 г.) носивший династический номер Франц I.

¹⁶ *...благодаря двум походам...* — Речь идет о следующих событиях: ещё Леопольд II, в феврале 1792 г., заключил союзный договор с Пруссией против Франции; в апреле Франц II начал войну и вел её, в качестве монарха как Австрии, так и Священной Римской империи, даже после того как Пруссия заключила с Францией сепаратный мир в Базеле (5 апреля 1795 г.). Однако победы генерала Бонапарта в Италии принудили Франца II к невыгодному миру в Кампоформио (17 октября 1797 г.), по которому Австрия потеряла Нидерланды и Ломбардию, но получила Венецию, Истрию и Далмацию.

¹⁷...его воспитанию, начатому Иосифом II... — Речь идет об Иосифе II (1741—1790), австрийском эрцгерцоге, с 1765 г. — император Священной Римской империи. С 1784 г. Франц II воспитывался в Вене при дворе Иосифа II, своего дяди.

¹⁸...которому Ваше воспоминание должно служить апотеозом. — Так переведена фраза: ...dont le souvenir de Votre Magesté Impériale fait l'apothéose.

¹⁹...касательно Нидерландов... — См. примеч. № 16.

²⁰Северная звезда — Звездой Севера Екатерину II назвал Вольтер.

И. Айзикова

Воспоминания об Ост-Индии

(«Я собирался выехать из Визагапатнама...»)

(С. 158)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 20. Октябрь. С. 249—258 — в рубрике «Литература и смесь», с заглавием: «Воспоминания об Ост-Индии» и примечанием: «Из Гафнерова Путешествия по берегам Ориксы в Короманделе», вынесенным в сноску на с. 249.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 («Смесь»). С. 216—227; Пвп 2. Ч. 3. С. 209—216 — с тем же заглавием.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: между маем и сентябрем 1809 г.

Источник перевода: Erinnerung aus Ostindien [Воспоминание об Ост-Индии] // Morgenblatt für gebildete Stande. 1809. № 90. Sonnabend, 15 April — с примеч.: *Aus der Reize langs de Kusten Orixa en Choromandel door F. Haafner. Amsterdam by Allart 1808. 2 Vol. 8.* и подписью под примеч. и в конце текста: *Fischer.* См.: *Eichstädt. S. 17.*

Немецкий путешественник Хафнер Якоб Готфрид (1754—1809) одним из первых познакомил европейскую культуру с таинственным миром, нравами и обычаями Ост-Индии. В раннем детстве Хафнер вместе с родителями переселился в Голландию. В качестве юнги на корабле своего отца он посещает различные области Восточной Индии. В течение 1765—1785 гг. накапливаются его впечатления, которые стали основой его будущих воспоминаний и травелогов. В 1809 г. выходит в свет его книга «Reise in einem Palankin» («Путешествие в одном паланкине»), написанная еще в 1785—1786 гг. Третья глава из этого сочинения послужила источником для публикации в немецком «Утреннем листке для образованного сословия» и для перевода Жуковского. Первоначально книга вышла на голландском языке, и, как явствует из примечания, ее переводчиком был некий Фишер. Х. Эйхштедт удалось установить, что это был Христиан Август Фишер (1771—1829), профессор истории и статистики (*Eichstädt. S. 17; примеч. 49.*)

Интерес Жуковского к ориентальным сюжетам и в частности к мирообразу Индии — отдельная тема. Многочисленные упоминания долины Кашемира, приобретенной в дневниках поэта символический смысл земного рая (см.: ПССиП. Т. XIII. С. 91, 474; примеч. 47), обращение к переводу отрывка из поэмы английского

романтика Т. Мура «Лалла Рук», стихотворная повесть «Наль и Дамаянти», интерес к драме Калидаса «Саконтала», уже переведенной на русский язык Н. М. Карамзиным, — все это звенья общего творческого процесса первого русского романтика 1810—1840-х гг. И в этом смысле перевод «Воспоминаний об Ост-Индии» имел не только просветительский характер.

В целом перевод точно воссоздает не только содержание, но и стилистику подлинника. Небольшие эмоциональные вкрапления, типа: «сердце мое страдало», «в великом унынии», «вообразите мой ужас», «Могу ли описать те страшные чувства, которые мучили меня в продолжении этой ночи, нестерпимо долгой?», «нечто неизвестное животворило мне душу», «с какими неописанно сладкими чувствами» — способствуют драматизации текста и вполне отвечают элегическому стилю раннего Жуковского. Любопытна замена эпитета «steil» (крутой, отвесный), относящегося к описанию высоких стен, на «перпендикулярный».

Очевиден моралистический подтекст перевода, связанный с идеей преодоления препятствий и терпения. Слова: «Таким образом, еще раз, по собственному опыту, уверился я, что нет такого положения в жизни, в котором бы можно было совершенно предаваться отчаянию» — вполне корреспондировали с той жизненной ситуацией, в которой оказался поэт именно в это время.

¹ *Визагапатнама* — Вишакхапатнам — город и порт в Индии, на Бенгальском заливе, в штате Андхра-Прадеш.

² Коромандель — область на восточном побережье полуострова Индостан в Индии.

³ Бетель — смесь пряных листьев перца бетель, кустарника семейства перечных (разводимого в тропической Азии), с кусочками семян пальмы арека и небольшим количеством извести. Используют как средство для возбуждения нервной системы.

⁴ Брамины (брахманы) — одна из высших каст в Индии, по происхождению — древнее сословие жрецов, совершающих религиозные ритуалы.

А. Янушкевич

Несколько мыслей о любви к уединению, о достоинстве и характере

(«*Всякое звание в обществе есть...*»)

(С. 162)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 47. № 20. Октябрь. С. 294—300 — в рубрике: «Литература и смесь», с заглавием: «Несколько мыслей о любви к уединению, о достоинстве и характере», с указанием источника в конце: Шанфор.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (раздел «Смесь»). С. 254—261; Пвп 2. Ч. 3. С. 19—24 — с тем же заглавием и подписью. Тексты идентичны первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее первой декады октября 1809 г.

Источник перевода: *Chamfort S.-R.-N. Du Goût pour la Retraite et de la Dignité du Caractère* [О склонности к уединению и о достоинстве характера] // *Chamfort S.-R.-N. Oeuvres complètes*. Paris, 1808. V. 2. P. 65—71. Атрибуция: Eichstädt. S. 21.

Тема светской жизни и уединения привлекала Жуковского с самого начала творчества, определяя круг его чтения, звучание ряда его произведений (см. коммент. к статье «Общество и уединение» в ПССиП. Т. VIII). Перевод «Несколько мыслей о любви к уединению, о достоинстве и характере» развивает мысли Жуковского об обществе и уединении, делая особый акцент на проблеме свободной воли человека, соотношения свободы и необходимости в его действиях. В определенной мере смягчив идею Шамфора о губительном влиянии света на личность, Жуковский усилил мотив нравственной независимости, не связанной непосредственно с законами общества и свойственной человеку от рождения. Вслед за автором, Жуковский сохраняет в переводе атмосферу рассуждения и афористический стиль. В библиотеке поэта хранится парижское издание «Oeuvres complètes» Шамфора (1808), т. 2, содержащий подлинник данного перевода. В нем сделано несколько помет рукой Жуковского. Волнистой вертикальной линией на полях, обозначающей в системе маргиналий поэта сомнение, отмечен следующий абзац: «Le monde endurecit le Coeur à la plupart des hommes, mais ceux qui sont moins susceptibles d'endurcissement, sont obligés de se créer une sorte d'insensibilité factice pour n'être dupes ni des hommes, ni des femmes. Le sentiment qu'un homme honnête emporte, après s'être livré quelques jours à la société, est ordinairement pénible et triste: le seul avantage qu'il produira, c'est de faire trouver la retraite amiable» (ср. у Жуковского: Свет ожесточает сердце большей части людей, а те из них, которых натура не расположила к ожесточению, принуждены вооружить себя искусственной нечувствительностью, чтобы избавиться от сетей и мужчин, и женщин. Чувство, остающееся в душе человека после нескольких дней, потерянных в свете, и тягостно и печально; одна только от него польза: оно делает уединение любезнее). Фраза «Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un homme: c'est une chose» при чтении отмечена на полях знаком «—» (ср. перевод: Человек, не имеющий характера, не человек, а вещь). Наконец, при чтении прямой вертикальной линией на полях отмечен еще один фрагмент: «Presque tous les hommes sont esclaves par la raison que les Spartiates donnaient de la servitude des Perses, faute de savoir prononcer la syllab *non*. Savoir prononcer ce mot et savoir vivre seul sont les deux seuls moyens de conserver sa liberté et son caractère» (ср. перевод Жуковского: Почти все люди невольники от той единственной причины, которой спартанцы приписывали невольничество персов, от неспособности произнести слово *нет!* Уметь произнести это слово и сверх того уметь быть уединенным, вот два способа хранить и независимость свою, и характер).

В контексте журнала перевод дополняется рядом статей подобного философско-этического содержания (переводы из Энгеля, Миллера и др.).

¹ С фонарем Диогеновым нужно иметь и его палку. — Диоген Синопский (ок. 412 г. до н. э. — 323 г. до н. э.), древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя школы киников. Имя Диогена вошло в ряд анекдотов и легенд, где оно принадлежит амбивалентной фигуре мудреца-шута. Наиболее известна история о том, как Диоген днём с фонарём искал Человека. Согласно другой, однажды, когда Антисфен, к которому Диоген пришел учиться, замахнулся на него палкой, философ,

подставив голову, сказал: «Бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь не скажешь».

² ...*причины, которой спартапцы приписывали невольничество персов...* — Имеется в виду зависимость от тяги к наслаждениям, к удобствам.

И. Айзикова

Два письма принца де Линя
(«Ваше Величество были виноваты...»)
(С. 164)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 48. № 21. Ноябрь. С. 7—23 — в рубрике «Словесность. Проза», с подзаголовками: Письмо к Екатерине, (писанное в Сарском селе, после разговора с императрицею) и Письмо к Сегюру из лагеря под Очаковом 1788, августа, с подписью в конце: С фран. Ж.

В прижизненных изданиях: СОРС 1, 2. Ч. 6 — с тем же заглавием.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее конца октября 1809 г.

Источники перевода: 1) Copie d'un letter que j'ai écrite à l'impératrice à Czarskozele, de ma chamber à la sienne [Копия письма, написанного императрице в Царском Селе из моей собственной комнаты], 2) Ce 1 août 1788. Au camp sous Oczakow [От 1 августа 1788 г. Из лагеря под Очаковом] // Lettres et pencees du maréchal Prince de Ligne. Paris, 1809. P. 162—170, 251—256.

Перевод еще двух фрагментов (кроме опубликованных в № 15 и 19 за 1809 г., см. коммент. к ним выше) из книги «Lettres et pencees du marechal Prince de Ligne» (Paris, 1809). Это два письма де Линя — к Екатерине II и к Сегюру, демонстрирующие хорошее знание их автором русской истории и его попытку вписать последнюю в контекст истории европейской, что и привлекло, по-видимому, внимание Жуковского к данным письмам.

Первое письмо отличается к тому же весьма оригинальным — гендерным — подходом к проблеме монарха и монаршей власти. Его перевод имеет заглавие и подзаголовок: «Письмо к Екатерине, (писанное в Сарском селе, после разговора с императрицею)». В подлиннике письмо имеет другое название. Судя по содержанию, оно было написано уже по окончании Русско-турецкой войны, а копия его, возможно, была снята еще позже, судя по положению текста в томе «Lettres et pencees...» (он завершает раздел «Lettres», где письма приводятся в хронологическом порядке, и предшествующее ему письмо датировано сентябрем 1794 г.) — не ранее осени 1794 г.

Перевод является очень точным. Можно отметить лишь две вставки от переводчика: в самом начале письма, где речь идет о возможной провинности императрицы, каковая допускается только в слове, Жуковский вписывает от себя: «это имеет некоторую вероятность», и в последнем абзаце добавляется фраза: «Нам ли учить Бога!». Кроме того, при упоминании Прутского мира вводится имя Петра I («великого Петра», у де Линя русский царь назван «героем»).

Перевод второго письма имеет свое заглавие и подзаголовок: «Письмо к Сегиору из лагеря под Очаковым. 1788, августа», что также несколько отличается от подлинника. Оно написано в самый разгар Русско-турецкой войны и связано с осмыслением де Линем такого важнейшего исторического события, как осада и взятие Очакова, и таких исторических деятелей, как Сегиур, Потемкин, принц Ангальт-Бернбург, Роже де Дама. Де Линь создает ряд интереснейших художественных портретов, в том числе коллективные портреты русских и турецких солдат — жанр, к которому Жуковский тяготел с самого начала своего творчества. Этим можно дополнительно мотивировать выбор Жуковским данного письма для перевода и объяснить его переводческую стратегию. Перевод сделан достаточно точно, лишь финал подлинника несколько сокращен: опущено описание известного еще из античности клинообразного боевого строя, сходного по форме со свиной головой, который использовался турками в сражениях (у де Линя даже приведен рисунок этого «клина»). В отношении такого построения и задаются в конце оригинального текста вопросы, только один из которых переведен Жуковским. Однако, выведенный из контекста, он не передает авторского пафоса, заключенного в идее повторяемости всех боевых приемов (ср.: «Je n'ai rien vu qui me fasse croire que cela ait jamais existé. Tout ce que je vois n'est-il pas assez singulier? N'est-ce pas l'extraordinaire que je vous ai annoncé? ... je crois que vous portez encore quelquefois l'uniforme») (р. 170).

Первая публикация имеет некоторые разночтения с текстом СОРС 1, 2: черты варварства (ВЕ) — следы варварства; последним из офицеров ее армии (ВЕ) — последним из офицеров в армии; что вы не вздумаете (ВЕ) — что вы не вздумайте.

¹ *Анна и Елисавета* — Анна Иоанновна (1693—1740) — российская императрица из династии Романовых (1730—1740). Елизавета Петровна (1709—1761) — российская императрица из династии Романовых (1741—1761).

² *...забыв о православной церкви, захотел покровительствовать лютеранской или римской...* — Имеется в виду лютеранство — основное протестантское течение в христианстве и римско-католическая церковь — принятый с начала XVII в. неофициальный термин для обозначения той части Западной Церкви, которая осталась в общении с Римским епископом после Реформации XVI в. В русском языке термин обычно используется как синоним понятия «католическая церковь».

³ *...мира при Пруте, как Ваш Великий Петр, сделавшийся невзначай героем...* — Прутский мир — мирный договор между Россией и Турцией, ставший результатом Прутского похода 1711 г. Подписан 12 (23) июля 1711 г. на реке Прут, близ города Яссы русскими посланниками П. Шафировым и Б. Шереметевым и турецким представителем — великим визирем Мехмедом-пашой. Предметом переговоров было предоставление возможности русской армии во главе с Петром I выйти из окружения, в котором ее блокировали турецкая и крымская армии. В виду критической ситуации для русской армии Петр I был готов к крайне тяжелым для России условиям: отказу от всех приобретений в ходе Северной войны (кроме Ингрии) и признанию ставленника шведов на польском престоле С. Лещинского, что совпадало с требованиями султана при объявлении войны России. Условия мира оказались значительно легче тех, на которые был готов Пётр: Россия обязалась отдать Турции Азов, срыть укрепления Таганрога и других крепостей на юге, не вмешиваться во внутренние дела Польши; Карлу XII предоставлялась возможность свободно переехать в Швецию через территорию России. Этот договор дал

возможность России сохранить армию и вывести ее из окружения практически с полным вооружением.

⁴ ...не убежали в Турцию, как неприятель его Карл XII. — Полтавская битва 1709 г. окончилась полным разгромом шведов и бегством Карла XII в Турцию.

⁵ *Товарищи мои, Таврические мурзы...* — Мурза (в переводе с перс. — принц) — аристократический титул в тюркских государствах. Таврия — древнее название Крыма.

⁶ ...по тем землям, которыми Ваше величество наградили меня... — Принц де Линь приехал в Крым в свите Екатерины II, совершавшей в 1787 г. путешествие в эти места. Во время путешествия императрица подарила ему земли в Партените.

⁷ ...в прекрасном киоске Сарского села... — Имеется в виду один из павильонов в Екатерининском парке Царского села. Слово «киоск», турецкого происхождения («павильон»), было заимствовано в русский язык из французского в XVIII в. и имело значение «беседка, парковый павильон», обозначало постройку, имевшую декоративный характер.

⁸ ...Фридерика, Петра, Людовика или Карла... — Имеются в виду императоры: прусский король — Фридрих II (Великий), русский царь — Петр I Великий, французский король Людовик XIV (Великий) и, скорее всего, Карл I Великий.

⁹ ...хана Герая... — Бахадыр II Герай (Гирей) (? — 1791) — крымский хан, пришедший к власти во время восстания 1782 г.

¹⁰ ...новорожденного своего эрцгерцога... — Имеется в виду Иосиф II (1741—1790), король Германии с 1764 г., император Священной Римской империи с 1765 г., старший сын Марии Терезии Габсбург; самостоятельно правил только начиная со смерти матери (1780 г.); 29 ноября 1780 г. унаследовал от неё владения Габсбургов — эрцгерцогство Австрийское, королевства Богемское и Венгерское. Выдающийся государственный деятель, реформатор, яркий представитель эпохи просвещённого абсолютизма.

¹¹ ...Великая Мария Терезия... — Имеется в виду Мария Терезия Габсбург (1717—1780), старшая дочь императора Карла VI Габсбурга, австрийская эрцгерцогиня с 1740 г., великая герцогиня Тосканская, королева Венгрии с 1740 г. и Чехии с 1743 г. (имела эти титулы по наследству), императрица Священной Римской империи с 1745 г. (как супруга, а затем вдова Франца I Стефана Лотарингского, избранного императором в 1745 г.). Основательница Лотарингской ветви династии Габсбургов. Царствование Марии Терезии — время активных реформ. Она входит в число представителей династии, пользовавшихся наибольшей популярностью. Среди её многочисленных детей — два императора (Иосиф II и Леопольд II), а также королева Франции Мария Антуанетта.

¹² ...на греческом Ваших грехов, а не Вашей церкви, ибо то славянский... — Имеются в виду поместные православные церкви.

¹³ ...Штеттинских храмов... — Щецин (польск. *Szczecin*; нем. *Stettin*) — город на северо-западе Польши.

¹⁴ ...Валлонской церкви... — название французской реформатской церкви в северных провинциях Нидерландов, куда в XVI и XVII вв. переселились протестанты из валлонских провинций.

¹⁵ *Сегюр Луи Филипп*, граф де (1753—1832) — французский дипломат, посол в России в 1785—1789 гг.

¹⁶ ...о тех чрезвычайных происшествиях, которым я свидетель, в которых участвую сам. — Во время Русско-турецкой войны 1787—1791 гг. де Линь находился при армии Потемкина, участвовал в осаде и взятии Очакова.

¹⁷ ...Нассау, Зиген. — Речь идет о принце Нассау-Зигене Карле-Генрихе (1745—1808), французском подданном, адмирале русского флота с 1788 г. по 1794 г., участнике ряда войн, в том числе на стороне русской армии в период царствования Екатерины II. За боевые отличия получил множество титулов, военных званий и наград. В частности, назначенный начальником Днепровской гребной флотилии, 17—18 июня 1788 г. он разбил турецкий флот под Очаковым и 1 июля уничтожил его остатки. За проявленные в этих делах военную доблесть и мужество Нассау-Зиген был награжден чином вице-адмирала и 24 июля 1788 г. — орденом св. Георгия 2-го кл.

¹⁸ ...на хищниках дичи... — Так переведено «le brasonnier» — псовый охотник (значение «браконьер» — более позднее).

¹⁹ ...предводителя армии... — В оригинале в скобках, а у Жуковского в сноске уточняется, что речь идет о графе, светлейшем князе Г. А. Потёмкине (1739—1791), русском государственном деятеле, генерал-фельдмаршале (с 1784 г.).

²⁰ ...родственника Екатерины... — В авторской сноске, сохраненной и Жуковским, указывается, что речь идет о принце Ангальте-Бернбурге (т. е. о принце Ангальте-Бернебурге Шаумбургском, Викторе Амедее, 1744—1790), участнике штурма Очакова 1788 г.; это еще один из многих иностранцев, которых на русскую службу привлекли щедрость русской императрицы и ореол славы русской армии. Уже в 1775 г., через три года после поступления на службу, он был генерал-майором и кавалером ордена святого Георгия 4-го кл.; в 1782 г. произведен в генерал-поручики. Называя принца родственником Екатерины II, автор намекает на то, что оба они принадлежат к старинному ангальтскому дому, который в начале XVII в. распался на 4 княжеские линии: 1) Бернбургскую, 2) Дессаускую, 3) Кетенскую и 4) Цербстскую. Екатерина II, как известно, — урожденная София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, была дочерью прусского генерал-фельдмаршала Христиана Августа Ангальт-Цербстского, правителя небольшого немецкого княжества Анхальт-Цербст.

²¹ ...феномен, из вашего края... — Имеется в виду граф Роже де Дама (Damas), (1765—1823), генерал-лейтенант, адъютант Г. А. Потемкина во время осады Очакова в 1788 г. Во время русско-турецкой войны он тайно уехал из Франции в Россию к принцу де Линю, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь помог ему вступить в русскую службу.

²² ...Франциск I, великий Конде и Маршал Саксонский... — Франциск I (1494—1547), король Франции (с 1515 г.), «король-рыцарь», как он сам называл себя; Людовик (Луи) II де Бурбон-Конде, принц де Конде (1621—1686), известный под именем *Великого Конде*, знаменитый полководец Франции; Мориц, граф Саксонский (1696—1750), блестящий французский полководец, маршал Франции (с 1744 г.), генеральный маршал Франции (с 1747 г.).

²³ ...Он отличился на трех морских сражениях, которыми Нассау Зигер угостил капитана-пашу... — За участие в сражениях с турецким флотом под Очаковым, которыми руководил принц Нассау-Зиген, Р. де Дама получил от императрицы Екатерины II чин полковника и золотую шпагу с надписью «За храбрость».

И. Айзикова

Газетное объявление

(*Истинная повесть*)

(«Я ехал в О...»)

(С. 172)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 48. № 22. Ноябрь. С. 85—111 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Газетное объявление», подзаголовком: «Истинная повесть» и с указанием источника в конце: (Morgenblatt).

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 3 («Повести»). С. 59—92; Пвп 2. Ч. 2. С. 121—143 — с теми же заглавием и подзаголовком, без указания источника.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: между июлем и октябрём 1809 г.

Источник перевода: [Fischer K.] Das Intelligenzblatt [Листок объявлений] // Morgenblatt für gebildete Stände. 1809: № 142 (15 Juni). S. 566—567; № 143 (16 Juni). S. 570—571; № 144 (17 Juni). S. 574—576 — с подписью: К. Ф. См.: Eichstädt. S. 17.

Время создания перевода определяется промежутком между появлением оригинального текста в «Утреннем листке для образованного общества» (15—17 июня 1809 г.) и публикацией перевода в ноябрьском номере ВЕ. Учитывая возможность знакомства с немецким изданием не раньше чем через месяц после его появления и отправления перевода в журнал не позднее чем за месяц, можно предположительно датировать время создания повести «Газетное объявление» периодом между июлем и октябрём 1809 г.

Об авторе повести нет точных сведений. Как удалось установить Х. Эйхштедт, это был некий Фишер, но инициал «К.» (Карл) не позволяет его идентифицировать с профессором истории и статистики Христианом Августом Фишером (1771—1829), участвовавшим в этом издании, хотя и решительно отвергать такую возможность нельзя (Eichstädt. S. 17). Ср. примеч. к статье «Воспоминания об Ост-Индии».

Сравнение текстов подлинника и перевода позволяет сделать следующие выводы: в целом перевод полный (без пропусков и дополнений), адекватный оригиналу. Отступления от источника имеют частный характер. В начале выпущено указание на точную дату («Это было вечером 16 августа»), в конце вместо резюме: «Вот мой друг! Так я встретился со своей женой!» возникает вопрос: «Доволен ли ты моим романом?» Отсутствующий у К. Фишера подзаголовок «Истинная повесть» восполняет установку на подлинность, документальность повествования. Добавлены характерные для стиля Жуковского эпитеты « пленительный », « милый », « приятный », « благодетельный гений », « сладостный », хотя они соответствуют общей сентиментальной атмосфере сюжета. Изменено имя главного героя: вместо Morsen — Манштейн, что, видимо, подчеркивало немецкое происхождение героя и его нравственную стойкость (человек-камень).

Перевод Жуковского, воссоздающий историю счастливой семейной жизни, открывает ноябрьский номер ВЕ, на страницах которого последовательно развивается тема превратностей любви («О любви в больших обществах» — отрывок из романа В. С. Филимонова, отрывок из пасторальной драмы «Аминта» Т. Тассо — «Дафна и Сильвия» в переводе Н. Остолопова, послание «К Эльмине» («Эльмина, естли бы я был любим тобою...») Александра Волкова. Отзвуки разгорающейся

любви поэта к Маше Протасовой слышатся в сентябрьско-декабрьских номерах редактируемого Жуковским журнала.

¹ *привыкла к шумному свету* — ВЕ: привыкла единственно к шумному свету.

А. Янушкевич

Отставленный министр и нищий с деревянной ногою

(Повесть)

(«Я был первым министром...»)

(С. 182)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 48. № 23. Декабрь. С. 177—197 — в рубрике «Словесность. Проза», с подписью в конце: (С французского).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой половины ноября 1809 г.

Источник перевода: *Le Ministre disgracié, et l'homme a la jambe de bois. Imitation ou traduction très-libre de l'anglais de Goldsmith* [Опальный министр и мужчина с деревянной ногой. Подражание, или Очень вольный перевод с английского языка из Голдсмита] // *Nouvelle bibliothèque des romans*. Paris, 1805. Т. 16. P. 75—101. Атрибуция: Симанков. С. 115—116.

Перевод Жуковского сделан с французского перевода-посредника, являющегося переложением известного эссе О. Голдсмита «On the distresses of the poor; Exemplified in the life of the privat sentinel». Этот очерк был впервые опубликован в журнале «British Magazine» (1760) и с некоторыми изменениями вошел впоследствии в собрание писем «Гражданин мира» («Citizen of the World, Letter CXIX»).

В ноябрьском номере ВЕ за 1806 г. был помещен очерк «Истинная философия (Рассказ о стоицизме одного англичанина из Шропшира)», заимствованный, по словам издателя, из французского журнала (ВЕ. 1806. № 21. С. 32—42). Этот анонимно опубликованный очерк также восходит к указанному английскому эссе Голдсмита, которое неоднократно переводилось на французский язык (переводы публиковались, в частности, под следующими названиями: «Le vrai Philo-sophe», «L'Invalide», «Histoire d'un soldat invalide» и проч.). Согласно библиографии Ю. Д. Левина (*Левин Ю. Д.* Библиография ранних русских переводов произведений Оливера Голдсмита (1763—1830) // РЛ. 1994. № 2. С. 275—277), до 1809 г. очерк Голдсмита переводился на русский язык хотя бы однажды (см.: Пример твердости в несчастиях. Из Гольдсмита // УЗ. 1806. Кн. 4. С. 224—235). Учитывая сказанное, можно утверждать, что перевод Жуковского — это третье по счету переложение истории солдата-инвалида.

¹ ...в *Невгате*... — Имеется в виду Ньюгейтская долговая тюрьма в Лондоне (Newgate).

² ...на сражении при Фонтену... — сражение между французскими войсками, с одной стороны, и союзными силами англичан, голландцев и ганноверцев у деревни Фонтенуа в Бельгии в 1745 г., во время длительного военного конфликта (1740—1748), вызванного попыткой ряда европейских держав оспорить завещание австрийского императора Карла VI и расчленить значительные владения дома Габсбургов в Европе.

³ Капер — частное судно, имевшее разрешение своего правительства на ведение боевых действий против судов вражеских государств, а также судов нейтральных стран, перевозящих военную контрабанду.

И. Айзикова, В. Симанков

Эгоист

(Повесть принца де Линя)

(«Граф Бонваль и думал, и действовал, и жил для одного только себя...»)
(С. 191)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 48. № 24. Декабрь. С. 273—298 — в рубрике: «Словесность. Проза», с подписью в конце: В.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой половины декабря 1809 г.

Источник перевода: *M. le prince de Ligne. Le parfait égoïste. Conte moral ou immoral, comme on veut* [Законченный эгоист. Сказка моральная или аморальная (безнравственная), как хотите (как вам захочется)] // *M. le prince de Ligne. Oeuvres choisies*. Paris, 1809. P. 362—384.

Проблема соотношения личных и общественных интересов привлекала Жуковского на протяжении всей его жизни. Внимательный читатель французских просветителей, прежде всего Ж.-Ж. Руссо, Жуковский развивал просветительский взгляд на человека как существа естественного, чьи потребности определены природой, и вместе с тем человек, по Жуковскому, существо разумное и нравственное, что позволяет ему контролировать и ограничивать свою деятельность в пользу благополучия других во имя собственного благополучия. Теория «разумного эгоизма», положенная в основу «моральной или аморальной сказки» принца де Линя, и привлекает Жуковского к данному тексту в первую очередь. При этом он обращает особое внимание на противоречивость, вплоть до парадоксов, этой теории, что связано с морально-психологической сложностью человека, со сложностью нравственного выбора, данного ему от рождения.

Кроме того, сочинение принца де Линя поднимает ряд вопросов нравственного воспитания личности, семейных отношений. Причем прямое назидание здесь заменяется анализом мотивов поведения героя. Жуковский усиливает эту особенность, довольно часто выстраивая повествование не от 3-го лица, как в подлиннике, а от 1-го. Таким образом, читателю ВЕ предоставлялся еще один урок моральной прак-

тической философии. В контексте журнала переводная повесть «Эгоист» дополняется переводами из Энгеля, Гарве и др.

Перевод Жуковского весьма точен, за исключением некоторых моментов: отмеченные выше изменения в типе повествования, замена имени главного героя Труа-Этуаль (Trois-Etoiles) на Бонваль и пропуск фрагмента о мимолетном увлечении графини офицером и о реакции героя на это.

¹ ...похожий на Сократов... — Вероятно, имеется в виду скромность, неприхотливость Сократа.

И. Айзикова

1810 г.

Лютна, цветы и сон

(Старинная сказка)

(«Вы знаете, как много верили в старину предсказаниям...»)

(С. 202)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 49. № 1. Январь. С. 3—36 — в рубрике: «Словесность. Проза», с заглавием: «Лютна, цветы и сон. (Старинная сказка)», с подписью в конце: (С французского). В.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 3 («Повести»). С. 171—215. Пвп 2. Ч. 2. С. 203—232, с теми же заглавием и подзаголовком, без подписи.

Печатается по тексту Пвп 2.

Датируется: не позднее декабря 1809 г.

Источник перевода: L'Amour muet, et le song. Imité des contes populaires de Museus. Par Madame de Montolieu [Безмолвная любовь и сон. Подражание мадам де Монтолье популярным сказкам Музеуса] // Nouvelle bibliothèque des romans. Paris, 1805. Т. 9. P. 39—83.

Первый перевод Жуковского из сочинений госпожи де Монтолье. Вторым является повесть «Старый башмачник бедной хижины и восемь лудиров» (см. комментарий ниже в настоящем томе). Изабелла де Монтолье (1751—1832) написала несколько романов и повестей, основную же часть ее большого творческого наследия составляют переводы с английского и немецкого языков. «Безмолвная любовь и сон» — это свободное переложение сказки «Stumme Liebe», принадлежащей перу немецкого писателя И.-К.-А. Музеуса (1735—1787). До 1810 г. известность Музеуса в России была невелика (подробнее см.: *Листов В. С. Немецкие сказки Музеуса и творчество А. С. Пушкина // Пушкин и другие: Сб. статей. Новгород, 1997. С. 67—72).*

О сказке «Stumme Liebe» есть примечательные слова у В. Скотта. В статье «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана» (1827), в которой разбирается и английский перевод сказок

Музеуса, В. Скотт оставил следующее свое суждение: «Музеус (...) берет сюжет подлинной народной легенды, но перелицовывает его по своему вкусу и описывает персонажей по собственному усмотрению. (...) Музеус вытаскивает старые предания, словно вчерашнее холодное мясо из погребы, и своим мастерством да приправами придает им новый вкус для сегодняшнего обеда. Конечно, успех *réfacimento* следует приписать в данном случае не только основной фабуле, но и дополнениям искусного рассказчика. Например (...) народная сказка “Цирюльник-призрак” (именно такое название, *The Spectre Barber*, получила в английском переводе сказка Музеуса “*Stumme Liebe*”. — В. С.) и сама по себе не лишена оригинальности и выдумки, но особенную живость и увлекательность придает ей характер главного героя, добродушного, честного, трудолюбивого бременца, которого нужда до тех пор учит уму-разуму, пока он с помощью природного мужества и некоторой приобретенной мудрости не выпутывается постепенно из затруднений и не возвращает себе утраченного имущества» (В. Скотт. Собр. соч. Т. 20. М., Л., 1965. С. 617. Перевод А. Г. Левинтона).

Дополнительным доказательством тому, что Жуковский выполнил свой перевод с французского, а не с немецкого языка, служат многочисленные вольности, присутствующие в новелле Монтолье и, соответственно, отсутствующие у Музеуса. Жуковский почти вдвое сокращает французский оригинал, однако при этом следует отметить, что и французский оригинал есть сокращенное и вольное переложение немецкой сказки, которая довольно велика по объему. Так, например, во французском переводе отсутствуют отдельные действующие лица, включая прежде всего призрачного цирюльника, отчего повествовательное направление получило несколько иное развитие.

¹ *...царя Соломона...* — Имеется в виду третий еврейский царь Соломон, правитель объединённого Израильского царства в 965—928 до н. э., в период его наивысшего расцвета. Традиционно считается автором Книги Екклесиаста, «Песни песней Соломона», «Книги притчей Соломоновых», а также некоторых псалмов. Его принято считать исторической фигурой. Для позднейших периодов еврейской истории царствование Соломона представляло своего рода «золотой век». Царю приписывались все блага, и он считался олицетворением мудрости.

² *...Аргусовы глаза не могли бы никак сквозь него проникнуть.* — Аргус, прозванный Паноптес, то есть всевидящий — в древнегреческой мифологии многоглазый великан; в переносном смысле — неусыпный страж.

³ *...перед образом святого Венедикта, своего патрона...* — Имеется в виду Бенедикт Нурсийский (480—547), святой католической и православной церкви, родоначальник западного монашеского движения. Слово «патрон» здесь следует понимать как «покровитель».

В. Симанков

Эдуард Жаксон, Милли и Ж.-Ж. Руссо

(Истинное происшествие)

(«Было время, когда англичане играли самые благородные роли...»)

(С. 216)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 49. № 2. Январь. С. 81—106 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.-Ж. Руссо. (Истинное происшествие)», подписью в конце текста: Меркель. Примечание к сноске подписано: Ж.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 4 (раздел «Повести»). С. 3—200; Пвп 2. Ч. 2. С. 389—411. Тексты идентичны первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: конец 1809 г. — не позднее первой декады января 1810 г.

Источник перевода: *Merkel G. H. Rousseau, der Rächer der Unschuld* (Руссо, отомститель за несчастного) // *Merkel G. H. Erzählungen*. Berlin, 1800. Bd. 1. P. 69—124. Атрибуция: Eichstädt. S. 16.

В примечании к переводной повести «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет» читателю сообщается, что «еще не все сочинения Жан-Жака Руссо известны публике. Одна из лучших его приятельниц, миледи Говард имеет манускрипт, которого содержание, быть может, не менее самой “Элоизы” привлекательно. Список с этого манускрипта, найденный между бумагами известного графа д’Антрегю, находится теперь в руках господина Лаканала. Он заключает в себе рассуждение о Виландовом “Агатоне”, которого Жан-Жак Руссо читал в переводе; отказ Дидрота на предложение десяти тысяч ливров годового пенсiona от имени императрицы ЕКАТЕРИНЫ, и, наконец, следующие два “происшествия”. Мне удалось их слышать (не спрашивайте где), и сердце моё наполнилось такими сладкими, живыми чувствами, которые всегда производит в нем трогательный голос Ж.-Жака; я решился описать их просто, без всяких витийственных украшений и, если можно, точно так, как слышал. Читатель со временем будет иметь в руках и саму повесть Жан-Жака Руссо: тогда я первый забуду сии строки, написанные мною в минуту сладкого волнения души, произведенного магическим его даром». В примечании Жуковского поясняется, что одно из двух «происшествий» сообщается «читателю “Вестника” теперь, другое будет напечатано после» [10. 1808. № 2. С. 97]. Здесь имеются в виду «Путешествие Ж.-Ж. Руссо в Параклет» (см. комментарий выше в настоящем томе) и повесть «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.-Ж. Руссо».

А. А. Златопольская делает предположение о том, что рукописные копии обеих повестей, якобы обнаруженные в бумагах Луи-Александра де Лоне, графа д’Антрега (1753—1812) — подделка, принадлежащая самому графу, последователю «женевского гражданина», и что Меркель передает рассказы из биографии Руссо, во многом выдуманные д’Антрегом (*Златопольская А. А. Под маской «бедного Жан-Жака»*. А. М. Белосельский-Белозерский и апокрифические сочинения Ж.-Ж. Руссо в русской культуре // *Человек*. 2005. № 5).

Публикация ВЕ и ее републикации в Пвп 1 и 2 представляют собой достаточно точный перевод произведения Г. Х. Меркеля «Rousseau, der Rächer der

Unschuld», отнесенного самим автором в издании 1807—1808 гг. к жанру «анекдота», а переводчиком в примечании названный «отрывком». В русском варианте изменено название. Вместе с тем, перевод снабжен показательным подзаголовком, добавленным переводчиком: «(Истинное происшествие)» и примечанием к нему: «*Описанное самим Жан-Жаком Руссо в одном письме, которое никогда еще не было напечатано и которое сочинитель предлагаемого здесь отрывка читал в манускрипте*», с самого начала ориентирующий читателя на подлинность рассказываемого.

¹ ...имена *Пизистратов* и *Катилин*... — точнее *Писистрат* (600—527 до н. э.), афинский тиран с 560 г. до н. э. Проводил реформы в интересах демоса, государства, а не аристократии, что привело к бунту аристократов и большим беспорядкам в Афинах. Впервые ввел понятие тирании. *Катилина* (*Catiliha*) Луций Сергий (ок. 108 — 62 г. до н. э.), римский претор (лат. *praetor*, лицо, осуществляющее охрану общественного порядка), пытался захватить власть, привлекая недовольных обещанием кассации долгов. Заговор был раскрыт Цицероном, произнесшим против него свою знаменитую речь.

² ...наконец они в *Калькутте*. — Калькутта — город в Индии, морской порт в Бенгальском заливе, основан в 1690 г., в 1673—1911 гг. — центр английской колониальной администрации.

³ *Набоб* — титул правителей индийских провинций. В переносном смысле — богач, нажившийся в колониях Индии.

⁴ ..*Лорд Кляйв* — Имя персонажа принадлежит Жуковскому. В тексте Меркеля он фигурирует под именем *Лорд С***.

Н. Реморова

Путешествие Невинности на остров Цитеру

(«Есть остров — обитель счастья...»)

(С. 227)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 50. № 7. Апрель. С. 174—183 — в рубрике: «Словесность. Проза», с подписью в конце: С французского. В.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой половины марта 1810 г.

Источник перевода: *Voyage de l'Innocence à l'île de Cythère // Almanach des Prosateurs*. Paris, 1807. P. 236—245. Атрибуция: Симанков. С. 117.

Опровергая предположение П. А. Ефремова о том, что данный перевод может принадлежать перу А. Ф. Воейкова (см. С 8. Т. 6. С. 639), В. И. Симанков справедливо указывает на подпись, характерную для Жуковского-переводчика времени его редакторства в ВЕ, и на источник перевода, «Альманах сочинителей прозы» (1807), из которого Жуковский переводил многие тексты для своего журнала.

Аллегорическая зарисовка «Путешествие Невинности на остров Цитеру» обращена к одному из популярнейших в искусстве, и в литературе в частности,

сюжетов — путешествие на остров Цитеры (Киферы), один из главных культовых центров Афродиты (расположен в Эгейском море). Перевод вписывается в богатую традицию толкования этого сюжета, вставая в ряд таких, напр., сочинений, как «Езда в остров Любви» В. К. Тредиаковского (перевод романа П. Тальмана «Voyage de l'île d'amour», 1663), полотно А. Ватто «Отплытие на остров Цитеру», балет на музыку Ф. Гранье «Амур-корсар, или Отплытие с острова Цитеры», стихотворения К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина и позднее — «Путешествие на остров Цитеру» Ш. Бодлера, поэтический сборник Г. Иванова «Отплытие на остров Цитеру» и др.

В переводе Жуковского запечатлена картина, действующими лицами которой являются аллегорические фигуры: Амур, Невинность, Должность, Удовольствие, Случай, Судьба и т. д. Центральной проблемой оказывается свободный нравственный выбор главной героини между невинностью, знаком настоящей любви, и пороком. Своей проблематикой и поэтикой «Путешествие Невинности на остров Цитеру» в метатексте ВЕ 1807—1811 гг. перекликается с целым рядом повестей: «Три сестры. Видение Минваны», «Три пояса», «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.-Ж. Руссо» и др.

И. Айзикова

Разговор философа Дежерандо с Сен-Мартеном

(Истинный анекдот)

(«Вы никогда не ходите в театр?..»)

(С. 232)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 51. № 10. Май. С. 158—160 — в рубрике «Смесь», с подписью: В.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается: по первой публикации.

Датируется: конец 1809 — начало 1810 гг. (не позднее мая).

Источник перевода: *Degerando J. M. Une conversation avec Saint-Martin sur les spectacles* [Разговор с Сен-Мартеном о спектаклях] // *Archives Littéraires de l'Europe ou Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie*. Paris, 1804. V. 1. P. 337—340. Атрибуция: Симанков. С. 118.

Дежерандо Жозеф Мария (1772—1842) — французский историк философии, публицист и общественный деятель, педагог, популяризатор ланкастерской системы обучения, знакомый А. И. Тургенева и Жуковского. См. запись в дневнике поэта от 16 (28) мая 1827 г.: «Degerando. Лицо доброго философа. Несколько рассеян и задумчив. Привлекательная *bonhomie*» (ПССиП. Т. XIII. С. 262). О нем см. также: Жуковский. ПССиП. Т. XIII. С. 263, 267, 546; Т. XIV. С. 116, 365. В библиотеке поэта имеются сочинения Дежерандо с пометами Жуковского (Описание. № 2601). Второй участник разговора — Луи Клод Сен-Мартен (1743—1803), французский философ-мистик, полемизировавший с просветителями, оказавший влияние на немецкий романтизм и русское масонство. В библиотеке Жуковского хранится одно из сочинений Сен-Мартена (Описание, № 2668).

Подзаголовок указывает на связь текста «Разговора» с жанром философского анекдота. В центре внимания переводчика оказываются проблемы сущности искусства и практической морали.

«Разговор...» был также переведен В. В. Измайловым и напечатан под заглавием «Разговоры с философом о спектакле» (см.: Сводный каталог сериальных изданий России. СПб., 1997. Т. 1. С. 278).

И. Поплавская

О нравах арабов

(Отрывок из Шатобриана путешествия по Востоку)

(«Арабы, которых я видел в Иудее...»)

(С. 233)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 51. № 10. Май. С. 160—164 — в рубрике «Смесь», с подписью в конце: В.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады мая 1810 г.

Источник перевода: *Chateaubriand F.-R. Itinéraire de Paris à Jerusalem et de Jerusalem à Paris, en allant par la Grèce, et revenant par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne. V. 1—3. Paris, 1811. V. 2. P. 200—206.* Атрибуция: Eichstädt. S. 22. Издание, по которому делался перевод, не установлено.

Интерес к творчеству Шатобриана Жуковский пронес через всю жизнь (см. комментарий к статье «Прекрасная ночь в пустынях нового мира» из хрестоматии «Примеры слога» в ПССиП. Т. VIII). Для ВЕ Жуковским был сделан ряд переводов из Шатобриана. Большая часть из них свидетельствует о глубоком интересе русского писателя в конце 1800-х гг. к жанру путешествия и, в частности, к Шатобриану-очеркисту, автору «путешествий».

В «Itinéraire de Paris à Jerusalem...» привлекательным для Жуковского был сам материал, принципиально новый для русской литературы, что было специально подчеркнуто в подзаголовке перевода. Самим жанром был обусловлен упор на информативность и точность описаний, повествовательный слог. В этом плане весьма характерно, что Жуковский, удовлетворяя огромный читательский спрос на географический, этнографический материал, за которым стоял необыкновенно возросший интерес к реальной действительности, к информации, к конкретным образам и ситуациям, почти в каждом выпуске журнала помещает различные путешествия.

Примечателен в «Itinéraire de Paris à Jerusalem...» и тип повествования, организуемый точкой зрения странствующего поэта: конкретные описания погружены здесь в широкие и глубокие культурные контексты, что, безусловно, служит усилению эпического звучания текста. Жуковский сохраняет при переводе все эти контексты (библейский, античный, руссоистский и др.) и саму атмосферу их

взаимодействия, характеризующую прежде всего нарратора, субъективность его восприятия объективного мира. Личный взгляд на окружающее определяется уровнем культурного развития повествователя, внутренней свободой его чувств и мыслей. В 1810 г. в журнале «Для сердца и ума» были помещены переводы аналогичных фрагментов из «Путешествия» Шатобриана (в том числе и данного), выполненные И. Решетовым. Об их сравнении с переводами Жуковского см. в нашей статье «“Путешествие” среди прозаических переводов В. А. Жуковского в “Вестнике Европы”» (ПМиЖ 1988. Вып. 14. С. 43—63).

¹ ...в *Иудее* — Иудеей со времен римского владычества называлась самая южная часть Палестины, она граничила на севере с Самарией, на востоке доходила до Иордана, на юге соприкасалась с Аравией, на западе ее омывало Средиземное море.

² ...в *Варварии* — В первые века нашей эры жители Римской империи называли свою родину Романией. За ее пределами лежала, по их представлениям, обширная Барбария (Варвария) — мир «варварских» племен и народов (от др.-греч. βάρβαρος — «негреческий, иноземный»).

³ *шакалей* — Т. е. шакалов.

⁴ *Не дочери ли это Лавана или маданитян?* — Лаван-арамеец — сын Бетуэля, сына Нахора, брат Ревекки, жены Исаака, и отец Лии и Рахили, жён патриарха Иакова. Маданитяне — в Библии — полукочевой народ, совершавший грабительские набеги на землю Израильскую (Суд. 6:1). Обитали на Синайском полуострове и на северо-западе Аравии от Моава на севере до Красного моря на юге.

⁵ ...*веревкою из пальмовой коры* — Имеется в виду веревка из пальмового волокна, натурального материала, получаемого из волокон плодов масличной пальмы, скрепленных натуральным латексом.

⁶ ...*бандеролями* — Т. е. широкими лентами, украшенными вышивкой, бисером.

⁷ ...*которого изобразил тебе Иов* — См. «Книгу Иова», XXXIX, 19—25.

⁸ *шейк* — Т. е. «шейх» — здесь в значении «учитель, руководитель религиозной группы».

⁹ *Иудейские горы* — горы 800—900 м над уровнем моря, расположены на востоке Израиля, западнее Иерусалима.

¹⁰ ...*Измаэля* — Т. е. Измаила, сына Авраама от рабыни Агари (Быт. 16:3).

¹¹ ...*на путях Эвронских* — Т. е. хевронских, от названия крупнейшего города в южной части Западного берега реки Иордан Хеврона, который был центром борьбы за Израиль.

¹² ...*поколениями Измаиловых потомков* — 12 сыновей Измаила считаются родоначальниками 12-ти арабских племен.

И. Айзикова

Анекдоты из жизни Иосифа Гайдена

(«Иосиф Гайден родился в 1750 году...»)

(С. 235)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 51. № 11. Июнь. С. 169—201 — в разделе «Словесность. Проза», подписано: С французского, В.

В прижизненных изданиях отсутствует.
Печатается по тексту первой публикации.
Датируется: не позднее мая 1810 г.

Источник перевода: Notice sur Joseph Haydn, associé étranger de l'institut de France, membre de la classe des beaux-arts, adressée à cette classe par M. Framery, son correspondant [Заметка об Иосифе Гайдне, зарубежного партнера из Института Франции, члена класса изобразительных искусств, адресованная в этот класс М. Фремери, его корреспондентом] // L'Esprit des journaux. 1810. V. 3. P. 161—208. Атрибуция: Симанков. С. 118.

Франц Йозеф Гайдн (Joseph Haydn, 1732—1809), великий австрийский композитор, представитель венской школы, один из основателей классической инструментальной музыки и родоначальник современного оркестра. Им написаны симфонии, оперы, квартеты, оратории, в том числе прославившие его имя «Сотворение мира» (1798) и «Четыре времени года» (1801). Оратория «Сотворение мира» при жизни композитора имела огромный успех, в том числе и в России. Об этом свидетельствует публикация в ВЕ перевода, осуществленного Н. М. Карамзиным, статьи «Письмо парижских музыкантов к Гайдну» (ВЕ. 1802. Ч. I. № 2. С. 16—17). Статья написана в связи с вручением Гайдну — «великому творцу» золотой медали за ораторию «Творение мира», в которой, по словам автора статьи, «высокие мысли (...) еще превосходят все произведения великого Автора, которыми он доньше удивлял всю Европу». Характерно замечание Карамзина по поводу патетического тона письма: «пышного слога сего письма». Отметив, что «эта Оратория известна Московской публике», Карамзин добавляет: «Парижские журналисты смеялись над пышным слогом сего письма» (Там же. С. 16). В этом замечании получила выражение эстетическая установка редактора ВЕ изображать известных деятелей культуры и общества: с позиции выявления в них качеств личности рассказывать о их творчестве в процессе изложения фактов их жизни. Эта установка получила воплощение в переводе Н. М. Карамзина статьи о жизни Моцарта, имеющей жанровое определение «анекдот»: «Анекдоты из жизни славного Моцарта» (ВЕ. 1802. Ч. I. № 4. С. 37—48). Выбор материала и жанра статьи в переводе Жуковского был, таким образом, осуществлен в традиции, обозначенной в карамзинском журнале.

Внимание Жуковского к Гайдну во многом было продиктовано обращением поэта к творчеству Джеймса Томпсона, «Времена года» которого, в переводе Готфрида ван Свитена (1733—1803), легли в основу оратории Гайдна. К 1808 г. относится перевод Жуковским «Гимна» Томпсона («О Боге нам гласит времен круговращенье...»), который, по предположению В. И. Резанова, связан со стремлением Жуковского создать русский поэтический перевод для оратории Гайдна «Четыре времени года» (см.: Резанов. Вып. 2. С. 220)

Материалом для перевода послужила статья «Notice sur Joseph Haydn» (1810) французского музыканта и писателя Николая Этьена Фрамери (Framery, 1745—1810). Рассказ о великом австрийском композиторе включал в себя факты биографии Гайдна, подробное изложение обстоятельств его жизни, начиная с рождения до преклонных лет жизни. Внимание автора статьи и переводчика сосредоточено на превратностях судьбы композитора: рано проявившаяся музыкальная одарен-

ность, бедность и многолетняя зависимость от покровительствующего семейства Эстергази, кротость и незащищенность Гайдна от неблагоприятных обстоятельств и европейская слава, торжество музыкального гения и человеческих добродетелей. Особый интерес в статье представляет изображение личности Гайдна и творческой атмосферы его композиторской деятельности, а также воссоздание музыкальной европейской жизни (салоны в Вене, отношения в среде музыкантов, развитие нотной торговли в Англии и др.). В переводе текста в жанре «анекдота» Жуковским сохранена широкая эстетическая палитра соединения высокого с комическим, фактов исторически значимых с интимно-личностными.

В основном Жуковский-переводчик следует за подлинником, однако он опускает при переводе первый, вступительный абзац-обращение автора к читателям, несколько сокращает описание деревни, в которой родился Гайдн, профессиональную характеристику музыкального творчества Гайдна и некоторые др. места оригинала. Опущены также все примечания подлинника — о Спанглере, к словам *квартет* и *баритон*, а также обширное примечание, содержащее список музыкальных произведений Гайдна.

¹ ...записал его в хор певчих св. Стефана, кафедральной Венской церкви... — Собор Святого Стефана в Вене (нем. *Stephansdom*), католический собор, национальный символ Австрии и символ города Вены. Построен в XIII—XV вв.

² Лучшая из них каким-то случаем попала в руки графини Тун... — Графиня Мария Вильгельмина фон Тун — Гогенштейн (урожденная Ульфельд, 1744—1800) — страстная любительница музыки. В ее салоне собирались просвещенные и авторитетные люди Вены. Дядя графини Тун — Фердинанд Лобковиц — взял на себя заботу о музыкальном образовании сына одного из своих лесничих — будущего композитора Глюка. Свекор графини Тун, граф Иоганн Йозеф Тун, был другом и меценатом Вольфганга Моцарта. Йозеф Гайдн был педагогом трех дочерей Марии Вильгельмины. Графиня Тун познакомила Гайдна с венским светом и устроила его на службу капельмейстером к князю Эстергази.

³ ...она подарила ему Фуксово рассуждение... — Иоганн Йозеф Фукс (Johann Joseph Fux, 1660—1741) — знаменитый австрийский композитор и музыкальный теоретик эпохи барокко. Его фундаментальный труд «*Gradus ad Parnassum*» («Ступень к Парнаассу»), обобщавший и систематизировавший теорию контрапункта, вплоть до конца XIX в. сохранял значение важного музыкально-теоретического пособия.

⁴ ...познакомившие с ним принца Эстергази... — Эстергази — фамилия австро-венгерских магнатов, покровительствовавших Гайдну. В 1761 г. граф Пауль Антон Эстергази пригласил Гайдна дирижировать частной капеллой в Эйзенштадте. В 1766 г. Гайдн приступил к должности первого капельмейстера у князя Николая Эстергази (умер в 1790 г.).

⁵ ...Давид с своею арфой для Саула — Будущий царь и объединитель Израильско-Иудейского государства, Давид, младший сын Иессея, был оруженосцем и арфистом у царя Саула. Царь страдал меланхолией, которую Давид облегчал своей игрой.

⁶ ...симфония готова... — далее идет описание знаменитой симфонии № 45 («Прощальной симфонии», 1772) Гайдна.

⁷ ...он приказывает Плейелю, своему воспитаннику... — Плейль Игнац Йозеф (1757—1831) — ученик Гайдна, композитор, автор многочисленных симфонических и камерно-инструментальных произведений, в том числе «Гимна к свободе»

для хора и оркестра (1791). Во вторую половину жизни переселился в Париж, где стал музыкальным издателем и владельцем известной фортепьянной фабрики.

⁸ ...часто давали *Guilo Sabino*, большую *Оперу Сартия*... — Джузеппе Сарти (1729—1802), итальянский оперный композитор. С 1784 по 1802 г. служил придворным капельмейстером в Петербурге. «*Guilo Sabino*» — опера Дж. Сарти. Действие в опере относится к эпохе Веспасиана (I в.). Впервые была поставлена в *Theatro San Benedetto* в Венеции 3 января 1781 г.

⁹ ...*Армида*, лучшая из гайденовых опер... — «*Армида*» (1784) — опера Гайдна, написанная на сюжет одного из эпизодов поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». В Москве опера была поставлена в 1787 г. в крепостном театре графа Шереметева в Кусково.

¹⁰ ...наш капельмейстер, призываемый в Лондон... — Посещение Гайдном Англии было ознаменовано созданием двенадцати «Лондонских симфоний», триумфальным успехом его дирижерской деятельности, избранием Почетным членом Оксфордского университета.

¹¹ ...Император был Иосиф II... — Иосиф II (1741—1790) — король Германии (с 1764), император Священной Римской империи (с 1765), из рода Габсбургов, выдающийся государственный деятель, реформатор, яркий представитель эпохи просвещенного абсолютизма.

¹² ...некто Газман, человек без всякого таланта... — Гасман Флориан Леопольд (1729—1774), оперный и церковный композитор. Его учеником был знаменитый Антонио Сальери.

Э. Жилькова

Розы Мальзерба

(«Ламораньон Мальзерб, которого одно имя напоминает вам о добродетели...»)
(С. 250)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 51. № 12. Июнь. С. 251—261 — в рубрике: «Словесность. Проза», с заглавием: «Розы Мальзерба», с подписью в конце: С франц. В.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 3 («Повести»). С. 113—125; Пвп 2. Ч. 2. С. 161—169 — с тем же заглавием, без подписи.

Печатается по Пвп 2, текст идентичен первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады июня 1810 г.

Источник перевода: *Bouilly J. N. Les Roses de M. de Malesherbes* [Розы г. Мальзерба] // *Bouilly J. N. Contes à ma fille*: V. 1—2. Paris, 1810. V. 2. P. 1—19. Атрибуция: *Eichstädt*. S. 21.

Ж.-Н. Буйи (1763—1842) — довольно известный в свое время французский драматург и прозаик. Из драматургических произведений особым успехом пользовалась его комическая опера «Петр Великий», которая шла на сцене Итальянского театра в Париже во времена Великой французской революции и о которой Н. М. Карамзин, побывавший на спектакле, писал в своих «Письмах русского путешественника».

Что касается прозы Буйи, то наиболее популярным у русского читателя оказался его сборник «Сказки для моей дочери», в котором были продолжены традиции назидательной новеллы Мармонтеля и Жанлис и который был переведен на русский язык дважды — в 1815 г. и 1822 г. Простота сюжета, моральная проблематика, акцентирование идеальной стороны действительности — все это было привычно для русского читателя 1800-х гг. и являлось актуальным для зарождающейся романтической повести. Неслучайно произведения Буйи не сходили со страниц русских журналов вплоть до 1830-х гг.

Установкой на эстетическое впечатление, которое должно было заменить открытую дидактику, обусловлено значительное сокращение в переводе Жуковского прямых нравоучительных высказываний. В повести Буйи в связи с этим переводчиком опущены целые страницы (р. 1, 3, 4—5 и др.) Своеобразие позиции Жуковского особенно заметно при сравнении его перевода с другим, выполненным неизвестным переводчиком в 1815 г. Последний дословно воспроизводит все абстрактные, высокопарные назидания повествователя, имеющиеся в подлиннике, подобные, напр., следующему: «Изо всех благ, которые небо нам посылает, счастье быть любимым более всего прелестям жизни спешествует, будучи честнейшим и продолжительным благом... и т. д.» (Золотые часы цветущего возраста, посвященные для образования их вкуса, ума и сердца, или Повести г-на Бульи, писанные для его дочери. М., 1815. Ч. 2. С. 5—6). Опуская это и другие сходные с ним по содержанию и стилю места оригинала, Жуковский не только стремится придать повествованию динамизм, композиционную стройность, но и вносит серьезные коррективы в позицию автора-повествователя. Установка его на воспитание осуществляется в переводе в более убедительных, эмоциональных формах.

¹ Ламораньон Мальзерб — (1721—1794), французский государственный деятель, занимавший важные государственные посты при Людовике XV и Людовике XVI. При его содействии выходила знаменитая «Энциклопедия». Защищая перед Конвентом Людовика XVI и заявляя о своей преданности королю, вызвал в свой адрес обвинения в заговоре против республики и был казнен в 1794 г.

И. Айзикова

Образец связи в разговорах общества

(«Очень было забавно, — сказал мне однажды Б*...»)

(С. 254)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 51. № 12. Июнь. С. 261—274 — в рубрике «Словесность. Проза», с подписью в конце: С франц. А.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая половина 1810 г. (не позднее первой декады июня).

Источник перевода: C.L.C. C'est tout comme, ou les Transitions de Société [Это всё равно, или переходы в обществе] // L'Esprit des journaux. 1809. V. 6. P. 220—231. Симанков. С. 118.

Данный текст написан в традициях светского разговора, состоящего из ряда бытовых эпизодов-сцен (подробнее о речевом жанре разговора см. в настоящем издании комментарий к «Разговору Ума с Сердцем»). Ирония возникает здесь в результате семантического несоответствия рассказываемых историй поставленному герою N* вопросу, что структурно оформляется через композиционный прием сцепления, связанный с повторением одних и тех же элементов по типу анафоры.

По предположению В. И. Симанкова, за инициалами С. Л. С., вероятно, укрывается Шарль-Луи Каде-де-Гассикур (1769—1821), французский химик-фармацевт и беллетрист. Впоследствии очерк был переведен на немецкий язык и опубликован в немецком журнале «Der Biene», который издавал А. Коцебу в 1808—1810 гг., а затем он был включен в собрание сочинений Коцебу (*A. Von Kotzebue. Ausgewählte prosaische Sriften. Wien, 1843. Bd. 36. S. 231—239*).

¹ ... *рассказывать о чудесных подвигах франкониева оленя* — Франкония (страна франков), в настоящее время историческая область на юге Германии, входит в состав Баварии. Леса Франконии считались традиционным местом охоты на оленей и кабанов.

² ... *не были бы приняты в доме покойной Нинон Ланкло* — Нинон де Ланкло, полное имя Анна де л'Анкло (1615/1623—1705) — знаменитая французская куртизанка, писательница и хозяйка литературного салона.

³ *Герцогиня Форкалькье* — возможно, жена Луи Бранкаса де Форкалькье (1672—1750), французского придворного, маршала Франции.

⁴ *Рени* — город на западе Франции, в настоящее время административный центр региона Бретань.

⁵ *Титон (Тифон)* — в древнегреческой мифологии сын троянского царя Лаомедонта. По просьбе Эос Зевс даровал Титону долгую жизнь, благодаря чему он стал бессмертным старцем.

⁶ *Д'Аржансон Рене Луи* (1694—1757) — французский государственный деятель, министр иностранных дел при Людовике XV (1710—1774).

⁷ *Принц Ларренский* — возможно, Франц I Стефан (1708—1765), герцог Лотарингский (Лорренский), впоследствии император священной Римской империи германской нации, муж Марии Терезии, отец Марии Антуанетты, жены Людовика XVI (1754—1793).

⁸ *Санский архиепископ* — Анри Огюст Ломени де Бриен — архиепископ, бывший министр Людовика XVI (1754—1793). Сансе — город во Франции, расположенный к юго-востоку от Парижа.

⁹ *Нормандия* — историческая область на северо-западе Франции.

¹⁰ ... *в семинарии Св. Сульпиция* — учебное заведение для подготовки католических священников, основано в 1641 г. настоятелем церкви Св. Сульпиция в Париже аббатом Жаком Олье. Сульпиций II, еп. Буржа (VII в.) — католический святой.

И. Поплавская

Платон в Сицилии

(Первая прогулка)

(«Платон находился при дворе Дионисия...»)

(С. 260)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 52. № 13. Июль. С. 3—30 — в рубрике «Словесность. Проза», с подписью в конце: С французского. А.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая половина 1810 г.

Источник перевода: *Marmontel J. F. Les promenades de Platon en Sicile* [Прогулки Платона в Сицилии]. Ch. 2 // *Marmontel J. F. Oeuvres posthumes*. Paris, 1804—1806. V. 11. P. 148—176.

«Платон в Сицилии» представляет собой перевод одного из двух выбранных Жуковским для ВЕ фрагментов (второй — «Тимей-ваятель», комментарий см. далее в настоящем томе) повести «Les promenades de Platon en Sicile» Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799), французского поэта, прозаика, драматурга, критика, одного из авторов «Энциклопедии».

В восприятии творчества Мармонтеля в России можно выделить несколько этапов. Знакомство русского читателя с его произведениями происходит во второй половине XVIII в. В 1768 г. при участии Екатерины II на русский язык был переведен его знаменитый роман «Велисарий» («Belisaire», 1767), в котором главное внимание уделено вопросам государственного правления и обязанностям государей. В 1778 г. М. В. Сушковой (1752—1803) переведен другой известный роман писателя «Инки, или Разрушение Перуанской империи» («Les Incas, ou la destruction de l'empire du Perou», 1777). В период становления и развития русского сентиментализма к переводам его «Нравственных рассказов» («Contes moraux», 1761—1765) и «Новых нравственных рассказов» («Nouveaux contes moraux», 1790—1794) обращался Н. М. Карамзин. О своей встрече с автором «Велизария» в Париже Карамзин говорит в «Письмах русского путешественника» и «Письме в «Зритель» о русской литературе», отмечая в его «тоне и физиономии ту тонкость, то нежное выражение чувств, которые заставляют любить его “Нравственные сказки”» (*Карамзин Н. М. Письма русского путешественника*. Л., 1987. С. 255, 454). Подробнее о рецепции творчества Мармонтеля в России и переводах его произведений см.: *Шарыпкин Д. М. Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля // Пушкин. Исследования и материалы*. Т. VIII. Л., 1978. С. 107—138; *Кафанова О. Б. Карамзин — переводчик Мармонтеля // ПМИЖ*. Вып. 6. Томск, 1979. С. 157—176.

Интерес Жуковского к творчеству французского писателя-моралиста возникает в 1800-е гг. В это время поэт читает роман «Велисарий» и включает его вместе с «Поэтикой» Мармонтеля в «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений...» (1805), а также предполагает перевести стихотворное «Мармонтево послание» «О надежде пережить себя» («Discours sur l'esperance de se survivre»). Работая над хрестоматией «Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаиче-

ских писателей...» (1805—1806), Жуковский переводит четыре отрывка из романа Мармонтеля «Инки, или Разрушение Перуанской империи». В «Конспекте по истории литературы и критики» (1805—1811) нашло отражение чтение Жуковским «Элементов литературы» (1787) Мармонтеля. В разделе «Эпическая поэма» его имя упоминается в качестве авторитетного литературного критика эпохи Просвещения, автора прозаического переложения поэмы Марка Аннея Лукана (39—65) «Фарсалия» («Pharsale») и талантливого лирического поэта. Наконец, в ВЕ в 1810 г. были опубликованы две повести Мармонтеля, переведенные поэтом.

В библиотеке Жуковского находятся три издания произведений Мармонтеля на французском языке: *Marmontel J. F. Oeuvres completes*. V. 1—17. Paris, 1787—1788; *Oeuvres posthumes*. V. 1—11. Paris, 1804—1806; *Nouveaux contes moraux*. Hamburg, 1794 и одно на русском: *Карамзин Н. М. Новые Мармонтелевы повести*: В 2-х ч. 2-е изд. М., 1815. Почти все они содержат многочисленные пометы на полях и записи на переплетах и форзацах (Описание. № 1604—1606, 2533). О произведениях Мармонтеля из библиотеки поэта пишет и А. П. Елагина (Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной. 1813—1852. М., 2009. С. 160). Обращение Жуковского к творчеству французского писателя связано с процессом его самообразования и внутреннего совершенствования, что выразилось в интересе писателя к вопросам теории литературы и искусства, жанровой природы лирики, истории театра, а также в исключительном внимании к вопросам моральной философии.

Жанр «моральной сказки» Мармонтеля с ее небольшим объемом, сосредоточенностью на проблемах нравственной жизни обычного человека, вниманием к психологической мотивировке характеров, с художественно обоснованной дидактикой, с элементами анекдота и притчи вписывался в традиции формирующейся романтической прозы поэта. Поиски индивидуального прозаического стиля, включающего элементы психологического повествования, освоение жанра нравоописательной «прогулки», дальнейшее развитие теории и практики художественного перевода — все это в известной мере обусловлено у Жуковского его чтением и переводом произведений Мармонтеля. «Следы» этого чтения видны и в художественных переводах, и в статьях русского поэта, опубликованных на страницах ВЕ, среди них «О басне и баснях Крылова» (1809, № 9), «О критике» (1809, № 21), «Московские записки» (1809, № 21), «О сатире и сатирах Кантемира» (1810, № 3). Свообразными откликами на творчество Мармонтеля в ВЕ явились переводная повесть М. Т. Каченовского «Прогулка» (1807, № 7—9), впервые напечатанная в 11-м томе *Oeuvres posthumes*, романс А. Ф. Мерзлякова «Велизарий» (1808, № 14) и репродукция с картины французского художника Ф. П. С. Жерара (1770—1837) «Велизарий, несущий своего проводника, укушенного змеей» (1795) с соответствующим пояснением (1808, № 10. С. 183).

«Прогулки Платона в Сицилии» Мармонтеля представляют собой прозаический цикл, состоящий из семи частей. Для перевода русский поэт отбирает вторую и пятую части, первая из которых получила название «Платон в Сицилии», вторая — «Тимей-ваятель». «Платон в Сицилии» относится к типу нравственно-психологической повести. Здесь сюжетный мотив двух встреч древнегреческого философа с сыном и отцом получает провиденциальный смысл и воспринимается как выражение «благого намерения богов». Отражение внутренних состояний героев раскрывается в повести через обращение к поэтике умолчания, недосказанности, через диалоги и исповедь героев, через музыку, пение, лейтмотивные слова-образы,

эмоционально-оценочные эпитеты. Перевод в целом соответствует оригиналу, однако русский поэт в большей степени акцентирует внимание на внутренних переживаниях героев и мотивации их поведения, увеличивает число диалогов, сокращает ремарки и дидактические «общие места», использует короткие, динамичные предложения, что ведет к известной драматизации всей повести и преодолению рационализма просветительской «моральной сказки».

¹ ...находился при дворе Дионисия — Речь идет о Дионисии Младшем (397—337 гг. до н. э.), правившем в Сиракузах на Сицилии. По приглашению Дионисия Платон в 366 г. до н. э. прибыл в город Сиракузы в качестве наставника молодого правителя.

² ...на грозную Этну — Этна — действующий вулкан в Италии, расположенный на восточном побережье острова Сицилия.

³ ...к горе Гибле — Гора на юго-востоке Сицилии, близ города Мегара.

⁴ ...на берегу Симеты — Симета — река на восточном побережье Сицилии.

⁵ ...по дороге в Катанию — Катания — город-порт на восточном побережье Сицилии, у подножия вулкана Этна.

⁶ ...венчают богиню Цереру — Церера — древнеримская богиня, покровительница урожая и плодородия.

⁷ ...поклониться богу Фавну — Фавн — древнеримский бог гор, лугов, полей, пещер, стад, ниспосылающий плодородие полям, животным и людям.

И. Поплавская

О дружбе и друзьях

(«Человек не создан быть одиноким; душа его требует сообщества...»)

(С. 272)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 52. № 13. Июль. С. 31—34 — в рубрике «Словесность. Проза», с пометой в конце: С франц.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее июня 1810 г.

Источник перевода неизвестен.

Переводная статья «О дружбе и друзьях» — проявление постоянной заинтересованности Жуковского морально-психологической сложностью человеческой личности и часть программы «светского» нравственного воспитания, основанного на разборе мотивов и стимулов поведения личности в обществе. Прообраз этой программы дал И. Я. Энгель в своем «Светском философе», статьи из которого Жуковский в обилии переводил для ВЕ. Французская традиция морально-психологического анализа, так же широко представленная в журнале (переводы из Ж.-Ж. Руссо, Ж. Ф. Мармонтеля, С. Ф. Д. Жанлис, Ж. Б. А. Сюара и др.), дополняла немецкий философский компонент живыми социальными красками.

Эссе «О дружбе и друзьях» — часть своеобразного культа дружбы, который сложился в литературе позднего русского просвещения. В. И. Резанов в «Разысканиях о сочинениях В. А. Жуковского» (Вып. 2. С. 167—169) приводит несколько

десятков оригинальных (И. Ф. Богданович, Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев) и переводных (Цицерон, маркиза де Ламберт, Ривароль), в том числе анонимных, произведений, посвященных дружбе, где порой педантично перечислялись не только ее преимущества, но и многочисленные условия, этикет, обязанности друзей, как в «Речи к молодым детям о выборе друзей» из журнала Н. И. Новикова «Покоящийся трудолюбец». Эти идеи Жуковский уже в пору Дружеского литературного общества (речь «О дружбе») трансформирует в романтическом духе, провозглашая неперменной основой дружбы «сердечное влечение», духовное родство. Сентиментальная апология идиллической дружбы дополняется у него видением противоречивости человеческой природы, грозящей расколом мечты и действительности, реальной личности и созданного фантазией образа друга. Выходом является умение видеть в друге самоценную индивидуальность, разделяя при этом общие увлечения, мысли, идеалы.

В ВЕ эта концепция приобрела особую широту и многомерность, углубившись психологически («О дружбе» Ж. Б. А. Сюара/1808. № 6/), соединившись с осторожной критикой сентиментальных иллюзий («Первое движение» А. Сарразена; 1809. № 12), будучи спроецирована на разнообразные исторические условия («Дорсан и Люция» С. Ф. Д. Жанлис; 1810. № 23, 24). Миниатюра «О дружбе и друзьях» привлекла Жуковского, очевидно, концентрированностью любимых мотивов. Дружба в ней предстает как проявление общезначительности человеческой природы, отличаясь от сферы публичного общения, которой Жуковский также посвятил ряд статей («Писатель в обществе»; 1808. № 22, «Образец связи в разговорах общества»; 1810. № 12), своим интимным характером («присутствие постороннего как будто налагает узду на чувство»). В ее основе — стремление к глубинному пониманию, порыв к передаче «невыразимого» («удовольствие молчания»), реализуемый в спонтанном излиянии чувств («сердце передаст какое-нибудь слово устам»). Так в дружбе преодолевается ограниченность отдельной личности, открывающей для себя мир «другого». Тем самым стереотипные мотивы сентиментальной концепции дружбы, насыщенно представленные в данном эссе, приобретают у Жуковского новое, романтическое звучание.

В. Киселев

Мурад несчастный

(Турецкая сказка)

(«Известно, что один из покойных турецких султанов...»)

(С. 273)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 52. № 14. Июль. С. 81—124 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Мурад несчастный (Турецкая сказка)», с указанием источника в конце: Эджеворт.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 2 («Повести»). С. 109—164. Пвп 2. Т. 1. С. 293—330 — с тем же заглавием и подписью: (Из Эджеворт).

Печатается по Пвп 2; текст идентичен первой публикации.

Датируется: первая половина 1810 г. (не позднее первой декады июля).

Источник перевода: *Edgeworth M. Murad the Unlucky* [Мурад несчастный] // *Edgeworth M. Popular Tales. 3 v. London, 1804. V. 2. S. 199—280. Eichstädt. S. 13.*

Перевод повести М. Эджворт «Murad the Unlucky». По содержанию своей нравственно-философской проблематики повесть «Мурад несчастный» органично входит в состав произведений ВЕ. Вопрос о счастье и путях его достижения активно обсуждался на страницах журнала в разных жанрах и был связан с проблемой самоопределения человека в обществе. Развитие сюжета — цепь жизненных неудач Мурада и успехов его брата Саладина — подводит читателя к выводу о том, что «называемое счастьем в поступках людей приличнее называть осторожностью и благоразумием. Саладин должен быть прозван *счастливым и рассудительным*; а Мурад заслуживает более наименование *неосторожного, нежели несчастного*». Мораль повести вполне соотносится с рассуждением из переводной статьи Жуковского «О нравственной пользе поэзии»: «Счастье человека заключено в совершенстве его натуры, а натура его не иная что, как сумма тех сил, которыми одарил его Верховный создатель, и тот, кто возвышает в нем ту или другую силу, какая бы она впрочем ни была, тот без сомнения действует для его блага, ускоряет его стремление к совершенству» (ВЕ. 1809. № 3. С. 163). Морализация и нравописание, свойственные прозе М. Эджворт, в «Мураде несчастном» обрели черты притчи, включающей в себя сюжет увлекательных приключений в жанре восточных сказок. Обращение к ориентализму оказалось глубоко содержательным: концепция счастья как полного развития духовной и физической стороны жизни человека, гармонического сочетания духовной и практической деятельности, нашла адекватное выражение в жанре «турецкой сказки», что позволило соединить восточную мудрость с моральными принципами нравственной, практической философии англичан. При переводе Жуковский подчеркивает и уточняет восточный прототекст повести: им вводится жанровый подзаголовок «Турецкая сказка». Косвенное указание М. Эджворт на «арабские истории» (в оригинале упоминаются Багдадский калиф Гарун Аль Рашид с его привычкой, переодевшись, прохаживаться по ночному Багдаду и Хасан Аль Хабал (Hassan Alhabal), а также двое его друзей, отличающихся мнением о влиянии удачи на человеческие дела) Жуковский заменяет конкретным указанием на «Тысячу одну ночь»: «Ты верно читал в Тысяче одной ночи». Усиление сказочного колорита распространяется на стиль повести: Жуковский вводит элементы сказа («вздумано — сделано»), а также многочисленные вводные обороты, перифрастические конструкции, усложняющие синтаксис, придающие повествованию орнаментальность восточной вязи и дополнительную дидактическую значимость рассуждениям героев:

M. Edgeworth	Перевод:	ВЕ
«I am inclined, pleasure your majesty, replied the vizier, (...) to think that success in the world depends more upon prudence than upon what is called luck, or fortune»	Я полагаю, приятно вашему величеству думать, — ответил vizier, — что успех в мире зависит более от благоразумия, чем от того, что называется счастьем или успехом..	Мнение мое состоит в том, что благоразумие человеческое имеет великое влияние и на судьбу его, и что одному благоразумию, а не счастью, как говорится, обязаны мы бываем по большей части своими успехами.

В переводе курсивом выделены этически нагруженные слова — антонимы: «счастливей», «рассудительней» — «несчастней», «неосторожней».

Наряду с сохранением морально-этического пафоса, свойственного просветительской позиции М. Эджворт, в переводе отчетливо проявляются романтические пристрастия Жуковского, сказавшиеся в стремлении к психологизации описаний состояния героев и в романтическом нагнетании страшного и безобразного:

М. Эджворт

ВЕ

Однажды я спросил у матери, почему меня зовут Мурад несчастный. Она сказала мне, что имя дано мне вследствие отцовского сна; но она добавила, что, возможно, это будет забыто, если мне посчастливится в будущем. Моя няня, очень старая женщина, которая там была, с трясущейся головой, с глазами, которые я никогда не забуду, шептала моей матери достаточно громко, чтобы я слышал: «Несчастливым он был и несчастным будет. Тому, кто родился несчастным, не может помочь никто, никто, кроме пророка Магомета. Бессмысленно несчастному бороться с судьбой, лучше покориться сразу».

(...) моя мать твердила мне поминутно, что у меня собачья голова и змеиный хвост. Ты Мурад *несчастней*, сказала она мне однажды. В это время сидела подле нее какая-то старушка с глубокими морщинами на лбу и на щеках, с крючковатым носом, беззубая и косая; она прибавила страшным и хриповатым голосом, который еще и теперь отзывается у меня в ушах: *так! подлинно несчастней! был, есть и будешь...* Потом она сказала: кто родился под неприязненною звездой, тот будет и должен быть во всем несчастен; один только Магомет властен противиться своей судьбе, а умный человек покорствуется ей без прикословия.

В ВЕ и Пвп 1 текст повести был разбит, вслед за оригиналом, на небольшие по объему периоды. В Пвп 2 все пробелы между периодами были ликвидированы — и повесть предстала единым текстом.

¹ *он подражал в этом случае славному Гаруну Аль-Рашиду, Багдадскому калифу, о котором должны знать читатели тысячи одной ночи...* — Гарун-аль-Рашид — правитель Багдада из арабских сказок «Тысяча и одна ночь». В этих сказках Гарун-аль-Рашид описывается как мудрый, справедливый правитель и покровитель искусств. Стремясь узнать нужды беднейшего населения, он бродит, переодевшись купцом, по улицам Багдада, обычно сопровождаемый своим визирем Джафаром Бармакидом. Тысяча одна ночь — памятник средневековой арабской литературы, собрание рассказов, объединенных историей о царе Шахрияре и его жене по имени Шахразада.

² *...в сопровождении великого визиря...* — Визирь — титул высших государственных сановников на магометанском Востоке.

³ *Ты верно читал в Тысяче одной ночи сказку о кожевеннике и двух его друзьях, чьих мнения о судьбе человеческой были всегда противоположны* — Отсылка может быть отнесена к «Сказке об Абу Кире и Абу Сире».

⁴ *...приехал отец мой из Алеппо...* — Алеппо — главный город в северной части Сирии.

⁵ *...я перебирал свои цехины...* — Цехин — золотая монета, первоначально чеканившаяся в Венеции; в течение многих веков обращалась как ходкая платежная монета в мусульманском Востоке.

⁶ Я повалился на землю, поручив участь свою Магомеду — Магомед — основатель мусульманской религии.

⁷ ...караван богомольцев, возвращающихся из Мекки — Мекка — священный город магометян, расположен в западной Саудовской Аравии.

⁸ Караван шел в Каиро... — Каиро (Каир) — главный город Египта на правом берегу Нила, через Каир караваны богомольцов шли в Мекку.

⁹ ...в самый день нашего прибытия в Александрию... — Александрия — укрепленный торговый город Египта на берегу Средиземного моря.

¹⁰ ...объявили мне то же, что и купец Дамасский... — Дамаск — столица Сирии, «четвертый земной рай» (по словам Магомета), раз в месяц через Дамаск проходил торговый караван из Алеппо, раз в год собирался торговый караван в Мекку.

¹¹ На крышке находим изглаженную надпись: Смирна... — Смирна — важный торговый центр на западном берегу Малой Азии.

Э. Жиллякова

Привидение

(Истинное происшествие, недавно случившееся в Богемии)

(«Фольмар, молодой офицер австрийской милиции...»)

(С. 291)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 52. № 16. Август. С. 249—262 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Привидение (Истинное происшествие, недавно случившееся в Богемии)», с пометой в конце: С франц.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 2 («Повести»). С. 256—272; Пвп 2. Ч. 2. С. 67—78 — с тем же заглавием, без подписи.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее 10 августа 1810 г.

Источник перевода: Le Visionnaire à l'Épreuve [Провидец в испытании] // Journal de Paris. 1810. № 151. P. 1073—1075; № 152. P. 1080—1082.

Вопрос о вере в привидения, как пишет И. Виноцкий, «можно назвать в числе самых серьезных вопросов XIX столетия. (...) Повышенный интерес общества к привидениям объясняется тем, что эти пришельцы были осознаны как единственное зримое свидетельство существования загробной жизни, а возможная связь с ними — как фактическое доказательство контакта материального и духовного миров» (Виноцкий И. Нечто о привидениях Жуковского // Новое литературное обозрение. № 32. С. 147). Не случайно мотив встречи с привидением оказывается столь распространенным в отечественной словесности на протяжении всего XIX в. Один из родоначальников этой темы — В. А. Жуковский, получивший у своих современников репутацию «певца привидений». Он обратился к этому мотиву еще в 1808 г., в прозаическом переводе «Неизъяснимое происшествие» из «Эвфразии, или о жизни после смерти» К. М. Виланда, хотя следует признать, что привидениями оказались густо населены прежде всего элегии и баллады Жуковского. Мотив работал здесь на создание особой, соответственно, элегической или балладной атмосферы, что отмечается всеми учеными.

Выступающий в качестве кульминации сюжета повести «Привидение», с точки зрения ее объектной организации, мотив привидения выводит конфликт на онтологический и психологический уровень. В связи с этим в повести многое оказывается для Жуковского программным — и ее название, и добавленный им при переводе подзаголовок, и форма повествования. Все в переводе было направлено на утверждение того, что описанное происшествие не выдумка, а «истинное происшествие», случившееся в определенном месте и времени. Жуковский сохраняет точные детали и в описании главного героя повести (имя, возраст, социальное положение, место службы, причину, по которой он оказался в доме г. Ленца). Обострение конфликта, однако, начинается в связи с невероятным событием — явлением герою призрака, которое, в отличие от «Неизъяснимого происшествия», к концу повествования теряет свою таинственность, объясняется случайным стечением весьма реальных обстоятельств. Начавшись социально-конкретными мотивировками, конфликт и разрешается с их помощью. Мотив привидения даже обнажается в переводе как художественный прием прямо выраженной авторской иронией.

Позднее, в период «эстетических манифестов», мотив привидения у первого русского романтика все теснее связывается с идеей творчества как поэтического откровения, переживаемого при встрече с пришельцами из потустороннего мира. В этом плане характерны, напр., стихотворения 1823 г. «Привидение» и «19 марта 1823 года». Мистический опыт общения с ушедшими из жизни «милыми спутниками» не уйдет из творчества Жуковского и в дальнейшем. Мотив привидения окажется важнейшим в его поздней лирике (например, баллады «Доника», «Ленора» /перевод 1831 г./, такие стихотворения, как «Ночной смотр» 1836 г., второй перевод «Сельского кладбища» /1839 г./), а также в философско-религиозной и автобиографической прозе 1830—1840-х гг. («Очерки Швеции», «Две сцены из «Фауста», итоговая статья «Нечто о привидениях»). Представляется, что данная тема в творчестве Жуковского, все сильнее направляющая мысль его от познания материального мира, что было связано с мощным просветительским геном писателя, к непознаваемым человеческим разумом тайнам мира духовного, — это своеобразное зеркало, отражающее логику его художественного развития и одновременно это — зерно, скрывающее в себе историю некоторых важнейших тенденций последующей русской литературы, особенно прозы.

Текст в Пвп отличается от первой публикации только пунктуацией (восклицательные знаки и тире в ряде случаев заменены запятой или точкой).

¹ Богемия (чеш. *Čechy*, нем. *Böhmen*, от лат. *Boiohaemum*, *Bohemia*, *родина бойев*) — историческая область в Центральной Европе, на которой образовалось современное государство Чехия.

² ...на сражении при Ваграме — Ваграмская битва — генеральное сражение Австро-Французской войны 1809 г., произошедшее 5—6 июля 1809 г. в районе села Ваграм, возле острова Лобау на Дунае.

³ ...в богемском городке Камейке — Имеется в виду Kameik: Kamýk nad Vltavou (Камык-над-Влтавой).

⁴ С билетом — т. е. с запиской (калька с франц. *Le billet* — записка).

⁵ Молдава — Влтава (чеш. *Vltava*) или Молдава (от нем. *Moldau*) — река в Чехии.

И. Айзикова

**Несколько писем Иоанна Миллера, историка Швейцарии,
к Карлу Бонстеттену, другу его**
(«Шафгаузен, 14 Мая 1773...»)
(С. 297)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 52. № 16. Август. С. 263—285 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Несколько писем Иоанна Миллера, историка Швейцарии, к Карлу Бонстеттену, другу его», с подписью в конце: Ж.

В прижизненных изданиях: СОРС 1. Ч. 6; Пвп 1. Ч. 5 («Смесь»). С. 188—216; СОРС 2. Ч. 6; Пвп 2. Ч. 3. С. 187—207, с тем же заглавием, без подписи. Печатается по Пвп 2; текст идентичен первой публикации. Датируется: не позднее 10 августа 1810 г.

Источник перевода: J. Müller's Briefe an Carl Victor Bonstetten [Письма И. Мюллера к Карлу Виктору Бонштеттену] Tübingen, 1802. № 1, 6, 8, 9, 12, 17, 36, 44, 49, 51. Атрибуция: *Eichstädt*. S. 16.

В чтении и напряженном самообразовании Жуковского с самого начала 1810-х гг. исключительно большое место занимает история. Огромное влияние на исторические занятия Жуковского в это время оказал, кроме Н. М. Карамзина, А. И. Тургенев, обладавший прекрасной для своего времени исторической подготовкой. Среди многих исторических трудов, которые А. И. Тургенев посылает Жуковскому, особое место занимают сочинения Иоганна Мюллера (1752—1809) — немецкого историка и публициста. Восхищенный Карамзиным-историком и богатейшими источниками «Истории государства российского», Тургенев в письме к Жуковскому сравнивает Карамзина с Мюллером: «Открытия его (Карамзина. — Ф. К., И. А.) в русской истории, собрания его редких и совсем неизвестных рукописей удивительно... Какой порядок в расположении и как он умел воспользоваться летописями. В этом отношении его можно сравнить только с швейцаром Миллером» (АБТ. С. 390). Или в письме к брату: «Карамзин — один из лучших историков этого столетия, которое прославили Шлецеры, Миллеры, Робертсоны и Гиббоны. Он смело может быть наряду с ними» (АБТ. С. 396). Письма Мюллера к другу, швейцарскому просветителю Карлу Бонстеттену (1745—1832) настолько заинтересовали Жуковского своей нравственно-исторической проблематикой, что он переводит их (выборочно) и печатает в ВЕ. В августе-сентябре 1810 г. он с восторгом говорит Тургеневу о прочитанных им письмах Мюллера к Бонстеттену. Считаая, что они «должны быть катехизисом того человека, который хочет посвятить себя наукам», он пишет: «Я почти дочитал их, но увидел, что буду еще перечитывать и что никогда перечитывать не устану» (ПЖТ. С. 69). В другом письме еще более определенная оценка: «Прекрасная, единственная в своем роде книга» (ПЖТ. С. 68). Тургеневу же поэт пишет о своей работе над переводом писем: «Письма Миллеровы, и именно те, которые посвящены тебе в моих мыслях, переведены мною. Они переведены хорошо, ибо я перевел их с истинным удовольствием» (письмо от 12 сентября 1810 г., ПЖТ. С. 57—58).

В письмах Мюллера поднимается целый ряд нравственно-исторических, историко-политических проблем, которые были очень близки Жуковскому. Говоря

о преимущественно просветительском назначении XVIII в., о том, что XVIII в. «много оставить предстоит к будущему усовершенствованию человека», Мюллер отводит важнейшую нравственно-воспитательную и общественно-политическую роль истории, полагая, что «язык ее имеет силу непобедимую». Эта сила — в драгоценном опыте веков, который нужно умело использовать применительно к современным требованиям народа, государства. «Сколько опытов, которым надлежало бы просвещать государства насчет их истинных выгод, исцелить людей от пороков, предохранить народы от тиранства, а государей от деспотизма».

Одним из важнейших социально-политических вопросов, представленных историей и чрезвычайно актуальных, с точки зрения Мюллера, является вопрос о характере и системе правления, а в связи с этим — о формах государственного устройства. Мюллер не принимает радикального демократизма Ж.-Ж. Руссо, считает его мечты о равенстве и республиканском правлении утопичными. Он горячо сочувствует обоснованному Монтескье идеалу просвещенного монарха. Книгу Монтескье «Дух законов» Мюллер считает «прекрасной», основанной на глубоком и всестороннем исследовании «обширной науки правления». Жуковский, нужно полагать, не случайно перевел именно эти письма Мюллера. Стержневая идея их об истории и о программе Монтескье, о святости и неприкосновенности законов, являющихся общественной совестью народа, весьма импонировали Жуковскому. Еще в 1805 г. он принимает Монтескье за образец политического автора (Резанов. Вып. II. С. 251).

Дальнейшее свое развитие мысли Мюллера о Монтескье и просветительской миссии истории получают у Жуковского в 1820-е гг., в связи с его педагогической деятельностью.

Публикации в СОРС 1, 2 имеют некоторые разночтения с текстом из ВЕ и Пвп 1, 2, многие из них объясняются ошибками при наборе (напр.: Я давно желал — СОРС 1, 2: Я довольно желал; или: ...как тебе вздумается — СОРС 1, 2: ...какие тебе вздумается; друг Боннета, слава Германии — друг Боннета, Германии; ...который есть место — ...который есть и место; об его сердце, об его любезном характере — о его сердце, о его любезном характере; Тот самый Бог повелел нам... — Тот самый Бог, который соединил все кольца великой цепи творения, тот самый Бог повелел нам...; напечатанное в Записках Академии — начертанное в Записках Академии; не умеющий писать — не думающий писать; семена замечаний — многие семена замечаний; *Теории изящных искусств* — *Теорий изящных искусств*; как мало еще — как еще мало; ...важные мысли; но надлежит — ...важные мысли; надлежит). Кроме того, в СОРС 1, 2 опущено примечание на латинском языке. В ВЕ к заглавию сделано примечание: *Мы уверены, что эти письма, в которых изображается характер славного человека, буду приятны читателям «Вестника». Изд.*

¹ *Шафгаузен* — Столица одноименного кантона Швейцарии.

² Берн и Валлекр — имеются в виду кантоны Берн и Вале (Швейцария).

³ *Бессинген* — Т. е. Беттинген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Штадт.

⁴ *Галлер* — Галлер Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский естествоиспытатель, врач и поэт (писал на немецком языке). Автор классических книг «Элементы физиологии...» (в 8 т.; 1757—1766), трудов по анатомии, эмбриологии, ботанике, хирургии. Его перу принадлежат также описательно-дидактическая поэма «Альпы», философская поэма «О происхождении зла», стихотворения.

⁵ ...*историю моих швейцаров*. — Главный исторический труд — «Schweizergeschichte» (1786—1808; т. 1—5) — Мюллером доведен до 1489 г., написан в духе идей Просвещения.

⁶ ...*Юлий Кесарь в своих Комментариях*... — По-видимому, имеются в виду «Записки о галльской войне», «Записки о гражданских войнах» Гая Юлия Цезаря.

⁷ *Боннет* — Имеется в виду Шарль Бонне (1720—1793), швейцарский натуралист и философ, был лично знаком и с Мюллером, и с Бонстетеном.

⁸ ...*языком Оттфрида*... — Имеется в виду Отфрид Вейсенбургский, автор поэтической «евангельской гармонии», т. е. соединения всех четырех Евангелий в один связный рассказ, представляющий один из важнейших памятников древне-немецкого языка и литературы. Около 868 г. он окончил свою поэму «Liber Evangeliorum Domini gratia theodisce conscriptus», в 5 книгах. Отфрид предполагал своей поэмой противодействовать народной поэзии, которую называл «laicorum cantus obscenus», и дать род христианского художественного эпоса, для которого, по собственному его признанию, ему служили образцами Вергилий, Лукан, Овидий, Пруденций и др. Автор выставляет на вид свою ученость; охотно вводит мистические и моральные объяснения в рассказ, отличающийся преимущественно дидактическим характером. Он первый, под влиянием латинской поэзии гимнов, ввел, правда, не всегда точную, конечную рифму, вместо господствовавшей до тех пор аллитерации; ритм также был им строже урегулирован.

⁹ ...*с крутизны с. Готарда*. — Сен-Готард — перевал в Лепонтинских Альпах, в Швейцарии.

¹⁰ *Дух законов* — Т. е. «О духе законов» Ш. Л. де Монтескье.

¹¹ *Вольтер в своей истории* — Можно лишь предположить, что здесь имеется в виду автором — далекий ли от исторической науки юношеский труд «История Карла XII» или «Опыт о нравах и духе народов», в котором Вольтер попытался изобразить картину поступательного движения всего человечества, влияние племенных особенностей, нравственных и религиозных учений на прогресс, выставить конечной целью его всеобщее распространение просвещения и гуманности. Он с одинаковой силой отбросил в «Опыте о нравах...» господствовавшее в истории клерикальное объяснение хода мировых событий и одностороннее обозрение внешних фактов, войн и смены правителей и внес широкое изучение всей умственной деятельности, борьбы народов за их права, внес трезвый дух критики туда, где господствовало лишь освященное веками предание. Возможно, речь идет о комментариях Вольтера к знаменитой книге итальянского юриста и писателя Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Наконец, вполне вероятно, что здесь упоминается вольтеровская «История России при Петре», составленная на основании присылавшихся русским правительством материалов, на недостаточность которых и односторонний подбор писатель сам сетовал, или «История парижского парламента», или какое-нибудь сочинение из множества мелких его «Mélanges historiques».

¹² ...*Шмитову оптику* — Речь идет о сочинении по физиологической оптике, которую Смит разрабатывал вместе с Джюрином и Бюффоном.

¹³ ...*пред собранием двухсот Бернской республики* — Имеется в виду демократический орган правления (исполнительный) в кантоне Берн — Малый Совет, или Совет двухсот (введен в 1294 г.).

¹⁴ ...*Discorsi sopra la prima decade (в Рассуждениях о первой decade)*... — «Рассуждения на первую декаду» Тита Ливия.

¹⁵ ...в *Цицероновых речах против Катилины, в его книге de Legibus* — Имеются в виду трактат «О законах» и Катилинарии (лат. *Orationes In Catilinam, Речи против Катилины*) — четыре речи, произнесённые в ноябре и декабре 63 г. до н. э. в Римском сенате консулом Цицероном, при подавлении заговора Катилины. Сохранились в литературной обработке автора, выполненной им в 61—60 гг. до н. э. Речи являются важным источником по истории заговора Катилины, а также примечательным образцом ораторского искусства.

¹⁶ ...в *Полибие, в Фукидиде*... — Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) — древнегреческий историк. Фукидид (ок. 460 — 400 до н. э.) — древнегреческий историк. Его «История» (в 8-ми кн.), труд об истории Пелопонесской войны, считается вершиной античной историографии.

¹⁷ *Винкельман* — Винкельман И. И. (1717—1768) — немецкий историк античного искусства. Главное произведение — «История искусства древности» (1763) — первый образец научной истории искусства.

¹⁸ ...*более по Плутарху, нежели по Тациту*. — Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк. Главное сочинение «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян. Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк.

¹⁹ *летопись Альберта Бонстеттена* — Имеется в виду одно из исторических сочинений Альбрехта Бонстеттена (1445—1509).

²⁰ *Жизнь Кромвеля* — «Жизнь Кромвеля» — литература о Кромвеле чрезвычайно обширна, потому предположить, что именно имеет в виду автор, трудно. Подробный перечень сочинений о Кромвеле, в том числе и его жизнеописаний, см. в статье о Кромвеле в «*Dictionary of National Biography*» (т. XIII).

²¹ В *православной библиотеке соотечественников Кальвина* — Кальвин Жан (1509—1564), французский богослов, один из деятелей Реформации, основатель кальвинизма, гонения на протестантов вынудили Кальвина бежать в Швейцарию.

²² ...*сочинения Болинброка* — Генри С.-Джон Bolingbroke, лорд — знаменитый английский государственный деятель и писатель (1678—1751). Между сочинениями Болинброка, доставившими ему славу одного из величайших писателей Англии, особенной популярностью пользовалась его книга «О пользе и изучении истории» («*Letters on the study and use of history*», Лондон, 1738), где он первый поставил требование, чтобы история от созерцания мертвых перешла к созерцанию живых, осмелял пристрастие и идолопоклонство ученых ко всему, что носит на себе печать ветхости и педантизма, выставляя задачей историка борьбу за свободу, разоблачение лжи и лицемерия, на которых зиждется всякая иерархия. В другом своем сочинении, «*Dissertation on parties*», он доказывает, что истинная свобода нераздельна с борьбой и распрями; что в конституционных государствах неусыпный надзор народа и каждого отдельного лица за правительством и его мерами составляет существенную необходимость и что никакая форма правления, никакая организация не могут оградить от народных движений, и потому напрасно порицают за это свободные учреждения. Полное собрание сочинений Болинброка, изданное в 1754 г., было осуждено большим жюри в Вестминстере как опасное для религии, нравственности, государства и общественного спокойствия.

²³ ...*политической арифметики В. Петти, и Альгаротти* — Петти Вильям (1623—1687) — английский статистик и экономист; занимался торговлей, служил в коро-

левском флоте, изучал медицинские науки, читал физику и анатомию в Оксфорде; в 1658 г. состоял членом парламента. В экономических своих воззрениях является одним из представителей движения против теории меркантилизма. Главные его работы по политической экономии: «Quantulumcunque or a tract concerning money» (1682) и «Treatise of taxes and contributions» (1662). Здесь он один из первых выставляет положение, что ценность предметов определяется количеством затраченного на их производство труда. Деньги подлежат общему закону ценности; они ускоряют и облегчают обмен, но богатство страны не заключается в одних деньгах; их излишек так же вреден для народного богатства, как и недостаток. Петти оказал услуги развитию статистики или так называемой политической арифметики. В своих «Essays in political arithmetic» Петти делает статистические вычисления и сопоставления на основании собранных им цифр, напр., о населении земного шара в разные периоды времени, о периодах удвоении населения, о сравнительном богатстве разных стран и т. п. *Альгаротти Франческо*, граф (1712—1764) — итальянский писатель и ученый; в 1733 г. издал свое сочинение «Neutonianismo per le donne», которое послужило основанием его славы. Изучение французской литературы не только познакомило его с самыми знаменитыми людьми во Франции, но и отразилось на тоне и стиле его работ, что особенно заметно в его «Congresso di Citera».

²⁴ *император Адриан* — Имеется в виду римский император Адриан Публий Элий (76—138), который Италию разделил на четыре части, назначив в каждую императорского консула.

²⁵ ...изгоняю из круга занятий моих все идеальное. Мечтания для меня нестерпимы. — В письмах А. И. Тургеневу Жуковский неоднократно писал о том, что история не только «поясняет связи» и расширяет понятия, но и «предохраняет от излишней мечтательности, обращая ум на существенное». Или в письме от 7 ноября 1810 г. Жуковский пишет: «Если романтическая любовь может спасти душу от порчи, зато она уничтожает в ней и деятельность, привлекая ее к одному предмету, который удаляет ее от всех других» (ПЖТ. С. 76). Подобные мысли чрезвычайно важны для понимания самого процесса формирования метода познания жизни у Жуковского, а вместе с этим для понимания эволюции его мировоззрения. Это отлично осознавал А. И. Тургенев. Говоря о серьезном изучении Жуковским истории, он писал, что «если он (Жуковский. — И. А., Ф. К.) при своих талантах будет соединять глубокие познания, то со временем он перещегооляет всех наших литераторов, ибо и теперь уже во многом перещегоолял» (АБТ. Вып. II. С. 429). См. об этом подробнее: БЖ. Ч. I. С. 400—465.

²⁶ *Макиавелля* — Т. е. Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель, историк, военный теоретик.

²⁷ ...я занимался бы словесностью по любви к ней самой: я видел бы в ней... одушевление жизни общественной... — Ср. с тем, что писал Жуковский А. И. Тургеневу 7 ноября 1810 г.: «Авторство почитаю службою отечеству, в которой надобно быть или отличным, или презренным: промежутка нет» (ПЖТ. С. 76).

²⁸ ...обольщен Жан-Жаком. — Т. е. Ж.-Ж. Руссо. Жуковский вполне разделяет позицию автора письма, не принимающего политического радикализма Руссо и демократических форм правления, считая, что они не достигают общественного равенства. См. об этом подробнее: *Канунова Ф. З.* Творчество Ж.-Ж. Руссо в восприятии Жуковского. «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (БЖ. II. С. 250—280).

²⁹ *Со времен Плиния* — Вероятно имеется в виду Плиний Старший (23 или 24—79), римский писатель, ученый.

³⁰ *Со времен Эмпедокла* — Имеется в виду древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель Эмпедокл из Агригента, живший в 490—430 до н. э.

³¹ *Лейбниц* — Лейбниц Г. В. (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед.

³² *Марк Туллий* — Цицерон Марк Туллий (106 до н. э. — 7.12.43 до н. э.), древнеримский политический деятель, оратор, писатель.

³³ *...Нихольса...* — Нортон Николас (1742—1809), друг Бонстеттена, Мюллера, Т. Грея, был хорошо осведомлен в истории, древней и современной литературе.

³⁴ *Сент-Леже презирает душевно твоих любимцев римлян.* — Вероятно, имеется в виду Иоанн Леже (1615—1684) — протестантский пастор, написал «*Histoire générale de l'église vaudoises*» (1669), «*Apologie de l'église du Piémont*» и «увещание» (remonstrance) к своим единоверцам.

³⁵ *Сидней* — Скорее всего, имеется в виду Сидней Альджернон (1622—1683) — английский политический деятель; когда вспыхнул раздор между Карлом I и парламентом, примкнул к последнему; служил в парламентской армии. Входил в состав суда над Карлом I, но не явился в заседание в день решения дела и не подписал приговора.

³⁶ *Жанту* — Имеется в виду Genthod — коммуна в кантоне Женева.

³⁷ *Рассматривания* — Вероятно, имеются в виду «*Considérations sur les corps organisés*» (2 тома; Женева, 1762), где Ш. Бонне исследовал теории зарождения органических и неорганических тел и принял теорию преформации зародыша.

³⁸ *Сципионов сон* — «Сон Сципиона» Амвросия Феодосия Макробия (V век н. э.) — древнеримского писателя, филолога, философа, служит своеобразным комментарием к эпизоду, изложенному в шестой книге трактата Цицерона «О государстве» (лат. *De re publica*): римский полководец Сципион Африканский во сне путешествует по просторам космоса, посещает иные миры и видит будущее. Макробий интерпретирует сон Сципиона в духе неоплатонической философии и в связи с ним рассуждает о гармонии космоса, о Мировой душе, магическом значении чисел, пророчествах, толковании сновидений и т. п.

³⁹ *Колоньи* — Район в Женеве.

⁴⁰ *...Швейцарского Союза* — В 1291 г. лесные кантоны Швиц, Ури и Унтервальден заключили союз, чтобы отстоять свою независимость в борьбе с австрийским игом.

⁴¹ *...Габсбургского дома* — Имеется в виду династия Габсбургов, правившая в Австрии. Габсбурги были императорами Священной Римской империи, а также королями Испании.

⁴² *...моих трех швейцарцев...* — Можно предположить, что здесь имеются в виду Адольф Нассауский, который в 1307 г. подтвердил независимость Швица и Ури от Габсбургов особой грамотой вольности, Генрих VII Люксембургский, который в 1309 г. подтвердил её вторично, дав, сверх того, грамоту вольности и унтервальденцам, и Людвиг Баварский, который в начале 1316 г. грамотами на имя трёх земель подтвердил вольные грамоты своих предшественников.

⁴³ *...Монтескьё в своих Рассуждениях о величии и упадке Римлян* — Труд Монтескье «*Размышления о причинах величия и падения римлян*» (1734).

⁴⁴ *Войны с Австриею...* — Имеется в виду война между Австрией и швейцарскими кантонами, объединявшимися в ходе войны в союз, которая длилась (с перерывами) на протяжении 1245—1389 г.

⁴⁵ *Боденовых сочинений: De methodo Historiae u de Republicâ.* — Ж. Боден — знаменитый французский публицист, политический мыслитель, теоретик естественного права, юрист (1530—1596). Выступал горячим защитником свободы вероисповедания, чем навлек на себя массу гонений. Как писатель, Боден должен быть признан, наряду с Макиавелли, творцом государственного права: в своем главном сочинении «De republicâ» (Париж, 1557), им же самим переведенном на латинский язык (1586), он развивает теорию абсолютной монархии, умеряемой только совещательным парламентом или сенатом. Власть государя никем не может быть ограничена, и его повеления, хотя бы и незаконные, должны быть исполнены безусловно. Ему можно делать только представления, но свергнуть его нельзя, как бы он ни был жесток. Своего государя Боден окружает целой армией чиновников, простых и безмолвных исполнителей его воли. Вместе с тем, чтоб государь мог узнавать о нуждах народа, Боден рекомендует земские собрания и созыв государственных чинов, которые должны быть образованы по сословиям. Интересно, что Боден отнимает у своего государя право облагать народ податями без согласия чинов.

⁴⁶ *Боннет печатает свои новые замечания о насекомых...* — Имеется в виду «Трактат о насекомых» (1745), в котором Ш. Бонне описал членистоногих, полипов и червей, сообщил новые данные о жизни и инстинктах насекомых.

⁴⁷ *Сульцер* — Зульцер И. Г. (1720—1779), немецкий эстетик и педагог.

⁴⁸ *Бодмеру* — Бодмер И. Я. (1698—1783) — швейцарский критик и поэт.

⁴⁹ *...рассуждение Сульцерово, напечатанное в Записках Академии* — И. Г. Зульцер был профессором математики в дворянской академии в Берлине.

⁵⁰ *...Теории изящных искусств* — Во «Всеобщей теории изящных искусств» автор изложил в алфавитном порядке основные понятия эстетики и отдельных видов искусств; подчёркивал значение вкуса и чувства в воздействии искусства на человека.

⁵¹ *Блэкстон* — Вероятно, имеется в виду В. Блэкстон (1723—1780) — английский юрист. С 1738 г. изучал в Оксфорде юриспруденцию, логику и математику. В 1750 г. удостоился степени доктора прав и открыл в 1753 г. в Оксфорде ряд чтений, посвященных английской конституции и законодательству, которые имели большой успех. В 1759 г. с большим успехом занялся адвокатурой и, как большинство выдающихся английских адвокатов, посвятил себя политике. В 1770 г. Блэкстон занял пост судьи при королевском суде of Common Pleas. Из его оксфордских чтений составились классические «Commentaries on the Laws of England» (4 т., Оксфорд, 1765—1768), в которых автор хотел дать своим соотечественникам — не юристам — руководство в их общественной деятельности, но которые сделались величайшим авторитетом во всех конституционных вопросах. Уже при жизни Блэкстона вышло 8 изданий этой книги.

Ф. Канунова, И. Айзикова

Тимей-ваятель

(*Вторая Платонова прогулка*)

(«Неподалеку от города, получившего имя свое...»)

(С. 307)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 53. № 17. Сентябрь. С. 3—18 — в рубрике «Словесность. Проза», с подписью в конце: С франц. В.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: первая половина 1810 г.

Источник перевода: Marmontel J. F. *Les promenades de Platon en Sicilie* [Прогулки Платона в Сицилии] Ch. 5 // Marmontel J. F. *Oeuvres posthumes*. Paris, 1804—1806. V. 11. P. 214—231.

Повесть «Тимей-ваятель» соответствует пятой части «Прогулок Платона в Сицилии» (см. комментарий к переводу «Платон в Сицилии» в настоящем томе). Особенность ее в том, что в ней нравственно-психологическая проблематика, переданная, главным образом, через диалоги и рассказ Тимея о себе, соединяется с эстетической, с элементами философии жизнестроительства, связанной с соответствием внутреннего облика художника и его творений.

В целом следуя за первоисточником, Жуковский в переводе изменяет имена героев. В оригинале судья носит имя Тимей, поэт же называет его Филоклесом, именем наставника царя Идомея из «Приключений Телемака» Фенелона. Имя же ваятеля в оригинале Поликлес. В переводе Жуковский отказывается и от завершающего повесть разговора Платона с Дионисием, заменяя его афористической морализаторской концовкой. На выбор имен главных героев повести Мармонтеля и Жуковского, несомненно, оказало влияние название известного философского трактата Платона «Тимей», написанного в форме диалога и посвященного изложению космологии, физики и биологии, а также содержащего сведения об Атлантиде. Одними из участников этого диалога становятся Сократ, астроном и пифагореец Тимей.

¹ ...получившего имя свое от реки Гелор — река и город, расположенные на восточном берегу Сицилии возле Сиракуз.

² ...отечество Фидиасов, Лизиппов, Праксителей — Фидий (ок. 490 г. до н. э. — ок. 430 г. до н. э.) — древнегреческий скульптор и архитектор; Лисипп (ок. 390 г. до н. э. — ок. 300 г. до н. э.) — древнегреческий скульптор; Пракситель — древнегреческий скульптор IV века до н. э.

И. Поплавская

Путешествие Шатобриана в Грецию и Палестину

(«Осматривая Грецию, Палестину, Египет и Варварию...»)

(С. 313)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 53. № 17. Сентябрь. С. 18—47 — в рубрике: «Словесность. Проза», с пометой в конце: С французского. Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 10 августа 1810 г.

Источник перевода: *Chateaubriand F.-R. Itinéraire de Paris à Jerusalem et de Jerusalem à Paris, en allant par la Grèce, et revenant par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne*. V. 2. Атрибуция: Eichstädt. S. 22.

Датировку перевода позволяет уточнить письмо М. Т. Каченовского Жуковскому от 10 авг. 1810 г., в котором он пишет: «До моего прибытия будем набирать Вашу "Платонову прогулку" (имеется в виду «Тимей ваятель (Вторая Платонова прогулка)». — И. А.) и Шатобрианово «Путешествие» (ПД. 28075/СС 1 б. 115. Л. 25).

Еще один фрагмент, выбранный Жуковским для перевода из «Путешествия...» Шатобриана (см. комментарий к переводу «О нравах арабов (Отрывок из Шатобрианова путешествия по Востоку)»), мог представлять интерес для русского читателя и для самого переводчика как материалом, так и типом повествования. В центре текста — Палестина, куда в XIII в. до н. э. вторглись еврейские племена, сплотившиеся вокруг культа Яхве и бежавшие, по ветхозаветному преданию, от египетского фараона, и Иерусалим, религиозный центр христиан, иудеев и мусульман. Повествование в переводе, как и в подлиннике, ведется от лица, описывающего «чужое» пространство, отделенное от него еще и временной дистанцией, что мотивирует наличие множества деталей быта, нравов, обычаев, культурных традиций. Иерусалим, Палестина предстают увиденными глазами европейца начала XIX в., в связи с чем перевод, как и подлинник, насыщается огромным эмпирическим материалом. Он прошел по местам, связанным с «величайшим из всех происшествий мира, происшествием, изменившим лицо земного круга (...) — пришествием Мессии». Увидел путешественник и памятники, относящиеся ко времени завоевания Палестины крестоносцами. Его взгляд отмечает следы арабских и турецких завоевателей. Все это поражает повествователя тесным переплетением в палестинском мире разных национальных культурных традиций, при видимой враждебности турков и арабов к христианам, и неизменно оживляет в его глазах «славную древность». По его собственному признанию, «Иудея — единственная страна в свете, в которой для путешественника-христианина воспоминания о происшествиях мира соединяются с великими воспоминаниями о делах Неба». И Палестина, и Иерусалим — в представлении Шатобриана и точно переводящего фрагменты из его «Itinéraire...» Жуковского — это, безусловно, образы-мифы, древнейшие культурные архетипы, при всей конкретности их описаний.

Отличительной особенностью путешественника-повествователя является удивительная подвижность «взгляда», проникающего сквозь видимые и невидимые границы. Он являет способность пребывать то в мире физическом, то в мире духовном. Он описывает окружающий его мир, размышляя при этом и об общем, вечном, и о себе. Жуковский, таким образом, вслед за Шатобрианом, по сути, синтезирует в своем переводе те жанрообразующие принципы путешествия, которые в предшествующие периоды тяготели к обособленности, определяя специфику «просветительского» (описательного) и «сентиментального» (эмоционально-психологического) путешествия.

Повествование организуется, по крайней мере, двумя моментами, исходящими от образа нарратора. Они, надо думать, и привлекают Жуковского-переводчика в «Путешествии» Шатобриана. Во-первых, это мысль об изначальной связи культуры древних евреев с другими ближневосточными древними цивилизациями, идея исторического родства трех важнейших мировых религий. Во-вторых, это сохранившийся на Ближнем Востоке, в Палестине в первую очередь, ритм исторического развития, нашедший свое отражение в Библии и тонко уловленный французским писателем-романтиком в самой атмосфере Ближнего Востока и переданный им в

своем «Путешествии». Время в переведенном Жуковским отрывке — открытое, все его отрезки — из прошлого, настоящего и будущего — взаимосвязаны, и более того, получают полный смысл лишь в этой взаимосвязанности.

Эпический по форме, текст, переведенный из Шатобриана, оказывается одновременно лиро-биографическим. Цель «путешествия» обозначена автором и переводчиком вполне ясно: самостроение как условие дальнейшего творческого развития. В свою очередь творчество является мощным стимулом к самосозиданию. Здесь Шатобриан чрезвычайно близок позиции Карамзина и его «русского путешественника», чем во многом, в свою очередь, объясняется столь пристальное внимание Жуковского к «Путешествию» Шатобриана.

¹ *Несколько лет уже занимаясь сочинением...* — В сноске указывается, что речь идет о «Мучениках, или Торжестве христианства» (1809), где развивались идеи «Гения христианства». Для написания романа Шатобриан совершил путешествие по Греции и Ближнему Востоку.

² *...в Триесте...* — Город в Италии.

³ *...Скарию (Корфу) и Бутротум...* — Корфу, Керкира (греч. Κέρκυρα), или Коркира (лат. *Corsica*) — греческий остров, самый северный среди Ионических островов. Бутротум — поселение Бутротон, основанное греками в VI в. до н. э., как колония Коринфа и Керкиры. Расположено на берегу одноименного озера, напротив острова Керкира. Во времена Римской империи — город Бутротум.

⁴ *...Лаерциев сад, хижину Евмея...* — Имеется в виду сад, где бывал Диоген Лаэртский, позднеантичный историк философии (возможно, речь идет о философской школе Платона, устроенной в приобретенных им садах Академа в Афинах). О личности и биографии Диогена Лаэртского не сохранилось никаких данных (включая годы жизни), в связи с чем не исключается, что это — не реальное имя, а псевдоним, заимствованный из гомеровского эпоса: греч. διογενής (рождённый от Зевса), и др.-греч. Λῆρτιάδης (сын Лаэрта) — эпитеты Одиссея. Евмей, Эвмей (Εὐμειος) — в греческой мифологии раб Одиссея, который сохранил верность старому хозяину, Пенелопе и Телемаху. С его помощью Одиссей победил женихов, вернувшись домой. В хижине Евмея в облике девушки является Одиссею Афина (XVI), у этой хижины умер от радости встречи с хозяином пес Одиссея Аргос (XVII).

⁵ *...островов Занта и Кефалонии...* — Закинф (Занте) и Кефалония входят в состав Ионических островов.

⁶ *горы Елиды* — Элида (Elis — «низменность»), западная область Пелопоннеса.

⁷ *...перед Модоном, древнюю Мофоною, неподалеку от Пилоса...* — Модон — (Modon, Methone) — город на юго-западном берегу Пелопоннеса, на месте древнего Метоне, или Мотоне. Пилос — древний город на побережье Мессении (Пелопоннес). Поселение существовало здесь на рубеже 3—2-го тыс. до н. э. В XVI—XIII вв. до н. э. — резиденция местных ахейских правителей.

⁸ *...выражении господина Боналия: «Турки стоят лагерем в Европе»* — По всей вероятности, имеется в виду Луи Габриэль Бональд (Bonald; 1753—1840), французский политик и публицист. Известна более поздняя публикация в ВЕ отрывка из его сочинения «О Турции» (1821. Ч. 120. № 19. Октябрь. С. 210—218).

⁹ *...в Корону, находящуюся при заливе Мессинском...* — Имеются в виду залив Сароникос (Саронический залив) — залив Эгейского моря, в Греции, отделяет Аттику от Пелопоннеса; и Мессинский залив — юго-западная часть полуострова Пелопоннес.

¹⁰ ...по реке Памизе... — Памиза (Памиз) — самая широкая река Пелопоннеса.

¹¹ ...Мегалополис, создание Эпаминонда и отчизну Филопомена... — Древнегреческий город Мегалополь был основан в 371 до н. э. при активном участии фивского полководца Эпаминонда (418—362 до н. э.) в результате слияния более 35 поселений Аркадии. Филопомен, знаменитый ахейский полководец, родился около 253 г. до н. э. в Мегалополе.

¹² ...у подошвы Менала... — Менал — цепь гор в Аркадии, между Мегалополем и Тегеей.

¹³ ...видел Спарту, Тайгет и долину Лаконии... — Спарта (Лакедемон), столица Лаконии, находится в долине реки Эврот, между горными хребтами Тайгет и Парнон.

¹⁴ ...по горам Геранийским... — Отделены от Коринфа перешейком.

¹⁵ туфецкий ага — Ага — землевладелец.

¹⁶ ...Мегафу и Элевзис... — Мегара — город в Греции, один из наиболее значительных полисов архаической Греции; Элевзис, кроме значения священного места, был важен и как стратегический пункт: здесь разветвлялись дороги из Афин в Пелопоннес и в северную Грецию. Ныне — город-курорт (юго-восточная область Средней Греции).

¹⁷ ...у мыса Суннума, чтобы плыть к острову Цея. — Мыс Суннум известен тем, что на нем ещё и теперь высятся развалины храма Афины. Цея — т. е. Кея (устар. Кеос) — остров в Греции, в южной части Эгейского моря.

¹⁸ Бахилид — Бакхилид (Вакхилид) (годы рождения и смерти неизвестны), греческий поэт 5 в. до н. э. Родился на о. Кеос.

¹⁹ Цеосский флер — Т. е. флер, прозрачная, редкая, обычно шелковая ткань, которую изготавливали на о. Кея.

²⁰ ...в Тинос, из Тиноса в Хиос, из Хиоса в Смирну... — Тинос — один из островов греческого архипелага, расположен в центральной части бассейна Эгейского моря; Хиос — остров в Эгейском море; Смирна — античный город, один из старейших древнегреческих городов в Малой Азии. Сегодня развалины города расположены на территории турецкого города Измир.

²¹ ...до Пергама, где видел развалины Эвменовых и Атталовых чертогов; но тщетно искал Галлиенова гроба... — Пергам — античный город на побережье Малой Азии, бывший центр влиятельного государства династии Атталидов. Основан в XII в. до н. э. выходцами из материковой Греции. Евмен и Аттал — имена нескольких царей пергамских. Публий Лициний Эгнатий Галлиен — римский император с августа 253 г. по март 268 г. Был смертельно ранен у Милана.

²² горы Иды — Ида — высочайшая гора о. Крит.

²³ ...в Яффу... — Яффа — один из главных портов древнего Израиля.

²⁴ «Иисус Христос! Кирие элей сон!» — «Господи помилуй» по-гречески звучит как «Кирие элейсон».

²⁵ ...Пропонтиду и Геллеспонт... — Пропонтида — древнегреческое название Мраморного моря. Геллеспонт — древнегреческое название пролива Дарданеллы.

²⁶ ...полуострова Цирика и устья Эгос-Потамоса; прошли между мысами Сестосом и Абидосом... — Полуостров Цирик — имеется в виду полуостров Капу-Даг, который еще называют Кизикским по названию расположенного на нем города Кизик, основанного милетцами. Эгос-Потамос — река фракийского Херсонеса. Сестос и Абидос — укрепленные форты по обеим сторонам пролива Дарданеллы

²⁷ *Троя* — иначе называемая Илион, древнее укрепленное поселение в Малой Азии, у побережья Эгейского моря. Город воспет в поэме Гомера «Илиада».

²⁸ *Сигейский мыс* — расположен на малоазийском берегу Эгейского моря.

²⁹ *Устье Симоиса* — Симоис — река в Троаде.

³⁰ *Ретейский мыс* и *гроб Аяксов* — Тело Аякса по решению Агамемнона не было предано огню, и его могилой стал Ретейский мыс, который находится в Троаде.

³¹ *Тенедос* — остров в Эгейском море.

³² *архипелаг* — Слово «архипелаг» возникло от греческих слов *arche* — начало, главенство и *relages* — море. *Αρχιπέλαγος* первоначально назывался лишь Греческий архипелаг, т. е. группа островов Эгейского моря.

³³ *Лесбос, Самос, славный своим плодородием, своими тиранами и особенно рождением Пифагора* — Лесбос, Самос — греческие острова в Эгейском море. До VII в. до н. э. остров Самос управлялся царями. Родителями Пифагора были Мнесарх и Партеида с Самоса.

³⁴ *...ни храма Эфесского, ни гроба Мавзола, ни Книдской Венеры...* — Храм Артемиды в Эфесе — одно из семи чудес античного мира, находился в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии; находящийся в Галикарнасе мраморный гроб Мавзола, фактически независимого от Ахеменидов правителя Карии в 377—353 гг. до н. э., также относится к числу семи чудес света из-за множества драгоценных своих украшений; в древнем мире величайшей славой пользовалась Венера Книдская — работа прославленного скульптора Праксителя, которая была прототипом для некоторых других Венер.

³⁵ *...без Шуазеля, Покока, Вуда и Спона я не узнал бы Микальского мыса...* — М.-Г.-Ф.-О. Шуазель, граф (1752—1817) — французский дипломат и археолог, член французской академии. Ученик аббата Бартелеми, он пристрастился к изучению античного мира и в 1776 г. отправился в Грецию в обществе нескольких художников и ученых, срисовывал памятники, изучал народный быт, собирал предания и написал «*Voyage pittoresque en Grece*» (1-й том вышел в 1782 г., два следующие — в 1809 и 1820 гг.). Около 1784 г. Шуазель был назначен посланником в Константинополь; в это время он исследовал Троаду и места, воспетые Гомером. Р. Покок (1704—1765) — знаменитый путешественник, Р. Вуд (1716—1775) — английский археолог; рано отдался изучению языков, европейской литературы и греческого мира. Он предпринял ряд поездок в южную Италию, Грецию, на острова Архипелага, в Малую Азию и в Сирию; ему удалось собрать множество медалей, надписей и рукописей, которые обогатили науку. Лионский врач и антикварий Жак Спон (1647—1685) провел в странствиях по Греции почти целый год. Микальский мыс, отделенный от Самоса небольшим проливом, известен тем, что на нем был распят труп тирана Поликрата.

³⁶ *Годофреды, Ричарды, Жуанвили, Куси* — Вероятно, имеются в виду Готфрид Бульонский (Годфруа Буйонский; около 1060—1100), один из предводителей 1-го крестового похода на Восток (1096—1099); Ричард I (Английский) Львиное Сердце (1157—1199) — участник 3-го крестового похода на Восток, в Палестину и Сирию, завоевавший остров Кипр; Жан Жуанвиль (1224—1318), первый по времени французский историк, друг Людовика IX, участвовал в 6-ом крестовом походе 1248—1254); Шатлен де Куси — знаменитый французский трувер XIII в., с его именем связана легенда о рыцаре, умирающем в Палестине в борьбе за освобождение Гроба Господня.

³⁷ *кайки* — от тур. Каик (лодка) — небольшие парусно-гребные суда.

³⁸ *Шейк* — т. е. шейх.

³⁹ «*Benedicite*» было прочитано после «*de profundis*» — «*Benedicite*» — католическая молитва; «*de profundis*» — начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим.

⁴⁰ ...*левантского*... — Левант (от франц. *Levant* или итал. *Levante* — Восток), общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция и др.).

⁴¹ ...*отцу-эконому*... — Экономы заведуют хозяйственной частью монастыря, церкви.

⁴² ...*с сердцем limpide e bianco*... — С сердцем чистым и добрым.

⁴³ ...*где первый из Апостолов проповедывал Евангелие*... — Вероятно, имеется в виду св. Матфей, написавший первое Евангелие и проповедовавший его в Палестине.

⁴⁴ ...*vero paradiso*. — Настоящий рай.

⁴⁵ ...*кадию*... — Кади и кадий (араб. *Qādī*) — духовный судья у мусульман.

⁴⁶ ...*в Рамлу*... — Рамла была основана в 716 г. халифом Абедом эль-Малеком. Он построил правительственные дома, крепости, мечети, подземные резервуары и красивою тканей. В период крестоносцев город стал важным пунктом по дороге в Иерусалим.

⁴⁷ *драгоман* — Драгоман (франц. *dragoman* от арабского — переводчик) — устаревшее название официального переводчика, состоявшего при дипломатических и консульских миссиях в восточных странах.

⁴⁸ ...*в деревне Еремши*... — Имеется в виду деревня Анатот недалеко от Иерусалима, где жил пророк Иеремия.

⁴⁹ ...*Сафронскую равнину*... — Равнина в Палестине, которая славилась своею красотой и плодородием (см.: Песн. 2:1, Ис. 33:9).

⁵⁰ ...*ворота богомольцев*, которых истинное имя *Дамасские ворота*... — Дамасские ворота — главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима.

⁵¹ ...*в монастыре Спасителя*. — Монастырь Спасителя (Св. Савиора) находится в Иерусалиме в районе Греческого Патриархата, у Новых ворот. Постройка середины XIV в. Этот монастырь — центр ордена францисканцев.

⁵² ...*подорожные фирманы?* — Здесь — охранная грамота.

⁵³ ...*славного Джебзара*. — Джебзар-паша (Ахмед, 1735—1804), производил неслыханные жестокости и насилия (Джебзар — т. е. мясник). У жителей Сирии и Ливана, Дамаска и Багдада слыл колдуном и внушал суеверный страх.

⁵⁴ ...*в Ерихоне, теперь именуемом Риха*... — Иерихон — город на западном берегу Иордана.

⁵⁵ ...*фвали иудейские пальмы*... — Пальма — главный символ победы и триумфа. В Древнем Риме победившие атлеты, солдаты и гладиаторы награждались пальмовыми ветвями. Пальмовую ветвь, посвященную Юпитеру, как символ победы несли во время триумфальных процессий. Она была принята ранним христианством в качестве символа победы Христа над смертью.

⁵⁶ *монастырь св. Или* — Греческий православный монастырь св. Или Пророка в Иерусалиме.

⁵⁷ ...*поклонялись Ему маги*... — Имеются в виду волхвы, принесшие дары младенцу Христу.

⁵⁸ *...святого Иеронима!* — Евсевий Софроний Иероним (342—419 или 420) — церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается как в православной, так и в католической традиции как святой и один из учителей Церкви.

⁵⁹ *монастырь св. Саввы* — Находится в средней части долины Кидрона в Иудейской пустыне. Монастырь основан в 490 г., а его церковь в 502 г. Сам святой жил в небольшой пещерке напротив, сегодня отмеченной крестом. Монастырь огромен, в нем когда-то проживало более тысячи монахов, у него голубые купола и узкие ворота на случай нападения. В монастыре 2 пещеры — в одной мощи св. Саввы, умершего в 532 г., а в другой черепа монахов, погибших от рук персов в 614 г. Многократно разрушался и восстанавливался вновь, атаковывался и был ограблен окрестными бедуинами.

⁶⁰ *Кедронского потока* — долина с дождевым потоком, к северу и востоку от Иерусалима; соединяется к югу от города с западной долиной Гинномской и, в виде пустынного глубокого ущелья, спускается к Мертвому морю.

⁶¹ *...на берегу Елисеява источника, ныне именуемого источником Царским.* — Елисей, в Ветхом Завете, ученик и преемник Илии в качестве пророка Божьего в Израиле. Елисей, как и его учителю, приписывалось совершение многих чудес, в том числе очищение источника, воскрешение ребенка и чудо с наполняющимися маслом сосудами у вдовы, которой нечем было расплатиться с долгами (3 Цар 2,4).

⁶² *...к Пашалику Дамасскому...* — Пашалык — провинция или область в Османской империи.

⁶³ *...сбиров...* — Сбиры, в бывшей Папской области так назывались судебные и полицейские служители.

И. Айзикова

Три финика

(«Не знаешь ли какой-нибудь сказки, — спросил однажды калиф Мамун...»)

(С. 326)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 53. № 17. Сентябрь. С. 47—51 — в рубрике «Словесность. Проза» с заглавием: «Три финика».

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 2 («Повести»). С. 31—37; Пвп 2. Ч. 1. С. 235—239.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее первой половины августа 1810 г.

Источник перевода неизвестен.

Перевод примыкает к ряду подобных, поддерживающих традиции «восточной сказки», жанра весьма распространенного в нравоучительной просветительской прозе. Кроме того, интерес Жуковского к *conte orientale* совпадал с зарождающимся у него, поэта-романтика, вниманием к Востоку, ориентальному стилю и в целом к проблемам национального в эстетике и творчестве. См. комментарий к переводу «Кабуд-путешественник» в настоящем томе.

Тексты ВЕ и Пвп 1, 2 практически идентичны, немногие расхождения связаны с заменой одного пунктуационного знака другим.

¹ *калиф Мамун* — Абу-ль-Аббас Абд-Аллах аль-Мамун (786—833) — багдадский халиф из династии Аббасидов. Сын Харуна аль-Рашида.

² *Ибад* — раб, невольник.

И. Айзикова

Старый башмачник бедной хижины и восемь луидоров

(«Было воскресенье. В рассеянных деревенских церквях
благовестили к обедне...»)

(С. 328)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 53. № 18. Сентябрь. С. 83—111 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием «Старый башмачник бедной хижины и восемь луидоров», с пометой в конце: С французского. А.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 1 («Повести»). С. 211—246; Пвп 2. Ч. 1. С. 153—177, с тем же заглавием, без подписи.

Печатается по Пвп 2, текст идентичен первой публикации.

Датируется: не позднее 14 сентября 1810 г.

Источник перевода: *Montolieu I. Le vieux savatier de la cabane et les huit louis. Historiette (Imité de l'allemande)* [Старый сапожник из сарая и восемь луидоров. Анекдот (Подражание немецкому, или Имитируемый немецкий)] // *Mercure de France*. 1810. 16 Juin. P. 408—420.

В письме от 23 авг. 1810 г. М. Т. Каченовский писал Жуковскому: «(...) модный журнал “*Mercure de France*” Вами уже должен быть получен». И далее он обращается с просьбой к Жуковскому: «Пожалуйста, пришлите что-нибудь для начала 18-й книжки» (ПД. 28075/СС 16. 115. Л. 27). Жуковский выполнил эту просьбу: в № 18 ВЕ появился его перевод «Старый башмачник бедной хижины и восемь луидоров» одноименной повести французской писательницы И. Монтолье (1751—1832). Жуковский снимает только авторские подзаголовки. Средоточием перевода он делает внутренний мир героев и поэтизацию будничной жизни обыкновенного человека. Здесь в полной мере сказалась тяга писателя к жанру идиллии, с его обращенностью к сельскому быту, с принципиально эпической детализацией описаний «жизни не идеальной, но реальной», с его установкой на раскрытие народных нравов, представляющихся выражением идеального сознания. Перевод полон яркими бытовыми зарисовками, точно перенесенными Жуковским из подлинника, что свидетельствует о принципиальном интересе Жуковского к конкретному, предметному, вещному миру, окружающему человека, изображение которого к тому же является для него и возможностью акцентировать истинность рассказа, объективировать переживания героев, передавая их через конкретные атрибуты действительности.

В целом точно и полно переводя текст повести Монтолье, Жуковский все же вносит некоторые изменения, касающиеся изображения эмоционально-психо-

логического состояния персонажей: расширено изображение природы, введены некоторые психологические характеристики от лица повествователя, добавлены детали (например, в переводе повествователь сообщает, что бедняк Марсель не пошел в храм, т. к. не имел приличного платья, и читал молитвы дома — в переводе этого нет).

¹ ...с красною выкладкою... — От «выкладывать» — выводить кладкой узоры.

² ...украшенные серебряными скобками... — Металлические украшения прикрепились только к дорогим книгам с кожаной обложкой.

³ ...из пунцовой обьяри... — Обьярь — плотная шелковая ткань, с золотыми и серебряными струями и разными узорами.

⁴ Бог даст пищу птицам неоперенным и лилиям в поле одежду — Неточные цитаты из Нагорной проповеди: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. ... И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мтф. 6:28—29).

⁵ Луидор — французская золотая монета XVII—XVIII вв.

⁶ ...в Батавию... — устаревшее голландское название Джакарты, столицы Индонезии.

⁷ ...сиделку для странника... — лавка, скамейка («Словарь» В. И. Даля).

И. Айзикова

Романический любовник, или Веселость и старость

(Соч. Сарразеня)

(«Видя веселого старика, я думаю с удовольствием о его молодости...»)

(С. 340)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 53. № 19. Октябрь. С. 167—203 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Романический любовник, или Веселость и старость», с пометой в конце: С франц.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 3 («Повести»). С. 1—45; Пвп 2. Ч. 2. С. 79—109, с заглавием: «Романический любовник, или Веселость и старость (Соч. Сарразеня)», без подписи.

Печатается по Пвп 2, текст идентичен первой публикации.

Датируется: не позднее второй декады сентября 1810 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. L'Amant Romanesque, ou Vieillesse et Gaieté. Nouvelle* [Романический Любовник, или Старость и Радость. Новелла] // *Mercure de France*. 1810. 30 Juin. P. 543—558. Eichstädt. S. 20.

Повесть «Романический любовник...» явилась еще одним откликом на просьбу М. Т. Каченовского, высказанную им в письме Жуковскому от 23 авг. 1810 г. Была переведена еще одна «шутливая» nouvelle, с характерными для нее семейно-быто-

выми мотивировками конфликта, вплоть до анекдотических. На протяжении всего повествования высокое любовное чувство героя окружается контрастирующим с ним материалом будничной жизни. Сосредоточенность Форланжа на предмете своей любви то и дело нарушается внешними смешными обстоятельствами, что и порождает смеховой эффект, в результате которого высокое и низкое, поэзия любви и проза жизни выстраивают перед читателем картину целого — картину внутреннего человека и его связей с внешним миром.

¹ *...латинскую тему...* — Здесь слово «тема» используется в значении «предложение» (от греч.).

² *...грозный Аргус...* — Аргус, прозванный Паноптес, то есть всевидящий — в древнегреческой мифологии многоглазый великан.

³ *...доктора Бартоло...* — герой комедий П. О. Бомарше «Севильский цирюльник» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

⁴ *...Полифем, лишенный глаза Улисом. Полифем, в минуту мучительной боли, причиненной ему головнею Уллиса...* — В греческой мифологии, один из циклопов, обитавших на Сицилии одноглазых великанов, сыновей Посейдона. В «Одиссее» Гомера Полифем пожрал нескольких спутников Одиссея, однако Одиссеею удалось его ослепить.

⁵ *...его любимым бараном...* — По легенде Одиссей, вцепившись руками в густую шерсть громадного барана, любимца Полифема, повис под ним. Все бараны прошли с привязанными под ними спутниками Одиссея мимо ослепленного Полифема. Последним шел баран, под которым висел Одиссей. Остановил его Полифем, стал жаловаться на свою беду, на то, что обидел его дерзкий Никто, и наконец, пропустил он и этого барана.

⁶ *...в греческом платье...* — Псевдогреческий стиль стал наиболее модным в европейской одежде конца XVIII в.

⁷ *...грации Аглаи...* — Одна из трех граций, благодетельных богинь, воплощающих доброе, радостное и вечно юное начало жизни. Имя «Аглая» происходит от др.-греч. *Αὔλα* «красота, блеск; ликование»; из *Αυλαός* «сияющий, сверкающий; великолепный».

⁸ *...на кости позади портфета...* — Скорее всего, имеется в виду рама из слоновой кости, которая использовалась для отделки предметов роскоши.

И. Айзикова

Образ жизни и нравы рыцарей

(«Весьма трудно описывать такие предметы...»)

(С. 355)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 53. № 20. Октябрь. С. 247—266 — в рубрике: «Словесность. Проза», с заглавием: «Образ жизни и нравы рыцарей», с указанием источника в конце: Шатобриан.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 («Смесь»). С. 237—261; Пвп 2. Ч. 3. С. 225—240 — с тем же заглавием и указанием источника. Тексты идентичны первой публикации.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее 15 октября 1810 г.

Источник перевода: *Chateaubriand F. R. Genie du Christianisme*. Paris, 1802. Parti 4, livre 5, ch. 4 «Vie et mœurs des Chevaliers» [Жизнь и нравы рыцарей]. Атрибуция: Eichstädt. S. 22.

Уточнить датировку этого перевода Жуковского позволяет письмо М. Т. Каченовского Жуковскому от 1 окт. 1810 г., в котором он сообщал: «Статья Ваша о рыцарях займет место в 20-й книжке». Данный перевод из «Гения христианства» Шатобриана не является первым для русского писателя (см. комментарий к переводам «Прекрасная ночь в пустынях нового мира» из хрестоматии «Примеры слога» в ПССиП. Т. VIII и «О таинственности» — в данном томе), он вписывается в его интерес к мотиву рыцарства и образу рыцаря, возникший в связи с работой в балладном жанре.

¹...*вымыслы Ариоста* — Имеется в виду поэма Л. Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (1516), обращенная к сюжетам французских рыцарских романов.

²...*подвиги истинных паладинов* — Паладин (лат. *palātinus* — название высших придворных, военных и гражданских чинов при дворе римских и византийских императоров) — рыцарь, беззаветно преданный какой-либо идее или какому-либо человеку.

³...*очарованные замки Альцины, и грозные стены Кевра, и зубчатые башни Аннета*. — Имеются в виду замок волшебницы Альцины, упоминаемый в поэме итальянского поэта Л. Ариосто «Неистовый Роланд»; Кёвр — родовой замок Габриэль д'Эстре (1570—1599), возлюбленной Генриха IV; башни Аннета — имеется в виду дворец-замок Ане (франц. *Château d'Anet*), спроектированное в 1546 г. Филибером Делормом, у замка богатая история.

⁴Омеровы поэмы — т. е. поэмы Гомера.

⁵*Дюгеклен* — Бертран дю Геклен (1320—1380) — в 1370—1380 годах — коннетабль Франции (т. е. военный советник короля, начальник королевских рыцарей), выдающийся военачальник Столетней войны.

⁶...*спасителя Франции*. — Еще молодым Б. дю Геклен прославился во время борьбы между Карлом Блуаским и Иоанном Монфорским из-за Бретани, когда он во главе 50 или 60 партизан наносил серьезный вред англичанам. Когда король Иоанн был взят в плен, дю Геклен оказал дофину (будущему Карлу V) много услуг, очистив от англичан берега Сены. В 1364 г. он одержал блестящую победу при Кошереле над королем Карлом Наваррским. Получив звание коннетабля, дю Геклен разбил англичан при Понваллене, выгнал их из Пуату, овладел Пуатье, Ла-Рошелью и в течение 10 лет отнял у англичан почти все их владения во Франции. Героические песни называют дю Геклена цветом рыцарства.

⁷...*прекрасному полу*. — В тексте к этим словам дана ссылка: Sainte-Palaye. Том I, стр. 7. У Шатобриана ссылка к этим же словам такая: Sainte-Palaye, t. I, p. II.

⁸...*Монжуа и Сен-Дени!* — В тексте к этим словам дана ссылка: Sainte-Palaye. Том II, Часть 2. У Шатобриана ссылка к этим же словам такая: Sainte-Palaye, t. I, part. 7. *Монжуа и Сен-Дени* — боевой клич французских воинов, рыцарей. Существует несколько версий его происхождения. Самой распространенной является

та, по которой в национальном *le cri de guerre* объединены имена меча Карла Великого — *Joyeuse* (радостная): *mon Joyeuse, Montjoie* — и Св. Дионисия, покровителя Франции. В «Песни о Роланде» дается именно это объяснение (CLXXXII). Другие комментаторы отмечают, что боевой клич французов «Монжуа!» установился в XII в. и что, скорее всего, это — восклицание французских паломников, которые выпускали его с высоты *Mons Gaudii* («Гора радости»), когда их взору впервые открывался Рим, цель их странствия. Согласно следующей версии, Монжуа — это кучи камней у дороги (*un monceau de pierres entassées pour marquer les chemins*). Согласно источникам, их возводили пилигримы и устанавливали на них кресты по достижении цели паломничества. Впоследствии эти монжуа служили ориентирами другим паломникам. Когда Сен-Дени стал покровителем Франции, его изображали на знамени; поэтому клич «Монжуа — Сен-Дени!» значил, фактически «Все (идите) за знаменем!» Существуют и такие версии: Монжуа — это кучи камней, которые укладывали на особо почитаемые могилы. Фактически, могилу могли назвать «Монжуа такого-то». Поэтому «Монжуа Сен-Дени» значит просто «Могила Св. Дионисия»; или: «Моя радость Св. Дионисий» — якобы обращение к небесному покровителю Франции и т. д.

⁹ ...*Фруассар, описывая дом герцога де Фуа* — Жан Фруассар (1333 или в 1337 г. — 1405 г.) — французский писатель, автор знаменитых «Хроник» — важнейшего источника по истории начального этапа Столетней войны. В 1388 г. он побывал во владениях графа Гастона III де Фуа д'Этамп (1331—1391), что было вызвано желанием собрать материал для продолжения своего исторического повествования. Собранная информация была использована в «Книге III». Графство Фуа было независимым средневековым феодальным владением в южной Франции, графы де Фуа процветали с XI до XV столетия. Они были первыми вассалами графства Тулузы, но после поражения последнего в Крестовом походе они преуспели в том, чтобы установить свой прямой вассалитет королю Франции. В XIII—XIV вв. графы де Фуа были одними из самых богатых и сильных французских феодальных дворян. Живя на границе Франции, постоянно взаимодействуя с королевством Наварра и поддерживая при этом неофициальные связи с Англией через Гасконь и Аквитанию, они воспользовались своим положением, чтобы утвердить независимость и действовали скорее как равные королям Франции, нежели как поданные короны.

¹⁰ *Жуанвиль* — Жан Жуанвиль (1223—1317) — французский средневековый историк, биограф Святого Людовика.

¹¹ ...*король Наваррский...* — Генрих IV Бурбон (*Генрих Наваррский, Генрих Великий*, 1553—1610), лидер гугенотов в конце религиозных войн во Франции, король Наварры с 1572 г., король Франции с 1589 г. (фактически с 1594 г.), основатель французской королевской династии Бурбонов.

¹² *Баярд, от которого король Франциск I принял удар рыцарства* — Пьер Террайль де Баярд (1473—1524) — французский рыцарь, полководец. Окруженный прижизненной славой, Баярд посмертно превратился в поистине культовую фигуру. В 1514 г. Баярд сопровождал в военном походе в Италию французского короля Франциска I. Он подготовил смелый переход через Альпы и в бою проявил такое бесстрашие, что сам король, которому исполнился двадцать один год, пожелал быть посвященным в рыцари рукою Баярда.

¹³ *Амание Дезескас* — имеется в виду Amanieu des Escàs (1278—1295), каталанский, возможно гасконский, трубадур (конец XIII в.).

¹⁴ *варлет* — Т. е. паж (от франц. *Le varlet*).

¹⁵ ...*песнь любви (lay d'amour)*. — Далее в подлиннике цитируется стихотворение:

Armes, amours, déduit, joie et plaisance,
Espoir, désir, souvenir, hardement,
Jeunesse, aussi manière et contenance,
Humble regard, trait amoureuxment,
Gents corps, jolis, parez très-richement,
Avisiez bien ceste saison nouvelle;
Le jour de may, cette grand'feste et belle,
Qui par le roy se fait à Saint-Denys;
A bien jouter gardez vostre querelle,
Et vous serez honorez et chéris.

Следующий ниже стих в ВЕ дан в другом переводе: Шум в поле, а дома веселье.

¹⁶ ...*храброго своего Куси*. — Имеется в виду Шатлен из Куси — знаменитый французский трувер XIII в.

¹⁷ *Витязь нежный и мужественный* клялся своим острым мечом *Дурандалем* и борзым конем *Аквиланом* — Роланд, первый из паладинов, владел магическим мечом, крещенным, подобно христианам, и носящим имя Дурандаль. Аквилант — имя рыцаря в поэме «Неистовый Роланд».

¹⁸ *Королева Маргарита, супруга святого Людовика, будучи беременна, осталась в Дамьетте, где узнала она о совершенном разбитии королевского воинства*. — Маргарита Прованская (1221—1295), жена (с 27 мая 1234 г.) Людовика IX Святого (1214—1270) — короля Франции (1226—1270). Весной 1249 г. Людовик с крестоносцами прибыл в Египет, к портовому городу Дамьетта, который 6 июня французы взяли. Двинувшись дальше, Людовик подошёл к Мансуре (1250 г.), но силы крестоносцев были ослаблены раздорами и беспорядками. Во время отступления их к Дамьетте сараины догнали Людовика и взяли его в плен, от которого он откупился сдачей Дамьетты. Королева в это время ожидала своего шестого ребенка — будущего графа Валуа, Жана Тристана Французского (1250—1270).

¹⁹ *Витязи славные, витязи грозные! ... Будет и вам за то слава великая!* — в подлиннике:

Servants d'amour, regardez doucement
Aux eschafaux, anges de paradis,
Lors jousterez fort et joyeusement,
Et vous serez honorez et chéris.

Это стихи из 4-й песни эпической поэмы Креза де Лессе (1771—1839) «La table ronde», в которой автор пытался возродить рыцарский роман.

²⁰ *герольды* — Герольд (нем. *Herold*, позднелат. *heraldus*), в странах Западной Европы в средние века — глашатай, церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах. Герольды ведали также составлением гербов и родословий.

²¹ *зафукавье* — расшитый, украшенный драгоценностями нарукавник, манжета.

²² ...*в одной окровавленной рубашке...* — В примечании к этим словам у Шатобриана читаем: Sainte-Palaye, Histoire des trois chevaliers de la Chanise.

²³ ...*смерть героев*... — к этим словам у Шатобриана сделано примечание, опущенное в переводе: Héros.

²⁴ *Латремуйли, Бузикоты* — Ла Тремуйли и Бузикоты — французские старинные дворянские роды, представители которых участвовали в крестовых походах, сражались против протестантов, были знаменосцами французских королей.

²⁵ *Ланцелотов и Гандиферов*. — Ланселот в кельтской мифологии — знаменитейший из рыцарей Круглого стола; sig Gandifer de Larys упоминается в «Романе об Александре».

²⁶ *В несчастное время Карла VI* — ср. в подлиннике: Pendant les guerres du règne de Charles VI; речь здесь идет о Карле VI Безумном (1368—1422), короле Франции с 1380 г., на время правления которого пришлось Гражданская война между армянками и бургиньонами (первый и второй периоды), возобновление Столетней войны и фактический распад Франции.

²⁷ *Зампи* — De Sampi — один из рыцарей Мальтийского ордена, участвовавший в войнах Франции вместе с маршалом Бусиком.

²⁸ *Бузикот* — Имеется в виду Jean I-er Le Meingre, dit Boucicaut, маршал Франции с 1356 г.

²⁹ В переводе опущен следующий абзац: «Et en ce temps aussi, dit un historien, estoient chevaliers d'Espagne et de Portugal, dont trois de Portugal, bien renommés de chevalerie, prindrent, par je ne sais quelle folle entreprinse, champ de bataillé encontre trois chevaliers de France; mais, en bonne vérité de Dieu, ils ne mirent pas tant de temps à aller de la porte Saint-Martin à la porte Saint-Antoine à cheval que les Portugallois ne fussent déconfits par les trois Français» и примечание к этому абзацу: Journal de Paris, sous Charles VI et VII.

³⁰ *Сражение Поатьерское* — Битва при Пуатье — крупное сражение, состоявшееся 19 сентября 1356 г. между английской армией Эдуарда Чёрного Принца (Эдуард Вудсток, «Чёрный принц», 1330—1376, принц Уэльский, принц Аквитанский) и французскими войсками короля Иоанна II Доброго (Иоанн (Жан) II Добрый, 1319—1364, второй король Франции из дома Валуа с 1350 г.), во время Столетней войны.

³¹ *Чёрный принц, который из почтения никак не согласился видеть за столом короля Иоанна, взятого им в плен*. — Эдуард тактически превзошёл своего противника, одержал полную победу над превосходящими силами французов и взял в плен их короля.

³² ...*всякий из нас согласен отдать вашему величеству честь и награду сражения!* — Король Иоанн Добрый храбро сражался в битве при Пуатье, хотя и был взят в плен.

³³ *Рыцарь Рибомон на сражении, проходившем у ворот города Кале, два раза повергал к ногам своим короля Эдуарда III* — Эсташ де Рибомон (Рибмон) известен тем, что лично сражался с Эдуардом III под Кале в 1349 г. Королевский знаменосец при Пуатье, где и погиб.

³⁴ *принц Валлийский* — Имеется в виду Эдуард «Чёрный Принц»

³⁵ *знаменитого господина Эстафия* — Т. е. Эсташа де Рибомона.

³⁶ Здесь в переводе опущена сноска: Froissart.

³⁷ *Карла Великого (La joyeuse)* — ср. в подлиннике: de la fameuse joyeuse de Charlemagne.

³⁸ ...найденным ею в Турени в церкви свят. Екатерины. — Согласно легендам, святая Екатерина, явившись к Жанне д'Арк, будто бы указала ей место, где зарыт старинный меч, которым был вооружен французский король Карл Мартелл в день битвы при Пуатье 4 октября 732 г., когда тяжелая конница франков разбила арабов и положила предел их дальнейшему продвижению в Европу. Считалось, что этот «священный» меч придаст ее рукам чудесную силу. Но некоторые историки находят объяснение этого эпизода в том, что все стены древней часовни св. Екатерины в аббатстве Фьербуа были в те времена увешаны доспехами и оружием, которое французские воины оставляли там в качестве приношения по обету. Св. Екатерина считалась покровительницей воинов, особенно пленных и раненых, и оружие жертвовалось ей за удачный побег из плена или исцеление от ран.

³⁹ *Генрих IV на Иврийском сражении* — Генрих IV Бурбон в битве при Иври 14 марта 1590 г. Генрих своим героизмом сумел переломить ход битвы. Он повел солдат в атаку, надев шлем с белым султаном, заметным издаека. Когда его войско начало отступать, Генрих остановил бегущих, воскликнув: «Если вы не хотите сражаться, то хотя бы посмотрите, как я буду умирать!»

⁴⁰ *Франциск I, последний из рыцарей, сказал после сражения при Павии* — Франциск I (1494—1547) — король Франции с 1 января 1515 г. Его царствование ознаменовано продолжительными войнами в Европе. Битва при Павии (24 февраля 1525 г.) — ключевое сражение в ходе Итальянских войн (1494—1559) между испанцами и французами, в ходе которых король был дважды ранен.

⁴¹ Здесь в переводе опущена цитата из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо: *Su'I Libano spesso, e su'I Carmelo / In aerea magion fan dimoranza.*

⁴² ...эпизод *Свенона в Тассовом Иерусалиме*. — Т. е. начало песни восьмой поэмы Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим», где описывается смерть Свенона и датчан, шедших на помощь Готфриду Бульонскому.

⁴³ *Отшельники Фиваиды, пустынноики горы Ливана* — древнее название Верхнего Египта, гора Ливан — горный хребет в Ливане, в древние времена — место проживания отшельников. Монашество, ветхозаветное и новозаветное, считает колыбелью своей горы Синая, Ливана и Фиваиды.

⁴⁴ *Певец Иерусалима* — Т. е. Торквато Тассо.

⁴⁵ В перевод не вошли последние 2 абзаца главы: *Hue de Carvalay, chevalier anglais, avait été l'ami de Bertrand Du Guesclin: lorsque le prince Noir eut déclaré la guerre au roi Henri de Castille, Hue fut obligé de se séparer de Bertrand; il vint lui faire ses adieux, et lui dit: «Gentil sire, il nous convient despartir. Nous avons été ensemble en bonne compagnie, et avons toujours eu du vostre à nostre (de l'argent en commun), si pense bien que j'ai plus receu que vous: et pour ce vous prie que nous en comptions ensemble... — Si, dit Bertrand, ce n'est qu'un sermon, je n'ai point pensé à ce compte... il n'y a que du bien à faire: raison donne que vous suiviez votre maître. Ainsi le doit faire tout preudhomme: bonne amour fust l'amour de nous, et aussi en sera la despartie, dont me poise qu'il convient qu'elle soit. Lors le baisa Bertrand et tous ses compagnons aussi: moult fut piteuse la despartie»^[16]. Ce désintéressement des chevaliers, cette élévation d'âme, qui mérita à quelques-uns le glorieux surnom de sans reproche, couronnera le tableau de leurs vertus chrétiennes. Ce même Du Guesclin, la fleur et l'honneur de la chevalerie, étant prisonnier du prince Noir, égala la magnanimité de Porus entre les mains d'Alexandre. Le prince l'ayant rendu maître de sa rançon, Bertrand la porta à une somme excessive. «Où prendrez-vous tout cet or? — dit le héros anglais, étonné. Chez*

mes amis, repartit le fier connétable: il n'y a pas de fileresse en France qui ne filât sa quenouille pour me tirer de vos mains».

La reine d'Angleterre, touchée des vertus de Du Guesclin, fut la première à donner une grosse somme pour hâter la liberté du plus redoutable ennemi de sa patrie. «Ah! madame! s'écria le chevalier breton en se jetant à ses pieds, j'avois cru jusque ici estre le plus laid homme de France, mais je commence à n'avoir pas si mauvaise opinion de moi, puisque les dames me font de tels présents».

He вошла соответственно и сноска 16: Vie de Bertrand Du Guesclin.

И. Айзикова

Горный дух Ур в Гельвеции

(Сказка, взятая из европейской «Тысяча и одной ночи»)

(«Давно уже, давно в благословенной Гельвеции...»)

(С. 364)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 54. № 21. Ноябрь. С. 3—27 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием «Горный дух Ур в Гельвеции. Сказка, взятая из европейской “Тысяча и одной ночи”», с пометой в конце: С немецк<ого>. В.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 2 («Повести»). С. 1—31; Пвп 2. Ч. 1. С. 213—233, с заглавием: «Горный дух Ур в Гельвеции (Сказка, взятая из европейской “Тысяча и одной ночи”», без пометы: С немецк<ого>. В. Тексты ВЕ, Пвп 1, 2 идентичны.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: 1810 г. (не позднее второй декады октября).

Источник перевода: *Voss J. von. Vom Berggeist Ur in Gelvetien* [О горном духе в Гельвеции] // *Voss J. Tausend und eine Nacht der Gegenwart oder Märchensammlung im Zeitgewand*. Berlin, 1809. Bd. 1. S. 7—34. См.: Eichstädt. S. 18.

Немецкий писатель Юлиус фон Фосс (1768—1832) был популярен в Европе как комедиограф. Так, во время первого заграничного путешествия 1820—1821 гг. Жуковский, постоянный посетитель Берлинского театра, неоднократно говорит о постановке его пьес. Он смотрит 21 октября 1820 г. комедию «Künstlers Erdenwallen» («Жизненный путь художника»), 19 ноября 1820 г. фарс «Die falsche Primadonna» («Фальшивая примадонна»), 20 декабря 1820 г. комедию с танцами «Die beiden Gutsherrn» («Два помещика» (ПССиП. Т. XIII. С. 142, 151, 155.). Среди романов пользовались известностью: «Юрий, роман из двадцать первого века» (1810), «Романтические приключения предводителя испанских повстанцев Дон Виуго де Мантиона» (1812), «Война и любовь, или Романтические истории со времен тридцатилетней войны до наших дней» (1813), «Прекрасное привидение, появляющееся пятьдесят лет» (1820). См.: Жуковский В. А. Розы Мальзерб. М.; Париж; Псков, 1995. С. 315—316. Сведений о русских переводах его произведений обнаружить не удалось.

Обращение Жуковского к новелле Ю. фон Фосса вряд ли было случайным. «Русский балладник» был неравнодушен к фантастическим сюжетам, связанным

с «горной философией» (см.: Янушкевич А. С. «Горная философия» в пространстве русского романтизма (В. А. Жуковский — М. Ю. Лермонтов — Ф. И. Тютчев) // Жуковский и время. Томск, 2007. С. 133—143).

«Горный дух» поистине витает над всем творчеством первого русского романтика. Сам этот образ, символически фиксирующий рамку размышлений Жуковского о «горной философии» — от ранней переводной повести «Горный дух Ур в Гельвеции» (1810), образца романтического гельветизма, до встречи с горным духом Рустема в стихотворной повести «Рустем и Зораб» (1847), входит в его поэзию на правах автопсихологического героя, определяя диалог человека и гор. Историсофской проекцией этого диалога становится и предсмертное произведение Жуковского — поэма «Странствующий жид», где история Агасфера и Наполеона, образы одинокой скалы на острове Святой Елены и Голгофы как «...слои в огромном теле // Гор первобытных...» символизируют жизнь человеческого духа вообще — от времен библейских до современности.

¹ *Гельвеция* — Старинное латинское название Швейцарии. Отсюда «гельветизм» — швейцарская тема в романтизме.

² *Ландамман* — Ландманн — крупный землевладелец.

³ *Юра* — горный кряж в Швейцарии протяженностью около 350 км.

⁴ *Монблан* — самая высокая вершина Альп (4807 м).

А. Янушкевич

Улей

(Разговор о бытии Бога)

(«— Но, государь мой, — спросил молодой Бертгейм...»)

(С. 374)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 54. № 22. Ноябрь. С. 85—100 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Улей (Разговор о бытии Бога)», с указ. в конце: Энгель.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 5 («Повести и смесь»). С. 43—62; Пвп 2. Ч. 3. С. 81—94. Тексты ВЕ, Пвп 1, 2 идентичны.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее начала ноября 1810 г.

Источник перевода: *Engel J. J. Die Bienenkorb [Улей] // Engel J. J. Schriften. Bd. 1—12. Berlin, 1801—1806. Bd. 1. S. 214—239 («Philosoph für die Welt»; Fünfzehntes Stück)*. Атрибуция: Eichstädt. S. 14.

Третий и последний перевод Жуковского из Энгеля одновременно стал прощанием с редакторской деятельностью в ВЕ. С 1811 г. (ч. 55) редактором ВЕ единолично становится М. Т. Каченовский. В письме к Жуковскому от 19 ноября 1810 г. он высказывает недовольство его переводом «Улея»: «Энгелева статья о бытии Бога под конец невразумительна, оттого что она intraduisible [непереводима (франц.)], если не ошибаюсь, я заглядывал в подлинник. К таким пиесам не надобно прика-

саться» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 год. Л., 1981. С. 104. Публикация Р. В. Иезуитовой).

Причины критики Каченовского не совсем понятны. Жуковскому удалось не только передать смысл первоисточника, но и воссоздать общую атмосферу иронического взгляда на природу французского атеизма.

Проблема бытия Бога занимает важное место в жизнестроительстве раннего Жуковского. Уже во время чтения введения к «Созерцанию природы» («Contemplation de la nature») швейцарского философа и естествоиспытателя Шарля Бонне (1720—1793) «О Боге и вселенной» он делает многочисленные замечания, свидетельствующие о его несогласии и полемике с материалистами XVIII в., прежде всего с Гольбахом и Гельвецием (подробнее см.: БЖ. Ч. 1. С. 339—346). Нравственный фатализм метафизического материализма оказался чужд русскому поэту. Он пытается понять первоисточник нравственной свободы человека и связывает ее с мудростью Творца.

Перевод философского диалога Энгеля «Улей» позволил Жуковскому проникнуть в эту проблему и вслед за немецким философом иронически раскрыть «высокопарную декларацию об атеизме».

В целом точно передавая содержание и общий характер подлинника, Жуковский усиливает ироничный тон в воссоздании позиции аббата Леграна, «ревностного защитника атеистов». Он смотрит на нее уже сквозь призму новых философских веяний. Читатель «Агатона» Виланда и «Новой Элоизы» Руссо, он подчеркивает неприязнь Леграна к новым романам. Само слово «роман», отсутствующее в тексте «энгелевой статьи», четыре раз повторяется в переводе, в речи Леграна и становится символом предрассудка, безрассудства, ложной мечты: «Какой *роман*: причина вещественного в понятии отвлеченном!», «Но причину, обретенную мною в понятии о Боге, именуете вы *романом*, мечтою, безрассудностию, ничтожеством!», «*Роман, роман, предассудок младенческий!*» (Курсив мой. — А. Я.).

Столь же очевидно переводчик заостряет характеристику снобизма и категоричности аббата и его последователей в оценке немецкого идеализма, в отношении к другой позиции. Ср.:

Энгель

Aber, sagte zuletzt die Marquise: gestehen Sie mir, meine Herren, daß eine so ungeheure Stupidität doch nirgend als jenseit des Rheins erhört ist. Denn hier in Frankreich, dem Himmel sei Dank! sind wir doch eine ganz andere Menschenart; haben doch ganz anders organisirte Gehirne.

(Но, — сказала наконец маркиза, признайтесь, господа, что о таком чудовищном тупоумии нигде не услышишь, как только по ту сторону Рейна. Здесь, во Франции, слава Богу, мы представляем совсем другой человеческий род; ведь у нас совершенно другие мозги)

Жуковский

«Надобно однако признаться, — сказала наконец маркиза, — такое непонятное тупоумие может родиться только за Рейном, в Лапландии, между Гипербореями или Скифами. Но мы, французы, благодаря Богу, имеем другие головы; организация наша гораздо нежнее и тоньше; мы лучше других народов умеем смотреть на вещи и постигаем их несравненно скорее».

А. Янушкевич

Отрывок из Шатобриана путешествия в Грецию

(«Я не хотел возвратиться в Мизитру...»)

(С. 380)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 54. № 22. Ноябрь. С. 138—144 — в рубрике «Смесь», с подписью: А.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 15 ноября 1810 г.

Источник перевода: *Chateaubriand F.-R. Itinéraire de Paris à Jerusalem et de Jerusalem à Paris, an allant par la Grèce, et revenant par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne. V. 1. Eichstädt. S. 22.*

См. комментарии к статьям «О нравах арабов» и «Путешествие Шатобриана в Грецию и Палестину».

¹ ...в Мизитру... — Имеется в виду Мистра (греч.: Μυστράς, Μυζηθράς; *Mizithras* или *Muzithras*) — один из важнейших культурных и политических центров поздней Византийской империи.

² ...с развалин Спарты поехал в Аргос... — Спарта (др.-греч. Σπάρτη, лат. *Sparta*) или Лакедемон (др.-греч. Λακεδαίμων, лат. *Lacedaemon*) — древнее государство в Греции в области Лакония на юге полуострова Пелопоннес, в долине Эвроты. Аргос — под этим названием разумеется или город в Пелопоннесе, или аргондская равнина, или же весь Пелопоннес.

³ ...из Лаконии в Аргониду... — Лакония, Лакедемон, Лакедемония — древнегреческая область, у Лаконского залива, в Пелопоннесе. Аргонида — восточная часть древнего Пелопоннеса, с гг. Аргос, Микены, Коринф, Сикион и Эпидавр.

⁴ *Евротас* — Река, в центре долины которой расположена столица Лаконии Спарта, где находилась и античная Спарта.

⁵ ...из Триполицы... — Имеется в виду город Триполи (Триполис, Триполица), центр Пелопоннеса.

⁶ *паша Мореи* — Паша — высокий титул в политической системе Османской империи. Морея — средневековое название полуострова Пелопоннес на крайней южной оконечности Балканского полуострова, в южной части современной Греческой республики.

⁷ ...в древнюю Кинурию... — Кинурия — область, находящаяся в южной части Пелопоннеса.

⁸ *Парфенианские горы* — Имеется в виду Парнон (др.-греч. Πάρνων, греч. Πάρνωνας) — горный хребет в Греции. Находится на юго-востоке полуострова Пелопоннес.

⁹ ...со стороны Микены. — Имеется в виду древний город в северо-восточном Пелопоннесе — Микены.

¹⁰ ...Аркадии... — Аркадия — область в центре Пелопоннеса со столицей Триполи.

¹¹ ...возвышения Трезены и Эпидавра. — Трезена и Эпидавр — древние города Пелопоннеса.

¹² ...*Пелопидов...* — Пелопиды — потомки Пелопа, сына Тантала, убитого отцом и предложенного в пищу богам, но боги воскресили его; из Фригии Пелопс отправился на полуостров, названный по его имени Пелопоннес, приобрел здесь царский престол и руку Гипподамии, дочери Эномая. Сыновья Пелопа — Атрей и Тiest, внуки — Агамемнон и Менелай (пелопиды).

¹³ ...*остатки дворца Агамемнонова...* — В Микенах находился «Дворец Агамемнона» где, по мифам, жена великого Агамемнона Клитемнестра убила вождя всех греков, вернувшегося из Трои. На вершине холма обнаружены остатки дворца.

¹⁴ ...*рука царя царей...* — Т. е. Агамемнона.

¹⁵ *Приехав в Мегару, я не искал следов Эвклидовой школы...* — Мегара — древнегреческий полис на Коринфском перешейке. Евклид из Мегары (ум. после 369 г. до н. э.) — греческий философ, последователь Сократа, основатель так называемой Мегарской школы, одной из сократических школ древнегреческой философии.

¹⁶ ...*фокионовы кости...* — Фокион (397—317 гг. до н. э.), афинский полководец и политический деятель. 45 раз избирался стратегом. В 317 г. был обвинён в измене и казнён.

¹⁷ ...*какую-нибудь статую Праксителеву...* — Пракситель (около 390 до н. э. — около 330 г. до н. э.), древнегреческий скульптор, представитель поздней классики. Произведения Праксителя (исполненные главным образом в мраморе) известны по античным копиям и свидетельствам древних авторов; в оригинале сохранилась лишь найденная в Олимпии группа «Гермес с младенцем Дионисом» (около 340 до н. э.), однако, ряд учёных и её считает более поздней копией.

¹⁸ ...*от которой он напоследок и умер...* — Вергилий умер в 19 г. до н. э. после путешествий по Греции, куда он поехал для собирания материалов. Болезнь его (есть версия, что это был солнечный удар) началась в Мегаре, и вскоре после прибытия в Брундизий, 20 сентября, поэт скончался.

¹⁹ *Элевзис* — По преданию, в Греции с незапамятных времён существовало 12 самостоятельных городов или союзов общин, Элевзис — один из них (в юго-восточной области Средней Греции). По преданию же, эти 12 общин соединены Тезеем в одно политическое целое, столицей которого стали Афины.

²⁰ *пролив Саламинский* — Пролив между островом Саламин и побережьем Греции.

²¹ *дефиле* — Здесь — узкий проход (от франц. *défilé*).

²² *Коридаллос* (ныне Скараманта) — южное продолжение Парнаса.

²³ *Пещелем* — Имеется в виду Пэкилион, еще одно название Коридаллоса, в том месте, где его прорезывает ущелье, соединяющее равнины Афин и Элевзиса.

²⁴ ...*Акрополис — смесь капителей пропилея и Эрехтеева храма...* — Имеется в виду Афинский акрополь, возвышенная и укрепленная часть города, представляющая собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной. Эрехтеев храм — т. е. Эрехтейон (храм Эрехтея) — выдающийся памятник древнегреческой архитектуры, один из главных храмов древних Афин, расположенный на Акрополе. Постройка датируется 421—406 гг. до н. э. Архитектор — Филокл. Храм посвящён Афине, Посейдону и легендарному афинскому царю Эрехтею. Капители Пропилея — венчающие части колонн пропилеона, парадного прохода, образованного портиками и колонадами, расположенными симметрично оси движения. Пропилеи, оформляющие вход на акрополь в Афинах (437—432 гг. до н. э., архитектор Мнесикл), — выдающийся памятник древнегреческой архитектуры эпохи высокой классики.

И. Айзикова

Отрывки из писем об извержении Везувия

(«Сентября 12...»)

(С. 383)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 54. № 22. Ноябрь. С. 145—149 — в рубрике «Смесь», с пометой в конце: (Из Публициста).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 15 ноября 1810 г.

Источник перевода неизвестен.

Атрибутировать перевод Жуковскому отчасти позволяет письмо М. Т. Каченовского Жуковскому от 6 авг. 1810 г., в котором он писал: «С тяжелою почтою получите журналы “Публициста” (ПД. 28075/СС 16. 115. Л. 23а). В письме от 23 авг. Каченовский извещает Жуковского о том, что он послал ему другие номера «Publisciste» (л. 27). Сделанный из этого журнала перевод органично включается в философско-публицистический дискурс ВЕ, отличаясь при этом своей «итальянской» темой. В центре статьи, написанной в форме подневных записей очевидца, обращенных к адресату, который именуется «любезный друг», оказывается описание одного из извержений Везувия, которое по силе автор приравнивает, опираясь на мнения местных жителей, к извержению 1794 г. Конкретные картины наполняются идеями, традиционными для изображения вулкана, который погубил Помпеи и извержение которого с тех пор осмысливается как глобальная катастрофа, страшное и необъяснимое бедствие, потрясшее мир. Вулкан является в рассматриваемой статье символом Италии и, одновременно, символом человеческого страдания, разрушения и мощи природных сил, Божьей кары. Интерпретация природного и, вместе с тем социально-исторического явления дается здесь в широком историко-культурном контексте и на основе романтического мировоззрения. Отсюда понимание извержения Везувия в свете историософии, онтологии, психологии, этики и эстетики, что передается и мотивным комплексом текста (мотив гибели, небесного наказания, невыразимого, борьбы добра и зла), и системой образов (пламя, зола, дым, камни, молния, гром, ливень, луна). Изображением Этно и темой вулкана как «чудесного смещения добра и зла в природе» начинается и переводная повесть «Платон в Сицилии» (1810, № 13), являющаяся переводом фрагмента повести Ж. Ф. Мармонтеля «Les promenades de Platon en Sicilie».

¹ *Сентября 12* — Вероятно, 1810 г.

² *...не видали с 1794 года* — В 1794 г. произошло одно из сильнейших извержений Везувия.

³ *...подобно Плинию и Эмпидоклу* — Плиний Старший, Гай Плиний Секунд (23 или 24—79), римский писатель, учёный и государственный деятель; погиб при извержении Везувия, командуя флотом в Мизене. Эмпедокл из Агригента (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ и врач. Был также политическим деятелем и поэтом. Смерть его окутана легендами. Рассказывают, что он бросился в жерло вулкана Этна, чтобы его чтили как Бога.

⁴ *Отаяно* — Т. е. Оттайано, город у подошвы Везувия.

⁵ *Портичи* — Портичи (Portici), город, порт в Италии, в провинции Неаполь, в области Кампания, на берегу Неаполитанского залива, у подножия вулкана Везувий.

⁶ *...от Резины* — Резина — город у подошвы Везувия.

⁷ *...к святому Януарию* — Святой Януарий — священномученик, почитаемый католической и православной церквями, покровитель Неаполя.

⁸ *...по сороку ладоней* — Ладонь — древнейшая мера длины.

⁹ *предместия Магдалины* — Имеется в виду квартал города Альби, расположенного на юге Франции. Квартал получил такое название по названию приходской церкви.

И. Айзикова

Дорсан и Люция (Повесть госпожи Жанлис)

(«Вольнис, проживши около десяти лет...»)

(С. 386)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 54. № 23. Декабрь. С. 173—206; № 24. Декабрь. С. 253—275 — в рубрике «Словесность. Проза», с заглавием: «Дорсан и Люция. Повесть госпожи Жанлис», с подписью в конце: В.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 2 («Повести»). С. 165—237; Пвп 2. Ч. 2. С. 3—52, с тем же заглавием, без подписи.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее ноября 1810 г.

Источник перевода: *Genlis S. F. Elmire et Volnis, ou Retour en France d'une famille émigré* [Эльмира и Вольнис, или Возвращение во Францию одной эмигрировавшей семьи]. Paris, 1810. Атрибуция: Eichstädt. S. 18.

Основанием для датировки служит письмо М. Т. Каченовского Жуковскому от 19 ноября 1810 г., в котором новый редактор ВЕ сообщает: «Сказку “Дорсан и Люцию” я разобью на две книжки» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1979. Л., 1981. С. 104). Произведение Жуковского представляет собой сокращенный перевод повести Жанлис. Сокращения касаются в основном начала повести, в которой речь идет о возвращении Эльмиры и Вольниса и их детей в родовое имение после эмиграции. В оригинале указывается точная дата их приезда из Лондона после десятилетнего изгнания — 1801 г. К этому времени дети Вольниса Шарль и Жюли достигли уже 15 и 16 лет. Жуковский отказывается в переводе от точной хронологии, пытаясь акцентировать внимание не столько на историческом колорите повести, сколько на ее внутреннем сюжете, связанном с обретением героями новой системы ценностей, касающейся семьи, дома, с поисками их высшего «Я» в новой для них реальности — в ситуации изгнания. Характерный для поэтики сентиментализма образ «чувствительного» героя сливается здесь с образом рефлексирующего героя-рассказчика (Дорсан), который фикси-

рует основные этапы в своем внутреннем преобращении в условиях жизни в эмиграции.

Предисловие Жанлис и примечание Жуковского к повести позволяет отнести ее к такой разновидности жанра, как истинное происшествие. В данном случае можно говорить об автобиографической основе произведения, связанной с эмиграцией во время революции и последующим возвращением Жанлис во Францию в 1803 г. Кроме того, родовое имя братьев Вольниса и Дорсана находилось в Бургундии, родине самой писательницы. Каченовский, называя повесть Жуковского сказкой, вероятно, имеет в виду ее поучительный просветительский пафос. Об этом пишет и П. А. Плетнев, указывая, что чтение переводных повестей Жуковского в ВЕ «может служить лучшею школою образования» (Плетнев П. А. О жизни и сочинениях Жуковского. СПб., 1853. С. 30).

Встречающийся в начале произведения мотив развалин, восходящий к классицистической традиции в предромантической и романтической литературе, получает не только историческую конкретизацию, связанную с событиями Великой французской революции, но и вызывает сходные меланхолические чувства у героев, повествователя и автора (см.: Шенле А. Апология руины в философии истории: провиденциализм и его распад // Новое литературное обозрение. 2009. № 95. С. 24—38). Жизнь героев повести в изгнании, в Англии и Америке, осмысливается через категорию судьбы (фортуны, Провидения, Промысла), что позволяет говорить о связи этого произведения с основной проблематикой балладного творчества поэта. В повести наблюдается сближение литературы и действительности, выражающееся через эстетизацию жизни героев. Так, живущие в сельской местности Дорсан и Люция во многом воспринимают свою жизнь сквозь призму эклог и идиллий Вергилия и Геснера, а Дорсан и господин Т** рассказывают о своем пребывании в изгнании с чувством, «описанным во многих романах». Размышления героев о «добродетели, соединенной с чувствительностью сердца», о способности из самых горестей извлекать «наслаждения прямые» органично вписываются в эстетизирующее жизнестроительство Жуковского, получившую отражение в его художественном творчестве, в его письмах и дневниках (см.: Лебедева О. Б. Принципы романтического жизнестроительства в дневниках В. А. Жуковского // ПССиП. Т. XIII. С. 420—442).

Текст Пвп отличается ослаблением эмфатики, что выразилось в замене восклицательных знаков на другие знаки препинания, повлекшей за собой слияние нескольких предложений в одно. Кроме того, в публикации Пвп многие тире заменены точкой с запятой, в ней появилось несколько дополнительных выделений курсивом, а также имя главной героини везде пишется как «Эльмира» (в ВЕ «Ельмира»).

В 1810 г. в одно время с переводом Жуковского выходят и два других перевода этой повести, один из которых под названием «Эльмира и Вольнис, или Возвращение во Францию одной знатной фамилии во время революции» принадлежит Степану Смирнову (Сотиков В. С. Опыт российской библиографии: В 5 ч. СПб., 1813—1821. Ч. 5. С. 126. № 12726, 12727). О С. И. Смирнове и его переводе см.: Кондаков Ю. Е. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. СПб., 2005.

¹ ...находившуюся в Бургони — Бургундия — область на востоке Франции, административный центр — город Дижон.

² *Гебенное дерево* — дерево рода хурма с черной древесиной, доживает до пятисот лет.

³ *Ты будешь скитаться на земле без пристанища* — «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт. 4:12) — слова Господа, сказанные Каину после убийства им Авеля.

⁴ *Бостон* — город, расположенный на северо-востоке США, на берегу Бостонской бухты залива Массачусетс.

⁵ *Рондо* — (от франц. *rondeau* «круг») — музыкальная форма, в которой неоднократные проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. Является наиболее распространенной музыкальной формой с рефреном.

⁶ *...Штейбельтову сонату* — Штейбельт Даниэль (1765—1823) — немецкий композитор и пианист.

⁷ *...изображение Вергилиевой или Геснеровой пастушки* — Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н.э), знаменитый древнеримский поэт, автор поэм «Буколики», «Георгики», «Энеида». Геснер Саломон (1730—1788), швейцарский («цирихский») поэт и художник, автор сборника «Идиллии» (1756) в прозе.

И. Поплавская

Взыскательность молодой женщины
(«Молодая Амелия д'Освиль, избалованная счастьем...»)
(С. 410)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1810. Ч. 54. № 24. Декабрь. С. 275—289 — в рубрике: «Словесность. Проза», с подписью в конце: В.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 16 декабря 1810 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. La jeune femme exigeante* [«Молодая требовательная женщина»] // *Mercure de France*. 1810. 13 Octobre. P. 415—422. Атрибуция: *Eichstädt*. S. 21.

Перевод входит в ряд так называемых «шутливых» повестей Жуковского. Так, в данном переводе смеховой обработке подвергается традиционная для поэта тема любви, проблема семейных отношений, кульминационная для многих повестей Жуковского сюжетная фаза смерти (мотив смерти здесь редуцирован до обморока главной героини), конфликт приобретает анекдотическую мотивировку.

Перевод в основном сделан довольно точно, сохраняет объем, композицию подлинника, его пафос. Некоторые изменения коснулись лишь уменьшения нравоучительных интонаций нарратива и усиления его юмористического начала. Так, существительное *la flatterie* (лесть), употребляемое Сарразеном для прямой характеристики недостатков героини, везде переведено Жуковским как «ласкательство»; в финале подлинника поступок Клерваля, являющийся двигателем сюжета, назван «небольшим уроком» (*le petit leçon que je t'ai donnée*), в переводе речь идет

о «хитрости», которую герой «почитал для исцеления» жены «необходимую». Если в подлиннике описывается, как на глазах обиженной Амелии несколько раз выступают слезы, то в переводе эта деталь опущена, зато оборот *se trouver mal* (почувствовать себя плохо), передающий состояние героини в кульминационной сцене состязания в любезности между Клервалем и Флоревилем, переведен: «она едва не падает в обморок». Названные особенности перевода особенно заметны в последнем диалоге героини со своим мужем: все реплики Амелии усилены в плане ее резких оценок поведения Флоревила: *insipide* (безвкусный, нелепый) переведено как «несносный», реплики «Est d'un fadeur insupportable», «Dont je suis excédée» — как «Так для меня неприятно!», «Но все его лестные слова для меня ужасно скучны!» т. п. Вместе с тем, отметим корректировку переводчиком названия подлинника, фиксирующего объект изображения в повести: акцент в нем перенесен переводчиком с человека на свойство его характера.

Как указывает В. И. Симанков (Симанков. С. 124), ссылаясь, в свою очередь, на театроведа и переводчика А. А. Гозенпуда (см.: *Шаховской А. А.* Комедии. Стихотворения. Л., 1961. С. 821), данная переводная повесть Жуковского послужила основой для стихотворной комедии кн. А. А. Шаховского «Урок женатым» (Урок женатым: Комедия в одном действии, вольными стихами. Соч. князя А. А. Шаховского, из повести перевода В. А. Жуковского. Представлена в первый раз в Санкт-Петербурге, на Большом театре, в пользу актера г-на Брянского, генваря 29 дня 1823 года. СПб., 1823). Впрочем, сам автор, правда, без называния конкретного источника, в подзаголовке комедии отмечает, что сюжет был заимствован им «из повести перевода В. А. Жуковского». По словам Жуковского, «комедия князя Шаховского написана с легкостью и с небрежностью — главный порок автора, который имеет талант драматический, знает театр, но пишет слишком скоро и много и тем вредит усовершенствованию своего дарования» (Эстетика и критика. С. 317).

И. Айзикова

1811 г.

Мысли о заведении в России Академии Азиатской

(«Понятия об истории человеческого образования...»)

(С. 418)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1811. Ч. 55. № 1. Январь. С. 27—52; № 2. С. 96—120 — в рубрике «Изящные искусства, науки и литература», с пометой в конце: № 1 — «Окончание в следующей книжке. Ж.»; № 2 — Ж. Примечания подписаны: «Пер.<еводчик>».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: декабрь 1810 г.

Источник перевода: <Ouvraroﬀ S.> Projet d'une Académie Asiatique. SPb., 1810.

«Проект Азиатской академии», вышедший без обозначения имени автора в Санкт-Петербурге в 1810 г., был создан Сергеем Семеновичем Уваровым (1786—1855). Эта работа родилась на стыке дипломатических занятий Уварова и его восточных интересов. Широкие познания в гуманитарной сфере позволили Уварову познакомиться и завязать отношения со многими представителями литературы и науки, среди которых были братья А. Ф. Г. и Ф. В. Гумбольдты, И. Г. Гёте, И. Г. Герман, Ф. Шлегель, Ж. де Сталь и др. Вена и Париж, где служил Уваров, были признанными центрами европейского ориентализма, в частности, здесь существовали училища восточных языков, которые были приняты за ориентир в его «Проекте». Бурное развитие востоковедения в Европе, в частности во Франции (школа С. де Саси), подстегнул египетский поход Наполеона (1799), ставший ответом на окончательное утверждение англичан в Индии в конце XVIII — начале XIX в. Обилие материалов о культуре, религии и истории Востока, соединившись с популярными идеями И. Г. Гердера о национальной самобытности, породило целый ряд открытий в области языка, литературы, мифологии, ставших основой новых отраслей науки (сравнительного языкознания, сравнительной мифологии и др.). На Уварова, хорошо знакомого с европейским интеллектуальным увлечением Востоком, наибольшее влияние оказали концепции И. Г. Гердера («Über der Ursprung die Sprache», «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit» и др.), Ф. В. Гумбольдта («Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts») и Ф. Шлегеля («Über die Sprache und Weisheit der Indies»). В особенности глубоко было воздействие последнего, представившего Восток колыбелью индоевропейской цивилизации. Его книгу Уваров всячески пропагандировал: «Я послал Н. М. Карамзину Шлегеля книгу о Индии, которую я вам советую прочитать» (письмо к Жуковскому от 21 апреля 1811 г.; РА. 1871. С. 158).

В 1810 г. Уваров оставил дипломатическую службу, надеясь продолжить карьеру в сфере науки и просвещения, для чего требовалась громкая заявка. Ею и выступил «Проект Азиатской академии», к составлению которого Уваров, не являвшийся профессиональным ориенталистом (на ограниченную его компетентность в вопросе указывал в личном письме автору Ж. де Местр), привлек двух крупнейших специалистов — Генриха Юлия Клапрота и Игнаца Аврелия Фесслера. Г. Ю. Клапрот (1783—1835), известный немецкий ориенталист, был приглашен в 1804 г. адъюнктом по восточным языкам и словесности в Российскую академию наук. В 1805 г. он сопровождал графа Ю. А. Головкина, отправлявшегося послом в Китай, но в связи с неудачей посольства вернулся и, по поручению академии, продолжал свои исследования об азиатских народностях на Кавказе. В Петербурге Клапрот опубликовал «Archiv für die asiatische Literatur, Geschichte und Sprachkunde» (1810). И. А. Фесслер (1756—1839), тоже немец, в прошлом иезуит, в 1784 г. принял кафедру восточных языков и ветхозаветной герменевтики в Львовском университете, потом преподавал в Бреславле и Берлине. В 1809 г. он получил кафедру восточных языков и философии в Санкт-Петербургской духовной Александро-Невской академии. Вскоре после опубликования «Проекта» Фесслер был заподозрен в атеизме и в ходе кампании, закончившейся запрещением деятельности иезуитов в России, был отстранен от должности и отправлен в ссылку. Клапрот готовил для «Проекта» материалы по китайской культуре, а также консультировал о философии, языках и литературе Азии в целом, Фесслер отвечал за сферу «библейской археологии»

(история, культура, язык древних евреев). Уваров выступал генератором концептуальных идей, им была создана основная теоретическая часть работы.

Помимо пропаганды новых научных движений, «Проект» преследовал и идеологические цели. Пребывание в Австрии и Германии времени наполеоновских походов, инициировавших взлет немецкого патриотизма, показало Уварову значимость национально объединяющих идей. Образцом их воплощения в цельную программу народного просвещения выступала деятельность Вильгельма Гумбольдта, дипломата и директора департамента просвещения и исповеданий Пруссии, по инициативе которого в 1810 г. был основан Берлинский университет, где собрались такие светила, как И. Г. Фихте, Ф. Д. Шлейермахер, Б. Г. Нибур, Ф. А. Вольф и др. Несостоявшееся открытие Азиатской академии получило с этой точки зрения эквивалент в основании Санкт-Петербургского педагогического института (затем университета) с отделением восточных языков и литературы (1816—1818 гг.). Подобное соединение дипломатии и науки для Уварова являлось частью модернизационного проекта, отражавшего как ближайшие потребности империи, так и долгосрочные. Актуальным контекстом «Проекта» выступала послеэрфуртовская ориентация на наполеоновскую Францию, интенсивно искавшую выходы на Восток (миссия генерала Гарданна в Персии в 1807—1808 гг.) и желавшую ослабления английского влияния. Те же задачи стояли и перед Россией, только что укрепившейся в Грузии (1801—1804 гг.) и стремившейся усилить свои позиции в Закавказье, а также на Дальнем Востоке (неудачная миссия графа Ю. А. Головкина), где соперником вновь выступала Англия. Изучение азиатских соседей, подготовка специалистов-востоковедов, квалифицированных переводчиков являлось залогом успешного выполнения этих задач и в более отдаленной, стратегической перспективе. В письме к М. М. Сперанскому от 1 декабря 1819 г. Уваров подчеркивал: «Распространение восточных языков должно произвести и распространение здравых понятий об Азии в ее отношении к России. Вот поприще огромное, еще не озаренное лучами разума, целое поле славы неприкосновенной, источник новой национальной политики» (Русская старина. 1896. № 10. С. 188).

Осознавая идеологическую значимость своего «Проекта», Уваров предпринял активные действия по его пропаганде. В частности, он разослал экземпляры ведущим востоковедам и дипломатам Франции и Германии, одним из читателей «Проекта» стал Наполеон, который, сочтя документ политически и практически интересным, предложил обсудить его Академии наук. «Проект» получил одобрение и у Александра I, передавшего через великую княгиню Екатерину Павловну, что он «делает честь автору» (цит. по: *Schmid G. Goethe und Uvarov und ihr Briefwechsel // Russische Revue. XVII Jahrgang. 2 Heft. SPb., 1888. S. 137*).

Способом усилить влияние стали переводы, предпринятые по инициативе Уварова. Немецкий перевод «Проекта» был подготовлен самим автором и опубликован в Санкт-Петербурге (*Ideen zu einer Asiatischen Akademie. S.-Ptsb., 1811*). Русский перевод осуществил Жуковский. 4 декабря 1810 г. он сообщал А. И. Тургеневу: «Проект Уварова я прочитал и прошу тебя сказать ему от меня усердную благодарность за доставление этой книги. (...) Проект будет переведен для “Вестника”, ибо он может составить в нем очень любопытную статью; но замечаний на него делать не стану и не могу, ибо эта часть — как и весьма, весьма многие — неизвестна мне совершенно» (ПЖТ. С. 81, 83). По этим словам можно предполагать, что Уваров просил снабдить перевод замечаниями. Работа над переводом продолжа-

лась в течение декабря 1810 г., при том, что, очевидно, Жуковского просили потопиться, скорее всего, дабы перевод предварил для широкой публики назначение Уварова попечителем Санкт-Петербургского учебного округа в январе 1811 г. Так, отвечая А. И. Тургеневу 22 декабря 1810 г., Жуковский оговаривал: «Проект Уварова напечатан будет в 1 № Генваря месяца. Прежде невозможно» (ПЖТ. С. 88). Перевод был сделан с небольшими сокращениями, в частности было снято краткое посвящение А. К. Разумовскому, министру народного просвещения, непосредственному начальнику и тестю Уварова.

Развивая успех, Уваров в письме Жуковскому от 21 апреля 1811 г. предложил напечатать его отдельной книжкой: «Я, в полном уверении, что Вы, поместив меня в число друзей ваших, тем самым дали мне право считать на ваше расположение, покорно прошу вас позволить перепечатать здесь вновь прекрасный перевод ваш Проекта Азиатской Академии. Ноты и дополнения, которые вам поместить нельзя было, постараемся мы вместе с Тургеневым прибавить. Многие изъявили желание иметь полный перевод на русском языке, и я не могу лучше отвечать требованию их, как познакомить с переводом вашим. Едичия будет хорошая, и я надеюсь, что вы оную довольны будете» (РА. 1871. С. 158). Предложение дополнялось перспективами карьерного роста — местом профессора будущего Санкт-Петербургского педагогического института — и выступало частью уваровского проекта консолидации молодой интеллектуальной элиты империи. 4 мая 1811 г. Жуковский отвечал: «На предлагаемое Вами перепечатание моего перевода соглашаюсь с большим удовольствием: желал бы только, чтобы Вы или Тургенев взяли на себя труд его пересмотреть и в некоторых местах исправить: я переводил поспешно, ибо должен был кончить в срок, для напечатания в первых №№ “Вестника”; я уверен, что в нем довольно найдется ошибок или худых оборотов. Я сам охотно взял бы на себя эту поправку, но не знаю, к которому времени нужно ее кончить; если время терпит, то прошу Вас покорно меня уведомить: я поспешу доставить Вам экземпляр, сколько можно исправленный, и этот труд возьму на себя с большим удовольствием, ибо он дает мне случай сделать что-нибудь Вам приятное; назначьте только срок, к которому все надобно изготовить» (РА. 1877. С. 10—11). Тем самым соглашение было достигнуто, что и подтвердил Уваров в письме от 15 мая 1811 г.: «Я вас сердечно благодарю за позволение перепечатать перевод ваш и за предложение взять на себя то, что вы называете переправку оною. — Доставлением экземпляра переправленного совершенно меня обяжете; срока за тем не назначаю, что я на ваше ко мне дружеское расположение считаю» (РА. 1871. С. 158—159).

Однако повторная публикация так и не состоялась. Причиной тому было изменение официальной политики. В 1811 г. пронаполеоновская ориентация России трансформировалась в антифранцузскую. Финальным актом поворота явилась отставка М. М. Сперанского в марте 1812 г. и назначение А. С. Шишкова государственным секретарем. В этой обстановке космополитические идеи Уварова, ориентированные на французские образцы, становились неактуальными, а практическая цель, открытие Азиатской академии, отступала в тень перед угрозой новой войны и необходимостью подготовки к ней.

Не было однозначным и отношение Жуковского к переводимому тексту. В письме к А. И. Тургеневу от 4 декабря 1810 г. он высказал серьезные сомнения о своевременности и возможных результатах уваровского проекта. Прежде всего его настораживал космополитизм автора, не вполне сочетавшийся с программой

развития отечественной словесности, проводимой ВЕ: «Мне приятно было узнать его (Уварова. — В. К.) со стороны его сведения, и он должен принадлежать, если не ошибаюсь, к числу необыкновенных людей из русских. Жалею только об одном: он разделяет, как видно, со многими несчастье предубеждения против всего русского и лучше соглашается не быть оригинальным на французском языке, нежели унизить талант свой до русского и быть отличным писателем русским (если только НВ он хочет быть писателем, на чтó, кажется, дают ему право его хорошие сведения, между русскими необыкновенные)» (ПЖТ. С. 81). Сама идея Азиатской академии также мыслилась Жуковским преждевременной, поскольку массивному обращению к чужому культурному опыту, собственно восточному или опыту европейского ориентализма, должно предшествовать интенсивное развитие отечественной культуры. Эти приоритеты сформировались еще в рамках Дружеского литературного общества (см. речи Ан. И. Тургенева, А. С. Кайсарова) и реализовались в ходе издания ВЕ, призванного консолидировать молодое поколение отечественных авторов, прежде всего карамзинской ориентации: «Что же касается до самого проекта, то он делает честь изобретателю, но едва ли может быть очень полезен в России. Тогда бы, кажется, могли бы заниматься и с жарким рвением, и с верною пользою рассматриванием литературы азиатской (привлекательной только для любопытства людей ученых), когда бы уже стояли на высокой степени образования; но где же у нас образование и где ученость? (...) Это правда, что мы в сношении с такими народами, которые дошли уже до степени *пресыщения* в образовании умственном и которые необходимо должны требовать *нового* для того, чтобы оживлять умственную свою деятельность; но нам это *сношение* не дает еще права на равенство, и то, чтó может быть весьма полезно для наших соседей, то очень еще бесполезно для нас. В Германии, например, заведение Академии Азиатской привело бы все головы в движение; у нас займет оно несколько образованных голов, и то, вероятно, голов, покрытых немецкими париками, а всем вообще русским покажется странностию; и Академия Азиатская внутри России будет не иное чтó для русских, как храм, в котором совершаются таинства непостижимые и совершенно неприступные для профанов. И я опять уверен, что эта Академия, если она только будет основана, будет одно *пышное имя*, и что литература азиатская не может еще быть привлекательна для такого народа, который не имеет литературы *собственной*, очень поверхностно знаком с литературой французской и никакой идеи не имеет о древней, об английской и немецкой. (...) Мы хотим заводить Академию Азиатскую, а наша Русская Академия еще в колыбели! Не значит ли это, что мы уверены в своей зрелости; а эта уверенность не есть ли губительное препятствие и самой возможности некогда сделаться зрелыми? Вот тебе мое мнение» (ПЖТ. С. 81—82).

В отзыве Жуковского отразилось разное восприятие ориентализма. Для дипломата Уварова была очевидна его связь как с развитием российских колониальных проектов, так и с формированием национальной идеологии. Оба аспекта определялись жесткой конкуренцией европейских держав и в борьбе за колонии, и в отстаивании самостоятельности в ходе наполеоновских войн, вызвавших к жизни идеал национальных государств и инициировавших взлет национализма. Подспудный смысл «Проекта» — перенос конкуренции из Европы на Восток и превращение ее в интеллектуальное состязание, соревнование национальных просветительских программ — Уваров постарался прояснить в «*Pensées sur ce qu'une Grande Puis-*

sance unie à une Grande moderation peut effectuer pour le Bonheur de l'Humanité» (СПб., 1813; написана в конце 1800-х гг.): «Мир еще достаточно обширен... Половина земного шара состоит из пустынь, из диких стран и народов, хотя и составляющих общества, но общества варварские. Могущественные государства станут создателями нового мира (...)» (Р. 102). Средством подобного влияния выступало развитие просвещения, системы образования и науки — в метрополии и интенсивность цивилизаторских мероприятий — в колониях.

Жуковский рассматривал русский ориентализм более локально, в сугубо культурной перспективе, с точки зрения запросов современной широкой публики. В этом Жуковский выступал продолжателем Н. М. Карамзина, который еще в «Московском журнале» начал знакомить широкую публику с переводами «Саконталы», образцами восточной поэзии, путешествиями на Восток. Подобную программу продолжил и ВЕ 1808—1811 гг., где восточные материалы занимали заметное место, отвечая интересу к национальному колориту. Здесь можно было найти и фрагменты путешествий («О нынешней Персии. Извлечение из Оливьева путешествия в Персию» /1808. № 10/, «Воспоминания об Ост-Индии. Из Гафнерова путешествия по берегам Ориксы в Короманделе» /1809, № 20/, «О нравах арабов (Отрывок из Шатобрианова путешествия по Востоку)» /1810. № 10/ и др.), и очерки («О Персии» /1808. № 15/), и, наконец, обширный ряд «восточных» повестей и стихов («Песнь араба над могилою коня» /1810. № 7/, «Аместан и Меледин» А. Сарразена /1811. № 5/). «Мысли о заведении в России Академии азиатской» выступили своеобразным итогом этого «восточного текста», чем в немалой степени был обусловлен внутренний интерес Жуковского к их переводу. И впоследствии «светский» ориентализм, посредником для которого являлась европейская литература в лице И. Г. Гёте («Персидская песня»), Т. Мура («Лалла Рук», «Пери», «Песнь бедуинки»), Ф. Рюккерта («Рустем и Зораб», «Наль и Дамаанти»), был непременной частью творчества Жуковского и круга его интеллектуального внимания. Готовя переводы из восточной литературы он, в том числе, обращался и к сопутствующим источникам, однако главным образом для реконструкции национального колорита и без специальных научных целей (см.: БЖ. II. С. 519—524).

Публикация «Проекта» удостоилась целого ряда отзывов. Достаточно критическую оценку разысканиям Уварова дал А. И. Тургенев. В письме брату Сергею от 7 марта 1817 г. Тургенев констатировал: «Он, кажется, и сам не ясно знает, чего он хочет и какой цели старается достигнуть в отношении к Востоку. Я не примечаю в нем стремления к истинной пользе, а более жадность к бумажному бессмертию и к той славе, которую дают немецкие и французские ученые общества и книгописатели. Он легко переходит от одного образа мыслей к другому и от собственного убеждения к чужому» (ПД. Ф. 309. № 382. Л. 33 об). На это мнение, отразившее желание практических преобразований, а не только теоретических прокламаций, повлияли позднейшие филологические работы Уварова, посвященные древним экзотическим, по мысли Тургенева, авторам и темам — «Essai sur les mystères d'Eleusis» (1812, парижская редакция — 1816), «Nonnos von Panopolis» (1816), «Examen critique de la fable d'Hercule commentée par Dupuis» (1817) и др. Тем не менее в своих публичных выступлениях А. И. Тургенев разделял принципиальные положения уваровского проекта, обращая внимание на необходимость знаний об Азии для развития Российской империи и ее системы просвещения (статья в «Conservateur Impartial»; 1818. № 78 (27 septembre). Р. 338—341).

Как показала М. Л. Майофис, «Проект» Уварова оказал также значительное влияние на А. Н. Оленина и, косвенно, на позицию литераторов оленинского круга, в частности Н. И. Гнедича (*Майофис М. Л. Воззвание к Европе: литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815—1818 годов.* М., 2008. С. 390—400). Отзвуки уваровских идей чувствуются в брошюре А. Н. Оленина «Опыт о приделках к древней статуе Купидона, встегивающего тетиву на лук» (СПб., 1815), исходящей из положения о заимствовании форм древнегреческой культуры с Востока, где они до сих пор сохранились в мало измененном виде, в связи с чем исследование Азии есть аналог изучения классической античности: «Итак, не в ее ли (Азии) пространных областях надлежит искать толкования многим обычаям, упоминаемым классическими авторами встречаемых нами в памятниках художества» (цит. по: Майофис. Указ. соч. С. 392).

В среде немногочисленных профессиональных российских ориенталистов «Проект» Уварова не вызвал особого интереса. По словам И. Ю. Крачковского, «никакого серьезного влияния на развитие нашего востоковедения высказанные здесь мысли не оказали» (*Крачковский И. Ю. Избранные сочинения: В 6 т. М.; Л., 1958. Т. 5. С. 70*), хотя само предложение об учреждении Азиатского общества или академии уже высказывалось (проект Г. Я. Кера) и было назревшей необходимостью, реализовавшейся в начинаниях профессора Казанского университета, а с 1819 г. директора Азиатского музея Х. Д. Френа (1782—1851).

Зарубежная научная аудитория откликнулась на «Проект» более активно. Рецензия на него была опубликована во французском «*Journal de l'Empire*» (11 avril 1811), находившемся под покровительством Наполеона. Отмечая принципиальную плодотворность «Проекта», рецензент указал в то же время на вторичность и дискуссионность высказываемых положений: «Русский камергер, г. Уваров, опубликовал проект Азиатской академии; идея прекрасна, но проект г. Уварова производит очень неопределенное впечатление: автор воображает, вместе со своим другом Фридрихом Шлегелем, что все знания и все языки к нам пришли из Индии». Автор немецкой рецензии, опубликованной в «*Göttingenische Gelehrte Anzeigen*» (23 März 1811. 47 Stück. S. 457—464), подробно изложил содержание брошюры Уварова, признав за автором несомненную заслугу в постановке основной цели — организации системного изучения Востока. Вместе с тем было высказано сомнение в возможности ее достижения в ближайшей перспективе, причем не только в России, но и в науке вообще, поскольку целый ряд областей требует еще длительных кропотливых исследований. Тем не менее Геттингенское ученое общество избрало Уварова своим почетным членом.

Серьезное развитие положения «Проекта» получили в рецепции И. В. Гёте, которому 27 декабря 1810 г. автор лично отправил брошюру с сопроводительным письмом, где главной мыслью было то, что «пришло время и нам принять участие в современном великом движении всех идей, чтобы построить нашу культуру на прочной основе Востока» (цит. по: *Дурылин С. Русские писатели у Гёте в Веймаре // Литературное наследство. М., 1932. Т. 4—6. С. 195*). Встретившись с активным интересом к восточной культуре самого Гёте, эти начинания заслужили не только восторженное одобрение (см. ответное письмо: *Дурылин С. Указ. соч. С. 196—197*), но и продолжение — в виде статьи приват-доцента Иенского университета Фридриха Мейера (1772—1818), прочтенной Гёте и отправленной им Уварову. В статье намечалась схема организации Азиатской академии как научного и учеб-

ного учреждения, излагалась детальная программа предстоящих исследований, предполагалось участие ведущих иностранных специалистов, в том числе для проведения экспедиций (А. Ф. Гумбольдт), создание широкой корреспондентской сети и публикация научных трудов, в первую очередь исследований Ф. Шлегеля по санскриту. В итоге российская Академия должна была стать европейским центром востоковедения, что Ф. Мейер обосновывал особым положением страны, которая «вновь установит почти прерванную духовную связь обеих частей света (...). Тем, чем были когда-то египтяне для народов в пределах Средиземного моря: мостом, по которому азиатская культура достигла до нас, — тем самым, только в еще более высоком значении, Россия может стать для Европы и Азии» (Там же. С. 200). Хотя проект Мейера также остался нереализованным, концепция «России — нового Египта» отозвалась в дальнейших работах Уварова, а мысли последнего стали одним из стимулов работы Гёте над «Западно-восточным диваном».

Развернутого рассмотрения удостоился «Проект» также со стороны Жозефа де Местра, который в письме от 26 ноября 1810 г. (см.: *Степанов М. Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. М., 1937. Т. 29—30. С. 683—694*) изложил автору свой взгляд на предмет. Одобрив его «хорошую дорогу» (критику материалистической философии XVIII в.), де Местр в то же время указал как на идеологически чуждые себе моменты (поиск источников и аналогий христианского учения на Востоке), так и на элементы дилетантского отношения, в частности на снисходительность к «покрытым пылью трудам». Де Местр привел целый ряд положений и научных работ, главным образом ученых-католиков, проигнорированных автором (Хайд, Гербело, Мараччи, Кирхер, Эрпений и др.), и обратил внимание на некритическое заимствование из источников, приводящее к тиражированию ошибочных гипотез (индийская астрономия в изложении Ж. С. Бальи, интерпретация «Законов Ману», неучет сомнительной подлинности «Зенд-Авесты» и т. п.). Особую критику де Местра вызвало почтительное отношение Уварова к «библейской археологии», в том числе идеям И. Г. Гердера, разрушающее священный ореол Библии. Полемика о Гердере переросла в обмен письмами: в утраченном письме от 27 ноября 1810 г. Уваров, принимая многие фактические замечания оппонента по поводу своей работы, отстаивал обоснованность и философское значение гердеровских идей; де Местр 2 декабря выступил с разоблачением религиозной позиции Гердера (Степанов М. Указ. соч. С. 694—698).

«Проект Азиатской академии», переведенный В. А. Жуковским, вызвал значительный резонанс в европейской и русской культуре, акцентировал внимание как на комплексе идеологических вопросов имперского национализма, так и на конкретные проблемы изучения Востока. К этим темам Уваров в развернутом виде вернется в знаменитой речи при инициированном им открытии кафедры восточных языков в Санкт-Петербургском педагогическом институте (1818).

¹ *Juvat integros accedere fontes. Lucret.* — «Приятно приближаться к чистым источникам. Лукреций». Стих из поэмы «О природе вещей» («De rerum natura») Тита Лукреция Кара (99 или 95 — 55 или 51 до н. э.), римского поэта и философа.

² *...успехи англичан в Индии...* — Колониальное завоевание Индии англичанами началось с 1689 г., когда Британская Ост-Индская компания решила завести здесь территориальные владения. Пользуясь ослаблением империи Великих Моголов, она постепенно усиливала свое влияние. После двух войн с французами (1746—

1748 и 1750—1761) и подавления восстания Сирадж-уд-Даула (1756—1757) англичане объявили своим владением Бенгалию и поставили под контроль большую часть земель махараджей. Их сопротивление было подавлено в ходе двух больших войн (1779—1781 и 1802—1804 гг.) и ряда отдельных кампаний. К началу XIX в. под британским протекторатом находилась фактически вся территория Индостана.

³...*открытие священного языка браминов...* — ведического санскрита, литературного языка Древней Индии. Знакомство с ним европейцев началось с XVI в., но главные открытия произошли на рубеже XVIII и XIX вв. благодаря англичанам Чарльзу Уилкинсу (1749—1836), переведшему ряд памятников индийской литературы и написавшему санскритскую грамматику, Уильяму Джонсу (1746—1794), создавшем гипотезу об общем происхождении санскрита, латинского и греческого языков из единого индоевропейского языка, и Генри Томасу Кольбруку (1765—1837), считающемуся основателем индоевропеистики. Фундаментальный смысл изучению санскрита придал Фридрих Шлегель (1772—1829) в своей знаменитой книге «Über die Sprache und Weisheit der Indies» (1808). Франц Бопп (1791—1867), отталкиваясь от этих начинаний, создал школу сравнительного индоевропейского языкознания.

⁴...*сочинений Зороастра...* — Зороастр (Заратуштра, Зардушт) — пророк и маг, основатель иранской религии зороастризма, создатель священной книги «Зендавеста» («Авеста»). «Зендавеста» стала предметом изучения европейских ученых только во второй половине XVIII в. Заслуга в этом принадлежит французскому анкетиллю-Дюперрону (1731—1805). Изданный им в 1771 г. первый французский перевод «Зендавесты» вызвал бурную полемику о подлинности памятника. Ее доказал на основе сопоставления с санскритом датский лингвист Расмус Христиан Раск (1787—1832) в работе «Über das Alter und die Echtheit der Zendsprache» (1826).

⁵...*критическое рассмотрение книг библейских учеными людьми Германии...* — См. далее, примечание 23.

⁶...*учреждение Азиатского общества в Калькуте...* — «Asiatic Society of Bengal» было основано в Калькутте в 1784 г. Уильямом Джонсом с целью изучения культуры и истории Индии и Азии в целом. Оно издавало на английском языке продолжающееся собрание публикаций и исследований «Asiatic researches» (17 т., Калькутта, 1788—1832), которое пользовалось большим авторитетом и отчасти было переведено на французский и немецкий языки.

⁷*Греческие мудрецы искали просвещения в Индии...* — С. С. Уваров следует мыслям Фридриха Шлегеля о месте и роли Древней Индии в развитии европейской культуры, изложенным в работе «Über die Sprache und Weisheit der Indies» (1808).

⁸*С одной стороны, Индия обогащает их мыслями философическими; с другой — Финикия и Египет, колонии Востока, дают им своих символических богов...* — Ср. современный взгляд на проблему восточных влияний в античной Греции: Bernal M. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. New Brunswick: Rutgers University Press, 1987.

⁹...*Магомета, пророка, завоевателя, стихотворца...* — Мохаммед (571—632), пророк-проповедник, основатель мусульманства, объединивший арабские племена и создавший новую империю. Его проповеди-откровения позднее были собраны в «Коране».

¹⁰...*древней Империи, уже готовой к упадку, и новой религии, возникшей на развалинах всех прочих...* — Древняя империя — Восточная Римская империя, Византия; новая

религия — христианство, сменившее прежние культы как официальная религия Римской империи в IV в.

¹¹ *...падение Константинова трона...* — Падение Константинополя и завоевание Византии в 1453 г. турками-османами.

¹² *...крестовые походы...* — военные экспедиции в Палестину и на Ближний Восток в целях защиты Святой земли от мусульман, еретиков и язычников, продолжавшиеся с конца XI в. до конца XIII в.

¹³ *...пребывание мавров в Испании...* — арабско-мусульманское завоевание Пиренейского полуострова началось с 711 г. и продлилось до XIII в.

¹⁴ *...Магомет угрожал погибелью законам и свободе Европы...* — Современный анализ восприятия мусульманства и личности Магомета в Европе см.: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 92—114.

¹⁵ *Открытие мыса Доброй Надежды...* — Мыс Доброй Надежды был открыт в 1486 г. Бартоломео Диасом (1450—1500). В 1497 г. Васко да Гама (1469—1524), обогнув мыс Доброй Надежды, первый из европейцев проник в Индийский океан.

¹⁶ *Жители Востока, обезображенные установлениями варварскими, хотя новыми, сохранили, несмотря на то, некоторые черты древнего своего образа.* — С. С. Уваров следует одному из основных стереотипов европейского ориентализма, противопоставляющему древние культуры Азии современному мусульманскому, варварским, неполноценным и остановившимся в своем развитии. (См.: Саид Э. Указ. соч.) Эти взгляды определили, в частности, предписания М. Л. Магницкого ректору Казанского университета от 17 января 1821 г., согласно которым профессор восточных языков был «обязан показать, как поэзия мусульманских народов поверхностна и отличается одним лишь блеском мыслей и смелостью выражений (...). Представить это профессор должен был с целью показать, что в арабской мудрости нет ничего особенного; что почерпнута она от греков и есть не что иное, как философия Аристотеля, пламенным воображением арабов искаженная. Религии мусульман и их преданий профессор должен коснуться только слегка (...) и вообще ограничиться преподаванием языков арабского и персидского в том единственном отношении, в каком они могут быть полезны России по ее торговым и политическим отношениям» (Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. I) Или: Инструкция директору Казанского университета (17 янв. 1821) // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Царствование Александра I. 1802—1825. 2-е изд. СПб., 1875. Т. 1).

¹⁷ *...унылою песнею выражает он горечь свою о потере любимого коня...* — Отсылка к «Песни араба над могилою коня» (ВЕ. 1810. № 7. С. 190—192), переведенной Жуковским из Ш. Мильвуа (1782—1816). См.: ПССиП. Т. 1. С. 547—548.

¹⁸ *Китай, слишком прославленный и слишком униженный, представляющий нашим глазам разительное зрелище народа, покорившего своих победителей...* — Речь идет о судьбе древней Китайской империи, покоренной монголами в XIII в., но сумевшей быстро ассимилировать завоевателей.

¹⁹ *Труды Палласа...* — Петр-Симон Паллас (1741—1811), немецкий ученый, был приглашен Екатериной II в Россию в качестве адъюнкта Академии наук, предпринял путешествие на Кавказ и в Закаспийский край (1768—1775), в Крым (1793—1794), является автором многочисленных работ по географии, геологии, биологии, этнологии этих регионов.

²⁰ ...*География...* — Иоганн Готлиб Георги (1768—1782), этнограф и путешественник, профессор минералогии при Академии наук, родился в Померании; в 1768 г. сопутствовал П.-С. Палласу в его ученом путешествии, а затем был назначен академией в помощь профессору И. П. Фальку (1727—1773) в Оренбургскую экспедицию. В 1770 г. Георги отправился через Москву в Астрахань, посетил Уральск, берега Урала, кочевья башкиров, обозрел Исетскую провинцию. Присоединившись к Фальку в Омске, вместе с ним через Барабинскую степь отправился на Колыванские серебряные рудники, побывал в Барнауле, на Алтайских рудниках, в Томске и Иркутске. Оттуда Георги отправился на Байкал, снял карту озера, был в Даурии для ознакомления с тамошними рудами и через Екатеринбург и Уфу в 1774 г. возвратился в Санкт-Петербург, где в следующем году издал на немецком языке свои путевые записки.

²¹ ...*Гильденштета...* — Антон Иоанн Гильденштедт (1745—1781), в 1768 г. приглашен в Россию, принят в Академию адъюнктом, затем избран академиком, вместе с П.-С. Палласом и С. Г. Гмелином совершил путешествие на Кавказ (1768—1775), самая известная его работа «*Reisen durch Russland und im caucasischen Gebürge*» (1787—1791; издана П.-С. Палласом).

²² ...*ламою...* — Лама — первоначально буддийский жрец, впоследствии — любой буддийский монах.

²³ *Изучение Библии начато было по новому плану (...)* люди основательного ума признали в Библии священный характер мудрости вдохновенной... — Научное изучение Библии (библейская археология) началось с XVI в. (Caroli Sigonil. De Republica Hebraeorum. Frankfurt, 1585), получило значительное развитие в XVII в. (John Spencer. De legibus Hebraeorum. Santabrigiae, 1685) и стало отдельным направлением во 2-й половине XVIII в., когда появился ряд фундаментальных работ, обнимавших весь круг древнееврейской культуры и истории в систематической обработке. Общим итогом развития этого направления стал исторический взгляд на библейские события, культурные основы, язык и литературные традиции Библии. Значительный вклад в библеистику внесли Роберт Лоуф (1710—1787), Иоганн Давид Михаэлис (1717—1791), Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803), Иоганн Ян (1750—1816), Готфрид Иоганн Эйхгорн (1752—1827), Фридрих Карл Розенмюллер (1768—1835) и др. ученые.

²⁴ *Распространение сведений в языках азиатских должно испровергнуть древнюю систему общей грамматики...* — Подразумевается пересмотр представлений о происхождении языка как феномена человеческой культуры, инициированный открытиями в области сравнительного изучения языков и развитием индоевропеистики.

²⁵ ...*образование переводчиков, необходимых для нас по сношениям нашим с Турциею, Персиею, Грузиею и Китаем...* — К 1810 г. обучением переводчиков с восточных языков (татарского) занималась только соответствующая кафедра Казанского университета, на которую в 1807 г. приглашен был известный ученый Христиан Данилович Френ (1782—1851). С 1825 г. в гимназии при университете были открыты классы персидского и арабского языков, с 1836 г. — турецкого языка, с 1838 г. — китайского, с 1833 г. — монгольского, а с 1842 г. — армянского. Преподавание имело целью подготовить чиновников для дипломатической службы. Благодаря усилиям С. С. Уварова, ставшего попечителем петербургского учебного округа, кафедра восточных языков учреждена была в 1818 г. и в главном педагогическом институте, открытом в 1816 г. в Санкт-Петербурге, для занятия этой кафедры вызваны были

из Парижа ученики Сильвестра де Саси (1758—1838) — Жан Франсуа Деманж и Франц Францевич (Франсуа-Бернар) Шармуа. С преобразованием в 1819 г. главного педагогического института в университет, на историко-филологическом факультете учреждена была кафедра восточной словесности, которую до 1848 г. занимал О. И. Сенковский (1800—1858), преподававший арабский и турецкий языки; персидский язык преподавал Шармуа; в 1845 г., ввиду потребности в образованных чиновниках для Закавказского края и с одобрения того же С. С. Уварова, основаны были еще кафедры армянского, грузинского и татарского языков.

²⁶ *Под словом общая грамматика разумеется здесь происхождение и образование языков...* — К этому фрагменту справедливое замечание сделал Жозеф де Местр (см. выше): «“Общая грамматика” не может означать “происхождение и образование речи”. Это выражение означает исключительно общие законы речи для всех языков» (Степанов М. Указ. соч. С. 689).

²⁷ *Философы утверждают (...), гибельным для преданий священных!..* — С. С. Уваров критикует механистическое отношение к языку, распространенное в философских учениях эпохи Просвещения и тесно связанное с теорией прогресса как перехода от простого и необходимого к сложному и улучшенному (А. Р. Ж. Тюрго, М. Ж. А. Н. Кондорсе).

²⁸ *...истина высшего грамматического совершенства языков по мере их близости к источнику общего происхождения языков...* — Механистической теории происхождения языка, основанной на идее прогресса, С. С. Уваров противопоставляет романтическую концепцию сакрального первоязыка, возникшую как реакция на «открытие» санскрита и успехи индоевропеистики. С точки зрения Фр. Шлегеля, чьи положения излагает автор «Проекта», санскрит является самым совершенным языком, что и позволило ему стать родоначальником более поздних классических языков (древнегреческий, латынь). Современные языки отмечены тем самым печатью не прогресса, а регресса.

²⁹ *Анализ языка знакомит нас с гением нации...* — Уваров развивает идеи И. Г. Гердера («Über der Ursprung die Sprache», 1772) и Ф. В. Гумбольдта (1767—1835), согласно которым язык есть единая энергия народа, исходящая из глубин человеческого существа и пронизывающая все его бытие. В нем сосредотачивается не свершение духовной жизни, но сама эта жизнь. Истинное определение языка, отсюда, может быть только генетическим. Этот комплекс представлений лег в основу романтической философии культуры, распространившись из сферы языка на мифологию, литературу, искусство, религию, политическую теорию и практику. Более поздним отзвуком их явилась и знаменитая уваровская идеологема «православие, самодержавие, народность».

³⁰ *...Пифагора...* — Пифагор, уроженец Самоса (570—490 гг. до н. э.), основатель религиозно-философского учения, проповедовал в итальяском городе Кратоне. Учение Пифагора дошло до нас только в позднейших пересказах.

³¹ *...италийскую школу...* — Итальянская школа — древнейшие философские учения пифагорейцев и элеатиков (Ксенофан, Парменид, Зенон и Мелисс), возникшие в греческих городах-колониях Италии (Великой Греции).

³² *...системой переходения...* — Речь идет об эманациях божества, воплощающегося в отдельных обликах, предметах или существах (аватарах). С данным элементом индуистской мифологии С. С. Уваров сопоставляет пифагорейскую космогонию, по которой мир есть ограниченная сфера, носящаяся в беспредельности. Первона-

чальное единство, возникнув неведомо из чего, втягивает в себя ближайшие части «беспредельности», ограничивая их «силою предела». Вдыхая в себя части «беспредельного», единое образует в себе самом определенное пустое место или определенные промежутки, раздробляющие первоначальное единство на отдельные части — протяженные единицы. Вдыхая беспредельную пустоту, центральное единство рождает из себя ряд небесных сфер и приводит их в движение. В центре мира находится огонь, отделяемый рядом пустых интервалов и промежуточных сфер от крайней сферы, объемлющей вселенную и состоящей из того же огня.

³³ *От Востока заимствовал Пифагор и таинственное свое вдохновение, и правила умеренности, и мысли о переселении душ, и установление общности имений...* — Перечисленные идеи перешли к пифагорейцам от орфиков, более ранней мистической секты, исповедовавшей малоазиатский по происхождению культ Диониса Загрея. По мысли орфиков, поскольку человек создан из злого начала (праха титанов, растерзавших Диониса), то, чтобы вернуться к богу, часть которого в нем все же живет, он должен очиститься и пройти целый ряд подвигов воздержания и очищения. Душа человека, находясь в теле, испытывает рабство; она пребывает в темнице, и чтобы выйти из нее, должна пройти длинный путь освобождения. Естественная смерть, перенося на время душу из царства жизни в подземное царство, освобождает ее лишь на время. Душе предстоит пройти еще долгий «круг необходимости», путем переселения в другие тела, чтобы, наконец, «освободиться от круга и вздохнуть от зла». Вдохновение, о котором упоминает С. С. Уваров, есть прозрение грядущего освобождения, достигаемое участием в дионисийских очистительных ритуалах.

³⁴ *Философия числ известна была Китаю и Индии гораздо прежде, нежели Пифагору...* — Пифагорейцы признавали числа за субстанциональные основы всего сущего и активно разрабатывали математику, воспринимая ее как философско-магическое учение. Основы китайской математики были заложены в учении «И-цзин» (II тыс. до н. э., см. прим. 126), в Древней Индии соответствующие положения развивались в космогонии «Вед» (I тыс. до н. э., см. прим. 116).

³⁵ *Гераклит Ефесский...* — уроженец Эфеса (ок. сер. VI в. до н. э. — ок. 475 г.), основатель новой философской системы. Стихию жизни — вечно изменяющуюся, движущуюся и в то же время неизменную, равную себе в целом мирового процесса — Гераклит представлял себе в виде огня, который не есть, однако, видимое пламя: это скорее сам процесс горения. Все что живет, что изменяется, то горит. Огонь есть душа, оживляющая все, божественная стихия светил небесных, от которой зависят и все изменения земной жизни. Все прочие стихии суть лишь превращения огня, все видимое — лишь угасший, скрытый огонь и в то же время пища вечного огня.

³⁶ *Фалес...* — уроженец Милета, философ VII века до н. э. (предположительно 624—548), один из семи мудрецов Греции, родоначальник греческой философии. Между Милетом и Египтом происходили тогда весьма деятельные торговые сношения, участию в которых Фалес посвятил почти всю первую половину своей жизни. Своим продолжительным пребыванием в Египте по торговым делам он воспользовался для получения от египетских жрецов доступа к высшим тайнам их науки. Фалеса интересовали два тесно связанных между собой вопроса, а именно: из чего все произошло и что составляет сущность бытия. Философ отвечал на эти вопросы следующим образом: вода есть сущность всего, из воды все произошло и в воду все вновь возвращается. Фалес говорил, что Бог есть разум мира. Божественная сила проникает через первичную влажность, приводя ее в движение.

³⁷ ...ионийской школы... — Под ионийской школой понимаются древнейшие философские учения Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена и Анаксагора, возникшие в греческих городах-колониях Ионии (Малой Азии).

³⁸ ...в Индии обожатели Хивы признают началом вещей огонь, а почитатели Вистну воду... — Шива и Вишну — два верховных бога индуизма, составляющих вместе с Брахмой Тримурти (троичное божество). Атрибутом и ипостасью Шивы, бога разрушения, является огонь, бог огня Агни — аватар Шивы. Вишну — верховный бог Тримурти, начало и источник бытия, по генезису — бог Солнца. Вода не является определяющим атрибутом всеобнимающего бога, однако в ряде сюжетов, в частности в мифе о паханье океана, играет важную роль.

³⁹ ...Платона... — Платон (между 430 и 427 гг. — 348 или 347 г. до н. э.), уроженец Афин, ученик Сократа, основатель классической греческой философии. Идеи Платона оказали большое влияние на учения романтиков.

⁴⁰ ...Александрийской школы... — Александрийская школа — учения эллинистических философов, в первую очередь неоплатоников, обосновавшихся в египетской Александрии под покровительством династии Птолемеев (IV—I вв. до н. э.). Школа просуществовала до VII в. н. э., когда Александрия была завоевана арабами.

⁴¹ ...гностики — Создатели ряда религиозно-философских (теософских) систем, которые появились в течение I—II вв. нашей эры и в которых основные положения христианского учения были разработаны в духе языческой (как восточной, так и греческой) философии.

⁴² ...Талмуд... — Основной памятник раввинской письменности, содержащий, кроме религиозно-правовых норм еврейства, все созданное еврейскими учеными в области теософии, этики, поэзии, истории, экзегетики, естествознания, математики и медицины приблизительно от 300 г. до н. э. до 500 г. н. э.

⁴³ ...первая философия христианская... — Учения «отцов церкви» I—VI вв. (Климента Александрийского, Оригена, Евсевия Кесарийского, Тертуллиана, Иеронима Стридонского, Августина Блаженного и др.), придавшие философское обоснование христианской догматике, в основном развивая идеи платонизма.

⁴⁴ ...философия возобновилась у арабов, которые, в свою очередь, по следам Аристотеля и Платона, хотели соединить ее с исламом... — Учение Аристотеля (384—322 до н. э.), придавшее целостный и систематический вид классической греческой философии, проникло на Восток через посредничество Александрийской школы и получило развитие в римский период. После падения Римской империи и завоевания Александрии в 640 г. арабами, сочинения Аристотеля оказали глубокое влияние на развитие арабской философии. На первых порах с влиянием Аристотеля соперничал появившийся одновременно в арабских извлечениях неоплатонизм (Альфарabi, первая половина X в.). Только у Авиценны (XI в.) аристотелизм стал основой метафизики. В конце XII в. благодаря латинским переводам комментариев Авиценны он получил доступ на Запад и там существенным образом определил учение схоластиков, в особенности Альберта Великого (1193—1280). На основе учения Аристотеля самый знаменитый из арабских философов Аверроэс (1126—1198), живший в мавританской Испании, создал систему, близкую к пантеизму.

⁴⁵ Система перехождения (...) переменилась впоследствии в пантеизм... — Эволюция, о которой ведет речь С. С. Уваров, — переход от древней ведической религии к более позднему индуизму (пантеизму у Уварова) и буддизму (материализму — из-за его отрицания богов). В этот же ряд Уваров ставит зороастризм, религию древнего

Ирана, основанную на равенстве двух начал — благого бога Ормузда и бога-разрушителя Аримана.

⁴⁶ *Если бы можно было распределить системы на классы, сочинения на школы, а все предания соединить в один состав...* — С. С. Уваров пытается применить к истории философии идеи просветительской естественнонаучной систематики (Ж. Б. Ламарка, Э. Ж. Сент-Илера, Ж. Кювье), выступившие методологической почвой для развития сравнительного языкознания и новой философии культуры.

⁴⁷ *Драма «Сакунтала»...* — Пьеса Калидасы, драматурга Древней Индии, предположительно VI в. до н. э. «Узнанная Шакунтала», или просто «Шакунтала» (Sakuntalâ), образчик патаки, или высшей драмы. Это история взаимной любви царя Душьянты и Шакунталы, дочери нимфы Менака и мудреца Вишвамитры. Отрывки из пьесы перевел Н. М. Карамзин для «Московского журнала» (1791—1792).

⁴⁸ *Фирдоуси...* — Фирдоуси Абуль-Касим Тусский (ок. 935 — после 1020 г.), знаменитый персидский поэт; создатель эпической поэмы «Шахнаме» («Книги царей»). В 1846—1847 гг. вставную поэму из «Шахнаме» под названием «Рустем и Зораб» перевел В. А. Жуковский по немецкому переложению Фридриха Рюккерта (1788—1866).

⁴⁹ *Хафиз...* — Хафиз (Шемс-Эддин-Мухаммед), знаменитый персидский поэт (1300—1389), прославившийся как автор газелей (лирических стихов), соединивших суфийский мистицизм и гедонистическую жизненную философию.

⁵⁰ *...арабские сказки не все еще напечатаны...* — Подразумевается знаменитый арабский сборник сказок «Тысяча и одна ночь», который не в полном виде и в переложении А. Галлана стал известен Европе (1704—1717) и был переведен на многие языки. Перевод и публикация сказок были продолжены Жаком Казотом и Шависом (1784—1793). Этот перевод породил волну увлечения Востоком и выступил одним из истоков литературного ориентализма. Образы арабских сказок активно использовались и в русской литературе, особенно в рамках «восточной повести» («Каиб» И. А. Крылова и др.)

⁵¹ *...одна только Азия может для нас объяснить историю переселения народов...* — История переселения народов — один из наиболее сложных вопросов европейской историографии. Начало его относят обыкновенно ко времени вторжения (около 372 г.) гуннов в Европу. Но передвижения германских племен и попытки некоторых из них приобрести себе земли для поселения в римских провинциях начались гораздо ранее (со II в. до н. э.). Напор германцев на римские границы продолжался непрерывно, пока в V в. они не проникли в самые отдаленные провинции (в Испанию, даже в Африку) и не образовали новых государств. Причинами, вызвавшими передвижение целых племен, были напор других народов и недостаток земли при постоянно увеличивавшемся населении. Прежде других прорвали восточную римскую границу и завладели частью римской территории алеманны. За ними последовали бургунды, жившие прежде в районе Познани, готы (остготы и вестготы), обитавшие первоначально по нижнему течению Вислы. Около 372 г. кочевое племя гуннов покорило алан, живших в степях крайнего юго-востока Европы, и вместе с ними двинулось на Запад во главе с Аттилой. К одной племенной группе с готами принадлежали вандалы, которые, вместе с аланами и свевами, заняли Испанию. В 568 г. в Италии появились лангобарды (с севера Германии) и завоевали постепенно большую часть полуострова. В начале VI века племя баваров, жившее в Богемии, переселилось на юго-запад, в Придунайскую область. Между

тем восточная половина Германии (до Эльбы), значительно опустевшая с уходом большей части живших там германских племен, постепенно была занята славянами. С приходом в VII в. болгар в страну по нижнему Дунаю, а в IX в. — венгров в область среднего Дуная, закончились так долго длившиеся передвижения племен, и Европа приняла этнографически, в главных чертах, тот вид, который она представляет в настоящее время. Результатом описанных событий было образование, через смешение различных (главным образом, римского и германского) элементов, новых народностей (французы, итальянцы, испанцы и др.), новых языков, а также политических, общественных, правовых форм, определивших развитие средневековой Европы.

⁵² *Первые астрономические наблюдения (...) в Европе...* — См. современный взгляд на эволюцию астрономии в древнем мире: *Замаровский В.* Астрономия древних обществ. М.: Наука, 2002.

⁵³ *Бальи...* — Жан Сильвен Бальи (1736—1793), известный французский писатель, астроном и общественный деятель, член Академии наук, президент первого французского национального собрания 1789 г. и мэр Парижа. Автор «Histoire de l'astronomie» (5 т., 1775—1787), первые тома которой посвящены древней астрономии.

⁵⁴ *...Фререт...* — Никола Фрере (1688—1749), известный французский ученый, автор работ по хронологии, истории, географии, философии, мифологии, археологии, истории религий, языкознанию древнего мира. Труды Фрере напечатаны в большинстве своем в «Mémoires de l'Académie des sciences et belles lettres» (т. VI—XLVII).

⁵⁵ *...Масуди...* — Масуди Алий-Абуль-Хасан (конец IX в. — 956 г.), арабский географ и историк, родом из северной Аравии. Много путешествовал, оставил, в том числе, записки об Индии и Китае.

⁵⁶ *...Браме...* — Брахма, центральное божество ведической религии, источник и творец сущего, в индуизме — созидательная ипостась Тримурти, задающая ритм и форму существования вселенной.

⁵⁷ *...Птолемей...* — Клавдий Птолемей (пер. пол. II в. н. э.), греческий геометр, астроном и физик из Александрии. Важнейшим из его произведений является «Великое собрание», известное также под именем «Алмагест». В этом сочинении, состоящем из 13 книг, излагаются представления об астрономии и математике.

⁵⁸ *Гномон известен был браминам...* — Гномон — самый древний астрономический инструмент, служивший для определения высоты Солнца и направления истинного меридиана. Брамины — жрецы Брахмы (Брамы).

⁵⁹ *Последователи Платона овладели всеми пределами человеческого знания, и школа его впоследствии принимала на себя множество образов разных...* — Идеи Платона были разработаны учеными Александрийской школы и получили новое развитие у неоплатоников III—V вв. н. э. (Ориген, Лонгин, Плотин, Порфирий, Ямблих, Прокл и др.), оказавших глубокое влияние на раннюю христианскую философию.

⁶⁰ *Мы, напротив, утомленные кровопролитиями, во имя человеческого ума учиненными...* — Подразумевается Великая французская революция 1789—1793 гг., вдохновленная идеями просветителей XVIII в., и последующие наполеоновские войны.

⁶¹ *И те же причины, которые направляли вперед стремления платонизма (надобно заметить, что и нынешние идеи более или менее ими напитаны)...* — Платонизм

оказал глубокое воздействие на пантеистические учения XVII — начала XIX вв. (Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц, Ф. В. Шеллинг), в том числе на романтическую философию Новалиса и Фр. Шлегеля.

⁶² *...филология подразделяема на несколько отраслей: этимологию, грамматику, критику...* — С. С. Уваров в подразделении филологии следует за современными новациями: развитием сравнительно-исторического языкознания (генеалогия, этимология языков) и становлением критического подхода к памятникам словесности (например, теория Ф.-А. Вольфа об авторстве «Илиады» и «Одиссеи»).

⁶³ *К ней принадлежит и литература еврейская (...)* священные книги... — С. С. Уваров, следуя за подходами библейской археологии XVIII в., исключает из сферы еврейской литературы все памятники средневекового и новоевропейского периода, находящиеся вне христианской традиции.

⁶⁴ *Литература индийская (...)* ближе всех прочих к понятиям начальным... — Архаизирующая изоляция древнеиндийской литературы в противовес средневековой и новой арабо-мусульманской — характерная черта европейского ориентализма, сказавшаяся и в работе Фр. Шлегеля «Über die Sprache und Weisheit der Indies» (1808), идеям которой следует С. С. Уваров.

⁶⁵ *...в Египте именовали их Озиридом, Гором, Тифоном...* — Осирис — бог производительных сил природы, царь загробного мира; Гор — бог света, сын Осириса. Тифон в египетской мифологии не упоминается, возможно, С. С. Уваров подразумевал Тота, бога мудрости, счета и письма, или Сета, бога мертвых. В целом же приведенный здесь и далее ряд аналогий троичному божеству индуизма сугубо произволен, так же как и выдвигание на первый план «боготворения света».

⁶⁶ *...боги Орфеевы суть также не иное что, как силы природы, получившие образ вещественный...* — Орфей — мифический поэт фракийского происхождения, основатель вероучения и обрядности особого дионисийского культа. Распространившийся в первых десятилетиях VI в. культ Диониса вызвал целую литературу, произведения которой составителями сборников при Писистрате были приписаны Орфею. Дионис, действительно, является богом умирающей и воскресающей природы, однако орфические боги — скорее отвлеченные понятия, нежели антропоморфное воплощение сил природы.

⁶⁷ *...Пана...* — В мифологии орфиков Пан, божество стад, лесов и полей с сильными хтоническими чертами, не является главным богом, эту роль выполняет Дионис. Образ Пана, как существа, все объединяющего, возникает в античной философии, в частности у неоплатоников. В целом же уваровская интерпретация орфической космогонии по аналогии с индуистской и египетской вполне произвольна.

⁶⁸ *Система его понятий о богочтении (...)* общее происхождение их кажется несомненным... — Стремление к поиску аналогий в области мифологии народов индоевропейского происхождения, стимулом к которому выступило развитие сравнительного языкознания, в первой половине XIX в. породило особую школу — мифологическую (Я. и В. Гримм, А. Кун, М. Мюллер, А. Н. Афанасьев и др.).

⁶⁹ *Индиец Ману (...)* внимания английских ученых... — Ману — в ведической мифологии первопредок, прародитель людей. «Сочинения Ману» — сборник законов, известный в индийской литературе под названием «Манавадхармашастра» («Законник Ману»). Сборник составлен в первые века н. э. и по своему содержанию представляет систематизацию религиозных обрядов. Первый перевод на англий-

ский язык осуществил Уильям Джонс в 1794 г., с него были сделаны переводы на другие европейские языки. «Священный законодатель», о котором говорит С. С. Уваров, — Моисей. Сопоставление Ману с Моисеем осуществлялось Френсисом Вильфордом (ум. 1822) и Томасом Маурисом (1754—1824). Монотеистические тенденции, приписываемые С. С. Уваровым Ману, есть принадлежность ведической космогонии: рождение мира из первосущества Праджапати (или Брахмы).

⁷⁰ ...*лексикон самскритской...* — Первым европейцем, напечатавшим грамматику санскрита, был миссионер Паоло Санкто-Бартоломео (1790). В начале XIX в. лучшей считалась грамматика Чарльза Уилкинса (1808). Первый словарь санскрита выпустил в Калькутте в 1819 г. Горас Гайман Уилсон.

⁷¹ ...*господина Лангля...* — Луи-Матье Лангль (1763—1824) французский филолог, лингвист, переводчик, библиотекарь и востоковед. Был хранителем восточных рукописей в Национальной библиотеке в наполеоновской Франции и занимал такую же должность в переименованной Библиотеке-дю-Руа после падения империи.

⁷² ...*с буквами девангарийскими и бенгальскими и с первыми правилами бенгальской грамматики...* — Деванагари (санскр. *Devanāgarī*) — название письма, употребительного для санскрита. В основе своей это письмо силлабическое, т. е. каждое отдельное начертание выражает не одиночный звук, а целый слог, причем существенной частью слога считается согласный или группа согласных, предшествующих гласному. Санскритская азбука очень богата буквами и знаками (до 48), число же употребительных лигатур, т. е. связных сочетаний двух или нескольких букв, составляющих один слог, доходит до 200. Бенгальское письмо (для бенгали и ассамского языка, а также санскрита) относится к поздним, сложилось к XV в., но в самых ранних формах засвидетельствовано с XI в. Бенгальский язык (бенгали) — один из индийских языков, приобретший литературные формы к X—XII вв. Значительно отличается по грамматическому строю от санскрита.

⁷³ ...*господин Клапрот...* — Генрих-Юлий Клапрот (1783—1835), известный европейский ориенталист. Был приглашен адъюнктом в российскую Академию наук. В 1805 г. сопровождал графа Ю. А. Головкина, отправлявшегося послом в Китай, но с границы вернулся и, по поручению академии, продолжал свои исследования об азиатских народностях на Кавказе. В 1812 г. оставил русскую службу. В Петербурге опубликовал «Archiv für die asiatische Literatur, Geschichte und Sprachkunde» (1810).

⁷⁴ *Верные летописи китайские простираются за 2 000 до Р. Х. ...* — Речь идет об исторических сочинениях, обширном пласте китайской литературы. Среди них различают официальные истории династий, летописи, род прагматических историй (цзи-ши-бэнь-мо), частные истории, смешанные истории, сборники указов и докладов, биографии, извлечения из различных исторических сочинений, сводные летописи различных государств (цзай-цзи) и хронологические сочинения, образцом для официальных историй династий послужило первое сочинение в этом роде — «Ши-цзи» или «Исторические записки» Сы-ма-цяня, обнимающие период времени с императора Хуан-ди (2697—2597 до н. э.) до императора Ву-ди (140—86 гг. до н. э.).

⁷⁵ ...*систему Дуалкома, родившуюся в VIII веке, систему, о которой ничего не сказали нам иезуиты...* — Это замечание Уварова связано с европейской рецепцией «И-цзин» («Книги перемен») (см. прим. 126), окончательно сложившейся к VIII—VII вв. до н. э. Первые сведения о ней появились в предисловии книги, вышедшей

в Париже в 1681 г.: «Confuzius Sinarum philosophus, seu scientia Sinensis latine exposita studio et opera Patrum Societatis Jesu iussu Ludovici Magni e bibliotheca regia in lucem produit P. Couplet». В 1736 г. был сделан первый перевод «Книги перемен» на латынь иезуитским миссионером Регисом (J. B. Regis), который в свою очередь базировался на более ранних работах миссионеров: переводчика Жозефа де Майя (Joseph-Anna-Marie de Moyria de Mailla) и интерпретатора Петра дю Тартра (Petrus Vincentius du Tartre). Перевод опубликован не был, однако «И-цзин» заинтересовался Г. В. Лейбниц (1646—1716), который нашел в начертаниях царя Фу-си зашифрованную бинарную систему счисления (дуалком) и основанную на ней систему логики (философии) (см. подробнее: *Лейбниц Г. В.* Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе исчисления. М., 2005). Гипотезу Лейбница в течение XVIII в. попытались развить Франц А. Книттель, Иоганн Генрих Газенбальд и Иоганн Томас Хаупт. См. подробнее: *Щуцкий Ю. К.* Китайская классическая «Книга перемен». М., 1993 (Ч. I. Появление и изучение «Книги перемен» в Европе).

⁷⁶ *Дабы учение китайского языка сделать менее трудным, надлежало бы прежде всего издать лексикон...* — Эта проблема была решена только во второй половине XIX в. благодаря применению новой системы, названной профессором Василием Павловичем Васильевым (1818—1990) графической. По ней в 1891 г. отпечатан словарь профессора Дмитрия Алексеевича Пещурова (1833—1913). До того употреблялись очень несовершенные, основанные на алфавитном или силлабическом принципе словари.

⁷⁷ ...гг. *Липовцов, Каменской, Новоселов, Владыкин...* — 1) Степан Васильевич Липовцов (1770—1841), синолог, корреспондент Академии наук по отделу восточной литературы и древностей. Составил «Каталог китайским и японским книгам, в библиотеке Императорской академии наук хранящимся» (СПб., 1818; с П. Каменским) и «Маньчжурский словарь» (СПб., 1838). 2) Петр Каменский (в миру Павел Иванович) — миссионер (1765—1845). Окончил курс в духовной семинарии; был «студентом» восьмой пекинской миссии. Когда она вернулась в Россию (1808), был определен в министерство иностранных дел переводчиком. В 1818 г. он был назначен начальником 10-й миссии в Китай, для чего принял монашество и возведен в сан архимандрита. Эта миссия вернулась в 1831 г. Труды Каменского о Китае не были опубликованы. 3) Василий Семенович Новоселов (1772—1824) — переводчик маньчжурского и китайского языков, начал службу в Троицкосавской пограничной канцелярии толмачом, в 1794—1808 гг. переводчик российской духовной миссии в Пекине. В 1809—1824 гг. — штатный переводчик маньчжурского языка в Главном Управлении Восточной Сибири. Перевел с китайского «Лифаньюань цзэ-ли» («Уложение Палаты по делам зависимых владений»). 4) Антон Григорьевич Владыкин (1757—1812), синолог. Обучался в семинарии Троицко-Сергиевской лавры и был отправлен с миссией в Пекин, где находился около 16 лет (по 1794 г.). По возвращении в Россию был назначен переводчиком с китайского и маньчжурского языков при государственной коллегии иностранных дел. Из его не изданных трудов известны «Манджурская азбука», «Грамматика и лексикон маньчжурского языка» и «Древняя история мунгальская».

⁷⁸ *...перевод важнейших сочинений китайских с оригинального языка на манджурский язык...* — Маньчжурский язык — одно из наречий тунгусского языка. В ближайшем родстве находится с монгольским языком. Название получил от первоначального названия царствовавшей в Китае в 1644—1911 гг. Цинской династии — Маньчжу,

или Мань-чжоу. В этот период он являлся официальным языком империи, наряду с китайским. Маньчжурское письмо было заимствовано в XVI в. у монголов, является фонемным, то есть более простым для овладения и близким европейцам. Памятники, написанные маньчжурским письмом, известны с XVII в.

⁷⁹ ...он скоро издаст каталог сочинений китайских и маньчжурских, находящихся в С. Петербургской Академии наук... — Этот проект остался нереализованным. Каталог китайских, в том числе маньчжурских, и японских книг составил С. В. Липовцов (см. выше).

⁸⁰ Система фатализма, погубительная для воображения, уничтожает и живость рассудка... — С. С. Уваров воспроизводит распространенный стереотип европейского ориентализма о доминирующей роли предопределения в исламе. Фатализм — принадлежность многих религиозно-мифологических систем (Доля у славян, Фатум у древних греков и римлян, христианское предопределение у Августина Блаженного и Жана Кальвина).

⁸¹ Мистическая секта суфисов... — Суфизм — понятие, означающее собою в западно-исламском мире мистицизм, а в восточно-исламском (персидском и персидско-индийском) — пантеистическую теософию, близкую и к индийскому буддизму, и к греческому неоплатонизму. Получил развитие с VIII в. н. э. Во всех областях духовной жизни мусульманского востока, в религиозной догматике, философии, этике, литературе, поэзии, суфизм имел самое сильное влияние, а в Персии определил основы культуры.

⁸² Основателем этой секты, вначале именовавшемся Ухангисами... — Действительным основателем суфизма, первоначально в виде исламского аскетизма-монашества, является Аби-л-Хасан Йасар (Хасан Басрийский, 642—728), крупнейший богослов раннего ислама.

⁸³ ...Джелаледдин... — Джелаледдин Руми (1207—1263), величайший мистический поэт Персии и всего мусульманского мира, «соловей созерцательной жизни». Прозвище «Руми» значит «Малоазийский». Основал особую секту «Мевлеви», т. е. вращающихся. Свое название мевлеви получили от мистической пляски, которую они исполняют под заунывные звуки лютни и бубна, распевая при этом священные гимны. Газели Джелаледдина собраны в его «Диване», с течением времени многие из них подверглись такой переработке, что могут считаться продуктом народного творчества.

⁸⁴ ...Джами... — Абд-эр-рахман Нур-эд-дин ибн Ахмед, по прозвищу Джами (1414—1492) — знаменитый персидский поэт и ученый. После Джами осталось до 40 произведений самого разнообразного содержания, в том числе обширный трактат о суфизме «Нефехат-аль-онс». Лирические стихотворения заключаются в трех его «Диванах».

⁸⁵ Сочинения Моисея, Книга Иова и Песни Пророков... — 1) Сочинения Моисея — Пятикнижие, общее название для первых пяти книг Библии: Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Второзакония. Моисей — в преданиях иудаизма и христианства первый пророк Яхве и основатель его религии, законодатель, религиозный наставник и политический вождь еврейских племен в т. н. исходе из Египта в Ханаан (Палестину); 2) Книга Иова — часть Ветхого Завета, занимающая в русской Библии место между книгою Эсфирь и Псалтирью. Приписывалась разным авторам, в том числе Соломону. Имеет более древнее происхождение, нежели Пятикнижие. Написана высокопоэтическим языком и читается как поэма, которая не раз и пере-

водилась в стихотворной форме (в русской литературе — перевод Федора Николаевича Глинки 1861 г.); 3) Пророки — библейский термин для обозначения особых провозвестников воли Божией как в Ветхом, так и в Новом Завете. Из пророческой литературы составились пророческие книги, из которых четыре принадлежат великим пророкам Исае, Иеремии, Иезекиилю и Даниилу и двенадцать малым пророкам — Осии, Иоилу, Амосу, Авдию, Ионе, Михею, Науму, Аввакуму, Софонии, Аггею, Захарии и Малахии. Книги пророков отличались высокой патетичностью и лиризмом. Приведенное ниже двустишие «*Святой восторг живет на бреге Иордана...*» ср. со стихами из стихотворения Жуковского «Библия» (1814): «Так, там, где цвел Эдем, на бреге Иордана, / На гордых высотах сенистого Ливана / Живет восторг...».

⁸⁶ ...г. доктором Фесслером... — Игнац-Аврелий Фесслер (1756—1839), немецкий писатель и русский общественный деятель, иезуит. Выступив в 1784 г. из ордена, принял кафедру восточных языков и ветхозаветной герменевтики в Львовском университете. С 1788 г. жил в Бреславле, с 1796 — в Берлине. В 1809 г. получил кафедру восточных языков и философии в Санкт-Петербургской духовной Александро-Невской академии; служил также в комиссии составления законов. Был лишен кафедры по обвинению в атеизме и выслан в Вольск (Саратовской губ.). В Саратове (с 1813 г.) и Петербурге (с 1833 г.) принимал деятельное участие в делах немецких общин.

⁸⁷ ...Книги Бытия... — Первая книга канона священных ветхозаветных книг. Название (в греческом переводе: γένεσις — происхождение, начало; отсюда — славянское «бытие») получила от своего содержания: происхождение мира (1 глава); происхождение человека (2 глава); история допотопного и послепотопного человечества до патриарха Авраама (4—11 главы); начало истории еврейского народа в истории его патриархов: Авраама (12—25 главы), Исаака (26—35 главы) и Иакова (37—50 главы); оканчивается книга повествованием о смерти Иакова и его сына, Иосифа, в Египте. Книга Бытия составляет одно целое с книгами Исход, Левит, Числа и Второзаконие, и служит для них введением, объясняя происхождение народа еврейского.

⁸⁸ ...Книги Притчей... — Ветхозаветная библейская книга, помещающаяся в русской Библии вслед за Псалтирью и состоящая из 31 главы. Приписывается Соломону. По своему характеру это книга поэтически-дидактическая, в поэтических формах излагающая религиозно-философские истины с вытекающими из них нравственными положениями.

⁸⁹ ...Книги Екклесиаста... — Название ветхозаветной библейской книги, которая в русской Библии помещается среди Соломоновых книг. Название это есть греческий перевод еврейского слова «когелет» (от кагал), что означает проповедника в собрании; поэтому и в русской Библии книга называется «Екклесиаст, или Проповедник». Автором ее с глубокой древности признается, как в еврейском, так и в христианском предании, царь Соломон.

⁹⁰ ...Второзакония... — Название пятой книги Моисея, впервые данное ей греческими переводчиками Библии, потому что она представляет собой как бы «повторения законов», изложенных в предшествующих ей книгах. По времени написания принадлежит к последним дням жизни Моисея, когда, чувствуя близость кончины, он счел необходимым сделать общий обзор всего пережитого в течение последних сорока лет. С этой целью он созвал старейшин народа и изложил все те законы и откровения, которые даны были ему в течение пережитых лет странствования.

⁹¹ ...*Деворы*... — Девора — пророчица и судья. Победа иудеев над предводителем хананеев Сисаром, после которой Израиль наслаждался миром и благоденствием в течение сорока лет, воспета была ею в восторженном гимне, представляющем один из замечательнейших образчиков ветхозаветной поэзии.

⁹² ...*Суд*. ... — Книга Судей — историческая книга Ветхого Завета, содержит в себе изображение религиозно-нравственного и политического состояния евреев во времена от смерти Иисуса Навина до первосвященника Или или до смерти Самсона, т. е. ок. 400 лет (1550—1150 гг. до н. э.). Иудейское предание называет составителем этой книги Самуила.

⁹³ *Псалмы*... — Псалтирь, или Книга псалмов, одна из библейских книг Ветхого Завета, состоит из 150, а по греческой (и славянской) Библии из 151 песни или псалма, которые имеют своим содержанием благочестивые излияния восторженного сердца при разных испытаниях жизни. Автором этой книги обыкновенно считают царя Давида. Псалмы, чрезвычайно популярные в древнерусской литературе, перелagались почти всеми русскими поэтами XVIII в., из поэтов XIX в. А. С. Хомяковым, Ф. Н. Глинкой, Н. М. Языковым и др.

⁹⁴ ...*доктора Фесслера «Еврейская Антология»*... — Fessler I. A. Anthologia hebraica. Wratislawiae, 1787.

⁹⁵ ...*грузинцы и армяне имеют собственные летописи*... — Грузинская письменность возникла вскоре после принятия христианства в IV в. н. э., ее частью являлись и исторические хроники, возводящие события к царю Фарнавазу (около III в. до н. э.). Армянские исторические сочинения возникли тоже вскоре после принятия христианства в IV в. н. э. и ведут отсчет от Зиновия Глака, который написал историю распространения христианства в армянской провинции Тароне.

⁹⁶ ...*летопись грузинская* (...) взята была из Мцхетского и Гелатийского монастыря Вахтангом V, сыном Левана... — Произведение, о котором идет речь, — «Картлис цховреба» (дословно: «Жизнь грузин», «Житие Картлии»), сборник грузинских летописей, созданный к VIII в. и постепенно (до XIX в.) пополнявшийся. В XVIII в. царём Вахтангом VI (С. С. Уваров ошибся, назвав Вахтанга V) была создана комиссия «учёных мужей» под руководством Бери Эгнаташвили, которая на основе «Картлис цховреба» составила историю Грузии XIV—XVIII вв. Монастырь Самтавро (Мцхетский монастырь) расположен при слиянии рек Мтквари и Арагви (г. Мцхета), основан в IV в. Гелатский монастырь находится недалеко от Кутаиси, на берегу реки Цкалцителли. Был основан грузинским царем Давидом Возобновителем (1089—1125), в первой половине XVI в. обращен в епископскую кафедру. Имел большое собрание книжных памятников. Вахтанг VI (1675—1737) — царь Картли, писатель и законодатель, занимает выдающееся место среди культурных деятелей Грузии. Леван — царевич, сын Вахтанга V (1618—1675) и отец Вахтанга VI.

⁹⁷ *Хотя Тибет и соединен посредством ламаизма с Индией и внутреннюю Азию, но он совершенно отделен от них и языком, и словесностью*... — Ламаизм — самая распространенная из поздних версий буддизма, исповедуемая в Тибете, Монголии и бывшей Джунгарии (ныне китайская провинция Син-цзян), а в России — бурятами, тунгусами и калмыками. Тибетский язык принадлежит к семье китайско-тибетских и близок к бирманскому. Литература на тибетском языке возникает с принятием буддизма. Древнейшие памятники относятся к VII в. и долгое время имеют переводной и религиозный характер (перевод «Трипитаки»). В дальнейшем сфера тибетской литературы расширяется за счет исторических сочинений (Бутон, XIV в.), художественной словесности (стихи Миларайпы, VI Далай-ламы, XVII в.).

⁹⁸...литеры тибетские, вылитые в Лейпциге Брейткопфом... — Тибетское письмо — одна из древних форм санскритского алфавита деванагари, было заимствовано из Индии в VII в. Иоганн Готлиб Эмануил Брейткопф (1719—1794) — известный типограф и книгопродавец, содержавший в Лейпциге словолитню, типографию, книжный и музыкальный магазин.

⁹⁹...маленького Тибето-монгольского словаря, продающегося в Кяхте... — Кяхта — русский приграничный город в Забайкалье, в XVIII и до середины XIX в. — единственный центр торговли с Китаем. Очевидно, имеется в виду словарь «Источник мудрецов» («Мэргэд гарахын орон нэрэгэй тогтосон даяг»), который был составлен в 1741—1742 гг. под руководством Джанкья ролби Дордже.

¹⁰⁰Тибетская азбука (*alphabetum Tibetanum*), изданная в Риме отцом Георги (1762)... — Отец Георг — Антонио Агостино Георги (1711—1797), итальянский востоковед и библиотекарь, автор ряда работ о восточных языках и культуре.

¹⁰¹...отца Павлина де С. Бартелеми, изданную под титулом: «*De veteribus Indis dissertatio*». Romae 1795... — Паолоино да Сан Бартоломео (1748—1806) — австрийский кармелитский миссионер и востоковед. В 1776—1789 гг. был миссионером в Индии, посвятил себя изучению санскрита и одним из первых обратил внимание на его сходство с индоевропейскими языками, разделяя и пропагандируя идеи Уильяма Джонса. Автор многих востоковедческих трудов, в том числе «*De veteribus Indis dissertatio in qua cavillationes auctoris Alphabeti Tibetani castigantur*» (Roma, 1795).

¹⁰²...поучительный пример Курта де Жебеленя... — Антуан Курт де Жебелен (1719—1784), известный масон, автор «*Monde primitif, analysee compare avec le monde moderne*» (Paris, 1773), где стремился восстановить образ жизни и мировосприятия первобытных цивилизаций. Де Жебелен выдвинул теорию универсальной грамматики и единого для всех народов мира разговорного языка и письменности.

¹⁰³...греческий язык, который забыт в наших новоучрежденных гимназиях ... — В XVIII в. гимназии в России были единичными. В начале XIX в. образовалось министерство народного просвещения, возникли учебные округа и гимназии стали одной из основных форм подготовки к получению университетского образования. 24 января 1803 г. Александр I утвердил «предварительные правила народного просвещения», по которым гимназии или губернские училища, образованные из главных народных училищ, открывались в каждом губернском городе. В плане преподавания гимназий фигурировал только латинский язык.

¹⁰⁴...славный Гейне (смотр. Геттингенский журнал)... — Христиан Готтлоб Гейне (1729—1812), немецкий филолог и археолог, профессор Геттингенского университета, специалист по древней мифологии, археологии и истории, комментатор древних классиков, по преимуществу поэтов. Геттингенский журнал — «*Göttingische Gelehrte Anzeigen*».

¹⁰⁵...греческий язык (...) с историками и географами Восточной Империи... — Греческий язык — язык византийского православного богослужения, однако православная церковь допускала употребление и местных языков. Таким языком выступил для славян древнеболгарский (церковнославянский), на который в IX в. были переведены библейские и богослужebные книги. Греческий и славянские языки, в том числе древнеболгарский, относятся к разным языковым семьям и, вопреки мнению Х. Г. Гейне, имеют разное происхождение, однако славянский алфавит, составленный Кириллом и Мефодием, заимствовал графические формы из греческого. Византийская историческая и географическая литература была хорошо

известна в Древней Руси, первая в виде переводных хроник (Георгия Амартола, Иоанна Малалы и др.) и сводных хронографов («Хронограф по великому изложению» и др.), вторая — в виде космографий («Христианская топография» Козьмы Индикоплова).

¹⁰⁶ *Братья Зосимы...* — Иван Зосима (1752—1771), Анастасий Зосима (1754—1828), Николай Зосима (1758—1842), Феодосий Зосима (1760—1793), Зой Зосима (1764—1828), Михаил Зосима (1766—1809) — греческие купцы, благотворители и меценаты, содействовавшие развитию греческой культуры и образования. Почти все греческие книги, напечатанные в Европе в конце XVIII — начале XIX в., были изданы на их средства. Зой Павлович Зосима еще в юности переселился в Москву, знаменит рядом крупных пожертвований в пользу многих научных обществ и учебных заведений России, собрал обширную коллекцию монет и медалей, которая считалась одной из лучших в Европе.

¹⁰⁷ *...с нотами и объяснениями ученого Кораля; таковы: Исократ, Полиен, Еллиан и Плутарх, ныне издаваемый...* — Адамантиос Кораис (1748—1833), один из известных эллинистов, родом из Смирны. Главной его целью было очищение новогреческого языка от примесей, вошедших в него за время турецкого господства. Кораис издал многих древних классиков с ценными филологическими введениями, писал отдельные статьи по языку и новогреческой литературе, принимал участие в политической борьбе за свободу Греции. Исократ — афинский ритор (436—338 гг. до н. э.). Полиен (Полиэн) — грекоязычный писатель II в. (македонского происхождения). Элиан — греческий военный писатель, жил в Риме при императорах Траяне и Адриане около 98—138 гг. н. э. Плутарх (ок. 46—120 гг.) — знаменитый греческий историк-биограф и моралист, был очень популярен как образец гражданского писателя.

¹⁰⁸ *...книги, изданные господином Маттеем, московским профессором греческого языка...* — Христиан Фридрих Маттеи (1744—1811), филолог, родом из Саксонии; образование получил в Лейпцигском университете. С 1772 до 1784 г. служил в Москве ректором университетских гимназий и профессором словесных наук. С 1785 по 1803 г. занимал на родине разные ученые должности; был, между прочим, ректором Виттенбергского университета. В 1803 г. был вызван куратором Московского университета М. Н. Муравьевым для занятия кафедры греческой и римской словесности и оставался в этой должности до своей смерти. Деятельность его по классической палеографии была очень плодотворна благодаря богатому собранию рукописей, которое он нашел в Москве в библиотеке святейшего синода и синодальной типографии. Кроме двух каталогов (1776 и 1780), он издал в Москве Новый Завет на греческом и латинском языках с примечаниями, в Мейссене — Послания св. апостола Павла, в Лейпциге — греческое Евангелие по чину константинопольской церкви. Общее описание библиотек святейшего синода и синодальной типографии Маттеи издал в 1805 г. в Лейпциге («*Accurata codicum Graecorum manuscriptorum Bibliothecarum Mosquensium Sanctissimae Synodi notitia et recensio*»).

¹⁰⁹ *...Орибазий, отрывки из Руфа...* — Орибазий из Пергама (326—403 гг. н. э.) — знаменитый врач, составитель обширного труда «*Συναγωγή ιατρικαί*», представляющего систематическую компиляцию греческих врачей, начиная с Гиппократов. Из него были сделаны некоторые извлечения, дошедшие до нас в латинском переводе. Руф — по преданию, апостол из числа семидесяти, сын Симона Кириянина, несшего крест Спасителя. Обыкновенно его принимают за одно лицо с Руфом,

упоминаемым апостолом Павлом в послании к Римлянам. По преданию, Руф был епископом в Фивах, в Элладе.

¹¹⁰ В Синодальной же библиотеке нашел господин Матей и Гомеров «Гимн Церере»... — Рукопись была открыта в 1777 г. Х. Ф. Маттеи и опубликована в 1780 г. немецким филологом Давидом Рункеном (1723—1798) в Лейдене («Homeri Hymnus in Cereret, nunc primum editus a Davide Ruhnkenio»). Гимн Деметре — V гомеровский гимн, по языку относится к VII в. до н. э., приписывался Гомеру по свидетельству Фукидида (около 460—400 гг. до н. э.).

¹¹¹ ...наименование Медичисов новой Греции, данное им от генерала Парда де Фигероа... — Медичи — знаменитая флорентийская фамилия. Составив себе большое состояние коммерческими операциями, Медичи с середины XIV в. принимали деятельное участие в политической борьбе и выступали покровителями наук и искусств, способствуя взлету итальянского Возрождения. Пардо де Фигероа — испанский королевский министр, посол короля Жозефа Бонапарта в Петербурге в 1810—1812 гг.

¹¹² Система (...) почитателей Будги... — Буддизм — религия, исповедуемая в Индии, Цейлоне, Индокитае, Непале, Тибете, Китае и Японии. Развилась из философского и нравственного учения Сидхартхи Гаутамы, Будды (VI или V в. до н. э.). Сказания о Будде и его учении собраны в «Трипитаке». Основные положения буддизма выражаются в «четырёх великих истинах»: 1) несчастья всегда сопутствуют жизни, бесконечной цепи перерождений; 2) источник всего бытия (вернее, его иллюзии, майи) — в страстях, задающих карму; 3) выйти за пределы цепи перерождений можно, только уничтожив страсти; 4) достигнуть этого можно особым путем, поднимаясь по ступеням в Нирвану (ничто, небытие, пустоту).

¹¹³ Гитопадеша, или басни Вистну-Сармы... — Гитопадеша (Hitopadesa — добрый совет, полезное наставление) — сборник древнеиндийских басен и изречений, частично являющийся извлечением из «Панчатантры». Брахман Вишнусарман (Vishnu-sarman) — создатель «Панчатантры» (ок. конца V в. н. э.), сборника басен и рассказов, предназначенного для наставления царских детей.

¹¹⁴ Махабхарата, поэма на войну Курусов и Пандавов... — Махабхарата (Mahābhārata, великая война Бхарата) — древняя эпическая поэма Индии. Посвящена борьбе из-за города Гастинапура двух княжеских родов, принадлежащих к так называемой Лунной династии — Кауравов (род Куру) и Пандавов (род Пуру). Изложению этой фабулы, однако, отведена только пятая часть всей поэмы. Остальное место занимают вставные эпизоды, среди которых к более поздним принадлежат «Бхагавад-гита» и эпизод о Нале и Дамаянти.

¹¹⁵ История и география Индостана... — Индостан (Hindustan), по-персидски «страна реки Инд», так называли персидские авторы всю Индию, в XVIII—XIX вв. европейцы этим именем обозначали страну к северу от гор Виндия, т. е. материковую часть Индии.

¹¹⁶ Перевод Вед... — Веды (санскрит. *veda* — знание, от индоевроп. корня *veid* — знать, видеть) — священные книги древних индусов, представляющие собрание гимнов, богослужебных формул и объяснений к разным особенностям ритуала. Они распадаются на четыре сборника: Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа, составленных в разное время на протяжении I тыс. до н. э.

¹¹⁷ Перевод драм (...) Джая-Девы... — Джаядева (Jayadeva) — индийский поэт, живший в XII в. по н. э., по всей вероятности, в Бенгалии; автор знаменитой

лирико-драматической поэмы «Гитаговинда» (песня о пастухе), содержание которой — история любви Кришны к прекрасной пастушке Радхе.

¹¹⁸ *Сан-дзу-гвинн...* — Сань цзы цзин («Троесловный канон» / «Троесловие») — приписываемое Ван Ин-линю (1223—1296) и созданное в форме классического канона неоконфуцианское пропедевтическое произведение энциклопедического содержания (по определению А. Л. Леонтьева (1716—1786) — «букварь китайский», Н. Я. Бичурина (Иакинфа, 1777—1853) — «краткая детская энциклопедия»).

¹¹⁹ *Сиен-дзу-вун...* — Цянь цзы вэнь («Тысячесловный текст» / «Словесное узорочье из тысячи иероглифов» / «Тысячесловник» / «Тысячесловие») — самый древний основополагающий пропедевтический трактат традиционного образования, который положено было заучивать наизусть в самом начале обучения. Был создан между 507 и 521 известным литератором и высокопоставленным чиновником Чжоу Син-сы (ум. 521), который по повелению императора Лян У-ди из 1000 различных и разрозненных иероглифов, начертанных великим каллиграфом Ван Си-чжи (321—379), составил мироописательное «словесное узорочье» (вэнь) в жанре «древних стихов» (гу ши).

¹²⁰ *Чтение Кун-дзу (Конфуция)...* — Кун-Фу-Цзы (K'ung-fu-tzu, Khoung-fon-tseou) — китайское имя знаменитого философа, переделанное католическими миссионерами в Confucius. Собственно имя К. — Чжун-ни, а малое имя или кличка — Цю (так называет он сам себя). Родился он в 551 г. до н. э., в средней части провинции Шань-дун. В зрелом возрасте он странствовал из удела в удел, но умер на родине в 479 г. Основатель нравственно-религиозного учения, принявшего позднее религиозный характер. Центральная мысль учения — выработка нравственных основ «правильной жизни», примиряющей интересы личности и общества путем строгого соблюдения социальных норм и ритуалов.

¹²¹ *Сан-гуо-дши...* — «История Трех царств» («Саньго чжи»). См. далее, примеч. 130.

¹²² *Разговоры из Синн-вун-ки-мунна...* — Маньчжуры (см. примеч. 77), вследствие своей малочисленности в Китае, стали забывать родной язык. Тогда императоры Кан-си (1662—1722) и Цянь-лун (1736—1796), помимо забот об очищении родного языка от китайских элементов, приняли меры, чтобы маньчжуры хоть в зрелом возрасте могли научиться родному языку. Первое дошедшее до нас руководство для изучения маньчжурского языка было издано в 1682 г. китайцем Хун-чжао (Ци-лянь) в виде словаря («Дай-цин-цюань-шу») с приложением кратких грамматических заметок. Такие же заметки были напечатаны и в других, изданных впоследствии словарях. Отдельно изданы они в 1727 г., под заглавием «Цин-вэнь-ци-мэн» («Руководство к маньчжурскому языку»). Для упражнения в этих заметках помещен особый отдел, заключающий в себе маньчжурско-китайские разговоры.

¹²³ *Синн-ли-дшенн-и...* — Маньчжурское сочинение о философической системе династии Сунн, написанное в 1718 г.

¹²⁴ *Разбор религии {...} Лао-гиунна и Фое...* — Лао-гиунн — Лао-Цзы (см. примеч. 127). Фое — Будда (кит. Фо). См. примеч. 112.

¹²⁵ *...Зеркала языков Манджурского и Китайского, изданного по повелению Императора Киенн-Лунна...* — См. выше примеч. 122.

¹²⁶ *Перевод И-гвинна...* — «И-цзин» («Книга перемен»), первая из классических книг китайского Пятикнижия. В основании ее лежат восемь «гуа», т. е. сочетаний прямой линии — и раздвоенной — —, изобретения древнего императора Фу-си (ок. 3322 г. до н. э.). Собственно составителем «И-цзина» считается чжоусский

писатель Вэнь-ван (XII до н. э.), который из 8 гуа выработал 64 диаграммы и дал каждой из них толкование. Окончательная обработка «И-цзина» приписывается Конфуцию.

¹²⁷ *Перевод сочинений Лао-дзу...* — Лао-Цзы (род. в 604 г. до н. э. — время смерти неизвестно) — китайский философ, историограф или библиотекарь при императорском дворе Чжоусской династии. Создатель «Дао-дэ-цзин», трактата о пути и добродетели, в котором изложил основные мысли даосизма о дао (пути): трансформация всего сущего является естественным порядком вещей и абсолютная бездеятельность, достижения чистоты и покоя есть способ постижения и органичного слияния с дао.

¹²⁸ *Перевод сочинений Джу-гги...* — Чжу-си или Чжу-цзы (1130—1200) — последователь Конфуция, воззрения которого, в частности толкования на классические книги, имеют общеобязательную силу. Наиболее известно его сочинение «Цзя-ли» («Домашние церемонии»), содержащее в себе изложение обрядов, совершаемых при достижении совершеннолетия, свадьбах, похоронах и жертвоприношениях в честь предков.

¹²⁹ *Лексикон литературы и истории, подобный Гербелотову...* — Бартеlemi Гербело (1625—1695), французский ориенталист, профессор сирийского языка в Коллеж де Франс, автор «Bibliothèque orientale» (Paris, 1697).

¹³⁰ *История трех царств (...)* в то же время... — После падения первой Ханьской династии и утверждения второй начался распад империи, приведший в 184—280 гг. н. э. к образованию трех царств (Вэй, У и Шу) и их борьбе между собой. «История Трех царств» («Саньго чжи») была создана Чэнь Шоу (233—297) и в следующем веке прокомментирована Пэй Сунь-чжи (372—451). Позднее на основе ее и народных сказаний возникла популярная средневековая историческая эпопея «Троецарствии».

¹³¹ *...династии Сунн ...* — Династия Сун утвердилась в Китае в 960 г. н. э. и просуществовала до 1279 г., способствовала воссоединению страны и культурно-экономическому росту, боролась против монгольского завоевания.

¹³² *...Императора Канн-гги...* — Кан-си (1654—1722) — китайский император маньчжурской династии Дай-цин (Цинской), способствовал сближению двух народов при сохранении исторической и культурной памяти маньчжуров.

¹³³ *...объяснены Гуа (символы) Фу-гги...* — См. выше примеч. 126.

¹³⁴ *Выписки из Корана...* — Коран — священная книга мусульман, собрание рассказов, поучений, правил, законов и т. п., сообщенных Мухаммеду Аллахом через архангела Гавриила. Канонический вид Коран приобрел при халифе Османе (644—654), распорядившемся составить единую обязательную для всех мусульман его редакцию.

¹³⁵ *Гафири...* — Харири Абу-Мохаммед эль-Касим (1054—1122), составитель арабских макама, считающихся неподражаемым образцом классического арабского языка по стилю и лексике. Макама — род новелл, в которых рассказчик, говоря в первом лице, передает приключения вымышленных лиц. По форме представляют рифмованную прозу, перемешанную с настоящими стихами.

¹³⁶ *Арабская Хрестоматия, соч. С. Саси...* — Сильвестр де Саси (1758—1838), знаменитый французский ориенталист. Благодаря его преподавательской деятельности Париж в течение десятилетий являлся главным центром Европы по изучению восточных языков. Был учредителем азиатского общества в Париже (1822)

и первым его президентом. «Chrestomathie arabe» (1806, 2 изд., 1826) на протяжении всего XIX в. считалась одним из основных пособий для изучения арабской литературы, несмотря на произвольный характер отбора и интерпретации текстов. См.: Саид Э. Указ. соч. С. 191—201.

¹³⁷ *Абулфеда...* — Эмад-эддин-Измаил Абулфеда (1273—1331), знаменитый писатель из курдского княжеского рода Эюбидов. Оставил несколько замечательных сочинений на арабском языке, в числе их летописи, доведенные до 1328 г. (изданы под заглавием «Annales moslemici», 1789—1794). Писал также по географии, юридическим предметам, математике, логике и медицине.

¹³⁸ *Гулистан Са’ди...* — Саади (Са’дий, Ибн-Мослиходдин Ширазский; 1181—1291) — величайший поэт-моралист Персии, представитель практического, житейского суфизма. «Гулистан» («Розовый сад», 1258) — стихотворно-прозаический сборник, считается венцом творений Саади.

¹³⁹ *Эмир Кгонд...* — Амир Хосров Дехлеви (1253—1325), родом иранец, считается лучшим персидским поэтом Индии (писал и по-индустански): он посвятил четыре эпические поэмы прославлению делийских государей, написал подражание «Пятнадцати» Низами, а также прочувствованные лирические газели суфийского характера.

¹⁴⁰ *Гафиц...* — Хафиз (см. примеч. 49).

¹⁴¹ *...сочин. Фирдоуси...* — Фирдоуси (см. примеч. 48).

¹⁴² *Гумайюн Намег...* — «Гумаюн-намэ» («Царственная книга») — так назвал Али Челеби Васи (1541—1600), поэт и историк, свой перевод на турецкий язык персидского сочинения «Anvâri Johaili», которое является изложением басен Бидпая (см. далее).

¹⁴³ *Фадзули...* — Мухаммад Сулейман Оглы Физули, турецкий поэт (1494—1556), живший преимущественно в Багдаде, родом курд. Самое популярное его произведение — поэма «Лейли и Меджнун».

¹⁴⁴ *Абул Гази Багадур Хан...* — Абдул-гази Багадур-хан (1605—1665), хивинский хан из потомков Чингисхана. Известен своей «Историей турок» в 9 кн., написанной на восточно-турецком (джагатайском) наречии и содержащей в себе историю Чингисханидов.

¹⁴⁵ *...по плану Г. Валья...* — Пьетро делла Валле (1586—1652), итальянский путешественник и географ, в 1614 г. предпринял путешествие на Восток, посетил Турцию, Египет, Аравию, Персию и Индию, провел в этих странах около 11 лет, подробно изучил их и составил впоследствии описание своих странствований (4 т., Рим, 1650; перевод на немецкий язык: Женева, 1674; на французский: Париж, 1745).

¹⁴⁶ *Перевод Арабского Лексикона, называемого Камус...* — «Камус» (океан), большой толковый словарь арабского языка, составлен Аль-Фируцабади (Маджеддином Абу-т-Тахир Мохаммедом Шираским, 1329—1414), пользовался и на Востоке, и у арабистов самым широким распространением.

¹⁴⁷ *Перевод Персидского Лексикона Ферганг Джигангуири...* — «Фарханге (Словарь) Джахангири» Хусейна Инджу (XVII в.), основоположника персидской нормативной грамматики.

¹⁴⁸ *Перевод Турецкого Лексикона Ван-Кули...* — Ван-Кули (Магомед ибн-Мустафа, ум. 1593), турецкий лексикограф, известен переводом на турецкий язык знаменитого арабского словаря Джоугери «Сихах-эль-Логат» (пер. изд. — 1728).

¹⁴⁹ *Перевод и издание исторической книги: Тарих Табари, соч. Абу Джафаром...* — Абу Джафар Мухаммед бен-Джерир (838—923), известный писатель; получил свое

прозвание от провинции Табаристан, откуда он был родом. В арабской исторической литературе он занимает одно из первых мест, как «отец мусульманской историографии». Составил обширный труд по всеобщей истории, компилятивного характера «Тарихи-ль-мулюк», т. е. «История царей» (полное заглавие «История царей и их жизнь, рождений пророков и известий об них, и того, что случилось во время каждого из них»).

¹⁵⁰ *Полный перевод Арабской географии Едризия и Ибн-Гаукаля...* — Абу-Абдаллах Мухаммед, аль-Шефир аль-Идриси, также аль-Эдриси (1100 — год смерти неизвестен), арабский географ, происходил из рода Идрисидов, по поручению короля Сицилии Рожера II составил в 1154 г. обширный географический труд, служивший объяснительным текстом к семи серебряным картам, посвященным тому же Рожеру II. Ибн-Хаукаль, Абдул-Касим-Мухамед, арабский путешественник X в., родом из Багдада; путешествовал более 30 лет по разным странам и написал «Книгу путей и государств», в которой можно найти сведения о хазарах, болгарях, славянах и русах.

¹⁵¹ *Перевод и издание Равдат-есс-зафы Емир-Кгонда...* — Мирхонд (полное имя — Мухаммед ибн Хонд-шах ибн Махмуд) (1433—1498) — иранский историк, один из представителей школы придворных историографов, существовавшей при дворах тимуридов. Принадлежал к кружку министра и известного поэта Алишера Навои (1441—1501), который покровительствовал многим литераторам, в том числе Мирхонду. По предложению Навои Мирхонд начал работу по составлению обширной всеобщей истории, названной «'Раузат ас-сафа фи сират ал-анбия ва-л-мулюк ва-л-хулафа» («Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и халифов»). Его труд остался незаконченным и был завершён его внуком Хондемиром (1475 — около 1536), который очевидно написал значительную часть седьмого тома (том этот охватывает события после смерти Мирхонда), и, вероятно, редактировал и другие части.

¹⁵² *Тарих Гоцидег Гамед-Улла Альказуиния...* — Хамдаллах ибн Абу Бекр Мостоуфи (Мостоуфи) Казвини (ок. 1281/1282 — ок. 1344 или 1350) — иранский историк, географ и поэт. Известен как автор исторического сочинения «Тарих-и гузидэ» («Избранная история»).

¹⁵³ *Перевод летописей Отманов...* — Осман (1288—1326), хан турок-сельджуков, в 1299 г. принял титул султана. По его имени турки стали называться османскими турками, или османами. Потомки Османа покорили Византию и создали т. н. «Великую Порту», Османскую (Оттоманскую) империю, просуществовавшую до начала XX в.

¹⁵⁴ *Перевод Дербенд-Намега...* — «Дербенд-Наме» («Книга о Дербенте») — история г. Дербента; содержит также ценные сведения по истории Дагестана и Сев.-Вост. Азербайджана в V—XI вв. Ее составитель неизвестен. Самый древний известный азербайджанский вариант истории (конец XVII в.) принадлежит перу Мухаммеда Аваби Акташи, составившего его на основе списка на персидском языке. Один из списков «Дербенд-Наме» правитель Дербента Имам-Кули бек преподнес Петру I в 1722 г. во время Персидского похода. Г.-Ю. Клапрот в 1829 г. перевел фрагменты «Дербенд-Наме» со своими комментариями.

¹⁵⁵ *...Джалиевой поэмы Юсуф-ва-зелика и Нидзамиевой Хозрува-Ширин...* — Главную поэтическую славу Джами (см. выше) составляет «седмерица» поэм, под заглавием «Хефт овренг», т. е. «Семь звезд Большой Медведицы». К ним относятся и поэма «Юсоф о Зoleyxa» — одно из наиболее изящных произведений персидской словес-

ности (у суфиев любовь Золейхи к Иосифу означает любовь твари к своему Создателю). Низами, шейх Низамоддин Абу-Мохеммед Ильяс ибн-Юсоф (1141—1203), знаменитый персидский поэт. Главную славу его составили пять стихотворных эпических произведений, известных под общим названием «Пятерицы» («Хемсе»). В их состав входит поэма «Хосров и Ширина» (1180). Любовь сасанидского царя Первиза к армянской княжне Ширине должна аллегорически изображать стремление души человеческой к Богу.

¹⁵⁶ ...*Пильпаевых* басен... — Бидпай (испорч. Пилпай, от индусск. *Bidhâpati*), ему приписывается собрание басен и рассказов «Калила и Димна», которое уже больше полутора тысяч лет распространено среди всех народов Востока и Запада в многочисленных переводах и переделках.

¹⁵⁷ ...*Китаб-бенк-ва-бадега*... — Поэма «Бенг ве баде» («Опиум и вино») Физули (см. примеч. 143), в которой он предостерегает здоровых людей, которые в поисках убежища от зла и неприятностей могли бы обратиться к опиуму.

¹⁵⁸ *Фатерова ручная книга Еврейского языка*... — Руководство по изучению еврейского языка И.-С. Фатера «*Simonis Lexicon manual*». Иоганн-Северин Фатер (1771—1826), немецкий филолог и богослов, был профессором в Иене и Галле. Упомянутые далее труды (еврейская грамматика, комментарии к «Пятикнижию») вошли в кн.: *Handbuch der hebräischen, syrischen, chaldäischen und arabischen Grammatik*. Leipzig 1801; *Commentar über den Pentateuch*. Halle, 1802—1806 (в 3 т.).

¹⁵⁹ ...с *комментарием Шультенса*... — Альбрехт Шультенс (1686—1750), знаменитый ориенталист, был профессором восточных языков и проповедником университета в Франекере. В своих исследованиях он сравнивал с еврейским родственные ему языки, особенно арабский, и изобрел более легкий метод для изучения этого языка.

¹⁶⁰ *Cocceji Lexicon et commentaries sermonis Hebraici et Chaldaici, ed. Schulzii*... — *Lexicon et commentarius sermonis Hebraici et Chaldaici*, post J. Cocceium et J. H. Maium, longe quam antehac correctius et emendatius edidit Joh. Ch. Fried. Schulz. Lipsiae, 1777. 2 vols.

¹⁶¹ *Schultensii Origines, linguae Hebraicae*... — Грамматика еврейского языка А. Шультенса «*Origines hebraicae*» (Франекер, 1724; Лейден, 1733); «*Institutiones ad fundamenta linguae hebraicae*» (Лейден, 1737).

¹⁶² *Michaelis supplementa in omnia lexica Hebraica*... — Иоанн Давид Михаэлис (1717—1791), профессор в Геттингене, где он в 1751 г. основал ученое общество. Один из первых вел изучение еврейского языка параллельно с другими восточными языками. Упомянутая книга: «*Supplementa ad Lexica Hebraica*» (Rosenbusch, 1792).

¹⁶³ *Hetzel histoire de langue Hébraïque*... — имеется в виду *Histoire de la langue et de la littérature hébraïque* (Halle, 1776) И. В. Ф. фон Гецеля (1754—1824), немецкий ориенталист, теолог, лингвист, владел арабским, древнееврейским, греческим, латинским языками, автор многих комментариев к Библии, а также трудов по грамматике и истории названных языков.

¹⁶⁴ *Hammelfelds biblische Geographie*... — Ysbrand van Hamelsveldt. *Biblische Geographie*. Aus dem Holländischen. Hamburg, 1793. 3 vol.

¹⁶⁵ *Warnekros Hebräische Alterthümer*... — Warnekros H.E. *Entwurf der hebräischen Alterthümer*. Erstausg. Greifswald, 1782. Генрих Эренфрид Варнекрос (1752—1807) — немецкий филолог, профессор университета Грайфсвальда.

¹⁶⁶ *Bauers Geschichte der hebraischen Nation*... — *Handbuch der Geschichte der hebräischen Nation: von ihrer Entstehung bis zur Zerstörung ihres Staats*. Nürnberg und Altdorf:

J. C. Monath und J. F. Kussler, 1800—1804. 2 vol. Георг Лоренц Бауер (1755—1806) немецкий теолог, профессор богословия в Нюрнберге, Альтдорфе, и Гейдельберге, исходил из принципа, что Библия должна интерпретироваться как исторический памятник, а не с точки зрения теологических доктрин.

¹⁶⁷ *Spencer de legibus Hebræorum. D. Michaelis, Mosaisches Recht...* — John Spencer. De legibus Hebraeorum. Cantabrigiae, 1685. Джон Спенсер (1630—1693) — английский священник, богослов и гебраист, один из зачинателей сравнительного изучения религий. «Gründliche Erklärung die Mosaischen Rechts» (Frankfurt, 1770—1780) И. Д. Михаэлиса (см. примеч. 163).

¹⁶⁸ *Lowth Prelectiones de Poesie Hebræorum, cum epimetrio Michaelis...* — Lowth R. Prelectiones de sacra poesi Hebraeorum, London, 1753. Немецкий перевод сделал И. Д. Михаэлис (Göttingen, 1770). Роберт Лоуф (1710—1787) — епископ, профессор поэзии Оксфордского университета, один из первых начавших изучение Библии как художественного текста. Об И. Д. Михаэлисе см. примеч. 163.

¹⁶⁹ *Wolfii Bibliotheca Hebraica. Bartolucci Bibliotheca Rabbinica...* — Wolf J. C. Bibliothecae Hebraeae. Hamburg: Liebezeit, 1715—1723. 4 vol. Иоганн Кристоф Вольф (1683—1739) — немецкий теолог и востоковед, обладатель большой библиотеки. Bibliotheca magna rabbinica: de scriptoribus, & scriptis hebraicis, ordine alphabetico hebraicè, & latinè digestis. Rome: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1675—1693. 4 vol. Составители антологии — Джулио Бартолоцци (1613—1687), итальянский гебраист и библиограф (т. 1—3), и Карло Джузеппе Имбонати (ум. 1697), ученик Бартолоцци (т. 4).

¹⁷⁰ *Кабалистическая Философия Евреев...* — Каббала — мистическое учение и мистическая практика в еврействе, сохранявшаяся первоначально устным преданием. Главные памятники кабалистической письменности «Сефер Иецира» («Книга создания») и «Зогар» («Блеск») в их настоящем виде созданы в средние века. В основе Каббалы лежит учение об эманациях сокровенного Божества (эн-соф), создающих сферы или категории бытия (сефироты). Мыслимые как члены одного целого, сефироты образуют форму совершенного существа — первоначального человека (Адам-Кадмон), до слияния с которым можно возвыситься путем определенных мистических практик.

В. Киселев

Аместан и Меледин, или Испытание опытности

Восточная повесть

(«— В молодости своей имел я характер пылкий...»)

(С. 442)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1811. Ч. 56. № 5. Март. С. 3—33 — в рубрике «Изящная словесность. Проза», с подписью: С франц. Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 1 марта 1811 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. Amestan et Mélédin, ou l'expérience à l'épave* [Аместан и Меледин, или Опыт через испытание] // *Sarrazin A. Le Caravan érail ...* V. 1. P. 93—153. Атрибуция: Eichstädt. S. 21.

Перевод явился очередным экспериментом Жуковского в жанре «восточной повести» (или «восточной сказки», что для переводчика является синонимом). Первые пробы своего пера в этой жанровой разновидности Жуковский сделал еще в начале 1809 г. Здесь так же, как и в других «восточных» повестях и сказках, переведенных писателем для ВЕ, сильно философско-нравоучительное начало, характерное для просветительской прозы, в недрах которой и был проявлен интерес русской литературы к *contes orientaux*. В частности, центральной в переводе оказывается важнейшая для Жуковского еще со времени его обучения в Московском Благородном пансионе проблема человеческих страстей.

Вместе с тем переводчика привлекает в подлиннике попытка автора увидеть сложность человеческого поведения, постоянное столкновение в его душе противоречивых начал, в том числе и тех, что не поддаются контролю разума. Кроме того, в этом переводе заметны ростки интереса Жуковского-романтика к Востоку, связанные с осознанием проблемы национального и проявляющиеся на уровне внешних «восточных» примет. Это сказывается и в уточнении жанрового определения перевода (у Сарразена это — *le conte* (сказка), у Жуковского — «Восточная повесть»), и в передаче некоторых деталей, придающих восточный колорит повествованию (напр., *la loi du prophète* — закон пророка — переведено как «Магометов закон», *le grand roi* — великий король — передано существительным «шах» и т. п.). Показательно и то, что материалы ВЕ периода редактирования Жуковского (разделы «Политика», «Смесь») нередко обращены к Востоку, в частности, к Персии, в которой происходит действие в данном переводе (см.: «О нынешней Персии // 1808. Ч. 39. № 10. С. 164—173; «О Персии» // 1808. Ч. 40. № 15. С. 232—264 и др.).

В целом перевод отличается высокой степенью точности, в нем нет ни купюр, ни вставленных переводчиком фрагментов. Почти одновременно с переводом Жуковского в «Северном Меркурии» был опубликован еще один перевод этой повести Сарразена (1811. № 18. С. 64—76; № 19. С. 81—92; № 21. С. 113—127), подписанный: «Из Модного французского журнала» (вероятно, имеется в виду «*Journal des dames et des modes*», который мог быть непосредственным источником и перевода Жуковского).

¹ *Испагань* — Исфahan — древнейший город в Персии (Иране), ныне — центр промышленности и торговли, прежде — резиденция шахов, находится в красивой, хорошо орошенной и обработанной котловине Иранского плоскогорья, на р. Саженде-Руд.

² ...строгим законам Алькорана, которым должны покорствовать мы, обыкновенные Адамовы чада. — В мусульманских источниках пророк Адам называется отцом человечества.

³ ...шестое небо... — Исламское предание повествует о вознесении Мухаммада к трону Аллаха через семь небес, шестое — это небо пророка Мусы. Однако в повести Сарразена (и в переводе Жуковского) описание шестого неба напоминает Небеса мира страстей, известные в буддизме: заслуги существ тратятся здесь таким образом, что всё, чего они ни пожелают, материализуется — боги жертвуют им это.

⁴ ...рай Магометов... — Ислам признает существование рая, где праведники получают загробное воздаяние. В целом принимается раннебиблейское представление о рае как о земном саде, где текут реки и растут всевозможные растения.

⁵ *Гурии* — В раю согласно исламскому учению мужчины-праведники будут жить со своими гуриями — черноокими девушками, восстанавливающими девственность каждое утро.

⁶ *...играют на цитрах...* — Цитра — струнный щипковый музыкальный инструмент, получивший наибольшее распространение в Австрии и Германии в XVIII в. Имеет плоский деревянный корпус неправильной формы, поверх которого натянуто от 30 до 45 струн (в зависимости от размера инструмента). В России появилась во второй половине XIX в. Аналогичные инструменты древнего происхождения встречаются у многих народов, в частности, цитры были распространены в Китае и на Ближнем Востоке.

⁷ *Сераль* — франц. форма (*le serail*) персидского слова *Serâi* (большой дом, дворец). Является европейским названием султанского дворца и его внутренних женских покоев, гарема.

⁸ *Епанча* — широкий, безрукавный круглый плащ с капюшоном у мужчин, а у женщин — короткая, безрукавная шубейка. Завезена с арабского Востока.

⁹ *Караван-сераль* — слово персидского происхождения, буквально — *дом караванов*; это — постоялый и торговый двор в городах и на дорогах Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказья; укрепленный двор, окруженный помещениями.

¹⁰ *...на площади Атмейдане...* — При Сефевидях центром разросшегося Исфахана стала прямоугольная площадь Мейдане-Шах с богато украшенными поливным декором зданиями: Шахской мечетью (1612—1630), мечетью шейха Лотфоллы (1603—1618), порталом Кейсарие-базара (XVII в.) и дворцом Али-Капу (XV в.), за которым разбит шахский сад с дворцовыми павильонами.

¹¹ *...в реку Сандерон...* — Вероятно, имеется в виду р. Сендеруд (Саженде-Руд).

¹² *Шах Сефи* — Имеется в виду Сефи I (1611—1642) — шах Ирана (1628—1642) из династии Сефевидов, внук Аббаса I. После кончины шаха Аббаса I в роду сефевидов не оказалось достойного продолжателя его дела. Из четырех сыновей шаха Аббаса один был казнён, двое других ослеплены, а четвертый умер. Поэтому наследником шах объявил внука Сефи. В отличие от своего великого деда, Сефи-Мирза не был талантливым политиком. Это был изнеженный, болезненный, склонный к алкоголю юноша. Своими неумелыми действиями он вскоре оттолкнул от себя наиболее способных соратников бывшего шаха. По пустому подозрению Сефи казнил самого талантливого из них — Имам-Кули хана. Сефи I скончался от пьянства в 1642 г.

¹³ *...чиновниками Империи...* — В XI в. н. э. Исфахан стал столицей империи Сельджуков. Расцвет города пришёлся на правление шаха Аббаса I (XVI—XVII вв.), когда Исфахан был выбран в качестве столицы империи Сефевидов.

¹⁴ *...на прекрасного арабского коня...* — Древняя порода верховых лошадей, выведенная на территории Аравийского полуострова в IV—VII вв. н. э.

¹⁵ *...украшена перлами...* — Имеются в виду жемчужины (от франц. *le perle*).

¹⁶ *Визифь* — титул министров и высших сановников в мусульманских странах.

¹⁷ *ковы* — козни, тайные коварные намерения, планы, замыслы, заговор (книжн., устар.).

¹⁸ *...ширасское вино...* — Между прочими персидскими виноградными винами особенно хорошим почиталось Ширасское, сделанное из винограда, выращенного на равнинах близ Шираса. Как самое лучшее, это вино пили только персидские шахи со своими придворными.

И. Айзикова

Отрывки из писем Иоанна Миллера к Карлу Бонстеттену

(«Женева, 26 дек. 1774...»)

(С. 455)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1811. Ч. 56. № 6. Март. С. 83—100 — в рубрике: «Изящная словесность. Проза», с подписью в конце: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее 15 марта 1811 г.

Источник перевода: Muller's Briefe an Carl Victor Bonstetten [Письма Мюллера к Карлу Виктору Вонштеттену]. Tübingen, 1802. № 1, 6, 8, 9, 12, 17, 36, 44, 49, 51.

См. комментарии к публикации «Несколько писем Иоанна Миллера, историка Швейцарии, к Карлу Бонстеттену, другу его» в настоящем томе.

¹...Трамбля, Боннета, Клансона — Трамбле А. (1710—1784) — швейцарский натуралист, член Лондонского королевского общества, член-корреспондент Парижской Академии наук; его труды способствовали утверждению экспериментального метода в биологии. Открытием им в 1744 г. пресноводных полипов вложило свой вклад в идею исторического развития органического мира, все настойчивее возникающую во второй половине XVIII в. Если Лейбниц провозгласил принцип градации живых существ, то дальнейшее развитие идея получила в теории «лестницы существ» Бонне (от минералов до человека и высших существ — ангелов и архангелов). Бюффон же построил гипотезу об истории земли. Бонне Ш. (1720—1793) — швейцарский естествоиспытатель и философ.

²Но Фридриха, я думаю, нельзя назвать невеждой. — Имеется в виду Фридрих II (1712—1786), прусский король (с 1740 г.). В своей внутренней политике афишировал свою близость с французскими просветителями (Вольтером и др.), провел ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма. При этом развязал Семилетнюю войну (1756—1763).

³Переселение народов, случившееся в пятом веке, приготовлено Домицианом и едва ли не Августом. — Имеется в виду так называемое великое переселение народов — совокупность этнических перемещений в Европе IV—VII вв., одной из причин которого являлся упадок Римской империи. Домициан (51—96) — последний римский император, с 81 г., из династии Флавиев. Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — первый римский император с 27 г. до н. э.

⁴На восток китайцы выгнали гуннов из северных пределов своей Империи — Одной из причин великого переселения народов считается поражение гуннов в военных конфликтах между Хуннской державой, державой древнего кочевого народа хунну (гунны), и Китаем.

⁵ерманёриковы готфы — имеются в виду остготы под предводительством своего короля Эрманариха (ум. 375). Ост- и вестготы окончательно обособились после того, как гунны в 375 г. разгромили союз племен во главе с этим королем.

⁶ во время императора Валентина — Флавий Юлий Валент (328—378) — римский император (364—378).

⁷ явились на берегах Дуная — Имеется в виду Готская война (367—369) — походы императора Восточно-Римской империи Валента за Дунай на готов в 367 и 369 гг. Император совершил два похода в варварские земли за нижним Дунаем с целью покарать готские племена за их поддержку узурпатора трона военачальника Прокопия. В результате готы запросили мир и отказались от набегов на территорию империи. Война предшествовала началу Великого переселения народов.

⁸ сделало визиготов владыками Испании — Вытеснение вестготами из Испании аланов, вандалов и свевов, проникших туда в 409 году, произошло в 415 г.

⁹ Дитриха — Имеется в виду остготтский король Теодорих, превратившийся в Дитриха Бернского — персонаж саг и герой германского цикла эпических сказаний, в своей древнейшей части восходящих к преданиям эпохи Великого переселения народов.

¹⁰ ...грозного Аттилу. — Аттила (ум. 453) — вождь гуннов с 434 по 453 г., объединивший под своей властью варварские племена от Рейна до Северного Причерноморья.

¹¹ С другой стороны Марбод... — Маробод (Maroboduus) (2-я пол. I в. до н. э. — 37 г. н. э.), вождь маркоманов. Происходил из знатного рода. Юношей жил в Риме, воспитывался при дворе императора Августа. После переселения маркоманов (в 8 г. до н. э.) на территорию современной Чехии Маробод объединил маркоманов с соседними племенами, возглавив мощный союз племён. По римскому образцу он организовал армию (70 тысяч человек пехоты и 4 000 конницы). В 17 г. н. э. армия Маробода была разбита вождем херусков Арминием. В 19 г. н. э. Маробод был свергнут знатью и вынужден был просить убежища у римлян.

¹² ...Аллеманов — Алеманны или аламанны — германский союз племен, в который вошли племена из распавшихся ранее союзов свевов и маркоманов, а также пришедшие с севера ютунги. Позже стали известны под именем швабов, которые дали название исторической области Швабия в Германии.

¹³ ...покорили Генготу, Роллоу и Рожеру Англию, Нормандию и обе Сицилии. — Генгот — Имеется в виду Генрих I Немецкий, под руководством которого германцы теснили бриттов и продвигались на территорию Уэльса и Корнуолла. Со временем на занятом германскими пришельцами землях сформировались отдельные королевства, образовавшие, в частности, «Англо-саксонскую гептархию» (союз семи королевств).

По договору 911 г. с вождем норманнов герцогом Роллоном германский король Карл III Простоватый (879—929; годы правления — 898—923), из династии Каролингов, вынужден был уступить норманнам территорию Нормандии.

Рожер II (ок. 1095 — 1154) — первый король Сицилийского королевства (с 1130 г.). После длительной борьбы с папством и норманнскими баронами объединил под своей властью владения норманнов в Сицилии и Южной Италии.

¹⁴ Наконец явился великий человек... — Имеется в виду Карл Великий (742—814) — король франков с 768 г., император с 800 г. Подчинил себе обширную территорию почти всей Западной Европы. С 771 г. — единоличным правителем. В 800 г. был коронован в Риме папой Львом III императорской короной.

¹⁵ ...победил Витихинда — Видукинд (ок. 755 — 810) — вождь саксов в их борьбе за независимость. В 785 г. сдался Карлу Великому, крестился и получил прощение, в отличие от многих рядовых участников восстания.

¹⁶ *Потом образовалась империя в Германии* — Т. е. Священная Римская империя германской нации — государственное образование, существовавшее с 962 по 1806 г. и объединявшее территории Центральной Европы. В период наивысшего расцвета в состав империи входили Германия, являвшаяся её ядром, северная и средняя Италия, Швейцария, Бургундское королевство, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Силезия, Эльзас и Лотарингия. Формально состояло из трёх королевств: Германии, Италии и Бургундии. Империя была основана в 962 г. восточнофранкским королём Оттоном I и рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи Карла Великого.

¹⁷ ...с *Кинлохом*. — Знакомый И. Мюллера.

¹⁸ ...*полезнее всех общих наук: метафизики, всеобщей истории, общей политики и тому подобных*. — Здесь Жуковский очень близок И. Мюллеру. См. об этом: БЖ. I. С. 400—465.

¹⁹ ...до *Еразма* — Имеется в виду Эразм Роттердамский (1469—1536), гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель, автор сатиры «Похвала глупости», сыграл большую роль в подготовке Реформации, но не принял ее.

²⁰ ...*белгов*. — Белги — кельтские племена, населявшие Северную Галлию (между р. Сенной, Северным морем и Рейном) и отчасти западное побережье Британии примерно с 300 г. до н. э. В 58—51 гг. до н. э. галльские белги были покорены Юлием Цезарем; позже, с 16 г. до н. э., страна белгов стала дальней периферией римского государства; юго-западная её часть вошла в состав римской провинции Белгика, а северо-восточная часть — в состав образованной в 89 г. н. э. римской провинции Германия Нижняя. В середине I в. н. э. римлянами окончательно была завоёвана территория расселения кельтских племён (в том числе и белгов) в Британии. В V в., после завоевания Белгики франками, белги были частично уничтожены завоевателями, частично слились с ними. Эта территория заселялась германскими племенами — франками, отчасти также фризами и саксами, которые в значительной степени германизировали прежнее белго-римское население Северной Белгики (впоследствии ставшее составной частью фламандской народности); германизация белго-римского населения Южной Белгики была незначительной (здесь сложилась впоследствии валлонская народность).

²¹ ...*Штауббаху* — Штауббах (Staubbach) — водопад в швейцарском кантоне Берн.

²² *Гамильтон* — Имеется в виду американский политический деятель А. Гамильтон (1757—1804), секретарь Вашингтона во время Войны за независимость в Северной Америке (1775—1783).

²³ ...*на сражениях при Моргартен и перед Муртемом* — Попытка Габсбургов подчинить лесные кантоны закончилась полным разгромом австрийского рыцарского войска при Моргартене (1315). Муртен — город в швейцарском кантоне Фрейбург; на восточном берегу Муртенского озера. Здесь находился замок, где 1 400 бернцев, с Адрианом Бубенбергом во главе, выдержали в 1476 г. 10-дневную осаду Карла Смелого и одержали над ним победу.

²⁴ *Невтон открыл великие тайны природы*. — В 23 года Ньютон доказал, что белый цвет есть смесь цветов, но самым главным было открытие закона всемирного тяготения.

²⁵ *Historia della casa dei Medici* — Имеется в виду рукопись «Происхождение и потомки дома Медичи», приписываемая Козимо Барончелли (1569—1626).

²⁶ ...*канцлеру Кларендону*. — Кларендоны — графский род в Англии. Здесь, по-видимому, речь идет о Генри-Гайде Кларендоне (1638—1709; с 1661 г. глава Палаты общин, с 1674 г. — пэр), авторе «The History and Antiquities of the Cathedral Church of Winchester» (1715) или об его отце, авторе «History of the Rebellion and Civil War in Ireland» (1702), выпущенной в свет Г.-Г. Кларендоном вместе с братом.

²⁷ ...*Сульцеровых правил* — Имеется в виду «Всеобщая теория изящных искусств» (т. 1—2; 1771—1774) И. Г. Зульцера. Здесь в алфавитном порядке изложены основные понятия эстетики и отдельных видов искусств.

²⁸ ...*Филиппом Стангопом* — Имеется в виду Честерфилд Филипп Дормер Стенхоп (1694—1773) — английский писатель и государственный деятель. С 1750 г. пишет нравоописательные и сатирические эссе. Испытывал влияние идей Просвещения. В историю английской литературы вошел как автор «Писем к сыну» (1774), содержащих обширный свод наставлений и рекомендаций в духе педагогических идей Дж. Локка. Узкопрактическая направленность программы воспитания (подготовка к великосветской и государственной карьере) шокировала многих современников, хотя «Письма к сыну» были высоко оценены Вольтером как образец эпистолярной прозы XVIII в. и искренний человеческий документ. Честерфилд — также автор «Максим» (1777) и «Характеров» (1777).

²⁹ *Бернские статуты* — Имеются в виду конституции, которые разрешалось иметь в каждом кантоне свою.

³⁰ *Бургундская война* — Бургундские войны (1474—1477), основной причиной которых стали столкновения интересов Франции и Бургундского государства, имели главной военной силой, выступающей против бургундцев, швейцарцев. Они были союзниками, а фактически наемниками французского короля, заключившего в 1474 г. «вечный союз» со швейцарскими кантонами во главе с Берном.

³¹ ...*18 ломбардцев, взятых в плен и брошенных в пламя за их безверие...* — В ходе швейцарско-бургундской войны, после первого крупного сражения, произошедшего 13 ноября 1474 г., 18 наемников-ломбардцев, попавшие в плен к эльзасцам, были обвинены в осквернении церкви и других преступлениях, совершенных во время бургундского вторжения в Эльзас, подвергнуты пыткам и сожжены заживо.

³² ...*развалины прекрасного города Стефлиса...* — Имеется в виду бургундский городок Штеффис, все мужское население которого за оказание сопротивления швейцарским войскам было уничтожено.

³³ «*Энциклопедия*» — Имеется в виду «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (35 тт., 1751—1780), создававшаяся французскими просветителями во главе с Д. Дидро.

³⁴ ...*без зрительного стекла* — Вероятно, речь идет об увеличительном стекле.

³⁵ ...*конституции бернца* — Т. е. конституции кантона Берн.

Ф. Канунова, И. Айзикова

Необходимое и излишнее

(*Восточная сказка*)

(«Молодой Адемдаи, бедный багдадский ремесленник...»)

(С. 463)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1811. Ч. 56. Апрель. № 7. С. 163—200 — в рубрике: «Изящная словесность. Проза», с заглавием: «Необходимое и излишнее (Восточная сказка)», с подписью: Саразень. Ж.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 3 («Повести»). С. 125—171; Пвп 2. Ч. 2. С. 171—202. Тексты идентичны первой публикации, снята лишь подпись.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее 28 марта 1811 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. Le nécessaire et le superflu* [Необходимое и излишнее] // *Le Caravan serail... V. 3. P. 149—214. Атрибуция: Eichstädt. S. 21.*

Жуковский выбрал для перевода сказку, в центре которой — проблема человеческих потребностей, напрямую связанная с природой человеческой личности, с рядом философско-этических и психологических вопросов. В духе просветительских концепций человека категория необходимого рассматривается в логическом плане (необходимо то, что не отрицает законов логики), в физическом аспекте (необходимо то, что не отрицает законов природы); наиболее подвижными оказываются границы необходимости, рассматриваемой в моральном и особенно психологическом плане. Именно здесь категория «необходимое» вступает в сложные отношения с понятием «излишнего», превращаясь в мотивацию сложного характера человека, сложного соотношения в нем природного и общественного, натуры и характера. Сказка Сарразена, переданная Жуковским близко к подлиннику, как и многие другие его переводы, выводит читателя к любимым идеям поэта о самоограничении, самоконтроле и самосовершенствовании личности, обладающей свободной волей, что и выделяет ее из мира природы.

¹ ...полудрахмы... — Полудрахма — серебряная монета.

² ... из зебенового дерева... — Т.е. из эбенового дерева — так называют черную или чёрную с полосами древесину некоторых деревьев рода Хурма (*Diospyros*) семейство эбеновых (*Ebenaceae*). Древесина без различных годовых колец очень твёрдая и тяжёлая и относится к самым ценным древесным породам.

³ ...сафачинского пшена... — Древнерусское название риса.

⁴ ...четыре золотых динара... — Динар — денежная единица ряда стран, в том числе Месопотамии (совр. Ирака).

⁵ ... Бассорской дороге... — Т. е. на дороге в Басру.

⁶ Кади — В мусульманских странах — судья, единолично осуществляющий судопроизводство на основе шариа.т.

⁷ ...калифу Гарун-Аль-Рашиду... — Имеется в виду Гарун ар-Рашид (766—809), халиф Багдада (с 786 г.) из династии Аббасидов. Пришёл к власти и правил с помощью везиров из семьи Бармакидов, представлявших иранскую феодальную аристократию, а после их отстранения в 803 г. — единолично. При Гаруне

ар-Рашиде в халифате достигли значительного развития сельское хозяйство, ремёсла, торговля и культура (преимущественно литература), он продолжал борьбу с Византией, начатую его предшественниками. Умер во время военного похода, предпринятого им с целью подавить восстание в Средней Азии. Миф о добродетелях этого халифа, навеянный сказками «Тысячи и одной ночи», опровергнут благодаря работам советского востоковеда В. В. Бартольда.

И. Айзикова

Осада Амазии

(*Восточная повесть*)

(«Люди вообще с великою жадностью слушают повести...»)
(С. 478)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1811. Ч. 57. № 10. Май. С. 85—112 — в рубрике: «Изящная словесность. Проза», с заглавием: «Осада Амазии (Восточная повесть)», с пометой в конце: Саразень. В. А.

В прижизненных изданиях: Пвп 1. Ч. 3. С. 215—249; Пвп 2. Ч. 2. С. 233—256. Тексты идентичны первой публикации, снята лишь подпись.

Печатается по Пвп 2.

Датируется: не позднее апреля 1811 г.

Источник перевода: *Sarrazin A. Le Siege d'Amasie* [Осада Амазии] // *Sarrazin A. Le Caravan serail...* V. 3. P. 93—146. Eichstädt. S. 21.

Еще один перевод из сборника А. Сарразена, отличающийся теми же особенностями, что и другие переводы из Сарразена: заострением нравственно-этической проблематики, подчеркиванием исторической достоверности повествования, восточным колоритом.

¹ ...*Карманиею* — Кармания — прибрежная страна, вдоль Персидского залива.

² *Амазия* — Город в турецкой малоазиатской провинции Сивас, на реке Ишиль-Ирмак (др. Ирис). В древности резиденция царей понтийских.

³ *калиф Моктафи* — возможно, халиф Moktafi ibn Mustazhir (1136—1160)

⁴ *Казальмах* — Имеется в виду река Кызылырмак (Красная река), вытекает с Армянского нагорья, проходит через земли древней Каппадокии и Галатии и впадает в Черное море между городами Синоп и Самсун.

И. Айзикова

СТАТЬИ ОТ ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ К СТАТЬЯМ И ИЛЛЮСТРАЦИЯМ, УВЕДОМЛЕНИЯ

Статьи от издателя

Два слова от издателя

(«Издатель имел удовольствие получить из Петербурга стихи...»)
(С. 490)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 44. № 6. Март. С. 125—130 — в рубрике «Литература и смесь», подписано: Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады марта 1809 г.

Приступая к редактированию ВЕ, Жуковский отказался от раздела критики. Его программная статья «Письмо из уезда к издателю», напоминая читателю о принципиальной позиции первого издателя Н. М. Карамзина, не включавшего в журнал критических материалов, провозглашала основной целью журнала содействие развитию литературы, для которого важнее было распространение «образцов», нежели разбор достоинств и недостатков: «Критика — но, государи мои, какую пользу может приносить в России критика? (...) Критика и роскошь — дочери богатства, а мы еще не Крезы в литературе! (...) Уроки морали ничто без опытов, и критика самая тонкая ничто без образцов» (ВЕ. 1808. № 1. С. 9). Эта установка мотивировалась еще и необходимостью осторожной стратегии в отношении конкурирующих литературных партий (приверженцы А. С. Шишкова — карамзинисты во главе с И. И. Дмитриевым). М. Т. Каченовский, поддерживавший в 1806—1807 гг. А. С. Шишкова, пригласил карамзиниста Жуковского на роль редактора ВЕ именно потому, что он мог нейтрализовать враждебное отношение к журналу и его прежнему издателю И. И. Дмитриеву, претенденту на должность попечителя Московского университета и, соответственно, куратору его типографии, где печатался «Вестник». В результате на протяжении 1808 г. в журнале отсутствовали и критические статьи, и, в особенности, полемические высказывания, которые могли бы дать какой-либо повод для обострения литературной борьбы.

К концу 1808 — началу 1809 г. ситуация изменилась: к этому моменту утвердилась обновленная прокарамзинистская репутация журнала и отпала необходимость строгой корректности (ср. знаковый в этом плане № 16 за 1808 г. с его примиряющим соседством литературных врагов М. Т. Каченовского и И. И. Дмитриева). В итоге в «Вестнике» постепенно возобновился отдел критики, который стал постоянным уже в 1810 г. (см. комментарий к заметке «От издателей» в настоящем томе). Он в основном состоял из статей, посвященных принципиальным эстетическим вопросам («Писатель в обществе» /1808, № 22/, «О нравственной пользе поэзии» /1809, № 3/, «О критике» /1809, № 21/, «Два разговора о критике» /1809, № 23/ и

др.), однако, в виде коротких заметок, а иногда и развернутых статей («О басне и баснях Крылова» /1809, № 9/, см. об антишишковском подтексте статьи Жуковского: *Стенник Ю. В.* Статья Жуковского «О сатире и сатирах Кантемира» и ее место в литературной полемике 1800—1810-х годов // *Ж. и русская культура*. С. 125—137), начали появляться и полемические материалы. «Два слова от издателя» стали одним из первых.

Заметка преследовала тройную цель. Во-первых, она привлекала внимание к проблеме авторства и авторского права. В русской литературе до первой трети XIX в. отсутствовало представление об интеллектуальной собственности, производное профессиональных литературных отношений. Оно начнет активно обсуждаться только в 1820-е гг. (см. материалы этого плана: *Переселенков С.* Пушкин в истории законоположений об авторском праве в России // *Пушкин и его современники*. СПб., 1909. Вып. 11. С. 52—63; *Оксман Ю. Г.* Нарушение авторских прав ссыльного Пушкина в 1824 году // *Пушкин: Статьи и материалы*. Одесса, 1925. С. 6—11; *Гессен С. Я.* Книгоиздатель Александр Пушкин: Литературные доходы Пушкина. Л., 1930. С. 42—49), когда появится и первый закон об авторском праве — цензурный устав 1828 г. с прибавлением положения о правах сочинителей, несколько измененного законом 8 января 1830 г. В рамках системы патронажа (XVIII в.) и кружковых сообществ (начало XIX в.), двух основных социальных форм организации литературы, автор не обладал монопольными правами на произведение, передавая его под покровительство более высоких инстанций (власти или дружеской корпорации). Они и определяли ценность автора и его текста, формируя круг авторитетных писателей и образцовых произведений, за которыми в определенных границах признавалось право на эксклюзивность. Тем самым отношения в этой сфере были предметом не закона, а этики. Ее нормы начал активно утверждать и распространять на более широкий круг участников литературного общения Н. М. Карамзин. Жуковский выступил его продолжателем, отстаивая право на особое социокультурное положение автора (статья «Писатель в обществе»), на уникальность поэтических творений («О нравственной пользе поэзии») и, как следствие, эксклюзивность отдельных произведений.

Тем не менее в целом Жуковский оставался приверженцем корпоративных оценок, что определило вторую установку заметки. Она призвана была показать особое уважение к творчеству и личности И. И. Дмитриева, неформального главы карамзинистов в 1800-е гг., умело определявшего авторские репутации (см.: *Вацуфо В. Э.* И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // *Вацуфо В. Э.* Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 9—53). Покушение на текст авторитетного современного поэта сопоставляется Жуковским с покушением на классиков — И. Ф. Богдановича и, особенно, М. В. Ломоносова. И. И. Дмитриев причисляется тем самым к высшему литературному пантеону и автоматически наделяется правом на эксклюзивность. В дальнейшем Жуковский продолжит формирование круга «образцовых» авторов и текстов русской словесности, выпустив «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов» (1810—1811) и «Собрание образцовых русских сочинений и переводов» (1815—1817, совместно с А. Ф. Воейковым и А. И. Тургеневым) (см. об усилиях Жуковского и «арзамасцев» в этом плане: *Майофис М. Л.* Воззвание к Европе: литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815—1818 годов. М., 2008. С. 532—599).

В-третьих, создаваемый пантеон русских классических авторов (со школой Н. М. Карамзина в центре) требовал как защиты от напора «новых» писателей, так и осмысления проблемы преемственности внутри самого канона. В этой связи в сфере рефлексии Жуковского возникла тема «древних и новых», которой в 1811 г. он посвятил отдельную переводную статью «О поэзии древних и новых» (№ 3), где сформулировал исторический взгляд на движение литературы (см.: Эстетика и критика. С. 403—404). В «Двух словах от издателей» Жуковский был более традиционен, развивая ироническую метафору невежественной «орды стихотворцев-гуннов», грозящих ниспровергнуть пантеон «стихотворцев-римлян». Образ сообщества невежд, покушающихся на истинные таланты, найдет свое применение и развитие в пародийно-полемической продукции круга Жуковского, в особенности в ритуалах и текстах «Арзамаса».

¹ *Просим наших читателей переменить два слова и вместо имени, подписанного под стихами, Семен Ист...мин, прочесть просто: Иван Дмитриев...* — Стихотворение «К портрету П. И. Шаликова» (1803) И. И. Дмитриева, о котором идет речь, было опубликовано в «Сочинениях и переводах И. Дмитриева» (В 3 ч. М., 1803—1805. Ч. 2. С. 87).

² *...четкими бекетовскими литерами...* — Платон Петрович Бекетов (1776—1836) — известный московский издатель начала XIX в., владелец собственной типографии и гравировальной мастерской, считавшихся одними из лучших по качеству выпускаемых книг. П. П. Бекетов подготовил целый ряд изданий отечественных авторов — М. М. Хераскова, А. Н. Радищева, И. Ф. Богдановича, Н. И. Гнедича, В. А. Жуковского и других.

³ *Едва лишь что сказать удастся мне счастливо (...)* Тогда б сказал я то же прежде! — Эпиграмма Жуковского «Новый стихотворец и древность» (1806), опубликованная ранее в ВЕ (1807. № 2). См. комментарий к ней: ПССиП. Т. 1. С. 503—504.

⁴ *Судьба великого Рима нам известна (...)* горестный уадок наук и художеств... — История переселения народов — один из наиболее сложных вопросов европейской историографии. Начало его относят обыкновенно ко времени вторжения (около 372 г.) гуннов в Европу. Но передвижения германских племен и попытки некоторых из них приобрести себе земли для поселения в римских провинциях начались гораздо ранее (со II в. до н. э.). Напор германцев на римские границы продолжался непрерывно, пока в V в. они не проникли в самые отдаленные провинции (в Испанию, даже в Африку) и не образовали новых государств. Причинами, вызывавшими передвижение целых племен, были напор других народов и недостаток земли при постоянно увеличивавшемся населении. Прежде других прорвали восточную римскую границу и завладели частью римской территории алеманны. За ними последовали бургунды, жившие прежде в районе Познани, готы (остготы и вестготы), обитавшие первоначально по нижнему течению Вислы. Около 372 г. кочевое племя гуннов покорило алан, живших в степях крайнего юго-востока Европы, и вместе с ними двинулось на Запад во главе с Атиллой. К одной племенной группе с готами принадлежали вандалы, которые, вместе с аланами и свевами, заняли Испанию. В 568 г. в Италии появились лангобарды (с севера Германии) и завоевали постепенно большую часть полуострова. В начале VI в. племя баваров, жившее в Богемии, переселилось на юго-запад, в Придунайскую область. Между тем восточная половина Германии (до Эльбы), значительно опустевшая с

уходом большей части живших там германских племен, постепенно была занята славянами. Результатом описанных событий было образование, через смешение различных (главным образом, римского и германского) элементов, новых народностей (французы, итальянцы, испанцы и др.), новых языков, а также политических, общественных, правовых форм, определивших развитие средневековой Европы.

⁵ *Le present est gros de l'avenir*, сказал, кажется, Декарт... — «Настоящее чревато будущим» — изречение Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716), знаменитого немецкого философа.

В. Киселев

Благодарность любезному издателю «Аглаи»
 («Я отвечаю несколько поздно на два приятные слова критика...»)
 (С. 492)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 46. № 16. Август. С. 283—288 — подписано: В. Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее первой декады августа 1809 г.

Статья является ответом на заметку П. И. Шаликова «Письмо любезному издателю Вестника Европы», напечатанную в журнале «Аглая» (1809. Ч. 7. Июль. С. 26—29). Князь Петр Иванович Шаликов (1767—1852) являлся страстным поклонником Н. М. Карамзина. Свои поэтические и прозаические произведения он помещал в изданиях сентиментального направления «Приятное и полезное препровождение времени» (1796), «Аониды» (1796—1799), «Ипокрена» (1799—1801), «Московский Меркурий» (1803), «Патриот» (1804), ВЕ. Выпустил несколько сборников стихов («Плод свободных чувствований» (М., 1798, 1801), «Цветы граций» (М., 1802)), а также прозаические «Путешествие в Малороссию» (М., 1803), «Другое путешествие в Малороссию» (М., 1804) и «Путешествие в Кронштадт» (М., 1817, журнальная публикация — в 1806 г.). Первое из этих «Путешествий», написанных в подражание «Письмам русского путешественника» Н. М. Карамзина и «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна, было одобрительно-иронически прорецензировано Жуковским в статье «О “Путешествии в Малороссию”» (ВЕ. 1803. № 6. С. 114—122).

В 1806 г. П. И. Шаликов приступил к выпуску собственного журнала «Московский зритель», где определилась его литературная программа, основанная на следовании карамзинскому сентиментальному образцу. В «Письме к издателю журнала» (Ч. 1, январь. С. 31—38) основной целью признавалось развитие отечественной словесности, подразумевавшее публикацию прежде всего оригинальных произведений, и совершенствование языка («хороший вкус и чистота слога, тонкая разборчивость литераторов (...) будут одними из главных предметов внимания»). Здесь же П. И. Шаликов заявлял о необходимости для журнала раздела критики, критерием для которого выступало «нежное чувство женщины».

Программе «Московского зрителя», из-за недостатка подписчиков прекратившего существование к 1807 г., следовал и журнал «Аглая» (1808—1812). Главным

предметом последнего была «нежная чувствительность, сопряженная с моралью», в обращении к читателю издатель предупреждал: «не всем надобно важное, ученое: многие желают приятного — и только. Приятность с пользой — вот девиз моего журнала». Тем не менее «Аглая» продолжала поддерживать внимание к отечественной словесности, предпочитая публиковать оригинальные тексты (с 1810 г. переводы не печатаются), регулярно выступала с критическими статьями и принимала участие в полемике о старом и новом слоге. Критика П. И. Шаликова сосредотачивалась в первую очередь на вопросах стиля, причем стиль Н. М. Карамзина признавался образцом для всех родов литературы («О слоге Карамзина»/1808. № 5/).

«Письмо любезному издателю Вестника Европы», посвященное разбору «Марьиной рощи» Жуковского, было выдержано в общем духе журнала. П. И. Шаликов предлагал публике мнения нескольких анонимных (вымышленных) читательниц, относящиеся к общему впечатлению от повести, к ее стилю, а также нескольким деталям, нарушавшим, с точки зрения женщин, бытовую правдоподобность. Между тем всячески приветствовалось появление исторических повестей, порождавших у читателей интерес к отечественному прошлому и гордость за русскую словесность. Мягкость и дружественность критики оправдывали, по мнению издателя, высказанные замечания и имели в виду пользу для «любезного автора» «Марьиной рощи».

Жуковского с П. И. Шаликовым не связывали дружеские отношения. Однако одной из целей издателя ВЕ являлась консолидация карамзинистов, в противовес объединившимся приверженцам А. С. Шишкова, которые вскоре учредили «Беседу любителей русского слова». Нечто подобное, только на неофициальной основе, стремился создать и Жуковский, представляя на страницах «Вестника» школу Н. М. Карамзина как дружеский союз, интимный круг, связанный отношениями творческой преемственности. В этом смысле комплиментарный жест в сторону П. И. Шаликова, представителя старшего поколения карамзинистов, и журнала «Аглая», в котором принимали участие Ф. Н. Глинка, И. М. Долгорукий, В. В. Измайлов, М. Н. Макаров, сам Н. М. Карамзин, имел, помимо личного, еще и партийный характер. Заглавным образом ответа Жуковского не случайно стало «семейство авторов», объединенное доброжелательством, тесными дружескими и, как следствие, творческими связями. Эта метафора восходила к программе Н. М. Карамзина периода «Московского журнала», «Аглаи» и «Аонид» и воплощала питаемый самим Жуковским идеал литературного общения, сформировавшийся еще в Дружеском литературном обществе и нашедший развитие в деятельности «Арзамаса» (см. письма к А. И. Тургеневу от июля и ноября 1807 г. и от 15 сентября 1809 г.). Другие мысли заметки также перекликались с критическими выступлениями издателя на страницах «Вестника»: о цели и назначении благожелательной критики как орудия нравственного и творческого совершенствования автора Жуковский подробнее выскажется в статьях «О критике» (1809. № 21), «Два разговора о критике» (1809. № 23); размышление о социокультурных функциях писателя (удовольствие уединенных кабинетных трудов или «блестящий успех» в свете) также перекликалось с положениями статьи «Писатель в обществе» (1808. № 22).

Ответ на содержательные претензии читательниц «Аглаи» был производным авторского понимания исторической повести. Развивая карамзинский жанровый канон в сторону большего лиризма и субъективности, Жуковский учитывал и стремление опереться на исторические памятники, провозглашенное Н. М. Карам-

зиным в статье «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802. № 24). Именно поэтому в заметке появляется мистифицирующая апелляция к рукописям эпохи Владимира Святославича и Владимира Мономаха, призванная подчеркнуть достоверность используемых реалий. Тем самым элементы идиллического мирообраза, связанные в повести с Марией и являющиеся приметами патриархальной простоты (парча, жемчуг и ожерелья, бисер, ленты, веретено), приобретали общее значение как принадлежность естественного и поэтического бытия предков. Подробнее см. в комментарии настоящего тома к повести «Марьиная роща».

¹ Я отвечаю несколько поздно на два приятные слова критика (...) отсутствие мое из Москвы причиною такой медлительности. — Статья П. И. Шаликова вышла в июльском номере «Аглаи», ответ на нее Жуковского был напечатан не в следующем 15-м номере ВЕ за первую половину августа, а в № 16. Первую половину августа 1809 г. Жуковский провел в Белеве.

² В одном из старинных манускриптов, кажется, современном Великому князю Владимиру (...) в другом, принадлежащем, если не ошибаюсь, ко временам Владимира Мономаха... — Владимир Святославич (середина X в. — 1015 г.), князь киевский. Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125), князь киевский, писатель.

В. Киселев

От издателей

(«Издание «Вестника» продолжаться будет и на 1810 год...»)
(С. 494)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1809. Ч. 48. № 24. Декабрь. С. 353—355 — подписано: К. и Ж.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: не позднее ноября 1809 г.

Заметка «От издателей» — важный документ в развитии идеологической программы и типологических установок журнала ВЕ.

На протяжении 1804—1807 гг., после ухода Н. М. Карамзина, ВЕ постепенно эволюционировал от просветительского политико-литературного журнала, независимого в своей идеологической и эстетической позиции и скрепленного авторитетной точкой зрения редактора, к журналу ангажированному, имевшему целью утверждение групповой программы. Персонифицировалась она в позиции издателя — М. Т. Каченовского, который только начал свою публичную деятельность и, не обладая должным весом ни в социальном плане (разночинец), ни в плане литературном (узкий профессионал-историк), стремился легитимировать свое мнение поддержкой власти и корифеев основных литературных партий. Ключевыми моментами этого самоопределения стали ссора в мае 1806 г. с И. И. Дмитриевым, до того момента протезировавшим молодого журналиста, поиски поддержки при дворе через своего начальника А. К. Разумовского и жесты в сторону А. С. Шишкова (см.: *Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века //*

Вацуфо В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 9—53; *Велижнев М. Б.* ВЕ в литературной и общественной жизни второй половины 1800-х гг.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2004). Соответственно, журнал принимает в 1806 — первой половине 1807 г. все более официальный вид, предоставляя свои страницы проправительственной антифранцузской публицистике («Мысли о России» Я. И. Булгакова, переводные памфлеты) и литераторам националистической ориентации с их приверженностью высоким жанрам (С. Н. Глинка, В. Ф. Вельяминов-Зернов и др.). Определенной компенсацией при этом выступало расширение научно-исторического раздела, предмета специализации М. Т. Каченовского. Благодаря ему «Вестник» постепенно приобретал репутацию «сухого», «ученого» издания, интересного не столько широкой светской публике, сколько «академическому» читателю. Впоследствии подобная модель журнала и коммуникативная маска «педанта», принятая его редактором, получают свое развитие и сделают «Вестник», уже не нуждавшийся в покровительстве карамзинистов или шишковистов, органом разночинной, по определению Г. В. Зыковой, интеллигенции — третьей литературной силы эпохи и хранителя просветительских традиций (*Зыкова Г. В.* Журнал Московского университета ВЕ (1805—1830 гг.): Разночинцы в эпоху дворянской культуры. М., 1998).

Резкий поворот политики России после Тильзитского мира, сопровождавшийся отставкой деятелей антифранцузской партии, поддерживавших журнал, а также возможное назначение И. И. Дмитриева попечителем Московского университета и, соответственно, куратором его типографии, где печатался ВЕ, определили решение издателя оставить журнал, что и произошло во второй половине 1807 г., когда М. Т. Каченовский постепенно передал бразды правления В. А. Жуковскому. Выбор преемника был определен тактическими соображениями: молодой писатель, дебютировавший еще при редактировании Н. М. Карамзина и с тех пор никогда не прекращавший сотрудничества с «Вестником», являлся «своим» для журнала, входя в то же время в окружение И. И. Дмитриева и выступая наследником карамзинских традиций.

Новую позицию журнала в литературно-идеологическом движении 1808—1810 гг., с одной стороны, определяла обстановка посттильзитской ситуации, вынуждавшая к отказу от обсуждения политических проблем при неодобрении антифранцузской пропаганды, а с другой — необходимость осторожной стратегии в отношении конкурирующих литературных партий (возобновление участия И. И. Дмитриева и одновременно благожелательные оценки А. С. Шишкова, см: *Гиттиус В. В.* «Вестник Европы» 1802—1830 годов // Учен. зап. ЛГУ. 1939. № 46. Сер. филол. наук. Вып. 3. С. 208—211; *Велижнев М. Б.* Указ. соч. С. 19—22). В результате из ансамблевого целого фактически исчез политический раздел, сжавшийся до кратких сообщений в «Известиях и замечаниях», и, временно, отдел критики, только начавший утверждаться в журнале. Так ВЕ приобрел характер сугубо литературного органа, компенсировавшего ограниченность своей программы разнообразием и новизной художественного материала, поначалу принадлежавшего почти полностью Жуковскому, а впоследствии и привлеченным к сотрудничеству молодым авторам, по преимуществу карамзинской ориентации, К. Н. Батюшкову, П. А. Вяземскому, Д. В. Давыдову, Н. И. Гнедичу и ряду других.

Во всей чистоте эта модель, однако, просуществовала недолго — до второй половины 1808 г. К тому моменту утвердилась обновленная репутация «Вестника» и отпала необходимость резких изменений курса. В итоге в журнале постепенно

возобновляются политические известия, появляются критические статьи, как принципиальные, так и, в виде коротких заметок, полемические, наконец, вновь начинает расширяться отдел науки (история и теория словесности, историография). Между тем «Вестник» не включается ни в идеологические споры, ни в наметившийся новый виток полемики между шишковистами и карамзинистами, хотя с точки зрения авторского состава ориентируется на последних. Период постепенной трансформации, на протяжении которого выкристаллизовалась новая, энциклопедическая, схема издания, продлился с осени 1808 до осени 1809 г. Существенную роль здесь сыграло возвращение М. Т. Каченовского, сначала как сотрудника, взявшего на себя ответственность за хроникально-публицистические и научно-исторические материалы, а затем и как соредатора (с ноября 1809 по конец 1810 г.), настойчиво подвигавшего журнал к специализации, к преобразованию «светского» универсализма в жанрово и содержательно дифференцированный энциклопедизм.

Эта модель знаменовала отказ от последовательного литературоцентризма (разбиение на рубрики «Литература и смесь» — 2/3, «Политика» — 1/3 печатного объема. С лета 1809 г. отдел политики был полностью закрыт по распоряжению университетского начальства, попечителя журнала. Жуковский, впрочем, не особенно огорчился, что следует из его письма к А. И. Тургеневу от 15 сентября: «Я уже отпел панихиду политике и нимало не опечален ее кончиною» — ПЖТ. С. 46), утверждая равноправие в журнале таких рубрик, как «Словесность», «Науки и искусства», «Критика» и «Смесь» с постоянным разделом «Обозрение происшествий». В идеале это предполагало для издания позицию всесторонности и объективности, полного информирования читателя о новых движениях культуры и независимого суждения о них, исходящего не из кружковых предпочтений, а из строгого, в пределе — научного рассмотрения. Поначалу эта программа увлекла Жуковского, о чем он писал А. И. Тургеневу 15 сентября 1809 г., надеясь его вдохновить: «План наш распространится, о чем узнаешь из объявления. Если бы ты не был и ленив, и беспечен, то мог бы быть весьма полезен моему изданию. Первое, доставляя разные известия о ученых обществах петербургских, о литературе, театре и разных разностях, являющихся на горизонте петербургского мира, или по крайней мере ты мог бы надоумить двух — трех и до полдюжины хлопотливых и умных человек (напр. Косторогов), которые присылали бы мне разные известия, с полною доверенностию делать из них что мне рассудится. Также не худо бы было, если бы ты снабжал меня и книгами, *годными* для журнала (...). Надеюсь, одним словом, что «Вестник» на следующий год будет занимательнее, любопытнее, разнообразнее и вдвое более принесет доходу» (ПЖТ. С. 47—48). Приведем здесь упомянутое в письме объявление, напечатанное в «Московских ведомостях», № 84 от 20.10.1809 и № 96 от 01.12.1809:

«Г. Каченовский и г. Жуковский будут издателями сего журнала. Они предположили распространить план его и дать ему более правильности и разнообразия. В отделении Словесности помещаемы будут сочинения, собственно к словесности принадлежащие: прозаические речи, исторические отрывки и биографии; описания, повести, разговоры; — пиитические: басни, эклоги, песни, оды и пр. Отделение под названием Наук и искусств будет содержать в себе разные сочинения до словесных и вообще свободных наук и художеств относящиеся и заключающие в себе или замечания, или правила, или рассуждения

об ученых и художественных предметах. Отделение Критики посвящается беспристрастному рассмотрению книг, достойных примечания, как Российских, так и иностранных. К Смеси принадлежат любопытные анекдоты, достопамятные изречения и мысли, Московские новости, иногородние и заграничные известия (в № 96 вместо “иногородние и заграничные известия” — “известия о политических и других происшествиях”), разные замечания, краткие уведомления о Русских и иностранных книгах и тому подобное».

Подобные надежды, дабы быть воплощенными в действительность, нуждались в продуманной и наработанной стратегии, которой у М. Т. Каченовского еще не было. Как итог, журнал обрел вид эклектичный, построенный на сосуществовании двух несхожих точек зрения. В результате Жуковский постепенно потерял интерес к изданию журнала, о чем не раз сообщал друзьям: «О себе самом нечего тебе сказать добро: скучный “Вестник” и скучный “Вестник” и еще скучный “Вестник” — более ничего. Что бы ни было, а нынешний год есть последний моего ежемесеячного бреда: надобно делать что-нибудь лучшее, чтобы не стоить твоих эпиграмм» (П. А. Вяземскому, конец февраля 1810 г.); «(...) признаюсь сам, что он весьма худой журнал, и ты бы рассердил меня, если бы вздумал в угождение моему самолюбию и вопреки искренней дружбе его хвалить» (А. И. Тургеневу, 12 сентября 1810 г., ПЖТ. С. 57). Между соредакторами нарастало непонимание, возникли размолвки с обвинениями в «оттирании» другого от управления журналом. Отказ Жуковского от роли издателя на 1811 г. ознаменовал конец этого междувластия: «Поздравляю Вас с именем издателя “Вестника Европы”, с благополучным избавлением от тяжкой *всемирной трубы*, которою Вы хотели было против меня вооружиться. “Вестник”, доведенный Вами до цветущего положения, не поблекший и *при мне*, сохранивший древнее великолепие свое и *при нас*, принадлежит Вам теперь безраздельно. В добрый час. Желаю вам всевозможного успеха. (...) Верьте, Михайла Трофимович, что я из усердия к Вам и совсем бы желал отказаться от всякого участия в “Вестнике”, но теперь по моим обстоятельствам этого мне сделать невозможно, и это для меня огорчительно» (М. Т. Каченовскому, 27 сентября 1810 г.). Связи с журналом Жуковский действительно не порвал, продолжив сотрудничество как постоянный автор: «(...) я надеюсь, что пиесы мои не будут портить вашего “Вестника”. По большей части буду переводить для статьи “Науки и искусства”, для которой имею хороший запас материалов» (М. Т. Каченовскому, конец сентября — начало октября 1810 г.).

Несмотря на все отмеченные трудности, М. Т. Каченовский свою журнальную стратегию сохранил и именно в период его постоянного редактирования в 1810—1820-е гг. ВЕ наметил новый универсальный тип издания, призванный отразить общую панораму литературного, исторического и культурно-идеологического движения эпохи. Он предложил и новую форму — литературно-политический журнал, стремящийся к энциклопедическому охвату действительности и сопрягающий ориентацию на современность (политические и культурные новости, новинки литературы) с приверженностью «вечным» темам (см. подробнее: *Киселев В. С.* Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII — первой трети XIX века. Томск, 2006. С. 322—355).

В. Киселев

РЕДАКТОРСКИЕ ЗАМЕТКИ К СТАТЬЯМ И ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Изъяснение картинки («Судьба управляет течением...») (С. 495)

Автограф неизвестен.

Впервые: ВЕ. 1808. Ч. 37. № 1. Январь. С. 65—68 — в рубрике «Смесь».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: 1807 г.

Рубрика «Изъяснение картинки» неоднократно появлялась в ВЕ в период редакторства и соредакторства В. А. Жуковского. Однако атрибутировать эти тексты писателю не представляется возможным. Только комментируемое ниже «Изъяснение...» было включено в ПСС Жуковского, подготовленное А. С. Архангельским (СПб., 1902).

Рассуждение Жуковского, поводом для которого послужило полотно А.-Ш. Караффа, помещено в постоянной рубрике ВЕ под названием «Изъяснение картинки», где к тексту описания прилагался эскиз. Сюжет статьи весьма репрезентативен, представляя одну из основных мифологем романтической системы поэта — категорию судьбы.

Обращение Жуковского к аллегорическим сюжетам живописи Караффа находит продолжение в одном из последующих кратких описаний из той же рубрики, где разлученная с юностью Любовь забывает оскорбления Времени в объятиях Дружбы (см. «Изъяснение картинки» в ВЕ, 1808. Ч. 39, № 9. С. 56—57).

Жанр аллегорической повести характерен для прозы Жуковского 1808 г. Типологически история путницы, встретившейся с воплощенными Судьбой, Жизнью и Временем, соотносима, к примеру, с повестью о трех сестрах Вчера, Ныне и Завтра, опубликованной в следующем номере ВЕ.

Сюжет данного «Изъяснения картинки» отзовется напрямую в павловской поэзии, в частности, в стихотворении «Жизнь» («Отуманенным потоком...», 1819), первоначальное заглавие: «Жизнь и ее ангел» (см. подробнее комментарий в настоящем ПССиП).

¹ Карафф Арман-Шарль (1762—1822) — французский живописец, ученик Ж.-Л. Давида, бывший в России (с 1803 г.) при Александре I, участник Французской революции, в России известны его полотна «Клятва Горациев» (музей-усадьба Архангельское), «Метелл, останавливающий воинов» (ГЭ), «Портрет Д. И. Фонвизина».

² ...*clair-obscur*... — Светотень, полусвет, мягкий свет (*франц.*).

Н. Никонова

Редакторские заметки (С. 497)

Особенностью ВЕ в период редакторства и соредакторства В. А. Жуковского является активная позиция издателя в отношении публикуемых материалов. Так, первый фрагмент (подписан: Ж.) представляет собой его примечание к статье «Письмо к издателю» (1808. № 5. С. 18—23), посвященной наводнению 1807 г. в Якутске. Неизвестный автор «Г. Д.» рассказывает читателям о подвиге купца Протодьяконова, спасшего, вместе со своим товарищем, купцом Ушаковым, от верной гибели нескольких солдат, оказавшихся на льдине посредине разлившейся реки Лены. Автор письма подчеркивает благородство и мужество русского человека, настаивая, что рассказанная им реальная история достойна не меньшего внимания, чем «иностранные анекдоты», которыми заполнены отечественные периодические издания. В своем примечании Жуковский благодарит Г. Д. за письмо и поддерживает его в патриотическом настрое, так же, как и он, полагая, что русский человек сам способен учить своих детей «правилам чести».

Второй фрагмент — это примечание Жуковского к статье «Два письма русского путешественника» (1808. № 7. С. 206—222). Оно является развернутым (занимает почти полностью с. 206—213) литературным портретом автора писем Н. Ф. Алферова, русского гравера, живописца, архитектора (род. в 1780-х, ум. в 1840-х гг.) и одновременно воззванием к русской публике о пожертвованиях в его пользу. Н. Ф. Алферов происходил из дворян Харьковской губернии. В сентябре 1805 г. он через Черное море прибыл в Константинополь, снабженный средствами для путешествия воспитателем своим А. А. Палицыным и родственником его по жене, В. Н. Каразиным, с рекомендациями их нашему посланнику, А. Я. Италинскому. Любитель искусства, Алферов задумал совершить объезд востока, Африки и запада Европы с целью изучить на месте памятники зодчества. Средств его, однако, не хватило и для путешествия по Греции.

Как особенно важные черты личности и характера Алферова в примечании Жуковского называются «любопытство, пламенная любовь к изящному, благородное честолюбие заслужить в отечестве свое имя», подчеркивается просветительский характер его продолжительного и опасного путешествия. В примечании Жуковский призывает соотечественников оказать благотворительную помощь молодому талантливому деятелю русской науки и искусства.

Третий отрывок является примечанием Жуковского к статье «Фенелон, воспитатель герцога Бургонского» (1809. № 4. С. 288—299), переводу из Ф. Ц. Лагарпа, воспитателя императора Александра I, который, как известно следовал идеям Фенелона, еще в XVII в. высказавшего мысль о том, что с детского возраста монарху необходимо качественное образование и усвоение высоких моральных принципов. Только в таком случае, оказавшись на троне, монарх станет образцовым правителем. Все эти идеи впоследствии стали краеугольным камнем педагогической концепции Жуковского — воспитателя наследника русского престола. Примечание сделано в форме постскриптума к статье, в котором Жуковский, знаток и почитатель Фенелона (см.: БЖ. 1. С. 494—507; БЖ. 3. С. 220—249), подчеркивает его авторитет в России, где французского деятеля ценят как «человека, истинно великого как деятельностью для блага людей, так и искусством изображать свои мысли и чувства

языком, для всех равно привлекательным». Примечание заканчивается описанием сада известного русского масона И. В. Лопухина в его имении Савинское, украшаемого урной, «посвященной памяти Фенелона». Савинский парк представлял собой небольшой архипелаг, состоящий из нескольких островков. Центром был Юнгов остров, названный в честь английского поэта-масона Э. Юнга. На острове располагались храм дружбы, пустынная хижина для уединения и молитв, памятники французским просветителям Жан-Жаку Руссо и Фенелону, генерал-фельдмаршалу Н. В. Репнину, другу Лопухина, а также герою Семилетней войны генералу Василию Авраамовичу Лопухину (см.: *Гаврюшин Н. К.* Юнгов остров. Религиозно-исторический этюд. М., 2001). К № 4 ВЕ приложена гравюра Жуковского, изображающая Юнгов остров в саду Лопухина (ныне хранится в Отделе изобразительного искусства Русского музея).

В совокупности подобные примечания дополняют наши представления о мировоззрении и эстетике Жуковского.

И. Айзикова

Уведомления

(С. 500)

Характерной приметой ВЕ в период редакторства и соредктирования В. А. Жуковского является активная филантропическая деятельность. В журнале регулярно помещались письма от различных корреспондентов с описаниями бедственного положения вдов, сирот, погорельцев (1808. Ч. 40. № 13. С. 64—67; 1809. Ч. 44. № 8. С. 274—281. Ч. 46. № 13. С. 77—80. Ч. 47. № 17. С. 50—55. № 18. С. 124—132; 1810. № 11. С. 244. № 12. С. 326—327. № 16. С. 329 и др.), очень часто в ответ издатели получали деньги от тех или иных благотворителей. Отчеты о подобных пожертвованиях регулярно публиковались на последних страницах полумесячных номеров. Уведомления составлялись как М. Т. Каченовским, так и В. А. Жуковским, иногда с обозначением совместного авторства или без подписи. Помимо филантропической переписки в раздел уведомлений также включались реплики о причинах задержки с получением журнала (1809. Ч. 46. № 15. Август. С. 240) или короткие ответы о судьбе материала, присылаемого корреспондентами (1809. Ч. 48. № 22. Ноябрь. С. 176). В совокупности же подобные заметки создают картину обширной благотворительной работы, реализующей на деле этические принципы обильно представленных в журнале моралистических сочинений. Эти уведомления можно расценивать как документальный пролог к дальнейшей истории филантропических подвигов В. А. Жуковского, сопровождавших всю его жизнь.

В. Киселев

ИЗ ЧЕРНОВЫХ И НЕЗАВЕРШЕННЫХ РУКОПИСЕЙ

Лионель и Эльмина

(«Один из соотечественников наших, Лионель...»)

(С. 510)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 21. Л. 2—11 с об. — черновой, незавершенный

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: середина 1807 г.

Черновой фрагмент незавершенной повести, возможно, оригинальной (во всяком случае, автора и название подлинника установить не удалось). Выполненный отрывок знакомит читателей с героями и с завязкой действия. В примечании издатель сообщает, что герои — «не вымышленные лица. Главные обстоятельства все справедливы: издатель имел случай видеть письмо одной англичанки к русскому, ее жениху, в котором она с умом и приятностью изображает характер супруга, достойного ее выбора; ответ ему неизвестен, но он старался его вообразить». Намечены характерные для сентиментального и романтического повествования мотивы вынужденной разлуки влюбленных Лионеля и Эльмины и мечты о будущей семейной жизни. Завязка сюжета едва обозначена при том, что весьма подробно представлен весенний пейзаж, рождающий в душе героя «тихое и безмятежное предчувствие будущих радостей», природы, тайны, совершенного в прошлом безнравственного проступка. Повествование ведется и от лица рассказчика, и от лица героя, в форме его письма к Эльмине. Начиная с л. 7 текст представляет собой сплошные зачеркивания (отдельных слов, фраз, целых абзацев). Общее содержание зачеркнутого фрагмента сводится к размышлениям Лионеля о страстях, о том, что любовь, которая должна быть основанием супружеского союза, не имеет ничего общего со страстью, что красота, которую почитают главной необходимостью для любви, кратковременна и редко может сохранить любовь, ибо в семейных отношениях не «увядает только цвет стыдливости и скромности». Далее герой пишет Эльмине об искусстве одеваться, в котором он видит усовершенствованное желание нравиться, хотя «телесные прелести только дополнение к душевным». Лионель рассуждает о том, что красота одежды должна быть незаметной и что не стоит много времени жертвовать нарядам. Другими словами, сюжет оказывается оборванным, он, по сути, переходит в трактат, где развиваются очень близкие Жуковскому идеи о семье и семейных отношениях.

И. Айзикова

Аполлоний и фессалийские поселяне

(«В путешествии моем по Фессалии...»)

(С. 512)

Автограф: РНБ. Оп.1. № 21. Л. 12 об. — 16 — черновой.

Впервые: БЖ. Ч. 3. С. 294 — 299.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по первой публикации со сверкой по рукописи.

Датируется: по заглавию тетради (ед. хр. 21) «Переводы для Вестника. 23 июля» <1807 г.>.

Источник перевода: *K.-V. Wiland. Agathodemon* [Агатодемон] // С. М. Wieland's sämtliche Werke. Bd. XXXII. Leipzig, 1799. Buch 2. Kap. 9.

Рукопись перевода находится во второй тетради, озаглавленной Жуковским: «Переводы для Вестника. 23 июля» <1807 г.>. Заглавие и начало перевода находится на л. 13. Правка делается как в основном тексте, так и на оборотах предыдущих листов, начинаясь на л. 12 об. Текст читается хорошо. Несколько ниже основного текста тщательно зачеркнутая фамилия автора переводимого текста: Виланд.

Автограф представляет собой незначительно сокращенный перевод 9-й главы второй книги романа К.-М. Виланда «Агатодемон» («Agathodemon»), не переведенного на русский язык роман до сих пор.

Кристофер Мартин Виланд (1733—1813) — выдающийся представитель немецкой литературы XVIII в. Увлечение Жуковского его произведениями относится к раннему периоду жизни и творчества поэта (1805—1808 гг.) и связано с интересом последнего к нравственно-этическим проблемам, особенно остро ставившимися именно в немецкой просветительской литературе. Можно думать, что к творчеству Виланда русского поэта привлекло и необычайное «сочетание фантастики и чувствительности с идеями Просвещения в самом их высоком значении» (*Данилевский Р. Ю.* Виланд в русской литературе // *От классицизма к романтизму.* Л., 1970. С. 229).

Дневники и письма Жуковского, сохранившиеся планы и списки задуманных произведений, где неоднократно упоминаются виландовские тексты, свидетельствуют о серьезности увлечения поэта немецким автором. Об этом же говорят и испещренные пометами и записями Жуковского страницы хранящегося в его библиотеке указанного выше «Собрания сочинений» писателя и шести томов «Дополнений» («Supplemente») к нему. Подробнее об этом см.: *Реморова Н. Б.* Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. С. 17—124 и БЖ III. С. 250—294.

Роман «Агатодемон» написан в 1796—1799 гг. и построен в форме письма некоего Хегезиаса из Сидоны к другу Тимогену, в котором он рассказывает о встрече в горах (во время путешествия с ботаническими целями) с необыкновенным человеком, которого местные жители-пастухи, не зная его подлинного имени, прозвали Агатодемоном (Добрый демоном) за его отношение к людям и помощь, которую он им оказывал. Как выясняется позднее, Агатодемон оказался Аполлоном Тианским, излагающим любопытствующему слушателю Хегезиасу свои воззрения по отдельным вопросам морали, религии и философии.

Аполлоний Тианский — личность историческая, жившая в I в. н. э. О его полубогословской жизни и деяниях повествуется в «Жизни Аполлония Тианского», написанной Филостратом в III в. н. э. и представляющей собой своего рода «языческое евангелие», являющееся «продуктом целой среды», интересовавшейся не «богословскими, а моральными проблемами» и стремившейся «найти нравственные идеалы и воплотить их в каком-либо конкретном образе» (Корелин М. С. Падение античного мирозерцания. СПб., 1901. С. 122). По мнению Ж. Ревилья, в Аполлонии воплощалось преобразованное язычество; он олицетворял собою религиозный синкретизм, который должен был удовлетворить всех, узаконив все местные верования, и в то же время давал душам, жаждущим нравственной религии, самое чистое и возвышенное учение» (Ревиль Ж. Религия в Риме при Северах. М. 1898. С. 252). К.-М. Виланд, специально занимавшийся изучением и переводами античных произведений, по всей видимости, прекрасно знал книгу Филострата и широко использовал это сочинение, дополняя и развивая содержащуюся в нем критику на основе уже имевшихся в его время достижений прогрессивной научной мысли по изучению зарождения и развития религии. Значительное место в «Агатодемоне» отводится рассуждениям Аполлония о первоначальном христианстве, о современном его состоянии и о грядущей его судьбе. Признавая историчность личности Христа и закономерность появления новой, пришедшей на смену изжившему себя язычеству, религии, герой говорит о постепенном перерождении её, также создавшей свою мифологию (культ святых) и свои мистерии, породившей множество спорящих о бессмысленных вопросах сект, ведущих между собой жестокую борьбу «во имя Бога и Христа».

Читая произведение, Жуковский оставляет на его страницах свыше 70 помет и записей на свободных частях страниц и форзацах книги. Такое внимание к ней обусловлено во многом личной заинтересованностью читателя, постоянно размышляющего над вопросами соотношения духовных и физических начал жизни; нравственного совершенствования человека и его самоусовершенствования; частной и общественной морали и их соотношения. Для Жуковского и его современников эти проблемы были неотделимы не только от философии, но и от религии, в отношении к которой у поэта в этот период нет достаточно четкой позиции, о чем он прямо пишет А. И. Тургеневу 11 августа 1803 г.: *«Я в себе не нахожу того сильного, внутреннего неизгладимого чувства, которое должно быть первейшим основанием религии: я видел христиан на словах, которые не имеют понятия о возвышенности чувств христианских, о бессмертии и пр.; несогласие чувств и дел с правилами и словами, всегда замечаемое мною с колыбели, должно было произвести во мне это неуважение и равнодушие»* (ПЖТ. С. 9). Не ощущая в себе, как он сам пишет, религиозного чувства, Жуковский стремится обрести его, ибо видит в нем своего рода фундамент для создания моральной системы. Так, составляя для себя план того, «что написать в журнале» (дневнике), в мае 1806 г. он записывает: *«Моральная система в отношении к Богу: к ближнему: к себе самому. К Богу. 1) Понятие о религии натуральной и откровенной: на них основать свои поступки. 2) Понятие о творении. 3) Молитва. 4) Провидение»*. И далее: *«Мысли. (...) Здравие телесное необходимо для совершенствования внутреннего (...) Идеал добродетельного и счастливого человека. О Агатоне. (...) О христианской морали в сравнении с философической; основать последнюю на первой. Прочитать моральные статьи в энциклопедии и потом написать свои»*. (ПССиП. Т. XIII. С. 34).

То, что в записи фигурирует имя Агатон, еще раз указывает на связь этих размышлений с чтением Виланда, ибо Агатон — герой одноименного романа немецкого просветителя, находящегося в первом томе вышеназванного собрания сочинений и вызвавшего восторг читателя. Весьма примечательно совпадение имени героя первого романа и прозвища, данного Аполлонию Тианскому: ведь в обоих произведениях автор поднимает вопрос формирования личности «добродетельного и счастливого человека». Но если в первом из них речь идет о становлении этой личности, ее самосовершенствовании под воздействием жизненного опыта, то в «Агагодемоне» Аполлоний предстает перед рассказчиком как «идеал добродетельного человека», обладающего сознательно создаваемым телесным здоровьем, которое позволяет ему достигнуть высокого внутреннего совершенства и оказывать благотворное влияние на окружающих. Отсюда и особый интерес читателя к той части романа, где повествуется о «чудесах» Аполлония, направленных на усовершенствование человека и его жизни.

Жуковский-читатель подчеркивает на полях и отмечает особым знаком (=), содержание которого он сам определяет как «оригинально в высшей степени», мысль автора о «целебном обмане», направленном не к тому, чтобы отдалить человека от проблем обыденной действительности, а, напротив, на то, чтобы с его помощью эту повседневную жизнь лучше познать и, познав, уже сознательно отказаться от заблуждений. Виланд особенно акцентирует внимание на том, что «целебный обман», миф, суеверие — все может быть использовано для пробуждения духовной природы человека, если она в нем еще не развита или ослаблена чрезмерно утонченной чувствительностью («Übermäßige Verfeinerung der Sinnlichkeit»), и гармония между животной и духовной природой нарушена. Жуковский не только отмечает эту мысль, но, продолжая и развивая её, делает на полях запись, как бы предвосхищая рассуждения самого Виланда (S. 130), которые в дальнейшем также будут им отмечены, Жуковский пишет: *«У народов, уже искушенных в учениях, средства не те, которые требует народ грубый: они теряют силу, достигнув цели, или же на новые им потребные изменяются».*

Лучшим доказательством того, что Жуковский принимает идею Виланда о возможности использования «целебного обмана», является факт перевода с намерением опубликовать в ВЕ отрывка из «Агагодемона», озаглавленного в рукописи «Аполлоний и фессалийские поселяне», где рассказывается об одном из «маленьких приключений» («kleine Abenteuer») героя, когда ему пришлось прибегнуть к обману темных (einfältige) людей для их же собственной пользы («zur ihrem eigenen Vortheil»).

Поскольку отрывок предполагалось опубликовать самостоятельно и, судя по автографу, без указания источника, переводчик убирает из текста все, что связывает его с целым произведением. Так, если в главе говорится о возвращении героя из Фессалии, то в переводе просто о путешествии; опущены два последних абзаца главы, где речь идет о реакции Хегезиаса на рассказ Аполлония и о продолжении их беседы: существенно сокращен первый абзац рассказа героя, где упоминается Хегезиас и приводятся не имеющие прямого отношения к повествованию рассуждения героя о болтливой старости («das Alter ist geschwatzig»), охотно распространяющейся об историях своей молодости («auf Geschichte seiner Jugend»); кроме заглавия имя героя произведения и его прозвище — Агагодемон — нигде не упомянуто. Изменено в переводе и имя крестьянина Гирены, с которым беседовал герой. В оригинале он Дриас (Dryas), в переводе — Микон.

В то же время в переводе сохранены все сюжетные мотивы и фактические детали рассказанной герою истории и, что особенно важно, основная идея отрывка. Не случайно отмеченные Жуковским при чтении строки (на с. 130) становятся не только завершением в переведенной части, но приобретают роль и значение вывода, к которому стремился привести рассказчик всей системой изложенных фактов-доказательств. Это подчеркивается и стилем перевода: в заключении перевода акцент сделан не на объяснении того, что разумеется рассказчиком под «целительным обманом», а, во-первых, на двойственном характере «чудесного», могущего быть не только «гибельным и вредным», но и «полезным и спасительным» для человека, и, во-вторых, на *дозволенности* использования заблуждений с целью приближения заблуждающихся к истине, познав которую, они сами от этих заблуждений откажутся, в то время как в оригинале рассказанная история служит всего лишь «одним из примеров» того, что автор-рассказчик разумеет под «целительным обманом».

¹...*Фессалия* — историческая область на востоке Греции.

²*Цере́ра и Помона* — Церера — древнеримская богиня, вторая дочь Сатурна и Реи (в греческой мифологии ей соответствует Деметра). Её изображали прекрасной матроной с фруктами в руках, ибо она считалась покровительницей урожая и плодородия. Помона — римская богиня фруктовых и ореховых деревьев, древесных плодов.

³...*священных кабиров на острове Самофраке*. — Кабиры — в древнегреческой мифологии — хтонические существа малоазийского происхождения, божества плодородия и покровители мореплавания. Дети Гефеста и нимфы Каби́ро, дочери Протея. По общему представлению, это великие боги, имевшие силу избавлять от бед и опасностей. Как отмечает греческий историк и географ Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.), божеств на Самофраки (Самофракии), самом северном острове Греции, многие отождествляют с Кабирами. Во время плавания аргонавты посетили их на Самофракии, что описывалось в сатировской драме Эсхила «Кабирь», где кабирь угощали их вином. В Самофракии существовало особое сословие Кабиров-жрецов, на обязанности которых лежало устройство в их честь торжественных процессий, переходивших из одного святилища в другое и сопровождавшихся шумной музыкой и танцами. Цицерон называет эти празднества оргиями и говорит, что они происходили ночью.

⁴*Аксиохерзос* — Из многочисленных имен Кабиров сохранились только следующие, приведенные в схолиях к «Аргонавтике» Аполлония Родосского вместе с их отождествлениями с богами: 3 кабира — Аксиерос (Деметра), Аксиокерса (Персефона), Аксиокерсос (Аид).

Н. Реморова

Святой трилиственник
(«Во время крестовых походов...»)
(С. 519)

А в т о г р а ф: РНБ. Оп. 1. № 21. Л. 17 — 30 — черновой.
Впервые: *Реморова Н. Б.* В. А. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. С. 270—284.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации со сверкой по автографу.

Датируется: по заглавию тетради (ед. хр. 21) «Переводы для Вестника. 23 июля» <1807 г.>.

Источник перевода: *Veit Weber. Heilige Kleeblatt* [Святой трилистенник] // *Veit Weber. Sagen der Vorzeit*. Bd I—VII. Berlin, 1787—1798. Bd. 1. S. 171—303.

Рукопись находится во второй тетради, озаглавленной Жуковским: «Переводы для Вестника. 23 июля» <1807 г.>. Заглавие, подчеркнутое волнистой линией, размещено в самой верхней части листа. Листы без полей. Обильная правка делается как в самом тексте, так и на оборотах предыдущих листов, начиная с оборота л. 16. На самом листе 16 располагается завершение предыдущей рукописи, занимающее половину страницы. Несколько ниже этого текста располагается надпись — Святой трилистенник, выполненная крупными, четкими буквами, подчеркнутая волнистой линией (как это сделано и на л. 17, но тщательно зачеркнуто). Вероятно, завершив перевод «Аполлония и фессалийских поселян», Жуковский уже готов был приняться за работу над «Святым трилистенником», но мысль о нерациональности начинать новый перевод с листа, более чем наполовину заполненного, заставила его перенести начало перевода на свежий лист. В дополнение к самой рукописи следует указать на находящийся в той же папке (л. 12) список задуманных переводов, где не только вписан «Святой трилистенник», но и указан его объём: «56 <страниц>», приблизительно соответствующий будущему объёму печатного текста, что свидетельствует о завершении работы над ним до 23 июля 1807 г.

В собственноручно составленной Жуковским «Росписи во всяком роде лучших книг и сочинений...» (РНБ. Оп. 1. № 79. Л. 3 об.) в разделе «Романы. Свободные художественные» указано достаточно много произведений, относящихся к так называемой тривиальной литературе. В большинстве случаев они названы с указанием авторов. К концу списка следуют названия без указания авторов, а часто и просто по именам полюбившихся героев: «Aizibialdes», «Sigwart von Maler», «Freund Heins Erscheidungen». В числе их находим и «Sagen der Vorzeit». Это — семитомное издание повестей и романов на сюжеты из средневековой истории Файта Вебера. В первом томе издания опубликован первоисточник «Святого трилистенника».

«Святой трилистенник» Жуковского представляет собой достаточно свободный и сокращенный как минимум на одну треть перевод одноименного произведения Георга Филиппа Людвиг Леонарда Вехтера, (Wächter), писавшего под псевдонимом Файт Вебер (Veit Weber, 1762—1837). Леонард Вехтер еще в детстве и ранней юности зачитывался хрониками и книгами по истории. В 1783—1786 гг. он изучал теологию, историю и литературу сначала в Гамбурге, а потом в Геттингене, где сблизился с Бюргером и первую книгу своих «Sagen der Vorzeit» в будущем посвятит ему. Как пишет немецкий исследователь К. Гёдеке, Файт Вебер «был одним из первых, кто под влиянием гётевского Гёца избрал путь изображения в романах средневековой истории Германии (...)» (*Goedeke K. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen ... Bd V. Dresden, 1893. S. 492*). К числу этих романов принадлежат и «Сказания древних времен». Вошедшие в них повести и романы не только пользовались большим успехом в Германии, но и за её пределами. Так, в Англии не только читали его произведения в оригинале, но

вскоре стали переводить их на английский. Как указывает В. Э. Вацуро, «Сказания древних времен» оказали влияние и на создателей готических романов и писателей романтиков, таких как М. Льюис и В. Скотт. А сам Файт Вебер должен быть признан зачинателем и создателем рыцарского романа как одной из ветвей тривиальной литературы (подробнее об этом см.: Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 286 и др.).

Файт Вебер как писатель претендовал на историческую достоверность своих произведений и даже делал ссылки на первоисточники. Однако этот историзм носил достаточно дилетантский характер, ведь автор не видел разницы между подлинным источником и художественным произведением. Будучи связан, как и вся тривиальная литература, с немецким Просвещением, со штурмерством, он смотрел на Средневековье как эпоху дикости, варварства, мракобесия и религиозного фанатизма. Отсюда проистекает и антиклерикальный пафос многих его произведений, и характер изображения многих персонажей. Все герои его резко делятся на безусловно добродетельных и безусловно порочных. К первым относятся, прежде всего, идеальные рыцари, благородные, храбрые, верные данному слову, которые часто становятся жертвами адских интриг и коварства. Носителями религиозного фанатизма и мракобесия чаще всего оказываются аббаты, верящие только в доход от прихода, жадные и развратные, не брезгающие для достижения своих целей ни обманом, ни лжесвидетельством, ни подкупом, ни убийством. В. Э. Вацуро справедливо указывает, что, как почти все авторы рыцарских романов, «Вебер исповедует принцип “рациональной демонии”»: обман, интриги облекаются у него в форму псевдосверхъестественного, непременно получающего естественное объяснение, в этом смысле он ещё весь во власти просветительского рационализма» (Там же. С. 287).

«Святой трилистник» Жуковского — произведение, во многом отличающееся от оригинала. Так, название в переводе сохранено. Однако следует заметить, что в «материалах для Вестника», хранящихся в другой папке (РНБ. Оп. 1. № 79. Л. 7), среди произведений, намечавшихся к публикации, значится: «О страстях трилистника». Эту запись вряд ли можно рассматривать как предполагаемое заглавие, так как она находится в ряду других подобных записей, называющих темы, которые должны быть отражены в журнале («О жизни после смерти», «О счастья», «О старости» и др.). В то же время эта запись подчеркивает, что Жуковский осознаёт содержание произведения как показ *страстей*, то есть чувств, охвативших героев, завладевших ими, что для Вебера как автора оригинала является лишь одним из компонентов общего замысла.

В переводе Жуковский сохраняет всех героев, все основные сюжетные линии, мотивы и большинство эпизодов. Правда, многие персонажи получают новые, более привычные для русского уха имена: старый рыцарь Зюнау становится Венфридом, Кунигунда — Бригиттой, Адельгейда — Аделиной, Рудольф — Виллибальдом, Гуго — Германом, Гейнц Вердинген — Отто Вульфингемом. Изменено даже имя святого, покровителя монастыря (св. Бруно — св. Урсула). Несомненно, эти замены связаны со стремлением Жуковского сделать текст более доступным для читательского восприятия, акцентируя его внимание не на готической экзотике, не на внешней эффектности отдельных сцен и положений, а на раскрытии внутреннего мира героев. На это же направлено и большинство купюр и кратких пересказов русского автора, как бы отсекающих все побочные сюжеты, не имеющие прямого

отношения к истории любви и борьбы за своё чувство главных героев повести. Так, за счет прямых купюр и краткого пересказа он сокращает «экспозицию», в которой содержится подробный рассказ о скупости старого рыцаря (S. 171—172), опускает описание внешности и сладострастия средней сестры, Бригитты, не принимающей активного участия в развитии событий.

Не включает Жуковский в текст перевода и авторские рассуждения о низком уровне развития в Средние века (рассуждения, характерные для просветителей и неприемлемые для романтиков), убирает описание предвещающего битву свидания Виллибальда в подземелье (S. 223) и авторские излияния о преимуществе плененного, но надеющегося на освобождение героя, перед утратившей надежду Аделиной (S. 233—234). Наконец, переводчик обходит вниманием обширную сцену ночного свидания Аделины и Гертруды и их нелепые, с точки зрения читателя XIX в., манипуляции с мертвой головой (S. 235—240) и т. д. Примеры подобного сокращения текста можно продолжить. Кроме того, Жуковский как бы «выравнивает» с помощью небольших купюр порой выпретенный, порой грубый стиль повествования (будь то авторская речь или речь действующего лица), к которой периодически прибегает автор, продолжая традиции штюрмерской драматургии. Не приемлет он и приверженности автора и его героев к гиперболам, напыщенным сравнениям, мнимо значительным эпитетам. Поэтому в русском тексте исчезают «муки ада» и «адское злорадство», сравнение рыцарского шлема с горшком для денег и прямое указание на то, что Гертруда была «перезрелой девой в возрасте 40 лет», и утверждение, что убийцы набросились на уже мертвого странника, «как тигр на жертву», и т. д.

Целый ряд купюр частного или более общего характера связан с принципиальным расхождением в подходе переводчика и автора к изображению внутреннего мира человека. Характеры персонажей у Вебера не имеют полутонов, лишены какой бы то ни было психологической сложности. Однако, поставив в центр повествования историю любви и борьбы за свое чувство двух молодых людей, автор не мог отказаться от попытки изобразить состояния их души в различных, чаще всего драматических ситуациях, но психологически достоверно сделать это ему ещё не удается. Взаимосвязь внешних обстоятельств и внутреннего мира героев выглядит у него слишком прямолинейно и измеряется некими «количественными» величинами. Так, считая Рудольфа погибшим, Адельгейда так много льет слез над вазой, куда помещена предполагаемая его мертвая голова, что посеянные в землю зерна пшеницы прорастают. Когда же Адельгейда заподозрила, что похитителем мог быть Гуго Герсбрук, и решила мстить ему, «её сердце громко забилося в груди, голубые жилки на красивом лбу, обычно едва просвечивающие сквозь белую кожу, набухли, кроткие глаза излучали мечь». Кроткая, нежная, бесконечно наивная на первых страницах повести Адельгейда в течение недели превращается под пером автора повести в гневную деву-мстительницу. Подобные метаморфозы происходят и с другими персонажами Вебера.

Жуковский при переводе решительно исключает подобные пассажи. Так его Аделина с начала и до конца повествования сохраняет характер несколько наивной, мятущейся от неясных, впервые нахлынувших на нее ощущений девушки, интуитивно стремящейся защитить своё право на любовь. Она говорит просто, естественно, без аффектации, в её речах нет той выпретенности, которая в оригинале, соседствуя с авторскими утверждениями о силе её душевных страданий, вызывает

едва ли не комический эффект. Жуковский полностью отказывается от передачи на русский язык (не естественной в минуту душевного волнения) нарочитой образности речи героини.

Принадлежа другому литературному направлению, исповедуя другие эстетические принципы, Жуковский отказывается от нагромождения действий как средства характеристики человеческих поступков, сосредотачивая внимание на их *качестве*, на их внутреннем смысле. Если в оригинале у Адельгейды в момент потрясения «черты лица *ничего не выражали*» («ihre Züge waren ohn' Ausdruck»), взор её был «неподвижен», («starr»), и она «молча пошла в свою келью» («ging schweigend ih ihre Klause»), то у Жуковского глаза Аделины, «*устремленные* на Виллибальдов шлем, *выражали отчаянное уныние*». Вдох её идет «*из глубины груди*», и покидает она келью своей наставницы Гертруды, «*не протаясь ни с кем*», т. е. изменив и своим правилам, и нарушив общепринятый этикет. Поступки Аделины свидетельствуют об изменении её внутреннего состояния не меньше, а больше, чем у Вебера, притом, что изменения выражаются в действиях более естественных и психологически обоснованных.

Особый интерес проявлен переводчиком к описанию внешности своих положительных героев, их душевных состояний и окружающего их пейзажа. Именно здесь переводчик позволяет себе наибольшее количество принципиальных отступлений и даже самостоятельных вставок в текст. Портреты и пейзажи, сохраняя общий характер оригинала, под пером переводчика меняют тональность, становятся более поэтичными, углубляются психологически, приближаются в ряде деталей к восприятию русского читателя.

В качестве примера может служить описание облика юной героини. Опустив авторские рассуждения о неразвитости средневековых понятий о красоте, о подаренном патером Феликсом Бригитте миртовом венце и о страсти Гертруды к золотым монетам, Жуковский заменяет некоторые авторские сравнения при описании облика Аделины на более живописные, более поэтические и эмоционально насыщенные, углубляя тем самым не только внешнюю, но и внутреннюю характеристику героини. Так, вместо указания оригинала, что Адельгейда была похожа на своих сестер «как блестящий золотой гульден на заржавленную мелкую монету», переводчик говорит, что Аделина имела со своими сестрами такое же сходство, как «майское светлое утро имеет с дождливой сентябрьской ночью». Если в оригинале говорится о том, что миннезингер увидел Адельгейду, «когда она, стоя на башенке замка, подавала бедному пилигриму хлеб и несколько яблок», то в переводе миннезингер *случайно* увидел Аделину, когда она «*фаскрасневшись, бежала с кружкой к колодезю, чтобы напоить бедную старушку, лежавшую при дороге*». Нежность румянца девушки еще раз будет подчеркнута в переводе при упоминании об отношении к ней Бригитты, которая «*часто целовала её горячие розовые щеки*». Если в оригинале глаза Адельгейды «голубые, исполненные блеска», то в переводе они ещё и «*чистые*», и «*томные*», и «*осененные густыми ресницами*». И, наконец, вместо приписанной миннезингеру и поддерживаемой автором оригинала претенциозной гиперболы, что «природа, по-видимому, обеднела, наделив эту девочку красотой!», переводчик делает простое, но значительно более выразительное и многозначительное замечание, что естественная, земная красота юной Аделины превосходит все вдохновенные поэтические описания: «*добры́й стихотворец, описав её в минуту вдохновения, не сказал ничего лишнего, многое, может быть, выразил слабо*».

Переводя «Святой трилистенник», Жуковский делает очень много отступлений от оригинала и в описаниях природы. Прежде всего, пейзаж под пером переводчика (будь то обширная зарисовка или отдельная деталь) психологизируется, картина природы в переводе становится важной не сама по себе, а как средство раскрытия душевной жизни героев. Поэтому в переводе пейзаж, во-первых, дается, по большей части, *через восприятие* героя, а во-вторых, непременно подчеркивается влияние природы на состояние его души. Жуковский не приемлет склонности автора к экзотическому пейзажу, каким является, напр., описание сада Фельзека. В переводе он фактически создает свой пейзаж, несущий на себе явное влияние оссианических традиций, позволяющий создать определенное настроение как у героя, так и у читателя. В пейзаже Жуковского появляются такие эпитеты, сравнения, метафоры: «*сумрачная роща*», «*царствующая тишина*», «*мрачные тополи*», «*дрожжащие осины*», «*склоняющееся к закату солнце, посылающее последнее сияние к недвижным водам озера*», и т. д. действительно способные «*располагать душу к унынию*». Под пером переводчика сама природа становится «чувствительной», очеловечивается. Поэтому и общение с ней становится более интимным, душа героя как бы вступает в непосредственный контакт с ней. Одновременно переводчик отказывается от элементов «архитектурного пейзажа», который, как отмечает В. Э. Вацуро, широко используется в сентиментально-готическом романе, и главная функция которого состоит в создании атмосферы таинственности и предчувствия, со следами разрушения и запустения.

При этом Жуковский вовсе не безразличен к авантюрному элементу повествования; к изображению «чудесного» и «таинственного», но на первом плане для него всё же было раскрытие внутреннего мира человека и постановка серьёзных нравственно-этических проблем.

Финал «Святого трилистенника» всецело принадлежит Жуковскому. Прежде всего, заключительная часть повествования, в отличие от большинства страниц основного текста, значительно расширена. Так, вместо короткой фразы «Два дня Адельгейда лежала в тяжелой болезни» Жуковский пространно объясняет причину и течение болезни Аделины, отмечает, что Виллибальд во время горячки возлюбленной «с горестным удовольствием» слушал её бред, в котором всё было обращено к нему.

Далее, вместо вскользь брошенного в оригинале замечания «Гильдегарда сбежала в монастырь», «Гертруда — вместе с ней», переводчик говорит о судьбе всех остальных персонажей. Рассказ завершается мрачным пейзажем Черной долины. Такой сам по себе очень поэтический финал получает еще и элегический тон, снабжается ссылками на предания и летописи.

¹ ...*ступая несколько лет по завоевании Святого гроба Готфридом Бульоном...* — Готфрид IV Бульонский, также Годфруа де Бульон (ок. 1060—1100), один из предводителей 1-го крестового похода (1096—1099) на Восток, после захвата Иерусалима был провозглашен правителем Иерусалимского королевства. Отказавшись короноваться в городе, где Христос был коронован терновым венцом, Готфрид вместо королевского титула принял титул барона и «*Защитника Гроба Господня*».

² ...*служителя Белиалова...* — Велнал, Белиал — в Библии демоническое существо, дух небытия, разврата, разрушения.

³ ...*в ближнем киоске...* — беседка, павильон в турецком вкусе.

⁴ ...женский голос пел... — В рукописи оставлено место для нескольких стихотворных строк.

⁵ ...отрывистые песни Филомелы... — Филомела — персонаж древнегреческой мифологии. Вторая жена Терей, который вырезал ей язык. Чтобы избежать преследований мужа, она превратилась в ласточку (в другом варианте — в соловья). По другой версии мифа, Филомела, дочь царя Афин, была у своей сестры, Прокны, жены царя Фокиды, Терей. Терей подверг Филомелу насилию и, чтобы скрыть свое преступление, вырвал у нее язык. Филомела рассказала об этом сестре вышивкой на ткани. Разъяренная Прокна убила своего сына от Терей и накормила мужа его мясом. Зевс превратил Филомелу в ласточку, Прокну — в соловья, а Терей — в удода.

Н. Реморова

Мисс Лони

(«Артур Редадь, младший сын богатого лорда...»)

(С. 543)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 21. Л. 39—40, черновой, с заглавием «Мисс Лони».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: по заглавию тетради (ед. хр. 21) «Переводы для Вестника. 23 июля» <1807 г.>.

Источник перевода не установлен.

Фрагмент чернового незавершенного перевода повести, автора и название подлинника которой установить не удалось. Выполненная часть перевода знакомит читателей с героями и с завязкой действия, судя по которой можно предположить, что переводная повесть должна была быть посвящена теме любви и нравственно-психологической проблематике. Действие происходит в современной (для начала XIX в.) обстановке, но намечены характерные для сентиментального и романтического повествования мотивы тайны, совершенного в прошлом безнравственного проступка. Повествование ведется от лица рассказчика, тонкого наблюдателя окружающей действительности.

И. Айзикова

СТАРЫЕ СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ В ПРОЗЕ

(С. 546)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. 37 л. — черновой.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805—1811 гг.

В рубрику «Из черновых и незавершенных...» вошли четыре отдельных текста (первые четыре текста), далее идет публикации отдельной тетради с рукописями,

которая называется «Старые сочинения и переводы в прозе», в ней ряд текстов (от «Замечаний о искусстве мыслить до «Этны...»).

Ед. хр. № 18, подписанная «Старые сочинения и переводы в прозе», представляет собой пачку бумаг, в основном с незавершенными переводами, относящимися к 1804—1811 гг. Они занимают особую страницу в ранней прозе Жуковского. По-видимому, эти переводы писатель делал для себя, для самообразования, в процессе чтения книг, в большинстве своем вошедших в «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты» (1805). При этом для него существенна не только проблематика фрагментов, но и их стиль, что наглядно демонстрирует черновой характер рукописей. Кроме приведенных в данном томе переводов, в папке хранится несколько трудно читаемых набросков, выполненных на бумаге с водяным знаком 1804 г.: план, озаглавленный «Семейство Линдау», начало наброска переводного рассказа (без названия) и начало текста под названием «Наброски мыслей» (главным образом, о супружестве). Публикуем тексты в той последовательности, в которой они представлены (сшиты) в архивной тетради (т. е. не в хронологической), датировки см. в комментариях.

Замечания о искусстве мыслить

(«Происхождение вещей и всякое действие природы...»)

(С. 546)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 2 — 3, черновой, с заглавием «Замечания о искусстве мыслить».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: не ранее 1811 г. (по водяному знаку — «1811» — на л. 3).

Источник перевода неизвестен.

Обращение Жуковского к «искусству мыслить» определяется серьезным вниманием к проблемам духовной жизни человека, его внутреннего мира, столь активно привлекавшим поэта с самого начала творчества. Таинственность интеллектуальной деятельности личности, соотношение свободного выбора и предопределенности в ходе размышления, родство мыслительных процессов и вдохновения, творчества — всё это важнейшие темы писем и дневниковых записей Жуковского начала XIX в., целого ряда переводов, сделанных им для ВЕ и представляющих собой собственно изображение процесса размышления («О назначении человека», «Сила несчастья», «Разговор Ума с Сердцем», «Разговор Моды с Рассудком» и др.).

Как узнавать свои успехи в добродетели

(«Можем ли мы сказать, Сенесион...»)

(С. 548)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 4 — 6 об. — черновой, с заглавием «Как узнавать свои успехи в добродетели».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805 г.

Источник перевода неизвестен.

Перевод сделан на бумаге с водяным знаком 1804 г. (л. 4), с первоначальным названием «О успехах в добродетели». Черновой фрагмент объемом в три листа (с оборотами) посвящен проблеме нравственного самосовершенствования, которое осмысливается как длительный и трудный процесс приближения души к добру, очищения ее от пороков.

¹ *Аристид* — Аристид (ок. 530—476 до н. э.) — афинский государственный деятель, полководец периода греко-персидских войн (500—449 до н. э.). Причиной восхищённого удивления современников была «справедливость» Аристида — он всегда ставил общегосударственные интересы выше личных и групповых.

² *Фаларис* — тиран агригентский во второй пол. VI в. до н. э. Прославился своей невероятной жестокостью.

³ *Гесиод* — первый известный по имени древнегреческий поэт, живший в VII—VIII вв. до н. э.

⁴ *Цифряне* — Жуковский хотел откомментировать это слово, поставив в тексте знак сноски, которую так и не сделал.

⁵ *Сестий* — Вероятно, имеется в виду Публий Сестий, трибун 57 г. до н. э., друг Цицерона.

⁶ *Солон* (между 640 и 635 — около 559 до н. э.), афинский политик, законодатель и поэт.

О благодарности и неблагодарности
(«Жалуются на великое множество неблагодарных...»)
(С. 552)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 8—11, черновой, с заглавием «О благодарности и неблагодарности» (л. 7 пустой).

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: не ранее 1803 г. (по водяному знаку на л. 8 и 11).

Источник перевода неизвестен.

Фрагмент «О благодарности и неблагодарности» встает в ряд с такими переводами, сделанными для ВЕ в 1808—1810 гг., как «О дружбе», «О скупости», «Слезы», «О неверности». В нем также рассматриваются проблемы нравственного воспитания личности и психология благодетеля и благодарности (причины, мотивы, выражение того и другого). Идеи моральной практической философии перемежаются зарисовками разных типов благодетелей и благодарности и неблагодарности, в зависимости от характера человека, его воспитания.

Общество и уединение

(«Многие писали и рассуждали о светской жизни...»)

(С. 558)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 12—13 — черновой, с заглавием «Общество и уединение».

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 262—263.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805 г.

Источник перевода: *Garve Ch. Ueber Gesellschaft und Einsamkeit* [Общество и одиночество] // *Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem geselligen Leben*. Breslau, 1792—1800. Bd 3. S. 2. Атрибуция: Резанов. Вып. 2. С. 262—263.

Перевод из сочинения Х. Гарве (1742—1802) выполнен на бумаге с водяным знаком 1804 г. (л. 12). В «Росписи», в отделе «Мораль» значатся «все сочинения Гарве» («*Garves Sämmtliche Schriften*»). Читая летом 1805 г. сочинение Х. Гарве «Об обществе и уединении» (в библиотеке поэта есть это произведение с его многочисленными пометами. См. также: Описание: № 1072, 1074—1080. О восприятии Жуковским Гарве см.: БЖ. Т. 2. С. 140—203), Жуковский записывает в своем дневнике:

Простой, ясный и приятный слог; порядок в предложении мыслей, справедливость мыслей, основанных на опыте. (...) Гарве может назваться настоящим практическим философом, то есть таким, которого философия может быть легко применена к человеческой жизни, потому что она основана на опыте, не есть умозрительная (...). — Уединение и общество могут действовать на образование ума, характера, наружности; бывают многих родов; имеют влияние, большее или меньшее, на счастье человека: вот содержание книги, которую теперь читаю. О действии общества на образование ума. Ум образуется приобретением познаний и деятельностью. Предмет познаний (главнейший) есть человек; познавая других, мы познаем самих себя больше или меньше. (...) Мы должны выйти из самих себя, чтобы потом к себе возвратиться и себя яснее увидеть. Разнообразие характеров возбуждает наше внимание. (...) В уединении или в тесном кругу общественного обращения, не имея перед глазами такого разнообразия, не видя примеров ни отменной добродетели, ни отменной испорченности, мы чувствуем какое-то однообразие, приобретаем какую-то леньность духа, пустоту, недеятельность (...). Человек есть учитель человека (ПССиП. Т. XIII. С. 21—22).

Вслед за Гарве, немецким профессором философии, моралистом Жуковский-переводчик пытается выразить убедившие его самого мысли об обществе и уединении на русском языке. Речь в отрывке идет о постановке проблемы соотношения светской жизни и уединения, о которой писатель в это время много размышляет. Под этим углом зрения прочитываются многие произведения Руссо, фронтальным изучением которого Жуковский занимается именно в это время. Перевод начинается с утверждения мысли о естественном неравенстве людей, которая в сознании Жуковского связана в первую очередь с проблемой соотношения в человеке

естественного и общественного начал. В отличие от Руссо Жуковский признает общение законом жизни человека. Позиция Жуковского очень близка Карамзину, который, приветствуя жизнь в уединении как жизнь, посвященную самопознанию и самосовершенствованию, тем не менее, считает, что «сердце (человека. — И. А.) образовано чувствовать с другими и наслаждаться их наслаждением. Отделяясь от света, оно иссыхает подобно растению, лишенному животворящих влияний солнца... Человек не создан для всегдашнего уединения и не может передать себя» («Мысли о уединении» — ВЕ. 1802. № 10. С.) «Сладостным и даже необходимым для умов деятельных» может быть, по мнению Карамзина, только «временное уединение». Именно в обществе человек учится «утонченному человеколюбию», утверждает Карамзин в другой статье — «Нечто о науках, искусствах и просвещении». 21 июля 1805 г. в связи с размышлением над сочинением Гарве «Об обществе и уединении» Жуковский записывает: «Наше внимание скорее обращается на людей, нежели на нас самих. Мы, сравнивая их достоинства и недостатки с своими достоинствами и недостатками, обнаруживаем их и объясняем» (ПССиП. Т. XIII. С. 22). Эта мысль и станет центральной в данном переводе. В общении Жуковский видел «не только источник интеллектуального развития человека и средство его самопознания, но и основной критерий нравственной ценности» (БЖ. Т. 3. С. 89). Не менее важно для человека и уединение, в котором только и возможна подлинная жизнь духа, счастье. Об этом Жуковский высказался со всей ясностью в одном из переводов, выполненных для «Примеров слога» — в статье «Наружность счастья и истинное счастье» (отрывок из «Эмиля» Руссо). Фрагмент обрывается на изложении общего очерка содержания книги Гарве (записи Жуковского в книге Гарве также находим на первых 32-х страницах ч. 3 и на нижней крышке переплета ч. 4). Как считает В. И. Резанов, продолжения перевода не было. В доказательство он приводит запись из дневника Жуковского от 16 ноября 1805 г.: «Я хотел переводить Гарве, но его оставляю на время. Я ошибся, думая, что разнообразие в работах будет делать их приятными; напротив, оно только что развлекает мысли и не дает им заняться исключительно одним предметом. Займусь теперь сочинением моего собрания лучших русских авторов» (т. е. «Собранием русских стихотворений...», изданных Жуковским в 5 ч. В 1810—11 гг. — И. А.; ПССиП. Т. XIII. С. 27). Эта запись косвенно подтверждает датировки переводов «Как узнавать свои успехи в добродетели», «О средствах дать совершенное здоровье детям» и «О продолжении жизни».

По мнению В. И. Резанова, этот перевод нельзя считать удачным, по причине плохого знания Жуковским немецкого языка, что и явилось причиной того, что перевод остался незаконченным (Резанов. С. 264). Позднее Жуковский переведет из Гарве статью «Подарок на Новый год» для ВЕ (1808. № 1. С. 25—29; см. комментарий в данном томе).

¹ *Циммерманову книгу о уединении* — Имеются в виду И. Г. Р. фон Циммерман (1728—1795), швейцарский философ и врач, и его наиболее известный трактат «Об одиночестве» (Über die Einsamkeit; 4 тома, 1756, 1784—85).

Глава первая. О похвале и любви к славе.
Глава вторая. О похвалах священных и гимнах
(«Похвала, которую так ищут, которую так расточают...»)
(С. 559)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 14—17 с об., — черновой, без общего заглавия, но с заглавиями первой и второй глав: «Глава первая. О похвале и любви к славе» и «Глава вторая. О похвалах священных и гамнах».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: не ранее 1802 г. — 1805 г.

Источник перевода неизвестен.

Фрагмент записан на бумаге с водяным знаком 1802 г. (л. 17). Он представляет собой эссе нравственно-психологического содержания, продолжая проблематику и пафос перевода «О благодарности и неблагодарности». Во второй части вопрос переводится в эстетическую сферу, в область жанрологии (рассматривается история похвалы как литературного жанра).

¹...*кто же будет хвалить нас?* — Речь идет о Филиппе II, царе Македонском (382—336 гг. до н. э.), который, победив афинское войско, обращался с побежденными врагами с благоразумной умеренностью. Когда ему советовали разрушить Афины, которые так долго и упорно ему противодействовали, он отвечал: «Боги не хотят, чтобы я разрушил обитель славы, для славы только и сам я тружусь беспрестанно».

²...*в «Цинне»*... — Имеется в виду трагедия П. Корнеля «Цинна» (1641).

³...*Спарте нужны 300 человек для смерти...* — Речь идет об известном эпизоде греко-персидских войн, сражении у Фермопил, и о погибших 300 спартанцах из личной гвардии царя Леонида. Спартанцы славились по всей Греции как самые неустрашимые и сильные воины. «Вместе победить или вместе умереть!» — гласил их закон. В мировую историю попали только спартанцы, другие герои-греки выпали из людской памяти, т. к. первым, кто описал этот подвиг, был спартанский поэт Симонид Кеосский, который, естественно, старался превознести своих соотечественников. Он и прославил спартанцев, а об остальных как-то «забыл». В настоящее время бытует выражение «300 спартанцев» как символ мужества и героизма.

⁴...*более 200 венков дубовых сделал Рим властителем мира.* — Венок из дубовых листьев был одним из знаков власти как древних царей Альба-Лонги, так и наследовавших им римских царей. Смысл его в обоих случаях одинаков: царь является воплощением бога дуба в человеческом образе.

⁵*Жезлом, подобным Тарквиниеву...* — Имеется в виду римский царь Тарквиний Гордый, породивший недовольство во всех сословиях. По легенде, в Дельфы от царя Тарквиния было послано посольство для истолкования несчастливого знаменья в доме царя. Послами были сыновья царя, а сопровождающим с ними Луций Юний Брут, который в дар Аполлону преподнес золотой жезл, скрытый внутри рогового, иносказательный образ своего ума.

⁶...*писателей-панегиристов...* — Т. е. прославителей, воспевателей.

**О средствах дать совершенное здоровье детям.
Сочинение Самуила Крузиуса**

Перевод с немецкого

(«Здоровье всего дороже на свете...»)
(С. 564)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 18—19 — черновой, с заглавием «О средствах дать совершенное здоровье детям. Сочинение Самуила Крузиуса. Перевод с немецкого».

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805 г.

Источник перевода неизвестен.

Перевод записан на бумаге с водяным знаком 1804 г. (л. 19), сделан, вероятно, в одно время с переводом из Гуфланда «О продолжении жизни», в определенной степени оттеняя его (см. комментарий перевода «О продолжении жизни» ниже). Речь здесь идет исключительно о физическом здоровье человека и о том, какую роль в его жизни, начиная с момента рождения, играет воздух. По-видимому, книга и ее автор не привлекли настоящего внимания Жуковского. Перевод оборван, и в дальнейшем Жуковский не обращался ни к этому, ни к какому другому сочинению Крузиуса.

И. Айзикова

О таинственности

(«Il n'est de beau, de doux, de grand...»)
(С. 568)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 20 — черновой, с заглавием «О таинственности», с указ. в конце: «Пр.<имечание> к Шатобриану». Подчеркивания в тексте принадлежат Жуковскому.

Впервые: *Янушкевич А. С.* Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985. С. 89—90.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется: 1809—1810 гг.

Источник перевода: *Leçons de Littérature et de Morale... V. 1—2.* Paris, 1804 (подробнее см. примеч. в т. VIII наст. изд.).

В дневниковой записи от 16 июля 1805 г., Жуковский признается: «... я еще не читал “Génie du christianisme”» (ПССиП. Т. XIII. С. 20), хотя интерес к этому произведению французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848) уже очевиден. Еще до этого признания, в тот же день Жуковский цитирует попу-

лярные слова Шатобриана: «J'ai pleuré et j'ai cru» («Я плакал, я уверовал»), которыми начинается его «Гений христианства» (ПССиП. Т. XIII. С. 19). Беседа с бароном И. П. Черкасовым об этом произведении, о которой рассказывает автор дневника, способствовала знакомству с ним. В «Росписи во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты», относящейся к 1805 г., «Génie du christianisme» включен в раздел «Смесь» (Резанов. Вып. 2. С. 244). В конце 1805-го — начале 1806-го г. Жуковский работает над хрестоматией «Примеры слога, выбранные из лучших французских писателей», куда включает перевод отрывка из «Гения христианства» (ч. 1, кн. 5, гл. 12) под заглавием «Прекрасная ночь в пустынях нового мира».

Приступив к изданию ВЕ, Жуковский обращается вновь к сочинению Шатобриана и переводит из него в 1810 г. отрывок под заглавием «Образ жизни и нравы рыцарей» (ч. 4, кн. 5, гл. 4). См. примеч. в наст. томе.

Обращение поэта к балладному жанру стимулирует его интерес к рыцарской тематике и проблеме чудесного-таинственного. В этом смысле «Гений христианства» отвечал эстетическим поискам автора «Людмилы» и «Светланы». Примечание ко второй главе первой книги французского романтика появилось в атмосфере балладных экспериментов и на основании места этого текста в рукописи, его эстетического контекста может быть предположительно датировано 1809—1810 гг.

Отталкиваясь от первой фразы второй главы «Гения христианства»: «Il n'est rien de beau, de doux, de grand dans la vue que les choses mystérieuses» [Нет ничего более прекрасного, сладостного и великого в жизни, чем таинственные вещи], Жуковский четко определяет свое расхождение с Шатобрианом. Как справедливо заметил исследователь, «mystère» Шатобриана (а глава называется «De la nature du mystère» (О природе таинственного) // Chateaubriand F. R. *Genie du Christianisme*. Paris, 1802. Part 1, livre 1, ch. 2) «имеет значение не “таинственное”, а “таинство”» (Вацуфо В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 296). Жуковский прежде всего пытается осмыслить таинственное и чудесное как понятия эстетические, как «свободу воображения». Если автор «Гения христианства» придает таинственному всеобъемлющий и непознаваемый смысл, возводя его к религиозной символике и мистике, то «русский баллажник» говорит о равноправии различных чувств в человеческой жизни. Таинственное, чудесное для него — средство активизации воображения, внимания к тому, что заключает в себе «некоторую неясность», «приводит душу в большее напряжение». Именно эта концепция таинственного как поэтического приема определит особенности его балладного творчества.

Обилие подчеркиваний в тексте рукописи свидетельствует о программности этого примечания Жуковского к «Гению христианства».

¹ Это одно из первых упоминаний имени немецкого писателя Жан Поля (наст. имя и фамилия Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763—1825). Позднее, в конце 1810-х гг. Жуковский обратится к его эстетике, прежде всего к книге «Приготовительная школа эстетики» (БЖ. Ч. 2. С. 181—188, 213—214), переложит отрывок из его прозы в стихотворение «В ту минуту, когда ты в белой брачной одежде...» (ПССиП. Т. II. С. 76, 496—497), а во время первого заграничного путешествия 1820—1821 гг. лично познакомится с ним и опишет эту встречу в дневниковой записи от июля 1821 г. (ПССиП. Т. XIII. С. 191; 517, примеч. 131).

А. Янушкевич

<То не может не иметь начала...>

(«То не может не иметь начала...»)

(С. 570)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 20 об. — 21 — черновой, без заглавия.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1809—1810 гг.

Датировка осуществляется по положению рукописи в тетради: текст записан на обороте листе 20, где размещается автограф «О таинственности». Он состоит из нескольких незаглавленных фрагментов, которые объединяет философская проблематика (вопросы о начале и конце жизни, о движении как вечном законе бытия, о целостности бытия и в то же время о его многогранности) и общий пафос ее толкования.

О философии

(*Сионский вестник*, с. 13)

(«Философия во все входит...»)

(С. 572)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 21—22 с об. — черновой, под заглавием: «О философии», с подзаголовком: (*Сионский вестник*, с. 13); подчеркивания в тексте принадлежат Жуковскому.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1809—1810 гг.

Датировка текста связывается с датировкой фрагмента <«То не может иметь начала...»> (записан на бумаге с водяным знаком 1804 г. (л. 21). Текст имеет подзаголовки — «Сионский вестника, с. 13». Имеется в виду ежемесячный религиозно-нравственный журнал с мистическим направлением, который издавался в 1806 г. в Санкт-Петербурге (издатель А. Ф. Лабзин). В номерах за январь и февраль в нем опубликована анонимная статья «О философии». Буквальных совпадений с текстом, созданным Жуковским, нет, но в продолжении статьи, опубликованной в июльском номере «Сионского вестника», можно увидеть некоторые переключки с текстом Жуковского. Таким образом, возникает предположение, что данный текст представляет собой оригинальный фрагмент, созданный в опоре на статью безымянного автора из «Сионского вестника».

Философия определяется здесь как «основание всех наук и искусств, которых цель есть истинное и изящное: наука отвлеченностей, т. е. наука о тайных вещах, которые не подлежат физическим чувствам, есть метафизика». В развитии этого положения, ставится вопрос о границах знания и в связи с этим выстраивается следующая иерархия: «Всеведение есть характер Божества, следовательно, многоведение есть характер человека; он создан для сей цели».

Способность человека мыслить напрямую соотносится с таким понятием, как свободная воля личности. Как следствие этого встает проблема веры и сомнения, которая начала волновать Жуковского с самого начала творчества.

Статья интересна своим программным антирационализмом и позволяет говорить об особом понимании Жуковским важнейшей гносеологической категории — познания. Приоритеты явно отданы чувственному постижению истины, движению к ней с помощью интуиции, прозрения: «я могу быть уверен, что Клеант прекрасный, благородный человек, но мне должно любить его, чтобы быть его другом и в дружбе его найти свое счастье. Кто чувством уверен в бытии Бога и бессмертии, тому не нужна подпора размышления, он должен только питаться и наслаждаться своим чувством, которое никогда не может исчезнуть; слишком для него важно и слишком неразлучно с его счастьем» (л. 21 об.).

¹ *Бесчувственность есть ад того, / Кто зло творит без сожаленья* — цитата из стихотворения Н. М. Карамзина «К добродетели» (1802), введенная автором в роман «Рыцарь нашего времени», в гл. VI «Успехи в учении, образовании ума и чувства».

² *Мадам де Севинье* — Мари де Рабютен-Шанталь, баронесса де Севинье (1626—1696) — французская писательница. Ее выражение: *tout est sain aux sains* (из «*Lettres de Madame de Sévigné: de sa famille, et de ses amis*»)

О продолжении жизни. Извлечение из Гуфланда

(«§ 1. Что должно сделать для положения точных правил...»)

(С. 577)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 23—24 с об., 27—27 об. — черновой, с заглавием «О продолжении жизни. Извлечение из Гуфланда». Подчеркивания в тексте принадлежат Жуковскому.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805 г.

Источник перевода: *Hufeland Ch.-W. Art de prolonger la vie* [Искусство продолжения жизни]. Ed. 3. 1805.

Источник перевода — сочинение К.-В. Гуфланда (1762—1836) «*Kunst das menschliche Leben zu verlängern*», вышедшее первым изданием в 1796 г. и получившее всемирную известность. Как указывает В. Резанов, оно было переведено на все европейские языки. Жуковский переводил, по-видимому, с 3-го издания (1805 г.), которое представляло собой французский перевод «*Art de prolonger la vie*». Перевод выполнен на той же бумаге (с водяным знаком 1804 г.) и тем же почерком, теми же чернилами, что и статья «Как узнавать свои успехи в добродетели». Заглавие и немецкого подлинника, и французского перевода труда К.-В. Гуфланда, одного из знаменитых врачей своего времени, широко образованного человека, поклонника литературы, было внесено Жуковским в свою «Роспись во всяком роде лучших книг, из которых (...) должно сделать экстракты» (отделы «Физика» и «Медицина»). Чуть позднее, вероятно, и были переведены шесть параграфов из «*Art de prolonger*

la vie». Л. 25 подписан «Примечания к Гуфланду», но они отсутствуют, л. 25—26 заняты небольшими по объему набросками, не имеющими отношения к Гуфланду. Л. 26 об. — чистый. На л. 27 начинается продолжение перевода из Гуфланда. Л. 27 об. озаглавлен «Практическая часть», однако он остался чистым.

Впоследствии Гуфланд станет другом Жуковского. В мае 1821 г. он подарит русскому поэту-романтику «Наставления к блаженной жизни» Фихте с дарственной надписью, книгу, написанную философом-идеалистом и посвященную духовной деятельности человека (см.: БЖ. Т. 2. С. 197).

Переведенные Жуковским параграфы книги Гуфланда представляют собой «экстракты», формулирующие «правила продолжения жизни», которые касаются исключительно физической, материальной природы человека. Однако смыслообразующим центром теории Гуфланда, весьма положительно воспринятой Жуковским, является идеалистическое по своей сути понятие жизненного начала, которое «дает каждому телу собственный ему характер и частное отношение ко всему материальному миру», «противится разрушению тела, имея силу соединять, поддерживать все части его состава». Соответственно этому в статье дается весьма примечательное определение жизни: «Жизнь существа организованного есть не иное что, как состояние свободы и деятельности жизненного начала, с которым неразлучна живость и деятельность органов». Продолжительность жизни и способы ее увеличения связываются Гуфландом с качеством и количеством жизненного начала человека.

Письмо первое

(«Вы несколько раз просили меня, милостивая государыня...»)
(С. 584)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 28 — беловой, с заглавием: Письмо первое. Подчеркивания в тексте принадлежат Жуковскому.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805 — начало 1806 г. (?)

Источник перевода неизвестен.

Перевод выполнен на бумаге 1804 г. Беловой автограф продолжен черновым на л. 29 об. — 30 (л. 28 об., 29—29 об. — чистые). Статья, написанная в виде письма, продолжает тематику переводов из Гуфланда, Крузиуса.

Этна, или Человеческое счастье

(«Граф С.**, Мальтийский кавалер...»)
(С. 586)

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 18. Л. 31 — черновой, с заглавием: «Этна, или Человеческое счастье».

Впервые: Резанов. Вып. 2. С. 265—266.

В прижизненных изданиях отсутствует.

Печатается по автографу.

Датируется: 1805 г. — начало 1806 г. (?)

Источник перевода: *Engel J. J. Philosoph für die Welt (Der Ätna. Oder: über die menschliche Glückseligkeit // Engel J. J. Schriften. Bd. 2. S. 3—5).*

Попытка перевода вылилась в начало статьи, которая обрывается буквально на полуслове. В дальнейшем, в период работы в ВЕ Жуковский вновь обратится к «Светскому философу» Энгеля и сделает из него целый ряд переводов (см. комментарии в данном томе). О восприятии Жуковским Энгеля, интерес к которому не ослабевал на протяжении многих лет, см.: БЖ. Т. 1. 466—521; Т. 2. С. 140—228.

¹ *Мальтийский кавалер* — Имеется в виду кавалер Мальтийского ордена.

² *Валетта* — В настоящее время столица республики Мальта. История Валетты начинается с того момента, когда малочисленные отряды мальтийских рыцарей под предводительством Жана де ла Валетта отразили нападение турецких войск. Победа досталась жителям Мальты достаточно дорого, приведя магистра к решению создать хорошо укрепленный город, который в будущем должен был помочь противостоять натиску врагов.

³ *Катания* — город и порт в Италии.

⁴ *Николози* — коммуна в Сицилии, располагается у подножия вулкана Этна.

И. Айзикова

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища

ПД — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург).

РНБ — Российская Национальная библиотека (С.-Петербург), ф. 286 (В. А. Жуковский).

Печатные источники

АБТ — Архив братьев Тургеневых. СПб.: Изд. Отд. рус. яз. и словесности Рос. Академии наук, 1911—1921. Вып. I—VI.

Айзикова — *Айзикова И. А.* Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского. Томск, 2004.

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959.

БЖ — Библиотека В. А. Жуковского в Томске: В 3 ч. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978—1988.

Бумаги Жуковского — *Бычков И. А.* Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в Имп. Публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1884 г. Приложение. СПб., 1887.

Вацуро — *Вацуро В. Э.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.

ВЕ — Вестник Европы.

Вяземский — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. Т. 1—12. СПб., 1878—1896.

Ж. и русская культура — Жуковский и русская культура: Сб. науч. трудов. Л.: Наука, 1987.

Зейдлиц — *Зейдлиц К. К.* Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.

Зонтаг — *Зонтаг А. П.* Воспоминания о первых годах детства В. А. Жуковского // Русская мысль. 1883. № 2. С. 266—285.

Иезуитова — *Иезуитова Р. В.* Жуковский и его время. Л.: Наука, 1989.

МТ — Московский Телеграф.

ОЗ — Отечественные записки.

Описание — Библиотека В. А. Жуковского: Описание / Сост. В. В. Лобанов. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1981.

Пвп 1 — Переводы в прозе Василия Жуковского. Ч. 1—5. М., 1816—1817.

Пвп 2 — Переводы в прозе Василия Жуковского. 2-е изд. Ч. 1—3. СПб., 1827.

ПЖТ — Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.

ПМиЖ — Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1979—1997. Вып. 6—19.

ПСС — Полн. собр. соч. В. А. Жуковского: В 12 т. / Под ред., с биогр. очерком и примеч. А. С. Архангельского. СПб., 1902.

ПССиП — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1999—2012.

РА — Русский архив.

Резанов — *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб.; Пг., 1906—1916. Вып. 1—2.

РЛ — Русская литература.

Симанков — *Симанков В. И.* Из разысканий о журнале «Вестник Европы» (1808—1810 гг.): Сочинения В. А. Жуковского в прозе // *Жуковский: Исследования и материалы.* Вып. 1. Томск, 2010. С. 106—125.

С 2 — Стихотворения Василия Жуковского: В 3 т. 2-е изд. СПб., 1818. Ч. 4: Опыты в прозе. М., 1818.

С 3 — Стихотворения Василия Жуковского: В 3 т. 3-е изд., испр. и умнож. СПб., 1824. Ч. 4: Сочинения в прозе. 2-е изд., пересмотр. и умнож. СПб., 1826.

С 4 — Стихотворения Василия Жуковского: В 9 т. 4-е изд., испр. и умнож. СПб.: Изд-во А. Ф. Смирдина, 1835—1844.

С 5 — Стихотворения Василия Жуковского: В 13 т. 5-е изд., испр. и умнож. Т. I—XI. СПб., 1849; Т. X—XIII. СПб., 1857.

С 6 — Сочинения В. А. Жуковского / Под ред. К. С. Сербиновича. 6-е изд. СПб., 1869. Ч. 1—6.

С 7 — Сочинения В. А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 7-е изд., испр. и доп. СПб., 1878.

С 8 — Сочинения В. А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 1885.

С 10 — Сочинения в стихах и прозе В. А. Жуковского: В 1 т. / Под ред. П. А. Ефремова. 10-е изд., испр. и доп. СПб., 1901.

Семенко — *Семенко И. М.* Жизнь и поэзия Жуковского. М.: Худож. лит., 1975.

СОРС 1 — Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе, изданное Обществом любителей отечественной словесности. Ч. 1—6. СПб., 1815—1817.

СОРС 2 — Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе, изданное Обществом любителей отечественной словесности. Ч. 1—6. 2-е изд. СПб., 1822—1824.

СОС — Собрание образцовых сочинений в прозе. В 5 ч. М., 1811.

СС 1 — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. / Вступит. ст. И. М. Семенко. М.; Л.: ГИХЛ, 1959—1960.

СС 2 — *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 3 т. / Сост., вступит. ст. и коммент. И. М. Семенко. М., 1980.

УЗ — Утренняя заря.

Ц. р. — Цензурное разрешение.

Эстетика и критика — *Жуковский В. А.* Эстетика и критика / Вступит. ст. Ф. З. Кануновой и А. С. Янушкевича; подгот. текста, сост. и примеч. Ф. З. Кануновой, О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича. М.: Искусство, 1985.

Янушкевич — *Янушкевич А. С.* В мире Жуковского. М.: Наука, 2006.

Eichstädt — *Eichstädt H.* Žukovskij als Uebersetzer. München, 1970. (Forum slavicum. Bd 29.)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Аббас I (1571—1629), шах Ирана с мая 1587 г. *n/m 2* — 740
- Абд-эр-рахман Нур-эд-дин ибн Ахмед, по прозвищу Джами (1414—1492), персидский поэт и ученый *n/m 2* — 433, 441, 727, 736
- Абель Якоб Фридрих (1751—1829), немецкий философ, наставник Ф. Шиллера *n/m 1* — 462
- Абеляр Пьер (1079—1172), французский философ, теолог, поэт *n/m 1* — 426, 436
- Аби-л-Хасан Йасар (Хасан Басрийский, 642—728), крупнейший богослов раннего ислама *n/m 2* — 727
- Абу-Абдаллах Мухаммед, аль-Шефир аль-Идриси, также эль-Эдриси (1100 — год смерти неизвестен), арабский географ *n/m 2* — 440, 736
- Абу Джафар Мухаммед бен-Джерир (838—923), писатель *n/m 2* — 440, 735
- Абулфеда Эмад-эддин-Измаил (1273—1331), писатель из курдского княжеского рода Эюбидов *n/m 2* — 440, 735
- Абу-ль-Аббас Абд-Аллах аль-Мамун (786—833), багдадский халиф из династии Аббасидов, сын Харуна аль-Рашида *n/m 2* — 326, 691
- Аваби Мухаммед Акташи (середина XVI — середина XVII в.), историк, летописец *n/m 2* — 736
- Август III, Саконец (1696—1733), король Польши и великий князь литовский *n/m 1* — 484
- Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.), римский император *n/m 2* — 157, 298, 437, 591, 646, 679, 743
- Август Сильный (Фридрих Август I Саксонский, Август II Польский, 1670—1733), король Польши и курфюрст Саксонии *n/m 1* — 506
- Августин Аврелий Блаженный (354—430), христианский святой, теолог и проповедник *n/m 1* — 136, 460; *n/m 2* — 721
- Аверроэс (1126—1198), арабский философ *n/m 2* — 721
- Авиценна (980—1037), средневековый персидский ученый, философ и врач *n/m 2* — 721
- Агриппа Менений Ланат (ум. 493 до н. э.), римский государственный деятель *n/m 1* — 106
- Агриппина Младшая (15—59), мать римского императора Нерона *n/m 2* — 592
- Адольф Нассауский (до 1250—1298), граф в 1276—1298 гг., король Германии в 1292—1298 гг. *n/m 2* — 682
- Адриан Публий Элий (76—138), римский император *n/m 2* — 300, 681, 731
- Айзикова Ирина Александровна, литературовед *n/m 1* — 387—406, 408, 431—432, 442, 449, 465, 475, 493, 497, 502, 517—518, 521; *n/m 2* — 589, 595—596, 604, 607, 611, 615, 617, 619, 622, 628, 630—632, 639, 643, 647, 650, 653, 656—657, 661, 663, 667, 676, 683, 690—693, 699, 703, 705, 708, 740, 744, 746, 758—759, 769, 775, 780—781
- Александр I (1777—1825), российский император с 1801 г. *n/m 1* — 226, 418, 485—486, 488, 512; *n/m 2* — 421, 710, 717, 730, 756—757
- Александр VI (1431—1503), папа Римский с 1492 г. *n/m 1* — 463

* Указатель имен составлен И. Айзиковой и Н. Никоновой.

- Александр Македонский (356—323 до н. э.), полководец, царь Македонии *n/m 1* — 440, 490—491; *n/m 2* — 150, 157, 316, 360, 559, 614, 643, 646
- Александр Невский (ок. 1220—1263), русский государственный деятель, полководец, князь новгородский (1236—1251) и великий князь владимирский с 1252 г. *n/m 2* — 140
- Александр Николаевич (1818—1881), великий князь, российский император Александра II с 1855 г. *n/m 1* — 410, 473, 477
- Александра Павловна (1783—1801), великая княжна, дочь Павла I *n/m 1* — 486
- Александра Федоровна (Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, 1798—1860), дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, с 1817 г. жена великого князя Николая Павловича, с 1825 г. российская императрица *n/m 1* — 416, 488
- Алексеев Михаил Павлович (1896—1981), литературовед *n/m 1* — 486
- Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь *n/m 1* — 228, 487
- Али Челеби Васи (1541—1600), поэт и историк *n/m 2* — 735
- Алкивиад (ок. 450—404 гг. до н. э.), древнегреческий государственный деятель, оратор и полководец *n/m 2* — 58, 612, 646
- Аллер К., житель Тулы, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 506
- Алферов Николай Федорович (1780—1840), русский архитектор и гравер *n/m 1* — 439; *n/m 2* — 497, 499, 757
- Альберт Великий (1193—1280), философ, теолог, ученый *n/m 2* — 721
- Альгаротти Франческо (1712—1764), итальянский писатель и публицист *n/m 2* — 300, 680—681
- Альфараби (872—950/951), философ, математик, теоретик музыки *n/m 2* — 721
- Анакреон (ок. 410—495), древнегреческий поэт *n/m 2* — 427
- Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 1* — 104; *n/m 2* — 317, 721
- Анаксимандр (610—547/540 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* — 721
- Анаксимен Милетский (575— ок. 525 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* — 721
- Ангальт-Бернебург Шаумбургский Виктор Амедей (1744—1790), принц *n/m 2* — 169, 651, 653
- Анкетиль-Дюперрон Абрахам Гиацинт (1731—1805), французский востоковед *n/m 2* — 716
- Анна Австрийская (1601—1666), королева Франции *n/m 2* — 595
- Анна Иоанновна (1693—1740), герцогиня курляндская, российская императрица с 1730 г. *n/m 2* — 165, 651
- Анненков Павел Васильевич (1813—1887), критик и мемуарист *n/m 2* — 621
- Антуан III, герцог де Грамон (1604—1678), маршал Франции *n/m 1* — 164, 470
- Анфосси Паскуале (1727—1797), итальянский композитор *n/m 1* — 233, 492
- Апеллес (370—306 до н. э.), древнегреческий живописец *n/m 2* — 592
- Аполлоний Тианский (1—98), философ-неопифагореец *n/m 1* — 447, 456; *n/m 2* — 761—762
- Аранда Педро Абарка (1718—1798), испанский государственный деятель *n/m 1* — 125—126, 452
- Аргунов Павел Иванович (ок. 1768—1806), архитектор *n/m 1* — 488
- Ариосто Лудовико (1474—1533), итальянский поэт *n/m 2* — 356, 613, 694

- Аристид (ок. 530—476 до н. э.), афинский политический и военный деятель *n/m 2* — 549, 771
- Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* — 425, 717, 721
- Арминий (18/16 до н. э. — 19/21 н. э.), вождь германского племени херусков *n/m 2* — 742
- Аруэ Екатерина, сестра Вольтера *n/m 2* — 114, 627
- Архангельский Александр Семенович (1854—1926), историк литературы *n/m 1* — 522
- Аспазия (ок. 470—400 до н. э.), афинская гетера *n/m 2* — 317, 612
- Аттила (ум. 453), вождь гуннов *n/m 2* — 457, 722, 742, 749
- Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871), историк, литературовед, собиратель фольклора *n/m 2* — 724
- Ачерби Джузеппе (1773—1846), итальянский писатель, путешественник и ученый *n/m 1* — 153, 175, 442, 464, 473—474
- Бабур** (Великий Могол, 1483—1530), тюркский завоеватель Индии *n/m 2* — 49, 610
- Багадур-хан Абдул-гази (1605—1665), хивинский хан из потомков Чингисхана *n/m 2* — 440—441, 735
- Баженов Василий Иванович (1738—1799), архитектор, художник *n/m 1* — 487
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт *n/m 1* — 439, 500, 513
- Бакхилид (Вакхилид) (V в. до н. э.), греческий поэт *n/m 2* — 315, 687
- Балицкий Г., историк XX в. *n/m 1* — 485
- Балтильда (ок. 630 — не ранее 680), королева франкская *n/m 1* — 498
- Бальзак Жан-Луи Гез де (1597—1654), французский писатель *n/m 2* — 40, 607
- Бальи Жан Сильвен (1736—1793), французский писатель, астроном и общественный деятель, член Академии наук, президент первого французского национального собрания 1789 г. и мэр Парижа *n/m 2* — 427—428, 715, 723
- Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт *n/m 2* — 629
- Барант Амбль Гильом Проспер Брюжьер де (1785—1866), французский историк и дипломат *n/m 2* — 606
- Барни Роже (1929—2003), французский исследователь эпохи Просвещения и Великой французской революции *n/m 1* — 433—434
- Барончелли Козимо (1569—1626) *n/m 2* — 743
- Бартеlemi Андре Огюст Марсель (1796—1867), французский писатель *n/m 2* — 43, 436, 688, 730, 734
- Бартолоцци Джулио (1613—1687), итальянский гебраист и библиограф *n/m 2* — 738
- Бартольд Василий Владимирович (1869—1930), российский востоковед *n/m 2* — 746
- Батлер Элинор (1739—1829), английская леди *n/m 1* — 87, 441
- Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт *n/m 1* — 406, 416, 439, 516; *n/m 2* — 641, 661, 753
- Бауер Георг Лоренц (1755—1806), немецкий теолог, профессор богословия *n/m 2* — 737
- Баур Самуэль (1768—1832), немецкий писатель, пастор *n/m 1* — 443
- Бауршмит Вильгельмина, пасторша, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 508—509
- Бахадыр II Герай (Гирей) (?—1791), крымский хан *n/m 2* — 167, 652
- Бахтин Николай Николаевич (1866—1940), библиограф, переводчик, поэт *n/m 1* — 462

- Баярд Пьер Террайль де (1473—1524), французский рыцарь, полководец *n/m 2* — 358, 361, 695
- Безбородко Александр Андреевич (1747—1799), князь, государственный деятель и дипломат *n/m 1* — 227, 487
- Бейль Пьер (1647—1706), французский мыслитель и философско-богословский критик *n/m 2* — 40, 607
- Бекетов Платон Петрович (1761—1836), издатель *n/m 2* — 490, 613, 749
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), критик *n/m 1* — 407, 416, 521; *n/m 2* — 601, 641, 781
- Беллин Василий, благотворитель из Суздаля, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 504
- Беллини Джованни (1426—1516), итальянский художник *n/m 2* — 622
- Белосельский-Белозерский Александр Михайлович (1752—1809), писатель, просветитель, дипломат п/г 1 — 426, 473; *n/m 2* — 659
- Бенедикт Нурсийский (480—547), святой католической и православной церкви, родоначальник западного монашеского движения *n/m 2* — 658
- Бенитцкий Александр Петрович (1780—1809), поэт, переводчик, издатель *n/m 1* — 462
- Бергас Никола (1750—1832), французский государственный деятель и писатель *n/m 2* — 39, 606
- Берингова М. В., упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 501—504
- Бернсторф Андреас Петер фон (1735—1797), граф, датский политик *n/m 1* — 161, 469
- Бестужев (Бестужев-Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), декабрист, писатель и критик *n/m 1* — 407, 416; *n/m 2* — 601
- Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1766), государственный деятель, дипломат, граф *n/m 1* — 487
- Бетгер (Бёттгер) Иоганн Фридрих (1682—1719), изобретатель саксонского фарфора *n/m 1* — 506
- Бидпай (испорч. Пилпай), автор сборника басен, рассказов буддистского происхождения *n/m 2* — 441, 737
- Бирючинский Николай Васильевич, благотворитель, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 504
- Бичурин Никита Яковлевич (Иакинф, 1777—1853), российский китаевед *n/m 2* — 733
- Блер Хью (1718—1800), английский эстетик и критик *n/m 1* — 480
- Блэкстон Вильям (1723—1780), английский юрист *n/m 2* — 306, 683
- Боброва, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 506—507
- Богданович Ипполит Федорович (1743—1803), поэт *n/m 1* — 453; *n/m 2* — 490, 672, 748—749
- Боден Жан (1530—1596), французский публицист, политический мыслитель, теоретик естественного права, юрист *n/m 2* — 305, 683
- Бодлер Шарль (1821—1867), французский поэт *n/m 2* — 661
- Бодмер Иоганн Якоб (1698—1783), швейцарский критик и поэт *n/m 1* — 99; *n/m 2* — 305, 683
- Бойцов Михаил Анатольевич, историк *n/m 1* — 487

- Болингброк Генри (1678—1751), лорд, английский историк, философ и государственный деятель *n/m 2* — 300, 680
- Болтин Дмитрий Сергеевич (1757—1824), переводчик XIX в. *n/m 1* — 415
- Болховитинов Николай Николаевич (1930—2008), российский историк *n/m 2* — 634
- Бомарше Пьер Огюстен Карон де (1732—1799), французский драматург и публицист *n/m 1* — 62—81, 429—431, 471; *n/m 2* — 43, 260, 606, 693
- Бональд Луи Габриэль (1753—1840), французский политик и публицист *n/m 2* — 314, 686
- Бонапарт Жозеф (1768—1844), старший брат Наполеона I *n/m 1* — 477; *n/m 2* — 732
- Бонапарт Людовик (1778—1846), брат Наполеона I, король Голландии под именем Людовика I с 1806 по 1810 г. *n/m 2* — 629
- Бонапарт Мария Паолетта (1780—1825), сестра Наполеона I *n/m 1* — 477
- Бонапарт Наполен I (1769—1821), французский император *n/m 1* — 433, 444, 475—477, 487; *n/m 2* — 96—97, 104, 619—620, 629, 636, 709—710, 714
- Бонне Шарль (1720—1793), французский философ *n/m 2* — 298—299, 301—302, 305—306, 456, 460, 678—679, 682—683, 701, 741
- Бонстеттен Альбрехт (1445—1509), картограф *n/m 2* — 300, 680
- Бонстеттен Карл (Шарль) Виктор (1745—1832), швейцарский писатель и педагог *n/m 1* — 176, 392, 475—477, 513; *n/m 2* — 297—307, 677—683, 455—463, 741—745
- Бопп Франц (1791—1867), немецкий языковед, создатель школы сравнительного индоевропейского языкознания *n/m 2* — 716
- Боргезе Камилло (1775—1832), князь, потомок династии меценатов Боргезе *n/m 1* — 177, 477
- Борджа Чезаре (1475—1507), испанский политический деятель эпохи Возрождения *n/m 1* — 138, 463
- Боссюэ Жак Бенин (1627—1704), французский писатель, епископ *n/m 2* — 112
- Бозси Этьен (1530—1563), французский писатель-гуманист *n/m 1* — 454
- Браге Тихо (1546—1601), знаменитый датский астроном, астролог, алхимик *n/m 1* — 468
- Брандыс Мариан (1912—1998), польский писатель *n/m 1* — 486
- Брантом Пьер де Бурдейль (1540—1614), французский хронист эпохи Возрождения *n/m 1* — 35, 420
- Браунштейн Иоганн Фридрих (ок. 1680 — после 1728), немецкий архитектор на службе Петра I *n/m 1* — 489
- Брейгель Ян, мл. (1568—1625), нидерландский художник *n/m 1* — 234, 492
- Брейтингер Иоганн Якоб (1701—1776), немецкий критик *n/m 1* — 99
- Брейткопф Иоганн Готлиб Эмануил (1719—1794), известный типограф и книгопродавец *n/m 2* — 435, 730
- Бренна Винченцо (1745—1820), итальянский архитектор *n/m 1* — 486, 488
- Бриен Анри Огюст Ломени де (1754—1793), архиепископ, бывший министр Людовика XVI *n/m 2* — 257—258, 668
- Брикер де ла Димери Никола (1730/1731—1791), французский писатель, член масонской ложи «Девять сестер» *n/m 2* — 618
- Бродерип Фр., владелец фирмы по производству музыкальных инструментов (фортепиано) и изданию музыкальной литературы «Longman & Broderip» (Лондон, 1776—1798) *n/m 2* — 247

- Брус Яков Вилимович (Брюс Джеймс Даниэл, 1669—1735), российский государственный деятель, дипломат, сподвижник Петра I *n/m 1* — 450
- Бруг Луций Юний (VI в. до н. э.), один из основателей Римской республики *n/m 2* — 569, 774
- Брюж Анри Альфонс (1764—1820), виконт, генерал, служивший в армии принца де Конде *n/m 1* — 175, 474
- Буало-Депрео Никола (1636—1711), французский поэт, теоретик классицизма *n/m 2* — 595
- Бубенберг Адриан фон (ок. 1431—1479), швейцарский военный и политический деятель *n/m 2* — 743
- Буйн Жан Никола (1763—1842), французский драматург *n/m 1* — 400; *n/m 2* — 250—254, 666—667
- Булгаков Яков Иванович (1743—1809), дипломат *n/m 2* — 753
- Бутон (1290—1364), ученый *n/m 2* — 729
- Бутурлин Александр Борисович (1694—1767), генерал-фельдмаршал *n/m 2* — 139—140, 638
- Буфлер Мари-Франсуаза-Катрин де Бове-Краон (1711—1787), маркиза *n/m 2* — 589
- Бычков Иван Афанасьевич (1858—1944), археограф и библиограф *n/m 1* — 407, 521; *n/m 2* — 781
- Бэкон Фрэнсис (1561—1626), английский философ *n/m 2* — 596
- Бюргер Готфрид Август (1747—1794), немецкий поэт *n/m 1* — 515; *n/m 2* — 598, 764
- Бют Джон Стюарт (1713—1792), английский общественный деятель, граф *n/m 1* — 166—167, 471
- Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788), французский естествоиспытатель *n/m 1* — 502; *n/m 2* — 41, 43, 460, 679, 741
- Вайе Франсуа де Ла Мот Ле (1588—1672), французский писатель и философ *n/m 2* — 40, 607
- Валериан Публий Аврелий Лициний Валерий (253—260), римский император *n/m 2* — 610
- Валетт Жан Паризо де ла (1494—1568), Великий магистр Мальтийского ордена с 1557 г. *n/m 2* — 780
- Валле Пьетро делла (1586—1652), итальянский путешественник и географ *n/m 2* — 440, 735
- Валле Симон (1590—1642), французский архитектор *n/m 1* — 474
- Валуа Жан Тристан Французский (1250—1270), граф, сын Маргариты Прованской и Людовика IX Святого *n/m 2* — 696—697
- Ван Дейк Антонис (1599—1641), нидерландский художник *n/m 1* — 341, 508
- Ван Ин-линь (1223—1296), философ и ученый *n/m 2* — 733
- Ван Си-чжи (321—379), каллиграф *n/m 2* — 733
- Ван-Кули (Магомед ибн-Мустафа, ум. 1593), турецкий лексикограф *n/m 2* — 735, 440
- Варнекрос Генрих Эренфрид (1752—1807), немецкий филолог *n/m 2* — 737
- Варрон Марк Теренций (116—27 до н. э.), римский ученый-энциклопедист *n/m 1* — 105
- Васильев Василий Павлович (1818—1900), российский учёный-синолог, буддолог, санскритолог *n/m 2* — 726
- Васильев Леонид Леонидович (1891—1966), психофизиолог *n/m 1* — 456

- Ватто Жан Антуан (1684—1721), французский живописец *n/m 2* — 661
- Вахтанг V (1618—1675), царь Картлийского царства с 1658 г. *n/m 2* — 729
- Вахтанг VI (1675—1737), царь Картли, писатель, законодатель *n/m 2* — 435, 729
- Вацуро Вадим Эразмович (1935—2000), литературовед *n/m 1* — 396, 521; *n/m 2* — 599, 748, 752—753, 765, 768, 776, 781
- Вашингтон Джордж (1732—1799), американский государственный деятель, первый президент США (1789—1797) *n/m 2* — 634—635, 743
- Веджвуд Джозайя (1730—1795), английский художник *n/m 1* — 489, 505—507
- Вейдеман (Вайдeman) Карл Фридрих (около 1700—1782), флейтист *n/m 2* — 56
- Веймарн Иван Иванович фон (1722—1792), генерал-поручик *n/m 2* — 638
- Вейнер Петр Петрович (1879—1931), общественный деятель, издатель, редактор *n/m 1* — 491
- Вейсс Франсуа Родольф (1751—1802), швейцарский философ и моралист *n/m 1* — 465
- Велижев Михаил Брониславович, литературовед *n/m 2* — 752—753
- Вельде Адриан ван де (1636—1672), нидерландский художник и гравёр *n/m 2* — 622
- Вельяминов-Зернов Владимир Федорович (1784—1831), юрист, литератор *n/m 2* — 753
- Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), русский литературный критик, историк литературы, библиограф и редактор *n/m 1* — 462
- Вергилий (Виргилий) Публий Марон (70—19 до н. э.), римский поэт *n/m 1* — 164, 477, 514; *n/m 2* — 382, 384, 562, 703, 707
- Верн Жюль Габриэль (1828—1905), французский географ и писатель *n/m 1* — 495
- Верне Клод Жозеф (1714—1789), французский живописец *n/m 1* — 232, 234, 491—492
- Вернер Михаил Антонович (1858 — не ранее 1891), лейтенант морского флота, журналист, писатель *n/m 2* — 629
- Веселовский Александр Николаевич (1838—1906), историк литературы *n/m 2* — 600, 639
- Веспасиан Тит Флавий (9—79), римский император *n/m 2* — 666
- Ветшева Наталья Жоржевна, литературовед *n/m 1* — 450, 452, 470, 477, 493, 495, 518
- Вехтер Георг Филипп Людвиг Леонард (псевдоним Файт Вебер, 1762—1837), немецкий писатель *n/m 2* — 764
- Вецель Иоганн Карл (1747—1819), немецкий писатель, педагог *n/m 1* — 130, 456
- Видал Гор (род. 1925), американский писатель *n/m 2* — 591
- Видукинд (ок. 755—810), вождь саксов в их борьбе за независимость *n/m 2* — 457, 742
- Виельгорский Юрий Михайлович (1753—1807), польский и российский государственный деятель *n/m 1* — 226, 485
- Виже-Лебрён Мари Элизабет Луиза (1755—1842), французская художница *n/m 1* — 232, 490
- Виланд Кристоф Мартин (1733—1813), немецкий писатель *n/m 1* — 40, 130, 136, 410—411, 417, 425—426, 447, 455—460, 508; *n/m 2* — 512—519, 675, 701, 760—763
- Вильгельм I Завоеватель (Вильгельм Нормандский или Незаконнорожденный, ок. 1027/1028—1087) *n/m 2* — 50, 52—53, 55, 119, 610, 629
- Вильгельм Нассау, принц Оранский (1533—1584), наследный принц нидерландский, политический деятель *n/m 2* — 629

- Вильфорд Френсис (?—1822), лейтенант инженерных войск, автор публикаций в журнале «Азиатские исследования» *n/m 2* — 725
- Виницкий Илья Юрьевич, литературовед *n/m 1* — 417, 420, 499; *n/m 2* — 675
- Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768), немецкий археолог и историк искусства *n/m 2* — 459, 497, 680
- Винкельман, благотворитель, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 506–507
- Виолье Анри Франсуа Габриэль (1752—1839), российский архитектор, живописец *n/m 1* — 486
- Вискарь, губернский регистратор, благотворитель, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 508
- Вишнусарман (ок. конца V в. н. э.), брахман, создатель «Панчатантры» *n/m 2* — 424, 430, 438, 721, 732
- Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125), великий князь киевский (с 1113 г.), полководец, дипломат, писатель *n/m 2* — 493, 752
- Владимир Святославич (середина X в. — 1015 г.), великий князь киевский с 980 г. *n/m 1* — 355—357, 359, 364, 366—367, 514—517; *n/m 2* — 493, 752
- Владыкин Антон Григорьевич (1757—1812), синолог *n/m 2* — 432, 726
- Вовенарг Люк де Клапье (1715—1747), французский моралист *n/m 1* — 453, 465; *n/m 2* — 10, 589
- Воейков Александр Федорович (1778/1779—1839), поэт, журналист *n/m 1* — 413—414; *n/m 2* — 660, 748
- Волков Александр Г., поэт XIX в., член «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» *n/m 2* — 654
- Волконская (Волхонская) Александра Николаевна (урожд. Репнина, 1756—1834), княгиня, статс-дама, гофмейстерина двора вел. кн. Александры Федоровны, мать декабриста С. Г. Волконского *n/m 1* — 229, 488
- Волконский Михаил Сергеевич (1832—1909), сын С. Г. и М. Н. Волконских *n/m 1* — 416
- Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865), генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист *n/m 1* — 488
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778), французский писатель и философ *n/m 1* — 41, 57, 226, 256, 327, 354, 416, 430, 459—460, 465, 486, 505, 507, 514; *n/m 2* — 41—42, 94, 108—116, 623—629, 647, 679, 741, 744
- Вольф Иоганн Кристоф (1683—1739), немецкий теолог и востоковед *n/m 2* — 738
- Вольф Фридрих Август (1759—1824), немецкий профессор классической филологии *n/m 2* — 710, 724
- Вуд Роберт (1716—1775), английский археолог *n/m 2* — 317, 688
- Ву-ди (140—86 до н. э.), китайский император *n/m 2* — 725
- Вульгарис Евгений (1715—1806), архиепископ Славянский и Херсонский *n/m 1* — 492
- Выставкин, новомосковский купец, благотворитель, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 508
- Вэнь-ван (XII до н. э.), чжоусский писатель *n/m 2* — 733
- Вяземская Елена Никитична, княжна Трубецкая (1745—1832), статс-дама, влиятельная фигура петербургского высшего света *n/m 1* — 490
- Вяземский Александр Алексеевич (1727—1793), генерал-прокурор Сената, доверенное лицо Екатерины II *n/m 1* — 490

- Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), князь, поэт, журналист и критик *n/m 1* — 521; *n/m 2* — 601, 641, 753, 781
- Габсбург Мария Терезия (1717—1780), старшая дочь императора Карла VI Габсбурга, австрийская эрцгерцогиня с 1740 г., великая герцогиня Тосканская, королева Венгрии с 1740 г. и Чехии с 1743 г., императрица Священной Римской империи с 1745 г. *n/m 2* — 167, 652
- Гаврюшин Николай Константинович, историк религиозно-философской и научной мысли России *n/m 2* — 758
- Газенбальд Иоганн Генрих (XVIII в.), немецкий ученый *n/m 2* — 726
- Гай Авидий Кассий (130—175), римский узурпатор, полководец Марка Аврелия *n/m 1* — 35, 418
- Гай Саллюстий Крисп (86—35 до н. э.), римский историк *n/m 2* — 110
- Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.), древнеримский государственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель *n/m 1* — 110, 448; *n/m 2* — 157, 298, 457, 646, 679, 743
- Гайдн Франц Йозеф (1732—1809), великий австрийский композитор австрийский композитор *n/m 2* — 235—250, 663—666
- Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), историк русской литературы *n/m 1* — 389, 407
- Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый и мыслитель *n/m 2* — 562
- Галлан Антуан (ок. 1646—1715), французский востоковед, антиквар, переводчик *n/m 2* — 722
- Галлер Альбрехт фон (1708—1777), швейцарский поэт и естествоиспытатель *n/m 2* — 115, 298, 305—306, 584, 628, 678
- Гальперина Ревекка Менасьевна (1902—1976), переводчица *n/m 1* — 420
- Гама (Васко да Гама, 1469—1524), португальский мореплаватель *n/m 2* — 717
- Гамильтон Атуан (1757—1804), американский политический деятель *n/m 1* — 164, 470; *n/m 2* — 458, 743
- Гамильтон *Елизавета* (1758—1816), фрейлина, супруга графа Грамона *n/m 1* — 470
- Гарве Христиан (1748—1798), немецкий философ и критик *n/m 1* — 31, 410, 412—414, 443; *n/m 2* — 558—559, 657, 772—773
- Гарданн Клод Матье (1766—1818), французский генерал, дипломат *n/m 2* — 710
- Гаррик Дэвид (1716—1779), английский актер *n/m 1* — 445
- Гарун ар-Рашид (766—809), халиф Багдада (с 786) из династии Аббасидов *n/m 2* — 133, 273, 326, 477, 636, 673—674, 745
- Гасман Флориан Леопольд (1729—1774), оперный и церковный композитор *n/m 2* — 248, 666
- Гассенди Пьер (1592—1655), французский философ, лингвист, математик *n/m 1* — 460
- Гастон III де Фуа д'Этамп (1331—1391), граф *n/m 2* — 695
- Гёдеке Карл (1814—18187), немецкий историк литературы *n/m 2* — 764
- Гейне Христиан Готтлоб (1729—1812), немецкий филолог и археолог *n/m 2* — 437, 730
- Геклен Бертран дю (1320—1380), выдающийся военачальник Столетней войны *n/m 2* — 356, 694

- Гельвеций Клод Адриан (1715—1771), французский философ *n/m 1* — 156, 354, 466, 514; *n/m 2* — 43, 701
- Генрих I Немецкий (876—936), первый король Восточно-Франкского королевства (Германии) *n/m 2* — 742
- Генрих IV Бурбон (Генрих Наваррский, Генрих Великий, 1553—1610), французский король *n/m 2* — 52, 96, 157, 362, 569, 610, 619—620, 645—646, 694—695, 698
- Генрих VII Люксембургский (1269—1313), первый германский император из Люксембургского дома *n/m 2* — 682
- Генрих Прусский (1726—1804), принц *n/m 1* — 233, 492
- Генслер Карл Фридрих (1761—1825), драматический писатель и актер *n/m 2* — 599
- Георг II (1683—1760), король Великобритании с 1727 г. *n/m 2* — 613
- Георг III (1738—1820), король Великобритании с 1760 г. *n/m 1* — 471; *n/m 2* — 605
- Георги Антонио Агостино (1711—1797), итальянский востоковед и библиотечарь *n/m 2* — 435, 730
- Георги Иоганн Готлиб (1768—1782), этнограф и путешественник, профессор минералогии *n/m 2* — 421, 718
- Георгиевский Петр Егорович (1791—1852), эстетик и критик *n/m 2* — 601
- Георгий Амаргол (IX в.), византийский летописец, монах *n/m 2* — 731
- Гераклий (610—641), византийский император *n/m 2* — 150, 642
- Гераклит Эфесский (544—483 гг. до н. э.) *n/m 2* — 57—59, 424, 612, 642, 720
- Гербело Бартелеми (1625—1695), французский ориенталист *n/m 2* — 439, 715, 734
- Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий писатель и философ *n/m 1* — 426; *n/m 2* — 434, 709, 715, 718—719
- Геринг Петр Федорович, священник, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 506
- Герман Готфрид (1772—1848), представитель немецкой классической филологии *n/m 2* — 709
- Геродот (486—427 до н. э.), древнегреческий историк *n/m 2* — 317, 493
- Герцен Александр Иванович (1812—1870), писатель *n/m 2* — 613
- Гесиод (Гезиод, VII—VIII в. до н. э.), древнегреческий поэт *n/m 2* — 549, 771
- Геснер (Гесснер) Соломон (1730—1788), швейцарский поэт *n/m 1* — 508; *n/m 2* — 406, 706—707
- Гессен Сергей Яковлевич (1903—1937), историк *n/m 2* — 748
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий поэт *n/m 1* — 341—342, 417, 430—431, 507—508; *n/m 2* — 709, 713—715, 764
- Гефестион (356—324 до н. э.), ближайший друг Александра Македонского и один из его полководцев *n/m 1* — 491
- Гецель Иоганн Вильгельм Фридрих фон (1754—1824), теолог, ориенталист, лингвист, переводчик *n/m 2* — 737
- Гиббон Эдуард (1737—1794), английский историк *n/m 1* — 35, 417—418; *n/m 2* — 613, 677
- Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк и политический деятель *n/m 2* — 608
- Гизо Элизабет Шарлотты Полины (урожд. де Мелан, 1773—1827), первая жена Ф. П. Г. Гизо, французская писательница и автор педагогических сочинений *n/m 2* — 607—608
- Гильденштедт Антон Иоанн (1745—1781), академик *n/m 2* — 421, 718

- Гильоманш-Дюбокаж Габриэль Пьер, французский офицер, маркиз, автор мемуаров об А. В. Суворове *n/m 2* — 138, 637
- Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942), поэт и переводчик, литературовед *n/m 1* — 389; *n/m 2* — 753
- Гиппократ (460 — между 377 и 356 до н. э.), знаменитый древнегреческий врач *n/m 2* — 731
- Глаголев Андрей Гаврилович (1793/1799—1844), критик *n/m 2* — 601
- Глак Зиновий (Глак Зеноб), армянский историк IV в. *n/m 2* — 729
- Глинка Михаил Иванович (1804—1857), композитор *n/m 2* — 601
- Глинка Сергей Николаевич (1776—1847), русский историк, писатель *n/m 2* — 499, 753
- Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт *n/m 2* — 728—729, 751
- Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787), немецкий композитор *n/m 1* — 469; *n/m 2* — 665
- Гмелин Самуил Георг Готлиб (1744—1774), немецкий путешественник и натуралист *n/m 2* — 718
- Гнедич Николай Иванович (1784—1833), поэт и переводчик *n/m 2* — 714, 749, 753
- Гней Домиций Агенобарб (17 до н. э. — 40) *n/m 2* — 592
- Годой Луис, старший брат Мануэля Годоя *n/m 1* — 125, 452
- Годой Мануэль, маркиз Альварес де Фариа, герцог Эль-Алькудия (1767—1851), испанский государственный деятель, фаворит королевы Марии Луизы и друг короля Карла IV *n/m 1* — 125—126, 451—452
- Годфруа Буйонский (Готфрид IV Бульонский) (около 1060—1100), один из предводителей 1096—1099 на Восток, с 1099 г. — правитель Иерусалимского королевства *n/m 2* — 688, 768
- Гозенпуд Абрам Акимович (1908—2004), литературовед и музыковед *n/m 2* — 708
- Голдсмит (Гольдсмит) Оливер (1728—1774), английский писатель *n/m 2* — 655
- Голицын Алексей Андреевич (1767—1800), князь, шталмейстер при дворе Павла I *n/m 1* — 226, 486
- Головина Варвара Николаевна, (урожд. княжна Голицына 1766—1819), мемуаристка, художница *n/m 1* — 491
- Головкин Федор Гаврилович (1776—1817), граф, литератор, посланник в Неаполе *n/m 1* — 233, 492
- Головкин Юрий (Георгий) Александрович (1762—1846), граф, действительный тайный советник, сенатор, обер-камергер, член Государственного Совета, посол в Китае и Австрии *n/m 2* — 709, 725
- Гомер, легендарный древнегреческий поэт *n/m 2* — 112, 317, 382, 427, 437, 461, 581, 624, 686, 688, 694, 732
- Гонди Жан-Франсуа Поль де (кардинал Рец, 1613—1679), архиепископ Парижский, деятель Фронды *n/m 2* — 607
- Гонзага Пьетро Готтардо (1751—1831) *n/m 1* — 233, 492
- Гораций Флакк Квинт (65—8 до н. э.), римский поэт *n/m 1* — 164; *n/m 2* — 157
- Горбунова, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 505—506
- Гордин Аркадий Моисеевич (1913—1997), литературовед *n/m 2* — 627
- Горнунг Михаил Борисович (1926—2009), российский писатель, историк *n/m 1* — 493
- Горяинов Сергей Михайлович (1844—1918), историк дипломатии *n/m 1* — 485

- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), немецкий писатель *n/m 2* — 657
 Гранье Франсуа (1717—1779), французский композитор *n/m 2* — 661
 Грей Томас (1716—1771), английский поэт *n/m 2* — 682
 Грессе (Грессет) Жан Батист Луи (1709—1777), французский поэт *n/m 2* — 43
 Гретри Андре Эрнест Модест (1741—1813), французский композитор *n/m 1* — 488
 Греч Николай Иванович (1787—1867), писатель и журналист *n/m 2* — 641
 Грибоедов Александр Сергеевич (1795/1790—1829), драматург, поэт и дипломат
n/m 2 — 627—628
 Гримальди Джузеппе, испанский политик XVIII в. *n/m 1* — 73, 75, 77, 79—81, 431
 Гримм Фридрих Мельхиор (1723—1807), немецкий публицист, критик, дипломат
n/m 2 — 627
 Гримм Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859), немецкие филологи, фольклористы *n/m 2* — 724
 Грот Константин Яковлевич (1853—1934), филолог, архивист *n/m 2* — 641
 Гумбольдт Александр фон (1769—1859), немецкий натурфилософ и путешественник
n/m 2 — 709, 715
 Гумбольдт Вильгельм фон (1767—1835), немецкий филолог, брат А. Гумбольдта
n/m 2 — 709, 710, 719
 Густав III (1746—1792), шведский король с 1771 г. *n/m 1* — 230, 489; *n/m 2* — 627
 Густав Адольф II (1594—1632), шведский король с 1611 г. *n/m 1* — 175, 474—475
 Гусятников А. Г., корреспондент «Вестника Европы» *n/m 1* — 439
 Гуфланд Кристоф Вильгельм (1762—1836), немецкий врач и писатель, лейб-медик
 прусского короля *n/m 2* — 577—584, 775, 778—779
 Гюйон Жанна Мария (урожд. Бувье де ла Мотт, мадам Гюйон, 1648—1717), французский философ *n/m 1* — 130, 459; *n/m 2* — 500
- д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783), французский философ *n/m 1* — 354, 502, 512, 514; *n/m 2* — 43, 113
 д'Агессо Анри Франсуа (Дагессо, 1668—1751), французский юрист, канцлер Франции, член Французской академии *n/m 2* — 607
 д'Алигр Этьен-Франсуа (1726—1798), первый президент парижского парламента
n/m 2 — 625
 д'Антрег Луи-Александр де Лоне (1753—1812), граф *n/m 1* — 40, 425—426, 433—434; *n/m 2* — 659
 д'Аремберг, герцог, отец Ш.Ж. де Линя *n/m 2* — 113, 626
 д'Аржансон Рене Луи (1694—1757), французский государственный деятель *n/m 2* — 256, 260, 668
 д'Арк Жанна (1412—1431), национальная героиня Франции *n/m 2* — 362, 697
 д'Эстрад Годефрау, граф (1607—1686) *n/m 2* — 14, 595
 д'Эстре Габриэль (1570—1599), фаворитка Генриха IV *n/m 2* — 694
 д'Этре Сесар, французский кардинал, современник Людовика XIV *n/m 2* — 46
 Давид Возобновитель (1089—1125), царь Иверии и Абхазии *n/m 2* — 729
 Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), поэт *n/m 2* — 753
 Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель и лексикограф *n/m 2* — 630, 692
 Дама Роже де (1765—1823) граф, генерал-лейтенант, адъютант Г. А. Потемкина
n/m 2 — 651, 653
 Данилевский Ростислав Юрьевич, литературовед *n/m 1* — 456, 462, 512; *n/m 2* — 760

- Дарвин Эразм (1731—1802), английский поэт *n/m 1* — 507
 Дарий (550—486 до н. э.), персидский царь *n/m 1* — 232, 490—491
 Девен Жан, французский публицист *n/m 2* — 596
 Девен мадам (1751— после 1814), супруга Ж. Девена *n/m 2* — 596
 Дежерандо Жозеф Мария (1772—1842) публицист и общественный деятель *n/m 1* — 411; *n/m 2* — 232—233, 661—662
 Декарт Рене (1596—1650), французский философ, математик, механик *n/m 2* — 492, 750
 Делиль Жак (1738—1813), французский поэт, переводчик *n/m 1* — 311, 354, 500, 514
 Делорм Филибер (ок. 1510—1570), французский архитектор Возрождения *n/m 2* — 694
 Деманж Жан Франсуа (1789 — не ранее 1832), французский и российский филолог-ориенталист *n/m 2* — 718
 Деметрий II Этолийский (269—229 до н. э.), царь Македонии *n/m 1* — 490
 Демокрит Абдерский (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* — 57—59, 592, 611—612
 Демосфен (384—322 до н. э.), афинский оратор и политический деятель *n/m 2* — 562
 Дени Мария Луиза (1712—1790), племянница Вольтера *n/m 2* — 114, 627
 Державин Гавриил Романович (1743—1816), поэт *n/m 1* — 486; *n/m 2* — 643
 Дехлеви Амир Хосров (1253—1325), персидский поэт Индии *n/m 2* — 735
 Джанкья ролби Дордже (1717—1786), составитель тибето-монгольского словаря *n/m 2* — 730
 Джафар ибн Яхья (767—803), визирь при дворе халифа Харуна ар-Рашида *n/m 2* — 133—137, 636
 Джаядева (XII в. до н. э.), индийский поэт *n/m 2* — 438, 732
 Джеззар-паша (Ахмед, 1735—1804), турецкий генерал и политический деятель *n/m 2* — 321, 689
 Желаледдин Руми (1207—1263), персидский поэт *n/m 2* — 433, 727
 Джефферсон Томас (1743—1826), третий президент США (1801—1809) *n/m 2* — 635
 Джонс Уильям (1746—1794), ориенталист *n/m 2* — 716, 725, 730
 Джордано Лука (1634—1705), итальянский художник эпохи барокко *n/m 1* — 230, 489
 Джюрин (Джурин) Джеймс (1684—1750), английский ученый-физик *n/m 2* — 679
 Диас Бартоломео (1450—1500), португальский мореплаватель *n/m 2* — 717
 Дидо Пьер (1732—1795), французский типограф *n/m 2* — 621
 Дидро Дени (1713—1784), французский философ и писатель *n/m 1* — 40—41, 425—426, 502, 512, 514; *n/m 2* — 43, 113, 607, 657, 629, 744
 Диоген Лаэртский (ок. 412—323 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* — 58—59, 163, 551, 612, 649, 686
 Диоген Синопский (ок. 412 — 323 гг. до н. э.) *n/m 2* — 612, 649
 Диоклетиан (245—313), римский император с 284 по 305 г. *n/m 2* — 610
 Дионисий Младший (397—337 гг. до н. э.), древнегреческий правитель *n/m 2* — 260, 266, 271
 Дитерих Иоганн Кристиан (1722—1800), известный немецкий издатель *n/m 1* — 446
 Дитрихштейн Франц Иосиф (1767—1854), граф, австрийский посланник *n/m 1* — 231, 490

- Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821) актер, режиссер, переводчик *n/m 1* — 492
- Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт *n/m 1* — 454, 512; *n/m 2* — 672, 747—749
- Дмитриева Екатерина Евгеньевна, литературовед *n/m 1* — 408
- Долгорукая Екатерина Федоровна (1764—1849), статс-дама, хозяйка литературного салона *n/m 1* — 232—233, 490
- Долгорукий Василий Васильевич (1752—1812), генерал-поручик *n/m 1* — 233
- Долгорукий Иван Михайлович (1764—1823), русский поэт, драматург *n/m 2* — 751
- Домициан (51—96), римский император *n/m 2* — 457, 741
- Драйден Джон (1631—1700), английский поэт *n/m 1* — 440
- Дружинин Пётр Александрович, историк *n/m 2* — 626
- Дурылин Сергей Николаевич (1886—1954), историк литературы и театра *n/m 2* — 714
- Душина Людмила Николаевна, литературовед *n/m 1* — 402
- Дюкло Шарль (1704—1772), французский писатель, моралист *n/m 1* — 167, 465, 471; *n/m 2* — 43
- Дюкре-Дюмениль Франсуа Гийом (1761—1819), французский писатель *n/m 1* — 417
- Дюфо Леонар (1770—1797), генерал французской армии *n/m 1* — 178, 477
- Евгений Савойский (1663—1736), генералиссимус Священной Римской империи *n/m 1* — 168, 412, 471
- Евклид из Мегары (ум. после 369 до н. э.), греческий философ *n/m 2* — 382, 703
- Еврипид (Эврипид, ок. 480—460 до н. э.), древнегреческий драматург *n/m 2* — 382
- Евсевий Кесарийский (ок. 263—340), римский историк церкви *n/m 2* — 721
- Евсевий Софроний Иероним (342—419/420), церковный писатель *n/m 2* — 690
- Екатерина II (1729—1796), российская императрица *n/m 1* — 40, 227—228, 230—231, 233, 354, 392, 425—426, 484—491, 514; *n/m 2* — 108, 140, 156—158, 170, 421, 614, 644—647, 650, 652—653, 669, 717
- Екатерина Павловна (1788—1819), великая княгиня *n/m 2* — 710
- Елагина Авдотья Петровна (урожд. Юшкова, в первом браке Киреевская, во втором — Зонтаг, 1789—1877), племянница Жуковского, мать бр. Киреевских, писательница *n/m 1* — 415, 447, 480, 512—513; *n/m 2* — 608, 670
- Елена Павловна (1784—1803), герцогня Мекленбург-Шверинская *n/m 1* — 486
- Елизавета I Петровна (1709—1761), российская императрица *n/m 2* — 651
- Ефремов Петр Александрович (1830—1907), издатель, историк литературы *n/m 1* — 522; *n/m 2* — 660, 782
- Жанлис Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746—1830), графиня, франц. писательница *n/m 1* — 34, 86—91, 95—98, 408, 414—417, 439, 442, 453—454, 478, 499—500; *n/m 2* — 386—410, 596—597, 601, 632, 640, 667, 671, 672, 705—707
- Жан-Поль (наст. имя Рихтер Иоганн Пауль Фридрих, 1763—1825), немецкий писатель *n/m 1* — 500; *n/m 2* — 569
- Жебелен Антуан Курт де (1719—1784), известный масон *n/m 2* — 436, 730
- Жерар Франсуа Паскаль Симон (1770—1837), французский художник *n/m 2* — 670
- Жилиякова Эмма Михайловна, литературовед *n/m 1* — 451, 482—483, 497, 507, 511, 514, 520; *n/m 2* — 617, 621, 635, 666, 675

- Жиранден Рене-Луи, маркиз де (1735—1808), друг Руссо, служил во французской армии, отличался в Семилетней войне. *n/m 2* — 625
- Жирмунский Виктор Максимович (1891—1971). литературовед *n/m 1* — 405
- Житинский Платон, протоиерей, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 509
- Жуанвиль Жан (1224—1318), первый по времени французский историк, друг Людовика IX *n/m 2* — 688
- Жуковский Павел Васильевич (1845—1912), сын В. А. Жуковского, художник *n/m 1* — 440
- Загарин Петр (наст. имя Поливанов Лев Иванович, 1838—1899), педагог, историк литературы *n/m 1* — 411
- Замаровский Войтех (1919—2006), словацкий писатель *n/m 2* — 723
- Замковая, супруга диакона И. Замкового, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 506
- Замковой Илия, диакон, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 506
- Замойский Ян (1542—1605) польский воевода *n/m 1* — 487
- Занд Марк, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 501
- Захаров Иван Семенович (1754—1816). член Российской Академии, поэт и переводчик, председатель «Беседы любителей русского слова» *n/m 1* — 415
- Зейдлиц Карл Карлович (1798—1855), врач, биограф Жуковского *n/m 1* — 427, 521; *n/m 2* — 781
- Зенон Элейский (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) *n/m 1* — 106, 418; *n/m 2* — 12, 592, 719
- Златопольская Алла Августовна, литературовед *n/m 1* — 426, 438; *n/m 2* — 626, 659
- Зонтаг Анна Петровна (1785—1864), русская писательница, дочь крестной матери и племянница В. А. Жуковского *n/m 1* — 504, 521; *n/m 2* — 781
- Зосима Анастасий (1754—1828), греческий купец, благотворитель, меценат *n/m 2* — 437—438, 731
- Зосима Зой (1764—1828), греческий купец, благотворитель, меценат *n/m 2* — 437—438, 731
- Зосима Иван (1752—1771), греческий купец, благотворитель, меценат *n/m 2* — 437—438, 731
- Зосима Михаил (1766—1809), греческий купец, благотворитель, меценат *n/m 2* — 437—438, 731
- Зосима Николай (1758—1842), греческий купец, благотворитель, меценат *n/m 2* — 437—438, 731
- Зосима Феодосий (1760—1793), греческий купец, благотворитель, меценат *n/m 2* — 437—438, 731
- Зульцер (Сульцер) Иоганн Георг (1720—1779), немецкий эстетик и критик *n/m 2* — 459—460, 683, 744
- Зыкова Галина Владимировна, литературовед *n/m 1* — 389; *n/m 2* — 753
- Ибн-Хаукаль, Абдул-Касим-Мухамед (X в.), арабский географ *n/m 2* — 736
- Ибсен Генрик (1828—1906), норвежский драматург *n/m 2* — 591
- Иванов Александр Васильевич, переводчик начала XIX в. *n/m 2* — 645
- Иванов Георгий Владимирович (1894—1958), поэт, прозаик, критик *n/m 2* — 661
- Иванов Федор Федорович (1777—1816), русский поэт *n/m 1* — 440
- Иезуитова Раиса Владимировна, литературовед *n/m 1* — 521, 402; *n/m 2* — 701, 781
- Иероним Стридонский *n/m 2* — 721

- Измайлов Владимир Васильевич (1773—1830), переводчик, цензор *n/m 1* — 416;
n/m 2 — 622, 662, 751
- Ильинский Матвей, переводчик XIX в. *n/m 2* — 645
- Имам-Кули бек, правитель Дербента, русский наместник (1722—1728) *n/m 2* — 740
- Имам-Кули хан, персидский военачальник, генерал XVII в. *n/m 2* — 736
- Имбонати Карло Джузеппе (ум. 1697), ученик Бартолоцци *n/m 2* — 738
- Инджу Хусейн (XVII в.), основоположник персидской нормативной грамматики
n/m 2 — 735
- Индикоплов Козьма (сер. VI в.), византийский писатель *n/m 2* — 731
- Иоанн (Жан) II Добрый (1319—1364), второй король Франции из дома Валуа с
1350 г. *n/m 2* — 698
- Иоанн Монфорский (XIV в.), герцог Бретанский *n/m 2* — 694
- Иосиф II (1741—1790), австрийский эрцгерцог, с 1765 г. император *n/m 1* — 230,
489; *n/m 2* — 248, 652, 666
- Исократ (436—338 г. до н. э.), афинский ритор *n/m 2* — 437, 731
- Италинский Андрей Яковлевич (1743—1827), русский художник, посланник в
Неаполе *n/m 2* — 499, 757
- Каганович Софья Львовна, литературовед *n/m 2* — 639**
- Каде-де-Гассикур Шарль Луи (1769—1821), французский химик-фармацевт и
беллетрист *n/m 2* — 668
- Казотт Жак (1719—1792), французский писатель эпохи Роккоко *n/m 1* — 460; *n/m 2* —
613
- Кайсаров Андрей Сергеевич (1782—1813), литератор *n/m 1* — 499, 512; *n/m 2* — 712
- Калас Жан (1698—1762) — французский торговец *n/m 2* — 626
- Калидаса (Калидас, предположительно VI в. до н. э.), индийский поэт *n/m 2* — 647,
722
- Калиостро Алессандро (Джузеппе Бальзамо, 1743—1795), известный мистик-аван-
тюрист *n/m 1* — 101
- Кальвин Жан (1509—1564), французский богослов *n/m 2* — 300, 681, 727
- Каменский Михаил Федотович (1738—1809), военачальник екатерининского
времени *n/m 1* — 232, 491
- Каменский Петр (в миру Павел Иванович, 1765—1845) миссионер *n/m 2* — 432, 726
- Камкин Федор Александрович (ум. в 1815 г.), белёвский почтмейстер *n/m 2* —
630—631
- Кампенгаузен Балтазар Балтазарович (1772—1823), российский государственный
деятель *n/m 1* — 491
- Канова Антонио (1757—1822), итальянский скульптор эпохи классицизма *n/m 1* —
160, 468
- Кан-си (1654—1722), маньчжурский император *n/m 2* — 733
- Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744), поэт *n/m 1* — 391
- Канунова Фаина Зиновьевна (1922—2009), литературовед *n/m 1* — 408, 480, 523;
n/m 2 — 599, 604, 613, 681, 683, 744, 782
- Капнист Василий Васильевич (1758—1823), поэт, драматург *n/m 2* — 588
- Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель, историограф *n/m 1* —
389, 397, 400, 406, 408, 410—411, 414—417, 423—424, 428—429, 443—444,
453, 462—463, 465, 483, 496, 499—500, 508, 513; *n/m 2* — 588, 598—599, 601,

- 613, 616, 634, 640, 644, 664, 666, 669—670, 672, 677, 686, 709, 712—713, 722, 747—753, 773, 778
- Карафф Арман-Шарль (1762—1822), французский живописец *n/m 2* — 495, 756
- Карестини Джованни (1704—1760), знаменитый итальянский оперный певец *n/m 2* — 56, 611
- Карл I (1600—1649), английский король из династии Стюартов *n/m 2* — 622, 682
- Карл I Великий (740-е — 814) король франков, император *n/m 2* — 362, 457, 652, 695, 697, 742, 743
- Карл II (1630—1685), английский король с 1660 г. *n/m 1* — 520
- Карл III (1716—1788), испанский король с 1759 г. *n/m 1* — 125, 232, 452
- Карл III Простоватый (879—929) германский король из династии Каролингов *n/m 2* — 742
- Карл IV (1748—1819), король Испании с 1788 г. *n/m 1* — 451—452
- Карл V (1500—1558), император Священной Римской империи *n/m 1* — 498
- Карл VI Безумный (1368—1422) король Франции с 1380 г. *n/m 2* — 697
- Карл VI Габсбург (1685—1740), император Священной Римской империи *n/m 2* — 167, 361, 652, 656
- Карл XII (1682—1718), король Швеции *n/m 2* — 165, 651—652, 679
- Карл Блуаский (1319—1364), герцог Бретонский, будущий Карл V *n/m 2* — 694
- Карл Густав XVI (1646 г.р.), король Швеции *n/m 1* — 474
- Карл Мартелл (688—741), майордом франков в 717—741 гг., дед Карла Великого *n/m 2* — 698
- Карл Наваррский (Карл II Злой, 1332—1387), король Наварры с 1349 г. *n/m 2* — 694
- Карл Смелый (1433—1477), последний герцог Бургундии из династии Валуа *n/m 2* — 743
- Карр Джон (1772—1832), английский писатель-путешественник *n/m 2* — 116—120, 628—630
- Касаткин Алексей Александрович (1829 — после 1894), литограф, *гравер n/m 1* — 443
- Кассиан Белижиагги (XVIII в.), христианский священник *n/m 2* — 435, 730
- Катилина Луций Сергей (ок. 108 — 62 до н. э.), римский патриций, претор *n/m 2* — 660
- Катон Старший Марк Порций (234—149 до н. э.), римский писатель и государственный деятель *n/m 2* — 302
- Катто-Кальвиль, Жан Пьер Гийом (1759—1819), французский писатель *n/m 1* — 164
- Кафанова Ольга Бодовна, литературовед *n/m 1* — 411, 414, 424, 508; *n/m 2* — 669
- Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), историк, журналист *n/m 1* — 498, 510—512; *n/m 2* — 623, 629, 637, 641, 670, 685, 691—692, 700—701, 704, 705—706, 747, 752—755, 758
- Квинт Курций Руф (I до н. э. — I в. н. э.), римский историк *n/m 2* — 157, 646
- Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96), римский ритор *n/m 1* — 405
- Кеведо-и-Вильегас Франсиско (1580—1645), испанский писатель-сатирик *n/m 1* — 167, 471
- Кер Георгий Яковлевич (1692—1740), немецкий востоковед, работал в России *n/m 2* — 714
- Кинох, знакомый И. Мюллера *n/m 2* — 457, 460, 743
- Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), философ, критик *n/m 1* — 480
- Кириченко, житель Нежина, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 508

- Кирхер Анастасиус (1602–1680), немецкий ученый, иезуит, занимавшийся физикой *n/m 2* — 715
- Киселев Виталий Сергеевич, литературовед *n/m 1* — 455, 466, 471, 500, 502; *n/m 2* — 589, 597, 615, 672, 738, 750, 752, 755, 758
- Киселева Любовь Николаевна, литературовед *n/m 1* — 473
- Клавдий Птолемей (пер. пол. II в. н. э.), греческий геометр, астроном и физик *n/m 2* — 428, 723
- Клавихо-и-Фахардо Хосе (1730—1806), испанский писатель, директор королевского архива *n/m 1* — 430—431
- Клапрот Генрих Юлий (1783—1835), ориенталист *n/m 2* — 431, 435, 709, 725, 736
- Кларендон Генри Гайде (1638—1709), глава Палаты общин, пэр *n/m 2* — 459, 743
- Кларендон Эдвард Хайд (1609—1674), граф, влиятельный советник английских королей *n/m 2* — 107, 622
- Клейст Христиан Эвальд (1715—1795), немецкий поэт *n/m 1* — 508
- Климент Александрийский (ум. ок. 217) — великий христианский ученый *n/m 2* — 721
- Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803), немецкий поэт *n/m 1* — 417
- Книittel Франц Антон (1721—1773), немецкий теолог *n/m 2* — 726
- Кнорринг Карл Грегор фон (1773—1841), барон, первый переводчик прозы В. А. Жуковского *n/m 1* — 517; *n/m 2* — 600
- Коббен Альфред (1901—1968), английский историк *n/m 1* — 433—434, 438
- Кобенцль Людвиг (1753—1809), граф, австрийский дипломат *n/m 1* — 231—232, 490
- Кобранов Иван Андреевич, русский переводчик XIX в. *n/m 1* — 415
- Ковалева-Жемчугова Прасковья Ивановна (1768—1863), актриса, оперная певица *n/m 1* — 488
- Кожин А. О., упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 504
- Колиньи Гаспар де Шатийон (1519—1572), адмирал, глава французских гугенотов *n/m 2* — 108
- Колиньи Луиза де (1555—1620), принцесса Оранская *n/m 2* — 119, 629
- Кольбрук Генри Томас (1765—1837), основатель индоевропеистики *n/m 2* — 716
- Кондаков Юрий Евгеньевич, историк *n/m 2* — 706
- Конде де, принц (1621—1686) *n/m 2* — 157, 170, 562, 646, 653
- Конде Людовик Жозеф де Бурбон (1736—1818), принц из рода французских «принцев крови», младшей ветви дома Бурбонов *n/m 1* — 233—234, 470, 491—492
- Кондел Генри (?—1627), актер, издатель первого собрания пьес У. Шекспира *n/m 1* — 469
- Кондильяк Этьен Бонно де (1715—1780), французский философ *n/m 2* — 43
- Кондорсе Мари Жан Антуан Никола (1743—1794), французский философ-просветитель *n/m 2* — 719
- Конзеля (Кондзеля) Л., польский историк *n/m 1* — 486
- Констан Бенжамен (1767—1830), швейцарский философ и писатель *n/m 2* — 114, 627
- Константин Великий (272—337), римский император *n/m 2* — 419, 717
- Константин Павлович (1779—1831), великий князь *n/m 1* — 226, 486, 488
- Контти Людовик Франсуа (1717—1777), принц, французский военачальник *n/m 2* — 110, 625

- Копреева Татьяна Николаевна (1917—1978), историк, библиограф, книговед
n/m 1 — 486
- Кораис Адамантиос (1748—1833), эллинист *n/m 2* — 437, 731
- Корде Шарлотта (1768—1793), французская дворянка, убившая Ж. П. Марата
n/m 1 — 483
- Корелин Михаил Сергеевич (1855—1899), историк *n/m 2* — 761
- Корнель Пьер (1606—1684), французский драматург *n/m 1* — 491; *n/m 2* — 40, 92—93, 232, 560, 618—619, 646, 774
- Корнман, банкир *n/m 2* — 606
- Костин Владимир Михайлович, литературовед, писатель *n/m 1* — 396
- Коттен Софи (1770—1807), французская писательница *n/m 1* — 478
- Кох Макс (1855—1931), немецкий историк литературы *n/m 1* — 410
- Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761—1819), немецкий писатель *n/m 1* — 38, 95, 225, 416, 419—420, 441, 444, 472, 484—485, 499; *n/m 2* — 589, 668
- Кочеткова Наталья Дмитриевна, литературовед *n/m 1* — 424
- Кранах Лукас Старший (1472—1553), живописец эпохи Ренессанса *n/m 2* — 622
- Краснокуцкий Г. И., упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 504
- Красс Марк Лициний (115—53 до н. э.), древнеримский полководец *n/m 2* — 150, 643
- Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951), арабист *n/m 2* — 714
- Кребийон-Младший (*Кребильон*) (1707—1777), французский новеллист и романист
n/m 2 — 40, 607, 621
- Кревкёр Мишель Гийом Жан де (1735—1813), эссеист *n/m 2* — 633—634
- Крёз (595—546 до н. э.), последний царь Лидии *n/m 1* — 96
- Кристиан II (1481—1559), король Дании *n/m 1* — 468
- Кристиан IV (1577—1648), король Дании и Норвегии *n/m 1* — 468
- Кромвель Оливер (1599—1658), английский политик *n/m 2* — 300, 459, 680
- Крузиус Самуил *n/m 2* — 564, 775
- Крылов Иван Андреевич (1769—1844), баснописец *n/m 2* — 670, 722, 748
- Крюденер (Криденер) Варвара Юлия (1764—1825), баронесса, писательница, проповедница мистического суеверия *n/m 1* — 478
- Ксантипп (III в. до н. э.), древнегреческий стратег *n/m 2* — 646
- Ксенофан (ок. 570—475 до н. э.), древнегреческий поэт и философ *n/m 2* — 719
- Ксенофонт (не позже 444 до н. э. — не ранее 356 до н. э.), древнегреческий писатель, историк, политический деятель *n/m 2* — 617
- Ксеркс (486—465 до н. э.), персидский царь *n/m 2* — 316
- Кубачева В. Н., литературовед *n/m 2* — 639
- Кулешов Василий Иванович (1920—2006), литературовед *n/m 1* — 387
- Кун Франц Феликс Адальберт (Кун Альберт Францевич, 1812—1881), немецкий языковед, санскритолог, фольклорист *n/m 2* — 724
- Кун-Фу-Цзы (551—479 до н. э.) *n/m 2* — 438—439, 733
- Куракин Александр Борисович (1752—1818), князь, дипломат, вице-канцлер
n/m 1 — 226, 229, 231, 486, 490
- Куракина Наталья Ивановна (1766—1831), жена А. Б. Куракина *n/m 1* — 231, 490
- Курсель Анна-Тереза де Маргена, де (маркиза де Ламберт) (1647—1733), хозяйка литературного салона, писательница *n/m 1* — 168, 454, 471; *n/m 2* — 671
- Куси Шатлен де (XIII в.), французский треврер *n/m 2* — 317, 359, 688, 696

- Кювье Жорж Леопольд (1769—1832), французский естествоиспытатель, натуралист *n/m 2* — 722
- Лабарр (1747—1766), жертва религиозного фанатизма, на защиту которого выступил Вольтер *n/m 2* — 626
- Лабзин Александр Фёдорович (1766—1825), писатель, переводчик *n/m 1* — 439; *n/m 2* — 777
- Лабрюйер Жан де (1645—1696), французский писатель, моралист *n/m 1* — 127, 257, 454, 465, 498
- Лаваль Жан-Франсуа (Иван Степанович) (1761—1846), граф, камергер, чиновник Коллегии иностранных дел *n/m 1* — 235, 493
- Лаврентий Римский, Св. (ок. 225—258), священномученик, архидьякон *n/m 2* — 52, 610
- Лавуазье Антуан Лоран (1743—1994), французский химик *n/m 1* — 456
- Лагарп Фредерик Сезар де (1754—1838), швейцарский политический деятель, воспитатель Александра I *n/m 1* — 502, 512; *n/m 2* — 43, 757
- Лаиса Сицилийская (?—340 г. до н. э.), гетера Древней Греции, предполагаемая натурщица Апеллеса *n/m 2* — 12, 592
- Лакомб Жак (1724—1811), французский литератор и книгопродавец *n/m 2* — 114, 627
- Лакретель Пьер Луис (1751—1824), общественный деятель, член Французской академии *n/m 2* — 633
- Ламарк Жан Батист (1744—1829), французский ученый *n/m 2* — 722
- Лангль Луи Матье (1763—1824), французский филолог, переводчик *n/m 2* — 431, 725
- Ланкло Нинон де (л'Анкло Анна де, 1615/1623—1705), французская куртизанка, писательница и хозяйка литературного салона *n/m 2* — 254, 668
- Лао-Цзы (род. в 604 г. до н. э. — время смерти не известно), китайский философ, историкограф *n/m 2* — 439, 733—734
- Лаптева А. А., литературовед *n/m 2* — 600
- Ларошфуко Франсуа де (1613—1680), французский писатель, моралист *n/m 2* — 589
- Лафайет Мари Жозеф Поль Рош Ивес Жильбер Матье де (1757—1834), маркиз, французский политический деятель *n/m 2* — 634
- Лафар Шарль Огюст (1644—1712), французский поэт и историк *n/m 1* — 219, 482
- Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801), швейцарский писатель и психолог *n/m 1* — 99—104, 235, 341, 417, 443, 447, 493, 507—508
- Лафонтен Жан (1621—1695), французский баснописец *n/m 1* — 454, 499
- Лебедева Ольга Борисовна, литературовед *n/m 1* — 423, 428, 464, 509, 523; *n/m 2* — 599, 706, 782
- Лебрен Шарль (1619—1690), архитектор и художник, основатель Французской Королевской Академии живописи и скульптуры *n/m 1* — 230, 489
- Леваян Франсуа (1753—1824), французский натуралист и путешественник *n/m 1* — 494—495
- Леван (1618—1675), сын Вахтанга V и отец Вахтанга VI *n/m 2* — 494, 729
- Левассер Тереза (1721—1781), жена Ж.-Ж. Руссо *n/m 1* — 41, 86, 426, 438; *n/m 2* — 625
- Левенгофт, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 505—506

- Левин Юрий Давидович (1920—2006), литературовед *n/m 1* — 446, 448; *n/m 2* — 655
- Левинтон Ахилл Григорьевич (1913—1971), литературовед, переводчик *n/m 2* — 657
- Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735/1737—1822), русский живописец *n/m 1* — 487
- Левшин Василий Алексеевич (1746—1826), литератор *n/m 1* — 446
- Леже Иоанн (1615—1684), протестантский пастор *n/m 2* — 302, 682
- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ *n/m 2* — 301, 306, 458, 682, 724, 726, 741, 750
- Леонардо да Винчи (1452—1519), итальянский художник, скульптор, ученый *n/m 2* — 622
- Леонид, царь Спарты (491—480 до н. э.) *n/m 2* — 774
- Леонов Леонид Максимович (1899—1994), писатель *n/m 2* — 627—628
- Леонтьев Алексей Леонтьевич (1716—1786), китаевед *n/m 2* — 733
- Леопольд II (1747—1792), король Германии (римский король) с 1790 г., император Священной Римской империи германской нации с 30 сентября 1790 г. *n/m 2* — 646, 652
- Лепан Жан Батист (1738—1785), французский живописец *n/m 1* — 491
- Лепренс (Ле Пренс) де Бомон Жанна Мари (1711—1780), французская писательница *n/m 1* — 505
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт *n/m 1* — 395; *n/m 2* — 601, 700
- Лессе Крезе Август де (1771—1839), французский поэт, драматург *n/m 2* — 696
- Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий писатель *n/m 1* — 426, 430, 447, 459
- Лещинский Станислав (1677—1766), король польский и великий князь литовский с 1704 по 1709 г., 1733—1734 гг., герцог Лотарингии в 1737—1788 гг. *n/m 2* — 651
- Либаний (314 — ок. 393), оратор *n/m 2* — 591
- Линней Карл (1707—1778), шведский натуралист и естествоиспытатель *n/m 1* — 137, 463
- Линь Шарль Жозеф де (1735—1814), австрийский фельдмаршал, принц *n/m 1* — 392; *n/m 2* — 108—115, 120, 156—157, 164—171, 191, 614, 623—624, 626, 629—631, 644—645, 650—653, 656
- Лион Философ *n/m 2* — 594
- Лионн Гюг (1611—1671) маркиз, французский государственный деятель *n/m 2* — 594—595
- Липец Юрий Григорьевич (1931—2006), географ, африканист *n/m 1* — 493
- Липовцов Степан Васильевич (1770—1841), синолог, корреспондент Академии наук по отделу восточной литературы и древностей *n/m 2* — 432, 726—727
- Лисипп (ок. 390 г. до н. э. — ок. 300 г. до н. э.) *n/m 2* — 684
- Листов Виктор Семенович, историк искусств, литературовед *n/m 2* — 657
- Литта Джулио Ренато (известен в России как Юлий Помпеевич Литта, 1763—1839), граф, 1й Апостольский Нунций в России, брат Лоренцо Литты *n/m 1* — 231, 489—490
- Литта Екатерина Васильевна (урожд. Энгельгардт, 1761—1829), графиня, жена Джулио Ренато Литты, в первом браке Скавронская *n/m 1* — 486
- Литта Лоренцо (1756—1820), итальянский кардинал *n/m 1* — 490; *n/m 2* — 113, 627

- Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799), немецкий писатель и ученый *n/m 1* — 107, 122, 444—449; *n/m 2* — 38, 605, 609
- Лобанов Василий Васильевич (1926—2001), библиограф *n/m 1* — 521; *n/m 2* — 781
- Лобковиц Фердинанд Филипп (1724—1784), покровитель К. В. Глюка *n/m 2* — 665
- Ломени де Бриенн Этьенн Шарль де (1727—1794), французский кардинал, министр *n/m 2* — 625
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765), поэт, ученый, историк *n/m 2* — 748
- Лонгин Кассиус (ок. 213—273), древнегреческий ритор и философ *n/m 2* — 723
- Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф, мемуарист *n/m 1* — 407
- Лонгмэн Дж., владелец фирмы по производству музыкальных инструментов (фортепиано) и изданию музыкальной литературы «Longman & Broderip» (Лондон, 1776—1798) *n/m 2* — 247—248
- Лопухин Василий Авраамович (1711—1757), генерал, герой Семилетней войны *n/m 2* — 758
- Лопухин Иван Васильевич (1756—1816), князь, государственный деятель, писатель-масон *n/m 2* — 758
- Лоррен Клод (1600—1682), французский живописец и гравер *n/m 1* — 491
- Лотман Юрий Михайлович (1922—1993), литературовед *n/m 1* — 410
- Лоуф Роберт (1710—1787), библист *n/m 2* — 718, 738
- Луи Филипп I (1773—1850), король Франции *n/m 1* — 414, 440
- Луиза Мария Аделаида Орлеанская (1777—1847), французская принцесса *n/m 1* — 86, 440
- Лукан Марк Анней (39—65), римский поэт *n/m 2* — 670, 679
- Лукиан (ок. 120 — ок. 190), греческий писатель-сатирик *n/m 1* — 481—482
- Луков Владимир Андреевич (1948—2014), литературовед, культуролог *n/m 1* — 417
- Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845), декабрист *n/m 1* — 416
- Луцилий Гай (ок. 180—102 до н. э.), римский поэт-сатирик *n/m 2* — 14, 593
- Льюис Мэтью Грегори (1775—1818), английский писатель *n/m 2* — 765
- Людвиг Баварский (1281/1282—1347), герцог Баварии с 1274 г., король Германии с 1314 г., император Священной Римской империи с 1328 г. *n/m 2* — 682
- Людовик (Луи) II де Бурбон-Конде, принц де Конде (1621—1686) *n/m 2* — 157, 170, 562, 646, 653
- Людовик I Великий (1326—1382), король Венгрии с 1342 г. и Польши с 1370 г. *n/m 2* — 11, 14—15, 590, 595, 622
- Людовик IX Святой (1214—1270), король Франции *n/m 1* — 344, 511; *n/m 2* — 11, 360, 591, 688, 695—696
- Людовик XIII Справедливый (1601—1643), король Франции *n/m 1* — 511; *n/m 2* — 619
- Людовик XIV де Бурбон (Людовик Великий, 1638—1715), король Франции с 1643 г. *n/m 1* — 411, 470; *n/m 2* — 14, 40, 46, 110, 167, 169, 171, 594—595, 607, 609, 619—620, 625, 645, 652
- Людовик XV Возлюбленный (1710—1774), французский король *n/m 1* — 9, 63, 411; *n/m 2* — 41—42, 625, 667—668
- Людовик XVI (1754—1793), французский король *n/m 1* — 454, 483, 500—501; *n/m 2* — 96—97, 104, 250, 620, 667—668
- Лян У-ди (464—549), китайский император *n/m 2* — 733

- Мабли Габриэль Банно де (1709—1785), французский философ-утопист *n/m 2* — 43, 607
- Мавзол, правитель Карики (ю.-з. побережье Малой Азии) в 377—353 до н. э. *n/m 2* — 317, 688
- Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844), русский государственный деятель, поэт, публицист *n/m 2* — 717
- Маджедин Абу-г-Тахир Мохаммед Ширааский (Фирузабаний, 1329—1414), составитель толькового арабского словаря «Камус» *n/m 2* — 735
- Мадзарини (Мазарини или Маццарини Джулио Раймондо, 1602—1661), французский государственный деятель, кардинал *n/m 2* — 594—595, 607
- Маймин Евгений Александрович (1921—1997), литературовед *n/m 2* — 640
- Майофис Мария Львовна, литературовед *n/m 2* — 714, 748
- Майя Жозеф де (1669—1748), миссионер, переводчик, французский синолог *n/m 2* — 726
- Макаров Михаил Николаевич (1789—1847), писатель *n/m 2* — 751
- Макиавелли Никколо (1469—1527), итальянский политический мыслитель и писатель *n/m 2* — 42, 681, 683
- Макробий Амвросий Феодосий (V век н. э.), латинский писатель и чиновник *n/m 2* — 682
- Максим Эфесский (I-я пол. IV в. н. э.), античный философ-неоплатоник *n/m 2* — 591
- Малала Иоанн (ок. 491—578), византийский автор первой из дошедших до нас всемирной хроники «Хронография» *n/m 2* — 731
- Малиновский Алексей Федорович (1762—1840), археолог *n/m 1* — 472
- Малле Жан Луи (1757—1832), женеvский адвокат, автор ряда литературных сочинений *n/m 2* — 59, 611
- Мальборо Джон Черчилль (1650—1722), английский полководец и государственный деятель *n/m 1* — 411, 471
- Мальзерб Ламораньон (1721—1794), французский государственный деятель *n/m 2* — 250—254, 617, 666—667, 699
- Мандини Стефано (1750—1809), баритон *n/m 1* — 232, 490
- Марат Жан-Поль (1743—1793), французский политический деятель *n/m 1* — 483
- Мараччи Людовико (1612—1700), ученый-католик *n/m 2* — 715
- Маргарита Прованская (1221—1295), супруга Людовика IX Святого *n/m 2* — 360, 696
- Мариво Пьер Карле де Шамблен де (1688—1763), французский писатель *n/m 2* — 607
- Марий Гай (ок. 157—86 до н. э.), римский полководец и политический деятель *n/m 2* — 157, 646
- Мария Ангуанетта, французская королева (1755—1793) *n/m 1* — 483, 487; *n/m 2* — 97, 104, 619—620, 652, 668
- Мария Луиза Пармская, принцесса Астурийская (1751—1819), королева Испании *n/m 1* — 452
- Мария Павловна (1786—1859), великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская *n/m 1* — 486
- Мария Стюарт (1542—1587), королева Шотландии *n/m 1* — 35, 38, 419—420, 422, 441

- Мария Терезия Габсбург (1717—1780), эрцгерцогиня Австрийская, королева Венгерская и Богемская *n/m 2* — 167, 652, 668
- Мария Федоровна (1759—1828), российская императрица с 1796 г. *n/m 1* — 486, 488, 491—492
- Марк Аврелий Антонин (121—180), римский император *n/m 1* — 35, 417—418; *n/m 2* — 613
- Маркович Владимир Маркович, литературовед *n/m 1* — 396
- Мармонтель Жан Франсуа (1723—1799), французский писатель *n/m 2* — 43, 113, 667, 669—671, 684, 704
- Маробод (2-я пол. I века до н. э. — 37 н. э.), вождь древнегерманского племени маркоманов *n/m 2* — 742
- Марченко Нонна Александровна, литературовед *n/m 1* — 410
- Массена Андре (1758—1817), французский военачальник *n/m 1* — 103
- Массильон (Массийон) Жан Батист (1663—1743), французский проповедник *n/m 2* — 40, 607
- Масуди Алий-Абуль-Хасан (конец IX в. — 956), арабский географ и историк *n/m 2* — 28, 723
- Маторин Иван Федорович (1660—1735), мастер колоколотейного дела *n/m 1* — 487
- Маторин Михаил Иванович (ум. 1750), мастер колоколотейного дела *n/m 1* — 487
- Маттеи Христиан Фридрих (1744—1811), филолог *n/m 2* — 437, 731—732
- Мезере Франсуа (1610—1683), французский историк *n/m 2* — 40, 607
- Мейер Фридрих (1772—1818), приват-доцент Йенского университета *n/m 2* — 714—715
- Мейстер Леонгард (1741—1811), швейцарский писатель и критик *n/m 1* — 508
- Мелет (V—IV в. до н. э.), один из обвинителей Сократа *n/m 2* — 549
- Мелисс Самосский (ок. 485 — ок. 425 до н. э.), древнегреческий философ, представитель элейской школы *n/m 2* — 719
- Мендельсон (Мендельзон) Мозес (1729—1786), немецкий философ *n/m 1* — 62, 410, 428—429, 441, 442
- Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941), писатель, литературный критик, религиозный философ, общественный деятель *n/m 2* — 591
- Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830), переводчик, критик *n/m 1* — 478, 499; *n/m 2* — 670
- Меркель Гарлиб Хельвиг (1769—1850), немецкий писатель *n/m 1* — 54, 425—426, 433; *n/m 2* — 227, 632, 659—660
- Месмер Фридрих Антон (1734—1815), автор учения о «животном магнетизме» *n/m 1* — 101
- Местр Жозеф Мари де (1753—1821), французский католический философ, литератор, политик, дипломат *n/m 2* — 709, 715, 719
- Метродор из Лампсака Младший (330—270 до н. э.), ученик Эпикура, теоретик и пропагандист эпикуреизма *n/m 2* — 12, 592
- Мехмед-паша Балтаджи (1662—1712), турецкий политический деятель *n/m 2* — 651
- Мещевский Александр Иванович (1791—1820), поэт *n/m 2* — 600
- Мещерский Алексей Павлович (?—1858), князь, писатель *n/m 2* — 629
- Миль Джон Стюарт (1806—1873), британский философ, экономист и политический деятель *n/m 1* — 480

- Мильвуа Шарль Ибер (1782—1816), французский поэт *n/m 2* — 717
- Мильтон Джон (1608—1674), английский писатель *n/m 1* — 445, 514; *n/m 2* — 94, 384
- Миних Христофор Антонович (граф Бурхард Кристоф фон Мюнних, 1683—1767), российский генерал-фельдмаршал *n/m 1* — 492
- Миньяр Пьер (1612—1695), французский живописец *n/m 1* — 490—491
- Миронов А., крепостной архитектор графа Н. П. Шереметева *n/m 1* — 488
- Мирхонд (Мухаммед ибн Хонд-шах ибн Махмуд, 1433—1498), иранский историк *n/m 2* — 736
- Михаил Павлович, великий князь *n/m 1* — 493
- Михаэлис Иоганн Давид (1717—1791), библеист *n/m 2* — 718, 737—738
- Мнесикл (2-я пол. V в. до н. э.), древнегреческий архитектор *n/m 2* — 703
- Мнишек Михаил (1748—1806), граф, польский государственный деятель *n/m 1* — 229, 487
- Мнишек Урсула (урожд. графиня Замойская, 1750—1808), жена графа Михаила Мнишека *n/m 1* — 229, 487
- Мольер (наст. имя Поклен Жан Батист, 1622—1673), французский комедиограф *n/m 2* — 40, 114, 351, 595, 612, 624, 627
- Монтегю Эдвард Вортлей (1713—1776), английский писатель *n/m 1* — 165, 470—471
- Монтень Мишель (1533—1592), французский писатель *n/m 2* — 608, 618, 646
- Монтескьё Шарль Луи (1689—1755), французский просветитель, философ *n/m 2* — 41—42, 299, 303—304, 306, 456, 459, 626, 678—679, 682
- Монтолье Жанна-Изабелла-Полина де (1751—1832), баронесса, французская писательница *n/m 1* — 400; *n/m 2* — 657—658, 691
- Мориц Карл Филипп (1757—1793), немецкий писатель *n/m 1* — 40, 92, 343, 392, 423—424, 439—441, 508—509; *n/m 2* — 589
- Мориц, граф Саксонский (1696—1750), французский полководец *n/m 2* — 653
- Моро де ла Мельтиер Шарлотта (1777—1854), французская эмигрантка, муратовская знакомая Жуковского, писательница и переводчица *n/m 2* — 608
- Моро Жан Виктор (1763—1813), французский генерал *n/m 1* — 104, 444
- Мохаммед (571—632), пророк-проповедник, основатель мусульманства *n/m 2* — 716
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор *n/m 2* — 664—665
- Музеус Иоганн Карл Август (1735—1787), немецкий писатель, литературный критик, филолог, педагог *n/m 2* — 657—658
- Мур Томас (1779—1852), английский поэт *n/m 2* — 648, 713
- Муравьев Владимир Брониславович, писатель, составитель ряда антологий, сборников русской прозы *n/m 2* — 601
- Муравьев Михаил Никитич (1757—1807), писатель, педагог *n/m 1* — 400; *n/m 2* — 731
- Мусина-Пушкина Анастасия Валентиновна (1774—1841), фрейлина Екатерины II *n/m 1* — 489
- Мусин-Пушкин Валентин Платонович (1735—1804), военный и государственный деятель *n/m 1* — 229, 488
- Мюллер (Миллер) Иоганн (1752—1809), швейцарский историк *n/m 1* — 392, 417, 476; *n/m 2* — 297—306, 455—462, 649, 677—679, 682, 741, 743
- Мюллер Макс (1823—1900), английский филолог, санскритолог и индолог, представитель сравнительного языкознания *n/m 2* — 724

- Мюллер Венцель (1759—1835), австрийский композитор и театральный капельмейстер *n/m 2* — 599
- Мюральт (Муральт) Иоганн (1780—1850), песталоццианец, учредитель училища в Петербурге *n/m 1* — 512
- Навои Алишер (1441—1501), среднеазиатский тюркский поэт *n/m 2* — 736
- Назимов Иван, благотворитель из Ярославля, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 504
- Наполен I Бонапарт, см. Бонапарт Наполеон I
- Нассау-Зиген Карл-Генрих, принц (1745—1808), французский подданный, адмирал русского флота *n/m 2* — 168, 171, 652—653
- Неккер Анна Луиза Жермена (г-жа де Сталь, 1766—1817), французская писательница *n/m 1* — 502
- Неккер Жак (1732—1804), французский политический деятель и экономист *n/m 1* — 320, 501—502
- Неккер Сюзанна (1739—1794), французская писательница, жена министра Ж. Неккера *n/m 1* — 502
- Нелидова Екатерина Ивановна (1758—1839), камер-фрейлина императрицы Марии Федоровны *n/m 1* — 229, 488
- Немур Пьер Самуэль Дюпон де (1739—1817), французский экономист, основатель династии американских предпринимателей *n/m 2* — 631
- Нерон (37—68), римский император *n/m 2* — 14, 592—593
- Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк античности *n/m 2* — 710
- Низами, шейх Низамоддин Абу-Мохеммед Ильяс ибн-Юсоф (1141—1203), персидский поэт *n/m 2* — 735, 737
- Николай I (1796—1855), российский император с 1825 г. *n/m 1* — 472, 486; *n/m 2* — 608, 621
- Николас Нортон (1742—1809), друг К. Бонстеттена, И. Мюллера *n/m 2* — 301—302, 681
- Никонова Наталья Егоровна, литературовед *n/m 1* — 418, 428, 472—473; *n/m 2* — 613, 756
- Никулин Василий, купец, упоимнается в уведомлениях *n/m 2* — 508
- Новалис (Фридрих Леопольд фон Гарденберг, 1772—1801), немецкий писатель *n/m 2* — 724
- Новиков Николай Иванович (1744—1818), просветитель, писатель, журналист и издатель *n/m 1* — 454; *n/m 2* — 672
- Новоселов Василий Семенович (1772—1824), переводчик *n/m 2* — 726
- Нодье Жан Шарль Эммануэль (1780—1844), французский писатель и библиофил *n/m 2* — 646
- Нудов Г. *n/m 1* — 456
- Ньютон Исаак (1642—1727), английский физик, астроном, математик *n/m 2* — 302, 743
- Овидий Назон Публий (43 до н. э. — 17/18 н. э.), римский поэт *n/m 1* — 230, 489; *n/m 2* — 679
- Огинский Игнатий (1698—1775), государственный деятель, дипломат Речи Посполитой, маршал литовский *n/m 2* — 638

- Огинский Михаил Казимир (1729—1800), государственный и военный деятель Речи Посполитой, гетман великий литовский *n/m 2* — 638
- Одран Жерар (1640—1703), французский гравер *n/m 1* — 489
- Оксман Юлиан Григорьевич (1895—1970), литературовед *n/m 2* — 748
- Олейников Игорь Николаевич (1933—1975), африканист *n/m 1* — 493
- Оленин Алексей Николаевич (1763—1843), археограф и историк *n/m 2* — 714
- Олье Жан-Жак (1608—1657), аббат *n/m 2* — 668
- Орибазий из Пергама (326—403 г. н. э.), древнегреческий медик *n/m 2* — 437, 731
- Ориген (ок. 185 — ок. 254), греческий христианский теолог, философ *n/m 2* — 721, 723
- Орлов Григорий Григорьевич (1734—1783), фаворит Екатерины II *n/m 1* — 232, 486, 491
- Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807), государственный деятель, сподвижник Екатерины II *n/m 1* — 485
- Осман (1288—1326), хан турок-сельджуков *n/m 2* — 441, 736
- Осман I (1258—1326), первый османский султан, основатель империи турок *n/m 1* — 449
- Осман ибн Аффан (574—656), один из ближайших сподвижников Мухаммеда, третий Праведный халиф (644—656) *n/m 2* — 734
- Остолопов Николай Федорович (1782—1833), критик и переводчик *n/m 2* — 654
- Оттон I (912—973), герцог Саксонии, король Германии с 936 г., император Священной Римской империи с 962 г. *n/m 2* — 743
- Отфрид Вейсенбургский (ок. 790—?), немецкий религиозный поэт *n/m 2* — 299, 679
- Офрен Жан (1720—1806), французский актер, приглашенный в Россию *n/m 1* — 233, 492
- Павел I Петрович (1754—1801), российский император (с 1796 г.) *n/m 1* — 225—226, 231, 234, 484—488, 491—492, 512
- Паизиелло Д. *n/m 1* — 490
- Палицын Александр Александрович (1741—1816), дворянин Слободско-Украинской губернии, литературный деятель, воспитатель Н. Ф. Алферова *n/m 2* — 497, 757
- Паллас Петр-Симон (1741—1811), немецкий ученый *n/m 2* — 421, 717—718
- Палмер Джон (1742—1798), английский актер *n/m 1* — 170—171, 472
- Палмер Роберт (1757—1805), английский актер *n/m 1* — 472
- Палмер Уильям (ум. 1797), английский актер *n/m 1* — 472
- Пальмстедт Эрик, архитектор *n/m 1* — 474
- Панов Сергей Игоревич, литературовед *n/m 2* — 641
- Пари-Дюверне (дю Верне) Жозеф (1684—1770), знаменитый французский финансист *n/m 1* — 64, 429, 431
- Парк Мунго (1771—1806), английский путешественник *n/m 1* — 235—238, 417, 449, 493—495
- Парменид (ок. 540 или 515 — ок. 470 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* — 719
- Паррот Георг Фридрих (1767—1852), профессор физики, ректор Дерптского университета *n/m 1* — 512

- Паскаль Блез (1623—1662), французский философ, писатель, математик и физик
n/m 2 — 40, 607
- Пеньковский Александр Борисович (1927—2010), филолог *n/m 1* — 483
- Первиз (Парвиз, ? —628), царь Ирана из династии сасанидов *n/m 2* — 737
- Переселенков Степан Александрович (1865—1941), историк русской литературы
n/m 2 — 748
- Перикл (490—429 г. до н. э.), афинский политический деятель, оратор, полководец
n/m 2 — 157, 646
- Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827), выдающийся швейцарский педагог
n/m 1 — 350—354, 511—513
- Петерборо Карл Мордаунт (1658—1755), английский полководец *n/m 1* — 471
- Петерсен Питер, дворцовый садовник датского двора *n/m 1* — 468
- Петр I (1672—1725), российский император *n/m 1* — 228, 230—231, 489; *n/m 2* —
114, 157, 165, 167, 627—628, 645, 650—652, 666, 679, 736
- Петр III Фёдорович (1728—1762), российский император в 1761—1762 *n/m 1* — 226,
485—486
- Петрарка Франческо (1304—1374), итальянский поэт *n/m 2* — 600
- Петровский, благотворитель из Павлограда, упоминается в уведомлениях *n/m 2* —
501
- Петрунина Нина Николаевна, литературовед *n/m 1* — 391, 396, 415; *n/m 2* — 639
- Петти Вильям (1623—1687), английский статистик и экономист *n/m 2* — 680—681
- Пещуров Дмитрий Алексеевич (1833—1913), востоковед *n/m 2* — 726
- Пизон Гай Кальпурний (I в. н. э.), государственный деятель, оратор, участник заго-
вора против Нерона *n/m 2* — 593
- Пий VII (1742—1823), папа римский с 1800 по 1823 г. *n/m 1* — 476
- Пиндар (ок. 522/518 — 442/438 до н. э.), древнегреческий поэт *n/m 2* — 384
- Пинэ Г., историк начала XX в. *n/m 1* — 491
- Пиранези Джованни Батиста (1720—1778), итальянский археолог, архитектор
n/m 1 — 164, 469
- Писистрат (600—527 до н. э.), афинский тиран *n/m 2* — 216, 659, 724
- Питт Уильям (1759—1806), английский государственный деятель *n/m 2* — 605
- Пифагор, уроженец Самоса (570—490 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* —
424—425, 688, 719—720
- Пихлер Каролина (1769—1863), австрийская писательница *n/m 1* — 499, 502
- Плаксин Василий Тимофеевич (1795—1869), писатель, учитель словесности *n/m 2* —
601
- Платон (между 430 и 427 гг. — 348/347 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 2* —
260—271, 307—310, 313, 425, 428, 433, 549, 594, 643—644, 669—671, 683—686,
704, 721, 723
- Платон Житинский, протоиерей, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 509
- Платон, архиепископ екатеринославский, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 508
- Плейль Игнац Йозеф (1757—1831), ученик Ф. Й. Гайдна *n/m 2* — 242, 665
- Плело де Бреган Луи-Роберт-Ипполит (1699—1734), французский дипломат и
писатель *n/m 1* — 169, 471
- Плетнев Петр Александрович (1792—1865), поэт и критик *n/m 1* — 389, 399, 407;
n/m 2 — 706
- Плещеев Сергей Иванович (1751—1802), вице-адмирал *n/m 1* — 232, 491

- Плещеев Александр Алексеевич (1778—1862), писатель, переводчик, член литературного общества «Арзамас» *n/m 1* — 505
- Плещеева Анастасия Ивановна (урожд. Протасова, 1754—1778), дочь И. Я. Протасова, свояченица и приятельница Н. М. Карамзина, мать Александра Алексеевича Плещеева *n/m 1* — 505
- Плиний Младший (61—113), племянник Плиния Старшего, политический деятель и писатель *n/m 1* — 477
- Плиний Старший, Гай Плиний Секунд (23/24—79), римский писатель, ученый *n/m 1* — 177, 476—477; *n/m 2* — 301, 682, 704
- Плотин (204/205—270, античный философ, основатель неоплатонизма *n/m 2* — 723
- Плутарх (ок. 45 — ок. 127), древнегреческий писатель-историк *n/m 1* — 490; *n/m 2* — 300, 437, 680, 731
- Покк Ричард (1704—1765), путешественник *n/m 2* — 317, 688
- Покровский Г., переводчик начала XIX в. *n/m 1* — 494
- Покровский Феофилакт Гаврилович (1763 — до 1843), доктор философии, писатель *n/m 1* — 512
- Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801—1867), журналист и критик *n/m 2* — 601
- Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель и журналист *n/m 2* — 601
- Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.), древнегреческий историк *n/m 2* — 300, 680
- Полиен (Полиэн), грекоязычный писатель II в. *n/m 2* — 437, 731
- Понсонби Джон (1770—1885), англо-ирландский политик и оратор *n/m 1* — 440
- Понсонби Сара (1755—1831), сестра Джона Понсонби *n/m 1* — 87—90, 440
- Понятовская Людвиг, сестра С. А. Понятовского, статс-дама, фрейлина Екатерины II *n/m 1* — 487
- Понятовский Станислав II Август (1732—1798), граф, последний король Польши, великий князь литовский в 1764—1795 гг., один из фаворитов будущей императрицы Екатерины II *n/m 1* — 225, 230, 235, 442, 484—488, 490—491; *n/m 2* — 627
- Поплавская Ирина Анатольевна, литературовед *n/m 1* — 408, 417, 440, 443, 479, 498; *n/m 2* — 600, 604, 609, 612, 614, 622, 633, 636, 662, 668, 671, 684, 707
- Попов Г.И., священник, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 501—504
- Попов Иван Филиппович, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 504
- Порфирий (232/233—304/306), философ, представитель неоплатонизма *n/m 2* — 723
- Потёмкин Григорий Александрович (1739—1791), государственный и военный деятель *n/m 1* — 227, 486, 490; *n/m 2* — 140—141, 169—170, 645, 651, 653
- Потоцкий Алексей Якимович, коллежский ассессор, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 507—508
- Поуп (Поп) Александр (1688—1744), английский поэт, переводчик *n/m 1* — 465; *n/m 2* — 302, 459
- Практиель (около 390 до н. э. — около 330 до н. э.), древнегреческий скульптор *n/m 2* — 592, 684, 688, 703
- Прево Антуан Франсуа (1697—1763), французский писатель *n/m 2* — 607
- Прокл (412—485), древнегреческий философ-неоплатоник *n/m 2* — 723
- Прокопий (325—366), римский император-узурпатор *n/m 2* — 742
- Прокофьева Александра Васильевна, майорша, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 500
- Проппак, издатель «Писем и мыслей принца де Линя» (1809) *n/m 2* — 645

- Протасова ЕкатеринаАфанасьевна (урожд. Бунина, 1770—1848), сводная сестра В. А. Жуковского, мать М. А. Мойер-Протасовой *n/m 1* — 413, 504
- Протасова Мария Андреевна (в замуж Мойер, 1793—1823), племянница Жуковского *n/m 1* — 413, 427—428, 441, 502, 504; *n/m 2* — 655
- Пруденций Аврелий Клемент (348 — после 405), римский христианский поэт *n/m 2* — 679
- Публий Лициний Эгнатиус Галлиен (ок. 218—268), римский император с 253 по 268 г. *n/m 2* — 687
- Публий Сестий (I н. э.), трибун 57 до н. э. *n/m 2* — 771
- Пуссен Никола (1594—1665), художник *n/m 1* — 491
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), писатель *n/m 1* — 391—392, 395, 470, 516; *n/m 2* — 600, 645—646, 657, 661, 669, 748
- Пушкин Василий Львович (1770—1830), поэт, дядя А. С. Пушкина *n/m 2* — 641
- Пэй Сунь-чжи (372—451), китайский историк *n/m 2* — 734
- Рабле Франсуа (1494—1553), писатель *n/m 1* — 448
- Рабютен-Шанталь Мари де, баронесса де Севинье (1626—1696), французская писательница *n/m 2* — 778
- Радзивилл Луиза Фридерика Доротея (урожд. принцесса Луиза Прусская 1770—1837) *n/m 1* — 488
- Радищев Александр Николаевич (1749—1802), писатель *n/m 2* — 749
- Радклиф Анна (1764—1823), писательница *n/m 1* — 417
- Радумаев Платон, переводчик с французского, печатавшийся в «Вестнике Европы» нач. XIX в. *n/m 1* — 415
- Раевский И., автор переводов, печатавшихся в «Вестнике Европы» нач. XIX в. *n/m 1* — 415
- Разумова Нина Евгеньевна, литературовед *n/m 1* — 396, 408
- Разумовская Генриетта (урожд. баронесса Мальсен, 1790—1827), графиня *n/m 2* — 608
- Разумовский Алексей Кириллович (1748—1822), министр народного просвещения в России *n/m 2* — 711, 752
- Расин Жан (1639—1699), французский драматург *n/m 2* — 40, 47, 93, 232, 351, 382, 609, 618—619
- Раск Расмус Христиан (1787—1832), датский лингвист *n/m 2* — 716
- Ребеккини Дамиано, литературовед *n/m 2* — 608, 621
- Ревентлов Конрад Детлев, фон (1704—1750), премьер-министр Дании в 1699—1708 гг. *n/m 1* — 161, 469
- Ревиль Ж., французский исследователь XIX в., изучавший религию древнего Рима *n/m 2* — 761
- Регис Жан Батист (Режи Жан Батист, 1663/1664—1738), иезуитский миссионер *n/m 2* — 726
- Резанов Владимир Иванович (1867—1932), историк литературы *n/m 1* — 412, 419, 428, 453, 465, 522
- Рейналь Гийом Томас Франсуа (1713—1796), французский историк и социолог *n/m 2* — 607, 627
- Рейтерн Елизавета фон (в замуж. Жуковская Елизавета Евграфовна, 1821—1856), жена В. А. Жуковского, дочь Г. Рейтерна *n/m 1* — 416

- Рейхова Анисья Кузьминична, майорша, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 507—508
- Реморова Нина Борисовна, литературовед *n/m 1* — 396, 408, 426, 449, 455, 461; *n/m 2* — 605, 611, 660, 760, 763, 769
- Репнин Николай Васильевич (1734—1801), князь, генерал-фельдмаршал, русский посол в Варшаве *n/m 1* — 229, 232, 484—485, 488, 491; *n/m 2* — 758
- Репнина Наталья Александровна (1737—1798), статс-дама, жена князя Н. В. Репнина *n/m 1* — 229, 488
- Рептон Хамфри (1752—1818), английский очеркист, теоретик и практик ландшафтного искусства *n/m 2* — 616
- Рибомон Эташ де (Рибмон, ок. 1319—1359), французский рыцарь *n/m 2* — 362, 697
- Ривароль Антуан де (1753—1801), французский писатель *n/m 1* — 454; *n/m 2* — 672
- Ринальди Антонио (1710—1794), итальянский архитектор, работавший в России *n/m 1* — 486
- Рипенхаузен Эрнст Людвиг (1765—1840), гравер *n/m 1* — 446
- Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (1763—1825) *см.* Жан Поль
- Ричард I (Английский) Львиное Сердце (1157—1199), английский король *n/m 2* — 688
- Ричардсон Сэмюэл (1689—1761), писатель *n/m 1* — 436
- Ришелье Арман Жан дю Плесси де (1585—1642), кардинал Римско-католической церкви, государственный деятель Франции *n/m 2* — 93, 595, 619
- Робер Юбер (1733—1808), французский пейзажист *n/m 1* — 232, 491
- Робертсон Уильям (1721—1793), английский историк *n/m 2* — 677
- Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758—1794), французский революционер *n/m 1* — 128, 314, 454, 500; *n/m 2* — 620
- Родзянкина, подполковница, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 508
- Рожер II (около 1095—1154), сицилийский король *n/m 2* — 64—68, 613, 736, 742
- Розенмюллер Фридрих Карл (1768—1835), библиист *n/m 2* — 718
- Ролан де ла Платьер Жанна Манон (урожд. Флипон, 1754—1793), жирондистка, хозяйка политического салона, автор ряда сочинений *n/m 2* — 106, 620—621
- Роллон (ок. 860 — ок. 932), первый герцог Нормандии под именем Роберт I *n/m 2* — 457, 742
- Романо Джулио (1492/1499—1546), итальянский художник-маньерист и архитектор *n/m 1* — 489
- Ростопчин (Расстопчин) Федор Васильевич (1763—1826), граф, государственный деятель *n/m 1* — 488
- Ротенберг В. А., автор работ по истории педагогики *n/m 1* — 512
- Роу (Рове) Елизавета (1674—1737), английская поэтесса *n/m 1* — 461
- Румянцев Сергей Петрович (1755—1838), граф, младший сын П. А. Румянцева-Задунайского *n/m 1* — 485
- Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725—1796), граф, полководец, генерал-фельдмаршал *n/m 1* — 492; *n/m 2* — 147, 639
- Рункен Давид (1723—1798), немецкий филолог *n/m 2* — 732
- Руссо Жан Батист (1670—1741), французский поэт *n/m 2* — 40, 113, 607, 626
- Руссо Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ *n/m 1* — 40—54, 82—84, 397—398, 403—404, 417, 425—426, 432—439, 453, 465, 511; *n/m 2* —

- 41—43, 108—111, 113—114, 121, 199, 216—227, 458, 460, 500, 614, 623—627, 629, 631—632, 656, 659—661, 671, 678, 681, 701, 758, 772—773
Рюккерт Фридрих (1788—1866), немецкий писатель и ориенталист *n/m 2* — 713, 722
- Саади (Сáдий, Ибн-Мослиходдин Ширазский, ок. 1181—1291), персидский поэт *n/m 2* — 643, 735
- Саид Эдвард вади (1935—2003), специалист по английской литературе *n/m 2* — 717, 735
- Саличе-Контецца Карл Вильгельм (1777—1825), немецкий новеллист и драматург *n/m 1* — 483
- Салтыков Николай Иванович (1736—1816), граф, генерал-фельдмаршал *n/m 1* — 232, 488, 491
- Салтыков Петр Семенович (1698—1772), граф, генерал-фельдмаршал *n/m 1* — 492
- Салупере Малле Густавовна, литературовед *n/m 2* — 600
- Сальери Антонио (1750—1825), итальянский и австрийский композитор *n/m 2* — 666
- Самойлова Софья Александровна (в замуж. графиня Бобринская, 1796—1866), фрейлина имп. Марии Федоровны, жена графа А. А. Бобринского *n/m 1* — 413
- Сан Бартоломео Паоло да (1748—1806), австрийский миссионер, востоковед *n/m 2* — 725, 730
- Санглен Яков Иванович де (1776—1864), русский государственный деятель, писатель, переводчик *n/m 1* — 446
- Санктис Франческо де (1817—1883), историк итальянской литературы *n/m 1* — 460
- Сапожков Сергей Вениаминович, литературовед *n/m 1* — 408
- Сарразен Адриан (1775—1852), французский писатель *n/m 1* — 397—398, 401, 510—511, 515—516; *n/m 2* — 340, 615, 639—641, 672, 692, 707, 713, 739, 745—746
- Сарти Джузеппе (1729—1802), итальянский композитор *n/m 2* — 243—244, 666
- Саси Сильвестр де (1758—1838), французский ориенталист *n/m 2* — 440, 709, 719, 734
- Св. Савва (439—532), христианский святой *n/m 2* — 322, 690
- Свиньин Павел Петрович (1788—1839), писатель, издатель, журналист *n/m 1* — 439
- Свифт Джонатан (1667—1745), английский писатель *n/m 1* — 445—446
- Святослав Владимирович *n/m 1* — 357—367, 403, 515—517
- Севастиан, святой мученик (ок. 256—288), римский легионер, христианский святой, почитаемый как мученик *n/m 2* — 53, 610
- Сегид Халиль (после крещения Александр Трофимов), сын майорши Александры Васильевны Прокофьевой, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 500
- Сегюр Луи Филипп, граф де (1753—1832), французский дипломат *n/m 2* — 108, 168, 650—652
- Секст Афраний Бурр (? — 62 н. э.), римский военачальник, государственный деятель *n/m 2* — 592
- Селевк I (ок. 358—281 до н. э.), полководец и телохранитель Александра Македонского *n/m 1* — 490
- Семенко Ирина Михайловна (1921—1987), литературовед *n/m 1* — 522; *n/m 2* — 600, 782

- Сен-Бёв Шарль Огюстен де (1804—1869), французский литературный критик *n/m 2* — 608
- Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), римский философ и писатель *n/m 1* — 127, 167, 411, 454; *n/m 2* — 11—14, 190, 590, 592—593, 622
- Сен-Ламберт Жан Франсуа де (1716—1803), французский поэт и философ *n/m 2* — 640
- Сен-Мартен Луи Клод (1743—1803), французский философ *n/m 2* — 232—233, 622, 661
- Сен-Реал Цезарь Ришар, аббат (1639—1692), французский историк и писатель *n/m 1* — 411; *n/m 2* — 11—15, 590—591, 593—595, 622
- Сент-Илер Этьен Жоффруа (1772—1844), французский зоолог *n/m 2* — 722
- Сербинович Константин Степанович (1797—1874), издатель и редактор сочинений В. А. Жуковского *n/m 1* — 522; *n/m 2* — 782
- Сефи I (1611—1642), шах Ирана (1628—1642) *n/m 2* — 452—453, 740
- Сидней А.льджернон (1622—1683), английский политический деятель *n/m 2* — 302, 682
- Симанков Виталий Иванович, литературовед *n/m 2* — 588, 595—596, 608, 611, 613, 616, 618, 621, 631—633, 636, 643, 655—656, 658, 660—661, 664, 667—668, 708, 782
- Симонид Кеосский (557/556—468/467 до н. э.), древнегреческий поэт *n/m 2* — 315, 774
- Сиповский Василий Васильевич (1872—1930), историк литературы, филолог, писатель *n/m 2* — 639
- Сир Публий (I в. до н. э.), римский драматург и актер *n/m 1* — 471
- Сирано де Бержерак Эркюль Савиньен (1619—1655), французский писатель, философ *n/m 1* — 460
- Сирвен Н., жертва религиозных преследований во Франции XVIII в. *n/m 2* — 625
- Скаврнская Екатерина Васильевна (урожд. Энгельгардт, во втором браке Литта, 1761—1829), графиня *n/m 1* — 226, 486, 490
- Скачкова Светлана Вениаминовна, литературовед *n/m 1* — 515
- Скотт Вальтер (1771—1832), английский писатель *n/m 1* — 504, 518—519; *n/m 2* — 657—658, 765
- Слизов Константин Михайлович, колокольный мастер середины XVIII в. *n/m 1* — 487
- Смирдин Алексей Филиппович (1795—1857), издатель и книгопродавец *n/m 1* — 522
- Смирнов Степан Иванович, переводчик, писатель и издатель начала XIX в. *n/m 2* — 706
- Смирнова-Россет Александра Осиповна (урожд. Россет, 1809—1882), фрейлина, мемуристка *n/m 1* — 498—499
- Смит Адам (1723—1790), английский экономист и философ *n/m 1* — 218, 220—221, 417, 479—480, 482
- Созина Елена Константиновна, литературовед *n/m 2* — 590
- Соймонов Михаил Федорович (1730—1804), государственный деятель *n/m 1* — 230, 489
- Сократ (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ *n/m 1* — 60, 106, 136, 428, 459—460; *n/m 2* — 191, 306, 562, 569, 622, 657, 684, 703, 721

- Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк *n/m 1* — 484
Солодов Алексей Александрович, алатырский городничий, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 500
Соломон, третий еврейский царь, легендарный правитель объединенного Израильского царства в 965—928 до н. э. *n/m 2* — 204, 360, 441, 617, 658, 692, 727—728
Солон (между 640 и 635 — около 559 до н. э.), афинский политик, поэт *n/m 2* — 551, 771
Сомов Орест Михайлович (1793—1833), писатель и критик *n/m 1* — 416, 516
Сопиков Василий Степанович (1765—1818), библиограф *n/m 1* — 415, 417; *n/m 2* — 506
Соун Джон (1753—1837), английский архитектор, коллекционер *n/m 1* — 448
Софокл (ок. 496—406 до н. э.), древнегреческий драматург *n/m 2* — 382
Спенсер Джон (1630—1693), английский богослов *n/m 2* — 738
Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), общественный и государственный деятель *n/m 2* — 710—711
Спиноза Бенедикт (1632—1677), нидерландский философ *n/m 2* — 724
Спон Жак (1647—1685), путешественник *n/m 2* — 317, 688
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766—1817), французская писательница *n/m 1* — 478, 500, 502, 513; *n/m 2* — 623, 709
Станислав (1754—1833), принц, племянник С.-А. Понятовского *n/m 1* — 226, 229, 484
Стенник Юрий Владимирович (1935—2005), литературовед *n/m 1* — 426; *n/m 2* — 748
Стенхоп Честерфилд Филипп Дормер (1694—1773), английский писатель, государственный деятель *n/m 2* — 744
Степанов М., публикатор и комментатор материалов о Ж. де Местре в России *n/m 2* — 714—715, 719
Стерн Лоренс (1713—1768), английский писатель *n/m 1* — 107, 445, 448; *n/m 2* — 750
Стил Ричард (1672—1729), английский писатель, журналист *n/m 1* — 431
Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.), греческий географ и историк *n/m 2* — 763
Стравинский Игорь Федорович (1882—1971), композитор *n/m 1* — 448
Стратоника Сирийская (318 до н. э. — 268 до н. э.), дочь македонского царя Деметрия I *n/m 1* — 490
Страхан Уильям (1715—1785), шотландский издатель *n/m 1* — 218, 479—480, 482
Строев Павел Михайлович (1796—1876), историк, библиограф *n/m 1* — 389
Стюарт Дагалд (1753—1828), шотландский философ и физиолог *n/m 1* — 480
Стюарт Роберт Генри, виконт Каслри, 2-й маркиз Лондондерри (1769—1822), английский политический деятель *n/m 1* — 439
Стюарт Роберт, 1-й маркиз Лондондерри (1739—1821), отец Р. Г. Стюарта *n/m 1* — 439
Суворов Александр Васильевич (1729/1730—1800), полководец, генералиссимус *n/m 1* — 100, 475; *n/m 2* — 138—147, 637—639
Суза (Флао) Аделаида Мария Эмилия де (1761—1836), французская писательница *n/m 1* — 397, 478—479, 497—498; *n/m 2* — 632
Сулла (Силла) Луций Корнелий (138—78 до н. э.), древнеримский государственный деятель, военачальник *n/m 2* — 157, 646
Сулпиций II, епископ Буржа (?—647), католический святой *n/m 2* — 668

- Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901), филолог, литературовед *n/m 2* — 717
 Сушкова Мария Васильевна (1752—1803), переводчица *n/m 2* — 669
 Сципион Африканский Публий Корнелий (235—183 до н. э.), римский полководец
n/m 2 — 302, 682
 Сципионы, выдающееся римское семейство из рода Корнелиев *n/m 2* — 646
 Сы-ма-цзянь (145/ок. 135 — ок. 86 до н. э.), историограф, писатель *n/m 2* — 725
 Сьюард Анна (1747—1809), английский очеркист *n/m 2* — 616
 Сэй Жак Батист (1767—1832), французский писатель, экономист *n/m 2* — 632
 Сюар Жан Батист Антуан (1733—1817), французский литератор *n/m 1* — 170,
 453—454, 466, 470; *n/m 2* — 589, 596, 671—672
 Сюлли Максимильтен де Бетюн (1560—1651), герцог, гугенот, французский полити-
 ческий деятель *n/m 2* — 96, 620
- Тальман Поль (1642—1712), французский аббат, писатель *n/m 2* — 661
 Тарквиний Гордый, последний, седьмой римский царь в 534—529 до н. э. *n/m 2* —
 774
 Тартр Петр Винсент дю, интерпретатор «Книги перемен» *n/m 2* — 726
 Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт *n/m 1* — 136, 460; *n/m 2* — 112, 363,
 654, 666, 698
 Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — ок. 117), римский историк *n/m 2* — 110, 298, 300,
 303, 306, 459, 560, 593, 680
 Теккерей Уильям Мейклис (1811—1863), писатель *n/m 1* — 447
 Телиньи Шарль де (ок. 1535—1572), протестантский военный, политический
 деятель *n/m 2* — 629
 Теодорих (451—526), король остготов *n/m 2* — 741
 Тереза Авильская, св. (1515—1582), монахиня-кармелитка *n/m 1* — 440
 Тертуллиан (155/165—220/240), раннехристианский писатель, теолог *n/m 2* — 721
 Тетюпин П. Н., упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 501—503, 505
 Тизенгаузен Антон (Иоган) Иванович (1797—1800), барон, шеф Нарвского гарни-
 зонного полка *n/m 1* — 225, 485
 Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк *n/m 1* — 164; *n/m 2* — 303, 306,
 646, 680
 Тит Лукреций Кар (99/95—55/51 до н. э.), римский поэт, философ *n/m 2* — 418, 715
 Тихонов, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 506
 Тищенко Петр Герасимович (1768—?), генерал-адъютант А. В. Суворова с 1795 г.
n/m 2 — 143—144, 146, 638
 Толедо Мария дель Пилар Тереса Каэтана де Сильва и Альварес, 13-я герцогиня
 Альба (1762—1802), испанская аристократка *n/m 1* — 452
 Толстой Лев Николаевич (1828—1910), писатель *n/m 1* — 498
 Томашевский Борис Викторович (1890—1957), литературовед *n/m 1* — 510; *n/m 2* —
 641
 Томпсон (Томсон) Джеймс (1700—1748), английский поэт *n/m 2* — 664
 Томпсон Бенджамин, граф Румфорд (1753—1814), учёный, авантюрист *n/m 1* — 472
 Топоров Владимир Николаевич (1928—2005), литературовед *n/m 2* — 599
 Тотт Клас Окессон (1630—1674), шведский военачальник, государственный деятель
n/m 1 — 164
 Трамбле Абраам (1710—1784), швейцарский натуралист *n/m 2* — 456, 741

- Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1768), поэт *n/m 1* — 459; *n/m 2* — 661
 Троицкий Всеволод Юрьевич, литературовед *n/m 1* — 516
 Тронская Мария Лазаревна (1896—1987), литературовед *n/m 1* — 448
 Тун-Гогенштейн Иоганн Йозеф Антон фон (1711—1788), граф, меценат
 В. А. Моцарта *n/m 2* — 665
 Тун-Гогенштейн Мария Вильгельмина фон (урожд. Ульфельд, 1744—1800), хозяйка
 салона в Вене, покровительница И. Гайдна *n/m 2* — 237—239, 665
 Тургенев Александр Иванович (1784—1845), общественный деятель, археограф,
 литератор *n/m 1* — 388, 391, 413, 415, 424, 439, 476, 521; *n/m 2* — 608, 661, 677,
 681, 711, 713, 748, 751, 754—755, 761, 781
 Тургенев Андрей Иванович (1781—1803), поэт, переводчик, брат А. И. Тургенева
n/m 1 — 409—410, 415, 512; *n/m 2* — 712
 Тургенев Иван Петрович (1752—1807), масон, директор Московского университет-
 ского пансиона, отец бр. Тургеневых *n/m 1* — 410; *n/m 2* — 597
 Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), писатель *n/m 1* — 395
 Тургенев Петр Петрович, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 501
 Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943), писатель и литературовед *n/m 1* — 392
 Тьебо Дьедоне (1733—1807), французский литератор и поэт *n/m 1* — 473
 Тюпа Валерий Игоревич, литературовед *n/m 1* — 404
 Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781), государственный деятель, занимался литера-
 турой, естествознанием, философией истории *n/m 2* — 719
 Тюрэнн Анри де ла Тур д’Овернь (1611—1675), виконт, французский полководец
n/m 1 — 470
 Тютчев Федор Иванович (1803—1855), поэт *n/m 1* — 441, 473; *n/m 2* — 700
- Уваров Сергей Семенович (1786—1855), граф, государственный деятель, литератор
n/m 2 — 709—722, 724—725, 727, 729
 Уилкинс Чарльз (1749—1836), переводчик ряда памятников индийской литера-
 туры, автор санскритской грамматики *n/m 2* — 716, 725
 Уилкс Джон (1727—1797), английский публицист *n/m 2* — 605
 Уилсон (Вильсон) Горас Гайман (1786—1860), английский индолог, санскритолог
n/m 2 — 725
 Успенский Борис Андреевич, литературовед *n/m 1* — 410
- Фаларис (VI в. до н. э.), тиран агригентский *n/m 2* — 549, 771
 Фалес Милетский (предположительно 624—548 до н. э.), древнегреческий мате-
 матик, астроном и философ *n/m 2* — 316, 424, 720
 Фальк Иоганн Петер (1727/1732—1773/1774), член Российской Императорской
 Академии наук и художеств, исследователь природы России *n/m 2* — 718
 Фарнаваз (около III в. до н. э.), полулегендарный царь древнегрузинского государ-
 ства Иберия *n/m 2* — 729
 Фатали (Фетх Али-шах, 1772—1834), второй шах Ирана (1797—1834) *n/m 2* — 636
 Фатер Иоганн-Северин (1771—1826), немецкий филолог, богослов *n/m 2* — 441, 737
 Федор Иоаннович (1557—1598), русский царь *n/m 1* — 487
 Федоров Николай Федорович (1829—1903), русский философ, деятель библиотеко-
 ведения *n/m 1* — 487

- Фелленберг Филипп Эммануил (1771—1844), выдающийся швейцарский педагог
n/m 1 — 350—354, 511—513
- Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651—1715), французский религиозный деятель, писатель *n/m 1* — 131, 459; *n/m 2* — 114, 499—500, 684, 757—758
- Феодосий I Великий (346—395), последний император единой Римской империи
n/m 2 — 594
- Феодосий, чудотворец, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 504
- Фергусон Адам (1723—1816), шотландский историк и философ-моралист *n/m 1* — 480
- Фесслер Игнац-Аврелий (1756—1839), востоковед *n/m 2* — 434—435, 709, 728—729
- Фигероа Пардо де (?—1812), испанский министр *n/m 2* — 732
- Фидий (ок. 490 г. до н. э. — ок. 430 г. до н. э.), древнегреческий скульптор и архитектор *n/m 2* — 309, 684)
- Физули Мухаммад Сулейман Оглы (1494—1556), турецкий поэт *n/m 2* — 735, 737
- Филиберт, граф Грамон (1621—1707), граф Антуана III, сражался под начальством Конде и Тюрення *n/m 1* — 164, 470
- Филимонов Владимир Сергеевич (1787—1858), русский писатель *n/m 2* — 654
- Филипп II (382—336 гг. до н. э.), царь Македонский *n/m 2* — 559, 774
- Филипп Анжуйский (Филипп V, 1683—1746), внук Людовика XIV, король Испании с 1700 по 1746 г. *n/m 2* — 595
- Филокл (IV в. до н. э.), архитектор *n/m 2* — 703
- Филопомен (253—183 до н. э.), ахейский полководец *n/m 2* — 315, 687
- Филострат II Флавий (170—247), писатель *n/m 2* — 761
- Фирдоуси Абуль-Касим Тусский (ок. 935 — после 1020 г.), персидский и таджикский поэт *n/m 2* — 427, 440, 722, 735
- Фисли (Фюсли) Иоганн Генрих (1741—1825), швейцарский живописец *n/m 1* — 99—100
- Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ *n/m 2* — 710, 779
- Фишер К. *n/m 2* — 654
- Фишер Христиан Август (1771—1829), профессор истории и статистики *n/m 2* — 647, 654
- Флавий Юлий Валент (328—378), римский император (364—378) *n/m 2* — 742
- Флао А. М. Э., см. Суза Аделаида Мария Эмилия де
- Флери Андре Эркуль де (1653—1743), кардинал, государственный деятель Франции *n/m 2* — 112, 625
- Флориан де Клари Жан Пьер (1755—1794), французский писатель и проповедник
n/m 1 — 233, 408, 430, 492; *n/m 2* — 601
- Фогт Фридрих, немецкий историк литературы *n/m 1* — 410
- Фокион (397—317 до н. э.), афинский полководец и политический деятель *n/m 2* — 382, 703
- Фонвизин Денис Иванович (1744/1745—1792), писатель, драматург *n/m 2* — 756
- Фонтен Мартель, графиня, приятельница Вольтера *n/m 2* — 115, 627
- Форкалькье Луи Бранкас де (1672—1750), французский придворный, маршал
n/m 2 — 255, 668
- Форкалькье, графиня, супруга Луи Бранкаса де Форкалькье *n/m 2* — 255—256, 260, 668
- Форстер В., лондонский купец XVIII в., владелец музыкального магазина *n/m 2* — 247—248

- Фосс Юлий фон (1768—1832), немецкий драматург и романист *n/m 1* — 417; *n/m 2* — 699
- Фрамери Николая Этьен (1745—1810), французский музыкант, писатель *n/m 2* — 664
- Франц I Стефан (1708—1765), герцог Лотарингский (Лорренский) *n/m 2* — 652, 668
- Франц II (1768—1835), император Священной Римской империи германской нации с 1792 по 1806 г. *n/m 1* — 476; *n/m 2* — 646—647
- Франциск I (1494—1547), король Франции с 1515 г. *n/m 2* — 170, 358, 362, 653, 695, 698
- Франциск II (1543/1544—1560), король Франции, супруг Марии Стюарт *n/m 1* — 35, 419
- Франциск д'Ассиз, святой (1182—1226), канонизирован в 1228 г. *n/m 2* — 646
- Фредерик II (1534—1588), король Дании и Норвегии *n/m 1* — 468
- Фредерик IV (1671—1730), король Дании и Норвегии *n/m 1* — 468
- Фредерик V (1723—1766), король Дании и Норвегии *n/m 1* — 467
- Фредерик VI (1768—1839), король Дании и Норвегии *n/m 1* — 468—469
- Фрейншемиус (Фрейншейм) Иоганн (1608—1660), филолог *n/m 2* — 646
- Френ Христиан Данилович (1782—1851), профессор Казанского университета, директор Азиатского музея с 1819 г. *n/m 2* — 714, 718
- Фрере Никола (1688—1749), французский ученый *n/m 2* — 427, 723
- Фрерон Эли-Катрин (1719—1776), французский писатель *n/m 2* — 114, 627
- Фридлендер Давид (1750—1834), еврейский писатель, последователь М. Мендельсона *n/m 1* — 410
- Фридрих II Великий (1712—1786), король Пруссии с 1740, из династии Гогенцоллернов, крупный полководец *n/m 1* — 98, 171—173, 234, 320—321, 323—325, 327—328, 331—334, 336, 338, 340, 443, 464, 472—473, 486, 503, 505—507, 514; *n/m 2* — 108, 157, 167, 456, 613, 625—627, 645, 652, 741
- Фридрих II Евгений (1732—1797), герцог Вюртембергский *n/m 1* — 486
- Фридрих III (1609—1670), король датский *n/m 1* — 163, 469
- Фридрих Вильгельм II (1744—1797), король Пруссии с 1786 г. *n/m 1* — 492
- Фридрих-Вильгельм III (1770—1840), прусский король с 1797 г. *n/m 1* — 410
- Фризе Христиан-Вильгельм, секретарь Станислава Понятовского *n/m 1* — 485
- Фрина (ок. 390 г. до н. э. — ок. 330 г. до н. э.), афинская гетера, натурщица Праксителя и Апеллеса *n/m 2* — 12, 592
- Фруассар Жан (1333/1337—1405), французский писатель *n/m 2* — 357, 362, 695
- Фукидид (ок. 460—400 до н. э.), древнегреческий историк *n/m 2* — 300, 646, 680, 732
- Фукс Иоганн Йозеф (1660—1741), австрийский композитор, теоретик музыки *n/m 2* — 239, 665
- Фу-си (IV—III вв. до н. э.), легендарный первый император Китая *n/m 2* — 726, 733
- Загагеров Георгий Георгиевич, филолог *n/m 2* — 621
- Хайд Т., ученый XVII в. *n/m 2* — 715
- Хайд Эдвард, 1-й граф Кларендон (1609—1674), советник английских королей Карла I и Карла II *n/m 2* — 622
- Хамдаллах ибн Абу Бекр Мостоуфи (Мустоуфи) Казвини (ок. 1281/1282 — ок. 1344 или 1350), иранский историк *n/m 2* — 441, 736
- Харири Абу-Мохаммед эль-Касим (1054—1122), составитель арабских макама *n/m 2* — 440, 734

- Харун ар-Рашид, Харун Справедливый (763/66—809) *n/m 2* — 133, 273, 326, 477, 636, 691
- Хаупт Иоганн Томас, интерпретатор «Книги перемен» XVIII в. *n/m 2* — 726
- Хафиз (Шемс-Эддин-Мухаммед, (1300—1389), персидский поэт *n/m 2* — 427, 433, 440—441, 722, 735
- Хафнер Якоб Готфрид (1754—1809), немецкий путешественник *n/m 1* — 439; *n/m 2* — 158, 647, 713
- Хейлброн Джон, американский историк науки *n/m 1* — 468
- Хеминг Джон, издатель Шекспира *n/m 1* — 469
- Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), писатель *n/m 2* — 749
- Хербот Хартмут, переводчик XX в. *n/m 2* — 600
- Хлодвиг I (466—511), король франков *n/m 1* — 508
- Хогарт Уильям (1697—1764), английский живописец, график и теоретик искусства *n/m 1* — 107, 111—112, 118, 121—122, 444—448; *n/m 2* — 37—38, 47, 51—52, 605, 609
- Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), писатель, критик, славянофил *n/m 2* — 729
- Хондемир (1475 — около 1536), внук Мирхонда, завершивший его труд о всеобщей истории *n/m 2* — 736
- Хоум Джон (1723—1808), шотландский поэт и драматург *n/m 1* — 218, 482
- Христиан V (1646—1699), король Дании *n/m 1* — 158, 467—468
- Христиан VII (1749—1808), датский король *n/m 1* — 468
- Христиан Август Ангальт-Цербстский (1690—1747), генерал-гофмаршал, отец Екатерины II (урожд. Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской) *n/m 2* — 653
- Хуан-ди (2697—2597 до н. э.), китайский император *n/m 2* — 725
- Хун-чжао (Ци-лян), издатель руководства по изучению манчжурского языка (XVII в.) *n/m 2* — 733
- Цвейг Стефан (1881—1942), писатель *n/m 1* — 420**
- Цегельский Т., польский историк *n/m 1* — 484
- Циммерман Иоганн Георг Риттер фон (1728—1795), швейцарский философ *n/m 2* — 773
- Цинциннат Люций Квинций (ок. 519 — ок. 439 до н. э.), древнеримский патриций, консул с 460 до н. э. *n/m 2* — 98, 620
- Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, писатель и оратор *n/m 1* — 405, 412, 454; *n/m 2* — 300, 302, 458, 460, 562, 622, 660, 672, 680, 682, 763, 771
- Цянь-лун (1736—1796), китайский император *n/m 2* — 733
- Черкасов Иван Петрович (1794—1856), писатель и философ *n/m 2* — 776**
- Чернявский, подпоручик, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 508
- Черчилль Чарльз (1731—1764), английский поэт-сатирик *n/m 2* — 605
- Чехов Антон Павлович (1860—1904), писатель *n/m 1* — 408
- Чжоу Син-сы (ум. 521), литератор и высокопоставленный чиновник *n/m 2* — 733
- Чжу-си или Чжу-цзы (1130—1200), последователь Конфуция *n/m 2* — 439, 734
- Чубарова Анна Алексеевна, капитанша, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 507

- Чулков М. А., упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 501—503, 505
 Чэнь Шоу (233—297), создатель «Истории трех царств» *n/m 2* — 734
- Шабаева Мария Федоровна** (1905—1983), педагог, профессор *n/m 1* — 512
- Шавис Дени**, сирийский переписчик рукописи «Тысячи и одной ночи», переводчик и публикатор сказок (конец XVIII в.) *n/m 2* — 722
- Шаликов Петр Иванович** (1768—1852), князь, писатель и журналист *n/m 1* — 416; *n/m 2* — 603, 749—752
- Шамфор Себастьян Рох Никола** (1741—1794), французский писатель и моралист *n/m 1* — 411; *n/m 2* — 15, 164, 590, 595—596, 622, 648—649
- Шантелоз Франсуа Режи**, французский публицист 1880-х гг. *n/m 1* — 433
- Шармуа Франц Францевич** (Шармуа Франсуа-Бернар, 1793—1868), французский востоковед *n/m 2* — 719
- Шаро де Бетюн Арман Жозеф** (1738—1800), известный французский филантроп и писатель *n/m 1* — 167, 471
- Шаррьер Изабель де** (1740—1805), голландско-швейцарская писательница *n/m 1* — 478
- Шарышкин Дмитрий Михайлович** (1937—1978), литературовед *n/m 2* — 669
- Шаталов Станислав Евгеньевич**, литературовед *n/m 1* — 396
- Шатобриан Франсуа Рене де** (1768—1848), французский писатель *n/m 1* — 81, 390, 393, 431—432, 500; *n/m 2* — 233, 313—325, 364, 380—382, 568, 570, 636, 662—663, 684—686, 693—694, 696—697, 702, 713, 775—776
- Шафиров Петр Павлович** (1669—1739), дипломат, русский посланник на подписании Прутского мира 1711 г. *n/m 2* — 651
- Шаховской Александр Александрович** (1777—1846), драматург *n/m 1* — 416; *n/m 2* — 708
- Шванн Иоганн Фридрих**, предводитель разбойников княжества Вюртемберг в сер. XVIII в. *n/m 1* — 461—462
- Шевырев Степан Петрович** (1806—1864), писатель, критик и историк литературы *n/m 1* — 392
- Шезак Биде**, флагман времен Семилетней войны *n/m 1* — 97
- Шекспир Уильям** (1564—1616), английский драматург *n/m 1* — 164, 445, 468—469; *n/m 2* — 461, 632
- Шенле Андреас**, литературовед *n/m 1* — 439; *n/m 2* — 706
- Шереметев Борис Петрович** (1652—1719), полководец времен Северной войны, дипломат *n/m 1* — 492
- Шереметев Николай Петрович** (1751—1809), граф, государственный деятель, меценат *n/m 1* — 488—490
- Шереметев Петр Борисович** (1713—1788), обер-камергер Императорского двора при Петре III и Екатерине II *n/m 1* — 488
- Шефтсбери Энтони Эшли Купер** (1671—1713), лорд, английский философ и эстетик *n/m 1* — 443
- Шиллер Иоганн Фридрих** (1759—1805), немецкий поэт, драматург *n/m 1* — 390, 398, 419—420, 447, 461—463, 515; *n/m 2* — 600
- Шиммельман Эрнст Генрих, фон** (1747—1831), датский политический деятель *n/m 1* — 160—161, 468—469

- Шифирь-Дуд, дочь майорши Александры Васильевны Прокофьевой упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 500
- Шишкин, титулярный советник, упоминается в уведомлениях *n/m 2* — 502
- Шишков Александр Семенович (1754—1841), государственный деятель, писатель *n/m 1* — 499; *n/m 2* — 711, 747—748, 751—753
- Шлегель Фридрих Вильгельм фон (1772—1829), немецкий философ и критик *n/m 2* — 431, 709, 714—716, 719, 724
- Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1768—1834), немецкий философ *n/m 2* — 710
- Шлецер Август Людвиг (1735—1809), немецкий историк филолог *n/m 2* — 677
- Шлыкова-Гранатова Татьяна Васильевна (1773—1863), крепостная актриса Шереметевых *n/m 1* — 488
- Шлютер Андреас (1662—1714), архитектор *n/m 1* — 489
- Шолье Гийом Амфри (1639—1720), французский поэт, аббат *n/m 1* — 218, 482
- Шпальдинг Иоганн Иоахим (1714—1804), протестантский богослов *n/m 1* — 100
- Штейбельт Даниэль (1765—1823), немецкий композитор *n/m 2* — 405, 706
- Штелин Яков Яковлевич (1709—1785), российский ученый, историк искусств *n/m 1* — 432, 435—438
- Шуазель Мари Габриэль Флоран Огюст, граф (1752—1817), французский дипломат, археолог *n/m 2* — 317
- Шувалов Иван Иванович (1727—1797), государственный деятель, оберкамергер *n/m 1* — 231, 233, 490—491
- Шувалова (Дитрихштейн) Александра Андреевна (1775—1847), княгиня *n/m 1* — 231, 490
- Шультенс Альбрехт (1686—1750), ориенталист *n/m 2* — 441, 737
- Шумигорский Евгений Севастьянович (1857—1920), русский историк *n/m 1* — 488
- Щербатов Павел Петрович (1762—1831), камергер, сенатор *n/m 1* — 231, 489
- Щуцкий Юлиан Константинович (1897—1938), филолог-востоковед *n/m 2* — 726
- Эбергард (Эберхард) Иоганн Август (1739—1809), немецкий философ и критик *n/m 1* — 392, 410; *n/m 2* — 156, 643—644
- Эвмен (362—316 до н. э.), пергамский правитель (263—241 до н. э.) *n/m 2* — 315, 687
- Эгалите Филипп (1747—1793), герцог Орлеанский *n/m 1* — 440
- Эгнаташвили Бери, историк XVIII в. *n/m 2* — 729
- Эджворт Мария (1767—1849), английская писательница *n/m 1* — 320, 372, 398, 503—505, 507, 518—519; *n/m 2* — 291, 615, 672—674
- Эдмунд Мученик (840—870), король Восточной Англии *n/m 1* — 439
- Эдуард III (1312—1377), король Англии с 1327 г. *n/m 2* — 362
- Эдуард Вудсток (1330—1376), «Чёрный принц», принц Уэльский, принц Аквитанский *n/m 2* — 697
- Эйхгорн Готлиб Иоганн (1752—1827), немецкий критик *n/m 2* — 718
- Эйхштедт Хильдегард, немецкий литературовед *n/m 1* — 396, 407, 433; *n/m 2* — 641, 647, 654
- Элвис Р. С., английский литературовед XX в. *n/m 1* — 433
- Элиан (около 98—138 г. н. э.), римский писатель, писавший по-гречески *n/m 2* — 437, 731

- Эмпедокл из Агригента (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ, поэт *n/m 2* — 301, 682
- Энгель Иоганн Якоб (1741—1802), немецкий, критик, педагог, моралист *n/m 1* — 28, 319, 392, 409—411, 413, 429, 443, 453, 500—501; *n/m 2* — 380, 596, 614, 622, 644, 649, 657, 671, 700—701, 780
- Энгельгардт Екатерина Васильевна см. Скаврнская Екатерина Васильевна
- Энгельгардт Николай Александрович (1867—1942), писатель, литературный критик *n/m 2* — 601
- Энден ван ден, голландский государственный деятель первой трети XIX в. *n/m 2* — 629
- Эпаминонд (418—362 до н. э.), полководец, политический деятель древней Греции *n/m 2* — 315, 687
- Эпиктет (ок. 50—138), древнегреческий философ *n/m 2* — 12, 190, 592
- Эпикур (342/341—271/270), древнегреческий философ *n/m 1* — 411; *n/m 2* — 11—12, 14, 590—593, 622
- Эпинэ Луиза де (1726—1783), французская писательница, хозяйка литературного салона *n/m 2* — 627
- Эразм Роттердамский (1469—1536), гуманист, филолог, писатель *n/m 1* — 105; *n/m 2* — 458, 743
- Эрик Померанский (1382—1459), король Норвегии под именем Эрик III с 1389 по 1442 г. *n/m 1* — 468
- Эрманарих (ум. 375), король остготов *n/m 2* — 457, 741
- Эрпений Томас (1584—1624), голландский ориенталист *n/m 2* — 715
- Эстергази Николай (Миклош Иосиф Эстерхази, 1714—1790), князь, внук П. А. I Эстергази *n/m 2* — 239—241, 243, 245—246, 248, 665
- Эстергази Пауль Антон (Пал Антал II Эстерхази, 1711—1762), имперский князь дома Эстерхази *n/m 2* — 665
- Эсхил (ок. 525—456 до н. э.), древнегреческий драматург *n/m 2* — 382, 763
- Юлиан Флавий Клавдий (Юлиан Отступник, Юлиан Философ, 332—363), римский император *n/m 1* — 411; *n/m 2* — 11—13, 590—591, 593—594**
- Юм Давид (1711—1776), английский философ, историк, экономист *n/m 1* — 218—221, 417, 479—482; *n/m 2* — 109, 460, 625
- Юнг Эдвард (1683—1765), английский поэт *n/m 1* — 137, 461; *n/m 2* — 500, 758
- Юсупов Николай Борисович (1750—1831), князь, сенатор, дипломат *n/m 1* — 235, 493
- Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт *n/m 2* — 729**
- Якоби Фридрих Генрих (1743—1813), немецкий философ *n/m 1* — 446, 501
- Яков II (1633—1701), король Англии, шотландии и Ирландии *n/m 2* — 622
- Ямвлих (245/280—325/330), античный философ *n/m 2* — 591
- Ян Иоганн (1750—1816), библиист *n/m 2* — 718
- Янушкевич Александр Сергеевич, литературовед *n/m 1* — 389, 391, 396, 402, 408, 412, 415, 424, 426, 430, 442—445, 502, 510—511, 514, 517, 525; *n/m 2* — 598, 644, 648, 655, 700—701, 775—776, 782

СОДЕРЖАНИЕ

Второй полутом

1809 г.

О счастии	9	588
Разговор Сен-Реаля, Эпикура, Сенеки, Юлиана и Лудовика Великого	11	590
Угрюмый ответ на ласковый вопрос	15	595
Открытие, сделанное женщиною	16	596
Марьиная роща (Старинное предание)	19	597
Конец вещей (Изъяснение карикатуры, сообщенной в XXIV № «Вестника Европы» 1808)	37	605
О литературе французской в XVIII столетии	38	606
О том, что нас обманывает	44	607
Брак по расчету	47	609
Три философа (Греческая новость)	57	611
Печальное происшествие, случившееся в начале 1809-го года	59	612
Зеркало	64	613
Счастливая ложь	68	614
Первое движение	73	615
Приключения застенчивого человека (Писанные им самим)	82	616
Молочница и золотых дел мастер	85	617
Разговор Моды с Рассудком	89	618
Истинное происшествие	96	619
Разговор Ума с Сердцем	104	621
Оригинал и копия	106	622
Свидания маршала де Линя с Ж.-Ж. Руссо и Вольтером (Отрывок из новой книги: Письма и мысли маршала принца де Линя)	108	623
Известия о Голландии (Выбранные из Путешествия англичанина Джона Карра в Голландию и Южную Германию, писанные в 1806 году)	116	628
Счастливейшее состояние (Еще отрывок из сочинений маршала принца де Линя)	120	630
О неверности	123	631
Теана и Эльфриды (Итальянская повесть)	125	632
Письмо доктора М* к одному французскому журналисту	131	633
Кузнец Базим. Арабская сказка	133	635
Черты из жизни Суворова	138	637
Кабуд путешественник. Восточная сказка (которая пригодится кому-нибудь и на севере)	147	639
Науки	154	643
Письмо принца де Линя к Екатерине II	156	644
Воспоминания об Ост-Индии	158	647
Несколько мыслей о любви к уединению, о достоинстве и характере	162	648

— СОДЕРЖАНИЕ —

Два письма принца де Линя	164 650
Газетное объявление (Истинная повесть)	172 654
Отставленный министр и нищий с деревянною ногою (Повесть)	182 655
Эгоист (Повесть принца де Линя)	191 656

1810 г.

Лютна, цветы и сон (Старинная сказка)	202 657
Эдуард Жаксон, Милли и Ж. Ж. Руссо (Истинное происшествие)	216 659
Путешествие Невинности на остров Цитеру	227 660
Разговор философа Дежерандо с Сен-Мартенем (Истинный анекдот)	232 661
О нравах арабов (Отрывок из Шатобрианова путешествия по Востоку)	233 662
Анекдоты из жизни Иосифа Гайдена	235 663
Розы Мальзерб	250 666
Образец связи в разговорах общества	254 667
Платон в Сицилии (Первая прогулка)	260 669
О дружбе и друзьях	272 671
Мурад несчастный (Турецкая сказка)	273 672
Привидение (Истинное происшествие, недавно случившееся в Богемии)	291 675
Несколько писем Иоанна Миллера, историка Швейцарии, к Карлу Бонстеттену, другу его	297 677
Тимей-ваятель (Вторая Платонова прогулка)	307 683
Путешествие Шатобриана в Грецию и Палестину	313 684
Три финика	326 690
Старый башмачник бедной хижины и восемь луидоров	328 691
Романический любовник, или Веселость и старость (Соч. Сарразеня)	340 692
Образ жизни и нравы рыцарей	355 693
Горный дух Ур в Гельвеции (Сказка, взятая из европейской «Тысяча и одной ночи»).	364 699
Улей (Разговор о бытии Бога)	374 700
Отрывок из Шатобрианова Путешествия в Грецию	380 702
Отрывки из писем об извержении Везувия	383 704
Дорсан и Люция (Повесть госпожи Жанлис)	386 705
Взыскательность молодой женщины	410 707

1811 г.

Мысли о заведении в России Академии Азиатской	418 708
Аместан и Меледин, или Испытание опытности (Восточная повесть)	442 738
Отрывки из писем Иоанна Миллера к Карлу Бонстеттену	455 741
Необходимое и излишнее (Восточная сказка)	463 745
Осада Амазии (Восточная повесть)	478 746

**Статьи от издателя, редакционные заметки
к статьям и иллюстрациям, уведомления**

Статьи от издателя	490 747
Два слова от издателя	490 747
Благодарность любезному издателю «Аглаи»	492 750
От издателей	494 752
Редакторские заметки к статьям и иллюстрациям	495 756
Изъяснение картинки	495 756
Редакторские заметки	497 757
Уведомления	500 758

Из черновых и незавершенных рукописей

Лионель и Эльмина	510 759
Аполлоний и фессалийские поселяне	512 760
Святой трилиственник	519 763
Мисс Лони	543 769
Старые сочинения и переводы в прозе	546 769
Замечания о искусстве мыслить	546 770
Как узнавать свои успехи в добродетели	548 770
О благодарности и неблагодарности	552 771
Общество и уединение	558 772
Глава 1. О похвале и любви к славе. Глава 2. О похвалах священных и гимнах	559 774
О средствах дать совершенное здоровье детям.	
Сочинение Самуила Крузиуса. Перевод с немецкого	564 775
О таинственности	568 775
<То не может не иметь начала...>	570 777
О философии	572 777
О продолжении жизни. Извлечение из Гуфланда	577 778
Письмо первое	584 779
Этна, или Человеческое счастье	586 779

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечания	588
Условные сокращения	781
Указатель имен	783

Научное издание

Василий Андреевич Жуковский
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В двадцати томах

Том 10
Проза 1807—1811 годов
Книга 2

Корректор Г. Эрли

Оригинал-макет подготовлен И. Богатыревой

Подписано в печать 12.11.2014. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Баскервилл.
Усл. п. л. 67,08. Тираж 800 экз. Заказ № м1215 (л).

Издательство «Языки славянской культуры».
№ госрегистрации 1037739118449.
Phone: 959-52-60 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»
ОАО «Издательство «Высшая школа»
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1
Тел.: +7 (4812) 31-11-96. Факс: +7 (4812) 31-31-70
E-mail: spk@smolpk.ru <http://www.smolpk.ru>

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: +7 (499) 255-77-57, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Москва, Турчанинов пер., д. 4

